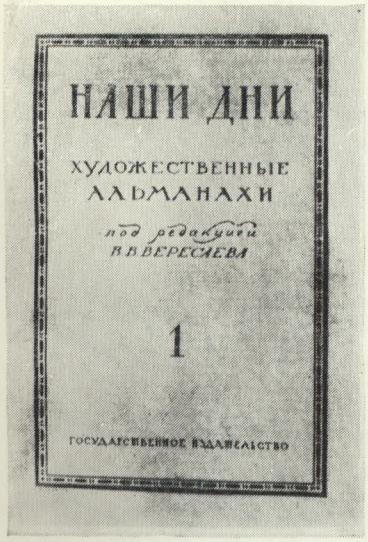
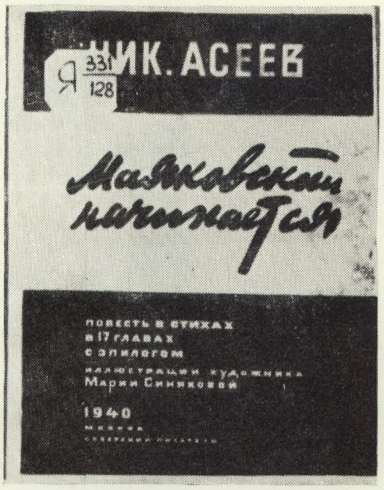
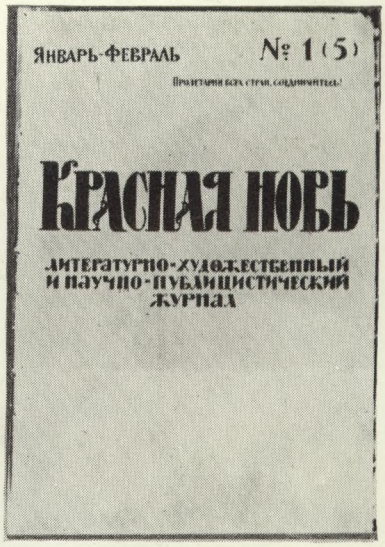
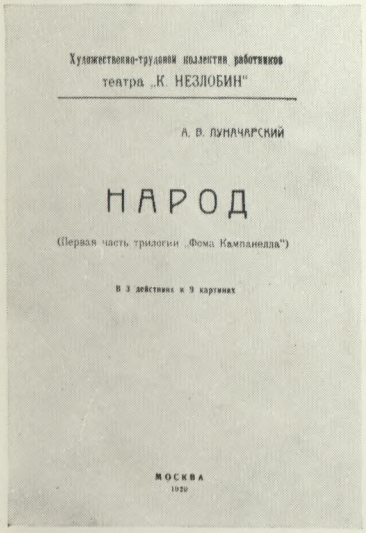
ИЗ ИСТОРИИ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1920-1930-х ГОДОВ













Литературное наследство

Настоящий том содержит неизданные материалы, относящиеся к 1920—1930-м годам — важнейшему этапу становления советской литературы.

Книга состоит из двух разделов: «Из творческого наследия советских писателей» и «Из эпистолярного наследия».

В первом разделе печатаются 3-я часть книги С. Федорченко «Народ на войне», автобиографический роман Л. Рейснер, страницы повести А. Малышкина из времен гражданской войны, незавершенная историческая драма А. Луначарского «Солнце», писательский дневник молодого А. Твардовского, материалы к творческой истории поэмы Н. Асеева «Маяковский начинается». Все эти произведения объединяются центральной для литературы той поры проблематикой — темой социалистической революции, ее истории и предистории, темой путей народа, эту революцию совершившего. Письма одного из самых значительных критиков 1920-х годов, редактора журнала «Красная Новь» А. Воронского и его многочисленных корреспондентов помогают понять большую работу по собиранию писательских сил, которая велась по заданию партии в сложной обстановке послеоктябрьского десятилетия. Переписка Пастернака с А. Ахматовой, Н. Тихоновым, В. Полонским и др. раскрывает литературные взгляды поэта, проясняет историю создания его произведений.

В целом том существенно дополняет картину литературной жизни 1920—1930-х гг., расширяет представление о том, над чем работали тогда писатели, как они искали путей, на которых создавалось искусство социалистического реализма.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

ИЗ ИСТОРИИ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1920–1930-х ГОДОВ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
им. А. М. ГОРЬКОГО



ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

ТОМ ДЕВЯНОСТО ТРЕТИЙ

РЕДАКЦИЯ
Г. П. БЕРДНИКОВ, Д. Д. БЛАГОЙ, А. Н. ДУБОВИКОВ,
И. С. ЗИЛЬБЕРШТЕЙН, А. С. КУРИЛОВ, С. А. МАКАШИН,
К. Д. МУРАТОВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Л. А. СПИРИДОНОВА,
Л. И. ТИМОФЕЕВ, Н. А. ТРИФОНОВ,
М. Б. ХРАПЧЕНКО, В. Р. ЩЕРБИНА (ГЛАВ. РЕД.)

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
1 · 9 · МОСКВА · 8 · 3

ХРАНИТЬ НАСЛЕДСТВО - ВОВСЕ НЕ ЗНАЧИТ
ЕЩЕ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ НАСЛЕДСТВОМ
ЛЕНИН

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

ИЗ ИСТОРИИ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1920—1930-х годов

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И ИССЛЕДОВАНИЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
1 · 9 · МОСКВА · 8 · 3

ГОД ИЗДАНИЯ ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРОЙ

Л $\frac{4603010102-035}{042(02)-83}$ 517—82, кн. 1

© Издательство «Наука», 1983 г.

ОТ РЕДАКЦИИ

Настоящий том продолжает ряд книг «Литературного наследства», посвященных изучению советской литературы, которая уже прошла большой и славный путь.

Богатая, более чем шестидесятилетняя история советской литературы заслуживает такого же пристального изучения, как и наша классическая литература XIX в., не только в своих вершинных достижениях.

Поэтому наряду с монографическими персональными томами, публиковавшими и разрабатывавшими наследие зачинателей и крупнейших представителей советской литературы и критики — Горького, Маяковского, Луначарского, Брюсова, Блока,— редакция выпускает и так называемые «сборные» тома, отражающие деятельность и других советских писателей, не только самого первого плана. Назовем, например, тома 74 («Из творческого наследия советских писателей») и 78 («Советские писатели на фронтах Великой Отечественной войны»).

К этому ряду книг принадлежит и данный том, содержащий материалы, относящиеся к первым двум десятилетиям истории советской литературы, периодам ее становления, формирования и начального развития, для которых характерны особенно напряженные поиски нового в содержании и художественной форме, особенно острая борьба разных идейно-стилевых течений, разных литературных группировок, разных эстетических программ и воззрений.

Изучение этой литературной эпохи долго было очень избирательным, выборочным, в результате чего получалось слишком общее, слишком суммарное, слишком схематическое представление о ней.

Правда, за последние годы появились серьезные работы, в которых для рассмотрения берется значительно более широкий круг писательских имен и произведений, изучение их становится более пристальным и углубленным. Однако на историко-литературной карте тех лет все еще имеются «белые пятна». За исключением нескольких крупнейших художников слова, для изучения писателей еще недостаточно привлекаются архивные материалы, биографические документы, дневники, эпистолярное наследие. Почти не изучается творческая история даже самых значительных произведений советской литературы. Еще мало исследовано то, что можно назвать литературной жизнью эпохи, деятельность разных литературных организаций и обществ, журналов и издательств.

Словом, к истории советской литературы в целом, даже к тем ее явлениям, которые отдалены от нас уже на полстолетие и больше, мы обычно еще не подходим с той серьезностью и обстоятельностью, с какой исследуется история литературы прошлого века.

Одной из попыток способствовать продвижению в этом направлении и является настоящий том.

В него, наряду с именами виднейших писателей первого ряда (таких, скажем, как Твардовский), включены материалы писателей и менее известных и даже полузабытых (назовем Софью Федорченко).

Том состоит из двух разделов: «Из творческого наследия советских писателей» и «Из эпистолярного наследия».

Публикуемые в первом разделе материалы разнообразны по своим жанрам. Здесь и автобиографический роман, и повесть, и историческая драма, и очень своеобразная форма записей солдатских бесед и рассказов, и фрагменты поэмы, и отдельные стихотворения, и писательский дневник.

Авторы их принадлежат к разным группам и писательским поколениям — от человека, начавшего свой путь революционера еще в 1890-е годы, ленинского соратника А. В. Луначарского, до поэта, вступившего в литературу только в годы социалистиче-

ской индустриализации и коллективизации — А. Т. Твардовского. Однако каждый из представленных здесь писателей по-своему характерен для советской литературы данного этапа, для ее художественных исканий.

Не похожа и художественная манера, в которой написаны публикуемые тексты: усложненно-импрессионистический стиль Малышкина очень далек от живого народного сказа Федорченко, философские монологи и диспуты драмы Луначарского сменяются простыми стихами Твардовского о быте перестраивающейся деревни или страстными литературно-полемическими строфами Асеева.

Но при всем разнообразии и своеобразии демонстрируемых здесь творческих индивидуальностей их страницы и строки, можно сказать, объединены одной центральной для литературы тех лет проблематикой — темой социалистической революции, ее истории и предыстории, темой путей народа, эту революцию совершившего и в ней преобразующегося.

Эта важнейшая для советской литературы тема представлена прежде всего в произведении Федорченко «Народ на войне», третья книга которой, посвященная изображению народных масс в обстановке гражданской войны, была опубликована в 20-е годы лишь в отдельных частях и фрагментах. Писательница в форме бесхитростных записей воспроизводит сотни голосов разных слоев народа в дни грозных событий, перевернувших жизнь всей страны. Верная принципам реализма, чуждого всякому украшательству и приглаживанию, она не закрывает глаза на все темное, что скопилось в низах народа за столетия социального гнета, со всей беспощадностью показывает жестокость и грубость нравов и в то же время отмечает то светлое, новое, сознательное, что проявлялось и созревало в толще народа за годы революции.

О времени гражданской войны с ее возвышенной поэзией и низменной прозой, о ее людях с их высокими устремлениями и мелкими, ничтожными заботами рассказывается и на страницах незаконченной (вернее, только начатой) повести А. Малышкина, представляющей какое-то промежуточное звено в творческом пути писателя, которое помогает понять его переход от обобщенно-импрессионистского «Падения Даира» к конкретно-реалистическому «Севастополю».

И книга Федорченко, и наброски повести Малышкина выросли из непосредственных впечатлений писателей, из их близости к происходящим событиям, к общественной жизни тех лет и участия в них, что подтверждается теми биографическими данными, которые мы находим в комментирующих предисловиях к текстам.

Эта характерная для советской литературы черта — тесная связь писателя с социальной действительностью — раскрывается и на примере незавершенного автобиографического романа даровитой и яркой писательницы тех лет, рано ушедшей из жизни Ларисы Рейснер. На материале жизни своей семьи она показывает путь к революции определенной части прогрессивной интеллигенции. В главах романа воссоздается малоизвестная история создания оппозиционного по отношению к дореволюционному строю антимилитаристского журнала «Рудин», издававшегося в годы мировой войны Ларисой Рейснер вместе с ее отцом, профессором-правоведом. При всей своей художественной недоработанности роман интересен тем, что передает идейную атмосферу тех лет в зарисовках жрецов казенной науки, представителей эстетского искусства, ренегатствующих политиканов и капиталистических дельцов, а также бунтарски настроенных интеллигентов, пытающихся осмеять этот буржуазный мир, но еще не имеющих ясной социальной программы.

Однако сама писательница, со всей страстью включившаяся в события революционной действительности, очевидно, почувствовала, что есть более важные, более актуальные для тех дней темы и потому оставила эту свою работу незавершенной.

В гораздо более далекое историческое прошлое уводит нас первый (и единственный) акт драмы А. В. Луначарского «Солнце», которая должна была явиться третьей, заключительной частью его трилогии «Фома Кампанелла». Один из основоположников советской драматургии — и в частности советской исторической драмы — здесь обратился к событиям и людям Западной Европы XVII в. Но и этот текст имеет отношение к теме нашей революции.

В своей драме Луначарский стремился докончить характеристику одного из предшественников коммунистических идей, автора известной социальной утопии «Город Солнца», итальянского мыслителя и революционера Томазо Кампанеллы. Его вспоми-

нал в годы Октябрьской революции Ленин, и по инициативе основоположника советского государства это имя вошло в список тех великих имен, которые были высечены на первом памятнике, открытом в революционной Москве.

И как всегда у Луначарского (да и других представителей советской исторической драматургии), это была не просто историческая пьеса. Автор стремился на историческом материале, на исторических примерах поставить актуальные для революционного времени мировоззренческие проблемы, сказать о том, как решаются вопросы о смысле жизни и бытия человеком революционного действия.

Материалы, относящиеся к 1930-м годам и освещающие творческую историю двух лучших поэм этого десятилетия, также тесно связаны с темой революции и советской действительности.

Поэма «Страна Муравия», путь автора к которой отчетливо раскрывается в печатаемых здесь «Рабочих тетрадях» молодого Твардовского,— это наиболее значительное поэтическое произведение тех лет о глубокой социальной революции, происходившей тогда в деревне, в ее экономике, в быту, в психологии крестьянина.

А публикуемые в настоящем томе новые стихотворные и прозаические строки Н. Асеева, как входившие в разные варианты поэмы «Маяковский начинается», так и предшествующие ей или последовавшие за ней, помогают полнее понять и осмыслить облик великого поэта революции, его биографию, его эстетические позиции, его значение.

Во всех названных произведениях и литературных материалах проявляется активная, действенная, гражданская позиция их авторов, поиски разных художественных средств для того, чтобы отразить, запечатлеть великую революционную эпоху, вмешаться в происходящую борьбу, воздействовать на сознание современного читателя.

Картину творческих исканий, характерных для рассматриваемого периода истории советской литературы, дополняет и эпистолярный раздел тома.

К многочисленным письмам деятелей советской литературы, которые были уже опубликованы в предшествующих томах «Литературного наследства» (назовем хотя бы том 70 «Горький и советские писатели. Неизданная переписка»), здесь присоединяются и становятся достоянием исследователей еще два больших комплекса писем: один из них связан с именем А. К. Воронского, другой — с именем Б. Л. Пастернака.

Письма Воронского и его многочисленных корреспондентов помогают полнее увидеть и понять ту большую и напряженную работу по собиранию писательских сил и организации литературной жизни, которая велась в 20-е годы по заданию партии.

Собранные в томе письма литераторов к Воронскому дополняют и укрепляют ту высокую оценку, которую давали в свое время деятельности редактора журнала «Красная новь» Горький и Луначарский.

Здесь, как и в ряде других случаев, материалы тома позволяют внести известные коррективы в некоторые несправедливые и односторонние оценки, появившиеся в ходе литературной борьбы, полемики и упорно державшиеся порой в течение длительного времени.

В публикуемых письмах затрагиваются многие существенные вопросы тогдашней литературной жизни, в частности и вопрос о качествах, необходимых молодой советской литературе, об особенностях ее метода, который характеризовался Воронским как неореализм.

Не узкобиографический, а прежде всего общественно-литературный интерес представляют и материалы переписки Бориса Пастернака с Анной Ахматовой, Николаем Тихоновым, Вячеславом Полонским и другими деятелями литературы. Письма эти раскрывают внутренний мир поэта, его литературные взгляды и позиции, историю создания некоторых его произведений.

В целом том помогает внести дополнительные штрихи и краски в картину богатой литературной жизни 20—30-х годов, позволяет расширить и уточнить наше представление о том, над чем думали и работали тогда писатели, как они искали пути, на которых создавалось новое искусство — искусство социалистического реализма.

Публикуемые материалы извлечены из различных государственных архивохранилищ: Центрального партийного архива Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Центрального государственного архива литературы и искусства СССР, Отдела рукописей Государственной библиотеки имени В. И. Ленина, Центрального государственного

архива Октябрьской революции, Архива А. М. Горького, Рукописного отдела Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР, Рукописного отдела Института русской литературы (Пушкинского Дома) АН СССР, Государственного литературного музея, Государственного музея И. С. Тургенева (Орел), музея М. М. Пришвина (филиала Гос. литературного музея), а также из личных архивов Н. Н. Асеева, Б. Л. Пастернака и А. Т. Твардовского.

Всем названным учреждениям и хранителям личных архивов редакция выражает глубокую благодарность. Мы благодарим также за помощь в работе советами и отзывами, сообщением дополнительных сведений или предоставлением иллюстративных материалов: С. Г. Бочарова, Г. А. Воронскую, А. Г. Дементьева, А. Н. Дубовикова, С. В. Житомирскую, Э. П. Зубареву, В. В. Кожинова, В. П. Купченко, А. В. Македонова, К. Д. Муратову, А. В. Новоселову, З. С. Паперного, А. М. Плескачевскую-Вицкоп, И. Т. Твардовского, Л. И. Тимофеева, Е. Ц. Чуковскую, А. Э. Штекли.

Редактор тома — Н. А. Трифонов.

Большую редакторскую работу над материалами тома вели также Т. Г. Динесман и Ю. П. Благоволина. Иллюстрации подобраны Т. Г. Динесман. Фотокопии материалов, отобранные для иллюстрирования тома, сделаны В. А. Ивановым.

I
ИЗ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

СОФЬЯ ФЕДОРЧЕНКО

НАРОД НА ВОЙНЕ
КНИГА ТРЕТЬЯ. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА*

Вступительная статья Н. А. Трифонова
Публикация Н. П. Ракицкого и Н. А. Трифонова

В бурном историческом 1917 г. в Киеве вышла небольшая книжка Софьи Федорченко «Народ на войне» с подзаголовком «Фронтовые записи». На титульном листе было указано, что она выпущена Издательским подотделом Комитета Юго-Западного фронта Всероссийского земского союза. Несколько раньше фрагменты этой книги появились в периодических изданиях: накануне Февральской революции в петроградском журнале «Северные записки» (под названием «Что я слышала») и незадолго до Октября в московском журнале «Народоправство» [1].

Книга воспроизводила в форме коротких, лаконичных записей, занимающих обычно всего несколько строк, разговоры и рассказы солдат, их размышления и думы о жизни, о войне и мире, о себе и других, о своих и врагах. Некоторые из записей представляли собой в предельно сжатом виде целые новеллы. Мысли и беседы солдат дополнялись песнями про войну, частушками, заговорами и тому подобными поэтическими текстами фольклорного характера.

Из авторского предисловия можно было узнать, что Софья Федорченко долго находилась на фронте в качестве сестры милосердия. Впоследствии она вспоминала: «Попала в самую гущу, проделала наступления и отступления, видала и победы и поражения. Все было одинаково ужасно и непоправимо ⟨...⟩ Работала я, все смотрела, все слушала, все со всеми переносила» [2]. Пребывание на войне, повседневное общение с простыми русскими людьми, одетыми в серые шинели, в самые напряженные и критические моменты их жизни и дало богатейший материал для книги.

Софья Захаровна Федорченко вернулась с фронта в 1916 г., но и в последующие годы, работая по оказанию помощи населению, близко соприкасаясь в обстановке войны (сначала империалистической, а затем гражданской) с разными слоями народных масс — на Украине, в Новороссии, на Северном Кавказе, в Крыму,— она продолжала накапливать впечатления, относящиеся к ее теме.

В 1922 г. она переезжает в Москву. К этому времени она становится уже профессиональной писательницей, принимает активное участие в разных писательских организациях — в частности, в литературном объединении «Никитинские субботники» и в детской секции Всероссийского союза писателей, первым председателем которой она являлась до 1930 г. Ею было написано и издано много десятков книжек для детей. Но главной ее работой продолжал оставаться «Народ на войне».

* В журнальной редакции III книга «Народа на войне» сопровождалась предисловием: «Весь материал для этой книги: разговоры о себе и других, судьбы, факты, сказки, песни,— собраны мною от 17-го до 22-го года (в 22-м — голод) на Украине, в Новороссии, на С. Кавказе и в Крыму. Здесь разные повстанцы, бандиты, зеленые, красные, белые и всякие другие. В этой книге дано только то, что есть у меня. Книга ни малейшим образом не может претендовать на исчерпывающее, или даже неполное, описание гражданской войны» («Новый мир», 1927, № 3, с. 82).

В первой половине 1920-х годов ее книга несколько раз переиздавалась то в более расширенном, то в сокращенном виде. Второе издание вышло в 1923 г. в издательстве «Новая Москва» в серии «Библиотека современников» под редакцией Н. Ангарского. Третье издание было выпущено в 1925 г. издательством «Земля и фабрика» с предисловием критика К. Локса. В том же году появилось и сокращенное издание в библиотеке «Огонек» с портретом автора на обложке.

В первом издании писательница давала свои записи в довольно случайном порядке, не считая обязательным «систематизировать» и раскладывать по рубрикам свой материал; в дальнейшем композиция книги меняется, появляется то расположение по темам, от которого автор первоначально отказывался. В третьем издании, например, книга была разбита на восемь глав с такими названиями: «Как шли на войну, что думали о причинах войны и об учении», «Что на войне приключилось», «Каково начальство было», «Какие были товарищи» и т. д.

И в первом и в последующих изданиях «Народ на войне» вызвал очень одобрительные отклики читателей, критиков, писателей. В статьях и рецензиях отмечались многочисленные достоинства книги и прежде всего ее правдивость. Ее называли «драгоценным памятником нашей эпохи», «подлинной правдой о войне, о русском народе» (Я. Тугендхольд) [3], «огромным складом народной мудрости» (И. Машбиц-Веров) [4], «энциклопедией народной души» (Л. Войтоловский) [5]. Популярный в то время журналист И. Василевский (Не-Буква) утверждал, что «ни историк, ни социолог, ни беллетрист, ни политик не имеют права не знать этой книги» [6].

Драгоценно свидетельство, зафиксированное в дневнике Ал. Блока. Разбирая за несколько месяцев до смерти старые журналы, сохранившиеся в его личной библиотеке, он перелистывал выходивший в 1917 г. под редакцией Г. Чулкова журнал «Народоправство», в котором появились фрагменты из книги Федорченко. В журнале участвовали многие признанные литераторы — Б. Зайцев, А. Ремизов, М. Пришвин, Ал. Толстой, Вяч. Иванов,— но Блока привлекли не их произведения, а «фронтовые записи» безвестного автора, о котором поэт даже не знал, кто это — мужчина или женщина. Он отдал этим «записям» предпочтение перед литературной продукцией присяжных писателей, которая была однажды охарактеризована им как «усталая, несвежая и книжная литература» [7]. В своем дневнике поэт записал 7 марта 1921 г.: «Интересны записи «солдатских бесед», подслушанных каким-то Федорченко 〈...〉 это — самое интересное».

В «записях» Федорченко со всей беспощадностью отразились и воспитанная войной ожесточенность людей, и насилия, и издевательства, но все это не оттолкнуло Блока. После характеристики статей других авторов он вновь возвращается к «солдатским беседам» и так резюмирует свои впечатления от них: «Выходит серо, грязно, гадко, полно ненависти, темноты, но хорошо, правдиво и совестно» [8].

В 1922 г. с большой статьей о «Народе на войне» выступил на страницах «Правды» А. Воронский. Проявляя критическое отношение к некоторым высказываниям автора, отражавшим его тогдашнюю идейную позицию (в предисловии 1917 г. говорилось, например, что в современной жизни «все кажется таким неожиданным и беспричинным»), и к организации, выпустившей первое издание книги (Всероссийский земский союз был организован в начале первой мировой войны по инициативе кадетской партии), критик-большевик рассматривал произведение Федорченко как «разительный художественный документ эпохи», который «показывает, как в старой русской армии зарождался, развивался и зрел стихийный большевизм: протест против войны, нежелание воевать во имя непонятных целей, массовое озлобление против командующих классов и тяга к новой жизни без войн, царя, помещиков и капиталистов, тяга к науке и просвещению». Свою рецензию Воронский заканчивал выводом: «Хорошая, любопытная книга» [9].

Для всех, писавших о книге Федорченко, ясны были ее высокие художественные качества. Отличавшаяся большим эстетическим вкусом критик Любовь Гуревич, откликаясь на первую журнальную публикацию «записей», отмечала, что содержащиеся в них размышления и рассказы «удивительны по художественной выразительности и лаконизму, какой может быть доступен среди интеллигентов разве только величайшему мастеру слова» [10].

Воронский указывал, что у Федорченко «часто в 5—10 строках дается больше, чем в стильной и художественно закругленной повести» [11]. И. Василевский (Не-Буква) с вос-



С. З. ФЕДОРЧЕНКО — СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ
Фотография. 〈1914—1916〉
Архив А. М. Горького, Москва

хищением писал о «чудесном, полнокровном» языке книги и добавлял: «Никакому беллетристу так не написать» [12].

Столь же высоко расценивали книгу и сами мастера художественного слова. Например, В. Вересаев в письме к Воронскому рекомендовал Софью Федорченко как «автора замечательной книги 〈...〉,— по мнению многих,— лучшего, что написано о войне» [13]. Восторженный отзыв находим в письме М. Волошина к Вересаеву: «Что меня обрадовало чрезвычайно — это полученная на днях книга (II изд.) Федорченко «Народ на войне». Я прочитывал ее с упоением. На мой взгляд, она имеет не только исторически-документальное значение, но это и художественный этап русской прозы, которая со времен Чехова вступила на путь сжатости 〈...〉 у Федорченки есть сжатость сюжета и психологии 〈...〉 Перед такой художественной сжатостью, не выходящей из традиций русской литературной ясности, сам Чехов может показаться растянутым 〈...〉 Любая страница дает материалу не меньше, чем целый том беллетристики» [14]. В. Г. Лидин в своих воспоминаниях «Друзья мои — книги» рассказывает, какое сильное впечатление произвело на него чтение книги Федорченко, случайно найденной им в конторе издательства Сабашниковых: «Таким народным языком, такой твердой рукой истинного писателя были сделаны эти записи, что я почувствовал себя среди народа, притом в минуты полной душевной откровенности каждого, слово которого было услышано и записано, услышано чутко и

записано талантливо». Лидин приводит и слова М. В. Сабашникова, собиравшегося переиздать эту «отличную книгу»: «Мы были ею просто очарованы» [15].

Сохранился экземпляр «Народа на войне» в издании 1923 г. из личной библиотеки Н. Н. Асеева. Он весь испещрен многочисленными отчеркиваниями и подчеркиваниями. По свидетельству вдовы поэта К. М. Асеевой, это была одна из его любимых книг, которую он много раз перечитывал и называл замечательно правдивой [16].

Среди тех, кто высоко ценил работу Софьи Федорченко, был и М. Горький. Вот как он определил историко-познавательное значение «Народа на войне» в письме к председателю Правления Государственного издательства А. Б. Халатову (25 марта 1928 г.): «Эта книга, вместе с книгой Войтоловского «По следам войны», превосходно и доказательно изображает анархическое настроение армии царской в 16—17 годах. Обе они совершенно снимают с «большевиков» обвинение в том, что они «разложили фронт», а вместе с этим они устанавливают также неоспоримо факт победы партии нашей над солдатско-мужицкой анархией — удивительной победы. Следовало бы заказать кому-нибудь из толковых военспецов статью, которая бы, опираясь на книги Федорченко и Войтоловского как на своеобразные «документы», изобразила бы хаос и анархию армии царской и организацию силами пролетариата армии советской» [17].

Горький говорил о «Народе на войне» не только в частных письмах, но и в журнале «Литературная учеба». Ему была дорога «образность, точность, меткость», с которой писательница воспроизводила речь солдат, и поэтому он обращал на книгу внимание молодых литераторов [18].

Один из рецензентов книги Федорченко о народе на империалистической войне писал в 1923 г.: «Как важна и значительна была бы такая же книга записей из эпохи революции и гражданской войны» [19]. Это пожелание вскоре осуществилось.

В 1925 г. появилась вторая книга «Народа на войне», отражавшая период между Февралем и Октябрем, время «керенщины» [20]. Она начиналась разделами «О царе, о Распутине» и «Как приняли революцию». Лейтмотив этого тома был выражен в заглавии одного из следующих разделов — «Кончай войну». Эта книга также получила высокую оценку печати. «Правда», например, назвала ее «исторически ценной, нужной нам книгой» [21].

В конце 1925 г. С. Федорченко читает своим друзьям уже третью часть «Народа на войне» — о войне гражданской. Среди ее слушателей были М. А. Булгаков, Л. М. Леонов и другие писатели [22]. А в 1927 г. отрывки из этой части печатаются в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Огонек» [23].

Однако вскоре у «Народа на войне» нашлись свои недоброжелатели.

Нужно сказать, что многие из писавших об этой книге воспринимали ее как простую, чуть ли не стенографическую запись подслушанных бесед и рассказов, даже без особой литературной обработки.

«Не знаю, можно ли назвать это искусством,— рассуждал в газете «Речь» Д. Философов.— Какое тут искусство, когда автор ограничился стенографированием подслушанных солдатских думок» [24]. И. Василевский (Не-Буква) безоговорочно заявлял: «Г-жа С. Федорченко ни слова не прибавила от себя. Она только любовно и тщательно собрала те беседы солдат между собой, какие ей довелось услышать на фронте» [25]. Материал, представленный в книге, характеризовался как продукт анонимного народного творчества, а писательница именовалась обычно собирательницей (хотя порой с добавлением эпитетов «неутомимая» и «талантливая»).

Основания для такой квалификации работы давала сама Софья Федорченко, определяя в авторских предисловиях характер своей книги. Например, в предисловии к первой (журнальной) публикации, озаглавленной «Что я слышала», говорилось: «Я ⟨...⟩ записывала ежедневно, по возможности точно, все то, что чем-нибудь останавливало мое внимание» [26]. А в более развернутом предисловии к первому отдельному изданию сообщалось: «Была я все время среди солдат, записывала просто, не стесняясь, часто за работой, и во всякую свободную минуту ⟨...⟩ Пожилые солдаты, те чаще рассказывали мне, даже диктовали иногда. Так я записывала некоторые песни про войну, сказки, заговоры, предания» [27].

Неудивительно, что откликнувшиеся на книгу специалисты по фольклору стали предъявлять писательнице свои профессиональные требования. Так, фольклорист А. М. Смирнов-Кутаческий сетовал на то, что у нее нет настоящей «этнографичности»: «Составительница не указывает ни имен высказывавших суждения, ни места, откуда они

происходят (что особенно важно), ни времени, когда записано то или другое ⟨...⟩ Вообще научно-техническая проработка материала сделана без особого умения» [28].

Как к документу, как к неавторскому, «ничейному» материалу, допускающему свободное использование или произвольную переработку, начали относиться к книге С. Федорченко и некоторые писатели, даже такие крупные художники слова, как Алексей Толстой. В его романе «Восемнадцатый год», в разделах, характеризующих настроения и действия крестьянских масс, можно встретить использование отдельных фрагментов третьего тома «Народа на войне». Таков, например, эпизод с крестьянкой, угостившей вражеского солдата-насильника варениками с подсыпанными в них иголками [29]. У Федорченко без ссылки на источник взят и выразительный эпиграф ко всему роману «Восемнадцатый год»: «В трех водах топлено, в трех кровях купано, в трех щелоках варено. Чище мы чистого» (заметим кстати, что упомянутые тексты из «Народа на войне» появились в мартовской книжке «Нового мира» за 1927 г., а «Восемнадцатый год» стал печататься там с июльского номера того же года, и Толстой, конечно, внимательно следил тогда за этим журналом).

Умаление творческой роли и работы автора, создавшего на основе обильных жизненных впечатлений своеобразное художественное произведение, а также начинающееся обращение с «Народом на войне» как с сырым материалом стали все больше ущемлять авторское самолюбие писательницы и вызывать ее протест.

В полемике с трактовкой «Народа на войне» как простого собрания фольклорных материалов С. Федорченко готова была не только свести до минимума, но даже целиком отрицать значение и само наличие первоначальных записей виденного и слышанного, из которых выросла ее книга.

В сентябре 1927 г. в журнале «Огонек» появилась заметка «Народ в гражданскую войну», сопровождавшая публикацию некоторых отрывков из третьей части книги. В этой заметке, подписанной «Н. Хорошев», вероятно, со слов писательницы сообщалось, что в действительности она никогда не записывала «ни одной строчки из солдатских бесед» [30].

А в октябре того же года в «Вечерней Москве» была напечатана статья И. Полтавского «Талант правды». Этот псевдоним принадлежал давнему рецензенту и поклоннику «Народа на войне» — И. Василевскому (Не-Букве). Рассказывая о своей беседе с С. З. Федорченко, журналист привел следующее заявление писательницы: «Я записей не делала ⟨...⟩ Писать тут же на войне мне и в голову не приходило. Я не была ни этнографом, ни стенографисткой ⟨...⟩ Поначалу я думала написать нечто вроде военного дневника, пробовала разные формы, даже форму романа. Потом решила записать свои впечатления в наиболее простом виде» [31].

Некоторые формулировки, приведенные Полтавским, позволяют утверждать, что в его руках был небольшой очерк, в котором сама С. Федорченко рассказывала, как создавался «Народ на войне». Этот очерк, написанный ею в мае 1927 г. по просьбе редакции «Огонька» для неосуществившегося альманаха «Солнце», тогда не был напечатан. Он был опубликован только в 1973 г. В. И. Глоцером по неполной копии, посланной автором в письме к К. И. Чуковскому и сохранившейся в архиве последнего.

Именно в этом очерке С. Федорченко заявляла, что, находясь на войне, она не думала писать книгу. Мысль о создании книги появилась только после ее возвращения в тыл, когда она стала знакомиться с текущей литературой о войне. «Почти все писали — бей, жги, мы-ста да они-ста. В прозе и стихах. Или писались сентиментальные, жалостливые вещи. Почти все было ложью и тяжким стыдом.

Вот тут-то со мной и произошла нелепейшая и неожиданная вещь. Я решила написать «правду о войне» и решила написать только правду, даже если всей правды мне написать и не удастся».

И далее, упомянув о том, как она пробовала разные формы, писательница сообщала, что первый отрывок из «Народа на войне» она написала «в авансцене театра» на спектакле пьесы Винниченко «Черная пантера и белый медведь» [32] — «каким-то неожиданным способом ⟨...⟩ влезши в шкуру рассказавшего мне этот случай солдата и абсолютно забыв себя самое».

Тут же С. Федорченко дает объяснение тому, почему она объявила свою книгу просто записями. Ей хотелось, чтобы книге поверили. «И решила я от книги этой совсем отойти, чтобы никто не стал рассуждать, талантлив автор или нет,— а просто приняли бы книгу как документ, что ли. Может быть, я просто струсила, не знаю. Но я твердо

решила сказать, что все это почти стенографические записи, и отдать книгу эту как не свою» [33].

Это признание имело для Софьи Захаровны неожиданные и весьма неприятные последствия. Ее обвинили в мистификаторстве, в подделке народных высказываний. С таким обвинением на нее обрушился всей тяжестью своего большого тогда авторитета Демьян Бедный.

Заметим, что Демьян Бедный вначале разделял общее высокое мнение о «Народе на войне». Об этом свидетельствует его предисловие к первому тому «походных записок» Л. Войтоловского «По следам войны», вышедшему в 1925 г. Всячески одобряя эти записки, Демьян Бедный писал: «Такой книги, кроме разве книги С. З. Федорченко «Народ на войне», об империалистической войне у нас еще не было. Ни историку, ни психологу, ни тем более художнику, желающему понять, истолковать, изобразить настроение народной многомиллионной массы, брошенной в пекло империалистической войны, нельзя будет миновать записок т. Войтоловского» [34].

Демьян Бедный и был как раз таким художником, стремившимся изображать настроение народной массы на разных этапах социальной жизни и постоянно искавшим подходящих материалов. Естественно, что его пристальное внимание должна была привлечь наряду с «походными записками» Войтоловского и другая книга, также отражавшая «настроение народной многомиллионной массы, брошенной в пекло империалистической войны». О ней ведь тоже можно было сказать, что здесь «правдиво и художественно изображено, как народ воевал «за черт знает что» и как он ума набирался» [35].

Демьян Бедный, очевидно, намеревался широко использовать заинтересовавшие его «фронтовые записи» Федорченко в своем творчестве, так, как это он делал в других случаях, включая отдельные фольклорные тексты в свои произведения или создавая на их основе целые опусы.

Однако, узнав (сначала от поэта и художника П. А. Радимова), что книга Федорченко не собрание фольклорного материала, а литературное произведение, он круто изменил свое отношение к ней.

19 февраля 1928 г. в «Известиях» появилась резкая статья Демьяна Бедного под убийственным названием «Мистификаторы и фальсификаторы — не литераторы». Автор безапелляционно объявил книгу сплошным вымыслом и «поклепом на народ». Со всей категоричностью в статье утверждалось: «Народ на войне» как сырой материал, как немудрые записи подслушанного у народа, как неопороченное свидетельство имел кое-какую цену. Но как обнаруженная мистификация он ломаного гроша не стоит» [36].

Причину такого резкого выступления Демьяна Бедного, такого его сильного раздражения помогает понять история его отношения к другому, несколько более позднему литературному произведению — к «Малахитовой шкатулке» П. Бажова.

Как известно, при первоначальном знакомстве со сказами Бажова у читателей также возникал вопрос: что это — фольклор или индивидуальное творчество? И большинство склонялось к мнению, что это только фольклорные записи. Бажов, подобно Софье Федорченко и по сходным мотивам, вначале сам ставил себя в положение простого передатчика устного народного творчества, называя свои сказы «восстановлением по памяти» произведений рабочего фольклора. Демьян Бедный, заинтересовавшись книгой «Малахитовая шкатулка», также воспринял ее лишь как сборник записей рабочих уральских сказов и в 1939 г. переложил ее в стихи, озаглавив свое переложение «Горная порода. Эпопея» [37].

В письме к уральскому фольклористу и краеведу В. П. Бирюкову от 28 января 1945 г. Демьян Бедный откровенно рассказывает о том, как, узнав по сборнику «Дореволюционный фольклор на Урале» (1936) «о блестящем уральском сказителе Хмелинине», он «по старой привычке нацелился на его сказы: вот где материалец-то! Потом,— продолжает автор письма,— появилась книга «Малахитовая шкатулка» с Хмелининскими сказами в записи Бажова. Ничтоже сумняшеся, я засел за работу, работал ровно 100 дней — в 1939 г., в результате чего все сказы, заключавшиеся в книге, обрели новое, стихотворное, оформление. Неплохо записал Бажов, но и мой пересказ представляет свой интерес <...> Я очень был, как и все, благодарен памяти Бажова, но считал, что он все же только записал чужое».

И дальше Демьян Бедный признается, как его неприятно поразило постепенно утверждающееся мнение, что Бажов не собиратель, не записыватель, а писатель, со-

здающий свои произведения на фольклорной основе: «Небесталанный Бажов — хитрый мужичишко: сумел обморочить малоопытных людей и уральцами обласкан. «Выиграл» Бажов, но сказы проиграли: приятнее было думать, что эти сказы — рабочее творчество, и в этом их ценность, а как сочиняет Бажов — хуже или лучше — это не столь уж важно ⟨...⟩ Можно бы на это дело махнуть рукой. Но мне обидно все же, что уральские сказы оказались сниженными, что произошло некое их похищение и присвоение, что записыватель затушевал подлинных творцов, а я, в частности, оказался в положении Пушкина, попавшегося на мистификацию Мериме. Но в данном случае та разница, что материал в основе подлинный, как я убежден, но заслонен удачливым записывателем. Выходит: если я пользовался Хмелининым, мой стихотворный пересказ имеет цену, если я пересказал Бажова, грош цена моему пересказу ⟨...⟩ У меня лежат 12000 строк, уральская эпопея, а смотреть на написанное мне не хочется. Во всяком случае, я не раньше приступлю к опубликованию своей работы, чем не провентилирую вопрос: Хмелинин или Бажов?» [38]

Еще раньше, в письме к А. А. Пьянкову (от 28 октября 1943 г.) Демьян Бедный выразил недовольство тем, что Бажов претендует на роль автора оригинального литературного произведения, а не собирателя фольклора: «Больше было бы славы Уралу и самому Бажову, если бы бажовская борода не лезла так назойливо на первый план и не заслоняла подлинных творцов гениальных «рабочих сказов» [39].

Как видим, в подходе Демьяна Бедного к «Малахитовой шкатулке» в значительной степени повторилась ситуация с «Народом на войне». Десятилетием раньше он, несомненно, так же «нацелился» и на «сказы» С. Федорченко, рассматривая их как «материалец» для себя. И почувствовал крайнюю досаду и раздражение, когда узнал, что это не сырой материал, которым можно свободно распоряжаться, а творческая работа другого писателя.

Кстати, сам Демьян Бедный в цитированном письме к Бирюкову проводит параллель между этими двумя эпизодами из своей биографии, вспоминая «случай ⟨...⟩ с одной записывательницей «солдатских разговоров». Со свойственной ему бесцеремонностью он сообщает: «Записи были восторженно приняты. Но фольклористка сдуру позавидовала материалу и убила его, заявив, что это она сама сочинила. Я ее за это в «Правде» добивал» [40]. Здесь допущена только одна неточность: Он «добивал» автора «Народа на войне» не в «Правде», а в «Известиях».

Надо сказать, что в литературной практике Демьяна Бедного это был не единственный случай резкого и несправедливого выступления против тех или иных деятелей советской литературы и искусства. Приходится не согласиться с А. Жаровым, который утверждал: «Я не знаю случая, чтоб Демьян использовал свой огромный авторитет во вред кому-либо из собратьев по перу» [41].

Можно вспомнить, например, эпизод с кинофильмом А. Довженко «Земля» в 1930 г., когда Демьян Бедный в своем фельетоне «Философы» (тоже в «Известиях») подверг фильм грубому разносу и обвинил автора в политических ошибках. «Я был так потрясен этим фельетоном,— рассказывает Довженко в своей автобиографии,— мне было так стыдно ходить по улицам Москвы, что я буквально поседел и постарел за несколько дней. Это была подлинная психическая травма» [42]. А через пятнадцать лет Д. Бедный, по свидетельству Довженко, заговорил о «Земле» совсем по-другому; встретившись с автором, он признал, что «это было произведение поистине великого искусства» [43].

В случае с Федорченко резкость выступления Демьяна Бедного могла иметь и дополнительные причины. В частности, следует учесть еще одно обстоятельство.

С. Федорченко, сочинявшая в те годы немало сатирических стихов на темы современной литературной жизни, недолюбливала Демьяна Бедного и порой избирала некоторые черты его личности объектом своих сатирических упражнений, правда, оставшихся в рукописном виде, но читавшихся в литературной среде, на «Никитинских субботниках». В архиве писательницы сохранилось несколько таких басен («Демьян и Госиздат», «Демьянова встреча» и др.) [44]. Демьян Бедный, вероятно, узнал о сатирических выпадах по его адресу, и это могло усилить его раздражение. Тогда, в 20-е годы, он еще был почти непререкаемым авторитетом и мог порою вершить судьбы отдельных представителей литературного цеха.

В вопросе о «Народе на войне» у Д. Бедного нашлись единомышленники и союзники. Например, в передовой статье еженедельника «Читатель и писатель» утверждалось,

что С. Федорченко якобы совершила «двойное надругательство» и над массой, от имени которой она говорила, и над читателем. Удивительно, что несколько дальше в полном противоречии с началом статьи и ее тоном говорилось о необходимости «культурных взаимоотношений» между писателями признанными и писателями начинающими, «взаимоотношений, возвышающих человеческое достоинство и помогающих писательскому молодняку правильно оценить себя» [45].

У большинства литераторов выступление Демьяна Бедного не встретило одобрения. Не согласен был с ним, в частности, М. Горький. В цитированном выше письме к Халатову от 25 марта 1928 г. он писал из Сорренто: «Мне кажется, что Д. Бедный неосновательно обругал книгу Софьи Федорченко» [46]. Это свое мнение Горький высказал и в печати — в редактировавшемся им журнале «Литературная учеба», заявив о том, что «зря опороченная Демьяном Бедным весьма ценная книга Софьи Федорченко» может быть крайне полезна для начинающего литератора-словолюба [47]. И позже, в письме от 29 июня 1933 г. к тогдашнему ответственному секретарю Главной редакции «Истории гражданской войны», будущему академику И. И. Минцу, давая отзыв о рукописи нескольких глав первого тома «Истории» и подчеркивая, что массу здесь «должно показать живой, говорящей и действующей», Горький усиленно рекомендовал использовать книгу Федорченко [48].

Но несмотря на такие голоса в защиту книги, как авторитетный голос Горького, к работе Софьи Федорченко после выступления Д. Бедного установилось крайне предвзятое отношение.

Третий том «Народа на войне» отдельной книгой так и не вышел, а первые тома больше не переиздавались, хотя, по свидетельству бывшего директора Гослитиздата Н. Н. Накорякова, Горький не раз называл «Народ на войне» «в списках книг, рекомендуемых им для издания ⟨...⟩ Причем Алексей Максимович подчеркивал, что эта книга и политически и художественно заслуживает большого «народного» тиража» [49].

О книге перестали писать, ее если и упоминали в справочных изданиях, то с тенденциозными оговорками, снижающими ее значение. Так, в «Литературной энциклопедии» заявлялось в противоположность тому, что справедливо писал в свое время Воронский в «Правде»: «Книга ⟨...⟩ поверхностна: в ней не получили отражения глубокие идейные сдвиги, которые происходили в солдатской массе, переходящей на путь большевизма» [50].

Пожалуй, единственным исключением оказалось напечатанное в «Литературной газете» от 1 мая 1939 г. коллективное приветствие Софье Федорченко по случаю ее юбилея. Среди подписавших это поздравление были П. Антокольский, Н. Асеев, В. Вересаев, В. Катаев, Л. Леонов, В. Лидин, И. Новиков, Б. Пастернак, К. Тренев, К. Федин. Книга Федорченко здесь была названа «яркой и волнующей» [51].

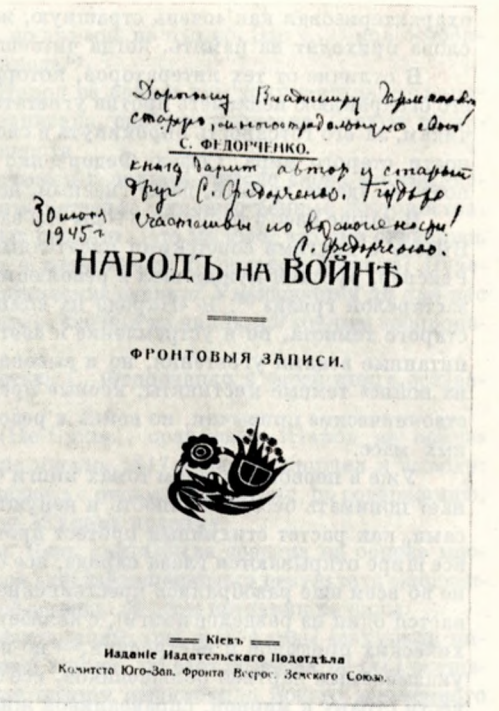
В цитированной энциклопедической заметке было сказано, что «с 1931 ⟨г.⟩ Ф⟨едорченко⟩ почти совсем прекратила свою писательскую деятельность» [52]. Это утверждение нуждается в исправлении.

Писательница тяжело пережила обрушившиеся на нее нападки в печати: она заболела. Но ее писательская деятельность не прекратилась. Несмотря на длительную тяжелую болезнь, часто приковывавшую ее к постели, она продолжала работать до конца своей жизни (умерла она в 1959 г.).

С. З. Федорченко написала еще исторический роман-трилогию из времен пугачевщины «Павел Семигоров» (первоначальное заглавие — «Конец столетия») [53], ряд сказок, пьес, стихов для детей. Однако ее основной труд, который она продолжала дорабатывать еще в 1940-е и 1950-е годы, главная книга ее жизни оказалась, по ее выражению, «книгой злой судьбы» [54]. Она больше не издавалась [55], хотя писательница обращалась в некоторые издательства, где ее рукопись встречала порой даже одобрительные отзывы [56]. Писала С. Федорченко и руководителям Союза писателей [57]. Тем не менее «Народ на войне» очутился в числе незаслуженно забытых книг, а деятельность ее автора превратилась в одно из белых пятен на историко-литературной карте. Об истории «Народа на войне» писал только В. И. Глоцер в содержательном сообщении, сопровождающем публикацию очерка, посланного писательницей в редакцию «Огонька» [58].

Вряд ли можно сомневаться в том, что пора покончить с этой длящейся полвека несправедливостью в отношении книги и ее автора. И прежде всего, конечно, нужно дать читателям и исследователям советской литературы возможность познакомиться с третьим





ПЕРВАЯ ЧАСТЬ КНИГИ С. З. ФЕДОРЧЕНКО «НАРОД НА ВОЙНЕ». ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ

Киев. Издательский подотдел Комитета Юго-Западного фронта Всероссийского Земского союза. 1917. Обложка (по рисунку Е. И. Прибыльской) и титульный лист с дарственной надписью В. Г. Лидину: «Дорогому Владимиру Германовичу старую, многострадальную свою книгу дарит автор и старый друг С. Федорченко. Будьте счастливы по возможности! 30 июня 1945 г. С. Федорченко»

Собрание В. Г. Лидина, Москва

томом, изображающим народ в самый острый, самый решающий момент его социальной истории, в годы гражданской войны и иностранной интервенции. Судьба этого тома сложилась особенно драматически, поскольку он публиковался только фрагментарно и в целом остается неизвестным читателю.

Между тем социально-художественное значение третьей части, как и всей книги, несомненно.

Перед нами народное море, взволнованное и взбудораженное огромными историческими событиями до самых глубин. Писательнице удалось передать мысли, чувства, настроения, чаяния крестьянской массы в ее разных слоях — и более сознательных, и отсталых, темных, в лучших и худших ее представителях, завязших в старом и тянущихся к новому, сражающихся в рядах Красной Армии и оказавшихся в белогвардейском стане или еще колеблющихся, занимающих промежуточную позицию, очутившихся среди так называемых «зеленых».

В беседах, рассказах, а иногда и спорах, воспроизведенных Федорченко, жизнь, история выступают без прикрас, без приглаженности, во всей жизненной сложности, противоречивости, непосредственности, обнаженности, пожалуй даже «с перегрузкой кое-где на кровь» [59], по выражению Л. М. Леонова. Это действительно «Россия, кровью умытая», если воспользоваться названием произведения другого писателя, изображавшего те же годы.

Читая книгу Федорченко, невольно вспоминаешь слова В. И. Ленина о том, что наша революция не свалилась с неба, а родилась и росла «на земле, залитой кровью в четырехлетней империалистической бойне народов, среди миллионов и миллионов людей, измученных, истерзанных, одичавших в этой бойне» [60].

Вспоминается и то, что Ленин считал нужным не затушевывать этой тяжелой правды при изображении войны и революции. Известно, что первое значительное произведение советской прозы о гражданской войне — «Два мира» В. Зазубрина — вождь революции

охарактеризовал как «очень страшную, жуткую», «но хорошую, нужную книгу» [61]. Эти слова приходят на память, когда читаешь многие страницы «Народа на войне».

В отличие от тех литераторов, которые отвернулись в годы революции от народа за его бескрайнюю ненависть против угнетателей, за его стремление беспощадно мстить обидчикам, за его готовность опрокинуть в своем гневе подчас и некоторые культурные ценности старого мира, Софью Федорченко не испугал «буйный крик» толпы — по слову поэта — «даже грубый, даже гневный, даже с бранью пополам» [62].

В толще масс в те суровые годы она замечает отнюдь не только мрачное и мучительное. Вместе с другими советскими писателями она показывает, как, по выражению Ларисы Рейснер, русский мужик шел в революцию, «шаг за шагом выдирая свои ноги из вековой застарелой грязи» [63]. В «Народе на войне» изображаются не только унаследованная от старого темнота, но и устремление к свету, не только черты грубости и жестокости, воспитанные веками угнетения, но и высокая человечность. Сильны в персонажах «Народа на войне» темные инстинкты, косные предрассудки, невежество, заскорузлые, мелкособственнические привычки, но война и революция дали мощный толчок сознанию миллионных масс.

Уже в первом и втором томах книги Федорченко можно было видеть, как народ начинает понимать бессмысленность и ненужность войны, вызванной господствующими классами, как растет стихийный протест против угнетателей. В третьей книге показано, как все шире открываются глаза народа, все больше проясняется его сознание. И хотя далеко не во всем еще разобрались крестьянские массы, хотя они идут еще «ощупью» (так называется один из разделов книги), с колебаниями и сомнениями, часто попадая в плен анархических призывов и настроений,— но все отчетливее проявляется тяга к новым путям, указываемым партией большевиков, все больше крепнет доверие к тем, кто способен повести страну к мирной, справедливой жизни, к светлому будущему. И естественно в конце книги появляются разделы с такими названиями: «Будущее. Стройка», «К своим», «Рабочие», «Ленин», «Москва».

Конечно, нужно сделать оговорку об известной ограниченности этой книги о народе в гражданской войне. В ней почти не представлены голоса рабочих. И сама писательница в предисловии к журнальной публикации фрагментов третьего тома делала оговорку о том, что «книга ни малейшим образом не может претендовать на исчерпывающее или даже неполное описание гражданской войны» [64]. Нельзя искать здесь и отражения всех основных этапов войны. В письме к К. Е. Ворошилову Федорченко называла третий том книгой «о самом раннем, еще стихийном зачатке гражданской войны на Украине» [65].

Но и учитывая некоторую ограниченность диапазона книги, мы не можем не признать большой социальной значительности изображенного в третьем томе «Народа на войне». Это достоинство произведения признал такой видный деятель Коммунистической партии, как И. И. Скворцов-Степанов. Он писал 13 декабря 1926 г. Вяч. Полонскому: «Было бы полезно поручить кому-нибудь написать небольшую статью об этом материале: деревня, вообще не приемлющая войны, социально-туповатые элементы, которые инстинктом ненавидят офицеров и бар, но не разбираются в сложном переплете отношений и попадают то к бандитам, то к белым, «коммунисты», которые толком ничего не могли бы сказать о коммунизме». Свой отзыв Скворцов-Степанов кончает выводом: «Вообще любопытнейшее отражение того периода» [66].

Сильнейшей стороной произведения и в третьем томе является язык — меткий, яркий, образный. Федорченко провела раннее детство в селе Кохме Владимирской губернии, Шуйского уезда. Та местность, в которой жила будущая писательница, была, по ее словам, «еще полна сказок, преданий, старинных песен» [67]. И это, разумеется, помогло автору «Народа на войне» впитать в себя с детства русскую народную речь во всей ее красочности, во всем ее богатстве и воспроизвести потом голоса многочисленных своих персонажей — фронтовиков, крестьян, партизан — так точно, колоритно и выразительно. Именно здесь были заложены первоосновы тесной близости писательницы к народу, ее превосходного знания быта и психологии русского крестьянства.

В одной из черновых тетрадей Федорченко есть любопытная карандашная запись — набросок ответа на вопрос, почему она выбрала героем массу: «По этому поводу должна сказать, что, будучи кровь от крови и плоть от плоти русской интеллигенции, творчески я интересами ⟨ее⟩ совсем не в силах заинтересоваться. Даже рука не подымается, скучно

писать и не выходит. Конечно, могу написать, но это мне не нужно. Это <...> моя особенность как писателя. Понять могу только — народ» [68].

Разумеется, теперь мы не воспринимаем «Народ на войне» как документальные записи услышанного, но то, что книга не столько записана, сколько написана, отнюдь не лишает ее художественной и познавательной ценности.

Мы знаем, что даже произведения, являющиеся в полном смысле слова мистификацией и стилизацией под фольклор, могут иметь большие художественные достоинства. Вспомним хотя бы пушкинские «Песни западных славян». Что из того, что они оказались переложением не подлинных народных песен, а сочиненных Проспером Мериме? Перестали ли они быть жемчужинами поэзии? А пушкинские сказки? Уменьшается ли для нас их художественная прелесть, когда мы убеждаемся, что они не являются точным воспроизведением сказок фольклорных?

Не связывая себя строгой документальностью, С. Федорченко в своей книге оставалась верна правде жизни.

Упоминавшийся выше И. Василевский (Не-Буква), сравнивая «Народ на войне» с книгой подлинных документов — «Солдатские письма 1917 года» [69], пришел к выводу: то, что мы читаем у Федорченко, «детально совпадает» с письмами «по тону, по содержанию, по идее» [70]. Поэтому он и назвал свою статью — «Талант правды».

Вывод критика был вполне закономерным. Ведь книга была создана на основе множества живых, непосредственных впечатлений от действительности, в результате ежедневного тесного общения с сотнями представителей народа. В этом источник ее силы.

Характерно, что, по признанию самой писательницы, она в 40-е годы «задумала писать опять «Народ на войне»,— на Отечественной войне», но этот замысел не был осуществлен, очевидно, потому, что в данном случае автору недоставало нового жизненного материала: больной и пожилой писательнице невозможно было в эти годы самой побывать на фронте, среди своих героев. И она смогла откликнуться на события Великой Отечественной войны только в сказочной форме, сочинив «Русскую сказку про Илью-Муромца и миллион богатырей» [71]. Иначе обстояло дело четверть века назад, когда писательница оказалась в самой гуще воюющего народа.

В методике литературной работы Софьи Федорченко было и то, что сближало ее с другими писателями, и то, что отличало ее от них.

За ее рассказами, конечно, стояли конкретные, живые люди. В немногочисленных дошедших до нас записных книжках Софьи Федорченко с текстами фрагментов «Народа на войне» есть в ряде случаев пометки о таких конкретных людях, о тех, от кого эти рассказы услышаны. Вот несколько примеров: «Евстафьев — Воронеж. губ.— без ноги!» Или: «22-я дивизия (17 мая убили)». Или еще: «донец, без ноги, нахал, талантлив, играл на балалайке и чудесно рисовал, сочинял экспромтом что угодно» [72].

Мы видели, что писательница в полемике с теми, кто преуменьшал ее авторский труд, на определенном этапе склонна была чуть ли не начисто отрицать факт записывания рассказываемого ей. Позже, более спокойно характеризуя свою работу, она признавала наличие некоторых записей. В черновике письма к Н. Н. Накорякову мы читаем: «Записывала я какие-то — отрывочные слова, скорее напоминая себе свои впечатления от виденного и слышанного, чем подлинные слова, но смысл, правду того, что слышала, я хранила строго» [73].

Ограничиваться минимальными первоначальными записями позволяла ей, очевидно, великолепная память. «Память моя особая оказалась, впечатления были неизгладимы, видимо», — свидетельствовала сама Софья Захаровна [74].

С. Федорченко обладала замечательным слухом, улавливавшим все интонационные особенности, все своеобразие живой речи, поразительной способностью «слышать и передавать без стенографии» все богатство «полнозвучного и щедрого» русского говора. А дальше происходила напряженная творческая работа над текстом, которую сама писательница характеризует так: «Работа (и большая) у меня в том, что я до последнего сокращаю количество слов. Ищу наиболее подходящее слово, одно из многих» [75].

Но, может быть, самым характерным, самым специфичным для С. Федорченко как писательницы была способность перевоплощения в своих героев. Вот что мы читаем в черновых набросках одной ее статьи: «Вероятно, всякий писатель имеет свою особенность. Я обладаю особенностью вживаться в тысячи, если сильно задета и напряжена воля» [76].

Выше уже приводились выразительные слова С. Федорченко о том, как она написала свой первый отрывок из «Народа на войне», «влезши в шкуру рассказавшего ⟨...⟩ этот случай солдата и абсолютно забыв себя самое». Вот эта способность писательницы «влезть в шкуру» солдата, «абсолютно забыв себя самое»,— пожалуй, самое главное, что определило художественный успех книги.

Показательно, что это же свойство писательницы заметил К. Чуковский в сказках и присказках С. Федорченко. Он писал об изображении действующих в этих присказках традиционных русских зверей — ежа, зайца, лисицы, волка. «Автор не смотрит на них чужими глазами, он и сам перевоплощается в них ⟨...⟩ Таков его художественный метод. Похоже, что он так долго вглядывался в каждого зверя, что, наконец, усвоил себе его голос, его психологию, его лирический тон» [77].

К книге Федорченко пора подойти с теми же критериями, с какими мы подходим к другим художественным произведениям. Когда Островский воспроизводит речь купцов или Шолохов речь казаков, мы не сомневаемся в правдивости, жизненности их высказываний, их реплик и не спрашиваем, где, как и насколько точно записал эти слова, эти мысли тот или другой автор. Не надо этого делать и по отношению к автору «Народа на войне».

Пожалуй, раньше других проник в существо работы С. Федорченко как писательницы проф. И. Н. Розанов. В 1925 г., когда еще шел разговор, насколько книгу «Народ на войне» можно зачислить по ведомству фольклора и этнографии, он писал: «По-видимому, мы имеем тут дело не с ученым-этнографом, а с этнографом-художником ⟨...⟩ Художнический подход к этнографическому материалу имеет свои несомненные выгоды: при нем опускается все случайное, нехарактерное, зато остальное приобретает силу типичности и убедительности· если не все то, что мы встречаем в книге, и не совсем так рассказывалось в действительности, то это кажется несущественным. Важно то, что так могли и должны были осмысливать происходившие события наиболее вдумчивые из солдат в минуты воодушевления. И сама книга приобретает значение как одно из лучших словесных отражений дум и чаяний народа в один из важных исторических моментов» [78].

Конечно, произведение Софьи Федорченко необычно по своей форме. Выше уже упоминалось о том, как писательница после нескольких попыток почувствовала, что ее тема и ее материал не укладываются в принятые литературные формы, особенно в традиционную форму романа, и поэтому искала новых путей.

Впрочем, книга Федорченко не так уж отделена от остальной художественной литературы тех лет, от ее исканий: многие писатели, стремившиеся изобразить события революционных лет, передать образ эпохи, искали новых, не традиционных, крупномасштабных форм. Характерны, например, раздумья на эту тему Вс. Вишневского: «Сюжет идет от столкновения масс. Для меня — сюжет — сама история. Я считаю мелким и пошлым подменять фабульными штучками гигантское течение самой жизни» [79]. С. Федорченко тоже не хотела идти по проторенным путям обычного фабульного повествования и нашла свой жанр, давший ей возможность показать именно «столкновение масс», «гигантское течение самой жизни».

«Новая, послеоктябрьская литература своим главным объектом сделала народные массы»,— справедливо констатировал в те годы А. Воронский [80]. Книга Федорченко находится как раз в русле большинства произведений советской художественной прозы 1920-х годов.

Писатели тех лет, разрабатывая тему народа, стремились как можно чаще предоставлять слово непосредственно представителям самого народа, рассказывать о событиях народной жизни, о революции и гражданской войне устами его самого. Широчайшее обращение к сказу, к устному монологу повествующего лица из крестьянской, рабочей, солдатской массы, ставшее одной из главных особенностей литературы той эпохи, давало возможность во всей конкретности и непосредственности, как бы без передаточных звеньев, воспроизвести образ мыслей и чувств трудового народа, ввести в повествование народный критерий оценки изображаемых событий, без авторских коррективов.

Отмечая, что в первой половине 1920-х годов литература заговорила от имени народной массы и ее языком, историки советской литературы вспоминают Вс. Иванова, Сейфуллину, Неверова, Артема Веселого и многих других, но, к сожалению, в этом ряду никогда не называется произведение Софьи Федорченко, которая шла по этому пути дальше и последовательнее, чем большинство других писателей. Голоса народной массы звучат

у нее совершенно не заглушаемые голосом автора. В этом отношении книгу С. Федорченко можно сблизить с произведениями драматургии. Здесь даны только отдельные голоса людей, как и в драме без видимого вторжения самого автора, без авторских характеристик, описания и повествования. И за каждым голосом встает живое человеческое лицо, со своими взглядами, со своим характером, со своими индивидуальными особенностями. А в совокупности эти отдельные голоса людей, их «невыдуманные рассказы» образуют социальное многоголосие, красочную полифонию, создают широкую панораму жизни и борьбы русского народа в грозную эпоху революции.

Нельзя не согласиться с обращенными к Софье Захаровне Федорченко словами К. И. Чуковского: «Если ваши книги умрут как документы, они останутся жить как мастерское произведение искусства» [81]. Это справедливо тем более, что их тема, как сказала сама писательница, «наш народ, его судьбы, его борьба» [82], а это самая значительная, самая важная для художника, для искусства тема.

Третий том «Народа на войне» печатается (с некоторыми сокращениями) по машинописи, сохранившейся у Н. П. Ракицкого и переданной им в Архив Горького (Рав-БП, 36-31-1,2). Подстрочные примечания с пояснениями слов даны публикаторами.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Северные записки», 1917, № 1; «Народоправство», 1917, №№ 9—13.
[2] «Русская литература», 1973, № 1, с. 153.
[3] Газ. «Понедельник», 1918, № 10, 23 апреля.
[4] «Известия ЦИК СССР», 1925, № 279, 6 декабря.
[5] «Киевская мысль», 1918, № 139, 16 августа.
[6] «Накануне». Литературное приложение, 1923, № 57, 17 июня.
[7] Ал. Блок. Собр. соч. в 8 томах, т. 6. М.—Л., Гослитиздат, 1962, с. 19.
[8] Там же, т. 7, с. 411.
[9] «Правда», 1922, № 247, 20 октября.
[10] Газ. «Современное слово», 1917, № 3972, 24 февраля.
[11] «Правда», 1922, № 247, 20 октября.
[12] «Накануне». Литературное приложение, 1923, № 57, 17 июня.
[13] См. наст. том, с. 569.
[14] Письмо от 2 апреля 1923 г.— Архив В. Вересаева (собрание В. М. Нольде. Москва).
[15] Вл. Лидин. Друзья мои — книги. Заметки книголюба. М., 1966, с. 227—228.
[16] Сообщено А. М. Крюковой.
[17] *Архив Горького*, т. X, 1, с. 110. Цитируемое письмо опубликовано здесь с опечаткой: «построение», вместо «настроение».
[18] М. Горький. Собр. соч. в 30 томах, т. 25, М., 1953, с. 142.
[19] «Накануне». Литературное приложение, 1923, № 57, 17 июня, с. 6.
[20] С. Федорченко. Народ на войне, т. II. Революция (Собр. соч., т. II). М., «Никитинские субботники», 1925. См. также публикацию фрагментов из второй книги «Народ на войне» в журналах: *КН*, 1924, № 5, и «Русский современник», 1924, № 2. Еще в период Февральской революции в петроградской газете «Речь» были напечатаны записи С. Федорченко под заглавием «В эти дни» (1917, № 58, 9/22 марта).
[21] «Правда», 1925, № 109, 15 мая.
[22] См.: ИРЛИ, ф. 369, ед. хр. 499, л. 2—3 (письмо С. З. Федорченко к М. А. и Л. Е. Булгаковым); ф. 562 (письмо Л. М. Леонова к М. А. и М. С. Волошиным от 18 декабря 1925 г.); ЦГАЛИ, ф. 1611, оп. 1, ед. хр. 75 (письмо М. А. Булгакова к Федорченко от 24 ноября 1925 г.)
[23] *НМ*, 1927, № 3, 4, 6; «Октябрь», 1927, № 6, 7; «Огонек», 1927, № 37.
[24] «Речь», 1917, № 48, 20 февраля (5 марта).
[25] «Накануне». Литературное приложение, 1923, № 57, 17 июня.
[26] «Северные записки», 1917, № 1, с. 133.
[27] С. Федорченко. Народ на войне. Фронтовые записи. Киев, 1917, с. 3.
[28] *ПР*, 1925, № 8, с. 246.
[29] А. Толстой. Собр. соч., т. XII. М., «Недра», 1929, с. 123—124.
[30] «Огонек», 1927, № 37, ‹с. 12›.
[31] «Вечерняя Москва», 1927, № 243, 24 октября.
[32] Драма В. К. Винниченко «Черная пантера» в 1916 г. шла в Киевском драматическом театре «Соловцов». Премьера состоялась 30 сентября 1916 г.
[33] «Русская литература», 1973, № 1, с. 153—154.
[34] Демьян Бедный. Собр. соч. в 5 томах, т. 5. М., Гослитиздат, 1954, с. 286.
[35] Там же, с. 287.
[36] «Известия ЦИК СССР», 1928, № 43, 19 февраля.
[37] См.: М. Батин. «Малахитовая шкатулка» в стихах.— В кн.: М. Батин. Жанр и мастерство. Свердловск, 1970.

[38] Гос. архив Свердловской обл., ф. 2266-р, оп. 1, д. 2498, л. 1 (за присылку фотокопии этого письма приношу благодарность краеведу и фольклористу В. П. Тимофееву). В более сокращенном виде письмо цитируется в кн.: М. Батин. Жанр и мастерство, с. 51.

[39] Демьян Бедный. Собр. соч. в 8 томах, т. 8. М., 1965, с. 473. Демьян Бедный не осуществил свое намерение опубликовать «Горную породу», она была напечатана только в 1950-х годах.

[40] Гос. архив Свердловской обл., ф. 2266-р, оп. 1, д. 2498, л. 1.

[41] «Воспоминания о Демьяне Бедном». М., 1966, с. 232.

[42] «Советские писатели. Автобиографии», т. III. М., «Худож. лит-ра», 1966, с. 215.

[43] Там же, с. 220.

[44] ЦГАЛИ, ф. 1611, оп. 1, ед. хр. 28.

[45] «Читатель и писатель», 1928, № 7—8, 25 февраля, с. 1.

[46] *Архив Горького*, т. X, кн. 1, с. 110.

[47] М. Горький. Собр. соч. в 30 томах, т. 25, с. 141.

[48] АГ, ПГ-рл 25-33-2. О том, что Горький сохранил интерес к книге С. Федорченко и в самые последние годы жизни, свидетельствует следующий факт. В личной библиотеке писателя среди книг, находившихся у него на даче в Горках, имеется экземпляр «Народа на войне» («Новая Москва», 1923) с вложенным в него письмом директора Гос. изд-ва художественной литературы от 21 июня 1935 г.: «Секретариат А. М. Горького, т. Крючкову. Тов. Крючков! Гослитиздат посылает вам для Алексея Максимовича две книги—Войтоловский «По следам войны» и Федорченко «Народ на войне». По ознакомлении просьба переслать книги обратно по адресу: Гослитиздат, Библиографический отдел, т. к. вам посылается единственный экземпляр б-ки (Войтоловский), а Федорченко взят нами из другой библиотеки.

Директор Н. Н. Накоряков».

(«Личная библиотека А. М. Горького в Москве. Описание». В двух книгах. Книга II. М., «Наука», 1981, с. 23).

[49] Из письма Н. Н. Накорякова к С. З. Федорченко от 3 сентября 1956 г. Цит. по машинописной копии, предоставленной Н. П. Ракицким. После 1927 г. появился только перевод «Народа на войне» на французский язык: Sophie Fedortschenko. Le peuple à la guerre. Propos de soldats russes recueillis par une infirmière. Adaptés du Russe par L. Bach et Ch. Reber. Paris, Librairie Valois, 1930. (Раньше, в 1924 г., был издан еще один перевод книги С. Федорченко — на немецкий язык — под названием: Der Russe redet. Aufzeichnungen nach dem Stenogramm von Sofja Fedorschenko. Deutsch von A. Eliasberg. München. Drei Masken Verlag)

[50] Литературная энциклопедия, т. 11. М., ГИХЛ, 1939, стлб. 680.

[51] «Литературная газета», 1939, № 24, 1 мая.

[52] Литературная энциклопедия, т. 11, стлб. 680.

[53] «Детство Семигорова» (КН, 1942, № 5—6, 7, 8; отд. изд.— «Сов. писатель», 1956); «Отрочество Семигорова» (1957); «Юность Семигорова» (1960); «Павел Семигоров. Трилогия», кн. 1—2 и кн. 3. М., «Сов. писатель», 1963.

[54] Из письма С. З. Федорченко к К. А. Федину.— ЦГАЛИ, ф. 1611, оп. 1, ед. хр. 67, л. 2.

[55] В недавнее время в советской периодике были напечатаны небольшие отрывки из III книги «Народа на войне» (из разделов «Ленин» и «Москва») в «Огоньке» (1977, № 16) и в «Литературной России» (1978, № 10).

[56] См. напр., датированный 9 декабря 1956 г. отзыв М. М. Скуратова для Гослитиздата (ЦГАЛИ, ф. 1611, оп. 1, ед. хр. 129).

[57] Там же, ед. хр. 60, 67, 72.

[58] «Русская литература», 1973, № 1, с. 148—155. Книга «Народ на войне» не рассматривается ни в одной из работ о литературе послеоктябрьского десятилетия, даже в работах, специально посвященных теме изображения народной массы в литературе этих лет. Творчество С. Федорченко не нашло отражения и в многотомном библиографическом указателе «Русские советские писатели прозаики» (1959—1963), хотя здесь представлены даже некоторые третьестепенные литераторы.

[59] Из письма Л. М. Леонова к М. А. и М. С. Волошиным от 18 декабря 1925 г.— ИРЛИ, ф. 562.

[60] *Ленин*, т. 36, с. 475—476.

[61] «В. И. Ленин и А. М. Горький. Переписка. Документы. Воспоминания». Изд. 3-е. М., «Наука, 1970, с. 356.

[62] Валерий Брюсов. Собр. соч. в 7 томах, т. 3. М., 1974, с. 54.

[63] Лариса Рейснер. Избранное. М., «Художественная литература», 1965, с. 506.

[64] *НМ*, 1927, № 3, с. 82.

[65] «Русская литература», 1973, № 1, с. 155.

[66] *НМ*, 1965, № 5, с. 213—214.

[67] От автора.— В кн: Софья Федорченко. Павел Семигоров, кн. 1—2, с. 7.

[68] ЦГАЛИ, ф. 1611 оп. 1, ед. хр. 50, л. 75 об.— 76.

[69] «Солдатские письма 1917 года». Пред. М. Н. Покровского. М.— Л., 1927.

[70] «Вечерняя Москва», 1927, № 243, 24 октября.

[71] Одна из песен (6-я) поэмы-сказки «Илья Муромец и миллион богатырей» напечатана в «Блокноте агитатора Красной Армии», 1943, № 12 (под названием «Богатыри»).
[72] ЦГАЛИ, ф. 1611, оп. 1, ед. хр. 50, л. 9, 11 об., 21 об. (Записная книжка № 1).
[73] ЦГАЛИ, ф. 1611, оп. 1, ед. хр. 50, л. 60.
[74] «Русская литература», 1973, № 1, с. 153.
[75] ЦГАЛИ, ф. 1611, ед. хр. 50, л. 74, 73 об.
[76] Там же, л. 74.
[77] «Русский современник», 1924, № 4, с. 254.
[78] Андрей Ш и п о в ‹И. Н. Розанов›. Народ во время революции.— «Народный учитель», 1925, № 5, с. 119.
[79] Вс. В и ш н е в с к и й. Собр. соч. в 5 томах, т. 2. М., Гослитиздат, 1954, с. 803.
[80] А. В о р о н с к и й. Литературно-критические статьи. М., 1963, с. 300.
[81] ЦГАЛИ, ф. 1611, оп. 1, ед. хр. 111, л. 3.
[82] Там же, ед. хр. 72, л. 5.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВСТУПЛЕНИЕ

Пролетала горлица
над селом,
помахала горлица
да крылом,
горе-горе птенчикам
да моим,
вдвое горе детушкам
молодым.

Мои птенчики на крылах
витают,
молодые на конях
летают,
птенчики меж ветвями
гинут,
молодые меж корнями
стынут.

Поднялася горлица
высоко,
поглядела горлица
далеко,
не птенцы то меж ветвями
гинут,
то не дети меж корнями
стынут.

Как набито воронья,
намято,
накошено ворога,
нажато,
не закопано его,
не заховано,
по полям-полянам
побросано.

★

Шли-то мы как? Без передыху почти. За плечами зверь. Перед очами народ пропадет, если не поспеем. А снег, а дождь, а болота, а овраги, а топко, а болячки, а тиф? И ни тебе одежи-обужи, ни тебе лекаря-ухода, ни подводки на отдых. Пьешь снежок да болотце, а есть,— так хоть болячки грызи, ничегошеньки. На часок приляжешь — в грязь для тепла закапывайся, да и то некогда. Был у меня валенок — отмок, и сошла почти вся ступня болячкой. Это тебе не военное снаряжение, так только за свое дело воюют.

★

Сам знаю, за что пошел. Вороти камень, коли путь он застит. Нужно идти — своротишь, нужно жить — своюешь. А не своюешь, гнойсь с детьми и внуками своими.

★

Сюда пришел по своей вольной воле. Вижу, не дурак,— не жить теперь по-хозяйски. А если уж принять войну, так за свое крестьянское дело.

★

Теперь только сумасшедшие дом сторожат. И бабы даже не всякие. Теперь дом на слом, сам на конь,— и летай вольным соколом по над родными полями!

★

На войне был я человек подначальный, не свой. Потом шла у нас на фронтах крутня, одни разговорчики. Тут только языку работа, а у меня язык не сила, моя сила в удали. Вернулись в самую бучу, дома нету, а и был бы —

так хоть ты его на колеса ставь, до того все в движении. Сорвало нас ветром, да и несет через Расею, может что и посеем.

★

Чего-то на прежнюю жизнь не похоже. И не в том все дело, что царя нет, что кнутом не гонят. А в том сила, что самому выбирать себе жизнь надо, самому решать, да и идти по тому пути.

★

Вот четвертый раз нас с того места выбивают, а в последнем же расчете быть нам повсеместно наверху. Первое: потому, что ко всему мы привычные, нас черной жизнью не настращаешь; второе: нам жить хочется. А наиглавное — людей верных имеем, эти не продадут!

★

Хожу, брат, деруся, двужильничаю, и не хватает мне только стоящего руководства, чтоб из глины горшок, из зерна мука, из удали моей людям настоящая польза.

★

Присматриваюсь я к партийным, выбираю, по большей части правильные они люди. Когда совсем выберу, приду к ним, скажу: — берите меня всего, с буйной моей головой. Доверился я вам, теперь куда укажете, куда повернете, туда и пойду.

★

Я партийных как-то не люблю, страшусь. Вот как конь необъезженный, дрожу даже, ей-богу. Мне куда труднее всякой устали по чужой указке жить, хоть бы по справедливой. Меня еще обламывать нужно, если бы у партийного время нашлось.

★

Теперь, когда много всего мне объяснили, легче мне стало разоренными, спаленными деревнями идти. Понял я, что не в небо дымком, что жизнь не за зря.

★

Подхватила нас воля ветром, закрутила нас воля вихрем, тут «стой! — кто-то кричит,— опомнись, одумайся, на нужное кровь пролей!» Только ты стоять-то стой, да не очень долго, чтобы времени не пропустить.

★

Стал я теперь, как бы, от скоку-прыгу этого отказываться. Стал я толк искать, умных людей слушать, не всякого приятеля за товарища почитать.

★

Жаль, конечно, что мало я образован, пользы от меня, как от сохи деревянной. И в том особая жаль, что каждый человек у нас на счету. Я ж какой строитель? Сруб, венцов на десять, срублю, осиновый, а повыше-то что? Эх, жаль какая.

★

Я тоже безграмотный, почти что темный, а по-старому жить не стану, на прежнее не поверну, назад не оглянусь. Пойду вперед, у меня в том одна и радость. Будь что будет, а чтоб — вперед и вперед.

★

Я теперь во всем новое вижу. Дитя такое, драное, от голода синее, бредет-бредет, от ветра валится. А я вижу, как ему жить будет, как будет он спокоен, сыт, обут, одет, всему выучен. Хатка передо мною завалюшка,— а я, может, дворец обмечтал. Коровий навозный бок предо мной, а в глазах корова гладкая, розовая да белая, с большой посудой полной молока. Лошадка-лохматка подо мной, а вот он, конь, из ноздрей огонь. И всё потому, что новое видеть умею и что всего добиваемся.

★

И пью при случае, и словом черным не брезгую при случае. Тоже и охулки на руку, насчет чужого добра, не положу. Словом, не мыт, не глажен, ни перчаточек, ни печаточек. И вот присматриваю за собой, и вот впереди все надежда и надежда, на справедливую жизнь, на перемену привычек и на нужность свою в настоящем деле. Это тебе батюшка из священного писания не начитает, нет!

★

Делаю я свое военное, отчаянное дело, как бы в глухом закутке, без близкого руководства, с одной такой памяткой, вроде урока от самого большого человека. Я теперь такой вот, дикий почти, все же толк знаю, руки в чужом барахле не полощу, с глаз врага не выпускаю, народу свою власть ставить помогаю. Насчет же высших наук тоже свое мечтание имею.

★

Тут прислали нам нового человека, девятнадцати лет, студент что ли. И стал я слушать, и выходит: что думалось-ждалося, за что на ногах последнюю обужку перетер, за что на руках последнюю шкурку выязвил, с плеч всякое лохмотье в тлен, и сердце на врагах опаленное, и рот от голода да ушибов резких обеззубел,— за правое это дело, за широкое; а не то, что в одних этих вот местах, для одних этих вот людей. Скоро я и речи обучусь, и обессиливать людей не дам.

★

Что чувствую? Спать ли лягу, тружусь ли, голодно ли, холодно ли мне, в лохмотьях я или как,— конец обиде! Я теперь человек государственный, не о своей только хате мысль имею, новый я.

★

Мы здесь не первого сорта люди. И охальники, и другое что, ножику с вилкой нас не учили. А вот и на нас тоже общая жизнь теперь лежит, на наших протертых плечиках. Обязаны теперь и мы кругом зорко смотреть для общей справедливости. С непривычки и боязно это, и занятно.

★

Как бы проснулся я, как бы важность свою понял. Ого! обидь теперь меня кто-нибудь словом! Или плечиком чужим доторкнись,— голова долой! Вот!

★

Жили плохо, грешно жили. И не перед богом грех, а вот что над семьей тиранничали и над собой тиранничать дозволяли. Ни за посул, ни за воздух пустой — за темноту свою такое допускали. Этого я ни себе, ни врагу не прощу.

★

Прежде-то мерекаешь-мерекаешь об домашнем,— туда рубль, сюда целковый, на сапоги подковы, женке платок новый. Да мало ли что. А денег нет, ночью ворочаюсь, подстил протираю. А теперь какая ночная у меня забота великая? Жизнь новая начинается, наша жизнь! Не полсапожки примерять. Ведь и так статься может, что придется мне министерские дела делать. Ведь кому-нибудь делать-то их надо? Не чужих же людей допускать. Так каков я буду для больших-то дел?

★

Вожу носом но воздуху — только волей потягивает. Я же порядка жду, а под ноздрей одна воля. Эх, кабы к воле и порядок, — вот тут тебе и свобода была бы.

★

Из Питера, царской столицы, самого наибарского рая, прислал нам мудрый человек товарищей для руководства. И каким нам-то! Мы уж, было, от непонятия разбойниками счесться могли, устали от бестолку. А вот же, прислали нам самых образованных, а вот же, сказывали, что если мы по правде, да по порядку, да при всей нашей силе, да зная что к чему,— так без нас

сделать государство наше трудновато. Гордости теперь в нас, ого! Свороти-ка нас, смерть не своротишь!

★

Ну и убивали, ну и с гнезд скидовали. Так ведь кого? Вот теперь я выучился всему такому, и другим толк объяснить могу. Спасибо партийному парнишке, рыженькому воробушку, что из Питера к нам припорхнул. Я теперь из-за всякой, даже чужестранной голоты воевать согласен. А не согласен буду, дурак буду. Вроде как бы на зло соседу свой пожар не тушить, чтобы соседова рига загорелась. Все мы, голота, с одной улицы соседи.

★

Вот ты говоришь тут, у всех на глазах, во все наши уши дудишь, что весь мы мир перестроим. Так сказать, рай на земле. Зажгла синица море! Наслушался ты питерских ходоков, они для нашего брата заразительные. А я, тех же речей послушавши, так думаю: дай ты нам, боженька, свою Россию по справедливости устроить, работу поднять, образование, и панов с нашей шеи сшибить. Вот тебе и рай, вот тебе и спасибо, вот тебе оно самое, чему у нас и за границей поучатся, да в чем нам совет и помощь от столичных товарищей нужна.

★

Рощены покорными, а теперь даже смешно. Полетело послушание вольным ветром, бабьим летом, в короткий срок.

★

Может, и не думали, а каждый обижал. А как, бывало, задумаешься, так одна думка — эх, воли бы.

О САМОЙ ВОЙНЕ

Вы прощайте, волики
голубы,
здесь нам воли, волики,
не добыть.
Ухожу я, волики,
воевать,
станут-станут воликов
свежевать.
Будьте ровне, волики,
на пирог,
дайте ровне, волики,
да жирок.
Я на то вас, волики,
не берег,
станьте вражьей глоточке
впоперек.
А дождетесь, волики,
до конца,
вы меня прокормите,
молодца.

★

Тут не про походы, да победы, да отступления. Про это книги расскажут. А о живом тоже переговорить надобность есть.

★

Ушел я с той войны совсем замиренный, до того воевать обрыдло. Ладно,— ушел, домой пришел. А тут по всем хатам обида,— поманили свободой, а доли не дали. Вот и пошел я долю к воле добирать.

★

Я, с войны вернувшись, хозяйничать, было, стал, ей-богу. А тут взбучило деревню, старики и те советуют. Мать родная — и та чуть тебе топора в руки не тычет.

★

И на что, про что добывали? И на что врагов добивали, если опять в работу? А отдых-то когда?

★

И я пропаду, и врага изведу, зато людям легче будет.

★

Та война, сразу видать, не последняя была. Всю желчь разворотила, а под ружье чужие, невинные ничем народы поставила.

★

Своя шкура ныла, своя глотка выла. Всё по своей воле принимаем.

★

Ни пня от старой жизни не осталось. Отца убито от немцев, мама с недоедки да с горя померла, братья, словно и я, на лету,— может и в живых нет. Примерли жена и дети. Мне бы только с братвой до дела доходить, и чтобы роздыху на горе не было.

★

А я и дома бы посидел, да не на чем. Ни печи, ни припечки. Была родня — ветром развеяло. Вот воюю. Может вывоюю людям от врага домок.

★

До чего ж эта война ничего не бояться научила. Вот считай: голод — видали, волками выли; тиф — выжили, больше не будет; пожар — за печку считали, каждый день тапливали; грабеж — это чего уж проще; раны — как на собаке струпьев; му́ки от врага — так не хуже старинных великомучеников; смерть же, даже смеху подобно: уж и вешано, уж и топлено, уж расстреляно по множеству раз. Бои не в счет всему этому. А живы, живы и будем.

★

Вот бы в родных моих местах повоевать, я бы там кой-кому судьбу бы перестроил.

★

В родных местах только справедливый может воевать, чтоб самых наинесчастных не умучать — за козны, что не так мальчонками сыгралося.

★

Когда знаешь куда да за что — не давай времени на роздых. Как кто поперек — сшибай. За тобой идут, им легче станет.

★

На ходу думать некогда, да и не к чему. Твердо знай — надобно. А потом, когда придем, думать станем.

★

Жж... Жжжж... пули. Ажно дышут они на тебя, ажно волосы пошевеливают, ажно ласковый от них ветерок.

★

У нас сговор будет,— свою войну довоюем, на чужую не идти.

★

Да «думали ли», да «гадали ли»? Никто не гадал, да бог угадал. Каку надобно войну, ту и терпим.

★

Бывало, на кулачки выйдешь — весело, сердце играет. Была немецкая война — как во сне воевалося. Куда повернут, туда и тычешь, глаз не продирая. А вот теперь и зрячи, и желчь кипит, и сердце играет.

★

Командиры у нас — босячня босячней. Ни у него лошадки, ни у него корки лишней. Один бинокль с нами в различие, а так все мы, как один.

★

Ничего эта война на ту непохожа. Идешь через голод, через силу. Дошел — крик, стрельба, ховаются от нас в панике. Тут ворвались, всё по-нашему, и плачут, и кричат. Какой ты есть, такой и представляешься. Всё понятно, и кто, и за что. Это тебе не заграница, да по чужой воле.

★

На той войне нас били, на этой — мы бьем. Может, мне только так сдается, а думаю, потому только мы и бьемся, что мы всех справедливей и сами за себя.

★

Шел я из последнего, не своими ногами, и припал к пеньку придорожному,— прощайте, братики. Даже как бы легче стало, что не идти. Тут топ, конники до меня,— сгинь!.. Я же ни с места. Ткнули они меня — я хоть бы что. Даже как бы легче стало, когда кровью сошел.

★

Я, говорит, с под Москвы, всю войну под звездою красной воюю, а вы из рук в руки. Тут один вышел и все рассказал. Не из рук, говорит, мы в руки, а из мук в муки. Ты, говорит, разве своей стране воин? Да ты, говорит, и войны-то не видывал. А мы вот как: немцы на нас сели — сброшено; атаманы разврату учили — скинуто; добровольцы нас в навоз головою — скончено; а если ты, товарищ, нас изменой попрекать вздумаешь — и товарищу тютю дадено будет.

★

Вот идем мы, идем, сколько-то тысяч верст,— и ни одного дома крестьянского в целых не видим: кто подбит, кто летает, кто и следу не кинул, а старое со слез слеппет.

★

На той войне я всё дом поминал. Дом да семейство. Теперь же и дому-то почти не осталося, семейство развеяло,— кто на каком свете, неизвестно. Я теперь вольный, вперед гляжу.

★

Мне дома не усидеть. Пошло дело к тому, либо тебе жить, либо ему. Такого сиднем не добиться.

★

Бывало с войны приедешь — всего слезьми умоют, сластьми угобзят *. А теперь никакой нам радости. За вами, говорят, война на нас навалилась,— и ружья, и пушки, да и немцы показалися.

★

Вернулся я в место, встретили меня родители сурово. Ждали, говорят, бажали** миру, а вы с войны ушли, да здесь войной балуетесь, а хозяйство как?..

★

Признаюсь я тебе не по-крестьянски, пока времени не видно, я и земли не хочу. Вся наша будет, тогда людям заживется.

★

От нас дома нос воротят с того, что вперед им не видать, от темноты. А умаяны сильно, вот и бурчит деревня.

★

Гнезда поразорили, новые совьем. Деток пораскидали, новых выведем. Только бы воли из рук не отдать,— все приложится.

★

Уж если невесть за что мы ту войну веки-вечепские терпели, так уж за самую жизнь стойко теперь своюем.

★

Требую я теперь простых слов. Чтобы за словом на выверт клятой какой правды не подсунули. У нас правда своя, имя же ей простое — воля.

★

Какими хочешь словами говори, только бы толк добрать. Я мало обучен, почти грамоты не знаю, а хоть какими словами про толк скажи, сразу раскушу.

★

Стал его спрашивать, стоит ли, мол, за это дело воевать, и что это за дело такое? Ничего не понять,— будет то, что все решат. А что решать, если всё от нас решено. Взял я свою винтовочку, да за околицу — своих дожидать.

---

* Угобзи́ть (*обл.*) — одарить, наделить.

** Бажа́ть (*обл.*) — желать, хотеть чего-либо



«ЦАРСКИЕ ПОЛКИ И КРАСНАЯ АРМИЯ. ЗА ЧТО СРАЖАЛИСЬ ПРЕЖДЕ. ЗА ЧТО СРАЖАЮТСЯ ТЕПЕРЬ»
Плакат Д. С. Моора. Июнь 1919 г.
Государственная Третьяковская галерея, Москва

С чужими странами можно мириться. Чужое войско после мира уйдет, радо, что до дому доберется. Ушли, и нет их. А как ты с нашим врагом мир заключишь, если враг в каждой губернии особый, в каждой почти деревне засел. Тут до конца довоевывать, до полного истребления.

★

Я здесь вот как различаю: один дома делов натворил, да и сюда, для безнаказанности. Эти больше в бандитах ходят. Другие же, перемученные той войной, каждая косточка, может, отдыха просит, всему цену знают. А идут на эту войну безо всякой корысти, для людей.

★

Хотя клянися-крестися, что не так, а знаю я,— наша правда.

★

За самого себя такой войны не своюешь, надоест, отвалишься, уж очень тяжка. А тут знаешь, что людям легче.

★

Ты не канючь, не жалоби нас. Сами знаем, каково эту войну довоевывать. А твердо видим, что надобно,— потом людям легче будет.

★

Как вспомню я свое военное ранение, так и зверею. Нежили меня в лазарете, а я добра не помню. А теперь вот, бездомовыми псами бродим, да как-то спокойней мучимся,— людям легче будет.

★

Та война проклята от века, без пользы всякой для людей, за дурницу. Это вот грех. А нашу войну знаешь, что за людей терпишь, людям легче станет.

★

Эта война веселая, для себя, отчаянная. Чего хочет человек? Чтобы над тобой не бариновали? Это самое, за то и воюем.

★

Тоска горькая, версты дальние, жизнь зверья,— а всё за людей.

★

Хотел бы утечь, до того наша эта война тяжелая, а как о людях вспомнится, так и ноги камнями. Стой-воюй, людям будет легче.

★

Я над семьей крыл не разведу, не наседка. Мне крылья для лёту. Лёту хватит — людям лучше станет.

★

До того к войне привык, до того места мирного не вижу для остановки,— всё с весельем принимаю. Может, как увижу — встать-врасти хорошо,— остановлюсь. Это при самом конце станется, а пока — ходу!

★

На то и кровь в человеке, чтоб за дело лить, а не жирок растить.

★

В лихую ночь кровь страшная. А может, мы через кровь свет казать собирались.

★

Я только на этой войне выправился здоровьем. Дома хилел и сох я. Бедность в обиду, когда сосед сыто жрет. И попреки тоже. Здесь же общая судьба, работа веселая, боевая, и все без грошика медного, и не нуждаемся в таком.

★

Без головы война, как щенячья драка, только крови больше. Там шерсти клок, там шкуры шматок. А знать, как и за что,— будет война, как лекарство.

★

Сколько ж людей у нас живет, сколько ж хороших разных, сколько ж товарищей! Всё нам война показала, а ты про мир твердишь.

★

Удивляюсь я, братцы, почему это у нас шкура не в шерсти, а мы на волчьем положении ходим? И волк воюет, и мы воюем, а за что он в зверях, мы же — в людях, не пойму.

★

Ненавижу, если вымудровывают. Все просто: к старому нас паровозом не поворотить, к новому — враг не пускает; значит, войну воевать до полной победы.

★

Навыдумывали враги сказок про ту войну. Про эту же войну сказок не видно. Эта война, как ясный день видать, за шкуру собственную гибнем.

★

Конники — люди особые. Под ним четыре ноги, как пружина. Пригнись, свистни,— истаешь, как дым.

★

Четыре ноги в левой руке зажмет и ни с места.

★

Мы всегда победим, мы барахла паучьего не бережем, вокруг ног оно не липнет, не тягчит.

★

Теперь всё в пору. Разоряй, спали́,— а время придет, все наше будет, не уменьшится.

★

На той войне — из-под палки, да против немца, за чужую выгоду. А как за себя, да против кровного врага, тут с удовольствием воюешь.

★

Сижу в роздых, думку думаю, чтобы не зря все это вышло, чтоб мимо не пробить, злого семени за ногою не кинуть.

★

Перед нами не задашься. Если мы за дело взялися — сделаем. В трех водах топлено, в трех кровях купано, в трех щелоках варено. Чище мы чистого.

★

Видел я вчера Ахмеда такого, узкоглазенького. У себя он, вот как и мы, тоже крестьянин-бедняк. Так ведь и по сие время, и без царя, у него, в далеких его землях, чуть верхом на бедноте не ездят. Теперь вот и воевать опять погнали. А слова-то какие говорили?

★

Не по нраву мы и новому начальству, не по характеру, так скажем. Винтовочек не отдаем, свою правду в уме держим. Расформировали. Ну-к, что ж? Вот я и вольный, и ту ж свою правду знаю, и винтовочка, вот она, со мной, своего часу дожидается.

★

Батюшки! Барин наш в коляске, на нем шелковый пиджачок, заместо его кормной барыни о бок сидит самый их полковник, весь в газырях. Оба, чисто кочеты, задрали головы, вот-вот закукарекают. За ними воинство пылит. Я сейчас на задворки, за мной Спиридон, за Спиридоном мужики. А за нами баринов дворец горит-дымит, крылечка не оставляя. Где господа суд свой устроили, как судили, кого казнили, так и неизвестно мне, Я, как ушел, так и не вернулся.

★

Выучиться бы, как это люди новый год встречают? Я уж насмотрелся на это на той войне, а не пойму, что к чему. Кабы еще знатье было, какую ты жизнь в том году поведешь, а то у нас, на той войне, не в твоих руках твоя жизнь жила. Как тебе ее повернут, так и живешь. Теперь-то, может, и я новые года запраздную, может, и я снова жизнь на будущие годы наметкой намечу.

★

Да что говорить, поманили из Питера правдой, а где она? Мир,— а в окопах вшей кормим. Взяли мы землю,— работать нечем. Взяли лошадок, взяли машины,— тут приказы какие-то, не хуже царских. До конца обижены. Главное, ведь в надежде были. И пошел я пройдисвитом,— как-нибудь, а уж правду добуду.

★

Что скажу про эту войну? Говорить-то я не мастер. Но однако думаю крепко,— всё одно, что сейчас, что потом, а этой войны не миновать было. Труд непосильный, обиды горькие, последняя нужда, хвори ребячьи, необразование, впереди ни зги, ни щелочки. А там роскошь. Дотерпелись до точки.

★

Я ничего насчет, что прежде, не знаю, некому меня учить было. Только, что теперь, и знал я. То теперь, что и вытерпеть нельзя. До каких же пор, спрошу? Вот и война.

★

Как скажет кто хорошо про бедный народ, про трудящегося простого человека, так и станет подозрительный, работы лишится, семью в голод кинет, станет без крова над головой. Что ж, нам на это так и глядеть, да от стыда глаза прятать? Нет, в самую пору война эта.

★

Если бы царь с немцем не передрался, не быть бы и нашей войне. А то так вышло: оружию выучили и в руки нам дали, с нужными людьми нас передружили, до толку нас довели и бояться отучили. Спасибо царю-батюшке, поторопил он нас!

★

Ты вот что скажи: ну мы в беде, в нищете, в голоде, в самом несчастьи, от колыски и до могилы. А те жили, дай бог всякому, образование получили. Так сказать, садись бедному на шею, и вскачь! Так нет, в каторгу за нас шли! Как я такому не поверю, слов его не послушаю? Разбирать надо.

★

Наша война по-своему воюется, по своим правилам. В окопах не сидим. Встал в рост, голову ввысь, и так иди — не сдавая, до победы, либо до смерти. Нам прятаться не к лицу, мы справедливого хотим.

★

Уж так интересно на всех людей глядеть, со всеми людьми дни и ночи проводить. У каждого своя судьба, и дума своя, и путь свой. А дорога та же, от рождения и до смерти. Но разные у всех на этой дороге происшествия. Только на войне я и разглядел это все.

★

Ты просишь про самое интересное, про самое наинужное тебе рассказать. А я вот посмотрю-посмотрю на тебя, подумаю-подумаю, что, мол, тебе интересней всего покажется? А так, мало ли в моей жизни интересного было. И вот расскажу я тебе самое интересное,— как я на том бережку всю свою старую жизнь бросил и новую начал, да не один, а со всем народом.

★

Разве это война? А я вот так думаю: забрался к нам, ну в самое жилье, враг. Всё ограбил, над нами хозяевами измывается, за труд наш кнутом благодарит. Так вот мы и решили, дать ему по шеям, да изничтожить его, раз и навсегда. Это вроде как по мирскому приговору, со смыслом, за свое. А война, она без толку.

★

Та война, немецкая, без толку. А эта война, гражданская, она не начальством заведена, она нами заведена, для жизни.

★

Ты не смотри, что все как перемешалось, перепуталось — и баре и небаре против нас. А ты знай свое дело да свое место. А уж путаницу пусть враг распутывает. Эти самые небаре-то его скоро разделают, не задержатся.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ВРАГИ

НЕМЦЫ

Как на наших на хлебах
немцы сыты стали страх,
стали сыты-гладки,
а у нас нехватки.

Собрали нас, говорят, гетман. Ладно, живем. Опять сбор,— говорят не разобрать как. Ладно и так, живем. Вдруг раненько: гук-гук, гук-гук. Глянули мы,— иностранцы-немцы! Серые, толстые, на головах железное, и не смотрят. Идут же так ровно, что заводные. Щемит сердце, зовут,— веди к себе в хату немецкого кавалера. Всю хату в чистоту вогнали, бабу к начальству увели, мамашу полы мыть поставили, детей от шуму в поле. Пожили с неделю, изнищили, бумажку дали и ушли.

★

Они в хороших хатках сами стали, а по бедным лошадей поставили. Баб в хлев, мужиков в лес.

★

Жена рожала, как пришли они. Зашли в хату, глянули,— грязь, вонища, не понравилось, да и баба вопит. Однако всю снедь забрали, молчки. Так я ни с чем и стал дитяти дожидать. Да разве в испуге дородишь? Померла жена.

★

А я кашля не удержу. С детства больной кашлем. Обиделся он, что ли, да как крикнет. И всё на меня кричать, и чем громче, тем я кашленее, чем громче, тем я кашленее,—повели за хату и в зад мне противу кашля прописали.

★

Приказом немцы приказали,— забратые вещи воротить. Стали, было, объяснять, что не осталось вещей,— «деньги тогда платите». А если нет и денег? «Вещей нет, денег нет, зато спина есть, расплачивайтесь».

★

По-русскому спрашивает,— солдатом был? Был. Когда домой вернулся? Сказал. А экономию жег? Не было меня в те часы. А кабы был?

★

Ох ты, мать честная, немцы! Такая обида взяла. Да как же это так, думаю, ведь мир у нас! Всякую я веру потерял. Пошел в бандиты, не покорился.

★

Спасибо немцу, дома сжег, в леса вывел. Теперь перед нами вольная дорога.

★

Долго мы у мамаши не загостились. Я в лес, брат — в город. Я от немцев в бандиты ушел, а брат серьезный,— фабричных ребят сгрудил.

★

Идет, да и в петельку ногою. Мы его в ямку, обратали, самого сожгли, оружие взяли, каску же глубоко в землю закопали. Больше всего у нас из-за касок ихних народу пропадало. Такая вещь неудобная, куда ни сунь — все видать.

★

Они в сарай, а там ребята с войны пулеметик ржавили, до поры. Глянул немец, да как усмехнется. Пропал, думаю. И подпалили дом, еле старуху выволок, а уж худоба и добро всё в небо дымком, господу жаловаться.

★

Кив да морг,— они трое в хату. Вина принесли, гостюют, шуткуют, бабу оглаживают. А я на печи, ровно дедка, дядя же в коморе. Баба лапалась-лапалась, да одного в комору. А я двоих с печи пристрелил. Тут и баба из коморы, веселая, и дядька с ней.

★

Она мониста на шею, а присыпку за пазуху. Привели ее. Он ее вином поит, да всё валит. Она ему винца налила, и присыпочку туда. Пей, мол, я согласна. Хватил он вина, да к ней. Да на грех не сразу заслабел, не успела она уйти, ее убили немцы.

★

Бабы их крысьим мором. Трое перекинулись, да хитрый они народ, подпалили деревню и ушли. Только нигде не загостились.

★

Он к ней под кожух, она как бы ничего. Он к ней за пазуху, она его как в затылок татахнет. Еле с нее сволокли, до того обкорчился.

★

Холста взял, показывает, рубаху, мол, шить. Смеется, стал вареники кушать, да как вскочит, за живот, за дверь, за дом. Там покорчился, подох. Хороши бабьи вареники на иголочках.

★

Немцы наших баб очень уважают. То ли, что толсты, вроде ихних, то ли что других баб нет. А то им невдогляд, что нашей бабе от них ничего и не нужно. Ей бы родню соблюсти, у ней на врага не улыбка, а убилка.

★

За икону полез, а там у меня шапочка золотенькая, татарская, вроде как бы с мощей. Брал-то как ее на фольварке, словно чуяло сердце, да принес бабе за иконы. Взяли они ту шапочку, и меня с ней, да на фольварк. А там нашего села людей — скопы. Руки позакручены, шапочки да креслица нежные перед народом грудками, что у кого нашлося. На крыльце немец главный, на диване, и о правую его руку барин наш веселится.

★

На войне он меня, я его. За что — толку не добирали. А как пришел к нам господское добро стеречь, враг он.

★

Ты немецкий камрад,
тут никто тебе не рад,
не лезь в чужу компанию,
поезжай в Германию.

★

Наступили на нас немцы. Что ему, дома дела не хватает, что на чужие, бедные земли по приказу начальства пришел?

★

Сперва немцы противу нас куда порядочнее выглядели. На каждую петлю — крючок, на каждое слово — молчок. А тут и у них время сместилося, стали они пояса отпущать, ходить стали развалистее. Ага, думаем...

★

По белому свету летит газета, а я не читаю. Только знаю я, что как у нас, так и у них. Кто на чужую шею сел, того в зад коленом, будь хоть немец, хоть русский.

★

Вернутся они домой, увидят, что без них дома натворили, не пойдут больше чужую волю в хомут совать, свою стеречь станут.

★

С немцем у нас ладу не быть, пока ему дома хату не запалят.

★

Начальство по строю идет, немцы в строю строго стоят. Начальство немцам свое говорит. А немцы, ровно и мы, бывало, на начальство вылупились. А что у них по за глазами, того начальству не видать.

★

Очень глупо, что не было со всем светом сговорено, в один час господ с мест поскидывать. Вот теперь и терпи, пока немец правду доглядит.

★

Удивительное дело — немец. Ведь все как есть ученые, вещи в чистоте, баловство вокруг любят. А что делают? Да я бы, как был бы учен, так знал бы, по ком палка скучает. А уж к людям, никакой бы грубости не смог.

★

Я немцу его умелость прощаю, я бы у него и поучиться захотеть смог. А не прощаю я ему, что он тебя ну просто и за полено не считает, ну просто как бы и не видит тебя вовсе. Скотину на улице встретит, обойдет кругом, головой покачает, губой почмокает, значит: ай, какая же ваша скотина неухоженная. А человека нашего, хоть ты помирай перед ним, просто не примечает. В избу войдет, плечом тебя сронит, посудой забрезгивает, на бабу слюной зайдется, а губу вешает,— была ли в бане, спрашивает. У меня сынок

годоваленький, Петрусёк, у порога ползал, так немец его сапогом сдвинул, вроде щепки.

★

Батьке моему с немцами зимовать пришлось, так говорит, не очень-то они люди, немцы эти, не совсем как люди. Сперва, глядишь, человек всё в порядке, и на нем аккуратность большая. Даже как бы и поучиться нашему брату, простому человеку, можно кое-чему. Потом же, глядишь, пошло его нелюдское поведение. Сперва он у молодицы под глазами гадить орлом усядется. Пройдет денек, прикажет пеленки ему из колыски вынуть, на портянки. Придет ночка, он то же дитя спеленатое за ножки выхватит, и о печь головой, чтоб его нелюдской сон дитя не тревожило.

★

За кустом стонет, смотрю,— немец раненый, и давно уж, верно, лежит, в чем только душа держится. Меня увидел, замолчал, глаза закрыл. Смотрю на него, решаю взять всё же. Думаю, и на нем небось материнские слезы сохнут. Поднял его, руки его вокруг своей шеи налаживаю, чтоб нести ловчей, не разгибает пальцы на одной руке. Я стал разжимать, он как бы борется. Всё ж разжал я ему кулак, а в кулаке кошелек с деньгами. Вот что берег, подумать! Хоть бы старый, а то лет двадцати через силу. Всё ж вынес я его из лесу. Но вскоре помер он от нашего черного хлеба. Что его с пшеничного на аржаной потянуло, может, комиссар бы и разъяснил, да от беда, комиссара-то у нас и нет.

★

А, по-моему, его нечистая сила к нам послала, за хлебом да салом. Он же с собой всю свою паршу приволок. И выходит, нам же наука,— «гляди на меня, народ русский, какой я, немец, без стыда разбойник, да и на то глаза не закрой, какие мы, немцы, умельцы и аккуратные». Нам, русским, и от беды польза, если с умом глядеть.

★

Нечестный народ эти немцы самые. Показывает, хвалится, как на нем всё прилажено да приглажено. Хлеб так и то машинкой режет, такой он разумный. А все бабьи укладочки взломит, до последнего очипка * бабу оберет. Воры и разбойники они и с машинками своими.

★

Мне на немце всё занятно, он же, немец, только на себя самого глаз наводит, ничего ему у нас не интересно. Решил, небось, что так, мол, и этак у нас, и вот эдакие мы. У них, верно, и в книжках всё про это написано. А по-настоящему-то немец нас узнает, как мы его, эдакого ничего не видящего, в шею вышвырнем. Может, тогда и он смотреть выучится, да поздно.

★

Хитер, жаден, безжалостен немец. Бывает немец белый, и глаз у него голубой, и морда у него девичья, и молоком душистым вымыт весь. А нет у него интереса никакого, что он в чужой незнакомой земле воюет, и какие люди около него. Дерьмо он есть, дерьмом и пахнет, хоть какими он духами ни прыскайся.

★

Я об немце, когда время есть, думаю. И считаю,— роста у него внутри нет, всё на себе, всё вокруг — как теплей, да мягчей, да удобства для одних немцев. А в сердце у немца, как есть ничего,— ни про несчастье людское, ни как народам по-советски жить, ни про плохо да хорошо. И еще что в немце,— стыда ни к чему не имеет. И ведь хорошо грамотные! Чему же их учат, знатье бы.

★

Ходит кровь по моему молодому телу и ровно и шажком. И вдруг пыль на дороге,— может, отара пылит, может, ветром всклубило. Иду туда, как и

* Очи́пок (*обл.*) — чепец, который носится под платком.

кровь во мне ходит, ровно и шажком. А там немец нашего парня ломает! Тут и кровь, и я переменились, закипели вместе, и пропал немец безвозвратно.

★

Немца я на войне в первый раз увидел. Мало и слыхивал про него. Говорили, балуясь, в деревне у нас, что немец будто на беса похож. И ругались, кто побогоязливей, немец тя возьми,— вот и всё. И что же я вижу,— пришел, командует, дерется, грабит, ниже пса считает. Может, и бес?

★

И зря болтаешь, солдат как солдат. Как взят на войну, как наприказован, так он и действует. Был бы он бес, кабы начальства без, а с начальством он вроде и нашего брата, не ответчик. У них, думается, тоже скоро с начальства ответ спросят.

ИНОСТРАНЦЫ

Кабы еще с ними иностранцев не было. А то выхаживают, хвосты распустив, а у нас, может, бедность последняя.

★

И в старину нас цари чужим на помощь посылали. Турков глушить. Так вот и ихние короли солдатскими ручками чужую войну довоевывают.

★

По своим скорбям мы к ним не обращались. Без языка мы,— первое дело; второе же дело,— иностранцу на нашей гуще гадать пришлося, а что ему выходит — еще не видать нам.

★

На столе такое, и во сне не увидишь,— белый хлеб, и масло даже, и цветы. Я вежливо говорю,— помираем, говорю, и больше терпеть нечем. Ничего, говорит, поделать не могу. И глядит на меня иностранец невидящим как бы глазом.

★

Высокий, ладный такой иностранец, лицо здоровое. Набрал голодных ребятишек, всячиной оделил, плачет над ними, как баба. Эх ты, думаю, свет ты белый,— один на нас пушки возит, другой над нами слезы льет.

★

Теперь и в других странах такая же заваруха крутая. Теперь страшиться нечего, оттуда нашим злыдням подмоги не будет. А какая и есть, так не надолго,— покуда от ихних народов приказ не придет.

★

Иностранцам у нас нечего в ногах путаться. Пускай за своими странами смотрят. А то вернутся они от нас домой, а дом-то у них дымком ушел.

★

Песни у них хуже наших. Как бы в перину дуют, громко, а не звенит. Наши чистей.

★

Иностранцам легче будет воли добывать. Разве что с больших удобств на кровь зажмурятся — и так, мол, проживем довольно хорошо.

★

У иностранцев есть для нас нужное. Не зря нас ихним языкам не обучали.

★

Я ему жука в галифе вшил, да и сбег. Очень жалею, не видал я его удивления.

★

Француз-большевик повадился в часть. Толкуем ему, тебе, мусью, хорошо, мы доводить на тебя не будем, а наши, как прослышат, нас вчистую расстреляют. Не идет, смеется — привыкли к нему.

★

Хорошие, веселые ребята, и все, вроде как большевики, только полегче будут. «Вы чего ж,— спрашиваем,— против большевиков к нам приехали, если вам большевики любы?» — «А у нас,— отвечают,— дисциплина, вы же по доброй воле пошли, дурни».

★

Иностранные солдаты все как есть коммунисты. А к добровольцам* потому поехали, что иначе-то им сюда и дороги бы не показали.

★

Выспрашивает, выспрашивает,— понял я,— «взяли меня пленного,— говорю,— и никакой я доброволец, и все мы здесь такие, кроме офицеров». Он как ахнет, удивился как бы.

★

В баню иностранцы с нами не ходили. Только румыны. Они у себя на дому хорошо травленные, вроде нашего. Не брезгают нашего пару.

★

Мне чужих языков не учить, а всё понимаю. Как гляжу,— этот офицер, а тот солдат, так и знаю, с кем родня.

★

Перестал я, братцы, иностранцев, кроме как по языку, отличать. Во всех же делах они, как мы,— у них тоже господа и простой народ.

★

Мы хоть во сне, да все родня. Мы страданья страдаем потому, что куда же денешься со своей родной земли. Так не лезь же ты к нам, чужой ты человек,— ни с ружьем, ни с лаской, не телешись, дела не затягивай.

★

На весь мир славный город Париж, у французов. Очень они подходящий народ. Веселые, озорные, храбрые, петь-плясать мастера, звонкие голоса. Эх, кабы нам да язык ихний знать, уговорили бы мы их от белых к нам переметнуться. Мы бы им и Париж отвоевали от ихних дармоедов.

★

Даже самый простой англичанин на нас совсем не похож. Ты приглядись, как он шагает по улице. Идет не своротит, как шкап какой! Всяк стороной его обходит, чтоб об угол не зашибиться. Что там у него за душой за такое, неизвестно,— всё в шкапу на замке. Неудобные они какие-то, англичане эти.

★

Ох, французы до женщин ласые! С мужчинами немые, ни мы их, ни они нас не понимают. А с женщинами сразу забалакает, засмеется, чуть не пляшет. Женщины их хорошо понимают, они веселья ждут, мы ж натруженные, от суровой жизни грубые. Моя Феся от меня много горя за французов приняла. Отговаривалась, что моряк де он, будто мне не все равно, пехота или матрос мою бабу под крылечком лапает.

★

Я французов бил из ревности, за девушек. А так они мне всех подходящее из иностранцев, и веселые, и вино не морщась пьют, и песни поют, не кобенятся, не как те, англичане. И нашу беду понимают. Всё с нами, всё с нами, не брезгают, как те, англичане долгозубые. Одно во французе плохо, к бабам привержены донельзя. Оттого и выходят ошибки разные.

* Здесь имеется в виду контрреволюционная так называемая «добровольческая армия», действовавшая против войск Советской республики на юге России в годы гражданской войны.

★

Американцы румяные, пьянюги, драчуны. Это ничего бы, мы тоже по этим грехам ходим. Ну до чего же они на деньги ласые! Вчера зазвал нас пиво пить, и всё перед нами золотом об стол звонил,— бросит, и в карман, опять о стол бросит. Стол же каменный, золото звенит, так даже пожар у него на лице, от радости. А платить, мы же и заплатили, сбежал шельма.

★

Американец с тобою гуляет-гуляет, а платить не любит. Оскалит зубы, сунет руки в карманы, и ждет, чтобы кто заплатил. Он всё больше на привозе*, по рынкам рыскает, как есть торг-переторг.

★

Итальянцев я знал некоторых, разобрать же не умел, какие. Красивые, черноглазые, усы хорошие. Скучали они, всё домой хотели, сразу видно было, силом их привезли.

★

От тебя пользы, как от пустого улья,— и пчел нет, и собака не помещается. О чем тебя ни спросишь, ничего-то ты мне разъяснить не умеешь. Сам же я ни разу этих иностранцев не видел, а знать хочется.

★

Надо нам теперь на этих иностранцев зоркий глаз иметь. Может так статься, разберутся они в делах, да и повернут к нам от белых. Так как бы не прозевать.

★

Когда окончательно победим, надо будет об иностранцах подумать Что ж мы, заразные какие, так и будем жить без гостей? Только зорко смотреть надо, а то таких гостей приласкаем, что и подметки на ходу срежут.

ОФИЦЕРЫ (БЕЛЫЕ)

Он хвастает,
я роблю,
я в кусочки,
он к рублю,
я весь в дырьях,
он в окладе,
я хоть в щелку,
он в параде,
я овшивел,
он в духах,
я на нарах,
он в пухах,
я тощаю,
он в жиру,
я скучаю,
он в пиру,
всем товарищ,
ему смерд,
что мне к росту,
ему смерть.

★

Я весело на войну шел. Дома смелости девать было некуда. Потом, на фронте, соскучился я немца бить. А тут полюбились мне умные люди, тут царя сместили, а тут сердце мое противу офицера горит.

★

Про офицеров нам хорошего говорить не приходится. Если не злодей, так лодырь, дармоед. Чужим хребтом трудится. Нам их уважать не за что.

★

Всегда я ихнего брата не любил. Бывало, на фронте, похвалят какого-нито товарищи, а на поверку выходит,— и на том спасибо, что в зубы не бил.

★

Главное — громом грянуть, раздуматься не дать. Раз было, все местечко до краев врагами налилося, офицеры у попа праздновали-обедали. А мы на конь, через все место скоком, к поповскому окошку, бомбы им на десерт вкатили, и вернулись невредимы.

---

* Привоз (*обл.*) – место на базаре, куда привозят товары.

★

Они думают, мы ничего не замечаем. А у нас такие замечательные есть, всякую бородавку на нем сочтут. Я у своего полковника на грудях приметочку знал, всё думалось,— дойдет время, под всякою шубкой разгляжу.

★

Прежде и доброта не на месте, бывало. Как обида, так легче служилось, желчь копили. А как подарил раз ружье да часы мне, да стал я про него хорошо думать,— так мне служить трудно пришлось, всё в обиду.

★

Снес я, что велели. В горницу меня не пустили. Стою у притолоки, переминаюся. А нету хуже ихней прислуги, вроде собаки на лохмотье стервится. Стою, жду, молчу. А что у меня в грудях спеет,— теперь вот и видать.

★

Разве ж забудешь, если в денщиках служил. Самая обида. Как и не человек, будто. Он в чести, а ты ему сапоги чисти.

★

Кто, спрашивает, согласен героем со мною? И нашелся парнишка. Одяглися офицерами, на конь,— и айда по дороге. Только вдруг из кустов, тах-тах. Герои оземь мертвяками, мы к ним,— что такое? А это наши, не предупрежденные, офицерской амуниции не вынесли.

★

Ни бомбы, ни пули не боюсь. Ну ничего, кроме офицерского задаванья Бывало, весь немой стану, так бы и съел его, а ответа не найду.

★

Мы не по-ихнему от женщины рождалися. Меня мама в поле родила, на жнивье. Недожала, а сынка дождала. Никто и не видал, кроме ржи да серпа. А ихние мамы рожают,— все доктора доглядают, под окнами соломку стелят, чтоб паничик не напугался, да назад в мамку не влез.

★

Многого от них не спрашивали, да и малого не видали. Были вежливые, так разве ж это в сравнение, до чего мы у них в руках.

★

Подобрали сестричку одну геройскую; молодая, а замордована до того, даже паралич у нее. Сейчас ей ордена там, слова всякие, под стаканчик. А она настраданная, ни рукой, ни ногой, сидит молчки, как воробышек примерзлый. Они то, они сё, пьют и пьют,— и до того допилися, выскочил генерал, кричит,— «хочу в честь сестры геройской джигитовку сделать». Да на конь, да через стол сигать. Как брызнут из-за стола, только паралличная сестра сидит, белая вся. И почел генерал через тую геройскую сестру на коне скакать,— раз туда, раз назад, раз туда, раз назад.

★

На море от тесноты темно. Посадились они кое-как. А сигналу в море идти — нету и нету. Как выскочат к морю красные, как почнут красные стрелять по пароходам. Как почнут чертями по бережку носиться, как завоют на пароходах люди, как загорится на пароходах. А углю им кочегарики не насыпали, а воды им не дадено, теснота, скарб, ребятишки. Иностранцы сигнала не подают, с берега стрельба, и на берег выпуску не будет.

★

И вот вступили мы в его родной город, и к ему на квартиру. Там мама его, важная дама, сейчас меня на кухню выслала и как бы в денщики. Он-то выговаривал ей,— «не то, мол, маманя, времячко». А что люди не те, так не сказывал.

★

Мы ушли с войны, и с нами три наших офицера. До первого поезда с нами дошли, в вагончик порхнули, ручкой машут. Куда? — кричим.— Скоро

увидимся,— отвечают,— за родней слетаем, да и обратно. Тут поезд двинул. Да они ни врагу на прибыль, ни нам на убыль.

★

У денщика житье особое. Спал я у него в прихожей, под вешалкой. Целую ночку к нему гости, в карты играли. Одень-раздень, одень-раздень, подай того, подай другого, то-сё, всю ночь! Днем ушлют в часть, чтобы я ему за харчи ничего не стоил. В части свой труд. Так вот из суток в сутки.

★

Просидели вы, говорит, задницы мужицкие на наших на золоченых стульчиках, вот мы вам шкуру-то с задов и спускаем, как бы в облегчение.

★

Лежал с нами один корниловец, рукавом всё хвалился: мертвая голова у него на рукаве нашита была, беды не чуял. Всё храбрость рассказывал, зверства, веселился. А тут красные, а тут к нам опрос. Нас не трогают, офицеров волочат куда-то. К этой мертвой голове с опросом,— нижний чин, говорит, такого-то простого полка. Про рукавчик ни гу-гу, и мы молчим до поры. Как, от окошечка, писарек такой рыженький, рябоватенький,— «докладаю,— говорит,— что он корниловец с мертвой головой, и потому,— говорит,— докладаю, что всю,— говорит,— он мою кровь насмешками распалил».

★

Сижу я и думаю: ладно, будет всё наше. Всё приберем к рукам. А вот выйдет ли у нас такая во всем аккуратность, и наряд, и всё, как у ихних благородий? Вот он мимо меня ступает индюком, да не надолго.

★

Привели в волость, сидит вроде черкеса, через грудь газыри. Мужиков вправо, баб влево, детей в клеть. У него кнутик-нагаечка по сапожку щелк да щелк, у него в глазах — все, можно сказать, наши аграрные пожары горят.

★

По всем хатам бурею, стон стоит. К учительнице старой,— «ты сколько,— спрашивают,— годов здесь учительствовала?» А она больше тридцати годов здеся. Сказала. «Значит,— говорят,— ты и коммунистов здешних обучила, на ж тебе пенсию за то»,— и через лицо ее нагайкой.

★

Вот фамилии того генерала не припомню, а тоже на Питер с войском шел. Шел-шел с войском, а пришел да оглянулся — батюшки! Ни солдатика! Один-одинешенек. Только лампасы и остались при нем.

★

Корнилова генерала я сколько раз видал. Он будто русской крови, по лицу же так выходит, калмык он, что ли. Смелый генерал, но солдата не переносит, ему солдат божья котлетка, изрубил — скушал. Он сам в плен ушел, а солдат бросил. Хорошего ждать от него не приходится, хоть и самый он главный у нас.

★

Где у генерала Корнилова сердца искать, не знаем мы, не доктора. Нас до генеральской груди с трубкой не допускают, как бы мы, его сердечко разыскавши, из груди его не вынули.

★

Сам на Питер идет, нас с собою ведет. Как бы ему наш Питер бока не вытер! Тоже вояка! К немцам в плен ушел, солдат на убой бросил. Недолго мы с ним в попутчиках побаловались.

★

Казачков к домам, как щучку в речку, чтоб маштачки * на фронте не

* Маштáк, маштачóк (*обл.*) — малорослая лошаденка.



«НА МОГИЛЕ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ»
Плакат В. Н. Дени. 1920
Центральный музей революции СССР, Москва

изголодались. А нас, пехоту, к немцу на охоту. Мы и голодом живы. Генерал думает, довольно пехоте моих верных казачков развращать. Да только куда генералу пехоту перехитрить. И двух дней мы на фронте не побыли, как снялись и перешли к мирным делам. Не знаю, какова генеральская удача на Дону-дому, только, думается, и там не засидится.

★

Матросня, та змей разных себе на груди травит порохом и похабщину, для баловства. А обо мне, пехоте, их благородия порадели, разукрасили. Вот гляньте, на грудях звезда ножиком резана, солью сыпана; а на задницах у меня герб наш начатый, серп есть на правой, а молотка не поспели сделать, наши подошли.

★

Привели его в черную горенку. Сидят они за столом, а в сторонке у них эдакий чубатый казачина, от дикости глаз в нем не видать, здоровенный, в палачах как бы. Молчи, говорят, не молчи, а пустим мы тебя к товарищам, вроде как бы недоноском. И сейчас ему бороду и все волосья выжгли и на дощечке все ногти оттолкли.

★

Я-то знаю, кому наша доля не мила. Кто смеху нашего, так и то не переносит. Кто при хорошей жизни от нас за духи-запахи бежит.

★

Вот уж что не просто, это офицеры белые. Ведь они наши командиры были, одну войну воевали. А по войне, как по родне,— всякий брат. Надо ж было им так заслужить, что, кроме желчи, ничего для них у солдата не осталось.

★

Были и хорошие, да где они теперь, как им веру дать? Чай хорошие-то с плохими под одной командой Россию продают.

★

Они думают, мы дурни петые, ничего не видим. Жалованье у офицера невеликое, а как он теперь живет? С коляски не сходит, в шампанском по горло, крашеных девиц на каждую руку по паре. На чьи деньги? На наши.

★

Иззяб я, синий хожу. Я тепло люблю, да и тощ я в дырки одеваться. Жиру мало, не греет. И видел я шубку на одном поручике, ох! И за что им такое счастье? А за то, что пользу народу наработали,— жрут круглые сутки, полные нужники золотом набили.

★

И газет не надо, и бреши сколько влезет, а всё видать! Идешь мимо, не козыряешь, а он не орет. Идешь навстречу, не сворачиваешь, а он не орет. Яблоки он рассыпал, так сам и подобрал. Завтра драпать будут, увидишь.

★

Жены у них красивые бывают, но плохие очень, злые какие-то. Говорит так, как змея шипит, смеется, будто ее щекочет кто. Шипит на нас, смеется с хахалями, делать же ничего не делает. Рожу выкрасит, духами зальется, взялась под ручку и пошла задом крутить. Тьфу!

★

Есть и меж нас ихней сестры любители. Ясно, от такого всего ждать можно,— еще перебежит под чью-нибудь юбку.

★

Генерал, это уж вроде бога Саваофа, самый главный. На нас он, бывало, и не глядел поодиночке, целыми частями только и замечал нас. Мы ж к нему хорошо присмотрелись.

ВРАГИ

Противу немца, что велено, геройствовали. А своего врага сам выбрал, тут баловаться некогда.

★

Это хорошо, да и то, мол, неплохо. Эдак и глаза раскосить можно. А знай твердо, кто враг,— тогда и путь виден.

★

Доброволец нам не родня. Он те и крест, и часы дает, и землю сулит. А ты ему веры не даешь,— чужое семя.

★

Стоим мы двое на часах, охраняем. Только и солнышко еще на всходе, шасть господин полковник, и с ним еще какие-то два. И прямо к кассе. «Никак,— говорим,— нельзя», и винтовочки навели. А они — «ма-алчать, в порядке эвакуации!» Мы бровёй друг дружке,— «эге, мол, коли, мол, эвакуация, так нашим тоже казна пригодится, а коли нет,— так за грабеж». И всех пристрелили. И вправду была эвакуация.

★

Снес я его чемодан, он приказывает,— «сядь на чемодан, жди, никому места не уступай». Только он от меня,— как генерал ко мне,— и «вон»,—

кричит. Я ему доложил, чемодан, мол, полковника. А он — «вон!» — да и все. Выдрал у меня чемодан, и свою генеральшу на него усадил. Ну, думаю, тут дожидаться не приходится. Пусть сами разберутся. Да и утек на берег. Не привелось по Европам прокататься.

★

А тут иностранцы всех сортов оружия со всей Европы. Смешалися языки — к офицерам приехали, а к нам ходят. Тут эвакуация, тут нам местечка не достало, на берегу остался мы, и стали каждый себя проявлять по-своему. Все видать стало. Иван себе с барынь до дюжины колечек дорогих насобирал — за необиду, за вещи ихние, что пропускал, а то и сдерет кольцо-то. А другой наш так из гостиницы генеральшу к мужу на пароход не пустил. Так и осталась она на берегу с нами. А я не пользовался, рот на интересное раззявил.

★

Раскрыл рубаху, кажет грудь,— «привел,— кричит,— я вас на худое дело, на плохое место! Какие мы добровольцы, не могу я теперь живым быть, пробью, кричит, грудь свою». И застрелился. А застрелился и нас освободил, ушли мы.

★

Держит он меня за руку, вежливо говорит. А меня ажно тошнит, до того я на немецкой войне офицеров невзлюбил. Мне от них и хорошее плохо.

★

Скажу правду,— все звери теперь, все лютые. Да только и зверь в своем гнезде теплом дышит, гнезда же у нас с ними разные.

★

Глянул я на беляков — одни начальствующие. Сам себя в бой посылает, сам от себя дезертирует. Чего там навоюешь?

★

Может, не все богатые враги, а почти что. Головка у богатого, может, и по-нашему думает, а сердечко по жирному куску тоскует.

★

Мы в скирде. «Гори,— кричат,— краснее, на то вы и красные».

★

У меня отец бомбы начинял, так мне ли эту белую моль жалеть.

★

Я скажу, белые хуже всех били. Били-били, в четырех местах левая моя нога перебита. Правая заплесневела. Просил смерти — не дали, время у них не хватило, наши подошли.

★

Думаю, ошибется, к матери забежит. Стерегу. Забежал-таки! Я за ним, в охапку сгреб, в отопление, завязал всего. Ну и натешился я над врагом.

★

Сидят кружком, посередине бочечка с вином. Здо-о-ровый мужчина, усатый, в шпорах, всем из бочки наливает. Тут меня приводят. И пошло! Сперва напоили меня, потом плясать заставили, потом петь велели. Я им «шинкарочку» спел робким голосом, непохожим. Потом усатый спрашивает своих: «убить его что ли?» Это меня-то! А я ж не очень пьян, и двадцать годков только, и ажно пот по мне. Тут наши подошли.

★

С нами один дворянин был, даже и товарищ, как будто. А знал я, что дворянин,— не верил ему.

★

На стене офицеры нарисованы. Наши же и рисовали для смеху. Брюхаты, усаты, растопыры. Видно, что для смеху. А я не смеюсь, а я так бы и убил, а я видеть просто их не могу,— до того старое болит.

★

Я-то его признал, а он всех разве упомнит. Мы в солдатах, что волны, все на одно лицо. «Подойди»,— говорит. Подошел. Он хрясь меня в зубы, и раз, и два, и сколько-то. Зашелся я кровью, сплюнуть хочу. «Глотай»,— приказывает. Глотнул я со всеми зубами. А он меня в глаз, а я в землю, он пальнул, а тут, как бабахнет! Он со стульчика — кувырк. Наши подошли.

★

Жили да были, провождали время. Тут революция одна другую сменила. Та — ихняя, эта — наша. Всё житье-бытье переменилось. И хоть напополам они разорвись, а по-старому времени им не провождать.

★

Хороша работа, когда сам в ней хозяин, тогда хоть нужники чисти, всякий труд мил. А для врага, да под его глазом, да для его выгоды,— перышко с земли поднять тяжело.

★

Вот, думаю, я ему работаю, зато сыто ем. День так думаю, два так думаю, на третий обижусь до последней кровинки чего-то. Все свои нехватки, все его лишки пересчитаю, ничего ему не прощу, работа омерзеет. А что делать?

★

Им кто по плечу похлопал, они и рот до ушей. Нас на такое не купишь, мы на овес не ржем.

★

За шинель его споймал, он треплется, не дается. Ни у него, ни у меня оружия — а ни чайной ложечки. Оба раненые, а пустить друг друга не в силах, до того врага знаем.

★

И не выходит, что как бы противу своего народу мы воюем. Сперва, может, и было, а как я-то попал,— одни там офицеры.

★

Теперь другое, теперь и приказы и дисциплина. А в прошлом годе куда проще воевалось. Одно знай — кто враг. А уж как того врага доходишь,— то твое дело.

★

Мы за хаткой прилегли, напротив они перебегают, так, с угла. Я одного подстрелил. А он шкандыб-шкандыб, в хату. За ним кровь ручеечком. Я удержать себя не в силах, не на немецкой войне,—в хату за ним. Тут и он меня подстрелил.

★

Я одно хочу узнать начисто, кто это такое различие в людях пустил, что одни господа, а другие — голые-босые?

★

Ты думаешь, хлоп!— и готово, сразу разделились. Нет, брат, это еще при древних людях вышло, что одному привалило, в хозяйстве как бы удача. А сосед ни колоса не нажал. Один силы набрал, другой к нему за кусок в кабалу. И стал этот один того, другого, в кабале держать, не отпуская. Чем другому отбиться было? Своего ничегошеньки. И так на долгие годы.

★

Заработал волк зайчатины, а мышь голодает. Лег волк вверх брюхом, «чеши,— говорит,— мышь, мне пузо, а я тебя за это содержать стану». Содержал, содержал, пока ему мышь пузо не прогрызла.

★

Бедные да богатые, вот тебе и всё. А добрые да злые, это только по своим людям идет, бедные до бедных, богатые до богатых. А чтоб эти тем,— одни разговоры.

★

К нам добры, значит, нужны мы, не иначе. Я в денщиках чесоткой заболел, так мой-то при мне врача спрашивал, долго ли я болеть буду, и другого в денщики взял.

★

Теперь наш ход. У них в глазу ласка, а ты не верь. Где нам место, им пожар. Теперь у нас под ногами ихняя жизнь былинкой приникла.

★

А мы их любили? Ненавидели. Оттого и грубы мы, что желчь в нас кипит. При хорошей жизни, я думаю, грубых не будет.

★

Держит сынка на коленях, картинки ему разъясняет, читает сынку. Думаю, счастливые вы, рассчастливые, нежены, учены, с детства никакой обиды не знаете. Отчего ж, думаю, такими вы зверями на нашего брата сделались.

★

Они нас жечь, погреб толстенный, только дыму напустили. Они водой заливать, погреб не ведерко, не зальешь до верху, только штаны намочили, утопить не вышло. Тогда нас землей завалили и топ-топ, ускакали бариночки. Откопались, я первый свет увидел, вышли.

★

Я заметил, где много хороших домов в местечке, и вещей и роялей, там особенно бедно есть живущие, в нужнике просто. Как бы на весах отвесили, нате вам столько-то на место, а делили не поровну.

★

Мне кухарочка тут одна говорила, что ищут деревенских баб господа на работу. Да чтоб баба победней да потемней. Чтобы всё ей с непривычки хорошим представлялось.

★

Отца на германской войне убило, мать в город ушла, в кухарки. И я при ней. Вскоре господа меня не захотели, объел я их что ли. Мать меня к свояку в пастухи. А я ушел на нашу войну. Ух, господам не забываю.

★

И кой-какие господа без мяса живут, от святости такой. Зато уж молока хлещут, да масла жрут, ажно салом заплыли.

★

Устали до чего,— чем встать, лучше помереть, до того на печках нам хорошо лежалось. Вдруг известие! В соседнем сельце барин вернулся с отрядом каким-то, старую власть ставит, крестьян пересуживает. Мигом на конь, кто как и туда. В самое время мы порядки навели. Вот-вот всех бы пожгли бесы!

★

Как я ихнего брата не люблю, аж в грудях холодеет. Может, образованный и разъяснил бы, а я ненавижу,— и всё.

★

Смех у них нехорош. То вроде издевки, то как хвастает; то сыты очень, на наших продуктах.

★

Притаился, смотрю. Вытолкали двоих каких-то, бежать. Сколько-то пробежали, хлоп в землю, без выстрела. Что такое? А паничики хохочут в дверях, ажно с ног валятся. Что же еще вижу? Волокут назад этих бежавших. Волокут с места не сходя, как бы мешки. На веревках их бежать пустили.

★

Как непонятно говорит, веры не давай. Не свой. В отличие от простого обучен не нашему языку.

★

Мне выбирать не приходилось — кто запряг, тот и вел. Да стал я чего-то через шлею ноги перекидывать, своих зачуял.

★

Кабы не знал я про татар, что они хорошие люди, подумал бы я так,— наши господа от татарских вельмож остаточки. Те триста лет наш народ катовали.

★

Взяли меня, ладно,— чего здорового не взять. А удержать не удержали,— где здорового удержать.

★

Без слов слыхать, кто брат родной, кто враг кровный.

★

Бывало, глянешь на пленного,— ох ты, думаешь, батюшки-матушки, за что ты разные народы на такие мытарства послала. А теперь увидишь врага,— напополам бы! До того от него чужим духом в нос бьет, хоть бы и русской он крови.

★

Бредит сквозь жар: «молчать» да «молчать». Просила дама внимания не обращать, из ума, говорит, выжил. Так-то так, да на таком выжил, что и жить ему ненадобно.

★

Белому поляку, раз еврей... одним словом, увели еврея, да и хозяйку с ним, и как не было, как пар, как сгинула. А еврей этот к ней в панике забег, она спрятала, жалея.

★

Стоит, не смотрит. «Кто тебе бумажку дал?» Молчит. Били, били, всего перебили, в яму бросили, гнить.

★

Кабы я куда в плен попал, тотчас бы удавился, чтоб врагам моя силушка не поработала.

★

Белые вошли, я в лазарете выздоравливал, слабый, как моль. Впорхнуло трое офицеров, по сапожкам хлыстиками пощелкали, по всем палатам шпорами прозвенели, упорхнули. А нас заперли и подожгли. Хорошо, что власти сменилися, лазаретные горящие двери открыли.

★

Подожгли, ушли, нам двери заколотили. Наши вошли, двери открыли, ходячие лежачих выволокли, только не всех, конечно. Я же ползком ушел, подо всеми ногами путался, истолкли всего.

★

Ох, и не люблю я нежных; ляжет — кряхтит, ходит — стонет, ранят — вопит, жрет — губу вешает, без мыла — брезгает. За леденец продаст, халва паршивая.

★

Мой молоденький паничек сидит, с собакой занимается. Собака ему вещи носит, то то, то это. Спички, там, и папиросы, туфли какие, что велит. И я при нем, в денщиках, то же самое делаю. Только и разницы, что собакой он перед приятелями хвалится, а я не в счет.

★

У нас говорят, будто Питера и нет давно, будто в болото ушел, или будто немцы взорвали, или будто генерал какой-то сжег Питер за революцию.

★

По белому-то оно, может, и так, а вот как по красному выходит?



«ИЛИ СМЕРТЬ КАПИТАЛУ, ИЛИ СМЕРТЬ ПОД ПЯТОЙ КАПИТАЛА!»
Плакат В. Н. Дени. 1919
Центральный музей революции СССР, Москва

★

Все мы беднота, только в том разница, какая кому жизнь пришлась. Одни вольно летают, другие порядок устраивают, а враг у нас один. Это после своей войны увидят, что беднота вся одинаковая.

★

Постой, говорим, сукин сын, станем к твоему гнезду ближе, посмотрим, какой у тебя на дому флажок висит. Как к его округе подошли, не стал он геройские слова говорить, насчет отца-матери поругания. Ан и вышло, кулачили его родственнички. Сняли мы у них сливочки и юшки не оставили.

★

Говорят, генерал, фамилии не знаю, а русский, послан был от немцев Питер брать. Да отбили наши, выпороли лампасики.

★

Они, бывало, соберутся на простом бережку, и давай ахать: «Ах, красиво! Ах, вид! Ах, деревья! Ах, зеленая трава! Ах, то! Ах, это!» Я вокруг них хожу, удивляюсь на них просто.

★

Златоуст в старину был, златые слова говорил, для золота, для богатых.

★

Как грянул гром, никто концов не схоронил. Всюду враг, всюду вещи. Всё голыми руками бери. Куда я ввалился, там муж-офицер у жены ночевал. Он последние петельки застегивает, а жена, в белой сорочке, ему шашку подает. Тут я. Она — ах! Он — бабах! Я на него, жена за него, и закурилась сладкая ночка дымком пороховым.

★

Тут революция, тут я воевать за свое дело. А какое свое, не знаю, одно твердо знаю — кто враг.

★

«Деды мои,— кричит,— вашего брата на сук выменивали, кобелей за вас отдавать жалели, а вы надо мной командовать собрались. Шкуру сдеру!» И содрал.

★

Ненавижу я их до чего. Строить хочешь, ан рушить надо, всё из-за них, врагов.

★

Всему народу видать, а он нос в пухи-перья сунул, солнца не примечает. Хай дохнет.

★

Простых мы у них в плен возьмем, так наших же красноармейцев. А так, все офицеры, да юнкера. Как бы дворяне противу нас, простых, а не то что красные, или какие,— народов там не видать.

★

Скорей бы к морю пробиться. Первое, врагов в море скинуть. А еще на море очень поглядеть хочется. Песни знаю про синее море и сказки знаю, сам же не видал моря.

★

Господа прежде всего за море отдыхать ездили, вот пускай и теперь прокатятся, мы им и дорожку покажем.

★

Господа за море подадутся, да как бы приказчиков у нас не оставили, доходы ихние беречь. Без доходов заграница их не больно обласкает.

★

Господ под каблук, а слуг господских как? Слуги, бывало, для нашего брата хуже господ лютовали.

★

Всех собрать, перед трудом поставить, по крестьянскому ли, по мастерству ли. И глядеть, кто как возьмется. Тут сразу белые руки в нос шибанут. По виду же теперь не различить, а бумаги все сожжены.

★

Когда войну кончим, пойду золото искать. Разбогатею, по заграницам покатаюсь, на разных языках забалакаю, всему обучусь, вас разыщу, всех вас за большие деньги найму... нужники чистить.

★

«Ты не больно командуй. Мы,— говорит,— командиров-то пораскомандирили. Я, — говорит,— от всей округи слова свои говорю». Позеленел, как задрожит, как затрусится, как заприказывает,— всех рабочих распулеметил.

★

У тебя земли сколько? А были такие землевладельцы, по 75 тысяч десятин под себя засовывали. Да еще и с нас пухи-перья щипали.

★

Благодетелей не стало,— от лихо! Некому под крылышко голову сунуть,— от горе! Надо вольно летать, дождей не бояться,— от беда!

★

Кто ты такой, что руки у тебя белые, сам же ты, как и мы? Кто ты такой, что как говорить, так язык красным знаменем распускаешь, а как бой,— приказы писать? Кто ты такой, что как жрать, так все с колена лижут, а тебе ножик-вилочка-тарелочка? Я тебе скажу, кто ты такой,— враг!

★

Враг виден. Звездой сияет, не утаится. Первое,— от достали лоснится; второе,— не любит даже глядеть на нашего брата; а третье,— сердце мое его просто не переносит.

★

Думаю, что был бы я на богатой жизни, незадразненный, неизволченный, я бы никого словом не обидел. Так мне сердце обогреть охота, что аж тоска бывает.

★

В кого ты такой, может, тебя в мужичью семью подкинули, может, ты кукушенок какой, байстря барское? Нежности мечтаешь. А ты за кулак топором плати, так тебе и к образованию ближе будет.

★

Это бывает, что сердце стоскуется. Тогда ж еще лютее к врагу, что из-за него, из-за крученного-верченного, ненасытного, житья устроить настоящего нельзя, в семье своей голову на отдых приклонить нельзя.

★

Ничего я врагу не прощу! Воюю я с ним еще недолго, а в счет ему все несчастья свои ставлю. И отцово пьянство, и материну злую чахотку, и братьев-сестер темноту, и свое сорванное в злобе сердце.

★

Красивого паничка я вчера убитым видел. Как девица, красный просто. Волос кольцами, зубки белые, и лет ему мало, видать, маменькин мизинчик. Вот и думаю,— может, его еще и переучить на наш лад возможно было, кто знает.

★

Я знаю. Я волчонка переучивал. Допереучивал так, что почитай всех соседей обеспитчил. И били же меня за того волчонка! Так я его и не переучил. Убег он в лес, на прощанье телку зарезал. А тоже красивенький был, и зубки белые, да еще и с хвостом!

★

Не пойму я богатых, до того обучены всему, всех чужеземцев понимают, на всех языках говорят. С нами же слова совместного не найдут. Как бы не с одной родины.

ПЛЕННЫЕ

Меня как взяли, не чуял жив быть. Но неудачно меня расстреляли, легкое продырявили. И всё как раз в самую пору, и силы осталося из ровчика выползти.

★

Я в плену счастливо был, не до меня им пришлося, ушли вскоре. А некоторые прежде взяты были, так все чисто без зубов и руки-ноги покалеченные, кишки же отбитые, пищи не принимают.

★

Подшибли мне ногу, я и сел. Прошу тряпку, дыру заткнуть в ноге,— «не просыплешься,— отвечают,— до смерти недолго!» Ни пить, ни есть, швырнули в яму, в лужу просто. Трое суток гнил. Вот это так плен. Наши выручили. А ноги нету.

★

Бой не в счет,— только на теле вражие руки кандалами горят, до того в плену замнут-захватают. А что одежу сдерут, а тут ногою в зад, а тут велят тебе после этакой смертной устали с коньми вровень перебежку до места делать. А если плен не из важных,— живого не доведут.

★

Я боюся, а тот как бы смеется,— «что ты,— шуткует,— раненько так себе смерти ждешь?— ступай попереду». Иду, а он нарочно за спиной оружием пощелкивает. И повисли на мне ноги мои пудами.

★

Заглянул в яму, велел пленных выволочь, на волю выпустить,— «тикайте до лесу,— говорит,— а я стрелять по вас буду, кто целый в лес, тому воля». Только всех перестрелял. Где уж им, моренным, зайцами через кочки сигать.

★

И нисколько я вас не боюся, за кажным моим волосом товарищ.

★

С пленными разговоры запрещаются. А у нас кроме этого что интересного-то? Ни книжки, ни разговоров. Бывало, дорвешься до разумного человека, так хоть в петлю головой, а в своей части не гнездится.

★

Стойкий был, били,— хоть бы охнул. А как вели мы его потом, так откуда только слова нашел,— такие слова крепкие, что переглянулись мы, да с ним в кусты.

★

Самое в плену худое — не голод да неудобства и не обида, а вот то, что противу своих посылают.

★

Пошлют, а мы уйти норовим, не воюем. Бьют и стреляют нас, пленных, за это. А что поделаешь, не идти ж.

★

В бандитах плена не берут. Дома ихние летучие, под колесом каталажки не скрепить. Кого возьмут, того и забьют.

★

В бандитах пленных на часок заберут. Кого за деньги, кого за грехи какие. А больше забьют.

★

И жаль, да что сделаешь? Ни тебе времени не дадено, ни тебе толку не видать. Как плен, так и враг. А разве они все одинаковы?

★

Мы так никого не доводили. Время горячее, враги кругом, торопко живешь. Прикончишь его на пути, для времени сбережения.

★

Опять-таки и беречь некогда было. Я было одного припокровил, ан в ту же ночь ихние надошли, все равно пристрелить пришлося.

★

И вины нет. Братва голая, перемороженная, а тут топчись по снегам, для вражьего сбережения.

★

Эка «ты бы не так»,— а в штаб семь верст, глина выше головы. А тут они нежные, плюнуть гадко, плетью плетутся. Ну, сперва-то гонишь его чем попало, терпишь. А вспомнишь, кого семь-то верст пасти, так до того скушно станет, и убьешь.

★

Может, и сберегли бы каких нужных в обмен, да этот, как за околицу, так сейчас «бежить,— кажет,— ягнятки, мы вам не пастухи». Поробеют маленько и бежать,— а их, словно зайчиков.

★

Троих поважнее велел вести до места. И приказывал беречь нужных людей в обмен.

★

Сколько заложников перевели из-за шитья разного. Вздумали их для верности нагими гонять, так кабы не зима.

★

Ткнешь его ногою тихонько, он те в землю, словно неустойчивый какой. Не под ручки же его вести. Так всю дорогу и кунял носом в грунт, просто без лица доставили, до того рожа о камни вытерлась.

★

Куда уж ему бежать, берешь битого, стрелянного, почитай и добивать в нем нечего.

★

Как нужники чистить, так нас назначают. А как в тюрьму вести кого, так ни за мильон не пошлют. В бой нас не водили, перебежать можем. В денщики нас брать брезгали. Так за что нас и кормить-то было.

★

Сбили в кучу, с месяц под дождем на дворе держали, спать на мокрущей земле, есть воду толченую. Ученья никакого, кроме матершинить. А потом, как псов каких, на голоту выпустили.

★

Вел я его один. Одному несподручно убить, неловко как-то глаз на глаз, не приходится. Как много нас, хоть покозыряешься для смеху. А тут молчки идем, ажно взненавидел.

★

«Ты,— говорит,— не трудися за сапожки заряда гнать, и так сыму». Ну, прямо мне в душу глянул, до того мне сапожки полюбилися.

★

У него при дороге кума в окошке светится, а ему верст сколько-то волков пасти велят. Тут, как за околицу — так и к дьяволу в штаб, да до кумы тепла набираться.

★

У него в кармашке письмо нашли, взяли, читают. Побои — терпел; ругню — терпел; раздели — терпел; взяли — терпел. А как стали письмецо читать,— заплакал.

★

Ночью на нас навалилися, да у нас лихие ребята, спят в полглаза, отбились. Еще ихних перехватали, друг со дружкой скрутили, в часть. Ну, тут Онисим кажет,— «а ну те, братики, спытаемся у врагов, может они в часть-то не хотят?» Те как бы не отвечают — молчат. Онисим и кажет — «значит, не хотят, пустить же их на волю пташечками».

★

Связали натуго, левую руку особенно жжет, веревка по ране пришлась. Аж мутит меня от боли, сплюнуть же боюсь, за все бьют.

★

Держали нас плохо, голодом, всё содрали, голые, босые, без портков не убежишь. Потом обмундировали. В баню сводили и послали против своих воевать... Не поспоришься, как по частям развели, один ты на сто. А я все же сбег.

★

Заслуженный такой унтер-офицер был, самый сверхсрочный, усатый, весь в медалях. И просит он, сверхсрочного этого, при церкви его определить. Дед в похвалу принял, определил. Церковь при тюрьме, наш при церкви служкой,— ковры чистил, кадило раздувал, угольки готовил. Красота! Сейчас он кадило теплит, сейчас с арестантами языком треплет. Не знаю, как до бога, а до своих дошел.

★

Помню я на той войне немцев пленных конвоировал. Прикурить давал, разговаривал. А немцы суровые,— не курнет, не ответит. Так такая жаль берет, думаешь,— вот сирота, серчает. Так бы и объяснил ему. А теперь дадут тебе пленного, так такой он тебе враг — как с ним говорить.

★

Не я плен, меня плен увел. Был я тогда белый, и так скучал, так не по мне, ажно изжога. Тут взяли мы плен, я плену уши открыл, а он мне глаза. Вот я и здесь.

★

Привели меня. Судят погоны золотые, все полковники. На столе водочка, папиросы насыпаны. Они хлоп стакашку, хвать папироску — неспокойные судьи. Допрашивают какого-то, всего избитого. Старый полковник говорит: «Вот вы кончили всякое высшее образование, а между тем вы такой дурак, что верите немецкому шпиону, Ленину. Ведь верите?»— «Верю».— «А в бога веруете?»— «Нет,— отвечает,— и больше я ни слова не скажу». Забили его, за ноги уж выволокли. И за меня принялись...

★

Гляжу Спирька! А мы его в покойниках числили, а он живехонек, и одного за другим нашего брата из подвала перед их благородные глазки предоставляет. В подвале темно, не разглядел он меня со свету, за ворот ухватил и волочет. «Не задерживайся,— кричит,— а то еще не поспеешь, до тебя твои товарищи сук обломают, висевши». Тут и узнал он меня, под моими синячищами таки разглядел. Аж пожелтел, аж дрогнул, аж споткнулся. И шипом таким мне на ухо: «Тикай! Не попадись!»

★

«Мы сейчас,— говорят,— на столбе тебя повесим, в столбовые дворяне и произведем». Потащили, ох, не охотно я шел! А тут еще и раненый я, еще и кровью сильно сошел. Так ведь бабушка наворожила! По пути они к куме завернули, меня в избе у порога кинули, за стол,— пьют, жрут, песни горланят. А меня, для удобства не вставая с праздника, ногой пнут, «жив ли?», крикнут. Я молчу. Разгостевались они до грому просто. Я под тот гром через порог кой-как перевалился, как быть? Я ведь, как мышь, слаб. И тут ихняя же кума ко мне выпорхнула, увела и до поры прикрыла. Все за нас.

★

«Служи нам верой и правдой, заслужишь жизнь».— «А сколько времени служить?»— «Тебе что, некогда?»— «Боюсь, не успею заслужить, наши вам живо дух вышибут».

★

Старушка одна, говорят, там много наших из плена выручила. Славна она была на всю округу крепким самогоном. Напоит их на пути, нас украдет, укроет где кого. Они как прочухаются,— нет плена! Искать же боялись и старушку самогонную под беду не хотели подводить. Объявят по начальству — убили при попытке, и всё.

★

Взяли его в плен, служил он им, очень он смерти боялся. Только вышел такой случай: мальчонку им приволокли небольшого, какого-то красного командира сынка. И забили они его насмерть. А этот увидел такое, как заорет-завопит, как ощерится! «Изверги,— кричит,— да кругом вас по воздуху кровавая злоба дышит, сколько есть глаз вокруг, все на вас глядят-грозят. Псы от вас в леса ушли, волками вернутся!» Схватил со стола револьвер чей-то — бах в полковника, а потом в себя.

★

Не знаю, как и думать про плен. Кабы еще плен вроде от боя спасал, так нет. Гонят, сволочи, под пули, против своих.

★

Кто это тебе свои, такому? Ты вот и плену рад, лишь бы от бою увильнуть, тебе Иуда свой, а мы тебе не товарищи!

★

Нас в хлев швырнули, в навоз, мы же круто связанные. Клянусь и обещаюсь — и я так с ихними пленными обходиться стану. Однако, как привелось мне к своим вернуться, я честь свою держал. Убить убью пленного при нужном случае, а не измывался.

★

В очень хорошую квартиру нас привели, и велел он нас развязать. Теперь беда, думаем, что-то такое, готовят небывалое! Еще и вежливый такой. Ждем. Вежливо все спросил, что положено: имена, откуда,— всё записал. Потом велел конвойным уйти, сидит, молчит, на нас глядит и не сердито. Ох беда, думаем. И вдруг он нам, тихо: «Оба вы сидите тихо вон там в углу, ждите. Ночью я вас возьму отсюда — и ведите меня на волю, дожился я здесь выше всякой меры».

★

Да, бывали чудеса! Я раз, охмелевши, к чужой подушке прилип, и сплю, и сплю, бери меня в плен голыми руками! И ничего. Ни белых не прибыло, ни хозяева не убили. Вот так-то и живем.

★

Этот болтался от них к нам, от нас к ним. Раз пять в плену побывал,— слаб, думаем, не увертлив, попадается. И вот раз узнали мы его на самом его деле. Захватили нас беляки, в сарай сунули, а на страже у дверей — Прокошка! Свой вроде, родня им, га-га-га с псами этими! И чуба отрастил! И одет чисто! Шепчет мне дядя Петр: пусть убьюсь на этом деле, а ему жить не дам! Да как вскочит, да на Прокошку! Тот верезжит, все ополумели, рук-ног на разберут. Пока опомянулись, мы мимо них на волю, Прокошку в дверях им падалью оставили.

★

Плен душу портит, вот всего хуже. Как-то и себе не веришь, как-то вроде и делать тебе нечего, как-то тебе всё ни к чему, как-то тебе по своим товарищам смертельная тоска.

★

Из плена у них только чудом уходят. А я не так! Меня беляки в сарае забыли, очень уж спешили нашим перинки уступить.

★

Ночь месячная, всё видно. Где мы заперты, и то всё видать. Солома наворочена, из нее босые мертвые ноги торчат, в углу кто-то убитый искрутился на земле, а над головой двое удавленных под ветром на веревках колышутся. И всего этого распорядители, какие-то пацаны-недоростки рядом в избе под граммофон визжат и гогочут.

★

Не знаю, как считать этот плен. То ли винен я в нем сам, судить же меня как будто и не за что, а сам себя сужу. Кабы еще обе ноги были прострелены, а то одна-то оставалась?

★

Перебили ястребу крыло, так он на одном улететь рвался, до самой смерти бился! Так вот и надо.

★

Э, нет. Не согласен я так. Куда для дела лучше выжить живым, да поискать со сноровкой, со смекалкой случая, смести с пути своего белый сор, да к товарищам вернуться. Помереть-то и ворона может, а ястреб, он за жизнь бьется.

★

Он меня на себя тянет, а я его на себя тяну. Оба раненые, оба голодные, оба голые. Шипим друг на друга, как гуси. «Сукин ты сын,— говорю,— своего же бидолагу-крестьянина к белякам в плен тянешь!» Ослаб он, и я тоже. Я его до нас привел,— вон он там зубы скалит.

★

Я в плен не дамся ни за какие силы. Пусть убьют, а с ними я соседствовать только в бою согласен.

★

Всё-то он в этих местах крутился, всё в этих местах. Люди с боя рады спать до одури, а он глаз не заведет. Где-то тут поблизу женка его молоденькая осталася. И бродит, и бродит, и бродит и до плену добродился.

★

Старики говорили, плен смерти страшней, мордуют и мордуют, на своих боем посылают, и стыд ест днем и ночью без всякой остановки.

★

Я в плену изокрался весь. Как где снедь, не могу себя удержать, у малого ребятенка украду,— оголодал до потери совести.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. С ЦЕПИ СОРВАВШИЕСЯ

БАНДИТЫ

Мне тогда превыше всего воля-вольная показалася. Какого это чёрта волом на немца пахать, да еще и землю свою, не чужую. Ушел в бандиты.

★

Будто и до нас идут немцы,— не ждать же. Спалили добро, и в лес. К ночи надошли в лес какие-то, собрали мужиков помоложе и увели. Шли охотно, чего беречь-то.

★

С фронта денег привез, лошадь хорошую. Тут не знай что сталося. А тут немцы в хату. Я до соседа, у того в хате немец. Сосед на коня, я на кобылу, да так второй год пройдисвитами и летаем.

★

«За тии гроши,— кричит,— я со всем семейством жилы свои тяг, не быть же тому, чтобы казать вам где, лучше я языка лишуся». Вот ему язык и вырвали.

★

«Чей ты?» — «Крестьянин».— «Богатый?» — «Голый я».— «На же тебе,— говорит,— голый, кошель и обрез, ступай с нами в лес. Каким хочешь богам молися, только одного не забывай, голоты не обижай. Вся на свете голота одного рода. Что красная, что белая, что робкая, что смелая».

★

У нас из господ ходил в бандитах. Зверей всех. Особенно в городах баловал, по рынкам, по лавочкам, по еврейским семействам. Тут мы атамана сменили, тут ему допрос — «с чего и для каких причин так зверствуешь?» — «Чтобы грому на все Европы наделать, аж до Америки»,— говорит.

★

Дополз я до опушки, и лесу-то всего на три поползня. А у самой опушки четверо как бы спят. Один к другому как бы щекой приникли, не по-мужескому. И ни движка, ни дышка! Я к ним,— костер заглушенный, в золе восьмеро ног обгорелых, разутых, связанных пристроено. Чья ж это штука?

★

Мы больше топили врага, болото кругом, «белая русь» звалася. Тоже русский народ, да мелок и бел, от голоду и вечной обиды. А леса, а болота, а ни пашни просто. Одно слово,— царю охота, мужику болото. Царь там для охоты все зверям скармливал, народ же тощал с голоду.

★

Визгу я бабьего смерть не люблю. Настращаешь для вещей каких-нибудь, не важных, не особенных, так не хуже свиньи резанной баба заверезжит. Бросишь и ее и полушубок ейный.

★

Я подошел, «давайте узел,— говорю,— помогу». Она мне узел еще и через плечо подала. Встряхнул я узел спиною, оттянуло аж до пояса. И твердо так давит. Думаю: «никак сапоги», а разве спиной прощупаешь? Ну, долго ли, коротко ли, сшиб я старушечку в неглубокую канавку. Сам сел на обочине, босые мои ножки ажно ноют по сапогам. Раскинул я узел, тряпки, да шляпки. И одна твердыня в мякоти,— труба самоварная! Ну, что ты с такой старушкой сделать должон?

★

Оттого мы баб одариваем, что и бандитам отдых нужен. Ну уж сама себя береги после нас, мы-то этим бабам цену знали. Пока нужна,— по шею в баловстве держим,— наряды, пить-есть, и золотые вещи даже. А уходить соберемся, вида не подадим, чтобы не продала. Пусть уж сама, как знает, потом изворачивается.

★

Толстый, важный, усы в нос лезут. «Не кончилась,— говорит,— война. Увезу вас в Киев с большевиками воевать». Повезли, а мы с железной дороги да на лесные тропочки.

★

Дома я только печку облеживал, ажно бока залоснились, до того я весь извоевался. А тут ни тебе покою, ни тебе печки. Пошел в бандиты.

★

Как посидели мы в бандитах и месяц и год,— стали на людей непохожие, обросли, дикого виду. С мохнатинкой и зверинка обуяла.

★

Сошлись мы с одной улицы, идем купно и песни спеваем. Тут вышли к нам из кустов. «Куда вы, молодые ребята?»— спрашивают.— «Работу искать, головы рубать».— «А кому вы головы рубать собираетесь, и есть ли у вас рубила?» — «Головы рубать будем заносчивые, а рубила от вас дожидаемся».— «Идите ж,— ответ нам,— до нас, и будет вам рубня и рубила».

★

Вышел он за нуждой, ворочáется смертного цвета. Чего такое? Из колодца, говорит, черти лезут. Тьфу ты, взяли сору, тряпья в мешок, мешок на цепь, подпалили да и опустили в колодезь. И завопили в колодце черти. Высунется который, дрючком его. Замолчали невдолге. Мы слазили, сбочку выемка, пища, амуниция. А люди на дне. Испортился колодезь.

★

Уж какой я смелый, а как рыл я свою могилу,— не идет заступ ни на нос комариный! Круть заступ в руках, верть,— словно проволока. А сзади для скорости прикладом меня.

★

Семейство такое чистенькое, мать да дочка барышня, вроде как бы машинистка или учительница. Голодная, а к руке не идет — крепится. Вваливается он, аж дымит самогоном, да к барышне,— «айда в баню!» Волочет. Мать лбом по полу, молит, зашлась вся. Барышня молчки не дается. «Не пойдешь,— говорит,— мать каблуком раздавлю».

★

Ты до войны в школе учился, на войне книги читал, с товарищами рассуждал. Я же деревенский, одна у меня учеба — земля. Теперь кругом добра всякого понакидано, кто мне его добудет, ты? То-то... С дисциплиной укладки не набьешь.

★

Шутка ли, чужое добро поровну деля, себя за троих счесть! До чего же умен! Удивляюсь, как тебя в главковерхи не выбрали.

★

Я на вещи не обижался. Делят, обделят, еще случай будет, мое не уйдет. Абы мне весело.

★

Я добрей всех был, молодой, не обижался, вещей не брал, кроме часов. Часы я любил.

★

Были отряды честные, служебные; были и грабители. Эти различья не делали, где много, где мало. Им бы взять, а у кого, меж собой жители разберутся.

★

Квартира — дворец. Мягкости, недотрожки, картинки, перинки. У меня мамка, бывало, над глечиком* плачет-разливается: разбить — не купить. Я и перебил им всё,— «привыкайте», говорю.

★

А в укладочке в одной серебряного на роту, а в укладочке другой белья на больницу. И всё на одно кубло** семейное, а еще люди. Ночью стук, что такое? Старая самая у укладочки, здравствуйте! «Не отдам!» Да иди ты к ляду, спать людям, а не казни казнить. Не послушалась, до чего к укладочкам привыкла. Пропала за укладочки, а может, ей бы еще с полгодика прожить.

★

«Мне,— говорит,— восемьдесят годов». А нам разбирать некогда,— лошади же хорошие и бричка. Документы кажет,— смотреть не стали и поехали с ним. Ночью слышим — перхает. Утром ехать, а он скончился.

★

Зимой мы почти не воевали, нам нельзя, не такое мы войско. У нас военные квартиры в лесу, под крышей нас долго не терпят. Бандитов всякий гонит, если осилит. Зимой мы не военные, в своих родных хатах стоим. Придет весна, кинем домы, геройствуем.

★

Зимой в лесных землянках ютились, над кострами коптились дочерна.

★

Шуб мы к зиме наберем, на каждую спину две-три. А толк-то какой? В землянке костер, жарко, шуба коптится-вялится. У меня веселая лисья шуба до того черна стала, все за козла считали.

★

Теперь ловит власть за бандитизм, прежде вольней воевалось. Летом, бывало, людей да вещи когтишь, зимой на печке кряхтишь.

★

Надоели мне бандиты. Глядишь, ничему не веришь. Эдак-то и прежде разбойнички воевали. Даже и в сказках так. А толк?

★

Я франтить люблю, не в стыд это никому. Я особенно насчет галифе разборчив. Вот на мне хорошие синие галифе, а в мешке еще есть бархатные, зеленые. Из хорошей занавески мне хозяйка их пошила.

★

Я люблю особо часы и кольца. У нас так бывало: добудешь, тебе третья часть. Да третья часть атаману. Остальную же часть на всех, как бы в казну отдаем.

★

Одним духом все версты отмахал, чтобы думок не думать, не вовремя не сробеть. Приехал, в его дедовском кабинете сел. Привели его. У меня аж

---

* Глечик (*укр.*) — глиняный кувшин, горшок.

** Ку́бло (*обл.*) — гнездо; здесь — дом, хозяйство.

сердце в глотке, гужу протодьяконом. Глаза на нем желтые, сам ни гу-гу. «Давайте,— говорю,— бумаги и деньги, и пожалуйте к стенке».

★

Шел я верстов сколько-то, к человеку не соседился, всякий враг. Из каждой щели гроза, на погибель, скажу прямо, шел. И пришел в то место, на тую улицу, до той хаты. В окошке свет. Я дробненько стучу, как сговорено. Выскочил детина, сшиб, сгреб, в хату сволок. Чего было! Я же всё молчу, бейте, больше смерти не выбьете, а я на своих не доводчик.

★

Всё жил и жил, всё как следует. А тут ему нового помощника, а тут глянули они один на другого, а тут наш отвернулся, да и застрелись под френчиком.

★

Как-то я золотые деньги отнял. По правде говоря, ограбил у дядька одного. Владелец нажаловался, пришлось по счету сдать. Одно я упросил, чтоб не владельцу вернули, а в казну нашу.

★

Не везло мне в регулярных войсках служить, не встретились. В прошлом году думал я, что хорошо попал. Хоть и атаман, а больше тысячи с ним ходило, и по родам оружия: артиллерия, пехота, конница, как следует. А пришлось уйти из-за непонятия. То белых атаман глушил, то красных. Кого встретит, того воюет.

★

Теперь вот срам, а в прошлом году и ходов людям других не было, как в бандиты. Терпеть нельзя, в дому трепет, бабы заиндевелые ходят, даже ласки не принимают, до того залапаны-замордованы. А тут вдруг братва, своя — не чужая.

★

Встал он перед нами и говорит: «предлагаю я себя как бы в начальники. Теперь мы остались без всякой власти, а жители кругом разбойнички, еще и иностранцы есть. Соединимся и пробьемся куда-нито на волю». Мы согласились.

★

Всем скитом пришли, атаман сперва и брать-то не хотел. Тут белые надходят, монахи винтовочки получили и хорошо себя повели. Приняли их. Одно не подходило, сильно маливались. «Вы,— говорят,— обрезанные стали, а мы православные». А так — мужичью правду хранили.

★

Цельную ночь звенело да лязгало, обрезы обрезали. Спасибо войне, наготовила.

★

Никакие ему и прежние законы не нравились. «Не про нас писаны»,— говорил. А сорвало старый закон, он ушел в бандиты, нового закону по-своему добывать.

★

Как я бандитом стал, и не скажу тебе точно. Думается, так дело было: пришел с войны самовольно, дома всё в окошко поглядывал,— не идут ли за мной назад на войну силком тащить, сомневался всё. Тут у нас в селе замитинговали, и какой-то кричит: «берите оружье, идите свободы людям добывать!» Покричал, ушел. Я рад идти, а куда идти, и спросить было некого. Тут этот покликал, восемь мужиков нас с ним ушли. «Будем,— говорит,— как кто горазд свою жизнь делать». А что делали, ох!

★

А мне в бандитах куда веселей. Никто тобой не командует, один Витька план делает,— куда грянуть. А не хочешь, и не иди с ним,— только что выгоды лишишься.

★

Какой я бандит. Опасаюсь я, как бы, в толковую компанию попавши, за дезертирство не пострадать. А меня в хомут теперь не сунешь добром. Пить же, есть нужно.

★

Вот ты с шумом таким налетел на местечко, оружие у нас громкое, ошарашит всех. Лет же мне немного, и удал я очень характером, люблю попугать. А убивать я бы не убивал, да беда шабры-разбойнички. Откажись-ка! Ты, скажут, святей нас жить хочешь? А убьешь раз, и еще убьешь без счета.

★

Убивать я не убивал, а грабил крепко. Я приладился баб грабить, тут тебя на грех не толкнет. Баба визгнет и отдаст барахлишко, убивать не для чего.

★

Мы если в богатый дом попадем, добра от нас не жди. Очень мы богатых не переносили. Откуда богатство? Как добыли? Для кого берег? Каким богам кланяешься? Как такой от нас уцелеет?

★

Богатых не переносили, а себе его богатство забираем. Только мы с того богатства не богатеем, мы на бегу — на скаку, негде с богатством расположиться, только и есть минутка — выпить всласть.

★

Ни разу мне мать и пригорнуться к своей печке не дала, как я в бандиты пошел. А я ж ее как уважал. Уж я ей и подарочки, и все наинужное. «Геть из дома,— кричит, — и с добром своим грабежным». Ни еды, ни одежи, ни золотых даже вещей, ничего не хочет, «геть от меня, бандюга, и всё тут!» Я ж ее до того люблю-жалею, что выкачусь из ейной хатки и аж хлюпаю, как пацан.

★

У нас на столе гуси-поросята, пироги-галушки, самогону кадушки. Царь так не пировал, а уж на что бандит был! Тут дверь — скрип! Моя маманя входит! Я как увидал, обомлел просто, и хлопцы все замолчали. Схватила она меня за рукав, «пошел домой, бандюга! А то я тебя батогом!» Я, ей-же богу, штаны подтянул, из-за стола лезу, за ней домой идти! Тут как грохнут наши, регочут жеребцами, я к лавке прилип. И мать не послушать боязно, и перед нашими бандюгами стыдно. Посмотрела мать молча, плюнула и ушла.

★

Теперь я из бандитов навсегда ушел. И смех и грех с ними. Стали мы както правила становить, чтобы как у людей, как что делать, да как что не делать: так просто животики надорвали. Ну, виданное ли дело,— по правилам народ грабить.

★

Дверь она забыла запереть, мы с Петькой в избу, оружье в руках. А с печи нас двое маленьких мальчат увидели, перестрашились, на нас вытаращились, не моргнут. «Где мать?» Молчат. «Застрелим». Молчат. Осмотрелись, пустая хата, взять нечего, да и мальцы какие-то неудобные.

★

Нам собака хорошая тайнички разыскивала. Вломимся, что поверху все порядком приберем, а собачка верная за то время принюхалась, и в полу лапой царапает,— «здесь ищите», говорит. Половицу подымем, а там клад божий. Хозяева, бывало, на Дамку очень удивлялись.

★

В домах теперь дети да деды, да бабы еще. Мужики воюют. Вошел, глянул, перестрашились — бери всё без окрика. Я вот и гармонь эту хорошую также взял.

★

На какую бабу налетишь! Я как-то вошел ночью, дверь не заперта, за столом баба молодая, красивая, на локотки опершись, сумует. Я к ней, где муж? А она спокойным голосом: «Сам знаешь, что убит муж, потому и полез ко мне. Вон из хаты, застрелю». И в руке у нее вдруг револьвер.

★

Мы глубоко в лес ушли, оттуда и налетали. Только очень нам зеленые мешали. Добудешь всего, запразднуешь, а они навалятся, всё у нас заграбастуют, и нет их! Мы им уж на сосне прокламацию клеили, чтобы шли они в бандиты и работали совместно. Ответили они письменно: «Нет, мы зеленые, а бандитов брезгаем».

★

Хорошая баба никогда бандиту не доверится, знает, на чье зернышко кудахчет. Что такая баба бандитская, что сам бандит — одно зелье.

★

Вот так-то мы в той большой деревне и жили, не тужили. И до того дожились, что вся как есть большая деревня от нас одной ночкой в лес ушла.

★

Такая твоя бандитская жизнь позорная, что как ты свою удаль нам ни показывай, а от тебя воняет, рукой тебя тронуть скверно. Ты бы удаль на настоящее дело двинул, тут тебе и хвастаться бы не пришлось, сразу бы мы признали.

★

Их трое, а они ворвутся куда хочешь, окна вдрызг, дверь топором, через трубу лезут, в хлеву скотину рубят, в закутке птицу давят, и кота с собакой вешают. И все они только трое, во! Любуйтесь!

★

Куда хорошо, куда геройство. Но в том отказать нельзя, что по молодости даже от тебя дурака о таком послушать занимательно. Надо бы трех этих оборотистых бандитов разыскать, пообразумивать. Они бы по своей лихости и нам пригодились.

★

У нас старуха в стряпках ходила, знаменитые нам кушанья готовила. Я, говорит, по хорошим господам прежде поварила, так мне теперь только при бандитах и не обидно, провизии вдосталь. А то кругом картошкины очистки жарят, разве мне это к лицу?

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

Под одной рукой мешок,
под другою бочка,
подсажу, красавица,
за жаркую ночку.

До того полно, до того людно,— сто лет думай, а так не разместишься. Стойкою люди стоят. Приспичит за нуждой, так хоть на головы. На нужничке крышка поприкрытая, и на той крышке удачливые мужички кипяток с сахаром лакают. Доберется какой-нито до нужника по головам, кричат ему мужики,— «что ты за барин, люди чай пьют, а ты к ним с... лезешь».

★

Мы на крыше, а внизу думают, мол,— баре.

★

А мы возьми да покойников на площадку и выставь. Никто и не полез.

★

Мы только поездом и кормилися. С городов бабы да ловчилы на все капиталы провизию в деревне соберут, да мимо нас на поезде и вертаются. А мы поезда застопорим, да всю провизию на дрючка и перекупим.

★

Сейчас мы старую телегу поперек путей, паровозишки слабые, стула не свернут. А сами мешков напасем, вооружимся и ждем. Идет наш-то кормилец! На крыше бабы с провизией. Споткнется машина о тележку, постреляют маленько, если есть кому, бабы поверезжат. Ну, забьем кое-кого,— а дело наше больше насчет провианту было.

★

Влетели на кониках. «С чего,— спрашивают,— такое запустение?» Разъяснили. «А если у вас взято,— говорят,— так и вы берите. Ходим с нами до путей!» Рельсики развели, поезда дождались, они постреляли, мы забрали на поезде всего. Деньги коннички за помощь увезли. А мы покормились на малое время.

★

Шли мы осторожно, ползком ползли,— вот путь разобран, стали. И полезли на нас дивие люди какие-то, овчиною вверх, рожи позамотаны, чистые звери. А в руках у них все, можно сказать, трудовые снаряды: и вилы, и грабли, и топоры, и ножи, и серпы, и косы. Одной бороны не хватало. До чего мужик доведенный был.

★

Мирные, мирные, бабы, дети. Так не лезь по путям в этакую завируху крутую. Тут нам время шкуру спасать, а не цацкаться.

★

Поезд за поездом и цугом и шагом. Вещей и вещичек. От большевиков спасаются, опухлые с голоду, а в заду бриллианты.

★

А этот станет с бочку, острым глазом глянет, две минуточки подумает,— и сразу — «порите, товарищи, крахмальный его воротничок».

★

Насильничали мы с поездными, не хуже бандитов. Он тебе толком разъясняет, а ты весь, словно бомба на разрыве, аж шкварчишь. Да еще и скопы нас тут. Конечно, убьем всякого. А уж кто в поезду,— те просто сапогам слякоть.

★

А машинист — «права,— говорит,— не имею». Ему револьвер к лобу. «Что ж,— говорит,— едем, только далеко на таком не уедем». А нам выбирать не с чего,— «вези,— говорим,— довезешь — жив будешь, а не довезешь — пропала твоя голова».

★

А машинист молчки отцепил, да на паровозе и втикать. Осталися мы, вагончики решетчатые, теснота — винтовки осадить некуда, с крыш все полезли, а враг стреляет, а потом с дрючком пошел. Которые из нас целы, так чудом, может.

★

Подскочили мы, минутки на роздых нету. Душит просто, до того нам спешно. А машинист сбег. А никто на машиниста тута не учился. Мы станции начальника за шкуру, на паровоз его. А тот почти что старый, обомлел. Эх, гнилье! Как вдарили, дух из него вон. Давай сами орудовать, крутили, крутили,— рвануло. Ну, недалечко прошли, как крушилися.

★

Слякотище, а с него и обувь ползет, в поисках подошва оторванная. И лепится он по грязи непролазной и без денег, и без подошв.

★

Мыто жито, терто,
да не вытерто,
бито нас, изорвано,
да не выбито.

★

В роте на крепком клею бриллиантики к щеке приклеила, так шепелявая и провезла.

★

«Ах-ах», а сама хуже вора, вся захованная. Места на ней порожнего нет, до чего вещей ухано; одно с ней дело — грушей трясти,— сыпанет с нее на землю золотце.

★

«У меня,— говорит,— конечно, спрятанные вещи. Я вас за это полюблю, а вы пропустите». Тот как бы с удовольствием, а потом все и отнял.

★

Не то еду, не то ползу поездом. Лесок, зовут нас дрова рубить, паровоз топить. Не до работы. Стрелочникову хату разобрали, несем сухое это топливо к паровозу, что такое? Нет машиниста, и когда сбег,— никто не приметил! Пошукали его недолго, и пошли.

★

Столь я вез, думалось,— вот забогатею. Да не вышло, сперва как бы по закону отняли, да еще сверх закону шею намяли. Вот я и обандител до дикости.

★

Мы из вагонов все поскидывали, «езжай»,— кричим. Отвалил поездок кое-как, застукал и за лес подался. Слышим,— дитячий плач! Глядим,— девчушка малая. Мы ее второпях с мешками из вагона вышвырнули, думаю. Так как быть, не брать же ее с собой?

★

Говорят старые люди,— теперь последнее время, скоро конец света. Может, оттого и в поездах такая бестолочь? Ни свистка, ни звонка, ни билетика. Есть ли машинист, нет ли его,— не знаем. Кто топит, тот и едет.

ТАНЦЫ

День первый — страх кругом, и ты, и житель — все боятся. На другие сутки заторопимся вокруг себя,— жилье там, барышню, насчет театра и где — что. На третий день всё как бы в полном порядке, вольное тело танцев просит.

★

Гул, топ, пыль, гремит музыка. Девицы, будто и не голодные, к руке идут, только держи крепче. При устроенных танцах служба наша нестрашная, выскочишь с арестов разных, дамочку под груди, отдыхаешь-крутишься.

★

Если музыка хороша, да на руке ласковая барышня,— всё горе завер·чу.

★

Машинистка у меня была хорошенькая, только скучная какая-то, даже гла́за на меня не наведет. Пытаюсь я у ней, что такая? Виляет, не говорит. Приглашаю на танцы — не приходит. Спрашиваю,— ноги болят. Что такая за гордая, думаю,— дай погляжу, может подозрительная? Перед вечером зашел я к ней на квартиру, и оказалися она, да мать в параличе, и просто без куска; не запляшешь.

★

Мы, даже как в деревне, так и то танцы ежевечерне. А уж в местечке, так не под одну гармонь. И что за удивление? Почитай в каждой семье горе, а пляшет весь молодняк отчаянно.

★

Крутимся, она и говорит: «Где ваш товарищ Петя?» — «А на что?» — «Обещался он мне на обыск сегодня с танцев сводить,— зонтик мне очень нужен».

★

Никогда я и не думал, что танцы хороши. В деревне ли, в части ли, мы больше плясали под гармошку, а насчет танцев издевались. Теперь же большая перемена в нас, мне теперь пляска груба сдается, а на танцы — и не нагляжусь. Просто с чего эти нежности.

★

С того пляска груба сдается, что обгрохотала нас война, а тут еще плясать станешь, копытом затопаешь. А танец, он уставшему уху не в боль,— шиши-ши, всё шопотком. Ну, кой-где притопнешь по старой привычке, а грому нет.

★

Я у них уж вторую неделю в жильцах состоял и очень в нее влюбился. Стал хозяйку спрашивать,— «не родня нам она,— отвечает,— а привел ее какой-то полковник, и я приняла». Влюбился я и стал ежевечерне с ней на танцы ходить. Спрашиваю, чем занимается, с чего живет? «Занимаюсь танцами»,— смеется. «Танцую,— смеется,— хорошим кавалерам со мной танцевать радость, с того и живу, с того и забота у них обо мне. Вот и вы стали так же обходиться».

★

Танцы хороши. Барышня под рукой теплая, с тобою наравне, куда ты ступишь, туда и она за тобой. Я высокий, глянешь на нее сверху, ну жаль даже станет, даже добреть можно.

★

Плох я насчет танцев. Я как пень-обрубок, мне силы девать некуда, а тут «не прижми, не наступи, не толкни, не крути шибко, не руганись». Не по мне танцы.

★

У меня характер вежливый, я начальство уважать люблю. А вон оно, начальство, рядом с тобой дамочку вальсом крутит. Хорошо.

★

На танцах только то и плохо, что и начальство здесь. Напрасно они к нам соседятся. Ошибочку делают. Они думают, честь нам великая, а мы их просто переносить не можем. Куда бы лучше было, что им, что нам, друг на дружку пореже любоваться.

★

Я прежде хорошо танцевал. Бывало, зайдусь, пляшу, ничего не помню Теперь бы вот так, да не выходит. Только закрутишься, ан шум-пальба. О враге вспомнишь.

★

Пляшут и пляшут, как слышно — ба-бах! Как огонь, как дым, как со сцены мохнатые шапищи. И танцоров на штык, на нож, под бомбу.

★

Подхватили мы барышень и ну крутить. Как тарахнет по крыше, и потек на нас потолок кусками да пылью. Электричество потухло, барышни визжат; командую «музыка, продолжай!» Еще веселее стало.

★

Он песни играет, а мы пляшем. Дам у нас не водилося. Друг с дружкой, да кто как. Потопочется-попляшется, в куренек сунешься,— как-то и спать веселей.

★

Протанцует разка два,— стрелять в потолок. Взял эту моду. «Так,— говорит,— веселее и чтоб войны не забыть».

★

Крутись дзыгой *, а головы не скручивай: может, сейчас замест трубы пушка заиграет.

★

Вот я тебя танцевать научу. Вот обхватил я тебя. Теперь топай, топай со мной враз и не противься; топай-крутись,— куда я тебя кручу, в ту сторону и топай. Вот так. Да на ноги мне не наступай, старайся мимо топать. И с дамой танцевать так же будешь. Только сам ты ее крути, куда ты хочешь. Ей особенно старайся на ноги не ступить. Я-то еще от твоих копыт оживу, а дама насовсем из танцев выбудет.

★

Глядь, одна, ну просто моя жена покойная, до чего похожа. Нигде столько женщин не перевстретишь, как на танце,— на всякую судьбу есть.

★

Мне танцы для чего нужны теперь? — первое, женщину без обиды обнимай; второе, передышка как бы, дело над головой не виснет; третье, найглавное, музыка и смех кругом. А где это теперь сыщешь?

★

На танцах у нас самая с женщиной дружба. Жмешь ее до крику, ничего, смеется. А без музыки облапь — заплачет.

★

Чем бы и сердце греть, кабы не танцем. Все вежливые, весело, и женщины нарядные рядом тут.

★

Ступает, ногою заворачивает,— чисто медведь на цепи. А в танце — пером лебяжьим летает. Всю, бывало, тяжесть под музыку терял.

★

Такая танцорка была, пройдется, ручкой манит, платочком машет, всякую войну забывали коло ней.

★

Покрутишься с девицею, аж пот с тебя. Пять минут с ней покрутишься, словно тебя в церкви оглашали, с самого конца начало.

★

Невоенные у нас не танцевали, однако дамочки всякие бывали, даже и офицерские. Эти к танцам привычны и ловки, только нежны очень, как что — визжит. Я, бывало, так нарочно на ножки ихние ступаю.



СБОРНИК СКАЗОК С. З. ФЕДОРЧЕНКО
(Л.—М., «РАДУГА», 1925)

Обложка (по рисунку П. Г. Пастухова) с дарственной надписью М. С. и М. А. Волошиным: «Москва. 12 янв. 1925 г. Дорогим друзьям моим Марье Степановне и Максимилиану Александровичу эту хорошенькую книжку дарю. И очень Вас обоих люблю, автор С. Федорченко»

Дом-музей М. А. Волошина, Планерское

---

* Дзы́га (*укр.*) — волчок.

★

Нас на танцах офицеры всякого веселья лишали. Придут, как с честью, самых красивеньких позаберут, любезничают с ними, ажно те дурные вовсе станут. А что делать?

★

Устроили всё, музыку приказали, всех известили и барышне на квартире сказываем, чтобы приходила. Она губкой эдак,— брезгивает. Ладно, думаем. Написали бумагу, вечером приношу,— «ввиду недоброжелательного отношения, как подозрительный элемент». Струсилась, «что такое»,— спрашивает. Я разъяснил. Она иссиня улыбается, «это,— говорит,— у меня голова болела».

★

Не пускали ее к танцам родители,— мы их и арестуй. Однако, она нейдет. В чем дело сталося? Плачет, говорят.

★

Все наши головы на танцах поскрутили. Я у них на квартире стал и просто всякие опасности отвращал. Но вдруг просит моя блондиночка билета на проезд, ненадолго. Достал я ей разрешение — укатила. Через недельку сестра ейная просит. Эге, думаю, да и придержал птичку под арестом и вызнал,— моя-то на Дон к жениху укатила, и вторая было туда же билетика себе вытанцовывала.

★

Плясать пляши, а глаз с нее не своди. Три-та-та,— а под кружевцем женишок белеется, погончиком встряхивает.

АТАМАНЫ

Стонет волк, просит зверь
на дворе:
«ты открой мне дверь
на заре.

У меня, атамана,
сила есть,
что добра наломáно,
и не счесть!

У меня волчаки
молчат,
у меня молчаки
волчат.

У меня родня
бьет-жжет,
не дождаться мне дня
хорошо.

Всё в огне, в дыму
на селе,
мне в твоем дому
веселей.

У тебя соснов
потолок,
чтоб никто основ
не протолок.

У тебя дубовый
накат,
чтоб ничья не прогнула
нога.

У тебя голубые
глаза,
не пойду, атаман я,
назад.

Ох, попал я, волк,
атаман,
скоро сядет ночь
за туман.

Мне на солнце головы
не сберечь,
так открой ты мне дверь
на заре!»

«Что ты стонешь, что ты воешь
под окном,
что ты просишь, что ты молишь
о таком?

Пусть придут, пусть увидят,
найдут,
пусть узнают, убьют
тебя тут.

Пусть ослепнет мой глаз
голубой,
если сжалюсь я над волком,
над тобой!»

★

Не стыди меня, маманя,
заделался атаманом,
атаман я воевода
для простого для народа.

★

Свел у тебя немец худобу? На, за каждую голову столько. Сжег у тебя офицер хату? На, столько-то на стройку, строй. Убили у тебя враги родных-кровных? На, вот тебе обрез да коня, становись за меня, да не для себя, для всех. Вот он какой!

★

«Коммунист?» — «Таков я»,— говорит.— «Есть у тебя гроши?»— «Нету»,— говорит.— «А что у тебя есть?»— «Билет,— говорит,— да револьвер».—«Будь же ты,— говорит,— коммунист, с нами в друзьях, и с билетом своим и с револьвером, противу общего врага». Вот он какой!

★

Лицом до того ужасен,— чистый Петр Великий, и рост такой. Одно не по-петровски было,— борода по колени. Так то уж вроде Пугачева. Все страхи на нас намешал.

★

Как вот в курень, шасть дядя в сажень; да папаха для страха, бородище по пуп, да ножик с пуд; один глаз дерьмо, на другом бельмо; зубы гнутые, губы дутые. Приснится, под себя сходишь!

★

«Видывали,— спрашивает,— вы царя?» — «Видали»,— говорим.— «Глядите,— говорит,— на меня, такой он молодец живал и может ли он противу меня?» Стал он перед нами, есаулы его под руки держат, они здоровые, а он словно осокорь *. В плечах у него сажень, кафтан на нем парчевый, усы вьются, зубы белые, глаза огонь, румяный, красота. Вот это атаман был.

★

Что за атаман,— ни росту, ни силы. А потом поглядел, как он под пули грудь оголил, думаю,— за смелость держать следует.

★

Я всех почти атаманов знаю, ну такого серьезного не встречал. Первое — не по-атамански в очках. Второе дело — не русский и никакой,— может, цыган какой-нито. И третье, перенести невозможно, как взлютует, завыкает на вы, словом доходит. Этак-то разве воля?

★

Тот атаман был ученый человек. Книги с собой возил иностранные. Бывало, тревога,— так он неспешно носа из книжки вывязит, да и на конь.

★

Тот атаман не просто рожден был. Отец, будто, у него раввин, а мать, будто, монашенка была. Вот он и вышел такой сумной, и думка в нем повсегда, и крови хочется, и молитву любит. Кто его знает, шалый.

★

«Вот я вам,— говорит,— всю казну на руки, всё вино на руки, всю провизию на руки. За то уж руки мои. На что топора дам, то и рубите, не умствуйте».

★

У нашего имя крещеное не песенное больно было. Поп атаманову отцу назло скрестил. Так наш до того попов взненавидел, из-за ихнего семени и атаманил.

* Осокорь — один из видов тополя.

★

Как в место, сейчас попа перед очи, допрос: как жил, как пил, чего с амвона брехал, чего за требы бирал? А народ на поповском деле плохой свидетель.

★

Попа нет,— сам служит. А мы чтоб стояли. Терпели мы, терпели — да и ушли. Мы его вожжами взяли, а он нас под богов. Он-то из попов, да мы ему не прихожане.

★

У нас расстрига атаманил. Иноверцев не принимал, всё мужиков православных. И чтобы при нем кресты сняли, и пяткой наступили, — это у него вроде как присяга была.

★

Привели ему попика молоденького, горячий попик, стал грехами корить. Отчитывал,— грехи мол. Атамана того видно не было, только сподручные слушали попика, и ничего. Как хватит попика пуля, не знай откуда. Сгиб попик, а атаманова и палатка не раскрылась. Кто говорил, что баба он, а кто, что нет его совсем. Никто не видал. А может, он князь великий был, кто его знает.

★

Мы себе атамана за голос взяли. Вроде запевалы. Бывало, самое заячье сердечко на бой песней подымает.

★

Знавал я Петлюру, невидный дядя, ничего особенного. Кто его знает, с чего он носа крутил, а сильно задавался.

★

На той войне был у меня соратничек, как бы дружок: звали его Васильком. За тяжким ранением отправили его, я скучал. А вестей не знали мы друг о дружке. Я думал, сгиб он от болячек разных. А я отвоевался, домой. Тут завируха эта. Я путей выбирал, зря время провождал. А тут к нам подошли чьи-то братишки атаманские. Кто их знает. Кармана мне зацепили, и пошел я к ихнему атаману перед лицо правды допросить. Привели меня в ту хату. Сидит под иконами дядя, весь от ран перекрученный, ажно глаз у него один. А нарядный, а гордый,— шапка козырем. Глянул я на того ледящего, да тихесенько так — «здорово,— кажу,— Василек». Аж червоною кровью морду ему залило, до того признал. Сам же остатним глазом кругом зырк-зырк, да вдруг прямым голосом ко мне,—«какое,— говорит,— у тебя, мужик, дело до меня, кажи швыдче». Как услышал я про мужика, как стал я его матерно срамить, как стали они меня бить,— не чуял и в живых остаться.

★

Никогда б я прежде не поверил, что каждый человек убивать может. У меня сосед был Сережа, тихий и как бы святой. И кличка ему была «Сережа Дух». Так этот «Дух» теперь атаманом зверствует.

★

Привели ему одного, ан тот кровный его сынок оказался. Глядят друг на дружку, снял отец шапку, в землю кинул,—«не могу,— кричит,— свое семя судить, какой я вам атаман». Однако простили ему, оставили сына как бы вестовым.

★

Как в местечко пришли, сейчас велел он народам пианолу заводную доставить. «Тогда,— говорит,— никого не обижу. Давно,— говорит,— кортит* мне та музыка». Изловчились народы как-то, достали ему. А он еврейчика молоденького в придачу взял, к инструменту. Да так и ездил с музыкой, немалое время под музыку атаманил.

* Корте́ть (*обл.*)— хотеть, сильно желать; корти́т, корти́тся — сильно хочется.

★

Превыше всего он лошадь свою любил. Бесценный такой конь под ним играл. Сказывал атаман, за каждую такого коня кровинку по врагу забью, если придется. До того кровный конь был.

★

Атаману первое удовольствие было — птица певчая. Зимой при нем скворец ездил в клетке. А канареечки у его бабенки у одной зимовали. По тем канарейкам его и выследили.

★

Видали Деникина генерала? И приказывает своему какому-то Деникина представить. Тот представлять стал, ну, чисто тебе обезьяна, а не генерал. И Николая Николаевича рассказал, вроде Кащей. А атаман как заголится,— вот же я какой, на тех непохожий. Здоровый, чисто жеребец, с таким не пропадешь.

★

Привели к нему всех коней и все коляски. Ходил-ходил, выбрал. Теперь, говорит, давайте мне барыню до коляски. Привели ему — выбрал себе соколиху, сел с нею в коляску, поперед нас едет, а мы песни поем.

★

За ту самую соколиху сколько он народу перешиб. И муж-то ейный кругом волком рыщет. Как кто отобьется — убьет. Да и атаман от красоты зазверел, чтобы на нее не залицались. Бывало, ты на нее глазом облизнешься, а он бить. Перепортила соколиха дружбу.

★

Женщина атаманов любит. В самую черную минутку спрячет, побоями из нее не вытянуть, смерти не побоится. А за то, что смелые да счастливые.

★

Очень женщины атаманов любят. Лестно, что ли. Да и денег вволю, да и вещей-нарядов,— царицей водит, до поры.

★

Запретил баб атаман,— коли вы, говорит, товарищи, так и служите друг дружке, а бабьим теплом не грейтесь,— продаст.

★

Дисциплина у него какая, бывало. Курить — так и то по приказу. В лесу, говорит, баловство лешим на руку. Строго живите. Пленного до того, бывало, вывернет, за человека не признать. К селу нас не водил, утечете, говорит. А мы и так утекли, а его в кожух обкрутили, да и зажгли в костре. Ревел бугаем.

★

«Стань,— говорит,— сынок, и смотри в мои очи не сморгнувши. Выдержишь — жив будешь, не выдержишь — пропала твоя головушка». Так себе войско насбирал, наиверных людей.

★

Коло него были верные во всем, за атамана насмерть. Он себе из вражьих петелек дружков добыл. Вот и служили так.

★

Есть одна у нас поговорочка — с атамана проку мало. А интересно! С тебя работы и смелости требуют, за то и воли во враге не снимают. Что ты хочешь, то с ним и делай,— хоть ешь его.

★

«Вот,— говорит,— тебе сумма немалая, вези домой, а сам к утру вертайся — не все еще слезы сосчитаны, не все еще гнезда змеиные повыжжены».

★

«Чией сундук?»,— спрашивает. «Мой»,— говорят. «Петро, тащи сундук у тачанку».—«Чия шуба?» — «Моя»,— говорят. «Петро, тащи шубу у тачанку». Сперва узнает чье,— уж потом тащит.

★

Подпалит жилье, побьет житье, крови нанюхается, да в спирт головою.

★

Атаманова близнеца за брата забрали, а как дознались, что не тот, так перекроили ему все лицо за сходство.

★

И говорит им атаман: «братики, до того похожие вы, нельзя такое как бы чудо целиком по свету пустить. Кидайте жребий, кому из вас жить, а кому помереть».

★

И сразу всех вешать. А подо мной ветла и посмякла, до земли. Я ведь вон какой, здоровый. И до того они смеялись, ажно в живых оставили.

★

Мы с немца в большевики желали, да некуда податься было. Надошел тут чужой человек, с Дону. Смелый такой, косоглазый весь. «Идите,— говорит,— за мною, не хуже большевиков врага выкрошим». А тогда растолковать некому было, да и терпеть некогда. Так и пошли. Да что-то до толку не доводил,— сегодня офицеров глушит, а завтра над мастеровщиной тешится. Абы разбой. Ну, окружили нас какие-то солдатики, он в болоте и утопись,— самая ему смерть.

★

Уж на что монахи-схимники головой тупы, а тоже кой-чего понабрались. Из них один у нашего атамана неплохо геройствовал, а так что не по правде, так он сейчас и вступится, «не так, мол, нас учили, например». Атаман же сразу от таких его слов и затоскует, и запьет. Привычка у атамана большая к разбою была, с другой же стороны и монашек агитировал.

★

Копытко, тот в атаманшу влюбился и сгиб, как в сушь гриб. Паром вышел! Ушел он от белой мобилизации и прямо в лес. Там тогда вроде как контора по найму была. Враз он хозяина нашел, чужими руками головы рубить. Взял его атаманчик маленький такой, красивый, горячий. Как что против, так атаман подпрыгнет и в зубы. А воины от атаманова кулака в смех. Что такое? Баба! И влюбился, и влюбился. Атаманша же никаких с мужчинами забав не водила, да и воины до нее живым не пустят. И сох, и сох, и сох.

★

Это хозяин был. Вошли в место, всем распорядится, кого на тот свет, кого за выкуп придержать, кого с собою на писаря взять, бабу свежую и верного человека на охрану, может, и родню, чтоб к нему никого не пускал бы. А сам спать. И спит, хоть бы трое суток, сколько на том месте постоится. В походе же глаз не смыкал, хоть месяц ходит.

★

Генерал этот белых вел куда-то, чёрт-е знает куда, за границу, что ли, вел он белых. Через реки, через горы, мимо Каменца. А там атаман задорный атаманил. Вся округа в дружках, как в своей хате. Нашлет молдаванке стравы, велит всего наготовить. А молдаванка на генеральском пути. Из трубы дым, ажно розой пахнет, до того смачно. Жарят, парят, не в голодной же хате становиться. Генерал к молдаванке. Жрут, пьют, барствуют. Спать лягут. Тут атаман, как кречет, как с неба падет, только пух взовьется.

★

Тот атаман чисто монах какой был. Оттого с ним больше месяца не ходили. К нему за волей, за раздольем, за гульбой, хоть бы и под смерть. А он вещи запретил, жидов запретил, баб чужих запретил, самогон не позволил. «За свое воюете,— говорит,— так не балуйтесь». Как что, порет. Кому охота.

★

Наш атаман, сказывают, четвертое войско переменил. Первым походом ушли с ним двенадцать, из его же родной деревни. И всех двенадцатеро

он под Мережной потерял. Кого побито станишниками, кого повешено, кого как. Вторым походом пошел он сам четверт, с родней своей. Всех их белые на сучках вывесили, ворон кормить. Атамана же, будто, голодная ворона с веревки склюнула впопыхах. Очнулся, пошел третьим походом, сам один. Тут пришлось ему важного какого-то из кадетских рук выгрести, взяли его большевики в дружки. Теперь он с нами воюет.

★

Он на конь, гармошка вместо бинокля под затылком болтается. Сколько ему этих гармошек пулей передырявило. Торчит рожном, на прицел. Чорт его охоронял! Гармонь сменит и жарит польки под пулемет.

★

Ночью самой до нас посол прибыл. Сговорено было ничем его не потревожить, как бы и не в лесу. Ну-к, что ж. Он на машине, мы на тачанках, он гудеть, мы тарахтеть. Тут он с машины сошел, седоватый такой полковник, подстарочек. Наш же с коня спорхнул, как с картины, красота. Они шу-шу-шу, мы ждем. И дождались через время. «Сынки,— наш говорит,— мы с этим полковником союз заключили против красных, кричите ура». Мы же шапки оземь, полковника в лоб, машину в лом, атаману пулю, да в лес и махнули.

★

Снял атаман шапку,— «швец,— кричит,— пори в шапке подкладку, да не порви, усы оторву». Под подкладкой коробочка, в коробочке часы. Надавил пружинку: ди-ди-динь-динь сколько надобно по часам. Так что ты думаешь, из-за этой штучки все наше дело распалось. Сперва у атамана скрали, нашел, выпорол, выгнал. Второй раз украли — не нашел, всех выгнал. Придется атамана искать, а часы-то у меня!

★

Нажмешь, птичка крохотная выскочит, крылышками встрепещет, завертится и зальется песенкой. Да такой песенкой, что меня аж слеза прошибла! Я-то, с нашим атаманом зверствуя, думал, что и сердца у меня больше нет. А на птичий щебет отозвалось.

★

Это каков же атаман жить должен, это как же он для нас геройствовать должен, ни соринки в нем для нас неудобной чтоб не нашлось. Вот такой был этот атаман, что мы ему ночных его слез в счет не ставили, плакивал ночами тихо и не скрывался от нас.

★

К лету всего накопили мы вдосталь, привел нам атаман учителя из местечка, приказал нам учиться. Сам же от нас отделился, в особой избе весточки от жены ждал, посланного выглядывал. Прискакал посланный, поговорили они, выскочил атаман из избы, глаза кровью налились, чуб торчком, зубами скрипит, голоса не узнать. Нас забрал, налетели мы на его семейное селенье, натворили беды. Он жену застрелил и сгинул куда-то. Учитель же наш сбег куда-то. Так и не выучились, не судьба.

★

На что мне атамана нового искать? Ненадобно. Первое — я отгулялся досыта, удаль стихомирил, силы накопил, поспокойнел так-то. Второе — с людьми умными словами перекинулся, иду к ним, по правилам стану с врагом воевать. И врага себе определю до точки.

★

Велел себя «товарищ атаман» называть. Я, объясняет, коммунист, а потому отдельно воюю, что вольно летать хочу. Вернусь к ним, говорит, когда лёт кончим, мирно жить примусь. Тогда я на ихнем деле хорошо себя оправдаю.

★

С нашим атаманом мамаша жила, всё с нами терпела, только бы с сынком не разлучаться. Я как-то заболел, чуть не помер, так мамаша эта у меня в головах черным вороном села и просит: «не вели ты себе батюшку для покаянья звать, помри так, чтобы на тебя сынковы грехи пали. Уж я же за тебя так молиться стану, лоб отобью!» Разобрал меня болящего смех, обещал я ей, да вот и не помер.

★

Атаман, как в сказке. Гикнет — гром! Свистнет — деревья гнутся, плясать пойдет — изба ходуном!

★

Наш атаман образованный был, а в атаманы подался потому, что командовать любит. Чина же он не имел, любой унтер над ним бариновать мог.

★

«Зачем атаманы живут? Чем,— спрашивает,— атаман не бандит?» Отвечаю: «Атаманы живут затем, чтоб было кому отставших и безначальных нераспоряженных людей собрать и на врага водить. А не бандит атаман потому, что ответ как бы на себя одного принимает, как вы свое имячко всем нашим делам даете. Мои, мол, это дела, коршуновы, или как там еще атамана кличут. Бандит же как ответ, так его и нет, все за него ответчики».

★

Атаман этот мне дядя приходился. Прямо послал за мной парнишку, приказал к нему идти, оружие с собой и барахлишко кой-какое принести. Я к нему и отбыл из родного дома, да уж на всю эту заварушку.

★

Удобная была жизнь в лесу, близ нашего села. Атаман свой, сосед, грабили мало, разве налетим на богатое место, всего наберем, и нам и родне надолго хватит. А в случае каком, нас по избам разберут, переодягнут, пожалуйте!

★

А как ты думаешь, зазря атаманили? Что кругом? Пучит жизнь, как кашу пузырями. Вот такой-то пузырь выскочит из котла, закричит до конца доведенным голосом — «за мной». Разве усидишь?

★

Если атаман хорош, так что́, что атаман? Не в сравнении с белым командиром. Атаман с тобой одного корня, все понимает, ничем не брезгивает, смелости отчаянной, белых бьет-крушит, обхождение щедрое и всего вволю. Чего еще-то? И честь тоже.

★

Вот это так честь! На всю округу первые насильники, обидчики, беспомощных людей мучители, пьянюги, самогонщики! Это вот и честь.

★

Великое это дело, атаман. От него мы всего набираемся. Он вроде как нам на пример дан. Гляди, учись, любуйся, действуй. Мразь не наатаманствует у нас.

★

Просто если говорить, так атаман как есть разбойничий староста, а я с него пример брать? Наш был с виду очень хорош,— высок, ладен, одет по-княжески. И голос как у протодьякона. Слова же его глупые были, дела его пакостные, душа у него бабья, характер как у индюка. Трус он и фуфыра. Ходим же с ним за то, что удачлив, с ним не попадемся.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ГОРЕ-ГОРЬКОЕ

ГОЛОД

На голоде мы всех жалели. Мы не в избытках, да как глянешь настоящего голодающего,— как по нем водяные желтые подушки опухлые, из десны гной, как он глух-слеп, недвижим, последним поделишься.

★

А тут сытые, а тут замест того, чтобы дать, ищи, говорят. А чем искать, коли ни силы в тебе, ни терпения? И убьешь неосмотрительно.

★

Голод самое страшное. Через голодное брюхо, иссохшее, никакого впереди свету не видать, понятие пропадает, с чего ты терпеть захотел. Наихудшее. А ведь ты в голоду только через брюхо и смотришь. Потому и страшно.

★

Шли без куска. И видели, как кто к земле припадать начнет, этот сейчас ему откуда-то кроху, подкормит маленько. А сам всё тает, все болеет. Слушки, однако, пошли, что пищи приберег. Уж было отнимать задумали, как свалился он. Спросы пошли, а он приказывает —«есть,— говорит,— имущество, берите из шапки». Глянули — галеты пол! Ему давать, не взял, помер.

★

Легли спать до того голодные, хозяева сбежали. Протягся я на печи, гул в брюхе и боль, а крошки никакой. И куда-то потянул я руку, и куда ж попал, ангелы небесные! Попал в отдушину, на корочку на хлебную.

★

Ничего во мне разума не стало, волк я волком. Привели,— бить стали, а я на полу корочку губами доторкнул и лижу с кровью.

★

Средних лет человек, при нем мальчик лет двенадцати. Эти лечились тут, что ли, да и сели сиднем на годы. Ни денег, ни одежи зимней. Тихие какие-то, особенно мальчонок. Даже плешивенький такой, и не усмехнется. Голодом жили. Отец вечером попрошает где-нибудь объедков неважных — всё сыну, а сам колелый просто.

★

Стал я им ворон бить. На бутылочное стекло приманивал. Воронье же мясо белое, полезное. А старого с вороны рвать, ученый он какой-то, непривычный у него вкус был. Раз я его крысой накормил, думал, всё не ворона, а он, как дознался, обомлел и чахнуть стал. Пище не верит, а другого, кроме воды, не найти. Хлеба просил, а что я, бог что ли?

★

Всё продовольствие как сгорело, один сахарин. То ли вся наша Россия воюет, ничего не заготовляет, то ли вывезли иностранцы, то ли прячет население,— а ничего нет, идем почти голодные.

★

Мать по кускам ходила, так и питала нас, Христа ради. И вот пришло для бедного люда время. И вот какие-то злыдни голод на нас учинили. Какая тут божья воля, толкуй! Тут наихудшие люди руку приложили. Только напрасно, мы притерпелые, мы не помрем, мы выживем, и по своему повернем, посмотришь.

★

Вся семья с голода померла, старики, жена, двое деток. Никого родни. Так что? Я этот голод за богом числить стану? Нет, брат, я виновных и под землей бы нашел, а они куда поближе, рассчитаемся аккуратно!

★

Я к ней нагнулся,—«Аннушка, Аннушка»,— шепчу. Она же руками дрогнула, а поднять их не в силах. Так же и на слова у нее губы силы не



«ПОМОГИ!»
Плакат Д. С. Моора, 1921
Центральный музей революции СССР, Москва

нашли. И была она другая, не та, как я на войну уходил. Была она цветом серая, и даже волос у ней как бы серый стал. Голод.

★

Голод всех съел — и меня, и тебя, еще и разных людей. Мы-то голодные ходим, голод сыт теперь.

★

Одного царя сбросили, так и голод-царь у нас не засидится. Уж такая наша порода, бесцаревая.

★

После голода своего настоящего, что боль и скрежет, а не то, что тебе до смерти жрать охота,— стал я совсем не прежний. Жалость я потерял, в людях одну пакость вижу, даже и семью хоть бы за дверь. Да и сам себе не мил.

★

А я так напротив того, на всё как бы глаза открыл, всего мне как бы мало. Да не снеди, я уж обсытел. А там дружков что ли, там веселья, там картинок что ли,— теперь на всё мой голод опрокинулся.

★

Ох, и чего ты меня о таком спрашиваешь. Я и слово-то это позабыть хочу. Одно во мне тогда оставалось,— делай со мной что хочешь, только дай ты мне попитаться. Это сперва, а потом,— оставь ты меня подышать, утишь ты боль мою, нутро мое боль разрывает. А потом — глаза вылезли, зубы выкрошились, волосья пересохли и попадали. Видишь, каков! И спрашивать нечего.

★

За голод судить, за голод казнить, за голод смерти подходящей не подберешь. А кто винен? Царь? А где его достанешь? Беляк? А как его изведешь, если все иноземные войска его берегут? Образованные люди? Так как ты их ущемишь, если все законы знают, увертливые, умны, и все против нас, неграмотных? Жди времени.

★

Обернуться мы не успели, как они всё разграбили, всё сожгли, увезли, немцу продали. Вот голод откуда, вот кто в нем винен.

★

У нас в эти дни всего продовольствия сахарин да кокаин. Оттого и здоровые мы такие, как мышь.

★

Даем ему, а он, ну совсем как щеня слепая, мимо рота тычет, до того от еды отвык.

★

Я все новые чаи знаю. Самый хороший чай — весенний, на березовой свежей почке. Второй хороший чай попозже, на липовом цвете. Осенью самый хороший — корка яблочная. А вот зимой, хоть ты на мозолях настаивай, всё плохо.

★

Соли нет, беда. Соль-то дешевка, а без соли неловко. Без соли день, без соли два, травы пустили в ход, рвет нас всех, до того живот без соли не любит пищи.

★

Просто от ветра валились, до чего сголодали за четверо суток. А кругом ни кощенки, ни собачонки, от скота и навозу не видать. Ничего не осталося. Одни бабочки-мотыльки стаями летают, над пустыми полями тучей носятся, шум от тучи той вроде дождя проливного. Даже страшно.

★

Я всё ел, тем и спасен. Ей-богу, землю ел, был такой разок. Уж очень дошло, заслабел, набрал в рот глинки с водой, глотнул. Ничего, стерпел, только что рвота.

★

Чисто ящик каменный. Кинули, и забыли. Голодал. Так вот, на пятые сутки ничего есть не хотелось. А стало как бы кирпичи друг о дружку тереть в брюхе. Шуршит, по нутру сыплется, и тяжелый такой стал.

★

Есть такие — с голоду к костям присыхают, помирают, так моща-мощой. А другие так,— с голоду горой раздует, и за смертью смердят скоренько.

★

Пришли мы в деревнюшку, ан живут-то в ней одни покойники. Как мощи сухие, не смердят даже, выветрены и псами обглоданы.

★

От голода был я толстый, пухлый, как бы сырой. И как воск литой, желтый. Бывало и спать-то боишься. Как бы во сне челюстями не заскрипеть, до того толст, подозрительный. Жру, подумают, навалятся, приспят, как котенка.

★

Что такое у горла? Рука. Держу я руку нашего тих ого Селиверста, и руки его не пускаю. Он же молча вьется и плачет слезами. «Гаденыш,— говорю,— неужели убить хотел?» Поволок я его к ребятам, как бы на суд. И ничего-то мы ему не сделали. От голода слабый, не в себе, послышалось ему, что жую,— опомниться он не успел, как хорем мне на горло.

★

В голодные самые места пришли, добыть же провианту нужно. Хоть крысью тушу.

★

Присохли у ней ребра к бокам, зубы к губам, глаза пустые. Бросил ей галету. Как задрожит, как захрумтит, как забьется.

★

До того жрать хочу, слов никаких не понимаю. Он мне что-то кричит, а я жратвы шарю, по всем усюдам ищу. В столе крошек горстка, я ее в рот, а в ней кнопка, в язык впилась. А кабы заглонул?

★

Снится, будто неголодный я, и должен еловое полено со смолой съесть. По-нужному должен, обязательно. Я ем, и смаку нет, а остановить себя нельзя мне. И от пищи той огнем горит нутро и глотка.

★

Снится, до того будто оголодал,— люди какие-то зажалели. Я лежу, а они будто стол ко мне, на столе такое смачное, чего и не расскажешь. И все они копошатся, все для меня будто, все копошатся,— а я в страхе и ужасе, что сроки они прокопошат, и есть мне случая не будет; и будто так и вышло.

★

Будто порося у меня в руках, и вдруг снаряд в хату, и порося вдребезги.

★

С голоду сон такой, одно видение,— будто летит на тебя кус здоровый и все в нем — и хлебушко, и говядина, да еще и от жиру блеск ажно. Летит на тебя эдакое объядение и... мимо. В смертном поту просыпаешься.

★

Накормили, замер сном на часок. Встал, как воробушек, — смеюсь-радуюсь, что молодой, одужею, до дела доведу.

СНЫ

Снится мне, война окончена, все наше, у меня на руках всего множество. А я будто оробел, что мое — не верю, и кругом дрожу-стережуся, чтоб не отняли. И вдруг всего лишаюся.

★

Еще снится мне жена моя живая, испоганили ее будто, а не убили. И будто всё она допрашивает, всё допрашивает — «ты скажи-скажи мне, муж, что ты со мною рассудишь, как я тебе байстря немецкое принесу? Тяжелая я». И будто хуже мне это ейной смерти, а ведь как в яви-то я по ней убивался.

★

Снится мне, я мальчонок, и с товарищами в школу пришел. А в школе немец учит по-иностранному. И что мы не так, все он в книжку записывает, а за школой пулеметом наказывают за ошибочки. И во всем сне словечка русского не слыхать — только речь его немецкая, да за школою та-та-та-та.

★

Приснилося, будто вы меня атаманом назначили, а я нагляделся будто на ихние дела, и от красных идти не согласен. А вы меня срамите, что боюсь. И вдруг мне коня и орден,— и я повел вас.

★

Снится мне, будто налетел батька, будто деть мне себя некуда и будто я под батькову тачанку прицепился, с испугу приник. А тачанка будто скоком, а на меня, через днище, кап да кап, то кровинка, то деньга золотая. И громом тачанка по земле гуркотит, и земля под тачанкой поет, вроде как бы выговаривает,— кропи меня кровью, золотом мости.

★

Снится мне моя мамаша покойная. Веселая стоит над нашей хатою. А хата горит до тла. Мамаша же тушить не допускает, да и тужить не велит. Гори, говорит, гнездышко, птицам летать вольнее.

★

Я тоже теперь не весь целый. Сон у меня всегда с одним началом, и до единого конца: начало, будто падаю,— ору тогда; конец же, будто душит меня веревочка,— и тогда ору тоже.

★

Снится,— поставили меня враги, всего посвязанного, носом в плетень, а сами оружием последнюю мою минутку вызванивают. А я к щели глазом приник, и вижу,— и реку, и лес, и поле колосом золотое, и солнце горит-сияет, и вольные люди ходят, меня дожидаются.

★

Снится,— веду я дитя за руку, а куда веду — не знаю. А дитя не боится, оружием моим играет, а поперек пути вдруг части вражеские на дитя пулемет навели, а дитя смеется.

★

Снится мне лазоревое сукно разостлано, вот как бабы холсты белят. На сукне в порядке золотая-серебряная посуда расставлена, на солнце горит.

И нас подводят к этому сукну, и вежливо предлагают выбрать и взять себе, какое кто хочет. И задрожу, и сна нет.

★

Я в прошлом месяце считать вздумал, какую ночь спим. И вышло, что без выстрела только три ночки ночевали. Хорошо, что снам много времени не нужно, в минутку до старости присниться может. А то бы скучно без снов.

★

Снится мне, я во фраке с хвостом и в белых перчатках. Я легонько так танцую, как перышко. Я танцую-веселюсь, а сам нет-нет, да и взгляну на дверь. Вас, чертей, боюся, что засмеете на́смерть. И вдруг вы ввалились.

★

Сон мой такой,— поле колосится, ни облака. Как вдруг, не по времени, черная туча грачей саранчою на колос села, до самой земли взялась, и вместо поля золотого,— черная грачья сила.

★

Снится,— коршун ширяет великий, ширяет и низится. И чем коршун ниже, тем росту в нем больше. И станет коршун, как туча, и вдруг коршун небо все застит, на крылах замрет,— и камнем на меня.

★

Снится: река кровью плывет, берега костьми сложены, а моста нету. За тою же рекою солнце всходит ясное, и пышные хлеба растут, луга цветут, леса стоят богатые. И снится — жизнь там светлая. Стал броду искать.

★

Такой сон,— будто я по краешкам каким-то ступаю, и не ведаю по каким. А кругом вопят и стреляют. А я, будто слепой, и пальчиками скрозь портянки-то вправо, то влево,— и нигде ничего твердой земли, только что краешек подо мною.

★

Я, правду сказать, настоящего дерева до 14 лет не видал. А во сне видывал деревья постоянно. Откуда и что, не пойму, и за чудо считаю.

★

Чуда нет, брат, и рад бы тебя побаловать, но уж что нет, то нет. А ты книги читал? Картинки смотрел? Вот тебе и чудо!

★

Сон он тебе всё наново предоставит, что было.

★

Снов я прежде и не видывал, думал — это женское такое свойство. И вот, с голодом, стал я вроде бабы, сны и сны, один другого смачней, один другого завистней для голодного человека.

★

Спанье великое теперь дело, отдых. А вот сон, да для нас, да вред явный. И так кругом еще все хорошей промывки ждет. А тут сон, да как бы явь какая. За что взяться, не знаешь, с толку сбивает сон.

★

Сон, что звон, а на что звонит, на что зовет,— не знаю. Выходит, мало нам яви, не хватает на полсуток. А сон зазвонит, канет явь, как не было ее. Ослабели мы что ли, не знаю. Команда нужна.

★

Враг наступает, дышать некогда, жилы натянутые дрожью дрожат, а ты, срамец, сны видишь?

★

Сон золото, сон доброе дело. Вот совсем ты себя потерял в жизни этой жесткой. И вдруг тебе детское твое житье приснится, как ты, к мамане прижавшись, на печке лежишь — сердце и проснется.

★

На том и спасибо! Спи, спи у мамаши под бочком. А это кто же к твоей пустой голове револьвера приставил и баю-бай тебе поет, не белячок в погончиках?

★

Снится белый снег, рассыпчатый и глубокий. Ступишь — потонешь. Я ступил и вглубь ухнул, кругом и бело, и льдисто, и до костей морозно. И там судят людей. И меня,— а за что, не пойму, но страшно.

★

Снится, сменяю я портянки у дороги. Голову наклонил, разматываюся. И кто-то будто невидимо руку мне на голову положил холодную, и учит глухими словами самому найглавному. Я же за страхом слов тех не пойму, и вода по обочинке журчит, слышать мешает. И оттого тоска, и проснулся.

★

Снится мне,— плачу я, и не знаю о чем, а какой-то ученый человек объясняет,— ты не плачь, не плачь, молодой парень, слезы твои от устали, от молодых твоих ног-рук натомленных, а так радость и радость, и вольная воля впереди.

★

Снится, дорогою гонят нас, кто — неизвестно. Идти же надобно. Ноги же мои липнут до сухой дороги, как до густой смолы. Идти же скоро надобно. И пот но мне и ужас, а мимо меня товарищи легко ступают, и от меня удаляются и удаляются. Я же вот-вот один остануся, а позади страх.

★

Снится, иду один совсем, и пришел в родной свой дом, и все будто мои покойники живы, на столе большой пирог дышит, отец под иконами сидит, огурцы в чашку крошит. И стрельбы не слыхать. А я и забыл про такое.

★

Я снов не вижу, сплю-отдыхаю. Встану — война! Как еду добывать, как шкуру спасти, как ноги от босых подошв защитить, как ночи живым дождаться,— мало ли дел. И опять спать без снов.

МИРНЫЕ ЖИТЕЛИ

Очень нам не нравится
с мирными забавиться,
ломит косточки с похода,
не до мирного народа.

Их нет теперь, мирных жителей. Придешь куда, житель дома, в руках у него сковородка, а сыновьими руками в разных армиях тот мирный оружие держит.

★

Нас только простые привечали, а эти праздника не сделают. Ни яства, ни питья, гроша немае. А те мирные, с цветами да вином,— то ихние, не наши.

★

К одним попадешь — просто тебе сапоги лижут; к другим — молчки волчатся; а где — словно от чертей шарахаются. И нигде-то нигде просто не приветили. Это мы, а то мирные жители.

★

Жители хитрый народ, и не всякому впору. Одни нас ютят, другие ихних. Одни при нас нищи и убоги, а при других яства и питья полны столы. Жителя сильно щупать надо, пока не угадаешь.

★

Очень я прижился. Стали мы уходить, все я вещи у них оставил. Вышли мы за околицу, вспомнил я револьвер в столе. Вертаться на скорую ногу,—

матушки, не узнать! Выряженные, вино на столе, офицериков дожидаются. Схватил я револьвер, хотел им грому сделать,— не поспел. Не верю мирным.

★

Всё сразу стало видать, будто подпись сделана. На балконах дамочки зацвели, в тех букетами кидаются. И откуда всё появилося. Брошечки, сережечки, перчаточки — ничего при нас видать не было. По домам жгут-палят всячинку. Беднота по щелям да в подполье.

★

Глянешь теперь на мирных — нет хуже ихнего житья. Сами кволые с утайки да с недоедки; дети зачичевелые, словно куры в подполье; вещи вокруг мирных тлеют-портятся; и животное не шумит. Ни собачка не брешет, ни киска не мяучит, ни птица не шебаршит.

★

Нет теперь в вещи смысла. Разве ж теперь вор вор? Чье он берет? Брошенное. Если кто над добром и расстелет полы, так привычка это одна, и ни к чему.

★

По домам слеглися, словно в бабкиной укладочке старое тканье. Ажно тлеют с недвижности. И никакая-то бабушка их на солнышке не перетряхивает.

★

В куток забьются, занавесятся барахлом, там и живут. По ночам плачут, до того скулят, крикнешь, бывало, как на собак: цыте!

★

За голову ухватится, зубами заскрипит, глазами заворочает, до того в сердцах, до того вещиц драных жаль ему, до того он, что к чему, не понимает.

★

Также мы не любили мирных за хитрость. Не хочешь версты мерить, сиди дома; только не стережи ж ты дерьмецо разное на стенках. Верите, из-за картинки какой змеей жалит при случае.

★

У ней разрисованная шкатулочка с карточками. Взял я себе, унес, смотрю. Старые такие женщины в разных нарядах, военные с бакенбардами, дети всякие в панталончиках. А тут она ко мне с претензией,— одно, говорит, единственное, и то отнимаете. Тю! Шваркнул ей, нате, берите ваших папашенек, нам они чужие и ненавистные.

★

Всякие финтифлюшки неубедительные. А мирные эти на финтифлюшки кинулися, «память», говорят. Тут мы на этих штучках и сердце свое отвели и им житье освободили.

★

Кошку у ней случаем забили, так с квартиры уйти пришлося, до того она эту кошку слезами поливала, голосила. Сказывали ей, не сын ведь; «а сын,— говорит,— может, раньше убитый».

★

Тело наше теперь корою покрытое. Мне баня настоящая нужна, а не ванна ихняя. Меня теперь скребницей не соскребешь,— а они мне губку тычут. Что я, бабий зад, что ли?

★

Особенно зеркала кровь портят. Стоит оно чуть не под крышу, и себя в нем походного увидишь всего, до того дикого виду, до того не к зеркальцу, и хватишь по нем, аж гром.

★

Придешь в хорошую квартиру, хозяева, конечно, сробеют. А разговору не выходит и не выходит. Мы хозяев на пол, сами на пружинах, с вещами

не бережемся, грязь там всякая. Не нежничаем. А разговору не выходит и не выходит. Которые из нас в гимназистах хотя были, с теми как бы говорят. А нас боятся.

★

Мы не очень врачей ненавидели, да и при старом режиме лечили, тут ничего не скажешь. Вот вошел я, сел, а под нами лужа с похода, по коврам и лакам. С конфузу мы серчали, и не вина наша.

★

Не можем мы теперь в целости вещи оставлять. Поглядишь на что ни то, и такая тебя сила за желчь возьмет,— пнешь ногой, или из револьвера, громче.

★

Дом барский. Мы стучим. «Кто?»— спрашивает женским голосом. С обыском, говорим. Застучало, зашуршало, заплакало, затопало, дверей же не открыло. Мы дверь высадили. Вещей, вещей, а людей нет. Как лесенка, мы по лесенке. Как дверь, мы в дверь. Вроде чердак, трехног стоит с картинкой, а у трехнога старушка с кистью в руках, и краски размазаны.

☆

Как вошел, комната светлая, на столе самовар, народ какой-то чай пьет. У стены диван. Я на диван, и спать. Утром встал, никого людей. Ушел я. На ночь опять на тот диван, около того же стола и самовара, с людьми какими-то. Утром опять ушел. Да так, без словечка единого, почти месяц прожили, не обидевши друг дружку.

★

Я вещей не брал, даже самых ходовых. Тут барыня одна часы мне совала, чтоб сына из чуланчика не брал. А я сына выволок, часов же не захотел. Мне так куда веселей.

★

Первый сорт тканье. Тканью совершенные лета, приданое еще. Вынесет тканье старушка, из редикуля вынет, как младенца, на ручках держит, все ейное сердце в тканье том. Покупатель щупает, щупает, мучки старушке сколько-то горсточек отсыплет, и пошел младенчик по мачехам.

★

Он университетский, не нам чета, мы его и не взяли. Пешком же вряд ли ему выбраться. Ледоломом народ шел, одни углы, да кровь, да ушибы, да смерти. Не встречались после. А может, и жив, а может, он где ни то на счётах марш играет.

★

Как-то бегство из Киева было, мы тоже подались. Жена за Днепр, до родни, я в леса, где знакомые воевали. Охапкой меха дорогие барыни разные на себе волокли, жена мехов на мешки наменяла, мешки брали для пищи и от дождей закрываться. А я аж четыре самовара добыл. Два жене отдал, два в лес унес, куренёк уютить.

★

Белые вот-вот тут, и мы еще сидим, а те и перекреститься не смеют. Так просто миллион из города побежал. Через камни, через мост, через пески. Шли старые старики, шли малые дети, шли барышни на тоненьких каблучках. Вой, плач, верезжанье.

★

Наш кашевар обидчивый. Наш кашевар в хорошем ресторане поваром работал, как что, «я,— говорит,— на княжьи вкусы угодить мог, а на голоштанников никак вкуса не доберу».

★

Нам полковница стирала, царский повар кашу нам варил, профессор нам бумажки писал, печи нотариус топил, и еще многие служили.

★

Мы по пустой лестнице с грохотом идем, как в купол гром. В квартире молоденькая дамочка встречает, сытенькая такая. По всей квартире повела, все показала, чайком напоила. Мы у ней ничего не взяли, даже мучки ей в банку отсыпали. За то, что не как все, не волчилась с нами.

★

Сколько добра от врага отвоевали, всё почти. А ведь мы только по деревням, да местечкам. Настоящие же армии города берут, там заводы дымят, дворцы светятся, все наше.

★

Мирные — трудный народ. Если ты не очень строгий, не умеешь с ними страхом обращаться, запутают. И жалеть станешь, и душу скривишь. Лучше мягкому у мирных не становиться.

★

Тут она дома одна, навела порядки. Винцо да паничики. Тут он через город, суд ей и расправа. Тут отступление, она его и выдала.

★

Где ихние воюют, от отца-матери не вызнаешь. За то жены, те сейчас переметнутся. Неверный народ.

★

Хорошенькая бабочка такая, веселая. Не боится. Эта и белым и красным по нраву, никто не обижал. А она и цвета не отличает, до того мирная.

★

«А вы,— кажет,— выберите себе хозяина, да и ступайте за его стопами. На месте же сидя, мира не добыть. Одна эта слава, что вы мирные, на деле же вы самый вредный элемент».

★

На месте сидя, за нас думать не приходится. Нам такая дума не подойдет. Ты наши версты меряй, тогда и дума твоя с нами будет.

★

Застят себе света выдумками, вот и мордуются. А мы за людей, чтобы им лучше зажилось.

★

Для этого, говорит, мы воюем, а вы мирные терпите.

★

Эх, мирные
больно жирные,
а от наших щей
станет тощий, как кащей.

★

А война для всех них самое ненавистное, и те тоже ненавистные люди, кто ихнее барахло барахтает.

★

Как отступали, голота с нами ушла. А за речкой вдарили враги, мы жителей с повозок, да и тикать в лесок, до поры. Так и жители к вечеру доползли. С бабами, со спеленышами,— что с ними делать, всех не прокормить. Однако бабы пошли, побирались, еще и нас питали.

★

Всё нам прислуга перенесла. Ящиками макароны, да консервы на горище. Махнули мы темною ночкой, дворничек открыл, связали мы его для видимости, и горничных девушек, господ позаперли, и на чердак. Ящики до того тяжелы, еле сволокли. У себя смотреть, а там патроны, а там обоймы, а там револьверы. Закопали и стали своего часу ждать.

★

Зажился я с недельку, тут белые надошли. Мои-то добродетели, гостеприимцы,— «вот,— говорят,— он — нате!» Шкуру спустили, душу вымордовали. У меня теперь стратегия,— как в дом, так гром.

★

«Кто,— спрашивает,— в вашем дому из товарищей зажился?» Председатель и наведи в наше помещение, а мы там еще до войны поселились, и помещение незавидное, темно, сыро. Ходить из сараюшки. Меня в разведку, бить, гноить. Только ушли невдолге. Вернулся я, ни семьи, ни добра, да и председатель утек,— взыскать не с кого.

★

Ходил я ходил, наменял на спички сколько-то масла. Стомился. А тут ночь, поездов нету. На последний коробок попросился ночевать. Пустили. Лег я как убитый, с устали. Как вот меня хозяин будит: «тикай,— шепчет,— атаман неизвестный в место пришел». Я из хаты, конные меня споймали, привели, давай документы. Дал я, и масло дал, и сапоги дал, и всю одежонку. Еще и спасибовать велели, что за спекуляцию не расстреляли.

★

«Лазь,— говорит,— в рундук под овес». Влез я, они у меня под ребрышками штыком маленько пошукали и ушли. Ничего, справился.

★

Притаился я, ищут, а ходу-то до горы — на руках притянуться. Вдруг кто-то — «у них,— говорит,— гори́ще * есть». «Есть кто на горище?» Молчу. «Лазь»,— приказывают кому-то. А всего-то моего оружия — лемех ржавый. Вот я им и стал воевать. Верите, все воинство до того перешиб, за подкреплением побегли, я и утек. Думаю, хозяевам хуже моего пришлося.

★

Так я у той кухарочки на печи и пребывал до времени, днем за родственника, ночью в полюбовничках.

★

Струсился, говорит: «сами ховайтеся, а я чтобы и не знал». Мы по лесенке забрели в закуток такой. Живем день, и другой, ни корочки. На третий день слез племянник до дяденьки,— давай, говорит, хлеба. «А я,— отвечает,— и не знаю, кто у меня в закутке живет, а как,— говорит,— знать стану, так довести ** придется»... И не дал хлеба.

★

А то свалят больных на извозчика, да прямо в часть,— «берите, это от красных остались, а мы комнатой стеснены».

★

Берешь не для себя, для всех, на нужное дело. И слов объяснить нету, а тут хитрость, непонятие. Вот и обижаемся мы с мирными друг на дружку.

★

«Мы,— говорю,— вам теперь за старое не плательщики, Иван Иванович. И не попрекайте. Вы думали, что нам добро делали, а мы так считаем, что только что наше отдаете. Давайте новые счеты заводить».

★

Нужда у нас во всем, а других промыслов не видно, как у мирных брать. А они, словно ягнятки, до того не обижаются, до того обтерпелые, ажно жаль.

★

Не могу видеть мирных, до того жаль. Укрылися от смерти зонтичком,— ажно смех. А что сделаешь,— знает лук, за что слезы льют.

---

* Гори́ще (*обл.*) — верх избы, чердак.
** Довести (*обл.*) — донести, сделать донос.

★

Был я тогда главный, и приходит ко мне бакенбардист седоватый. Шепчет. «У меня,— говорит,— мой прежний барин, заводчик, скрывается. Объел, обпил, заберите,— говорит,— вы этого эксплоататора». Пришли мы с темнотой, верно, есть такой. Только он на бакенбардиста — «я,— говорит,— ему, за свою сохранность на миллион отдал». Мы в бакенбардистову укладочку, а там золотые деньги.

★

Квартира разоренная, на окне большущая клетка. В клетке сколько-то канареечек вверх лапками на полу валяется, подохли. А одна лысенькая канарейка живая по клетке порхает. К нам через решетку бьется. Пищи просит. Мы ей семячка насыпали, на полке нашли, воды чистой в черепок налили, клетку почистили, издохших выкинули. И ушли.

★

Знаешь ты таких вредных людей, которые все обсуждают, дела же не делают? «Это для того, это для этого... Это хорошее, то плохое». Им на деланье и времени нет, пока мозги поворотят, вражий и след простыл. Эти пусть дома сидят, под нашими ногами не путаются.

★

Стали за тем домом следить, и вечерочком одним запопали хозяина. Как той же ночью ломится до них кто-то. Входит, ну как есть тот арестованный.— «Это,— говорит,— я вам надобен, а не брат». Вот она кровь-то, а знал ведь, на что идет.

★

Хозяев мы на кухню. Кухня у них хорошая, однако, не горница все же. Им бы обидеться, а они боятся, мышами шмыгают. Мы их ни к чему не допускали. Просилися на нас готовить, за прикорм, не дозволили. При пище чего бы не изделали.

★

Он нам вроде кашевара был, чистый такой старичок, подозрительный. Спросит, бывало, чего, да сразу «да вы не подумайте»... А нам чего думать, живи, коли мы такого-то к котлам приставили.

★

Хорошо у татар здешних хозяйство. Сразу дом, небольшой, ладненький, с галереечкой такой. Горница в доме невысокая, в стене печь — не печь, вроде шкаф такой — это баня ихняя домашняя. По стенам лавки крытые пестрыми коврами, и с подушками мягкими. На потолке, по веревочкам, вышивки развешаны. Посуда вся медная, как золото горит. Хорошо так в доме кофеем пахнет. Жена ходит на тихих туфлях, вся в кисею замотана, только глаза черные видать, и думается,— красавица она. А за домом, сразу, ручеек журчит, для тени виноградный огромный куст разведен по решеточкам, и кисти тяжелые, синие висят, зреют, сами в рот просятся. И над всем садом, и над всем домом, орех стоит,— до того велик, до того зелен и развесист,— столетнего дуба краше. И выгляни за низенький такой заборчик,— и весь тебе белый свет налицо, и без края синее море перед тобою.

★

Богатых евреев в наших местах не видать было, а голый голому всегда брат, какой он ни есть по народу. Я хорошо к ним привык.

★

Что без царя, так то господа благодаря, а вот в голове-то царя б не мешало иметь! Ведь что творят-то? Тут кровь лей, а в городах шампанскими винами глотки себе заливают, из рук в ручки золото перепархивает, картишки, дамочки, смердят города духами-пухами.

★

Тоже пристал к нам интеллигент. Обещал по всем заграницам о нашей правде печатать. А сам как на подводу попал, так и спит. Жрет, пьет, не

воюет. А с писанья его толку что-то не приходило. Дали мы ему по шее, отстал где-то.

★

Шли местами мирными,
все народы вымерли,
кто от тифа, от холеры,
кто от белых офицеров.

БОЛЕЗНИ

Вот напечатать бы дружок про дружка, как мы всякие страдания страдали, как мы, не хуже волков, голодом выли, как мы и тело, и судьбу свою калечили. Чтобы знали люди, что не сладко через свою землю войну воевать, что прибыли нам не положено, что ради всех, а не для себя.

★

Вот семеро нас тута, а хоть бы семь тысяч и больше. Каждый знает, терпел, скорбел, боль всякая, и голод, и холод. Даже и нечеловеком бывали, разума портили. Знает же каждый твердо, по своей пути идет, для себя воюет.

★

Смутить меня теперь не легко. Это в ту войну я на боли да на недостатки сердце имел. А теперь все за себя, всякая ноша плеч не гнет. А и согнет, так потом выпрямлю.

★

Жилы тянет боль тугая, жила в тифу перетянутая; голова играет трубой; не видят глаза чего есть, только видят глаза чего нету — колеса катят в глаза огненные, сполохи играют. Глотка щеткой, сухая. Сила далеко за плечи позакинута, нету ее при тебе, слабей ты галченка бесперого,— а идешь, а идешь, а идешь, потому что сладко лечь, да не на этой дороге.

★

На самом на лету я в тиф свалился. До того я ничего не боялся, до того я на старый строй облютел,— всего мне мало. Осталося мне только грамоте как следует выучиться, а тут тиф. Выздоровел я, ан глупой какой-то стал. Не идет ученье, и воевать скучаю.

★

Кабы я один, а то все в тифу были, не на кого сердце иметь. Разве что противу врага злее станешь, чтоб скорей войну кончить.

★

Уговаривают меня товарищи, чтоб не очень горевал, и слепым у нас место найдется, когда победим. А я одно знаю, не человек я теперь. Хорошо еще, что слезы как у людей, а то бы совсем пропал.

★

Ожгло, я обеспамятел, очнулся здесь, на глазах повязка. Болело, болело, перестало. Прошу: снимите повязку, не болит. «Погоди,— говорят,— повредить можешь». Чего-то страшно мне с тех слов. Я повязку скинул, ночь! Черная ночь! Слеп.

★

«Не пугайся,— докторша говорит,— сперва ты ничего не будешь видеть, понемножку приучишься». Екнуло сердце, ощупал глаза, дырья! Чем я видеть стану?

★

На германской войне зрения я лишился, совсем слепой, не воюю, у людей под ногами путаюсь, помеха себе и людям. Теперь эта война, дело серьезное, кому моя музыка нужна. Водили меня за собой казаки какие-то, потом нажал на них что ли кто, ушли, меня тут кинули.

★

Врут про заразу. Мою рану знаешь, а мыл я ее хоть раз? Почитай всю левую икру с голенищем сорвало, замотал я ее тряпицей потуже, чтоб кровью не сойти, да и шел со всеми. И теперь жив, и хром мало. И сапог новый дали, вот!

★

Наша кровь горячая, красная, она сама лечит. У господ болячки больше из-за синей крови да белой кости, а еще больше от белых рук, бездельных, неженных.

★

Зубы у меня болели, ох, ох, проохал я атамана, пришел атаман. А у меня зуб, как труба, хоть ты режь меня, гудит зуб страшной болью. Тут меня к атаману, я за щеку держуся, атаман кулачищем,— зуба как не было, на свет я родился! Спину мне шомполами. И очень крепко меня драли, до того атаман обиделся, что не ору. Ну, разве это с зубом в сравнение?

★

Снаряд ли загудит, гром ли, может и бугай где над водой затоскует, а в моем ухе различия нет, надорвалось мое ухо от войны.

★

Я иду, тишь такая подозрительная, ажно потом теку я. Иду, иду и дошел. И прятаться там негде, и всё видать насквозь, и ждешь беды от катышка навозного, до того тишине не веришь.

★

Не знаю, кто сахарин и без вреда, может быть, ел. А я от него болею. Во рту чистая медь, живот внизу болеет-жалуется, и жжет под сердцем.

★

Жую, как дедка, зубы мне враги выбили, голыми деснами жую. А мягкой пищи на ходу не достать, воды часто нет корочку размочить, сам же я молодой и до еды здоровый.

★

Совсем помирал, чуть и теплился, а свое сказывал,— я, мол, что за важность, пусть легче людям.

★

«Видел,— спрашивает,— как женщина плачет? Это и есть нервы, и у тебя тоже». Баба плачет от побою, я же плачу от непонятной скуки, и каждую минутку,— какие ж это нервы.

★

Какой я здоровый, а есть такие слова, как скажет кто их нечаянно, так у меня и сыпанут слезы, на срам просто,— чуть под себя не схожу. И сталося это с недавнего нехорошего случая.

★

Стал я суматошный, и думаю, не вылечусь я. Даже и на мирную работу не гожусь. Одна у меня утеха,— за хорошее пострадал, не мне, так людям.

★

Места живого не осталося. Сразу поранили, рана на ходу не дошла, и теперь сырая; потом голод обеззубил; тут тиф, почитай, всю память отшиб; тут и сна не стало — облысел я с того; а уж характер да сердце во мне — только что по военному времени.

★

Очнулся я, никого,— бросили. Я кричать,— даже сипу не выходит, до того глотка перехвачена. Подобрал я с земли щепку, лоскутиком обмотал, и стал я тем квачиком себе горло прочищать. Кручу в глотке, кровь идет, а проткнул-таки хода, а не то задохнулся бы на смерть.

★

Взяли меня с койки, волокут куда-то, а я плачу, силы же противиться нету. Прокинулся я через сколько-то время — лежу я в ванной комнате, а на мне лежит какой-то покойник. И силы во мне и мышиной нету. Пискнул было я, сам себя не услышал. Опять обмер. Прокинулся еще и ночью, от мертвяка холод, наги мы с ним, силы же во мне не прибыло, а пить до того хочу,— хоть мервяка лижи. Так я суток трое силы набирал, пока нашли меня.

★

Тифу, сказывали, срок две недели. Либо живой, либо скончится. Да потом отдыху две недели... чтобы к делу человек стал. Так взяли мы с пасеки двух дедков, а с ними меду количество. Привезли больных в лес, присадили к ним дедков и велели больных медом кормить, водой поить из ключика. И уехали. Вернулися, все здоровешенькие. Вот это так лазарет, ни один не помер.

★

Мы его холили, все наисмачное готовили, от себя отрывали,— до того любили товарища, до того жалели. На ходу выходили, вот как старались.

★

Теперь болезнь чем страшна? Страшно врагу в руки достаться. Беспомощного возьмут, измордуют, надругаются, да еще и воевать против своих заставят.

★

До чего жаль больных бросать. А что ты сделаешь, как у нас, у каждого, с конем, шесть ног, а ни подводы, ни носилок. А кругом враги, и не знаешь, каким санитарам ты своего дружка в избу кладешь, не белым ли, часом.

★

«Оставайся кто хочет, надо надеяться, не станут они больных мучить». Но никто не согласился, поползли за походом, веру врагу не дали.

★

Одна думка, один счет — около тифу на ногах проходить. А ходить на ногах в тифу — смертная боль, смертная тягота. А с ног спасть на ходу — мука от врага, от дорожного человека издевка и грабеж, и смерть в голоде и грязи подножной, без жаления и без помощи.

★

Только тифом и спасалися мы, простые ребята. Кто с тифу помер, так разве ж это в сравнение, до чего издевку над нами делали. Для тифу в бараки летние поклали, топок нету, одеял нету, и голые совсем. Корму тоже нету. Плакал над нами доктор, плакал слезами.

★

И в прорубь по пояс. Затянуло меня ледком. И будто сперва грыз кто за ноги, а потом обтерпелся. А вытащили, пришлось отнять те ноги, за негодностью.

★

Нога моя отмокла, и сколько-то раз мороженная. Разве ж это нога? Гиря она мне тяжкая, а не правая нога. Я стойкий товарищ, ход у меня со всеми, а идет народ легкою стопою, я же по огню. Версты же мои не мною считаны, сколько их еще — неизвестно.

★

Пальчиков немногих нету, так и без них проживем. Как всё наше станет, так и без них поработается.

★

Вернусь, не вернусь — калека. Да и куда вернуться,— дым да труба, вся худоба.

★

Рана в ногу, серьезная. Боялся без ноги остаться. С культяпкой ходить не хотелось, за стыд считал, такой дурак был. Теперь привык, как и целый; при случае даже воюю, на все годен, только в конницу не гожусь.

★

Снимай, снимай тряпицу, только глáза не вырони. Он у меня тряпицей примотан, может, и прирастет еще.

★

Проснулся — ни рук, ни ног. Кричать — языка нет. Ах ты ж, судьба моя. Одна была думка,— и разума потерять. Так и вышло, на сколько-то время.

★

Пошла холера, да кабы у нас только,— бросали бы в пути,— на походе жалеть некогда. А то жители кругом мрут и мрут. И пошла нас холера косить. Нагнется человек, за гвоздем хоть, к земле,— лицом, как земля, станет. И выкорчит его в один часок до полной сухости.

★

Вот и я, говорит, перед смертью красно скажу,— все равно смерти не минуть, так уж хоть за людей, чтобы им легче сталося.

★

Стала сыпь осыпать, стал я какой-то опасливый, по ночам скучаю, от скуки пот, и зуд сна лишал. А тут пошли на ночные казни, и замест развлечения, стал я как бы неизлечимо порченный.

★

Отдых, говорит, и питание. Так. Отдыхать пришлося до следующего часа, когда насели на нас чьи-то бандиты. Питание же было положенное — чужого куска огрызок, да и то силою отбитый. А силы во мне было,— мышьих плечиков не перегрузить.

★

Она как хряснет меня двома копытами. Товарищи аж со смеху скисли. Я сам сперва посмеялся, а теперь этим местом смерть ко мне пробирается.

★

Есть у нас теперь одна боль, особая, прежде не бывало. Натрудится место какое от оружия. Пока носишь — ничего, снять — жжет огнем.

★

С нас теперь, от походных трудов, кожа слазит. Не то с грязи, не то с ветру, не то от солнышка. Лупится кожа, хоть вылезай из нее,— ровно змея. Сойдет одна, другая лупится,— до дыр просто.

★

Кусок жизни моей прожран на войне той,— того куска жаль. А что своя война к смерти близит, так есть за что,— всё людям легче будет.

★

Мне бояться не приходится. Моя судьба со всеми. Отвоюем, возьмут меня в хорошую больницу, к своим докторам, и стану я здоровую службу служить.

★

Гражданская война — не клушка на яйцах, клохтать не к чему. Вот на месте сядем, все заплатки заплатаем, и на деле, и на теле.

★

А что, что болезнь? Мы поболеем, а может, многому миллиону здоровья сбережем.

★

Я вон выболел, выколел, места живого нет, а в главном цел, пойду до конца.

★

Вон я в прошлом году с ума сходил, измордовался. А теперь опять до конца достараюсь. Может, и сгиб бы, кабы не знатье, что людям легче будет.

★

Своя боль у нас, ее на чужие люди не выволочишь. Полотошимся, потрепыхаемся,— а как кончится шуря-буря эта, каждый к делу приложится, и больной, и здоровый.

ЖЕНЩИНЫ

Спрашивал я свою милу,
может, любишь через силу,
а она смеется,
в руки не дается.

Я женился в походе, недельку с ней жил, с танцев взял.

★

Что ж такое, что не венчанная? У меня даже и забота о ней, хоть судьбы нашей вместе трое суток только и было.

★

Сокол-баба, меня в строгости держала. Как к часу своему не придешь, с другим спит. Берегся я с нею, некогда о другой и подумать было.

★

Кого лапаешь, это не наиважная, а вот по ком забота в тебе,— тут, может, и надолго. Я так и до сего часа одну жалею, а и видел-то ее с неделю. Счастливо, хоть движемся мы беспрестанно, а то и не отлепиться бы никак.

★

Бывало так, спишь с женщиной — одна хороша, другая лучше, заботы же нету, кроме как деньги платить, да здоровым уйти. А то и так бывало,— спишь ты с бабой, чуть не силом, знать она тебя просто не хочет, а ты бы от нее плеча не отвел, как в клею.

★

Баб сколько хочешь, и силою, и лаской,— а настоящей что-то не видать.

★

Очень коло нее время тратилось. «Я,— говорит,— одна своя. Больше,— говорит,— у меня добра нету. Кабы,— говорит,— поберег кто, а так, не стану я себя, такую хорошую, всякому отдавать».

★

Хорошая сама видит, некогда нам. А такая, что крутит, время твое тратит, в руки не дается,— та нам ни к чему. Может, через часок уйду я смерть принять, а она валандается.

★

Тем люба была — незнакомая какая-то. Не то любит, не то нет. Ходит тенью, только что ласковая. Голова, бывало, от непонятия гудит, даже устану.

★

До того бледна и худа,— видеть я ее просто не хотел сперва. А тут зуб у меня разболелся, просидел я дома целый день, и так легкая ее походка мне полюбилася,— зажалел чего-то.

★

Девица она была по всем своим свойствам примерная. Даже когда у ней всех семейных перевели, осиротили,— так и то она веселостями хлебца не добывала, строго работала.

★

Все равно, мужчине на женщину глаза не дадено. Выбирай, не выбирай,— одна она есть, другая представляется. А ты перекрестись, да и женись. Как пришлось, так и будет. К женщине разума не приложишь.

★

Каких кто любит, а кто так и никаких. Кто всурьез знает, к чему идет,— тот теперь про женщин-то и снов не видит. Подождать надо.

★

Пришли мы — по мужу плакала, уходили — по мне слезы лила. Так и пойдет женщина — из слез в слезы, из рук в руки.

★

Любил я, говорит, единожды женщину, жалел. Ушла от меня к барину одному. Теперь мне женщина, что мышь. Вредная вещь. И смотреть мне на нее неприятно.

★

Решил я жениться только по страстной любови. И встретил чужую барышню, из дворянской семьи, совсем не подходящую. Вышла за меня с голоду, слова со мной, кроме как про деньги, не сказала. Вижу, не по себе брал, тут нас дальше двинули, я ее с собой не взял.



С. З. ФЕДОРЧЕНКО
Фотография М. С. Наппельбаума. Москва, 1927
Центральный архив литературы и искусства, Москва

★

Если хорошая женщина вражья жена, вдвое на врага злобишься. А если еще и в тоске такая по врагу,— так просто не знаешь, чем бы ее и улестить, чтобы про меня думала.

★

На лице у ней шарфик газовый, заплаканная. За мужа просит. Как западет она в душу. «Хорошо,— говорю,— приходите сегодня вечером в свободный часок ко мне на квартиру». Прибрался я, жду. Пришла, опять про мужа поет. «Давайте,— говорю,— напрямки,— останетесь со мною от сего часа тут жить, отпущу вашего мужа». При ней и бумагу дал, отпустил его. А он замест, чтобы утикать, ее искать принялся. На тех поисках и попался вторично. Она о том и не узнала.

★

Каких только за этот год женщин не переглядели. Одна была до того ловка, словно какие игры играет,— и поет, и щебечет. Однако чуть я живым вышел, как она на меня, сонного, врагов навела.

★

Есть такие,— от всего отрекаются,— не муж он мне, коли против народа. И врет, и брешет, и веры такой только на красоту ее дается. А есть такие — «я,— говорит,— сама всё делала, письма носила, поступать уговаривала, и должны вы меня, вместе с мужем моим, расстрелять».

★

Молоденькая женщина к нему ходила, жена его. И с лица не так что, только верная какая-то. Стала моя судьба при ней на дороге. Раз беседа, и два беседа, и мужа ейного отпустил, и от тех сюда перешел,— всё через бабочку эту верную.

★

Ох, и умна же жизнь эта самая, что нас с бабами бесперечь сводит. Нас вешать, бабы рожать, и опять полна страна народу.

★

Я жениться не хочу. Я женат у нас в деревне, только я этого в счет не ставлю. Я в счет ставлю волю-вольную.

★

Здесь, если бабу нужно, нет ее добром. Улещивать времени не хватает, за деньги боязно, как бы болячки не начепила, и убить может. Без бабы проживу как-нибудь.

★

А время обеденное. Гляжу, в моей комнате дочка хозяйская корочку грызет, словно мышонок. Маленькая такая. До того меня растревожила — всё для ней делал.

★

Приходит до нас старуха одна,— «не надо ль, кавалеры, девушки молоденькой, задешево».— «Правда?» — говорим. «Да,— говорит,— до ней идти нужно, она из дому безотлучна». Хорошо, цену сказала, пошли. Барышня — цветок, бела, как плат, мать-отец без разуму в тифу лежат,— так она на ихнюю болезнь нам честь продает.

★

Дама трепанная, вялая такая, обиженная. Ключи дала, сама молчит в своей комнате. А нам досадно. Мы ее в кухню приказали. Однако и там молчит. А мы коло нее вертимся, молчит и молчит, словно не с людьми.

★

Одни бабы только офицеров и прятали. Да хоть бы молоденькие на погончики прилипали, так нет, старые все бородавки, тетки ихние, что ли.

★

«Не стану на ваши вопросы отвечать, покуда на мой не ответите».— «Спрашивай»,— разрешаем. «Что вы,— спрашивает,— с мужем моим сделали?» — «Расстреляли»,— отвечаем. Она в лице не меняется, а так, назад отвалилась, и нас прокляла.

★

Те просто ноги суду лижут, а девочка эта и родных гонит, и на них кричать не дает. Весь суд смутила, отпустили ей мамашу с папашенькой. Просто тебе волчонок, а не барышня.

★

Повадились мы к хозяйке одной, веселая, здоровая, рубахи нам стирала. И стала она нас, как барышень, коммунистам сватать.

★

Всем распорядились, а про пункт забыли. Правду сказать, беспокойства от пункта ждать не приходилось, стоял пункт на отлете и на виду. Если спрятали кого, так пустить некуда. Как на рассвете самом влетает сестрица, маленькая такая. И до того на нас серчает, до того кричит, ну просто в пот вогнала. Чего ей охраны ночью не ставили. «Так, ведь, не обидели же вас»,— говорим.— «Я,— кричит,— вся здесь, не вам меня обидеть, а вот,— кричит,— оберечь, так и то не мастера». Поставили ей охрану за ее прямой характер.

★

Стучим, пустила. Маленькая такая сестра, как воробышек. Смотрит же прямо. Мы ей, для страху, срамные места наши показываем,— можешь перевязать? «Могу»,— говорит. Ах ты, какая. «И не брезгуешь?» — спрашиваем.— «Нисколько»,— отвечает. Ну что с ей скажешь. «Так может,— говорим,— нам тебя соромно до этих мест допускать».— «А вы,— говорит,— словно дети мне, чего ж соромно. На помощь я и работница вам». Ах ты, ну что ты с такой сделаешь, если у ней и местечка слабого не видать. Так и покорились. А ведь с чем пришли.

★

«Нету,— говорит,— никого кроме нижних чинов». Ушли мы, порядок устраиваем, как набегает за нами сестрица.— «Идите,— говорит,— на док-

торскую квартиру, он там офицеров прячет». Пошли, и на чаи-сахары офицерские попали.

★

Лежат на койках какие-то четверо. Сестра до нас выходит, кто такие, спрашиваем. Если офицеры — гайда с коек, да на другое место. А сестра кажет: «действительно это офицеры, только больные воспалением легких, и сперва,— говорит,— вы меня убьете, потому что я вас до больных не допущу». Ну, что ты с такой сделаешь? Оставили их до поры.

★

Сама мышонок махонький, а руки расставила,— и припокровила раненых от смерти.

★

На той войне и сестры больше барыни были. Ты пеший, без ног, в последней усталости грязь на шоссе месишь, а мимо тебя фырк-фырк коляски с сестрицами мелькают.

★

Написал домой, сестру жду, с нами чтобы ходила. Она у нас жалостливая, будет хорошо за ранеными ходить.

★

На той войне в лазарете я лежал, так все б сам сделал, до того с ними неловко было, от доброты и гордости ихней.

★

Тихая такая дама молоденькая, говорит далеким голосом, от всякого словца в лице меняется. Муж офицер, о нем тоскует, что ли. И стал я чего-то слезы ейные считать, тоску как бы примечать. И до того я к этому делу привык, просто каждую минутку занят.

★

«Неужто,— спрашиваю,— тот только и мил, кто в пробор?» А она говорит: «мы очень боимся грубого».— «А я разве грубый, сколько верст пропер для вас, искал и выручаю, а пробор-то ваш от одной плетки в кусты». Пробыла со мной месяц ради страха и ушла.

★

Конечно, присыплешься до приятной, а обиды не чиню. Всё обещаю, что потом хорошо будет, объясняю, за что терпеть нужно. Только не это у них главное, а что ласковый я.

★

Под единый слабый часок я с нею сошелся. И была она офицерская жена. Слюбились же мы с ней — до краю просто. Как мне уходить, состригла она хорошие свои косы, вздела гимнастерку и стала мои версты мерять. Теперь ждет она родить в далеком месте. Письма пишем, ждем не дождемся. А были в разной судьбе рождены.

★

Какая по-старому верит, та плачет и злобствует; а какая по-новому верит,— та сама с нами любую дорогу пройдет, не побоится.

★

И в женщинах теперь различие видно. Не все они свои скорби сосчитывают. И добра не берегут. Оттого и видать им света больший кусок.

★

Как прибрала та завирушка накопленное до последнего зернышка, стали и бабы волю любить.

★

Тихая такая девица, беленькая. Глаза красные, пухкие, а когда плачет, не видали. Есть ей нечего. Стирать на нас стала. Руки малые, слабые, портянки, бывало, никак не отожмет. Мы на то не обижались, жалеючи.

★

Я даривал, не берет, гордая. Говорит, «не голодная». Я ж вижу, крохи в доме нет. Тут пошла она в клуб полы мыть. Я и говорю — «идить за меня, барышня, все лучше жить будет». А она: «мне,— говорит,— так лучше» и не пошла.

★

«Дайте,— просит,— даром хлеба кусочек, и чтобы не спать мне с вами».

★

Зашли мы к учительнице. Приветила, товарищами зовет и спрашивает про одного. Мы ей говорим, как и что, как его затомили у врагов, и что помер. Она же как бы усмехается и к стенке отваливается. Мы до ней — померла.

★

Тряпьем закидала, сама сверху легла, дитя кормит. Те в коморку, под кровать лазят, а бабы не тронули. Ушли, вылез он, косточки размял, хлеба забрал, одежду какую,— пошел, не поспасибовал даже.

★

Глядь, меж городу и лесу барышня маячит в ботичках. Мы до ней, а она усмехается. «Чьи вы?» — спрашиваем.— «Я,— говорит,— машинистка, в городе заскучала, буду я вам на машинке печатать». Подошло, машинку ей добыли, стала наши приказы печатать. Сама пишет, сама в город носит, подкидывает. Совсем клад, до того отчаянная. Ушла, да и засыпалась. Тоскуем по ней, до чего верная была машинисточка.

★

Я на вышку, слышу, ходит лесенка, шагают на смерть мою. И она с ними. Они ей — «у тебя,— говорят,— здесь коммунист скрывается, признавайся, а то найдем, быть худу». Сорвалось во мне сердце, жду. А она твердо — «нету,— говорит,— у меня никого». Полезли. Дрожит моя судьбинушка по лесенке, думаю, лучше самому головой вниз. Хочу упасть — не могу. Вдруг, как пукнет орудие, ка-ак сыпанут они с лесенки грушами. «А кабы нашли?» — говорю бабочке. «Да,— говорит,— всё едино с вами, чертями, не уцелеть...» Веселая.

★

Заболел я, сдали меня в хатку. Как на другую ночь, слышу я беседу сердечную, под бум, под дзынь — враги пришли. Слышу, приказывает хозяин бабе,— «поди,— приказывает,— покличь их — хай нашего героя заберут, чтобы в хате не смердило». Как завопит баба в голос,— «зарежь,— вопит,— не пойду, не отдам молоденького такого врагу на муку. Вспомни-вспомни про сердечного нашего Андрюшечку, может и он теперь такие речи слышит». Так и не дала.

★

Я и в тринадцать лет такой же рослый был. Отец на войне санитарил, дома мать да шесть сестер. Во мне вся сила стояла и вся работа тоже. Тут отец вернулся, тут эта своя война. Мы с отцом бабью семью бросили, оба врагов глушим.

★

И на кого же загляделся я? На офицерскую одну жену, до того горда и тиха и красивая. Вот не поверю я, чтоб такая да женщина да такого хлюста любила. Думаю, просто хочет с ним за границу выехать, а там сменит его на какого-нибудь большого человека, миллионера что ли.

★

Полюбил я одну девицу честную и красивую, высокого роста, чисто полковница. И она меня полюбила, за веселость и хороший характер, за нешьянство. Тут меня отправляют, тут я ее к матери в деревню не успел, тут он без меня ее по миниатюрам водить стал, пудру дарить. Я вернулся, она на меня фырчит. Споры-ссоры, а поправлять некогда. Так и разбил нас.

★

«Что ж ты,— говорю,— сидишь как чужая, даже и не плачешь?» — «Плачь, не плачь,— отвечает,— все равно не жить с тобой, заберут тебя. Так на что,— говорит,— я себе глаза слезами портить буду, мне теперь глаза вот как пригодятся».

★

Я ей признаюсь, что желанная как бы на всю жизнь. Она в том же признается. Теперь, как же и что же делать? Ни у меня попа для ейного спокоя. Ни у меня угла для ейного приюта. А не по такому желанна, чтобы на ночь да и прочь. Теперь, чем в любовь, легче в прорубь,— устроенней.

★

Если девица хороша, так строго живет, шутить с тобой не станет. У ней красота великая сила, с такой силой ничего девица не побоится. К чему тут ей с нами шутить, как мы за ней и без шутки, как на привязи, ходим.

★

Невпопад меня расстреляли, плечо пробили, я затылком через мостик, да на меня двое, головами все мне зубы высадили. Подождал я до ночи, до того кровью сошел,— голова гудит. Ночкой полз я червем, встать и боюсь и не в силах. Да свалился в канавку, просвежел и до жилья дополз. А тут канитель,— кто его знает, жителей-то, в этом жилье. Лежу под порожком, да все псст да псст... Тут голос женский, робкий такой,— кто, мол. Не знаю, как сказаться — пропасть можно. «Раненый»,— говорю. А она,— «да ты, может, расстрелянный? Ползи-ползи,— говорит,— сердечный, мы подсобляем».

★

Правду сказать, в походе не до любви. А где-нибудь станем, отъешься, да тут еще бабьи слезы, робеют женщины. А это для нас самое валкое и есть.

★

Как вспомню, так сердце и падает, до чего теперь семья тягчит.

★

Я жену не берег, работа, дети. На войну ушел, совсем отвык. Теперь опять война. Я не скучаю, вольный.

★

Плачь не плачь, а мне остановки не будет. Поплачем обои, чтобы люди не смеялися, да и прости-прощай, другого привечай. Я под себя перинку не пхаю, моя при людях судьба, чтоб им легче зажилось.

★

Вот не знаю я, что у меня в душе будет, если она мне дитя принесет. Может, права теперь такого нет, в заваруху народа народить. Может, ждать бы годок-другой.

★

«Что ж,— говорит,— иди, про меня не поминай. Пока жива — перебуду, а и помру, так не в том теперь важное. А что плачу, так слезы бабьи считать не приходится, не перечесть».

★

Нас в деревне, как нам на войну идти, всех переженили. Кто не вернулся, а вернулись — наново ушли. Какое нашим бабам житье,— и обдумывать не стоит.

★

Бабья жизнь теперь хуже военной. Что у ней осталось? Ни детей, ни коровы; курочек — и тех перевели. Куда ей жить, теперь не всякая разумеет. Вот и плачут.

★

Забираем мы у них и прядву, и жратву. Да еще и не спасибуем. Всё, мол, для всех, для мира. А баба домовая, не мирская.

★

Девки, девки... Нет хуже ихнего житья. От нас хороших дней ждут, а мы почти все охальники.

★

У нас молоденькая воевала, веселая, здоровая. Так не только приступить руками, словам воли не давала. Сегодня — нет, и завтра — нет. Отвыкли руки мои лапать, тут и приглядываться научился,— хоть и баба, а совсем, как человек.

★

Ни одной женщине не верит, и даже из женской руки пищи не возьмет. «Такого,— говорит,— нами женщинам понаделано,— должна женщина нас крысами выморить».

★

Вот мысли у нас с тобой непохожи. Может, тебя не женщина родила, может, не на твоих глазах мать твоя родная в заботах красу и силу потеряла. А то не стал бы ты на женщинах, вроде как навоз ворошить. Я же женщину всегда уважить рад, о матери своей вспоминая.

★

Федосьюшка, Доня,
жена моя родная,
разлучен с тобою,
уж который год я.

Может, женки разные —
лихие, отпетые,
ты же моя ласковая,
ты же безответная.

Может, женки разные —
черные, раскосые,
ты ж голубоглазая,
ты ж светловолосая.

Может, женки ихние —
на золото льстивые,
ты же моя тихая,
от всего счастливая.

ДЕТИ

Через большие версты катимся мы колесом тяжелым, немазанным. Под нашим колесом и сила гинет, а уж от детей и мокро не останется.

★

Я детьми не интересовался. У меня на войне одна думка,— чтоб на нашей дорожке дитя под ноги не подвернулось.

★

Перед шкафом восьмилетка, волчонком рычит, не пускает. Рванул я его, он в руку зубами. Открыли мы шкаф, а там матка его больная заховалася.

★

Уложили меня в закуток такой. Сплю осторожно, середь ночи слышу — скрипнула дверь. Присел я на полу, вижу отворилася дверь, и старшенький с револьвером ко мне, а за ним девчоночка махонькая, с мешком, как бы. Я мальца за руку, револьвер вырвал, дверь запер, допрашиваю. Плачут, «за отца», говорят. Ну, надрал я мальцу уши и ушел от греха.

★

Залетела разок черномазенькая, цыдульку занесла — невдолге товарищи прибудут. У нас же самое геройство оповещалося,— бито, мол, и отбито, отогнано. Вот де и отогнано! А цыганочка, словно ласточка, весть принесла.

★

Прибился до нас мальчонок. Вечерами сказки нам сказывал. А мы сказок не знали. От него слушали.

★

Девочка у нас была, как бы постирушка. Хорошая девочка, только пуганая. Как ты до нее, хоть бы и с добром,— до того спугается, аж пена из рота. А как на нее не смотреть,— работает всею силою, да еще и песни играет тихесенько.

★

До чего разумный хлопчик был. Как решили мы его кинуть, так смотреть на него боялися. Так он твой глаз и ловит, так и ловит,— чтобы жалости выпросить.

★

Стали мы к месту подходить, стал чего-то наш мальчонок сумной. Пытаемся,— «да здесь,— говорит,— родная моя мама, да семейные. Не сталося ли чего им за звезду мою красную». Пошли мы с ним. Домик раскрытый, в домике ни души, а в саду на вишеньке девчоночка висит, сестра. И всю родню мальчонкову сыскали, кого в нужнике забито, кого в колодезе утоплено.

★

Родных нету — товарищи кругом; дома нет — любой бери; своих деток не ростишь — кругом сиротеют, любого грей.

★

Так и шли эти дети отца искать. Добровольцев чуралися, до нас прибивалися,— износилися, истомилися,— адрес же им, почитай, вся наша земля.

★

Дошел он до дому, деток зовет. Нет деток! Он по соседям, соседей, почитай, никого не осталося. Одна старая бабушка осталася. Говорит: «Ушли твои детки в город. Взялись за руки, и пошли. Может и живы еще где-нито».

★

Завелися мы в том яру — круто и сыро. Кругом враги, огонька не разжечь, курить не смели. Да и табаку не было, самое трудное. Как вот на заре к нам мальчонка лет семи с махоркой и бубликами, ровно ангел.

★

Вон у меня товарищи были близнятки. Бывало, набьют одного за углом, а другой дома сидючи учует, да и катит с кулаками на помощь.

★

Мать в тифу, а старшенький мальчик и продай сестру офицеру. На те деньги мать выходил. А мать-то как дозналась о таком деле — померла.

★

Теперь дети сильные. Пятилеток через всю землю босыми ногами прет, ничего не страшится. Эти выживут богатырями.

★

Кабы детки мотыльками трехдневными мелькали, а то расти ведь им еще надо, для росту же теперь времени не дано.

★

Мальчонок годков восьми в углу под барахлом приник. Вытяг спрашивать,— а он оголодалый, охолодалый, от страху онемелый. Взрослых же ни души.

★

Ступени каменные, замшелые. На ступенях дети чьи-то под рогожами дрожат. Мы мимо идем, а они по нас глазами ищут,— может, кто родной или жалость к детям имеет.

★

«Как звать?» — спрашиваешь.— «Ваня»,— говорит.— «Ах, ты ж хилый ты эдакий, Ванятка. Горькое твое, брат, житье, а житью-то твоему пяти годов не будет. Чего имя беречь, кто тебя понимает».

★

Словно воробьи в навозе ворошились ребятки. Помет коний ели. Прикармливали мы как могли, да у самих не избыток. Поганить ребят наша часть не велела, а задаром куска не оторвешь.

★

Женщина с младенцем. Просит — «пустите отца, древний он, я за него повезу». Согласился. Пошла она одягаться, вертается с грудным за кожу-

хом. «Так и поедешь?» — спрашивают.— «Так и поеду, пусть при матери помирает».

★

Взяли лошадей, и баба с нами поехала. Замотана, заверчена, аж смех. Как стали ее домой пускать, приказываем,— раздень своих одежек половину, не скупись, мы голые, а она реветь. Вот, думаем, кожуха зажалела, в сердце вошли, аж рвем с нее. Сорвали, ан это на ней девочка порядочная примотана была.

★

Смотрим, девочка маленькая идет. Кругом же чистая степь. Пытаемся у ней,— мамку, кажет, ищу. И не плачет. Зажалели мы ее, взяли на подводу, нянчились с ней, чисто с куклой. Только стал атаман наш на девчонку гнилым глазом смотреть,— мы и сбыли ее еврейке одной, и приданое дали — мукой и маслом.

★

Мы, четверо, детей никогда не обижали, так и сговорились, если ребенок, не обижать, а даже покормить при случае.

★

Пришли мы вечером, жители все разбежались, пуста деревня. Под одной хатенкой два мальчика, совсем небольших. Мы их спрашивать. Они про жителей сказали. А про себя говорят, что сидели дожидались, кто в деревню войдет. Ихние отцы за коммунизм в ближних лесах скрывались. Мальчонкам этим с жителями не по пути было.

★

Я стучусь долго, детский голос спрашивает: «кто?» — «Я к Сергею».— «Помер он»,— говорит.— «А мать?» — «Померла»,— говорит.— «А братишка Пашка?» — «Помер»,— говорит.— «А ты кто?» — «Я сестра»,— говорит.— «С кем живешь?» — «Одна»,— говорит.

★

У нас было такое положение,— ничьих, даже вражеских детей, не обижать. При нас дети часто роями роились, которые как бы даже и румянеть начинали.

★

Бывало придем куда в город, сейчас велит всех ребяток к нему,— работишку даст, что чистить, посуду там, постирушки. Кучею ребятки слетятся, а ни тебе игры, ни тебе смеху.

★

Часто толковали, как с детьми теперь быть. Только до чего дотолкуешься, если идем и идем без остановки. Встанем, может, и пристроим детей как-нибудь.

★

Мы еще сами очень молодые, на нас детская судьба-беда не лежит, пускай старики придумывают.

★

Эти пропащие. А вот как будет вся воля у нас,— народим новых, на счастливую, нетеперешнюю жизнь.

★

Только б в живых дети были, как с войны приду. Возьму детей за руки, на вольную науку выведу,— бери, скажу, дети, что вам отцы добыли,— бери-береги, между пальцев не пропусти.

★

Обещаются, как кончим войну, дадут нам высшее образование. Я домой тогда съезжу, братков приведу. Расти, скажу, братки, к свету тянися.

ДЕРЕВНЯ

Сидит ворон высоко,
смотрит в землю глубоко.
Ох, черна земля под нами,
да не взята семенами.
Ни колоса, ни половы,
смолотили все подковы.

★

Земля-земля, вдовушка,
черная, оброшена,
на тебе работали
пахари непрошены,
поливали пулями,
пахали снарядами,
усевали мертвыми
не рядами, грядами.

★

Идет теперь гражданская война, плохо теперь в деревне, и обида, и голод. И всякий враг, кто деревенской работе помеха.

★

По пустым пашням ходит. Спрашивают: «чего шукаешь-ждешь?» Глядит лицом серым, и голоса не подает. Показали ему револьвера. «Ничего,— говорит,— не жду, не шукаю,— на крестьянскую, говорит, землю гляжу, как она под конским копытом сиротеет».

★

Крепкий дом, при доме боковушки и службы стоят. В доме — ни души. Искали-искали — ни душеньки, ни шматочка. А горе какое хозяину крепкий такой дом кинуть.

★

Идешь городом — страх виден, а всё кругом котлом кипит. Деревня же молчки легла, ни дымку не курит, ни огня не светит.

★

Прошу я работишки, «да какая ж,— говорит,— теперь работа, всё сами справляем, да и справлять нечего. Не пашем, не сеем, не жнем, всё ждем, что-то вырастет».

★

Пройдет война, пройдет и враг с нею. А земля непаханная, а семя несеянное, а силы где будет взять? Вот и волчится деревня.

★

Мужику всякий враг. Пришел сукин сын атаман в красных портках, забрал у меня телку, тут и стравил ее разбойничкам своим, псам голодным. Пришел сукин сын драгунский полковник, что ли, до того в обтяжку, все у него грыжей повылезло, и сено и коней позабрал; приходили сукины дети — петлюровцы,— эти так крышу соломенную, и ту пораскрыли и ни зерна не оставили. Одно, случаем, стуло барское оставили, вроде свиного корытца, так когда немцы пришли, они в том корытце всей деревне задницы повыстирали.

★

Кто как помирал тогда; кто с голоду, а кто от перееду. Пережирали всякую меру, только бы куска не отдать в продразверстку.

★

«Шукайте,— кричит,— как найдете, дерите с меня шкуру, жизни я не радый». И стали искать, по кусочку всю хату разнесли. Найти не нашли, а хаты нема.

★

Коль мужик,— так его тайничок повезде-повсюду. Коли баба,— далеко не лазь, у ней все дела́ не дальше подола.

★

Мужик всю землю истыкает, и сам не помнит, что и где. Интеллигент, тот земле не верит, тот все при себе тайнички носит, у него тайничок легкий.

★

Подождем, говорят, как вы себя проявлять станете. А то мы всяких насмотрелися, а неграбителей не видели что-то.

★

Плохое в деревне от самой темноты. Деревня думает, все ей завидуют, все на нее зарятся, все ей во врагах. Грязь больно хороша, нигде такой не найти, как в ихней деревне, первый сорт грязь!

★

Деревню жалею, сердца на нее не держу. Своя, не чужая, разоренная.

★

Беру я лошадь, а отец как бы перечит. Я ему толком,— ни к чему дома лошадь, все равно хозяйствовать не дадут. Конь для войны нужен. А он перечит. Спасибо мамаше, приказала она отцу коня отдать. «Сын-то,— говорит, — с винтовкой, он теперь и добытчик. А мы, старые, дожидаться станем, как он для нас добудет, и чего».

★

Отец смерти ждет, мать слезы льет, сын лётом летает, людям воли добывает.

★

Тому месяц я тут красным был. Так каждый, бывало, стог капканит. Просто ни шага в сторону, за нуждой так и то хоть взводами ходи. Вот, думалось, сволочь белая. А теперь, вот я в белых тута, так не то, что не лучше, а еще и срамят. Нашей деревни никакая краска не берет.

★

Ему всё объясняешь, а он,— «а кто вас просил воевать?». Ничего не понимает, думает, мы уйдем, он на печке уснет, других врагов не увидит.

★

«Пока у нас стоите,— говорит,— и нас от других защищаете, жрите, хоть до гладка. А с собой не дадим. Придет за вами следующая власть, нечем ее удовлетворить будет».

★

Пришли туда к ночи. У нас, говорят, сговор такой, по одному в хату пускать. Что ты сделаешь? А пятеро нас только. Согласиться — поодиночке, как баранов, перережут; не согласиться,— а может они все в бандитах служат. Так и ушли мы без ночлега в лес.

★

Ночку выждали, до клуни. Пригляделись, живы будто. Караульщика осилили без шуму, наших на плечи — двое живых. Сбегали, в стог их до утра заховали и за мертвыми вернулися. Тут запопали нас.

★

Самая калечь осталась. Кто покрепче — в леса ушли, от обиды разной.

★

Богатый мужик, дом двухэтажный. Трех коров взяли, мелкого скота, а хлеба не найдемо. Тут до уха дранный мужичонок,— «пошукайте в хлеву под навозом». В хлеву навоз до неба, под ним и мука, и крупа, и одежа под паром ждали.

★

Двор крытый, темно, и чистый навоз, ничего не найти. В углу лежит кабанчик порядочный, и лежит тихо. Мимо бы прошли, да пхнул его один ногою, он и перекинься, как неживой. А в нем, заместо потрохов, карбованные деньги.

★

Колыска скрипучая, в ней как бы младенец. Искали, искали, к люльке; матка кинулась, выймает замотанное дитя. В люльке ничего, к дите. Как

заголосит бабенка,— стали дитя разматывать. А то не дите, а чурка, а в свивальнике карбованцы.

★

«Если белых не выведем, замордуют они вас?» — «Замордуют».— «Если белых не прогоним, пропадет все до последней ниточки?» — «Пропадет».— «Мы вас от белых обороняем?» — «Правильно». — «А жрать мы чего-нито должны или нет?» Молчат.

★

Гусей там водили, река хорошая, пруды, озера. Отряд сколько-то у них гусей добыл, в перелеске гусей посекли, пощипали, на костре смолят. А дух гусиный до хозяев в деревню, носа им обжог. Кинулись хозяева в перелесок гусей отбивать, наново жалко стало.

★

Были отряды честные, служебные, были и грабители. Эти различья не делали, где много, где мало. Им бы взять, а у кого, меж собой жители разберутся.

★

Обувь стали брать, а у мужика обувь для праздника. «Отчего обувь,— говорят,— не на ногах?» — «Потому не на ногах, что босые ноги обувь берегут».

★

Тот только о других заботится, у кого живой худобы не заведено; а замычит коровенка, ледящая, сразу на людей косым глазом глядеть станет.

★

Беднота одно, голота другое. Я теперь за голоту, она вольно летает- Беднота — всякие хозяйства ощупывает, да по своим хаткам вещи разно. сит. Голота же ничего не копит, по щелям не шарит, за всех воюет.

★

Сказал бы ты дома, что изба тебе не нравится, заплевали бы родные, семейные. У нас, хоть бы гной, да родной.

★

Если нас к бедности насильно не приохотить, кто ее любить станет. Вот родня и приохочивает, чтоб дома не бросали.

★

Пчелы-пчелы гудят,
на работу летят,
а мы с одной пашни
винтовками машем.

★

Пока еще до легкости дотерпелся я, по крестьянству своему, всех до последнего ненавидел, и белых и красных.

★

Деревня суровая такая, разоренная. Прежде сады водили, теперь пни торчат. Хозяева насупленные. И у нас к ним веры нет, еженощно к ихним печам товарищи мертвые прилипали.

★

«Вы,— советует,— лучше в соседнюю хату ступайте, там две нестрогие женщины живут, а у нас скушно». Пошли туда, веселые бабы приютили, то да сё, полегли спать. Ночью, будто толкнуло, проснулся,— нет ни баб, ни товарища. К двери,— заперта. К окну, — припертое. Высадил дверь, во дворе тишина, лунно так,— и пал глаз на колодезь. В нем и нашел товарища, бабы скрылися.

★

Слышат ночью как бы конский топот. Они глядеть, отворяет хозяин, стережась, ворота, в воротах трое конных. Наши стрелять, те сгинули. А кабы сыто спалось, на том бы свете прокинулось.

★

Встал он случайно у хорошей, ласковой старушки. Ночью старушка его тихонько в бок толкнула, «сынок,— кажет,— а, сынок, выдь ты до утра из хаты моей в клуню. Признаюся я, прибудут сейчас из лесов до меня двое сынов моих, бандиты. Перебудь же ты в клуне до утра».

★

Бывало в избе голова болит, мутная,— а дети верезжат. Сорвешь на них криком сердце, а разве враги тебе? Вот и деревня, плохо с ней, не помощь, и убить готова,— а не враги же.

★

Вошли мы, ни души. Что такое, думаем. Как тихонько мальчонок годов семи выполз, на нас круглым глазом уперся, да как скочит из хаты. Через часок и хозяйка надошла, соседи показалися. И дымок и кипяток. Мальчонка доглядел круглым глазом, что мы, а не враг.

★

Сам я деревенский, всякое деревенское свойство понимаю. Вот и вижу я, с чего сейчас на нас деревня в сердцах и зверствует. В хозяйстве мы не помощники, а родня, между тем. Кончим войну, навезем деревне семян на хлеб,— задымит деревня печами, пироги на нас напечет.

★

Нас цветами не встречают. В городе народ торговый, тот нас не жалует. Зато деревня, если она целая, словно детей приветит. Конечно, разоренная деревня над всеми расправу чинит.

★

Входим стережася, бабенка нас чем же встречает? Кланяется низко, хлеб у ней в руках, нам передает, слезы на хлеб сеет. Говорит: «идить-идить, соколики, до моей хаты. Воронье летало, на моей хате отдыхало — так кровных своих последним добром оделю».

★

Тоже бывает, что рады нам. Да на таком рады,— что войдем вовремя, мучителей каких-нито из деревни выбьем. Так деревня-то только что болячки да раны свои зализывает. Не до баловства ей, куже́нек* не напечешь, хлеба-соли не вынесешь. Понимать нужно.

★

Я с оглядкою мешок общупал, человек вкоченелый! Ох, ты, думаю, пропал я в той хатке, пропал с потрохами. Почал прицеляться, чтобы втечь. Как доглядел хозяин мои руки на мешке, и говорит, «не бойся — говорит,— сынок,— то ихний, не наш, в нашей деревне отличают».

★

Кому как. В том месте для нас кров и снедь, а врагу — кровь да смерть. Понимало-то место, кто свой, а кто ихний.

★

Пошли детки своим путем, нелегким, надобным. Накройте поле полою, до поры. Придет время, выпашем, высеем и жатвы дождемся.

★

Хорошо живете, говорит, с вас побольше. А тут побольше ли, поменьше ли, своего куска всякому жаль.

★

Как продразверстка идет, все печи топят, последнюю животину переводят, на год нажирают, топоры острят, косы точат на нас.

★

У нас, как продразверстка, только и сыты бывали. То всё прячут, до полного голода, а тут в один день на год жрут, только бы не отдать.

---

* Ку́жень, кужéнька (*обл.*) — лепешка с творогом, ватрушка.

★

Ненавижу деревенскую жизнь. Бьют миром, живут же, как пауки, ничем не поделятся. Грязь свою берегут.

★

Вот глянь, стоит перед тобой деревня... Хаты малы, крыши раскрыты, окна слепые. А вот глянь,— хоромина-домина. Крыши высокие, окна широкие, сад, и для псов разных кругом дома понаделаны. Теперь прикинь одно к другому.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ОЩУПЬЮ

ЗЕЛЕНЫЕ

Направо ли, налево ли, прямо ли,— ни людины. Иду дурницею, думаю,— обманули, и будут братья мне звери-волки. Как над шапкою — тах-тах! И опять не видко и не чутко. Скоренько я белою тряпицею машу, и тут, с под земли просто будто, вышел очень приятный человек, и меня в зеленые принял.

★

Как жили-то! Крови не лили, голодом томились, из лесу ни ногой: комарня, мошкарня, совий гук да волчий вой.

★

В самой глуши курень под землею, да не хуже медведя, хворостом закидано. Ни духа, ни солнышка. Болото разведем и спим в нем чередами и сторожко.

★

Только зубы и светятся, до того в куреньках обкурилися, до того зеленями обросли.

★

Приказал нам зеленых по лесам не шукать, а строго-настрого, ни с села в лес, ни с леса в село, никовошеньки. И пришелся рецептец тот через неделю,— потянулись до нас из лесов мощи живые, до того тощи, до того невши,— от корочки вдрызг пьяны. Взяли мы их голыми руками. Да безвыгодно для походного дела. И слабы, и воевать отвыкли.

★

Сразу с факелами высыпало полк-полчище. Чистые богатыри, до того при факелах высоко они темнятся. Один спрашивает, «что ты за человек, зачем до нас в леса пришел? Коли ищешь ты сна и покою — из лесу ступай; коли счеты нашими руками сводить собираешься,— ступай от нас; коли ж ты,— говорит,— войну ненавидишь и через всякое злое от войны уйти готов,— полезай, братишка, в наш курень зеленым».

★

Захватили они нас, не для истребления, а чтобы ихних зеленей не выдали. А нам лесные жители и люди, не в пример добровольцам. Остались мы охотно. Кто из нас покаленее — красных дожидался, а кто позеленее — и по сие время в бору дремлют.

★

Душою он тихий был и здоровьем хилый. На той войне санитарил, да в слабосильной мордовался. Такой туда да сюда, да и залег под ракитовый кусток.

★

Кабы не зверел я в бою, может, и воевал бы. А то, чисто тебе волк, ажно зубами врага брал, ажно сине в глазу. Памяти не станет. Чисто сумасшедший. Оттого и сбег в леса.

★

А кто и так: вот день, вот ночь,— война и война, и краю ей не видать. От последнего устатку в леса.

★

Всё терпел, раны всякие, страх. А то раз вскинулся я под звездами, и до того удивился как бы, что спокойно. С тех пор ушел я.

★

Я и при царе по куткам ховался, не дал шкуры своей. Нет тяжеле дезертирского житья. Я войну до последнего ненавижу. Я рад бы на свое дело силу тратить, да не на войне. А теперь только война и живет.

★

«Дезертир»,— говорим.— «Ан, нет,— отвечает,— дезертир сбёг — бабу на печи кутает, а мы не то что бабы, а и печи, почитай, год не видали. От крови далеко, живем во зеленых лесах, и есть мы зеленые».

★

Думал я, думал, нигде тихого угла не видать. Бушует земля. Что люди, что дела — движутся. И ушел я в леса тишины искать. А в лесах нас-то, тихих,— полк. Так и жили, зеленя поганили.

★

Эти святые! До того воевать не любят, хучь белый стреляет, хучь красный,— бегут святые во места лесные, ажно портки сеют. Зато, как выстрелов не слыхать,— оберут место до последней корочки, баб угонят и в скитах своих зеленых миролюбием хвалятся.

★

Зеленое — мирный цвет, без кровинки. А тут и красных и белых, кажного на зелень потянуло. Мобилизации — почем зря. А зеленые до того войны боялись,— бесперечь им воевать пришлося. И грабить молодцы стали.

★

Наши зеленые — те ничего. Пограбят от нужды, всякому в пору. И различки не делают, кто красный, кто белый, кто еврей, — абы хлебушка. Те же зеленые геройствовать взяли моду. Налетом налетят, не то что хлеба, а всё берут, более всего вина и вещи дорогие. Для ужаса евреев перебьют, как бы за коммуну.

★

Двоякие зеленые есть. Бедные и богатые. У бедных в лесу подземный текучий куренек, хлеба корки немае, табачковым делом навоз займается, на собственных ломотных костях спят, родною вонью греются. А есть богатые зеленые. Ковры у них и золото, сигары и вина разные, кони и даже машины. А коло них, за золотце, злыдни из простых людей снабжением ведают, и как бы вестовыми служат.

★

Пой, товарищ дезертир, соловьем. Дерьма зеленым не подкрасишь, воняет. Мы за весь народ воюем да зверствуем, а ты за мягкую постель обиделся.

★

Не мог я русской крови видеть, не принимал что ли. И все мне разъясняли,— голова знает, а сердце неймет. Вот я и ушел в лес. А там и того хуже. Скажу — воры просто, для ради себя и шкуры берегут.

★

А я в лес ушел обдумавши. Месяц-два,— кончится война, я целым и выйду. А с мертвого калеки какая кому прибыль.

★

Кто так, а я прямо скажу,— страхом хворать стал. Вот и убег в зеленые. Хорошего мало.

★

Припал я к сену, сапогов не сымая, на лету. Как торкнулся — подо мною в сене человек. Я и гукнуть товарищей не поспел, как шепот его слышу —

«не кличь,— шепчет,— братишка, я зеленый, не бандит. Невинный я, здесь за провиантом был, да за девичьей лаской в лес не поспел».

★

Аэроплан над лесом. Как сыпанет листками, а грамотного ни одного. Кто нас кличет, друг ли, враг ли, а из лесу выбираться надо.

★

К нам аэропланы не летают, им в лесу не станция. Пролетит, бывает, над лесом, бросит бомбу или листовок каких, и дальше. А раз головку сыру сбросили, верно нечаянно.

★

Я мечтал в летчики податься. Да разве из лесу полетишь, если ты не птица. На ангельских крыльях и то нельзя, потому что черти мы зеленые, а не ангелы. Где уж нам летать.

★

Девки нас любили. Чего может, наготовит, да и жить с нами не отказывались. Хоть и лесные,— а знает девка — и сегодня ты с ней, и завтра до ней. А военный — сегодня здесь, завтра бог весть. Лесные покойнее.

★

Меня бабы за то жалели, что ласковый, что крови не любил. Просто под подолом спрячут, как какая-нито часть в селе.

★

У нас в лесу и бабы жили. Кто к мужу, кто к хахалю, а кто и от войны отдыхает.

★

У нас старая баба проповедовала,— как война не нужна, да как грех, да как в лесу спасаться. Кто и слушал. А я часу ждал.

★

Святые угодники и те для людей терпели. Вот и мы так. Кто битвой, кто молитвой,— абы людям легче стало.

★

Шла часть ровно и верно, шла местами лесными, середь речек да болот. И стали, что день, люди пропадать, между кочек залегать, на вольные леса заглядевшись.

★

Вылазьте, братики, с под кустиков, войной миру добывать.

ШПИОНЫ

Теперь враг такой пройдошный, ружья противу него мало, вот и шпион первый человек.

★

У нас за деньги не ходят: первое — свое это кровное; второе — денег у нас нету. Какие из нас шпионы, это у них.

★

У нас шпион самый верный должен быть, чтоб не за деньги, а сердцем на врага доводил. А разве шпион может так?

★

В шпионы же не гожусь. На врага сам глаз грозится, не скроешь. Ни сердца, ни слова, ни руки не удержу.

★

Старший — воин, а младший в шпионах служил очень хорошо. Его вперед зашлют; нежный такой был, до него особенно дамы привыкали, вроде как бы юнкер. До самого семени через дам вызнает, а тут и мы надойдем.

★

Приходит до нас весточка,— служит у врагов на важном месте. Продал, думаем, продал. Продал, да не нас! Как вошли, все нам показал, как и где.

★

Я в шпионах аж четыре раза был, очень это интересно. Раз присыпался я до кухарочки одной, хозяева вышли, я к барину в стол. Там бумаги стога, хоть вилами действуй. Грамоте не очень знал я, однако понял, что здорово в точку попал, как пошли мои хозяева шептаться и белеть.

★

Служила она у них при бумагах, от многого нас уберегла. До того нам нравилось, что не боится для нас в шпионах служить. А кабы мужчина, так служи, псина, а в горницу не суйся.

★

Я б на раз только шпиона пускал. Добыл пользы — ступай. Как-то веры нет.

★

Кто за деньги, тому веры нет, того купил ты, купит и враг. Того на раз, а потом в зад коленом.

★

Что скажу про шпионство. Страх один, нету вреднее. Иной, как маманя, теплом греет, а в нужный часок, со теплых грудей под муки, под топор.

★

Нам брезги не разводить. Одно спросишь,— на пользу? А как на пользу, так хоть в коросте, не гони.

★

Мирные шпионов очень боятся. Сами себе веры не дают, вот и сдается глаз со всех сторон.

★

Парнишка приветливый, гнучкой такой, гавкнешь,— смеется; ткнешь,— не примечает; не нравится мне. Ночкой прелестной прокинулся я в куреньке с плохой пищи, вышел. Вижу скрозь звезды, ползет парнишка хорем, дырку в земле царап-царап, да и в курень. Я в ту норушку, а там и то и это, и у того места, и какая у командировой кобылы масть на хвосте, и число, и знак на нужной бумажке.

★

С первого дня стала к нему жена ходить. Мы ничего, закуток им отвели, любитеся. А один паренек, гнилой у него глаз был, раз к щелке и приникни. Только замест сласти видит он суровые лица, и бумаги попархивают. Ох, и было ж им, чтобы сладостей на шпионство не меняли.

★

Одна женщина взялася ему зубы лечить. Сама лечит, сама спрашивает. А он морду выкривил,— «а может вы в шпионах служите?» — говорит. Так потом, бывало, с леченья всякого добра нанесет, до того она его боялась.

★

Сумерки густые, как дым. Смотрю, ползет по за кустом, крадется. И на самом на близком к окну местечке приник. Тут и я подполз, за ворот. Он меня зубами. Любопытный оказался.

★

Молоденький мальчик и очень чистенький. Всегда газеты читал, разговаривал. И все коло бумаг, все он коло бумаг. Потом и перепорхнул врагу на руку — канареечкой. Счастье наше, что не в бумаге у нас теперь сила. Одно пишем, другое делаем.

УЧЕНЬЕ И УЧЕНЫЕ

Написано на роду
быть на быстром нам ходу,
ак то носом в книжицу,
тот с войной не движется.

Эх, кабы сто лет нашему житью. А то ведь такого житья и до сорока не догонишь,— воюй и воюй, ни тебе минутки на обдумку.

★

Вот теперь навязалась на нас болячка эта, учеба. Да дай ты мне отвоеваться как след, всю желчь отвоевать. Прилипли мои ручки до амуниции, не деркат пера.

★

Дрожит во мне каждая жилка, только что винтовка с плеча, а он меня в книжку носом.

★

Теперь у нас, что ни шаг, то учитель. А шагает народ и шагает, на ходу лучше университета обучается.

★

Шутка ли,— голы, наги, безо всякой науки, свою волю добыли, да еще и во вражьи руки воли не отдаем.

★

Не перечь ты нам выдумками. Разве ж можно нас теперь наукам учить, если мы еще в самом бучиле пузыри пускаем. Дай хоть на берег выплыть.

★

Теперь войну кончим, много в наших руках добра будет. Этому особо учиться надо, как добро между пальцев не пропустить.

★

Вот не знаю, сдужею ли я, такой измордованный, настоящую науку принять? А до того охота. Кабы дорваться, знал бы, за что и войну отвоевал.

★

Думка одна, что упрусь после войны в самую науку, в мирное, для всех интересное.

★

Как в хате после пожару,— и копоть, и воды, прислониться не к чему. Так и мы, пока не отстроимся.

★

Кто на нас работать захочет? Ученому угол нужен, стол нужен, и чернила, и покой, и чтоб над ухом стрельбы не было, чтоб возможно мозгами шевелить. А у нас где ж такое место?

★

Нельзя говорить «сидю»... а почему нельзя, никому не известно.

★

Я бы заставил ученых — наших парней, что поголовастей, всем своим наукам обучить. Обучили,— их на покой тогда, и до кончины поить-кормить. А уж наши дела пусть головастые наши парни все и устраивают.

★

Я бы всех этих ученых по шапке, да на остров. За границу бы не пускал, чтоб на нас чего не наготовили. И к делу бы не допускал, как бы с большого ума чего не натворили, учены больно.

★

Я бы все как есть науки перевел. Те же люди, те же руки, а как наука у кого в голове, сейчас различие,— то чиж, а то коршун; тот в гору, а тот в болото.

✭

Я сколько врагов убил, а объяснить это как следует не могу. Завидую я ученым.

✭

Для этого политика хороша, а не наука. Наука всё про далекое, что в земле, что в небе; а политика в самый корень покажет, отчего какая кому жизнь, и как эту жизнь переменить.

★

Ученых собрать, хорошо сговорить, чтоб добром и на совесть.

★

Вот и мы, бывало, у белых воюем, а разве полной силой? А для своей войны черезо всё шагнем, всего довоюемся. Так и ученый, и он тебе из-под палки на весь мозг не наработает.

★

Так себе человек в очечках, ко всем добрый, ничего не замечает, хоть ты его матерши. А ребята его берегли, на весь мир знаменитый был ученый. Только по какой науке, нам не известно было. А ребята берегли его.



«НЕГРАМОТНЫЙ — ТОТ ЖЕ СЛЕПОЙ ‹...›»
Плакат А. А. Радакова. ‹1919—1920›
Центральный музей революции СССР, Москва

★

Вошли мы в комнату, мороз в ней, как в поле, изо рта у нас иней. По стенам книг, на полках, до верху, на полу книги грудами. Стола нет, забрали, и сидит на книгах старичок, пуховым платочком позамотан. И книга в руках.

★

Когда всю мебель на дрова перевели, ничего он. Рояль рубить стали, сам еще и помогал. А до книг дошли, лег в стену носом, затосковал.

★

Мальчиком трудно мне грамота давалась, что и выучу, за игрой забуду. А говорят, как войну окончим, всех неграмотных в науку. Как подумаю такое, ажно в краску бросит. Теперь герой не хуже других, тогда сразу дурак дураком окажусь.

★

К нам кормный такой гражданин на фронт наезжал. Стихи свои потешные читал, про богов, про господ, про генералов. Стихи очень веселые. Но гражданин не понравился. Так что, что шутит? Он — он, а мы — мы. Мы во всем теснимся, у него жратвы, по лицу видать, сколько: вагон свой, отдельный. Одежда на нем только снаружи простая. У нас и свои шутники найдутся, да под них целых поездов не берут.

★

Картинок навезли, песни пели и стихи читали. Всё про врагов, очень потешное. Мы к ним в гости ходили. У них вагон свой, не то что наш брат, друг на дружке в четыре этажа путешествуют. В отдельном вагоне мы бы и не так еще запели да заиграли, да стишки бы записали.

★

А ты мне в тифу со мной поваляйся на вшивой подстилке. Вот тогда я стишки прощу.

★

У меня дружок замечательно портреты рисовал. Чем хочешь рисует, угольком так угольком, хоть навоза куском. Он с меня такой портретик нарисовал, я девице его на память подарил,— так она говорила, лучше меня живого портрет этот был.

★

Подобрать придется самых хороших землемеров да инженеров, хоть силом, и пусть нам землю устроят, как во всех образованных странах.

★

Я бы всех ученых собрал, приставил бы к каждому красногвардейца, и пусть нас устраивают. Устроят, хочешь с нами живи, хочешь, куда хочешь, хоть и за границу.

Эти с жиру бесились, по-моему, всего им мало было, только б от дел отлынить. У них институт высший для лесников был, а верно, для неженых самых господ. Наивыдумывают, экое какое дело, дуб от елки отличить. Мы и без высшего образования умеем.

★

Подводная лодка была бы интересна, если б стеклянная была. А то стальная, воздух в ней дурной, помещенья не хватает, рыб не видать. А порча если, беда последняя. Могила она подводная, а не лодка. Степь куда веселей.

★

Мне шаг наш, так и то в ушах, вроде как нарочно выговаривает. Пуля мне песню поет, снаряд на трубе играет. Человек от раны воет, так и то я как бы лад какой-то слышу. У меня в слухе особенное.

★

Нашего брата учить куда выгодней, чем господ. Мы-то уж ухватимся учиться, только допусти. Мы-то уж не баловни.

★

У нас в деревнях ребятки есть, спит и видит до науки дорваться. А кто его к ней припустит, бывало? Вот вернемся, поставим учителей, учись да не переучивайся.

★

Такие у нас есть, удивляешься. Пасти станет, гуся с лебедем путает, до того ему книжка в голове. Ну и бьют же у нас таких вот.

★

Сколько мы с этой войной мест перевидали, а кабы всю Россию пройти? Отвоюемся, все надо будет узнать.

★

Сказать по правде, чего-то я задумываться стал. Самая это верная примета, что скоро воевать кончим. Значит, скоро мы на места станем, головой работать начнем.

★

Ты думаешь, воюют без головы? Привык, что за тебя начальники думают. А сами думать не будем, приведут нас под родную деревню, да и скажут: «бей, вот он враг».

★

Если всё наше будет, я землю брошу. Городские ребята машины пришлют, без меня машиной поле устроят. А я учиться.

★

Может, по-французски учиться захотел? Ла-ла? Залалакаешь, да нам на шею? Видали таких любознательных.

★

Гляну кругом, всех мы ученых разогнали. Самим учиться придется.

★

Всех мы распугали, словно ястреб кур. Толковых людей распугали. А что делать, не бросать же войну, пока врага не изведем.

★

Конечно, и мирные занятия хороши. Только по-новому заниматься надо, а то как бы опять до войны не довести.

★

Через некоторое время мирного житья не с чего болеть станет. Ни голода, ни обиды, ни надрывного труда. И забота кругом о тебе.

★

Не станет больных, больницы под старость отведем, доживать на покое людям.

★

Что с нас, молодых, взять, мы не так образованы, мы только что на своем деле стоим, врага не боимся.

★

Ни театров, ни кино, ни миниатюров. Скучно здесь мне. Я привык к развлеченьям. Слепил я лото из хлеба, так черти эти слопали.

★

Землю разве можно сразу отдать. Сперва крестьянину все показать надо, чтоб он по-людски, а не как зверь, под зад запхает и гнить.

★

Своих всюду поставим, и в университеты. Учиться станут, как самим за собой смотреть. Науки после, ох, как приложатся.

★

Интересно знать, эти вот богатые рояли, что мы в квартирах видим, у нас делают или за границей? Чтоб мастеров найти заранее. Чтоб музыка нам была.

★

Я тут как-то автомобиль брошенный по кишечкам перебрал. До чего хорошо прилажено, просто не отошел бы, да пришлось. Отвоюю, машинам учиться стану, а не книжкам этим.

★

Взял у меня кровинку на стеклышко и под трубку-микроскоп. Покрутил, мне смотреть велел. Что же вижу? В кровинке как бы круглые букашечки бегают, пока кровинка живая. Только станет кровинка умирать, а букашки все тише и тише хлопочут, а потом встали. Смерть.

★

Нам все внове, их ничем не удивишь, всё знают. Нам веселей, сколько удивительного.

★

У меня домой отправлена одна вещь, ну и вещь! Книга! Про все наши дела, чего нам хотеть, чего от врагов дожидаться. Дал один товарищ. Я теперь грамоте учусь, на ту книгу зубы точу.

★

Кончить эту войну, и за дело. Мы раненые, истоптанные, силы же у нас теперь закаленные, пробованные. Работы непочатый край, на всякий вкус,— образованья же никакого. Первое дело — учиться.

★

Меж пленных один пожилой, видать, не купец, хоть и с бородой. На нем очки, побитые стеклышки. «Я,— говорит,— университетский профессор». Я профессора сам и в штаб отвел, чтоб ребята с ним чего не набаловали. Я его поберег, еще пригодится.

★

Когда война кончится, пойду в университет. Не буду хуже других. Я грамотный, хорошо ко всему пригляделся, чего не знаю, подучу.

★

Так и пустят тебя в университет, без всякого образования. Эдак и науку перепортить можно, если в нее всякая немота попрет.

★

Сперва нас попроще поучат, потом, как строже. И будем мы не хуже их все знать. А работать, так и получше, навык есть.

★

А, б, в, г — это я выучил, а как складывать, не пойму. Тут стрельба, тут университет в карман и на конь.

★

Я на ходу читать выучился. Писать же научусь, когда где-нибудь хоть на неделю задержимся. А когда это будет, никак не сообразишь, кругом зверь рыщет.

★

Я, как теля, почти и не видел ничего, кроме смертей разных и всенных дел.

★

А я так думаю: такое, как мы видали, в прежнее время никто за сто лет не увидел бы.

★

Конечно, брат, конечно, избяного ничегошеньки наша война не оставит. Ни домового, ни лешего, ни бабьей нечисти, русалок. Насквозь эта война все нам показала, все тайности. Не хуже университета.

★

Я так располагаю, что, может, и не все, что теперь мечтается-бажается, для наших народов сбудется, а таки станут меня, такого, каков я сейчас, по ярмаркам возить, в балаганах людям показывать. Вот же всем вам видимо, воюю всей силой, геройствую не за свою хату, а за людей своего рода, голых и обиженных. Воюю справедливую войну. Сам же никакого понятия не имею! Ни как говорить с нерусскими, ни как там смерть является, ни как земля держится, ни отчего тучи на небе, и что там под землей. Да и насчет чертей-дьяволов во мне тоже сомнение. Если скоро дела наши повернутся по-новому, не минуть мне идти напоказ, вроде дикого.

МАТРОСЫ

Что говорить, матросы очень нравятся,— смелостью, крепостью и что к врагу жалостью не балуются.

★

Хилый я был, на море выправился. Кругом вода, не раскинешься. Вот и стали мы всё понимать, от кого зло, куда думкою идти.

★

Я на берегу болел, на море же никогда. Одно было непереносно — страх такой, вроде как бы у каждого начальства на тебя камень в рукаве, и каждую минуточку.

★

У матроса какая сноровка? На море позамедлишься — от начальства кулаки, да от рыбки зубы. Выбирай.

★

Матросы чем хороши,— отчаянные. Под ними домок шаткий, туды да сюды,— на таком домку до своего кубла не прилипнешь,— вот они вольно и думают.

★

Матросу все видно, как у нас, как в других странах. Матрос всюду бывал, весь свет видал. Матросом сговорено, что и как, со всеми народами.

★

Матрос все страны и людей видел, образованней других, потому он и главный такой.

★

Как за кого матросня встанет, пушками того не добыть. Дошли мы до одного подозрительного, а у него на диванчике матрос броненосцем сидит, до того вооруженный и не боится. Так мы и ушли. «Беру,— говорит,— на свою ответственность».

★

Был тот проворовавшийся преступник самый матросский дружок. Они ему фигуры на груди терли, в знак вечной любви. Так не то что арестовать не пришлося,— дыхнуть в ту сторону матросня не дала.

★

«У меня,— кричит,— матросский закон, от буржуйской крови рук не беречь, за товарища крепкой стеной стоять, хоть бы он раскакой был». Так и не дал.

★

Грудь его волосатая и с драконом, штаны трубами. Как ему кого приведут, станет он от злости лицом синеть и синеть, и так синеет, пока совсем не зайдется.

★

Атаманов кругом, бандитов, братвы зеленой,— скопы. А ему, с матросскою правдой, те места пройти одному надо, к морю пробиться. И шел он из рук в руки, и всюду ему за храбрость жизнь оставляли. А у белых его в смятку, эти геройства не любят, у них одна думка,— какое твое рожденье.

★

Был он самый сильный и вырыл себе могилку первый. Сел на могильный борт, ноги в могилу спустил, яйцо из кармана вынул, облупил и питается перед смертью. Привычный матросик.

★

Вот матрос был. Шкуру ему перекраивать, почти что освежевали, а он только кряхтит, ни словечка. Стали расстреливать, к заборчику прислонили, шкура у него с плеча висит, а он кулак сжал, да и погрозился. Такого кулака не забудешь.

★

Зверее всех матросы баловали. Здоровые они, как быки, мясные такие, красные, шкура разрисованная и сила в нем, и не боится. Пить там, или кокаин, на все первые ребята. И жалости не имели тоже.

★

Мы теперь самые лёткие. На море порядки непереносные были. Как до краю, до борта дошли, либо им, либо нам, а уж в море головой.

★

Из него все болячки рвотой вышли, в первый год. С тех пор здоровый, и смелости от тяжелой жизни набрался. А теперь и на земле хорошо воюет.

★

Нету фанфаронистее матросни. Жила в нем дерзкая, морская, жалости ни к чему, стыда немае. Он тебе хвастает и хвастает, а ты молчи.

★

На этих очень-то не надейся. Они хороши, пока геройствуют. А как тихо,— задаются очень. Пускай в море плывут. Мы на суше и сами разберемся.

★

Словно кто не с моря, те и не люди. Просто дерзок он, просто в раздражении мы даже.

★

За что мне его уважать, коль я, окромя речки Волоки, почитай и морей не встречал. А он у нас, словно на корабле каком, распоряжается.

★

Матросы всех умнее, до того они ничего не боятся. Только командуют через всякую меру.

★

Наш брат за хорошую маруху сколько промашек сделает, а матросу баба подолом света не застит, нет. Он ихней сестры на каждом бережку накидал.

★

И откуда они такие здоровенные стали,— не пойму. С морского ветру, что ли? А нас земля сушит.

★

Смотря по тому, какой матрос. Если матрос молодой, он, хоть и горячий, а куда хуже старого революции обучен.

★

Выбегли мы, оделися во что попало, на бегу петельки застегиваем. А матросы наши в исподнем, наги почти, а патронов да револьверов полны руки. К брюху голому, и то бомбы прилипли. Эти со сноровкой.

★

Как матрос, сейчас оратор. До того у них горло звонкое. За матросом шли охотно. У нас выучки ни к чему не было. Топчемся на месте. А этот смело на себя принимает, за ним идешь весело.

★

Ихние матросы совсем как наши. Тоже каленые-соленые. Себя не помнят, воли хотят. Тоже боевые.

ОЩУПЬЮ

Вот иду я, иду, а ладно ли это, не знаю. Туда ли я ход взял, в ту ли нужную сторону. И кто научит, кто разъяснит,— как в тумане.

★

Прежде приказ, слушай, на тебе ничего не лежит. А как теперь без приказа сам за собой гляди,— трудно с непривычки.

★

Как это, куда идти не знаешь? Простого проще. Велели тебе высокие люди — иди туда-то. Так ты сбей их с высоты, людей этих, да присмотрись поближе. Не наши,— вороти в обратную, непоказанную сторону.

★

Больно умен, больно учен, ему ни высших, ни приказа не надо, сам себе начальство. Так и ступай на большак разбойником. Нам же приказ вот как нужен, да только от кого приказ тот.

★

Утка летит, я в нее пальнул на ходу, гдесь-то свалилась она, не видать где, да и без надобности она мне. Так и то, аж горечь во рту. А тут ведь люди на мушку летят, так побережнее веди себя, чтоб своим беды не наделать, с безогляду такого.

★

Анархист ты, вот ты кто, самое худое. Я на них нагляделся, на анархистов. Вроде как чума они, заразительные. Только о себе в них дума трепещет. А для народу, для бедного народу, хоть бы их и не было. Не то воры, не то разбойники, не то актеры какие. Полоумные какие-то.

★

Анархистов и я видывал, жадности они непомерной. Оттого только бедный народ они не бьют, что взять с бедного нечего. Они же кольца, да духи, да шубы любят.

★

Всему еще я место в себе подобрать должен, а кто посоветует? Обещали дружки книгами наградить. Так вот я им в лужу и залягу, и книгу читать стану? Нет, иди и иди, воюй и воюй. Некогда.

★

Что вижу? В кутке, по-волчьи, страву * какую-то уминает. Глазами зыркает, не смотрит ли кто, как он от голодных товарищей страву сберег. Что с такого пользы?

★

Голод, брат, не тетка, а раз ты человек, так не живи по-волчьи. Раз ты товарищ, так и жизни для товарища не жалей, а не то что стравы. С такого волчака чего спросишь, гони его.

★

Все мне любы, все хороши, если из бедноты, свой брат если. Даже красивенькими сдаются. А разве все они равные? Лучше да хуже, а как отберешь в близкие друзья? Вот жду, бой отберет, кто каков.

★

Верни мне мое, своего у тебя ничего нет, всё мы же тебе потом своим добыли.

★

Надоели мне бандиты. Глядишь, ничему не веришь. Эдак-то и прежде разбойнички воевали. Даже и в сказках так. А толк?

★

Послали нас против немцев в мокрый окоп, беззарядку в руки сунули, на пузе ремешок, да бляшку. А ты видел, чем немец воюет, какое у него снаряжение? Не ремень полопался на брюхе пустом, терпенье полопалось. Наш же народ, потерявши терпенье, до всего дойдет. Тут и учителя нашлися, и вышло, как бы мы этой самой минуточки да всю свою горькую жизнь ожидали.

★

Эх, хороша песенка про барышню-голубенький глазок, как она сквозь занавеску с поручиком кокетует! И я иду, и ту песню пою, сам по сторонам поглядываю, может быть, и на меня, рядового дурака, кто-нибудь глазок наводит? Только нет. Какая-то у них чужая жизнь, на нашу непохожая, чужие и глазки голубенькие, бог с ними.

★

Вот, думаю, я ему работаю, зато сыто ем. День так думаю, два так думаю, на третий обижусь до последней кровинки чего-то. Все свои нехватки, все его лишки пересчитаю, ничего ему не прощу, работа омерзеет. А что делать?

★

Вот тягота, что в настоящем порядке мы не воюем, не тверды мы в том, с кем версты меряем. За всем за тем скажу, выбрать правильно можно, чутье имея. А что грабить пока не отказываемся, так ведь время такое скользкое, не устоишь на нем.

★

Ты до войны в школе учился, на войне книги читал, с товарищами рассуждал. Я же деревенский, одна у меня учеба — земля. Теперь кругом добра всякого понакидано, кто мне его добудет, ты? То-то... С дисциплиной укладки не набьешь.

★

Какие мы герои? Лохмотья, да простота, мы же неграмотные еще. А честь у нас кровная, не из книги припечатанная. Хоть ты меня на части рви, а товарища не выдам!

---

* Стра́ва (*обл.*) — пища.

★

Пыль, крик, семечки. Что такое, думаю? Народ веселится? Не затем я, человека нужного ищу. Пробился,— дядя подстаркуватый уж, в очках. И такую же дурость развел,— с души воротит. Чему учит! Говорит: хоть и царя нет, воюйте дальше, тогда и будет все ваше. С кем, спрашиваю, воевать-то? А с немцами, конечно. Нет, уж если я дальше воевать стану, так уж сам себе врага выберу, здесь, поближе.

★

Вот так-то ищем-ищем, не находим учителя. Всё обман, всё туман господский. Слова да словечки, а меня за пустым словом воевать не потянешь, отвоевался! Изловчусь, спрячу оружие, да при случае пущу его в дорогое дело.

★

Ищу-ищу партийного хорошего, кто б мою тугу * понял, кто б поверил моей несветлой голове, и словами незнакомыми не перекидывался бы. Мира бы, бар-измывателей вон, и земли. Вот те и все.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. НА ХОДУ РАЗГОВОРЫ РАЗНЫЕ

СМЕРТЬ

Мы со смертью теперь круглые сутки вместе. Как бы дитя с матерью.

★

Нисколько смерть не страшна. Страшно раненому от операций, да перевязок, да выздоравливать чтоб понемножку, с болью. От того страшно, что для жизни, а смерть что, пустяк.

★

Как же не страшна смерть? Старики, те знали, что и как. А мы вот так считаем,— песочком присыплют, посмердим и нет нас. Как в дым кизяк. Хоть бы уже делов каких наделать, иль бы детей народить побольше.

★

А я так никогда про такое не думал. Придет смерть, увидим не хуже других. А я жить думаю, не в смерти дело.

★

Чай, и лошадь про смерть помнит, ты ж человек, не скотина.

★

Чего про смерть вспоминать, про жизнь интересней.

★

Что про смерть думать. Смерть теперь сама о нас печалится, из-за каждого куста моргает.

★

Я ее, смерть эту, и знать не хочу! Ого, сколько я еще годков живым буду, мне об жизни забота, смерть же — тьфу. Я сто лет проживу.

★

Это как ты жить станешь и для какой такой пользы.

★

Жил хорь сто зорь, сдох на сто первой, провонял стервой. Так и ты.

★

Ты что, старуха, на тот свет поглядывать? Да как там, да где там, да кого там, да чем, да в чем. Так у старухи времени свободного до самой смерти ворох. Ты ж военный.

---

* Тугá (*обл.*)— печаль, тоска, горе.

★

Конечно, очень хорошо, как не боится кто. А как ты не забоишься, если тебе двадцать лет, кровь в жилах гудит, врага тебе раскидать кортит. Забоялся, отбивался, не отбился. Убили меня. Наши еле отлили.

★

Пусть попы отпускают только при настоящей простой смерти, когда старые люди помирают придомовой смертью. А тут на каждом шагу тебя истребить могут, ты же весь до последней кровинки живой. Да чтоб поп рядом? Да лучше хоря за пазуху!

★

Если бы после смерти жили, так тут бы мертвых больше живых бродило. Убийства каждую минуту, попы не служат, водицей не кропят.

★

Эх, кабы враг на расстрел вел, а песни бы петь позволял, куда легче шлось бы.

★

Дух от него тяжелый. «Что ты,— смеемся,— ровно из могилы смердишь».— «А из могилы и есть я,— отвечает,— расстрелянный я, сам и откопался. Сверху же, от мертвых запаху набравшись».

★

Расстрелянные, те оживают. А вот повешенные, или того еще хуже, утопленные — те неживые на всю жизнь делаются, то того, то этого в них не хватает, как бы нецелые. Один у нас, из воды вытащенный, такой стал: блеску страшился. Как видит хоть бы жестянку старую, аж рвет его со страху.

★

Кот под ноги! Споткнулся я об черта этого и погиб. Взяли. И кот в стороне верезжит, ушиб я его, и меня на осину на ремень. Ох ты, и кто ж это об нашем брате смотренье имеет? Уж не бог ли? Да нет, свои надошли.

★

Нас к реке прижали, ни шеста, ни моста, кто вплавь, раков кормить, кто как. А меня взяли. Прикладом по темю,— тюк. Вот, щупай... Шашкой через плечо,— рраз! Щупай... А потом вожжой вокруг шеи, да с таким-то вот темячком, да с таким-то вот плечиком, за конем вскачь! Потеха, как меня волокли, а я всё жив...

★

Лес черный, как глаз, сам себе не виден. А у меня с сапогом три пальчика оторваты. Просто тебе, нужда лечь! Хоть к мамке под подол, болища, кровища, ажно дрожко. Я и лег, да на вражье изголовье. Они меня вешать, да не поспели, наши надошли.

★

Повели меня недалечко на улицу. За мной мальчишки, как горох. Поставили меня, что сзади — не знаю. Не то стрелочки, не то столбочки, не то петля, да ямы нет ли... Вдруг: тах-тах-тахи — сивые папахи, красные-кровиночки, голота-сиротиночки, родные братцы, да не по святцам, да не по кресту, а что вместе росту, как бы с одной хаты, да на богатых, да на брюхатых!.. Вот тебе и стишок, не все господам удача.

★

Они меня в реку бросили, я сразу на дно, нарочно. Они ж рады, аж ржут. Я выплыл, пузыри попускал, опять нырнул. Они — рады. Я еще под водой отплыл, опять им пузырики. Они ажно стонут от удовольствия, а того не знают, что я море переплыть могу с подходящей пищей. Я им еще разок в отдалении представление сделал, да под водой и поплыл к дальнему бережку. Они ушли, я в кусты.

★

Навзничь лежим, последние звезды считаем. Как рассвет, мы на тот свет. А враг коней седлает. Что ж за дума у меня в последние мои часочки, спроси?

Первое: не верю, что помру. Второе: ажно жаль мне себя, молодого. И третье: кабы не звезды далеки-высоки, и ничего-то понять про них нельзя.

★

Ждал-то он другого, а дождался пули. Ранили. Он эдак рыбкой по земле, дрыг-дрыг. Те по нем еще раз в спину стрельнули и айда. Полежал-полежал, а потом головку поднял, как птенчик, зырк вправо, зырк влево, да как вскочит, да в кусты. А в кустах мы. Тут его под себя, а он здорово боролся, эдакий раненый. Ну, поволокли вешать. А он... вот он, я.

★

Только не весь я ожил. Я еще ничего пока и не боюся, как бы глупой. Говорят, что страшно, а мне только что слова, а что такое будет — не знаю. После своего повешения я такой стал.

★

Днем я страх потерял. А вот ночь, да сон, да страх, да пот. Вешали меня враги, закис я в петле, только в боях и лечусь.

★

Когда меня вешали, я не давался, плакал. И ничего не стыдно под смерть плакать, дело такое.

★

Меня аж четыре раза к смерти подводило. Первый раз юнкера споймали. С судками я шел, обед своему нес. Застыли юнкера на морозе, отняли у меня обед, сожрали, а ответить боятся. Решили меня пристрелить. Я уж как молился, так нет, пальнули-таки, гаденыши. Ну, подобрали, вылечили. Второй раз поезда нашего пожгли, а я пьяный лежал. Спасибо, вагон под откос, да в речку. Отмок я разом, ушел в лес. В лесу же меня зеленые из-за бабы одной повесили, да на гнилом очкуре *. Сорвался я, тут тревога, забыли меня в лесу. Очнулся, из лесу вышел, и прямо в самосуд угодил. Конокрадом сочли, в землю по шею закопали колонисты, немцы проклятые. Самая худшая смерть. Откопали меня, всего неживого.

ПРИРОДА, ЖИВОТНЫЕ. РАЗНЫЕ СЛУЧАИ

Хороша наша сторонка: земля черная, рассыпчатая, как пух. Реки рыбны, проходливы, хоть кораблем плыви. Леса — грибов, ягод, птицы, зверя полным-полно. Сады плодовитые, огороды тугие, сочные, луга зеленые — веселые, пчелы некусачие, меда сладкие, цветы — нет душистей.

★

Такие места на особой верно карте где-нибудь? А ты мне вот скажи, как там жители, насчет богатых и бедных — не разделяются?

★

Зима! Сохнет, остывает, бело-на-бело постелится, снег ляжет, кости наши припокровит.

★

Стою на часах, стараюсь зорко сторожить. Место нехорошее такое, лесок, хаты далеко. Ка-ак навалится на меня детина. Колет, режет, кусается, как кошка бешеная. Бьемся в траве, барахтаемся. Никак я винтовки не освобожу. Верезжим, орем, как псы грыземся. Я его осилил, а и сам ослаб, не задержал, как он от меня в кусты уползал. Чуть кровью не сошел, до того перемят, я — искусан. Может это бешеный человек какой-нибудь был, может дикий зеленый.

★

Стою на часах, место открытое, всешеньки видно, как на блюдечке. Хлоп! Пуля мне в левое плечо вскочила. Хлоп! — вторая сквозь шинель. Еле ружье поднял, уйти же без смены нельзя. Тут, хлоп! — третья пуля, мимо! Тут и наши пули завизжали, меня перевязывать стали.

* Очку́р (*обл.*) — пояс, опояска

★

Лежишь вот с вами, о чем мечтается? Заяц у меня в глазах, охотничий заяц, мой. Я ведь охотник был, я ведь зверя бил, не мордовал я зверя. Я вот лежал у нас тут в подлесочке тише мыши, как следует. Глянул вправо, трава от какая. Глянул влево, еж ступает, как поп в ризах, важный. Навстречу ему заяц серый, пешком как будто идет, не по-заячьи. Тут еж походку испортил, да на зайца! Заяц плакать, уа, уа. Я к ним. Еж вкопался, заиголился в клубок. Зайка было в бег, не вышло, лежит на бочку и очи смежил. Кровь за ним дорожкой. Злыдень какой-то этому зайцу задние лапы подсек. Мне не такой заяц мечтается.

★

И еще в том перелесочке я в траве лежал, видел: мышка молоденькая то туда, то сюда, то туда, то сюда. Хлопотала, хлопотала мышка, а потом на задние лапки села, передние к грудям поджала, и «ох» охнула-вздохнула. Как человек. Чуть я со смеху не помер, весь ей покой перебил.

★

Ляг в лесу под кустом, не дыши — лежи. Много кой-чего про разные жизни узнаешь. Встанешь из-под куста, как с урока хорошего, не хуже книжки.

★

Развлекательный народ звери. Не хуже театра. Я бы и на собаку долго смотрел, а уж на что собака привычная, придомовая.

★

Опомнился, ночь, лежу под стожком раненый, еще и боли не чую. Как вдруг голос женский рядом шепчет: «Ты что ль, Ваня?» Молчу. Приближается, опять то ж спрашивает. Молчу опять. Из-за ладошки спичка, чирк. Шарк в кусты, и нет ее. Разглядела, что не Ваня.

★

Вчера мимо клуни шли, как пальнут. Графчик мой ходу, я на нем, как мешок, только бы усидеть. Конь ты мой конь, не лети на огонь, лети конь мой в лес, чтоб я целый слез.

★

У него долгоухий пес жил, мастью красный. Ральф звали. Тот на крыльце сядет, пленных перед себя поставит, Ральф у его ног недвижный лежит, уши по полу красные. . . Тот пленного шпыняет,— допрашивает. Ральф лежит, как дохлый. Тот раскалится, на пленного заорет. Ральф встанет, на хозяина взглянет, как плюнет, и в комнаты. Тот: «Ральф, Ральф», а Ральф как ушел, так и не вернется, мол, вежливо говори.

★

Я коров когда пас, бабы все удивлялись, какой я румяный был. А я коров страсть любил, каждое молоко наизусть знал, отсасывал всех. Одно молоко соленое, другое послаже, то душисто, это с горчинкой. На выбор, какое хочу, то и пью.

★

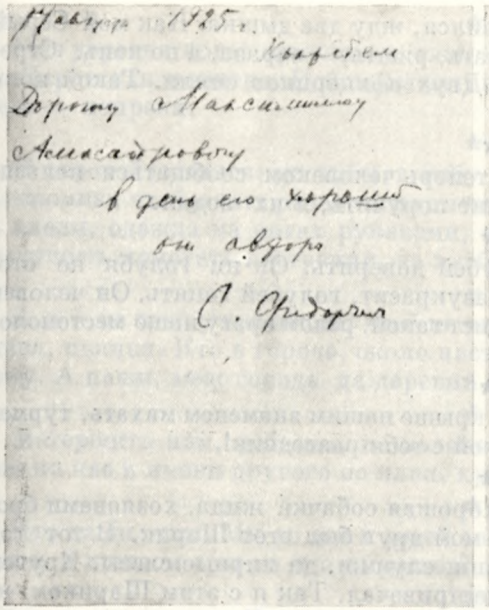
Высоченная каменная стена. Мы перемахнули, ни жилья, ни житья не видать. Кругом голый сад, обледенелый. Деревья голые да редкие, за ними не притаишься. Тут стреляют по нас. Тут видим в земле как бы пещера. Мы туда, оттуда стрельба. Мы сучьев наломали, зажгли, да в пещерку их. Кидаем, кидаем, никто не вышел, может другой ход был, стрельбы же не стало.

★

Здесь на воде одни печальные случаи. Удочки не закинешь, а закинешь, выловишь человечью требуху. Невод заведешь, как бы кладбище целое не выволочь. А я с младенчества рыболов-охотник.

★

Раки здесь жирные, мертвыми кормятся. Я их брезгую.


17 августа 1925 г.
Коктебель
Дорогому Максимилиану
Александровичу
в день его хороший
от автора
С. Федорченко



СКАЗКА С. З. ФЕДОРЧЕНКО «КАК КАРАСЬ ЛЮТОВАЛ»
(Л. — М., «РАДУГА», 1925).
Титульный лист (по рисунку М. Генке) и форзац с дарственной надписью М. А. Волошину: «17 августа 1925 г. Коктебель. Дорогому Максимилиану Александровичу в день его хороший от автора С. Федорченко»
Дом-музей М. А. Волошина, Планерское

★

Тут шли мы через мост, тут мост сорвало, тут нас в воду и Томку в воду. Все выплыли, а Томка не выплыл. Все дальше пошли-побежали, а я до ночи в кустах хоронился, всё ждал, не выявится ли пес мой на берегу. Нет, не выявился.

★

Этот до того цветы любил, как девушка. Заляжет на врага, встанет, в петельке цветок, в цепи лежа сорванный.

★

Мне цветок много лучше картинки, или вещи какой. Я и дома цветы любил. Что ж, цветок никому не враг, только и ты его не топчи копытом.

★

Нет таких мест, где бы врага не было. Он мед соси, я мозоли грызи. Да чтоб я такое простил, ни в жизнь.

★

Пошли они,— поблескивает чтой-то. Подняли колечко золотое. Махонький перстенечек. И до того к нему привык,— на счастье носил, на шпагатике под рубахой. Да засмеяли — продал.

★

Подходит ко мне собачонка, не дошла саженек сколько-то, кверху брюхом перекинулась и на спине к моим ногам подъелозила. Я ее покормил, последний кусок с ней поделил. Такой мне час подошел теплый.

★

Я в месячную ночь, ох, как затоскую, просто захочу войну кончить, и с семьею жить. В простые же ночи сплю бодрый.

★

Из-под Голихи отошли мы впятером. Четверо спят, пятый я, сторожу. Конь рядом, «Серый» звать. Месячно, да не очень, не день, конечно. Тут топ, едут

двое конников, кто — не знаю. Изготовился, жду два дышка. Как мой Серый сорвется, как до тех коней, лягать, кусать, ржать,— зараза, а не конь. Стреляю спешно, товарищам сна перебил. Двух офицериков сняли. Такой конь боевой. А своих бы не тронул, может.

★

Почтовых голубей нужно завести, теперь человеком сообщаться нельзя, перебьют всех. Голубей можно будет мне поручить, я их водил.

★

Нельзя голубятнику военных голубей доверить. Он ни голубя не отошлет, он красным флагом нашим шест разукрасит, голубей гонять. Он человек азартный, как бы не в себе. У него и свист такой, разом врагу наше местоположение откроет.

★

Так и будешь ты, брат, на чьей нито крыше нашим знаменем махать, турманов в синем небе перекувыркивать: какой с тебя разведчик!

★

У меня, как я в Киеве стоял, своя хорошая собачка жила, хозяевами брошенная. Я ее Шариком звал. Первый мой друг был этот Шарик. В тот год горькое наше житье было, аресты, казни, слушки, да мирные слезы. Кругом же чужие и здорово голодные, никто не привечал. Так я с этим Шариком, не хуже чем с невестой или с маманей, веселюсь, бывало. И в глаза он глядит, и руки тебе лижет. А то с радости, что пришел я, что не сердитый я, так он не знай что, вроде как дзыгой по комнате шибает, с лаем развеселым. И я смеюсь, молодой, и мне весело.

★

На этой войне бывает, что соловей даже поет. А на германской, от большой артиллерии да самолетов, жуков, так и тех, почитай, не слыхал я.

★

Вошли мы с товарищем, слова сказать не успели, как вскочит слепой дед, да по стенке, да шарит, да шарит, нас все нашарить хочет. Мы от смеху прыскаем, отодвигаемся от этого чужого дедушки. Он же нас за своих внучат считает, сердится — нашаривает... Я ему и поддайся, для смеху. Ка-ак дед меня облапит, как спиной повернет, как в зад мне коленом поддаст! «Пшел,— кричит,— Панька, пакостник». А я не Панька вовсе. Ох, и смеялись же мы, как я зад чесал, чужой дедушка приласкал.

★

Есть места, глаз разбежится, сам ты будто растешь даже, до того эти места широки, вольны и красиво устроены, с рекой, с веселыми полями-лесами. Просто дух рвется, просто так бы и полетел.

★

А мне красивее ничего не встречалось, как моя родная деревня. У нас на задах за огородами как бы рощица, низины, трава сочная, зеленая, и березки отдельные, очень большие, стоят, белой корой светятся. И как будто резные. Глядеть бы, не наглядеться.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ. СВОЕ

ОТЦЫ

Наша губерния хлебная считалась, а у нас хлеба никогда не хватало. Просишь, просишь, бывало, у мамки, сунет кусок, «береги», скажет. А у ребят аппетит галочий, разве сбережешь. Ам, и нет... И ходишь голодный.

★

С пяти, почитай, годков крестьянин в работе. Сперва спеленышей нянчит, потом гусей пасет, потом к соседу поставят, за нищий кусок, колотушки припимать.

★

Мне деревня когда приснится, ажно заору. Памятка такая во мне оставлена. Сиротская памятка. Побои, да ругань, да чужого куска огрызок. И злей всего — попреки.

★

Я сиротой остался, из избы в избу ходил, благодетели заботились. Вот не вспомню, чтоб я хоть разок тогда сытым был. Били, матершили, спать в хлеву клали, одежда на ногах рукавами, обуви никакой, весь обмерзлый даже. Пастушить помогать поставили, за хлеб, за воду, за побои.

★

А я и не знал у нас отцов, чтоб не пили. Деревня была пригородная, драчливая, пьяная. Кто в городе, около настоящего дела, и люди жили по-настоящему. А наши, меж города да деревни, пьяными ногами грязь месили.

★

Матершить нам, ребятам, не велено было. А как не заматершить, если отец на нас и имени другого не клал, кроме как по матери.

★

Что наши отцы. Мы-то вот и детей своих не знаем, рассыпали семя по всей земле, в каждом селе, а что вырастет?

★

Может, у меня пятеро детей, или больше где родится? А мой отец, кроме матери, и баб других не видал. Вот ему и наскучило, вот и бил.

★

Отцы наших отцов другие люди были, не такие, как мы. Семью в кулаке держали, сами натерпленные около тогдашних злодеев-господ. Обо всем они знали, ажно травами лечили, не хуже повитух.

★

Жизнь моего отца вот какая: с молоду в Петербурге на заводе работал. Познакомился со студентами, получал от них образование. Пошел по политике, попался с бумажками. При аресте легкие ему отбили до крови. Сослали в ночные холодные земли. Там он и помер.

★

После японской войны потому недобунтовали, что думали многие папаши,— вот война кончилась коротенькая, а больше войны вовек не будет. Да-к вот что вышло.

★

После японской войны народ еще глуп был, весь перемешан, кто во что думал. От этого революция не до конца.

★

Японская война разве такая была, как германская? Раз-два и готово, пожалуйте по домам. А германская и год и два, терпенья не стало. Тут дураком надо быть, народ не поднять. А эти уж не дураки, нет.

★

После японской революция была как бы господская больше. Народ же еще и в царя кое-где верил и бога еще страшился. А выучить народ не успели.

★

Мой отец про японскую войну рассказывал, как их чуть не силком на войну гнали, а оттуда, после мира, домой не пускали. В вагоны посадили, да и держали на путях чуть не месяц, домой ходу не давали. Двух офицеров они тогда убили. Это по тем временам, что четырех Деникиных удавить.

★

У меня отец герой, два Георгия имеет. Он и теперь в силе, здоровущий. А дома сидит. Не то ему царя своего георгиевского жаль, не то боится, не пойму. Звал я его, «повоюйте без нас еще малость,— говорит,— а там решится дело».

★

Мой отец бедный был, теперь же оброс чужими вещами. Я ж ему и навоевал, побоев его не помня. А он теперь на вещах сидит, забыл, как бедным был, не воюет.

★

Привез отец в город сена воз, тут какой-то переворот в городе, отцу назад не уехать. Взяли у него власти и сено, и кобылу, и его взяли, с собой увели. Теперь матери писал, что на Волге воюет, а с кем да за что, не пишет.

★

Я, когда мал был, с помещичьими детьми играл в деревне у нас. Скучно с ними. Ни ударь, ни ругни, как бы и не вместе.

★

У нас все бабы безмужные с пленными австрийцами жили. И моя мать, как отца убили, так же с австрийцем одним зажила, в избу аж пустила. А я австрийца с сеновалом поджог. И не знаю, до конца ли, я тогда сразу в лес.

★

Терпеть не могу, когда с такого на эту войну ушли. Что тебе гражданская война, арестантские роты, что ли? Нашкодил, да и сюда. Хоть бы уж барина какого-нибудь кончил, а то солдата австрийского.

★

Бывало мы в деревне крысу изловим, чем-нито голову ей наступим, шкуру ей от хвоста отдерем, да на голову, как колокол. Вот визжит.

★

Вот из таких крысятников самые бандиты и выходят. И кадеты вот так, с нас кожи драть стали. На животных обучались, верно.

★

Я по таракану скучаю. Мы с братом стада тараканьи завели, по щелям тараканов разделили: те мои, те твои. И кормили, чьи жирней, хвастались. А перебегать им не давали.

★

Видать, хорошо жили, по-людски, чисто по-иностранному. Грязно, сыто, ажно тараканы жиреют.

★

Отец наш на японской войне раненый, на царя недоволен всегда, за нищету, за раны, за обиды. И нас растил не по-деревенски, даже книжки в доме водил.

★

Мой отец замечательный человек был, грамотный. Только крестьянства не любил, из-за этого пил запоем. Потому что грызла его деревенская темнота, а от нее куда ход, разве в могилку.

★

Отцы у нас нужные, конечно, кормильцы, над сохой терпеливы. Мы же их не любили. Пока мал, ругня да побои. От трудной жизни не только дитяти малому, родной жене зубы, как волк, покажет.

★

Мне, помню, тятя пряник принес, так я до того как бы удивился, даже радоваться забыл.

★

Отец на фабричку, деньги в кабак, домой редко ездил. Мать от него бесперечь рожала, и всю крестьянскую муку несла.

★

Отец у меня нехорош был, на руку неудачлив, из матери младенца выколотил, просто не доносила. Детей нас четверо, трое из-за него горбатеньких, из колысок пьяный швырял.

★

Отец птиц певчих до смерти любил. Его вся деревня в дурачках за это числила, не годился он в крестьянстве. Выйдет работать, заслышит птицу, всё бросит, ловит. Как сумасшедший. А так, до чего же хороший к ребятам был.

★

Моего отца за конокрадство убили свои деревенские. Мал был, а помню. Мать прибежала, кричит, воет, волосья рвет, по полу катается, аж пена со рта. Мы из избы, что такое? Вроде хода крестного. Поперед дугу на месте несут, бубенцами перезванивают, за дугой лошадь отца моего волочет. На шее у отца хомут, лица нет, чистое мясо. Кругом отца деревня вьется, бьет чем ни попадет, а он давно мертвый.

★

Отцы у нас в деревне суровые. Стружены, смучены, и говорить-то с семьей не говорят. Придет в избу, молчки попитается и спать.

★

Мой отец хорошо грамотный, даже письма писал соседям. А тоже с семьей, как немой. Ничего ему интересного с семьей не было. Все ему темны, все на шее.

★

У нас семья старым старо, да малым мало. Семеро детей, да бабка, да дед. Один отец добытчик, одна мамка хлопотуха. Добыть же надо с великого хозяйства,— с двух кур да двое шкур. Тут будешь суровый.

МАТЬ

Жена обрыдла, полюбовницы — мразь, сестра — чужой товарищ. А вот мать, одна только и есть у меня в женщинах.

★

«Ладно,— говорю,— о чем таком?» — «Я насчет единственного сына своего»,— говорит. А сама до того сдала, аж не плачет. Платье же гордое. Эта просила по-материнскому, как есть мать. Я бы и внял, да некогда пришлось, ихние же и наседали.

★

Как что на ходу, так мы туда, и стесняем партикулярных людей. Раз вперлись мы до последней тесноты, и придави мы старушку одну, до слез, просто. Как вскинется тут на нас какая-то, как почнет нас корить да лаять,— чисто тебе маманя мальцев точит. И покорилися.

★

Готовила барынька на нас, и так угодила,— звали мы ее с собою стряпкой. Не пошла.— «сына,— говорит,— дожидаюсь». А сын ейный офицер в полной форме. Пускай ждет, с ожидки беды нам нету...

★

Сын ее белый был, она же ничего себе. А пришлось ее прогнать, чтобы другим соблазну не было. Однако без обиды прогнали.

★

«Берить,— говорит,— всё, не жалко. Прятала я добро, прятала-таила. Взяли ж,— говорит,— мое самое золото, сынка моего единого, так тканье беречь, разве что на саван, не больно много».

★

Комнату снял, селится, вещей у него — ни вещички. Прописка строгая была, прописку старушка спрашивает, нету у него никакой прописки. Стоит старушка робкая,— вскинул он на нее глазами, «какая,— говорит,—мне мамаша, прописка,— смерть мне, а не прописываться». Затрусилась старушка, зажалела, кормила, поила, ховала его до поры. И теперь он ей помощь посылает, словно сын.

★

Приходит к ней сын на заре. Не нарадуется мать, кормит чем посмачней, вьется вкруг него,— а тот, ровно суд какой, спрашивает,— «где Василь?»— «А кто ж,— кажет мать,— его знает».— «А как же ты, мать, Василя в белые допустила?» А та ему, «да разве ж я вас разными с Василем родила? Оба вы от моей крови красненькими родилися. А теперь не я вас перекрашивала».

★

А к вечеру и другой сокол в гнездо. Стрел брата, кровью весь налился. «Тикай,— говорит,— швидче, обязан я тебя вести до начальства». А тот ему — «коли совести хватит, веди, ваша теперь сила». Тот бы и не повел кровного, да надошли в хату, увидели. Теперь про мать вспомни.

★

Матерям кругом сутки слез не хватает по нас тосковать. У них на дню раз сто за нас сердце перевернется: как ранены, как мучены, как убиты.

★

Матерей мы за то любим, что весь ты закорузлый даже, от крови, от всей этой войны, а она тебя как бы нежным еще дитятей помнит.

★

Мать меня всё, бывало, «красавчик» да «красавчик». А что я кирпат-конопат, это уж мне девки разъяснили.

★

Матерей слушать — врага не вынести. То ей тебя жалко, чтоб не погиб ты. То ей врага жаль, что грех. То ей платичка жаль, что не в чем в тру́ну * лечь. Так не своюешь.

★

И вот я зашел домой. Мать обрадовалась, как бы навек я к ней. Сомлела даже. А прокинулась, мне прощаться пришлося, она и опять сомлела.

★

Как эти матери нас любят, удивление. Уж такой бывает сынок, за версту лошади жахаются,— и пьет-то, и вор-то, и матершинник, а мать вокруг него радуется, как солнце от того ей сына светит.

★

Приду в разум на часок, всё коло моей постели хлопочет. Кончился тиф, стал спрашивать, отчего такая у ней жалость была. «Оттого,— говорит,— что, может, и мой сынок во вражьем дому в тифу лежит, может и его чужая мама годует».

★

Идем мы в оборванном виде через чужое место, я обросший и хромой до чего. Как кинется с улицы до меня маманя. И думать-то я про нее забыл, словно не от женщины, а от тепла родился.

★

Один у ней сынок в красных, другой в белых, а третий у какого-то Ангела есаулит. А сердце в ней на три куска разорванное живет.

★

Бабешка, как будто в тифу, при дороге, дитё у ней на грудях. Груди пустые, кровью запеклись. «Возьмить,— говорит,— хлопцы, дитё у меня. Отнесить до мамы, там она и там, идти вам по пути той». Ох, и плакала она и рыдала. Взяли дитё у ней, приняли, и к маме той пришли. Ну и дивилась старуха — красные армейцы внучка доставили.

★

Мне маменька запретила в бандиты идти. «Соро́м,— говорит,— нечистыми руками волю добывать». Сама и свела в Красную Армию. Да безвыгодно. Я бы ей из бандитов сколько бы добра понаносил.

---

* Тру́на (*обл.*) — гроб.

★

Они меня людей стрелять учат, а мать одно твердит: «не смей, сын, противу бедного народа воевать».

★

Она хорошая такая женщина, мать была, ласковая. Бывало, всё стерпит, бывало, отец суровый с ней, как гром, а она молчит. Побьет — стиха поплачет. Зато нас, детей, в обиду не даст, бывало. Нацелился отец как-то меня вожжами, так она его в шею накостыляла, ей-богу.

★

У меня отец зверь чистый. А мать жалостливая была. Теперь же был я дома, так отца-то обмяли, робкий стал; а мать — так та сама меня назад послала,— «воюй до конца». Переменилися.

★

«Может, мне около тебя, маманя, встать-вкопаться?»—«Нет,— говорит,— сынок, не надобно, ты,— говорит,— с корней сорванный, тебя ветер несет, не устоишь. Летай вольнее, авось не мне, так людям легче будет».

★

Матери нам хороший товарищ бывают. Не скулит, ног не вяжет,— иди, лети, тебе по младости виднее, глаз зорче.

★

Три у ней сына было, три и убито. Пришла до ней весточка. Собралась она, да не в лавры, богов намаливать, а просто таки в самую гущу военную. Стала раненых смотреть. И всё, бывало, на своих сынов примеряет: этот кудряв — похож, этот черняв — похож; у того на затылке чубок сходный. Все похожи, все сынки, всем тепла и желанна.

ДЕДЫ

Ему кудри солили солью да седи̇ной,
ему долю судили со всей землей едину.

Вели его каты, топили в болоте
гладки да брюхаты, при бедном народе.

Ты, Пугач, боброва борода,
боброва борода, царева голова,
царева голова, мужичья судьба,
мужичья судьба, кнут да дыба́.

★

Деды наши умны-умны, да не по-теперешнему. Были они большой силы, по ста годам зубы у них целые, а всего боялись. То господ, то Го́спода. Мы же хлипки-жидки, а нам запреты какие оставлены, почти и не знаю, разве что дисциплина.

★

Бога́ разные, вот дедова беда. Атаманы да разбойнички одни тогда от богов отказывались, вольно летали. Да и то все они, если до старости доживали, в монахи шли, души спасали.

★

А так разве до дела доведешь? Вот и сидели под барским задом.

★

В старину что́ хорошо было,— порядок. Отец всему дому голова, никому думать не приходится, отец за всех один мозгами ворочает, только покоряйся. Потому и росли дураки, ни о чем не спорили, крепостные были.

★

Потому хорошо деды жизнь вспоминали, что молоды тогда были, всё в перенос. А небось в господскую кабалу назад бы не полезли, пусть попробуют их туда, они тоже покажут.

★

У дедов зад не свой был, крепостной, специально для барского удовольствия. Такой пороный зад разве семье указчик? Мужик сынишку строжит, а тот на отцов пороный зад глаз с насмешкой косит.

★

Барин управляющего в зубы, управляющий старшину, старшина стариков, старики семейство. Вот те и хваленая старинная жизнь.

★

Наших дедов какой ни на есть плевок дворянский на любую издевку ставил, на собак выменивал, в газетах объявлял про такое, что «меняю я, мол, девку двадцати лет на собачье борзое гнездо».

★

Ох и жилось прежде дворянам: хочешь — живет Васька; хочешь — в Сибирь Ваську; хочешь — узду Ваське в рот. А ну-ка, кто за старое стоит?

★

Наша деревня лесная, так я в детстве своем слышал, будто деды наши золото в печах лили. От того будто все печи полопались. От тех дедов будто и фамилии Лопачевы. У нас в деревне почти все Лопачевы, и я.

★

И у нас, говорят, в деревне такие химики были, чуть не всю округу пожигали, даже хоромы господские. Думаю, что не в золоте у них дело стояло, а в господах.

★

И мне бабка сказывала, что у нас в старину золото лили, только не по избам, а по ямам угольным, в лесах.

★

И теперь еще такие золотопромышленники есть. Меня, как пошел я в наши войска, один старичок очень упрашивал ему побольше градусников понабрать. На ртути, что ли, они золото делают.

★

На зимнего Николу ярмарка, на ней пряников, гробов, валенок. Всего невпроворот. Старики вот торговались за гроба, вот выбирали. Ему посмеется кто, а он ответит: «до страшного суда лежать придется, это тебе не одни сутки». Им гроба крепкие нужны были. У нас наверху аж четыре гроба дожидается: материн, отцов, теткин да дедов. Деду скоро, думаю.

★

Уж если про такое речь зашла, признаюся, я домового видел. Сидел он в бане на полке, весь мохнатый, сивый, пыхтит, как тесто. Глаз не видать, пару-жару — всего мало. Ан это мой родной дедушка.

★

Бабка сказывала, будто наша фамилия оттого Тьфуновы, что еще Грозный царь выгнал нашу семью из Новгорода, и стали в нашей семье, как про царя речь, сейчас «тьфу» говорить. Оттуда и Тьфуновы. Если бабушке верить, так я от прадедов революционер.

БУДУЩЕЕ. СТРОЙКА

Давайте о самом найживом переговорим, что и как после этой войны строить будем.

★

А я вижу теперь деревню, как она будет: вот дома у всех светлые, хлеб весь через машину, с пахоты и до печи. Никто пупа не надрывает, все с удо-

вольствием работают, все сыты, оттого ни пьянства, ни битья, ни ругани тяжелой. Дети румяные ходят.

★

А земля как? Одному черный кусок, а другому желтый песок? Надо на год все работы приостановить, землю переделить справедливо. Тогда будет деревня жить.

★

Может, и так: крестьяне все соединятся, сообща работа, сообща торговля. Что добудут, делить по заслугам.

★

Они тебе справедливость покажут, самую деревенскую. У них,— кто жрет, как корова, да кулак здоровый, тот все выгоды заполучит. Бедному шиш, да еще и в дармоеда произведут.

★

Тогда работать вместе, урожай в одно место ссыпать, денежки в общую кассу. По надобности снабжать. Машин побольше, скот хороший, молока вдоволь, все общее. Приучится крестьянин из-за куска горло не грызть. Человеком станет.

★

Ой, и дурная голова. Чтоб баба чего не свое любила? Никогда. Она коросту свою больше чужого золота любит, а ты кассу общую захотел. Образованный.

★

Я, отвоевавши, чисто губернатором на своей деревне сяду, устраивать стану деревню по-новому. Привезу с собой хороших учителей, машин из экономий, коней и коров из помещичьих. Вино — помалу чтобы, драку и матерщину совсем запрещу.

★

Послушался сокол ужа, больно глотка хороша! Так и ты прогубернатствуешь.

★

А я утоплюсь после победы. Что я мирный делать стану? Ничего не умею, и все мне скушно.

★

Меня, когда мирное рассказывают, аж с души рвет, так скушно.

★

Раздели ты нас на две части и пальчиком считай: этот годен на мирную жизнь, этот нет. Так на десять полгодного найдешь. Все со скуки околеют без боев и разных военных занятий.

★

Говорят, слепые читать-писать могут, глухие могут слышать, немые говорить. Для всех свой способ. Мы своих новобранцев будем всему этому заранее обучать, чтоб не так страшились калечества, себя бы в жизни не теряли.

★

Мы, молоденькие, заботиться не умеем, хоть босый-нагий, абы до драки дорваться, врага выводить. Нас хоть половой корми, нам весело. Ну уж насчет будущей жизни, послевоенной, тут уж нет, тут уж всего нам мало, тут нам все тайны открывай.

★

А на кой деньги? Вон у Арефья денежки, а он дутый с недоеду, гроша от сердца не оторвет, жила лопнет. А у меня чисто, насквозь ничего, а я гуляю, а я веселюсь. Можно деньги уничтожить.

★

Кончим войну, для калек надо будет жизнь тоже устроить, не на гульбе исказились. По домам всех разберем.

★

Нет, мы для наших товарищей-инвалидов дворцы, может, устроим, а не по домам, на бабьи попреки.

★

Пни сожжешь, на горелой земле хлеба тугие. Новое, брат, не бойся, прорастет, увидишь.

★

Конца краю не видать. Сегодня бандит, завтра белый, потом адмиралы-генералы какие-то. Как сыпь по телу, ползет и ползет. Порядка же хочется, остановки, тоскуется даже.

★

Когда победим, стану я в милиции служить. Буду с оружием в руках порядок ставить. Еще долго враг по куткам отлеживаться будет.

★

Если я еще молодой после этой войны буду, в милицию пойду служить. Совсем военная работа. Теперь каждый карманщик с обрезом ходит.

★

Как вспомню, сколько еще мест не отвоевано, сколько еще врагов не выбито, думаю — век войну не кончить. А до чего ж хочется устроенную страну нашу посмотреть.

★

Думаю, так надо устроить — землю наново переделить и перемерять. Отдать ее всю по крестьянам, фабрики раздать по рабочим, книги по интеллигентам. А потом всем меняться, и добром, и занятиями.

★

Министр, одно слово... Да дай тебе землю в руки, так ты шерстью обрастешь, срам покрывать забудешь, куска в обмен не дашь. Что уж тут за книги, все голодом перемрут.

★

Сверху самых лучших революционеров; за ними самых лучших ученых и инженеров; за этими самых лучших крестьян и рабочих. А потом самых лучших женщин всяких родов оружия. Остальных же граждан из нашей новой России куда-нито в Азию выселить без насилья. В другую часть света.

★

Как ты избу строишь? Строишь сперва в земле, потом на земле, потом вверх к солнцу. Так и у нас есть: сейчас мы еще в земле, готовимся; потом над землей строить станем, и настроим до самого неба.

★

Золота в России горы. Всем иностранцам царь в аренду за сколько-то в год отдавал. Своих рук не доходило. Мы же ничего, к труду привычные, без арендаторов обойдемся.

★

А плугов-плугов будет! А серпов-серпов-молотилок будет! невпроворот! Наши заводы теперь.

★

Когда на места станем и врагов прогоним с земли, коней разведем самых хороших. Чтоб гору вез — не вспотел. Как у графа.

★

Строить хочешь, а разоряешь. Война, что уж тут. Не довоюешь, строить придется совьи гнезда да ястребиные, вражьи.

★

Наших гнезд жалеть не приходится. Птенцы вылетели, поджечь не жалко, хуже вороньего. Строиться нужно.

★

Когда враг отступает, я бы сейчас же все отнятое сосчитал, да в амбар, да под замок, да все сберечь на после мира, в раздел.

★

Здешние господские дачи хороши, даже ванная есть. Отчего же это крестьянин с дедовских времен хлева под семью ставит?

★

Никакая охрана нам леса не бережет. Самое разлюбезное дело свалить, сломать, изгадить. А лес к весне на пару не вырастишь.

★

Лесник — шкура, он те сухого листа даром не даст. А за денежки заповедное вырубай. В леса образованных тоже надо будет ставить.

★

Себе всякий хозяин. И пригнать к месту, и чтоб не гнило, и не сыпалось, чтоб и светло, и тепло. А страну устроить, не с того места начинать. Тут найглавное в людях разобраться.

★

Тот, кто строит, чтоб сам и планы делать умел, без инженера. Чтоб сам и плотник и инженер.

★

Голова болит, так крепко теперь думаю о непривычном: как после войны будет, всё ли по правилу. От думы этой боль, может, и от раны тоже.

★

Я, как в лесу пожил, особенно понял. Богатое дело лес. Беречь его надо. Велика ли наша куча была, четырнадцать парней, а на каждого можно по леску сгоревшему начесть. Кончим войну, учиться лесу надо.

★

То бы крышу покрыл, да нечем; то бы заборчик прислонил, да не к чему; то бы избу срубил, да не из чего. Всё нечем, да не к чему, да не из чего,— а строить очень хочется.

★

Бывало, на хорошее взгляну, хорошо да чужое, хоть пропадом пропадай. Теперь же, если вижу разоренье, думаю: вот бы остановка нам, да поправить бы, да, может, это самое на мою долю придется.

★

Всего хуже мосты рвать. До того жаль, до того не по-хозяйски. Взорвать минутка, а почини-ка, ну-тка. И мост не чужой, наш же свойский.

★

Мостов мне особенно жалко, мосты не всякое дело, строить — их уметь нужно, и всю жизнь они нам легчат. Даже во сне видится, что мост строю.

★

Мостов, мостов настроено. Через каждую колдобину за границей мост. А у нас речка в ладонь, проезду же нет. Кони хлюпнут, люди чахнут от зряшнего труда. А тут своя бы власть, да денег всласть, инженеров заставим, в каждом углу Петроград.

★

Мне самое теперь тяжкое — на раззор глядеть. Сам стекла бьешь, сам дребезги считаешь. Купило-то притупило, да и где купишь. Свое ведь, жалко.

★

Смерть их не взяла! Мост-то какой был, высокий, широкий, крытый, с версту длиной, на цепях весь, до скончанья века стоять ему. И в небо дымом. Ей-богу заплакал бы...

★

Инженеров мы за границу не выпустим, они мосты строят.



«ТОВАРИЩ! ОХРАНЯЙ МОСТЫ!»
Плакат неизвестного художника. 〈1919—1920〉
Государственная Третьяковская галерея, Москва

★

Вот смотрю я, из всех устройств, кого ни спроси, с кем ни заговоришь, все мосты особенно жалеют. А дома, бывало, слегу жалко через топь перекинуть, всё спор, всё силком. А кони да силы гинут.

★

Я как увижу что порушенное, домину ли большую, фабрику ли, завод ли какой-нибудь,— за всё душа болит, всё за свое считаю, так бы сел да чинил.

★

Эти дьяволы наше добро переводят, жгут, жрут, иностранцам продают. Мне для них хлебной корки жаль, а как же я могу моста им сорванного простить.

★

Взрываешь мост, думка: остановимся, ой-ой как надобен мост будет. Свое добро наинужное из-за белоручек губим.

★

Мы мосты все как есть любим больше всего. То ли отступать не страшно, то ли по-хозяйски.

★

Страна не своя, она всеобщая, это не хатку уютить.

★

Я здесь стою, а доля моя, может, на том берегу, может, реки-потоки меж нас. Может, там и счастье, и наука, и семья хорошая, теплое солнышко. А мост, где он? Эх мосты вы, мосточки! Их рушишь, сердце сушишь.

★

Жемчуги в России есть и всегда были. Шли на иконы наши жемчуги в старину. Так же, для великой красоты, шли жемчуги на девичьи наряды.

Теперь не знаю, где все подевалось. Скоро Россию отобьем, жемчуги отымем,— и покатят-зазвенят тогда наши жемчуги по девичьей белой груди, крестьянской.

МЕЧТЫ

Только и свету во мне, что эта родная война насветила. Кабы да вот как за меня, за темного такого, разумная сила-власть мальцов моих двух обучила. Да не панской науке, а всему на пользу народную нашу.

★

Да что же это будет за такое, за ясное! Ведь же всё теперь наше, до дворцов-палат царских и княжеских! Теперь себя бы только посдержать-постреножить! А то с разбегу, с размаху, такое повредишь,— век потом не поправить. А детям-внукам жить!

★

Чтобы ученых набрать, хоть бы из чужих стран. Хорошо, говорят, там выучивают. Да под строгим надзором велеть, на нас чтобы думали. А за то им великие деньги и удобства. Только верны ли будут, может не к тому приучены.

★

Самые хорошие дома под детей, под сирот, под на нашей войне найглавное потерявших.

★

Дальше здоровые пусть строят. А что от прежних богатых и знатных, то все под науку отдать. Наука, она себя потом оправдает, на нее жалеть не приходится.

★

Я бы мечтал, войну окончив, у власти быть. Я справедливость в себе чую, а без этого качества плохая власть.

★

Только бы поучиться кой-чему после войны успеть. А так-то во мне сердце теплое, и голова светлая.

★

До чего зазнался, замудровал. А ты вспомни, каков Ленин? Каков в нем характер? К себе — кремень, к товарищу — папушник мяконький; себе ничего — народу последнее с себя отдаст; для себя ничего не ищет, для людей просто землю исходил, счастье людям искавши.

★

Раз всё наше, а мы дела никому не доверим, мы посадим инженеров такие машины напридумывать, чтоб весь тяжкий труд на себя те машины взяли и слегчили бы рабочее житье.

★

Мечтается, будто скоро, совсем вскоре, время, наше время. Никто другому, с кем ему по пути, не завидует. Грубость, как дым, истаяла. Даже бабы, и те друг с другом не клочатся.

★

Эх бы время нашлось перебрать народ, как по зернышку. Вот как семя перебирают, чтоб дурного в борозду не кинуть. Эх, кабы вот такую и власть нам, чтобы знать людям про эту власть всё, до кровинки.

★

Страшновато, братцы, как-то. Вот, всё наше — земля, угодья, скотина, дворцы, казна денежная. А как не тех припустим к управлению?

★

Вот кабы как в сказке,— на мизинчике колечко. Крутанул колечко вправо, волшебником стал. И землю насквозь видно тебе, где лежат камни-

алмазы, где уголь — людская теплота, где золото — людская красота. Крутанул колечко влево — человека насквозь разглядишь. И никаких тогда бед людям, как день весенний всё ясно, этот годен, этот гниль.

★

Что оно тебе такое, груша-дерево? Тряхни — груши сыпанут тысячами, одна другой смачнее. Разве нужных людей так ищут? Первое, человек не груша, а и груши дичками растут. И второе, червяка сгложешь в груше, не доглядевши.

★

Я мечтаю о чести, я мечтаю, что раз свой, раз одной судьбы, раз из труда человек с тобой рядом,— верь ему. В глаза погляди ему крепко, и верь.

★

Теперь насчет землицы, как ее убрать, красавицу! Ведь твоя будет. Женку берешь, нарядов для ее красоты мечтаешь! А тут такая-то найпервейшая тебе зазноба — земелька!

★

У земли приставим образованных в работнички. Пусть холят ее, пусть и живут с ней, пусть и родит она, матушка, многое множество.

★

Я всё по мирному делу скучаю. Не по праву русскому война, нет, не по сердцу. А воюем мы так крепко, всё за мирное же дело, за свое житье настоящее.

★

Собьем врага в море, под морской волной подержим его до смерти, отгребемся веселым веслом на родину,— строить, строить, да новое всё. Не латать, не штопать, а всю мечту исполнить! Я-то знаю, чего хочу.

★

Я из плотников, к строению приучен, о нем, бывало, вся голова хлопочет. Тем дышал, от того семью питал, то и дальше делать буду. Хоть мое и малое умельство, а на всеобщем деле пригодится.

★

Считать я мастер, так вон Володичка-студент математиком меня кличет. Ничего, раз так — у меня такая мечта: есть его, Володины, слова про математику-науку, вот я ее и оседлаю. Способность к тому имею.

★

А что ты с этой наукой делать станешь для настоящей пользы бедному человеку! Езжай, брат, с беляками в заграничные государства, там счет во как нужен, миллионы у них. А мы, с нашими капиталами, и на пальчиках досчитаемся.

★

Дурак ты, дурак! Не они, а мы в счете нуждаемся. Не они, а мы миллионщики. Да еще какие! Все наше, а государство наше без конца и без края, полно всех лучших богатств, да своих, не грабленных. Хозяева мы себе теперь, такие ли нам счетчики впору! А ты про заграницу.

★

Насчет учителей я мечтаю. Плохих не укажу, не знаю плохих. Вроде нас же изъезжены они жили, а учили хорошему, нужному нам. Вот их устроить бы в чести и в довольстве. О том часто думаю.

★

Не знаю, по какому это случаю, а только был он в царском дворце и в царских покоях. После победы какой-то, думается. И там нагляделся, как они много себе дозволяли, при такой нашей народной убогости-нищете прямо. И запало мне в думку,— пусть наша власть как найлучше старается народ устроить. Пусть наша власть побалует народ чуток один. Исстрадался народ, светлого не знал. Пусть же узнает чуток. Вот, мечтаю.

★

Моя маманя у барыни спросила: и не жалко вам, сударыня, на шелках сидеть, по шелкам-коврам ногами ширкать? А та ей смеется, что ж по-твоему рогожу на одежу, о твердые досочки ножки тупить? Хоть не на всю жизнь, а годика на два, надобно их нагишом поводить, чтоб очухались.

★

Мне теперь земли мало, меня, может, от гордости победы на луну тянет!

★

Весь зачичеревел, а чистоту люблю, как дух вольный. По приказу потом народ к чистоте приучать будем.

★

Я всё насчет лесу, я всё насчет зеленого добра, веселого. Стоит деревнюшка, стыд-срам, голота, вонь, навоз, пылища да грязища, смотря по погоде. Ни деревца! А то бы чего лучше — деревья-кусты, ягоды-цветы, вволю! Вот на что приказ нужен. Мечтаю, что будет такой приказ.

★

Ты меня книге обучи, ты мне книгу дай! Смотрю, спрашиваю, в плечо торкаю. А? Кричу, что с тобой? Завяз в книге носом, весь свет потерял? «Не потерял я свет,— отвечает,— а нашел я свет в этой книге». Вот как бывает! Человек же тот свой до кровинки, верный воин первейшей храбрости. Насчет брехни же,— никогда! Так что я книге обучиться мечтаю.

★

Беда война, и радость тоже. И не та только радость, что врага глушим, а та еще, что свела нас эта война с наилучшими людьми. Где б я таких повидал без войны? Вроде как мечта моя.

★

Девичье занятье мечта. Мужчина же делом до всего доводить должен, а не только в мыслях мечтать. Хорошее надумал, делай. Вот этакую мечту и я уважать стану.

★

Я рад, что холостой. Моя мечта такую девицу встретить, чтобы уже других и не примечать. Чтобы разом и жена, и полюбовница, и с мамашиной сердечной добротой, и сестрина чтобы в ней шутинка светилась. И как товарищ,— совет и подмога! Вот моя мечта.

★

Моя же мечта — замученную свою женку-бабу в хорошей, новой жизни похолить.

★

Встретил я цыганочку, черненькую галочку, орлий глазок, соловьиный голосок. У ней тоже была мечта: брось ты, Степа, воевать, иди ко мне ночевать. Это я к тому, что не о бабах разного сорта теперь мечтать надо.

★

Папашина песенка была: «Отцовский дом покинул я, травою зарастет, Фингалка верная моя залает у ворот». Мальчонком я всё, бывало, сижу-мечтаю,— что такое там случилося, что ушел парень из дому, всё покинул, и Фингалку огорчил? А теперь вот знаю,— война на них обвалилась.

★

Голова болит от мечтанья разного, непривычны мы к этому занятию. Связанными ходили по рукам и ногам, по сердечным мечтам связанные, чужие, не свои. Пока привыкнем, ты глупых мечтаний наших не суди.

★

Я мечтаю с самим Лениным поговорить. Во! Он, люди передавали, при разговоре дурака умным делает.

★

Станет со всяким Ленин говорить, да всякого на ум наводить. А если ума в тебе нет, так на что он наводить-то тебя будет? Только сердце свое утомит. И не пустим мы тебя к Ленину, и не мечтай.

★

Еще чего мечтается, надобно электричества побольше. Чтобы и в деревне свет, чтобы люди друг дружку ясно видели, стыд вспомнили, чистоту полюбили.

★

Если государство всё наше станет, должны мы белому всему свету примерную столицу показать. Ведь первая рабочая столица будет! Так пусть уж другие города наши пояса подтянут, потерпят до поры. А Москву пышно обрядить надо. Так я по политике мечтаю.

★

Мечтаю я такие университеты поставить, чтоб старость отгонять учили. А то, что это право? Чай не прежнее время, чай есть из-за чего житье свое жалеть. А тут, рраз! и помер! Несогласен.

★

Как пять человек, чтобы шестой инженер. Мосты чтоб строил и дороги хорошие. Тогда рабочему люду, когда надо, когда охота придет, перевидаться легко было. Без болот, чащоб, глухомани безвыходной. Вот и вся моя мечта.

★

Леса — земле краса, а как с ними? Жгут-палят, рубят-режут, кто в лес, тот и по дрова! А людей миллионы, их небось баба по десятку в год рожает, а дерево сто лет растет, не плодится. Мечтаю о порядке в лесах, дело государственное.

★

У меня мечта, в небо летать. Наделали же мы самолетов самую малость, врагу на смех. А враг богат, а у него много. А враг же жирный, ему бы в колясках разъезжать. Мы же легкие, некормные, задов к мягкому не прирастим. Нам-то и летать. После победы начнем самолеты сотнями строить. Увидишь.

★

В балке глубокой то ли ручей, то ли речка. Берега веселые и густая зелень. Повыше перелесок с цветами, душистый такой воздух. Вся боль во мне прошла, оздоровел я. Тут вот и мечта моя: кончим войну, попрошусь всю страну нашу осмотреть, такие вот полезные и прекрасные места переметить. Доложу нашей власти, и будем посылать в эти места всех болящих трудовых людей. Докторов дадим, пищу и лекарства. Здоровей, народ, и берись опять за работу.

ДРУЖБА

Мне так никогда так весело не жилось, как на этой войне. Не все же бои да болячки. И до чего ж хорошо, всего лучше — с товарищами дружить. А смех, а разговоры, за свое дело стоянье.

★

Как отвоююсь, сяду я книгу писать об одном-разодном деле: буду я дружков своих описывать. Всю их жизь и до самой их военной смерти. Было у меня моих найдорогих дружков четверо: двое Вань, Степан один, и последний — Вася Козлов, этого и вы все знали.

★

У нас товарищи-дружки только в малом возрасте бывали, и то сегодня ты с ним, а завтра над опенком передеремся, чей опенок. Здесь же нашу дружбу только пуля рвет.

★

Я думаю про дружбу так: чтоб был человек перед тобой, как сокол высоко, чтоб ты на него, как на ясный месяц поглядывал, а не то что чаи-сахары.

★

Дружбу на чем видать? На голоде да на золоте. А что, я ему кусок последний пополам, а он от меня цепочку прячет.

★

Всем ты конопат, мне Иван-царевич; всем ты рыжеват, мне — жар-птица-соколок. Ты тут над собакой тиранничал, ребята погнать тебя за характер собирались. Кто тебя не дал? Я же отговорил. Всё за то, что с одной мы деревеньки, что вместе пескариков лавливали.

★

Когда его взяли, чуть я не высох с тоски, хуже полюбовницы дружок засушил. Просто спать не в силах, просто вспомню, что, может, где мучат, да заперли, весь в дрожи стыну, а как подумаю — убит, так плачу даже.

★

Как вспомню наши разговоры, да как ни на часок не расставались, да как под звездами вместе смерти ждали, так так тоскую по нем, хоть иди, да сам в лапы вражьи поддавайся, чтоб разлучку прочь.

★

Шел я к яме ночью, таился. Хорошо, что всех псов голод перевел. Дошел до ямы, яма дровами закидана натолсто. Раскидал сколько-то, тихо спрашиваю: «Васенька, тут ты?» — «Тут,— отвечает, — да только помочь себе не могу, руки-ноги перебиты». Как я такого вызволю? Всё же открыл я его, на плечи взвалил, несу, он стонет, я не лучше,— вот-вот свалюсь под ним. Святые угодники на нас лошадку чью-то навели. Я дружка кой-как через лошадку перевалил, скорей дело пошло.

★

Вышли мы с ним из больницы, как цыпленки,— ни мяса, ни грошей. Куда податься? «Есть,— говорит,— у меня кума, перебудем,— говорит,— у ней, пока обрастем». Шли-плелися плетью, до того с тифу хлипкие. Заахала над дружком кума, а меня гнать, не прокормимся. Как плюнет ей дружок мой между очи,— «не пустила,— кричит,— друга моего в беде, не видать тебе и меня».

★

Связала она мне как бы кофточку такую, без рукавов. Для тепла. Я ей и пишу,— вяжи, жена, дружку моему Васе кофточку подобную же, а то меня твоя кофточка и греть не станет.

★

У меня была сестра-близнятка. Померла она недавно от голоду. Я-то и не знал, да кровь моя помнила. Не мог я есть в тот день, а ни крохи,— и не бабьи ли то приметочки?

★

До того похожи были, в самое время трудное по одной бумаге проживали. Он по делу с бумагой, я на печи. Мне выходить, он спать заваливался. Вот и тут не расстаться нам.

★

Вижу, всё он до нее, а меня стережется. Думаю, неужто у друга женщину отлестит? По ней мое сердце скулит, а по дружку моему, по нем, того более. Решил я спросить его в очи самые. Тут и он до меня — «пошли ты меня,— говорит,— от сих мест в другие».

★

У белых, думаю, дружбы настоящей не бывает. У них, думаю, только картишки там всякие вместе, куска же отдать жаль. Потому, думается, что привыкли они, что всего много, вот и жаль оторвать с непривычки.

★

Девятеро взято, один Константин. Не смотрим один на другого. И обидно мне, и жаль-то, и так бы и убил. Эх ты, дружок, думаю, на каком деле попался. Дошел я в ночь до ихней сараюшки,— «Константин,— шепчу,— не жить тебе завтрова дня, чего приказываешь?» — «Мне,— говорит,— приказывать нечего, а только горько мне, хуже смерти, при таких моих делах дружка встретить».

★

Связала нас судьба веревочкой. Детьми в козны играли, на одном кону баловались. Никогда один против другого. А тут встретил я дружка у белых, ефрейтором. Глянули друг на дружку и пошли по одной пути. Потерял дружок ефрейторов чин, а то бы вот-вот в генералы.

★

Стали мертвых от смраду закапывать. Своих порядком, белых грудками. Глядь, лежит меж врагов дружочек его кровный. Так он того дружка и схоронил меж своих, воровским способом. Мертвые не обидчивы, а живому ему куда веселей так-то.

★

Вот это зеркальце, вот эти ножнички, всё от Паши-дружка, убитого. Он усы вроде щеточки над губой подстригал, в зеркальце глядя. У меня усов нет, волосы такими ножничками не сострижешь, в зеркальце глядеть некогда,— берегу же на память.

★

Я двоим наследник, вот какой я разбогатый! Один, Паша, велел мне перед своей смертью отца его разыскать. Вот и бумажка с адресом. А другой, еще в прошлом году помер, велел мне его дочечку двухлетнюю разыскать, уютить. Отвоююсь, поеду наследства эти исполнять.

★

Проходим деревню, спрашиваю, «Ольховка?» Вот это так! Васина родная деревня оказалась! Побег его мать разыскивать. Недалечко и жила в большой бедности, в пустой хатенке. И до того старушечка Васиному дружку зарадовалась, что я ей поклон от Васеньки передал, а про смерть его не посмел сказать. Так и ушел с тем.

К СВОИМ

Думал-думал, да времени не было, кинул я думку. Раз приказ, ни за что я не ответчик. Да вышло, всякое дело на вред. Сбёг я к большевикам. Босые-нагие, свои — не чужие.

★

Настрадано, навоевано, из рук в руки шваркано. Сбёг я перед боем к парням заводским. Эти, думаю, гнездом летают.

★

Мы-то сховали его, да было бы за что страх терпеть. Найдут — пропал весь дом и с потрохами. Вот мы и спрашиваем, «за что такое мы тебя беречь должны?» Он разъяснил. Точно, такого беречь стоило, не всякий.

★

Пришел он сумной. «Был я,— говорит,— в месте одном, слышал речи разумные, всё ясно стало,— уйду до своих». И ушел.

★

Как с красными стал в часть,— тяжко, да не тем местом подымаешь, своя ноша не тянет.

★

У нас теперь через всякую трудность и ход, и терпенье. Верный знак,— за дело стоим.

★

Подошли к воротам, чисто тебе Брест-Литовский, аж смешно. Да как польют нас пулеметами, просто сердце во мне заиграло, ай да пролетарии! Накрылся я темнотою ночной, да к ним. Так вот и до конца буду.

★

Меня и богам не переспорить, я твердо знаю. Скажут на том свете: «что это ты, сукин ты сын, такую себе мороку устроил? На то тебе жизнь была дадена? А?» А я им: «плохо, мол, братцы, учили. Народ переучил. Чего мне кровным моим теплом гаденышей высиживать. Я уж лучше своей кровью людям жизнь слегчу».

★

Загубил житья своего и чужого немало. Стал сумной и докучный. Все спрашивал, когда взойдет, что посеяли? А то, чтобы виноватыми счесть, не знал кого.

★

Изобидели нас коммунисты дочиста, зернышка не оставили. Все труды, как корова языком. Только поставили меня в часть с офицерами, и что ночь, я у них одну молитву слышал, на народ кнута до покорения. Сбёг я из добровольцев, поступил в бандиты. Да больно воля надоела, жду — не дождуся, на перекрестке товарищей опять встретить.

★

Я вышел из дому в бандиты с хлопцами нашими. Все мы от одной обиды шли, адресу же нам не было. Сколько-то времени хорошо было в бандитах,— до воли привыкли, до всего притерпелись. Теперь из меня хорошего красноармейца получить возможно. Да и от воли устал я.

★

Я спешить не торопился из бандитов в мобилизации разные. А потом и выбор сделал, по своему роду и охоте.

★

Скажу правду, никто не поймет. Совру, никто верить не станет. А я делать буду, тогда все увидят.

★

Пройдут эти годы военные, на всем ходу остановимся, все поджилочки затрепещут-задрожат от остановки. Чем тогда живы будем? А эти вон знают.

★

Я на фронте слов всяких набрался, до того,— бабы шарахались! К чему в избе ни приложишь,— не по мерке, на смех. А с гражданской войной пришлись эти слова по местам, вот как «хлеб» да «вода»,— и дурню и разумному одинаково слышатся.

★

С одним поход делали, другого прислали. Разумный, что вечер — нас собирает, как и что разъясняет. И к чему всё идет. А, по-моему, тот бы и разъяснял, кто поход с нами делал, такому веры больше.

★

Козыряются, чепурятся, а огня в бороде не примечают. Ровно и не люди. Ушел я до своих.

★

Под пушки от одних ушел, под пушки до своего дела прибился.

★

Меня как посадили в штаб, так я и утек. На месте одном у одних людей разве ж теперь усидишь. Всё ищешь, где лучше, или бы к правде поближе.

★

Другой тоже очень хорошо говорил, только глаза в стеклах на солнце — сверк и сверк, ажно слепить стало, ажно слушать трудно. А так ничего, тоже про дело.

★

Я бы в театры не ходил, всё бы речи слушал. Эта наука скорая, самая походная. От войны не отрывает, а толк разъясняет. И подумать время дает.

★

Старая его старуха-матушка и отец-старик в ссылку пошли. Брата его близнеца, наироднейшего, повесили. Потом и его сослали с женой молодой на самый Север, в снега-морозы, на голод. А его там дружки разыскали, на собаках увезли, да через море, да в теплые края. Грейся, силы набирайся. А оттуда к нам.

★

Этот еще и ту революцию делал, что после японской войны была. Он мастер насчет революций, знает, когда и как.

★

Он разве не знает, каково войну терпеть? Да было бы за что, а то за — во дворце не вовремя рыгнул, царица обиделась — война. Он после японской тоже народ поднимал. Да не до конца тогда вышло, не весь народ еще дело понимал. Были еще такие, что и царя уважали.

★

Мы тоже не зря воюем, хоть и не армия. Мы красным армиям большая помощь. Кончится война, награды за помощь получим и мы.

★

Вместо наградной ленты веревка на шею, вот наша награда. Поди-ка потом докажи, что красным помогал. Как вспомню я наши геройства, обидно станет. Ничем мы не виноваты, что в настоящее войско не попали. В наших местах его и не было.

★

Мы не за награды воюем, из ненависти.

★

Вот бы дома удивились, как я с евреями дружу. У нас про них такое думают, чуть ли не человечью кровь они пьют. Поглядели бы на здешних евреев, до чего ж нищи, до чего ж безо всего, до чего ж их тиранят.

★

Чего про евреев-воинов молчите? Не было их, по-вашему? То-то. А Мотичка? Не вы же бабами подклохтывали, как замучил его враг? Не он в самые геройские разведки ходил, пулеметом орудовал, раны вам перевязывал, книжки вам читал? Не по нем в сердце пусто?

★

А что все евреи грамотные, ты это за что считаешь? За пустяк? Их тоже в школы не пускали, так они сами выучились. А то, всё сказочки-прибасочки.

★

Он не колдун, он родной как бы, поэтому от него каждое слово в точку. Другой говорит-говорит, рожь с овсом мешает; крестьянину,— что в шапку плевать, что такого слушать.

★

Человек нерусский к нам послан был, венгерец какой-то. По-нашему говорил, а свое дело вот как понимал. Ни за что врага не пропустит. Видно, что у нас, что у них, враги-то одинаковые.

★

Революционеры в монастырь засели, генерал на них все войска свои двинул. Старушки надеялись, хватит чудотворная икона революционеров молнией. Ан вышло наоборот, генерала нашего разбили, чудотворную в чулан, монастырь теперь им вроде сената, или главный штаб как бы.

★

Сколько рек-лесов до Питера, беда. Дороги попорчены, поезда в гной разбиты, мы же и насильничали. А ведь как нам Питер нужен! Оттуда власть настоящая, там все эти приезжие вожди.

★

Вожди чтоб с высшим образованием, но чтоб роду простого.

★

Каждая прежде революция, смех, не настоящая. Шиш в кармане, не революция. Вся исподтишка. Мы же не боимся, с нами же весь почти народ, против нас одни чужие.

★

Тогда враг был всем снабженный, мы же — мыши тише, исподтишка чужую корочку грызли. Теперь же враг перелякан, мы же осмелелые. Мы концы увяжем теперь, из рук не выпустим.

★

В 1905-м войско против нас воевало, а теперь оно и есть мы.

★

Обуженку жена прислала, пока дошли, ктось-то мою обуженку на быстрых ногах увел. И я босый, и он босый, а может оба обуемся, как людям легче сделаем.

★

У них головы не с нашею начинкой, для себя стараются. А я так и жизни за чужой судьбой не чаю.

★

Да, тяжела штука, а не жаль, пусть наша судьбинушка на ихний же счет идет, а людям легче станет.

★

Стал бы я из человека живой кус рвать, было бы для чего. А тут на всё идешь. Первое,— всем миром, а второе,— для людей, чтоб легче стало.

★

Спроси ты меня, чего хочу, для чего мукой мучуся,— а ни шиша мне не надобно, пусть только людям лучше жить станет.

★

Всё понял, кончено, не хочу в бандитах ходить. Враки, что все за одно дело встали; один с роду-племени чужой кровью румянел, другой сох и сох, а теперь полки разбойничьи пополнять,— не согласен!

★

Мне нравится с красными ходить. Знаешь, не из-за своей шкуры воюешь. Впереди что,— знаешь. Наука, образованье, запрещенье деньгам, и чтоб никто чужой силой не работал.

★

Наши люди вольно ходят, бедуют, воюют, а что-то не разберу. Встречу других людей, сидят, горюют, болячкам счет ведут, чичиревеют. Тоже непонятно. Есть ли же люди напрямик идущие, знающие, или нет таких?

★

Давай жребий кидать, кому настоящие красные части идти разыскивать, невтерпеж.

★

Надо сперва хорошо разузнать, что это за регулярные красные войска. А то станут вроде нас,— говорить, так песни, а дела, так песьи.

★

У меня и врага-то не было бы, кабы не люди. Стал бы я для себя такую тяготу нести.

★

Что там думать-гадать, как пройдут года мои молодые. В одно тягло головы мы завязили, одно тягло и вытянем.

★

Вытянешь голову из тягла, ан шея перетерта. А ты вот сейчас, пока цел, голову вытяни, тягло в дым, да к друзьям-товарищам.

★

Как-то неприятно много думать, не при настоящем деле ходим мы. Вот определюсь в настоящие воинские части, стану смело обо всем раздумывать, не стыдно будет. А как в красные войска добраться, не знаю.

★

Неужли не ободравшись догола пролетарием не сделаешься? Неужли до последней бедности нужно дожить, чтоб понять, как и что?

★

Размотай-ка катушечку: был гол — был человек; стал богач — стал зверь лютый. Разве не так?

★

Выходит, что с детьми и внуками в нищете быть, а то не пролетарии? Я так не согласен.

★

Не пужайся, не шарахайся, не мерин. Всё наше будет, все будем сильны и богаты, и с детьми и с внуками.

★

Я все часы сдал, когда из бандитов перешел. Я полюбил теперь в порядке власть ставить, жителей новой жизни учить.

★

Слушал я слова разные, не понимал. А с этой войной всё понял. Слово-то чужое, да нашу боль кличет.

★

«Какой ты,— кричит,— коммунист, если ты снам веришь. И не смей ты,— кричит,— сны рассказывать». А я ему на это — «ты, товарищ, не очень командуй, и не кричи. Мы все как бы равные теперь, в том только,—говорю,— неравные, что ты обучен, как и что, а я, может, еще из бандитов недавно. А снам я не верю, не баба; а что сны товарищам рассказываю, так так и буду, не хуже я людей. Я коммунист какой? Только что за общее дело кровь лью; вот кончим войну, обучишь меня всему,— тогда и требуй».

★

Не всё я пока понимаю, только вижу,— все мы, как один, одного хотим. Вот верю, что надо, вот и мучуся-жду.

★

Первого спрашивает — коммунист? Так, говорит. Второго спрашивает об том же, и тот согласен, и третий такой же. Тут моя очередь, а я никакой коммунист; да чего-то, на тех поглядев, и я коммунистом себя сказал. И всё, как все, перенес.

★

А то еще какие-то дяди дурные за уголком тихесенько уговаривают нас большого гвалта не делать, образованье обещают. Над нами крыша в огне, а они нам самоварчики на стол.

★

Я вон тоже воевать всё хотел, а потом ушел. Чего ушел, спрашиваешь? А того ушел, что прислали от бесцарского правительства к нам в Ставку офицера, советовать, что ли. И вот глянул я на него, и вот оказался он тот самый, что Сашу, брата моего, розгами приказал выдрать и всем в зубы давал, заподряд. Ну, думаю, если уж в Ставку такого дали, так по простым местам и того хуже. И ушел.



«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ — ОСАЖДЕННЫЙ ЛАГЕРЬ. ВСЕ НА ОБОРОНУ!»
Плакат-лубок Д. С. Моора ⟨1919⟩
Центральный музей революции СССР, Москва

★

В том особая жаль, что воины из регулярных частей из-за таких вот присланных в бандиты подаются. Знатье бы, кто таких посылает, и за чем там в Питере наши люди смотрят.

★

Я в партию не попал по особым обстоятельствам. Вот-вот я партийный был, часок один и остался. Как влюбился я в неподходящую. Влюбился я, завертелся. Сегодня она тут, и я тут; завтра она там, и я там. А где эти самые тут да там, и не гляжу. Партийный свое твердое место должен знать, меня ж за ейной юбкой, будто вихрем, кидало.

★

Такой из тебя партийный, как из меня корова тельная. Кому ты нужен, если в тебе такой характер, что ты из-за девки мысли меняешь. Вот на таких-то и Ирод свою вредную ловушку строил.

★

Вот уж истинно, что дикая дивизия. Все кони — жеребцы; все люди — звери. И что ж ты, братец, скажешь, придумали ведь, как с ними обойтись. Будто был у Ленина ученичок молоденький. Так взял он, ученичок этот, на дикой их родине ребят ихних, одной с ними крови и веры. Взял он ребят, научил их всеобщей правде и повел к родне, в эту самую дикую дивизию, к отцам-дядьям. Ребята сейчас всё объяснили, куда и на что гонят эту их дикую дивизию, и кого им бить приказывают. Ну, дикая-дикая, а не дураки ж они. Тоже трудовую горесть знали. Сейчас вся дикость с них спала, как туман росой. «Не согласны,— заявили,— на такие дела». И ушли по домам.

★

Есть же такие удачливые, сразу к месту попали, к самым большевикам, и порядку обучились, и как честь сберегать. Мы же вот не приложим к разуму,— сразу к атаману-односельцу в банду встали. Как пошли с ним, так и шли, просто говоря, погромничали над безоружными. А ушел я, стыда такого ради, надежду такую имея подходящую честную воинскую часть встретить. Не пришлось, места наши не такие. И попал я из ухи да в ушицу! Сижу в зеленых, кормимся одним чистым грабежом. Уж я и веру потерял, есть ли где полки эти самые, красные, регулярные и хорошего поведения.

★

Нас звали, научить обещали всему, как с другим народом волю добывать. Так нет, видишь, нам своей, особой воли захотелось. Вот теперь и корми вшей на чужую выгоду.

★

Людей скопы и скопы, и все говорят про нас, про бедноту, про крестьянство и солдатство. Доходчивей же всех большевики, смелые они. У иных язык не повернется на многие слова, а эти скажут про такое, что весь шкварчишь даже, как сало на огне, до того от их речей в понятие входишь.

★

Я у этих таращанцев * ходил, до раны своей. Отчаянные, но справедливые и на командирский приказ не обидчивые. А отчего такое? А оттого такое, что командир у них хорош, и по уму, и по учености, и по удали. Они вкруг него, как пчелы вкруг матки, тронь!

★

Думаю, в поисках своих перешагнул я ненароком лишку верст пятьдесят. Разве ж я сюда шел? Разве ж я вас искал? Шел я, искал я командира одного, особенного. Из рабочих, будто, и с большим образованием. Сила у него над своими людьми, от особого уважения.

★

Родом он из фабричного села, фамилии не помню. Только помню, что за его крепкой и широкой рукой всей бедноте защита. А у вас?

★

Сам молодой, а слушаются его хлопцы, как отца. И что выдумали? Будто чахнет он от болезни. Так они все ему молока льют. А он ни в чем от людей различия не принимает, что в одежде, что в провианте. Борода у него, у молоденького, так нет-нет, смотришь, и парни кой-какие себе бороды отращивают. Смех.

★

Мне Семен Михайлович усы отращивать велел, к Столпнику Симеону. Говорит,— мне усатый воин ко дню ангела самый найлучший подарок.

* Тараща́нцы — бойцы украинского советского Таращанского полка (от названия поселка — теперь города — Тараща в Киевской области).

★

Любил я своего молоденького командира красного, ну, как невесту, просто. А оттого не с ним, что рана меня свалила. Он же, как ветер вольный, где уж мне его теперь догнать. Вот и путаюсь тут с вами, ненастоящими.

★

У вас там одни кадеты, а нас тут сверх тех кадетов больше ста банд волками кружит. Вот тут и сообрази. Пусть у вас орел, так уж мы пусть хоть соколы. На общую пользу вороны не воюют.

★

Мой отец и волгарь, и волжанин. Это означает, что родом с Волги-реки и на Волге ж работал. Плоты купцу гонял. Так когда брали меня на ту войну, не велел мне отец на той войне много геройствовать. «Эх,— говорит, — не успел я тебя уму-разуму обучить, чтобы твердо ты знал, за что и жизни лишиться не жаль». Ну, теперь-то и сам я вижу, только вроде еще как бы сквозь туман.

★

Уходит этот красивый и молодой слесарь луганский из наших мест в дальние, на Волгу. И поднимаются за ним все народы с наших мест: жены, дети, бабушки, старики, все за ним. И хоть тяжко это на войско легло, а и хорошо это. Как бы верит весь народ тому молодому слесарю.

★

Так, скажешь, и пошел он на дурницу? Не той мерой меряешь, брат. Всё было сговорено до самой точки, откуда народ поднять, куда народ тот вести, кому на подмогу, где сама встреча ожидается. И как в пути врага крушить. И до нас засылали бесперечь подходящих людей, и мы в ответ от себя засылали. Этот, брат, слесарь всё обговорил, на тысячу верст отметил. Кроме вот, что семейства за нами увязались. А и в том польза,—не бросать же кровных на белую кадетскую совесть.

★

Это был поход, скажу я тебе! Вот Дон лежит с берегами вровень. Вот мост на этом самом местечке быть должен. Но нет моста, нет и перевоза, хоть вплавь с волами и ребятишками. Так голову потерял, думаешь? Или как? А так, что все тут пришлися к делу, даже и бабы с ребятами, и старые старики. Как уж, откуда уж, а лесу раздобыли, по дровишку просто натаскали, а мост поставили, и Дон перешагнули. А там и на Волгу. Обнялись наши с товарищами, с которыми и людьми пересылались, и стали они вместе на Волге крепкой крепостью.

★

Что ж видим? Бумаги пишут невпроворот, дел же не делают. А и делают, так на вражью выгоду, кольца-портсигары, паспорточки-доверенности для кадетских прихвостней, вроде пропусков. Оружье из-под полы врагам продают. Такое уж видно место, такой уж видно порядок был. Всё в щепы разнесли на свежий дух. Вот так только и победа бывает, за зорким глазом, за сторожким сердцем, за крепкой рукой.

★

Рабочий, как из избы ушел,— «хозяйничайте,— говорит,— без меня, я ни к чему не привыкаю». И ушел на горькую жизнь. Разве ж крестьянин так может? Да он, крестьянин, с кем говорил? Да про что он, крестьянин, спрашивал? Да от кого он, крестьянин, про дело слышал? Все придомовое, избяное, не всеобщее.

★

Встретил я дядька из Таращи. Борода седая косой брита, ножницы не берут, и сам уж подстарковатый. Говорит, потому в таком он возрасте воюет, что Боженко у них оченьхорош, командир ихний. И тоже уж в летах. Всё он, Боженко, сердце при своих людях держит, на жизнь, на смерть. Идут за ним, с любовью такой даже.

★

Фамилий я всех не знаю, но знаю, что все они люди большой пользы для нас. Скажет такой, каждый ему теплом отзовется. Уж скажет такой, так по тому слову и поступает. Настоящие люди.

РАБОЧИЕ

Они в цеху, что колос при цепу, зерно сыплют.

★

Эти боевые, самые военные, бесперечь воевали: в цеху с мастерами; за воротами с полицией; дома с семьей голодной; эти наученные.

★

Шахтер всё в темне, всё в подземном кутке, никому не видать. И революцию делал, никому не показывал.

★

Фабричные с вечера в кустах залегли, конвой перебили, товарищей отбили, в шахте передержали. Теперь все вместе воюют.

★

За него весь завод встал. Побои и голод ему не страшны, с измальства привычен. Всё перенесешь с удовольствием, если знаешь, на каждый твой вздох, да тысяча «ох», тут и смерть не настоящая.

★

Не люблю заводских. Все они мудруют, все ему несознательные. А мы не хуже его сознательные, врага знаем, воевать не отказываемся. Только у нас порядки не заводские, послабей.

★

Ты ему про найглавное, про боль, про жрать нечего, а он вместо чтоб в соху с тобой впрягтись, бунтовать учит.

★

А правы фабричные были. Как спину ни гни, дуги из нее не выделать.

★

Горб и никакой выгоды. Бунт-то полезней оказался.

★

Фабричных у нас не видать. Они свои отряды пополняют, они больше по правилам воюют, им грабить не приказано.

★

Здесь фабричных не видать, они больше на настоящих фронтах воюют. А кто около своего заводу дивизии формируют, свой завод пуще глаз берегут.

★

Им земля на после смерти нужна, им станок — товарищ, их травка не веселит.

★

Я рабочих не люблю, одна помеха нашему брату, вольнице. У него, как у воробья, все чужое, беречь не привыкли, не в свои дела лезут. Ломятся, свои порядки заводят, воле ходу не дают.

★

С отцов на этой фабрике из них кровь точили, а они эту фабрику лучше пашни любят, пуще глаза берегут. Чудаки!

★

Дед пройдисвит, отец раклб*, сын на фабрике жестко жизни обучен. Он нужного часа не проспит, ему гудок соловей.

* Ракло́ (*обл.*) — босяк.

★

Мы мальцами одно слышим от дедов да бабок,— то страх, то срам. А у них родители, почитай, пятилеток на караул ставили, революцию от жандарма стеречи.

★

У меня сестра за шахтером была, чистая мученица. Дрожит за мужа, чтоб в земле не погиб; родить ей негде; жить в землянке; жрать не хватает; начальники матершинят; по ночам революция; кругом полиция звенит.

★

Я только денек на фабрике побыл, обгрохотался до полной дурости, весь свинцом налился, руки-ноги невпопад.

★

Меня на Рождество мать к отцу в Иваново возила. Я там с ребятишками, по морозу под фабрику заберемся, шпульками играть. Через дырья влезем, играем, над нами в потолке тоже дыра на дыре светится. А тот потолок отцам нашим пол, так они работают в эдаки-то морозы. Их одна хозяйская забота и грела, видать.

★

Меня отец почему в печники отдал? Печь у нас в избе прохожий печник перекладывал, так отцу больно дорого показалось, — не по работе. Он и решил, что будет сынку легкий хлеб. И стал ходить я весь в глине, скребком глушенный, почти не кормленный.

★

Связали нас одной веревкой и за местечко на расстрел. Вести нас мимо завода, а у нас не одни бандиты, и заводские ребята есть. Боятся нас днем вести, отобьют рабочие. Мы же ждем, мы же на заводских в надежде. Хоть и ночью повели, хоть копыта тряпьем замотали, а отбили-таки нас товарищи. Эти, как никто.

★

Вели нас ночью казаки, и копыта коням обмотали, чтоб фабричных не разбудить. Ан те спать-то на нашем пути легли. Отбили нас.

★

Храбры казаки, храбры, а поробчей рабочего. Тот безоружный почти, а при случае большого шуму наделать может.

★

Не любят станишники в заводской слободке стоять. Даст казак кому в зубы, весь завод на казака навалится.

★

Конечно, сам про себя знаешь, что не избалуешься. А про некоторых думаешь так: дорвется до барского положения, непременно на наши шеи огрузнет.

★

Я свою кузнецовскую работу, ажно снится, люблю. Я при хорошей новой жизни только что в ванну буду после кузни каждодневно лазить, да есть сыто. А в работе себя не стесню.

★

Я свое кузнецовское дело страх люблю. Тяжелое, а другое занятие не так нравится. Никто кузнецовского ремесла на другое не сменяет. Думаю, в громе и красивом огне сила.

★

Дух до чего тяжелый, вздохнуть просто до груди не дает, как угар, аж голова гудит. А рабочие ходят, как бы в ельнике, только что белые с желтизной.

★

У него жена к мастеру в экономки ушла. А у них мастер — враг, первый хозяйский пес, с рабочего последние порточки рвет. Двойная ему боль.

★

Как подходит к поручику пожилой рабочий. Поручик за конвойного, конвойный за нагайку, нагайка по рабочему, рабочий в землю. А знал ли кто, с чем таким рабочий подошел? Может за прикуркой.

★

У них сходка тайная, полиции известно. У них бумажки под семью замками, полиции известно. У них приезжий в мышином углу речи говорит, и это известно. Забрано, погублено, что такое? Раз дверь отец невпопад распахнул, да сынишке в лоб. Слово за слово,— сынишке восемь лет, людей за писальные перышки полиции продавал. А чем он винен, а кто ответит? Ответили уж...

★

У него сам пять, мал мала меньше, а он сукин сын за что забастовку делает? Работать, видишь ли, ему лишний час неохота, восемь часов ему, и никаких...

★

Уж до того ты дурак, говорить с тобой не к чему. До десяти не сочтешь, а о забастовках судишь. Забастовку понять нужно, забастовка дело особенное, разве в семье тут сила. Мы-то разве теперь о семье много заботимся? Та ж война.

★

Фабричные — те особые люди. Всё молчат, всё друг с дружкой; что душа, что шкура — всё насквозь дубленое, с нашим братом, кроме про паляницки *, ни о чем не разговаривают.

★

Разве наша бедность с фабричной в сравнение? У нас нет-нет да отколупнешь кусок. Летом ягода, гриб, рыба бывает. У них же — хоть гайку соси, до того ничего нет, одни машины масло пьют.

★

Наша баба жила худо, фабричная того хуже. У ней муж в калечестве или на каторге, хозяйства никакого, а ни бабьей радости — курицы одной. Вместо всей скотинки ребят кволых полон дом.

★

Сам я владимирский. С деда вся семья фабричная. Дед на старой Гарелинской фабрике в Иваново-Вознесенском работал. Я потомственный фабричный был бы, да неспособен. Меня к дяде крестьянствовать отдали, а я через все страны, да сюда.

★

Давай старую фабричную запою, от деда выучился. Теперь песни другие, потому что жизнь другая, умней жизнь стала, с жизнью и песня поумнела, трезвая ходит.

★

У меня брат фабричный. Сперва деньги семье посылал. Потом испортился, на каторгу за политику пошел. Если жив, воюет где-нито.

★

Попробуй ты забастуй, если у тебя всего много, у соседа же корки не видать. Забастуй вот за соседову неудачу. Да ни в жизнь! У нас, в крестьянстве, и правила такого нет. А рабочий, он по-другому. Теперь вот по-другому-то и нужно.

★

До чего нам про богов разных в уши надули, ажно рвет, как попа вижу.

★

В наших местах рабочие не воюют. Верно, фабрики свои от врагов берегут, здесь же фабрик нет.

---

* Паляни́ця (*укр.*) — пшеничный хлеб.



«ТОЛЬКО ТЕСНЫЙ НЕРУШИМЫЙ СОЮЗ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН СПАСЕТ РОССИЮ ОТ РАЗРУХИ <...>»
Плакат неизвестного художника. 1920
Центральный музей революции СССР, Москва

★

Шахтеры хороши, эти не бандиты. Воюют, как зверь, к рукам же ихним ничего не липнет.

★

Ажно смех. Рабочие у нас все забратые вещи поотнимали. «Не хорошо, мол, товарищи, это народное достояние». Тю! А я не народ? Да еще и сам добывал.

★

У тебя, как рабочий, так чисто тебе бессеребренник, а как крестьянин, так чисто тебе вор. Мы иначе выучены думать. У нас, бывало, как фабричные в деревню, так все дворы на запор, воровства боялись.

★

Я фабрики не люблю. Охота своим горбом чужую мошну набивать.

★

Из меня рабочего не вышло. Меня было в типографию, а я памяти ни к чему не имел. Послали к родне крестьянствовать. Попастушил я, и сюда.

★

Мастер одного в зубы, они все за ворота. На последний голод шли за товарища.

★

Я от пушек не глохну, а на фабрике в сутки глухой стану.

★

Из-за тебя фабрик пушками не сменим, нет. Нам не твоя глухость важна, глупость твоя важней.

★

Сперва на березах нам воззвание налепили, к себе звали, порядкам подчиняться, население не обижать. Потом отряд из нас хотели собрать. А мы

не шли. Тогда нас рабочие из тех мест выжили, как бы облаву на лес сделали. Не любят нас рабочие.

★

От рабочих депутаты нас к себе звали. Многие пошли, и я тоже. Только не долго я у них побыл, разгуляться не дают. Пить пьют, а как гулять там, баб лапать или шуму-грому, не терпят такого. Я ушел.

★

Я подамся на север, к заводским. А то рабоче-крестьянская, а где они, рабочие?

★

Мы тут как-то на фабрике неработающей кой-чего железа на починку взяли. Так отняли рабочие. Как осы. До чего они свою муру эту заводскую любят, удивительно. Хоть бы жизнь у них там хорошая была, а то ведь гибель одна.

★

Нас рабочие спрятали. «Хоть вы,— говорят,—почти что бандиты, а здорово белых бьете». Понравились мы рабочим.

★

Я семь месяцев в бандитах воевал, а рабочих почти не видал. Им леса да овины не жилье, у них своего ни шиша, все общее, за все порука. А бандит, свое — чужое, а все мое.

★

Хорошо тебе говорить «вперед, да вперед». Тебе впереди с товарищами господские заводы на выработку запускать, а нам полей-пашен перепорченных на фабрике не выработать.

★

Молоденький фабричный стоит, не смотрит. «Кто тебе бумажку дал?»— Молчит. Били, били, всего перебили, в яму бросили гнить.

★

Что ж ты думаешь, как рабочий, так у него живот и хлеба не просит? Что ж ты думаешь, как рабочий, так только словами и жив? Рабочему где же взять, под фабричной трубой грибы-ягоды не зреют. На крышах же поездных с мешками насажались, на голод, всему на пагубу. Как моль в шубе. Кто их насажал, скажи, рабочие?

★

Хуже не было, чем в нашей части. Ни снаряда, ни амуниции, ни одежды, ни пищи, ни стыда, ни совести. И что ж отвечают, чему ж учат? Отвечают и учат, что потому всего такая отчаянная нехватка, что рабочие работают с прохвала, и не долгое совсем время. Цены же заломили за работу неслыханные, жрут и пьют там, и жиреют, а армия в беде! Почесали мы затылки,— не идти же своих фабричных воевать. Послали делегацию, и я с ней поехал в Питер на заводы, попугать лодырей. А там же, господи! Живые скелеты, и дети тоже. Обман черный такой.

★

Битый, мученый, всему обученный, вот он фабричный. У него страх в пеленках оставлен, ему только бы свою власть постановить.

★

Рабочий грамотный, шахтер же дикий, но уж зато каленый. Он теперь на полном ходу; в его местах не то что кадетам или бандитам, а и нашему брату. зеленому, не уютится.

★

Мы было в леса, а заводские нас переняли: «идите,— говорят,— к нам, мы вас поставим за дело воевать».

★

Думаю из лесов к углю податься, фабричных поискать. Толку как-то больше.

★

Я к рабочим не тянусь, мне у них учиться времени нет. Мне бы войну свою окончить победно, до земли дорваться, всю крестьянскую науку пройти.

★

Кому земля свет застит, тот в могиле, тому, кроме дома, никто не родня. А заводской землю с себя еще мальчонкой стряхнул, ему видней.

★

Очень мне хочется человеком зажить. Я грамотный, книги заведу, музыку. В квартире работать не стану, чтоб грязь не наносить.

★

Работа, брат, не грязь; работа, брат, страну кормит.

★

А работа в квартире пылит-сорит-мочит. Не работа грязнит, а мы в доме тоже не свиньи же будем, а жители.

★

От работы не откажусь, я другому не выучен. А жизнь мне новую подавай.

★

Сердечко рабочее
до воли охочее.

ЛЕНИН

Он из бедной семьи, отец деревенский был учитель. Всю семью царь разогнал по каторгам-ссылкам, брата его, близнятку, повесил за политику. Его самого просто тебе в диких тайгах томили сколько-то лет. Теперь он в Питере, оттуда все его слушают, за правду, за то, что свой он.

★

Небольшого росточку, лысоватый, нос самый наш, слова совсем простые. Глаза же у него огонь, и все видят. И насмешничает над врагами, и насмешничает. А нам, что ни слово, так как бы сам ты это сказал, только что поумней твоего. И всё про самое нужное.

★

Говорят, кто его, Ленина, разочек послушает, просто не может в бандитах. Просто настоящую жизнь понимает и не может такого несчастья людям. Просто новый станет.

★

У Ленина, говорят, товарищи хорошие есть, да молодые еще. Кто ж постарше, так те больше по книгам толкутся. Ленин же и книгу знает, а обучался больше по людям. Вот оттого и польза его великая.

★

У Ленина есть помощники хорошие во всем, как и он. Ленин им, они парням, парни парнишкам,— оттого и порядок у нас будет. А то разве ж одному Ленину управиться, хоть бы какой он умный был. Без народа-то как же.

★

Разве ж одного Ленина на всю нашу народную долю хватит? Помощники у него есть, дружки хорошие, ученики. Кто воюет за нас с врагами, а кто придумывает, как бы так повернуть дело, чтоб после нашей победы опять нам врага на шею не посадить.

★

Москва, Москва! А вот такое дело было, что не стало провианта в Москве, голод последний. Ленин, и тот не чаще одного куска хлеба в сутки себе позволял. А из Москвы каплют и каплют на Дон люди, к генералам. Кто по шпорам скучает, кто на белый хлеб потянулся, кто свои прежние удовольст-

вия вспомнил. Москва, Москва. Стоит она, Москва, голодная, ажно белокамень у ней слезы точит. И чуть, что такое? Через всех врагов, через все реки-горы —хлеб! Прибыл хлеб в Москву! Да где ж тот хлеб уродился, да где ж тот хлеб всколосился, где зерно дал? Да что ж это за люди сквозь всего врага поезда те вели? Да кто ж человек тот, что такое дело, да в такое время, в таких-то местах, смастерил?

★

Ну оголодала наша Москва. Ну даже всплакнул по ней Ленин, людей жалеючи. А враг ближе и ближе, перерезал враг все стежки-дорожки-пути. Как вдруг на застылом вокзале звонки-свистки-голоса! Как вдруг из самых дальних, завражьих мест хлеб подкатил. Пошел хлеб по людям, пошла сила по жилам. Вытер и Ленин слезы платочком, и сам поел кой-чего, вернулся к нему аппетит. Чай не ты, как насел на краюху, за ушьми пищит.

★

Я теперь по закуткам нашим слоняюсь между боев. Фамилии записываю, в Питер собираюсь, проверю у самого Ленина, его ли это люди. Хотя, конечно, когда про землю говорят, чтобы всю нам, или про кончить войну,— тут ясное дело, от Ленина это. А сверх того что — проверить надо. Я потомственный крестьянин, наш брат все наощупь берет, ни глазам, ни ушам не верит. Зерно-то, бывает, с виду — золото! А взвесил на ладони— пустотел! Проверить нужно.

★

Ишь ты, они, небось, самого Ленина слушали, и вот прибегли нас учить. Я учиться не прочь, а почем я знаю, как они от того Ленина набрались? Один учится верно, другой дурак дураком. Нет, ты мне учителей с документами давай, вроде как бы от Ленина похвальный лист был.

★

Я хорошо настоящую его фамилию не знаю, как его отцовское прозвище, но слыхал от стариков солдатских, что ему в Питере жилье и пищу запретили давать, а главные разные на каторгу его. А скрывался он у чухонца в стогу. Не нравилось им, главным этим, что он войну с немцами не хвалит, народ жалея. «Уж,— говорит,— если война, так хоть на пользу, противу богатых». А в главных-то кто? Те ж богатые, вот и не нравится он им.

★

Созвал он наилучших своих товарищей, повестку показывает и говорит: «На суд меня вызывают. Решайте, идти мне на тот суд или не идти. Как вы решите, так и сделаю». А товарищи будто ему старую пословицу в ответ: «не годится соловью у кота судиться». И спрятали его, до поры.

★

А я с ним земляк, оба мы из Симбирска. Хочется мне, большое желанье есть похвалиться, что знакомцы мы с ним, однако по правде, так нет. Отец же того Володечку много раз видал, еще когда учился он. Походка, говорит, у него быстрая такая и спорая. Идет крепко так. Бывало, говорит, далеко вперед от тебя уйдет, а шагу не прибавит.

★

Была быль, да забылась, вот и вышла сказка. Разве ж не сказка, что жил человек-учитель и было у него двое сыновей. Учились эти сыновья лучше всяких ученых, медали да листы похвальные. Не нарадуется на сынов учитель. И вот, ночкой одной снится ему такой сон: будто вещая птица, Диво, спрашивает его с высокого дуба человечьим голосом: «Чего бы ты, отец, для своих сынов хотел?» «Славы»,—отвечает учитель. «Так быть же по твоему хотенью. Помни и жди, будет слава старшему мученическая, будет слава младшему всемирная, да людское счастье». Так и вышло. Старшего сына, брат он нашему-то, за революцию повесили, память о нем высокая живет. Младший вот жив, нам на спасенье. И жив, и славен. Как бы сказка? А ведь быль-матушка!

★

Как ему в родную землю попасть? Не пускают его ни короли, ни вельможи, ни военные разные власти. Чуют власти, что на вред он им, народу же на помощь. Бьется этот человек, как птичка в стекло, не пробьет никак. А лететь ему вольно хочется на свою далекую родину. Он туда, он сюда,— нет проезда! И видит он — русский солдат идет теми чужими землями, и идет в нашу сторону. «Куда ты?»— спрашивает. «Отпускной я, иду проведать родину и родню»,— отвечает солдат. «Ох, прошу тебя, возьми ты меня с собой и невидимо, и незнаемо! Если возьмешь, всей нашей земле жизнь облегчится!» Посмотрел на него солдат со вниманием, стоит перед ним невелик ростом человек и насквозь разумом светится, от добра от ума лобастый, простой весь. Солдат же народ дошлый, при случае и наколдовать умеет. Дунул-плюнул солдат и подвез нужнейшего нам человека, прямо в Питер к Николаевскому вокзалу. А там уж его дружки встретили. Вот самая наиновая сказка.

★

Он в дремучем лесу выложил себе шалашик и стал жить. Ходу ему никуда не оставили, а дума в нем и решения разные. Тут же зима лютая, замело пути-дороги, как быть? И что же, братцы, за сказка, за такая? Ведь звери ему по той сказке служили! Медведь в шалаш вроде печки лег, тепла от него полно. Волк от врагов сторожил,— сторожкий зверь. Лиса, будто, ему пищу добывала,— она добытчица. А самым ранним утром, под седенький туман, к шалашику лосиха подойдет, встанет и не шелохнется, пока он ее теплого и полезного молока не насосется. Так вот и выжил он, со всеми ласковый, кроме наших врагов.

МОСКВА

Эх, Москва моя, златоглавенькая! Кто ты, а? Царевна-королевна? Так нет! В нарядах, а простому человеку открытая. Купчиха ты, что ли? Куда там! Крупичата, да не чваниста. Ученая ты волшебница, или как? Так и тут не выходит,— мудра-умна Москва, да сердечная. И не царевна ты, королевна, и не купчиха ты, и не волшебница. Ты, Москва, девица-красавица, вот ты кто! Взглянешь на тебя — полюбишь; полюбишь — беречь станешь; отойдешь от тебя — сердце высушишь! Кто с Москвой, тот у Москвы в полюбовниках.

★

Москва! Жил я в ней с рождения и до этой немецкой войны. Учился в городском училище. Потом сапожничал, пил, охальничал. И только было я с нужными людьми встретился, толк понимать стал, как война. Взяли. Кой-как отвоевался, и вот к вам. Но Москву, ох! помню. Вот кончим здесь разных врагов, все московские в Москву вернутся, под ее сорок сороков. Да всех ее тысячу дураков переучим наново. А потом разукрасим свою Москву, как игрушечку, всем Парижам на зависть!

★

Москва! Имя-то у нее какое, не глухое, звонкое, как благовест. А как ты ее поймешь? Чай, не деревня Малиновка, на восемь дворов да двое коров.

★

Вот, говорят старики, Москва — сердце, Питер — голова. Мы же так думаем, то самое, за что воюешь, и не в городах вовсе, а во всех повсюдах. В том главное, какие в тебе самом сердце да голова. Если правильные,— Москву с Питером отвоюешь. А нет в тебе чести настоящей,— так тебе ни сердце московское, ни распитерская голова ни в чем не помощь. Москву-то с Питером тоже ведь люди строили, не бог их делал.

★

Москва не пугливая, закаленная. Она и по улицам, бывало, воевала голыми рабочими руками. Только так дело стояло: у царя арсенал, у Москвы

ткацкие станочки. Оттого и удачи не было. Теперь переместилось, арсенал свой, гуляй, Москва, твое время.

★

Москва! И слово-то как бы близкая родня, как бы бабушка ласкова дитятей тебя колыскает, поползнем тебя остерегает, подросточку тебе сладкий пряник сует, взрослого тебя настоящей чести учит. На то и Москва.

★

Москва, скажу тебе, это не всякий городок! Рождена Москва в богатырские времена, всю нашу страну она своими людьми-богатырями осторожила и сохранила. От татар отбила, панов выгнала, французов заморозила и сожгла. И от чумы, есть такой рассказ, Москва Русь спасала. Это все в прежние, далекие года. Так неужто Москва своему народу теперь помощи не даст? Царь-то хоть и в Питере был, а вот увидишь, что это Москва его сместила. Это потом все узнается.

★

Я московский, сорок сороков, кобыла без подков, Хитровка, Петровка, пустая бадья. Московский я! Чем держусь, ни прежде не ведал, ни теперь не узнал. Думаю, только Москвой и держусь. Москва крепка, Москва сила, Москва сердцу мила.

★

Вот мечусь я, а метала не вижу. А что в Москву меня метнет, этого не минуть. Москва клей, на нее что ни лей, все прилепится. Московского человека на Москву первый попутный ветер нанесет, на это вся моя тоска-надежда.

★

У Москвы закоулочки-переулочки, тупички-старички, церковушки-старушки, на макушке ушки, соборы да воры, жулья, как в ельне муравья! И спиртным шибает, ажно до самых Новодевичьих. А вот удивляюсь я при сем при этом, что не из Москвы воля, а из Питера. Такая наша Москва прокуратница.

★

А что Москва? Может людей-то в ней тыщи, а человека с огнем не сыщешь. Москва, она тоже канарейка. Если б ей один головастый человек зерна не подсыпал, не было бы твоей Москвы, с голоду бы померла. Что тело без души, что город без настоящего человека. А ты — Москва.

★

Москва — голова, Москва — умница, Москва — привередница. Ей что царь, что пристав, все едино, ее не обманешь. Она нас, своих детей, ждет и на дело посылает.

★

В Москве людей, что на дубе желудей. И как дубки, те люди крепкие, негниючие. Ты не смотри, что я тебе по пуп, зато ум во мне не глуп, московский.

★

До чего ж эти московские себя уважать велят! То ли смелы, то ли умны, то ли удачливы. То ли Москва по-особому своим деткам мать.

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

ВЫДАЛСЯ ТИХИЙ ВЕЧЕРОК

Вот выдался тихий вечерок, можно и про что хорошее послушать. Знаешь, у нас окна какие? Не господские, солнце в них не помещается, разве что полсолнца. Но висит хата над рекой высоко, все в нее ловится, как на приманку. Тут тебе солнце, тут тебе речка блещет, тут тебе лес за речкой, тут тебе челночек промахнет Михеичев. И слух в окне кормится — вот тебе и дудочка.

свирестелочка, и птицы поют, ветер посвистывает, река плещется, и лягушки тоже свое. Хата была такая ладная, родная хата была.

★

Мы эту Танюшку в лесу подобрали, да еще и не одну. Ей и теперь-то только восьмой годок, а на все насмотрелась. Выгнало ее сиротское бездомовье в лес, прикурнула она под елочку, а дело к ночи. И вот слышит она детский плач. Тут она свою храбрость и показала! Пришло, говорит, ей в голову бабье мнение, что это русалка на жалость заманивает. И вот же не побоялась девчурка, все же кинулась на голос, и подобрала вот этого самого, видишь? Петюнька он, думаем, что годка ему три будет вскоре. Видишь, какой важный. Он у нас вроде наш комиссар: комиссар трубки, а Петюнька пальца из рота не выпускает. Мы при них и от слов кой-каких отвыкать стали. Учители наши, беспортошные.

★

Я хоть на ногах, он же, почти без памяти, на моих руках. От обоих кровью несет, самый волкам аппетит. Батюшки! Волки! Гуськом идут несколько, и встали невдалеке. «Ох,— шепчет,— брось ты меня и беги ты, сколько силы в тебе, ради бога святого, я ж все равно не жилец на свете». Не бывать такому! Положил я его на снег, винтовочку на его высокую грудь опер, выпалил, подбил. Отбрызнули волки на сколько-то сажен, на хвосты сели, ждут. Я еще раз пальнул, волки еще на сколько-то саженок, а опять на хвостах сидят, дожидаются. Тут счастье, переполох какой-то в лесу, волки, как туман, истаяли.

☆

Смерти не боюсь, змей же боюсь хуже смерти. Не то что рукой тронуть, от одного взгляду у меня по всему телу крапивница, с детства так. И вот раз командира ощупью мне искать пришлося средь своих и вражьих убитых. Нашел-таки беспамятного от потери крови, а все ж живого и теплого. Стал я его сердце рукой слушать, а у него под рубахой змея! Что же я? Задохся или крапивка по мне? Да забыл я про все это, ужа вытащил здоровенного, да за хвост, да закинул его повыше облака. Командира увел, донес до места, и с тех пор мне что змей, что кот, все едино. Как страх найдешь, не знаешь, и не знаешь, как страх потеряешь.

☆

Был у меня друг, земляк, корешок, и была у друга собака. И пришли какие-то, сказали — «дезертир», увели на откос, повесили. Дома жена, спеленыш и мать очень старая. Душу при родных отдать не дали, не пустили проводить. Собака же увязалась, выстрелили в нее, сапоги с него сняли и ушли. Тогда пришла жена, принесла дитя, привела старую мать. Дамку-собаку кликали, не отозвалась. Соседи говорят,— «жаль, Дамки нет, любил ее хозяин». Пришли к повешенному, снят он врагами с веревочки, для удобства грабежа, и лежит он на сырой земле, а Дамка прижалась к нему, голову на его плечо положивши. И оба застылые.

☆

Видал я, что жив он, хоть и перемучен, видал, как его в ямищу швырнули и камнями вход заложили, глиной щели замазали. Подыхай. Попросился я у них в сторожа к этому месту. Сказал, что округа наша красненькая, еще придут, ночью уведут. Я же, будто, из богатых мужиков, обиженный красными, не нравятся мне они. Наружность же моя к словам подходящая, и сытый, не знай с чего, и так вообще. А им наплевать, абы самовары ставил, ручки их берег. Глупые они от набалованности. Ночью я для тишины ноготками камни выковырял, спиртику ему в рот влил, на руках вынес. Я без ногтков, он без зубок, до единого выбили. Ушли и вот пришли. Ногти мои отросли, зубы же ему вставим, когда войну кончим. Пока и без них обойдется,—есть-то почти нечего.

★

Я кволый, в особую драку не лез, куда уж! Только разок такой вышел. Михайла, друга моего, искали, на муку, на казнь. Вот сидим в хате маминой без огня, в хату шасть двое ихних, архангелов. «Где такой-сякой?» А Михайло храпит на печи. Сижу за столом, руки-ноги пудами, язык за зря сохнет, а в голове так и ходит. А Михайла храпит, как небесная сила! «Ты кто такой, и где такое Михайло, по прозванию Морока?» И хрясь меня в ухо, для начала. Глянул я на Михайлов валенок, что с печи повис, а Михайло храпит! «Что ж,— говорю,— берите меня, я Михайло Морока». Знать, и зайцы кусаются, как за друга вступаются.

★

Так вот и держали его под печью на нелегальном положении. С лопаты кормили, ну и все такое. И вдруг в хату эти! Меня дома не было. Жену бить, допрашивать, не сказала, не выдала. Тот в подпечье услыхал женин плач, вылезать было стал, загремел там. «Что такое?» — спрашивают. «Поросенка к празднику кормим»,— жена говорит. Потащили Авдотью, всю измордовали. Тут я вернулся, он рассказал, «из-за меня»,— плачет. «Не из-за тебя,— говорю,— за дело твое»,— говорю. Вот же, такое настоящее дело,— ведь еженощно меня жена за товарища пилила, что держу в доме,— а как пришел нужный час, не выдала, перетерпела.

★

Когда шли они через наше место, весточку в мою хату обо мне занесли. Облила их мать моя слезами, как родных обласкала, и спать уложила. Ночью колотят в дверь, обыск. Мать на печь, все барахло на дружков навалила, сама сверху легла, кряхтит-стонет, как бы от тяжкой болезни. Отец отворяет, сам он суровый, сивый такой. Кто его, бывало, знает, чего такое думает. «Говори, старик, куда коммунистов спрятал. Говори зараз! Зараз скажешь, зараз и вольный будешь, ничего тебе не сделаем, товарищей заберем, а ты к бабе на печь. Ну?» А отец им: «не нукайте, не мерин, чтобы вам верил, никого у меня нету, кроме бабы на печке, да под печкой баран с овечкой». Чудной старик! Повесили его. Вот она, наука наша.

★

Я не дурак вообще-то, а не мог я видеть, как повели их за семь верст. Там по всяким законам казнить их будут. Вот ведут, рядом унтер идет, полноватый такой, усатый. Под рукой у него бумаги казенные, без бумаг нельзя у них было на тот свет отсылать. Между стражи идут трое фабричных, лет по за сорок людям, чай отцы-деды, кормильцы. Изможенны, иссинячены, идут молчат, по-мужскому судьбу принимают. Однако по сторонкам зыркают все ж, ждут чего-то, умирать-то все ж не хочется. Мы стоим, смотрим, я да брат. И совсем же мы чужие. И разом, ну как по команде, кинулись мы на конвойных, а их, кроме унтера, трое! У них оружие. У меня да у брата сила в руках была все же, этого не отнимешь. Я кувырк унтеру под ноги, он через меня, я ему коленком на глотку, бумаги отнял. Гляжу, брат с фабричными конвой глушит. Вот мое начало. Озорные мы, что ли, оказались, или уж так время подошло правду отличить.

★

Прибился к нам в часть учителев сын, десятилетний мальчик. И слов наслушался, и отцовой тюрьмы не забыл. Словом, ушел из дому без корки единой, по дороге в перелеске к нам пристал. А у нас только что тачаночка отбита и полна вражьими снарядами. Мальчика к тачанке часовым приставили, что успели, разъяснили ему, как себя часовой соблюдать должен, сами же, кто в бой, кто в разведку. Тут и лесникова хата, лесник ста лет хозяин, насквозь мохом пророс, да десятилеток на часах, снаряды вот как нужны. Ночь летняя поспешная, вот и свет, вот и враг, нас же нету. Мальчик выстрелил, они его прикладом, били, били и жгли даже, он как язык проглотил. Молча умер. Мы пришли, да поздно. Дед древний, видя эту смерть,

в такой стыд вошел, заплакал. Плачет и говорит: «к чему,— говорит,— жить так долго, если вот десятилетний, а хорошо как помер!»

★

Ты не хвали, не подымай его выше головы за боевую удаль. Удалых меж нас леса-волоса. А вот с ним было такое в глухую тяжелую осень. Шли они таяся, все после тифа, и шли между врагов. Он же всех слабей был и отстал. Отстал, в какую-то пещерочку-норку забрался, все равно идти не в силах, «помру», думает. Лег он на сырую землю, руки протянул, батюшки! Банка с консервами! Еще банка, хлеба каравай, сыра головка! Разное. Кой-как хлебушка умял,— малый кусок, продукты на слабые свои плечи взвалил и заспешил. И так всю ночь спешил, и догнал-таки где-то. И ведь ничем не попользовался, кроме как хлеба немножком. Этими продуктами да его непосильной удалью, что всё донес он, и спасены все. И самое найглавное, чему почти и веры дать невозможно, была меж продуктов спирту бутылка! Вот ты и рассуди, кто он какой, и в чем его удаль.

★

Говорит, «мы не доктора, все равно умрут дорогой, а я еще в деле пригожусь». И ушел сукин сын! А меня, как цепью, совесть держит. Те же оба в беспамятстве, оба ранены, один другого хуже. И за горой, слыхать, враги, вот-вот! Так такая дурость бабья! Сложил обоих на шинельку и поволок, сколько силы сталося. И если бы не ручеек, да тот бы сукин сын не ушел, доволок бы обоих живыми. А тут этот ручеек, захлебнулся один, зашелся, и кровь изо рта, и помер. А другой от холодной водицы даже в силу вошел. Тут с горы враги стреляют, тут нас Аришенька встречает, с бинтами-бантами. Меня тоже за ручейком подранили, от скуки. А догонять не стали, видят — полумертвые. А мы вот оба, и Аришенька с нами.

★

Брат под врагом, никак не сбросит, тяжел и крепок враг. Они лучше нашего жили. Нам грабить не к лицу было, белые же не стесняли себя, всё, бывало, прижрут, припьют, припортят. Сильные были, дьяволы. Копошится брат, на поясе граната. Дорога жизнь молодая, да вражья смерть дороже! Не выдержал, хватил гранатой почем зря, и оба, по всем правилам, перед господа предстали. Вот теперь и решайте на досуге, как с ними господь рассудил, кому в рай, кому в пекло.

★

Вогнала меня в хату эту беда и рана. Хозяева тихо встретили, оба мертвые от тифа, и мальчик на лавке горел-догорал. И всё тут. Так я у них с недельку погостил без всякой еды, без всякой обиды, один квас плесневелый с тараканами. И возьми врага нелегкая,— из орудия по той хатке моей учиться стрелять стали. Что тут делать? Взял я хлопчика на плечи, выполз с ним кой-как. Тут по хате нашей перестали стрелять чужие, стали стрелять свои. Как музыка, такой от своей пушки звук хороший!

★

А я-то думал, на их поведение надеялся, товарищей на волю выпустить, как жаворонков на благовещенье. Ну, такие распорядительные враги оказались! Ну не пьют, не спят, ну сторожат, да и только. Выбрал я все ж минуточку, за колодезь прилег в густые сумерки, до сарая заветного рукой подать. Тут солдат с ведром! Я в колодезь, неглубокий он был, на дно присел по шею, бадью ему зачерпнул половчей, чтоб скорей ушел. Ушел этот, второй пришел, затем еще, служу им, служу, тут уж темно совсем. Я четвертого оглушил, в колодезь спустил, бадью прицепил там накрепко, и к сараю. Весь теку, как утопленник. Как я замок сбил, как пташек выпустил, не помню. Вот тот рыжий, вихрастый, тот мой первый жаворонок оказался, его спроси.

★

Убили они моего любимого командира, где-то бросили. День тужу, а служу, два тужу, а служу, на третий день прошусь: «отпустите меня Ивана Дмитрича честно земле предать». «Где ж найдешь,— говорят,— округа



«ТЫ ЗАПИСАЛСЯ ДОБРОВОЛЬЦЕМ?»
Плакат Д. С. Моора. Июнь 1920 г.
Центральный музей революции СССР, Москва

вражья»,— говорят. Стращали, уговаривали. «Затоскую, — отвечаю,— какой из меня тогда большевик». Отпустили. Ну, ищейкой туда-сюда метался, и нашел-таки его на сметнике, в большом позоре, голого, крысами изъеденного. Одни его кудри золотые знак мне подали. Унес я его, при лесном озере закопал, и березыньку в головах у него посадил. Думаю, на свежем его, горячем его сердце большой ей рост, березыньке, будет.

★

У этих атаманов просто было, заметят что,— смерть, не заметят,— так хоть самого атамана в тачанку впрягай, ажно пена на нем от самогону. Зашел я в тюрьму ихнюю, просто сказать, в нужник старый. Есть братан! Смотрим друг на дружку, даже смешно, как я на него кричать стал. Он слово за слово, крепче да крепче, так меня отматершил, всурьез, забылись мы. А кругом бандюги гогочут, «веди,— кричат,— его за оскорбление личности, и делай с ним что хочешь!» Чуть я в ножки им не поклонился! Повел и увел бы, да смех на него, на черта рыжего, напал, корчится весь от смеху. «Цыть!»—шепчу, а его хуже разбирает. Мы тогда бежать, они тогда стрелять, спасибо из-за самогона метко не выстрелишь. Тут, на счастье, поезд какой-то пошкандыбал. Прицепились мы, а он, дьявол, все хохочет и хохочет! С месяц я с ним, спасенышем моим, после того не разговаривал!

★

Не мог он допустить, чтоб мамашу его старую, иструженную, всю за детками выплаканную, расстреливать стали. Спрятал ее за себя, она ж выбивается. «Пусти, сынок, пусть меня наперед». Держит он ее руками за спиной своей, к стене прижимает, мечтается ему, чтоб скорей его застрелили, не видать бы чтобы несчастья такого. Они же, раз считают, два считают, и говорят: «Уходи, мальчик, за третьим счетом и тебя застрелим, а так живи без мамаши, сколько влезет, тебе ведь десяток годков, чай, не больше?» А было ему и вправду десять лет. Но он с места не сошел. А тут и закурилась пылью земля, тут войско в деревню вступило, взяли его, потом-то уж и к нам он пристал. Мамаша его жива и теперь.

★

Он сидел на горище всю ночь, к утру зашебаршили под стрехой воробьи, солнце встало. А он весь затек даже, как с вечера сел, так и просидел не шевеляся. Мужичий потолок таракан протолок, услышат. Нагнулся он тихонько, лист разворотил, в щелку видит, старуха древняя у печки хлопочет, однако чуткая старушка, на его поскреб в потолок уставилась было. Ну, верно, на мышь согрешила-подумала и опять в печь сунулась. А в избе беднота: стол, лавка да икона. Тут видит он, вынула старуха из печи мешок, взвалила на плечи, в дверь, и слышит он, лезет она с тем мешком на горище. Лежит он, сердцем замирает. А старуха мешок на горище подкинула, засовом горище задвинула, да и ушла из избы. Воробышки скок-скок к мешку. Тут

и он осмелел, до мешка подтянулся, думает — пища. А развязал — вещи офицерские, даже и шпоры на сапогах, и всё в крови. Вроде как удостоверенье. После этого признался он старухе, кто да что, сберегла его тогда она.

★

Оступился, в большую яму попал. Осмотрелся — мешок, а в мешке офицерские вещи. Места же вокруг белые, значит, свой человек тому мешку хозяин. Сел и ждет. К ночи шасть в яму человек средних лет, засветил фонарик, увидал Степу, ахнул, фонарик из рук упустил, тьма. Степан и говорит ровным и не грубым голосом: «мешок я осмотрел, подходящий, и ждал тебя, чтобы вывел ты меня из этих мест». Тот охриплым голосом спрашивает, не из Башиловки ли. «Оттуда».— «Пошли».— «А мешок?» — «Этот не для тебя, я тебе другой дам». Засветили фонарики, пищу нашарили и вместе на Башиловку подались. И паспортов не надо при эдаких случаях.

★

И так несем тяготу невмоготу, а тут нарывы по всему телу. Иссушили меня нарывы в край. Думал я думал, и решил беды товарищам не делать, бросить просился, оставить меня на пути,— не вышло. Сказали товарищи, что разуму я лишился, такое у товарищей просить, позорное. Вот и надумался я отстать ночью. Так чуть все не погубил. Места вражьи, тут бы вскачь через эти места, кабы кони, а они из-за меня, смердящего такого, плетьми плелись. А как хватились утром, что остался я, кругом розысками пошли и нашли. Грозятся, «выпорем тебя за такую несознательность». А мне просто корти́тся облегчить им путь. Хоть помереть. Споткнулся, от слабости упал, подняли, оа шинели понесли, а я глаз не открываю от стыда, что гиря я им в походе. нмеются, «это он,— говорят,— мертвым прикидывается». Что ты с таким вер-Сыми людьми сделаешь? Выходили меня, и зовут с тех пор «покойничком». Ничего, я не обижаюсь.

★

Когда ноги он обморозил, мы его на тележке возить стали. Я сам и смастерил тележку такую, чтоб зимой и на полозья ставить. Вот он и говорит: «Если,— говорит,— вы мне ручной работы какой-нибудь не дадите, вот вам крест святой, удавлюсь при первом удобном случае, не устережете». С тех пор стирает на нас, обшивает, сапожки тачает, поварит, всему выучился. Стал нужный и веселый. Смеется, «была,— говорит,— у меня одна пара рук, а теперь вон сколько!» И кивнет на нас.

★

Тиф по деревням видали мы, в отряде же у нас тифом не болели, пока сыты мы были. Тут оголодали, и первый свалился начальник. До города 18 верст, и город весь белый. До красных мест несчитанные версты. Так его за собой возили, и в боях с собой же держали, не шибко раненые около него и охраняли. На нем снег кипел, жар такой, памяти никакой в нем не было, страшная это болезнь. Бред же всю душу его нам выложил, насквозь хороший оказался товарищ. И вот все румяный был от жару, и сила была в нем, и бушевал вроде. Вдруг просыпаемся, а он желтый и слабей цыпленка, в глазах же у него разум. Кончилась болезнь.

★

Повсюду бакчи, арбузы такие, не удержишься, а жара насквозь просушивает. Кругом же холера. Я и заболел, конечно. Потом товарищи говорили, что легкая у меня холера была. Попробовали бы сами, какова она легкая, эта холера, если я, здоровенный такой, вопил не хуже роженицы! Легкая холера! Скажут тоже.

★

У него полушубок, у меня шинелька. У него валенки, у меня барские полсапожки на шнурочках. А морозище индевелый, на нас двоих одинаковый. Сперва мы по очереди теплое одевали, так еще хуже. Только согреешься, опять во льду сердце стынет. Тут куренек, тут огонек. И решили, в теплой одежде одному идти, все для другого раздобыть. И я остался, почти голый.

Кругом лес, сугробы, как гробы, по сугробам волки с ветром песни поют. Пищи нет. Выхода голому нет. И ругаю себя, что в валенках дружка отпустил, позырится * на валенки дотошный человек, из-за валенок жизни лишит товарища. Так вот бывают же чудеса и не на бабьи небеса! Вернулся Петя.

★

Я как-то так же вот, в валенках, шел-шел, гляжу, небольшой мальчик сидит под сосной тихо. Кто да что? Остался один, родных атаман какой-то убил, его, в чем был он, из избы прогнали. Пошел с плачем в лес, ноги ознобил, не чувствует он ни боли, ни горя больше. Как полено, и душой и телом окостенел. Ребячья обувь не на мою нежную ножку, конечно, однако же сменку мы с Степой наладили неплохо. На нем отцовы опорки оказалися, эдакие лакированные. Красота! Отдал я валенки, не беспокойся. Да и делу тому скоро год, Степка-то учится теперь.

★

Их перед атамана поставили, тот и говорит: «Одного пришла мне охота из этого вот револьвера застрелить, другого же воля моя начальническая отпустить на полную свободу. А так как я такой капризный рожден, то главное мое удовольствие в том будет, чтобы сами вы меж собой рассудили, кому на тот свет, кому на этот». Иван же погорячей был, да и силы непомерной. Как вырвется, как треснет атамана по темени кулаком,— «вот тебе и выбор ясный!»

★

Я с тем пришел, чтобы про его кончину его родне рассказать. Привечает меня его родня и особенно мать. Я же сказался — прохожий солдат. Спрашивает меня его мать, не встречал ли я ее сынка? «Он,— говорит,— мизинчик мой, выкормыш последний». Вот тут как скажешь? «Не встречал»,— говорю. Пусть греется материнское сердце в надежде, не к чему матери последние, может, дни такой правдой темнить.

★

Егор поздоровей был и очень спать был мастер, пушками не разбудить. А Тиша, его дружок сердечный, был весь легкий такой, даже как бы светится из-за глаз голубых и веселого его голоса. И тоже не хилый, а так, на все отзывчивый, и спал от этого легко. И слышит Тиша, вошли какие-то, тихо хозяев спрашивают, не у них ли на ночевке Зыбин Егор? «А кто его знает,— отвечают,— спят двое на горище, сами и смотрите, который Егор». Тиша, тише мыши, к Егору за пазуху, бумаги его вытащил, свои ему сунул, Егор и не шевельнулся. И Тиша затих, будто спит. Пришли, Егора будили, будили, не разбудили, бумаги вынули, посмотрели, не тот. Тут и Тихон как бы сам проснулся, и оказался он Зыбиным Егором, и увели его. Когда Егор проснулся, да увидал Тихоновы бумаги, да услыхал, что Тихона увели,— разом людей сбил, кинулись, а и Тихона и разбойников этих уж и след простыл. Может, еще и найдется Тихон, только где да когда. А Егору до тех пор на сердце уголь.

★

Если ты немца не знаешь, так наперед тебе скажу,— немец гуся не вынесет, сердцем на гуся займется, слюной изойдет до смерти, пока гуся этого не слопает. И при этом случае, в одних подштанниках немец на гуся набежал, сует хлопчику деньги, а глаз у немца с гуся не сходит. Но хлопчик объяснил, что гонит гуся начальнику немецкому в подарок. Тут и еще немцы выбегли, смотрят на гуся, смотрят и друг на дружку, помешать же в этом случае не смеют. У них закон есть, обратный нашему: у нас не показывай на товарища, хоть бы чего тот ни наделал; у них обратный закон — друг на дружку по начальству доносить. Говорят, «иди мальчик». Привели хлопчика к коменданту, объяснили. Комендант голову задрал, брюхо выкатил, «хороший

* Зы́рить (*обл.*) — жадно глядеть; позы́рится — позарится, прельстится чем-нибудь.

мальчик, сколько плата?» — «Позвольте в лес сходить, мамке хвороста принести». Позволил комендант, убег мальчик в лес, повар гуся ловит. Баба мимо шла, гуся по голосу узнала,— «мой гусь»,— кричит! «Твой сынок нам подарил!» — «Да мне бог сынка не дал, только гуся дал!»— вопит баба. Кинулись немцы в лес, конечно, и следу не нашли. Сидит хлопчик в чащобе, в отцовском куреньке, оружие браткам чистит. Думаю, такому хлопцу в большом трактире служить, и то бы справился.

★

Он тыкву вырастил с бочку, а что с ней на войне делать? Ни меду, ни крупы, ни печи, ни горшка. Вроде осинового листа эта тыква сталась, козлу на закуску. Ей бы на выставку в Москву, кабы не война. Придумал все ж, вынес, чем надо начинил, подкатил поближе к немецкой хате, отбег недалеко, в огурцы залег, любуется. Как на счастье его, легковая машина с немецким начальником катит. Тыква ж, как золото, на солнце горит, и велика недопустимо, удивительно. Тут начальник перчаточкой в плечо, плечо машину застопорило. Вышло начальство к тыкве, говорит, «не хуже, чем у нас в Германии. Берить ее осторожненько и в машину». Ну, осторожно-то и не вышло. Ни начальника, ни плечиков, ни тыквы,— все дымом да громом ушло. И сам агроном до сей поры болеет, оконтузило его, любопытного. Дурнэ сало, так близко залег, глухой ходит.

★

Все гляжу я на эту свинью, все гадаю, лопоуха и рыло короткое, будет на вкус, как пасха свяченая. Ну, нравится мне свинья эта, как невеста. Да и не доели мы своей порции месяца за четыре, чистые скелеты ходим. И гуляет эта невеста моя, ровно барыня замужняя, и вольно, и без присмотру. Однако хозяева ей немцы, мы же все под кустиками, в лесах зеленеем. Тут праздник наш, как бы табельный денек, нашего атамана именины, Володя он был. И решил я утешить дружков, лег у самого свиного закутка в густую крапиву, в сумерки тихонько подкопался, дощечки отвел, она ничего, сопит. У меня с собой берестянка с медом. Я берестянку свинье, свинья в берестянку рылом. Я берестянку на себя, свинья за берестянкой. Я тихонько с берестянкой пятиться, свинья, рыла не вынимая, за берестянкой. Я в лес, за мной берестянка, за берестянкой свинья, моя невеста! В лесу навалился я на нее, замотал ей морду с берестянкой вместе, в мешок, и за плечи, и поволок! Ох, и были у Володи нашего именины хороши!

★

И были мы все как бы один, все дружки и братики. А насквозь если, так так: Сема вороват, Константин на девок тароват; Вася стряпуха, да продуктов ни духу; Степан швец, Иван на дудке игрец. И один из всех, Леша, настоящий товарищ, хороший: он своего дружка на себе сколько верст проволок, сам раненый тяжело. Все бы такие были, врагов бы лучше били.

★

Какая-то вроде лазейка, люк такой в подвал. Была не была, все равно скрыться нужно, и выбирать не из чего. Прыгнул я, и ушел с головой в старую капусту, в бочку целую. По макушку! Склизь, вонь, кой-как выкарабкался, насквозь в рассоле. На мне же две раны да сто ранок, не считая там царапин всяких. Загорелося тело нестерпимо, и болью, и зудом. Кинулся я на солому, стал кататься-вытираться и на холодное тело человечье натолкнулся. Какой-то тоской, сумованьем таким сердце мое зашлося. Приглядел ся, а это, господи! Наш Сопрунов! Мы же его в бегах числили, думали, из-за тяжкой нашей жизни ушел куда ни то. Собрал я Сопрунова, в порядок смертный привел, руки ему сложил на груди, волосы ему расчесал. И стали мы с ним рядом часу нужного ждать.

★

Меня старушка в печку мыться послала, чугун воды горячей заготовила, старика своего рубаху чистую отдала, и обмылочек даже, вроде брильянта

дорогого. Влез я в печку, она заслонку заслонила. Ну, в раю я! И наг, и в тепле, и мылом моюсь. Как выстрел, как заклохотала моя старушка, как в хате грубый такой голос: «Давай, что в печи, печь топится, значит страва есть, живо!» — «Да то ж я чугун с водой кипячу, для баньки своей»,— старушка отвечает. Не верит, «открывай и показывай»,— кричит. А старушка ему: «да вы сами, ваше благородие, посмотрите, коли не верите». Он заслонку прочь, морду в печь, шею загинает, присматривается. Тут я рраз его ногой в зубы, тут старушечка рраз его поленом по темени. Воин, а не бабушка! Я ее теперь все время в памяти держу. Победим, думаю, вскоре, тогда ее к себе жить возьму, мои-то бабушки обе давно померли, вот она одна мне за двух и будет родня.

★

Вдруг с перекрестка собака, боком скачет, не по-собачьи как-то, а пена из пасти бежит просто, клоками падает, голова же у собаки этой у самой земли болтается, и хвост провис мочалкой. Бешеная! А посреди улицы ребятишки играли. Выскочили за ними родные, кто куда потащил, кто в ворота, кто в дверь, кто на дерево. И одна белоголовенькая трехлеточка-девочка осталась, да еще на самом собачьем пути. От страху окаменела что ли, ну ни с места! Кричат ей со всех сторон: «Настька! Настька!» А Настька, как приросла! А собака ближе-ближе, скоком-боком, глаза мутные и кровью налились. Видит ли она, слышит ли она, а ближе к Настьке да ближе. И вдруг мальчик из чьей-то избы прыг, под самой собачьей пастью хвать девочку на руки, и назад в избу прыг! Дверь за собой захлопнул, и все как следует! А где же взрослые-то? Где же, скажем, мать-отец? Что же это, скажем, из людей страх делает, одних волками, других как бы христами-спасителями?

★

Вся деревня высыпала глядеть, как его вешать будут. Я же на Грунином огороде в кабачках сладкой ночки дожидаюсь, залег, никому не виден. Но слышу — бегут люди, и я к плетню. Глянул, Егор! Весь в крови, на шее веревка, за веревку и ведут его, как овцу на убой. Стыд мне в голову ударил, я-то ведь к бабе под подол ловчуся! И стала у меня от стыда этого одна разъединая думка. Я ж знаю за собой, что придумчив и не робею. Глянул я на его ноги — обе целы, остальное тело сильно попорчено, ноги ж идут крепким шагом. На его этих ногах вся моя надежда дорогая! Перемахнул я через плетень, встал во весь свой росточек немалый, да как гикнул диким голосом! Вся деревня на меня обернулась. Те стрелять, я бежать, вправо, влево, кидаюсь, как заяц. Ни одна пуля меня не берет. И в лес! Они было за мной, да неудобно, что ли, им в лесу показалось, побежали назад в деревню, Егора довешивать. Они Егора не знали, я Егора знал. И пошел я тихим, покойным шагом в наш родной куренек. Вошел отдыхая, а Егор уж там сидит, и дружки ему трубочку раскуривают.

☆

Горько девушкам пришлося. Мужики все в лес ушли, одни малолетние остались. А враг лезет к ним, а врагу всей силы не покажешь, врага наотмашь не отшибешь, как бывало, нашего брата, одной что крови. Тут я ее на опушке встретил, тут она сама мне поплакалась. «Обещался враг,— говорит,— опять вечером прийти, гостинцев принести»,— и плачет. Я ей приказал за кустом свою одежду снять, кинул ей курточку да шинельку, кой-как в девку передягся, главное мониста да ленты разные она сама на мне хорошо так навесила. Я же хоть и здоровенный, но личико у меня нежное, а ржать вам нечего по этому случаю. Оделся я и шмыгнул к ней в хатку, она же осталась у лесу. А уж темно. Тут и враг в хату. Я ж под окошками монистами звеню. Он и спрашивает, «что-то вы в темноте обретаетесь, на вашу красоту полного света не даете». И полез ко мне, «мне,— говорит,— в темноте-то еще сподручней, обнимить меня покрепче, Марусенька». Вот я его и обнял крепко-накрепко.

★

«Один уговор,— говорят хозяева,— как кто в хату, сразу чтоб на горище» Вскоре шаги, я на горище, и споткнулся обо что-то. Гроб сосновый, новый. Слышу лезут, я в гроб, и крышкой накрылся. Слышу, кто-то тоже об гроб споткнулся, чертыхнулся так тихонечко, и слышу, что это наш Иван Алексеевич! «Иван Алексеевич!»— шепчу. Он с переполоху спрашивает: «Кто? Что?» Я ему шепчу, а он гроб нащупал! Я ему еще разок: «Иван Алексеевич». А он, от загробного голоса, на гроб мой бух! Да всеми своими пудами крышку и придавил. Подышал я, подышал с минутку, и задохся. Спасибо, хозяева скоро вспомнили, обоих нас отлили.

★

Надо ж счастье мое разнесчастное, что прибрел я к родной хате, когда подожгли ее враги. У нас парадных дверей не водится, в какие войдешь, в те и уйдешь! У дверей же враг. Я поползнем за хату, стенку в клуне растолкал. Дым, жжет, тьма, огонь! «Мамо!— кричу,— это я, Гриць! Мамо,— кричу,— не видать мне вас, киньтесь,— кричу,— на мой голос на сыновний!» И припала мне мать моя на грудь, одна мне на свете самая желанная. Вынес я ее из нашей хаты через клеть, и рухнула за нами хата наша. Мы же спаслись. Я ее, мать мою, годую теперь, слепенькую, у докторши одной, тут же невдалеке.

★

Я сам свою семью и отправлял, думал,— счастье найдется. Жене своей, как прощались, говорил: «разыщемся, не горошинки, вместе будем троих своих детей, Васю, Настю и Марусеньку, в люди выращивать, как войну кончим». Сам их в теплушку устраивал, уютил их. Тут враг, тут взорвали поезд. Нашел я потом один посталочек кожаный, будто Марусенькин, завязочка синяя. А может, и не Марусенькин, много там деток было.

★

А у нас по своим мертвым души болят. Ночью под большой опасностью вылезем, и ворочаем трупы, ищем. Страшные они, есть что совсем уж смертью исказились. Только у нас свои сердечные приметы были, наощупь знали. У Степы мизинчик кривой, у Пети на коленке шишка, у Васи на лбу бородавочка. И все на счету, каждая точка на примете. Найдем, унесем, схороним, и ему спокойно, и нам легко.

★

Сидит у телеграфного столба, дерюжкой с головой накрытый. Окликнули — молчит. А под дерюжкой как бы птица бьется. Что такое? Тихонечко прикладом подтолкнули,— упал человек, дерюжка свалилась. Сербианин мертвый, лицо темное, как мощи, сухой, уж остылый. И шею его хилую обхвативши, приникла к нему обезьянка, ростом с крысу, не больше. Приникла и на нас старым таким глазом смотрит, как бы в испуге, как бы плачет-тоскует. Стали ее брать, бьется, кусается! Это что за беда, да боязно ее, такую, к человеку приверженную, зашибить или примять. Ну, кой-как сделались все же, унесли с собой. И любили мы ее, и нежили, и ума в ней была палата. Но тосковала, кашлять стала зло, и померла. Чуть не со слезами зарыли мы ее, до того она нам сердце грела.

★

Смотри и удивляйся! Не баба, а на груди что? Дитя грудное! И соска у дитяти во рту с черным, здоровым хлебцем, нежеванным! И дитя не пищит, во! Подобрали на дороге. Может, еще и сам вырощу, если случай будет, остановка какая-нибудь. А то отдам знакомым людям, до поры.

★

Иду лесом, слышу ребячьи голоса. Гляжу, мальчик и девочка, вместе им годков восемь будет, за бугром приникли, роются в снегу чего-то. Я к ним, они носами в сугроб, затылки руками накрыли, молчат. Я хоть и не учитель,

и не мамка, а детей не обижаю. Только моя какая ласка? Огладил их все же кой-как, спрашиваю: «Отец,— говорят,— наш в этом сугробе убитый лежит. Повесили,— говорят,— его немцы, а он потом от ветру сорвался, потом на него этот сугроб намело. Нам же похоронить его хочется». Раскопал я им отцовский сугроб,— ничегошеньки! Стоят ребята, как зашибленные, глазам не верят. «Это,— я им говорю,— вот как вышло: верно, отец ваш не умер, а притворился. Полежал, полежал, встал и пошел. Идем-ка и вы, я вас из лесу выведу». Обрадовались, пошли со мной, за обе руки держатся, чисто как мои бывало. Может и правду им сказал, на счастье. Вышли мы из лесу, они свою деревнюшку увидали, и туда. Кричат: «прощай, дяденька!»

★

У нас как бы передышка в лесу случилась, как бы отдых. А рядом деревенька, обгорелая, опустелая. И на том конце в ней враг засел, а на этом, вблизи нашей опушки, половинка избы недожженной сиротеет. Так вот, веришь ли, до того я по мирной работе соскучился, до того руки мои по невоенному труду истосковались, что стал под опасностью большой ежевечерно ходить в ту избу, достраивать и в полный вид приводить. Крышу покрыл чем смог; стены, где подрубил, где подставил; печку новую выложил; полы настлал; потолок накрыл. Чистое новоселье. А не пришлось мне там хозяев прежних дождаться. Вдруг да живы. Вот бы мне на ихнюю крестьянскую радость полюбоваться.

★

Идет девчоночка, у ней в руках туес с ягодой. Я отнял, все ягоды поел. Она стоит рядком, кулаком слезки утирает, а молчит. Отдал я туеску ей и говорю,— «был я, дочка, голодный до последнего, нагнуться за ягодой трудно мне, слаб, да и раненый я. Так уж не сердись ты на меня и не обижайся, может, и твой отец или брат там, так же вот с войной этой голодом живы». И тогда сказала она мне тихим голосочком: «отец да брат у меня оба воюют, а хочешь, дяденька, я тебе еще туес ягод насбираю?»

★

У них на допросе самая привычка была до того домучать, чтобы брата родного, и с адресом даже, им в руки передать. Но только наш народ крепкий, а этот еще и партийный был. Хоть шкуру с него дери, не выдаст. Так вот мучат они его, терзают, меня связанного на очереди держат. И вдруг, на муки его глядючи, встал у меня в душе всякий разум дыбом, ну, что называется, вожжа под хвост попала. Как завоплю я, не хуже бабы под чудотворной иконой: «довольно, сволочи, дьяволы», и там еще слова. Кричу: «я сам партийный, каленный, попробуйте, возьмитесь, может, добьетесь чего, а то, гниды, на одного насели». А какой я тогда партийный был? Я, и где эта самая партия помещалась, не очень знал.

★

Я и теперь не очень-то грамотный, был же я с младенчества на ученье лютый. Пряники не надо, книжку давай. Но не пускал меня отец учиться, бил даже за книжки. А я и не заметил, как читать выучился. Мать же моя великая наша заступница была, царство ей небесное, вечный покой. И вот слышу я как-то, говорит она ночью отцу: «Чего ты Сергею (это мне) свет застишь, учиться не пускаешь?» А отец ей: «Пусть,— говорит,— любое ремесло выбирает, какое только ему по душе, всякому ремеслу я первый потатчик, наше это кровное дело. А читать по наукам,— это от своей крови отойти, и на шею неграмотному сесть, вот так по теперешним всем делам выходит, и не перечь мне».

★

Лежит он наг, только на нем и осталось, что на груди икона, да через лоб венчик. Одежду же всю его забрал кто-то. Ахнули мы, потом смотрим, в головах у него записка положена. «Идем мы,— написано,— живые, по острому морозу совсем почти голые. Мертвому же одежда ни к чему. Простите Христа

ради. Мы же ему еще в головах и денежку положили, как положено,— на гроб да на саван». Денежка, точно, лежала.

★

Эй вы, реки,
эй вы, горы,
эй вы, чистые моря,
мы прогнали добровольцев
в чужедальние края.

Безоружны, безобужны,
безодежны,
голодны,
прогоняли вражье войско
со земель своих родных.

Эй вы, реки,
эй вы, горы,
эй вы, чистые моря,
как о нас
на всех языках
запоют, заговорят.

ПРИЛОЖЕНИЯ

I. ИЗ АВТОБИОГРАФИИ СОФЬИ ЗАХАРОВНЫ ФЕДОРЧЕНКО

Я родилась в Петербурге в 1888 г.[1], в семье инженера-технолога [2]. Первые годы жизни провела в глухой Владимирской деревне, в бедной крестьянской семье. Семи лет была взята отцом и начала учиться. С отцом я много путешествовала по России. Окончив гимназию и университет (не полностью), серьезно работала по фольклору. В 1914 г. ушла на фронт сестрой милосердия и пробыла там почти до Февральской революции. Написала свою первую книгу «Народ на войне». После Февральской революции сдала книгу и вернулась на фронт работать по помощи населению, пострадавшему от войны. Книга моя была хорошо принята, и с тех пор я стала профессиональным писателем. Я много печаталась, особенно после Октябрьской революции. С увлечением также я занималась и общественной работой; между прочим была организатором и первым председателем Сектора детской литературы С〈оюза〉 п〈исателей〉. В 1928 г., после тяжелого переживания, я серьезно заболела и, даже вернувшись к работе, «на людях» почти не показывалась. Сперва, по инерции, меня печатали, потом перестали и вспоминать. А некоторые товарищи по профессии, прежде незаслуженно называвшие меня «классиком», так же незаслуженно стали называть «бракоделом», ссылаясь на те же «классические» работы. Тогда я усердно писала 3-й том «Народа на войне» — «Гражданскую войну». В начале 30-х годов, по настоянию А. М. Горького, я стала вплотную работать над этим трудом моей литературной жизни. Тов. Горький высоко ценил эту книгу, называл ее «эпохальной» и предполагал выпустить ее полностью к 20-летию империалистической войны. Это не удалось, но работу я продолжала. Кроме того, после неудачи с этой книгой я начала работать над материалами для давно задуманного мной романа «Конец столетия», что делала с 34 г. до 40 г., когда я написала 1-й том. Его в 42 г. напечатала «Красная новь». Как и все мы в те годы, я чувствовала большой душевный подъем и тягу к работе 〈...〉 Во время войны я из Москвы не уезжала, ССП мне эвакуироваться не предложил. Да я бы все равно никуда не уехала, так как ни на секунду не верила в сдачу Москвы. Очень скоро нашу квартиру разбило, и мы 3 1/2 месяца жили в бомбоубежище. Там я писала поэму «Илья Муромец и миллион богатырей». Я писала ее на великом увлечении, и это совершенно перестраивало мою душевную жизнь, ничто не казалось трудным. Вернувшись в квартиру, я стала работать для ПУРа, где меня охотно печатали, частями напечатали в «Спутнике агитатора Красной Армии» моего «Илью Муромца», я написала тогда же сценарий, 2 пьесы, много солдатских сказок, продолжала поэму 〈...〉

С. Федорченко

20 мая 1952 г.

Отдел творческих кадров Союза писателей СССР. Хранится вместе с «личной карточкой члена ССП СССР». Печатается с сокращениями.

[1] С. З. Федорченко, по свидетельству ее мужа, Н. П. Ракицкого, родилась 19 сентября 1880 г. Она указывала обычно как год своего рождения 1888-й, вероятно, не желая признаваться, что она старше своего мужа, родившегося в 1888 г. В ЦГАЛИ (ф. 1611, оп. 1, ед. хр. 120) находится паспорт С. З. Федорченко, выданный 18 июня 1918 г. начальником

Старокиевского района милиции гор. Киева. В графе «Время рождения или возраст» проставлено «33 лет», но вторая тройка явно исправлена из восьмерки. Это подтверждает, что год рождения писательницы — 1880.

[2] Инженер-технолог Захарий Анатольевич Гониондзкий, в семье которого воспитывалась С. З. Федорченко, был ее отчимом.

II. ВОСПОМИНАНИЯ Н. П. РАКИЦКОГО О С. З. ФЕДОРЧЕНКО

Мы прожили с Софьей Захаровной вместе 40 лет. Родилась она в России в 1880 г. Мать ее была французская цыганка, по профессии артистка. Росла и воспитывалась в семье отчима — инженера-технолога Гониондзкого Захара Анатольевича. Мать жила большей частью в Париже, в Россию наезжая раза два в год. По семейным обстоятельствам девочка первые годы своей жизни жила в деревне во Владимирской губ., а в семь лет была увезена в Париж, где прожила до 12 лет. Отец ее был большим другом. К нему она сохранила на всю жизнь благодарность и безграничную любовь. С юности Софья Захаровна отличалась живостью и остроумием. Была уж очень остра на язык. Из-за своего характера ей пришлось пережить много тяжелых моментов. Она ушла на фронт первой мировой войны с самого начала и пробыла там до конца ее.

Я познакомился с Софьей Захаровной (в 1919 г.) в Евпатории (Крым), где я был заведующим кооперативной конторой Днепросоюза («Дніпровський Союз споживчих Союзів» Украины), а она машинисткой в конторе Центросоюза, куда ее устроил Я. А. Тугендхольд, художественный критик западного искусства, ее знакомый по Парижу.

В 1922 г. поселились мы на Пречистенке (ул. Кропоткина, 11) в подвальном этаже Толстовского музея, с разрешения тогдашнего директора Музея — Валентина Федоровича Булгакова (бывшего секретаря Л. Н. Толстого). Прожили там до 1 июля 1938 г., после чего перебрались в Лаврушинский пер., д. № 17, кв. 58.

В квартире на Пречистенке у нас бывало очень много людей. Будучи очень музыкальной, обладая великолепной памятью, она сумела сорганизовать группу любителей цыганского пения. У нас бывали частые собрания наших друзей. К ним принадлежали: С. А. Толстая (младшая), Александра Львовна Толстая, певицы, исполнительницы цыганских песен А. Х. Христофорова, Даша Мархоленко, Анна Герасимовна Середина-Гернгросс и многие другие.

Вдохновителем кружка был артист Николай Николаевич Кручинин. В числе почетных гостей, бывших у нас, часто вспоминаю артистов Художественного театра: О. Л. Книппер, Л. М. Кореневу, В. И. Качалова, И. М. Москвина, а также К. А. Тренева, М. А. Булгакова и др. Прекратились эти «чаепития» с переездом в Лаврушинский переулок — тут мы попали уже в другое окружение.

С 1923 по 1930 г. мы были регулярными посетителями «Никитинских субботников». Здесь Софья Захаровна часто выступала на собраниях.

Софья Захаровна очень любила наш сад (в Тарусе) и часто возилась с цветами, ягодниками. Там она в Тарусе много писала, читала. Время от времени она просматривала все написанное и очень часто сжигала рукописи и письма. У нас в семье всегда были собаки, которых она очень любила. Работала она усидчиво, забывая про еду и отдых. Не любила, когда наступали на «любимый мозоль» — тогда только держись. Была очень вспыльчива, резка, хотя быстро «отходила». К своей главной книге она возвращалась много раз. Работает, переделывает текст, сокращает, то бросает и долго не прикасается к ней, а то вдруг садится вплотную за работу и опять сокращает: ищет последнее слово.

Архив редакции ЛН

Николай Петрович *Ракицкий* (1888—1979) работал в Москве старшим агрономом Главного управления полезащитного лесоразведения при Совете Министров СССР.

Ракицкий развел в Тарусе Калужской области уникальный экспериментальный саддендрарий. Будучи страстным коллекционером, он собрал и передал Калужскому краеведческому музею и Тарусской картинной галерее много произведений живописи и разных историко-культурных ценностей. Ракицкому было присвоено звание почетного гражданина Тарусы.

АЛЕКСАНДР МАЛЫШКИН

ИЗ НЕЗАКОНЧЕННОЙ ПОВЕСТИ О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ

Вступительная статья Л. М. Вольпе
Публикация Л. Н. Кузиной

Творческая деятельность А. Г. Малышкина первой половины 20-х годов, как, впрочем, и деятельность большинства советских писателей той поры, овеяна грозовым дыханием революции и гражданской войны. Невиданные в истории человечества события, в которых довелось участвовать многим из этих писателей, требовали осмысления и полнокровного художественного воплощения. Вслед за повестью «Падение Даира», написанной в 1921 г. (впервые опубликована в альманахе «Круг», 1923, № 1), Малышкин создает повесть «Вокзалы» («Красная новь», 1923, № 2 и 3), рассказы «Комнаты» («Красная нива», 1923, № 23), «Ночь под Кривым Рогом» («Прожектор», 1923, № 5), «Случай с комиссаром» («Прожектор», 1924, № 1), «Вожди» («Красная нива», 1924, № 43), «Поезд на юг» («30 дней», 1925, № 7), очерк «Эпизод у высоты 210» («Военный вестник», 1924, № 33). Однако накопленные писателем за годы гражданской войны обильные впечатления всем этим не были еще исчерпаны.

В архиве Малышкина, хранящемся в Институте мировой литературы им. А. М. Горького, наряду с рукописями известных, опубликованных произведений находятся и материалы, относящиеся к незавершенной повести [1], действие которой должно было происходить, как засвидетельствовал сам автор на одном из листов своей рукописи, в период с октября 1919-го по февраль 1920 г.[2] На другом листе находим пометку, указывающую время работы над этим произведением: 1923—1925 гг. [3]

Современная критика, да и позднейшие исследователи не раз отмечали автобиографизм, постоянно проявлявший себя в произведениях писателя. В. Ермилов имел основание утверждать: «Творчество Малышкина на редкость автобиографично, хотя, разумеется, очень далеко от копирования фактов, являясь высоким художественным обобщением. Автобиографичность как бы подчеркивает кровную, глубоко личную, особенно непосредственную связь автора со всеми судьбами людей, проходящими перед нами в его произведениях, с теми жизненными проблемами, которые решают для себя герои» [4].

Все это в полной мере относится и к незаконченной повести, связанной с одним из этапов военной биографии ее автора. Напомним основные вехи этой биографии.

Малышкин с 1910 г. учился на историко-филологическом факультете Петербургского университета, делая в то же время первые шаги на литературном поприще. Завершив университетский курс в 1916 г., начинающий писатель осенью того же года был призван в армию и направлен для получения военного образования в «Школу прапорщиков по адмиралтейству при Ораниенбаумской морской учебно-стрелковой команде». Позднее этот период его жизни нашел отражение в повести «Февральский снег» (1927) — первой части «Севастополя».

После окончания школы Малышкин был направлен на Черноморский флот, где занял должность младшего офицера — ревизора на транспорте «Кача», головном судне бригады траления мин. Здесь он провел лето и осень 1917 г., встретил Великую Октябрьскую социалистическую революцию, стал выборным командиром матросского красногвардейского отряда.

Вернувшись после демобилизации в Пензу, он некоторое время жил на родине — в уездном центре Мокшане, активно сотрудничая в первых пензенских большевистских газетах — «Известия Пензенского Совета», «Пензенская беднота», «Ополчение бедноты», «Пензенская коммуна», «Клич». Затем — летом 1918 г. — переехал в Саранск, где жила его жена — Надежда Николаевна (урожд. Кузовкова). С 1 сентября 1918 г. Малышкин

начинает работать учителем русского языка и литературы в Саранском училище (преобразованном в начале 1919-го года в «Саранскую 3-ю советскую школу II ступени»), читает лекции красноармейцам Саранского гарнизона, посылает в пензенские газеты свои рассказы, статьи, фельетоны.

3 декабря 1918 г. в «Известиях Саранского Совета» в «Списке кандидатов, предназначенных на командные должности» называется и фамилия Малышкина [5]. В конце июля 1919 г. писатель был призван в ряды Красной Армии и во главе команды разведчиков направлен в Самару, к фронту (первое письмо из эшелона жене датировано 3-м августа 1919 г.). О последующих событиях, происшедших в его жизни, мы узнаем из письма, отправленного Н. Н. Малышкиной-Кузовковой из Самары 6 августа 1919 г. В нем, в частности, читаем: «Милая Надюша, наконец-то как будто закончилась моя многострадальная Одиссея. Неожиданная встреча совершенно иначе устроила мою судьбу — и, кажется, к лучшему». Подробно рассказав об условиях жизни в теплушках, где размещалась его воинская часть, он далее пишет: «Я как-то отправился в город и встретил совершенно неожиданно одного приятеля — из Мокшана, которого потерял из виду лет 5 назад; оказывается, он занимает видный пост — состоит уполномоченным для поручений при Главнокомандующем. Он ухватился за меня и сказал, что им требуется очень срочно историк-специалист, не историк ли я? Я ответил, что да. Тогда он начал хлопоты — я получил аудиенцию, а через день предписание к моему командиру полка с приказанием откомандировать в распоряжение начальника штаба Командующего Южной группой для занятия должности в военно-историческом отделе. Прощай, значит, гренадеры и разведчики. Сейчас утро — пишу в комнате моего приятеля, где я ночевал в лучшей гостинице города. Сегодня буду искать квартиру, а завтра уже явлюсь на службу. Ты, наверное, не знаешь и удивишься — зачем историк. Всегда во время войны пишутся истории главных армий — это материал для военной науки и увековечения славы. Мне эта работа, конечно, интереснее, чем всякая другая, и, несомненно, приложу все усилия, чтобы оправдать рекомендацию моего приятеля 〈...〉 Теперь все оформление сделано и документы уже на руках» [6].

Это письмо дает нам возможность установить, во-первых, благодаря каким обстоятельствам Малышкин стал сотрудником штаба Южной группы Восточного фронта, и, во-вторых, уточнить дату начала его служебной деятельности в Самаре — 6 августа 1919 г.

Из другого письма к жене, которое можно датировать 3-м или 4-м сентября 1920 г., мы узнаем и о том, когда закончилось его пребывание в Самаре: «Все наши уже уехали 〈...〉 Я получил приказание отправиться одиночным порядком. Теперь доживаю в Самаре последние дни, а 6-го сентября с попутным эшелоном направлюсь в Кременчуг 〈...〉 Если случится что-нибудь особенное, пиши в пространство: Действующая армия, штаб 6-й армии, Оперативное управление, начальнику Информационно-исторического отделения» [7].

С 6-й армией Малышкин участвовал в боях за Каховский плацдарм, в штурме Перекопских укреплений, в освобождении Крыма от врангелевских полчищ. После завершения Перекопско-Чонгарской операции и недолгого пребывания в Крыму он служил в Херсоне, а затем был переведен в Учебный отдел Военной академии в Москву. После демобилизации из Красной Армии в конце 1923 г. стал работать в газете Народного комиссариата по военным и морским делам «Красная звезда» (первый номер вышел 1-го января 1924 г.).

Таковы основные вехи жизни Малышкина в годы революции и гражданской войны. Для нас сейчас важен период его службы в Самаре, который, как помогли установить письма писателя, длился ровно 13 месяцев: с 6 августа 1919 г. по 6 сентября 1920 г.

Некоторые из сохранившихся писем дают известное представление о характере его служебной деятельности этого периода. Так, 22 ноября 1919 г. он пишет: «Что касается моей работы, то первая часть ее была отпечатана на машинке и представлена «по начальству». Результаты — самые лестные. Отделение получило благодарность, на работе наложена резолюция— «Обстоятельная и серьезная работа». В смысле здоровья она мне действительно стоила немало 〈...〉 Когда закончу и остальную половину, нарисую схемы и планы,— тогда подам рапорт об отпечатании ее в нашей типографии. Говорят, что это осуществимо, если к тому времени бумажный кризис не превратится в полное безбумажье» [8].

Речь здесь идет о военно-историческом сочинении Малышкина «Бугуруслано-Уфимская операция Южной группы 11 апреля—19 июля 1919 года», в которой характеризуется



А. Г. МАЛЫШКИН В ПЕРИОД РАБОТЫ В ШТАБЕ 6-Й АРМИИ
Фотография. Херсон, 1920
Институт мировой литературы им. А. М. Горького, Москва

стратегический замысел М. В. Фрунзе по разгрому левого крыла колчаковского фронта, выразительно показан ход боев, последовательно воссоздан боевой путь 25-й Чапаевской дивизии.

Сочинение это хранится в Отделе рукописей Института мировой литературы им. А. М. Горького и, к сожалению, до сих пор не опубликовано [9].

В других письмах к жене много внимания уделяется бытовой стороне самарской жизни [10]. Эти впечатления впоследствии найдут отражение в незавершенной повести.

Когда Малышкин прибыл в Самару, там находился штаб Южной группы Восточного фронта. Но уже в середине августа 1919 г. Южная группа была превращена в особый, самостоятельный Туркестанский фронт. Он пополнялся свежими частями.

Повесть Малышкина и начинается с изображения подготовки к формированию новой дивизии, которой предстоит совершить большой поход в Среднюю Азию. Вот как характеризует сам автор в одной из своих записей обстановку, в которой должно развертываться действие повести: «Освобожденная Сибирь. Передовые части Красной Армии соединились с Туркестаном. Фронт, боровшийся против Колчака на южном участке, нацелен теперь на Среднюю Азию. Но назначение его дивизионных и военных аппаратов еще неизвестно.

Огромная фронтовая гостиница-общежитие — «Красная Армия». Раньше — международный отель на мировой дороге из Европы в Среднюю Азию, Персию. Сверху донизу населен работниками штаба фронта и их семьями: здесь бывшие генералы, офицеры генштаба, даже осколки некогда титулованной знати, политработники, курьеры связи. Все это кочевьем движется по следам Красной Армии, сзади голодная, тифозная Москва, Пет-

роград, здесь — сытая жизнь; впереди — на путях наступающей армии — чудятся какие-то еще более обещающие дали.

Но будущие пути еще никому неведомы. В гостинице — только слухи» [11].

Командующим армиями Туркестанского фронта был назначен М. В. Фрунзе, до этого командовавший Южной группой Восточного фронта, а затем и всем Восточным фронтом.

Неудивительно, что на одном из листков, вложенных в рукопись повести, мы находим такое название — «Поход Фрунзе» [12]. Впрочем, это написано рукой неустановленного лица, нигде название это не повторяется, и у нас нет достаточных оснований считать его авторским.

Образ самого Фрунзе встречается только в одной сцене, которую, правда, можно считать отправной для всего последующего развития сюжета. Это беседа Командующего фронтом с Клеминым, сражавшимся против Деникина, участвовавшим в ликвидации рейдового корпуса белогвардейского генерала Мамонтова, а теперь переброшенным на Восток, на вновь образованный Среднеазиатский (Туркестанский) фронт.

Командующий фронтом не назван по имени и фамилии, но в его характеристике легко узнать Фрунзе. «Когда-то они вместе выехали из рабочего дымного уезда, ставшего русским Манчестером ⟨...⟩ Теперь его большая, квадратная в рыжем ежике голова была известна не только России. Это его внезапные и истребительные охваты и ударные кулаки, в которые он умел сгущать и молниеносно комбинировать неуклюжие, трудно поддающиеся расчету, но буйные волей красноармейские и красногвардейские орды (потому что тогда не было армий), разбили и отбросили белый фронт на востоке за Урал и к Каспию. Всюду шла с ним кучка людей, ребят уезда, теперь выброшенных вместе на верха России. Он был не только командующий — товарищ...» (наст. том, фрагмент 1).

К сожалению, образ командующего в сохранившихся фрагментах повести больше не показан и лишь упоминается в отдельных вариантах плана. Но к образу полководца, под водительством которого, в сущности, прошла вся служба Малышкина в рядах Красной Армии, писатель обращался и в своей работе историка и журналиста. Когда 31 октября 1925 г. Фрунзе не стало, Малышкин откликнулся на эту смерть проникнутой скорбным пафосом статьей «Боевой путь вождя»: «Товарища Фрунзе знают боевые знамена, исхлестанные ветрами Приуралья, Туркестана, Таврии — ветрами необозримых долин, дорог, тысячеверстных пространств, где невидимая рука вождя двигала к победам могучие массы революционных армий» [13]. Не перекликаются ли эти строки с повестью о готовящемся походе на Восток, над которой именно тогда работал писатель?

Уже в первых, экспозиционных главах повести вырисовываются ее главные персонажи. Это прежде всего начальник формируемой дивизии Семен Клемин, о котором мы читаем в одной из авторских записей: «Семен Клемин — сын сторожа, был на заводе, ушел в армию. Подвезло — оттуда явился революционером-командиром. Он в глубине прост — озлоблен, мститель, но есть крестьянская романтика — это Индия» [14]. В тексте повести с ее отступлениями в прошлое мы узнаем о его детстве, типичной биографии характерного для Малышкина героя, «человека из захолустья», в ходе революции выходящего на просторы мировой истории.

Для художественной структуры произведений Малышкина характерно наличие лейтмотивов, обычно в виде образов-символов. В рассматриваемой повести с Клеминым связан возникающий в его сознании еще в детские годы образ романтической мечты — «Индия».

Малышкин всегда писал о людях, плененных мечтой. О грядущем, неуловимом счастье каждый из них грезил по-своему. «Ярь-пески, туманны горы», скрывающиеся за непреодолимой террасой, как «брезжущий в потемках рай», манят к себе безымянных героев «Падения Даира». Неведомая «Атлантида» часто волнует искушенного в философии Сергея Шелехова («Севастополь»). «Город-заря Сызрань» нередко встает заманчивым видением перед глазами мастера-краснодеревщика Ивана Журкина («Люди из захолустья»). В ряду этих образов-символов, обозначающих извечную тягу человека к далекой мечте, занимает свое место и образ Индии, символизирующей сказочно-счастливый мир.

С образом Индии перекликается и другой лейтмотив, выраженный во французском слове «мондьяль» (мировой), мотив мировой революции, о которой мечтало тогда множество людей и к торжеству которой, как представляется Клемину, приближает намеченный поход, несущий освобождение братским народам Средней Азии.

Семен Клемин видит в новом задании командующего осуществление и своих давнишних мечтаний, туманных мальчишеских грез, и надежд миллионных масс трудящихся,

Потому-то он, как зачарованный, следит за работой своего начальника штаба — Августа Ивановича Люде, что-то вымеряющего циркулем на карте, превращающего, как кажется Клемину, его мечту в явь.

Люде, бывший «капитан (в других вариантах — полковник) Генерального штаба» (или, как принято было писать в официальных документах после отмены всех чинов и званий,— «Генерального штаба Люде»), латыш или эстонец, «хладнокровный, опытный викинг»[15], по определению автора, как бы воплощает путь военного специалиста — «военспеца», безоговорочно пошедшего на службу революции. Можно полагать, что какие-то черты для образа Люде Малышкин взял у командующего 6-й армией Августа Ивановича Корка (тоже бывшего офицера Генерального штаба и эстонца по национальности), под начальством которого он служил на Южном фронте. Этим и объясняется совпадение имени и отчества.

Если Клемин и его начальник штаба — люди, целиком преданные революции и ничем себя не запятнавшие, то иным предстает перед нами исполняющий обязанности начальника снабжения дивизии — Свиридов. Он работал одно время в органах Чрезвычайной комиссии, но был уволен оттуда по подозрению в провокаторской деятельности в годы первой русской революции. Поэтому Люде относится к нему с настороженностью и подозрительностью, в отличие от решительного, но доверчивого, увлеченного своей мечтой Клемина. Это отношение Люде к Свиридову вполне оправдывается дальнейшим развитием действия. В одном из набросков повести дается зарисовка местного базара, «торжища», где орудуют спекулянты, в сношениях с которыми оказывается замешанным Свиридов[16]. Впрочем, в сохранившихся фрагментах повести характеристика его, как и некоторых других лиц, остается не вполне ясной.

Среди персонажей повести мы находим и лицо, наделенное в известной степени автобиографическими чертами. Это один из дежурных адъютантов командующего фронтом. Писатель сообщает о нем в цитированном отрывке: «Революция, войны, фронты — ухватили его тотчас же по окончании университета (так же, как и самого автора.— *Л. В.*). Намечавшаяся карьера будущего приват-доцента оказалась прерванной. Но он продолжает мечтать о работе, о труде, который даст ему будущее. Бережет себя для будущего»[17]. В одних вариантах он носит фамилию Шелехова, в других — получает уменьшительное имя Додика (из писем Малышкина мы узнаем, что так звали одного из его сослуживцев по Оперативному управлению). В незавершенной повести он пока где-то на втором плане. На первый план он выйдет в следующем произведении писателя — «Севастополе».

Существенное значение в повести о войне неожиданно приобретает еще одна тема — тема школы, тема детей, тема будущего. В беглых зарисовках писатель показывает, что школа переживаемого времени в сложнейшем положении. «В школах — заиндевевшие стены, незастекленные окна, дует, в школах нет бумаги, перьев, нет учебников». Учителя порой без жалованья, без пайка. Но в наробразе говорят о прекрасных домах для детей — домах, полных света, «где каждое движение, каждый жест человека-ребенка будет ритмичен и полон красоты». И заведующий губнаробразом, молодой энтузиаст, тяжело больной («легкие сгорели — и он умрет завтра»), страстно верит в то, что будет создана жизнь, с первых шагов человека пронизанная красотою, что в огромных стеклянных дворцах «дети будут учиться труду, но это будет не только труд, но и радость, танцы, музыка» (наст. том, фрагмент 2). За воплощение этой мечты стоит воевать, идти на смерть, преодолевать нескончаемые версты тяжелых походов.

Мы видим, что повесть Малышкина намечалась как сложное, многоплановое произведение, в котором, по словам самого автора, «фантастика (Клемин, Индия) мешается с реальностью (гостиница)»[18], изображение событий настоящего с воспоминаниями о прошлом, с грезами и мечтаниями о будущем.

Это определило и разнообразные стилевые тенденции произведения. Если в описании быта гостиницы, обывательских забот некоторых ее обитателей мы находим натуралистические черты и в то же время чувствуем иронию писателя, то мечты об освободительном походе и все изображение России, пришедшей в движение, выдержаны в приподнято-романтических тонах.

Показательно в этом отношении начало одного из фрагментов повести, представляющее как бы своеобразный запев: «Из-за Волги — с калмыцких, башкирских, пугачевских земель идет пурга» (наст. том, фрагмент 3). Многократно повторяющийся образ ветра, пурги, бурана, метели для передачи исторического движения человеческих масс роднит

эту повесть с революционной поэмой Александра Блока, с прозой ряда советских прозаиков 20-х годов — Вс. Иванова, Б. Лавренева, Б. Пильняка, Арт. Веселого, с другими произведениями самого Малышкина тех лет.

«Подъемные эпохи, всем народом переживаемые,— справедливо писала Мариэтта Шагинян,— отражаются в прозе пафосным ритмом»[19]. Для стиля неоконченной повести Малышкина, как и для его же «Падения Даира» и «Вокзалов», как раз и характерна взволнованная ритмичность, создаваемая инверсиями, нагнетанием однородных слов («это свет из страны чудовищной, недостижимой, прекраснейшей», «там мечутся, кричат, хрипят в огненном сне»), параллелизмами («отскрипели дровни, отскулил самовар»), анафорами, повторами, риторическими вопросами («И разве в туманах — на тех землях — не сойдутся их пути ⟨...⟩? И разве не будут петь о всех — и об этих? И засыпали. И ветры шумели — теми путями, которыми уже шли. И в ветре, в пути были глаза задавленных, прорвавшихся к свету»).

В языке повести много безличных предложений («и прорвало от черной ночи, от платформы, неслось, скакало в ночь — без гудков, без огней»), неопределенных наречий и местоимений (где-то, откуда-то, каких-то), неологизмов («мутево», «серь», «излучивались»), субстантивированных прилагательных («пройти через город, в безбрежные земли, в муть, в гиблое и пурговое»). Все эти лексические и синтаксические особенности придают повествованию какую-то импрессионистскую неясность, подчеркивают стихийность и хаотичность изображаемых событий, стихийность, явно преувеличиваемую писателем. Поэтому нас не должны удивлять такие встретившиеся уже в одной из цитат слова, как «буйные волей ⟨...⟩ орды» в применении к первым красноармейским, полупартизанским формированиям. Вспомним, что примерно в те же годы Ник. Тихонов назвал свой первый сборник романтических стихотворений о современности — «Орда».

Но важно отметить и другое: Малышкин не забывает сказать, что эту хаотичность и стихийность происходящего стремится ввести в определенное русло «организационный разум» пролетарской революции — Коммунистическая партия.

Малышкин работал над своим произведением напряженно и упорно. Об этом свидетельствует наличие многих вариантов первых глав, обилие поправок, вычеркиваний, дополнений, бросающееся в глаза даже при беглом знакомстве с рукописями. Чувствуется, что писатель стремился четче выразить идею, рельефнее вылепить образы, тщательно шлифовал каждую фразу. И все же работа не пошла далее создания экспозиционных глав. Может быть, писателю не хватило для воплощения своей темы конкретных жизненных наблюдений. Ведь Малышкин (в отличие от Д. А. Фурманова, например) так и не побывал на полях сражений Туркестанского фронта. Когда командующий прибыл в феврале 1920 г. в Среднюю Азию, где находился до сентября того же года, Малышкина в составе его полевого штаба не было: по роду службы он оставался во втором эшелоне фронта — в Самаре.

Возможно, что автору стал казаться несколько искусственным, надуманным занимавший столь значительное место мотив Индии: ведь реальный поход войск Туркестанского фронта не преследовал цели непосредственной военной поддержки индийского освободительного движения, о чем склонен был мечтать Клемин. А вскоре писателя целиком захватил новый замысел, только намечавшийся в повести о Туркестанском походе,— история гражданского формирования молодого интеллигента в обстановке революции, история, целиком построенная на автобиографическом материале. Началась работа над повестью «Севастополь».

Правда, года через два Малышкин вернулся к своей прежней теме, на сей раз попытавшись облечь ее в драматическую форму.

Во второй половине 20-х годов Московский Художественный академический театр (тогда — МХАТ I), стремясь к обновлению репертуара, к сближению с советской действительностью, завязывает широкие связи со многими советскими писателями, преимущественно младшего поколения. На сцене театра ставятся пьесы Вс. Иванова, К. Тренева, М. Булгакова. Вал. Катаева, Л. Леонова. По совету В. И. Немировича-Данченко режиссер Б. И. Вершилов и заведующий литературной частью театра П. А. Марков в 1928 г. обратились к Малышкину с просьбой написать пьесу для МХАТа. Писатель откликнулся на это предложение и, продолжая работать над повестью «Севастополь», начал трудиться над созданием пьесы, условно названной «Легенда». В основу ее сюжета он положил замысел неоконченной повести. О ходе работы над пьесой можно судить по со-

хранившимся в архиве письмам. В недатированном письме к Клавдии Николаевне Кузовковой (сестре его жены, умершей в 1920 г.) он сообщал: «Пьесу пишу для I-го Художественного театра (старого), по их предложению (поактно работаю с режиссером). Думаю закончить ее уже к осени, да, если она будет одобрена, будет около двухсот репетиций — значит, увижу ее на сцене не раньше 1929—30 года. Там очень культурные люди, они одобряют, работается с большим увлечением» [20].

В недатированном письме Малышкина к Б. И. Вершилову читаем: «К этой вещи я вообще подхожу со священным страхом, надеждами на удачу первого же опыта отнюдь очень не обманываюсь, но все же для меня это — вещь, которую когда-нибудь надо сказать. И чувствую, что не оставлю ее до «победного» (в смысле самоудовлетворения) конца» [21].

В беседе с автором настоящей статьи (3 июня 1952 г.) Борис Ильич Вершилов сказал: «Пьеса, к сожалению, не удалась писателю. В. И. Немирович-Данченко, прочитав представленный вариант, нашел, что, несмотря на умелое построение образов, несмотря на живой, яркий диалог, несмотря на хорошо завязанный «конфликтный узел», пьеса не сценична, нет, по существу, развязки, ставить в таком виде пьесу нельзя» [22]. Малышкин, по всей вероятности, взялся за радикальную переработку своего первого драматического произведения, но работа не была завершена. В письме к К. Н. Кузовковой, обозначенном — «30/XI», но, к сожалению без года (1928 ?), говорится: «Сам я в настоящее время занят окончанием романа. Пьесу пока оставил — надоела» [23].

Текст пьесы, несмотря на все усилия исследователей, до сих пор не обнаружен. Н. Малахов, проанализировавший сохранившиеся в отделе рукописей ИМЛИ материалы к пьесе [24], предложил в своей статье «„Легенда“ А. Малышкина» [25] во многом убедительную реконструкцию ее сюжета. Тем самым он помог более отчетливому уяснению и некоторых особенностей намечавшегося сюжета неоконченной повести. Ведь оба эти произведения базируются на одной основе.

Теперь читатели могут познакомиться и с самой повестью по нескольким ее фрагментам, представляющим несомненный интерес.

Основанные на живых впечатлениях ее автора — участника гражданской войны, они дают возможность читателю лучше понять, почувствовать атмосферу тех незабываемых суровых лет, героических устремлений и романтических порывов, сочетавшихся с неимоверными трудностями быта, с попытками некоторых случайных лиц, примазавшихся к революции, и тут «сделать карьеру», «извлечь личную пользу». Печатаемые страницы повести позволяют нам полнее представить себе и творческую биографию писателя, направление его художественных поисков в 20-е годы, эволюцию его образов и стиля. Тут существенны многие детали. Всего в одном эпизоде возникает перед нами фигура казначейского сторожа Антона Ивановича, отца братьев Клеминых. А ведь как она характерна, сколько вызывает ассоциаций! Сразу вспоминается отец героя «Людей из захолустья» Николая Соустина — пекарь по прозвищу «Собачка». Между ними несомненное родство. А изображение телеграфиста Вани Клемина, его быта, его обывательских страхов, его отношения к мамаше? Ведь это — тот же «Мшанский уезд». Становится ясно, что незавершенная повесть — своеобразный «мостик» от раннего творчества Малышкина, от «Падения Даира» и «Вокзалов» не только к «Севастополю», но и к «Людям из захолустья».

Знакомство с публикуемыми фрагментами обогащает наше представление о путях развития советской прозы периода ее становления.

Сохранившиеся рукописные материалы повести — 90 пожелтевших от времени листов разного формата, исписанных беглым, трудноразбираемым почерком,— разнородны по содержанию. Здесь и планы повести, и списки действующих лиц, порой с краткими характеристиками, и конспекты, и наброски текста отдельных глав. Варианты планов свидетельствуют о том, что в повести намечалось восемь или девять глав.

Ниже публикуются три фрагмента:

1. Текст I главы (ед. хр. 11, лл. 1—16 об.)
2. Текст II главы (ед. хр. 10, лл. 15—20 об.)

Номера обеих глав (I и II), а также звездочки внутри глав обозначены автором. Завершенность фрагментов отмечена автором в том и другом случае чертой под текстом.

Тексты первой главы и второй главы принадлежат к разным редакциям. Поэтому

в них не все согласовано. Так, например, Свиридов приезжает в гостиницу дважды: сначала в первой главе, а затем — во второй. Другие варианты этих глав в публикации не воспроизводятся.

3. Фрагмент (ед. хр. 11, лл. 18—19), принадлежность которого к определенной главе установить трудно. Он не завершен, но представляет собой единое связное повествование. Начало фрагмента обозначено звездочками. Последний лист не дописан и никакого знака, указывающего на завершенность фрагмента, нет.

В конце публикации дан отрывок, тематически перекликающийся как с третьим, так и со вторым фрагментами. Часть текста зачеркнута и ничем не заменена. Она также печатается (в квадратных скобках).

В других случаях зачеркнутые слова и строки не воспроизводятся.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] ИМЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 9—11. См. также ед. хр. 39, лл. 1, 14, 23—24. В дальнейшем при ссылках на этот фонд указываются только: ИМЛИ, единица хранения и лист.
[2] Там же, ед. хр. 9, л. 23.
[3] Там же, л. 10.
[4] В. Ермилов. Мечты о счастье. Писательский путь Александра Малышкина.— В кн.: А. Г. Малышкин. Соч. в 2 томах, т. 1. М., 1965, с. 3.
[5] «Известия Саранского Совета», 1918, № 42, 3 декабря, приложение.
[6] ЦГАЛИ, ф. 1258, ед. хр. 4, л. 28.
[7] Там же, л. 20.
[8] Там же, л. 48.
[9] ИМЛИ, ед. хр. 120.
[10] См. ЦГАЛИ, ф. 1258, ед. хр. 4.
[11] Опубликовано в статье Л. Вольпе «Творчество А. Г. Малышкина в 1922—1927 гг. (От «Падения Даира» к «Севастополю»)».— Уч. зап. Пензенского гос. пед. ин-та им. В. Г. Белинского, вып. 1, Пенза, 1954, с. 90.
[12] ИМЛИ, ед. хр. 9, л. 1.
[13] «Красная звезда», 1925, № 251, 3 ноября.
[14] ИМЛИ, ед. хр. 9, л. 22.
[15] Там же, л. 36.
[16] Там же, ед. хр. 10, лл. 21—24.
[17] Уч. зап. Пензенского пед. ин-та, вып. 1, 1954, с. 90.
[18] ИМЛИ, ед. хр. 9, л. 31. Эта фраза заключает фрагмент, который был найден и прочитан Л. Н. Кузиной: «Индия; есть пошлые — есть ужаснувшиеся — но и те, и другие идут. Первых — манит обилие, тоже маячит что-то сказочное — по-своему заманчивое. Вторые — сквозь ужас — видят красоту и мечтают об отрыве от обычного; но — бескрылы.

Серафима — жизнь.

Поезда на Индию—шли среди ужаснувшихся и бегущих и прячущих мешки с запасами. Циклон додыхивал до Индии. Но она была — другая — не пальмовая, а озаренная. Страшны глаза увидевших ее — а вдруг не дойти.

В сущности, в повести фантастика (Клемин, Индия) мешается с реальностью («Гостиница»).
[19] *ВЛ*, 1973, № 7, с. 96.
[20] ЦГАЛИ, ф. 1258, ед. хр. 5, л. 21—22.
[21] Архив М. П. Малышкиной (Москва).
[22] Запись беседы хранится у автора настоящей статьи (Москва).
[23] ЦГАЛИ, ф. 1258, ед. хр. 5, л. 7.
[24] ИМЛИ, ед. хр. 115.
[25] *ВЛ*, 1959, № 11, с. 191—194 (см. также кн.: Н. Малахов. Об Александре Малышкине. Очерк творчества 20-х годов. Ташкент, 1960, с. 76—82).

⟨ФРАГМЕНТ 1⟩

I

Когда-то полуевропейский отель на сквозном пути в Ташкент, Персию и Бухару. Когда-то через все эти лощеные коридоры, вестибюли, комфортабельные номера циркулировала исключительно публика международных и скорых, и деловая и веселящаяся; сквозь открытые ниши в верхних коридорах гудели высоты ресторанного зала, гремел симфонический внизу, в кино «Ориент»; свет мировых городов, экспрессов — молочно-пронзительный бил с фронтона прямо в остолбенелую губернскую глухомань. Теперь в ресторане — столовая сотрудников фронта, населивших все этажи. Теперь



М. В. ФРУНЗЕ
Фотография. 1919
Центральный музей революции СССР, Москва

ходили в зеркальный вестибюль ночью и днем, ни сколько не сдерживаясь аже в полночь прогромыхать по коридору вовсю увесистыми, забывчивыми сапогами, будто здесь тоже осеннее, слякотное поле, огоньки цигарок, винтовки и братва. Входили и поселялись разные, приезжал с яицкого фронта командарм из прапорщиков, разносил матом коменданта на все коридоры, ночью вдруг начинали выкрикивать речи, встречая делегацию монголов из Средней Азии, куда только что прорвался фронт, политработники тискались в одном белье в дверные щели, заспанно махали руками, кричали «да здравствует», «ура»; ночью увели из 301-го сестру милосердия, оказалась агентом белогвардейской разведки, а в гостинице думали, что ничего особенного — только мажет губы и распевает романсы Вертинского; расстре-

ляли. И хотя в коридорах и номерах сохранялось еще кое-что от отеля — портьеры, ковры, шикарная когда-то мебель модерн, матовые полусумерки вечером, где вот-вот заноют кафешантанные скрипки, зажужжит в матово-рябых стенах лифт, вознося сигарных, цилиндровых, сытых, бездельно и упоенно постукивающих пальцами по костяному набалдашнику,— хотя в номере мадам Нейбар или княгини Аристовой или там еще кое-кого из спецов как-то сами собой создались нарядные, раздушенные, кружевные уюты, все-таки нельзя было забыть, что главное, это — осеннее слякотное поле, мамонтовщина, бои под Орлом, винтовки и огоньки цигарок в ночи, вшивые эшелоны: из них и в них проходили и уходили ночью и днем, как сквозь колючий ветер, и на фронтоне, на высоте четвертого этажа, рабочий протягивал руку красноармейцу, указывая другой в вышину Волги, перелесков, яицких там степей, и крупно золотело: гостиница «Красная Армия».

* * *

Маршрут: бои на железнодорожном валу за Орлом, отступление с остатками измученного, излохмаченного и голодного отряда по улицам Орла, под пулями оконных и подворотных засад, Москва,— там для фронтовиков давали обед — жидкий суп, комочки котлет, кофе с ложкой сахарного песку, там говорили речи. Член Коминтерна — круглый, приземистый, в пиджаке поверх вязаной фуфайки; он багровел, приседая, хватая воздух скрюченными пальцами, исступленно кричал: — капиталь мондьяль! революсьон мондьяль! и море грязных, свалянных шинелей и полушубков и косматых малахаев орало, остервенело махало шапками, не понимая слов, это орали и махали туда, за махорочную муть комнат, и за голодные улицы, в запертые, запрещенные, расплеснутые где-то огромно страны, уже приподнимающиеся там в своих туманах, откликающиеся на зов...

Дорогой Клемин вспомнил, тихонько рассмеялся про себя — ха-ха! мондьяль!..— показалось чудно, спросил у спутника, полковника-генштабиста Люде: «Август Иваныч, вы там учились по-иностранному-то, что это такое: мондьяль!..»

Ехали в штаб среднеазиатского фронта, откуда три месяца назад товарища Клемина бросили с отрядом на помощь южному,— теперь командующий фронтом вызывал обратно. Клемин прошел к нему прямо с вокзала.

— Вы назначаетесь начальником стрелковой дивизии, которую надо срочно формировать немедленно. Ядро... бригады... полки... В сентябре мы соединились с Туркестаном. Ваша дивизия предназначается для оккупации Средней Азии.

Клемин слушал, глядя в светлые глаза рыжеватого, рыхло-белого,— когда-то они вместе выехали из рабочего дымного уезда, ставшего русским Манчестером, вместе пережили первые дни гражданской войны, неверные и жуткие, как петля... Теперь его большая, квадратная в рыжем ежике голова была известна не только России. Это его внезапные и истребительные охваты и ударные кулаки, в которые он умел сгущать и молниеносно комбинировать неуклюжие, трудно поддающиеся расчету, но буйные волей красноармейские и красногвардейские орды (потому что тогда не было армий), разбили и отбросили белый фронт на востоке за Урал и к Каспию. Всюду шла с ним кучка людей, ребят уезда, теперь выброшенных вместе на верха России. Он был не только командующий — товарищ... От этих дружественных светлых глаз охватывало теплотой, предчувствием какой-то большой и удачливой работы.

— Дивизия, которую вы будете формировать, со временем может развернуться в армию. Во всяком случае вам будут даны особые полномочия.

Клемин молчал, как бы думая. Теперь надо было заговорить о главном.

— Товарищ... я хотел бы вот что... Вы помните наш разговор летом, перед моей командировкой?

Он перегнулся через стол, голубые выпуклые глаза его были воспалены, может быть — это дорога, муть, давка в командировочном вагоне —

— Я проездом в Москве был у этого (он назвал крупное имя по Средней Азии)... Он сказал, что в центре об этом не было мысли, и вообще... ничего.

Он глядел, он спрашивал в самые глаза — они были близки, безбрежны, как пространство мимо летящих вагонов, как воздух тогда над головами лохматых, шинельных, орущих; он сквозь глаза, сквозь стены видел и поля и рябь голов, все неслось, лохматилось в ветре: мондьяль...

Командующий улыбнулся.

— Об этом нельзя еще громко... Но я скажу: поход возможен.— Глаза его стали упорными, они знали...— Поход возможен. Я как раз хотел добавить, чтобы вы производили формирование и снабжение применительно к этому плану. Антанта не снимет блокады и не прекратит вмешательства, пока не раздавит революции. Нам нужно, не дожидаясь, бить самим...

Клемин встал.

— Товарищ командующий, я привез с собой работников, один — чекист, другой — генерального штаба, я их знаю по Орлу.... могу ручаться, что именно такие подойдут. Завтра же приступим к работе. Этим там смешно, что мы мировую революцию устраиваем; увидим... А я, товарищ...

Он пожал ему руку—не командующему, а как полтора года назад, на вокзале, когда уезжали — куда? — ничего не теряющие, смеющие, дерзкие на все. Поход. Товарищ...

Он вышел мимо адъютанта, впившегося в него собачьим внимательным лицом. На улице, в осенней морозной пасмури, опять вывернулось зачем-то это чудное, смешное слово —

— Мондьяль... ха-ха — и счастливо засмеялся.

* * *

В этот вечер четверо подъехали к гостинице «Красная Армия» на грузовике.

Ранним, матово-тусклым свечением зажглось электричество в коридорах — теплых, бесконечно длинных, тусклые шары света виделись, как в тифу... Сотрудники проходили по коридорам — в кубовую за кипятком, в очередь за ужином, и больше всех шли — и слаще — на кухню, к общей плите, где жарили, варили, подогревали остатки от обеда, пробовали деревянными ложками — ели на ходу — были такие дни: есть, есть... Там генерал, весь уйдя в это, порученец при инспекторе кавалерии, бросал сырые куски теста в кипящее подсолнечное пайковое масло — всходили оладьи пышно, розово, сочно, и генерал жадно и любовно клал их на тарелку и тайком кусал, обжигаясь, давясь,— о, если бы поглядели теперь оттуда, из голодной, зачумленной Москвы, где на унции дают ржаной с пометом, с колючками, если бы поглядели, как здесь кусками, полным ртом, даже падает, даже валится на пол! Если бы поглядели из Москвы: у княгини Аристовой — она еще только полгода назад стояла с терракотовыми статуэтками в тех унизительных опорках, на Смоленском, на Сухаревой из-за каких-нибудь десяти фунтов ржаной муки — теперь в духовке настоящий пирог с мясом, теперь там, в кружевном, раздушенном номере, под бархатным диваном — мука, мешки крупы, сахар, в прихожей подвешен мешок с салом из Оренбурга; если бы поглядели — на этих жен самых рядовых, самых обыкновенных спецов из оперативного, из административного, шипящих друг на друга из-за очереди к плите, к шипящему, благодатному огненному чугуну — с полными котелками крутой, прелой каши, какого-то там ворчащего румяного мяса, компотов, борщей — все это было как сны! — на этих курьеров в новых шикарных синих бриджах, офицерских френчах, с бриллиантом на пальцах, курьеров, пекших блины и по-мужски, неумело, ухарски ложками льющих драгоценное, золотистое настоящее коровье масло — так что у жен спецов вчуже неприятно, болезненно и завистливо закатывалось — курьеры ездили в Москву каждую неделю с секретными пакетами, вместе с пакетами

возили туда муку, сало, а оттуда пудру, мыло, духи — от этого были суконные бриджи и френчи и бриллианты у них, год назад готовившихся где-нибудь в Сокольниках подмастерьем у портного, где-нибудь посыльным при конторе, где-нибудь с пучком дамских гребенок на Сухаревке или с тачкой у вокзала; или на эту мадам Нейбар — она всегда в черном или зеленоватом шелке, грудь и щеки сказочны, розовы от жара — как пухлая прелесть надувшегося, нежного, теплого цветка — мадам Нейбар, жарившую свинину с картофелем, свинину — плававшую, дрожавшую от жара в коричневом соку, переворачиваемую вилкой в бережных, розовых, опасливо отдергиваемых пальчиках, мадам Нейбар, знавшую сумерки особняка и свечи на рояле, в тьме, где вдвоем, и бархатные, в блаженную небывалую тьму уносящие, улелеивающие вальсы — но разве свинина, в этот вечер над голой и изрытой осенней землей, где ветер и расстрелы и дикие, страшные там где-то сшибы человечьих остервенелых груд и голодная, обезумевшая Москва — разве свинина на огненной, сверкающей плите не может стать волшебнее, тревожнее, невероятнее качающих сумерки сердца грез, чем вальс, чем даже обезволивающей сладостью окутывавший тот вальс «Грусть»?..

В этот вечер четверо подъехали к гостинице «Красная Армия» на грузовике.

Вечером зажигались тускло-матовые шары в коридорах, чаще хлопали двери — все сотрудники были уже дома, где-то пианино окрашивало в грусть воздух, проходящего человека с котелком, огромное окно в морозный нелюдимый сумрак, кто-нибудь, ухом к двери, замирая, ждал женщину к себе в комнату, играли дети, звонко сбегая в колодец лестниц. Вечером из номеров шли на кухню, к общей плите, где собиралось общество, где жарили, пекли, подогревали остатки от обедов и рассказывали обо всем; вечером на кухню тянуло обещанно и сладко — и кухня, и этот сытый, дешевый мукой, салом и мясом край, в который пришли за армией, были как сон, к которому еще не привыкли, не поверили после страшных, голодных дней.

И еще шли на кухню потому, что там знали все.

В этот вечер четверо подъехали к гостинице «Красная Армия» на грузовике.

Четверо приехали вечером, о них звонили в гостиницу от наштафронта: «прибывших с товарищем Клеминым разместить во что бы то ни стало». Дежурный комендант бежал встречать, звякая шпорами, сразу через две ступеньки. Внизу вскрыли нежилую давно комнату, единственную, не занятую пока никем, топили камин, подметали, торопливо несли и расставляли мебель: комнату предназначили для семейного, семейный из приехавших был чекист Свиридов с женой. Он прошагал через паркетный вестибюль коренасто и угрюмо, не глядя ни на кого, в руках пронес женщину, закутанную в шали до самых глаз. Еще двоих повели наверх, в комнату товарища Клемина — пока; двое были — полковник генерального штаба Люде и вестовой Митька Махновец. И немного позже прошел от командующего сам товарищ Клемин, придерживая на боку футляр маузера крупной узластой рукой и опустив смехучие свои глаза, словно не желающие сейчас глядеть в ничьи другие... И гостиница приняла всех в вечернее озеро освещенных насквозь коридоров, лестниц и движений; и как озеро сомкнулась потом.

И вечер перед великим походом, о котором безумели опущенные смехучие в себе глаза, был как все вечера...

А на кухне уже знали, что вернулся товарищ Клемин и с ним приехали четверо новых из-под Орла. О Клемине говорили вполголоса, потому что Клемин был партийный и пользовался влиянием у командующего; жены спецов говорили сладким полголосом, потому что рядом вертелись политработницы, могли слышать, среди них могли быть агенты особого отдела, может быть, и потому, что через Клемина можно было — все, быть близко к Клемину было выгодно и заманчиво, поэтому и разговор о нем был смутно-сладким и мечтательным предвкушением того, чего не будет, что досталось уже другим...

И получасом позже после Клемина прошел из штаба дежурный адъютант Додик — Додиком звали его дамы; адъютант, как всегда, по дороге зашел на кухню, почтительно поцеловал ручку мадам Нейбар и княгине Аристовой, наклонив учтивый набриалиненный проборчик, подышал с холода нагретой плитой, кое о чем поболтал, и на кухне уже знали, что товарищ Клемин был на приеме у командующего и получил дивизию; и через минуту об этом знали во всем втором спецовском коридоре и у курьеров и внизу, в очереди за ужином; и с этим поползло еще темное, что было не только о Клемине, но о всех — что в гостинице последние дни, что все управления и штабы сдвинутся не сегодня-завтра — там из номеров, из коридоров окна ширились, росли своими провалами — в дороги, в зарубежные поля, в ночную темь...

И еще было в эту минуту: к себе в 334 номер вернулся из штаба адъютант Додик; в номере на диване сидела девушка в шинельной шубе и белом малахае, улыбнулась темными полупечальными глазами навстречу, она ждала его, и Додик подошел, поздоровался, на скуластом по-собачьи лице его, с учтиво прилизанным проборчиком, появилось жалкое, несмелое, преданное, он, не опустив ее руку, сказал — «Могу обрадовать: кажется, можно будет устроиться. Сегодня поговорим с товарищем Клеминым...»

И в номере у курьеров ели блины, горой набросанные прямо в сковороду; ели двое — один в синих бриджах и офицерском френче с иголочки, бритый, другой в черной черкеске и шапке-кубанке, и который в бриджах сказал:

— Мишка, а там тоже, ведь, не пропадем! Ну, черт с ней, муку не будем возить, а знаешь, ахнем на Москву пудов шестьдесят изюму, а?

Черкеска помолчала, сказала:

— Из Туркестана тыща верст, засыпемся.

Бритый лихо хохотнул:

— Засыпемся?

В черкеске бросил есть блины, прошелся по комнате, заложив руки назад, думал. И бритый бросил есть блины, задвинул руки в бриджи, думал. Свистел. Какой там еще Туркестан, какие дороги через мерзлые пустыни и бесконечный путь поездов, в поездах мешками урюк, изюм, шептала́, Москва в сладком, лихом тумане... В черкеске подошел за кровать, вынул трехрядную из футляра, сел, упал ухом на гармонью и как ветер ударил, закрутил, загикал — тоской, «Яблочком», раздольем — за дверь, в коридоры, на лестницу...

И гармонья отдалась в клеминском номере. Вестовой Митька Махновец, услышал, не выдержал, дернул всей спиной, притопнул, вывалился за дверь и зашлепал по коридору в драной шиненке и шапчонке, лихо заломленной поперек над палыми на лоб космами. Законно играла гармонья! У курьерского номера приоткрыл потихоньку дверь, заглянул, расплылся вислыми губами — эх, хороша была черкеска и шапочка-кубанка, а «Яблочко» — как ветер в глаза, да туда — под гору, в раздолье, в дым, даже сердце ломит — не выдержал и здесь притопнул, плясом от курьерской двери вдоль коридора —

—Да ых яблочка-а-а,
Закати-и-ла-ася!
Да ых мамынька!
Ды я влюби-илася!

И пошел шататься по коридору, по лестницам. Заглянул в еще одну полуотворенную дверь — там было, как рай — кружева, муть, занавесочки, огромная картина сияла над столом, как пламя, и все, как бывает в снах, в лиловом что ли или голубом сиянии, и спиной к Митьке сидела в прекрасном платье, шея была голая, белая, как цветок — законная была баба! После грязных, наводненных дикой сутолкой вокзалов, где негде было даже встать, после осенних ночей испытаний и тряски в штабном, но все-таки битком набитом вагоне было чудно ему глядеть, как все здесь прибрано,

светло и тепло и люди не валяются на полу. Заглянул на кухню и прыснул — там разодетые ходили и стояли около плиты, какой-то военный, вроде генерала, румяный, седоусый, тащил из духовки пироги, а чекист отвертывался и навертывал оладьи с тарелки в рот.— Житье! — подумал Митька и в нем заныло что-то — вот ногой топнуть, чтоб все оглянулись, или крикнуть — до того все здесь было чисто, спокойно, вежливо. И в коридоре, когда навстречу плыла княгиня Аристова за ⟨1 *нрзб*⟩ булками в кухню, завитая, круглощекая, с надменным своим подбородком — вдруг перед ней дернул всей спиной и прошелся чечеткой:

—Да ых, ябла-ачко!—

так, что княгиня отстранилась, оскорбленно пожала плечами, оглядевшись, что политработниц близко нет, прошипела про себя:

— Хам!..

Дальше по лестнице стояли люди с котелками и с тарелками, какие-то старушки, мирные и уютные, военный в башлыке, девчонки, женщины и еще военный с подвязанной щекой — стояли в очереди за ужином, который раздавали из столовой. Митька поглядел на них сверху: стояли себе, как будто нигде больше ничего не было, как будто так и надо, чтоб тихо и покойно. И опять задело это его. А «Яблочко» глухо там где-то раздолилось, озоровало — как будто у него в нутре. Вспомнилось, проезжал через Тулу — деникинцы перли уже за Орел — там в Туле скопились тыщи народу на платформе, мешочники, пассажиры — пройти нельзя было — вспомнилось, как всех их положил зараз — и боязно чего-то стало, да вдруг выхлынуло, не стерпеть — Митька спустился пониже за поворот, воззрился наверх, на лестничное окно и вдруг визгнул:

— Товарищи! Това!.. Чтой-то это такое, а?

Его перекосило всего, губы тряслись, голова вжималась в плечи, очередь вдруг вся смолкла, застыла, в ужасе глаза метнулись вверх — где? что?

— Товарищи!..

Митька взвыл, потом вдруг согнулся в три погибели, присел на корточки, трясясь тряской, шипел задыхаясь...

— ложись... ложись... ложись...

Очередь окаменела, вцепилась в перила, старушки ахнули, полезли друг за друга. Вдруг дама с котелком, наверху, визгнула — а-а-а! — стрелой пала вниз, вцепилась Митьке в руку, тряслась, садилась тоже—а-а-а!

— Ползи!.. Ползи! — шипел Митька. И вся очередь села вдруг, поползла гуськом за ним и за дамой с котелками, с тарелками — под тем окном, не смея взглянуть, пробегая на четвереньках,— ползли.

На площадке народ глядел, шарахнулся в столовую. Митька выпрямился, кинулся вперед, с лету встал и загоготал во все горло:

— Га-га-га!..

— Негодяй! — крикнул кто-то. А очередь затормошилась, замахала руками, загудела, военный в башлыке выдвинулся, начал кричать:

— Ах, хулиган! Да ты знаешь, я тебя сейчас в особый отдел отведу!* Нахал! Ты знаешь, у меня сердце больное. Я от этой провокации умереть мог враз! Хулиган! Давай сейчас же удостоверение личности!

Митька, надув губы, сказал:

— Ишь ты!** Помру-у! А мы на фронте не помирали, когда вот такие снаряды рвались. Тебя на фронт бы, в башлыке-то! Там бы тебе был разрыв!..

Митьку кто-то больно стиснул за плечо, вел задом от лестницы, мимо парадного. Он скосился боком и осоловел: это рябой Свиридов тащил его, шипел на ухо:

---

* *Над строкой вписан вариант*: Я тебя, сукин сын, в чека отправлю, хулиган, провокатор!

** *Над строкой вписан вариант*: А у нас на фронте снаряды рвались, не разрывалось! В чеку! Самые тут саботажники стоят, в тылу. Ишь факел какой!

— Тогда, сволочь, в Туле я пожалел тебя, не расстрелял, ты долго тут еще будешь причуды свои выкидывать?

Он завел его в коридорчик, где была его комната, пальцем грозил ему.

— Ты помни, где ты, понял? Это тебе не вокзал. Если я еще... Иди в комнату, готовь ужин... я с тобой еще потом поговорю...

И в кухне — в очереди — в номерах — будто сквозь стены колючим ветром прошло — это оттуда, от того осеннего поля, от которого не уйти, где винтовки, поезда и скитания. И эта тишина и уют стен только пока — там буйно и разнузданно топчут, бегут, кричат — такие дни...

Ночью, перед ужином, пятеро приехавших собрались в комнате товарища Свиридова, внизу.

Низко, за решеткой тек жаркий огонь камина, было полутемно, багрово от пламени; электричества еще не провели. Ало поблескивали стекла пенсне у худого, впалощекого Люде, он сидел с Клеминым на диване, палкообразный, прямой, будто голодный. И качалась в пламенных светах женщина, закутанная в шаль, приникшая застыло к спинке кресла, большие кукольные глаза глядели в пламя выпукло, будто в слезах, кукольные завитушки над глазами падали, как пенный воздух. Свиридов подошел, заботливо наклонился:

— Дуся, согрелась теперь?

— Согрелась,— и женщина улыбнулась кукольно, застенчиво. Свиридов встал посреди комнаты, заложив два пальца за борт кожанки.

— Вот не поверите, будто нежная баба, кисляйка, а знаете, товарищ Клемин, что она делала? Мы в чека в восемнадцатом году получили данные, что приехал Савинков. Кого послать? Послали ее. Не побоялась, хотя, знаете, шла на все, на〈прямик?〉 Ну и сладила 〈?〉. Мы потом прозевали, выпустили. Дуся, помнишь Савинкова?

Женщина исподлобья хихикнула, зарделась.

— Вообще, товарищ Клемин, поработали. В вечека работа была по мне, я люблю риск, силу. Если бы меня не подсидели... Вы помните, читали, Август Иваныч, в «Известиях» мой процесс! Обвинили, что я провокатор, в 1906 году, помните, забастовки у Сименс-Гальске!

— Не помню «Известий»,— раздельно каждый слог, с трудной правильностью сказал Люде.

— Так вот. Эти типы ничего не доказали, а я просто от самолюбия ушел официально. Но имею мандат. Был лучшим работником. Я вот вам покажу, мне товарищ Дзержинский собственноручно портрет подарил.

Он порылся в чемодане, поднес к огню кабинетную фотографию Дзержинского, Клемин и Люде разобрали разгонистый почерк в углу: «Товарищу Свиридову, лучшему работнику и энергичному борцу, на память — Дзержинский».

— Сам написал. Вот, повешу портрет над столом, он у меня всегда перед глазами. Август Иванович! Я у вас там книжечки видел, в Москве достали, глянцевитая такая оболочка, не дадите ли мне штук пять, я вот тут на столике разложу, для красоты. Когда нужно вам, я принесу...

— Там посмотрите,— сказал латыш.

Митька вскрывал штыком консервы в сковороду. Потом поставил сковороду в огонь, затрещало, мешал штыком—все глядели, запахло вкусно—и сразу всем после дороги захотелось есть, до жадности — Клемин встал, взял еще банки, вскрыл чем-то, вывалил в сковороду.

— Ты чего? — скосился на него Митька.

— Погуще, погуще, голова.

В дверь постучали. Свиридов открыл. Там в темноте вошли, стояли двое, не зная куда идти. Вперед на свет выступил товарищ Додик, огляделся, поклонился.

—Я к вам, товарищ Клемин. Я дежурный адъютант, сотрудник штаба. Можно вас обеспокоить?

— Ну-ну,— сказал Клемин, положив нога на ногу.

— Вот тут я привел вам сотрудницу, если хотите. Вы ведь формируете дивизию. Она культработница, здесь работает в наробразе, но там очень нищенски. Будет заниматься с вашими красноармейцами.

Из темноты вышла девушка в белом малахае, глаза смотрели темно и будто сонно — от яркого пламени, Клемин пригласил обоих сесть.

— Ага... Ну, а какого вы... образования?

Девушка глядела в огонь, певуче сказала:

— Я... видите, я, собственно, артистка, я из пластической студии в Москве, моя учительница уехала в Париж. Я имею среднее образование... знаю языки...

— Ага, языки? Август Иваныч,— повернул голову Клемин к Люде,— насчет языков это пригодится, а? А какой знаете?

— Я знаю французский, английский.

— Так. Ну скажите мне, что значит: мондьяль?

Девушка усмехнулась в огонь. Клемин наклонился к ней: вблизи, с профиля миндалевидный срез глаз был в сети тонких-тонких морщинок — точно девушка эта или женщина устала и устарела бесконечно, мучительно.

И медленно выплыло лицо ее, молодая, темнодонная глазами женщина.

— Что это, экзамен? Мондьяль — мировой...

— Ага! — Клемин удовлетворенно засмеялся.— Август Иваныч, здорово, а? Так хорошо, товарищ... товарищ... Серафима? Хорошо, товарищ Серафима, вы к нам приходите, мы вас зачислим. Там увидим, когда грамоте учить, когда спектакль поставим.

— Я бы тоже иногда мог работать,— сказал Додик.— Я бывший офицер, но так я студент. Я читал тут лекции по искусству. Если у вас будет клуб, я прочту... и по истории общественного движения, по истории революции.

— Хорошо,— сказал Клемин.— Это мы вас используем тогда. Мы тоже послушаем, верно, товарищ Свиридов? Мы ведь народ неученый, а теперь учиться некогда.

— Меня, барышня, на красного командера подготовьте! — крикнул вдруг Митька, подцепил двумя штыками сковороду, бултыхая пронес ее стремительно и брякнул об стол.— Пожалте!

Оба пришедших встали, простились, Клемин крикнул вдогонку:

— Вы, товарищ Серафима, заходите завтра-послезавтра, поговорим.

За столом сели все, Митька дал деревянные ложки, сел сам сбоку, Свиридов придвинул жену, ужинали прямо со сковороды.

— Теперь я буду говорить,— сказал Клемин, кончив есть.— Дело так, товарищи. Командующий, значит, приказал мне формировать дивизию. Дивизия пойдет в Туркестан.

В камине пылало, Митька подбросил дров. Свиридов, коренастый, низкий, широкоплечий стоял в середине комнаты, большеногая, большеголовая фигура его была, как идол, с рукой за пазухой.

— Так вот. Вас, Август Иванович, я беру начальником штаба. Будем работать, как работали под Орлом — дружно, крепко. Вас, товарищ Свиридов, я не знаю — как по специальности, вы будете начальник связи, а пока замените начальника снабжения.

— Согласен,— буркнул Свиридов.

— Вот почему. Вы работник опытный, насчет этой штуки, где что вынюхать, достать. А снабженье сейчас нищенское, придется прямо вырывать руками. А дивизию надо ставить срочно. Вот надежда на вас, Свиридов.

Свиридов, не вынимая руки из-за пазухи, подошел.

— Товарищ Клемин! Я вам скажу: все есть и в этом городе, все есть, надо только достать. Вы думаете у буржуазии, у купчин этих мало зарыто? Я вам пять дивизий в одном этом городе организую. Дайте мне начать работу, увидите. Я их...

Голос его звучал хрипло.

Клемин глядел — туда, за огонь, в тьму. Еще хотелось что-то сказать,

выпирало, глаза сами смеялись — веки дрожали; он смолчал. Митька, заложив руки за спину, выступил:

— Товарищ начальник, а меня на красного командера, помните, обещали?

— Работу начинать завтра же. Срок короткий. И потом, задание важное, надо спешить. Об этом еще поговорим...

Свиридов сказал:

— Насчет помещения под штаб, я нашел тут же, вон за парадным ходом. Тут раньше кинематограф был и зал, вполне разместимся. Тем более на короткое время. На дворе сараи есть пустые. Идемте оглядим помещения.

Свиридов зажег свечку, прошли через коридор, отбили приколоченную поперек планку, вошли. Было пространство тьмы, ветер дул где-то в отворенные разбитые окна, комната была огромна и пол покато вел куда-то в широкие, просторные норы <?>. Свиридов поднял свечку. Клемин оглядел тусклую темень, сказал:

— Подходит.

Там в комнате, у камина женщина убрала сковороду со стола, постелила скатерть и села на диван с ногами — холод всегда шел по низу, через открытую дверь. Женщина села, поджав ноги, закуталась в шаль, большие выпуклые глаза глядели просто, бездонно, прямо. Сидела.

И мужчины — двое в кожанках, двое в шинелях шли по пустому залу, вперед со свечой — наклоненные вперед — стены были пока, полы и помост были пока — точно сквозь стены шли в полях. Женщина сидела. Становье.

И Митька, лазивший по окнам, нашел дыру в расколотой стенке, высунул туда голову, гикнул:

— У-у... воет, чо-о-о-орт!..

* * *

* Была ночь, поздний час, когда по всем четырем этажам люди ложились в постели, на койки, и морями, пучинами забытья топила ночь, и постели, как корабли, плавно плывущие и уходящие в безгранные дымы образов, в сны...

В этот час поля и равнины, нелюдимые, если о них вспомнить,— где-то безмерно холодны, огромны, непреодолимы и страшны, как смерть — так они кажутся лежащему в постели, под одеялом с головой; ты лежишь, слышишь шаги в коридоре— это идет тот, кто не спит, тебе неуютно, мучительно за него, что не может вот так вытянуться, сомкнуть натруженных сладостных век — но и тебе наказано завтра-послезавтра в поле, в ревущие октябрем и ветром и морозом дороги, в мерзлоту, в звезды, в бездомное — и тебе, и тебе идти...

В этот час — там, по госпиталям, баракам, вокзальным приемным—поднимается температура у тифозных, возвратников и сыпняков — взрывами горячих, огненных красок мятутся, бегут, вихрятся сны. Там поднимается температура: и сквозь огненную, цветную дрожь (это горит кровь, зараженная во вшивом поезде, на мерзлом бездомном поле...) — яркое и мучительное движение улиц, людей и мчанье поездов, и нега до самого сердца, лица горят как электрические лампы и так же горят очертания зданий — это свет из страны, чудовищной, недостижимой, прекраснейшей, лькщейся незримо на всю жизнь — горят окна госпиталей, там мечутся, кричат, хрипят в огненном сне...

В поздний час...

Во всех четырех этажах — в озере насквозь просиянных тусклым матовым свечением коридоров, этажей, лестниц — плавно, мутно уплывают постели-корабли, спят люди, пришедшие с сотни дорог — это дороги сотен

---

* *Сверху помета автора*: Лейтмотив: ночью грезятся страны — и все восходит больше и больше — crescendo! Ночь! (перед последним абзацем).

встают клочьями, цветным дымом образов, тоски, мутнейших воспоминаний — скамейка кадетского корпуса, и сады в сирени и каменный сырой пол под узким окном с решеткой, и та невероятная, нежнейшая, обнявшая когда-то — или не было ее никогда? — и бесконечно льющийся мир в окна вагона, мир людей, солнца, счастья,— и тусклое окно с гармоникой, и голодные, беспокойные дни, толкающие и сейчас бежать, искать пищи, в колючий ветер, в дичь... И под столами, под диванами — мешки муки, крупы, сала — очертанный кругом мир сытости, беспечности, обеспеченности — и с этих постелей — под уклоны, под скаты еще путь туда — за идущими армиями ⟨1 *нрзб*⟩ иных городов, базаров, кухонь,— там еще смутно и обещанно сладко — будто ближе к какой-то невозможной, небывалой, полной озарения стране — есть ли она на земле?

Не та ли земля утеряна годы назад — с блеском улиц, витрин, ломящихся от яств, театров, женщин (...)*, смычков?

Курьер в синих бриджах выходит из своей комнаты осторожно, на цыпочках, потому что товарищ, тот — в черкеске, спит, тихо идет по коридору, стучится в номер мадам Нейбар. Коридор пуст, он матово-тускло желт, пол светится, как вода — вдаль, в бездну сумерек. Дверь приоткрывает⟨ся⟩ чуть-чуть, в ней полуголое плечо, голая рука из лиловатых сумерек, из кружевных сумерек — рай, мадам Нейбар — из тех, когда-то недоступных высот, зеркальных окон особняка,— она через окно таксомотора видела его — в Сокольниках шел в смазных сапогах, в черной тужурке, ходил заниматься к нотариусу, посыльным? У мадам Нейбар муж ответственный дежурный, в ⟨1 *нрзб*⟩ фронта, его не будет всю ночь.— «Простите... я вас беспокою. Я приехал из Москвы вчера, забыл вам передать, что просили. Вот — духи «Четырех королей»... Насилу откопал!» — «Б-благодарю вас... Как чудно пахнут, это мои любимые... Вы из Москвы? Господи, точно кусочек Москвы. Деньги... муж сегодня дежурит, деньги у него, завтра я отдам, большое, большое спасибо».— Она закидывает голову — губы вырезаны пухло, твердо, молодо, розово, глаза оглядывают его всего близко — статный, в синих бриджах, во френче, с пробором — как у того, адъютанта.— «Ну, какие это деньги, для нас это одна копейка»— он глядит в губы, за ними — за улыбкой их — женской, как у всех, чуть-чуть выходит белый просвет зубов, они полуоткрыты — он вдруг тискает голое плечо ее, всовывает голову в дверь, целует холодноватое, упругое и гаснут глаза. Нет, нет, потом,— она медленно отклоняется, тает, медленно скрывает всё дверь— и он идет, пошатываясь, краем задев чудесное, реющее — в снах будет комната в лиловом дыму, женщина придет, полюбит, ляжет...

Адъютант Додик идет провожать девушку в шубе, Серафиму. Он берет ее под руку в коридоре, здесь, на свету глядит в лицо — в скуластых щеках его тоска, мление. В номере просыпается генерал с женою, они спят на одной постели, и он вспоминает что-то такое забытое, овеивающее ночь полнотой, радостью — это пирог, там, на нижней полке шкафа. Он встает потихоньку, в туфлях шествует, достает пирог, просыпаются генеральша и обе дочери, старшая ⟨?⟩ не больше 15 лет, обе учились было в институте, но ⟨1 *нрзб*⟩ — и они все поднимаются, глядят, привстают. Генерал дает им по куску, остальное себе с генеральшей за ширму, садится, ест прямо с колен, генеральша просит: «Вова, передай сливочное» — он с окна несет сливочное, генеральша еще мажет под корочкой, генерал ест, с колен снимает крошки и ест — пирог мягкий, отопревший, в мясе чувствуется масло, настоящее коровье масло, начинка просочена застывшим масляным настоем — это не пирог — стены, и шкаф, и комнату, и час — будто просветило, блаженно— их брать, глотать, вдыхать, насыщать — и теплело там, за окном, в темном, куда еще ехать, идти,— в неведомое.

За стенами, на улице — октябрьская ночь, ветер, пустырь, в ямах асфальт обледенелый, двое спотыкаются, идут в безлюдное. Через два квартала

---

* *Отточие в скобках поставлено автором.*

Серафима останавливается и начинает прощаться.— Нет, дальше не провожайте, нет, нет! — Она настойчива, почему-то суха, это больно где-то... Додик знал, что нужно идти еще шесть людных кварталов, потом налево, мимо Волги, осенней, темной, неведомой, потом через площадь — уже почти на окраине — позже переулком и еще переулком и там в слободе, где за ветлами уже поле — там... Все-таки лучше в постель — это счастье тела, сейчас же, вместо того, чтобы идти,— лечь, сжаться, падать, тосковать о Серафиме. Он простился. И только что отошла в темноту — тоска, любовь пронзили темноту, кусты, дом, под которым стоял — они шли глухо, в ночь, в сердце, в тело. Он пошел — улица была безлюдна. Какие-то огромные окна были освещены. Если забыться на миг — это витрины тех — тогда улиц, магазинов, это из театра—в мирную постель, за книгу...Он заглянул. За тусклым окном магазина, на полу ⟨1 *нрзб*⟩ целая груда; он разглядел,— это солдаты, вповалку друг на друге, поперек, на лавках, там по краям стен и еще в дверях,— полусидя — и в следующем окне еще — и кто-то у тусклой лампы снял рубашку, голый, тряс ее над спящим—и все они были пронизаны Серафимой, тоской. Это то, что шло — если люди не могли сладить и набились так, что сделает он, маленький, слабый,— они раздавят и огни, о которых мечтал, и всю его сказку — и там еще были поля, в которые ехать, дни, движения — они были пронизаны Серафимой, ужасом, тоской.

Ночь!..

Ночью проснулся Клемин. Он почувствовал, что кто-то другой не спит, глядит глазами в тьму. Проснулся — точно оторвалось что-то от глаз, от век — отнеслось смутным потоком, что? Будто опять над головами людей — там, над вокзалом что ли, сплошь усыпанной телами платформой — рвал руками, кричал — лицо жгло, двигало⟨сь⟩, горело — дико звал — как будто крик ночью, в комнате звучал. Мондьяль... Он поднялся, засветил спичку.

— Август Иваныч, не спишь?

Тот лежал на диване, длинно, острые колени выпирали из-под одеяла. Он назвал его на ты, сам не чувствуя — когда на ты, когда на вы.

— Август Иваныч, я сейчас к вам...

Он накинул шинель, подсел.

— Я не сказал давеча... Помните, что я вам говорил. Командующий сказал, что все в силе. Мы должны ударить по блокаде. Наша дивизия будет формироваться с таким планом.

Люде приподнялся на локте. Клемин глядел на него: тощий, худой — чужой, но почему его не надо спрашивать: почему ты не у тех, а у нас, ведь те ближе?

— Это согла-сно большой стра-те-гии. Э-то пра-вильно...

Клемин потянул его за руку.

— Август Иваныч, мне не спится, вам тоже. Давайте-ка посмотрим пока что карты, которые в Москве взяли. Покажи ты мне место это.

Люде методично оделся, раскрыл чемодан, взял кипу листов.

— А прямо на пол, на пол,— показал Клемин.

Он достал лампу, опустил на пол, на листы, кое-как сложенные рядом, оба встали на колени, Люде показывал взявшимся откуда-то циркулем.

— Вот этот пункт база. Отсюда можно ⟨2 *нрзб*⟩ — на запад. Здесь важно снабжение, от снабжения зависит все.

— Август Иваныч, ты покажи мне, где она?

Люде прошелся циркулем, ткнул:

— Это?

Клемин глядел: коричневые изрытые валы, отроги, пятна. Это она, она — было странно, что ее можно смерить циркулем... Страна была чудесной, страшной,— и от ⟨нее⟩ неслась ночь, мир.

⟨ФРАГМЕНТ 2⟩

II

Под штаб дивизии отвели реквизированный белоколонный особняк на Дворянской.

Нужно было еще обжить, заполнить мерзлую выморочную пустоту комнат. Обрывками сора, догнивающего по углам — брошенного жившими здесь когда-то, невыцветшими квадратами и овалами на слинявших обоях, к которым льнули раньше шелковые, улыбчатые, качалковые — миражный мир сдутого, как дым — они глядели из-за черты погребенного. Они были упорны в своей одичалой пустоте.

Но для пришедших не было пустоты.

Будто сразу принесли с собой все шумы дней, которые за стенами; дыханье и спешку множеств; в комнаты легло семя надвигающегося кипения; поездом летело на оцепенелую тишину.

И сразу — на другой день — крикнул телефон через пустые анфилады. Из начдивской — из угловой, единственной жилой комнаты, где спали все трое, прошлепал Митька-Махновец со сволочной и наглой усмешкой на вислых губах, рванул разухабисто трубку —

— Алло! ну! штаб дивизии!..

Звонили от начснабфронта, от ⟨1 *нрзб*⟩, от особотдела, из штафронта, из несущихся поездов, прокуренных, затоптанных сапогами комнат — не комнат, просто из временного жилья — камней и крыш. Там присесть на минуту, оглядеть эти вороха, горбы движущегося — по рельсам, по колеям, по земле, которая за стенами ⟨2 *нрзб*⟩ — через комнаты только пройти, миновать стены невидящими, устремленными в дальнее, в нужные пространства — глазами.

— Алло! штаб дивизии!..*

И дыханье будущего, дыханье завтра нависало над пустотой **; ттынькали стальными клевками ундервуды, как задыхающийся пульс спешащих; в ливне бумаг метались из комнаты в комнату,— доклады, подписи, печати, оперативные приказы, обреченные на смерть — каждый из мечущихся нес на себе кусочек распределенной воли, сплавляющей всех воли — упрямо сгибающей и по-своему направляющей там, в дальнем, ходы мутно клубящихся, движущихся в разное величин; это была воля еще более огромнейшего, чем собранное на дорогах, землях, этапных пунктах — поверх бумаг, машинок, телефонных звонков, стен,— глядевшие туда деловые, занятые глаза на миг вдруг застилало пленкой безумия, ослепления: так начинался ослепительный поход в ту страну.

Но, чтобы было все, еще надо было сделать много, много. Уже тысячи рук, не зная, работали, двигали. Клемину хотелось, чтобы еще быстрее, везде чудились заминки, недостачи. Между тем — все могло быть, все можно было достать, сделать, он говорил Люде —

— Эх, Август Иваныч, поскорее бы Свиридов приезжал. Вы не знаете, он на эти дела такой человечек! Думаете, мало еще спрятано? А он найдет, скрозь землю найдет. Поверьте, когда приедет, через неделю все будет.

Так начинался поход.

В угловой, в начдивской жили все трое, Митька Махновец с утра до вечера нажаривал камин, жарил картошку на углях, вместе все ели; ночью, натопив до одурения, ложился тут же у решетки на шинелишке — и тепло печки уходило в поддверные щели — в промерзлые, темные ночные прорвы комнат.

И в угловой, после дня разъездов, писания требований и докладов, хлопот о машинках, канцпринадлежностях, комендантской команде, шинелях, сапогах, продовольствии для будущих едоков — ночью, в выстывающей

---

* *Здесь автором сделана помета*: Совокупить с последующим.

** *Абзац начинается пометой автора*: Совокупить с предыдущим.

комнате, начдив и Люде накидывали шинели, подвигались оба к столу — в сны.

Стол был единственный; сковорода с доеденной картошкой мешала, ее отодвигали. Люде раскладывал на столе карту — это была карта той страны, карта снов. Пути излучивались, змеились безумными, притягивающими волосками. Клемин, зажав зябнущие пальцы в коленях, покачиваясь, глядел, как работал Люде: тот метко обегал глазами, прицеливался, циркулем мерил — по карте; для него страна была на земле; ей было название; циркулем можно было измерить путь в сны.

... не была, *должна*, *должна* быть...

Оттого, что вымеривал бред, Клемин глядел, пьянея:

— Да, вымеряем, все вымеряем, пройдем...

Август Иванович Люде, латыш, человек без родины, капитан генерального штаба: только ли стратегический путь к прорыву мировой блокады вымеривал циркулем?..*

И этого, другого — ставшего как будто другом,— и его манит ⟨?⟩ ли то, что поверх стен, знает ли, что за путь меряет, верит ли?..

Спросить бы —

— Август Иваныч, ты... почему ты с нами? Почему не с теми, с твоими — в тех комнатах, в тех всегдашних вечерах? Смог ли и ты поверить так? Или...

Но путь был — разве карта была такая? — Путь был велик и еще не начертан — страна была еще неизведана, была — в снах и все же она была на земле — и у нее было названье**. Путь к ней — путь шел не землей, может быть, всеми теми вехами, когда ⟨1 *нрзб*⟩ ползли у подножий, взбунченным миллионноголовьем, исшрапнеленной, изгрызенной землей, ночами голодных и морозных буранов, тифозных смертей, расстрелами—и даже через холодный, неуютный наробраз.

В эти самые дни, когда формировался штаб оккупационной, в губнаробразе шло заседание по поводу катастрофического положения школ. В школах — заиндевелые стены, незастекленные окна, дует, в школах нет бумаги, перьев, нет учебников. Товарищ наробраз! Разве революция пришла для того, чтобы школы стали мерзостью запустения? И в школах стоят отряды, гадят под парты, штыками вспарывают рояли, роты бренькают по роялям кулаками — и жизнь преподавателя — в хвосте на морозе, с карточками — за парой пролетарских ботинок, за аршином мадеполама — без жалованья, без пайка — и в губнаробразе: осторожней садиться на стулья: ползают вши, тиф...

— Товарищи! — заведующий наробразом кричит.

— Товарищи! От вас, от вас самих зависит все. Если мы захотим... если мы захотим, мы сделаем!..

— А где учебники? А дрова? А перья, бумага?..

— А жалованье?

Заведующий — по рыжему плису фуражки он студент коммерческого; Песталоцци, Пирогов... при чем тут коммерческий этот, безусый крикун? — заведующий бел, как сахар, туберкулетик, просто больной, обезумевший мальчик — преподаватели слушают его с болью за него, за его легкие, и со злобой, и с усмешкой отчаяния —

— Товарищи! Все зависит... — он брызжет слюной, сам — как сахар, глаза над головами, сквозь стены, слепые на все, что рядом,— в какое-то дальнее, обезумливающее... — Товарищи, не в старой зубрежке дело! Ведь у нас единая, трудовая, а вы — учебники! Зачем учебники? Трудовые про-

---

* *Сбоку, в скобках автором сделана помета*: Кончить — ночью, засыпаньем, ледяным воздухом во рту... общей ночью наступления.

** *На странице много знаков перестановок текста, поэтому трудно определить место следующей фразы*: И одновременно с формированием намечался путь еще не измеримый циркулем; он докипал из тьмы былых дней: в путанном засыпанье он сливался из заседаний, битв, детства...

цессы — для ребенка — вот, по кубикам, по приборам дети лучше научатся, чем по книжкам, вы их научите труду.

— А где приборы, пособия? Дайте...

— Товарищи! Что — дайте? У нас ничего нет, так — сделаем. Вот... вот перочинным ножом сделаем, сами. Товарищи, если надо — перочинным ножом —

(хихикают горько) — а перочинные где? Есть?

— Товарищи, бумаги нет, книг нет — на кирпичах будем писать. Товарищи, вы не смейтесь, я говорю серьезно: нет книг, напишем на кирпичах, мы не будем опускать рук, вот как мы сделаем...

— Прожектерство!.. Слова!..

Легкие сгорели — их нет; глаз нет — они слепы, за пленкой; они видят и не видят — что хвосты, мороз, голод, драное пальто и синее в дырах тело; что школы — безлюдны, мерзнут. Легкие сгорели — он умрет завтра. Нет, будет жить — пока верит, гореть — вместо легких движет, чистит кровь сухой, бездымный пламень.

— А вы знаете, товарищи, что мы сделаем с детьми? Мы детей — всех детей соберем вместе — одних детей, мы построим дом со стеклянным куполом вместо крыши, это будет огромный, товарищи, дом — для детей, нам инженеры уже начертили и вымерили все. И там взрослые будут приходить и учить их труду. Дети будут учиться труду, но это будет не только труд, но и радость, танцы, музыка: дети будут не только учиться танцевать, как вот на наших этих танцульках, они будут красиво двигаться в обыденной жизни, вся жизнь с детства будет пропитана красотой.

Пойдут, сгорбившись, в нежить нетопленных комнат... какие и где эти купола? — лишь голодный ветер, тифозная вошь по скамейкам, мадеполам — после которого крупозное воспаление — лишь овсяной паек и впереди годы, годы, годы — такого ли лютого житья? Забыть об этом, скукожиться, лучше вот этой дохлой собакой под забором.— Это если не верить, если видеть одно и не видеть: что вымериваются неизмеримые пути, что за голодом, за брешами домов, школ, заборов встают дымные, снящиеся рубежи, купола страны —

Путь.

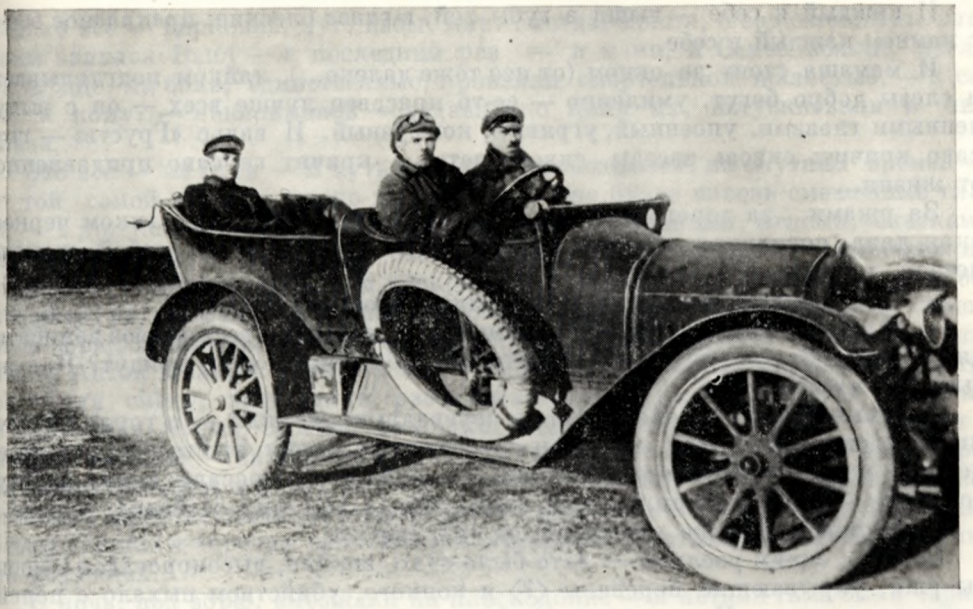
И на том же пути — знойное и страшное лето. Это ляскали чугунные зубы под Орлом; обжадовавшие — кровяными глазами, пьяными ртами — сквозь пули перли, орали — на Москву! — и армии раздались, армий не было — паническими табунами метались люди, бежали в тылы, в степи, на пули; в прорыв тогда — в туль⟨скую⟩, в тамбовскую, в воронежскую пахотную тишь — в соломенные поселки, в полустанки сонные ворвался конный корпус Мамонтова.

И — земля, опутанная проволокой, дымящиеся, с проваленными глазами вокзалы, скрюченные динамитом рельсы, мосты; такая смерть — что выкатыв⟨аются⟩ глаза и хрустит горло; ветлы тамбовские и воронежские, над озерком — дико, люто, как железо; вот — гикнет черкесской лавой из-за ветел, из-за полустанка, дулами в глаза —

— выходи!

— Жиды, коммунисты, советские работники кто? выходи!..

В тамбовском уезде, в мазанке жил телеграфист Ваня Клемин — брат, с мамашей. Почтовая контора через дорогу — через пыль, в которой клохчут куры; за конторой ветлы, речка, тамбовская пахотная тишь. И мамаша, старая, заботливая, единственная — готовит обед, пока Ваня в конторе; жизнь — это контора через пыльную дорогу, мамаша с обедом, задние окошечки в лужайку, в вечернюю зарю, на заре гармонья, кликуший на сердце зыв... И есть у Вани Клемина новая пара — с синим кантом и брюки-диагональ; есть воротнички «Монополь», их не стирают, а только моют в воде или оботрут мокрым полотенцем — и пара и воротнички лежат в сундучке на всякий случай. И есть брат — Семен, коммунист, комиссар: брат пропал без вести — а где?



А. Г. МАЛЫШКИН (ПЕРВЫЙ СЛЕВА) ПОСЛЕ ВЗЯТИЯ ПЕРЕКОПА
Фотография. Каховка, 1920
Институт мировой литературы им. А. М. Горького, Москва

— Мамашенька (шопотом, за ужином) — ты говори, что пропал без вести. Белые придут, знаешь, за это по головке не погладят. Черт его дернул. Ты смотри, на язык-то... Без вести пропал, мол, и все...

— А спросят, Ваня, узнают?

— Не наш, мол... Другой.

И однажды вечером — в уездных, в тамбовских сумерках, под летней звездой зажжется огнями хибарка, на столе белая скатерть и самогон, и орехи, и леденцы, и гармонист, уронив кудрявую голову на меха, ударит вальс «Грусть». В хибарке помчат многолюдьем, пара за парой, потно, кружительно — барышни с уезда — в розовом, в белом, в голубом, телеграфист Ваня Клемин, помощник от медника, кондуктор с полустанка, конторщик со склада — и все в диагоналевых, в натяжку, в воротничках «Монополь»— мчатся, топают по скрипучим половицам вальс «Грусть». ..

И он прекрасен,— в этих гнусных, как рыбьи глаза, окнах — вальс «Грусть».

Вчерашние и завтрашние дни глядят в гнусные окна. И осенью они заслезятся, и будут вечера, когда ноги затёпают по грязи, в уездных улицах — безлюдно, сыро, воют собаки, спать ложиться — в десять — так до могилы, всю жизнь. Гремит гармонья, ноги скачущих и Ваня Клемин с розовой — той самой, которая вчера:

— Маманька, там вон за кофту три тыщи просют, купи, штоль, что ты меня страмишь? — и губы ее дышат — летят звездой, вальсом «Грусть» — Ваня Клемин полон миром, прекрасен, грустен; и та в голубом («тетенька, энтот-то, сволошной, опять у нее ночевал, а она тоже... фря!..») — в круженье, в туман, в тоску падает за ней помощник от медника, Семка Булычев — и те еще, и те — в запахе едком пудры, духов, девьего пота, и руки девушек — от белья грубы, растерты, красны — в вальсе «Грусть» все прекрасны; и сквозь вальс «Грусть» — вчерашним, завтрашним дням — от них не уйти— необойдимая тоска. И не весельем — стывом в сердце, кликушьим зывом кричит, кричит вальс «Грусть», прекрасный вальс...*

---

* *Здесь помета автора*: Тут близко от тоски, невыносимой тоски, если красота — ⟨1 *нрзб*⟩, оттого и прекрасно.

И каждый в себе — дыша в губы той, в глаза блеские; прекрасное все— с камнем каждый в себе...

И мамаша стоит за окном (от нее тоже далеко...), тайком подглядывает; и слезы добро бегут, умиленно — ее-то красавец лучше всех — он с выпученными глазами, упоенный, угрявый, конфузный. И вальс «Грусть» — гнусаво кричит: сквозь звезды, сквозь ветер — кричит гнусаво придавленное от жизни...

За ржами, за дорогами, уже невдалеке хлынула тогда гиком черкесская лава, поволокла путаную проволоку по земле, дым за собой, шопоты летели, ползли, как рожь...

— Кто коммунисты, жиды и советские работники? выходи!

— Мамаша, мамаша, вот оно... Эти черти заставили всех в союз записаться. Теперь вот выходит и я — советский работник. А если придут? Как же быть-то, мамаша?..

И услышали: задыхало гулом за перевалами: это шли — и горла хрустели, выкатывались глаза, нагоняли — через поля, речки, ветлы — удушливые, цепкие руки. И понемногу кто ждал — бежали *, бросали дома, работу; говорили — всех, говорили — не разбирают, а вот этих особенно, у кого...

— Мамаша, они же все знают, у них списки...

Бежал с одним узелком — лето было сухо, знойно, высокорослы и страшны ржи, укрывающие перевалы ⟨?⟩ и конного, убийством пыхало с полей, с ясного полетья. И задыхаясь, добежал до полустанка — это к ночи; там у поезда шла рвачка — за жизнь, за то, чтоб уйти, зубами, кулаком, телом впивались в вагонные доски — как гвозди; с платформы — из мешочных груд, там лежали равнодушные, завистливые, потерявшиеся, встал один, замотал злобно головой Ване:

— ага... бегёте... Дошло и до вас, нацаревались!..

— и холонуло — льдом, концом — это было обреченье на смерть, он первый покажет. Уйти, уйти. И в головах, в телах ужас рванулся к вагону и вот — черной пастью уже дверь; а мамаша влиплась сзади, старческие худенькие пальцы цепко держат его, а там держат мамашу — она слабенькая, не пробраться — и он кидался, падал вперед — и мамашей как камнем стасовал — на платформу, в оставленное здесь, в те узнавшие его глаза, в приближающееся. И загудел поездок. Потом, обезумевший, он рванул руку, пихнул в грудь —

— Да, мм-амма... П-пусти... ты... чего... ттебе... сделают... пустии!..

И оторвало от черной ночи, от платформы, неслось, скакало в ночь — без гудков, без огней — от смерти; в кустах — бежавших мимо потом —чудились — все они — удушливые, стерегущие,— скачут... И вдруг — стывом стукнул, стал поезд... Нет —

— Путь разобран, близко огни. Пути дальше нет. Валяй целиной, ребята, там конница не пройдет...

Кричали — от них бежать.

Была ночь, когда, задыхаясь, брел каким-то проселком, потом межами; от других отстал — скоро не может, больнее у меня сердце... И где-то в меже, в полынной и сухой, засыпавшей горьким песком рот и глаза — закатилось все, как глаза: дом, годы пыльнодорожных дней, вещи — ничтожеством закатились — ⟨1 *нрзб*⟩ — в контору, вальс «Грусть» — и мимо прокатились в убийстве, в изуродованном этом мире полей, ночей, ляскающих кусачих поездов, глаз убийных — тиснулось сердце той удушливой лапой.

Подняли Ваню, он два дня отлеживался в овине где-то, на сухой, колкой земле: была лужайка через двери заплетенного овина, церковка, ветлы, село — уездное, как десятки, как сотни ⟨лет⟩ назад. И когда схватило насмерть — изнутри водой горячей под горло — встал на колени: тогда вкось

---

* *Сверху, над строкой автором вписано*: табуны человеч⟨еские⟩ бежали — *без указания места вставки.*

падало все — церковка, луг, избы, мир... тогда, хрипя, с задавленными глазами валился Ваня — в последний раз — и мама, и Семен вошли, легли на сердце, на боль, единственные, пронзили смертельной жалостью, — к себе, к кому? — наклонились — задавленно пили их, истускневали в них глаза...

Это все — на пути — и путь шел из смутных полей, из смутных времен — от той самой зари: ... давно-давно, когда еще будто сквозь смеженные глаза — в детские глаза будто цветной паутиной опутанный, мглами, сказками шел мир: была ночь — тогда отец, Клемин Антон Иваныч, казначейский сторож — в летнюю ночь, под воскресенье, садился с ребятишками на плоскодонку, на той самой ветляной речушке, брали удочки — плыли на утреннюю збрю, в камыши — в луга. Ребята, присмирев, гребли: грозен был папаша, Антон Иваныч: вечером, под воскресенье, поили его купцы в трактире — для смеху, заставляли рассказывать про Плевну, Антон Иваныч рассказывал, чудил, стрелял из палки, шел на приступ, купцы гоготали и мазали синькой — оплеванный, в гоготе, ковылял Антон Иваныч домой; ребятишки совались в углы, как мыши; и если не сек, то хоть мимоходом костыльнет щиколотками по стриженным, лишайным шарикам — «д-дармоеды, безотцовщина ч-чортова...» — мотались шарики, притихнув, жались в углы, на цыпочках...

В ночь, под збрю, выезжали на плоскодонке — и летняя тьма была черна, тепла и огромна, и над землей черные, огромные и страшные боги жили, держали, властвовали тьмой: и папаша — безлицый, темный сидел на корме, скрипел рулем; папаша тихо отходил, по голосу слышали ребятишки, поварчивал:

— Ванька, Семка — налегайте... Ветру мне, ветру... ох, духота...

Больное, духотное — от Плевны, от водки сердце было у папаши.

И ребята, притихнув, гребли, жмясь друг к другу,— кволенькие, со стрижеными лишайными шариками, припугнутые: какой еще там не знай будет папаша вдруг! И яснели земли, воды — боги светлели в светлую, блистательную, бледную зелень — огромную, как весь свет — до края земли — это было небо, збря; тогда видели — бритый, седой, из-под седых пучкастых бровей — водяными пуговяшками глядел в збрю, они были слепы, будто запанны, воспаленны. И плоскодонка шла со струйкою ледяною, шла — в затон — к берегам; въезжала в затон — он шел далеко — в камыши, в тесень зелени, птиц, звенящих по заре, розовых вод и облаков, в какое-то отдаленное от мира небывалое волшебство; а ребята все гребли — весла вязли в камышах — но все дальше, дальше лезла плоскодонка — и вот уже некуда, дичь, страна неведомая, заря, свет аловатый; и там папаша вынимал мерзавчик, стукнув ладонью по донышку, выпивал его, рвал на себе ворот, рыдающим голосом хрипел:

— Ребята... место-то, лоно-то какое... Индия, а! Ванятка, Семка, Индия!..

И глаза круглели по-птичьи, влажнились — свет был тяжел — давил их свет: в свет глядели, бились, как слепые. Это оттого — от бессилия пробить свет — слезы, пьяные, раздавленные —

— Индия, а?..

И у Семки дрожало — лучше бы папаша костыльнул костяшками по голове — ознобом ползла та тоска — та, что камнем с тех утр — на все зори, на все сиянья, на все радости — на жизнь: страшны, тяжелы, как камень: страшны глаза задавленных, увидевших свет...

Из той темени, из той зари начинался путь...

И он шел по картам — тонкими змеящимися волосками; он был и страна та была: ее попирали ногами и в этот час, кто-то шел и чувствовал, как твердо отдавалась в подошвы — земля. Это было потому, что товарищ Люде, упорно думая, вымеривал, высчитывал, расчеркивал карандашом, мерил циркулем: он рассчитывал заранее возможные коммуникационные линии похода — проходимость местности — дорог — это было на земле.

И что оно было — Клемин чуял по-своему: в голодных ветрах — за стенами были улицы и там еще поля, насыпи рельс; в полях — мелось — ходило — были темные, мутные ходы масс; уже шли, подкатывали на Киев, катили — в ледяных степях, тайгах — на Омск; из ветров, морозов, шаг за шагом израненная, истоптанная земля вставала ново и преображенно — это та — которую измеряли — и поход, его поход — уже должен был быть, должен был —

Он глядел в лицо Люде: впалощекое, серое от небритой щетины, стальные глазки, ежиком стриженная голова.

— Как он? Что для него там? Почему и он?

Ибо идти в ту страну — значит, идти поверив, охватившись всем этим — до дна, до последней мысли — горя — он помнил Люде под Орлом, безумно кинувшего поезд на броневики, там смеющегося — сурово — холодно под пулями: он его уважал. И его сдержанность и его работа ночью — будто в нем горело тоже, кипело что-то свое.

Но только говорил:

— И черт ее знает, Август Иваныч, какой саботаж: ни одной машинки еще не достал. Каждую мелочь зубами приходится рвать. Кому не нужны — там есть. А ведь тут тоже дело! — Эх —

— Вот приедет Свиридов: сдам я ему всю эту хозчасть, хлопоты. Этот выроет из земли. Работяга. Легче и вам будет тогда насчет формирования — а без того тоже нельзя...

Гасили электричество. Ложились одетые — одевались шинелями; ветер дул за окнами — и в комнатах ухало, неслось воздухом со стенанием: они жили, мрак помнил... И если бы видел Клемин: товарищ Люде лежал с открытыми глазами: карта была безгранна, обрастая горами, песками, далью — пути были — как кипящее каменное сердце — это, что видел — было бы ответом:

— Человек без родины — с теми, кто оторвался от всех материков*.

— Сердце воина — как эти ветры, летящие скопом за стенами — в пустоту — пьянеет, когда земли открыты в туманах.

— И разве в туманах — на тех землях — не сойдутся их пути: идущих войнами — одних авантюрно, в пьяном дыму пространств, бездомных, и с ними — вас, апостолов. Он — идет с теми, кто выражает человечество ищущее, идущее смутной ощупью.

И разве не будут петь о всех — и об этих?

И засыпали. И ветры шумели теми путями, которыми уже шли. И в ветре, в пути были глаза задавленных, прорвавшихся к свету, к куполам, прекрасны и страшны.

* * *

** В такую ночь — уже начинало заметеливать — приехал четвертый: чекист Свиридов. Ночью втопал в дверь, сам нашел выключатель, осветил — пока вставали те, растолкал Митьку: четыреугольный, низкий, рябой, закаменевший, в кожаном на меху пиджаке и кубанке — голос был сипл и резок.

— Иди-ка, братишка, помоги донести там...

Всего внесли три узла — и из самого большого, который тотчас раскутал Свиридов бережно, выглянули большие голубые глаза женщины: розоволицей, конфузливой, кукольной. Свиридов сказал глухо, отведя к ней ладонь:

— Жена.

---

* *Слева сбоку помета автора*: М.б. это друг. глава?

** *Сверху пометы автора*: Комнаты стали наполняться. Пришла женщина и разговор тянется. Свиридов.

И веки его были тяжелы — пали на глаза хмуро: он хмуро — ежась, но зорко смотрел, как здоровались с женой. И непримиримый ни с чем Митька смотрел на него полуудивленно, развесив губы, притихнул; Митька сам накидал дров, развел огонь в камине.

Приезжему надо было отвести комнату. Вышли — в те пустые, темные анфилады; Люде шел впереди со свечой.

Клемин был рад. Комнаты наполнялись — новый шум, новые люди. Как будто не один приехал — много. Он не удержался от нахлынувшего, качнулся к Свиридову:

— Товарищ Свиридов, а знаешь: тебе работы много будет. Наша дивизия пойдет не только в Туркестан. У нее особое задание...

Он схватил его под руку, зашептал страстно:

— Мы бросим искру в пороховой погреб, мы ударим по Антанте. Нам надо прорвать мировую блокаду. А мировая революция — разве не может пойти с востока?

Пламя в камине пылало костром. Это было среди ночи: комнаты были разбужены среди снов, вырваны из них. Все равно — им быть потоптанными, пройденными мимоходом, их не было. Они двигались, все двигалось в пространство. И женщина кукольными глазами — расширенно, онемело глядела на огонь, послушно сидя, с поджатыми под себя ногами: так сидели жены — на кочевьях — перед дальним походом.

⟨ФРАГМЕНТ 3⟩

Из-за Волги — с калмыцких, башкирских, пугачевских земель идет пурга. Зима. За пологом мятущимся ее, в мутно-темных безднах — там фронты где-то, шатаются плечом к плечу, стерегут земли за собой, ночью и днем прут... Хлопьями летит пурга, темнеет вечер, из города,— из высоких этажей — Заволжье уж не Заволжье, а темная, представшая, новая земля, пройти по ней, прочистить мутево; в мутных мятущихся высотах, в ливне косом хлопьев, вечером* зажигаются огни во всех четырех — до верху и темнеет и стирается красноармеец, подающий руку рабочему. Гостиница «Красная Армия» светит огнями, живет; огни нацелены — пройти через город, в безбрежные земли, в муть, в гиблое и пурговое; огни в городе — только гости...

Неужто и этот вечер есть: где-то дровни по поляне бегут, поскрипывают, и свистит в тулупе безмятежно, как в тысяча девятьсот десятом или девятом. А в уезде — в горнице вымыты полы, лампады горят, не колышась, над чистыми половицами и на кухне доспевает самовар. Вечер. Зима. Хлопнут спросонок мирной дверью...

Так в тысяча девятьсот десятом. Россия.

В штадиве в этот час, как в подвале. Только одна лампа горит — над столом тов. Люде, наштадива, освещая эстонское сухое, с красным носиком, с колючими под пенсне белесыми глазками — думают, как режут, холодно и пристально. Ворох бумаг — подписать. Подпись: Партначдив... (будет — «Клемин»), под ней, наштадив — «генерального штаба Люде». Искоса бежит свет по глянцевитой, хрусткой сорокаверстке рядом, на стене; высоты ее — там Архангельск, англичане, Белое море, Карелия — в тьме; там тоже пурга и свои глядящие и думающие вот так окна и... Красным, незарубцованным, кровоточащим сечет глаза — фронт; он дугой, брюхом книзу. Через мутево, дороги, долины, через все, что было Россией,— теперь земля без концов, окруженная и взвихренная...

Отскрипели дровни, отшумел самовар в девятьсот десятом. Была Россия...

Человек сидит вечером, пишет. За окнами — где это? на какие тысячи верст? — какие-то шевеления, переходы, оплотнения мутных масс, человечьих скопов, кипучей розни; где-то садятся на поезда; пишут в канцеля-

---

* *На полях помета автора:* Если глянуть на свет — океан хлопьев безбрежен. Такова же и ночь. И земля. Окна (чаще точки).

риях; отсчитывают ящики патронов; трубят локомотивы, падая в крутево ночное; люди, люди, люди... — это формируется человечий материал где-то— для первой среднеазиатской, стрелковой.

Уже видит организационный разум.

Вдоль Яика, по степному тракту, бредут в пурге батальоны. Не батальоны — сброд; ворочаются назад — в тыл исстрелянные чапаевские старики; остатки полков; это — ядро формирований будущей дивизии. Там, на Яике еще остались. Через пургу скачет кавбригада тов. Бубенца; перед Бубенцом скачет и летит тиф, краснеют, сыпнеют обмороженые тела казачьи, генерала Толстова последняя рать; свистит пурга — на Гурьев: там помереть, там уйти в закаспийские пески; летит тиф, летит кавбригада Бубенца; а полки сделали свое дело. ⟨4 *нрзб*⟩.

Темно, застит ночь дорогу. Какая это земля? Где хаты, где рязани, николаевски, где полустанки знакомые?

На полах — на половицах на этапном пункте — грязь шишками, зашарпанная сапогами, махра как тесто — сквозь махру едва-едва — окна; у самого окна, затиснутый толпой,— комендантик, лихой, с красным околышем, с наганчиком — тот самый, что вечером по перрону лихо и франтовато с дочкой ДС*,— перехваченный в талии, с наганчиком, а наверху месяц морозный, пурга утихла — ...Курносый, мокрогубый юный комендантик опупел, таращит глаза и прут в него дулом, патлатыми, заветренными озверелыми мордами: — давай приварку, туды-ть твою, ишь, рассиделись здесь! — Это с Яика ядро кадровое, чапаевские старики. —Сейчас всю станцию разгромим к... В теплушках, ⟨1 *нрзб*⟩ как наседки, опускаются растопыренными пóлами прямо на пол, хлебают из черных котелков и везут их — везут, мимо прокруживаются поля, они белы, длинны, нерусски — сдвинуты откуда-то; вот — за спиной выросли такие, пока ходили по тракту за генералом Толстовым. Орут расщебленные, смятые, взъерошенные полустанки...

И так в город. Там кто застуженный, уже в тифе — в лазарет. Там кто — ротами — в школы, в магазины опустошенные. Вечером в школах, в магазинах чадят лампы, лежат вповалку — сотни спертых; серь, мрак, смрад, дым; это ли жизнь? Войдет какой — охваченный свежей любовью, и тоской и красотой и знающий все слова о человечестве — заглянет — это... Дантов ад... И как жить — им. Сплошная вошь ползет. А из дверей

— А-ге-ге-ге-ге!

— Растудыть...

— не мученики империалистической, эти — другие. От них ползет вошь. Госпиталя полнятся. Ползет в гостиницу; там уже опечатаны двери в третьем этаже, против Додика: тиф у письмоводителя коменданта. Вползло с Яика, от ген⟨ерала⟩ Толстова. А окна ночью горят — летят сквозь ночь дома, комнаты,— сны..

И еще в пространствах — опять формирование — это все туда же, в ⟨первую ?⟩ среднеазиатскую. Пустые военкоматы готовятся, пишут; объявлена профессиональная мобилизация в уездном городе Саранске. Там-то ⟨2 *нрзб*⟩ по профсоюзам. За рекой Саранкой — чужие деревни, поля, в комнатах еще под окладами ⟨?⟩ — лампадки — да и они будто уже в поле светят, не в тысяча девятьсот —

Распишитесь: профмобилизация.

И вот какой-нибудь, может быть, тоже Додик. В прошлом студент-филолог а позже, в девятнадцатом — учитель в саранской гимназии, да еще лектор клуба РКП саранской организации — и еще в наробразе.

Как раз в бывшей семинарии — теперь в унаробразе — съезд школьных работников уезда. [Три дня шло постатейное голосование нового устава профсоюза, предложенного унаробразом и укомом РКП — прения разгорелись

* Начальник станции.

из-за слов 3-го пункта — «строить рабоче-крестьянское просвещение на основах коммунистической идеологии». «Мы беспартийные»,— заявили учителя (были барышни, были с бородами за выслугу лет, были люди в футлярах, был бывший студент-филолог, преподаватель реального училища и бывший офицер — вроде Додика, интеллигент, он любил искусство...) — Зачем нам хотят подтасовать партийность, давайте напишем «на социалистической идеологии». Три дня голосовали, горячо говорили, раскололись — $^1/_3$ за и $^2/_3$ (бороды, барышни, футляры) — против. Тот вроде Додика — был все-таки (?) в одной трети — он бывший офицер, было не безопасно еще... Из одной трети разъяренно вышел старый работник по нар⟨одному⟩ просвещению, сторож Рамзайской бывшей церковно-приходской школы, в глуши, заваленной сугробами, сказал: — Товарищи! как мы знаем этих саботажников! Как ботинки получать, так они, извините, через знакомства и пожалте ордер, а голосовать за советскую власть их нет. ⟨...⟩

Так и не подписали ⟨1 *нрзб*⟩ — и вот ⟨2 *нрзб*⟩: профмобилизация; здесь уже не отговоришься: голосовали и решили — дать. И бывшие семинаристы голосовали и тащили жребий вечером. Была серая, уже снежная осень: вечер...]

ЛАРИСА РЕЙСНЕР

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ РОМАН

Вступительная статья и публикация
А. И. Наумовой и Г. А. Пржиборовской
Характеристика источников публикации составлена Т. Г. Динесман
Примечания Н. А. Такташевой

Литературное наследие Ларисы Михайловны Рейснер — одного из зачинателей советской литературы — невелико. Ведь творческий путь ее был недолог: в 1912 г. она впервые выступила в печати, а в феврале 1926 г. Ларисы Рейснер не стало — она прожила немногим более тридцати лет.

Почти все написанное ею Рейснер опубликовала еще при жизни. Впоследствии основные сочинения ее были собраны и неоднократно переиздавались [1]. Однако в архиве писательницы, ныне хранящемся в Гос. библиотеке СССР им. В. И. Ленина, находятся некоторые творческие материалы, не увидевшие света, и среди них — фрагменты неоконченного романа, публикуемого ниже [2].

Роман построен на автобиографической основе: образ его героини явно автобиографичен, в ряде персонажей без труда угадываются лица из семейного и литературного окружения автора, а большая часть сохранившегося текста — два фрагмента (из трех) — повествует об истории журнала «Рудин», который в 1915—1916 гг. Рейснер издавала вместе со своим отцом [3]. Третий фрагмент невелик — всего два листа, оторвавшихся от утерянной рукописи; действие его происходит в конце 1919 г.

Работу над романом Рейснер начала в 1919 г. [4] К этому времени в ее творческом активе числились две миниатюрные книжечки о женских типах Шекспира, героико-романтическая драма «Атлантида», а также стихи, рецензии и критические статьи, напечатанные в дореволюционных периодических изданиях [5]. Был у нее уже и немалый общественно-политический опыт. Летом 1917 г. Рейснер работала в Петроградской межклубной комиссии, в Комиссии по делам искусств при Исполкоме Советов рабочих и солдатских депутатов, выступала с публицистическими очерками в газете «Новая жизнь». В первые же дни Октября она решительно стала на сторону революции и приняла деятельное участие в строительстве новой культуры, включившись в работу по учету и охране музейных ценностей и изданию классиков русской литературы [6]. В 1918 г. Рейснер вступила в Коммунистическую партию и летом того же года получила назначение на Восточный фронт; здесь она стала комиссаром разведывательного отряда штаба 5-ой армии и принимала участие в боевых операциях Волжско-Камской флотилии [7]. Она «неизменно находилась на передовой линии огня ⟨...⟩, — вспоминает современник.— Ее смелость, стойкость, умелый подход к морякам, острое, всегда находчивое, точное слово, вдохновенные, задушевные беседы с моряками находили путь к их сердцам,— она пользовалась среди них большим авторитетом» [8].

Рейснер обладала на редкость острым гражданским самосознанием и темпераментом. Эти качества в полной мере проявились в ее литературной деятельности той поры. С осени 1918 г. в газете «Известия» печатались ее «Письма с фронта», впоследствии объединенные в книгу «Фронт. 1918—1920 г.» (М., 1924). Эти «письма» — правдивый и страстный рассказ о трагических буднях войны, о людях, ковавших победу Революции.

В декабре 1918 г. Рейснер была назначена комиссаром Генерального штаба Военно-морского флота республики и в этой должности оставалась до июня 1919 г.; все это время она жила сначала в Петрограде, затем (с февраля) — в Москве [9]. С июня 1919 г. до середины 1920 г. Рейснер снова на фронте и в течение года (с небольшим перерывом зимой 1919—1920 гг., когда она приезжала в Москву) участвует в боевых действиях Волжско-Каспийской флотилии; с 31 июля 1920 г. она — сотрудник Политуправления Балтийского флота, а в марте 1921 г. в составе советского посольства на два года уезжает в Аф-

ганистан [10]. И почти все это время — на протяжении трех лет (1919—1921) — она пользуется каждой возможностью, чтобы продолжить работу над задуманным ею романом, главным образом над теми его главами, которые посвящены истории «Рудина» [11].

Почему же, занятая столь животрепещущими военными и политическими задачами, писательница упорно возвращается к годам, предшествовавшим великому Октябрю, и к событиям, связанным с журналом «Рудин»? Ответить на этот вопрос позволяет внимательное чтение текста романа, а также писем Рейснер, относящихся к периоду работы над ним. Но прежде чем обратиться к этим источникам, необходимо напомнить те основные вехи в жизни семьи Рейснеров, которые подготовили их к намерению издавать журнал, необходимо представить себе характер этого журнала, роль «Рудина» в творческой биографии Ларисы Рейснер и его место на том пути, который привел ее в стан Революции.

Отец писательницы — Михаил Андреевич Рейснер (1868—1928), социолог и правовед,— в 1898—1903 гг. был профессором Томского университета. В ту пору его представления об историческом прогрессе связывались с надеждами на союз «просвещенного абсолютизма», церкви и «верующей личности», что нашло отражение в его трудах по вопросам государственного права [12]. Тем не менее Рейснер был по доносу обвинен в «возмутительной пропаганде», которую якобы вел с кафедры, и в начале 1903 г. вынужден был подать в отставку. Тогда же он вместе с семьей эмигрировал за границу, где сблизился с русскими политэмигрантами и германскими социал-демократами, в частности, с А. Бебелем и К. Либкнехтом [13]. Большое влияние на него оказало знакомство с В. И. Лениным.

В 1905 г. на немецком языке вышла его брошюра «Борьба за права и свободу в России» (с предисловием А. Бебеля; русское издание — М., 1906), за ней последовал «Русский абсолютизм и свобода» (СПб., 1906). Обе книги — свидетельство тех радикальных изменений, которые претерпели взгляды Рейснера в годы эмиграции: недавние надежды на религию и самодержавие сменились сочувствием русской революции, его политические симпатии всецело склоняются на сторону большевиков [14].

В 1907 г. Рейснер вернулся на родину с твердым убеждением, что дальнейшая судьба России немыслима без коренного социального переустройства. Поселившись в Петербурге, он возобновил преподавательскую деятельность — теперь уже в Петербургском университете и Психоневрологическом институте. Однако репутация «неблагонадежного» делала его положение в обоих учебных заведениях весьма шатким, а получаемый оклад был очень низок. Материальная необеспеченность влекла погоню за заработком, в результате задуманный им капитальный труд по теории государства остался незавершенным [15].

Мысль об издании сатирически-оппозиционного журнала возникла у Рейснера в 1915 г., в разгар империалистической войны. Нарушить «ужасающую тишину», поднять голос против «безобразия русской жизни», против шовинистического угара и воинствующего милитаризма — таков был замысел этого издания: «Я устал жить с завязанным ртом (...),— говорит отец героини романа, объясняя свое намерение издавать журнал,— я хочу первым бросить камень в толстую, желтую рожу кого-то, кто воюет и сидит в Думе» [16].

Двадцатилетняя Лариса Рейснер, полностью разделявшая взгляды отца, всем своим воспитанием была подготовлена к активной деятельности. Она стала его первой помощницей в деле издания журнала, приняла на себя большую часть трудностей, связанных с этим предприятием, и сделалась «не только редактором, но и идейным вдохновителем» его [17].

Первый номер журнала, получившего несколько неожиданное название — «Рудин», вышел в ноябре 1915 г. «На обложке красовался силуэт героя тургеневского романа с пышной шевелюрой и старомодным разлетающимся галстуком, исполненный в нарочито старомодной манере,— вспоминает Вс. Рождественский.— Это было вполне в духе эстетских вкусов буржуазной литературы и внешне как бы свидетельствовало об общей «благонадежности». Но внимательному читателю надлежало при этом иметь в виду, что красноречивый и свободолюбивый идеалист Рудин в конце концов завершил свою жизнь на баррикадах» [18]. Об этом недвусмысленно напоминали стихи Л. Рейснер, открывавшие первый номер журнала:

Всегда один, смешон и безрассуден,
На баррикадах умер Рудин.

Когда-нибудь нелицемерный суд
Окончит ненаписанные главы —
И падших имена произнесут
Широкие и полные октавы... [19]

«Трубач, который всех будит» — так назвал тургеневского Рудина А. В. Луначарский. «Это большая фигура,— утверждал он,— и в ней сосредоточивает Тургенев все положительные черты интеллигентов, которые от времен Пушкина жили в них. Все они были горнисты, все они били зорю и великолепно зажигали все вокруг себя...» [20] Рейснерам не могло быть известно это определение, высказанное значительно позже, но именно такую роль предназначали они своему журналу, и в этом заключался смысл избранного ими названия.

В первом же номере «Рудина» редакция декларировала свою программу: «...создание органа, который бы клеймил бичом сатиры, карикатуры и памфлета все безобразие русской жизни, где бы оно ни находилось»; вторую свою задачу редакция видела в том, чтобы «открыть дорогу молодым талантам и при их помощи придти к установлению новых культурных ценностей» [21].

Следуя этой программе, Рейснеры стремились привлечь в свой журнал литературную молодежь. Основными его сотрудниками стали студенты — члены университетского «Кружка поэтов», в который входила и сама Рейснер. Среди них были О. Э. Мандельштам, Вс. А. Рождественский, И. В. Евдокимов; был привлечен также живший в Москве Л. В. Никулин [22]. Из писателей более старшего поколения однажды выступил в «Рудине» Б. Садовской, был приглашен, но не участвовал в журнале А. С. Грин [23].

Молодые силы, также в основном студенты, были привлечены и к оформлению журнала. Стилизованные заставки, виньетки и рисунки «Рудина», как правило, не связанные с текстом, в большинстве своем были подражаниями книжной графике «Мира искусства» и придавали журналу видимость эстетского издания. В том же духе выполнены и печатавшиеся почти в каждом номере рисунки С. Н. Грузенберга — уже известного в то время книжного графика,— и работы молодого Н. Н. Купреянова — впоследствии крупного деятеля советской иллюстрации [24]. На этом фоне резко выделялись многочисленные политические карикатуры студента Академии художеств Е. И. Праведникова, стиль которых, по меткой характеристике Рейснер, определялся сочетанием «академической точности» с «подавляющим реализмом» и «чудовищной злостью» (II, 2) [25]. Наиболее яркими из них были — карикатуры на Бальмонта, на П. Б. Струве, на Вл. Бурцева, на Г. В. Плеханова, занявшего оборонческую позицию (№ 1, 3, 5, 6).

Несмотря на довольно широкий круг авторов, привлеченных к журналу (около 30), главными сотрудниками «Рудина» были сами издатели — Л. Рейснер и ее отец, выступавшие в каждом номере с двумя-тремя статьями, подписанными не только их собственными именами, но и разными псевдонимами [26]. Именно они определяли лицо журнала, стремясь следовать поставленной в его программе задаче — клеймить «безобразие русской жизни». Таковы памфлеты М. А. Рейснера, направленные против закулисных деятелей императорского режима («Свинья» — № 5) и ренегатствующих либералов («Бесстыдник», «Муж благолепен» — № 3, 7), высмеивавшие бюрократическую систему управления («Дураки» — № 4), застой и косность официальной науки («О выеденном яйце...»— № 5), разоблачавшие шовинистическую пропаганду («Труба Иерихона» — № 2). Такова и статья Ларисы Рейснер, направленная против шовинистического угара в тогдашней поэзии («Краса» — № 1), а некоторые из ее критических статей, опубликованных в «Рудине», и по сей день сохраняют свое значение — например, статья «Россия в мечтах и ожиданиях» — об историческом пессимизме Ф. Сологуба (№ 2) или статья «Через Ал. Блока к Северянину и Маяковскому», где Маяковский впервые назван трибуном народных масс (№ 7). Всего же она напечатала в «Рудине» 9 литературно-критических статей и рецензий, а также 10 стихотворений. И хотя поэзия Рейснер в это время была отмечена влиянием акмеизма, стремлением к эстетству, к изысканности образов и фразеологии, во многих из ее стихотворений, опубликованных в журнале «Рудин», отчетливо звучат бунтарские настроения молодого автора — неприятие современной социальной действительности и пафос ее разрушения («Сонет»,| посвященный Рудину; «Памяти Камилла Демулена»; «Медному всаднику» — № 1, 7 8).

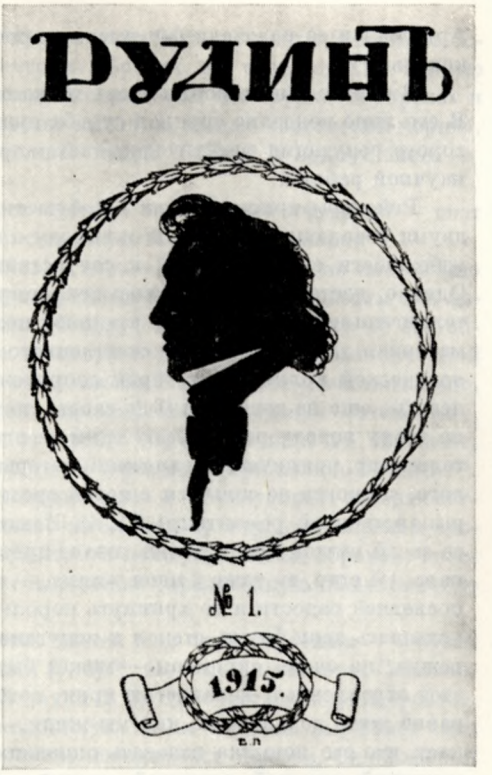
Вообще же состав журнала был крайне неоднороден; рядом с острыми политическими памфлетами и серьезными критическими статьями значительное место занимали про-

изведения молодых эстетствующих литераторов, а меткая политическая карикатура уживалась, как уже было сказано, рядом с рисунками эпигонов «Мира искусства».

Не имея четкой политической программы, адресованный довольно узкому кругу интеллигенции, к тому же связанный контролем цензуры военного времени, «Рудин» не оправдал возложенных на него надежд. Он не нашел своего читателя, а материальные трудности оказались не под силу его издателям. В мае 1916 г. журнал прекратился на 8-м номере, просуществовав всего полгода.

Однако в судьбе самой Ларисы Рейснер, а также в судьбе ее отца «Рудин» стал весьма важной ступенью. Работа в журнале во многом подготовила выбор гражданской позиции, сделанный ими после Октябрьского переворота, выбор — который привел их обоих в ряды Коммунистической партии.

«Мы — долгие годы, предшествовавшие 18 году, и мы Великий, навеки незабываемый — 18 год»,— писала Рейснер родителям в конце 1922 г. [27] Эти патетические строки свидетельствуют, что и свою собственную судьбу, и судьбу своих близких она воспринимала как явление, в значительной степени характерное для эпохи Революции и лет, непосредственно ей предшествовавших.



ПЕРВЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА «РУДИН»
Ноябрь 1915 г.
Обложка по рисунку Е. И. Праведникова

Вероятно, это и побудило Рейснер предпринять попытку художественного осмысления минувших событий ее собственной жизни в дни, казалось бы, меньше всего подходившие для ретроспективных размышлений и воспоминаний. Но в то время история «Рудина» не была для Рейснер только ретроспективой. Она тесно связывалась в ее сознании с историческими событиями в жизни страны, участницей которых она стала. Есть основания полагать, что героиня задуманного романа должна была повторить ее собственный путь, пройдя от романтического бунтарства и стихийного неприятия российской действительности к сознательному участию в социалистической революции. О том, что таков был замысел автора, свидетельствует не только один из дошедших до нас фрагментов, но и набросок плана романа, сделанный в 1919 г.[28]

Однако основная часть сохранившегося текста все же связана именно с историей «Рудина». Вокруг этого сюжетного стержня группируется ряд эпизодов, в которых очерчены политические взгляды отца героини, умонастроения студенческой молодежи, беспринципность представителей официальной науки, нравы декадентствующих кругов. Эти эпизоды создают тот общественно-политический фон, благодаря которому рассказ о неудавшейся попытке петербургского профессора и его дочери издавать журнал выходит за пределы семейной хроники и приобретает определенное социально-историческое звучание.

Почти все персонажи романа — лица, реально существовавшие в окружении писательницы, хотя не всех мы можем точно идентифицировать [29]. Это ее родители, друзья семьи, лица из литературно-художественного, научного и делового мира. Те из них, кто был связан с Рейснер или с ее семьей тесными родственными или дружескими связями, скрыты, как правило, под вымышленными именами. Лица, с которыми ее связывали чисто деловые отношения, а также широко известные деятели науки и литературы, с которыми она не была знакома лично, выведены под собственными фамилиями.

Значительное место в романе занимает семья Рейснеров — сама Лариса (в романе —

Ариадна) и ее родители (их имена неоднократно изменялись в процессе работы над рукописью [30]).

В образе отца героини очень точно отражены обстоятельства жизни М. А. Рейснера. В его лице показана трудная судьба прогрессивно мыслящего русского ученого, для которого репутация «неблагонадежного» практически закрывала возможность плодотворной научной работы.

Рейснеры принадлежали к той части русской интеллигенции, которая в годы между двумя революциями пришла к выводу о несостоятельности существующего режима и неизбежности его крушения, к сочувствию пролетарскому освободительному движению. Однако, достаточно откровенно декларируя свои политические симпатии, эта группа интеллигенции оставалась вне реальной политической борьбы. Судьба отца давала Рейснер материал для попытки художественного отображения той сложной социальной и психологической коллизии, которой сопровождался подобный переход «с правого берега на левый», еще не доведенный до своего логического конца (II, 4). Авторские размышления по этому поводу раскрывают один из идейных мотивов романа: «деклассированный» интеллигент, покинувший «прежний лагерь», но тем не менее связанный с ним грузом прошлого, «никогда не сольется с новой средой», если останется на позиции «старой, барской, рыцарственной романтики» (II, 4). Именно на этой позиции и стоит отец героини романа со своей мечтой предпринять «поход против общества» на страницах задуманного им журнала. «Я стар, ты тоже у меня устала,— говорит он жене,— почему не доставить себе этой последней радости и не крикнуть королю, что он голый? Большего мне не надо, но хочу услышать звон битых стекол и испуганный визг, и — Лисси, это уж действительно надежда, но очень скромная,— может быть, за нашей спиной раздастся гул, движение, этот отравленный ненавистью крик, которого мы ждали так долго. Хочешь, рискнем, все равно жить дольше так, как мы жили,— невозможно» (II, 4). Таким образом, он сам сознает, что его попытка издавать оппозиционный журнал — всего лишь бунт одиночки, не имеющий никакой реальной опоры в обществе и этим самым обреченный на неудачу. И все же, движимый «бескорыстным пафосом» борьбы, он не может и не хочет остановиться.

На той же «романтической» позиции стоял и прототип этого персонажа — М. А. Рейснер, да и сама Лариса Рейснер в пору издания «Рудина»: они решились выступить в одиночку, подняв на страницах своего журнала голос против самодержавного режима и буржуазной морали, однако голос их не был услышан. Прошло немного времени, и Революция открыла перед ними иные пути. Право стать «своей» в стане Революции Лариса Рейснер завоевала под пулями, защищая молодую Советскую республику. Ее отец заслужил это право активным участием в строительстве социалистического государства [31].

В этом свете становится понятным смысл названия, которое дано первому из дошедших до нас фрагментов романа,— «Requiem». История «Рудина» — своеобразный «Requiem» собственному прошлому. В этом прошлом отразилась, по словам автора, «рыцарственная романтика» старой русской интеллигенции с ее «бескорыстным пафосом» и «культом порывов», — «романтика», не учитывающая реальные пути политической борьбы (II, 4).

Для Ларисы Рейснер «Рудин» был только началом, первым шагом на пути в будущее. Летом 1916 г. она писала родителям с берегов Волги: «...за Россию бояться не надо; в маленьких сторожевых будках, в торговых селах, по всем причалам этой великой реки — все уже бесповоротно решено. Здесь все знают, ничего не простят и никогда не забудут. И именно тогда, когда будет нужно, приговор будет произнесен и свершится казнь, какой еще никогда не было» [32]. Героиня романа полна тем же предчувствием близких социальных потрясений и готова ринуться им навстречу, хотя ее представления о целях и средствах предстоящей борьбы еще весьма смутны.

Для понимания образа Ариадны чрезвычайно важен эпизод в литературно-артистическом кабаре (в нем легко угадывается известный ночной клуб «Бродячая собака» [33]), где Ариадна читает свои «стихи о Петербурге» (I, 2). Привычный символ Петербурга — «Гигант на бронзовом коне» — приобретает в ее интерпретации неожиданный и пророческий облик. Он возникает перед слушателями «не один, как прежде, но в тесных объятиях другого Всадника, который, сидя на железном седле, обхватив одной рукой страшный стан Петра, другой искал опененные удила Коня». Этот новый Всадник «услышит стоны чугунного горла под своими руками, изуродованными трудом, и победит, и с клочь-

ями императорской тоги в руке, обагренной кровью полубога, ускачет, ускачет на освобожденном Конс». Перед лицом «богемской черни», бросая ей свои стихи, полные «смутной угрозы», Ариадна ощущает себя «маленьким рыцарем без страха и упрека» и готова к поединку. Но «маленький рыцарь» бросает вызов не только «богемской черни». Перед ним еще один противник: «высоко над толпой сидел Гафиз», а вокруг него — «каста поэтов, строго подобранный цех».

Под экзотическим именем Гафиза выступает один из основателей акмеизма — поэт Н. С. Гумилев, с которым в годы войны Рейснер связывали близкие отношения [34].

В юности Рейснер пережила сильное увлечение поэзией акмеистов, но постепенно изменила свое отношение к этому поэтическому направлению. В процессе работы над изданием журнала складываются ее представления об искусстве, прежде всего об его общественной значимости, и принципы акмеизма становятся ей чужды. В незаконченной статье, написанной в 1916 г., Рейснер говорит об акмеизме и его главе: «Действительно, в безвоздушном пространстве всякая гармония вырождается в мертвую схоластику, катехизис, живые мощи. Фантазия, оторванная от живого народного наречия, бледнеет, замирает, чахнут ее живые ключи, слово обращается в торжественный соляной столб» [35]. Это и есть то «бесчеловечное искусство» с его «холодностью» и «объективным совершенством ⟨...⟩ формы», вызов которому бросает Ариадна, читая Гафизу и другим «жрецам чистого искусства» стихи, «пропитанные гарью социального пожара». Таким образом, юная героиня романа демонстрирует в этом эпизоде совершенно определенную общественную и творческую позицию.

Для понимания идейного смысла романа очень важен еще один персонаж — ученый Сильванский и рассказ о провале его диссертации (I, 4) [36]. По замыслу автора, Сильванский воплощает передовую мысль исторической науки и противопоставлен университетским профессорам, представляющим науку официальную. Если Ариадна выражает свое предчувствие близких социальных катастроф языком поэтических образов, Сильванский говорит о том же языком научной логики. Разоблачая «призрак государственности», «таинственную сущность власти» и «сословное буржуазное право», Сильванский приходит к выводу, что система, основанная на «общественной лжи и несправедливости», далее существовать не может — она стоит перед «полным, непоправимым разрушением». И так же, как «жрецы чистого искусства» с ненавистью отвергают бунтарскую поэзию Ариадны, «официальные жрецы» науки страшатся беспощадных выводов Сильванского.

Университетская, в частности, профессорская среда занимает большое место в романе. В этой среде Рейснер жила и хорошо ее знала. В описанные ею годы в области просвещения осуществлялась политика министра Кассо, жестоко расправлявшегося со всеми проявлениями студенческого свободомыслия и последовательно удалявшего с университетских кафедр прогрессивно мыслящих профессоров. В этих условиях проблемы нравственного облика и научной совести ученого стояли очень остро. Они глубоко волновали и Л. Рейснер.

В эпизоде защиты Сильванского дана сатирическая характеристика «синклита» благонамеренных профессоров («славный черносотенец», «велеречивый лгун», «торговец сладким лимонадом», «молодые либералы, которые изучают русский парламентаризм, блаженно не замечая участков, еврейских погромов и монополии»). Вслед за этим в романе возникает еще один образ, несущий значительную идейную и психологическую нагрузку,— Веселовский (II, 5).

Этим именем в романе назван петербургский профессор, видный экономист В. В. Святловский, друг семьи Рейснеров, с которыми еще недавно его связывали общность научных взглядов и общественной позиции. Но если за последнее десятилетие Рейснеры неизменно поворачивали влево, то Святловский избрал путь компромиссов, нажил немалое состояние, ловко балансировал в годы репрессий Кассо и, сохраняя репутацию либерала, сумел в то же время занять прочное положение в университете [37]. В Веселовском значительно углублены черты Святловского (с целью подчеркнуть их типичность), и прежде всего его «многоликость» приспособленца: Веселовский — «банкир-социалист», он — поэт и в то же время делец, ограбивший своего доверителя, либерал, в погоне за властью делающий ставку на реакцию. «Дух великого компромисса, утонченного кровосмешения идей, мощь лжи» пронизывает все стороны деятельности Веселовского, в том числе и педагогическую. В результате талантливый ученый и блестящий эру-

дит, Веселовский может дать своим ученикам знания и навыки научного анализа, но не может дать им «морального костяка, единства и веры».

Веселовский типичен — в нем отражен процесс вырождения, которому подверглась значительная часть буржуазной либеральной интеллигенции в годы, прошедшие между двумя революциями. Этот психологический и в то же время социально-заостренный портрет может быть признан наиболее удавшимся образом романа. Создавая этот двуликий образ, Рейснер выразила свое нравственное credo: без твердых убеждений и моральных устоев любая общественная деятельность теряет смысл, более того — превращается в свою противоположность. Суд над Веселовским — «профессором-социалистом», который под защитой городового, оберегающего «имущество, спокойствие и вдохновение банкира Веселовского», обучает студентов «разрушению и справедливости»,— писательница предоставляет его ученикам: «Последователей у него не было — все, принявшие из его неверных, неубежденных рук святые дары политической веры, уходили от него удовлетворенными, более опытными», но одни — «с неблагодарным и презрительным оттенком — как от проститутки», другие — с мыслями «о том, как в первый день революции с четырех концов запалят нарядную пещеру мудреца».

Не будем останавливаться на других персонажах и эпизодах романа [38]. Приведенных примеров достаточно, чтобы представить себе идейный смысл романа так, как он вырисовывается из сохранившихся глав. При всей их фрагментарности, незавершенности, а порой и стилистической необработанности, эти главы воссоздают атмосферу уходящей эпохи и настроения различных кругов русской интеллигенции в преддверии революции, а также дают зарисовки буржуазных дельцов.

Рейснер очень дорожила своим замыслом и, как мы видели, на протяжении трех лет неоднократно возвращалась к нему. В начале января 1922 г. она послала ряд глав родителям, а 22 апреля спрашивала их: «Что мой «роман», жду ваших рецензий с трепетом» [39]. Отзыв родителей не сохранился, но был, по-видимому, отрицательным, так как 7 мая Рейснер пишет им: «Признаюсь, я тоже немножко обижена, как-то не примирилась с забракованием своего романа. Ни папа, ни мать не пишут ничего по существу. Что, по-вашему, плохо, почему первые главы, которые мне казались такими удачными, не получили даже мотивированного приговора? Неужели все так отвратительно?» [40] А несколько позже она отвечает еще на одно критическое письмо, также до нас не дошедшее: «Совершенно неожиданно пришло мамино письмо. Я не могла, конечно, писать дальше роман, пока она мне не сказала именно то и именно о том, о чем было надо ⟨...⟩ Теперь передо мной и страницы почерневшие, выпавшие из рукописи, как мертвые,— и точки, от которых можно строиться дальше. О «примитивности» ваших двух фигур вы абсолютно правы, но ведь это никогда не будете вы вполне — это первый профиль, тень» [41].

Родители Рейснер действительно выведены в романе слишком прямолинейно, кое-что могло их покоробить и даже обидеть в этом изображении. Вот почему они так долго отмалчивались и отозвались только после настойчивых напоминаний дочери. Как видно из приведенного письма ее к ним, отзыв их был очень суров. О том же свидетельствует и приписка Ф. Ф. Раскольникова в этом же письме: он называет жену автором «романа, проваленного даже пристрастными родственниками Трибуналовыми» [42]. И хотя в последнем письме Рейснер говорит о своем намерении продолжать роман, намечая «точки, от которых можно строиться дальше», она, по-видимому, больше к нему не прикасалась. Отчасти в этом повинно суровое отношение родителей, мнение которых она высоко ценила. Но, вероятно, причина прекращения работы над романом заключалась в другом.

Стремительное течение жизни неудержимо захватывало Рейснер, отодвигая в тень образы прошлого, которые так недавно были для нее неотъемлемой частью настоящего. Еще не отказавшись от мысли продолжать свой роман, она остро ощущает в себе эту перемену. 7 мая 1922 г., прочитав присланные ей стихи Ахматовой и журнал «Записки мечтателей» с романом А. Белого «Котик Летаев», она пишет родителям: «...эти книги и радуют, и беспокоят, точно после долгой разлуки возвращаешься — на минуту и случайно — в когда-то милый, но опостылевший, брошенный дом». И продолжает далее, несомненно подразумевая также свой собственный опыт: «Нет ничего вреднее кладбищ, воспоминаний и несколько сентиментального блуждания по собственным развалинам. Развалины цепки, пахнут мертвым и причиняют гибельные слабости» [43]. Эти слова помогают понять, почему мы больше не встречаем никаких следов дальнейших «блужданий» Рейснер по собственному прошлому.

Сохранившиеся фрагменты романа предполагалось включить в первый том трехтомного собрания сочинений Рейснер, издание которого в 1928 г. готовилось в ГАХН [44]. Издание это осуществилось в неполном виде [45]. Роман не был в него включен и затем еще около 40 лет оставался вне поля зрения не только читателей, но и исследователей. Первое сообщение об этом произведении и краткая характеристика его появились в 1965 г. в статье С. В. Житомирской «Архив Л. М. Рейснер» [46]. В 1968 г. отдельные эпизоды его использовал в качестве материала в своей биографической повести о Рейснер И. Н. Крамов (без ссылок на источник) [47]. В том же году И. Сукиасова опубликовала небольшой отрывок из начала первого фрагмента (Ариадна у художника Грина); в публикации допущены произвольные пропуски, искажающие смысл, и выдвинуто бездоказательное утверждение, что в художнике Грине изображен писатель А. С. Грин [48]. В 1975 г. проблемы «личность и эпоха» в этом произведении Рейснер коснулась в форме тезисов Н. А. Таташева [49]. Однако в целом текст романа до сих пор оставался неизвестным, а проблемы, с ним связанные,— неизученными. Настоящая публикация даст возможность восполнить этот пробел в изучении творческого пути Ларисы Рейснер — писательницы, чье литературное наследие заслуживает того, чтобы стать известным в полном объеме.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Лариса Рейснер. Собр. соч., т. 1—2. М.—Л., Гиз, 1928; Лариса Рейснер. Избр. произв. М., Гослитиздат, 1958; Лариса Рейснер. Избранное. М., «Худ. литература», 1965.

[2] Обзор архива писательницы см.: С. В. Житомирская. Архив Л. М. Рейснер.— «Записки отдела рукописей ГБЛ», вып. 27. М., «Книга», 1965.

[3] «Рудин (Поэзия.— Памфлет.— Сатира)». Двухнедельный журнал. Пг., ноябрь 1915 — май 1916 г., № 1—8.

[4] См. ниже «Характеристику источников публикации».

[5] Два очерка Рейснер «Офелия» и «Клеопатра» — под общим названием «Женские типы Шекспира» — напечатаны под псевдонимом «Лео Ринус» (Рига, ‹1912—1913›); драма «Атлантида» — в альманахе «Шиповник» (кн. XXI, СПб., 1913). В 1914—1917 гг. Рейснер печаталась в журналах «Рубикон», «Богема», «Рудин», «Летопись», «Свободный журнал», газете «Новая жизнь» (см. С. В. Житомирская. Указ. ст., с. 47).

[6] Подробнее о деятельности Рейснер в Петрограде в 1917—1918 гг. см.: С. В. Житомирская. Указ. ст., с. 48—49; С. Варшавский, Б. Рест. Билет на всю вечность (Повесть об Эрмитаже). Л., 1978, с. 105—108.

[7] См.: Лариса Рейснер. Избранное. М., «Худ. литература», 1965, с. 512—514; С. В. Житомирская. Указ. ст., с. 49.

[8] Л. Берлин. Дело служения народу.— В сб.: «Лариса Рейснер в воспоминаниях современников». М., «Сов. писатель», 1969, с. 78—79.

[9] 20 декабря 1918 г. Рейснер была назначена и. о. комиссара Генштаба Военно-Морского флота, а 19 января 1919 г. утверждена в этой должности (Центральный Государственный архив Военно-Морского флота, р. 5, д. 286, л. 594 и 685).

[10] Все эти данные уточняются по документам, хранящимся в Центральном Гос. архиве Военно-Морского флота (р. 342, оп. 1, д. 919, л. 324) и в личном архиве Рейснер (ГБЛ, ф. 245, 9.20 и 12.45).

[11] См. ниже «Характеристику источников публикации».

[12] См. работы М. А. Рейснера: «Христианское государство» (Томск, 1899) и «Государство и верующая личность» (СПб., 1905).

[13] В 1904 г. по приглашению К. Либкнехта Рейснер выступил в качестве эксперта на Кенигсбергском процессе, возбужденном по требованию царского правительства против немецких социал-демократов с целью добиться прекращения ввоза в Россию нелегальной литературы. Показания Рейснера сыграли значительную роль в ходе процесса, который не только не оправдал надежды его вдохновителей, но имел обратный результат: авторитет царского режима за рубежом был сильно подорван. После процесса германские власти установили за Рейснером полицейский надзор. Тем не менее он активно участвовал в газете «Vorwärts», органе германской социал-демократии, и читал публичные лекции в рабочих аудиториях.

[14] В 1905 г. Рейснер обратился к В. И. Ленину с предложением организовать в Женеве конференцию сторонников бойкота Государственной думы; ему принадлежит также план сбора средств для помощи вооруженному восстанию (*Ленин*, т. 47, с. 81—82). В том же году он нелегально приезжал в Россию и принял участие в Таммерфорсской конференции РСДРП.

[15] Материалы, подготовленные для этого труда, легли в основу книги Рейснера «Государство. Пособие к лекциям по общему учению о государстве», ч. I—III. М., 1911—1912.

[16] Последняя фраза зачеркнута автором — см. Фрагмент II, глава 4. Далее ссылки на текст публикуемого романа даются в тексте статьи; при этом номера фрагментов обозначаются римскими цифрами, номера глав — арабскими.

[17] Всеволод Рождественский. Юность наших дней.— «Лариса Рейснер в воспоминаниях современников», с. 20.

[18] Там же.

[19] «Рудин», 1915, № 1, с. 1.

[20] А. В. Луначарский. Очерки по истории русской литературы. М., «Худ. литература», 1976, с. 193.

[21] «От редакции».— «Рудин», 1916, № 4 (внутренняя сторона обложки).

[22] Осип Эмильевич *Мандельштам* (1891—1938) в 1915 г. окончил Петербургский университет; начал печататься в 1910 г., в «Рудине» опубликовал два стихотворения (№ 7, 8); в незавершенной статье «Краткий обзор нашей современной поэзии (Акмеизм)» (1916) Рейснер сочувственно отозвалась об его творчестве (ГБЛ, ф. 245, 3.1.). Всеволод Александрович *Рождественский* (1895—1977) в 1914—1916 гг. был студентом Петербургского университета; начал печататься в 1911 г.; был дружен с Рейснер по «Кружку поэтов» и оставил воспоминания о ней (см. выше, прим. 17); в «Рудине» напечатал три стихотворения (№ 4, 7, 8). Иван Васильевич *Евдокимов* (1887—1941) в 1911—1915 гг. был студентом Петербургского университета; начал печататься в 1915 г., в «Рудине» опубликовал два стихотворения (№ 2, 7). Лев Вениаминович *Никулин* (1891—1967) начал печататься в 1909 г., сотрудничал в сатирических журналах и газетах; в «Рудине» напечатал три стихотворения под своим именем и под псевдонимом «Анжелика Сафьянова» (№ 1, 2, 6); о своем участии в журнале и о Рейснер — издательнице «Рудина» — вспоминает в очерке «Лариса Рейснер» (в кн. «Люди и странствия. Воспоминания и встречи». М., 1962, с. 91—94).

[23] Борис Александрович *Садовской* (наст. фамилия — Садовский; 1881—1952) ко времени издания «Рудина» выпустил поэтический сборник «Самовар» (1914), ряд прозаических произведений и два сборника критических статей; в «Рудине» напечатал одно стихотворение (№ 3). Александр Степанович *Грин* (наст. фамилия — Гриневский; 1880—1930) жил в Петербурге с 1906 г., тогда же начал печататься: ко времени издания «Рудина» выпустил девять сборников рассказов (1913—1916). В расходных ведомостях по журналу значится гонорар в 25 р., выплаченный Грину, а 8 декабря 1915 г. Грин писал Рейснер, что посылает ей обещанный рассказ «Танец» (ГБЛ, ф. 245, 9.12 и 6.16). Однако ни этот рассказ, ни другие произведения Грина в «Рудине» не печатались.

[24] Семен Николаевич *Грузенберг* (1888—1934) — художник-график, сотрудник журн. «Сатирикон» (1908), участник выставок «Мир искусства» (1913—1916); был постоянным сотрудником «Рудина»— его заставки и рисунки печатались во всех номерах журнала, кроме последнего. Николай Николаевич *Купреянов* (1894—1933) поместил в «Рудине» два рисунка (№ 8).

[25] Евгений Иванович *Праведников* — автор обложки «Рудина», значительной части рисунков и почти всех карикатур в «Рудине» (в каждом номере появлялось по несколько его работ); карикатуры подписывал псевдонимом («А. Топиков»), остальные рисунки — настоящим именем.

[26] М. А. Рейснер печатался в «Рудине» под псевдонимами: Марин, М. Ларин, И. Смирнов. Последние два ошибочно приписывались его дочери (Иннокентий Оксенов. Лариса Рейснер. Л., «Прибой», 1927, с. 11, 28—29; эту ошибку повторил И. Ф. Масанов в «Словаре псевдонимов», т. II и IV. М., 1957—1960). Л. М. Рейснер писала под псевдонимами: Л. Храновицкий, Е. Ниманд, Рики-Тики-Тави. Ее мать — Екатерина Александровна Рейснер — пользовалась псевдонимами: Р. Власта и Юлия Хитрово (она напечатала в «Рудине» пять рассказов). Все псевдонимы членов семьи Рейснер раскрыты в комплекте журнала, сохранившемся в архиве писательницы (ГБЛ, ф. 245, 11.49/1—2).

[27] Лариса Рейснер Избранное, с. 546.

[28] См. ниже «Характеристику источников публикации».

[29] Прототипы персонажей романа раскрываются в примечаниях к публикуемому тексту. В некоторых случаях установить прототипы не удалось; эти случаи в примечаниях не оговариваются.

[30] См. ниже «Характеристику источников публикации».

[31] Сразу же после Октябрьского переворота М. А. Рейснер принял самое активное участие в работе по созданию Советского государства — руководил отделом законодательных предположений в Наркомате юстиции, участвовал в комиссии по составлению первой советской конституции, выпустил брошюру «Что такое советская власть» (М., 1918) и ряд других работ, разъясняющих принципы советской государственности.

[32] Лариса Рейснер. Избранное, с. 512.

[33] См. прим. 5 к фрагменту I.

[34] Гафиз — персонаж драматизированной сказки Н. С. Гумилева «Дитя Аллаха» («Аполлон», 1917, № 6—7). Этим именем Рейснер называла Гумилева в своих письмах к нему (1916—1917) и в стихах, ему посвященных (ГБЛ, ф. 345, 5.3 и 1.5).

[35] Л. Рейснер. Краткий обзор нашей современной поэзии (Акмеизм).— ГБЛ, ф. 245, 3.1; см. также рецензию Рейснер на драматическую сказку Гумилева «Гондла» («Летопись», 1917, № 5—6, с. 363). Об отношении Рейснер к акмеизму см.: Н. А. Таташева. Лариса Рейснер и модернисты (в сб. «О традициях и новаторстве в литературе и устном народном творчестве», в. II. Уфа, 1972).

[36] О Сильванском и его прототипах см. прим. 23 к тексту романа.

[37] О В. В. Святловском и его отношениях с семьей Рейснер см. прим. 50.

[38] Следует отметить, что в романе фигурируют два персонажа, выступающие в разных фрагментах под одним и тем же именем: художник Грин и писатель Грин. Художник появляется в начале первого фрагмента, он полон презрения к «лжи» буржуазного мира

и предчувствует социальные катаклизмы, несущие гибель этому миру; прототип его неясен, лишь темы его рисунков несколько сближают его с С. Н. Грузенбергом (см. выше, прим. 24, а также прим. 2 на с. 250). Писатель Грин фигурирует в зачеркнутой автором главе другого фрагмента как основной сотрудник «Рудина» (см. Приложение III). «Пламенный культ океана, чистого воздуха и чистой любви» сближают его с А. С. Грином, однако, как уже отмечалось, Грин не был сотрудником «Рудина» (см. выше, прим. 23).

[39] Лариса Рейснер. Избранное, с. 520; здесь это письмо ошибочно отнесено к 1921 г.

[40] Там же, с. 522.

[41] Там же, с. 531—532.

[42] ГБЛ, ф. 245, 5.15, л. 35.

[43] Лариса Рейснер. Избранное, с. 522—523.

[44] План этого издания хранится в ЦГАЛИ.

[45] Лариса Рейснер. Собр. соч., т. 1—2. М.—Л., 1928.

[46] «Записки отдела рукописей ГБЛ», в. 27, с. 68—69.

[47] И. Крамов. Утренний ветер. М., «Детская литература», 1968.

[48] Ирина Сукиасова. Новое об Александре Грине.— «Литературная Грузия», 1968, № 12, с. 75—76.

[49] Н. А. Такташева. Личность и эпоха в автобиографической повести Л. Рейснер «Рудин».— В сб.: «Писатель и время», в. I. Ульяновск, 1975, с. 54—55.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ПУБЛИКАЦИИ

Три разрозненных фрагмента рукописи романа представляют собой отрывки разных редакций, которые создавались на разных этапах работы, продолжавшейся около трех лет (1919—1921). Анализ этих рукописей позволяет установить замысел незавершенного произведения Л. Рейснер.

Первый фрагмент (черновой автограф — ГБЛ, ф. 245, 2.31/1) содержится в клеенчатой тетради, на титульном листе которой рукой Рейснер вписаны заглавие, инициалы автора и дата:

«Requiem

L. v. R.

Ап〈по〉 1919» *

Тетрадь содержит пять эпизодов, действие которых относится к концу 1915 г. и связано с организацией журнала «Рудин»: Ариадна у художника Грина; в кабачке на Михайловской площади; разговор с братом; приход студентов и рассказ о Сильванском; типограф Альтшулер (см. фрагмент I, гл. 1—5).

Бóльшая часть этого текста (л. 1—50; фрагмент I, гл. 1—4) написана с полным соблюдением старой орфографии и имеет авторскую нумерацию страниц (1—104). Первоначально нумерация начиналась с цифры «11», которая затем была зачеркнута и заменена на «1».

Последние 12 страниц (л. 50—61; фрагмент I, гл. 5) не нумерованы и написаны чернилами и карандашом, до этого не употреблявшимися. Здесь автор уже частично переходит на новую орфографию (полностью отказывается от «ѣ», непоследователен в написании «ъ» и повсюду сохраняет «і»). Все это дает основание полагать, что последние 12 страниц были дописаны значительно позднее, во второй половине 1920 г. (к июлю этого года Рейснер уже полностью отказалась от «ъ», но по-прежнему сохраняла написание «і» — см. автограф очерка «О Петербурге», июль 1920 г.— ГБЛ, ф. 235, 3.30).

Совершенно очевидно, что первый фрагмент является продолжением не дошедшего до нас начала повествования. Об этом свидетельствуют первоначальная пагинация автографа («11»), а также первоначальная редакция первой его фразы: «*Их* юмор 〈...〉».

Сохранилась также машинописная копия этого фрагмента (ГБЛ, ф. 245, 2.31/2), сделанная на бумаге советского производства — а значит, не позднее марта 1921 г. (до отъезда Рейснер в Афганистан). На л. 1 помета автора: «3-й отрывок». Копия пестрит опечатками, грубо искажающими смысл, что исключает возможность использования ее как источника публикации.

Второй фрагмент, действие которого также связано с историей «Рудина», сохранился в двух редакциях:

* Реквием. Л〈ариса〉 ф〈он〉 Р〈ейснер〉. Г〈од〉 1919 (*лат.*).

1) Черновой автограф (ГБЛ, ф. 245, 2.32, л. 1—51);

2) Авторизированная машинописная копия (ГБЛ, ф. 245, 2.33).

Черновой автограф состоит из двух разных рукописей, по содержанию дополняющих друг друга и соединенных вместе.

Первая из них (л. 1—6) содержит два эпизода: Ариадна у Ефремова, встреча отца Ариадны со Святловским (см. фрагмент II, гл. 1 и Приложение I). Эта рукопись написана чернилами на трех сложенных пополам листах бумаги английского и иранского производства, с авторской пагинацией (1—3). Листы заполнены с оборотом. Автор следует орфографии, которой придерживался с июля 1920 г. Второй эпизод незакончен.

Вторая рукопись (л. 7—51) содержит шесть эпизодов: приход Топикова; Ариадна на катке; разговор между родителями; у Веселовского; выход журнала; новогодняя ночь (фрагмент II, гл. 2—6). Эта рукопись написана на бумаге английского производства, листы заполнены без оборота и сложены в виде двух несшитых тетрадей; первая заполнена целиком, вторая — лишь частично. Чернила и орфография те же, что и в первой части. Авторская пагинация: 3—46. Перед началом первого эпизода — несколько заключительных строк предыдущего эпизода (фрагмент II, гл. 1). Из них видно, что содержанием двух первых утерянных страниц было возвращение Ариадны из Москвы. Последний эпизод вычеркнут автором.

Имя и фамилия отца героини в двух частях чернового автографа различны. В первой он — Андрей Андреевич, в написании же фамилии автор колеблется: Реден, Роден, Р., Рудин. Во второй части он назван своим подлинным именем — Михаил Андреевич, так же как и мать — Екатерина Александровна (в первой части она не фигурирует); здесь их фамилия — Радины.

Английское и иранское происхождение бумаги, на которой написаны обе части чернового автографа, одинаковые чернила и одинаковая орфография свидетельствуют, что Рейснер работала над ними уже в Кабуле, т. е. в 1921 г. Вместе с тем различное оформление этих двух частей чернового автографа, самостоятельная пагинация каждого из них, а также несовпадение в имени отца говорят о том, что эти части относятся к разным редакциям, которые следовали одна за другой и были соединены в процессе дальнейшей работы.

Машинописная копия сделана на бумаге английского и иранского производства, имеет авторскую правку по всему тексту и подпись: «Лариса Рейснер. Кабул, 5 января 1922 г.» На л. 1 авторская помета: «№ 1»; там же помета неизвестной рукой: «Рудин». Страницы 18—23 утеряны.

Копия содержит пять эпизодов: Ариадна у Ефремова; приход Топикова; разговор между родителями; у Веселовского; выход журнала (см. фрагмент II, гл. 1, 2, 4—6). Все они почти полностью совпадают по содержанию с черновым автографом, но вместе с тем имеют ряд отдельных разночтений, иногда весьма существенных по смыслу. Утерянным страницам машинописи в автографе соответствует эпизод на катке (см. фрагмент II, гл. 3). В машинописную копию не вошли два эпизода чернового автографа: незавершенный второй и вычеркнутый автором последний (встреча отца героини со Святловским; новогодняя ночь — см. Приложения I и III). Имена родителей первоначально соответствовали второй части автографа, но были изменены в процессе авторской правки: отец — Михаил Николаевич Н-ов, мать — Елизавета Алексеевна. Изменена и фамилия Святловского — он стал Веселовским.

Разночтения машинописной копии с черновым автографом позволяют предположить, что между ними существовала промежуточная редакция, с которой и была сделана копия. Подписанная и выправленная автором, эта копия является окончательной редакцией второго фрагмента и служит источником настоящей публикации.

Третий фрагмент (черновой автограф — ГБЛ, ф. 245, 2.32, л. 61—62 об.) содержит один эпизод: Ариадна в Музее изящных искусств, где скульптуры мастеров Возрождения вызывают у нее ассоциации с образами современников — участников гражданской войны. Действие эпизода относится к концу 1919 г.— Ариадна размышляет о событиях гражданской войны, имевших место в это время, как о событиях текущего дня.

Текст написан на двух ненумерованных листах, заполненных целиком, с оборотами. Автор полностью придерживается старой орфографии. Следовательно, этот фрагмент

написан не позже начала 1920 г.— после этого времени Рейснер стала постепенно переходить на новую орфографию.

Этот фрагмент — лишь часть, оторвавшаяся от утерянной рукописи; он имел начало и продолжение: первые строки его предполагают знакомство читателя с обстоятельствами, которые привели Ариадну в Москву; последние — обрываются на полуфразе.

Изучение сохранившихся фрагментов позволяет сделать некоторые выводы по поводу общего замысла задуманного произведения: «непризнание — журнал — безденежье — любовь — революция» (запись на полях чернового автографа (фрагмент 1 — ГБЛ, ф. 245.2. 31/1, л. 21 об.). Два фрагмента, повествующие об издании «Рудина», отвечают второму пункту этого плана. Третий фрагмент — свидетельство того, что Рейснер написала также какую-то часть романа в соответствии с последним пунктом намеченного плана («революция»).

Работа над романом была начата в первой половине 1919 г., когда Рейснер — комиссар Генштаба Военно-Морского флота — жила в Петербурге, а затем в Москве. Однако работа была прервана. По-видимому, это произошло в июне того же года, в связи с отъездом автора на Восточный фронт.

Вернуться к роману Рейснер смогла, вероятно, зимой 1919—1920 г., во время краткого пребывания в Москве. Однако теперь ее больше волнуют события настоящего времени, и, не закончив историю «Рудина», она начинает работать над другой частью романа, в которой ее героиня уже пришла в революцию. Немногие уцелевшие страницы этой части (*фрагмент третий* в нашей публикации) не дают возможности судить о том, как далеко продвинулось исполнение этого замысла. Несомненно только одно: Рейснер работала над этим фрагментом не позднее начала 1920 г.— об этом свидетельствует его орфография.

Во второй половине 1920 г., возвратившись в Петроград, Рейснер решает продолжить работу над первой частью — она вновь обращается к старой тетради и дописывает в ней 12 страниц, завершая незаконченный ранее эпизод *первого фрагмента* (время этой работы также устанавливается по орфографии). Но вскоре и эта работа прерывается, вероятно, в связи с постоянными разъездами писательницы (в октябре она уезжает в Ригу, в качестве корреспондента, затем на юг).

Только в 1921 г., уже в Кабуле, Рейснер возобновляет свой труд. Она снова возвращается к началу — к юности героини и к истории «Рудина». Однако на этот раз она пишет совершенно новые главы, которые завершает 5 января 1922 г.; они составляют *фрагмент второй* нашей публикации. Он не повторяет содержание *первого фрагмента*, скорее, оба они дополняют друг друга. Вполне возможно, что Рейснер предполагала в дальнейшем объединить оба фрагмента в окончательной редакции романа. Однако, как мы знаем, после 5 января работа над романом прекратилась.

Текст романа публикуется по материалам архива Рейснер, описанным выше.

Фрагмент первый печатается по черновому автографу (1919— ⟨1920⟩; ГБЛ, ф. 245, 2.31/1). В подстрочных примечаниях приводятся зачеркнутые автором слова и строки, представляющие интерес в смысловом отношении.

Фрагмент второй печатается по авторизированной машинописной копии (5 января 1922 г.; ГБЛ, ф. 245, 2.33). Утерянные страницы ее (эпизод на катке — фрагмент II, гл. 3) восстанавливаются по черновому автографу (1921; ф. 245, 2.32). В подстрочных примечаниях приведены разночтения машинописи с черновым автографом, имеющие принципиальное значение (мелкие разночтения частного характера не учитываются).

Фрагмент третий печатается по черновому автографу (⟨зима 1919—1920 г.⟩; ГБЛ, ф. 245, 2.32, л. 60—61).

Фрагменты располагаются по их месту в общей канве романа, а не по хронологии их создания, установленной выше.

Эпизоды чернового автографа второго фрагмента, не включенные автором в окончательный текст, публикуются в приложениях.

‹ФРАГМЕНТ I›

‹1›

Юмор [1*], заостренный годами нищеты, непризнания и профессионального унижения, иногда возвышался до настоящей мести. Но тогда пресса, видя, что одиночество и безнадежность гонит этих неудачников на литературную баррикаду, где они могут быть опасны, давала им свою руку, с которой они жадно и неловко срывали золотую перчатку.

Грина, талантливого Грина, Ариадна разыскала [2*], наконец, при посредстве адресного стола на одной из Рождественских улиц. Под ее ногами скрипел высокий свежий снег, но у ворот, желтых и замызганных, он лежал, покрытый вечной сырой тенью, цветом похожий на белье тяжело-больного. Дальше следовали: лестница, звонок, прихожая и, наконец, темная комната, целая гамма из мертвых камней, вещей и настроений, которыми город спокойно продолжал пользоваться, не замечая их холода, неподвижности и зловоний.

Художник сам открыл дверь; и Ариадна нерешительно пожала его белую руку и, удивленная, присела на старинный диван, обитый темно-зеленой восточной материей [3*].

Он был оскорблен. Пришла девушка, красивая девушка с мороза, и делает лицо, точно опоздала к постели любимого родственника, испустившего дух за четверть часа до ее приезда. Неужели до такой степени дошло его падение, что это уже видно чужим людям. Она, между тем, рассказывала о своем журнале. Это должен быть [4*] поход против общества,— она не решилась сказать «буржуазного»,— какого не было со времени французской революции. Именно сейчас, когда воздух сгустился, как в оранжерее, и воцарилась тишина, которую одни боятся нарушить из лени, другие — скрывая надтреснутую пустоту своего голоса, третьи — пресыщенные всем, по ту сторону добра и зла, одинокие перед тайной самоубийства,— сейчас нужно крикнуть или рассмеяться. Разве не смешна [5*] жизнь? Она безумна и пьяна, она идет, шатаясь, по пустынным улицам, и зимняя стужа курится над ее головой одинокими дымами. Потом, примите во внимание ненависть.— Ариадна помолчала, и в ее крылатых бровях Грин увидел приближение весенних гроз.— Да, ненависть. Ненависть, ныне осмеянную, и в лучшем случае стилизованную несколькими знаменитыми режиссерами. За газетной грызней и судебным красноречием мы разучились ненавидеть. Красные угли фурий угашены бесчисленными словами, легальная оппозиция, эта содержанка победителей, присвоила себе [6*] народный гнев. Вместо злобы — прения, вместо бури — шелест газетных листов и вместо знамени — вывески. Как душно! Нужно как-то вздохнуть.

Грин, в юности переживший первую неудачную революцию, слушал с нетерпением, почти недоброжелательством. Одно слово вульгарного политического возмущения, и он прекратит этот неожиданный разговор. Но нет, она ни разу не опускалась до определенной программы. Бунтарский дух этой девушки возмужал на старых и трудных подлинниках, она судила мир, спрятавшись под суровую мантию Спинозы, и сквозь шлифованный камень его седой и целомудренной философии Грину смеялись и гневались ее молодые глаза. Это во всяком случае было ново. Несколько его слух резали резкие, почти циничные насмешки. Грин испугался. Откуда это ядовитое отрицание на устах, имеющих строгий изгиб и цвет нетронутых 18 лет? Правда, среди женщин богемы несколько талантливых куртизанок, полуактрис [7*],

---

1* *Было*: их юмор
2* *Было*: Одного из них Ариадна р‹азыскала›
3* *Далее зачеркнуто*: — Мне вас очень жалко
4* *Далее зачеркнуто*: ядовитый и гениальный
5* *Далее зачеркнуто*: важность прилично (*слово не дописано*).
6* *Далее зачеркнуто*: и разменяла на гроши
7* *Далее зачеркнуто*: полупоэтесс

блистало бокаччиевой дерзостью языка, но простой узел их волос, просто сложенный на затылке, при всей чистоте линий благоухал тонким кабаком: след ночей, проведенных в мужском обществе. Художник подавил свои сомнения и слушал дальше. Очень давно, еще в Академии, он любил и часто и тщательно повторял строй античной колонны. Ее белизна, ее гордость... Да, вот откуда цинизм этой девушки. Он вдруг оторвался от далекого воспоминания, от ученического рисунка, кнопками прикрепленного к столу, где помещено было его рукой столько прелестных, столько легких и неколебимых мраморных столбов.

Софисты. Софистика. И весь [8*] славный цинизм, весь обнаженный пыл разума, присущий этим забытым ныне и опозоренным в веках отцам настоящей науки, так ясно предстал Грину. Как художник, он мыслил и вспоминал образами. Теперь из пепла и льда многих городов, отделявших его от первой молодости и ранней силы его таланта, явились неожиданно старые, давно оставленные замыслы. Он даже улыбнулся их неожиданно пробужденной яркости.

— Александр Иванович, почему вы улыбаетесь? Я не буду говорить, если вам смешно.

Нет, Грин вдруг почувствовал могучее облегчение: он нашел нужные слова.

— Нет, просто пока вы говорили, я вдруг почему-то вспомнил одну картину, или нет, совсем не картину, а мысль. Когда-то, очень давно, я хотел писать софистов. Не правда ли, нелепо? И даже самые важные краски и лица уже просвечивали на чистом полотне, около которого я ходил, смущенный и взволнованный, охваченный собственным затруднением и блаженным страхом; это всегда бывает перед приливом творчества. Жутко и хорошо помедлить перед нетронутым холстом. Да, хотел писать софистов. Только не думайте — книги, литература и тому подобное,— Грин махнул рукой,— я ничего в них не понимаю. А просто: однажды, случайно, я узнал, что в Греции были люди [9*], такие до конца одинокие и всеми отвергнутые за горечь мысли и змеиную раздвоенность своего все познавшего жала, что против них восстала вся умная и прекрасная древность. И как их тяжко казнили! О, конечно, Эллада не могла побивать камнями и жечь на костре, но, бесчеловечно-прозорливая, она уничтожила, до последнего свитка, до последней строки, все лучшие, все неповторимые творения софистов. Прекрасны боги, без рук, даже без лица. Складки одежды, движения сохранившихся членов договаривают их бессмертие. Пустота становится зеркалом, и в ее глубине человечество читает напряженные и высокие формы.

Но философия, лишенная речи и выражения! Представьте себе,— вам не скучно? — ведь нужно же иногда выпускать на солнце свою ослепшую, потерявшую крылья и слезы мечту,— какую-нибудь горячую площадь, там, на юге, площадь, мощенную теми широкими, правильными и неразрушимыми плитами, которые сохранились и до наших дней. Время — не знаю, вероятно, время слишком красивых богов, грубых и обширных зрелищ и социального упадка. Полдень. Пусто, жарко. На ступени здания (вид его безразличен) отдыхает старик. Это последний из тех, кто когда-то знал и слушал Протагора и Горгия, спорил с Платоном,— не был обманут высокопродуманной и классически-лживой, великолепной кончиной этого философа [1]. Прошло много лет. И медленно, без шума, под мягким гнетом высокой культуры, погиб и умер в Греции взрыв величайшего творчества. Носители его, ославленные, как проституты духа за скудную плату, взимаемую от своих учеников, разбрелись по всему Востоку, и белые их мантии, загрязненные пылью азиатских дорог, смешались с толпой мировых бродяг, шарлатанов и неудачников. Через все Средние века, Возрождение они прошли

8* *Далее зачеркнуто:* обличающий

9* *Далее зачеркнуто:* продававшие свои знания, испугавшие древний мир своим отрицанием, такие первые

неузнанными, с позорным клеймом. Совершенно-холодная маска Аристотеля, без зрачков, недосягаемо победоносная, прогнала их от дворцов Возрождения опять в века, полные ночи и забвения. И только теперь наша бедность и разум, униженный страданиями без числа, понял, наконец, этих изгнанников золотого и мраморного века, наших предтеч. Ах, эта изголодавшаяся, смеющаяся надо всем и над собой, падшая и мудрая голова... Последний софист... Это так много! Возраст, усталость жить и знать оставили на лбу, висках и шее много морщин, которые так дороги в близких, в отцах и дедах, но ужасны на лице стареющего демагога. Они предвещают случайную и презренную кончину. Глаз нет, как нет их у всех Вечных. Но прищуренное и одутловатое веко прячет улыбку: по складкам вдоль носа смех простирается на губы, и здесь он глубок, неподвижен, пропитан нескончаемым сумраком. Подземное озеро, с тихим шелестом омывающее ночные скалы в ожидании своего освобождения, оставляет из года в год след пены, сырости и морской горечи, след надежды, терпения и времени на стенах своей тюрьмы. Это ровное кольцо, черта, обведенная глубоким одиночеством на стенах всего мира,— она вокруг этого дряхлого цинического рта. Как выразить выражение его губ до конца, чтобы вы поняли? Ведь сперва, очень давно, они молились. Потом горели в лучшие дни любви, и розы падали в огонь, чтобы утишить их пожар. Размеры стиха, благороднейшее сердцебиение музыки и поэзии касались этих губ, они возмужали и из мира идей вернулись к жизни, потемнев, суровыми, как парус, прошедший море и входящий в свою гавань таким чуждым и большим. О, борозды лжи, вот и они, широкие и бесплодные, как дороги, ведущие на рынок, где все продажно. Среди красок этого лица, в бледной красноте рта я почему-то очень ярко видел желтый оттенок, похожий и на пыль, и на шелуху луковицы, которою доступный оратор утоляет свой голод после вызывающей речи, полной резких телодвижений, и на бледность непризнания, которое, спотыкаясь, идет под дождем, роняя в грязь белые, беззащитные страницы никому не нужного труда. Сколько оттенков в этом желтом, глинисто-лимонном цвете! Первый свист толпы, перешедшей к глумлению,— и он ведь желтый, и плащи довольных, уважаемых мыслителей, идущих навстречу пустоте с незапятнанной совестью и упитанным, все от жизни взявшим телом,— их золотит все тот же желтый блеск заката. О, цвет позора или довольства, цвет бессилия перед вечною косностью — неописуемая смесь золота, желчи и пятен, проступающих на пергаменте рукописей и на коже переплетов.

Грин обвел вокруг себя рукой. На охряных стенах, между пятен сырости, отдыхало зимнее солнце.

— Вы пришли меня пригласить в ваш журнал, стать одним из Аргонавтов. Хорошо, согласен. Я еще не стар. Я вам дам для первого номера [10*] пантер, веселых пантер, с блудницами и вакханками на спине, прыгающих через толстые книги лжи [2] — например, через эту — сочинение знаменитого Павла Николаевича [11*]! Я нарисую высокие книжные полки, погруженные в молчание и пыль, залы всемирных библиотек, вдруг заросшие до потолка, до часов, заводимых раз в сто лет, заплетенные, задушенные диким виноградом, павиликой, целой пряжей цепких, благоуханных полевых ползунов. Книги опьянеют, часы остановятся. Я только художник. У меня нет ничего, чтобы выразить белизну и крепость простых и подлинных знаний, которые нужно вынуть из-под земли, как статуи. Я еще не знаю, что делать с песнями огромных человеческих толп, которые должны появиться, мстительные и победоносные. О гневе я уже подумал. Пожары, надо рисовать огонь. Как ясно мне видны статуи, безмолвствующие на карнизах Зимнего дворца, на фоне неба, объятого заревом. Ангел Крепости и Адмиралтейская игла, купола Исакия, аркады Эрмитажа, решетки старинных садов, гранит набережных и малахит Строгановских галерей,— все, все, как венчальным покрывалом,

[10*] *Далее зачеркнуто*: софистов, целую серию их,— дам воскресших, снова молодых, дам

[11*] *Далее зачеркнуто*: Милюкова [3]

завешу дымом и в огне поведу к алтарю красоты [12*]. Города перевоплотятся моими пальцами. И впереди шествий, которые мне снятся, изображу Агасфера, вечного странника, шута и пророка толпы, сатира с древним факелом в руке, бросающего огонь в современные здания, как он ⟨его⟩ бросал в Риме, в дни восстания рабов, и в Аттике во время народных возмущений [4]. Софисты, софисты!..

И совсем позабыв о гостье, Александр Иваныч закрыл глаза и не слышал, как за стеной раздувала самовар полная хозяйка, как играл у двери ее кот. А на столе — кипа рисунков, приготовленных его голодной рукой для уличной печати, блистала ужасной дешевизной [13*]. На них Ариадна, уходя, тихонько положила аванс в 25 рублей. На одну ночь эти деньги, испаряясь тонкими ядовитыми струйками кокаина, вернули Грину волю и творчество.

⟨2⟩

Кабачок был расположен на Михайловской площади, в подвале старинного дома [5]. Толпа, изрыгаемая на белый декабрьский снег двумя театрами и большим Варьете, свою пену вливала в его узкие, сырые ворота. Просачиваясь в фантастически расписанный подвал, эта пена струилась вдоль крутых лесенок плотными перьями вперемежку с крыльями черных летучих мышей, на груди носящих крахмальное белье и цветы [14*].

Улыбается за своим столиком уродливый смуглый азиат в цветном платье, и свет ночных ламп изменил лица, сообщая им неподвижную, ложную, глубокую прелесть, изображенную импрессионистами в «Ночном баре» [6].

Газовые рожки, обрамляя чудовищную и плоскую орнаментальную живопись стен, согревают воздух синими языками. И выше всех, под аркой, соединяющей искусство двух соперничающих мастеров [7], под аркой, увитой однообразно кистями винограда, за чашками черного кофе, за беседой о боге и любви отдыхают прекраснейшие любовники этой зимы. Он [15*] некрасив. Узкий и длинный череп (его можно видеть у Веласкеза, на портретах Карлов и Филиппов испанских), безжалостный лоб, неправильные пасмурные брови, глаза [16*] — несимметричные, с обворожительным пристальным взглядом. Сейчас этот взгляд переполнен. Он прям, широк, как гирлянда на дверях новобрачных, сплетенная из жестких еловых ветвей с голубыми лентами и горными цветами. По его губам, непрестанно двигающимся и воспаленным, видно, что после счастья они скандируют стихи,— может быть, о ночи [17*], о гибели надежды и белом безмолвном монастыре. Нет в Петербурге хрустального окна, покрытого девственным инеем и густым покрывалом снега, которого Гафиз [8] не замутил бы своим дыханием, на всю жизнь оставляя зияющий просвет в пустоту между чистых морозных узоров. Нет очарованного сада, цветущего ранней северной весной, за чьей доверчивой, старинной, пошатнувшейся изгородью дерзкие руки поэта не наломали бы сирени, полной холодных рос, и яблони, беззащитной, опьяненной солнцем накануне венца. И, все еще несытая, воля певца легко и жадно уничтожила много прекрасного и покрыла страницы его рукописей стихами-мавзолеями. Готические башни, острова, забытые роком среди морей, золотые источники завоеванных стран, крики побежденных и лязгающая поступь победителей, неизменная от древних латников и мореходов до наших обагренных дней,— все это сложилось в гору праздной, разбойничьей красоты. Каждая новая книга Гафиза — пещера пирата, где видно много похищенных драгоценностей, старого вина, пряностей, испытанного оружия и цветов, заглохших без воздуха, в густой темноте. И беззаконная, в каком-то великолепном ос-

12* *Далее зачеркнуто*: Это не разрушение, а перевоплощение
13* *Далее зачеркнуто*: и понятностью
14* *Далее незаконченная фраза*: Приникая на мгновение к камню, полотну и краске просачивают теплые и живые
15* *Далее зачеркнуто*: почти
16* *Далее зачеркнуто*: без жалости
17* *Было*: стихи о море, может быть, о горячей тропической ночи

леплении, муза его идет высоко, и все выше, не веря, что гнев, медленно зреющий, может упасть на ее певучую голову, лишенную стыда и жалости. Новое искусство прославило холодность, объективное совершенство ее форм [18*] и превосходство царей, с которым она шествует через трясину мертвой, страшной и позорной грязи. О, кто смел думать о том, что самая земля, по которой ступает это бесчеловечное искусство, должна расточиться, погибнуть и сгореть!

У камина, способного обогреть своей огромной, доброй пастью декадентов всего мира, несколько двадцатилетних эпикурейцев, сидя спиной к огню, наслаждаются теплом и мучительно ждут приглашения прочесть свои произведения, бесконечно похожие друг на друга и на своих авторов: маленьких, с расчесанными проборами, оттопыренными ушами и мордочками по-человечески испорченных ночных зверушек.

Огонь в камине трещит, и суровые, покрытые инеем куски сосны, лежа на костре, преодолевают смерть, наливаются огнем, светятся, как окна во время праздника. Огонь, старый язычник с короной из голубоватых камней на пламенеющей голове, иногда выглядывает из-за узких черных спин, к нему повернутых, и слушает людей, говорящих размеренным певучим языком со сцены. В эти минуты плечи красивых женщин розовеют, на их мягких подбородках, выглядывающих из-под широких шляп, огонь видит свои извилистые, неверные отблески и смеется. Только один, тяжелый и пожилой [19*] лирик [20*], среди всеобщего барокко шагает просто, идет прямо, как ребенок к матери, от своих страданий, от тяжелой жизни, слишком поздно увенчанной славой, к вечной и мудрой смерти [9]. Среди красных кулис, под лампами в кружевных масках, его примиренная и мудрая речь кажется высокой, подавляющей, шагами Каменного гостя среди [21*] соблазнительных [22*] сумерек литературы:

Целуйте плечи
У милых жен.
Покой блаженной встречи
Им возведен.

Целуйте ноги
У матерей.
Над ними бич тревоги
За их детей.

Огонь в восторге бросает на смутный ковер полную горсть своих червонцев. В первом ряду дама, черная, злая, в трескучем шелку, единственная радость и вечная мука поэта, под ноги которой брошено двадцать лет поэзии [10], невнимательно слушает, мучимая старческой завистью к его вечно-молодой поэзии, которую она всю жизнь по очереди всячески [23*] попирала и затем распродавала неудачным торгом [24*]. Издатель, сидя тут же, в тени, и стараясь без шума глотать и жевать, ужинает с белым великолепным животным, которое смутно скучает от непонятных слов. Издатель недоволен.

Все остальное заполнилось той публикой, которую Кузмин, в вечной погоне за богатыми покровителями, снижавшими его солнечное мастерство до желтой [25*] обложки [11],— называл фармацевтами [12]. Все эти господа и дамы, входя в подвал с некоторым стеснением, удивленно и разочарованно слушали, не видя ничего «особенного» (это особенное могло быть какой-нибудь пьяной цыганкой или молодым поэтом, бьющим зеркала), и не могли понять, за что, собственно, здесь взимается крупная входная плата.

— Кто это? Я ее не знаю.

— Которая?

[18*] *Далее зачеркнуто*: ее дыхание, ровное и всегда чистое

[19*] *Далее зачеркнуто*: мастер

[20*] *Далее зачеркнуто*: слишком умный для моды и слишком талантливый для; *затем снова зачеркнуто*: ясный, простой и очень умный

[21*] *Далее зачеркнуто*: путаных узоров, виньеток и вывертов словесного гурманства литературных шалопаев

[22*] *Далее зачеркнуто*: безделок

[23*] *Далее зачеркнуто*: унижала и ранила

[24*] *Далее зачеркнуто*: за полное собрание сочинений ее, ее Сологуба

[25*] *Далее зачеркнуто*: порнографической

— Вот направо от старухи с морщинистой шеей.

— Тише, на нас смотрят. Не знаю. Девушка в темном. Красивая. Чистое у нее лицо. И сидит серьезно, точно на большой перемене. Как на нее смотрит Гафиз!

— Еще бы, заметил.

Мимо прошла жена профессора с учеником своего мужа. Злословие обратилось на ее полноту и тщательно отставленные локти ее спутника, судорожно согнутые без привычной опоры письменного стола.

Между тем Гафиз действительно смотрел на Ариадну. Ее красота, вдруг возникшая среди знакомых лиц, в условном чаду этого литературного притона [26*], причинила ему чисто физическую боль. Какая-то невозможная нежность, полная сладострастного сожаления,— оттого, что она недосягаема, эта девушка. Недосягаема. Так думал Николай Иваныч пока Ариадну не пригласили читать. Она согласилась, и когда на ее лице выразилась вся боязнь начинающей девочки, не искушенной в тяжелой литературной свалке, и в руках так растерянно забелел смятый лист бумаги, в который еще раз заглянули, ничего не видя и не разбирая, ее мужественные глаза юноши-оруженосца, маленького рыцаря без страха и упрека,— Гафиз ощутил черное ликование. Все рубцы, нанесенные его душе клыками критики в пору его собственного начинания; вся горькая слюна небрежения, которой награждали его ныне признанный талант когда-то сильные, старшие мэтры,— сладко заныли и заболели. Видеть ее, эту незнакомку с непреклонным стройным профилем какой-нибудь Розалинды, с тонким станом, который старый Шекспир любил прятать в мужскую одежду между вторым и четвертым актом своих [27*] комедий [13],— ее, недосягаемую, и вдруг —на подмостках литературы, зависящей от прихоти критика, от безвкусия богемской черни, от одного взгляда его собственных воспетых глаз, давно отвыкших от бескорыстия. Это было громадное торжество, сразу уравнявшее его и Ариадну. Гафиз ясно ощутил падение перегородок, и одежда, скрывавшая ее темными складками, стала прозрачна; Мальстрем литературы вступал в свои права.

— Что она читает?

— Не знаю, что-то странное. Может быть, она социалистка?

Издатель был растроган, и он, и меценат, и критик, вышедший из моды, ныне применявший к балету свои философские познания [14]. Все они любили большое и бурное, любили бурю в разрозненных обломках искусства и в течение всей своей пошлой и сытой жизни собирали коллекции потухших гроз и потушенных пожарищ в свои библиотеки, издательства и просто фельетоны. Старые авгуры слушали голос Ариадны, сожмурив глаза: они не ошибались. Какая-то смутная угроза [28*] и мечтательная твердость в ее строфах и в ней самой. На сцене она стоит со своей поэзией, точно рыцарь с мечом на страже оружия накануне посвящения в высокое достоинство. И даже там, где стихия прорывала неискусную и непослушную форму, слова и образы сливаются у нее в целое весеннее бездорожье, где беспокойно и радостно гуляет ветер, и тает, и возбужденно пахнет землей. Стихи о Петербурге разбудили самых ленивых. Кумир, которому из года в год, из поколения в другое поклонялась северная столица,— Гигант на бронзовом коне,— вдруг возник перед слушателями, не один, как прежде, но в тесных объятиях другого Всадника, который, сидя на железном седле, обхватив одной рукой страшный стан Петра, другой искал опененные удила Коня. Безмолвная схватка между тихой вершиной Исакия, плоским карнизом Синода, покрытым дымкой снега и луны, и Адмиралтейством, где за высокими ночными окнами ни одна тень не увидит и не услышит протяжного свиста раздавленной Змеи, конского топота и биения живого сердца на Каменном. Кто этот новый Евгений, охвативший Кесаря руками, обжегший лавры на монумен-

[26*] *Слова*: этого литературного притона — *вписаны над незачеркнутыми, но взятыми в скобки словами*: поэзии и моды

[27*] *Далее зачеркнуто*: дивных

[28*] *Далее зачеркнуто*: недосказанное осуждение жизни

тальном челе своим дыханием, осквернивший [29*] скалу Фальконета? Может быть, просто бродяга или безработный, всю ночь блуждавший по каторжным линиям Васильевского острова, дошедший до отчаяния перед нескончаемым рядом закрытых ворот, хранимых «скифами» в косматых шубах? У, как суров к бездомным ветер на Троицком мосту, как он рвет и хлещет их черные фигуры, пробирающиеся по горбатому каменному пути под яркими шарами планет, нанизанных на вольтовы дуги фонарных столбов! Под этим светом дышат льды, мечтают сфинксы, но люди без дыхания остаются у узорных перил. Но если один из нищих перешел мост, ему не страшен Всадник. Он услышит стоны чугунного горла под своими руками, изорудованными трудом, и победит, и [30*] ⟨с⟩ клочьями императорской тоги в руке, обагренной кровью полубога, ускачет, ускачет на освобожденном коне [15].

Последние строки поэмы были покрыты аплодисментами. Ленивый меценат, колебля толстый живот между коротких рук, бил друг о дружку розовыми ладонями и оглянулся на нескольких вполне корректных и бездарных молодых людей, зависевших от его пособий. Они присоединили свои хлопки, вяло, но демонстративно. Живописцы, не слышавшие ничего, но верные красоте, с радостью принесли свою лепту. Издатель бушевал, пользуясь общим шумом, чтобы не ответить навязчивой жене лирика. Хозяин кабачка, видя общее движение, постарался поднять его до той степени, когда за хорошее вино платят не считая и начинаются крылатые и неожиданные споры, дающие темы усталым пресыщенным беллетристам и заработок газетчикам. Но каста поэтов, строго подобранный цех [16], недоступный влияниям минуты, связанный общими вкусами, хорошим гонораром и неписанным соглашением, которое лежит в основе литературной борьбы и гласит: сталкивай со стеклянного, скользкого шара всех ползущих и карабкающихся на него маленьких, слабых и одиноких, что бы они ни писали и как бы отчаянно ни цеплялись молодыми клыками за общественное мнение, ибо оно может оценить и прокормить немногих,— цех колебался — признать или не признать эту девочку, не обивавшую редакционных порогов [31*] и, без предварительного искуса, без испытания нищетой и унижениями, пришедшую делить их успехи. Однако ожидать было некогда. В тени уже поднялась длинная и бледная голова Шилейки, чудака и прозорливца, полная тысячелетних грез [17]. Востоковед и ученый, он любил стих в оправе времени, видел Блока, пишущего рунами, размеренного Брюсова в рельефе на металлических кованых воротах Фив, Андрея Белого в тех неразгаданных письменных знаках, которые опоясывают обломки мертвых городов, памятники рас, исчезнувших с лица земли, или могилы друидов. Полный отвращения, Шилейко направился к выходу. Поэзия, пропитанная гарью близкого социального пожара, причинила ему физическую боль. И за ним жрецы чистого искусства опустили между собой и сценой непроницаемый занавес, их невысказанное порицание пахнуло в горячее лицо Ариадны сквозняком и серым туманом.

Высоко над толпой сидел Гафиз и улыбался. И хуже нельзя было сделать: он одобрил ее как красивую девушку,но совершенно бездарную [32*]. Дама с ним рядом, счастливая возлюбленная поэта, выразила сожаление. И тем не менее, на этот раз буржуазное общество, вопреки мнению своих обычных поставщиков красивого, против воли жрецов, поучающих интеллигентную [33*] улицу из-за витрин богатейшего книгопродавца, решилось на самостоятельное увлечение: и рукоплесканиям не было конца.

В течение вечера, проходя между столиков своей простой походкой, Ариадна нашла нескольких отщепенцев, несколько колоколов с трещиной,

---

[29*] *Далее зачеркнуто*: скалу Царей на берегу Невы

[30*] *Далее зачеркнуто*: убьет мертвеца, повелевающего мечтами и жизнями своих отдаленных потомков. Это неслыханное убийство (*фраза не закончена*).

[31*] *Далее зачеркнуто*: не испившую унизительное питье лести

[32*] *Далее зачеркнуто*: И многие повторили его

[33*] *Далее зачеркнуто*: чернь



ЛАРИСА РЕЙСНЕРЪ.

Мѣдному Всаднику.

„Добро, строитель чудотворный!
— Ужо тебѣ!
Пушкинъ.

—Боготворимый Гуннъ!
Въ порфирѣ Мономаха
Все-побѣждающаго страха
Исполненный чугунъ.

Противиться не смѣю:
Опять—ударъ хлыста,
Опять—копыта на уста
Раздавленному змѣю!

Но, возстающій рабъ,
Сегодня я, Сальери,
Исчислю всѣ твои потери,
Божественный Арапъ.

Перечитаю снова
Эпическій указъ,
Тебя ссылавшій на Кавказъ
И въ дебри Кишенева:

„Прочь, и назадъ не смѣть!"
И конь возсталъ, неистовъ.
На плахѣ Декабристовъ
Загрохотала мѣдь...

Петровскіе граниты
Едва прикрыли торфъ—
И правитъ Бенкендорфъ,
Гдѣ правили Хариты!

«МЕДНОМУ ВСАДНИКУ»
Стихотворение Л. Рейснер и иллюстрация И. Юдина к нему
«Рудин», 1916, № 8

через которую течет благовест горя и одиночества, несколько молодых поэтов и художников, и просила их о сотрудничестве. И когда поздно ночью ее провожали домой через длинные, снежные, безлюдные кварталы студентов, громоздких конок, огибающих пустынные углы с оглушительным звоном, дребезжаньем и гиканьем, трактиров, мелочных лавок, деревянных лачуг и новых, высоких каменных домов, полных свежей сырости и электрического света, в привале, уже почти пустом, за чашкою черного кофе издатель крупной либеральной газеты рассказывал своему другу об Ариадне, ее отце, их необычайной семейной истории [18].

‹3›

Первый этаж: он темный и приличный. Из двери под лестницей выглядывает швейцариха, пахнет спертым запахом нищеты, немытых пеленок и лифта. Во втором брезжила луна. Второй этаж — чиновный. Он уходит на

службу в половине девятого, шьет всем дочкам новые шубы на рождественские прибавки и танцует по субботам под граммофон. В третьем приоткрыта дверь в чью-то прихожую: уходят поздние гости. Здесь недавно умер паралитик, устроила огромный скандал француженка-артистка, немолодая, толстая. У нее сын лгунишка, и на олимпийских играх во дворе его за трусость и фискальство жестоко бьют дворниковы дети.

Еще выше — старый адмирал в отставке, бедняк, у которого три дочери — незамужние и немолодые девушки — и по субботам чудные дуэты скрипки и ⟨рояля⟩ Грига. Скрипка служит где-то в банке и давно потеряла надежду на бледные губы, потупленные глаза и тонкие пальцы, испорченные стиркой и огнем плиты и стыдящиеся своего труда. Но по субботам в гостиной, украшенной японскими веерами и инкрустированными черными шкатулками, привезенными адмиралом из плавания много лет тому назад, за пюпитром и нотами оба — скрипка и рояль — встречаются и бесплотно любят, пока зеленая весенняя звезда, выйдя из-за крыш, не проплывет узкой полосы неба над провалом сырого, темного, вонючего двора. Григ ликует, и наверху, в 5-м, в своей комнате, полной книг и особенного запаха детской, который все еще держится в пикейном с розами покрывале постели, в простом и чистом белье подростка, в занавесках окна,— сидит и плачет в синем бархатном кресле девушка. Отчего? Волосы ее распущены на ночь, платье снято, и от него пахнет модными духами, воздухом сигар, воздухом кабачка на Михайловской площади. Подымет голову, послушает заглушенные стенами гаммы и опять плачет. В комнате рядом проснулся Гога [34*]. У него длинная, до пят, тоже еще детская ночная рубашка, из ее ворота, обшитого розовой каемкой, стройно белеет юношеская шея, но лицо серьезно, как это бывает у очень чистых [35*] детей.

— Ларочка [36*], отчего ты плачешь?

Он садится на постель и тоже слушает. Потом, раскачиваясь немного, начинает ее любимого Орфея. В шестом классе его учат все: и долговязые, преждевременные гимназисты с черными усами и нечистым цветом лица, и первые ученики, и последние, но никто не умел, кроме Гоги, читать об Орфее, о чистом ручье, о трепетных листах ивы и благодатном древнем небе, плененном его игрой [19].

Ариадна вытерла глаза, заулыбалась, потом ей захотелось лечь и скорее уснуть. Но сперва они немного еще повозились, стащили на пол одеяло с розами и подушки, и Ариадна рассказала о вечере, о своем успехе, о журнале.

Гога вспомнил:

— У мамы в столовой есть сладкое.

Разве может быть что-нибудь лучше раковин с кремом, если они заперты на ключ, но достаются через верхний ящик, где набросанные друг на друга карточки родственников придают всей авантюре такой солидный и таинственный вид. По коридору идут тихонько мимо маминой спальни и вдоль правой стены. У левой стоят безобразные остовы деревянных рам для сушки занавесок. На них ⟨осенью⟩ и перед Пасхой [37*] натягивают нежные, влажные, пахнущие крахмалом и чистотой тюлевые занавески, штопанные в ста местах, купленные за границей еще до Гогиного рождения, но все еще девственно-свежие после распятия на широкой раме. Когда-то, очень давно, прачка, пересчитывая осенью эти пепельные от пыли и усталости нежные ткани своими руками, разъеденными щелоком, кипятком и морозом, и учитывая необычайно чистый вид квартиры на пятом этаже, запросила за их мойку чудовищную цену в пять рублей. Прачку, конечно, отвергли, и с этих пор занавески стираются дома. Есть целый ритуал, строго и добровольно соблюдаемый, в котором принимают участие все — от папы до фокса Бубли-

[34*] *Далее зачеркнуто*: ее брат
[35*] *Далее зачеркнуто*: и талантливых
[36*] *В машинописи*: Арочка
[37*] *В автографе описка*: весной и перед Пасхой

ка. Сперва в кухне появляются огромные чаны, полные горячей воды, и до самого кабинета в течение трех дней проникает неприятный запах мыльного пара. Это самый трудный период. Мама исчезает на кухню, превращается в ретивую «прач», дом полон запустения и откликов бурной и фанатической борьбы с грязью, которую совершенно одна ведет мужественная прач. Книга, которую ей обычно диктует отец, забрасывается, дети разнузданно наслаждаются свободой, фокс спит в неубранной постели. Но когда в чистых чанах заголубеет синька и нежный шафран по капелькам просочится через тряпочку в стакан, когда в ванне, как белые кружевные водоросли, расстилаются и чуть дышат занавески, вымытые, выкипяченные, трижды опущенные в чистые холодные струи,— тогда начинается самый обряд. Второе действие его происходит в столовой, в нем участвуют рамы, дети, кнопки, рассыпанные по полу и вонзившиеся во все подошвы, и, наконец, лестница и на ней профессор, стоящий на вершине с молотком, гвоздиками и карнизом в руках. Утром солнце золотит старые занавески и сквозь их сказочный узор поливает светом и радостью вялую, но любимейшую пальму профессора, постоянно теряющую листья, голую, как перст, и изнуренную частыми поливками и пересадками. Профессор не позволяет, но дети все-таки называют это растение «штык».

Мальчик зажег электричество, раковины оказались на месте, были уничтожены, и с первыми синими тенями утра в детской водворилась тишина. На шкафу, в футляре от скрипки, дрогнула и разорвалась струна, скрипнул пол, и пришел сон. Но прежде чем настали более отчетливые звуки дня: прежде чем метла во дворе правильными полукруглыми взмахами снесла выпавший за ночь снег; прежде чем газетчик хлопнул примерзшей парадной дверью и оставил на столе, закапанном чернилами, пачку писем и газет, между которыми была повестка из банка на вексель профессору в 300 рублей,— повестка, из-за которой он всю ночь мучился бессонницей; прежде чем дворник с багровой шеей и замерзшим потом на затылке и груди втащил на самый верх, в прачечную, свою ежедневную нечеловеческую вязанку дров,— Ариадна еще раз открыла глаза.

— Гога!.. Гога, ты спишь? — Тишина.— Знаешь, там был один поэт, у него такие странные глаза. Он ничего не понял в стихах. Ах, почему мы такие одинокие — и папа, и теперь я? Гога?

И уснула.

‹4›

Утром пришли мальчики с новостями из университета. Стоя за дверью, Ursin [20] терпеливо ожидал, пока в комнате Ариадны сперва стукнут каблучки ночных туфель, потом скрипнет створка зеркального шкафа, где рядом с единственным бальным платьем, завернутым в простыню, и старым гимназическим висит чесучевый халат, вышитый васильками. Лис ждет еще спокойнее: он мистик, фаталист и мечтатель, его тонкое и некрасивое лицо ученого совсем прячется за удивленно круглыми очками.

— Ursin, вы тут? — Да, он тут, конечно.

Она встала, причесывается,— теплая, взъерошенная, одна щека розовее другой — от подушки.

— Ursin, а что он вам сказал, да расскажите же подробнее, все сначала! Неужели первый поклонился?

— Да, первый, среди целой массы студентов.

— И руку подал?

— Да.

И медленно, прижав желтый тяжелый лоб провинциального дьяка к косяку, Urs рассказывает сказку, случившуюся наяву в самом светлом, традиционном и почтенном коридоре университета.

Так вот, между девятой аудиторией, отводимой только признанным удачникам или старикам, давно выжившим из ума, но защищенным от критики

орденом, дряхлостью и педелями, и огромной доской, на которой вывешивают свои часы угодливые «оставленные при», голодные доценты с 33 рублями жалования в месяц, и наконец, еретики, самые опасные люди — молодые ученые. Собственно, страх перед этими последними давно уступил место некоторой величавой брезгливости. Обремененные семьями, вынесшие глухую и неутолимую тоску по Европе из недолгой и нищенски оплаченной заграничной поездки, они шествуют по коридорам в потертых сюртуках, отыскивая свою темную аудиторию с тремя-четырьмя слушателями. Кассир, выдавая 20 числа скудное содержание молодым ученым, каким-то особенно витиеватым и развязным жестом выбрасывает им из оконца несколько бумажек (и обязательно 37 копеек медью) и подает такое обгрызенное черно-серое перо, точно им должно расписаться в своем вечном добровольном отречении от всякого света, от милой славы, даже от науки.

Ursin говорит:

— Он вышел из девятой, конечно, со свитой. Впереди всех Яблонский — этот мерзавец опять надел сюртук — и все остальные. Кто несет книги, кто записки, а кто просто одну только улыбку на лице — вот такую.

Urs показал за дверью.

— Они уже поравнялись со мной,— конечно, никто не узнал и не поклонился,—как вдруг Лев отстраняет рукой какого-то восхищенного провинциала и обращается ко мне, подходит — вы знаете его ясную, безоблачную, самую лукавую улыбку — и долго жмет руку [21].

— А вы, Urs, а вы?

— Я ничего, сделал поклон, какой вы учили,— для престарелых дам, возле которых нельзя закурить,— и жду. Он меня спросил о Михаиле Андреиче — кажется, говорит, профессор не совсем здоров — вероятно, переутомление? Пишет книгу? — Если не ошибаюсь, разбор моей теории с точки зрения марксизма [22]. Очень, очень интересно. Надеюсь, не слишком строго, а?

— И больше ничего?

— Ничего. Опять улыбнулся, пожал руку и исчез, сопровождаемый большим стадом.

Лис засмеялся.

— Вы знаете, ведь Петражицкий охотник.

— Что?

— Охотник. У него новенькое ружье монтекристо, и ежедневно после занятий он выходит с ним на крыльцо, посыпает на ступени пшеницу и ждет.

— Лис, вы сочиняете!

— Нет, он действительно ждет, пока к его ногам не слетятся голодные птахи, и затем стреляет в них, почти без промаха. И прищуривает при этом один глаз, знаете, так спокойно и добродушно, как на лекции о праве, должном и сущем. Вот как.

Дверь открылась, Лис вошел первым и, сидя на ковре с поджатыми ногами, в позе своих любимых йоги, открыл том Канта, которым в качестве пресса прижимались на ночь Ариаднины воротнички, и с неудовольствием его захлопнул.

— Вы опять читаете этого вредного старика. Какая страсть к земле и рацио!

В следующую минуту Urs сидел на нем верхом и, держа его за худенькие плечи, предложил вступить в мирные переговоры:

— Ты сдаешься, дрянной мистик, или нет?

Лиса еще пощекотали, чего он не выносил.

— Скажи громко два раза, что добровольно понесешь сегодня на рынок мамину вышитую торбу.

— Хорошо.

Лису отдали его пенсне.

— А помните вы Павла Сильванского? [23]

Стало очень тихо. Urs сложил на коленях свои большие плебейские руки, точно они не могли ему больше помочь.

— Да, если он стреляет воробьев из монтекристо, этот великий ученый и либерал, то может, конечно, уничтожить и человека.

— Ах, зачем папа затеял эту критику?

Лис вспомнил:

— Он воспитанник иезуитской школы, Петражицкий. Обратите внимание на догматическую логику и странную манеру вести спор в форме диалога. Эти приемы всегда казались мне несколько подозрительными.

— Какое белое лицо было у Сильванского в последний раз. Ариадна, вы не были на этой скандальной защите? Весь синклит был в сборе. Старый Грибовский, почти глухой, со следами своих грязных анекдотов на лице [24], потом Грузенберг младший, любимец курсисток, торговец сладким лимонадом из вечноженственного, Ницше и Льва Толстого [25]. Молодые либералы, которые изучают русский парламентаризм, блаженно не замечая участков, еврейских погромов и монополькн.

— Urs, не ругайтесь.

— Оставьте, меня душит злость!

Он взял ее руку, нагнулся, закрыл глаза, и его неровный цвет лица стал еще темнее.

— Затем были, конечно, историки. Эти подобные патриархам в своем простодушном и величавом невежестве.

— А статский советник?

— Да, и он, в мундире лицея, со своей грациозной и двусмысленной усмешкой. Славный черносотенец, и притом какая изумительная начитанность! Остальные — просто профессора, сорок и тридцать лет тому назад написавшие жидкие диссертации при помощи немецкого магги [38*], разбавленного славянофильством. И перед этой-то публикой выступил Сильванский со своей благороднейшей, новой, молодой теорией. В первом ряду его жена, маленькая, обглоданная нищетой, с руками, красными от стирки, но в самых чистых крахмальных воротничках и перчатках, пахнущих бензином. Пока говорил Сильванский, ее лицо медленно молодело, и, как тень облаков, по нем скользили заботы многих лет, молодость и женственность, принесенная в жертву мужу, детям и книге, писанной по ночам, слезами и огнем всего ее существа. Жены профессоров вокруг, впереди других ректорша, прочная и важная, как мясорубка; белые колонны актового зала, зеленый стол, множество студенческих молодых лиц — все это как во сне. И как с башни, к ней доносится давно знакомый — и теперь такой чужой, повелительный голос. В нем воскресают столетия, шелестя парчой и оружием, с древних стен на снега падают черным роем заостренные стрелы или течет лазоревый, медовый, ликующий звон колоколов. Не зная истории, смутно связывая числа, имена и лица в одно последовательное целое, жена все-таки чувствует смелое величие и неоспоримое господство над временем, усталостью и страданием этой книги, которую так опасливо и небрежно перелистывает мадам Клочкова, жена известного филолога. Выходя ранним утром на рынок за крепким и холодным кочаном капусты, хрустким в своих беловато-зеленых объемистых листьях, за рыбой, которая потом медленно и долго дышит в чану, за терпким сельдереем и горячим хлебом, Сильванская часто думала о возникающей книге. И наблюдая отчетливые силуэты городских вершин на прозрачно-сером утреннем небе (небо Александра Бенуа), ясно чувствовала, насколько каждая страница важнее и новых башмачков для детей, и неумолимо возрастающего счета у мясника, рассекавшего туши и кости без усилия и с каждым днем все нетерпеливее заносившего в проклятую маленькую книгу число долга своими окровавленными пальцами,— и даже ее самой, давно увядшей, никогда не наслаждавшейся музыкой иначе, как с галерей, и не носившей ни кружев, ни тонкого белья, ни изящной обуви. Смутно, с нежностью преданного животного и безмолвной интуицией мученика ожидала она какого-то конца, какого-то судного дня, когда преждевременная седина

38* *Магги — название бульонного концентрата, изготовленного в виде кубиков.*

ее мужа и близкая, с каждым серым годом все более близкая пелена забвения и пустоты, должны же отдохнуть, вознаградиться, растаять. В чем выразится этот почти детский, елочный, безумно и пестро счастливый конец их жизни, она, конечно, не знала. Может быть, звякнет кухонный звонок, на шнурке которого всегда сохнет столько выстиранного белья, и на пороге, отстраняя дверной крюк, в облаке пара и чада появится круглое, сияющее лицо ректора, и он протянет ей, детям, грязнейшей Маше и Павлу, который колет дрова в своих старых, худших штанах, всю свою пухлую руку, всю, а не обычные три пальца. Как знать? Будут, наконец, деньги: из них десять рублей вернуть доктору, у которого большая пустая квартира для представительства, еще бóльшая семья и никаких пациентов. Доктор тогда напьется и будет говорить о Швейцарии, о Лассале и о красоте. Летом согреет солнце задний двор, подоконник в детской, кусочек пола в прихожей, между двух книжных шкафов. Или даже они выедут на дачу? У Сильванской сердце похолодело от такой смелой мечты. Уже много лет ее семья не знала летнего отдыха, речки, леса, запаха земли — этой неприхотливой пригородной природы, имеющей такое животворное влияние на мозги, усыпленные и разъеденные городом, на нервы, затравленные нищетой и творчеством. Помнится, очень давно, в первые годы брака, они провели лето в Сестрорецке. И до сих пор, раздеваясь по вечерам в пустынной и сырой спальне, она искала на своем теле, покрытом от холода гусиной кожей и от дешевого мыла каким-то пепельным налетом (такой налет бывает у золотых рыбок, когда они живут в тесной банке и несвежей воде, точно бело-синеватый пушок облепляет их тонкие чешуйки, ползет к жабрам, к чеканным глазкам), искала следов загара, густого, золотисто-розового солнечного ожога, давно исчезнувшего, давно поблекшего, на своей обвислой груди, на мертвых плечах.

Сильванский давно кончил свою речь, сел, вытер с лица пот, поправил съехавший набок галстук. Объявили перерыв. Вокруг Алины Ивановны загремели стулья, и нервное возбуждение толпы слилось в тот разговорный гул, за которым хорошо воспитанные люди прячут свое отношение к новой идее. Ей стало страшно. Раз Павел кончил, они, все эти люди, должны с ним согласиться, немедленно признать его право или тут же отвергнуть, прямо и просто, все четыреста страниц его «Истории».

А вдруг провал? Почему у ректорши такая сладкая улыбка, а Грибовский красен, неподвижен и со своими апоплексически надутыми жилами похож на кирпич, готовый сорваться со стены на чью-нибудь голову?

Проходя в курильню, молодой студент сказал другому:

— Это гениально.— И на него, как на сумасшедшего, обратились десятки глаз.

После перерыва начались прения. И так как первые оппоненты были любезны и спокойны и по их улыбающимся лицам нельзя было угадать всю уничижающую тупость критики, Сильванская спокойно вернулась в состояние блаженного полусна, направляя от времени до времени поток лучащейся душевной теплоты и ободряющей надежды мужу, который сидел за зеленым столом страшно белый и страшно покойный. Все вокруг него разрушалось. Каждое возражение отламывало кусок от живого здания, им воздвигнутого. Он почти не слушал. Острая боль и пустота, которую он ощутил в первое мгновение, увидев себя совершенно одиноким и непонятым на голой вершине своего скорбного знания, уступила место какой-то музыкальной тишине. Сознание, оглушенное сразу, заволакивается божественным туманом фантазии. И образы иного порядка, ясные, простые и счастливые, похожие на елки, занесенные снегом, бесшумно стряхивают на землю пригоршни белых звезд и камней. И своя книга, из которой каждый спорщик как бы старался вырвать новую страницу, чтобы ее смять и бросить, заняла свое особое место в мире полусознательных, мудрых, колыбельных грез. Книга — это просто пряничный домик, за одну ночь выстроенный в лесу играющими ангелами. Из трубы вьется медвяный дымок, на окнах цветные ставни, и из-за них выглядывает его жена Алина Ивановна. На ней бело-



Диспутъ г. Крусмана въ Петроградскомъ Университетѣ. (Слѣва на право: гг. Крусманъ, Тарле, Э. Гриммъ, Н. И. Карѣевъ, г-жа Добіашъ-Рождественская).

И. СМИРНОВЪ

О выѣденномъ яйцѣ или одинъ изъ многихъ.

(По поводу диспута г. Крусмана въ Петроградскомъ Университетѣ).

Молодой человѣкъ зналъ за собой великое достоинство: онъ былъ трудолюбивъ. Когда еще въ гимназіи ему задавали выучить одну страницу, онъ обязательно выучивалъ двѣ. Когда надо было переписать пять строкъ, онъ рѣшительно переписывалъ десять и этимъ весьма радовалъ учителя чистописанія.

Другой его добродѣтелью была любовь къ никому и ни на что ненужнымъ вещамъ. Поэтому онъ никогда не былъ замѣченъ въ куреніи, или чтеніи запретныхъ книгъ. Но за то у него хранились съ измальства прекрасныя коллекціи старыхъ пуговицъ, ржавыхъ гвоздей и газетныхъ вырѣзокъ о пилюляхъ „Ара".

Когда онъ выросъ передъ нимъ всталъ роко- надо было еще написать и защитить диссертацію.

Но и здѣсь мудрые люди пришли на помощь академическому птенцу и разсказали ему, что такое диссертація.

Это такая книга, которая вѣситъ семь пудовъ, написана о ненужныхъ вещахъ и на каждой страницѣ имѣетъ сотни примѣчаній, показывающихъ изъ какихъ щелей, старыхъ заброшенныхъ ямъ и мусорныхъ кучъ выбралъ авторъ свое крохотное свѣдѣніе о пустопорожнемъ предметѣ.

Самая лучшая тема—это какая нибудь общепризнанная истина; самые лучшіе источники, которыхъ никто и не знаетъ и знать не хочетъ.

И молодой ученый выбралъ тему—онъ написалъ 70833 страницы съ 100361 примѣчаній о скор-

«О ВЫЕДЕННОМ ЯЙЦЕ ИЛИ ОДИН ИЗ МНОГИХ»

Памфлет и карикатура на ученый диспут в Петроградском университете

Автор памфлета — М. А. Рейснер (подпись: И. Смирнов), автор карикатуры — Е. И. Праведников (подпись: А. Топиков)

«Рудин», 1916, № 5

чья душегрейка и на руках старые лайковые перчатки, на концах подштопанные и пахнущие от чистки бензином. Пряничный домик стоит совершенно один. Вокруг него непроходимая чаща, стужа, белизна, прозрачность и безмолвие.

Между тем профессора, выведенные из терпения безразличным и мечтательным спокойствием Сильванского, перешли к более резким нападениям: с самого начала раздраженные методом его мысли, его необычайной интуицией, позволявшей угадывать и утверждать самые отдаленные обобщения, они теперь обрушились с кирками и лопатами догмы и устарелого права на кружевные мосты его логики, протянутые над пустотой. Прежде всего старый Грибовский, у которого от искреннего гнева получилось сходство с Силеном Рубенса, румяным и седым, толстобедрым и с фальстафовским животом, полным вина и обросшим шерстью; циничесий материализм лекаря и грубое красноречие бродячего проповедника создали ему имя. Когда он, вызвав смех слушателей, сошел, наконец, с кафедры, Сильванский не мог

удержать улыбки, так ясно показалось ему, что Силен, мучимый непостижимою тяжестью в желудке и изжогой, скрылся за его чистый пряничный домик, чтобы в его спокойной тени по древнему обычаю облегчить свои излишества. И при этом он отломил большой зубец, свисавший с веселого карниза. Все дело защиты приняло вдруг в глазах Павла комический оборот: каждый из возражавших казался ему лесным чудом, занимавшим кафедру только затем, чтобы обглодать крылечки, разломить стены, облицовки и наличники его сказочной и беззащитной храмины. Скоро от нее ничего не останется, кроме разоренного основания. Впрочем, сохраняя спокойствие, Сильванский, обычно болезненно обидчивый и гордый, поступал как нельзя более благоразумно и совершенно в духе обычных диссертаций. Всякий молодой ученый, вступая в ряды официальных жрецов, после долгих домогательств, отсрочек и унижений допускается, наконец, к публичной защите. И на этой защите в течение нескольких часов его творчество и даже самая личность подвергается некоему обрядовому посрамлению и надругательству. Все это совершается почти механически. Старые профессора, разжигая себя спорами, в последний раз изливают на покорную голову прозелита полноту своей власти, невежества и острого беспокойства за возможное в будущем соперничество. Весь обряд последнего уничижения заканчивается в конце концов двусмысленным признанием «некоторых, хотя и очень незначительных, заслуг», поздравительными объятиями и, наконец, парадным обедом, на котором свежая грязь диспута смывается с головы нового профессора потоком [39*] речей, вина ⟨и⟩ жирных соусов. Таков обычай. И Сильванский, оглушенный сразу, как животное, влекомое на бойню, и затем овеянный горячечными крылами фантазии, благополучно приближался к обычному, счастливому концу трехчасового ученого позорища. К сожалению, его взор, отдыхающий за окнами актового зала на голубых плитах невского льда, свежевырубленных из полыньи, сверкающих на солнце и свозимых крохотными, медленно ступающими лошадками в город, подобно исполинским бриллиантам, как-то нечаянно оторвался от этого мирного зрелища и остановился на лице Алины Ивановны. Ее черты выражали отчаяние. Сильванский весь съежился и пришел в себя. И вся скучная и бесстыдная явь этого утра, посвященного унижению науки, нелепость самого сборища и воинственная глупость речей бросились ему в голову с силой дешевого напитка, способного свалить с ног извозчика. И, забывая всю ненужность споров, их вред и бессмыслицу, несчастный Сильванский, задыхаясь, чувствуя холод и дрожь во всех членах, бросился в спор со всей солнечной яростью, с ледяным, бешеным спокойствием человека, которому суждено смести с лица земли целые горы нелепостей,— без надежды на победу, но с решимостью схватить за горло самого белого, толстого и велеречивого лгуна, который возвышается за зеленым столом в виде ректора. Кроме голоса научной совести, который ожил и заговорил в сердце Павла, как прежде — на протяжении столетий — этот голос воспламенял и гнал к гибели Бруно, Леопарди [26] и первых великих скептиков,— была и еще причина, почему обычный праздник науки на этот раз оказался испорченным неистовым сопротивлением диссертанта.

В первом ряду, среди профессорских жен, мирно доивших, подстригавших и уютно обезвредивших творчество своих мужей в семейном стойле, среди безмолвных книг и неисполненных юношеских обещаний, воздвигших алтарь детских пеленок, приспособления и преферанса, сидела жена Павла. И перед Алиной Ивановной, всю свою жизнь пожертвовавшей для книги и жившей ради будущего признания, Сильванский не мог вынести ни унижения, ни этой нелепой критики. На лице своей жены он прочел целую печальную поэму: ее начало терялось в поседевших висках и, с каждым биением болезненной жилки, повторяло: «неужели?». Неужели все напрасно, все неверно? Нет ни гения, ни великих открытий, ни, наконец, признания? Неужели она только Санчо Пансо при новом научном Дон-Кихоте, всю

[39*] *Далее зачеркнуто*: лживых

жизнь прошагавший за ослиным хвостом и доживший — о, стыд и тоска! — до справедливого разоблачения? Ответ, трепеща, таял в ее глазах, наполняя их слезами. В этих слезах то расплывалась в мутное пятно, то сморщивалась в комок полная ректорша, и вся зала, и Нева за окном. При первых словах Сильванского, вдруг вставшего во весь рост, чтобы защищать себя и свой труд, эти слезы высохли, и, переплетая судорожные пальцы в облезлой, теплой, мохнатой муфте, Алина Ивановна превратилась в королеву на высоком балконе, перед которой сражаются во имя чести и красоты. По временам она глубоко и протяжно вздыхала, стараясь захватить как можно больше воздуха, как вздыхает пловец, еще очень далекий от берега и желающий сохранить свои силы. Она чувствовала — только для нее бился Павел. Только для нее он подымал с земли исторические руины и, среди праха и пыли, выносил к свету нежные полупрозрачные, едва окрашенные ростки древней мудрости. Для нее подымался на мертвые вершины, чтобы показать бесконечность, лежащую вокруг, пронизанную светом и одетую льдами. Через всю европейскую историю Сильванский прошел, как знаменитый крысолов со своей заклинающей флейтой через спящий средневековый городок, полный лживых и неблагодарных людей [27]. И как за тем ушли все дети, привлеченные певучей, жестокой флейтой, так за ученым из небытия и забвения последовали его не знаемые никем предшественники. Везде, где когда-либо подымался ропот возмущения, везде, где человечество пыталось перестроить свою социальную жизнь, Сильванский искал и находил соратников. Они говорили и свидетельствовали за него на вымерших и забытых языках, принося с собой пепел сожженных городов и тени детей, казненных за непослушание родителям [40*].

И чем яснее выступала из-за схоластической лжи и неумышленного, экстатического тумана метафизики какая-то новая непреложная истина, чем величественнее казался процесс исторического развития, единый, идущий к ослепительной конечной цели, похожий на акведук со всевозрастающими крепнущими арками,— тем более таял, становился фальшив и прозрачен [41*] призрак государственности, без которого ни одной минуты не мог бы простоять весь храм науки, и полубальный актовый зал, украшенный по хорам пыльными бархатами, кистями из тяжкого золота и двуглавыми орлами.

Между тем, с простотой и легкостью, которой позавидовал бы господин Бержере [28], Сильванский как бы анатомически вскрывал и простодушно исследовал именно эту часть [42*] идеологии, которой пронизаны все двигатели и проводники государственной механики, как части машины — смазочным маслом. Итак, разложивши перед собою на кафедре таинственную сущность власти и не замечая напряженной тишины, которою слушатели встретили его кощунство, профессор занес свой нож и разрезал идеологическое сердце, опустил руку в глубокую пробоину, нанесенную его логикой, и, готовясь извлечь из юридических и мистических недр философский камень, тайну тайн, органчик, при помощи которого управляется человечество, Сильванский снял очки, и своими бледноголубыми, без ресниц, страшно беззащитными глазами обвел лица слушателей. Затем, сильно рванув вет-

---

40* *Далее зачеркнуто*: Средние века и Рим, Израиль, Греция и Северная Африка, и, наконец, новая эра—Сильванский шагал быстрыми шагами, и за его плечами слушатели увидели поля Иерусалима, три тысячи лет тому назад проданные ростовщикам, все великое богатство и нищету Аттики, раздавленной Востоком накануне величайших социальных преобразований, божественную комедию Средних веков, освещенную инквизиционными кострами, прошитую насквозь красным шнуром крестьянских восстаний. И, наконец, уже не владея собой, он бросил им в лицо могилу коммунаров, пустынную стену «Père Lachaise», украшенную редкими венками, и коснулся всей современной конституционной Европы, ее избирательных законов и предвыборных подлогов, сословного буржуазного права, науки и искусств, растлеваемых плутократическим государством,— словом, перевернул и разбередил политическую и социальную яму, гниющую посередине европейского человечества.

41* *Далее зачеркнуто*: двуглавый

42* *Далее зачеркнуто*: величайшей

хую ткань государственной науки, Павел извлек из ее пыльных лохмотьев таинственную душу веков. Видели ли вы медузу, умирающую во время отлива на влажном песке? Видели вы паутину, которой затканы сводчатые потолки и старинные люстры? Или, наконец, тяжеловесные и вместе с тем невесомые остовы первых летательных приборов, изобретенных много столетий тому назад и так дивно ⟨изображенных⟩ Мережковским в его трилогии,— смесь ржавых рычагов и воздушнейших, стрекозьих перепонок из слюды, стальной нити и шлифованного металла? [29] Так вот — смесь всего этого: грубой силы, плавающей в крови, и тончайших паутин духа [43*], слова молитв, рыдания поэтов, гнев пророков — и все это вместе, рядом, на ржавой нити мирового механизма, в пляске идеологий, в борьбе сильных и сильнейших за могущество, то в качестве нелепых девизов, полных лжи, поднятых на чужое оружие и чужие доспехи, то в виде тонкого яда религий, усыпляющего бурные века восстаний, то, наконец, на переплете нелепых законов, посылающих смерти все живое и правое. Христос, превращенный в христианство, Христос, тяжелым распятием которого церковь в течение многих веков разбивает головы восстающим,— и на другом полюсе Ницше, ненавидевший сильных и сытых, мудрый и безумный Заратустра, переваренный и усвоенный как раз своими врагами.

— Не правда ли, смешно? — Сильванский прямо обратился к Кругликову, проходившему мимо кафедры к дверям, с глубоко возмущенным видом.

— Это смешно. Но в борьбе за господство над рынком, будь то в области кораблестроения или изобретения новых, еще более ужасных орудий борьбы, чем ядовитые газы и стрéлки [44*], сильные классы пользуются для своих вывесок, боевых кликов и для оправдания собственных правонарушений, хотя бы и зияющих, самыми чистыми и нежными созданиями человеческого духа. Нет музыки, стиха и краски, нет такого экстаза, одиночества и отречения, которое не было бы в конце концов употреблено современным обществом для начинки бомб, для обклейки стен в питейном заведении или для украшения тюремных решеток. И пока общество останется таким, каким оно есть, то есть полным социальной лжи и несправедливости, никакая философия, никакая наука немыслима. Между всякой мечтой, теорией, метафизической реальностью и землей останется промежуток лжи. О, довольно неприменимого совершенства, довольно кровосмешений между небом и землей! Боги хотят воскреснуть и воплотиться, земля полна и переполнена ими более, чем во времена гуманистов. Нельзя все знать и ничего не сделать. Нельзя тысячелетиями давать жизнь титанам и продавать их в вечное рабство. Нас задушат мечты, которыми мы насыщаем воздух, не давая им живой плоти. К нашим дверям идет Каменный гость нашего духа, чтобы судить и властвовать. Он не вернется на кладбище, к своей могиле. Нам придется взять его гранитную руку и выбирать между другой жизнью или полным, непоправимым разрушением.

Дальше был провал.

⟨5⟩

Альтшулер — старый еврей, владелец богатейшей типографии на Фонтанке [30]. Его заведение во дворе, лишенное света, живет под серым знаменем пяти труб городской электрической станции, дышит стоячей сыростью канала и отголосками мелкой торговой свалки, которая от Сенной стекает к Гороховой улице, как мутная вода по водосточной трубе. У Альтшулера широкий жадный нос и такие живые глаза за очками, что ночью они, вероятно, оставляют его дряблое тело, одни вспрыгивают на конторку и роются в засаленной расходо-приходной книге хозяина. Руки Альтшулера — это его душа; у них пухлое основание и короткие, толстые, все одинаковые пальцы

[43*] *Далее зачеркнуто*: вырастающих на могиле побежденных, сияние истины, но превращенное в орудие обмана, грубой, страшной исторической мистификации

[44*] *Стрéлки — снаряды массового уничтожения, применявшиеся немцами во время первой мировой войны.*

с грязными ногтями [45*]. Старшая его дочь горбата, сентиментальна и жестока. Младшая, Роза, одноклассница Ариадны, имеет хорошее приданое, которое отец всеми силами стремится увеличить. Роза учится в одной из аристократических школ Петербурга, где за большие деньги Альтшулеру удалось купить веротерпимость для своей дочери. Роза говорит на трех языках, ее преждевременное развитие скрывается хорошими манерами и той интеллигентностью, которую доставляет беглое изучение искусства и литератур. Роза добра и задумчива, кажется, Гетев Вертер и Egmont оставили неизгладимый след романтизма в ее податливой душе, она плачет даже в классе, когда сухой и длинный француз, забывшись, надтреснуто-приподнятым голосом скандирует «Федру». В кромешную черноту своей мещанской жизни она навсегда унесет смутную тоску о высшем. С 14 лет Розу обожает ее богатый двоюродный брат, маленький, черный, с холодными деловитыми ручками. И с тех пор и семья и Роза все надеются, что ей не придется выйти за него замуж, что представится лучшая, блестящая партия, от которой не будет вонять деньгами и тяжелыми выкладками и тяжелыми каплями пота. Но годы идут, удачи нет, и братец Мотя из своего магазина каждый день провожает Розу облизывающимися, покорно-самоуверенными глазами, когда она с мисс идет в гимназию: в свой последний, седьмой, взрослый класс. Как беспощадны счета Альтшулера, начисто переписанные, снабженные гербовой маркой и всеми ухищрениями мелкой скаредности! Всякая копейка, собранная ими, утучняет Розины сбережения, каждый рубль отодвигает ее на некое, неуловимо-малое расстояние от Мотиных вожделений. Альтшулер жмет, и Роза изучает английскую литературу. Альтшулер нажимает еще сильнее, и на интимных вечеринках Роза с улыбкой смотрит в глубокое зеркало фантасмагорий, полное пляшущих теней, этих почти осязаемых, вполне возможных принцев в лайковых перчатках и портупее юнкерского училища, в телесной оболочке лицея ⟨или⟩ ⟨училища⟩ правоведения. Альтшулер давит изо всех сил — и Роза почти счастлива.

Между тем на Зелениной постепенно сложилось, приобрело форму и реальную ценность то предприятие, на которое старый типограф возлагал смутные, совершенно необоснованные надежды [31]. Журнал под странным названием «Рудин», редакторами и сотрудниками которого являлись Ариадна, Тоников, Хитрово — словом, целое сообщество людей беспокойных, бедных до нищеты и блестяще талантливых [32]. Как согласился благоразумный Альтшулер на их скромные предложения, лишенные будущего, он бы и сам не мог объяснить,— в надежде ли приобрести много и легко, из желания ли сорвать шальной выигрыш с фантастической ставки, или из любопытства — кто знает? В его душе, темной, как задний двор типографии, среди мусора и копоти бродил свой крохотный торговый Робинзон, исполненный авантюризма и мечтаний: ничем не рискуя, Альтшулер решил попробовать. И однажды утром, в серые сумерки, при свете тусклых лампочек, понурые и истомленные рабочие приняли в свои ослепшие руки связку рукописей, которые предстояло набрать, как и всегда — не читая. В темных кассах зашевелились темные буквы — машина начала свою работу.

⟨ФРАГМЕНТ II⟩

⟨1⟩

Итак, нужно было повидать Ефремова и продать ему «Рудина» на возможно выгодных условиях [33]. Предприятие почти невозможное. Из всех крупных и малых феодалов книжного рынка Александр Иванович имел репутацию человека беспощадно жестокого и богатого до такой степени, что самое угнетение печати уже не доставляло ему никакого удовольствия: оно приняло размеры предприятия, едва умещавшегося в знаменитом Торговом

45* *Далее зачеркнуто*: В поисках издателя Ариадна

переулке [46*]. Так, на духе, поваленном на землю, Ефремов успел выстроить несколько домов с прохладными лестницами и лифтами, с тысячами конторщиков и рассыльных. И на самом лице побежденных идей он расположил свой кабинет, вечно пахнувший дымом сигар и особым затаенным волнением, которое приносили с собой крепко законтрактованные подчиненные и просители.

От Лоскутной гостиницы, где остановилась Ариадна, было не очень далеко до Торгового переулка [34]. Тем не менее утром того дня, когда назначено было деловое свидание, она проснулась очень рано. На нее, едва открывшую глаза, со всех сторон смотрело нагое и бесконечно трезвое лицо гостиничной комнаты. Такая комната спит днем, несмотря на громкие разговоры людей, одинаково равнодушная и к смертной тоске, и к звону чайной посуды, и живет она только ночью, блестя зеркалом шкафа, ясными никелевыми шарами кровати, белизной какой-нибудь одежды, брошенной на стул.

В восемь часов утра так холодно от чужой, шершавой простыни, на которой наспех прижжены утюгом пятна случайной грязи, от тощего байкового одеяла, от широконосого кувшина воды, поставленного в пустую чашку умывальника так, точно тут никто никогда не жил, не умывался и не трогал двух тугих полотенец, висящих рядом на палочке.

Ариадна оделась с щепетильной чистотой и свежестью, важная сидела на грешном продавленном диване, куда ей подали кофе, и отправилась к Ефремову. О том, что сегодня должно случиться, она не думала, как в день экзамена об удаче или неудаче.

Уже на лестнице, возле телефонной будки, выдыхавшей в холодное утро весь спертый жар, всю прокуренность своего обитого войлоком публичного рта, не остывшего за целую ночь, она почувствовала остроту и яркость, с которой ее душевные приёмники отмечали и этот запах, и дух заспанной швейцарской комнаты, стук выходной двери и синеватую скользкость обмерзлого порога. Хорошо ей стало на улице: в северных утрах всегда мерещится что-то греческое, что-то радостное и не русское. Ясно-голубой цвет неба ложится на плоские карнизы, белые от снега, так просто и отчетливо остаются на снегу следы полозьев — все вместе: и небо, и снег, и все следы на нем — изваяны, любовно вылеплены во имя радости жизни, во имя нежной и вместе твердой черты, отделяющей предметы друг от друга и от голубого пространства.

Однако вся цельность и уверенность Ариадны осталась у витрины магазина, блеснувшего на нее белой тряпкой, которой мальчик протирал стекло входной двери: точно пригрозил.

Ее волю как-то разняли на равные половины два потока людей, стремившихся в противоположные направления, две половины людной улицы, пересекающей Тверскую у подножия ее крутого подъема. Подходя к Торговому переулку, Ариадна взглянула на часы: 9 — слишком рано. И еще в течение целого часа, чувствуя холод и слабость в ногах, она бродила среди толпы и все думала о болезненной складочке, которая появилась на затылке ее отца. Странным образом эта морщина, означавшая и близкий конец, и безумную быстроту уходящего времени, казалась тесно связанной с Торговым переулком. Придти вовремя, сдвинуть большой тяжелый камень, в течение стольких лет давивший Большую Зеленину,— нужно было сделать чудо — дать голос и выражение целой несказанной, застрявшей в горле, проглоченной жизни. И во второй раз, у самого дома контрагентства, Ариадну переполнило смутное чувство силы. На снегу, у ступенек крыльца, она заметила лоток с грушами и возле них румяную бабу, закутанную в десять кудрявых овчин, от которых, как и от спелых плодов, сложенных ровной горкой, пахло нежно, молодо, чем-то невозможным.

[46*] *В первоначальной редакции (черновой автограф) переулок носит название Вахрушинского.*

Контора Александра Ивановича помещалась на пятом этаже: почему-то богатые хищники любят эту высоту, которая среди миллионной сутолоки напоминает им униженное начало их приказчичьей или клерковской молодости.

Лифт, пустой, большой металлический ящик, бесконечно долго вползал наверх, гораздо медленнее, чем это делали когда-то крепкие, несколько голодные и жуликоватые ноги Александра Ивановича.

В прихожей конторы, несмотря на деловитую суету большого и как бы безразличного ко всякой политике коммерческого предприятия, все-таки веет нечто от «Нового времени».

Трудно сказать, в какой именно щели сохранился специальный [47*] душок, которого не могли сполоснуть даже деньги, текущие здесь толстым и безличным потоком, одним из самых могучих в России.

Может быть, физиономии служителей оставались слишком серыми, все понимающими и как-то дурно измятыми временем: настоящие физиономии филеров в отставке, на покое и на чаевых.

Пока Ариадна доставала из мешочка свою гордую визитную карточку, на которой значилось: «Редактор журнала «Рудин»,— рядом какой-то человек в сером неновом пальто и очень чистом высоком воротничке делал судорожные попытки задобрить привратника и добиться аудиенции. Говорил и спорил этот человек неестественно спокойным и тонким голосом, над которым так безнаказанно-широко ухмыляются все лакеи, все швейцары и писаря, поставленные для того, чтобы отцеплять от дверных ручек все эти бледные и судорожные пальцы с нечистыми ногтями, которые хватаются за светлые, металлические замки, как утопающий за край переполненной шлюпки. Исчерпав все доводы, проситель достал из кармана полтинник, и Ариадна не могла не улыбнуться: так это движение было похоже на нее самое, когда она закладывала в ломбарде на Большом проспекте три знаменитые серебряные ложки, они же «фамильное серебро».

Как раз напротив, на желтом деревянном стуле, закапанном чернилами, поместился плотный господин. На его круглых широко раздвинутых коленях натягивались брюки, черные в полоску, а лицо не было собственно лицом, но белым, черным и красногубым аппетитом. Он даль рубль на чай, его здесь знали и должны были принять без очереди.

— Значит, я теперь с ними заодно, и этот черный господин мне страшно близок: соперник, конкурент. С ним и еще с сотней таких же я буду драться за «Рудина». Как странно!

И Ариадна ясно увидела, как ее и неудачника в сером пальто, и брюнета, и еще двух брюнетов, сонливо ожидавших в углу, со своим несвежим бельем мелких дельцов и сдвинутыми на затылок цилиндрами, сейчас поставят в ряд и занумеруют. Потом, когда все будет готово и брюнет отодвинет за назначенную черту свою полную ногу, плутовски выставленную, служитель пронзительно свистнет в свой старый полицейский свисток [48*], и вся толпа ринется бежать. Яркий газон, солнце, толстяк, скачущий жадными, зады-хающимися прыжками, и легкий свист ветра, с которым она бы сама мимо него промчалась.

— Александр Иваныч вас просят.

Все еще немного улыбаясь этим бегам, вошла она в дверь, из которой только что вырвался очень бледный господин. От него пахнуло злобой и банкротством, и сидевшие в прихожей все немного прислушались ему вслед: не завоет ли он на пустой, приличной лестнице звериным, перешибленным воем?

Александр Иванович никогда не притворялся пишущим или погруженным в чтение, когда открывалась дверь его кабинета. Он любил видеть лица входящих, и особенно сейчас его глаза были живы, почти молоды, что слу-

[47*] *В черновом автографе*: государственно-смердяковский *вместо* специальный

[48*] *В черновом автографе далее зачеркнуто*: в который свистел когда-то возле Университета и при погромчиках



ЛАРИСА РЕЙСНЕР
Фотография. ‹Петроград, 1915—1916›
Литературный музей, Москва

чалось сравнительно редко. На письменном столе еще не остыли бумаги, разбросанные в беспорядке, эти клочья, вырванные из пушистой шкуры одного из самых ловких газетных волков, взятые с бою, с трудом, из сильной и обозленной пасти. В желтовато-серых глазах Александра Ивановича светилось «сорок % валового и возврат без ограничения»,— когда он их поднял на входившую.

«Зачем только такие красивые женщины занимаются пустяками? А впрочем...» — и вслух он сказал сухо и любопытно:

— Пожалуйста, вот кресло, чем могу служить?

Ариадна, которая с самого начала не успела испугаться, изложила свое дело, и через несколько минут Александр Иванович знал, что у нее мало денег, еще меньше бумаги, совершенно оригинальная идея и что ей не больше 20 лет [49*]. При всем том зоркий его разбойничий глаз приметил за ее плечами ясного демона, который охраняет и иногда приносит удачу совершенно новым и совершенно невозможным затеям.

Ефремов уже собирался, без всякого, впрочем, удовольствия, расставить какую-нибудь глупую, первобытную ловушку, из тех, которые сразу щелкают по голове и даже не пахнут кусочком сала, когда девушка вдруг перестала излагать свои бедные трехзначные цифры и одной легкой улыбкой сказала, что видит и пружину мышеловки, и его, Ефремова, циническое сожаление; но не боится и всю свою юношескую волю сожжет, как соломину, чтобы выплатить проценты на проценты.

К ужасу желтых деловых стен кабинета она даже осмелилась все это высказать вслух.

— Вы не хотите подписать это условие? Александр Иванович, никакое письменное обещание вам все равно не помешает меня надуть. А «Рудину» все-таки будет легче в течение первых месяцев с этим договором, по которому вы уже сейчас решили не платить ни копейки.

— Я вас не понял. Разве я собираюсь кого-нибудь ограбить?

Она рассмеялась.

— Господи, ну, конечно, а чем же вы занимаетесь вообще? Такой большой, славный разбойник [50*]. И заодно с санкюлотами, вроде «Рудина», раздеваете белых, толстых торговцев духом, более трусливых, чем вы, и пока что более слабых.

Ефремов вспомнил своего недавнего посетителя и повеселел: «Вот славная девчонка! Пригласить ее разве пообедать у Яра?» — Но раздумал, видя,

---

[49*] *В черновом автографе*: 18 лет

[50*] *В черновом автографе далее зачеркнуто*: Я даже рада вашим удачным набегам на «графа Проппера», на «Биржевку» и на иных пошлейших и пока слабейших... рыцарей [35]

что в девчонке этой все-таки не было ничего от литературных дам, типа Саломеи [36], и, возможно, не было еще и любовника.

И так как Александр Иванович был действительно разбойник выдающийся и с размахом, то он и решил по особому великодушию больших дорог отпустить маленького путешественника, не тронув его грошей и даже наградив за отсутствие мелкого страха и за колючки, храбро выставленные навстречу сильнейшему кулаку.

Так были заключены между «Рудиным» и контрагентством необычайно выгодные условия, удивившие многих опытных дельцов и основанные на честном слове нововременского агента. Часто потом в тяжелые часы Ариадне вспоминалось его серое, худое лицо, чисто выбритое по-английски, припухлые, усталые веки и рыжие глаза. Для нее это страшное лицо было лицом надежды.

Вся московская поездка заключилась незначащим, но странным происшествием. В восемь часов вечера должен был уйти петербургский поезд, а уже в пять Ариадна бросила в холодный, пустой камин хвостик и косточки последней груши, купленной у той приносящей счастье бабы: «Все удалось!» — И глядя в тусклое, потное окно, выходившее во двор, на совершенно немые столы, стулья и диваны случайной комнаты, она уже не знала, что делать со своей радостью, и чем больше думала, тем меньше могла понять весь фантастический ход этого дня. Так человек, с шампанским хмелем в голове пробежав по канату, с ужасом потом вспоминает каждый свой крылатый и беспамятный шаг.

И наконец, томимая запоздалым головокружением и чувством победы, решила пойти бродить на час или полтора.

Все фонари горят, все стекла домов выше второго этажа синеют в зимних сумерках, все деревья в инее, все колокола качают воздух в сквозной вечерней колыбели. Черный человечек, которому двадцать лет, у которого нет еще любовника и которого сегодня не раздавил желтый американский сапог с такой толстой, такой уверенной подошвой, бежит вверх по Тверской, любит зиму и Москву и не замечает, как его самого постепенно превращает в свет и сумерки, в звон и мелькание [51*]. С каждой голубой, алмазной, брызжущей искрой, которую трамвай высекает из темной проволоки, уходит в млечный путь искусственного городского неба кусок сознания и воли.

Наконец, потерявшая себя в великой толпе Ариадна оказалась выброшенной на темную отмель Страстной площади, где в тихом шопоте переговаривающихся проституток, в молчаливой веренице извозчиков, дремлющих на морозе рядом с лошадьми в огромных, фантастических, заиндевелых попонах, разбивается в тихий шелест и пену прибой бульваров и Тверской.

Едва сознавая, зачем и куда она идет, улыбаясь белым звездам какой-то вывески, подошла к «Аполло» [37]; когда человек очень счастлив и совсем один, ему безразлично, в какое бы устье ни впасть перекипающим потоком своей радости. «Аполло» наполнял ночь тягучей, громкой музыкой. Она вырывалась наружу через дверь, отворяемую посетителями, и эта же дверь, захлопываясь, прищемляла ее посередине. Точно весь «Аполло» кричал, и ему поминутно то зажимали, то освобождали визгливый рот. Под томное танго, прерываемое острыми криками духовых инструментов, в зале двигалась густая толпа. Папиросный чад и смех, который она издавала, был дешевле, острее и возбужденнее всякого другого. Это — привкус предместий, запах потных тел через пудру и духи, это — веселье с оттенком злостного напряжения, флирт около погрома.

Ариадну несли за собой все кругом, все скорее подростки, женщины, солдаты, облака дыма, зеркала, затылки в пудре и прыщах; стаканы, цветы и желтые, сожженные щипцами завитушки, мелькающие за стойкой. Все это ходило каруселью, и во главе выступала перекошенная Злоба с лицом, закрытым тенью, и телодвижениями вожделеющей обезьяны. Когда в насту-

---

[51*] *Далее зачеркнуто*: всемогущая улица

пившей темноте замелькала белая пленка кинематографа, Ариадна широко и радостно вздохнула: точно ее корабль вышел в море и где-то сзади потухли последние огни. А музыка все играла в темноте, громкая, бессмысленно-радостная и бархатная. Упиваясь зрелищем какой-то великолепно нелепой сцены, свежестью и брызгами океана, состоящего из ложного света и ложной тени, запертая рядами этой толпы, каждый член которой желал, корчился от внутреннего жара и на изорванных жалких парусах своего воображения куда-то стремился, куда-то уходил от грязи, духоты и нищенства, Ариадна забыла себя, свой дом и восьмичасовой поезд. Все было в ней: и глубочайшая темнота этой залы, и грузный балкон, нависший над креслами косым, безобразным и величественным углом, и лживые, голые украшения стен, и живые глыбы всех тел, прижатых в темноте друг к другу, и, наконец, напряженный, магический, безмерно чужой всему человеческому и телесному, голубой столб света, наискось прорезающий невыносимые сумерки испарений. Столб небесного огня, яркий, прямой и холодный, как зимняя луна. Никогда еще Ариадна так не чувствовала всей темноты и сияния, спрятанного в ее крови. Они вдруг оба проснулись: и тень, оглушительно сильная, живая, пахнущая, и свет, без смысла, но и без оскудения, без трепета и без конца. У людей, живущих чисто интеллектуальными интересами, немое пробуждение духа заменяет собой животную весну. Как гроза без грома и освежающих дождей, оно проносится над темными полями души, рушит и живит, но только отвлеченные понятия, только идеи, живущие и воюющие в своем безвоздушном, в своем несуществующем и все же божественно реальном небе.

Ариадна сидела на своем месте совсем разбитая, слабая и потерянная. Было ей точно в детстве, в церкви, когда вдруг среди дыма и мерцаний и одним, всегда страшным толчком открываются золотые ворота, из-за них является будущее в бесконечном отдалении и глухая дорога, на минуту озаренная экстатическими, отвесными лучами. По счастливой случайности сосед в это время пошевелился и слегка задел ее локтем. Сразу проснувшись, она услышала за тягучим плеском музыки трезвое и робкое тиканье своих часов. Было 20 минут 8-го: значит, ей понадобилось полтора часа на то, чтобы стать из девочки женщиной, далеко уйти от своего вчера, чуть не забыть сегодня, едва не погрузиться в крутящуюся воронку совершенно новой и неизвестно куда текущей жизни.

⟨2⟩

Утром, в день приезда Ариадны, когда ее ждали с вокзала, в прихожей резко задребезжал звонок. Тэки залаял и запищал радостно, Михаил Николаевич отложил газету и пошел открывать. За дверью показался худощавый человек в очень бедном пальто и сапогах, со спортивной кепкой и большим портфелем.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

— Здесь редакция журнала «Рудин»?

— Здесь. Зайдите, пожалуйста.

Молодой человек медленно стащил узкие рукава ⟨пальто⟩ [52*] со своих замерзлых рук, снял с шеи нечистый шарф, под которым был воротничок мятой, тоже несвежей рубашки, и вошел в профессорский кабинет.

Здесь его поразило тепло и огромный письменный стол, покрытый зеленой бархатной скатертью. От одежды посетителя, как только она отогрелась, стал исходить запах студенческих комнат на Васильевском острове, которые все выходят окнами во двор, все имеют на подоконнике том уголовного права, керосинку и кусок малороссийского сала, присланного родителями к Рождеству.

— Так значит, вы и есть?..

[52*] *Пропущенное в машинописи слово восстанавливается по черновому автографу.*

— Я редактор политического отдела.

Правда, Михаил Николаевич мог бы прибавить, что, кроме этого высокого звания, он носит еще несколько псевдонимов, олицетворяет собою отделы научный, сатирический, финансово-счетный, а также и хронику, но удержался и сделал значительное лицо [38].

— Моя фамилия Топиков. Я ученик Академии, то есть Академии художеств. Занимаюсь по батальному классу [39].

Художник поднял на профессора прелестные голубые глаза.

— У этого старого идиота Самокиша [40]. Вы извините (он покраснел, как очень молодая девушка) за такое выражение. Мы рисуем оружие, солдат, недавно — осла с туркой и бабу, что торгует мороженными яблоками у ворот,— в виде маркитантки. И это из года в год одно и то же — ослы, кивера, барабаны, ну да вы сами понимаете, что за учение в Академии? Я там остаюсь пока что из-за стипендии и потом,— видели вы ее внутри, то есть самое здание? Нет? — Он опять покраснел.— Чудная, старинная постройка. Коридоры ветвистые, потолки, как из ивовых прутьев,— мягкие, гнутые, пополам в тени и на свету. Повсюду дворики, лестницы, переулки; на коридор выходят профессорские квартиры — тихие, светлые, масляной краской и хорошим обедом от них пахнет. Настоящие профессорские квартиры, с плотно закрытой дверью и дощечкой на ней — лучше вашей.

Он оглядел полки книг, за которыми виднелась плешь стены, и с улыбкой опять показал свои наивные глаза.

Михаил Николаевич встал.

— Извините, я сейчас вернусь.

Он нашел Елисавету Алексеевну еще не одетой, в дешевой рубашке и безрукавке на бараньем меху. Она убирала постели. Видно было струю ледяного воздуха, который врывался в открытую форточку.

— Лиза, набрось что-нибудь и выйди. Там пришел художник, кажется, именно такой, как нам нужно. Выйди, милая, это ничего, он уже знает, что мы — нищие.

Он поцеловал жену в продолговатые, усталые веки, в сухие губы, злые и умные, и они пошли в кабинет. Елисавета Алексеевна поправила у зеркала чепчик и про себя решила, что, очевидно, к ним со всех сторон должны [53*] собираться чудаки и до сумасшествия милые уроды.

Топиков между тем успел развернуть и разложить на столе кипу рисунков. Михаил Николаевич взглянул, и сердце его упало. Он обернулся к маме, и ее лоб, желтоватый, собранный в тысячу недоброжелательных морщин, говорил то же самое: бездарно.

Форма, правда, была хороша в общепринятом смысле. На бумаге было очень верно нарисовано то, что обычно видит средний глаз, зоркий, здоровый, как у всех.

Михаил Николаевич грузно опустился в кресло, которое под ним скрипнуло, и боялся взглянуть в младенческое лицо гостя.

— А это что?

Елисавета Алексеевна вытащила один из массы набросков, и вокруг ее глаз забегали мудрые смеющиеся змейки.

— Это к Достоевскому. Я очень люблю рисовать на тему, на какие-нибудь слова, чтобы не выдумывать самому содержание.

То, что сделал Топиков к Великому инквизитору, было карикатурой на Христа. Он был изображен в кресле, лицом к допрашивавшему его старику, мягкий, добрый, страшно близорукий. Словом, заранее побежденный идеалист, готовый стать мучеником во второй раз и позволяющий себя распять посреди верующих, ожидавших его тысячи лет. Христос, который никогда не победит во плоти, никогда не даст волю земному гневу, но, растоптанный здесь сапогом латника, переносит свою пассивную, отрицательную, бесплот-

---

[53*] *В черновом автографе далее*: тянуться голодные и до сумасшествия талантливые люди

ную победу туда, где раб с ошейником, сжимающим ему горло, в час своего восстания прочтет: «Если тебя ударят в правую, подставь левую щеку».

Злость рисунка выражалась еще тем, что лицу Христа было придано чисто русское выражение, не хватало только очков на носу, мягкой адвокатской бородки, словом, гуманности и кокарды, знакомых и по Чехову, и по Салтыкову, и по Герцену. Инквизитор сидел перед ним, сделанный в стремительных, точных темных черточках, которые падали собранным, уверенным ливнем. Лоб и глаза в тени, на виду оставлены были только мужественные губы ростовщика или императора. Топиков оживленно светил своими безмятежными глазами. Старики стояли молча, как бы впивая маленькими глотками знатоков крепкий яд его рисунка.

— Это нам и нужно для «Рудина». Но скажите, как вы сюда попали с вашей дьявольской мазней, якобы вычитанной у бедного Достоевского?

Художник достал из кармана бумажку, на которой было написано: «Требуется талантливый сатирик, вполне равнодушный к гонорару. Обратиться: Большая Зеленина, 26/б, кв. 42 — редакция журнала «Рудин».

— Это было вывешено в столовой. Профессора читали с неудовольствием — велели снять. Я взял вывеску в карман — и пришел.

— А нет ли у вас еще рисунков вроде этого — карикатур?

Оказалось, что есть. Он их достал с неловкой миной, как пустяки, шалость. Это были изображения профессоров, нескольких известных художников, исполненные все с той же академической точностью, с подавляющим реализмом и такой чудовищной злостью, которая отнимала у опрятных деталей всю их шаблонность. Вывернутые наизнанку, они выступали преднамеренными, издевательски аккуратными. Единственное, в чем можно было упрекнуть Топикова, это в сравнительной бедности идей [54*].

Но, во всяком случае, перед Михаилом Николаевичем и Елисаветой Алексеевной был сатирик редкой величины, художник божьей милостью, с лицом и губами розового херувима, с глазами предательской ясности [55*], с инстинктивным отвращением к академии, к догме, к изданиям с хорошей оплатой, к богатству и линиям вообще, академическим и общественным. Жил он в Галерной гавани, был беден, как бывают бедны только художники, и женат в двадцатых годах. Они спали на одной постели, дружно голодали и никогда ни о чем не разговаривали.

— Да, но мы ничего не можем платить нашим сотрудникам — они все работают бесплатно.

— Что же делать? — Он согласился на эти условия, опустил глаза, потемнел. Елисавета Алексеевна узнала это выражение надежды, разлетевшейся на злые, колючие щепы. Так иней поздней осенью убирает голые деревья крепкой, холодной, почти каменной белизной. Они стоят неподвижно, едва чернея стволами, блестя смертельным убранством, чистым, как самое страдание.

Топиков с любопытством:

— Скажите, зачем вы сделали такой важный стол? Он к вам обоим не подходит — такой чванный монумент. Зеленый глупый стол, нет? Вы не находите?

Но ведь он не мог знать их хитрости, мудрой выдумки обнищалых пенатов, которые так непринужденно прятали свое убожество. Мама заволновалась.

— Что вы, Топиков! Он деревянный, некрашеный, с сухими скрипучими ногами. Мой бедный, важный стол.

[54*] *В черновом автографе далее*: Он не шел дальше мольеровских, общечеловеческих характеристик

[55*] *В черновом автографе далее*: Был он беден, как бывают бедны только художники, женат на мещаночке с узлом волос и изогнутой шеей, какие любили в 20-х годах, жил на 12 линии, ходил в отрепье и не хотел работать для Сытина, для «Нивы» и для уличных изданий. Сам он не имел определенных политических взглядов, кроме ненависти к богатым, к «линиям» вообще, академическим и общественным, но карандаш его был уже зрелым, бесстрашным анархистом



[16]

„Краса".

Какъ намъ сообщаютъ изъ особо компетентныхъ источниковъ, именно въ ноябрѣ сего года, но никакъ не ранѣе, русское общественное мнѣніе послѣ упорнаго сопротивленія отступало на заранѣе заготовленныя позиціи.

По словамъ очевидцевъ, великій отходъ совершился въ полномъ порядкѣ. Смолкли рѣзвыя частушки г. Сологуба, Леонида Андреева, при громкихъ одобри-

Вотъ оно „просыпается, красовитое слово народное". На зло „шептунамъ" и „фыркателямъ" приходитъ оно, чтобы занять подобающее мѣсто среди безпорядочно бѣгущихъ толпъ.

Сюда, „наслѣдники Баяновы", собирайтесь къ „думнымъ соснамъ", подъ крыло „сиринъ-птицы", къ „святовѣнымъ платамъ юродивыхъ угодниковъ"!

Напрасно „изгиляется Вильгельмище", сидя за буераками". Пришелъ часъ, дрогнула „скуфья студовая", блеснули „отмычки золотыя во персты сахарные", во весь ростъ поднялась Матушка-Россія.

Видно не даромъ добрый молодецъ, младъ-Есенинъ изъ Рязани потряхивалъ кудрями русыми, приплясывалъ ножками рѣзными!

Не даромъ и Ремизовъ, „старецъ угрюмецъ", сорокъ лѣтъ на одномъ мѣстѣ простоялъ, „камень не камень, твердый, какъ камень".

А „кружевница трущобная", кроткій отрокъ Го-

«КРАСА»

Памфлет и карикатура на участников общества крестьянских поэтов «Краса»
Слева направо: С. М. Городецкий, Н. А. Клюев, А. М. Ремизов, С. А. Есенин
Автор памфлета — Л. М. Рейснер, автор карикатуры — Е. И. Праведников
«Рудин», 1915, № 1

Она подняла край бархатной скатерти, спускавшейся до самого пола самоуверенными складками, и стали видны козлиные, белые, скрещенные ноги великана, между которыми жались кипы старых книг, детские игрушки и елочные украшения. В своей первобытной наготе эти сосновые перекладины казались скрытного, нездорово-белого цвета, как некрасивые ноги царицы Савской, разоблаченной Соломоном, чуждым истинной романтики, несмотря на свои песнопения [41].

Топиков все это высказал неторопливым, мягким голосом и закончил:

— Все-таки царь был еврей. Ему непременно надо было убедиться, осмотреть и измерить недостаток своей возлюбленной.

— Раз вы теперь знаете секрет ученого стола, давайте я вам расскажу историю зеленой бархатной скатерти [42].

Все лицо Елисаветы Алексеевны смеялось, отчего исчезли страшные следы кухни, прачечной лоханки и черной лестницы с котами, нанесенные на ее тонкую и сухую кожу, точно графитом на благородный пергамент.

— Этот наглый зеленый бархат я купила за границей, когда Мише вдруг стали платить настоящими деньгами за его сумасшедшие писания и речи: у человечества иногда бывают свои странности. Так вот: чувствуя в кармане свои гроши и в душе нечто от прародительницы обезьяны, я носилась по огромному магазину, подыскивая для кабинета нечто могущее внушить уважение репортерам, приходившим в большом числе. Эти лихоимцы любят для своего вранья обстановку декоративную и устойчивую. Скатерть и сделалась взяткой их размашистому вкусу. Потом... потом газетчики перестали ходить на нашу Фазанен-штрассе, швейцар получил от специального бюро полицей-

президиума подробные инструкции относительно наблюдения, мы втайне заложили ложки, а Михаил Николаевич сел писать новую [56*] книгу, которая, увы, и поныне не закончена. После амнистии Пятого года он уехал в Россию ловить за хвост новые законности и прилепиться к университету. Хотелось домой, учить детей дышать своим воздухом. Мы до того дошли, что ходили по вечерам на вокзал смотреть поезда, отходящие в Россию. Кондуктора кричали нагло, по огромным колесам стекало масло, пар взлетал горячим облаком и уходил под сумрачное черное стекло крыши облаком какой-то идиотской надежды. Но это все вздор, к делу не относится. Да, о скатерти... Ради сорока марок взяли мы тогда жильца, богатого русского по имени Халфин. Был он вдовец и от всех крушений сохранил маленького годовалого ребенка — очень противного мальчика. Красного, толстого, с самодовольством и беззаботностью взрослого и очень богатого человека. Знаете, я не могла видеть, как он сосет грудь своей няньки. Схватит ее белыми крепкими лапками и сосет с жестокостью, ровно, не переводя духа, пока из искусанного соска не покажется кровь. Тогда пискнет как-то противно, отвалится, и на круглом личике гримаса равнодушного пресыщения. Точно он ее взял, купил — черт знает, что это был за ребенок со старой-престарой душой. Отец его боготворил мрачно, фанатически. Если бы для младенца понадобилось перекусить горло мне и моим детям, он бы перекусил. Вообще шагал по человеческим головам, добывая своему Яше всякие швейцарские колясочки, здоровейших кормилиц и прогрессивные методы воспитания.

Как только они влезли в нашу квартиру, как сейчас же ею и завладели. Выходило так, что и воздух, и солнечный свет, и лучшие вещи — все Яшино, все им куплено и ему одному нужно. Из России писем все не было, росли долги, а рядом, за стеной, день и ночь гремел победоносный ребенок — казалось, мы запутались в паутине, а Халфины — отец и сын — преспокойно высасывают всю мою маленькую семью.

Наконец, он потребовал у меня для сына знаменитую скатерть: на ней Яша мог спокойно играть и падать, не рискуя повредить свое рыжеватое и розово-белое тельце. За это попрание нашей фамилии я должна была получить двадцать лишних марок. В конце концов пришлось согласиться, скатерть была разостлана, и Яша пустился на ней отплясывать всю радость своей крохотной, раскормленной жизни. Ах, что он с ней сделал! Он ее запилял во многих местах, и на чопорной материи появились желтые разводы. Вся его игривость, ничем не стесненная, излилась причудливыми увечьями на несчастный символ семейного благополучия и славы. Глупо, правда, но мне казалось, что крепенький розовый зад Яши ерзает уже не по скатерти, а по всей нашей жизни. Бонна, к которой ребенок относился как к рабе, сидела рядом, не смея остановить его неистовство, и на ее честном плебейском носу, исцарапанном маленьким Халфиным, аккуратными квадратиками был наклеен пластырь. Яша торжествовал, корни его юного существа крепко обхватили меня, няньку, весь мир и наполнялись новой жизнью и силой. И вдруг, вы понимаете, когда все уже затмилось и завяло в наших темных комнатах, пришли деньги и письмо из России. Мы были свободны,— она улыбнулась,— правда, ненадолго, и скатерть была освобождена. Ее вымыли, очистили от всех грехов пленения, она повисла на балконе, впивая тысячу золотых, очищающих лучей. Эта зелень помолодела, как бы примирилась с жизнью. Лэпп, сам Лэпп, студент политехникума, ныне знаменитый математик, а тогда голодный русский студент, вытряхивал и чистил ее щеткой. Все это делалось явно, с широкой гласностью, на виду у Яши, который ревел, как зарезанный, и его отца, торговавшего у господа бога весну и небо для своего потомка.

— Вот видите, какая длинная история у скатерти. Кроме того, страдание и благородная бедность смягчили ее природный бесстыдный цвет и светлые пятна. Она стала мудрой, темной и великолепной!

[56*] *Далее зачеркнуто*: гениальную

Топиков слушал, чертил, взглядывал на рассказчицу, и опять его худые пальцы колдовали над листом бумаги. Наконец он кончил — маленькие иллюстрации, неуклюжие гротески в стиле Гогарта [43], где было изображено с язвительной добротой попрание и освобождение скатерти — этого знака независимости, учености и славы [57*].

Топиков ушел домой в пальто Михаила Николаевича, и метель, обнажавшая перед ним обледенелый тротуар, мчалась белая, радостная, как некая жестокая и неземная союзница.

‹3›

— Что, что они вам сказали? — Ариадна сделала крутой поворот, от которого на льду осталась тонкая алмазная полоса, и ловко опустилась на скамейку рядом с Ursis'ом — так его звали за широкие плечи и варварский рост.

Шел легкий снежок, и мужики ряд за рядом разметали его своими длинными усатыми метлами. По середине катка со скрипом опустился висячий фонарь, и вскоре на голубом поле его лимонный свет смешался с едва приметным сиянием молодой луны, взошедшей на голубом, сумеречном небе, полном мороза и ясности. Фигуры катающихся вдруг сделались черными, быстрыми и маленькими. И только посередине, в кругу крепнущего света, тень конькобежца в белой фуфайке летала, еще более легкая, как птица над замерзшим взморьем.

— Они сказали, что все плохо — плохо придумано и плохо сделано.

— Прочтите мне еще раз про университет.

И, не обращая внимания на гимназиста, сидевшего рядом с коньком в руке, он стал читать ровным, поющим тоном, смешным для посторонних. Его маленькие, широко раздвинутые монгольские глаза снова заметили ту благородную бледность, которая непроизвольно выступает на иных лицах от первого прикосновения поэзии и при звуке настоящего стиха. Своей рукой без перчатки он тронул ее мохнатую рукавицу, неприятную, мокрую от растаявших снежинок.

— Подождите, Ursic, мне холодно. Я немножко пробегусь.

Она встала неловко и неуверенно, чуть оттолкнулась одной ногой, как это делают начинающие,— и вдруг раскрыла руки, нагнулась, и начался полет. Это — голландский шаг, широкий, царственный, опираясь на выгнутый нож, летит, как над зеркалами, сам себя поддерживая в чудном равновесии, в приливе и отливе равномерных взмахов. Это иллюзия, только одной точкой льда привязанная к земле, это пляшущая зима с румянцем на щеках, с прерывистым и чистым дыханием, с телом лебедя, с быстротой юноши.

На льду пересеклись две плавные орбиты, две непогрешимых тонких дуги. Ursic одной рукой обнял Ариадну, другой спокойно вытянул ее руку, и ни о чем не думая, не зная устали, они все танцевали, все плыли по воздуху, дыша и переводя дыхание одновременно.

Лед чуть скрежетал на плавных поворотах, сумерки все сгущались и лиловели, волосы играющих в эту чистую и молодую игру покрылись инеем. Поэт крепко держал и нес по воздуху тело молодого и бесплотного духа. Ему стало бесконечно легко, бесконечно радостно. Его стихи сразу проснулись и запели, как потревоженный улей, вынесенные на ледяной ветер, изме-

---

[57*] *В черновом автографе далее*: Затем художника пригласили в столовую, и он погрузился в сгущенную атмосферу духовных запахов, которая всегда существует вокруг людей, живущих вне общества, и по которой они издали узнают друг друга. Начиная с девяти фарфоровых уродов на печке, упорно не приносивших дому ничего, кроме несчастия, и кончая ненавистью, с которой здесь говорили о войне,— все было Топикову — свое, любимое, наконец найденное. Ему представили Надю, эту странную прислугу с руками музыкантши и плоским, некрасивым лицом. Она тоже была помечена печатью рудинского отщепенства, веры в слова и мысли, непонятные, но имевшие, по ее представлению, какое-то прямое и решающее отношение к ее безграмотной и исковерканной жизни. Выходило так: что если Рудины правы, эта их правота должна где-то и в чем-то победить и все изменится, начиная с ее жизни. Она же была ответственным редактором будущего журнала. С тех пор, как фамилия Надежда Лещенко [44] (*фраза не закончена*)

ренные голубыми дугами, вычерченными по льду, повторенные ритмичным танцем этой прекрасной девушки, похожей на отрока. Он почувствовал веру в себя, увидел, как хорошо все уже оконченное и как таинственно и неизбежно будущее. Стихи мерещились U⟨rsic'y⟩ в падающих снежинках, из которых некоторые таяли на ресницах и волосах пляшущей музы. Их было много — вокруг фонарей они вились трепещущими роями, лежали у ног невозмутимым, легким покровом, спускались от звезд целой сетью, целым прозрачным омутом, полным движения.

Замороженные музыканты, с льдинками на усах, с багровыми лицами, завернутыми в мохнатые шарфы, расселись, наконец, по своим местам, расправляя ноты, покрытые снегом. Мальчишки столпились у железной печки, поставленной посередине оркестра, затем медные трубы взвились кверху, и, подгоняемые бешеным и хриплым вальсом, все катающиеся ринулись по кругу. Ариадна досмерти любила скверную музыку,— шарманку, трубу полкового трубача, рояль за стеной, взятый напрокат и бренчащий по вечерам.

— Слышите, как время уходит? Вот всегда от этого качания в музыке, от этой дерзости, от того, что она в воздухе плывет и пляшет, мне страшно жаль уходящее время.

Трубачи подняли свои жерла еще выше, и музыка взбежала плавно и высоко и упала, сорвалась вниз, как цыганка, как бродячая звезда, со всеми своими нежными, вульгарными, уличными трелями.

— Видите, минута ушла и никогда не повторится. Я вечность себе представляю только через эту жалость о времени — иначе я о ней не умею думать.— И прибавила тихо: Я и о смерти никогда не думаю — не могу себе ее представить.

И усталые, как после счастливой снежной оргии, они пошли домой.

— Вот в пятом этаже зажглось чье-то окно, из трамвайного провода вылетела синяя бабочка,— слышите, ветер в проволоках — и шаги на улице, ближе, ближе — и прошли. Милый мой Ursic, это одна минута,— она подняла палец, посмотрела на него сбоку,— и минуты нет, никогда больше *та-ак* не будет.

— Люблю вашу Зеленину.— Ursic вдруг остановился.— Смотрите, какой чудный бык!

Это была вывеска мелочной лавки, писанная золотом и масляными красками, с тем своеобразным пониманием перспективы, которое есть только у художников раннего Возрождения и у старинных, подробных вывесок на Петербургской стороне. Бык стоял на зеленом утесе, сделанном как бы из бархата, и подымал в безоблачное небо свои золоченые рога. Ниже его — утка, повернув к Зелениной свой печальный круглый глаз, переплывала пенное фатальное озеро, на берегу которого ее ждали два толстых и грустных барана, петух величиной с римский огурец и недальновидная, неестественно веселая курица. Все эти животные, несмотря на радужное свое перо и кудрявую шерсть, казались натянутыми, встревоженными, как бы нарочно не замечали нарисованного тут же краснощекого юношу с огромным ножом, очень похожего на мясника. Но звери были выше своей судьбы — они презирали Рок.

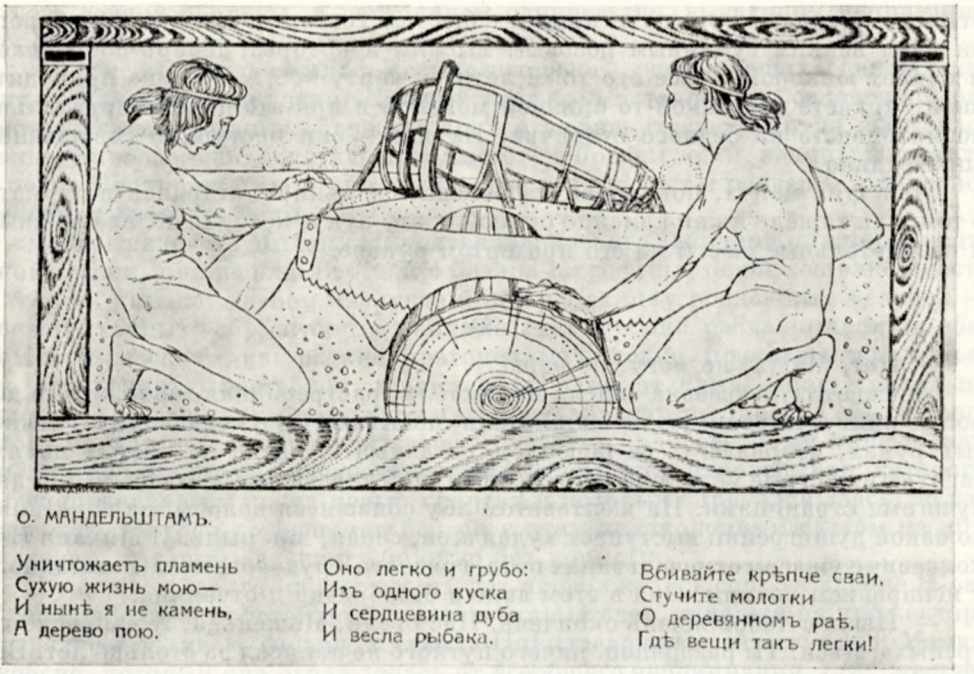
Молодые люди пошли дальше. Ариадна улыбнулась и толкнула соседа локтем.

— Ну, а теперь расскажите, как они вас там разделали.

— Что тут рассказывать? Весь их толстый журнал собрался и задал мне головомойку. Начал старичок-критик, чуть ли не [58*] самый почтенный человек в редакции.

— Знаете, нам в «Рудине» тоже надо будет завести такого — с баками, лично знавшего Ницше или хоть Толстого. Это страшно шикарно. Как в хороших домах: непременно у стола служит благообразный дедушка, седенький, чистенький — слуга, который выносил горшки еще за покойным папа-

[58*] *Далее зачеркнуто*: шлиссельбуржец



О. МАНДЕЛЬШТАМЪ.

Уничтожаетъ пламень
Сухую жизнь мою—
И нынѣ я не камень,
А дерево пою.

Оно легко и грубо:
Изъ одного куска
И сердцевина дуба
И весла рыбака.

Вбивайте крѣпче сваи,
Стучите молотки
О деревянномъ раѣ,
Гдѣ вещи такъ легки!

ЗАСТАВКА К СТИХОТВОРЕНИЮ О. Э. МАНДЕЛЬШТАМА
По рисунку Е. И. Праведникова
«Рудин», 1916, № 7

шей и д⟨едушкой⟩. А он, между прочим, пьян вдребезги и нанят третьего дня. Ну, а дальше?

— Ах, разве все перескажешь! И какая тишина, и что за люди! Скажу вам вкратце: форма вычурна, нету искреннего чувства, нет музыки, нет яркости, нет таланта. Одно большущее «нет». Кого они только ни призывали на мою голову: синюю птицу, и греческий ритм, и Кантовы категории. Мне было очень больно. Они хорошо говорят и знают самые скрытые, чувствительные места. И не стихи ругают, а заберутся глубоко внутрь, туда, где эти стихи делаются, и поплюют учеными словами в самый источник. Нужно много времени, чтобы забыть эти слова, от которых делаются поэтические аборты.

Впереди, вдоль забора, была длинная замерзшая лужа, серебряная, раскатанная драными подошвами уличных спортсменов. Они немного разбежались, проехали по маленькому катку и пошли дальше так медленно и беззаботно, точно это было в субботу вечером, накануне воскресенья. Ursic не мог успокоиться:

— А ведь я знаю, откуда вся эта злость! Они чувствуют, что я враг, что в моих протертых карманах и в книгах, которые я люблю, есть ненависть к ним. По звону рифм можно догадаться, что я против войны, против газеты «Речь»[45], против ⟨1 *нрзб.*⟩ против Семена Грузенберга, против Чайковского[46] и против Литературного общества! Понимаете, это где-то прорывается, где-то окрашивает мое небо и мои облака иначе, чем у них. Они мне говорят о пятистопном ямбе, о гармонии звука и цвета, о душе сонета. А я слышу другое: эти стихи пахнут бунтом, пятым этажом, анархическими бреднями некоего профессора с Большой Зелениной,— словом, пахнут неприятно и подлежат оплеванию.

— Urs, хуже всего то, что ваши стихи обязательны, они что-то меняют [59*]. Не знаю, как вам это объяснить. Но есть поэзия, до и после которой ничто не меняется. И есть строчки, которые означают конец одного и начало другого. Старичок, который вас поперчил, очень близок к концу. Он умница и зна-

[59*] *Далее зачеркнуто*: они обязывают

ет, что и журнал, и его пять комнат с бюстом Толстого, и его сын, которого он учил всяким гуманным розовым мыслям и который теперь доброволец и пахнет юнкером,— все это тоже летит к черту [60*]. А тут еще приходите вы и каркаете над какой-то близкой могилой и при этом очень пристально посматриваете на бедного старичка. Ну вас,— они поступили совершенно справедливо.

Ursic шел молча, покачивая на ремешке коньки, и старался не думать о том, как тяжело и как каменно он любил эту руку, которая делала важные и назидательные жесты на его протертом рукаве.

‹4›

— Нет, Миша, не могу, не верю.

Елисавета Алексеевна сидела на постели, растрепанная, похожая на дорогую книгу, вырванную из библиотеки, побывавшую в нелюбящих и нечистых руках, изорвавших ее переплет, оставивших пятна на чистых полях, загнувших острые углы в память своей глупой власти над беззащитными, над лучшими страницами. На желтоватом лбу сбившиеся волосы, из воротника кожаной душегрейки выступает худая шея, серая, как пыль. И Михаил Николаевич с ужасом отмечает запах пота, грязного Трудового пота, смешанного с испарением овчины. Она в этом виде и безобразна и отчаянна.

— Наша с тобой жизнь окончена. Нас съели, Мишенька. И напрасно ты трепыхаешься. Ты раздавлен, ничего путного не написал за столько лет. Всё гениальные идеи... и ни одного томика, чтобы хоть под голову положить.

Мама заплакала. Слезы ее жили под темными продолговатыми веками, как прозрачные духи в прохладных пещерах.

— И ненавижу твой немецкий идеализм [61*]. Эти подлые, лживые надежды. Ты толст, вот откуда твоя вера. Уйди, оставь меня в покое.

Все вещи в комнате были некрасивые, купленные в рассрочку. Муки вечных долгов давно уничтожили тепло и удовольствие, которое они могли доставить. Раньше всех сдался комод, огромный, подавленный, квадратный, полный дырявых носков и заплатанного белья. Но все домашние заботы, все эти латки, поставленные с искусством и вдохновением, все прорехи, зачиненные бесконечной любовью, не смогли заполнить его огромных недр. Комод слушал, как падали мамины слезы, и наслаждался всеми рассохшимися ящиками. Зеркало оставалось туманным, оно молча отметило лишний день нищеты, эти седины, побивающие душу, как изморозь, рытвины возле рта, где живет усталость, и руки с искривленными пальцами и линию груди, растегнутой, слабой. Зеркало глупо и неумолимо.

И не то, чтобы бедность вдруг сломила маму: нет, в течение двадцати пяти лет она одухотворяла все ее жестокие мелочи. Строила невозможные теории, высмеивала человечество с добродушием маленького Вольтера, рассказывала по вечерам, укладываясь в свою чистую и жесткую постель, такие сказки о любви, о борьбе за медный грош и о господе боге, что Олимп смеялся вместе с ней и дивился дивной живости ее духа. Каждый день другая, несмотря на свое бедное платье, не знавшее перемены, трагическая, как Рашель [47], и изобретательная, как гризетка Латинского квартала, она заменила собой тысячи женщин, и Михаил Николаевич прошел за ней целую жизнь, наблюдая вечные творческие маски, завоевывая и теряя все новых любовниц, прятавшихся в изможденном и неисчерпаемом теле жены. Двое детей, рожденных с смертельной опасностью, были выкормлены легким и разрушительным гением анализа, царившего в семье. Они знали жизнь в десять лет, умели оценивать без ошибки все отчаянные схватки и наводнения, бросавшие их шаткое гнездо с места на место. Они привыкли видеть отца и мать

[60*] *Далее зачеркнуто*: В ваших стихах это сказано громко — это их оскорбляет Они не хотят никаких memento mori

[61*] *В черновом автографе*: оптимизм *вместо* идеализм

в позе вечной обороны, в постоянном одиночестве, вызванном непримиримостью критериев, приложенных к жизни.

И над всем царило веселье. Четыре человека — два больших и два маленьких — никогда не скучали. Каждый день был источником бесконечной радости, которая соединяла счастье зрелой любви, гордость труда, благословенного призванием, аскетическую чистоту и бредни детей, начинавших жить в полном солнечном свете, на высоте, где воздух чист и разрежен прикосновением творческих гроз.

Возвращался ли Михаил Николаевич с ученого собрания или парламентской сессии, приносила ли Лизи с базара в своей плетеной кошелке вместе с пучком укропа, хлебом и фруктами целую охапку роскошных мелочей — свежих, сочных, обрызганных каплями смеха,— они раскладывали за обедом свои рассказы, как редкие, драгоценные находки, превращали их в пьесу, разыгранную вчетвером, в мистерию, памфлет или диалог, смотря по тому, кто был действующим лицом в этот день: ректор ли старого Гейдельбергского университета, горбатый своей мудростью, или цветущая липа в саду библиотеки, пахнущая средневековьем и медом, или, наконец, вор, которого с бешеным азартом искал целый квартал и который спрятался здесь, за занавеской, и стоял совершенно белый, с этим великолепным светом на лбу и глазах, который означает убийство без корысти.

И еще очень долго, целых десять лет продолжалось сопротивление Н-ов. Уходили годы, а пристальный и несчастливый свет, похожий на прожектор, продолжал обливать фигуру Михаила Николаевича все так же ярко. Мамин скепсис, которым она ограждалась от всеобщего непонимания, стал жестче, острее и постояннее. Иногда ей казалось, что вся жизнь ушла на борьбу с плеткой и каблуком нищеты, на облагораживание вещей, и все-таки напрасно.

Возбужденный ум Михаила Николаевича между тем достиг крепости и мощи, с перелома своих сорока лет он видел все тайны социального механизма и чувствовал в себе спокойную дерзость разрушителя, который, весь в белом, с глазами, освобожденными от всякой лжи, с невозмутимой кровью и блестящим, чистым скальпелем, стоит над своей эпохой и готовится к вскрытию и обозначению того, до чего не смеет коснуться ни один из современников.

Михаил Николаевич следил за иностранной печатью, с торжеством и ревностью замечая, как близко наука других стран подошла к разрешению загадок, которые для него уже были раскрыты и, как сияющий Млечный путь, пересекали черноту нищеты и вынужденного бездействия.

Он испытал тайное соперничество умов в различных углах мира, работающих над сродными задачами, эту атмосферу напряжения и догадок, которая соединяет электрическими нитями мозг людей, опередивших свое время.

Михаил Николаевич испытывал минуты ослепительного счастья. Ночью он будил жену и, чувствуя, как медленно холодеет его лоб, как сердце отбивает пурпурный такт победы, говорил ей о новом, только что блеснувшем открытии, о невидимых орбитах, по которым с непогрешимой точностью двигаются, погибают и снова родятся культуры и миры.

Елисавета Алексеевна многого не понимала, но у нее был гениальный инстинкт, и то, что муж приносил из лаборатории точного знания, она проверяла искусством, страданием и кислотой неумолимой этики. И видела, что мысли хороши и весят тяжело, как камень и золото.

Но утром Михаил Николаевич, еще горячий от творческой ночи, бежал в университет, потом на всякие курсы и техникумы, ехал на бесчисленных трамваях, шел много, много кварталов пешком и к вечеру возвращался домой разбитый, с неудовлетворенным мозгом, который требовал немедленного освобождения от груза созревших идей, и с глазами, которые смыкались от усталости.

Дни шли за днями, жажда, тянувшая его к письменному столу, постепенно притуплялась и, наконец, исчезала совсем. Видения бледнели, догадки

отступали на задний план, пока где-нибудь перед случайной аудиторией, перед школьниками, они не прорывались наружу в последний раз блестящей, неудержимой и шалой волной вдохновения.

Профессор приходил домой взволнованный.

— Милая, какую лекцию я им прочел!

Она подымала на него глаза, полные горечи:

— Ах, опять выболтался, а когда же книга?

А книги не было и не могло быть. Человек, имевший 27 лекций в неделю, не мог ничего написать. И так из года в год, с неумолимой правильностью.

И вот теперь Михаил Николаевич смотрел и не мог узнать жену с ее злым и враждебным лицом. Из своей трясины она, наполовину в нее втянутая, с ненавистью встречала каждый луч, прорывавшийся через вечную мглу заднего двора и рисовавший на поверхности спокойного болота свои лживые, веселые пятна.

— Лизи, надо жить, а ты умираешь.

Да, но ее это не удручало. Чем скорее конец, тем лучше, лишь бы не платить за каждую попытку выкарабкаться новыми векселями, новым горем — оно и больнее и жесточе старого.

Михаил Николаевич сел против жены, взял ее руку, нагнул голову — и так они пробыли очень долго, пока комната не наполнилась сумерками; на потолке отразился свет первых фонарей и напротив — над черной, гробовой крышкой дома показалась и потекла зеленоватая, дрожащая звезда.

Мама все не шевелилась, глядя на эту голову в мягких, редких, седых волосах, на шею, еще такую сильную, в морщинах, как в обветренной коре, на весь затылок, который дети за какую-то бедную «вымершую» и благородную черту называли «как у мамонта».

Никогда нельзя точно сказать, где начинаются эти тихие, неповторимые разговоры; когда и как, движимые любовью или жалостью, в сумерки, в холодное время, предназначенное сну и умиранью, расправляются и немного, чуть-чуть, начинают шевелиться онемевшие, изорванные крылья разбившихся птиц, выброшенных на свалку людей. Такие минуты более беззащитны и пугливы, чем все другие, предназначенные цветенью человеческой души. Эти легко обрываются, как осенние, седые нити, которые случайно намотало на голую ветвь и полощет, и напрягает, и укачивает солнечным холодным ветром [62*].

Она спросила о самом тяжелом и ⟨постоянном⟩ [63*] во всей их жизни:

— Почему ты один? Почему нет ученика, хоть одного, но настоящего, который бы тебе верил? Ну, сверху гонят и гнут, но почему же слева над тобой так же смеются, как и справа?

Но слева не могли не смеяться. В юности Михаил Николаевич мечтал о

[62*] *В черновом автографе далее зачеркнуто*: И только если люди совершенно согласны и правдивы, как боги, в самом главном, в музыкальном ключе своих отношений и своей веры друг в друга, только тогда возможны эти чудеса жизни. Они вспомнили одно счастливое лето, проведенное на юге, в глуши, единственное, во время которого не надо было искать денег. Михаил Андреевич ходил босиком, в белой рубашке и простыне, пугая ленивых хохлов своей греческой тогой. Дети, голые и загорелые, неистовствовали в саду, зеленом, праздном и запущенном. Под яблонью, в ее столетней тени, сидела мама за маленьким столиком, перед ней белые, свежие листы бумаги и пачка карандашей, тонко очиненных.

— Ты была тогда моложе, Кити, и от листвы, которая без ветра все-таки шевелилась, смотрела зелеными, подвижными глазами. И сердилась, если я долго не диктовал.

— А наша птица? Она падала на тебя прямо из середины неба, из огня, из солнца. С криком, раскинув крылья, шурша воздухом — как дух святой. Но ведь и тогда ты не окончил свое «Государство»?

Никто его не понимает!

— Я не успел обвеситься цитатами, а без занавесок наши идиоты науки не признают,

— Скомкал ты все — ни одну мысль не довел до конца.

— Кити!

Она хорошо помнила отчаяние, с которым они покинули деревню в середине августа, в разгар тепла и творчества, гонимые все теми же бичами. А дальше?

[63*] *В машинописи описка*: непостоянно; *исправляется по черновому автографу.*



М. А. РЕЙСНЕР С ДОЧЕРЬЮ ЛАРИСОЙ И СЫНОМ ИГОРЕМ
Фотография Т. Диппенбах. Берлин, ⟨1903—1904⟩
Литературный музей, Москва

спасении человечества при помощи монастыря и веры, потом — мудрого и возвышенного самодержавия и ложно-народнической утопии славянофилов.

Рос он сам по себе из густой, мирной и сентиментальной почвы русского мелкого дворянства — и, все более вытягиваясь кверху, одну за другой пробивал своим хорошим лбом колпаки идеологий, пока не посыпались осколки от последней, самой верхней, и он не вдохнул чистого, разреженного воздуха марксизма, но это уже на мостовой заграничного университетского городка, куда бывший профессор вылетел [64*] нищим и, как он скоро убедился, невежественным учеником, которому предстояло учиться заново. И он переучился.

Но в жизни людей, перешедших с правого берега не левый, есть скрытая трагическая черта, особенно если они покидают прежний лагерь без покаяния и пришибленного стыда за свое рождение, за жестокое превосходство

[64*] *В черновом автографе*: вылетел по третьему пункту

класса, которому принадлежат по роду, по корням и по имени, и особенно, если деклассированный — не кающийся дворянин, а гордый герценовский refugié [48] — не хочет нести ответственности за грехи предков, ему приходится тяжело. Он — отверженец, поставленный вне закона, ненавидимый «своими» как изменник, и никогда не сольется с новой средой — как бы верно ни служил ее знаменам. Его оценят как союзника, как бойца, но руку, которую он протянет в порыве старой, барской, рыцарственной романтики, — ее не примут. Тут нет ничьей вины: в среде политических бойцов, которых знание Маккиавелевых истин давно отучило от культа порывов, прямолинейная честность и окостенелая принципиальность, которая не может согнуться ни для гибкого строения партий, ни для фехтовальной быстроты и изменчивости парламента и печати, неудобна, смешна и обременительна. Поэтому деклассированные так и остаются стоять одни в неловкой позе, с бескорыстным пафосом, который звучит нелепо и еще более нелепо отскакивает от холодной тактики, от спокойных приемов политической борьбы [65*]. Каторга и война одни уравнивают и очищают: за общей решеткой и под пулями забываются все тайные неприязни и люди действительно становятся братьями. К сожалению, Михаил Николаевич избежал и баррикад, и тюрьмы и на всю жизнь остался с своим почетным клеймом отщепенца, одиночки, чужака.

В этот вечер оба, муж и жена, пересматривая свою жизнь с большой, холодной высоты, поняли смысл своего одиночества, имели мужество его оправдать и принять как нечто тяжелое и гордое, что нужно донести до конца.

Ни прежде, ни сейчас Елисавета Алексеевна не переставала верить в странную науку Михаила Николаевича. Он это знал и, благодарно пожав ее руку, признал свою слабость, свое полное поражение и на этом поприще. Нет, он не докончит книги, задуманной двадцать пять лет тому назад, обещанной в первую ночь их любви и созревавшей целую жизнь. Не напишет из-за денег, из-за усталости, из-за того сероватого тумана, который уже начал застилать далекие очертания зачарованного, недостижимого града, который напрасно ждал своего избавителя. Его узорчатые башни, его прозрачные зубцы медленно погрузились на дно прохладного озера, звеня всеми колоколами своих печальных, не разочарованных высот. Михаил Николаевич часто днем, среди занятий, и в часы бессонницы слышал это прощальное пение своей мечты, эти погребальные карильоны [49], эти безнадежные псалмы, звенящие серебром, инеем, белизной старости.

Елисавета Алексеевна сквозь веки, опущенные, тяжелые от слез, видела так же ясно, как и ее муж, последний блеск алмазных очертаний, облитых заревом какого-то великолепного заката. Рассеялась ее надежда — самая бескорыстная и жгучая, надежда славы и признания, хотя бы через много лет. Им вдруг почудилось обоим море, над которым только что зашло солнце: его безнадежный ровный шум.

— Это конец, Миша?

— Нет, Лись, нужно издавать «Рудина».

— Зачем?

— Я устал жить с завязанным ртом [66*]. На прощание мы соберемся с силами и еще раз в жизни посмеемся как следует: разбойничьим, хорошим смехом.

— А потом?

— Не все ли равно?

И, взглянув вокруг:

[65*] *В черновом автографе далее зачеркнуто*: И странно, но речи Дон-Кихотов, перебравшихся на «другой берег» во имя самых высоких и бескорыстных побуждений, вышедших на этот берег измученными, часто искалеченными, звучат непобедимой фальшью, звучат лживо

[66*] *В черновом автографе*:— Затем, что нужна сейчас сатира. Она носится в воздухе, как запах гари. Затем, что я устал жить с завязанным ртом

— Это все рухнет, и [67*] начнется другое.

— Ты опять на что-то надеешься?

— Ни на что я не надеюсь. Но мы будем первыми, которые нарушат ужасающую тишину. Давай, милая, скажем громко, отчетливо, весело, ‹что мы против войны, против побед и против крови.› [68*] Я стар, ты тоже у меня устала — почему не доставить себе этой последней радости и не крикнуть королю, что он голый? Большего мне не надо [69*], но хочу услышать звон битых окон, испуганный визг и,— Лисси, это уж действительно надежда, но очень скромная,— может быть, за нашей спиной раздастся гул, движение, этот отравленный ненавистью крик, которого мы ждали так долго. Хочешь, рискнем, все равно жить дольше так, как мы жили,— невозможно.

В сумерках лицо Елисаветы Алексеевны побелело и стало ясно, как мраморное.

— А дети?

— Дети с нами [70*].

‹5›

Квартира Владимира Владимировича [50] выходила окнами на Неву. Из отдаленного конца гостиной, с глубоких пуховых кресел, то сжимающих, то разнеженно раздувающих под шелковой кожей свою рыхлую плоть, всегда видны были сфинксы, сумрачные окна Академии и державные воды реки. Из всех зал, купивших себе право смотреть на дивные перспективы Петербурга левого берега Невы [51], эта была лучше многих: у цельного оконного стекла поставлен литой, из темного металла Наполеон того времени, когда он только что сбросил Директорию, только что перешагнул двусмысленные границы Консульства и потому смотрел молодо, с тяжелой и задумчивой алчностью на Дворцовую набережную и тот счастливый по размерам и окружению квадрат, где скала Петра, желтые колонны Сената и неторопливо расширенная на три стороны легкая громада Адмиралтейства. Наполеон этот думал только о себе, о странной некрасивости Жозефины [52], ставшей стилем целой эпохи, о карете, в которой он ехал через горные перевалы Италии, о дерзости старых солдат, встретивших его насмешливо: они неприлично стучали варварскими шпорами и палашами у его порога, эти, черт бы их взял, Ожеро, Гош [53].

Тут были и другие Наполеоны; они наполняли всю комнату — и тот, с длинными, мягкими волосами, человечным лбом и занесенной шпагой, герой Аркольского моста, придуманный историей и смотревший в своем вечном ослеплении, с вечно повернутой назад головой, с кудрями, откинутыми ветром славы, на узкий Троицкий мост, который иногда закрывали от него железные вьюги,— так же, как смотрел он на Аркольский [54].

Несколько императоров жили рядом, не видя, не зная, не замечая друг друга.

Маленький и толстый, взбешенный до последней степени и царственный более, чем в день своего театрального коронования [55], стоял спиной, не видел от злости ни барокковых завитушек залы, ни паркета под топающими ногами, ни орлов и лилий над головой и, как сапожник, кричал на грациозного, старого, униженного папу.

Самодовольный и отяжелевший, в мантии и короне, и он же, ловкий, в темном мундире, с рукой, заложенной за обшлаг сюртука, Наполеон всех сентиментальных награждений, ночных караулов и солдат, производимых в фельдмаршалы.

67* *В черновом автографе далее*: очень скоро начнется гроза

68* *После слова* весело *в машинописи пропуск; окончание фразы восстанавливается по черновому автографу.*

69* В *черновом автографе*: Ничего больше мне не надо, я хочу первым бросить камень в толстую, желтую рожу кого-то, кто сидит в Думе

70* *В черновом автографе далее*: Наконец, начались самые реальные приготовления к тому, чтобы журнал действительно вышел. Михаил Андреевич при помощи сложных финансовых операций достал целую тысячу рублей. Его векселя (*фраза не закончена*)

Бонапарт, раненый при Риволи, с дивной ногой полубога, поставленной на барабан, с подзорной трубой у глаз, в то время, как друзья отирают его кровь, а биограф записывает сцену на листке записной книжки, обожженной порохом [56]. Решаются судьбы мира, лошади в испуге становятся на дыбы, и раненые, умирая, приветствуют императора. Это уже Цезарь, видимый сквозь дымку летучей пудры, сыпавшейся на славных подмостках Comédie Française с вороных кудрей мадемуазель Марс, причесанной великим театральным парикмахером, показывавшей античную ногу на строгом диване Давида, при блеске свеч, при плеске партера [57].

Были и другие — Наполеоны, принимавшие Фуше с миной недостойного страха [58], и веселые отцы семейства в вышитом золотыми цветками жилете, белых шелковых чулках и туфлях с бантами, ласкающие законное дитя императрицы под сенью Шенбруннских садов, при ласковом блеске австрийского солнца [59].

Под стеклом виднелись ржавые шпаги маршалов и самого императора, сбереженные для потомства честолюбием любовниц, медали с латинскими изречениями и два — три покоробленных листа, повествующих о том, что великий пленник установил на о. ⟨Эльбе⟩ [71*] версальский этикет, улучшил садоводство и земледелие, и армию, состоящую из трех десятков инвалидов, на свой счет одел в мундиры гвардии, с медвежьей шапкой, белыми рейтузами и такими же гамашами на пуговках,— время мемуаров, споров с самим собой из-за 93 года и рыбачьих лодок, привозивших с континента жгучие письма женщин, подготовлявших переворот, соблазны верности и надежды, божественное искушение «Ста дней».

На все это не смотрел самый большой ⟨и⟩ настоящий из всех Наполеонов [72*]. Висел он в углу, в темной раме, не имея ничего общего с толпой своих молодых и старых, веселых и скучающих двойников, и на залу Владимира Владимировича, и на карикатуры 12-го года, где брань, обведенная чертой, приставлялась ко рту тонких казаков на тонких и тоже хищных лошадях [60], и на глупое лицо жены он не взглянул ни разу из-за волос, беспорядочно упавших на глаза, из-за воротника теплой одежды. И только Петербургу, равному в вечности, и дворцу из темно-красного гранита, где когда-то жил и плакал от смятения [73*] его случайный сентиментальный победитель, подарил он несколько взоров — рассеянных, с трудом вспоминающих прошлое.

Владимир Владимирович любил свою залу за ложь и правду, которая заключалась в бесчисленных Наполеонах, составлявших все-таки одного только великого человека. Его радовала терпимость, с которой они разделяли бессмертие, бесспорность каждой маски, которая была ничто без других и так полна собой, так самодовлеюща в кусочке истории, которым она жила и который олицетворяла.

Иногда ⟨Веселовскому⟩ казалось: статуи, гравюры, силуэты, набросанные при свече на полях походного дневника, могут на время ожить и, беседуя, придут и сядут в эти мягкие, зеленые кресла, вывезенные из Франции, принадлежавшие когда-то Полине Богарне [61]. Как встретился бы республиканский Бонапарт с супругом Луизы Австрийской, как бы пожал руку каторжника с Эльбы победитель 3-го и 5-го года?

Владимир Владимирович видел их перед собой, ненавидящих, непохожих друг на друга, но с одной и той же веной на надутом лбу, с той же рукой, белой и короткой, украшенной якобинским мечом или перстнем, благословенным в Ватикане, с тем же брюшком, спрятанным в горностай или затянутым в спартанский трехцветный шарф Республики.

71* *В черновом автографе описка, повторенная в машинописи*: Мальте

72* *В черновом автографе далее зачеркнуто*: отстрадавший заживо свою историю, захлебнувшийся в горькой пене Северного моря, в праздности

73* *Далее зачеркнуто*: и бессильной злобы



М. А. РЕЙСНЕРЪ. *Купріяновъ.*

Либкнехты.

Цѣлая династія Либкнехтовъ, идеалистовъ, безстрашныхъ борцовъ за гуманность и свободу.

Отецъ и сынъ. Первый—строгій, сухощавый, похожій на пастора или профессора—это Вильгельмъ; его преемникъ — одинъ изъ многочисленныхъ сыновей — Карлъ, кудрявый, немного курносый; брызжущій энергіей, весельемъ, здоровьемъ.

Карлъ похожъ на свою милую мать, вѣрную сподвижницу отца, вошедшую въ среду рабочихъ изъ семьи бывшаго вице-президента Рейхстага.

Когда началась война, и большинство нѣмецкаго пролетаріата было вовлечено безъ малѣйшаго сопротивленія въ безумное предпріятіе германскаго юнкерства и капиталистовъ, авторъ этихъ строкъ съ тревогою слѣдитъ за судьбою Карла Либкнехта.

Измѣнитъ, или нѣтъ? Неужели и онъ, человѣкъ великой вѣры и рѣдкій другъ Россіи, который на знаменитомъ кенигсбергскомъ процессѣ такъ великолѣпно защищалъ русское освобожденіе отъ

Это было въ 1870 году, во время пресловутой франко-прусской „объединительной" войны, когда дружными усиліями третьяго Наполеона и Бисмарка былъ вскрытъ нарывъ давно назрѣвавшей борьбы двухъ реакціонныхъ правительствъ и капиталистическихъ странъ.

Съ нѣмецкой стороны было превозглашено, что война ведется „не противъ французскаго народа", а только „противъ Бонапарта", что „война не преслѣдуетъ никакихъ завоевательныхъ цѣлей", что „если бы мы были французами, то мы скоро сами покончили бы съ Людовикомъ-Наполеономъ" и т. д.

И значительная часть нѣмецкаго пролетаріата, обединенная въ соціалистическую партію такъ называемыхъ лассалеанцевъ, во главѣ со Швейцеромъ, была увлечена этими фальшивыми и лицемѣрными заявленіями.

А между тѣмъ уже 12 іюля въ Ревелѣ было выпущено воззваніе къ рабочимъ всѣхъ странъ

«ЛИБКНЕХТЫ»

Статья М. А. Рейснера и заставка Н. Н. Купреянова

«Рудин», 1916, № 7

Враги и антиподы, слитые в одном лице, разделенные последовательным временем, сменяющие друг друга, как актер, как плохой актер, вечно тот же в различных ролях.

Владимиру Владимировичу легче становилось дышать среди несовместимых образов, распространявших в этой невской гостиной дух великолепного компромисса, утонченного кровосмешения идей, мощь лжи, верящей в себя, как в бога.

Но если бы одна из теней, наскучив зеленой залой ампир, открыла дверь, ведущую налево, вся ее историческая двойственность потерялась бы в том обширном и продуманном противоречии, которым украшались полки несчетных книжных шкафов. Эта библиотека собиралась годами и состояла из сочинений политических и экономических [62]. В первом ряду ценного книгохранилища блистал ряд томов, изданных на веленевой бумаге, с за-

пахом свежей краски и ванили под гравированным переплетом; в них скопилось золото всего мира: юное золото Америки, окровавленное золото Перу, золото, распаленное африканским солнцем, золото, добытое из-под вечной снежной коры. Эти книги — оргия драгоценных металлов, восторженный крик открывателей, апофеоз безумных путешествий. Это лазурное море богатства, по которому на тяжелых парусных кораблях стремятся искатели приключений, убийцы, короли — все, для кого светило солнце счастья, кому из безбрежных далей кивали пальмовые вершины Океании, кого провожали по волнам резвые наяды, предсказания мудрых гороскопов и веские молитвы иезуитских настоятелей.

Рядом с этими книгами, где кровь и золото фонтанами брызжут на белых страницах истории,— старые английские законы о фальшивомонетчиках и алхимиках, статьи против магов, ученых и мошенников, против котлов с таинственными снадобьями, против зелий, скрывающих философский камень, против бражников, бросающих на стол, залитый добрым старым вином, и меченые карты и слишком легкие фунты.

Дальше в этой симфонии золота можно было прочесть сказания о нечестных и скупых королях Франции, с замечательными иллюстрациями: вот портрет бережливого Людовика, с ножницами и лупой в руках, поверяющего вес золотых, у которых давно обрезан ободок — признак счастливого излишества.

Первые социалисты, мечтатели и разрушители, стояли в мундирах красного тисненого сафьяна. Поборники свободной торговли с великим Рикардо [63] образовали черную горсть в их стройной семье, насчитывая несколько ученых союзников на нижней полке, где XIX век был представлен цифрами, статистическими кривыми из уголовных преступников и незаконнорожденных детей, спиралями самоубийц, отчетами трестов и акционерных обществ, ученостью, блестящей юриспруденцией и историей кровавых забастовок, втиснутых в легковесные и пестрые гробики подпольной литературы.

Словом, все, что служило к изучению социальных отношений, все — от средневековой книжечки, излагавшей злые и похотливые свойства денег, эти брачные ночи червонцев, дающих нечестный приплод в подвале ростовщика, и до международных законов, отнимающих у Великого спекулянта кусочек его наживы в пользу государства и общества,— было тщательно собрано, занесено на крепкие картонные карточки, перенумеровано тройным ключем библиофила.

Где бы и в какую эпоху ни вспыхивало восстание и кем бы ни подавлялось, оно доставляло в теплый, удобный кабинет Владимира Владимировича список своих жертв, имена детей, истребленных голодом, и портреты победителей.

Периоды спокойного накопления, честно растущей наживы и десятилетия бурных кризисов, войн и революций Веселовский подобрал с особенной любовью. Рядом с заревами 93-го, 48-го и 5-го года установил тучные, однообразные скопища торговых отчетов, биржевых сделок и судоходных дневников; рядом с баррикадами навалил горы зерна и убоины, пирамиды хлопка и риса, которые где-то, на другом конце мира, подымались и падали в цене, исчезали с рынка или топили его неслыханным урожаем в то время, как Прудон грыз кончик своего пера или старинная колымага везла старосветского помещика к предводителю дворян, где после бала объявлялась монаршая воля о крепостных рабах.

А в особом шкафу, где на ореховой полке, как на паркете гостиной, энциклопедисты встречались с бунтарями нового времени, где Руссо ревновал славу Бакунина и Вольтер нашептывал Лассалю безбожные анекдоты, и молодые люди из Вены, очень живописные в своих полосатых пледах через плечо и очень жестоко расстрелянные, объясняли Гейне его романтические ошибки, среди брошюр и книг самых горючих, самых опасных и запрещенных занимала почетное место книга В. В. Веселовского, написанная в дни его революционного бонапартизма — «О праве стачек» [64].

В окно библиотеки, выходившее на набережную как раз против этого шкафа, виден был городовой, который прохаживался на морозе, оправляя башлык, ударяя рукой об руку и оглядываясь во все стороны, чтобы оберечь имущество, спокойствие и вдохновение банкира Веселовского.

В кабинете Владимира Владимировича стопы зажигательных прокламаций, служивших материалом для блестящих, обдуманных и резких лекций, придавлены были к месту кучей векселей, и на толстого Маркса, читанного много раз, открывавшегося при первом прикосновении на своих лучших местах, как Библия в часы раскаяния и грешного похмелья, не раз ставили свои легкие и оцененные ножки те женщины, которые в этот ученый кабинет приносили запах министерских сигар, политические сплетни и неоплаченные счета. Их привлекал [74*] банкир-социалист, один из лучших собеседников Петербурга, урод, который с дамами этого рода обращался с великолепным цинизмом, который они благодарно помнили по первым годам любви, по рублям, засунутым за дешевый чулок, перевязанный тесемкой ниже колена, по страстным побоям милого друга и его небрежной грации.

На утро смешанный запах оргии впитывался революционными томами, оседал на пьедесталах и рамах Наполеонов, Сен-Симона и Кабе. Подперев толстую голову, покрытую шапкой необычайно мягких пепельных волос, двумя сильными и короткими руками, Владимир Владимирович изучал подписи своих бесчисленных должников, писал стихи, выбирал из сухих экономических трактатов капельки горького знания. Или дверь с черного хода открывалась ежеминутно, и, стараясь не видеть горничной в белом хохолке, никелевого котла-жертвенника эпикурейской кухни и разложенных на доске голубей, завязанных крест накрест поверх белого, выпотрошенного, набитого яблоками брюшка, приходили студенты, заиндевелые, с портфелями под мышкой.

Владимир Владимирович угощал их остатками давишнего ужина, ловил в воздухе рассеянные струйки памятных ароматов и учил своих учеников разрушению и справедливости так, что они его уроки помнили и в Сибири.

Последователей у него не было — все, принявшие из его неверных, неубежденных рук святые дары политической веры, уходили от него удовлетворенными, более опытными, но с неблагодарным и презрительным оттенком — как от проститутки. Веселовский мог дать очень много: неподкупный анализ, и огромную эрудицию, и подлинники с автографами величайших социалистов — все, кроме морального костяка, единства и веры.

Санкюлоты ходили, слушали и записывали, а придя домой, со сладострастием мечтали о том, как в первый день революции с четырех концов запалят нарядную пещеру мудреца.

Так он и жил — один.

Несмотря на брезгливое внимание аудиторий и ненависть коллег, большие деньги и большой талант, Веселовский не был счастлив. Он мог удержать в своих беспощадных кассах векселя мужей, жены которых так любили его вино и беседу. Он мог — и обобрал до нитки либерального князя, поместившего крупное наследство в банк профессора-социалиста; в дни беспорядков сказал громовую речь с дворцового балкона и немного спустя украсил камергерским ключом свой полный, безобразный, но высокорожденный зад. Словом, Владимир Владимирович мог многое, но не избежал разочарований при всем своем безверии, и любви не избежал, несмотря на душевную сытость и изощренность. Припадки отчаяния наступали неожиданно, с неудержимой силой. Все боги, которым он воздавал поровну с языческой терпимостью, вступали в спор, требуя своего, каждый становился единственным, владел всей истиной, и за спиной Абсолюта Веселовскому открывалась, точно

[74*] *В черновом автографе далее*: ученый и банкир, будущий министр просвещения

в зеркалах, бесконечная перспектива тождеств, силлогизмов и отражений, сливающих друг в друге радужные края.

И что еще хуже, в теориях Владимира Владимировича оказалась пробита брешь, с каждым днем выраставшая: он не мог купить Елисавету Алексеевну. К своему величайшему удивлению, и даже страху, он действительно не мог этого сделать.

Нынче утром он ей позвонил по телефону, как всегда в свои критические, самоубийственные дни.

— Лиза, вы дома?

Она стояла с озабоченным лицом и сердито ему отвечала:

— Ну да, это я.

— Елисавета Алексеевна, голубушка, сегодня за моей душой придет черт с портфелем. Что ему ответить?

— Что он умница, но все-таки опоздал: надо было это сделать лет десять тому назад, пока вы не совсем оподлели. А что? Опять каетесь, Володя? Ох, не люблю оттепели у грешников.

— Приезжайте ко мне, я такой бедный сегодня — очень хочу вас повидать.

— Не поеду.

— Ну тогда я сейчас повешусь на парадной люстре.

— Вешайтесь.

— А гусь с яблоками, для вас зажаренный?

— Пошлите его вашему князю, пусть видит, какой вы благородный. Забрали у него миллион, а гуся возвратили.

— Так в три часа?

— Ну, хорошо. Но смотрите, я ругаться буду.

Владимир Владимирович еще послушал тягучий далекий шум и решил, что нет чуда больше милого голоса, вызванного из пустоты, дошедшего к нему по холодным, гудящим над Невой проволокам. Потом не велел никого пускать, открыл все форточки, чтобы ни один коварный атом не дошел до нее, сам лег на диван, послал за цветами, опять лег и, наконец, ощутил сердцебиение.

Но так как у Натальи Павловны Ковалевской был свой ключ от входной двери, которым она пользовалась чаще всего по четвергам, то она и открыла двери столовой своей благородно искривленной, цепкой ручкой в то время, когда Владимир Владимирович переставлял бутылку кьянти, насвистывая при этом уличную песенку, ею нелюбимую. Стол был приготовлен не для нее, это Наталья Павловна поняла сразу, и еще хуже, Владимир Владимирович ее не узнал. Он долго смотрел на выпуклые, светлые глаза, на капли бриллиантов в ушах, им же подаренные, и не улыбался.

— Я вам помешала?

— Нет.

— Вы кого-нибудь ждете?

— Жду даму, которая не из министерских, не из чиновных, не из красивых и даже не из молодых.

— Мне можно остаться?

— Как хотите.

Наталья Павловна села на диванчик и приняла вид того великого безразличия, которое действительно питала к людям.

Владимир Владимирович смотрел в окно на трамваи. Они бежали издалека, очень быстро по Первой линии, мелькая живым, красным цветом по фасаду корпуса, выцветшего, как старинный мундир, покрытого инеем, как пудрой. На повороте, блеснув цветными глазами, становясь громче и шурша вдоль Академии, они подбегали к окну — № 3 и 1, и 2, и 14 из Галерной гавани, постылые, ненужные числа, целый фараон, целая колода битых карт. Наконец, особенно долго прячась за деревьями, не различимый из-за судорожной дрожи ресниц, назвал себя 12 №, приблизился, осторожно подождал, пока не спрыгнула на мерзлые камни Елисавета Алексеевна. Веселовский повернулся к двери.

— Изголодавшаяся нимфа. Да, конечно, нимфа, состарившаяся в нищете. Интересно, сколько ей лет?— Это подумала Ковалевская и стала внимательна, выпрямила сухие плечи. Так смотрит хорошая и нервная скаковая лошадка на единокровку, впряженную в извозчичьи дрожки и сохранившую под нелепым кнутом черты прирожденного благородства.

— Володя,— Елисавета Алексеевна поцеловала его в голову.— Поздравляю. Старый мошенник издох.

— Кто?

— Господи, кто? Таубе, барон [65].

Все сели.

— Но как красиво он умер — великолепно! Учитесь, как с достоинством можно за собой захлопнуть крышку гроба.

Ковалевская подняла злые брови.

— И это после ссылки всех либеральных профессоров, после истории с забастовкой?

— После всего. Сперва он поил на свой счет весь университет, выписывал картинки из Парижа — вообще веселился. Вольно же было возлагать надежды на этакого шалуна. Он им показывал язык, дебоширил, на все разговоры, кроме неприличных, отмалчивался. Тем не менее академические дамы льнули, сделали ему реноме непонятой натуры, вся оппозиция ждала каких-то свершений от ученого богемьена.

— Я сам с ним выпил не одну бутылку.

— Вот, а попавши в министры, не только ничего не преобразил, но всех своих доброжелателей разогнал и по голове постукал палкой.

— Черносотенец, с достоевщиной.

— Ну да, но слушайте дальше. Он был завсегдатай веселых домов, и не было человека добрее в отношении проституток. Они его обожали. Говорят, гуляя вечером по Невскому с поднятым воротником, он совал золотые всем встречным девчонкам. Бескорыстно, слышите, Володя, даром давал — не то, что вы.

У Натальи Павловны защекотало в ушах от пары прелестных бриллиантов.

— За его гробом их шло несколько сот. Полиция ничего не могла сделать; прямо за придворными каретами двинулась целая армия камелий — со слезами, с настоящим горем,— многие были ему обязаны. А в больнице, где он умирал — распухший, вонючий, страшный!— за ним ходила сиделка, очень хорошая, резкая на язык баба. Так она не пустила к больному шефа жандармов и еще кого-то из великих.—«Коленька,— говорит, — там к тебе двое просятся. Пускать или нет?» — «А кто такие?»—«Не знаю, морды у них похабные, настоящие... (и дальше непечатно)».— «А ты как советуешь, принять или нет?» — «А на что они тебе, такие? Помрешь и без них — гони в шею, бога порадуй».— Таубе от смеха и боли едва не отправился на тот свет, и оба высокие гостя спустились с лестницы ни с чем. Разве плохо?»

— А интересно, какого мерзавца на его место назначат?

Веселовский надеялся, что при помощи Натальи Павловны этим мерзавцем будет именно он — дело было совсем налажено, ожидалось приглашение во дворец. ⟨Веселовскому⟩ надо было только еще немного больше нагнуть в грязь голову — Наталье Павловне покрепче поставить на нее свою злую легкую ножку, мужу ее получить некоторые гарантии.

— А уж не вы ли унаследуете портфель Таубе? У вас что-то глаза стали неопределенными.

— Почему бы и нет?

Наталье Павловне легче стало дышать.

— За последние годы вы стали такой нравственной вонючкой, что, пожалуй, и возможно. Но эстетика, Володя, Наполеоны, поза... Как быть с этим?

— Это вы, женщина — уголовное право, вы — золотая булла нравственности, хотите меня судить с художественной точки зрения?

— Моя черная лестница с кошачьим запахом еще ничего не доказывает. Возносясь духом над ее торжествующими зловониями, я очень хорошо вижу моего друга Веселовского, лезущего на четвереньках по стеклянной горе, и вижу, как это смешно.

— Смешны только неудачи и неудачники.

— Нет, неправда, страшно смешно все запоздалое. Если бы я, старая дура, вдруг помолодела не вовремя или поверила, что до меня вы, мой друг, никого по-настоящему не любили и можете воспрянуть для добра и красоты на моих бедных костях,— это было бы смешно. Но быть министром, да еще просвещения, да еще в пятнадцатом году!— как у Золя, помните? Герой, побывавший премьером, как бы лишается гражданской невинности: первая любовь, обесчещение и позднее разочарование во зле [66]. Это в ваши-то бальзаковские годы! Смеяться будут.

— И напрасно. Никогда прежде я не был так пуст, гол и умен, как сейчас. Марксизм знаю лучше марксистов и абсолютно предан ему в теории. Это одна из немногих великих систем, доведенных до логического конца и доказанных, как господь бог у Декарта. Ни одного доказательства опрокинуть не могу, а в бога все-таки не верю. Держу банк, имею ключ и хочу быть еще великолепнее.

— Какое же тут великолепие? Просидите месяца два на ватном кресле (ваши собственные гораздо удобнее). А затем вас вместе со стулом выкинет из окна какой-нибудь дурак или умник и подлее, и еще голее вас. Без теоретического марксизма, но зато с дубовыми скулами. И ушибетесь, и штанишки замараете.

— Идемте в столовую, Елисавета Алексеевна, там вы меня и добьете.

За завтраком Наталья Павловна сразу принялась за холодного цыпленка и слушала молча. Щечки ее покраснели, узкие губы разгорячились, и все, что сводилось за этим столом к нарушению ее воли и самого смысла ее существования, она как бы разделывала, как бы уничтожала вилкой и ножом, которыми владела в совершенстве. Цыпленок был ею распластан на фарфоровой тарелке, мясо отходило от костей, крылышки от прожаренного остова, жилы от лапок — так послушно, последовательно и изящно, точно для этого они только и существовали. Небольшое сердце коричневого цвета, как ненужное и немного неприличное, отодвинулось в сторону, к вензелю Бонапарта, таким же незаметным, в высшей степени твердым движением, каким Ковалевская устранила из своих отношений ненужные слова и ненужные чувства.

Как ни остра была голодная нимфа, а перед ее визави уже лежал остов совершенно цельный, голенький, очищенный до последней косточки, и внимательные глаза, переходя с него на Владимира Владимировича, молча обещали и его скушать бесшумно и грациозно.

Люди бедные в гостях не могут ничего есть из страха показаться некормленными. Но роскошь, которой они стараются не заметить, подымается к мозгу легким опьяняющим облачком. Все ощущения заострены, дух торжествует над жиром и тяжестью — это условная игра в праздник, бескорыстный обряд, ничем не связанный с четырьмя дубовыми лапами обеденного стола.

Веселовскому было хорошо. Его радовала Ковалевская, у которой внутренний огонь, заваленный кучей грязных и неверных расчетов, исподтишка показывал жгучий язычок, опаливая им то кончик вексельного бланка, то длинный, лживый счет, делая прозрачно-красными палимые изнутри, обдуманные письма, превращая в пыльную горсть обещания, добытые упорством и страстными ухищрениями. И сейчас дьявол веселился в складках ее тихого, темного платья, прикрывая мохнатой лапкой лживые и трезвые глаза ее рассудка.

Елисавета Алексеевна ему доставляла удовольствие еще более сложное, интенсивное и изысканное. Он как бы стоял перед ней на коленях в самой утомительной, покаянной позе, как грешница перед строгим, перед неумо-

лимым, но тем более желанным, тем более соблазнительным исповедником. Бичевание ее чистым умом было ему совершенно необходимо. Весь его организм жаждал этих карательных бесед, как веника в душевной бане, после которой открывалась свежая страница, на которой он мог снова, со всем трепетом первого грехопадения, заносить колебания от черта к богу и обратно.

Наталия Павловна взяла тонкий стаканчик.

— За власть.

— Идет. Я часто о ней думаю, как древние о золотом дожде, о потоке жестокой радости, падающей на землю. Все знают ее физические свойства. Сколько я прочел и сам написал о насилии — знаю всю ее грязную генеалогию и еще более грязную историю. И все-таки без ослиной шкуры, без нашей любимой экономической подкладки,— она прекрасна. Да святится имя ее!— Они чокнулись, как влюбленные сообщники.— И пронизывающее это чувство господства! Как будто солнце нечаянно осветит угол хорошей картины или просто стекло, тонкую молочную корку фарфора — и так блеснет, так спокойно и радостно засветится,— жизнь милее во сто раз в такие минуты.

Он встал.

— Власть прекрасна, взволнованна, сильна. Хочу ее, Елисавета Алексеевна, ничего не поделать.

— Словом, затасканный портфель несется по воздуху и, как лирический голубь, садится на ваш письменный стол.

Наталья Павловна рассердилась.

— У каждой жизни свой стиль, как запах у писем; одни пахнут временем, другие нищетой, третьи любовью. Вы бедны, правда? и честолюбие не ваш аромат. Вот и все.

— Бедность мечтательна. Будь наш Владимир Владимирович Сперанским, Аракчеевым или просто фаворитом, я бы не спорила. Подумайте, любить Екатерину, получить вотчину за остроумие и за стоны любовницы, которые слышит весь лагерь через тонкие стены шатра, несмотря на барабанную дробь и шум ночных передвижений,— это стиль, от которого и сейчас то стыдно, то хорошо,— страницы мемуаров бывают очень жгучи. Но, боже мой, какой же запах у власти, на которой сидел бедняжка Таубе со своей дурной болезнью?

Тотчас после завтрака Наталья Павловна простилась, и Веселовский продолжал более непринужденно:

— Поговорим о делах. Правда ли, что вы собираетесь издавать журнал, не то «Марат», не то «Робеспьер»,— нечто вызывающее?

— Ну?

— Не надо. Во-первых, вас надуют и вы прогорите на втором номере, во-вторых, укусите всех, кого можно, и наживете новых врагов. В-третьих,— не время [67].

— Вот в чем вы очень ошибаетесь.

— Лиза, я все поставил на noir [68]. Все до копейки, до последнего волоска. Если я ошибусь, если покойник не совершенно мертв, если его не едят черви со всех сторон, тогда я пропащий человек. Мой банк лопнет, как мыльный пузырь, и Наполеонов пустят с молотка. Такие вещи не делаются без совершенного убеждения.

— О, вы во что-то стали верить?

— Верю, что мерзавцы слева еще хуже мерзавцев справа. При одних я богат и дышу, при санкюлотах буду повешен за то, что все знал и ничего не делал. Наша жизнь кончится посреди светлой полярной ночи, неопределенной, переменчивой, освещенной только северным сиянием искусства.

Вдруг у Веселовского налились виски, голос охрип и визгнул.

— И революции не будет!

— Дурак.

— Вы думаете?

— Не думаю, а чувствую, знаю. Невозможно нарывать без конца.

— Вы субъективны. Ужасную жизнь, которую вы ведете по собственной глупости, нельзя принимать за что-то общее.

Она встала, и в сумерках Владимир Владимирович едва разглядел улыбку, но какую улыбку! На тонких губах появилась дрожь, покрытая легкой пеной. Белки широко открыты, и на их влажной эмали холодеет последний свет, как в окнах тех сумрачных и прекрасных дворцов, которые смотрят на Неву с невыразимым предчувствием горя. Лоб — в тысяче складок, желтый и сухой, в морщинах, вырытых мыслью, которая так много лет блуждала в глубоких шахтах со своим скрытым фонарем, со своим упрямым молоточком, и подземную добычу костлявой рукой отмечала на этом твердом, верно сохраняющем челе. Не стереть этих записей, не изгладить. Над жестокой плитой лба — две плавных дуги, две надежды, два крыла для мечты. Они созданы, чтобы осенять взгляд в бесконечность, в будущее, в невозможное: две круглых брови над глазами, впалыми, длинными, асимметричными.

Веселовский испугался: перед ним стояла Ника, богиня победы, крылатая. Ее лицо должно быть обезображено, рука отломана, крылья тяжелыми от долголетней могилы, и все-таки она летит, напряженная, как тетива, она в чистом небе, озаренная золотым солнцем, обещает победу одним, другим — гибель и роковое унижение.

Владимир Владимирович почувствовал холод и свою любовь, которая шевельнулась, как ребенок, озябший во сне.

Собеседники сидели в сумерках, едва различая друг друга; становилось все темнее, и вечер был похож на все вечера. Так же резко пробегал трамвай, так же снег и небо бросали на пол свои отблески, таинственно и стройно.

— Я вас любил всегда, люблю и теперь, когда наша старая дружба должна расколоться.

И, помолчав:

— Когда человек собирается на такие подвиги, как я, ему не следует оглядываться назад. Поэтому если еще раз мне так захочется вас видеть, как сегодня, если я подумаю, что всей навозной кучи, взятой на плечи, могло бы не быть,— я, вероятно, погибну. Надеюсь, что этого не случится.

— Милый Володя, будем откровенны. Для того, чтобы вы спокойно могли жить, Большой Зелениной и нашему пятому этажу надо бы провалиться куда-нибудь. Ну, и я хорошо знаю, что если мы сами как-нибудь не пойдем ко дну, вы, дорогой друг, нам поможете. Наши боги не могут ⟨не⟩ разделиться — или ваш или наш. Станете министром, мы будем о вас писать в нашем сумасшедшем журнале, мы вас отхлещем насмерть.

Они стояли друг перед другом, как люди, готовые стать врагами. Она — тонкая и черная, он — приземистый, с короткой шеей, полной сил, с волосами, приподнятыми волнением, как у хищников.

— Вы правы, но все-таки я вас очень люблю.

— И я вас тоже.

Они обняли друг друга. Наполеоны бесстрастно смотрели в темноту мимо двух теней, так крепко, так горестно друг друга державших.

Это продолжалось столько времени, сколько нужно огню, чтобы упасть на вытянутую, обнаженную, вечно молодую вершину; и ветвям, листьям, всем волокнам, чтобы ощутить этот огонь, текущий мучительной струей сверху вниз, вдоль могучего ствола, и, наконец, в земле, глубоко под дрожащими корнями.

— Прощай!

⟨6⟩

Рудин ожил.

Топиков нарисовал его профиль на листе толстой матовой бумаги: с завитками слабых, длинных волос, с выпуклыми губами оратора, с острыми стоячими воротничками, края которых то и дело отодвигались торопливой узкой рукой во время пламенных речей и нерешительных признаний. Каждый из друзей и сотрудников вложил часть самого себя в этот забытый и зна-

комый, точно после долгой разлуки узнанный силуэт. И воля людей, собранная вместе, наградила вечного странника свойствами, которыми он никогда не обладал — действием и силой.

Внутри Гостиного двора есть особенные склады самых старых и уважаемых торговцев. Богатства, сложенные здесь, в тени и сырости, огромны и лишены всякого кокетства. Они не заигрывают с улицей, не обольщают ее искусным блеском. Никакая мишура не совместима с грудами кож, пахнущих еще потом и кровью, отверделых, накрытых вместо жира слоем плотного, уснувшего снега.

И выше всех громад лежат пласты бумаги, сложенные стопами в белые, как мрамор, утесы. К ним подходят покупатели, выдергивая чистый, ровный, пахнущий книгами лист, ею грузят ломовые подводы и грузовики, а бумага все так же неизмеримо велика и могуча. И как девственны, свежи белые русла, белые ручьи и потоки нетронутых, неразвернутых листов. На одни выльется грязная печать газет или пыльные мелкие строки ученых трудов, сто лет осужденных лежать в хранилищах Академии. Будут книги, которые переживут Гостиный двор и круглые часы на Думе, и такие, которые родятся с мертвыми глазами и никогда их не откроют.

И, стоя между издателями и газетчиками, из которых одни, сняв перчатку, тут же, на дворе, остывшими толстыми пальцами подписывали чек, и другими, платившими временем, ловкостью и именем за страницы, на которых могла бы родиться слава,— тень «Рудина», бескорыстная тень, с руками, засунутыми в тощие карманы, купила для себя четырнадцать белых стоп за сто тридцать девять рублей сорок копеек.

—«Рудин», «Рудин»,— говорили наборщики, нагибая к кассам нездоровые лица. Над их головами желтели керосиновые лампочки, и мастер, прохаживаясь в тесном помещении, ревниво наблюдал быстроту этих рук, усталых и привычных. Рядом жужжал огромный овод, машина складывала и выбрасывала вперед сильные маслянистые локти. И всякий раз, как свежий лист, оторвавшись вдруг от темных сочных строчек печати, на двух перекладинах подымался наверх, чтобы со вздохом рождения и жизни, лечь рядом с другими, влажный вал отодвигался — и Рудин видел свое имя и лицо.

«Рудин», «Рудин»— какой это будет журнал? Станут ли его требовать все, не беря сдачи, развертывая у первого фонаря, или немногие чудаки без перчаток, согревающие последний серебряный голой холодной ладонью?

И газетчики встряхивали сумку с пестрым веером обложек, переступали валенками, вытирали нос под заиндевелым башлыком рукой в шерстяной митенке, с потрескавшимися на морозе пальцами.

— «Рудин»,— повторили объявления на последних страницах газет. И на минуту патентованные средства, папиросы, бонны, репетиторы и галоши «Треугольник» приостановили свою междуусобную борьбу, чтобы взглянуть на странную голову в длинных старомодных волосах, бесшумно занявшую свое место среди них.

—«Рудин»?— они пожимали плечами и снова бросались друг на друга.

—«Рудин»?— цензор открыл свежую страницу и записал это непонятное имя. Затем служитель отнес ее в темный шкаф и запер, точно нового пленника проводил в его камеру: тут ему и жить, и умереть.

«Рудин»— это не наш,— решил редактор либеральной газеты.

— И не наш, нет, не наш!— говорили в кожаном, дубовом, темном, пахнущем хорошими сигарами кабинете «Нового времени».

И в то время, как «Рудин» родился и тысячи людей повторяли его имя, гений с лукавым лицом бросил для него свои кости, сосчитал маленькие очки, к которым нельзя ни одного прибавить ни слезами, ни просьбами, и, улыбаясь, закрыл от чужих глаз своей божественной рукой их произвольный, непоправимо-счастливый или несчастный приговор.

Кабул, 5-го января 1922 г.



СЕДЬМОЙ НОМЕР ЖУРНАЛА «РУДИН»
Февраль 1916 г.
Обложка по рисунку Е. И. Правединкова
С этого номера условное изображение Рудина на обложке приобрело сходство с портретом Камилла Демулена (здесь же напечатано стихотворение Л. Рейснер «Камиллу Демулену»)

⟨ФРАГМЕНТ III⟩

На прием слишком рано. Как использовать этот час? Ариадна вспомнила полные губы демагога на своих пальцах и подумала о маникюрше. Но за четкими ветвями сада, за решеткой, покрытой снегом, похожей, в пушке из инея, на молодые оленьи рога, ее позвало к себе большое и тихое здание из светлого камня, удивительное по своей простоте. Уже давно гордый и монументальный профиль колонн и карнизов привлекал ее внимание, и теперь, отряхивая в вестибюле мягкий снег с своего платья, Ариадна с радостью ощутила под ногами холодный мраморный пол музея [69]. Нетопленные залы пустынны. Кое-где перед тонкой и черной рукой мумии или ожерельями из эмали особенного, ликующе-голубого цвета, перед ассирийским львом, положившим в задумчивости голову на когтистые гранитные руки и вспоминающим потерянные тысячелетия, лениво стоит зритель-прохожий.

В покое, облицованном исполинскими рельефами фараонов, Ариадну остановила голова почти миниатюрной величины, литая из бронзы и давно отточенная рукой времени. Зеленая ржавчина на губах кажется скептической, складки на лбу полны воли, и необычайная жестокость в сильных скулах, нервной шее и маленьких хищных ушах. Что-то страшно современное и понятное было в этой голове. Какая-то самая низкая и простая струна [75*] жизни издала глухой, полу-звериный, воинственный и вместе с тем глубоко человечный звук в пустой, нетопленной зале. И уже пройдя три комнаты и вместе с ними несколько древних культур, Ариадна еще раз обернулась, вспоминая это хрипение рога, скрип тетивы и тупую тяжесть щита, соединенные в одном лице.

Греция, всегда и навеки любимая, на этот раз испугала Ариадну своим изяществом и холодной белизной. Только архаические боги, тонкие в поясе, широкие в плечах, с неподвижной улыбкой на ограниченно-прекрасных лицах, взволновали ее до глубины души. Аргонавты, воины, цари-мореплаватели, носившие в своих сильных жилах всю певучую кровь Эллады, прикрывшие тяжелыми щитами колыбель величайшей культуры, герои, рождавшие и богов, и поэтов на полях битв.

Какая-то девушка, с лицом, разбавленным снятым молоком, остановилась перед сторожем, исполненным недоверия и презрения к новым людям и новому времени:

— Где здесь Возрождение?

— Возрождение — дверь налево, потом еще раз налево.

Ариадна пошла за грязным платьем в бахроме и пачкой книг, прижатых к телу худым локтем, туда, где на двух конях, литых из чугуна, возвышались знаменитые статуи кондотьеров [70].

75* *Далее зачеркнуто*: борьба, звучащая во все века и всюду, где борются и побеждают, строят и защищают города и государства

И в то время, как несколько посетителей, проскользнув перед самыми копытами всадников, издали любовались их громадой,— Ариадна стояла и не могла удержать смеха. В черных латах, с ногами, вытянутыми вдоль железных ребер коней, с оружием в руке и с лицами, лишенными всего человеческого, с лицами, проламывающими века волей, силой,— они были так знакомы и понятны. Эти рыцарские доспехи, плотно облегающие грудь и бедра, эти широкие пояса на кольчатых рубашках и, наконец, головы, свободно выглядывающие из плотных воротников, казались кожаными — кожаными черными одеждами, которые так любит гражданская война и которые она украшает только красной звездой. Значит, они все те же и [76*] теперь, в этой небывалой борьбе за господство над новым миром, все еще живы и молоды древние орлиные были.

Из Египта, со стен, скованных неумолимой условностью, с фронтона Эгинского храма, с цоколей виллы Медичи — отовсюду протянуты руки сильных, руки тех, что были владыками мира, чьи грехи замаливали потом поколения святых, чьей мощью оплодотворено искусство многих веков. Этот, на коне, готовом сорваться с пьедестала, с копытом, бесстрашно занесенным в пустоте, этот, немолодой,— само мужество, пресыщенное почестями и добычей, сама верность, непреклонная, пока на нее опираются с полным доверием,— его нужно послать на Южный фронт [71], как он есть, и комиссаром к нему назначить осторожного, лукавого, с желтоватым цветом лица и рясой, застегнутой у подбородка, великолепного Маккиавелли.

Вот и другой, умерший рано и лежащий в саркофаге со сложенными руками, рядом с безгрешной супругой, у которой смерть не может отнять точеной шеи и лилейных рук. Он мог бы идти на Восток, и там, за Уралом, в степях, занесенных снегом, среди многонедельных вьюг, способных усыпить и обмануть даже сильный и изощренный разум, эта рыцарственная простота и преданность долгу спасли бы войско и победу. Вероятно, он проходил пустыни Святой земли, не заботясь о пище и воде, один, вечно бодрый среди слабых и изнемогающих. В снегах под Омском и при переправе через Тобол он бы не дрогнул [72].

О, совсем иначе ⟨выглядит⟩ кондотьер, идущий в бой без шлема, со свистом ветра в продолговатых, женственных ушах. Он так же на коне, как могучий [77*], и конь его даже опирается на чугунное ядро. Этот опасен. Ядро — круглое, живое, подвижное, каждое мгновение оно может бежать, и тогда конь и всадник, лишенные последнего устоя, наполнят все пространство вокруг себя разнузданной, играющей, страстной стихией. Откинутый лоб — это слабость и порок, сентиментальность и меланхолия, при железной челюсти и налитых губах,— партизан, без вчера и без завтра, на все способный и ничем не ограниченный. У нас он бы пошел на юг, глубоко в тыл Деникину [78*], на Кавказ, или в Туркестан [73], как прежде за Флоренцию против Пизы, за Ломбардию против Тосканы. И всюду за его дикой конницей, за краденными драгоценностями, прекрасными женщинами [79*]

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Протагор* (ок. 480—ок. 410 до н. э.) — древнегреческий философ-релятивист; основатель школы софистов, автор известного тезиса «человек есть мера всех вещей»; был обвинен в атеизме, а его трактат «О богах» подвергнут сожжению. *Горгий* (ок. 483—375 до н. э.) — древнегреческий софист; в трактате «О несуществующем или о природе» доказывал невозможность познания окружающего мира. *Платон* (427—347 до н. э.), утверждавший существование незыблемого мира вечных идей, бледной тенью которых является изменчивый лик природы, не принимал скептического мировоззрения софистов и так же, как его учитель Сократ, полемизировал с ними. Рейснер ошиблась: таким образом окончил свою жизнь не Платон, а Сократ. Приговоренный к смерти за «развращение» молодежи, заключавшееся в критике религиозных устоев афинского общества, Сократ созвал друзей и у них на глазах выпил кубок яда.

[76*] *Далее зачеркнуто*: в Революции

[77*] *Далее в автографе пропущено слово и для него оставлено место.*

[78*] *Далее зачеркнуто*: с конницей

[79*] *На этом текст обрывается.*

[2] Рисунки с таким именно сюжетом (а также с названными ниже) в «Рудине» не появлялись. Однако этому сюжету близок ряд рисунков С. Н. Грузенберга (см. о нем вступит. статью к наст. публикации и прим. 24 к ней), помещенных в декабрьском номере журнала за 1915 г. (№ 3, с. 2, 10, 13).

[3] По-видимому, здесь имеются в виду «Очерки по истории русской культуры» П. Н. Милюкова (ч. I—III. СПб., 1896—1903), весьма популярные в среде русской буржуазной интеллигенции и неоднократно переиздававшиеся. В них наиболее полно выразилась историческая концепция Милюкова: он приписывал государственной власти надклассовый характер и считал ее основным двигателем исторического развития России, отвергая роль классовой борьбы в этой стране.

[4] Рейснер приписывает Агасферу участие в событиях, которых нет в легендах о «Вечном жиде», наказанном бессмертием за то, что он не позволил отдохнуть идущему на казнь Христу. Ее Агасфер — мятежник, участник народных возмущений — открывает ряд аналогичных трансформаций, которым подвергались на страницах романа образы, созданные художниками прошлого.

[5] На Михайловской площади в Петербурге (ныне пл. Искусств), в подвале дома Дашкова (д. 5) в 1912—1915 гг. помещалось литературно-артистическое кабаре «Бродячая собака». Здесь собирались представители литературной, артистической и художественной среды, выступали с чтением своих произведений известные поэты, демонстрировали свое искусство выдающиеся артисты, устраивались художественные выставки и лекции. Это делало «Бродячую собаку» заметным явлением в культурной жизни Петербурга. Официальное название, под которым кабаре значилось в адресных книгах столицы,— «Художественное общество интимного театра». Главным организатором его был артист театра В. Ф. Комиссаржевской Борис Константинович *Пронин* (1875—1946). В числе завсегдатаев «Бродячей собаки» были представители «Цеха поэтов» (см. ниже, прим. 16) и художники группы «Мир искусства». Атмосфера, царившая там, описана в мемуарах современников: В. П. Веригина. Воспоминания. Л., «Искусство», 1974, с. 172—174; Т. П. Карсавина. Театральная улица. Л., «Искусство», 1971, с. 220—221; В. Пяст. Встречи. М., «Федерация», 1929, с. 249—275. После закрытия «Бродячей собаки» ее преемником стал «Привал комедиантов», находившийся на Марсовом поле (д. 7).

[6] По-видимому, Рейснер имеет в виду картину Э. Мане «Бал в Фоли-Бержер». Подобные сюжеты есть также у Э. Дега («Кафе дез амбассадер») и О. Ренуара («Мулен де ла Галетт»).

[7] Помещение «Бродячей собаки» состояло из двух комнат. В первой, где находились столики и буфет, была эстрада. Во второй — по стенам и в центре стояли диваны. Здесь висело панно Сапунова с изображением лани и женской фигуры в серо-голубых тонах. Стены главной комнаты расписывал Судейкин. Сказочные птицы сияли чудесными красками, огромные цветы, подобные цветам из «Смерти Тентажиля» ‹драма М. Метерлинка.— *Ред.*›, здесь носили название «Бодлеровских цветов зла» (В. П. Веригина. Воспоминания, с. 173). Николай Николаевич *Сапунов* (1880—1912) — художник из группы «Мир искусства»; после его смерти над оформлением кабаре продолжал работать Сергей Юрьевич *Судейкин* (1883—1946), принадлежавший к той же группе,— он расписывал его «все свои зимы» (В. Пяст. Встречи, с. 226).

[8] Гафиз — Н. С. Гумилев (см. вступит. статью к наст. публикации и прим. 34 к ней).

[9] «Пожилой лирик»— Федор *Сологуб* (1863—1927). Далее Рейснер по памяти цитирует его стихотворение «Целуйте руки...» (1902), напечатанное в его сборнике «Пламенный круг» (М., «Золотое руно», 1908), а затем в «Собрании сочинений» (т. 5. СПб., «Сирин», 1913). Неточности в цитате исправлены без оговорок.

[10] Жена Сологуба — Анастасия Николаевна *Чеботаревская* (1876—1921), писательница и переводчица, в соавторстве с мужем написала несколько пьес Рейснер неточно нарисовала ее облик: в действительности Чеботаревская преклонялась перед дарованием Сологуба и всячески его оберегала. Она занималась издательскими делами мужа, ей принадлежит ряд статей о творчестве Сологуба и ею же составлен сборник «О Федоре Сологубе. Критика. Статьи и заметки» (СПб., «Шиповник», 1911), в котором собраны только положительные отзывы о творчестве писателя. После смерти жены Сологуб посвятил ее памяти сборник стихов «Одна любовь» (Пг., 1921).

[11] Михаил Алексеевич *Кузмин* (1872—1936) — поэт, прозаик и драматург. В полемике с символизмом выдвинул близкий акмеистам лозунг «кларизма»—«прекрасной ясности» («Аполлон», 1910, № 4, январь). В своем отзыве о первом стихотворном сборнике Кузмина «Сети» (1907) В. Брюсов писал: «Все, даже трагическое, приобретает в его стихах поразительную легкость, и его поэзия похожа на блестящую бабочку, в солнечный день порхающую в пышном цветнике» (Валерий Брюсов. Далекие и близкие. М., «Скорпион», 1912, с. 171). Художественный уровень творчества Кузмина (особенно его прозы) был неровным. Порой он помещал свои произведения в «желтой», бульварной прессе (типа нововременского «Лукоморья»).

[12] «Фармацевтами» иронически называли в «Бродячей собаке» чуждую искусству буржуазную публику, которая охотно посещала это кабаре. По свидетельству В. А. Пяста, придумал это название художник Сапунов (В. Пяст. Встречи, с. 266—267).

[13] Переодетую в мужское платье Розалинду, героиню комедии Шекспира «Как вам это понравится», отец и возлюбленный узнают в последнем акте.

[14] Подразумевается Аким *Волынский* (наст. имя — Аким Львович Флексер; 1863—1926), литературный критик и искусствовед. В 1889—1898 гг. он был ведущим критиком журнала «Северный вестник», где выступал как сторонник идеалистической эстетики

и ярый противник революционно-демократической критики. Собрал свои статьи в книгах: «Русские критики». СПб., 1896; «Борьба за идеализм». СПб., 1900; «Книга великого гнева». СПб., 1904. В 1900-х годах обратился к изучению живописи и театра, преимущественно балета. После революции руководил хореографическим техникумом и выпустил работу об искусстве танца («Книга ликований», 1925). Л. В. Никулин вспоминает свои впечатления от встречи с Волынским в 1920 г.: «В сущности, он был памятником самому себе — уже давно не принимали всерьез его, автора трудов о Достоевском, оппонента Писарева. На склоне лет он стал восторженным почитателем балета» (Лев Никулин. Люди и странствия. Воспоминания и встречи. М., «Сов. писатель», 1962, с. 100).

[15] Такой поэмы в архиве Рейснер нет. Рассказ о содержании поэмы Ариадны автобиографичен лишь в той мере, в какой он характеризует бунтарский характер героини и ее предчувствие «близкого социального пожара». О «гиганте на бронзовом коне» Рейснер написала стихотворение «Медному всаднику» («Рудин», 1916, № 8) с эпиграфом из поэмы Пушкина, перекликающимся с пафосом поэмы Ариадны («Добро, строитель чудотворный!— Ужо тебе!»).

[16] «Цех поэтов»— литературная организация акмеистов во главе с Н. С. Гумилевым. Существовал в Петербурге в 1911—1914 гг. (возобновил свою деятельность в 1918—1923 гг.). По воспоминаниям В. Пяста (Встречи, с. 254), в числе завсегдатаев «Бродячей собаки» были не только ведущие члены «Цеха», но и младшие представители его (Г. Адамович, Г. Иванов и др.); они выведены в романе под именем «двадцатилетних эпикурейцев».

[17] Владимир (Вольдемар) Казимирович *Шилейко* (1891—1930) — поэт и переводчик, известный специалист по древнейшим культурам Передней Азии, научный сотрудник Эрмитажа (1913—1919) и Археологического института (1919—1922), профессор Петроградского университета (1922—1923), зав. отделом Древнего Востока в Музее изобразительных искусств (1923—1930). Как поэт был близок к акмеистам, печатался в журнале «Цеха поэтов» «Гиперборей» (1912—1913). Один из постоянных гостей «Бродячей собаки», он пользовался среди ее посетителей значительным авторитетом; суждения, высказанные им в происходивших там дискуссиях о современной поэзии, отличались непримиримостью по отношению к произведениям, в которых звучала злободневность (В. Пяст. Встречи, с. 277—278).

[18] Об М. А. Рейснере, отце писательницы, послужившем прототипом отца героини романа, см. во вступит. статье к наст. публикации.

[19] Гога — брат писательницы, Игорь Михайлович Рейснер (1898—1958),— в то время, когда происходит действие романа, был гимназистом; впоследствии — востоковед, профессор Московского университета (1934—1958). По-видимому, Гога читал сестре отрывок из поэмы Овидия «Метаморфозы» (кн. X), где говорится об Орфее, чарующее пение которого подчиняло природу и укрощало гнев богов.

[20] Под именем Ursin (Urs, Ursic) выведен Николай Максимович *Тоцкий*, студент Психоневрологического института, ученик М. А. Рейснера (см. ГБЛ, ф. 245, 11.48, л. 22). Так называли его в студенческом кругу и в семье Рейснеров (см. письмо Рейснер родителям от 10 апреля 1922 г.— ГБЛ. ф. 245, 5.14, л. 29). Это прозвище образовано от франц. слов: ursin — медвежий, ours — медведь. Возможно, что оно возникло по ассоциации с именем Урса — одного из героев романа В. Гюго «Человек, который смеется». См. также объяснение, которое далее дает этому прозвищу автор романа (см. фрагмент II, гл. 3).

[21] Лев Иосифович *Петражицкий* (1867—1931) — в 1898—1918 гг. приват-доцент, затем профессор Петербургского университета по кафедре энциклопедии и философии права; член партии кадетов; в 1906 г. депутат Первой Государственной думы; с 1918 г.— эмигрант. Его основной труд —«Теория права и государства в связи с теорией нравственности», т. I—II. СПб., 1907. В нем Петражицкий развивал положения так называемой психологической школы права, согласно которым причины, обусловливающие существование и действие права, коренятся не в социально-экономических и классово-политических условиях общества, а в психологии личности или социальной группы.

[22] Статья М. А. Рейснера о книге Петражицкого была напечатана значительно раньше («Русское богатство», 1908, № 1,2) и составила первую часть его труда «Теория Л. И. Петражицкого, марксизм и социальная идеология» (СПб., 1908). Рейснер сочувственно относился к идеям Петражицкого, разделял многие положения его теории, под влиянием которой развивал идею «пролетарского интуитивного права», подвергнутую критике в 1920-х годах.

[23] Павел Сильванский — персонаж вымышленный, так же как и дальнейший рассказ о провале его диссертации. Однако фамилия, которую дает ему автор, указывает на один из его прототипов. Это Николай Павлович *Павлов-Сильванский* (1869—1908), историк и правовед, профессор Высших женских курсов и ряда демократических учебных заведений Петербурга (Высшей вольной школы П. Ф. Лесгафта и др.). Он впервые доказал наличие феодального периода в истории русского общества и один из первых начал серьезное изучение русского революционного движения и русской общественной мысли. Ему принадлежат: биография А. Н. Радищева в первом легальном издании «Путешествия из Петербурга в Москву» (СПб., 1905), одним из инициаторов и редактором которого он был; исследование о крестьянских волнениях при Павле I; статья «Пестель перед Верховным уголовным судом» и др. работы в области истории освободительного движения России («Сочинения», т. I—III. СПб., 1909—1910). Исторические исследования и опыт первой русской революции привели его к выводу, высказанному им в 1906 г. во вступительной лекции к курсу русской истории: «...мы переживаем одну из величайших эпох нашей истории и, может быть, вступаем в преддверие одной из величайших эпох в истории все-

мирной» («Вопросы историографии и источниковедения истории СССР». М.— Л., Изд-во АН СССР, 1963, с. 620). Взгляды Павлова-Сильванского на процесс исторического развития России, в частности, на генезис государственной власти, находились в резком противоречии с официальной исторической наукой. В семье Рейснеров эти взгляды находили полное сочувствие — они во многом отвечали воззрениям М. А. Рейснера на русскую государственность и на перспективы русского освободительного движения (см. вступит. статью к настоящ. публикации). В речи, которую Л. Рейснер вкладывает далее в уста своего Сильванского, звучит отголосок этих воззрений ее отца. Поэтому М. А. Рейснера можно считать вторым прототипом этого персонажа.

[24] Вячеслав Михайлович *Грибовский* (1867—?) в 1909—1911 гг. профессор Новороссийского университета, автор ряда книг по истории и теории государственного права («Настоящее и будущее парламентаризма». СПб., 1906; «Государственное устройство и и управление Российской империи». Одесса, 1912 и др.). В 1911 г., в разгар репрессий, предпринятых министром народного просвещения Л. А. Кассо в отношении прогрессивной университетской профессуры, Грибовский занял, по личному назначению министра, кафедру истории русского права в Петербургском университете; это вызвало демонстрации протеста со стороны студенчества. После 1917 г. эмигрировал.

[25] Семен Осипович *Грузенберг* (1876—1938) — приват-доцент Психоневрологического института. Значительной популярностью пользовались его книги по философии: «Пессимизм как вера и миропонимание» (М., 1908), «Учение Шопенгауэра о праве и государстве» (М., 1910), «Очерки современной русской философии» (СПб., 1911) и др. В первой из них автор уделяет большое внимание рассмотрению «пессимизма» Толстого.

[26] Джакомо *Леопарди* (1798—1837) — знаменитый итальянский поэт и философ, порвавший с феодально-католическим мировоззрением.

[27] Крысолов (или «Флейтист из Гаммельна») — герой немецкой средневековой легенды. Обладал магической силой — его игра на флейте увлекала за ним всех, кого он хотел. Он вывел из Гаммельна крыс, наводнивших город, а затем, обиженный неблагодарностью жителей, увел за собой их детей.

[28] Господин Бержере — центральный персонаж тетралогии Анатоля Франса «Современная история». Его устами автор разоблачает оплот государственной власти Франции —«триумвират: священник, финансист, солдат». Аналогия между Сильванским и героем Франса подчеркивает политический смысл воззрений Сильванского, неприемлемый для представителей официальной науки.

[29] Во второй части трилогии Д. С. Мережковского «Христос и Антихрист» (в романе «Воскресшие боги») описывается летательный аппарат, изобретенный Леонардо да Винчи (Полн. собр. соч., т. III. СПб.— М., изд. М. О. Вольф, 1911, с. 11—12.)

[30] В типографии Ф. Н. Альтшулера (Петроград, Фонтанка, 96) печатался «Рудин».

[31] Рейснеры жили в Петрограде по адресу: Петроградская сторона, ул. Большая Зеленина, д. 26-б, кв. 42. Здесь же помещалась контора журнала «Рудин».

[32] А. Топиков — псевдоним Е. И. Праведникова; Хитрово — псевдоним Е. А. Рейснер (см. вступит. статью к настоящ. публикации и прим. 25 и 26 к ней).

[33] Александр Иванович *Ефремов* — руководитель «Товарищества торговли произведениями печати на станциях железной дороги (А. С. Суворин и К°)», которое имело монополию на продажу всех произведений печати во всех железнодорожных киосках России. Рейснер заключила с Ефремовым договор на распространение «Рудина» и зимой 1915—1916 г. дважды приезжала в Москву для переговоров с ним (эти поездки отражены в расходных документах по изданию журнала — ГБЛ, ф. 245, 9.12, л. 107 и 113 об.). Далее в романе рассказано о ее первом посещении Ефремова, а второе описал Л. В. Никулин: «...моя юная знакомая должна была получить с него деньги, причитающиеся за продажу журнала «Рудин». Деньги платили в установленные сроки, но Ларисе Михайловне надо было их получить сейчас же, немедленно, потому что в противном случае журнал прекратил бы свое существование.

Руководителем контрагентства был некто Ефремов, человек жесткий и несговорчивый, и, сопровождая Ларису Михайловну в ее деловых визитах, я видел, как холодно отвечали на ее вопросы служащие контрагентства. Это ее не смущало, не смущало и то, что она сама увидела толстые пачки порыжевшего на солнце журнала с лаконическим штампом: «Возврат». Она отважно вошла в кабинет Ефремова. Не знаю, о чем она говорила с этим бесчувственным доверенным Сувориных, но, против всех своих правил, он заплатил ей в тот же день то, что полагалось. и немногочисленные читатели «Рудина» были еще раз порадованы очередным и последним выпуском журнала» (Лев Никулин. Люди и и странствия. Воспоминания и встречи. М., «Сов. писатель», 1962, с. 92—93). Взаимоотношения Рейснер с Ефремовым отражены также в ее письме к нему (февраль 1916 г.— ГБЛ, ф. 245, 5.4).

[34] Здание «Лоскутной гостиницы» (Тверская, 3) не сохранилось. Суворинское «Товарищество» помещалось в Козицком переулке (д. 2). Л. В. Никулин вспоминает свою первую встречу с Рейснер в феврале 1916 г. в «Лоскутной гостинице»: «...я в первые минуты буквально лишился дара речи от контраста — старая купеческая «Лоскутная гостиница» (так она называлась), полутемные коридоры, просторные номера с бархатными шторами и драпировками, мебель красного дерева, самовар на овальном столе, филипповские калачи — и у письменного стола со множеством ящиков молодая, очень привлекательная девушка с милой улыбкой, высоким лбом, над которым, как венец, уложены две туго заплетенные косы» (Лев Никулин. Указ. соч., с. 92). В этой же гостинице Рейснер жила летом 1919 г., перед отъездом на фронт (Там же, с. 94).

[35] *С. М. Проппер* — редактор-издатель газеты «Биржевые ведомости» (СПб., 1880—1917). Газета отличалась беспринципностью, продажностью и бульварным характером.

[36] Саломея — здесь героиня одноименной драмы О. Уайльда (1893; русский перевод — М., 1904); охваченная всепоглощающей страстью, она попирает принципы нравственности и даже простой человечности.

[37] Кинематографа с таким названием в Москве не было. На Страстной площади (ныне пл. Пушкина) находился кинематограф «Шануар» (здание его не сохранилось).

[38] О роли М. А. Рейснера в журнале «Рудин» см. во вступит. статье к настоящ. публикации.

[39] Топиков — художник Е. А. Праведников (см. о нем. вступит. статью к настоящ. публикации и прим. 25 к ней).

[40] Николай Семенович *Самокиш* (1860—1944) — художник-баталист, с 1913 г.— профессор Академии художеств, руководитель батального класса. Сатирическому дарованию Праведникова был чужд характер батальной живописи Самокиша. Иллюстрации Праведникова к книге Рейснер «Фронт», выполненные в середине 1920-х годов, по манере исполнения и выбору сюжетов резко отличаются от приемов Самокиша.

[41] Легенда гласит, что библейский царь Соломон хитростью раскрыл тайну царицы Савской, умело скрывавшей свой физический недостаток. «Песнопения»—любовные песни, приписанные Соломону и вошедшие в Библию под названием «Песнь песней».

[42] Далее в рассказе Елисаветы Алексеевны так же, как и в одном из последующих эпизодов (фрагмент II, гл. 4), нашли отражение реальные обстоятельства жизни семьи Рейснер.

[43] Уильям *Хогарт* (1697—1764) — английский живописец и график. Ему принадлежит ряд сатирических серий картин и гравюр, иллюстрирующих нравы современного ему общества.

[44] Официально редактором-издателем «Рудина» значилась Надежда Генриховна *Лещенко*, прислуга Рейснеров. В архиве Л. Рейснер хранится свидетельство на право издания журнала «Рудин», выданное петроградским градоначальником на имя Лещенко 7 октября 1915 г. (ГБЛ, ф. 245, 9.11).

[45] «Речь» — ежедневная газета, центральный орган партии кадетов (СПб., 1906—1917); выходила под редакцией П. Н. Милюкова и И. В. Гессена.

[46] Николай Васильевич *Чайковский* (1850—1926) — в начале 1870-х годов — член революционного кружка народников («чайковцев»), в 1874—1906 гг.— эмигрант. В 1904—1910 гг. примыкал к эсерам. В годы первой мировой войны занимал откровенную социал-шовинистическую позицию, был одним из руководителей Всероссийского союза городов, созданного либеральной буржуазией с целью организации тыла. В 1916 г. участвовал в разработке плана дворцового переворота, имевшего целью довести войну «до победного конца». После Октябрьской революции — активный враг Советской власти, белоэмигрант.

[47] Элиза *Рашель* (1821—1858) — знаменитая французская трагическая актриса. Возможно, что сравнивая с ней свою мать, Рейснер имела в виду строки Герцена: «Она не хороша собой, не высока ростом, худа, истомлена, но куда ей рост, на что ей красота, с этими чертами, резкими, выразительными, проникнутыми страстью? ‹...› А голос, — удивительный голос! — он умеет приголубить ребенка, шептать слова любви — и душить врага...» (А. И. Герцен. Собр. соч. в 30 томах, т. V. М., Изд-во АН СССР, 1955, с. 52—53).

[48] Refugié — изгнанник (*франц.*). Так Герцен в «Былом и думах» называет политических эмигрантов.

[49] Карильон или карийон (от франц. carillon — трезвон) — ударный музыкальный инструмент, представляющий собой набор небольших настроенных колоколов; с XV в. получил распространение в странах Западной Европы, где устанавливался на зданиях городских ратуш и церковных колокольнях.

[50] Прототип Веселовского — Владимир Владимирович *Святловский* (1869—1927) начал свою общественную деятельность с участия в первомайских сходках 1891—1892 гг. и в 1892 г. был вынужден эмигрировать. По возвращении в Петербург (1898) включился в социал-демократическое движение (позже примкнул к меньшевикам). В ноябре 1905 г. был избран в Центральное бюро профессиональных союзов и стал редактором его органа — журнала «Профессиональный союз»; затем вошел в Исполком Петербургского Совета рабочих депутатов. После поражения первой русской революции Святловский отошел от революционной деятельности и заметно поправел в своих взглядах. Основным его занятием стала научная и преподавательская деятельность — он был профессором Петербургского университета и Психоневрологического института, занимался исследованиями в области политической экономии, истории рабочего движения, а также истории литературы; выпустил два сборника стихов («Янтари». Пг., 1916; «Седые города». Пг., 1917). Вместе с тем Святловский был весьма озабочен своим личным обогащением и с этой целью принял на себя обязанности председателя правления «Общества взаимного кредита печатного дела», а также управляющего делами вел. кн. Александра Георгиевича (герцога Лейхтенбергского). Заботливо поддерживая свою репутацию либерала (он один из первых начал читать в университете курс истории социализма, главным же предметом его многочисленных научных исследований была история и практика профессионального движения), Святловский умело балансировал в годы репрессий, которым подвергались прогрессивно настроенные профессора со стороны министра народного просвещения Л. А. Кассо,

и сохранил прочное положение в университете. После Октябрьской революции Святловский проявил лояльность по отношению к Советской власти, продолжал преподавательскую деятельность и выпустил ряд книг («Русский утопический роман». Пг., 1922; «Каталог утопий». М.— Пг., 1923; «История профессионального движения в России». Л., 1924 и др.).

Несмотря на расхождение общественных позиций, которое с годами все углублялось, дружеские связи семьи Рейснеров со Святловским не прерывались, хотя его коробил «нигилизм» друзей, а их возмущала его измена идеалам юности: «...кого любят, на того не обижаются,— писала Святловскому Е. А. Рейснер в ответ на его упреки в бунтарстве, адресованные Ларисе,— поставьте вопрос так: почему жутко стало мне за вас, мне, вашему другу!» И далее: «Кто был без Sturm und Drang — да осудит, кто был *с юностью Володи Святловского*, да обнимет! ‹...› А страшно стало вот за что ...Володя № 10 — это жалкая карикатура на моего Володю № 1» (ГБЛ, ф. 245. 3.10, л. 1 об.).

[51] Святловский жил на 5-й линии Васильевского о-ва (д. 2), на углу Университетской набережной, т. е. почти напротив Сенатской площади (ныне пл. Декабристов).

[52] Жозефина *Бонапарт* (1763—1814; в первом браке Богарне) — первая жена Наполеона Бонапарта.

[53] В 1796 г. Наполеон возглавил Итальянскую кампанию, что вызвало недовольство генералов, в ней участвовавших. Лазар *Гош* (1768—1797) и Пьер *Ожеро* (1757—1816) — военные деятели, выдвинувшиеся на высокие посты в эпоху французской буржуазной революции XVIII в. Из них участвовал в Итальянской кампании только Ожеро.

[54] Бой у Аркольского моста (1796) — один из решающих моментов Итальянского похода. На известном портрете Антуана Гро (1797) Наполеон изображен в момент атаки на Аркольском мосту.

[55] Коронация Наполеона (1804) происходила в соборе Парижской богоматери. Папа Пий VII прибыл в Париж, чтобы возложить на него корону, но во время церемонии Наполеон вырвал ее у папы и возложил себе на голову собственными руками (это «театральное коронование» изображено на картине Луи Давида «Коронация Наполеона», 1805). Став императором, Наполеон повел открытую борьбу с папой, стремясь лишить его светской власти. В 1808 г. он занял Рим, присоединил Папскую область к своей империи и выслал Пия VII в Савону, объявив о прекращении политической власти папы.

[56] В битве при Риволи (13—15 января 1797 г.) Наполеон нанес решающее поражение австрийским войскам, в результате которого вся Северная Италия оказалась в его руках. Раненный в ногу, он не оставил поля боя и продолжал руководить сражением.

[57] Рейснер ошиблась: в описанной ею позе на известной картине Луи Давида изображена не знаменитая французская актриса Анна Франсуаза Марс, а мадам Юлия Аделаида Рекамье, салон которой приобрел европейскую известность в конце XVIII — нач. XIX в.

[58] Жозеф *Фуше* (1759—1820) — французский политический деятель, поддержавший Наполеона во время переворота 18 брюмера; министр полиции в годы империи. Лавировал между Бурбонами и Наполеоном, предавая оба лагеря. Беспринципность политических позиций, продажность и склонность к интригам сделали имя Фуше нарицательным. Страх перед двойной игрой, которую он вел, заставил Наполеона уволить Фуше в отставку.

[59] Вторая жена Наполеона Мария-Луиза была дочерью австрийского императора. Их сын *Наполеон* (1811—1832) воспитывался при дворе своего деда и жил с матерью в замке Шенбрунн под Веной.

[60] Во время Отечественной войны 1812 г. в России были очень популярны многочисленные карикатуры И. И. Теребенева на Наполеона и его армию (раскрашенные гравюры, сопровождавшиеся текстами).

[61] Описка: правильно — Полина Боргезе (сестра Наполеона).

[62] Дальнейшее описание книг в библиотеке Веселовского совпадает с научными интересами его прототипа в области политической экономии: докторская диссертация Святловского была посвящена развитию древнерусской денежной системы, а в последние годы жизни он выпустил книгу «Происхождение денег и денежных знаков» (М.— Пг., Гиз., 1923).

[63] Давид *Рикардо* (1772—1823), в трудах которого нашла завершение классическая буржуазная политическая экономия Англии, положил начало движению фритредеров. Это направление в экономической политике английской буржуазии исходило из требования свободы торговли и невмешательства государства в дела предпринимателей. О фритредерах — последователях Рикардо — Святловский писал в книге «История социализма». Пг., «Былое», 1922, с. 123—127.

[64] Такой книги у Святловского не было. Однако название, которое дает ей Рейснер, соответствует роли Святловского в профсоюзном движении 1905—1906 гг. и подчеркивает былую радикальность политических позиций персонажа романа.

[65] Барон Михаил Александрович *Таубе* (1869—1916) занимал должность товарища министра народного просвещения; в последние годы жизни неоднократно исполнял обязанности министра во время его отсутствия. Активно поддерживал реакционную политику министра Л. А. Кассо.

[66] Герой романов Э. Золя «Завоевание Плассана» и «Его превосходительство Эжен Ругон» достиг поста председателя Государственного совета. Золя характеризует политическое окружение Ругона как «клику», а выборы, которые привели его к вершинам власти, называет «помойной ямой».

[67] Святловский несколько иначе относился к журналу Рейснеров: он напечатал в «Рудине» два стихотворения (1915, № 2, 3) и частично финансировал его издание (ГБЛ, ф. 245, 9.12).

[68] Noir — черное (*франц.*). Делать ставку на черное (или на красное) — термин, употребляемый при игре в рулетку, поля и цифры которой окрашиваются в эти цвета. Здесь игра слов: Веселовский ставит на черное, т. е. на реакцию.

[69] Музей изящных искусств им. Александра III в Москве (основан в 1912 г.) — ныне Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

[70] Кондотьеры — предводители наемных отрядов, состоявших на службе у итальянских государей эпохи Возрождения. В Музее изящных искусств находились (и ныне находятся) копии со статуй кондотьеров работы скульпторов Донателло и Вероккио.

[71] Летом 1919 г. Южный фронт стал решающим направлением гражданской войны (лозунг — «Все на борьбу с Деникиным!»). В октябре войска фронта перешли в наступление, в декабре заняли Харьков и Киев, в январе 1920 г. освободили Донбасс и в марте завершили разгром армий Деникина на Северном Кавказе.

[72] В октябре 1919 г. на Восточном фронте части Красной Армии перешли в наступление против Колчака на р. Тобол. 14 ноября был освобожден Омск, 6 января 1920 г. Красноярск, а 7 марта — Иркутск.

[73] 2 ноября 1919 г. войска Туркестанского фронта начали наступление, в январе 1920 г. заняли Гурьев и Хиву и в феврале, после тяжелого похода по пустыне, вступили в Красноводск.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Заворачивая с Зелениной на Большой проспект, Андрей Андреевич N увидел своего коллегу, профессора Бернацкого, стоящим с книгой в руке и погруженным в чтение у столбика трамвайной остановки. Андрей Андреевич улыбнулся и незамеченным прошел мимо. Действительно, нельзя было выйти на одну из тихих улиц, плохо мощенных, пестреющих буколическими вывесками мелочных лавочек, чтобы не встретить корректнейшего юриста, филолога с тремя ветхозаветными томами под мышкой, доцента, идущего медленно и заглядывающего в окна низких и покосившихся деревянных домов. На этих окнах герань, флаконы из-под духов, пузатые, с красными цветами чайники. Доносится шум швейной машины и запах бедности, на крыше — скворешник, над крышей слабое какое-то, прозрачное небо. И как дешевы квартиры на Петербургской стороне! Но и за них трудно платить! Вчера приходил старший дворник, и третьего дня, и, вероятно, придет опять сегодня вечером. Надо будет взять у Святловского. Нет, у него нельзя. Или аванс на коммерческих курсах? И это, пожалуй, неудобно. Остается все-таки Святловский. И Андрей Андреевич стал думать о своем друге и коллеге. По мере того, как он со всех сторон рассматривал полную фигуру Владимира Владимировича, палка его все жестче постукивала о мерзлые камни и шуба казалась непомерно тяжелой на плечах. Местами тихие улицы, по которым профессор шел к университету, были овеяны ранним теплом, снежные шапки на деревянных заборах, пухлые и чистые наметы отлетевшей вьюги издавали тревожный, холодный аромат, какой бывает только в феврале. Самый снег пахнет весной, чуть ли не замороженными фиалками.

У Андрея Андреевича вдруг сжалось сердце. Сколько же он успел задолжать Святловскому? — 3—4 — и теперь еще тысяча рублей, взятая в банке на «Рудина». Всего шесть тысяч. Ту-к, ту-к, ту-к — стучит железный наконечник о голубые ледяные чешуйки, уцелевшие на тротуаре под ломом и дворницкой метлой. Шесть тысяч, и никакой надежды их заплатить! Тридцать три рубля серебром платит ежемесячно университет. Открывается окошечко в большом решетчатом шкафу, оттуда выглядывает мягкий лысый череп кассира, и желтая ручка ловко выкидывает на подоконник три красных билета, три белые новенькие монеты и протягивает обкусанным концом от себя черное перо, уже обмокнутое в лиловые казенные чернила. «Прошу расписаться»,— и в ведомости против «История политических учений» тянется многоточие и маленькая цифра, выписанная с насмешливой аккуратностью. А выше и ниже — оклады кафедр, занимаемых статскими, действительными и даже тайными советниками, цифры с веселыми нулями, как бы подбоченившимися своей запятой, единицы, крепкие и прямые, отдающие честь науке, пятерки с легким румянцем и приятной полнотой, свойственной тысячам. Были у профессора и другие заработки, и прежде всего, частные коммерческие курсы Яроцкого. Ему приятно было о них вспомнить. Будущие бухгалтеры, счетоводы, клерки и банкиры, готовясь к великому сражению чисел, ценностей и биржевых операций, с увлечением слушали отвлеченную и жестокую науку о праве и государстве. Бедные коммерсанты, им

после лекций Редена [1*] становилось легче дышать беспощадным воздухом спекулятивных выкладок. Они узнавали, что, кроме фикций биржи, есть еще более бессмысленные, отвлеченные и вечные призраки [2*], которым человечество неизменно верит и служит. Легкий скепсис и покой сообщался слушателям. Над величественным куполом Биржи они прозревали другие своды, грубо сколоченные и безобразные, целое искусственное небо [3*] политики и [4*] прогресса.

Но как ни любили коммерсанты своего разоблачителя, открывавшего им кусок правды, прежде чем они успевали броситься в свалку, гонимые смутной надеждой завоевать жизнь и выиграть сакраментальные двести тысяч, которых никогда и нигде не выигрывали бедняки,— платили они за его мудрое и горькое знание очень немного. Ото всех идеалистических цветков, которые Роден терпеливо и любовно обливал лимонной кислотой чистого знания, Яроцкий отчислял ему 80 рублей. «Тридцать три и восемьдесят»,— прикинул Андрей Андреевич, выходя к Тучкову мосту. Здесь праздный гуляка, крепкий морозный ветер с Невы, на время рассеял мрачные соображения. Желтый Бирюнов замок словно примешивает охру своих квадратных стен к серовато-синему, тоже старинному, петербургскому небу. И здания помнят на этом деревянном мосту рослого Петра, идущего против ветра, наклонив стан, придерживая рукой трехуголку, скрипя башмаками с пряжками по хрусткому снегу, к которому примешиваются смолистые стружки новых досок, тоже уже избитых и оскорбленных тугими, тяжкими копытами ломовых коней. Рядом с Андреем Андреевичем шел, натужившись и задыхаясь, жеребец-тяжеловоз, весь в инее, в поту, окруженный хлопаньем бича и руганью. С ухаба на ухаб ползли за его напряженными, дрожащими от натуги ногами широкие сани с горой играющего, свежевыколотого льда. За этими санями, мотая подстриженной, блестяще-черной головой, нетерпеливо теснился рысак, впряженный в легонькие сани. Седока не видно было за широчайшим ватным задом кучера. Затем с Андреем Андреевичем поравнялась его полная, сутулая спина, укутанная пухлой шубой, курносое лицо в светлой заиндевелой бороде и стопка книг, прикрытая нарядной полостью.

— Андрей Андреевич!

Р. остановился и узнал Святловского.

— Вы в университет? Да? Ну, едемте вместе.— Святловский подвинулся на кокетливо-узком сидении. Рудин сел боком, очень неудобно, и они поехали.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Всякому доброму скептику обязательно нужен друг-идеалист, не очень умный, не очень убедительный, но достаточно добрый и теплый, чтобы от времени до времени погреть на огоньке чужой веры свои пальцы, застуженные атеистическим морозом. Никакой черт не просуществует без доверчивой и плоской грелки; не обошелся без нее и Веселовский, большой любитель бескорыстия и скромности в своих ближних.

Сидя в кресле, без камергерского мундира и без воротничка, шумно потягивая кофе из малюсенькой чашечки, он с удовольствием созерцал Козлика [1], своего друга и библиотекаря. В своей душе он чувствовал несомненно пакостный осадок, все усиливавшийся в течение дня: представлялись беловатые глазки секретаря, приносившего на подпись несколько особо секретных бумаг, присланных из министерства внутренних дел. Ничего особенного, но так неприятно подумать, что иные автографы могут когда-нибудь всплыть, вынырнуть из чернильных пучин канцелярии. Чувствуя сокровенную греховность, Владимир Владимирович находил более чем уместной неоспоримую невинность своей собеседницы. Пучок ее желтых волос, низко зачесанных на крупные уши; прямая грудь, уже увядшая или вообще никогда не существовавшая на девственных ребрах; юбка, заколотая огромной английской булавкой; бедные сапожки курсистки, стертые бесконечными линиями Васильевского острова, длинными коридорами университета и беготней по урокам,— все казалось приятно Веселовскому. Даже несколько кислый, застоявшийся запах Козлика радовал его потревоженную совесть. Попрыскав на руки одеколоном, он окончательно растрогался:

[1*] *Далее фамилия Андрея Андреевича обозначается по-разному*: *Роден*, *Рудин*.
[2*] *Далее зачеркнуто*: Государства
[3*] *Далее зачеркнуто*: политической лжи
[4*] *Далее зачеркнуто*: истории

— Почитайте мне ваши стихи.

И пока она взволнованно и радостно оскорбляла его балованый слух розами, березами и мимозами, грезами и грозами, пока его комната наполнялась сентиментальными образами гномов, русалок и несчастных узников, снедаемых тоской и насекомыми за чистоту своих политических убеждений, Веселовский все более уважал и любил Козлика. Положительно он готов был преклоняться перед ее бедностью, безобразием и пламенным идеализмом,— ведь есть же такие святые души!

ПРИЛОЖЕНИЕ III

В ночь под Новый год должен был выйти первый номер — и в Новый год появиться в продаже [2]. Его привезли из типографии завернутым, как новорожденного, и торжественно развернули на столе. На белой, чистой обложке открылась голова Рудина. Вокруг него столпились сотрудники, и никто не хотел говорить: сегодня это был еще их Рудин, неведомый, пришедший в мир со своей капризной и опасной улыбкой, завтра его станут продавать,— словом, из тесного круга он выйдет на улицу, где на него набросится толпа. Узнают ли свои, не покажется ли чужим в предместьях его аристократическая тень, увидят ли действие за его [1*] насмешливой речью? Но как молод был Рудин в этот день своего второго рождения!

Грин, трезвый, в невероятно высоком и чистом воротничке, который, впрочем, скоро снял и спрятал в карман, грел возле печки, полной трескучего пламени, свое веселое и безобразное лицо. Смелый путешественник, описавший жаркое небо и дикие леса юга из своей комнатки в желтых вонючих ротах и ни разу не видевший в жизни ни одного лица, действительно похожего на то, что ему снилось,— наконец, чувствовал великое успокоение. Сумасшедший, он был среди своих. Целая куча, целый сноп безумцев окружал его так, как брызжущие искры окружали черное, покрытое трепещущим синим пламенем, медленно и неудержимо пылающее дерево. Никого не пугала смелая сжатость его слога. Никто не сомневался в роскошных видениях, которые ему доставляли странные музы — голод и алкоголь. Все видели вместе с ним и океан, и далекие острова, и прекрасных голых мужчин и женщин, населявших эти пределы. Он был [2*] поэт. Пламенный культ океана, чистого воздуха и чистой любви, возможной раз в жизни, составляли его веру. «Рудин» признал идеализм нищеты и громадный талант Грина. Он погибал медленно, спиваясь все больше и больше: но с тех пор, как в его комнату в первый раз вошла Ариадна, он падал не без сопротивления. Наконец его перо понадобилось, и, сползая вниз, он цеплялся за всякий светлый час, за каждую крылатую минуту, дабы написать еще повесть, еще главу, хоть строчку. Любовь и творчество сделали из агонии Грина дикий и великолепный закат [3*].

Блаженствуя перед печкой, купаясь в взрывах смеха, раздававшегося за его спиной, А. А. был уверен, что этой ночью не будет пьян, не услышит ругани своей хозяйки, не найдет на своем ночном пути ненавистные, враждебно закрытые окна и двери чужих домов. Для верности он отдал маме Кате все свои деньги, как только пришел. Отдал и предупредил: «Как бы я вас ни просил — не давайте».— И она обещала — не дать. Грин даже засмеялся от удовольствия — так он был уверен в маминой твердости. От его хриплого, хромого, скачущего веселья пламя пошатнулось в печке: он смеялся отвратительно. Кремков подошел к нему сзади и тоже подставил огню свою циническую, острую, умную мордочку.

— Как смеется писатель Грин? — и он потер руки с загнутыми кверху, странными пальцами.— Как орангутанг, когда насилует старуху шестидесяти лет.

— И за что я тебя так люблю? Ты скверный, испорченный мальчишка. Прочти мне еще раз про Бальмонта [3].

Кремков очень легко писал пародии, эпиграммы, гротески. В кусочке кривого зеркала он умещал гигантское безобразие того, над чем смеялся. Для «Рудина» он обезобразил известного поэта, предавшего искусство ради мистики, наводнившего литературные сало-

---

[1*] *Далее зачеркнуто*: разрушительной

[2*] *Далее зачеркнуто*: большой

[3*] *Далее зачеркнуто*: Косые лучи, падая из-за разорванных обезумевших туч, озаряли трагическим блеском его любимый пейзаж: море, острова и людей лучшей породы

ны шаманизмом [4*], привезенным с каких-то экзотических островов. Стихи были хороши, неприличны и прилипчивы: их невозможно было забыть. Еще лучше был сам Кремков, сидящий на корточках, с очень тонкими и яркими губами, красными от огня, в позе сатира, подобравшего под себя копытца, читающего анакреонический стих и почесывающего беспокойными рожками лохматый бок старого и благодушного пьяницы.

— Ал. Ал., я влюблен.

— Знаю, батюшка.

— А она меня любит?

— Она никого не любит, тем и хороша.

— А может быть...

— Не может быть.

Сатир заскучал и умолк.

— Ты глуп.— Грин рассердился.— У тебя славная девочка для любви.

Он посмотрел на Рахиль, на ее курносое лицо с румянцем, точно нарисованным на щеках, с неправильными пикантными бровями. Она сидела на диване, подобрав ножки, и ее темное платье, разрезанное на плечах, голые руки, голая шея, кусочки горячих голых плеч придавали ей вид нищенки, такой доступной и осязательной под кучей лохмотьев. При каждом вздохе видна была ее прекрасная юношеская грудь, и одежда, укрепленная двумя небрежными застежками, точно собиралась с нее соскочить. Она сидела голая, подвижная, яркая и влюбленная. Большой Ursic держался возле нее нежно и терпеливо, как человек, которому на плечи собирается вспрыгнуть кошка.

— Будь счастлив, маленький язычник.— Грин погладил его по голове.— Раз нет уже древних лесов, бегай на лекции. Бегай со своей женщиной, которая очень достойна солнечного света, затраченного на ее персиковую кожу. Пиши стихи, ты молод, все остальное вздор. А, впрочем, давай поцелуемся, раз уж сегодня такой чудный вечер.

Но Кремков скосил глаза, взвизгнул, подскочил на месте, причем из-за фалд точно мелькнул пушистый, круто вздернутый козлиный хвостик, и побежал к Ариадне, чтобы рассыпать целую кучу колючих, невероятных, молодых глупостей. Михаил Андреевич поспорил с Сильванским о вечевом праве XIII века, они увлеклись, и каждый ссылался на великую [5*] юриспруденцию. Она же стояла между ними в своей черной судейской мантии [6*], лгала то одному, то другому светлыми, серьезными глазами, исподтишка хихикая в широкий докторский рукав, из которого сыпались на ученых латынь и неправда, как свежие гирлянды из подола пляшущей цветочницы. Наконец, профессора заметили, что оба обмануты своей легкомысленной наукой, и пошли смотреть «Рудина». Там, на первой странице был памфлет «О русской конституции», подписанный неуклюжим именем, и рядом с ним другой, посвященный университету [4]. Оба были написаны так, как пишут старики, над которыми невластна старость [7*]. Теории, выношенные в течение десятилетий, высказывались в форме шутки, удары, направленные против идей, защищенных штампом, наносились тоже с улыбкой — и только много спустя тот, кого ранили эти тонкие, невинно сверкающие жала, с ужасом ощущал в самом сердце сатирический яд, которым они были отравлены. Екатерина Александровна в белом кружевном чепце, в свежих крахмальных рюшах, в которых терялись две насмешливых складки ее щек, тоже держала в руках свежий номер. Глаза ее бегали по строчкам, меняя выражение, и рука с поднятым кверху пальцем делала такие движения, точно она угрожала и негодной конституции, и толстому декану, и Бальмонту,— всем. Молодые люди стояли вокруг нее, визжали и неистово радовались. Многие из них печатались впервые, и подвижное лицо Екатерины Александровны было первое, на котором они читали свою победу. Каждый должен был сам прочесть вслух свое произведение — его слушали с блестящими глазами, и, наконец, когда последний герой слез с дивана, счастливый, пьяный предчувствием славы, комкая в руке первый номер, восторг сделался общим.

Лис, как присяжный мистик, был наряжен в знаменитую зеленую скатерть и стал первосвященником во главе процессии. За ним Кремков и Ариадна с прыжками и поклонами. Рахиль несли на руках художники, как телесное воплощение своего искусства. Она

4* *Далее зачеркнуто*: симво<лизма>

5* *Далее зачеркнуто*: и легкомысленную

6* *Далее зачеркнуто*: в парике, из-под которого лукаво смеялось лицо уличной девчонки

7* *Далее зачеркнуто*:— с величайшим ядом, с обдуманным бесстрашием и умом

дергала их за волосы и болтала в воздухе нож⟨ками⟩. Перед каждой вещью они останавливались и благодарили ее за долголетнюю службу, за терпение в бедности, за честное исполнение своих обязанностей. Теперь все изменится — комоду обещали замок, вместо старой, расщепленной дыры полам будут ковры, письменному столу настоящие ноги вместо скрипучих перекладин,— словом, вещи кланялись бы, если бы могли, и говорили бы по-человечески. В кухне «Рудин» был поднесен к самому носу разъеденного жаром корыта для стирки, проглотившего столько дней Екатерины Александровны,— оно заскрипело от удивления в своих ржавых обручах.

Наконец, общей радости стало тесно в четырех стенах.

— Господа, до Нового года еще 3 часа. Идемте на Острова!

Там есть аллея, на Островах. От моста, перекинутого через Неву между старинным театром Екатерины, нынче заколоченным, к Столыпинскому дворцу, она по берегу сворачивает налево. Деревья здесь старые и высокие, сильнее других защищенные от морского ветра всем Елагиным парком.

Набережная всегда светла, и, когда из-за угла темной улицы вдруг выступает вся державная ширина, полная ветра, студеная, день кажется особенным и кажется, что сейчас из света, вьюги и пустынного пространства выступит неожиданное, то, к чему стремится целая жизнь своими неслышными, быстрыми днями. Когда Ариадна еще маленькой девочкой бегала от университета в гимназию, ей становилось необычайно весело. Она вскидывала чуб русых волос, ступала прямо, обязательно по середине каменных плит, а иногда, если в ранний час не было прохожих, то, раскинув руки, как воображаемые крылья, с воинственным криком, подражая чайкам, неслась вдоль Невы. Ветер свистел в ушах, отчего ее тоненькие ножки танцевали еще легче.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Козлик — Сусанна Альфонсовна *Укше*, в 1915—1916 гг. студентка Психоневрологического института, секретарь В. В. Святловского; давала уроки иностранных языков Л. Рейснер и ее брату и стала другом их семьи. В 1929—1930 гг. входила в состав редколлегии неосуществленного собрания сочинений Рейснер. Автобиография Укше сохранилась в архиве Рейснер (ГБЛ, ф. 245, 11.24).

[2] В действительности первый номер «Рудина» вышел в ноябре 1915 г.

[3] В первом номере «Рудина» был напечатан памфлет М. А. Рейснера (псевд.— «Марин») «Бальмонт шаманит»; в нем высмеивалась лекция Бальмонта «Поэзия как волшебство». Там же была помещена карикатура Топикова на Бальмонта и пародия на его стихи, автором которой был С. М. Кремков, один из основных сотрудников «Рудина».

[4] Памфлет «О русской конституции» в «Рудине» не появлялся. Памфлет, «посвященный университету»,— по-видимому, памфлет М. А. Рейснера «О выеденном яйце или один из многих ⟨...⟩» (1916, № 5; псевд. — «И. Смирнов»). Изображая бессмысленную процедуру защиты диссертации, автор по сути издевается над всей официальной наукой. Памфлет сопровождался карикатурой Топикова.

А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ

НЕЗАКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА «СОЛНЦЕ»

(3-я ЧАСТЬ ДРАМАТИЧЕСКОЙ ТРИЛОГИИ «ФОМА КАМПАНЕЛЛА»)

Вступительная статья Н. А. Трифонова
Публикация Н. А. Трифонова и В. Д. Зельдовича

Как известно, первый нарком просвещения Страны Советов явился одним из основоположников советской драматургии. В первое послеоктябрьское десятилетие его пьесы с успехом шли во многих столичных и периферийных театрах, пользовались большой популярностью, и Луначарский с полным основанием констатировал, что из современных драматургов он в начале 20-х годов «по количеству пьес, шедших на сцене ⟨...⟩ занимал первое место, а по количеству зрителей, которые пересмотрели его пьесы,— одно из первых» [1].

Особенно значительными были его драмы на исторические темы. К ним принадлежит и незаконченная драматическая трилогия «Фома Кампанелла», над которой он работал в 1920 г.

Имя итальянского ученого, поэта и революционера эпохи Возрождения, автора знаменитого произведения, пропагандировавшего идеи утопического коммунизма,— «Город Солнца», не раз вспоминалось с уважением и признательностью в годы Октябрьской революции. В 1918 г. по предложению В. И. Ленина на гранитном обелиске, находившемся близ Кремлевской стены (в Александровском саду), были увековечены имена ряда выдающихся мыслителей и деятелей борьбы за освобождение трудящихся. Это был первый памятник борцам за торжество социализма, сооруженный в революционной Москве, и здесь среди имен Маркса, Энгельса, Либкнехта, Лассаля, Бебеля, Томаса Мора, Сен-Симона, Фурье, Чернышевского, Плеханова было высечено и имя Томмазо Кампанеллы.

Имя Кампанеллы стояло и на обложках книг, изданных в первые же послеоктябрьские месяцы и годы. В 1918 г. в издании Петроградского Совета рабочих и красноармейских депутатов (в «Серии утопических романов») появилась книга «Государство Солнца. (Civitas solis)» в переводе А. Г. Генкеля [2]. А в следующем же году только что организованное Государственное издательство выпустило работу Поля Лафарга «Кампанелла. Страница из истории социализма» [3]. Обе эти книги имелись в личной библиотеке В. И. Ленина [4].

На Кампанеллу Ленин ссылался в известной беседе с Луначарским весной 1918 г., когда зашла речь о так называемом плане монументальной пропаганды. Предлагая установить на площадях и улицах Москвы и Петрограда доски и плиты с надписями, содержащими изречения передовых мыслителей и революционные лозунги, Ленин вспоминал фрески, нарисованные в образовательных и воспитательных целях на стенах фантастического Города Солнца, о котором рассказал в своей книге Кампанелла [5].

Неудивительно, что именно в эти годы, овеянные пламенем революционной борьбы за коммунистические идеалы, образ Кампанеллы привлек пристальное внимание такого блестящего знатока истории мировой культуры, как Луначарский; возможно даже, что именно беседа с Лениным натолкнула его на мысль сделать Кампанеллу героем большого драматического произведения [6].

Жизнь Кампанеллы давала богатый материал для художника, а некоторые черты в облике итальянского гуманиста и патриота были субъективно особенно близки ленинскому наркому, перекликаясь с его личными свойствами, такими, например, как чрезвычайная многогранность интересов и деятельности, сочетание дарований ученого, философа, поэта и политика, неутомимая жажда познания, исключительная сила красноречия и постоянная готовность отстаивать с трибуны, с кафедры свои убеждения.



А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ

Хроникальный кадр из кинофильма «Уплотнение» по сценарию Луначарского и А. Пантелеева. Производство Петроградского кинокомитета, 1918

Ленинградский архив кинофонофотодокументов

В эти годы Луначарский много размышлял над путями «коммунистической драматургии», и в частности, драматургии исторической. Одной из важнейших задач ее он считал изображение предшественников, предтеч революционного пролетариата в борьбе за социальную справедливость, людей, которые, если воспользоваться словами, вложенными драматургом в уста одного из его героев — Оливера Кромвеля, «подвинули человечество вперед».

По мнению Луначарского, все такие исторические пьесы могут быть разделены на две группы. Используя выражение немецкого коммуниста-драматурга Вильгельма Ламшуса, он одну из групп определил как «трагедии пророков», а другую — как «трагедии реализаторов» [7]. Трагедию одного из реализаторов большой социальной идеи, вынужденного ограничиться лишь частичным, половинчатым осуществлением ее, Луначарский показал в драме «Оливер Кромвель», а в «Фоме Кампанелле» он представил трагедию пророка, слишком опередившего незрелое сознание масс.

По свидетельству самого автора, первая часть трилогии «Фома Кампанелла» — «Народ» — была написана в начале 1920 г., непосредственно после «Оливера Кромвеля», созданного во время поездки автора на фронт. 30 июня он читал ее в организованном тогда Дворце искусств, на Поварской, 52 [8], а 27 сентября — артистам бывшего Незлобинского театра. Здесь она и была впервые поставлена. Премьера состоялась 7 ноября, в день третьей годовщины Октябрьской революции [9].

Придавая своей пьесе немаловажное значение, драматург пригласил на первый спектакль В. И. Ленина. В пригласительном письме он писал: «Это не только первое представление первой моей серьезной пьесы (ибо за очень серьезную я «Королевского брадобрея», которая когда-то Вам понравилась, не считаю), но и первое во всей Европе представление чисто социалистической пьесы на большой сцене» [10]. К сожалению, Ленин в этот день был занят и присутствовать на спектакле не мог.

В следующем году «Народ» был поставлен и в Саратове в Городском театре им. Чернышевского (генеральная репетиция — 22 февраля 1921 г., премьера — 2 марта) [11]. Вто-

рая же часть «Фомы Кампанеллы» — «Герцог» — увидела свет рампы через три года в Москве, в Театре МГСПС, под названием «Князья мира сего» (премьера — 29 марта 1924 г.). В спектакле участвовали такие замечательные актеры, как И. Н. Певцов и Степан Кузнецов.

Третья часть трилогии осталась недописанной. Долгое время сведения о ней ограничивались свидетельством автора в предисловии к его двухтомнику «Драматические произведения». В этом предисловии, датированном 20-м января 1923 г., Луначарский после упоминания о том, что вторая часть трилогии была написана в конце 1920 г., сообщал: «Тогда же я написал первый акт третьей части — «Солнце», но вся трилогия остается еще незаконченной, и я не могу даже приблизительно сказать, когда смогу вернуться к этой работе» [12].

Даже исследователи, специально изучавшие драматургию Луначарского, не имели сколько-нибудь ясного представления о том, что же дошло до нас из третьей части. Так, например, Е. В. Рогова утверждала в автореферате своей диссертации «Творческий путь А. В. Луначарского-драматурга»: «...третья часть «Солнца» не была написана и единственная сцена в ней осталась в рукописи» [13]. Как мы увидим дальше, написанный целиком 1-й акт включает в себя отнюдь не одну сцену.

Неверно указывалось и местонахождение рукописи. Например, в недавно появившейся статье С. А. Лысенко утверждается, что рукопись 3-й части хранится в Гос. библиотеке СССР им. В. И. Ленина [14]. На самом же деле рукопись находится в Центральном партийном архиве и составляет продолжение текста первых двух частей [15].

Кроме того, у бывшего заведующего секретариатом Луначарского В. Д. Зельдовича сохранилась часть машинописной копии 1-го акта, но ее страницы (15—29) воспроизводят (с небольшими разночтениями) только вторую половину акта, а для ознакомления с первой половиной единственным источником остается трудночитаемая рукопись в ЦПА.

Почерк Луначарского вообще не из легких для прочтения. А здесь перед нами к тому же карандашная скоропись. Неудивительно, что даже те немногие исследователи, которые видели эту рукопись, не могли ее прочесть и она оставалась до последнего времени нерасшифрованной. Только теперь ее удалось разобрать (хотя и с какими-то отдельными пробелами, с некоторыми лакунами), и она может стать доступной тем, кто интересуется драматургическим наследием Луначарского и историей становления советской художественной культуры первых послеоктябрьских лет.

Что же представляет собой дошедший до нас фрагмент пьесы «Солнце»?

В первой части трилогии мы видели еще молодого, тридцатилетнего Кампанеллу. Он не только одерживает победы в монастыре на диспутах с иезуитами, хлещет бичами своих слов богатых и знатных. Он становится душой калабрийского восстания против испанских угнетателей. Это «утопист, берущийся за оружие» [16], по определению автора пьесы. Но восстание оказывается преждевременным, оно терпит поражение, так как народ не поддержал своего вождя. Фома, выданный одним из рыбаков, брошен в тюрьму, где его подвергают жестоким пыткам. «Ты рано пришел, пророк!» — в этих словах одного из учеников Фомы заключена идея пьесы.

Во второй части трилогии перед нами уже пятидесятилетний Фома, семнадцать лет находящийся в тюремных цепях, но не сломленный, не прекращающий своих ученых и литературных занятий, не оставляющий своих вольнолюбивых политических замыслов. Теперь в своей борьбе против чужеземного испанского владычества он пробует сделать ставку на сильных мира сего и прежде всего на нового наместника в Неаполе, герцога Оссуну. Но и князья мира изменяют ему, и Фома снова оказывается в темнице. Однако он продолжает думать о будущем, о путях его приближения, перед ним открывается картина Города Солнца. И, обращаясь к потомкам, он восклицает:

Потомки! Нет, я временем ошибся.
Но с вечностью в согласьи билось сердце!
Для вас я жил! И в вас живу я вновь!

В третьей части автор хотел показать последний этап жизни Кампанеллы.

Известно, что в 1634 г. шестидесятишестилетнему Кампанелле (по пьесе ему около шестидесяти лет) в результате провала нового антииспанского заговора, организованного одним из его единомышленников — Пиньятелли, пришлось бежать во Францию и воспользоваться приглашением ученого и политического деятеля, бывшего когда-то учени-

ком Галилея, Клода де Пейреска, которому в Эксе, древней столице Прованса, принадлежало имение с роскошным дворцом и ботаническим садом. В этом гостеприимном уголке на залитом солнцем юге Франции и развертывается действие в первом акте пьесы, так и озаглавленном — «В садах Пейреска». Заметим, что на протяжении всей трилогии Луначарский давал названия каждому акту и каждой картине. В пьесе «Солнце» 1-е действие, происходящее на протяжении одного дня, состоит, как и все действия первых двух частей, из трех картин. Названия второй и третьей имеются в тексте рукописи. Это «Полдень» и «Вечер». Заглавие первой картины пропущено, очевидно, случайно. Но оно совершенно ясно: это — «Утро».

В числе персонажей пьесы и подлинные исторические лица (кроме Кампанеллы, это хозяин дома Пейреск и также гостящий у него известный философ Пьер Гассенди) и вымышленные. Такова «любопытная четверка» молодых людей, которым Кампанелла преподает свои уроки: племянница Пейреска легкомысленная красотка Адорэ, его приемыш — молчаливая смуглянка Кадмея, заносчивый поляк Бронислав Когут и глубокомысленный еврей — горбун Захария Леви. Воспроизводя их словесные поединки, их изречения в стихах и прозе, которые они придумывают по заданию своего учителя, Луначарский умело передает индивидуальные особенности каждого из них.

Пьеса начинается с сочиненного Кампанеллой и исполняемого учениками песнопения, прославляющего радости жизни: «Каждым утром торжествуя, солнце учит нас любви...». Этот зачин является как бы своеобразной увертюрой к пьесе, в которой большое место занимает тема любви, романических отношений между персонажами

Принято говорить о любовном треугольнике в литературных произведениях. Здесь перед нами, можно сказать, любовный многоугольник. Сильной любовной страстью к «золотой стрекозе» Адорэ охвачен на склоне своей жизни и Кампанелла. Изображение этого «закатного пожара» страстей позволяет автору больше акцентировать светское, мирское, ренессансное, антиаскетическое начало в облике героя, еще носящего рясу доминиканского монаха.

Очевидно, ради этого драматург, допуская вольную трактовку образа Кампанеллы, несколько уменьшил его возраст. Некоторые биографы Кампанеллы, рассказывая о его пребывании во Франции, изображают его «старцем, согбенным годами и разбитым страданиями» [17]. В пьесе «Солнце» Кампанелла говорит о себе: «Я силен. Я хорошо владею мечом... и конем». Он сжимает руку своего собеседника так, что тот вскрикивает: «Вы раздавите мне пальцы».

Но главное внимание читателя и исследователя в новопрочитанных страницах пьесы, несомненно, привлечет их насыщенность философским содержанием.

В предыдущих частях на первый план выступала социально-политическая проблематика, общественно-политические взгляды и устремления Кампанеллы. Здесь больше предстает перед нами общефилософское мировоззрение героя, понимание им смысла и цели жизни. Это раскрывается, главным образом, в лекции, которую произносит перед своими слушателями Кампанелла, и в его споре с Гассенди.

Сам великолепный оратор и лектор, Луначарский и в свои пьесы охотно вводил такой трудный для драматургии материал, как диспут или развернутая ораторская речь. Вспомним хотя бы изображение диспута Кампанеллы с иезуитским проповедником в пьесе «Народ». Один из театральных рецензентов писал по этому поводу: «Диспут 3-й картины, диспут на сцене в драме, был бы слишком рискованным шагом у всякого другого и непременно разрешился бы скукой, а здесь он был захватывающим кульминационным пунктом трагедии» [18].

Такая же роль отводится в первом акте пьесы «Солнце» лекции Кампанеллы. Темой своей лекции Фома избирает учение буддизма. Он излагает это учение и спорит с ним. Решительный протест у Кампанеллы вызывает призыв Будды к людям подавлять свои желания и стремления, чтобы обрести покой, чтобы избегать страданий.

Для Кампанеллы именно желания и есть «признак жизни, ее определительнейшая суть». Жизнь без желаний, бесстрастное бытие для него неприемлемо, оно равноценно небытию, смерти. Смысл жизни, счастья он видит в активности, «в великом созидании», в возможности участвовать в переделке Земли, в совершенствовании ее и себя, в умении растворить свое «я» в победительном «мы». Только это может дать полноту ощущений и привести к оптимистическому мировосприятию.

Вопрос о смысле жизни возникает и в следующей картине — в споре Кампанеллы с

Пьером Гассенди. Материалист-сенсуалист Гассенди — в трактовке Луначарского — видит преодоление бессмысленности и бесцельности жизни в плотских утехах и наслаждениях и в самодовлеющем научном познании мира, которое он рассматривает как высшее наслаждение для мыслящего существа. Никакого другого смысла жизни нет. Кампанелла считает, что бессмысленность жизни может в конце концов стать осмысленной, что «разум, невольно рожденный Хаосом», может поправить своего отца. По Гассенди, жизнь подобна не изменяющемуся в своей основе аду. Для Кампанеллы она, скорее, чистилище, которое может привести в будущем к раю на земле.

Гассенди пытается подорвать оптимизм Кампанеллы указанием на неизбежность уничтожения для каждого отдельного человека. Фома видит бессмертие человеческой личности в том, что после человека остаются жить его дела и слова, что человек может «перелить свою надежду в жизнь общую, в юность новую».

Еще до революции Луначарский выпустил сборник своих рассказов и маленьких пьес под названием «Идеи в масках». Объясняя потом это очень подходящее для определения его художественного творчества заглавие, он писал: «В одежде более или менее веселых комедий выступают здесь прежде всего идеи. Автору хотелось быть комедиографом и философом в одно и то же время» [19]. В пьесе «Солнце» Луначарский также стремился выступить одновременно в качестве и драматурга, и философа.

Разумеется, идеи, проповедуемые в пьесе, важны и характерны не столько для определения воззрений Кампанеллы и духовной жизни XVII столетия, сколько для понимания позиций самого драматурга и идейной борьбы его времени. Луначарский с полным основанием писал о таких своих произведениях, как его драматическая трилогия: «Конечно, все эти исторические пьесы имеют отнюдь не исторический интерес. Я ни в одной из них не хотел создать хроники. Это все, по мысли автора по крайней мере, животрепещущие современные пьесы» [20].

В отличие от ученых-историков, которые стремятся рассмотреть всю реальную сложность и порой противоречивость той или иной исторической фигуры, Луначарский-драматург, допуская известную модернизацию исторического материала, отбирал в изображаемом прошлом преимущественно то, что было близко, важно для людей эпохи Октябрьской революции, что помогало задуматься над какими-то вопросами, существенными для нашего времени.

«Апостол учения насквозь активного» [21], по определению Горького, человек революционного действия, Луначарский на протяжении всей жизни боролся с оправданием пассивности, с проповедью созерцательности. Еще свою раннюю программную статью 1903 г. «Перед лицом рока» он заканчивал следующим выводом: «... перед лицом рока есть только одна истинно достойная позиция — борьба с ним, стремление вперед, прогресс, который нигде не хочет остановиться, утверждение жизни с присущими ей неудовлетворенностью и страданиями». Мыслитель-революционер решительно отвергал в этой статье философию Шопенгауэра, который учил: «Воля никогда не удовлетворяется в своей ненасытной жадности ⟨...⟩ отвергни же ее, скажи жизни нет! погрузись в нирвану!». «Да, воля ненасытима,— отвечал Луначарский,— и эта вечная жажда есть сущность жизни, но мы тысячу раз говорим ей: да! пусть растет она, и растут вместе с ней наши радости и наши страдания.

Вперед, найдешь и боль и наслажденья,
Но не ищи успокоенья!» [22]

Неудивительно, что и в социально-философской пьесе Луначарский заставил своего героя дать бой призывам «погрузиться в нирвану». Последний в полном согласии с самим автором зовет к борьбе с роком, к стремлению вперед, к утверждению жизни с ее радостями и страданиями. У них — у автора и у героя — общие враги. Если сам Луначарский ополчался на философию Шопенгауэра, то герой его пьесы выступает против буддизма. Это не случайно. Ведь Луначарский утверждал: «Так называемая пессимистическая философия, нашедшая своего главу в Шопенгауэре, во многом является модернизированным буддизмом» [23].

Характерно, что лекция-монолог Кампанеллы по своему содержанию и по своей тональности явно перекликается с некоторыми страницами из книги Луначарского «Религия и социализм», в частности, из третьей главы ее 1-й части, где речь идет как раз о буддизме и где буддизму, как и всей индусской пессимистической религиозной идеологии,

автор противопоставил другое мировоззрение, проявившееся, по его мнению, уже в персидской религии (разумеется, еще в мифологической форме): «Мир признается улучшающимся, человек способным активно увеличивать сумму добра, уменьшать сумму зла, а в конечном счете очистить от него мир и доставить торжество единому благу» [24].

Написанное действие пьесы «Солнце» заканчивается отъездом Кампанеллы в Париж по вызову тогдашнего правителя Франции кардинала Ришелье.

Автор пьесы, по устному свидетельству его племянника, Льва Михайловича Луначарского, говорил последнему в 1920 или 1921 г. о своем намерении показать встречу Кампанеллы с Ришелье. Такая встреча действительно состоялась в резиденции первого министра Франции, а затем Кампанелла получил аудиенцию и у Людовика XIII. Приходится пожалеть, что эти эпизоды не были воспроизведены драматургом. Если вспомнить замечательную сцену встречи английского короля Карла I с Оливером Кромвелем в предшествующей пьесе Луначарского, то можно себе представить, с какой выразительностью мог бы он изобразить свидание выдающегося калабрийца с двумя самыми высокопоставленными лицами французского королевства.

Известно, что в Париже Кампанелла со свойственной ему энергией и неутомимостью развернул большую деятельность. Еще в течение почти пяти лет он издавал свои сочинения, в том числе выпустил новое издание «Города Солнца», боролся со своими многочисленными врагами из римских и парижских церковников, всячески помогал своим соотечественникам в их борьбе за освобождение от испанского ига. При этом и на закате жизни он продолжал сохранять веру в золотой век человечества и думал о его приближении. Все это могло составить содержание следующих двух действий пьесы «Солнце».

Почему мы уверенно говорим именно о двух оставшихся автору действиях? Дело в том, что и первая и вторая части состояли из трех действий, каждое из которых, в свою очередь, подразделялось на три картины. Следовательно, в пьесе «Солнце» должны были быть еще два действия, включающие шесть картин. Но они остались ненаписанными. Это тем более жаль, что сам Луначарский придавал завершению трилогии большое значение. В цитированном уже предисловии он писал: «...лишь законченная трилогия окончательно выявит основную идею, положенную в нее. Без этой третьей части каждая пьеса остается почти совершенно обособленной исторической картиной. В целом же это произведение претендует и на известное, так сказать, психологическое, моральное и философское единство» [25].

Трудно сказать, почему Луначарский не довершил свою трилогию.

Конечно, прежде всего ему мешала чрезвычайная занятость многочисленными и разнообразными текущими государственными делами. Но ведь он продолжал писать драматические произведения в 20-е годы. Одна за другой появлялись пьесы — «Канцлер и слесарь», «Медвежья свадьба», «Поджигатели», «Яд»... И это было своеобразным видом отдыха от напряженной государственной и общественной деятельности.

Может быть, он не склонен был вообще возвращаться к начатым когда-то пьесам? Но в 1921—1922 гг. он ведь завершил «Освобожденного Дон-Кихота», первые шесть сцен которого были написаны еще в 1919 г.

Очевидно, «Освобожденный Дон-Кихот», в котором разрабатывалась очень острая для тех лет тема конфликта между двумя пониманиями гуманизма, между гуманизмом революционным и пацифистски-прекраснодушным, был в это время для Луначарского важнее и актуальнее, чем третья часть «Фомы Кампанеллы».

Разумеется, не могло вдохновить автора на окончание пьесы «Солнце» и то, как была принята предшествующая часть трилогии — пьеса «Герцог», как была встречена ее постановка в театре МГСПС. В откликах печати мнения и оценки были различные, но среди них было немало заявлений — особенно в выступлениях рабкоров — о том, что пьеса слишком трудна и недоступна для неподготовленного рабочего зрителя. Вот что писал, например, рабкор Томич в своей заметке, помещенной в театральном еженедельнике «Рабочий зритель»: «Если б не было вступительного слова автора, едва ли кто-либо из мало знакомых с искусством понял смысл столь мудреной по своему содержанию пьесы как «Герцог». Автор заметки недоумевал, почему выбор драматурга остановился на личности Кампанеллы. «У нас есть,— утверждал он,— более близкие и знакомые нам революционеры-герои» [26]. Такие же голоса звучали и на собрании рабкоров, посвященном разбору пьесы и постановки. Один из присутствующих с неодобрением отмечал, например: «Глав-

яая фигура пьесы — Фома Кампанелла — монах с крестом в руке, что уже плохо действует на рабочие массы и не располагает зрителя в его пользу» [27].

И в более благожелательной рецензии рабкора А. Шибаева предлагалось пьесу «приспособить для рабочего зрителя», в частности, «составить простое и ясное либретто», «перед каждым спектаклем ⟨...⟩ в кратком и простом докладе обрисовать суть и значение пьесы», «выбросить из пьесы иностранные слова» [28].

И хотя Луначарский не раз подчеркивал в своих выступлениях, что его пьесы вовсе не рассчитаны на самые широкие, совсем неподготовленные массы и что задача современного драматурга — не опускаться самому, а поднимать на более высокий уровень своих зрителей и читателей, он имел основание предполагать, что пьеса «Солнце», в которой ведутся философские диспуты, вызовет еще более суровые нарекания, чем предыдущая часть.

Возможно, что первый акт «Солнца» не вполне удовлетворил и самого автора в художественном отношении, и поэтому он не вернулся к нему. Так или иначе, мы можем высказывать по этому поводу только не очень уверенные предположения.

Во всяком случае, новопрочитанный фрагмент одного из самых значительных произведений ранней советской исторической драматургии, пусть даже не получивший окончательной шлифовки, представляет несомненный интерес. Эти страницы позволяют нам полнее понять, как в самые трудные годы напряженной борьбы за существование Республики Советов один из талантливейших представителей коммунистической научной и художественной мысли вел работу революционного просветителя, ставя на материале исторического прошлого большие социально-философские проблемы, как он стремился донести до советских читателей и зрителей образ мыслителя, сумевшего заглянуть в будущее, в справедливое и разумное общество без частной собственности и эксплуатации человека человеком.

Текст пьесы печатается по черновой карандашной рукописи-автографу (ЦПА, ф. 142, оп. 1, ед. хр. 238, лл. 106—146). Работа по расшифровке рукописи и установлению текста проводилась Н. А. Трифоновым при участии Т. Г. Динесман.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *ЛН*, т. 82, с. 530.

[2] Первое издание этого перевода вышло еще в 1907 г. (СПб., кн-во М. В. Пирожкова).

[3] В полном виде работа Лафарга на русском языке была выпущена Госиздатом в 1926 г. (в серии «Библиотека марксиста», вып. 5).

[4] См.: «Библиотека В. И. Ленина в Кремле. Каталог». М., Изд-во Всесоюзной книжной палаты, 1961, с. 163 и 174.

[5] А. В. Луначарский. Воспоминания и впечатления. М., «Сов. Россия», 1968, с. 198.

[6] В русской литературе и раньше была попытка обратиться к образу великого итальянского утописта. В 1860-х годах неизвестным автором была написана небольшая поэма «Кампанелла» (с подзаголовком «Эпизод из истории итальянского Возрождения»). Она предназначалась для 12-й книжки прогрессивно-демократического журнала «Дело» за 1869 г., но была запрещена цензурой (опубликована А. В. Блюмом и А. Х. Горфункелем в кн.: «Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1977». М., «Наука», 1977).

[7] А. В. Луначарский. Собр. соч., т. 2. М., 1964, с. 233.

[8] См.: «Известия ВЦИК», 1920, № 135, 23 июня.

[9] В книге «Советский театр. Документы и материалы. Русский советский театр 1917—1921» (Л., «Искусство», 1968) ошибочно сообщается, что «Народ» был поставлен в театре б. Корша (с. 381). В следующем томе этой серии — «Русский советский театр 1921—1926» (Л., 1975) — неверно указана дата премьеры — 8 ноября 1920 г., а в качестве исполнителя роли Фомы Кампанеллы назван только М. Ф. Ленин (с. 354). В первых спектаклях «Народа» эту роль играл А. П. Нелидов.

[10] *ЛН*, т. 80, с. 229.

[11] См.: «Известия Саратовского Совета», 1921, № 40, 22 февраля, и № 47, 2 марта.

[12] А. В. Луначарский. Драматические произведения в 2 томах, т. 1 ⟨М.⟩, Госиздат, ⟨1923⟩, с. 6.

[13] Е. В. Рогова. Творческий путь А. В. Луначарского — драматурга. Автореферат канд. дисс. М., 1965, с. 11.

[14] С. А. Лысенко. Героико-романтическая драма А. В. Луначарского «Фома Кампанелла».— «Весник Беларускага дзержаунага універсітэта імя У. І. Леніна», 1978, № 2, с. 12.

[15] ЦПА ИМЛ, ф. 142, оп. 1, ед. хр. 238, л. 106—146.

[16] *ЛН*, т. 82, с. 374.

[17] П. Лафарг. Томас Кампанелла. М.— Л., Госиздат, 1926, с. 30.
[18] «Вестник театра», 1920, № 74, с. 7.
[19] А. В. Луначарский. Комедии. Изд. 2. Пг., 1918, с. 3.
[20] А. В. Луначарский. Драматические произведения в 2 томах, т. 1, с. 6.
[21] *Архив Горького*, т. XIV. М., «Наука», 1976, с. 71.
[22] А. В. Луначарский. Этюды. М.— Пг., Госиздат, 1922, с. 186.
[23] А. Луначарский. Религия и социализм. Часть первая. СПб., «Шиповник», 1908, с. 120—121.
[24] Там же, с. 107.
[25] А. В. Луначарский. Драматические произведения в 2 томах, т. 1, с. 6.
[26] «Рабочий зритель», 1924, № 15, с. 14.
[27] Там же, № 16—17, с. 6.
[28] Там же, № 14, с. 7.

СОЛНЦЕ

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

В садах Пейреска

КАРТИНА 1-я

〈Утро〉

Юг Франции. Прекрасный цветущий сад. Все купается в лучах утреннего солнца. В глубине вход на террасу дома 〈*1 нрзб.*〉. Слева на легких позолоченных колышках нечто вроде палатки из ковров. Там за столом сидят Пейреск в красном бархатном кафтане 〈*1 нрзб.*〉 и Гассенди в длинной тоге доктора 〈*1 нрзб.*〉, черноволосый, с толстыми губами и очками на носу 〈*2 нрзб.*〉. Лицо остроумца, улыбка добрая и слегка печальная. На скамье под платаном с другой стороны ученики Кампанеллы — Бронислав Когут, молодой поляк, красавец в богатой одежде, племянница Пейреска Адорэ Мадор, 〈*1 нрзб.*〉 тоненькая, смуглая Кадмея и горбатый Захария Леви. Адорэ и Кадмея играют на лютнях, Бронислав на гитаре. Все четверо поют.

Квартет: Каждым утром торжествуя,
Солнце учит нас любви.
Радость трепетно зову я,
Нас, о радость, позови.

Леви: Напрасны томления мысли,
Не слышно укоров больных,
Все гроздья на лозах повисли,
Вся пышность пределов земных!
Про старость, как пору печали,
Про наш неизбежный конец
Не думай — сплетай из миндаля
Иглистый и пряный венец.
Кто стар или нищ и калека,
Поутру на солнце смотря,
Пой радости всечеловека,
В лучах свою тень растворя.

Квартет: Каждым утром торжествуя,
Солнце учит нас любви и т. д.

Гассенди. Какая чудесная молодежь, как хорошо поют. Мне нравятся и напев и слова.

Пейреск. Но и то и другое сочинил некто, намного моложе их.

Гассенди. Да?

Пейреск. Их учитель, старый Кампанелла!

Гассенди. Неужели? Я не ожидал этого. Он показался мне скорее угрюмым.

Пейреск. У него бывают разные погоды. Это богатая душа.

Гассенди. Сколько ему лет?

Пейреск. Он немногим моложе меня, а мне совсем скоро будет шестьдесят.

Гассенди. Счастливый возраст.

Пейреск. Шутишь.

Гассенди. Нисколько. Мне сорок лет, и я жажду шестидесяти! Я надеюсь стать спокойнее к тому времени. Истинно живет лишь спокойный. В сорок лет еще невозможно быть спокойным.

Пейреск. Кампанелла до странности молод. А ведь он много лет провел в темницах и испытал злые пытки.

Гассенди. Да, его гимн — юношеский.

Бронислав. С позволения великих мудрецов, это неправда. Если бы гимн сочинил юноша, он не упоминал бы о старости, болезнях и прочем. По-моему, в этом гимне много серьезного. Я, например, когда пою его, тут-то и задумываюсь над превратностями жизни. Не думай о старости, не думай о старости! Если каждую минуту каркают: не думай о том и о другом, то, конечно, задумаешься. А сам по себе я действительно о них не думаю.

Адорэ смеется.

Гассенди. Как очаровательно смеется ваша племянница.

Пейреск. Адорэ — птичка. Я дал Фоме четырех учеников. Золотую стрекозу Адорэ — чтобы он сделал ее серьезной.

Адорэ смеется еще громче, вскакивает, подбегает к Пейреску и целует его.

Пейреск. Что ему плохо удается до сих пор, Гассенди. Моего найденыша Кадмею, чтобы он сделал ее веселой. Ну! Ну! Беги и ты поцеловать старика.

Кадмея встает, подходит и молча целует ему руку.

Пейреск. И это плохо удается. Захарию Леви, потому что в нем зреет что-то большое. И, наконец, Бронислава Когута, моего гостя, который все хочет знать.

Когут. Я хочу научиться делать золото. У меня его недостает. А если не научусь его делать, придется отнимать.

Гассенди. Любопытная четверка. Теперь, когда я на некоторое время поселился здесь, я тоже начну преподавать им. Мальчикам — о строении и отправлениях человеческого тела, девочкам — о приготовлении отменно здоровой пищи соответственно высоте 〈?〉 температуры и времени года.

Пейреск. Это можно. Когда Кампанелла захотел с ними познакомиться, он велел каждому написать по изречению в стихах или прозе. Они долго возились и написали.

Гассенди. Интересно и мне. Что же написал наш прекрасный и дерзновенный поляк?

Пейреск. Написал очень глубоко. Скажи, Бронислав.

Когут. Быть — значит властвовать!

Гассенди. Ого! (*Качает головой.*) Истинно, юноша опасный и менее всего заурядный. Но, пожалуй 〈?〉, Бронислав, это хорошее правило только для сильных.

Бронислав. А слабым правила продиктуют сильные.

Гассенди. А если сломишься?

Бронислав. Умру!

Гассенди. Хорошо, мальчик. А ты, еврей?

Захария. Подумай над собой, ты сам себе урок,
И чем трудней удел, и чем несчастней тело,
Тем чести более, кто побеждает рок.
Из серого свинца вдруг злато заблестело.

Гассенди. Что бы сказал яснооки Бронислав, если б он родился горбатым жидом? Вероятно, не это. Мне кажется, что Захария сильнее смелого петушка. Адорэ, которая так хорошо смеется, не долго думала?

Адорэ. Страшно долго. Я совсем не умею думать, поэтому думаю долго, а выдумать ничего не могу.

Гассенди. Но все-таки.

А д о р э. Я написала: разве нужно понимать?

Г а с с е н д и. О, браво, браво! Хорошенький философ! Это прямо ответ Сократу.

П е й р е с к. Кто знает, не отвечал ли ему так Алкивиад? Ха-Ха! Я лишь знаю, что ничего не знаю. Да разве вообще нужно знать? Ха-ха-ха!

А д о р э. Учителю тоже понравилось. Но теперь я стала страшно умная. Я вам теперь отвечу все формы силлогизмов, как хороший схоласт. И я пишу по-латыни. (*Хохочет.*)

Б р о н и с л а в. Ей все к лицу. Когда она толкует Боэция[1*] и говорит: Pateo autorem in profundam materiam non satis penetratum esse [2*],— так я бы ее расцеловал...

П е й р е с к. Нет! Бронислав, она еще не твоя невеста. Ха-ха-ха!

Г а с с е н д и. А самая молчаливая?

П е й р е с к. Мой найденыш Кадмея. Ее оставили на берегу сарацинские пираты двухлетним ребенком.

Г а с с е н д и. Твое изречение, смуглое дитя?

К а д м е я. Чтоб быть любимой иль хоть только нужной быть, достаточно ль любить?

Г а с с е н д и. Нет, недостаточно, милая девочка. Мир иногда проходит мимо сокровища любви.

П е й р е с к. Когда она скромна и молчалива.

Б р о н и с л а в. Надо уметь брать.

А д о р э. Или хоть давать.

П е й р е с к. А вот и учитель!

Из дома выходит Кампанелла, его борода и волосы густы и сильно продернуты проседью. Он в белой монашеской одежде, с жезлом.

К а м п а н е л л а. Сколько солнца! Благословенны вы, люди, растения, насекомые! Никто не страдает здесь, надеюсь? Благословенна радость! Поставьте мне скамью в тени. Садитесь. Пожалуй, сегодня мне придется дать вам не бессодержательный урок.

Г а с с е н д и. Можно послушать и старшему ученику?

К а м п а н е л л а. Достойный ученик, прошу милости, хоть твоя ⟨*1 нрзб.*⟩ улыбка скептика делает тебя трудным учеником.

Б р о н и с л а в. О, у нас наклевывается диспут! (*Он ставит скамью под старый платан. Все садятся возле Кампанеллы.*)

К а м п а н е л л а. Давно, дети, не испытывал я такого философского и даже, скажу, жизненного волнения, как этой ночью, прошедшей за чтением сочинений отца Жана ⟨*1 нрзб*⟩, в которых лучшее есть изложение учения знаменитого Будды индийцев.

Поистине глубоко это учение, и каждый должен определить свое место по отношению к вопросам, которые разрешил для себя и многих миллионов глубокомысленный сей мудрец.

Положение, дети, из которого исходил он, общедоступно: жизнь несет с собою болезнь, старость и смерть. Три бедствия, способные кровь остановить ужасом в жилах юноши пылкого воображения, когда он сосредоточится на этих неизбежностях.

Заключая в себе столь необходимое горе с приправой иных многоразличных зол, жизнь, очевидно, является несчастьем,— говорит Индус. Но вся ли жизнь исчерпывается Землею? Будда склонен был принять, что нет. Но сие менее всего его утешало. Он твердо верит в закон справедливости и награду за доброе, при наказании за зло. И тогда жизнь вечная рисуется ему продолжительнейшей борьбой, изменчивой и шаткой, где ничто не ⟨*1 нрзб.*⟩.

[1*] Боэций — римский философ VI в. н. э., автор комментариев к сочинениям Аристотеля.

[2*] Мне ясно, что автору не удалось проникнуть в глубь темы (*испорч. лат.*).

Ты добр и щедр и родишься по смерти земной небесным духом и божеством. Что тебе в том? Желания будут томить тебя. Откажешь страсти — это горько, снизойдешь — оступился и полетел из жизни *(3 нрзб.)* в мрак, грязь и скорбь.

Отсюда простой и величавый вывод: кем бы ты ни был, стремись потушить в себе желания. Желание — корень жизни. Где нет желания, нет жизни, нет возрождения.

И вот я возражаю высокому учению возражением неверующего. А если никакого и нет возрождения, и самое пылкое наше желание холодною рукою смерти навеки уничтожается. Ты боишься смерти, Гаутама [3*]? И от страха перед умиранием хочешь прекращения жизни в самой глубине? Но смерть и есть такое прекращение. Она и есть полное уничтожение. Что же ты, напугав меня ядом, даешь мне его же в дозе сильнейшей? Смерть!— восклицаешь. И все живое цепенеет перед сим чудовищным, неумолимым концом. Я исцелю!— похваляешься. И поясняешь — умри хорошенько, чтобы и возрождения не было больше!

О, Будда, сколько есть мудрых, кои ценою любых страданий, ценою старений и вереницы умираний охотно купили бы веру твою в возможность возрождения! Тебя возрождение страшит — их же невозможность возрождения.

Не думайте, дети, что этим вы подсекаете в корне учение Индуса. Он скажет вам: но именно пожар желаний делает смерть ужасной. Кто познал душой покой — умрет равнодушно. Умирать равнодушно — вот жизнь мудреца *(1 нрзб.)*, от зрелости ума до одра кончины. Что делаем на свете?— умираем. Но умираем смятенно и малодушно (?). Смирись, искорка, умри тихо. Приготовься, заставь желания умолкнуть и тогда — хочешь, еще поживи безучастно и блаженно, хочешь, уйди от горького мира в ничто.

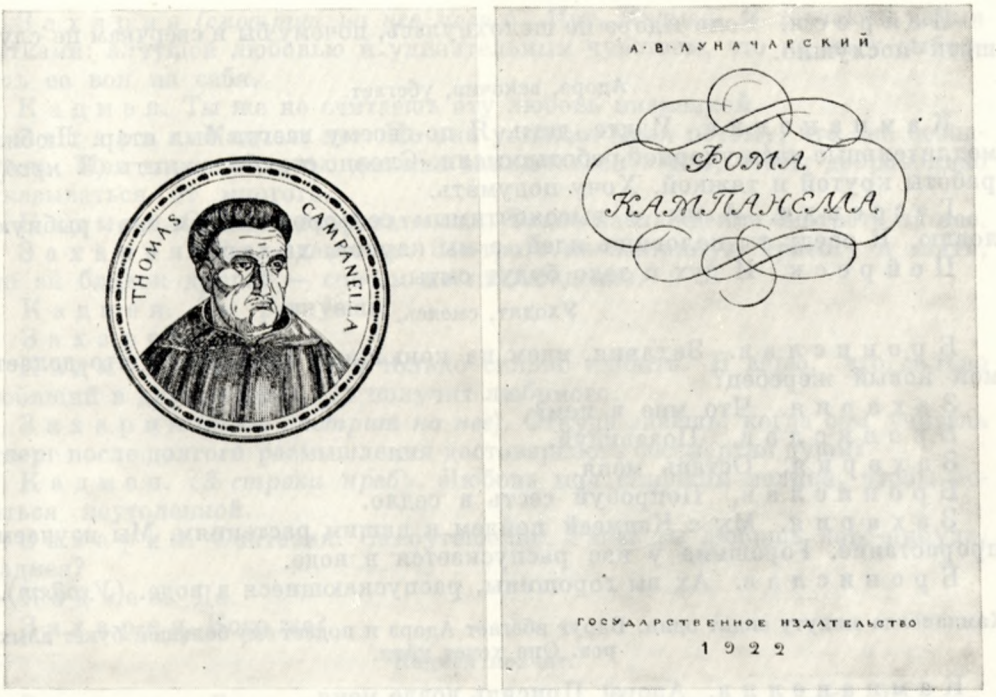
Я знаю, что скажут христиане. Для них целая жизнь превращается в один клубок: земная жизнь, а после рай или ад. Но кому достается рай? Безгрешному. Что же во грех вводит, как не желание? Итак, и христианина путь Будды вводит в эдем небесный. Но каково существование в небе? Безгрешное, бесстрастное. Жизнь ли то? Неужели неправда, что желание есть признак жизни, ее определительнейшая суть? Для меня и тебя, и тебя — коль сосредоточиться мыслью на этом *(1 нрзб.)* — это бытие без желания, оно равно какому-то хоть и светлому небытию. Туда и зовет Будда. Ты видишь — он силен.

Что упустил Индус? Строительство мира упустил. Что для него вселенная? Волнующийся океан. Что было, то и будет. Так же о ней мыслит, как Экклезиаст. Мудрые заблуждаются. От века и до века строится мир и растет. В человеке же в век сей уже ясно горит (?) напряжение (?) строительства. Поколения друг за другом отмирают. Возвышается храм Внука, жилище грядущего. В муках и напряжении Землю переделываем и, сами себя в роде своем совершенствуя, совершенствуемся. И в этом величие и прелесть жизни. Тот рождается дважды, кто уже сотрудник тысячелетий и сознательный работник созидаемого совершенства.

Но не возопим ли с тоской и отчаяньем: хочу жить, творить, совершенствовать *(3—4 нрзб.)*, не хочу смерти и отхода. Все умирает! Что мне в том, что ответишь: и все живет. Однако живет, да уже не ты! Вот (*указывая на Адорэ*) девушка во всей прелести. Как хочет сердце верить, что она может пребыть (вечно). Торопись, художник, написать золото волос, мрамор лба, лазурь очей, невыразимость улыбки и запечатлеть ее речь и смех и движения. Но к чему? Чтобы тем пролить радость, когда перед бездушной художественной тенью юности своей станет она старухой и покачает сединами? *(1 фраза нрзб.)*.

Истинно говорю вам, дети. Здесь испытание и корень мудрости. Здесь победа истинного *(1 нрзб.)* с его сознательностью (?).

[3*] Гаутама — имя легендарного основателя буддийского религиозного учения.



А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ «ФОМА КАМПАНЕЛЛА». ДРАМА В ДВУХ ЧАСТЯХ
Первое издание (М., ГИЗ, 1922)
Титульный лист и фронтиспис

Найди счастье в великом созидании. С умилением говори «мы». Закрой глаза и [подумай] радуйся о детях, девушках, мудрецах, героях, которые придут. Глазами грядущих, как глазами современников, умей с любовью смотреть на свет солнца. В «мы» победительном и, быть может, вечном и божественном себя растворя.

И тогда не только каждый миг труда и отдыха в строительстве 〈?〉 приобретет для тебя величайший смысл, но и самая смертность твоя станет источником услады, ибо все же ты успел ведь полюбить, был же ловким, сильным, нежным и ласковым, и грусти пред преходящестью. Будут такие девушки, как эта, но уже не станет больше той. Завтра сядут они передо мной, как сейчас, но то уже будут совсем иные, а я вот эту люблю. Люблю, что задумалась сейчас, эту, что всегда весела очень. Этот миг благословляю. Умейте же делать миги вечными глубиной своих переживаний. 〈*6 строк нрзб.*〉.

Жизнь, смерть, печали и радости и муки 〈*1 нрзб.*〉 благословляю, принимаю 〈*1 нрзб.*〉. Миг себе довлеет, ибо с ним счастье в целом! Не сторонись желаний. Наполни их чаши вином мудрости или наслаждений. А когда не можешь — страдай, но возвышайся и трудись, дабы другие могли эти желания исполнить. Умирая, скажи: как я полно и прекрасно жил, да живут новые люди еще полнее и прекраснее. Улыбнись жизни, будущему. Отвергни пустоту, преполни душу зрелищем все развертывающегося бытия и отдайся Целому. Amen.

Пауза.

Пейреск. Прекрасное учение, учитель. Благо могущему вместить.

Гассенди. И если кто знает иную правду, менее утешительную, не станет высказывать ее юношам, ибо твоя версия, Кампанелла, и сладка, и полезна. Кажется, и соловьи и стрекозы заслушались. Я, по крайней мере, только сейчас вновь услыхал их. Потому они молчали, чтобы говорил учитель.

Пейреск. Если Адорэ не шелохнулась, почему бы и сверчкам не слушать послушно.

Адорэ, вскочив, убегает.

Кампанелла. Идите, дети. Я по-своему всегда был стар. Любил медлительные часы упорной работы мысли. Словно столбы валить ⟨3 *нрсб*⟩ работы крутой и тяжкой. Хочу подумать.

Гассенди. А мы с высокочтимым сеньором пойдем на рыбную ловлю. К обеду ты наловишь идей, а мы карпов, ха-ха-ха!

Пейреск. И дух и тело будут сыты.

Уходят, смеясь.

Бронислав. Захария, идем на конюшню, посмотреть, что делает мой новый жеребец?

Захария. Что мне в нем?

Бронислав. Позавидуй.

Захария. Оставь меня.

Бронислав. Попробуй сесть в седло.

Захария. Мы с Кадмеей пойдем к нашим растениям. Мы изучаем прорастание. Горошина у нас распускается в воде.

Бронислав. Ах вы горошины, распускающиеся в воде. (*Уходят*).

Кампанелла минуту сидит один. Вдруг вбегает Адорэ и подает ему большой букет алых роз. Она хочет уйти.

Кампанелла. Адорэ! Присядь возле меня.

Адорэ. Бронислав зовет проехаться верхом.

Кампанелла. Да... да... Я благодарю тебя за розы, девушка. Это мне за мою лекцию?

Адорэ. Да, учитель.

Кампанелла. Адорэ, когда я говорил, один раз мне показалось, что слезы навернулись тебе на глаза. Почему?

Адорэ. Это когда вы говорили обо мне. Мне вдруг представилось, что я лежу в гробу и красные розы кругом.

Фома. Тебе представилось это? Но ты не умрешь молодой. Я говорил о твоей старости.

Адорэ. Мне стало жаль себя. Пусть старухой, но хочу жить. Может быть, я буду мудрой старухой.

Фома. Наверное.

Адорэ. Вот Кадмея умрет молодой.

Фома. Быть может. Нельзя установить ее гороскоп. Никто не скажет, где и когда она родилась.

Адорэ. Она и так полуживая. (*Хохочет*).

Фома (*улыбаясь*). Девочка молчалива.

Адорэ. Я бегу к Брониславу, он станет сердиться.

Фома. Беги, маленькая фея!

Она убегает. Он нюхает цветы. Кладет их на стол перед собой. Минуту думает. Потом медленно встает и с опущенной головой, улыбаясь и нюхая красную розу, уходит направо. Слева входят Кадмея и Захария. Оба входят разговаривая.

Захария. Я знаю, что переживу это. Я часто говорю себе в минуты мучений: терпение, Захария! Кадмея, терпение — это самая большая сила в жизни. На каждую боль я отвечаю терпением. Но как мало хозяин себе человек. Внимая урокам Кампанеллы, я все ищу стать хозяином себя, и что же, я, дитя народа великого, но обесчещенного презрением, я, душа благородная, но обезображенная искалеченным телом,— не могу не позволить безумному сердцу обливаться кровью от сознания невозможности когда-нибудь быть любимым райской птичкой Адорэ.

Кадмея. Захария, но разве тебе нужно это? И разве то, что ты так сильно любишь, не слабость твоей души?

З а х а р и я (*смотрит на нее молча*). Нет, Кадмея. Я терзаюсь двумя пытками: алчущей любовью и унизительным чувством, что не могу выбросить ее вон из себя.

К а д м е я. Ты же не считаешь эту любовь низменной.

З а х а р и я. Кадмея, нет. Но она унижает меня потому, что она безнадежна. Моя гордость, увы, должна заключаться в том, чтобы добровольно отказываться от многого.

К а д м е я. Она так очаровательна. Такое наслаждение смотреть на нее.

З а х а р и я. Ты — девушка. Смотреть на желанную красоту и знать, что ей близок другой,— совсем не наслаждение.

К а д м е я. Ты ревнуешь.

З а х а р и я. Да.

К а д м е я. Знаешь, надо только сильно любить. Я верю, что сильно любящий в другом мире ⟨?⟩ получит любимого.

З а х а р и я (*долго смотрит на нее*). Откуда знаешь, когда сам учитель отверг после долгого размышления достоверность бессмертия души?

К а д м е я. ⟨*3 строки нрзб*⟩. Любовь моя слишком велика, чтобы остаться неутоленной.

З а х а р и я. Фантазия. Самоутешение. Разве ты любишь кого-нибудь, Кадмея?

К а д м е я. Да.

З а х а р и я. Кого же?

Кадмея молчит.

З а х а р и я. Впрочем, зачем мне знать... Я благодарен тебе, Кадмея, за то, что ты так умно слушала меня. Человеку нужен друг, и ты друг мне, милая Кадмея. Если тебе понадобится, чтобы кто-нибудь слушал тебя умно и участливо, я всегда с тобою, но... пока ты не хочешь...

К а д м е я. С тобой только я вообще говорю. Если говорю мало — потому, что нечего сказать.

З а х а р и я. О, тебе есть что сказать...

К а д м е я. Оно не оделось словом, ни мыслями. Я не только мало говорю, я мало думаю.

З а х а р и я. Что же ты делаешь внутри себя?

К а д м е я. Ничего.

З а х а р и я. Но что-нибудь происходит в тебе? Стоит взглянуть на твои глаза, чтобы признать, что там не пусто.

К а д м е я. Но я не знаю. Во мне любовь... живет. Должно быть, я похожа на растение. Может быть, я еще недавно была оливковым деревом или лавром.

З а х а р и я. Уйдем отсюда. Слышишь их смех и ссору? Золотая пара бежит сюда.

К а д м е я. Я не люблю Бронислава.

З а х а р и я. А я его ненавижу. (*Уходят.*)

Входят, смеясь, Бронислав и Адорэ.

Б р о н и с л а в. Да, как мой конь! Да, да...

А д о р э. Никогда!

Б р о н и с л а в. Сядь, Адорэ! Сядь здесь. Ну!

А д о р э. Я не хочу! (*Хохочет.*) Я пойду собирать груши к обеду.

Б р о н и с л а в. Сядь. Я скажу тебе что-то очень интересное.

А д о р э. Я уж наслушалась твоего интересного. В конце концов, о чем можешь ты говорить, кроме себя?

Б р о н и с л а в. Но я и есть самое интересное.

А д о р э. Не нахожу.

Б р о н и с л а в. Находишь! Ну, сядь здесь, Адорэ... Я поцелую тебя.

А д о р э. Скажите! Ты воображаешь, что я жажду твоих поцелуев.

Бронислав. Садись, девочка, иначе я поймаю тебя и усажу, приведя сюда за ухо!

Адорэ. Поймай! (*Готовится бежать.*) У тебя длинные ноги, но ты не поймаешь меня!

Бронислав. Девочка, сядь, я хочу говорить с тобой серьезно.

Адорэ. Нет, этого недостаточно. Попроси. Сложи руки вот так и скажи: Адорэ, снизойди к моей просьбе.

Бронислав. Глупая, даже когда мужчина просит, подлинный мужчина, как я,— он в сущности повелевает.

Адорэ. Дурачок, даже когда женщина повинуется, настоящая женщина, как я,— она повелевает.

Бронислав. Помни ⟨*1 нрзб*⟩, что мужчина жаждет повелевать!

Адорэ. Женщина тоже.

Бронислав. Мужчина — сила! Женщина — его сладчайшая добыча.

Адорэ. Грубая сила — вздор. Женщина умеет управлять ею своими более нежными и великими дарами. Твой конь, в конце концов, сильнее тебя. Мой муж понесет меня гордо и почтительно, как мул. А ты смеешь говорить, что женщина должна повиноваться тебе, как твой конь.

Бронислав. Когда ты будешь моею...

Адорэ. То ты будешь совершенно в моей власти.

Бронислав. О нет! Если у тебя есть еще доля независимости от меня, то потому, что ты еще мне не отдалась.

Адорэ. Я никогда этого не сделаю. Если мне покажется, что, уступая тебе, я не увеличиваю моей власти над тобой,— то я уйду совсем от тебя и поищу другого.

Бронислав. Адорэ! Женщина ищет повелителя!

Адорэ. Ты наивен. Она ищет могучего вассала — защитника, ловкого и щедрого исполнителя ее желаний.

Бронислав. Ты извращенная девушка. Это Пейреск и Кампанелла исказили твою натуру. Иногда мне хочется бить тебя!

Адорэ. Вот так рыцарь и жантильом! Вы, славяне, все происходите от рабов и мужиков.

Бронислав. Я дворянин самой чистой крови!

Адорэ. Но — польской. А я дочь Франсуа Мадора, марсельского князя морей. Дядя говорит, что мы происходим от эллинов, от богоравного племени. Чистая кровь каких-то Когутов,— ха-ха-ха! что за смешное имя!— может только запачкать кровь Мадоров.

Бронислав. Не смей, не смей! Я вспыльчив... Надо мной никому нельзя смеяться!

Адорэ. Я люблю, когда ты бесишься. Ну, ну, остынь. Вот теперь я поцелую тебя. (*Целует.*)

Бронислав (*закрыв глаза*). О, хорошенькая озорница, как свежи твои поцелуи.

Адорэ. Ты мой вассал.

Бронислав (*сжимая ее, что есть силы, в объятиях*). Ты — моя рабыня!

Адорэ. Больно, больно! Медведь! Мне больно... Я плачу.

Пейреск (*выходя на крыльцо.*) Дети! Вас ждут в саду!

Бронислав выпускает Адорэ, которая бежит под иронической улыбкой дяди.

Занавес

КАРТИНА 2-я

Полдень

Та же декорация. Под палаткой у стола, на котором стоят фиаски с вином, Гассенди, несколько пьяный, Кампанелла и Пейреск.

Гассенди (*продолжая свою речь*). Случай, говоришь ты, мудрец? Нет, зачем же? Этот танец сплетающихся и разлетающихся атомов не слу-

чаен, он в высокой степени закономерен. Только цели не может быть у вселенной, этой суммы неисчислимых бессмысленных частиц: тем более власт‹на› над нею причин‹а›! Все необходимо, но какое дело необходимости до того, что попутно создались глаз, чувство, мысль, воля? Закон бытия ничего общего не имеет с миражом сознания. Идя своим чередом, необходимость порождает нас, а потом разбивает на основные части и создает новые узоры.

Пейреск. Какой же вывод для нас? Какая мораль?

Гассенди. О! Рабле уже провозгласил ее: Bibendum est [4*]! (*Поет*:)

Вселенная большая дура,
Вселенная — атóмов пляска,
Фигуру создает фигура
И мину порождает маска.
Внутри всего одно смятенье.
Nunc est bibendum [5*]!—
Вот мое мненье!

Жизнь человека мимолетна,
А мысль есть призрак и химера.
Все автоматно ‹?›, что животно,
Но все же ‹?› есть число и мера.
Жизнь это только ужас тленья.
Nunc est bibendum —
Вот мое мненье!

Пейреск (*наливает*). Что ж! Я готов принять и такую мудрость.

Гассенди. Пейреск, мудрый, я утешу тебя. Вино есть великое украшение жизни. И вообще живет праведно и правильно только пьяный! Но пьянеть можно от разных причин. Быть можно пьяным не по вине вина, повинна в этом смысле и любовь! А! Бывал я сам пьян без вина! И думаю, что без вины, хотя церковь иного мнения. Этот кубок во славу Венеры. (*Берет красную розу.*) ‹*несколько слов нрзб*›

О мудрый, не гляди на жизнь сердито!
О мудрый, не гляди на жизнь так хмуро!
Ее позолотила Афродита,
В ней мед на стрелах радостных Амура!

Премудрость! Вино — простейшее из удовольствий. Любовь — выше. Но, увы, по мере приближения старости — сей источник сладости иссякает. Есть третье наслаждение, коим часто бываю пьян: познание. О пиршество ума! О чудное наслаждение! ‹*1 фраза нрзб*›.

Мой ум случаен, мир без смысла,
Но в познаванье смысл есть явно.
Чеканя все явленья в числах,
Я наслаждаюсь. А это главное!

Ищу границ уму и вижу,
Что ограничен он бесславно!
Нашел, что движим, когда движу,
Но мил мне путь. А это главное!

Я познаю свою ненужность,
Конечность и бессилье равно,
Но по диаметру окружность
Ищу с восторгом. А это главное!

Найдя, что жизнь — подобье Ада,
Ум, как стервятник, любит стерву.
О будь прославлена, Паллада!
О чтите, мудрые, Минерву!

Ха-ха-ха!

Кампанелла. Ты смеешься, Гассенди! Ты мало страдал. Но разве все эти веселые утехи перевесят страдания жизни и особенно человека? Впрочем, ты сам признаёшь, что твой мир — подобие Ада. Думай я так, ни вино, ни любовь, ни познавание не удержали бы меня! Я бросился бы в первую пропасть, пронзил бы сердце первым ножиком.

Гассенди. Ну что ж, это можно. Кому надоело сидеть за столом, может уйти — дверей много. Но что же удерживает тебя? Страх загробного продолжения? Утешься — молчание и пустота поглотят твою мысль, как черви будут поглощать твою плоть.

Кампанелла. Я не боюсь ничего. Но я надеюсь.

Гассенди. Рай?

Кампанелла. На земле!

4* Должно пить! (*лат.*)
5* Теперь должно пить! (*лат.*)

Гассенди. Как?

Кампанелла. В будущем. Жизнь не ад, но чистилище.

Гассенди. Гипотеза, лишенная основания.

Кампанелла. Предположим, что Лукреций прав и мир есть сцепление атомов. Но человек со всеми его свойствами есть факт <?> и сила среди сил! Почем ты знаешь, что сила, вложенная причинами бессмысленными в человека, становясь осмысленной, не переломит всего бега бытия и не придаст бессмысленному свой смысл? Почему думаешь, что Крон пожрет Зевса? Кто доказал, что Разум, невольно рожденный Хаосом, не поправит отца? Вот тебе первое возражение. Оно светло и ты не отвергнешь его.

Гассенди. Гипотеза!

Кампанелла. Надежда! И раз она светится — все меняется, Гассенди! Но как слепой не видит света, так бесполезно говорить тебе, духовно слепому, о другом.

Гассенди. О чем еще?

Кампанелла. О другой гипотезе, почтенный доктор! Почему знаешь ты, что в бесконечной Вселенной нет существ, одаренных мыслью и волей и чувством в степени несравненно сильнейшей, чем мы? Кто сказал тебе, считающий себя светлым vir obscurus [6*], что человеком кончается Вселенная на пути того, что ошибочно называют духом, но что есть определенная форма высокого бытия?

Гассенди. Я не нахожу подобного в опыте.

Кампанелла. А я нахожу. Не буду с тобой и тебе подобными полемизировать. Чую жизнь в земле и солнце, чую веяние великой души вокруг, но еще слишком груб и мало понимаю, как часть тела моего не объемлет мысли целого Я.

Гассенди. *<1 фраза нрзб>*. Я предпочитаю разум, не окрыленный фантазией, хочу верить лишь в то, что могу знать. Но скажи: для этого Я своего веришь ли в продолжение или знаешь, что смертью жизнь <?> твоя окончена? Punctum definitivum [7*]?

Кампанелла. Не знаю. Возможно, что живут после тебя только дела и слова, результат жизни.

Гассенди. А сам обращаешься в ничто?

Кампанелла. Мое мужество мешает мне цепляться за надежды, с которыми связано мое я. Говоря об опьянении, ты, демон отрицающий, знаешь ли, что все опьянения твои вступительны, начальны, как алфавит начинает грамоту. Лишь тот познает опьянение и зрит Диониса, кто умеет забыть себя в целом и в вершине его — созидающем совершенстве духа!

Гассенди. Так, так. Но сам ты исчезнешь?

Кампанелла. Думаешь устрашить этим? Разве не слышал моей утренней проповеди?

Гассенди. Слышал. Но сед ты, Фома, стареешь. Стало быть, уже уничтожаешься. Что же, убывание силы, невозможность любить, дальние оклики невозможной юности — разве не вонзаются никогда в сердце стрелами отчаяния?

Кампанелла молчит.

Гассенди. Говори. Или хочешь подумать? Обдумай, а я пока налью вина себе и другу Пейреску.

Кампанелла. Есть раны от тех стрел, но они должны растить крылья.

Гассенди. Чтобы влететь попышнее в могилу?

Кампанелла. Чтобы до конца чувствовать в себе растущую жизнь, чтобы в последнюю минуту перелить свою надежду в жизнь общую, в юность новую!

[6*] Темный человек (*лат.*).

[7*] Окончательная точка (*лат.*).

Гассенди. Рассказывай, старик! На деле все ты выдумал и вычитал, чтобы утвердить себя. Ты — атлет по природе. Ты придумал себе вооружение. По-моему, мое прочнее. Но и то, и другое, как всякая мудрость, есть щит черепахи, который мы строим, чтобы не так бояться зияющего уничтожения. По-моему, я честнее тебя, но всякая мудрость есть самозащита и приспособление.

Кампанелла. Гассенди, твои кислоты крепки, но для меня не новы.

Гассенди. Счастлив ты, если природа не найдет кислоты покрепче. Я знаю мудрых старцев или полустарцев, людей твоего возраста, в которых вспыхивала перед угасанием безумная жажда любви плотской и духовной, то, что дает столько прелести юности. О! О! Друзья, вдумываясь в жизнь, я нашел, что пол в ней чуть ли не все! Слава, богатство — это ведь главное достижение, но когда их меняют на живое наслаждение — что сравнится с наслаждением любви? Если даже говорить о Венере пандемической, о простой любви тела, то и это услада услад. А смотри, как причудливо сплетается со страстью тела все, о чем пел Анакреон и вещал Платон!

Кампанелла. Так это!

Пейреск. Так это!

Задумчиво пьют все трое. Молчание.

Гассенди. Я начал какую-то мысль... Я вел подкоп под тебя, Кампанелла. Да, вспомнил. Итак, до смерти умираем, когда уже теряем способность любить, вот так полно, телодухом, если ты меня понимаешь, хотя для меня все есть тело и его свойства. Но, друзья, что если силу любить не потеряешь, но потеряешь силу быть любимым? По природе я сладострастен, как сатир. Правду говорили древние: от старца отходит Эрот, но Приап пребывает до вечера жизни. Мне всего 45 лет. Но я стал бешен в отношении любви. Боюсь, как бы не израсходовать себя и от страха остаться в темноте не сжечь слишком скоро масло лампады. Но, amici [8*], я же знаю, что уже никто не может меня-то полюбить. Ах, если бы девушка могла полюбить меня!

Пауза.

Меня любили девушки. Любовались мною. Молились на меня. Я не покупал их, а они жаждали ласк моих. А когда девушка умна? Когда она любит в тебе то, что сам ты в себе любишь! Ах, и у меня была моя Элоиза! Но теперь, когда я толст, когда от неизвестной причины кокетливое розовое пятно моего юношеского носа выросло в черный крупный перец, когда я стал — увы!— смешон, никакая субтильность мысли, ни каскад остроумия, ни жовиальность, равная Рабле, ни ars amandi [9*] — не дадут мне уже Элоизу. Приходится выбирать только между товаром, который так или иначе продается, и быть счастливым, если набежишь на еще свежую вдову, которая подмигнет тебе: отчего бы нам не насладиться опытом, помноженным на опыт? А в конце концов — хорошо и это. Пройдет и это. Я не хочу быть стариком. Когда я увижу, что чувственность во мне остывает, я постараюсь обострить ее пиром изощренного разврата и потом умру, как римляне мудрой эпохи, которую дураки-христиане считают упадком. (*Пьет.*)

Молчание.

Кампанелла. Да, веселый, но горький друг Гассенди... да, ты положил палец на больное место. (*Пьет и тяжело ставит кружку на стол.*) Вот и я так. Я тоже люблю и хочу быть любимым. Люблю девушку. Хочу быть ею любимым. Жизнь моя бедна любовью. Только двух женщин я помню. Одна была моей короткий миг. О! как была моею! И... изменила. И даже простить не мог — погибла. Другая... какое божество... Казалась непри-

[8*] Друзья (*лат.*).
[9*] Искусство любить (*лат.*).

ступной. И вдруг поставила сама себя наградой достижения. Но не достиг. И отвернулась. А сейчас... Искусителя ли то работа? Любуюсь девушкой и чувствую непристойную в мои годы страсть. Страдаю, как юноша...

Гассенди. Радуйся. Это хорошо.

Пейреск. Кого же ты любишь, Фома? Уж не племянницу ли мою козочку Адорэ?

Кампанелла. А если б?

Пейреск. Возьми ее, друг великий. Я охотно дам тебе ее.

Кампанелла. Она не нужна мне без ее любви.

Пейреск. Фома, ты уменьшаешь свое обаяние. Ты вполне можешь завоевать ее.

Кампанелла. Как можешь ты говорить такой вздор! Я — монах к тому же и не могу стать ее мужем.

Пейреск. О, пустое! Она сирота, и за нее отвечаю один я. Она наследница половины моего имения и успеет выйти замуж после твоей смерти. Я, Пейреск,— вольнодумец. Что такое для нас предрассудки вульгарных людей? Прекрасное — вот к чему надо стремиться. А это прекрасно — наградить Кампанеллу в вечер его жизни очаровательной золотой принцессой. Это прекрасно — ввести в жизнь девочку с фиолетовыми глазами, дав ей руку великого мудреца, великого среди великих, ибо таким я почитаю тебя, мой несравненный друг, брат и учитель.

Гассенди. Все это мне нравится чрезвычайно. Bibendum est! (*Пьет.*)

Кампанелла задумался и смотрит перед собою.

Пейреск. Здесь, в моих садах, я на твоем месте скинул бы рясу, оделся бы в величественную, но более изящную одежду, сбрил бы бороду, как делают многие. Э? Гассенди, подумай, разве он не был бы хорош в шляпе с пером и бархатном кафтане? Э? И на коне?

Кампанелла. Молчи... Ужели ты думаешь, что я пущусь на такой маскарад?

Гассенди. Пейреск говорит дело. В ваши годы, в конце концов, женятся. Женятся и на молодых! И вы совсем особенный человек. Вдруг... вдруг девочка полюбит вас? Но в этой рясе она попросту и не догадается это сделать.

Кампанелла. Дайте мне руку, Гассенди.

Гассенди (*дает руку*). О! О! Что вы делаете? Вы раздавите мне пальцы.

Кампанелла. Я силен. Я хорошо владею мечом... и конем.

Пейреск (*вставая*). Смотрите... вон, вон там... девочка бежит сюда.

Кампанелла (*встает тоже*). Да, это она.

Гассенди. Пойдемте, сеньор де Пейреск. Пусть они предварительно поворкуют. (*Берет под руку Пейреска и уходит, улыбаясь и слегка покачиваясь.*)

Кампанелла (*сидит в задумчивости*). Смешно... смешно... смешно Гассенди — шут. Старый добрый Пейреск не далеко ушел от шута. Но я-то серьезнее. Смешно.

Адорэ (*вбегая*). Вот и вы. Я знала, что вы здесь. И даже моя роза лежит около вашей кружки. А мне так надоел Бронислав, что я решила посидеть около вас. Ведь он только вас боится. (*Садится около него.*) Вы думаете? Я мешаю вам?

Кампанелла. Я задумался. Но ты не мешаешь мне, Адорэ. (*Смотрит на нее, потом берет ее за обе щеки и целует в губы, она простодушно целует его.*) Ты — очаровательна. (*Адорэ смеется.*) Я влюблен в тебя.

Адорэ. Да ну? Что же тут удивительного? В меня все влюблены.

Кампанелла (*улыбаясь*). А ты?

Адорэ. Ни в кого. Конечно, больше всего мне нравится Бронислав. Он очень красив... и забавен. Мне нравится злить его. И потом — мы словно

боремся с ним — кто кого? Я играю с ним, как кошка с мышкой, а между тем я — мышь, а он — кот.

К а м п а н е л л а. И что же — он хочет жениться на тебе?

А д о р э. Конечно, хочет.

К а м п а н е л л а. Вряд ли ты будешь счастлива с ним. Он высокомерен, себялюбив и буен.

А д о р э. Это-то и интересно.

К а м п а н е л л а. Так, значит, ты решила?

А д о р э. Почти.

К а м п а н е л л а. Я не советую тебе.

А д о р э (*живо*). Нет, не становитесь нам поперек дороги, учитель. Если вы напугаете дядю — он не согласится. А между тем я уверяю вас, что Бронислав будет у меня послушным мальчиком.

К а м п а н е л л а. Ты — дитя.

А д о р э. Конечно.

К а м п а н е л л а. Созрей сначала.

А д о р э. Мне скучно ждать. В сущности, мы же любим друг друга, и любим интересно.

К а м п а н е л л а. Какая ты... Ты не похожа на других девушек этого времени.

А д о р э. Я племянница Пейреска-вольнодумца, дочь корсара Мадора. Я провансальская птичка.

К а м п а н е л л а. Райская птичка. Или... нет. Знаешь, в рай залетела попущением божиим птичка из ада. Огненная птичка из сада демонских услад, которую завел Сатана себе там. У его птиц нет совсем души, но они поют пленительно и сияют огнями. Эта птичка смутила всех святых. Святой Себастиан тоже полюбил ее. Он вынул струну из своего сердца, положил ее на лук и убил птичку. Он прижал ее яркое, бездыханное тельце к своему раненому сердцу, и кровь текла, текла, текла... Но ты совсем не похожа на это... Я выпил очень много вина с этим мудрым шутом Гассенди. Но пьяным быть хорошо. Какие у тебя фиолетовые глаза! Дай я еще поцелую тебя. (*Целует ее.*)

А д о р э. Можно подумать, учитель, что вы не шутите, когда говорите, что влюблены в меня.

К а м п а н е л л а. Ну, знай — я не шучу. Я люблю тебя. Если бы я был моложе — я скорей убил бы поляка, чем уступил тебя. Я был бы твоим мужем.

А д о р э. Боже, как я счастлива! Как я счастлива, учитель!

К а м п а н е л л а. Да? Почему?

А д о р э. Но подумайте, какая это гордость! Вы великий учитель, совсем пожилой человек, монах,— вы в меня влюблены! Это правда? Но ведь это великолепно! Можно рассказать это Брониславу?

К а м п а н е л л а (*молчит долго*). Можно.

А д о р э. Я сказала глупость?.. Вы рассердились? А мне страшно хочется, чтобы вы любили меня, чтобы вы были влюблены в меня. Неужели вы действительно влюблены в меня? Вам хочется обнимать и целовать меня? Да?

К а м п а н е л л а. Да, да, Адорэ. Какая ты странная...

А д о р э. Вы можете. Я буду назначать вам свидания. Боже, Господи, как это интересно. Я не скажу Брониславу. Напротив, я таинственно буду приходить к вам, учитель. Но я хотела бы, чтобы он подсмотрел. О! как он будет ревновать! Боже, как я счастлива! (*Бросается целовать его.*)

К а м п а н е л л а. Нет, нет. Не сейчас, Адорэ.

А д о р э. Но почему?

К а м п а н е л л а. Не сейчас. Уйди. Ты смешная. (*Смеется невесело.*) Ха-ха-ха... Я не ожидал узнать тебя такой.

А д о р э. Я разонравилась вам?

К а м п а н е л л а. Что ты... Я влюблен еще больше... Да... я выпил

слишком много вина с этим шутом Гассенди. (*Встает.*) Я пойду к морю. Пойду по берегу моря далеко. Дай мою палку... (*Она подает.*) И розу... (*Берет ее.*) Она увядает. Пойду. Там ветер. Чайки... Солнце... волны... Правда? Ну, прощай пока, птичка.

А д о р э. Слушайте... Вы не шутили, выпив вина? Как мне понять вас? Вы действительно влюблены в меня?

К а м п а н е л л а (*резко*). Глупая, влюблен страстно. Ухожу, чтобы не оскорбить твою юность страстной лаской старика. Понимаешь?

А д о р э. Но вовсе нет. Вы меня не оскорбите этим.

К а м п а н е л л а. Глупая! Ведь не можешь же ты влюбиться в меня?

А д о р э. Не уходите. Объясните мне, что это — влюбиться? Хотеть целовать, да? Хотеть быть близко? Дразнить? Делать то больно, то хорошо? Я так люблю Бронислава. О вас мне и подумать такое было страшно. Мне и теперь страшно. Вот вы такой строгий, почтенный... и эта роза. Но право, клянусь вам Матерью божьей, когда вы мне сказали, вот... уж почти нет разницы для меня между вами и Брониславом.

Пауза.

Да, да... Вы думаете, мне неприятно было бы, если бы вы стали много, много целовать меня? Вы ошибаетесь. Мне даже хочется дразнить вас. Все, как с Брониславом...

К а м п а н е л л а. Ты еще никого не любишь.

А д о р э. А когда любишь — что тогда бывает?

К а м п а н е л л а. Любимого ни с кем не сравниваешь. Он один, как солнце на небе.

А д о р э. Ах, вот что... И нельзя любить двоих?

К а м п а н е л л а. Нет.

А д о р э. А я думаю, что вы ошибаетесь, отец мой! Вы — монах, и мне кажется, вы не очень-то много понимаете в этом.

К а м п а н е л л а. Адорэ... Ты — очаровательна, ты — юность, ты — резвость, грация, природа! Зачем я стар!

А д о р э. Ну, так вот что я скажу вам. Будь вы молоды, я бы никогда не поставила вас рядом с Брониславом, а так...

К а м п а н е л л а. Ну?

А д о р э. Я ставлю вас рядом. Я не знаю, кто мне больше нравится. Может быть, если вы постараетесь...

К а м п а н е л л а. Если я постараюсь! Я — постараюсь! Не взапуски же мне бежать с твоим Когутом.

А д о р э. А отчего бы нет? Вот теперь я вам скажу: если вас обижает мысль пересилить соперника ради моей любви, то вы не любите меня.

К а м п а н е л л а. О, глупая девочка, о, глупая! Но мы с ним совсем разные.

А д о р э. Поймите — это и хорошо! Ну, идите к чайкам, учитель. И думайте обо мне. Представьте, мне тоже захотелось быть одной. Я уйду в самую глубину сада, где воркуют голуби... Знаете? И там буду думать о вас и о Брониславе. Я счастлива, что вы влюблены в меня. Хотите поцеловать меня?

К а м п а н е л л а. Нет.

А д о р э. Вечером приходите к голубятне. Когда уже станет темнеть. Да? Придете?

К а м п а н е л л а. Приду.

Они расходятся. Из-за кустов выходит Кадмея. Она растерянно опускается на траву, плачет.

З а н а в е с

КАРТИНА 3-я

Вечер

Глубина сада. Густая растительность. Сбоку большая голубятня. Слышится немолчное воркование. Время идет к вечеру. У самой голубятни большая каменная скамья, усыпанная падающими цветами белой акации. Адорэ лежит на скамье в задумчивости.

А д о р э (*вдруг смеется, встает и вытягивается всем телом. Потом достает маленькое серебряное зеркало, смотрится в него и поправляет волосы. Смотрит на солнце.*) Еще рано. Он не скоро придет. Десять раз успею вернуться... К тому же маленькой Адорэ лучше придти после него. (*Хочет идти, с другой стороны выходит Захария.*)

З а х а р и я. Адорэ! Я искал тебя...

А д о р э (*оглядываясь*). Вот как? Для чего же ты искал меня?

З а х а р и я. Не знаю... Я это так сказал, когда увидел тебя... То есть я действительно искал тебя, но ни для чего особенного... Чтобы увидеть тебя.

А д о р э. Ну, увидел? (*Поворачивается.*)

З а х а р и я. Адорэ, ведь ты ничем не занята? Ты как-то сказала, что тебе очень трудно понимать геометрию... Ты очень путалась в свойствах шестиугольника, а это так просто. Хочешь, я очень просто расскажу тебе это?

А д о р э. Шестиугольник? Очень мне нужен твой шестиугольник. Сам ты круглый дурак, хотя в тебя и вписан твой шестиугольник.

З а х а р и я. Почему ты ругаешь меня?

А д о р э. А почему ты пристаешь ко мне? Судьба сделала тебя моим товарищем по учению. Ну ладно, будь товарищем. Но разве я не слышу твоих вздохов и не ловлю взоров?

Захария закрывает лицо руками.

А д о р э. Ты осмеливаешься разыгрывать из себя ухаживателя. Стыдись! Твое дело — математика и метафизика. Уйди в науку. Тебя будут уважать. Но с твоим желтым верблюжьим лицом, с горбом, тонкими ногами и прочими прелестями не танцовать же тебе амурные менуэты?

З а х а р и я. Адорэ, любят не те, кто красив. Любят тех, кто красив.

А д о р э. Вот потому я и не могу тебя любить!

З а х а р и я. Душа моя делает ошибку и сознает ее, и страдает ею. Ты должна была бы любить меня, если бы была достаточно глубока и увидела бы мою душу, а я должен был бы с отвращением отпрянуть от тебя. Ибо душа твоя пуста и зла. Душа моя, должно быть, видела ангелов до рождения и пленилась твоим сходством с ними, ибо ангелы воистину должны быть таковы в своей зримости, но тебе образ ангельский достался в насмешку.

А д о р э. Теперь ты будешь утверждать, что виноград кисел. Нет, мой друг,— я достойна любви. Если бы ты знал, кто любит меня со всем пылом, какой мудрец и ясновидец,— то ты понял бы, что я достойна любви. Ведь не судит же он по одной наружности? Нет, он очарован всем существом моим. (*Срывает ветвь акации и делает себе венок.*)

З а х а р и й. Кто он? Бронислав? Хорош мудрец!

А д о р э. Бронислав? Бронислав — мальчишка, Бронислав может бегать за каждой девчонкой.

З а х а р и я. Кто же?

А д о р э. Ах, Захария, какой ты гадкий и некрасивый. И зачем ты пришел сюда? Тебе последнему сказала бы мою тайну, но она так и прыгает из моей души. (*Торжественно.*) Знай, что великий учитель, Фома Кампанелла — мой возлюбленный!

З а х а р и я. Что ты мелешь!

А д о р э. Да. Он приходит на свидание ко мне. Он целует вот эти руки! Он плачет, склонив на мои колени свою мудрую седую голову... Он воспевает меня в своих сонетах и канцонах. И я люблю его. Я дам ему высшее счастье, я верну ему молодость... А может быть, и нет. Все зависит от меня.

Я высоко держу золотой плод! Я — раздавательница счастья! Ах, как хорошо! Ну, вот тебе кисть акации... бедняга! (*Бросает ему ее и убегает.*)

З а х а р и я (*садясь на скамью*). Совершенно невероятно. (*Подносит руку ко лбу.*) Ошеломляюще.

Входит Кадмея.

К а д м е я. Ты здесь?

З а х а р и я. Странный случай, что ты пришла, Кадми. Ты — единственный друг мой. Я должен поделиться с тобой. Вероятно, она лгала...

К а д м е я. Кто? Адорэ? Может быть, она рассказала тебе...

З а х а р и я. Что?

К а д м е я. То...

З а х а р и я. Ну?.. Что же?.. Откуда ты знаешь?

К а д м е я. Я случайно слышала.

З а х а р и я. Что ты слышала?

К а д м е я. Как она назначила ему придти сюда.

З а х а р и я. Ему?

К а д м е я. Да.

З а х а р и я. Учителю?

Кадмея кивает головой.

З а х а р и я. Сюда?

Кадмея кивает головой.

З а х а р и я. Когда?

К а д м е я. Вечером.

З а х а р и я. Что же, ты пришла опять подслушивать?

К а д м е я. О, Захария!

З а х а р и я. Так зачем же ты пришла сюда? Смотри мне в глаза... Ты плакала. Я все понял. Ты любишь учителя! Ты ревнуешь! Ты ходишь за ним поодаль... А он... А он увлекся недостойным образом этим наглым дьяволенком! Да! Недостойным! Я тоже люблю ее, но я знаю, что она злая, пустая... Ее надо отдать Брониславу, такому же, как она... Но мне еще простительно, а ему, старому, мудрому монаху... Мое благоговение перед ним падает в прах! О, какие они все ненавистные, Кадмея! Она дразнилка, дрянная, заносчивая, жестокая, чертова кукла! Этот Бронислав — надутый, грубый, забияка! Этот фальшивый мудрец, на старости лет соблазняющий смазливых учениц, этот дядя Пейреск, готовый из старческого сладострастия благословить самый Содом, этот развратитель Гассенди с его холодным, убивающим душу учением. Какой мир, Кадмея! Какое омерзение! И я разве лучше? Я мудрый мальчик со способностями Даниила, попавшего в этот ров львиный,— и вот вздыхаю по презирающей меня маске! А ты? Ты влюблена в этого старика? Проклятые сады Пейреска с их ароматами и качанием богатых ветвей, проклятые сады с их дождем цветов и лепетом вод!..

К а д м е я. Захария Леви, не произноси проклятий. Зачем ты злобствуешь, Захария? Все, наоборот, прекрасно. О, найди в себе силу любоваться! Захария, как ты смел произнести хулу на учителя? Старик? Он, как Юпитер Фидия. О, если бы она могла сделать его счастливым! Пусть бы все они были счастливы, Захария! Если мы останемся несчастны, постараемся в несчастье быть благородными. Не ты ли повторяешь, что именно несчастье и нужда — учат хороших людей и ведут их к возвышению. Пойдем отсюда, Захария, не будем мешать этой любви. Я пришла сюда как-то невольно... Но мы должны отойти.

З а х а р и я. Отойдем, отойдем. Мне, право, сдается иногда, что ты тоже еврейка. В последние века евреи только и делают, что уступают дорогу. Будем терпеливы. Не главное ли в самом деле — не потерять терпения? Но мы еще сумеем полюбоваться тем, как столкнутся мудрец и его блистательный ученик... О! полячок не отойдет так просто.

К а д м е я. Как я боюсь этого! Я полна тревоги, Захария. Мы должны быть на страже.

З а х а р и я. Ну, конечно, не взять ли мне алебарду и не ходить ли вокруг, чтобы охранять любовные беседы Кампанеллы с ученицами?

К а д м е я. Ты не злой. Наоборот — ты добрый и умный. Ты только рассердился, потому что мучаешься. Пойдем отсюда.

З а х а р и я. Кадмея, ты действительно, добрая. Ты — овечка. Я... (*Смеется и быстро уходит.*)

К а д м е я (*одна*). Все это опасно. Что может наделать Бронислав? Но мне страшно и стыдно предупредить учителя. Написать? Да... Это лучше всего... Но у меня нет ничего, на чем я могла бы написать... Они не должны приходить сюда... Пусть выберут другое место. Захария скажет все Брониславу,— это ясно. (*Ходит в беспокойстве.*)

Входит Кампанелла, он идет быстро, взмахивая своим жезлом, прямой, складки его мантии развеваются, на губах его играет задумчивая улыбка.

К а м п а н е л л а (*поднимает голову*). Кадмея? Я не ждал встретить тебя здесь.

К а д м е я (*опустив глаза*). Учитель...

К а м п а н е л л а. Славная девочка ты, Кадмея. Прекрасное существо. Всякие науки даются тебе. И сердце у тебя святое. Я никогда не говорил тебе приятного. Я как-то суров обыкновенно. Но ты чудесная девушка. Ты дашь много счастья людям.

К а д м е я (*не поднимая глаз*). Учитель...

К а м п а н е л л а (*ласково прикасаясь к ее щеке*). Иди, дитя, иди. Я хочу остаться здесь.

К а д м е я. Учитель... Бронислав хотел поставить здесь капкан... Он придет сюда скоро... Я... я хотела посмотреть. Он хотел поставить капкан для лисицы, которая повадилась к голубям.

К а м п а н е л л а (*смотрит на нее долго*). Да?.. Ну скажи Брониславу, что я выбрал этот уголок для моей сегодняшней медитации. Скажи, что я запрещаю ему сегодня приходить сюда.

К а д м е я. Я скажу. (*Уходит, останавливается.*) Но вы знаете, какой непослушный Бронислав.

К а м п а н е л л а. Меня он послушает.

К а д м е я. Может быть, лучше выбрать вам другое место для... медитации?

К а м п а н е л л а (*садится на скамью, рассеянно*). Нет.

К а д м е я. Сюда может придти и Адорэ... Она часто ходит сюда... Предупредить ее, чтобы она сюда не приходила?

Кампанелла поднимает голову и смотрит на нее пристально.

К а д м е я. Она помешает вам.

К а м п а н е л л а. Да... Ты можешь сказать Адорэ, что я предаюсь здесь размышлениям.

Кадмея тяжело вздыхает, хочет еще что-то сказать и уходит.

К а м п а н е л л а (*один. Достает свиток бумаги и читает.*)

Весенний цвет моей поры осенней,
О, поздний цвет, фиалковый свой взор
Веди вокруг, средь хладных дуновений,
Лучей померкших, тучей крытых гор.
Плоды — и те иль сняты, иль опали,
Зима срывает золото листов.
Все умирает, льется песнь печали,
Растет лишь строй кладбищенских крестов.
К чему же твой расцвет, моя фиалка?
Ведь радость для тебя не суждена.

Себя, мою любовь, мне горько жалко!
Зачем судьбой ты поздно рождена?
Ты так прекрасна, так душа желает
Благословить тебя, благодарить за дар,—
Но похоронный гимн мне напевает
Осенняя пора, закатный мой пожар!

Все громче воркуют голуби, из дома доносятся звуки флейты.
Пауза.
Раздвигая гроздья глицинии, выглядывает Адорэ.

А д о р э. Я не помешаю вашей медитации, отец? Кадмея так серьезно предупреждала меня не ходить сюда.

К а м п а н е л л а. Я вижу, ты в шаловливом настроении, Адорэ. Конечно, это идет к твоему возрасту. Может быть, и я еще способен шутить, Адорэ. Но для этого будет иное время. Час серьезен. Сядь рядом и слушай меня.

А д о р э (*садясь рядом с ним*). Мудрый друг, если вы начнете говорить мне о том, что вы старый, а я молодая, что вы опытный, а я глупая, что наши годы, положения и прочее разделяют нас, но что — увы и ах!— вы любите меня и так далее и тому подобное,— то можете не тратить слов. Со всяческим уважением скажу вам — все это совершенно излишне. Учитель, мне трудно думать. По-видимому, моя голова сделана не для этого...

К а м п а н е л л а. О, твоя золотая, кудрявая головка...

А д о р э. Не перебивайте... Так вот — золотая кудрявая головка сделана не для раздумий, по-видимому, однако я думала. Вот что я придумала. Ничего не может быть глупее, как сделать из вашей любви ко мне... из нашей любви друг к другу, мой мудрый друг, серьезную вещь. Ничего не получится, кроме слез и горя. Между тем, мы можем дать счастье друг другу. Разве можно не любить вас? Я видела ваш портрет, вы там молоды, но вы только теперь прекрасны. Да, вы прекрасны, как пророк, как Моисей. В каждом вашем движении мощь. А ваши глаза? Вы глядите очами, полными огня. А ваши речи? Я не очень-то умна, как вы знаете, но ведь даже я вся замираю, слушая вас. Зачем же вам сомневаться? Я люблю вас. Мне в голову не приходило любить вас, как возлюбленного, пока вы не сказали, но когда вы сказали,— я полюбила, с каждым часов люблю все больше.

К а м п а н е л л а. Чудо, чудо...

А д о р э. Но не надо брать этого всерьез. Правда, я готова плакать. Не надо брать этого всерьез. Целуйте меня, ласкайте меня: я ваша птичка, я ваше счастье, маленькое, золотое, легкое. Но не надо брать всерьез. Вы не поверите, как я легкомысленна. Я знаю, чувствую, что для вас любовь — это что-то торжественное, даже страшное. Правда?

К а м п а н е л л а. Правда, дитя.

А д о р э. Вот видите. А для меня это что-то нежное, порхающее.. Я не могу не дразнить Бронислава... Я не могу любить кого-нибудь одного. Я — такая.

Пауза.

Ну? Сердитесь? Если сердитесь — тогда разлюбите меня. Вы самый лучший человек на свете. Я хочу быть совсем хорошей с вами. Я люблю вас. Я хочу дать вам все, что могу. И не обещать вам того, чего я не могу дать.

К а м п а н е л л а. Адорэ... Странное дитя... в своем легкомыслии ты мудра, многоопытна и поучаешь меня, словно мальчика. И вместе с тем, как ты холодна! Адорэ, золотая змейка, ты — прозрачна и вместе таинственна и опасна. Нет, я не ждал тебя такой. Как ты свободна... В тебе мало человеческого. Ты, как элементарный дух. Ты из породы фей.

А д о р э. Ну да. Сумей же, мудрый человек, взять дар, который я даю тебе. А если ты захочешь верности, клятв, чувствительности, святости, так полюби лучше Кадмею. (*Смеется.*)

К а м п а н е л л а. Тебя люблю, тебя!

А д о р э. Ну? Разве я не серьезно говорила? Довольно. Я сказала. Я убираю свою скучную рассудительность в коробочку. Знаете — я терпеть не могу шить. С чувством особого удовольствия укладываю всегда наперсток и иголку в шкатулочку. Долой рассудительность! Я только шалунья и больше ничего. Хочешь шалить, большой человек? Не пугай меня морщинами... О, какая густая борода! (*Ласкает его бороду.*) Я не боюсь тебя, борода, потому что ты рада, что мои пальчики бродят в твоем лесу... А! Морщины убегают, в глазах всходит солнце. Ага! Губы раздвигаются... О! О! Как все лицо преобразилось, когда вы улыбнулись! Смейся, смейся и целуй меня!

Кампанелла хватает ее на руки и сажает к себе на колени. Он почти всю закрывает ее широкими рукавами рясы и целует много.

А д о р э (*хохочет*). Довольно, довольно... Твоя бородища ужасно колется! (*Вырывается из его объятий, но остается на коленях, прижавшись к его тяжело дышащей груди.*) Ах, как мне хорошо! Я — птичка, а ты мой дуб. Как мне называть тебя? Мне надо называть тебя так, чтобы это слово выражало, как я люблю тебя, а вместе с тем и то, что ты — великий. Не может быть, чтобы Даная или Семела называла Юпитера — Жужу! Ха-ха-ха!

К а м п а н е л л а. Называй меня по-прежнему — учитель!

А д о р э. Нет, я буду называть тебя Адорэ, потому что я обожаю [10*] тебя. Мы будем оба Адорэ. А теперь скажи мне, мой Адорэ, ты счастлив?

К а м п а н е л л а. Да, да, я счастлив.

А д о р э. Пойми: я ни в чем не откажу тебе. Я — твоя. Только одно — не ревнуй меня. Если ты, кроме ласк, восхищения, нежности, станешь причинять мне огорчения,— я улечу.

К а м п а н е л л а. Я не знаю, буду ли я в силах. Я слишком люблю тебя, пташка волшебная, дух ртути, юркая фея, золотая стрекоза.

А д о р э. Колючая, заметь, Адорэ, я могу ужалить в сердце. Я — осиная королевна. Ха-ха-ха! Люблю слишком! Люби просто... не люби слишком.

К а м п а н е л л а. Неужели ты думаешь, что я в состоянии буду перенести мысль, что ты целуешь еще кого-нибудь?.. что ты целуешь этого мальчика? (*Вдруг берет ее за руку около плеча и резко сажает на скамью, встает и делает два шага вперед. Стоит спиной к ней.*) Уйди тогда... Сейчас мне нарисовалась эта картина. Я почувствовал, что я буду способен на преступление.

А д о р э. Ну вот... Слушай, это, пожалуй, жутко и интересно. Это действительно значит, что ты меня сильно любишь. Но это— очень дурно. Лучше уйти мне. Лучше забудем все. Милый, ты хочешь сковать твою Адорэ? Но если я почувствую, что мне запрещено то и другое,— я или буду грешить тайно или буду тяготиться. Хорошо это будет, если я буду ждать твоей смерти как освобождения?

К а м п а н е л л а (*стоявший к ней спиной, оглядывается, как ужаленный.*) Адорэ!.. Ты — маленькое чудовище.

А д о р э. Я сказала что-нибудь очень дурное? Ты сердишься? Не сердись. Сядь лучше, возьми меня к себе и ласкай меня. Мы всё рассуждаем — это скучно.

К а м п а н е л л а. Ты посмела сказать, что любишь меня. Ты мне пела тут, что я достоин любви. Тогда я беру тебя всю, слышишь — всю. И если кто-либо коснется тебя без твоего позволения,— смерть ему, а если ты позволишь — смерть тебе и мне! Глупая! Ты не знаешь совсем, что такое любовь льва! Я подходил к тебе с робостью. Я обрадовался твоему привету. Теперь я схватил тебя, ты моя! Ты слишком близко подошла к моему сердцу. Ты его коснулась. Оно не может больше биться без тебя.

А д о р э. Не губи нашу маленькую любовь. Твоя Адорэ упряма. Да я же и не могу иначе. Только что я так радовалась. Еще ничего не случи-

---

[10*] Игра слов: adorer (*франц.*) означает обожать.

лось, и вот тут — не сходя с места — ты уже мучаешь меня ревностью. Я буду плакать.

Кампанелла (*с внезапной нежностью*). Не огорчайся, не плачь, девочка. (*Садится около нее и обнимает ее.*) В самом деле ты так много мне предлагаешь, так щедро... Мы посмотрим. Только люби меня. Зачем ты сразу хочешь показать мне тесную границу моего счастья?

Бронислав раздвигает гроздья глицинии и показывается там, откуда раньше вышла Адорэ.

Адорэ (*сидя на коленях Кампанеллы, запрокидывает голову на его плечо и смотрит в небо*). Стало темно. Голуби успокоились, но нежно чирикает какая-то птичка. Смотри, как ясно небо. Как милы редкие звездочки. Не думай, дай мне не думать. Будем, как животные, как цветы. Знаешь, никто меня так не обнимал и не целовал. Никто... Разве можно сравнивать ласки мальчишки с твоими?

Кампанелла. Правда... не думать ни о чем... Взять свое мгновенное и вечное счастье. (*Обнимает ее.*)

Бронислав (*выскакивает, как тигр*). Стой! Черт побери! А! О! (*Не находит слов.*)

Кампанелла (*встает. Адорэ тоже, но держится за ним*). Разве я не запретил тебе приходить сюда?

Бронислав. Молчи! Соблазнитель! Это — моя невеста! Понимаешь? Я прокричу на весь мир, какая лисица повадилась на нашу голубятню! Вижу, что шлык не делает монаха!

Кампанелла (*успокоившись*). Мальчик, она не невеста тебе. Девочка любит меня. Если это больно тебе — жалею, но поправить дела не могу. Что же до того, что я монах, то это не твое дело, это дело старших.

Бронислав. Я разоблачу тебя перед всем светом, лицемер! Адорэ, разве ты не невеста моя? Адорэ, будь моей! Я молод, я силен, у меня все впереди, Адорэ. Я дворянин, я буду знатен и знаменит, Адорэ! Мы поедем в Париж ко двору, мы будем блистать там, Адорэ. Зачем ты губишь себя? Что тебе даст старый монах? Любовница монаха — стыд, стыд, Адорэ!

Кампанелла. Ну что же? Пусть Адорэ выбирает.

Адорэ (*она выходит на первый план и становится между ними*). Я еще не сделала выбора. Да и почем вы знаете — не выберу ли я когонибудь третьего? (*Гордэ поднимает голову и уходит.*)

Минута молчания.

Бронислав. Монах, говорю тебе — это чертовка!

Кампанелла. Отойди же от нее, юноша. Она погубит тебя.

Бронислав. Никогда! Знай — никогда! Смерть или Адорэ! На гербе Когутов стоит: nunquam retro[11*]!

Кампанелла. Ты не отступаешь из гордости. Для меня же она все счастье моего заката.

Бронислав. Если ты не уйдешь отсюда, монах, клянусь тебе престолом Римским — я буду кричать перед архиепископом Арльским, в капитулах, монастырях, на улицах о твоем грехе.

Кампанелла. Не думай испугать меня.

Между деревьями потемневшего сада видны фонари. Входят: Пейреск, Гассенди, двое слуг и Кадмея.

Пейреск. Что тут происходит? Кадмея прибежала звать нас.

Бронислав. Тут происходит скандал, о котором я не желаю говорить при слугах. (*Уходит.*)

[11*] Никогда вспять! (*лат.*).

Гассенди. А! Высокочтимый учитель, пользуясь разрешением дядюшки, отправился на его голубятню... Декамерон!

Пейреск. Есть важная весть: кардинал прислал письмо, в котором просит меня вместе с вами, дорогой брат, тотчас же выехать в Париж, где он рад принять вас. Не знаю, что нужно хитрейшему, но раз зовет — надо ехать.

Гассенди. При этом не перегружайте ваш караван, сеньор де Пейреск, возьмите вашу племянницу, а остальных учеников оставьте пока здесь.

Пейреск. Мысль дельная. Мы выезжаем завтра утром. Готовьтесь все.

Занавес



А. Т. ТВАРДОВСКИЙ
Фотография. Смоленск, ⟨1930⟩
Литературный музей, Москва

Однако этот кажущийся наивным заголовок, каково бы ни было его происхождение, в сущности, вполне отвечает содержанию дневника юного Твардовского, чья внутренняя, духовная жизнь уже в ту раннюю пору привлекает своей напряженностью, насыщенностью, остротой мировосприятия и драматизмом исканий.

Первая же запись не только довольно неожиданна для юношеской тетради, но в чем-то уже даже предвещает зрелого Твардовского, обнажая истоки той целеустремленности и самодисциплины, которые были свойственны ему как литератору: «У Мефодьки есть книга приключенческих рассказов. Хочу взять, а с другой стороны думаю: не нужно. Все эти страхи, вся эта дребедень, против которой я не надеюсь удержаться, вскружит мне голову, замутит ту спокойную, своеобразную поэзию чувств: хаты, амбары, поля, гумна. . .» (16 октября 1926 г.).

И этот отказ от соблазнов «легкого чтения» совершается в такой житейской обстановке, которая, пожалуй, как раз побуждала отвлечься от нее, хотя бы на время «позабыться в чародействе красных вымыслов»: «Когда я сейчас это пишу, сидя за столом,— читаем

АЛЕКСАНДР ТВАРДОВСКИЙ

НА ПУТИ К «СТРАНЕ МУРАВИИ»

(РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ ПОЭТА)

Вступительная статья А. М. Туркова
Публикация М. И. Твардовской
Примечания Р. М. Романовой

Начиная с юношеских лет Александр Трифонович Твардовский всю свою жизнь вел дневники и записные книжки.

Отдельные фрагменты из них увидели свет еще при жизни поэта. Так, в его статье «Как был написан «Василий Теркин» (Ответ читателям)», опубликованной в 1951 г. [1], были приведены некоторые дневниковые записи 1940—1941 гг., относившиеся к творческой истории знаменитой «книги про бойца». В 1969 г. были напечатаны заметки «С Карельского перешейка (Из фронтовой тетради)» с характерным предуведомлением: «Заметки эти в большей части — «расшифровка» и перебелка карандашных записей со страниц записной книжки в «Рабочую тетрадь» 1939—1940 гг. Занялся я этим тотчас по окончании боев в Финляндии из опасения, что по прошествии времени сам не смогу разобраться в тех записях, сделанных по выработавшейся журналистской манере с сокращениями и условными обозначениями, где иногда одна фраза и даже одно памятное словечко содержало для меня целый эпизод, биографию, картинку» [2].

Уже из этих слов было ясно, что свое дневниковое «хозяйство» поэт вел по определенной системе: первоначальные записи «расшифровывались», переписывались и, вероятно, в какой-то степени сортировались.

Были у Твардовского и такие «рабочие тетради», где постепенно складывался текст того или иного произведения. Характерно, что само слово «тетрадь» нередко возникает в стихах поэта именно в этом смысле. Так, в финале «Василия Теркина» автор вспоминает, как

...украдкой,
На войне, под кровлей шаткой,
По дорогам, где пришлось,
Без отлучки от колес,
В дождь, укрывшись плащ-палаткой,
Иль зубами сняв перчатку
На ветру, в лютой мороз,
Заносил в свою тетрадку
Строки, жившие вразброс.

И в последней главе книги «За далью — даль» снова говорится:

Не то чтоб жаль, но как-то дико.
Хоть этот миг —
Желанный миг:
Была тетрадь — и стала книга
И унеслась дорогой книг.

В иных же тетрадях собственно дневниковые записи сплошь и рядом соседствуют с «заготовками», набросками и даже большими отрывками из произведений, над которыми в это время работал Твардовский.

Так, в данной публикации первая тетрадь («Из старых дневников»), помимо записей, относящихся к жизни автора в родной деревне и в Смоленске, включает в себя и «проспект» поэмы «Вступление», и наброски рассказов, и отрывки несохранившейся в целом поэмы «Игнат Соловьев и его бригада», а также опущенную нами «библиографию» ранних стихов поэта и критических отзывов о нем, снабженную позже пометкой: «Составлено в детстве, не позднее 29 г. А. Т. 6.VI.35».

Заглавие первой тетради дневника семнадцатилетнего юноши — «Пережитое» [3] — на первый взгляд кажется несерьезным, надуманным, напыщенным, быть может, навеянным прочитанными книгами, вообще чем-то явно «литературным».

далее,— мой младший братишка Вася в довольно неприятном положении на полу... Растапливается печь... Бубнит брат Ваня, читая что-то...» (16 октября 1926 г.).

Кажется довольно неожиданным, что в дневник деревенского юноши «позатесался Надсон», если употребить саркастическое выражение Маяковского,— выходец из совсем иной среды и человек другого характера. Но сочувствие, с каким Твардовский перечитывает дневники этого поэта, не лишено явной оглядки на самого себя, на собственное одиночество — пусть не в «каменных стенах казенного учебного заведения» (3 апреля 1927 г.), но в семье, где главенствует, задает тон, пытается всем навязать свою волю отец с его нескладной судьбой, амбицией, вечными бесплодными прожектами [4].

Своеобразный, отнюдь не ординарный, но тяжелый характер Трифона Гордеевича наложил властный отпечаток на детство и юность будущего поэта:

Яблоки на самых низких ветках,
Камень. . . . . .у крыльца,
Боязливых игр праздник редкий —
Все покрыто в памяти, как сеткой,
Жилками отцовского лица,

— сказано в одном из стихотворных набросков позже, в дневнике 30-х годов (28 марта 1935 г.).

Однако отцовская «коса» нашла на камень! В сыновнем дневнике звучит решительное, далеко не лишенное юношеской категоричности и максимализма неприятие отцовских взглядов и поучений: «Мне тяжело его видеть, невыносимо с ним разговаривать». И там же: «На что только я не согласен, чтобы только выйти из проклятого семейства, в котором природа заставила меня подняться» (5 апреля 1927 г.).

С горечью зафиксированы в дневниковых записях и характерные колебания отцовских настроений и оценок — от «издевательств» (возможно, впрочем, преследовавших все же своего рода «педагогические» цели) над литературными планами сына до наивного хвастовства его «дебютом» в печати: «Сейчас к нам приехал по кузнечным делам дьякон. Батя — ну-ка, Шура, покажи ту самую страницу. Дьякон почитал литстраницу, статью обо мне, стихи мои, молча перевернул газету и стал читать. Молча положил газету на стол. Батя, батя...» (2 мая 1927 г.). В последнем вздохе-восклицании — и стыд, и укор, и в то же время, пожалуй, даже проблеск какого-то понимающего сожаления.

Однако пройдет еще много лет, прежде чем отцовская судьба предстанет перед Твардовским во всей своей сложности и, быть может, даже станет неким его литературным «долгом», к сожалению, не «выплаченным»: многие годы у него существовал замысел романа «Пан» (так, с насмешливой отчужденностью, прозвали Трифона Гордеевича в деревне за то, что он всячески подчеркивал свою особенность, независимость, отличный от обычного деревенского склад жизни).

В очерке «Заметки с Ангары» (1959), рисуя портрет одного сибирского старожила, в частности, его затылок — «сухощавый, разделенный глубоким ровком надвое вдоль, в перекрестных морщинах загорелой и подвижной кожи на двух как бы жгутиках в палец толщиной», Твардовский пишет: «Я невольно вспомнил затылок покойного отца, такой знакомый до последней морщинки и черточки» [5].

При всем лаконизме этого упоминания за ним ощутимо сильное душевное движение, всколыхнувшаяся память о человеке, с которым в юности шла такая непримиримая война.

Тогда, на первых жизненных верстах, отцовский образ был важной частью того обихода и уклада, от которых юный поэт стремился решительно оттолкнуться, как отталкиваются веслом от берега, отправляясь вдаль. «Набрать запас душевных сил в дальнюю дорогу — жизнь»,— так определена в дневнике непосредственно вслед за записью о «проклятом семействе» главная задача тех лет (5 апреля 1927 г.).

И уже позже, в ноябре 1929 г., находясь в Москве, пытаясь войти в тогдашнюю литературную жизнь и испытывая ее сложное, противоречивое воздействие, Твардовский довольно наивно собирается раз и навсегда свести счеты с прошлым, «пережитым», со своими деревенскими детством и юностью: «Я должен поехать на родину, в Загорье, чтобы рассчитаться с ним навсегда. Я борюсь с природой, делая это сознательно, как необходимое дело в плане моего самоусовершенствования. Я должен увидеть Загорье, чтобы охладеть к нему, а не то еще долго мне будут мерещиться и заполнять меня всяческие впечатления детства: березки, желтый песочек, мама и т. д.» (26 ноября 1929 г.).

Знаменательно однако, что именно эти впечатления, от которых молодой поэт открещивается в свойственных в ту пору не только ему одному, но и значительному числу литераторов поисках новизны, впоследствии станут для него драгоценнейшими приметами «малой родины», без любви к которой, по убеждению зрелого Твардовского, не может быть истинного патриотизма.

Стоит вспомнить главу «О себе» из «Василия Теркина»:

И годами с грустью нежной —
Меж иных любых тревог —
Угол отчий, мир мой прежний
Я в душе моей берег. ⟨...⟩
Детства день, до гроба милый,
Детства сон, что сердцу свят,
Как легко все это было
Взять и вспомнить год назад.
Вспомнить разом, что придется, —
Сонный полдень над водой,
Дворик, стежку у колодца,
Где песочек золотой...

«Простецкое деревенское детство» (как выразился Твардовский в статье об И. С. Соколове-Микитове) оказалось во всех отношениях богаче, чем то представлялось в юную пору.

«Это была его родная полоса, он ее по-своему и задолго до знакомства с литературными ее отражениями воспринял, впитал в себя, а этот золотой запас впечатлений детства и юности достается художнику на всю жизнь» [6],— слова эти, сказанные Твардовским в 1965 г. о бунинской Орловщине, конечно же, вбирают в себя и собственный опыт их автора.

Стоит заметить, что даже в пору социально и психологически объяснимого стремления оторваться от окружавшего юношу в Загорье деревенского быта, Твардовский тем не менее вольно или невольно продолжал как художник «питаться» именно этой действительностью. Отсюда и эта тяга запечатлеть пережитое, а также эскизные наброски и зарисовки из загорьевского быта, сделанные в дневнике как бы впрок в ту самую пору, когда автор грозится «рассчитаться с ним навсегда».

Конечно, в дневнике Твардовского отразились далеко не все обстоятельства его эволюции, но можно все-таки утверждать, что основное ее направление очерчивается достаточно ясно.

Записи поэта отличаются все возрастающей самостоятельностью суждений и критичностью по отношению к распространенным в то время литературным канонам и рецептам.

На наших глазах происходит рождение неповторимой писательской индивидуальности. Автор рано осознает окружающее, как сказано в дневнике, «с какой-то своей стороны», и уже на сравнительно ранних стадиях развития обнаруживает, хотя бы в зародыше, те черты и особенности, которые впоследствии во многом определят своеобразие его характера и таланта.

Примечательны мечты молодого поэта о «веселой, увлекательной, жизнерадостной» литературе, чей «основной тон должен быть — утверждение радости нового человека — великого и простого»; «дух захватывает от желания написать такую книгу»,— говорится далее в дневнике (26 декабря 1933 г.). Они, конечно, кажутся не случайными в устах будущего автора стихов про деда Данилу и, наконец, «Василия Теркина».

Вот еще несколько характерных записей: «Говорят и так, кажется, что *теперь* грустить, «меланхольничать» нельзя. Теперь это делают только праздные, ленивые или еще какие-то. Черт ее знает» (5 апреля 1927 г.). Или: «Мы темы социально-общественные, политические разрабатываем в абсолютном отрыве от таких вещей, как природа, любовь, смерть и т. п.» (11 декабря 1933 г.); «Да, смерть — мое личное дело ⟨...⟩ И она — из тех вопросов, которые я должен разрешить для себя сам, несмотря на то, что их уже разрешали лучшие из людей» (1—5 августа 1934 г.).

Тут нельзя не вспомнить целый ряд послевоенных лирических стихотворений Твардовского, где «заявленные» в этих записях мысли получили художественное воплощение: «Мне памятно, как умирал мой дед...», «Ты — дура, смерть. Грозишься людям...», «Признание» и др.

Естественно, что огромное большинство публикуемых записей в первую очередь относится к произведениям поэта, создававшимся в те же годы, когда писался дневник.

И тут мы становимся свидетелями быстрого развития таланта Твардовского.

Показательна в этом смысле история поэмы «Страна Муравия».

Первоначальные записи о ее будущем герое Моргунке (еще не Никите, а Филиппе, Фильке), персонаже «большого стихотворения, может быть поэмки» — «Мужичок горбатый» (24 сентября 1933 г.), рисуют фигуру, еще довольно комическую и жалкую,— человека ленивого, праздного, даже нечистого на руку: «был он беспутным, бездельным и пр. В колхозе он тоже чудит, безобразничает» (30 сентября 1933 г.).

Некоторые важные «опорные» пункты композиции нащупываются быстро (например, перекличка двух «гулянок» — кулацкой в начале поэмы и колхозной в ее конце, когда Моргунок «должен выступить новым человеком» — 12 ноября 1933 г.). Но в целом дело подвигается медленно, и написанное часто вызывает разочарование у самого автора: «Печально, но факт, что вещь не будет означать большого подъема в моем творчестве» (11 декабря 1933 г.).

Определенную роль в развитии и уточнении замысла, в изменении самого подхода Твардовского к изображению современной деревни сыграло знакомство с поэмой А. Безыменского «Ночь начальника политотдела», заканчивавшейся подробным изображением колхозной свадьбы. Среди многочисленных замечаний, сделанных Твардовским по поводу «политотдельской свадьбы», как он иронически назвал соответствующие главы поэмы, явно есть такие, которые не могли пройти бесследно для его собственного замысла: «Общий тон по отношению к «деревне», если разобраться, недостойный пролетарского поэта. Здесь 〈. . .〉 люди — немножко дурачки, и поэт не дает им думать и поступать более уважительно 〈. . .〉 Б〈езыменский〉 берет тем, что схватывает верхушки действительно существенных и волнующих моментов жизни, но в стихах так и нет того особенного, что нельзя подменить или подделать,— их можно подделать. Скучно все это доказывать. И трудно. Вероятно, доказать можно лишь иными стихами» (20 января 1934 г.) [7].

Так возникает очень важный побудительный мотив, активизирующий работу,— «доказать 〈. . .〉 иными стихами» примитивность и неверность подобных картин современной деревни.

Быть может, уже это подстегнуло поэта форсировать темпы своей работы: «Мужичок горбатый» дописан примерно через неделю после сделанной 20 января 1934 г. заметки о поэме Безыменского.

Дописан... и оставлен!

Видимо, подвергнув «политотдельскую свадьбу» жестокой критике, Твардовский с неменьшей строгостью и «на себя оборотился», остро осознав всю опасность «обидного» по отношению к деревне и ее людям тона. Уже в записи, сделанной через три дня после заметки о Безыменском, слышится усилившееся беспокойство: «Уже почти очевидно, что 〈. . .〉 невозможно затевать продолжительную историю с «переделкой в процессе труда». Или это должно протянуться на полтысячи строк, или будет до безобразия примитивно, будет несчастнейшая схемка 〈. . .〉 кроме того, и полтысячи строк могут оказаться схемой» (23 февраля 1934 г.).

6 октября 1934 г. в дневнике появляется знаменательная запись: «За «эпопею» покамест не буду браться, но думать и готовиться нужно. Книга эта должна будет явиться последним словом о крестьянстве, колхозах, годах великого перелома. Верю покамест чисто теоретически в нее, может быть, потому, что все же задумана она несколько извне. Для порядку давно собирался записать» — далее следуют известные слова А. А. Фадеева об эпизоде из третьего тома романа Федора Панферова «Бруски» (скитания середняка Никиты Гурьянова в поисках места, «где нет индустриализации и коллективизации»).

Момент этот можно считать переломным в работе Твардовского этой поры. Сам он в статье «О «Стране Муравии» писал так: «Задумал я эту вещь под непосредственным воздействием извне, она была мне подсказана А. А. Фадеевым, хотя эта подсказка не была обращена ко мне лично и не имела в виду жанр поэмы. Началом своей работы над «Муравией», первым приступом к ней я считаю 1 октября 1934 г., когда я занес в свой дневник следующую выписку из появившейся в печати речи Фадеева» [8].

То, что автор таким образом сбрасывал со счетов всю предысторию поэмы, вряд ли справедливо, хотя совершенно очевидно, что «подсказка» помогла ему, уже в значительной степени настороженному в отношении своих прежних планов уроками поэмы Безыменского, кардинально перестроить свой замысел и трактовку героя.

Употребленное Фадеевым сравнение Никиты Гурьянова с Дон-Кихотом, разумеется, не было воспринято Твардовским как прямой призыв «затмить» гениальную книгу Сервантеса, а надоумило перевести своего героя, Моргунка, как бы в совершенно иное измере-

ние: сделать его фигурой по меньшей мере *траги*-комической и этим избежать самой возможности «обидного» по отношению к деревне тона.

Думается, без тех долгих и часто безрадостных трудов, какие были потрачены на «Мужичка горбатого», вряд ли оказалось бы возможным то, что Твардовский, 6 октября еще не собиравшийся браться за «эпопею», 8-го уже «не выдержал, начал писать» (18 октября 1934 г.).

Говоря словами из позднейшей книги поэта:

Взялся огонь, и доброй тяги
Бушует музыка в трубе.
(«За далью—даль»)

18 октября как «проба размера» записываются некоторые строфы, впоследствии в слегка измененном виде вошедшие в окончательный текст «Страны Муравии». В перечне эпизодов будущей поэмы «в приблизительной последовательности» (27 ноября) уже нет и упоминания о воровстве Моргунка, зато явно намечен сюжет пропажи его собственного коня: «Продвижение с телегой 〈. . .〉 У цыган (коня у цыган не оказывается 〈. . .〉)». Еще через некоторое время — 16 декабря — в записи «Путешествие Никиты» (возможно, что это «рабочее» название всей поэмы) нащупывается эпизод, вылившийся впоследствии в воображаемый разговор героя со Сталиным. 17 января 1935 г. в перечне «ближайших эпизодов» значатся «Мальчик» (видимо, сын кулака Бугрова), «Певцы (Базар)» и «Встреча с попом». В последующих записях содержатся прозаические наброски эпизодов, когда Моргунок попадает в колхоз, приглядывается к его жизни, и мелькает упоминание об истории председателя колхоза (будущий рассказ Фролова).

В этих планах и набросках еще очень много такого, что сам автор вскоре квалифицировал как «длинноты, размазывание и т. д.», и все же будущая композиция поэмы уже узнаваема, как и вся ее художественная структура. Твардовский записывает, что «новые главки 〈. . .〉 обогащают трагичностью» и что надо лирические «отступления делать во что бы то ни стало» (13 и 18 марта 1935 г.).

Напряжение работы не ослабевает. И, несмотря на всю увлеченность ею, настороженный, критический взгляд на сделанное не оставляет автора. «Трудно, страшно и нет глубокой радости,— нет уверенности полной»,— говорится в записи от 16 декабря 1934 г. «Окончание «первой части» перестало представляться делом ближайших дней»,— несколько разочарованно констатирует поэт 22 марта 1935 г.

К началу апреля композиция «первой части» поэмы (которая впоследствии этой «частью» и ограничилась) выглядела уже почти как в окончательном ее тексте; отпала лишь первоначально задуманная глава «Пожар», для которой даже были записаны некоторые строки, в частности, о поимке Моргунком поджигателя — местного Бугрова — Грача (22 апреля 1935 г.).

Однако содержание поэмы продолжает обогащаться: в дневнике появляются названия, а затем и прозаические наметки таких важнейших эпизодов, как «Деревня Остров» и «Половодье (сказка)» (19, 20 и 22 апреля и 3 мая 1935 г.). Не оставляя еще мыслей о второй и даже третьей частях поэмы, повествующих о дальнейшем путешествии Никиты по всей стране, Твардовский, однако, реально занят работой над первой частью.

Разумеется, далеко не всегда можно точно указать причину тех или иных видоизменений сюжетных поворотов, ранее намеченных автором, или отказа от готовых фрагментов произведения.

Все же в некоторых, важнейших случаях можно утверждать, что производимые Твардовским перемены явственно отвечают определенной логике и самому духу его замысла, тяготевшего по мере своего развития и художественного воплощения ко все большей простоте, реализму, отказу от первоначально «запланированных» остросюжетных линий и эпизодов, а также от выведения героя из привычной для него среды.

Так, некоторое время автор «Страны Муравии» взвешивает возможность изобразить реальную встречу героя со Сталиным и даже указывает, что это будет на I съезде колхозников (16 декабря 1934 г.). Нечто подобное, кстати сказать, происходит с «предтечей» Моргунка — Никитой Гурьяновым в романе Ф. И. Панферова. Однако в дальнейшем дело ограничивается мысленным, воображаемым разговором героя поэмы с вождем.

Исчезает из планов поэмы и другой, наметившийся было «высокий» собеседник Никиты — «районный руководитель», с которым Моргунок должен был вместе ехать на автомо-

биле с базара. Этого «районщика» заменяет тракторист, возвращающийся «домой, с курсов» (19 марта 1935 г.).

«Отменяются» и встреча «обезлошадевшего» героя с машинами, совершающими автопробег, и пожар во фроловском колхозе, когда Моргунок ловит поджигателя — местного беглого кулака Грача, и эпизод, скупо обозначенный в одном из планов: «Двадцатипятитысячник (похороны)» (17 января 1935 г.), в герое которого можно предполагать жертву кулацкого «террора».

Во всех этих изъятиях проявилось, по-видимому, стремление Твардовского избежать всего, сколько-нибудь бьющего на эффект, и ввести повествование в более обыденное русло, когда события, в сущности, крайне драматические, рисуются, по примечательному выражению одного из первых чутких слушателей поэмы В. Ф. Асмуса, «без «рыкания» и оскаленных зубов» (8 сентября 1935 г.).

Крайне характерна и жестокая борьба автора с досаждавшими ему «длиннотами» и «размазыванием». Поэма все больше избавляется и от лишних персонажей (например, печник), и от излишней детализации в обрисовке второстепенных героев (мальчик, тракторист).

Любопытно припомнить некоторые, как назвал их автор, «кусочки, остающиеся в предположении использования»,— о странствиях Никиты, задающего встречным один и тот же вопрос: колхозники ли они? Несколько таких следующих друг за другом сценок по чистой случайности завершаются строчками, относящимися совсем к другому эпизоду: «И похожи все друг на друга, как гороховые стручки 〈...〉»,— неожиданно оборачивающимися едкой характеристикой этих дублирующих друг друга эпизодов (22 марта 1935 г.). И в конце концов вместо них возникает краткая и яркая лирическая картинка в начале четвертой главы («И над полями голубой, весенний пар встает...» и т. д.) с лаконической заключительной строфой:

За плугом плуг проходит вслед,
Вдоль — из конца в конец.
— Тпру, конь!.. Колхозники, ай нет?..
— Колхозники, отец...

Аналогичный процесс плодотворной художественной концентрации угадывается и за следующей метаморфозой. 21 апреля 1935 г. среди планов разнообразных доделок Твардовский записывает: «Развить картину масштабного движения (самолеты, автоколонны, безработные (?) и т. д.)». Если же заглянуть в соответствующую, одиннадцатую главу, окажется, что вся эта «масштабная картина» занимает лишь считанные строки, нимало от этого не проигрывая:

Вышел в поле тракторный отряд,
По путям грохочет скорый поезд,
Самолеты по небу летят,
Ледоколы огибают полюс. . .

И, по-конски терпелив и строг,
Волокет телегу Моргунок.

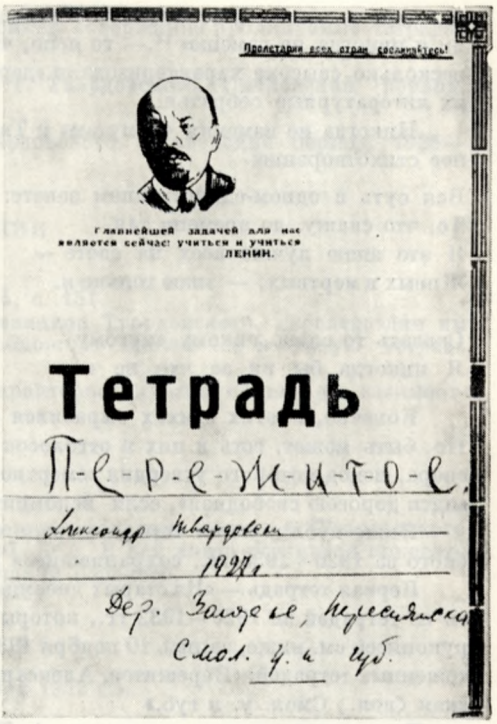
Новый, причем довольно драматический поначалу толчок к продолжению этой работы дала оценка поэмы А. М. Горьким, прочитавшим ее первую законченную редакцию, переданную автором в журнал «Колхозник» [9].

В свое время, в 1927 г., именно отзыв Горького о первой книге М. В. Исаковского «Провода в соломе» сыграл важную роль в судьбе автора. И вполне вероятно, что работавший в «Колхознике» Исаковский, да и сам автор «Страны Муравии» и на сей раз рассчитывали на поддержку великого писателя, редактировавшего журнал.

Однако эти надежды не оправдались. Высказав мнение, что в поэме «ясно видны 〈. . .〉 подражания то Некрасову, то Прокофьеву, то — набор частушек и т. д.», Горький предложил автору «посмотреть на эти стихи, как на черновики» и настоятельно заметил, что поэмы такого размера «пишутся годами, и не по принципу: «Тяп-ляп, может, будет корабль», или «Сбил, сколотил — вот колесо 〈. . .〉» (8 сентября 1935 г.).

Теперь, знакомясь с дневником Твардовского, видишь, что выросшая из «Мужичка горбатого» «Страна Муравия» писалась именно годами и что поэт трудился над ней отнюдь не по рецепту, высмеянному Горьким.

Характерно, что, еще не предчувствуя столь сурового отзыва, сам Твардовский пишет 3 августа 1935 г.: «После читки у Исаковского в Москве же стало понятно, что еще делать, делать и переделывать порядочно. Толька ⟨А. К. Тарасенков⟩ прав, что композиционно после «Тракториста» идет очень плохо. Я это знал раньше. Прав и насчет «идеологически выдержанных» лозунгов на свадьбе. Я это чувствовал ⟨. . .⟩ Нельзя было не отдать Крючковой ⟨жене секретаря Горького⟩ рукопись и тяжело представить, что Алексей Максимович будет читать этот экземпляр».



«ПЕРЕЖИТОЕ»
Обложка юношеского дневника Твардовского. 1927
Дневник был уничтожен Твардовским в начале 1930-х гг. Обложка вклеена в новую тетрадь («Из старых дневников»)
На обложке подпись и дата: «Александр Твардовский. 1927 г. Дер. Загорье, Переснянская ⟨волость⟩ Смол⟨енского⟩ у⟨езда⟩ и губ⟨ернии⟩»
Личный архив А. Т. Твардовского, Москва

И далее следует обширная программа «переделок, исправлений», которую нужно выполнить на юге, в Хосте, и которая там неукоснительно выполняется. При этом автор постоянно досадует: «Как это медленно очищается повествование от ненужных, кажущихся обязательными вещей, которые смутно томят тебя, как их тщательно ни переписывай, как ни подчищай» (7 августа 1935 г.). Или еще категоричнее, после записанного стихотворного отрывка: «Боже мой, какая это все дрянь, тяжело! К концу все яснее — в поэме много нехватает, много слабых мест». Бессознательно многие моменты обдумывались опять-таки как проза, хотя все время это беспокоило»; и далее: «Костьми лягу, но не стану заносить в тетрадку того, что явно недоделано, излишне» (9 и 16 августа 1935 г.).

Таким образом, той требовательности, в отсутствии которой укорял автора поэмы Горький, Твардовскому было не занимать. И к критическим замечаниям глух он не оставался. «Читка Голодному и Светлову вскрыла сусальноватость сталинской главы»,—хладнокровно помечает он после получения горьковского отзыва (27 августа 1935 г.).

Однако запись, сделанная в дневнике 23 августа 1935 г. по поводу горьковского отзыва, обнаруживает свойственную Твардовскому твердость, независимость характера и суждений: «Подкосил дед, нужно признаться. Но уже прошло два дня. Обдумал, обчувствовал. Переживем. И да обратится сие несчастье на пользу нам. Слов нет, теперь для меня более явственны сырые места. А что продолжает оставаться хорошим, то, видимо, по-настоящему хорошо. Испытание, так сказать. Все буду слышать: и восхищение, и такие отзывы, как «колесо», а работа будет продолжаться. Дед! ты заострил лишь мое перо. И я докажу, что ты «ошибку давал» [10].

Огромен был для молодого поэта авторитет его критика, но дело касалось «жизненного материала», которым автор «Страны Муравии», по его позднейшим словам, «располагал в избытке» [11]. «Все то, что происходило тогда в деревне,— сказано в автобиографии поэта,— касалось меня самым ближайшим образом в житейском, общественном, морально-этическом смысле» [12]. И испытывая «настоятельную потребность ⟨...⟩ рассказать», что знает «о крестьянине и колхозе» [13], Твардовский предпочитал доверяться жизни и собственному опыту.

Характерно, что после приведенных выше слов о справедливости ряда замечаний критика А. К. Тарасенкова, с которым поэта связывали дружеские отношения, в дневнике следует оговорка: «Но в целом вещь до него не доходит. Для него это «хомуты» (3 августа 1935 г.). Если сопоставить с этим «загадочным» замечанием фразу из написанного много

лет спустя письма Исаковского к Твардовскому: «что же касается «хомутов», то, конечно, им я никогда не изменю» [14],— то ясно, что речь идет о ходячем словце, которым, видно, несколько свысока характеризовали «деревенские» пристрастия обоих поэтов некоторые их литературные собратья.

Никогда не изменял «хомутам» и Твардовский. В конце жизни он написал известное стихотворение:

Вся суть в одном-единственном завете:
То, что скажу, до времени тая,
Я это знаю лучше всех на свете —
Живых и мертвых, — знаю только я.

Сказать то слово никому другому
Я никогда бы ни за что не мог
Передоверить. Даже Льву Толстому —
Нельзя. Не скажет — пусть себе он бог.

А я лишь смертный. За свое в ответе.
Я об одном при жизни хлопочу:
О том, что знаю лучше всех на свете,
Сказать хочу. И так, как я хочу.

Конечно, в этих стихах выразился сгущенный опыт всей творческой жизни поэта Но, быть может, есть в них и отголосок давнего спора с другим литературным «богом», спора, исход которого утвердил «смертного» в возможности и необходимости в искусстве «идти дорогою свободной», если вспомнить знаменитые пушкинские слова.

Ниже публикуются четыре тетради с дневниковыми и рабочими записями Твардовского за 1926—1935 гг., сохранившиеся в его личном архиве (Москва).

Первая тетрадь — «Из старых дневников». В нее Твардовский перенес отдельные записи из тетрадей за 1926—1932 гг., которые он затем уничтожил (об уничтожении ранних рукописей см. ниже, запись 10 ноября 1933 г.). Сюда же вклеена обложка одной из уничтоженных тетрадей: «Пережитое. Александр Твардовский. 1927 г. Дер. Загорье. Переснянская ⟨вол.⟩ Смол. у. и губ.»

Вторая тетрадь носит заглавие: «А. Твардовский. Рабочая тетрадь (стихи). Замыслы, варианты, наброски. 1933—1935 гг. Смоленск». Первая половина ее (24 сентября 1933 г.— 8 октября 1934 г.) содержит записи, связанные с работой Твардовского над поэмой «Мужичок Горбатый», над составлением первого сборника стихов и предисловием к нему, а также над замыслом «Автобиографии». Вторую половину тетради занимают записи, отражающие ход работы над поэмой «Страна Муравия» (18 октября 1934 г.— 4 апреля 1935 г.). По всей тетради разбросаны также записи, посвященные работе над отдельными стихотворениями.

Третья тетрадь — «А. Твардовский. 1935. Смоленск. «Страна Муравия». Рабочая тетрадь № 2» — является непосредственным продолжением предыдущей (4 апреля — 8 сентября 1935 г.). Записи, ее составляющие, посвящены исключительно работе над поэмой. Особое место занимает здесь обширная запись по поводу отзыва Горького на «Страну Муравию», а также записи отзывов слушателей, которым Твардовский читал свою поэму летом 1935 г.

Четвертая тетрадь — «Страна Муравия». Отрывки и наброски. Тетрадь III. Смоленск. 1935» — вложена в предыдущую. Содержание ее полностью соответствует заглавию. Заполнялась она всего два раза — 25 и 27 сентября 1935 г.

Вторая и третья — в нашей публикации — тетради имеют позднейшие наклейки, на которых рукой автора написано: «Тетрадь № 3» и «Тетрадь № 4». Тетрадь № 2 по этой его нумерации, содержащая наброски повести и разные записи в прозе, в настоящем томе не публикуется.

Отдельные выдержки из публикуемых тетрадей приведены в книге: А. Кондратович. Александр Твардовский. Поэзия и личность. М., 1978. 7 стихотворных отрывков из записей от 27 октября и 9 ноября 1934 г., 16 февраля, 22 марта и 26 сентября 1935 г. опубликованы в сб. «День поэзии. 1977» (М., «Сов. писатель», 1977, с. 179—184; публикация М. И. Твардовской).

В настоящую публикацию не включена составленная Твардовским «Библиография» его произведений, напечатанных в 1925—1929 гг. (содержится в записной книжке, вложенной в третью из публикуемых ниже тетрадей). Запись, сделанная на ее титульном листе, свидетельствует: «Составлено в детстве, не позднее 29 г. А. Т. 6.VI.35». Список произведений, составляющий эту «Библиографию», неполон, неточен и не содержит конкретных сведений о времени и месте публикации, поэтому при наличии публикуемых нами «Приложений» печатать его не представляется целесообразным.

Значительно дополняют и во многом разъясняют содержание публикуемых тетрадей два «Приложения» к ним:

1. «Материалы к творческой биографии А. Т. Твардовского. Смоленский период. 1925—1936 гг.». (Сост. Р. М. Романова).

2. «Библиография произведений А. Т. Твардовского. Смоленский период. 1925—1936 гг.» (Сост. Р. М. Романова).

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *НМ*, 1951, № 11; *Твардовский*, т. 5.
[2] *НМ*, 1969, № 2, с. 116; *Твардовский*, т. 4, с. 151.
[3] Так был озаглавлен один из первых дневников Твардовского, впоследствии им уничтоженный. Твардовский сохранил его обложку, вклеив ее в новую тетрадь («Из старых дневников»).
[4] Интересную, хотя отнюдь небесспорную характеристику отца поэта и его взаимоотношений с сыном см.: *Кондратович*, с. 41—57.
[5] *Твардовский*, т. 4, с. 502—503.
[6] *Твардовский*, т. 5, с. 82.
[7] См. об этом также: *Кондратович*, с. 87.
[8] *Твардовский*, т. 5, с. 31—32.
[9] См. статью: П. С. Выходцев. Неизвестная редакция поэмы А. Твардовского «Страна Муравия».— «Русская литература», 1980, № 4. В ней автор стремится показать «смысл и характер» доработки поэмы после замечаний Горького.
[10] Подробнее об этом см.: *Кондратович*, с. 3—7.
[11] *Твардовский*, т. 5, с. 32—33.
[12] *Твардовский*, т. 1, с. 23.
[13] Там же, с. 33.
[14] *ЛН*, 1976, № 8, с. 269 (письмо от 7 октября 1942 г.).

⟨ТЕТРАДЬ I⟩

ИЗ СТАРЫХ ДНЕВНИКОВ

Загорье, 1926

16 октября. У Мефодьки есть книга приключенческих рассказов [1]. Хочу взять, а с другой стороны думаю: не нужно. Все эти страхи, вся эта дребедень, против которой я не надеюсь удержаться, вскружит мне голову, замутит ту спокойную, своеобразную поэзию чувств: хаты, амбары, поля, гумна... Деревенское затишье... А там соблазнительные, как соблазнительны бывают развратные женщины (!), заголовки «Талисман»... «В когтях у льва»... Потом я видел какую-то картину: человек, оглядываясь, бежит, а за ним большая птица, кажется, страус. Нет, я уж знаю, что мне придется ее прочесть... Боюсь, что брошу писать стихи и мечтать о поездке в город к Исаковскому [2]... Я знаю, что мне нужно читать: Касаткина, Подъячева, Горького, Неверова и других крестьянских писателей [3]. У них я найду неисчерпаемый источник любви к серым крышам...

Когда я сейчас это пишу, сидя за столом, мой младший братишка Вася в довольно неприятном положении на полу... Растапливается печь... Бубнит брат Ваня, читая что-то... В кузнице отец и Костя [4]...

Доберусь в Смоленск. Я особенно поэтизирую эту поездку (так выражаться — «поэтизирую», кажется, нельзя). Вот приедем. Редакция «Рабочего пути». Низкие и темные комнаты ее мне как-то нравятся. Там висит особенный «редакционный» запах, запах чернил, бумаги.

Трескотня печатных машинок... столы... И самое главное — добрые, улыбающиеся сквозь очки глаза Исаковского. Он наклоняется над столиком (так как он очень длинен, то мне кажется, он, сидя на одной стороне стола, может, перегнувшись, достать головой пола на другой стороне...) Пишет, замарывает длинные листки, печатанные на машинке.

Переписал на большой лист бумаги четыре стихотворения: «Посиделки», «Самогонщику», «Гармонист» и «Родная глушь» под общим названием «Стихи из деревни». Буду посылать в «Красноармейскую правду» [5]. Благо деньги есть. Утром ходил в лавчонку и занял кое-как из отсчитанных... Ради будущего...

Октябрь.

Читаю Леонида Андреева. Мне не нравится он... «Мои записки» в особенности [6].

Все время у меня не выходит из головы случай, происшедший с Колькой [7].

Думаю вот, что я не учусь нигде [8], так и не заслуживаю никаких подобных наслаждений...

Мои сверстники кончают среднее образование.

19-е октября. Капуста (очерк).

Вспоминаю: рубка капусты в моем детстве кажется мне чем-то таким вроде больших праздников: Рождества, Пасхи, Масляной...

И насколько припомню, как только появлялись на крышах заморозки и са́жалка [1*] покрывалась грязноватым льдом с остановившимися палками, набросанными туда за лето, и все затихало, испуганное легким морозцем,— начиналась уборка капусты...

В избе появлялось корыто, с хрустом потирались один об один кочанья, стучала сечка... На огород, срубив кочни, пускали скотину. Это было пастушеское счастье. Сидишь себе в избе, кусаешь хряпки, а коровы делают то же в огороде, где остаются зеленоватые, крепкие, но сочные пёнушки.

В одну осень, в это время, когда по хате валялись обломанные листья капусты и очистки «хряпок», приехал отец «с войны». Дело было как-то в 16-м году, что ли... Мы, детишки, перво-наперво кинулись к нему с хряпками, а он, нехотя обчищая одну из них, говорил: «вот пригнали нас... не ели дня по два, а на станции (забыл какой) вот этой гадости — показывая на хряпку — дали... Кинулись, едят все... А потом животы — как схватят!..»

Но это небольшое дело в капустном осеннем празднике.

Мягко ухает «новой» (часть из деревенского стана, в виде толкача) в капусту, насыпанную до половины в кадку. Но я уже равнодушен и хряпок съел, кажется, всего только штуки три.

Детство милое, невозвратное!..

1927 [2*]

30 марта. Сегодня получил письмо из «Крестьянки». «Богатой девушке» — не пошло. Прислали оплаченный Наркомпочтелем конверт и бланк на «письмо» [9].

В понедельник мы с Николаем собрались в Смоленск. Когда Исаковский меня «обрадовал», я очень ему поверил... Как приятно было думать, что скоро я буду сам себе хлеб зарабатывать...

Когда в ЛИТо Исаковский говорил свой отказ, я молчал. Не нарочно. Не знал, не находил, что ответить. А он позвонил, позвонил, т. е. поговорил и, несколько смущенный моим молчанием, пошел...

А поутру Колька: «Ты нос задрал, вообразил, что уж городской человек».

31 марта. Вдруг не только напечатают в «Бедноте», а даже будет премировано [10]. Вот было б «путяно» [3*]. Рубликов бы 50! Ну, тогда б я повернулся иначе. Или сразу переселился б в Смоленск или поехал бы путешествовать. Ну, хотя бы на Урал. А оттуда б очерки, стихи...

Но пока нет 10 копеек на марку.

[1*] Са́жалка (*смол.*) — заполненная водой яма, в которой вымачивают коноплю.

[2*] В автографе записям от 30 марта — 14 мая 1927 г. предшествуют записи от 31 августа — 18 декабря 1927 г. По-видимому, последовательность их была нарушена при переписке в новую тетрадь (см. об этом во вступит. статье к наст. публикации).

[3*] Путяно — путно, т. е. хорошо, дельно.



СЕМЬЯ ТВАРДОВСКИХ

Родители поэта — М. М. и Т. Г. Твардовские с детьми — Александром (стоит первый слева), Иваном, Анной и Константином

Фотография. 1916

Смоленский краеведческий музей

1 апреля. Мои планы: по весне уговориться с «отцами», за сколько они позволят мне работу по охоте. 15 р. я дам, будучи свободным, заработать можно будет немало...

Ю⟨ный⟩ Г⟨оварищ⟩ — 3 р. месяц — не меньше. «Красноармейская правда» — 5 р. или семь, а уже «Рабочий путь» и «Смоленская деревня» — даже за заметки даст 5 р. [11]. Будучи свободным, я свяжусь со многими газетами и журналами. 15 р. будет для батьки, и себе рублей пять останется. Будет недурно. Сделаю себе шалаш.

В Смоленске буду держаться непринужденно. Угол будет крепкий. Не унывай, Александр.

Когда-то я читал «Дневник сельского учителя»...[12] Он мне напоминает тихие метели ранней зимы. Нет, не то, что чувствую! Учитель гулял в метель, вставал рано утром и писал свой дневник в простой комнате школьной

квартиры... Мне кажется поэтичной жизнь сельского учителя. Мне-то не быть учителем, не быть. А чем я все-таки буду? Ведь это ерунда, что мне иногда кажется, что я работник какого-то литжурнала...

Другая дорога: рабфак в текущем году, деревня, годы, годы, годы, большая литература — Москва.

3 апреля. Попался мне Фет. Я читал эти стихотворения давно в детстве. Опять мне почему-то больно. Вот те стихи, которые я читал небольшим, которые чем-то неотъемлемым являются для меня (какую чушь я несу, не то, не то! попробую что-нибудь привести из стихов, быть может, лучше «прилипнет». Ах, то, что чувствую, не могу написать. Надсон говорил — нет сильнее муки слова [13] — верно).

Я был опять в саду твоем,
И увела меня аллея
Туда, где мы весной вдвоем
Бродили, говорить не смея.

---

4 апреля. Я как-то это время перечитывал дневники Надсона [14]. Тяжело от них. Поэт, одинокий, сдавленный каменными стенами казенного учебного заведения... Несчастная любовь... Жизнь изломана. Мне кажется, что я пережил все его невзгоды, потому что читал воспоминания о Надсоне мальчиком в попавшем ко мне журнале «Неделя» [15]. А что я ни читал, обо всем очень много мечтал, переживал. И где только я не был, и кем только я не был!

5 апреля. Проклятое одиночество. Оно заставляет меня мысленно вымерять жизнь. 25—30—38 лет — все, ожидать нечего. Да плевать — в самом деле. Ведь больше 38 лет я и не собираюсь жить — как Ширяевец и Неверов [16].

Я как будто отгоняю от себя мысли о моем положении... Серьезно и дельно подумай. С наступлением весны тебя заберут в кузницу. Будешь ты долгими весенними днями размахивать кувалдой, наламывая до боли руки, *терзаясь*, слушая и глядя на отца...

Случайно зашедший Нос или Василий Михайлович Вознов [17], с сожалением вздыхая, будут спрашивать: «Ну как же, Шура, не учишься, не служишь нигде, так-с... Да вот оно!» Это последнее ужасней всего. От этого хочется убежать, с охотой переносить безысходную нужду, голодание... Только где-нибудь...

На что только я не согласен, чтобы только выйти из проклятого семейства, в котором природа заставила меня подняться. Набрать запас душевных сил в дальнюю дорогу — жизнь.

Отец... Обычно издеваясь надо мной, развертывая перспективы голодания и пьянства в моей будущности, он одному нашему дыряво-суконному родственнику хвастался:

— Это тысячное дело... Э! Он у меня будет денег стоить. Придет время, скажет только: «Сколько?..»

Мне тяжело его видеть, невыносимо с ним разговаривать. С ним мне придется работать все лето с глазу на глаз.

Я должен, я сделаю свое положение. Я стану работать на кирпичном заводе, уеду на Донбасс,— все равно, что ни делать.

Ждал-ждал почтальона — думаю, вот «Крестьянский журнал» что-нибудь напишет [18], Осин даст знать о себе [19]. Увы! Ни того, ни другого. Написал сам открытку Осину.

Думаю перед Пасхой съездить в Смоленск, после Пасхи сразу в Москву... Если меня примут так, как я хочу и ожидаю (немногого ожидаю), то тогда я поселюсь в Смоленске, много ли мне нужно в самом деле? Одно сомнение:

как с комсомолом? Ну, да — авось — уладится. Если Москва — успех, то заявлюсь в уком и — «даешь, ребята, работку!».

Говорят и так, кажется, что *теперь* грустить, «меланхольничать» нельзя. *Теперь* это делают только праздные, ленивые или еще какие-то. Черт ее знает. Все новое я осознаю с какой-то своей стороны, которая не имеет точного оформления...

(Дальше — мещанско-кулацкие мечты) [4*].

9 апреля. Вчера пошел к Яшке [20].— Нет ли, говорю, чего-нибудь почитать,— хотя хорошо знаю, что нет. Выносит мне он книжку с какой-то очень старинной печатью. Ни начала, ни конца. В середине—заголовки — рассказы. Прочитав один-два из них, я понял, что это Чехов. Но никаких фактических данных на то не было.

Я не дрожу так, как Надсон, за свое дарование. Я понимаю так, что если чувство оправдывает то, что пишешь, и достаточно. Чувство есть, а уменье передать будет.

17 апреля. Вчера или лучше сказать ⟨сегодня⟩ приехал из Смоленска. Читал стихи на вечере ВАППа [21]. Кажется, я не скоро стану писать теперь стихи. Дня два-три не буду писать. «Новые формы», «новые формы»... Я, кажется, болен от этих «указаний».

Не так давно я думал, что «Кони» [22] — стихотворение.

21 апреля. Читаю я много или лучше сказать — скоро. Вчера прочел, придя из Пересны, «Враги» Горького...

У меня еще не дочитаны — Лескова «На ножах», есть Глеб Успенский, Ф. Купер и др. ⟨...⟩

30-е ⟨апреля⟩. Вчера я был в Пересне. Там кое-что наклевывается. Быть может, попаду в Мончино в избу-читальню завом, в худшем случае в Пересну техсекретарем В⟨олостного⟩ К⟨омитета⟩. А Исаковскому послал письмо [23]. Тот тоже, надеюсь, ответит определенно и скорее всего в положительную сторону. «Уголок творчества» в ЮТе вышел [24].

2-е мая. Сейчас к нам приехал по кузнечным делам дьякон. Батя — ну-ка, Шура, покажи ту самую страницу. Дьякон почитал литстраницу, статью обо мне, стихи мои, молча перевернул газету и стал читать. Молча положил газету на стол. Батя, батя...

4-е мая. И живу, и не живу. Деревца садить не могу — кому? Быть может, последнее время топчу свою теплую весеннюю землю — сажу деревца.

14-е ⟨мая⟩. Бабка [25] умерла. В Смоленске я побыл. Видел Жарова и Уткина [26]. Много чего-то нового в голове, не скоро осмелюсь написать.

1927 г. 31 августа. Вот уже несколько дней, как приехал из Москвы. Я был в Москве. И как-то не скажешь, не напишешь это так, чтобы показалось. Ну, вот. Ходил по тротуарам, где ходят Жаров, Уткин. Великие ученые, вожди...

Я видел Москву глазами, видевшими «Белую горку» [27], елки... а черт ее!.. В Москве сильно поссорился с Осиным. ⟨...⟩

7/XII. Вчера приехал из Смоленска. Гонорара получил двенадцать с лишним рублей. Мамаша рада несказанно. А так вообще скверно на душе.

15/XII. Посылаю два стиха в «Крестьянский журнал». Что если опять, как много раз прежде? Но думаю, что примут хотя бы «Ночного». «Перевозчика» не посылаю. Если его не примут, то я... а неизвестность можно по всякому располагать. Да еще над ним нужно поработать. Возможно, пойдет «в люди» [28].

Немало думаю о М. [29] Возможно, я увидел бы ее завтра в Пересне, возможно, послезавтра. Черт ее знает. Почему-то хочется встретить ее на вок-

---

4* По-видимому, эта фраза относится к строкам дневника, которые Твардовский опустил при переписке.

зале. И не показать виду, что собственно из-за этого сделал 16 верст по анафемской дороге в анафемских сапогах.

16/XII. Почти из-за этого пошел сегодня в Пересну, а она не приехала... Аминь.

18/XII. Если завтра утихнет вьюга, пойду в Мефодьино в Николино на ярмарку. Увижу Маню. Все будет хорошо.

Москва, 1929

25/XI 29. Маяковский на одном вечере восставал против того, что говорили: «Ты написал, нам не нравится». Мы — это вы и я [30].

Не нужно стесняться того, что это сказал Маяковский, это — молодцеватое, но верное, здоровое предъявление прав члена коллектива. Коллектив не может меня оттолкнуть в том случае, если я считаю себя членом его, предоставляю себя его требованиям, его критике.

Мне нужно одуматься и отказаться от погони за ассоциациями и представлениями и перебежками мысли, воображения. Это может вогнать в гроб. Нужно попроще. Откинуть все штучки, не исключая и тех, которые возникают в момент решения отказаться от них.

26/XI. 29 г. Мои стихи в чтении вслух никогда не будут производить впечатления, равного стихам Луговского. Остается утешаться тем, что их будут читать про себя, отрываясь от книги и про себя произнося отдельные строки...

Замечаю, что с необходимостью участия в общественной жизни, борьбе и т. д. я поступаю или, лучше сказать, обращаюсь, как грешник с богом Я собираюсь покаяться, взяться за дело «потом».

Задворки, зима, лампа. Мальчик с книгой. Какие-то полурыцари ели мед с пареной репой и лечили раны салом, употребляя его как питье. А в это время Сашка Епифанов играл на трехрядке «Из Демона» [31]. Гармонь не была гармошкой. Пан [32] читал книжку какого-то журнала, был очерк о Ник Картере [33]. Потом или раньше я привез с ярмарки или еще откуда-то Дрожжина [34]. Читал и любил как-то. Вот не приписываю: на сковородке горело баранье сало, фитилек из байки.

Как бы это получилось, если бы я, нервничающий и изнывающий о сотне рублей, которая мне нужна на выезд домой, ночующий у новых людей, обиженный ими (без их желания)... изнывающий черт ее знает как,— пошел бы куда-нибудь — а куда же, кроме Д⟨ома⟩ Герцена [35], в какой-нибудь кружок — искать связи с общественностью!

Я должен поехать на родину, в Загорье, чтобы рассчитаться с ним навсегда. Я борюсь с природой, делая это сознательно, как необходимое дело в плане моего самоусовершенствования. Я должен увидеть Загорье, чтобы охладеть к нему, а не то еще долго мне будут мерещиться и заполнять меня всяческие впечатления детства: березки, желтый песочек, мама и т. д.

Мучительно ощущаю свое бескультурье. Как я в сущности мало знаю, мне помог понять даже Гриша [36].

Я — беспризорник, еще ночующий на вокзале, хотя давно решил придти к трудмастерским, к коллективу.

Смоленск, 1930

20/II.30. Около двух-трех лет — я член Ассоциации пролетарских писателей [37]. Месяца два-три, как я понял по-настоящему, что это большое дело. Я этим теперь живу.

Я поэт. Мало того, что у меня, одного поэта, духу не хватит «отобразить» эпоху,— эта эпоха определяет «отображение» это совсем иначе, нежели может представить поэт, один.

21/II. Окончил стихотворение «Весна 1930 г.» [38].

«Весна» это стихи о весне 1930 г. Весна «года великого перелома». Стихотворение как бы газетно. Но весна 1930 г., являясь исторической весной (коллективизация и прочее), являясь этапом социалистического строительства, очень высокой точкой эпохи, уже будет являться не злободневщинкой.

Прочел речь т. Сталина ⟨на⟩ I конф⟨еренции⟩ аграрников-марксистов.

Около 30 г.

Рассказы (?)

Когда я говорил матери о новых мощных громкоговорителях — слышимость на двадцать километров,— она не только верила мне, но и восторгалась искренне.

— В крупных колхозах,— говорил я,— полевые работы будут обслужены музыкой. Кроме этого, можно сразу созвать экстренное собрание всех колхозников, находящихся на работе в поле. И что барометр покажет,— можно сейчас же сообщить. Например, бросайте косить, будет дождь, собирайте готовое. Музыка будет, конечно, передаваться из центра, а такие распоряжения прямо с места. Мать понимает, насколько это замечательно. Она будет придумывать про себя новые возможности использования таких громкоговорителей, возможности, о которых я не говорил.

И она спрашивает:

— А на обед перерыв тоже можно объявить?

— И, скажем, лодыря, который всем известен, назвать по фамилии, пошутить над ним — тоже можно?

Все это можно.

Но в Минаевском (Ляховском?), не имеющем даже названия, ничего такого не предполагалось и не могло быть. И полей таких нет.

Наши ушли из колхоза. Народу там было мало, и народ ненадежный. Председатель колхоза — бывший лесник, пропивший в два года огромную дачу, человек, никогда путем не работавший на своем хозяйстве. Он и мой отец — приятели. Отец работящ, жаден и практичен, но Кротова (Ф. Захаров) [39] любил за неожиданные авантюрные выходки.

— Мы с тобой,— говорит он отцу,— будем здесь заправилами.

Выпивши, хохотали, наклонясь за столом друг к другу:

— Пропьем народное благо!..

Оба они были далеки от общественности, газеты читали редко, выступить на собрании не умели, и надежды их были наивны. Они думали, что и в колхозе можно так хозяйничать, как и в имении, оставшемся от погрома под управлением Кротова.

Кротов сумел стать председателем. Когда-то в лесничестве не знали года два, что он неграмотен. С кем угодно он может вести серьезный деловой разговор. Лицо у него не крестьянское, а, скорее, рабочее, но не русское. Бритый, усы подстрижены, какой-то синий; на висках солидная седина.

Мать его не любила, как и всех отцовских приятелей.

Отец издавна лез в дружбу либо к «жителям», т. е. особенно состоятельным людям, которые большею частью теперь раскулачены, либо к таким, как Кротов.

В книгах он любил чудаков, дураков, босяков и пропойц, не забывая конечно, что это «неправда».

И любовь к таким личностям в жизни он считал про себя слабостью. Он их осуждал за глаза, брал примером, когда ругал нас, детей, или заказчиков в кузнице. Но стоило ему встретиться с кем-нибудь из этих приятелей, он начинал панибратствовать, бросал иногда и работу. Сколько раз он с этими

друзьями собирался уезжать на заработки или переселяться в Крым, в Сибирь, а на Волгу даже съездил ходоком [40]. Помню, как он приехал и привез около пуда рассыпного табаку, а потом продавал стаканами на яйца и на сало.

Когда задумывалось что-нибудь вроде переселения — начинались выпивки, восторженное времяпрепровождение, тратились деньги на всякие сласти.

И в колхоз тоже шли — что называется — с песнями. Все нипочем — в колхозе будет. Резали племенную скотину, жарили мясо, посылали за водкой.

Когда весной подавали заявление, я специально приезжал домой.

Толку в этом колхозе быть не могло, но отговаривать родителей мне было неудобно.

Да и приятно было видеть старшего брата таким разгоряченным (нынче он идет в армию). Он ежедневно, отрываясь от работы в кузнице, два раза бегал в Минаево (Ляхово) по той дороге, что мы когда-то с ним ходили в минаевскую школу первой ступени.

Из колхоза бежал отец так же, как из Самарской губернии, где смотрел места для переселения.

Опять вернулась его любовь к хутору своему, расчищенному когда-то из-под сплошных кустов, опять он стал бегать вокруг него по меже рано утром в одном белье. Бежит, бежит, заметит рядом с границей конскую кучку — перебросит руками и ногами на свое поле. А мать, с трудом согласившаяся идти в колхоз, уже не пошла бы оттуда, если б не отец и если б это действительно был колхоз.

Колхозы, колхозники, коллективизация — все это мне страшно надоело за весну и лето текущего года. Особенно надоели мне люди, вышедшие из колхозов и способные ежедневно с утра до ночи говорить о колхозах.

— Колхозы это хорошо, мы не против, только беспорядки не дают ужиться.

На днях я летел из Москвы на самолете. Видя внизу пеструю, клетчатую и разлинованную землю, думал — сколько здесь колхозов. Много! В пятишести километрах один от другого их смело можно представить. И почти в каждом «беспорядки, которые не дают ужиться». Такие колхозы, в которых порядки заставляют уживаться и приживаться, отстоят друг от друга не менее, как в пятидесяти километрах.

Но что они есть, то есть, этого не отрицают даже те, кого в колхоз покамест никак не затянешь, те, что и теперь продолжают на своих местах возводить постройки и рыть колодцы.

У нас это Крестовская (Кругловская) коммуна. Там нет таких людей, как мой отец, стремившихся многие годы иметь собственную паровую мельницу. У них в коммуне, как они сами говорят,— просто мужики. А мой отец всю жизнь отгонял от себя мысль, что он мужик. У нас, например, не носили лаптей. По заморозкам я выгонял скот босиком; сапог не было, но лапти сплести (чуни я умел) — не разрешалось [41].

И председатель в Крестах такой, какие, где я ни был, всюду ценятся,— сам работает на поле, рано встает, коротко проводит собрания.

У нас он (старший брат), как старший, учился немного и был оставлен на хозяйстве. Это его оторвало от комсомола и от общественности [42].

Миловидный, широкоплечий и здоровенный парень, он начал выписывать сельскохозяйственную литературу — когда-то мы вместе читали классиков — справочники, энциклопедии. Его друзья и сверстники были секретарями волкомов, избачами или уезжали на Донбасс и приезжали в кожанках и галстуках, а он проводил у себя на хозяйстве различные опыты. Особенно он увлекся лошадьми. В этом ему уступил даже деспотичный и своенравный батя. За жеребца, что остался по каким-то основаниям в неделимом фонде колхоза, было уплачено полтысячи рублей. Так это всем и помнилось: полтысячи, а не пятьсот рублей. В колхозе жеребца загоняли без нужды. Он



В ДОМЕ ТВАРДОВСКИХ НА ХУТОРЕ ЗАГОРЬЕ

Рисунок И. Т. Твардовского (карандаш). 1979

Собрание Р. М. Романовой, Москва

ХУТОР ЗАГОРЬЕ, ГДЕ ПРОШЛО ДЕТСТВО А. Т. ТВАРДОВСКОГО

Рисунок И. Т. Твардовского (карандаш). 1979

Слева за домом — кузница, в центре — сарай и яблоневый сад из семи яблонь, на переднем плане — баня, колодец и сажалка

Собрание Р. М. Романовой, Москва

По свидетельству автора рисунка, так выглядел хутор и интерьер дома в 1928 г., когда Твардовский покинул Загорье. Осенью 1929 г. семья перешла в новую избу, построенную на месте сенного сарая



заболел, и ветеринар, куда брат свел лошадь по своей воле, запретил работать на ней 2—3 месяца.

Из колхозного сада, где жеребец стоял день-деньской с гноящимися глазами и облезлый, брат его привел домой. И начал за ним ухаживать. Когда жеребец мало-мальски очунял, за ним приехал Кротов и предложил доставить его на место в 24 минуты, хотя уже было подано заявление о выходе.

Своего кузнеца иметь в колхозе — это большое дело. Минаевцы отца приняли с радостью. Первым долгом они хотели перевезти на усадьбу кузницу. Но кузница стоит на своем месте, против окна, на котором я сейчас пишу.

‹1931›

Смоленск. 19/VIII.31. Дорогие товарищи! «Поэма первая» [43] является частью большой книги, вначале задуманной мною как одно целое. Но с одной стороны — угрожающая продолжительность работы над книгой, с другой — трудность справиться в пределах одного законченного произведения с огромным материалом, который меня одолевает,— привели меня к тому, что я расчленяю книгу на несколько самостоятельных, но органически связанных между собою поэм.

Я хочу вам рассказать, что представляет собою книга в целом, как она задумана и частично написана.

Путь крестьянина — батрака, бедняка и середняка — от состояния рабской незаинтересованности в труде — батрака, от состояния собачьей забитости, унижения и безысходной нищеты — бедняка, от состояния мнимого обогащения, мучительного самообмана — середняка, до осознания своих прав и задач, до осознания себя строителями социализма,— вот предельно кратко и, может быть, в силу этого не точно выраженный замысел книги.

«Поэма первая».

«Особенный» середняк Василий Петров, побывавший в германском плену, стремится поднять свое хозяйство «немецким способом». Ему даже кажется, что из этого что-то получается. Он полон энергии мелкого собственника, «собирающего двор». Он не хочет замечать прорех и недостач в своем хозяйстве. Он хочет, чтобы все было «как у настоящих людей», у него сильно развито обычное в таких положениях чувство подражания «настоящим людям» — в данном случае кузнецу, который в конце концов самый жуткий кулак.

Иллюзию «двора» у Петрова разрушает раздел — страшная крестьянская драма, наглядный акт дробления мелкого и беспомощного хозяйства на еще более мелкое и беспомощное.

Была одна семья, Нужно два топора,
Стало две семьи: Две телеги;
Стало два двора, Нужно два хомута,
Две дровосеки; Два коня рабочих...

и т. д. до того, что «нужно два колодца».

И вот Петров идет к кузнецу за новым топором. Кузнец его встретил добром и в долг поверил до лета. И вот Петров, который сам себя считал хозяином, становится в зависимость от кузнеца, наряду с Федотом Агеевым, бедняком, которого Петров не уважает за нерадение и т. д. Подчеркиваю, что для Петрова особенно мучительно попасть в такое положение, когда его жена должна идти «отжинать» топор на кузнецовой ниве.

Я босиком ходил, Я не хотел, не мог,
Вшей чесал на заслонку, С голоду сдохнуть лучше.
Но я хозяином был, Я ходил без сапог,
Я не ходил на поденку. Но не в лаптях и онучах...

В итоге Петров становится союзником Агеева, а кузнец их общим врагом.

Петров вступает в колхоз, но хозяйственная неподготовленность, разбросанность и проч. привели колхоз к тому, что Петров в числе многих ушел из колхоза. Но ушел он уже с чувством того, что этим вопрос не решается. Ушел он затем, чтобы отвести душу, вообразить, что все колхозное движение — сплошной уклон, сплошное головокружение и все на своем месте: хозяйство, двор, собачья будка.

Но здесь он чувствует себя уже по-другому, он уже отошел от себя и смотрит как бы со стороны. Он уже «тронут». Тут к нему пытается присоединиться кузнец (сцена на крыльце):

Что ж, в гостях хорошо,
А дома-то лучше?

И он сразу делает вид, что ничего подобного, он из колхоза не уходил. И вообще он —

Где ни ходил, кого ни встречал,
Со всеми играл в прятки,
Сам о своем поступке молчал
И опровергал догадки.

Он жаждет узнать;

Что они думают, как живут
Те, что сейчас не в колхозе.

И здесь он натыкается на Ивана Попка, который ему развивает теорию, что культурные хозяйства «под колхозы не подлежат».

У нас (Попок подмигнул) Германия,
А в Германии колхозов нет.

И Петров, говоря ему, что в Германии колхозы будут, сам только что осененный этой мыслью, глубоко проникается ею.

А «огороды» и «корнеплоды» Попка и кузнеца, которые хотели бы иметь Петрова в своем «кружке»,— это то, от чего Петров уже давно отказался. Это и показывает, куда бы при благоприятных обстоятельствах завели его «корнеплоды», т. е. так называемое интенсивное, на европейский образец хозяйство.

И Петров возвращается в колхоз, понимая уже колхоз не как только некоторое улучшение материального положения его, но и с точки зрения того, что Германии «легче будет потом» строить свои колхозы, пользуясь нашим опытом. Это уже близко к осознанию себя передовым борцом за мировой социализм, но этого еще мало...

1932

(Поездка от «Рабочего пути» в Зубцовский р-н) [44].

27 апреля. Сижу в районе четвертый (или третий) день. Присутствую на слетах, совещаниях, пленумах. Чувствуется оторванность центра от сельсоветов, колхозов. Все райработники на своих постах. В порядке иерархии выступают на собраниях: секретарь райкома, предрика, заврайзо и т. д. Рвусь в колхозы, на производственные участки МТС. Не сидеть же здесь и посылать телеграммы со слетов и совещаний. Это дело не мудрое. Телеграмма слета бригадиров: «В ответ на призыв красных фронтовиков. .» и т.д. заготовлена мною в двух экземплярах, дана редактору райгазеты «Красный льновод». А слет будет завтра, когда я с директором МТС буду уже в пути. Едем на производственный участок Бубнова.

Все-таки слеты, собрания дают возможность, помимо всего прочего, наблюдать интереснейших людей. Артист‹ы›, которые думают играть (а ведь должны же они будут играть) колхозных бригадиров, председательсоветов, председателей колхозов и др., должны бывать хоть на слетах. Но обязательно на районных, еще лучше на сельских. На областных — там уже народ не такой, там уже в большинстве подтянувшиеся до известного уровня. Подравнявшиеся.

Председателя колхоза, похожий на кондуктора-украинца, рапортует о готовности к севу, перечисляет наличие семян, отремонтированного инвентаря и т. д. В третьем-четвертом ряду стоит, облокотившись на спинку крайнего стула, здоровый бородатый дядя с молодыми насмешливыми и даже нагловатыми глазами. Председателя колхоза рапортует.

— Врешь,— в упор произносит дядя. Смех. Председателя собрания звонит.

— Кто врет? Я вру?— останавливается председателя колхоза.— Проверяйте,— пожимает он плечами и продолжает. Дядя опять:

— Врешь.

— Нет, не вру, а правду говорю. А ты соврешь, обязательно соврешь.

— Вот я и не хочу врать. И тебе не дам врать. Не ври, не хвались.

(Оба чуть-чуть выпивши).

Оказывается, дядя тоже предколхоза. Оба рапортуют и оба говорят: врешь.

Секретарь райкома, женственный латыш со старушечьим выдающимся подбородком, с трудом заканчивая фразы, акцентируя, говорит:

— Устройте проверку своих колхозов, самопроверку. Вот так...

И показывает руками, как колхозы должны проверять друг друга. Сводит руки вплотную, палец за палец:

— Вот так...

— Идет,— кричит дядя.

— Идет,— соглашается первый предколхоза.

Самопроверка, так самопроверка. Сам лично все проверю. Увидим, кто врет, кто не врет.

(Азарт чуточку показной).

— Вот тут, хотя тов. Пильман и говорил,— робко оборачивается колхозник к президиуму,— хотя тов. Пильман говорил, что в Крыму рано отсеялись, но я опять же должен сказать, хотя тов. Пильман и говорил...

— Ну, ну, поправь Пильмана,— говорит понимающий, что секретаря РК поправлять неудобно, и смеющийся простоте колхозника.

— Что ж,— улыбается Пильман.— Давай. Самокритика. (Смех.)

Председатель собрания (заврайзо) звонит и поясняет:

— Тов. Пильман тоже может ошибаться. Говорите, товарищ...

— Вы слепо верите во все предыдущее...

Бригадир Дмитриев. Грамотный, читает газеты. Прикидывается «мужиком», но так, чтобы было заметно, что он только прикидывается. Рассказывает:

— Люди овец продают, скотину сбывают, а я и прошлый год овечку купил, барашка зарезал. А баба ругалась.

— Боязно было, что обобществлят?

— Ну, нет. Политику-то я знаю. Этого-то я не боялся и не боюсь. Политику-то я знаю. Я и что дальше будет — знаю.

— Что ж будет?

Говорит, что будут совхозы. Из колхоза хочет удрать, хочет получать жалованье. Был председателя совета, когда они были на особом учете (первые годы революции) и не посылались на фронт. В Германскую войну был каптернамусом. Председателя колхоза не ставит ни во что. Уверен, что сам мог бы его заменить прекрасно.— Мне райколхоз (предрайколхозсоюза) часто говорит: чего ты, Дмитриев, председателем не хочешь быть? А я говорю: положьте мне десятку в месяц, я и председателем буду хорошо работать. Только бы на табак.

Конюх Воронцов. Сын у него счетовод в колхозе. Самому лет 30. Был стрелочником на железной дороге. Хитро подмигивая и закрывая рукой смеющийся рот:

— А четыре вагончика спустил под откос. Спустил. А прокурор — какой он прокурор: из кондукторов, из младших кондукторов. Я его сразу срезал. Позвольте, говорю, вам замолчать. Как вы можете меня обвинять, когда вы не видели? Вы же не были на разъезде. Вы ж на память говорите. Так и говорю. И правда, он же не был на разъезде. И потом, это ж ночь была. Ну, а судьи сидят (три!) настоящие. Позвольте, говорит один, вам замолчать. Это — мне. Ну, пошли в завещательную (прикуривает от лучинки, бросает ее в печку, закрывает дверку, затягивается, выпускает дым):

— Воронцов не виновен...

Работает хорошо.



УСАДЬБА ВОЗНОВЫХ, РОДСТВЕННИКОВ ТВАРДОВСКОГО
Село Ковалево Смоленской губернии
Фотография, 1930
Семейный архив Е. М. Худолеевой, г. Починок (Смоленская обл.)

— За лето десять пастухов сменилось. Я взялся — ни одного разу не сменился. За зиму десять конюхов сменилось. Я взялся — ⟨ни⟩ одного разу не сменился. И сменяться не буду.

Доволен доходом, полученным в прошлом году. (Может быть, что сын счетовод?).

5 мая. Вчера говорил с зам. пред. облколхозсоюза т. Векшиным насчет принципов укрупнения колхозов (Бубновский куст). Сергиевцы, говорю, были очень довольны *своим* колхозом. А теперь их как-то лишили самостоятельности, лишили названия Сергиевского колхоза. Они в прошлом году хорошо работали и хорошо получили (конюх Воронцов).

— Нет, тут дело не так обстоит,— говорит Векшин. Оказывается, что был сытый — «свой», связанный круговой порукой семейственности и свойства́ колхозик. В прошлом году чуть не запрятали все семя, волокно и др. Председатель (бывший) этого колхоза возглавлял такие дела, покамест какой-то пьяный ⟨не⟩ сказал председателю сельсовета, работавшему здесь, Полякову. Вот почему они дорожили *своим* колхозом. В системе укрупненного колхоза так-то не придется.

Т. Векшин, зам. предоблколхозсоюза, до 1929 г. единоличник, потом организатор колхоза, потом предколхоза.

Как море темнеет озимь,
весенний ветер шумит.
В копейку лист на березе,
еще дождем не умыт.

Лужицы на дороге
высохли, как на столе,
Сеять самые сроки,
давать работу земле... [45]

Рыков — предсельсовета, создавший в условиях сельсовета обстановку чуть ли не «без доклада не входить», «позовите сюда такого-то»...

С одной стороны, хорошо: порядок, условия работы. С другой стороны — сельбюрократ.

Женщина-твердозаданка [46]:

— Как же я засею, когда коня нет, семян нет. Сам уехал. Ребенок грудной...

— Гм... Это уж ты там, *на месте* решай.

ИГНАТ СОЛОВЬЕВ И ЕГО БРИГАДА

(Отрывки из поэмы, затеянной по конкретному материалу и написанной году в 32. В целом не сохранилась).

Мастерами первой руки,
Работниками на совесть
Славились бизюки,
Плотники то есть.

Всё бизюки могли,
Всё умели за плату.
Вязали они углы
В немецкую лапу.

Хату они рубили
По чистоте — что сундук.
Славу свою любили
И не жалели рук.

Отделанный сруб золотой —
Можешь не верить —
Налей из окна водой,
Закрой двери —

И если где потечет,
Работа не в счет.

Дóма в хозяйстве
И во дворе
Все держалось
На топоре.

Топор кормил,
Топор обувал,
Топор на посев
Семян добывал...

Шли бизюки
Сбивать кулаки.

Рубили, вязали
За срубом сруб.
И получали
Поденный рубль.

А песни пели,
Что веселей
Теперь не поют
И за пять рублей.

Едет десятник
На родину к себе,
Где еще печка
Цела в избе.

Под крышей двора
Лежат — как золото —
Березовые дрова,
Сухие, колотые.

Во всем, бывало,
Хозяйский пригляд.
Веники трехгодовалые
Под навесом висят.

Только не дымится
Давно труба.
Забитая, как каплица [5*],
Стоит изба...

— Эх, плотнички,
Пусто вам будь.
Работнички —
Ни в зуб толконуть.

Не возьмут топором —
Помогают гвоздем.

Сидят ребятки
На угловой рубке.
По ухватке —
Не народ,— полушубки.

Их ни ругнуть,
Ни поддеть, ни обидеть —
Никто настоящей
Работы не видел.

Со всех волостей,
С белого света.
Ни марки своей,
Ни славы у них нету.

Месяц уже —
Не работа, а нервы.
На одном этаже
Сидеть на первом.

Не туговато,
А вовсе туго.
Людей по брату
Не хватает на угол.

А какой народ —
Говорилось вперед.

[5*] Капли́ца — часовня.

Тешет и в голос воет,
Рвет у других из рук:
Что ни бревно, то кривое,
Что ни удар, то сук...

Взять любого б из вас
С тринадцати лет
На артельный квас,
На хозяйский хлеб.

Встань на тёску
С зари до зари,
Разбейся в доску,
Умри.

Насчет повышенья
Мечтать не моги.
Ко второму Успенью
Справь сапоги.

От земли на четверть
Подтянись, подрасти.
Десятнику четверть
Поставь,— угости.

Вам бы стать в те года,
Положить силу.
Знали б тогда,
Что есть и что было.

— Знаешь, старик,—
Сказал Соловьев,—
За семерых
Ты насыпал слов.

А тут о тебе
И гав — не брехал.
Сидел бы ты в избе,
Никто тебя не звал.

Тебе осталось
Плевать в потолок,
В колхозе на старость
Получать паек.

Так что молчи
И слушай,
Готовые харчи
Кушай.

Пользуйся квартирой,
И не агитируй.

— Ты мне харчи
Не ставь в упрек.
Не у тебя на печи,
Не твой ем кусок.

Не твой, не дядин,
Ничей.
Живу не ради
Харчей.

Будто для смеху
Слушают старика,
Но и ехать
Не согласны пока.

Агенты по вербовке
Ездят в командировки.

Находи, где хочешь,—
Привози рабочих.

А они в ответ,
Что народу нет.

Плотников забрало
Агентство Урала.

Каменщиков — Ленинград,
Москва — всех подряд.

Последний кузнец
Уехал в Кузнецк.

Много таких примет
Вывели старые люди:

В двадцать лет — силы нет,
Значит — не будет.

В тридцать лет — ума нет,
Значит — не будет.

В сорок лет — денег нет,
Значит — не будет [6*].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Мефодий Иванович *Савченков* — друг юности Твардовского. «Мефодий был грамотный парень, окончил в Смоленске девятилетнюю среднюю школу. Очень способный, энергичный, мечтательный. Умер он в 1973 г. в Москве, в чине генерала» (из письма И. Т. Твардовского Р. М. Романовой 31 окт. 1979 г.). Какую книгу видел Твардовский у Мефодия, установить не удалось. Авторы упоминаемых ниже рассказов из этой книги — Е. И. Фортунатова («Талисман») и М. Гартман («В когтях у льва»).

[2] В 1921—1931 гг. поэт Михаил Васильевич *Исаковский* (1900—1973) работал в редакции смоленской газеты «Рабочий путь». Когда весной 1926 г. Твардовский впервые при-

[6*] Впоследствии эти 8 строк в значительно измененном виде были использованы в поэме «Страна Муравия» (гл. 4).

нес ему свои стихи, Исаковский отнесся к начинающему поэту с большим вниманием: при его содействии в газ. «Смоленская деревня» 21 сентября 1926 г. было напечатано стихотворение «Урожай» в сопровождении портрета автора. Впоследствии этот эпизод был описан обоими его участниками (*Твардовский*, т. 1, с. 22; *Воспоминания о Твардовском*, с. 56). Некоторые ошибки памяти, допущенные ими, исправляются на основании фактов, установленных по смоленской периодической печати (*Материалы*: 1925, 19 июля; 1926, 30 марта и 21 сентября).

[3] Иван Михайлович *Касаткин* (1880—1938) — автор рассказов о жизни дореволюционного крестьянства. Твардовский мог читать его книги: «Лесная быль» (в 1916—1923 гг. вышло три издания) и «Деревенские рассказы» (1925). О С. П. Подъячеве см. в наст. томе «А. К. Воронский. Из переписки с советскими писателями», прим. к письму 2. О А. С. Неверове см. ниже прим. 16.

[4] Вася — Василий Трифонович *Твардовский* (1925—1954). Ваня — Иван Трифонович *Твардовский* (р. 1914); ныне проживает в пос. Танзыбей Ермаковского р-на Красноярского края; его воспоминания «На хуторе Загорье» см.: «Молодая гвардия», 1980, № 6. Костя — Константин Трифонович *Твардовский* (р. 1908); в наст. время живет в совхозе «Лонница» (Краснинский р-н Смоленской обл.); его воспоминания о семье Твардовских см.: *Кондратович*, с. 44, 46—51). Трифон Гордеевич *Твардовский* (1881—1949) был кузнецом (см.: «За далью — даль», гл. «Две кузницы»).

[5] В «Красноармейской правде» напечатано только одно стихотворение этого цикла — «Посиделки»; «Самогонщику» опубликовано в «Смоленской деревне» (*Библиография*, № 26 и 28). «Гармонист» и «Родная глушь» — вероятно, стихи «Как умерла гармошка» и «Глухая сторона» (Там же, № 33 и 36).

[6] «Мои записки» — повесть Леонида Андреева (1908). Горький охарактеризовал ее как «проповедь пассивного отношения к жизни» (*ЛН*, т. 72, с. 318).

[7] Николай *Долгалев* — в то время ближайший друг Твардовского (см. запись 30 ноября 1933 г.— план «Автобиографии»). Печатался в смоленских изданиях. В 1927 г. уехал в Москву, стал сотрудником «Крестьянского журнала» и в родные места уже не вернулся (Иван Твардовский. На Хуторе Загорье (из воспоминаний).— «Молодая гвардия», 1980, № 6, с. 110—111).

[8] Учеба Твардовского в школе оборвалась после шестого класса (см.: Тетрадь II, прим. 28).

[9] В журн. «Крестьянка» стихи Твардовского не выявлены, не найдено и стихотв. «Богатой девушке».

[10] Об участии Твардовского в литературном конкурсе газеты «Беднота» см.: *Материалы*: 1926, 10 декабря.

[11] О начале сотрудничества Твардовского в этих газетах см.: *Материалы*: 1925, 21 января и 6 октября; 1926, 12 марта и 30 октября. Газету «Юный товарищ» Твардовский называет так, как это было принято в среде ее сотрудников,— ЮТ. Далее в публикуемом тексте эта аббревиатура сохраняется.

[12] Повести *В. Крестовского* (псевд. Н. Д. Заббнчковской-Хвощинской; 1824—1889) «Сельский учитель» и «Еще год. Дневник сельского учителя» печатались в журн. «Отечественные записки» (1850 и 1852) и вошли в «Собр. соч. В. Крестовского» (СПб., 1892, т. I).

[13] Из стихотв. С. Я. Надсона «Милый друг,— я знаю, я глубоко знаю...»

[14] Этот «Дневник» см. в кн.: «Полн. собр. соч. С. Я. Надсона». Пг., изд. А. Ф. Маркс, 1917, т. 2.

[15] А. В-ч. Воспоминания о С. Я. Надсоне.— «Книжки «Недели», 1891, № 1.

[16] Александр Васильевич *Ширяевец* (наст. фамилия — Абрамов; 1887—1924) — крестьянский поэт; под впечатлением его внезапной смерти Есенин написал стихотворение «Мы теперь уходим понемногу...». Александр Сергеевич *Неверов* (1886—1923) умер в расцвете творческих сил; его лучшие произведения («Ташкент — город хлебный» и др.) написаны в последние два года жизни писателя.

[17] Возновы — родственники Твардовского со стороны матери (см.: Р. М. Романова. Наш родственник Вознов.— «Лит. Россия», 1979, № 45, 12 ноября). Нос — Николай Петрович *Носов* — муж одной из сестер Возновых.

[18] «Крестьянский журнал» (М., 1923—1930; с № 5 1930 г. изм. загл.— «Колхозник»). Стихи Твардовского в этом журнале за 1927—1930 гг. не выявлены.

[19] Писатель Дмитрий Дмитриевич *Осин* (р. 1906) в 1920-х годах сотрудничал в газетах «Юный товарищ», «Рабочий путь» и др. смоленских периодических изданиях. Ему принадлежит первая критическая статья о Твардовском (*Материалы*: 1927, 27 апреля; см. также: 1930, 15 сентября — 18 октября).

[20] Яков Иванович *Савченков* — старший брат М. И. Савченкова (см. прим. 1).

[21] Об этом вечере см.: *Материалы*: 1927, 12 апреля.

[22] О публикации стихотворения «Кони» см.: *Библиография*, № 44.

[23] Это письмо не сохранилось.

[24] Очередная «Литературная страница» газеты «Юный товарищ» была озаглавлена «Творчество Александра Твардовского»; о ее содержании см.: *Материалы*: 1927, 27 апреля.

[25] Зинаида Ильинична *Твардовская* — мать Т. Г. Твардовского.

[26] О выступлениях А. А. Жарова и И. П. Уткина в Смоленске см.: *Материалы*: 1927, 14 и 15 мая. Оба поэта в то время находились в зените славы и вызывали восхищение Твардовского (см. ниже запись 31 августа 1927 г.). О популярности Жарова и

Уткина в литературной среде Смоленска свидетельствует и тот факт, что их книгами премировали победителей литературного конкурса газеты «Юный товарищ» (*Материалы*: 1928, 17 марта).

[27] О Белой горке см. стихотворение «На Хуторе Загорье» (*Твардовский*, т. 1, с. 200).

[28] О публикациях стихов «Ночной сторож» и «Перевозчик» см.: *Библиография*, № 59 и 69.

[29] По-видимому, Маня (Мария Николаевна) *Радькова* (в замуж. Дубинская) — предмет юношеского увлечения Твардовского. Ей посвящено стихотворение «Любимой» («Юный товарищ», 1927, № 83, 23 ноября).

[30] В литературе о Маяковском такое высказывание не зафиксировано. Возможно, что Маяковский сказал это на вечере в Смоленске, который состоялся 25 марта 1927 г. (см. *РЛ*, 1927, № 68, 25 марта), и Твардовский мог слышать его слова в передаче своих литературных друзей.

[31] «Сашка Епифанов — Александр Епифанович Животков, сын нашего соседа〈...〉 был хорошим гармонистом, играл он на трехрядной гармошке, которая была тогда большой редкостью. Он держал себя как деревенский интеллигент, но чем это подтверждалось, сказать не могу. Образования он, конечно же, настоящего не имел. Просто он был заметен в Загорье одеждой, поведением, музыкальностью, но еще и тем, что у него был велосипед, и когда он где-либо ехал на велосипеде, все это замечали, даже кричали: «Гляди! Гляди! Санька Липихфанов на лисапете паехав!» (Из письма И. Т. Твардовского Р. М. Романовой, 31 октября 1979 г.).

[32] «Пан» — ироническое прозвище отца поэта (*Твардовский*, т. 1, с. 19).

[33] Сыщик Ник Картер — один из героев американской бульварной литературы о детективах. «Приключения Ника Картера» (автор неизвестен) были очень популярны в нач. XX в. В России серия этих книжек выпускалась миллионными тиражами.

[34] Спиридон Дмитриевич *Дрожжин* (1848—1930) — крестьянский поэт.

[35] В доме, где родился Герцен (Тверской бульвар, 25), в конце 1920-х годов размещались различные литературные организации — РАПП, редакция журн. «На литературном посту», «Литературный фонд» и др.

[36] Вероятно, подразумевается Григорий Захаров, сосед Твардовских по Загорью (см.: Тетрадь II, прим. 19).

[37] О вступлении Твардовского в Смоленскую ассоциацию пролетарских писателей см.: *Материалы*: 1927 г.

[38] О публикации стихотворения «Весна 1930 года» см.: *Библиография*, № 150.

[39] Кротов (Ф. Захаров) — Фома Захарович Захаров. «Какое-то время он жил в Загорье, в первые годы революции. Арендовал временно старую (первейшую) хату-времянку у Трифона Гордеевича. Впоследствии жил в Ляхове. Дружил с нашим отцом длительное время. Имел целых полдюжины сыновей-богатырей. Сам он, Фома Захаров, погиб геройской смертью во время оккупации Ляхова немцами. Он был сожжен в ляховской церкви» (из письма И. Т. Твардовского Р. М. Романовой, 31 октября 1979 г.). О Фоме Захарове и его сыновьях Твардовский предполагал рассказать в «Автобиографии», задуманной им в 1933 г. (см.: Тетрадь II, прим. 19).

[40] Этот эпизод Твардовский включил в план «Автобиографии» (Тетрадь II, запись 30 ноября 1933 г.).

[41] Об этой особенности жизни семьи см.: *Твардовский*, т. 1, с. 19.

[42] Речь идет о К. Т. Твардовском (см. прим. 4).

[43] Эта поэма — «Путь Василия Петрова» (в дальнейшем — «Вступление») — опубликована в 1932 г. (*Библиография*, № 188). Состоялось ли выступление Твардовского, для которого написан нижеследующий текст, установить не удалось.

[44] Об этой поездке см.: *Материалы*: 1932, 23 апреля — середина мая.

[45] Это стихотворение впервые опубликовано в кн.: *Твардовский*, т. 1, с. 59.

[46] Твердозаданцы — определенная категория крестьян-единоличников, облагавшихся в годы коллективизации твердым заданием по поставке государству сельскохозяйственных продуктов.

⟨ТЕТРАДЬ II⟩

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ (СТИХИ). ЗАМЫСЛЫ, ВАРИАНТЫ, НАБРОСКИ

1933—⟨19⟩35 гг.

Смоленск

⟨1933⟩

24.IX.33.

План на зиму и лето:

1) В порядке курса литературы XIX в. перечесть русских классиков и, по возможности, неклассиков [1].

2) Сделать занятия философией постоянным делом. Начав опять с «Л. Фейербаха» и «Анти-Дюринга», засесть основательно за «Эмпириокритицизм» Ленина. Чтобы это стало в полном смысле слова пройденным этапом, чтобы уже *к этому* прибавлять. Выписать «Под знаменем марксизма» на 34 г.

3) Немецкий.

4) Повесть давно уже перестала представляться как «повесть», какою задумывалась раньше. Семен Смирнов (Тихонов), Дмитрий Прасолов — ее предполагавшиеся персонажи — будут отдельными повестями биографического характера. Они соприкасаются (Тихонов на курсах знакомится с Прасоловым). В дальнейшем Тихонов должен обрасти — будет одна большая повесть, куда войдет и Прасолов [2].

«Мужичок горбатый» разрастается в большое стихотворение, может быть, поэмку [3].

Мотивчик хорош, но позволит ли он развернуть настоящий живой драматически-насыщенный образ?

25.IX.⟨33⟩. Завел тетрадку немецкого.

Читаю Пушкина. Кроме ощущений, обычных, когда перечитываешь читанное много лет назад,— новое, что только теперь мог заметить.

В «Капитанской дочке» страшно много пословиц и поговорок. Об эпиграфике «Капитанской дочки» где-то говорили, что она достойна специального исследования. Верно. Что ни эпиграф, то целый стиль. Он помогает действию, придает тон, окраску, слит с повествованием не хуже, чем у Пассоса его «экраны» [4]. А наши писатели, вроде Овалова, к очеркам о хлебозаготовках поставят эпиграф из Гоголя или Стендаля по признаку самого несущественного отношения — и рады [5].

Одиночество (творческое) не так остро, если работаешь побольше, приводишь в порядок все.

«Мужичок» пишется. Повести (может быть, сперва очерки биографии с сохранением собственных имен и действ⟨ительных⟩ фактов) представляются нужными, серьезными и значительными. Смирнова (Тихонова) давно держу в голове как нечто готовое, и, может быть, потому не продумываю (может быть) все шире и глубже его. Давно уяснилось, что это большой герой из выдвинутых коллективизацией представителей самых настоящих, подлинных нетронутых масс крестьянства. В нем вначале ничего готового. Скорее, Прасолов берется в более обычном плане: выдающаяся личность. А этот делается выдающейся личностью, но три-четыре года назад он не мог бы и представить себя тем, чем теперь становится.

Буду работать, если даже не заключу договора.

30.IX.33. Моргунок подвигается. Дальше в лес — больше дров. Вот был он беспутным, бездельным и пр. В колхозе он тоже чудит, безобразничает. Его терпят. Его ругают, но ругают, во-первых, так, точно впервые видят,



А. Т. ТВАРДОВСКИЙ, М. В. ИСАКОВСКИЙ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛХОЗА «ПУТЬ ЛЕНИНА» ДМ. ПРАСОЛОВ

Село Рибшево (Пречистенский р-н Западной области)

Фотография. 21 июня 1935 г.

Личный архив Твардовского, Москва

какой он, во-вторых, видят в нем выражение «всех порядков» — колхоза, власти и т. д. Он чувствует, что ругают не его лично, что, наоборот, «жители» в обычных отношениях с ним не проявляют особой неприязни к нему. Он привыкает, что ругают не его, он даже сам поругивает порядки, власть. И зависимость своего поведения от «жителей» он ощущает настолько, что стать ему другим, чем его привыкли видеть,— вроде как обмануть их.

Чрезвычайно трудно дать, не сходя на прозу, фактическую сторону дела. Удаление «жителей», мотивировка (может быть, «новое руководство»? ..— Идея! Политотдел). Без «жителей» Моргунок чувствует себя сразу хуже. Его ругают, но ругают именно его, как такового. Он пытается продолжать старую линию поведения. Развертывается его драма. Все это должно становиться серьезней и серьезней. То он чувствовал, что «не один он такой на свете», что его поведение законно в условиях колхоза, который он ругает вместе с «жителями». Теперь он мало-помалу начинает понимать, чувствовать, что *одинок*. Он противопоставляет себя всем. Отсюда как-то должно вытечь его воровство. Его ведут, он шутит, но никто не смеется, он жалок, Моргуниха ему уже не сочувствует. И вот человек, этот человек, примитивно, несложно, но глубоко верно, со всей силой должен почувствовать, практически увидеть, что дальше петь «мужичка» нельзя.

Но многое, что голомысленно мне представляется ясно, еще не находит выражения в двустишиях, в строчках, рифмах. Это значит, что далеко не так все напишется, как здесь.

7.X.⟨33⟩. К Моргунку вроде как холодею. Хотя пишется ничего.

Общие соображения: достигнется ли здесь настоящая лиричность и драматичность?

Строф жиденьких много. Композиции, по существу, нет еще. Но продолжаю быть внутренне уверенным в теме и образе. Так, быва⟨е⟩т, пишешь, завязываешь, и хотя не знаешь еще, как развяжешь, чем кончишь, но если хорошо завязывается — знаешь, что развязка придет.

Вчера читал Марьенкову [6] и наброски Моргунка, и черновики «повести». Моргунка он *прозаически* воспринимает. «В стихах не развернешь». Чтение черновиков прозы (хотя это было при выпивке, когда особенно хочется читать для удовольствия и чтоб все было хорошо) дало почувствовать, что «может и не было мальчика» [7], т. е. повесть в том виде, как она писалась (начиналась), дело грустное. Но хорошо, что так или иначе побарахтался с материалом. Чуть уладится с керосином, начну писать.

Очень хочется написать что-нибудь чисто лирическое. Понятно, что ничего не выйдет, пока не поймаешь чего-нибудь конкретного, «чувствительного». Чистка партии. Я — на чистке. Я, человек «абсолютно партийный», но беспартийный в силу внешних обстоятельств. Нужен тип, которого чистят. (Он и «бобка» и «формалист», что, может быть, одно и то же). Лирическим мотивом предполагается мое возмущение и жалость, что человек (тип) так не дорожил партией и что я все же в силу своей беспартийности не могу показать, как бы я дорожил. В изложении — неправильно. А чувство какое-то правильное, хорошее. Ведь в отношении жизненном верно, что, говоря о повороте той же интеллигенции, м⟨ожно⟩ ск⟨азать⟩, что этот поворот у какой-то части настолько глубок, что она (часть) готова быть партийной, она уже *партийная*, но покамест беспартийная. Правда, на эту часть не распространить же мои биографические особенности. Да и претензии мои не вполне: на практике, даже в своих условиях я мог бы больше показывать свою партийность. В общем, нужно думать.

Прочел опять (читал давно и плохо) письма Ленина к Горькому [8]. Очень мешает плохое знание истории партии.

10.XI.33. Пишу понемногу «Предисловие»[9]. Получается длинно для предисловия. Возможно, что оно и не подойдет для книги, но оно небесполезно для самого себя. Это, говоря по Марксу-Энгельсу, сведение счетов со старой поэтической совестью [10]. Боюсь только, что, дав, может быть, и грамотную и правильную оценку всему своему творчеству, я не смогу сказать того, что думаю о поэзии сейчас, так как думаю очень слабо, практика незначительна,— мало пишу. И, признаться, не имею, не ношу в себе, как это должно бы, обязательного представления о том, какие нужны и какие буду писать стихи в ближайшее время. Чувствую, что «Мужичок» — что-то не то, хотя продолжать буду и закончу, но это должно быть последним *таким* моим произведением. Между прочим, хочу, продолжая работать как над поэмой, сделать из него и небольшое стихотворение. Писать прозу до каникул, пожалуй, и думать не приходится.

Брюсов — хороший, умный поэт, которого стоит уважать, в особенности, если откинуть дрянные стихи. Но все же я его больше уважаю как личность и хочу заимствовать некоторые его качества: работящесть, думание, образованность, упорство и т. п.

Смешно говорить о немассовости Брюсова, но какой же это для меня поэт, которого беззаветно читают лишь Поступальские (правда, и деньги за это получают), да студенты, по программе. В этом смысле для меня его «Каменщик» («в фартуке белом») дороже, чем многие и многие, может быть, лучшие его стихи [11].

Хотел «Предисловие» писать в этой тетрадке, чтобы не сбиваться ни на малейшую неискренность. Это—еще детство. Ощущения «негениальности» приходят, как и в прошлом году, но теперь я говорю: старó. Я не бесталанен. Но талантливость моя не настолько велика, чтобы проявиться без особых усилий с моей стороны, без труда, при наличии все обнаруживающейся некультурности. Я абсолютно уверен, что если буду по-настоящему (по-брюсовски, по-горьковски) работать,— смогу стать большим писателем. Но, как я уже давно говорю, если я окажусь и не большим, то первый буду знать это.

Сжег на днях всякие рукописи от 26 г. Зачем хранить это барахлишко, которое еще не показывает ничего сознательного? Вот кое-какие записки 29—30 гг., если найдутся, можно подобрать. Некоторое сожаление (при том, что держать это барахло из-за многих до сих пор стыдных вещей было неприятно) о них — это, конечно, момент чепуховый, самобереженьице.

12.XI.33. Начал из «Мужичка» выбирать короткое стихотворение — переписал все, за исключением того, что как раз и ощущалось как непоэтическое (длиннота описания предметов кражи, убивающая весь смак и смысл этой воровской особенности; история с тестем, от которой с самого начала пахло моей убийственной стихотворной повествовательностью). Получается лучше, сгущеннее. Остановка на свадебной картине, которая, с одной стороны (хозяин), дает «историческую обстановку», время, с другой,— как раз в силу этого своего качества теряет необходимые черты стародеревенского кулацкого пиршества, которые нужны для неявственного, но определенного соотнесения колхозному празднеству, на котором Моргунок должен выступить новым человеком. Впрочем, как всегда, то, что будет написано, будет очень не таким, каким представляется теперь. Собственно, писанье для меня — это активный процесс обдумывания, уяснения, «представления» — вообще мышления, к которому я еще почти совсем не способен на ходу. Мышление, если не ошибаюсь, словесно, а у меня вместо такого мышления — обманчиво-готовые картины, мотивы, иногда помеченные кусочком фразы, словечком, а то и всего лишь представлением, мечтой о какой-то фразе, стихе.

В «Предисловии», говоря о заглавии «Путь к социализму», по-новому подумал о названиях колхозо⟨в⟩. Это дело интересно с точки зрения выявления некоего поэтического момента в современном крестьянском сознании. С другой стороны — показатель широты круга понятий, проникающих в это сознание и изменяющих его (Коминтерн, Мировой (наверно, есть такой), Октябрь и т. п.). О классовом моменте в творчестве этого рода я раздумывал и в пору, когда пытался собирать названия колхозов.

Изучить их и вдуматься в них (но не буквенно и вообще не по-дурацки) стоит и из соображений интереса к характеру эстетического уровня новых масс, т. е. их стоит изучить поэту, собирающемуся быть народным поэтом. Может быть, напишу статейку, обращающую внимание на этот род, или вид, творчества масс. Нет, это не одно и то же, что изучение эпохи по папиросным коробкам.

25.XI.33. «Мужичок» подвигается медленно. И чувствуется, что вряд ли он будет стихотворением очень значительным для меня. Успокаивает лишь сознание, что в нем хоть кой-как пробиваются по-настоящему поэтические строчки. Опасаюсь и опасаюсь потонуть в повествовательной растянутости. Давно отказался от мысли вводить «тестя», распространяться о Моргунихе. Выкинул:

Жизни этой сколько лет,
Знают все Филиппа.
Чуть он что́ — приходят вслед
Говорить спасибо.

И его не водят в суд,—
Где запрятал — спросят,
Потолкают, потрясут,
Погрозят и бросят.

А хозяйке под конец
Выскажут с укором,
Что Ефим, ее отец,
Сроду не был вором.

Хоть всю жизнь потел,
Хлеб с оглядкой ел,
Хоть всю жизнь Ефим
Жил горбом своим,

Не справлялся днем,
Ночь прихватывал,
Кирпичем-сырцом
Подрабатывал.

И полсотни лет
Он вставал чуть свет —
И запасу нет,
И богатства нет,
Хлеба вволю нет
И коровки нет.

Так бывало о Ефиме
Начинали говорить,
Точно были все такими
Или все хотели быть.

А Ефим за годом годы
Кланялся горбом земле.
И предсказывал погоду —
Дождь и вёдро — по киле.

Он трудился бессловесно,
Глину, сняв штаны, топтал,
И что есть он самый честный,
Он не думал и не знал.

Пожалуй, единственное полезное замечание в статейке Борисевича — это о моих именах: «Федот», «Василий» и т. п. [12]

«Филипп» — тоже «пережиток».

С написанным к повести думаю провести такую работу: выбрать и выписать в отдельную тетрадь (Маня достала) все стоющее из папки [13]. Черновики сжечь. Можно было бы не жечь, если бы быть уверенным, что в конце концов получится книга действительно значительная,— черновики этой книги, которая еще совсем не написана, по существу не начата,— наглядная до невозможности история моего прозаического развития. Мысль эта оттуда, что я начал понимать, что можно относиться с известной бережностью к своим писаньям, независимо от их обязательной «гениальности». Относиться как к труду, «готовому мыслительному материалу». Только в голове можно одним махом все старое зачеркнуть и написать абсолютно новое. Как ни прыгай, но начинать приходится с того, что на сей день реально достигнуто. До многих таких вещей, которые, конечно, общеизвестны, я дохожу только. К ним можно хоть сейчас прибавить несколько других — тоже общеизвестных, подразумевающихся самими собою, но которые, к сожалению, составляют новизну, свежесть «постигнутого» для меня. Как бы другие хорошо ни знали какие-нибудь науки, как бы далеко ни ушли, для меня это бесполезно, пока то же не пройдет через самого себя, начатое сначала, хотя это будет не совсем такое же прохождение, как у других.

26.XI.33. Из «Мужичка» выпадает:

Пел на свадьбе Моргунок
На дворе богатом:
Жил на свете мужичок
Маленький, горбатый. . . [7*]

Трулля-трулля-трулля-ши,
Пропил батька лемеши,
А сынок —
Топорок,
А дочушка — гребенек,
А матушка — того роду —
Пропила сковороду,
Полезла под печь:
— Сынок, блины нечем печь [8*].

(Мне 24-ый год, а песенку эту я слыхал, когда мне было не больше четырех лет; правда, она и позднее повторялась в семье.)

Лез хозяин через стол:
Моя хата, мой простор,
Становись, сынок, на лавку,
Пей, гуляй, справляй престол.

Веселитесь, пейте, люди,
Пейте, ешьте — все равно:
Что в бутылке, что на блюде —
Неизвестно, чье оно.

Неизвестно, чья коровка,
Чьи сараи, чей амбар,
Чья рубаха, чья поддевка,
Чей на полке самовар [9*].

Обнимал старик Филиппа,
Попросту за стол сажал,
Говорил ему спасибо
И как гостя угощал.

— Пей, Филиппка!— И казалос
Заслужил он эту честь,
Заслужил любовь и жалость
Тем, что был таким, как есть.

[7*] В несколько иной редакции эта строфа открывает стихотворение «Мужичок горбатый», написанное в 1934 г. (см. ниже запись 10 января 1934 г., а также прим. 3).

[8*] Завершая работу над поэмой «Мужичок горбатый», Твардовский включил эту песенку в число «кусочков», оставшихся «в пользу Поэмы», т. е. «Страны Муравии» (см. запись 17 января 1935 г.). Впоследствии песенка вошла в эту поэму (гл. 2).

[9*] В дальнейшем эта и две предыдущие строфы в измененном виде вошли в «Страну Муравию» (гл. 2); см. также запись 11 ноября 1934 г.

И теперь желает кто-то,
Чтобы вольный Моргунок
На людей, как конь, работал
За квартиру и паек.

Не бывало того сроду,
Не бывать тому вовек,
Чтоб сменил свою свободу
На неволю человек.

Отчего ты, божья птичка,
Хлебных крошек не клюешь?
Отчего ты, божья птичка,
Своих песен не поешь?

Отвечает эта птичка:
Жить я в клетке не хочу,
Отворите мне темницу,
Я на волю полечу... [10*]

Что-то в этом роде (птичка, клетка) слышано в 30—31 гг. на базаре. Пели слепые — мужчина и женщина. Он был не похож на обычного слепца — плотный, хорошо по-деревенски одетый, лет пятидесяти. Здоровые сапоги с блестящими подковками на каблуках и ысках (он сидел, вытянув ноги на мостовой). После я его видел босиком, но из-под верхних штанов виднелись края добротных домотканных кальсон. Песня осталась в памяти такой примерно, хотя я не уверен, что птичке и клетке в данном случае придавался этот смысл. Кажется, и пел ее не этот мужчина, а кто-то другой.

Борюсь против постоянного желания приписывать, прибавлять к более или менее серьезной записи всяческие самоизъяснения: ведь с любой высказанной мелочью можно связать бездну всевозможных мотивов твоего отношения к ней.

Дневник покамест ведется как история стихотворения. Поменьше нюансов!

Еще раньше из «Мужичка» выпала вся история с уздечкой. Филипп на свадьбе у кулака пел,

Тешил удалью гостей,
Ухмылялся лихо.
И глядела из сеней
Робко Моргуниха.

Улыбалась, слыша смех
От веселой песни,
И была счастливей всех,
Кто стоял с ней вместе.

Сам Филиппов тесть, Ефим,
Гордился когда-то,
Что одной деревни с ним
Был жених богатый.

В это время на порог
Шафера́ с невестой.
И не кончил Моргунок
И пошел на место.

От обиды Моргунок
Вышел на крылечко,
От досады уволок
Из сеней уздечку.

То уздечка была —
Новая уздечка,
Мундштуки, удила
На колечках.

До того хороша —
Сам перепугался.
Шел, нарочно не спеша,
Пьяным представлялся.

Оглянуться не посмел
Он до самой хаты,
Шел и всю дорогу пел:
«Мужичок горбатый».

Это была первая «настоящая вещь», украденная им. Он рад бы ее вернуть, не знает куда спрятать и т. д. Его впервые, может быть, охватывает сознание своей бесправности, приниженности: придут, будут обыскивать, бить. Это чувство на какую-то минуту сближает его с женой, которой тоже страшно и стыдно. Уздечка спрятана, но она занимает Моргунка, она каким-то образом связывается с необычной для него мечтой о коне, о хозяйстве, которых у него никогда не было. Отсюда — он идет работать к тестю — формовать кирпич.

[10*] Песенка о «божьей птичке» трижды использована в «Стране Муравии»: в гл. 2, 12 (здесь вторая ее строфа вложена в уста Бугрова) и 14.

Моргуниха оживает, боится сглазить его. Ефим вскоре замечает, как зять топит в твориле готовые кирпичи. Все по-старому. Уздечку он выносит на свет в колхозе. Ему кажется, что теперь можно: хозяина уздечки нет. Но люди, прогнавшие хозяина, пользующиеся коллективно его основным имуществом, воспринимают уздечку как обнаружение покражи во всей старой силе этого факта. А Моргунок, может быть, достал ее из-под печки для колхозного жеребца, за которым он ходит с любовью уже. Обида, противопоставление себя всем, кража в колхозе. Это вскрывало бы нужные моменты, но в общем не годится.

30.XI.33. Прибавляется по куплетику — по два. Моргунок лежит. Подвожу, как он пользовался подачками со стола «хозяев», «жителей». Не удается сказать, что вот тогда от него не требовалось, чтобы он был каким-нибудь иным, нежели есть. Раньше была строфа:

— Пей, Филиппка! — И казалось,
Заслужил он эту честь,
Заслужил любовь и жалость
Тем, что был таким, как есть.

Переделать пока не удается.

Дальше нужно сказать, что «хозяева» ему теперь роднее, чем люди, которые теперь хотят от него другого. И его собственные обиды принимают форму их, хозяйских, обид (отношение к колхозу). Только бы не сбиться на линию показа узаконенной «расстановки сил». Упор — на раскрытие психологии Моргунка. «Расстановка» во «Вступлении» — это трио (кулак — середняк — бедняк). Сторожем Моргунок не будет.

Задумал писать «Автобиографию».

До самого последнего времени с того, как начал умнеть, жил в сознании какой-то особенности своей биографии. Хотелось, чтобы она была похожа на что-нибудь, что объяснено и известно. В детстве и юности было что-то стыдное, не как у людей. И т. д. Как-то на днях связал свою детскую мечтательность, желание быть офицером, все, что шло от Данилевского [14] и других книг, с обстановкой семьи, замыслами и поведением отца — и стало так понятно и незамысловато. Может быть, «Автобиография» развернется в книгу, где будут картины и люди, которые по своей яркости и смыслу так или иначе являются *моим материалом*. Предисловие к книжке «Стихи и поэмы» дало мне уяснить попросту свою работу за последние пять-шесть лет, т. е. мою поэтическую историю. «Автобиография» представит мне всю мою жизнь до сознательного периода (последние 2—3 года), которая так или иначе еще довлеет на меня. Она же, само собой, составляет в огромной степени мои запасы наблюдений, впечатлений — жизненного материала.

Пока набросаю план «Автобиографии» (по годам и периодам), хотя бы на случай, что она не будет написана.

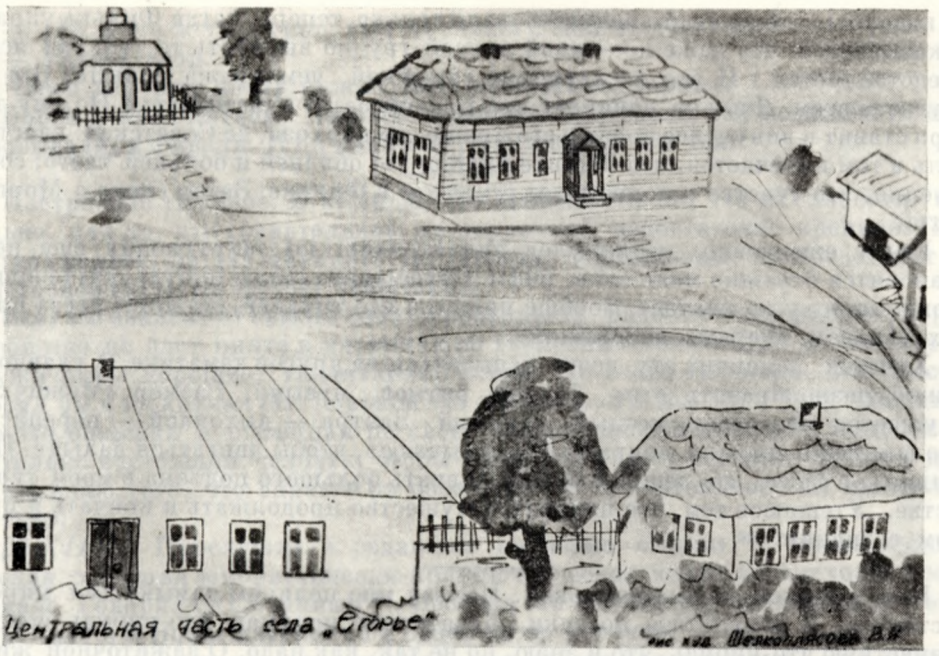
Автобиография
(черновой планчик по годам)

1910—1914

Отец, мать. «Хутор пустоши Столпово». Торбули. Переезд в Чернево. Отец продает коня и дроги (ввиду мобилизации). Снова на хуторе [15].

1914—1917

Смерть деда [16]. «Поставщик двора его величества» [17]. Родня, соседи. Переезд в Смоленск. На киевском шоссе. Орех [18]. Возвращение в деревню. Хомка и хомченята [19]. Обучение у Гриши-«слепца». Призыв отца в армию. Старший брат. «Нас с Николашкой свергнули» [20]. Возвращение отца. Осень 17-го года. Погромы, казаки.



НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА В СЕЛЕ ЕГОРЬЕ
В 1920—1921 гг. Твардовский учился в третьем классе этой школы
Рисунок (тушь, перо) В. И. Шелкоплясова, 1979
Школьный мемориальный музей А. Т. Твардовского в д. Сельцо (Починковский р-н Смоленской обл.)

1917—1924 [11*]

Революция. Продармейцы. Угощения «комиссаров». Торговля скотом; зима в См⟨оленс⟩ке— в «гимназии» [21]. Хохлов. Отец в домзаке (2 раза — ?). Гришка Босинской [22]. Ляховская школа. Егорьевская. Илья Лазаревич, Иван Ильич, Толя [23]. Неоконченная зима. Стихи. «Пушкин» и «Лермонтов». Чтение. Данилевский [24]. Поездка отца в Самару [25]. Белый Холм [26]. «Суд». Лето — вступление в комсомол [27].

1924—1928

Неудачи с устройством учиться [28]. Кубарки [29]. Побег. У Сиводедовых [30]. Исключение. Писание в газеты. В политшколе. Съезд селькоров [31]. Знакомство с Долгалевым [32]. Дружба. Егорьевская яч⟨ейка⟩. Долгалев в Москве. Связи со смоленскими писателями. Переезд в Смоленск.

1928—1932

Смоленск. Марьенков [33]. «ЮТ» [34]. Поездка в Крым [35]. Дома — в гостях. Голодание [36]. Курдов [37]. Брянск, агитпоезд [38]. Переписка с Гореловой [39]. Возвращение в Смоленск. Македонов, дружба [40]. В Москву [41]. Московское лето. Осень. Конструктивисты [42]. Зозуля, Беляев [43]. Загорье. Смоленск. Авербах [44]. Первая поездка в колхозы [45]. Исключение из АПП [46]. Летом у Рыленкова [47]. «Путь к социализму» [48]. Осень. Виницкий, ГИЗ [49]. Поездка с Осиным [50]. Работа в журнале «Западная область» [51]. Дело с родителями. Женитьба. Лето 31 г. Жизнь у тещи [52]. «Дневник председателя колхоза» [53]. «Вступление» [54]. Весна 32 г. (Зубцов) [55]. Осень — институт [56].

11.XII.33.

. . .один он был здесь — вор,
Каждый — был хозяин.
Это ихний был колхоз. . .
Те амбары, тот овес,
Тот мешок холщевый.

[11*] На полях возле нижеследующего абзаца помета: «Непоследовательно».

И, казалось, что и они это почувствовали только теперь, когда Фильку украл. (Оказывается, что даже кое-какой прозой трудно выразить то, что так ясно представляется.) И это несравненно страшней, чем кража раньше. Это — другое совсем. Филька начинает что-то понимать, чувствовать. Но ему теперь ставят в вину и все вообще его кражи, до колхоза, до Советской власти. Соль в том намечается, что Фильке именно это обидней и больней всего; собственно, это чувство и показывает *движение* в Фильке. Затем сцена с Моргунихой.

Пишу ежедневно, подвинулся значительно, но закругления еще нет. Становится страшно мало слов, рифм. Срифмовать какое-нибудь обычнейшее словцо пороху не хватает. Вообще пишется все трудней, остается масса плохих строчек, «первых двустиший».

Хочется, закончив эту вещь, испытаться на другой тематике. А главное, нужно разнообразить стих, больше ритмов, музыки. Размер «Мужичка» ощущается как очень тесный, трудный. Завтра — выходной — переписываю всю вещь сначала, сокращаю, вдумываюсь, чтобы двигаться дальше. Печально, но факт, что вещь не будет означать большого подъема в моем творчестве. Утешаюсь тем, что находится мужество продолжать и кончать и при этом сознании.

Еду, кажется, в командировку. Нельзя мне целиком замыкаться миром института. В результате поездки обязательно надумаю что-нибудь новое, почувствую что-нибудь, что и знаю, но не так, как надо. О зажиточной жизни я знал, но только после поездки в колхозы Ржевского р-на написал о ней с той необходимой уверенностью, без которой писать нельзя [57]. Кроме всего этого — авансы, которые так или *иначе* нужно отрабатывать. Увлекаюсь выписками, карточками. Кроме программного, ничего не удается читать, не все и программное, хотя иногда и больше.

Для напечатания статьей, да и просто для себя необходимо развить «предисловие» следующими моментами:

1) Огромным недостатком моих стихов, как и вообще, может быть, нашей литературы, является то, что мы темы социально-общественные, политические разрабатываем в абсолютном отрыве от таких вещей, как природа, любовь, смерть и т. п. Либо мы берем эти вещи как таковые и начинаем их разрешать марксически — ничего не получается. Может быть, за борьбой последних лет люди действительно очень отстранились от этих вещей, переживают их «дома», обывательски, стыдятся их, ⟨эти вещи⟩ теряют перед ними свое величие. Не может же быть так.

2) Ближайшими темами будут факты революционной борьбы рабочего класса, гражданской войны,— по крайней мере так хочется. Хочется попробовать себя на более широком материале. Нельзя ограничивать себя материалом. Колхозная тематика разрабатывается очень суженно. В отрыве от всего многообразия социалистической революции, истории. В общем, может быть, я лишь дохожу до мыслей, которые давно известны. Но что мне из того, что люди знают языки, философию и т. д., пока я их не знаю. Каждый все начинает сначала, но повторение здесь не грозит.

24.XII.33. Приехал из командировки. Новое — помимо прочего — «Игнат Белый» [58]. Т⟨ак называемый⟩ положительный тип бедняка, бедняка-революционера, которого я плохо представлял себе. Биография богата и на редкость показательна для психологии крестьянина вообще. Он уехал в Америку до японской войны (сейчас ему лет семьдесят, но этого с виду не скажешь — он не старик, а мужик), когда еще его и других первых эмигрантов огромная пятисотдворовая деревня провожала на станцию с воем до кладбища. Там он обжег на мартенах («мартеновских печах») ноги, возвратился на родину, потом уехал опять, опять вернулся, опять уехал — на 3 года.

Первый раз он привез рублей 150, второй — рублей 300, третий — около трех тысяч (прожил три года).

— Ну, и что ж ты купил, как ты зажил с такими деньгами?. .
— Купил двор. . .
Через год ему опять нужно было уезжать за границу.
Борец с кулачеством. Человек, которого несколько раз поджигали, обворовывали, избивали. И он понимает, кто и за что его бил.

Настроение тяжелое. И не знаю, что записывать: то, что от слабости, но сильно, или то, что сознательное, но непрочное, недостаточно крепкое. Пожалуй, первое, не дав никакого результата, перспективы, не представит и ничего нового,— не нужно записывать.

Все, все зависит от самого себя. Уверенности, радости своей работы, веры в себя мне не даст никто и уж никак не хвалебным чем-нибудь. Я знаю, что «Мужичок»— хорошие, талантливые стихи. Но этого так мало, что просто бросил бы и не кончал бы. Горькое это сознание, что все-таки буду кончать. Все это большая и страшная по своей беспощадности проверка: есть ли я настолько настоящий человек, чтобы работать, класть все силы хотя бы и к достижению того, что заранее не обольщает исключительностью, «гениальностью».

26.XII.33. Прослушал в редакции по радио «Клоп» [59]. Очень нужна веселая, хорошая юмористически-приключенческая книга на колхозном материале. Говорил со Смолиным [60]. Веселая эта литература должна развиться у нас, как и в Возрожденье, но в своем духе, конечно.

Не от скучности ли застопорилась моя работа над повестью. Дух нашей жизни, колхозной в частности, требует литературы веселой, увлекательной, жизнерадостной, в то же время глубоко захватывающей массу моментов неизжитого мелкособственнического сознания, психологии, дающей окончательный бой этим старым человеческим качествам. Но основной тон должен быть — утверждение радости нового человека — великого и простого.

Дух захватывает от желания написать такую книгу. И может быть, мой Тихонов как раз нужный герой [61]. Это — не выродок, не чудак, не Моргунок. Это положительный герой. Одним словом, никакой юмористики как таковой.

О повести я это время лишь вспоминал, но уже давно не думал. Даже полагал, что так она и останется. Но то, что мне теперь грезится,— не абсолютно иной подход к материалу, а лишь более *определившийся* подход. Черточки его были и есть у меня и в «Дневнике», и в «Моргунке» [62], и в самих набросках к повести.

〈1934〉

6.I.34. Маня права, что «Мужичок» был бы лучше, если бы вышел сравнительно небольшим стихотворением. Разрослась не столько идея, сколько детали, фактология, проклятая последовательность, где не определишь центрального, решающего места. И это притом, что эти стихи были сознательной войной против прозы, повествовательности, вынужденного бесстрастия и вялости прежних стихов.

Но слушать обидно. Я растянул поэму, давно вышел из ее первоначального тона, заключенного в повторяющемся «Жил на свете мужичок маленький горбатый». И размер, пожалуй, неподходящ для большой вещи. Но я писал так не потому, что хотел именно так писать. Я все время ощущал это тревожное «не то», хотя во многом, против прежних моих вещей, это было «то». И на самой вещи я многому научился. Нужно еще усилие, чтобы уловить этот непередаваемый секрет: говорить о многом, говоря об очень малом, давать почувствовать то, что надо, не тем, что оно будет изложено, а тем, что порой о нем как бы и речи нет. Читаем же мы в настоящей поэзии то, о чем прямо в ней не говорится. И давно уже было понятно, что иной раз *сказать* это значит умолчать.

Но практически это постигается очень трудно. Я, собственно, заново учусь поэзии после стольких лет во многом плодотворного, но в общем тя-

гостного заблуждения. И вот для меня являются открытием такие, например, заключения, что после слов Моргунихи не нужно говорить, как это воспринял Моргунок, что сказало собрание, как оно кончилось и т. д. Вчера еще пугала меня перспектива мучительного, страшно трудного стихотворного изложения этих вещей, вроде:

Чей ломал Филипп запор,
В чей амбар влезая?
Он впервые Филька-вор —
Вор и сам хозяин.

(Такое выражение получила, может быть, и стоящая мысль. Все забываю, что не всякую, пожалуй, никакую мысль нельзя изложить.) А теперь мне приятно даже, что я могу *по-иному* продолжать после Моргунихи.

Так или иначе, вещь нужно продолжать и заканчивать.

10.I.34. Всякое писанье вынужден отложить до конца семестра. Скомканно, поверхностно приходится пробегать Пушкина, Шекспира. Всем этим ⟨нужно⟩ заниматься всерьез — не в порядке подготовки к зачетам.

Подготовка к сообщению на группе о Брюсове. Ужасает, как хорошо надо знать в таких случаях писателя — знать стихи на память, помнить, на какой стороне разворота книги то или иное стихотворение. А ведь, в сущности, я Брюсова больше знаю в части биографии, чем творчества.

Держу в голове — «Мужичка» окончить, как думал. Но это будет один «Мужичок» — «большой». А «маленького» сделать потом на одном мотиве «жил на свете мужичок маленький горбатый» [63].

Стихотворение «Валерий Брюсов» [64]. Есть ли существенный повод для написания такого стиха? Чтобы он прозвучал актуально: научность, горьковская трудолюбивость, упорство, философичность, утверждение смысла жизни, «в чем никогда не перестанет нуждаться человек». . . Пожалуй, есть...

20.I.34. «*Политотдельская свадьба*» *Безыменского* [65].

Несколько дней, пока держал в памяти отдельные, мельком вычитанные кусочки из этой поэмы,— даже волновало. Казалось, пойман какой-то нужный, веселый, жизнерадостный подкупающий тон. А несравненно бóльшая, чем у меня, политическая обнаженность стихов (такая нужна и должна быть) казалась именно тем, чего у меня до сих пор — нет. Прочел — строка за строкой.

Легче всего — просто сказать, что страшно много просто скверных стихов, убог «мыслительный багаж», много лишнего и т. д. Но пусть — Безыменский не обращает внимания на техническую мелочишку, пусть он не ставит, как мы, задачей добиваться предельной смысловой насыщенности *каждой* строчки, каждого слова. Пусть он не стремится выдержать в каком-то одном плане язык (у него — газетщина, литературщина, «народность» — все сразу). Пусть он не считает нужным как-то индивидуализировать людей, выводить их за пределы ходячих готовых понятий «колхозник-активист», «комсомолец-ударник», «новая женщина» и т. д.

Допустим, что во всем этом — его сила, секрет которой другим неизвестен.

Допустим (и допускаем), что он «раскрывает сущность», настоящую сущность, создавая поэзию радости, веселья и т. д. Жизненный подъем во всех разнообразных жизненных проявлениях — это подлинная сущность наших дней, это *правда*.

Но куда деться от того, что эту сущность в огромной мере мы прибавляем от себя, предполагая «что́ хотел сказать автор», что новых, не известных из газетного «письма» (письма эти мы сами писали — знаем) сторон этой сущности он не открывает, что ровным счетом не прибавляет ничего к моему обыденно-газетному представлению, что никаких «больших идей» у него не

прорывается сквозь строки — самые «большие» изложены в готовом виде: «радость колхозная и человечья» и т. п.

Куда, наконец, деться от скуки этих речей, излагающих в плохих стихах известные и хорошие на своем месте лозунги культпохода.

Кричит, кричит, «веселит, а мне не весело». Все эти «ой», «Ну и. . .» — точно человек, пытаясь рассказать смешное, прибавляет от себя «ха-ха».

Длинно, многословно, фальшиво, барабанно. Немудрено, что среди множества строк мелькнет одна-две хороших по-настоящему.

Общий тон по отношению к «деревне», если разобраться, недостойный пролетарского поэта. Здесь то, что художественно, образно, метко,— это «деревня» лубочная, литературная, люди — немножко дурачки, и поэт не дает им думать и поступать более уважительно.

Безыменский убежден, что если трудодень имеет такую-то экономическую значимость, то он, как слово — «трудодень», обязательно входит в песни, не сходит с языка у колхозников. А все это не так, не так, не так. По существу, колхозникам должен быть во многом обиден тон, в котором их воспевает Безыменский.

Поэму будут хвалить, выпускать 100-тысячными тиражами— все это, может быть, и нужно, но не так уж и нужно: дело теперь не в том, чтобы поощрять обращения к актуальной тематике, а чтобы разрабатывать ее по-настоящему.

Безыменский берет тем, что схватывает верхушки действительно существенных и волнующих моментов жизни, но в стихах так и нет того особенного, что нельзя подменить или подделать,— их можно подделать. Скучно все это доказывать. И трудно. Вероятно, доказать можно лишь иными стихами. (А их не так легко писать, как «политотдельские свадьбы».)

10.II.34. «Мужичок» закончен недели две назад.

23.⟨II⟩.34 [12*]. Последний зачет (Смолину).

Добиваю «Моргунка». Тяжелый случай: нечем кончить. Уже почти очевидно, что после определенной разрядки, данной в главе с Моргунихой, невозможно затевать продолжительную историю с «переделкой в процессе труда». Или это должно протянуться на полтысячи строк, или будет до безобразия примитивно, будет несчастнейшая схемка. Но зато в первом случае пропадает упомянутая разрядка, если не дать новой, более высокой разрядки, что очень трудно, так как первая разрядка в основном зиждется на очень сегодняшнем мотиве, на мотиве, характерном для самого последнего этапа; кроме того, и полтысячи строк могут оказаться схемой. Нужно на чем-то оборвать, что-то придумать живое, избежать вообще «переделки в процессе труда», т. е. изложения этой схемы как таковой, без всякого случая.

5.III.34.

Том первый. Стихи и поэмы
(по памяти) [66]

1. Новая изба (первое напеч⟨атанное⟩ стихотв ⟨орение⟩).
2. Отцу богатею.
3. «Помню — ветер пригонял на крышу...»
4. Урожай.
5. «До заморозка в город не пробиться...»
6. «Не торопись переживать..»
7. Перевозчик.
8. «Мы с тобою были вместе...»
9. Матери.
10. Сторож.
11. Варенье.
12. Поезда.
13. Уборщица.
14. Кулак.
15. Новоселье (?).
16. Красный обоз.
17. Песня урожая.
18. «Человеку усталому было бы некуда деться...»
19. Жена агронома.
20. Яблоки.

[12*] В автографе описка: «*23.I.34*».

21. Гостеприимство.
22. Суд.
23. Газоубежище.
24. Одна зима.
25. Зеленый город.
26. Весна 1930 г.
27. «Путь к социализму».
28. (Что-нибудь из произв⟨одственных⟩ стихов).
29. (Из ж⟨елезно⟩-д⟨орожной⟩ поэмы (?)).
30. Вступление.
31. Мужичок.
⟨32.⟩ Гость.
⟨33.⟩ Бубашка.
⟨34.⟩ «Бесприданницей в мужний двор...»

30.IV.34. Попалось написанное года два тому назад стихотворение «Встреча» [67].

На «Красном путиловце» из магнитогорского чугуна отлиты детали для первой сотни тракторов, часть которых уже отправлена на колхозные поля...

(«*Правда*»)

. . .И вот они прибыли.
И грянул оркестр.
И вот выступают с приветственным словом
Один за другим — от директора МТС
До Василия Игнатьевича Петрова.
— Товарищи,— говорят они,—
Товарищи строители Магнитостроя,
Эти машины в ударные весенние дни
Будут работать ударно и без простоев.
Товарищи путиловские рабочие,
Рулевые и бригадиры заверяют вас:
Будем работать дни и ночи, —
Полную нагрузку на каждый час.
Василий Петров пробивается вперед:
Где ж они? Все-то, наверно,их видели.
Где ж они, которым выступать черед,—
Да где ж они, товарищи эти представители?. .
Смотрит, нет и нету.
На платформе в ряд
Елками украшенные тракторы стоят.
— А!. .— сказал Василий.— Верно. Трактора.
Ясно и понятно. Объяснение простое.—
И, поймав минуту, закричал: ур-ра!
Да здравствуют строители Магнитостроя!

Интересно не тем, что это образец агитпоэзии, до какой я доходил. Тема. Попытка взять шире ограниченного моего материала. И сколько помню себя сознательно работающим,— были такие попытки неоднократно. И всегда полная неудача. Несоответствие: понимаемо⟨го⟩ в общих чертах значения того или иного факта и конкретных возможностей: языка, образов и т. п.

На днях написал о «Челюскинцах», забыв о прежних неудачах [68].

Но дело, ведь, пожалуй, не в том, чтобы иметь живое впечатление, какое я имею от Загорья, от мировых вещей, чтобы писать о них. Боюсь, что у меня нет *общего* поэтического языка.— Художественное мышление страшно ограничено Загорьем. А такой язык был у Маяковского, пожалуй, есть (хотя и плохой) у современных поэтов.

21.VII.34. Дня три писал. Очень вяло. Получилось что-то вроде стихотворения («Он любил свою землю»). Не вошли строчки:

Журавль на колодце крякал басом церковным. . .

Двор был стар,
но как звон были балки и бревна,
Каждый кол на усадьбе
перешел бы сынам от отца,
Каждый гвоздь заколочен был
умно и любовно,
Каждый столб стоял
и не чуял конца.

В ту весну я ходил по двору с бригадиром,
Собирал на работу, точно в гости, по одному,
В ту весну лишь на сходки
аккуратно артель приходила
И дымила до полночи
в бывшем кулацком дому.

22.⟨VII.34⟩. Закончил, кажется, давнишние строки о брате [69]. Отсеял:

Мы подолгу судили с отцом,
Как вот-вот заживем,
Как построим
Дом глаголем, с высоким крыльцом,
И зеленым железом покроем.

И не будет раздела семье,
Стол один и яшшица с салом.
Хутор старшему брату, а мне —
Вдаль учиться и быть комиссаром.

Мы ходили вдвоем на гумно,
Знали самое страшное место.
Знали детское слово одно,
До сих пор во всем мире оно
Никому, кроме нас, неизвестно.

30.VII.⟨34⟩. Из стихотворения «Хозяин» [70] — начало (было готовое):

Поплевав, он затягивал крепко супонь,
Выбирал из-под войлока смятую гриву,
Перевязывал повод повыше, и конь
С запрокинутой мордой стоял терпеливо.

А хозяин под сено засовывал кнут,
Не спеша папироску вертел на дорогу
И усаживал бабу, и, сеном ее подоткнув,
Сам садился и свешивал правую ногу.

И вожжой без нужды поправляя шлею,
Он съезжал с околицы — кум королю.

Жница, выпрямив спину, стояла на нивс,
И косарь одинокий смотрел ему вслед.

Жил, казалось, проезжий веселей и красивей,
Ехал, думалось, прямо к попу на обед.

1—5 августа ⟨34⟩. Велико-Луцкий р-н, Урицкий с/с. [71] В дороге и здесь наворачиваются строчки стихов, приходящих хорошо — не как «темы», а как настроения. Кроме начатого в Смоленске «Мать по глазам у почтальона. . .» [72], задуманы:

1. (Родина). *Земля* [73].

Я люблю. . .
Я люблю. . . и т. д.

(Я люблю ее так же, как ее любили,— увы — еще раньше меня).

Как же я могу ее не любить? Ее не любить может лишь враг, несчастный и ненавистный.

Концовка (земля и другие миры).

2. . . . . .любите сильней и чище,
Живите полней и лучше
и радостней, чем я. . .

3. Да, смерть — мое личное дело, то, с чем нужно встретиться в одиночку, что неизбежно встанет горьким концом жизни.— Но разве страшен этот конец за жизнь — такую, какою она может стать?— Я не буду искать утешений, не буду обманываться. Смерть никогда не будет желанной. И она — из тех вопросов, которые я должен разрешить для себя сам, несмотря на то, что их уже разрешали лучшие из людей.

Большая жизнь и маленькая смерть. . .

Разве можно было бы не бороться за лучшую жизнь людей, не стремиться к истине из-за того лишь, что я, червяк, умру? — Ниже этого придумать нельзя. Чернышевский, Желябов, Ленин, Горький.

. . .Умирая, он улыбнулся ласково, с веселым лукавством, точно уличая ее (любимую женщину) в непоследовательности или признаваясь в своей слабости: А помнишь, как Соня Перовская, Желябов, Кибальчич?.. (Они вместе когда-то читали и часто говорили о первомартовцах).

10.IX.34. Написал стихотворение [74]:

Он сидит, раздвинув ноги вилкой,
Закусил задирчиво губу.
На висках легли, как тени, жилки,
Выступили капельки на лбу.

Перед ним его сооруженье,
Только плоскость укрепить одну
И готово,—
и от напряженья
Он глотает судорожно слюну.

С помощью ребяческих орудий
Он в игре любимой создает —
То, над чем века трудились люди,—
Славу человека —
Самолет. (6/IX)

Картинка ничего, но сентенция популярная.

Задумал стихотворение о мальчике и летчике агитсамолета. Начиналось:

Гость, веселый парень, ехал прямиком,
Травы не качались, осыпая росами,
Пыль не поднималась над его путем,
Не гремели листики под его колесами.

Дальше заехал в описание прилета и посадки самолета в колхоз, уже имея в виду катанье колхозницы. Чувствую,— развозится что-то гусевское [75]. Сломал размер пополам и написал стихотворение «Полет» [76], кажется, неплохое, но и не мировое. От первого варианта осталась концовка:

Покружил над крышами, долго кепкой кожаной(?)
Он махал — та-ти-та-та вдали
Голубел, отстаиваясь,
воздух потревоженный,
Паутинки белые тихо поплыли.

Пожалуй,— начало и конец для короткого стишка с настроением.

Не могу задумать ни одного стиха без самолета. Это результат глубокого потрясения челюскинской историей. Читая книгу летчиков, задумал было написать цикл стихов: «Леваневский», «Ляпидевский» [77] и т. д. (как корабли).





«НА ЛЬДИНЕ». СТИХОТВОРЕНИЕ А. Т. ТВАРДОВСКОГО ДЛЯ ДЕТЕЙ (О СПАСЕНИИ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ)

Смоленск, Запгиз, 1936

Обложка и иллюстрации Е. Тараса

Но видимо, здесь без конкретного знания и впечатлений ничего не сплясшешь. Хорошо, если дух этих дел будет пробиваться в различных, самых отдаленных по тематике и материалу стихах.

Не соберусь сесть за прозу.

15.IX.34. Написал, пожалуй, последнее к циклу стихотворение об отце [78]. Сначала писалось так:

Выезжали на ночь в холодок,
Чтобы к утру на базаре быть.
Помнишь, клали косу в передок,—
Травки по дороге укосить.

Помнишь ты, всю жизнь боялась мать,
Что в ворах могли тебя поймать,
Бить, не уважая,— кто по чем,
Пятки поправляя кирпичом.

Тяжело под ношею сопя,
Мокрый клевер на телегу нес.
Это делал ты не для себя;—
Для меня, чтоб лучше мне жилось.

Ты уснул. Мне холодно от звезд,
Я боюсь, что еду не туда.
Незнакомо стукнул гулкий мост,
Выблеснула под мостом вода.

Мне восьмой, не то девятый год'
Мне бы вдруг не упустить вожжу
Батя спит, а шапка упадет,
Что я буду делать, что скажу?

Я не спал, я правил и смотрел.
Кнут был цел, все время цел.

—Батя, он был цел, лежал вот тут.
—Отправляйся и найди мне кнут.
—Батя, не найду я. Темнота.
—Не моги вернуться без кнута.
—Батя. Забоюсь я. . .
—Посвищи.
—Батя, не найдешь его. . .
—Ищи.
—Батя, я пойду, я поищу. . .
—Не найдешь, так шкуру всю спущу.

(Иду не назад, а вперед по большаку, где еще не ехал. Сбился с ног, под утро батя догнал на телеге под городом).

6.X.34. Написалось первое из стихов, посвященных брату [79], и вообще стихов на общие темы, которые составят мою вторую книгу [80]. Еще неотделанно, но в строчках «Что нет тебя без этого сознанья, и города на этом месте

нет», пожалуй, доносится настоящая мысль, которую хотелось выразить. Начал вечером, сегодня с утра, выходной, закончил. Вероятно, так только и придется писать стихи — по штуке в пятидневку. Это бы еще ничего. За «эпопею», покамест, не буду браться, но думать и готовиться нужно. Книга эта должна будет явиться последним словом о крестьянстве, колхозах, годах великого перелома. Верю покамест чисто теоретически в нее, может быть, потому, что все же задумана она несколько извне. Для порядку давно собирался записать:

«Возьмите 3-й том «Брусков» — «Твердой поступью». Там есть одно место о Никите Гурьянове, середняке, который, когда организовали колхоз, не согласился идти в колхоз, запряг клячонку и поехал на телеге по всей стране искать, где нет индустриализации и коллективизации. Он ездил долго, побывал на Днепрострое, на Черноморском побережье, все искал места, где нет колхоза, нет индустрии, и не нашел. Лошаденка похудела, он сам осунулся и поседел. Оказалось, что у него нет другого пути, кроме колхозного, и он вернулся к себе в колхоз в тот самый момент, как председатель колхоза возвращался домой из какой-то командировки на аэроплане. Все это рассказано Панферовым на нескольких страничках, среди другого незначительного материала.

А между тем можно было бы всего остального не писать, а написать роман именно об этом мужике, последнем мелком собственнике, разъезжающем по стране в поисках угла, где нет коллективного социалистического труда, и вынужденного возвратиться в свой колхоз — работать со всеми. Если внести сюда элементы условности (как в приключениях Дон-Кихота), заставить мужика проехать на клячонке от Черного моря до Ледовитого океана и от Балтийского моря до Тихого океана, из главы в главу сводить его с различными народностями и национальностями, с инженерами и учеными, с аэронавигаторами и полярными исследователями,— то при хорошем выполнении получился бы роман такой силы обобщения, который затмил бы «Дон-Кихота», ибо превращение ста миллионов мелких собственников в социалистов более серьезное дело, чем замена феодалов буржуазией».

(Исправленная стенограмма выступления на пленуме Оргкомитета, то же самое в речи на съезде писателей) [81].

Первая книжка (окончательно) [82].

1. Вступительное (написать).
2. Яблоки [Тракторный выезд в 1930 г.].
3. Гостеприимство.
4. Ермак Кулагин.
5. Тракторный выезд в 1930 г.
6. [Рассказ.] Жница.
7. [Вступление.] Повесть Василия Петрова.
8. Гость.
9. Бубашка.
10. Полет.
11. Старуха.
12. [Брат.] Старший брат.
13. Отцу.

Различия манер, характерные интонации, то, что отличает одного поэта от другого,— это ступень высшая по сравнению, скажем, с современной неразличимостью и однообразием стихов (за исключениями), но на ступени самой высокой — манеры как бы стираются (Пушкин, Гете, Тютчев) и есть строчки, даже целые стихи, в которых «манеры» вовсе не чувствуются. Подлинно великое как бы уравнивает. Мышление одно,— есть где-то у Маркса (Македонов).

Есть во мне сознание, слабоватое лишь в силу малого исторического образования, что мы обо всем будем писать, о чем уже писали и древние и вообще все до нас. Все перепишем сначала. Могут ‹быть› даже, пожалуй, при высоком уровне поэтического сознания, взяты известные образы и сюжеты (Прометей и т. п.).

8.X.34. Кроил, ворочал, не давала покоя предпоследняя строфа («жить» ‹?› и т. п.). Потом ощутилась и общая разжиженность и длинноты («всемир-

ная» часть, город, парк). Вышло *короткое* стихотворение. Великое дело — глазомер: какое по размерам, а следовательно и по всему строю, тону, стихотворение писать, как начать. Осталось вне стихотворения начало:

Как день один — большой и оживленный,
Как этот вид разбуженной земли,
Где дым, и пыль, и мост гремит бетонный,
И тихо стадо движется вдали.

Как жизнь своя, встают века и годы —
Как бы один их прожил человек,—
Шумят деревья и синеют воды
Еще названий не имевших рек.

Я вижу кропотливое движенье,
Неразличимый по столетьям труд
Людей, воздвигнувших сооруженья,
Что тени и сейчас еще кладут.

И середина:

Ты не забыл названья полустанка,
Где слез впервой с артелью земляков.
Ты мне покажешь первую землянку,
Что вырыл первый здешний землекоп.

Здесь, где от камней лишь ложились тени,
Листвой зеленой затянулся парк.
Ты ходишь мимо сблизивших колени
От счастья робких и безмолвных пар.

Ты здесь гуляешь, холостой парнишка,
Под тюбетейку завернувши чуб.
Захочешь — прыгнешь с парашютной вышки,
Захочешь — в игры проиграешь рубль.

Ты многих в этом городе моложе,
Но помнишь все, как памятливый дед.
И чем он будет — ты представить можешь
Вперед на десять и на двадцать лет [83].

18.X.34. Не выдержал, начал писать (8.X). Пробы размера [84]:

Не на базар, не по дрова,—
На неизвестный срок
Съезжал тихонько со двора
Никита Моргунок.

Съезжал, ни слова не сказал,
Сиденье подоткнул.
А на дорогу только взял
Кошель, армяк и кнут.

А конь, и нет таких коней,
Не конь, а человек.
Он свадьбы чуял за пять дней —
Рыл беспокойно снег [13*].

С такого дела в самый раз —
Ведро вина купить.
Созвать без выбора гостей
И смертным поем пить.

И петь и плакать жалостно,
Чтоб выла вся семья.
Прощалася. . . Рассталася. . .
Сырая мать земля.

Земля его нерытая,—
А что ему земля!
Семья его разбитая,—
А что ему семья!. .

Ни прадеды, ни деды
Не покидали двор.
Переживали беды,
Неурожай и мор.
Не покидали двор,
Колодку и топор.

Всегда цыган
И сыт и пьян.

[13*] Эта строфа в измененном виде вошла в «Страну Муравию» (гл. 3 и 14).

На солнечной площадке
Играют цыганятки.

Кнуты крутил,
Дразнил собак.
Всегда курил
Чужой табак,
Беспечно жил —
Так сяк,
Кой как,
Не дорожил
Ничем, чудак,
Не согрешил
Ни на пятак. И т. п.

Написан вчерне эпизод, относящийся к концу первой части. Стих «Дед» [85]— может быть, войдет, но написан для овладения тоном и строем и как самостоятельное стихотворение — для первой книги стихов.

24.X.34 Вчерне написана предпоследняя (предположительно глава.

«Портовые рабочие в Данциге отказались разгружать голландский пароход «Тритон», пришедший с военным грузом для Польши. Польские власти пытались соблазнить портовых рабочих всякими материальными благами, обещая выдать 10 000 марок в пользу бедных и десятки вагонов американской пшеничной муки, обещая небывало высокую плату (150 марок и 6 кило муки в день). Но героические данцигские грузчики не захотели продать классовых интересов международного пролетариата за чечевичную похлебку. Тогда у польских властей возник план привезти польских рабочих, но данцигские портовые рабочие заявили, что в таком случае они приостановят свою работу в порту. Точно так же сорвался план привлечения к выгрузке снаряжения находившихся в Польше белогвардейцев. Английское правительство решилось на крайнюю меру и откомандировало на выгрузку английских солдат, но часть последних отказалась от этой предательской работы. Английское командование распорядилось арестовать ослушавшихся приказа солдат, но рабочие бросились на выручку арестованных. Возмущенные данцигские пролетарии останавливали на улицах польских офицеров (но не солдат), ворвались в канцелярию польского представительства, арестовали на вокзале польского коменданта, вытащили из вагонов польских офицеров, направлявшихся в Варшаву. Англичане стреляли в рабочих, но рабочие все же победили: пароход «Тритон» так и ушел неразгруженным».

С. Рабинович. «История гражданской войны» [86].

Собрать подробный материал.

27.X.34. Из «Деда» выпадают, в запас для поэмы:

Собачий лай стоял окрест,
Крик, гомон в поздний час.
Не едут воры ночью в лес —
Не нужен стал запас.

Про все дела, про двор, про скот
Хозяин позабыл.

То на ночь уходил на сход,
То смертным поем пил.

И места не было в дому:
Досталось одному
За прадедов и правнуков
Решать вопрос ему.

9.XI.34. Первый день занятий в институте после праздника, на занятия не иду. Еду в Москву. После Москвы — за регулярные занятия.

1. Писание (поэма, очерки, стихи).
2. История древнего мира (с самого начала).
3. Немецкий.

Глава с попом начиналась так[14*]:

Шел за телегой Моргунок
По бровке большака.
Вдруг слышит: «Божий человек,
А нет ли огонька?»

Дорога в два конца пуста —
Берез тоскливый скрип.
Сидит, глядит из-под куста
Какой-то лысый тип.

[14*] «Глава с попом» — пятая глава «Страны Муравии». Из двух отрывков первоначальной редакции этой главы, записанных ниже, в окончательный текст поэмы вошло лишь несколько отдельных деталей и строк.

Ну, что ж,— по барину и честь, —
И отвечает: «Есть».
—Так дай, сосет в груди.
—Так встань да подойди.
—Нет, подойди уж ты.
—Ну вот, пойду в кусты.
—Да подойди, не съем.
—Да ну тебя совсем..
—Не хочешь?
—Не хочу. . .
—Ну, хочешь заплачу?. .
—Тьфу!— плюнул Моргунок,—
Да сам ты что — без ног?

И тот сознался вдруг:
—С ногами да без брюк.
Подняться не могу.
А брюки на суку. . .

Блестит подрясник на плечах,
Потертый и худой,
Лопатки тощие торчат,
Как крылья, за спиной.

—Садись уж, батя,— говорит
Никита Моргунок.
—Ага, спасибо,— говорит,
И ноги — в передок.

—Знать, нынче хлеб не близок твой,
Что не жалеешь ног.
—А что поделаешь, родной?
—А ты б коня запрег.

—А кто ж мне дал его, коня,—
Спасибо за совет,—
Когда и самого меня
На свете как бы нет.

Отец — глава, как есть семья,
Пастух — когда есть скот.
Мужик — мужик, когда земля,
А поп, когда приход [15]*.

—Куда ж девался твой приход?
Позволь задать вопрос.
—Да был приход, да стал не тот —
Ушел приход в колхоз.

Проба начала[16]*:

Как говорится, не с добра
На неизвестный срок
Молчком уехал со двора
Никита Моргунок.

Когда бы ехал на базар —
Повел бы разговор,
Когда бы в гости — бабу взял,
Когда бы в лес — топор.

Собрал кошелку да армяк,
Дегтярку подвязал.
Гадай, как хочешь, так ли, сяк,—
Хозяин не сказал.

Занес вожжу, бочком присел
И тронул Моргунок.
И след зеленый по росе
До поворота лег [17]*.

Пошли привычные места
На много верст кругом.
Кусты, поля. И стук моста,
Как скрип дверей, знаком.

Глазам тепло, теснит в груди,
Себя не перемог.
А на дороге впереди
Сидит и ждет Волчок.

—Домой,— кнутом ему грозят,
Кричат — и нипочем.
Вернется будто бы назад
И снова за конем.

Тогда Никита поманил:
—Волчок, Волчок, Волчок!—
И, не слезая, что есть сил
Кнутом его ожог.

Волчок залился у колес
И брюхо поволок.
И подогнал, дуги от слез
Не видя, Моргунок.

Планы лирических стихов

1. И — поколенье поколенью вслед —
Рождаются и умирают люди.

---

[15]* На полях возле этой строфы помета: «В эпиграф».
[16]* Из этой «пробы начала» в 1-й главе поэмы были использованы только размер и отдельные детали.
[17]* Эта строфа в несколько измененном виде вошла в заключительную главу поэмы (гл. 19).

Мне двадцать пять, и лучше этих лет
Не может быть и никогда не будет.

. . . . . Отмечены огнями
Места, где люди на земле живут.
О том, что просто молодость прошла,
О том, что все же эта жизнь мила.

И падает звезда куда-то мимо Земли.
2. Все равно мне — было или не было,
Я молчу, по-прежнему любя.
Я не спрашиваю. Я не требую
Никаких отчетов у тебя.
. . . не жалей,
Стану только на работу злей.

В комнате светло. Светло от снега.
Выпал белый, точно в детстве, снег.

Погляди же ты, да погляди же,
Погляди, какой хороший снег.

10.XI.34. Из отрывка с Ильей Ильичем часть стихов о коне переходит в начало, часть выпадает [18*]:

А телом был, что холодец,
И несмотря на корм.
Ай, жулик беглый! Ай, подлец!
Ай, сукин сын! Ай, вор!

На конной в Ельне куплен был,
С дороги перепал.
Всю ночь стоял, не ел, не пил,
Ну, думаю, попал.

Не спалось. Вышел поутру,
С постели — босиком.
Иду, а он: хруп-хруп, хруп-хруп,
Стой, думаю, живем.

Поднял жену, поднял детей —
Идем смотреть во двор. . .
Ну, не Иуда? Не злодей?!
Не сукин сын? Не вор?!

Вдвоем отправились одной
Дорогой по стране.
Вредитель — вот кто батька твой —
Не попадись он мне.

11. ⟨XI⟩. 34[19*].

В пути проходит первый день,
Конь перепал и взмок.
Уже названий деревень
Не знает Моргунок.

За всю дорогу, как на зло,
С телеги не слезал.
Въезжает вечером в село —
Среди села базар.

Шум, гомон, песни и гармонь,
Оглобель лес густой.
Коней завидел — сбился конь,
Выходят люди: — Стой!. .

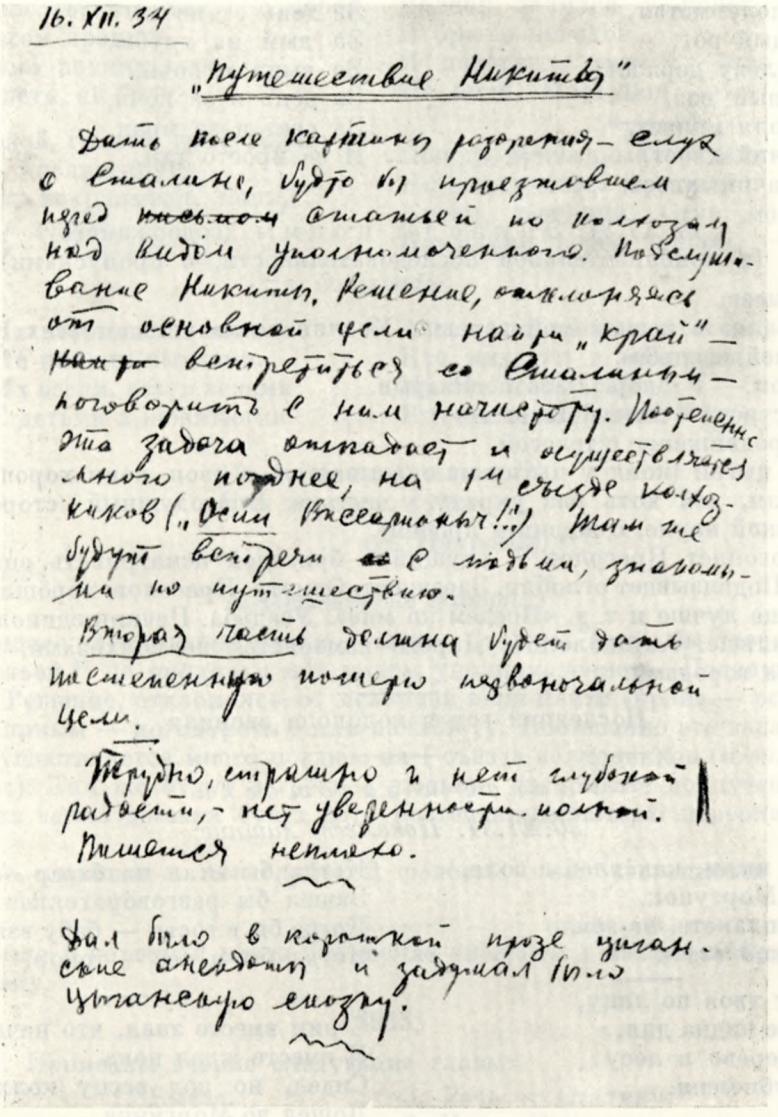
—Стой, стой, хороший человек,—
Хозяин просит,— стой.
Коня поставим на ночлег,
А самого — за стол.

И под гармонь, возню и смех
Пустились объяснять,
Что пожелал хозяин всех,
Кто едет,— в гости звать.

И нет прощенья никому,
И честь для всех одна:
Гуляй на свадьбе — потому —
Последняя она.

[18*] Отрывок, записанный ниже,— обращение Моргунка к мальчику, сыну Бугрова (после кражи коня). В окончательный текст поэмы вошли в измененном виде только вторая и третья строфы (гл. 7 — воображаемый разговор Никиты со Сталиным).

[19*] В автографе описка: *11.X.34.* Последующая запись — первоначальная редакция второй главы «Страны Муравии». Почти полностью (за исключением строф 1, 2, 4 и 5) вошла с небольшими изменениями в окончательный текст этой главы. Первая строфа в измененном виде завершает главу 4.



16. XII. 34

„Путешествие Никиты"

Дать после картины разорения — слух о Сталине, будто бы проезжавшем перед ~~письмом~~ статьей по колхозам под видом уполномоченного. Подслушивание Никиты. Решение, отклоняясь от основной цели найти „край" — ~~найти~~ встретиться со Сталиным — поговорить с ним начистоту. Постепенно эта задача отпадает и осуществляется много позднее, на 1м съезде колхозников („Осип Виссарионыч!..") Там же будут встречи ~~со~~ с людьми, знакомыми по путешествию.

Вторая часть должна будет дать постепенную потерю первоначальной цели.

Трудно, страшно и нет глубокой радости, — нет уверенности полной. Пишется неплохо.

Дал было в короткой прозе цыганские анекдоты и задумал было цыганскую сказку.

СТРАНИЦА РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ А. Т. ТВАРДОВСКОГО

«Путешествие Никиты». Запись 16 декабря 1934 г.

Личный архив Твардовского, Москва

Кто за рукав, кто за полу
Ввели Никиту в дом, к столу.
Ввели и чайный — стук ему,
И не дыши до дна.
Гуляй на свадьбе — потому —
Последняя она.

И лез хозяин через стол:
—Моя хата, мой простор,
Становись, сынок, на лавку
Пей, гуляй, справляй престол.

Веселитесь, пейте, люди,
Пейте, ешьте, все равно —
Что в бутылке, что на блюде —
Неизвестно, чье оно.

Неизвестно, чья скотина,
Чьи сараи,
Чей амбар,
Чей на дворне
Пес Угар
И чей на полке
Самовар.

Жил человек,
Послушен был,
Двенадцать лет платил:
За каждый стог,

Что в поле метал,
За каждый рог,
Что в хлеву держал,
За каждый воз,
Что с поля привез,
За собачий хвост,
За кошачий хвост,
За тень от избы,
За дым из трубы,
За сына и дочь,
За день и за ночь,
За свет и за мрак,
И за просто так.

27.XI.34. Эпизоды поэмы (содержание)
(в приблизительной последовательности, с пропусками)

1. Выезд.
2. «Заяц» в незнакомой деревне. Хозяин останавливает всех гулять на «последней свадьбе».
3. Поп.— Уговор. Работа. Разрыв.
4. Встреча с Ильей Ильичем.
5. Продвижение с телегой.
6. У цыган (коня у цыган не оказывается, а свои кони хорошие. «Они век крали, дай хоть раз украду у цыган». Благодушный сторож-цыган о воровской науке, о жизни и прочем).
7. Догоняет Прасолов [87], едущий с бригадой осматривать знаменитый колхоз. Подвязывает оглобли. Заезжают. Осмотр. Прасолов: хороший колхоз, а наш еще лучше и т. д. «Поедем ко мне». Усадьба. Печник-единоличник [88].
8. Дальше. Автоколонна. Дорога измеряется не колхозами, хуторами и т. п., а городами.

Последний год в колокола звонили...

Запас и заготовки

30.XI.34. Покамест лишние:

В сухой пыли, как хлеб в золе,
Никита Моргунок,
На всей планете, на земле
Один такой ездок [20*].

Хлестает хвоя по лицу,
Темно, не видна дня,
Любое дерево в лесу
Стоит: руби меня.

Но нет в телеге топора
С Никитой в этот раз.
Кому он — лес? Не та пора.
Ненужен стал запас.

Не избы новые рубить —
[В селе] лучший двор теперь —
Крест-на-крест досками забит
И под печатью дверь.

Дома гниют, дворы гниют,
По трубам галки гнезда вьют,
Зарос хозяйский след.

Тот сам сбежал, того свезли,
Как говорят, на край земли,
Где и земли-то нет.

Когда бы ехал на базар —
Зашел бы разговор.
Когда бы в гости — бабу взял,
Когда бы в лес — топор.

С ним вместе знал, что началось (?),
И вместе ждал пока.
Сидел, но под весну колхоз
Дошел до Моргунка.

Про все дела, про двор, про скот
Хозяин позабыл.
То на ночь уходил на сход,
То смертным поем пил.

И места не было в дому —
Досталось одному
За прадедов и правнуков
Решать вопрос ему.

И в ночь, как съехать со двора,
С конем был разговор,
Сидеть ли дома — ждать добра
Иль пропадай он — двор [21*].

[20*] Эта строфа почти без изменений вошла в поэму (гл. 8).
[21*] Эта строфа в измененном виде вошла в поэму (гл. 3).

И что бросать, что взять с собой
И что совсем пропить,
И что жена поднимет вой —
Так пожалеть, ай бить.

Под жесткой гривой грел ладонь
Всю ночь хозяин-друг.
И слушал, всхрапывая, конь,
И затихая вдруг.

Волчок залился у колес
И брюхо поволок.
И подогнал, дуги от слез
Не видя, Моргунок.

Пошли привычные места
На много верст кругом,
Кусты, речушки. Стук моста,
Как скрип дверей, знаком.

Эпиграфы

Их не били, не вязали.
Не пытали пытками.
Их везли, везли возами
С детьми и пожитками.

А кто сам не шел из хаты,
Кто кидался в обмороки,
Милицейские ребята
Выводили под руки [22*].

Пчела попова сытая (?),
Как колокол, гудет.

(Н. Некрасов) [89].

16.XII.34.

«Путешествие Никиты»

Дать после картины разорения — слух о Сталине, будто бы проезжавшем перед статьей [90] по колхозам под видом уполномоченного. Подслушивание Никиты. Решение, отклоняясь от основной цели найти «край»,— встретиться со Сталиным — поговорить с ним начистоту. Постепенно эта задача отпадает и осуществляется много позднее на I съезде колхозников (*«Осип* Виссарионыч!..»). Там же будут встречи с людьми, знакомыми по путешествию.

Вторая часть должна будет дать постепенную потерю первоначальной цели.

Трудно, страшно и нет глубокой радости,— нет уверенности полной. Пишется неплохо.

Дал было в короткой прозе цыганские анекдоты и задумал было цыганскую сказку.

〈1935〉

2.I.35. Написаны вчерне следующие главы:

1. Выезд.
2. Свадьба.
3. Колхозники.
4. Поп.
5. Речь к Сталину.
6. Илья Кузьмич.
7. Цыгане.

5.I.35. Написан «Рассказ» к предполагающейся главе («Рабочий путь») [91]

Остатки и наброски к поэме (1934 г.).

День за днем идет в дороге
Нескончаемый простор. . .
И с попутчиком в дороге,
И с хозяйкой на пороге,
И со странником убогим —
Тот же самый разговор.

Знал и слушал без охоты,
Как свои молитвы бог,—
Все мужицкие расчеты,
Все раздумья и заботы,
Все, что были анекдоты
И сказанья, Моргунок.

Все припевки, прибаутки,
Сказки, выдумки и шутки,
Все, что сеяла молва,
Все присловья и слова.

[22*] Эти две строфы введены в текст поэмы (гл. 2) много позднее (А. Твардовский. Собр. соч. в 5 томах, т. 2. М., Худож. литература, 1966, с. 12—13).

Неизвестный гражданин
С торбой по миру ходил,
С торбой по миру ходил,
Кошек в торбу наловил,
Торбу целую в колхоз
На собрание принес.

В тесной торбе кошки трутся.
Как завьются,
Загрызутся,
Завизжат — сойди с ума —
Торба ползает сама.
Гражданин пропал и нет —
Замело поземкой след.

Что с колхозом, что с посевом,
Середины нету, право.
Перебавишь — выйдет лево,
Чуть убавишь — сразу право.

К главе о попе было:

Не подвижник, не угодник,
Не святой и не монах.
Был он просто поп-отходник,
Яко наг и яко благ [23*].

(Перегиб-недогиб)
Убегают из колхоза,
Все ушли б.
Снял канат у перевоза —
Перегиб.

(Мальчик в избе, где поп с Никитой, отказывается выполнять обряд крещения).

Поп махнул: прощается,
Все равно болван.
Возгласил: крещается
Божий раб Иван.

Яйца бережно в лукошко
Поп укладывает сам.
Ванька тащит с печки кошку:
—Кошку — тоже не отдам. . .

Батя спешно собирает
Причандалы в узелок.
Ктитор шапку одевает —
Стук — хозяин на порог,

Ничего — в плечах широкий,
Глядь — Никита: что теперь?..
Да за батей — боком-боком,
Задом-задом и за дверь.

Восемь верст молчал Никита,
Как на свадьбе, лошадь гнал,
На спине ⟨ее⟩ небитой
Шерсть рубцами поднимал.

Поп смеется: «С непривычки.
Будет, будет. Не гони.
А яички, а яички,
А яички — вот они».

Подошла дорога к лесу,
Запросился поп: постой,
На одну минутку слезу
За короткою нуждой.

У куста коня сдержали,
Отбежал в сторонку поп,
Моргунок хватил возжами,
Конь рванулся — и в галоп.

Ахнул лес от сотрясенья,
Конь взметнул трубою хвост.
Под колесами коренья
Застучали, точно мост.

Врассыпную белки, зайцы,
Повалился сухостой.
—Яйца, яйца, яйца, яйца!..
Стой! Стой! Стой! Стой!..

Поп бежал, подняв подрясник,
Хвать лукошко Моргунок,
Размахнулся, да как хряснет —
Об дорогу Моргунок.

И не помнит — долго ль ехал,
Больше крику не слыхал.
Позади ходило эхо,
Лес темнел и затихал.

К цыганской главе:

(Сторож): Ты оставь опаску,
Видишь, не держу.
Хочешь слушать сказку?
Сядем, расскажу.

[23*] Эта строфа в несколько измененном виде вошла в поэму (гл. 5).



А. Т. ТВАРДОВСКИЙ
Фотография. Смоленск, 1933—1934
Смоленский краеведческий музей

Шли две сказки (о цыгане, вившем веревку, и о цыгане, бравшем у мужика сало «на минутку»), известные Моргунку.

Затем предполагалась «цыганская сказка», которой не знал Моргунок.

Жил цыган. Поспорили мужик и цыган, что легче, землю пахать или коней воровать. Решили попробовать. Но у цыгана не было земли для этого. Пошел к царю. Так и так. Царь говорит:— Нельзя, нарушается порядок. Мужик пашет, цыган крадет. Поп исповедует, урядник ловит и т. д. А если цыган будет пахать, тогда мужик может сказать: я буду исповедывать, а поп — я буду то-то делать (в этом роде).— Пошел цыган. Стал воровать. Украл раз — ребро выломали; другой — зубы, третий — ноги в задницу заколотили и т. п. Пришла Советская власть. Калинин сам вызывает цыгана: «Ты мне брось воровством заниматься»... Земли дал. Цыган стал учиться пахать, плохо, постепенно научился. Мужик пошел красть (возобновили уговор), но не ⟨на⟩учился и попался.

Слепухою бабкой
За печкой повитый,
Четвертым по счету
Родился Никита.
. . . . . .
. . . . . .

В церковной сторожке
Крестился Никита.
. . . . . .
Неполную зиму
Учился Никита.
и т. д.
. . . . . .

А может быть:

[Четвертым по счету
Родился Никита,
В Страстную субботу
Крестился Никита.
Эх ты, Никита!..]

У батьки, у матки
Родился Никита,
В церковной сторожке
Крестился Никита.

Несладкою соской
Кормился Никита.
Неполную зиму
Учился Никита.
[Эх ты, Никита!..]

Семнадцати лет
Оженился Никита,
Оброс бородой,
Опустился Никита.
[Эх ты, Никита!..]

[Потом от отца]
От батьки на клин
Отделился Никита.
По малости малой
Обжился Никита.

Конем и двором
Ты гордился, Никита,
К хорошей ты жизни
Стремился, Никита.

—В колхоз не желаю,—
Хвалился Никита.
Один ото всех
Отрубился Никита.
[От рук и от дела
Отбился Никита].

От рук ты отбился,
Отбился Никита.
До синего дыму
Напился Никита.

Спалить свою хату
Грозился Никита.
Семейство покинуть
Решился Никита.

[И плачет Никита,
Что жизня разбита.]
Осталась жена —
Без коня, без копыта.
Лежит на подворье
Пустое корыто.

А где ж ты, Никита,
Никита, Никита. . .
Куда ж ты, Никита,
Поехал Никита?

Не пахана нива,
[Не сеяно жито],
Гумно не покрыто,
[Никита],
—Вернись ты, Никита,
Никита, Никита. . . [24*]

6.I.35.

И я спешу за ними вслед,
Чтоб не терять ни дня.
Мне двадцать пять, и лучше лет
Не будет у меня.

17.I.35. Из «Мужичка горбатого», переделанного и сокращенного, в пользу «Поэмы» остаются следующие кусочки [25*]:

[24*] Эти наброски (со слов: «Слепухою бабкой...» и далее) в очень сокращенном виде использованы в песне Никиты, завершающей 3-ю главу поэмы.

[25*] Из записанных далее «кусочков» в поэму «Страна Муравия» вошла (без изменений) только песенка «Трулля-трулля-трулля-ши...» (гл. 2).

Моргунок, закрыв глаза,
Заводил под Лазаря.
И, чего сказать нельзя,
Знаками показывал.

Жил он в хате без сеней
С детворою голой,
С Моргунихою своей —
Бабой невеселой.

Ни одна под стать нейдет
Моргунку работа.
Собирать ему народ,
Баить анекдоты,
Без охоты воду пить,
Так, чтоб кишки стыли,
Без нужды в кусты ходить
Версты за четыре.

И когда ему доход
Подсчитали, сбросили,—
Все он на пять лет вперед
Получил до осени.

От обиды Моргунок,
От нелюбых шуток —
Как пришел домой, как лег —
Лег на трое суток.

И лежит он, с виду лют,
Словно утром пьяница.
Только нарочных не шлют,
Не приходят кланяться.

И припомнил Моргунок,
Что мечтал когда-то
Жить не так, как мужичок
Маленький, горбатый.

Как он был — куда ни взять —
Молодой, красивый,
Как его старуха-мать
Жениться просила:

—Ничего в хозяйстве нет,
Без коровки двадцать лет.
Приклони свою головку,
Возьми девку ко двору.
Приводи ты мне коровку,
Подою, тогда помру.

Как женился Моргунок,
Как он хату ставил.
Как коровку под залог
Свел и там оставил.

Как жена ему детей
Двойнями рожала.
И как хата без сеней
Двадцать лет стояла.

Не споткнувшись о порог,—
Наше вам почтение —
Заявился Моргунок
Вечером в правление.

Был ответ короткий здесь:
—Даром нету хлеба.
Хочешь есть — работа есть,
Назначенья требуй.

Трулля-трулля-трулля-ши,
Пропил батька лемеши,
А сынок —
Топорок,

А дочушка гребенек,
А матушка, того роду,
Пропила сковороду.
Па-алезла под печь:
—Сынок, блины нечем печь [26*].

И пропил Филипп тулуп,
Что одел в колхозе,
И хвалился тем, что пуп
Голый отморозил.

. . .На току
День и ночь бригада.
Только Фильке Моргунку
Не дают наряда.

Нет щепотки табаку,
Негде угоститься.
Негде Фильке Моргунку
Даже притулиться.

Застоялись на дворе,
Захотели воздуху,
Вышли кони в феврале
Покататься по снегу.

Тянут кони из комьи́ [27*]
Тихо, что в соломинки,—
Пейте, сытые мои,
Пейте, кони, коники.

Только конюх больно строг,
Конюх смотрит криво:
—Не любуйся, Моргунок,
На коней красивых.

[26*] См. запись от 26 ноября 1933 г.
[27*] Комьи́ (камья́) — долбленое корыто.

Все права ты потерял,
Из хозяев вышел,
Не хотят твоих похвал,
Слов твоих не слышат.

Ходит Филька одинок
С бородой помятой,
Не поется «мужичок
Маленький горбатый».

Всем известно испокон —
Девкам и ребятам,—
Чем на свете был силен
Мужичок горбатый.

Только силой той коня
Не подгонишь с возом.
За ту силу трудодня
Нету от колхоза.

За ту силу пить да есть
Не дается права.
За иную силу — честь,
За иную — слава.

17.I.35. Высказывания о поэме

Македонов [92].— «Всеядность»
Тарасенков [93]
Вашенцев — Стих (сложнее!!).
Сурков [94]

Ближайшие эпизоды:
1. Мальчик.
2. «Певцы» (Базар).
3. Колхоз.
4. Хотаевич.
5. Двадцатипятитысячник (похороны).
6. Комсомолец.
7. Встреча с попом.

Доработка:
Сталин.
Илья Кузьмич.
Отступления (?).

27.I.35.

Из тетрадки 30 г.

(сон)

. . .Висят плакаты,
Как облигации:
Район сплошной
Коллективизации.

И в этом районе
Живет Матвей.
И вот он прячет
В погреб детей.

Режет скотину
И мясо прячет.
И всем говорит:
—Нельзя иначе.

Потом он видит
Покойника-отца,
Хотя и не помнит
Его лица.

Отец одевает
Очки и к свету
Большую, как шубу,
Подносит газету.

Прочел и бросил
Газету отец.
А сам ложится
На стол, как мертвец.

—Мне, говорит,
Ничего в гробу.
Все отзовется
На вашем горбу.

Советская власть
Была хороша.
Не знала муки
Моя душа.

Потом Советская
Власть изменилась,
Душа моя
Тоской истомилась.

Матвею приятель
Попался в столовке -
Парень бывалый,
Веселый, ловкий.

Ногами топает
Под столом.
«Меня,—говорит,—
Зовут летуном.

Я на Донбассе.
Я — на Урале.
В какой мы кассе
Ни получали».

[Мне девятнадцать, двадцать было лет.
Мне двадцать первый. Я не член союза.
Но если я действительно поэт,
И правильна моя муза,
То это ничего, что я не член союза.

(помнится, что это не утешало)] [95].

1.II.35. Написан эпизод второй встречи с попом.

Предстоит:

1. Задержка «на территории данного сельсовета».— Кто? Откуда? Справка о нелишении избирательных прав и т. п. Никита показывает основной документ — конскую карточку.
2. Базар. Илья Кузьмич поет («слепой») «Божью птичку» и другое. Моргунок узнает его и открывает. Павлик отказывается итти к отцу.
3. Колхозники.

— Вот хорошо, что тов. Сталин как раз прибыл! (Смех, аплодисменты.) Я очень прошу, чтобы не строили деревянных зданий для детских учреждений. (Бурные аплодисменты.)

Из речи работницы Рожковой на VII Всесоюзном съезде Советов.— «Известия» от 31.I.35 г.

2.II.35. Решил выбросить «тьфу-тьфу». Может быть, придется что-нибудь вставить для характеристики Ильи Кузьмича, но сократить нужно было. Рассказ пригодится где-нибудь, а нет — ладно.

Рассказ Ильи Кузьмича

—Был человек на все удал,
И молод, и силен.
Ты деда Вознова не знал?—
Так вот, брат, помер он.

Восьмой десяток жил, горбел,
Как одуванчик, бел.
И все поплевывал — тьфу-тьфу,
Да как-то вбок глядел.

Свиней господских в детстве пас,
В навозе ноги грел.
Когда женился первый раз —
Ни лыка не имел.

Двенадцать лет тому назад
Вдруг погорел до тла.
А ветер был,— когда б не сад —
Деревня вся пошла.

Скота четырнадцать голов.
Хозяйский пóсуд [28*] весь,
И хлеб сгорел от трех годов,
И сало — в жизнь не съесть.

А как под свет огонь утих
И поредел народ,
Старик, в подштанниках одних,
Две палочки берет.

Вишневых два берет сучка,
Состроил два крючка.
— Тьфу-тьфу... Давай веревку вить,
Хозяйство заводить.

И с той веревочки опять
Разжился года в три.
А лет примерно через пять,—
Хоть заново гори.

И как пришла для всех для нас
Последняя зима,
Он только соли про запас
Насыпал закрома.

Пришли за хлебом.— Хлеба — нет.
Тьфу-тьфу,— и весь ответ.
Назначен обыск. Ищут рожь.
—Ищи,— найдешь — возьмешь.

[28*] Пóсуд — имущество.

И все. А в полночь на коне
Хлеб к сажалке подвез.
—Тьфу-тьфу — и в воду, чтоб ни мне,
Тьфу-тьфу — ни псу под хвост.

Сидел под стражей на возу —
И ни в одном глазу.
—Тьфу-тьфу. Исус Христос терпел,
Тьфу-тьфу, и нам велел.

И всю дорогу ехал так,
Терпел, да сдался, брат.
Как привели его в барак,
Заплакал, говорят.

И без движения лежал
Три ночи и три дня.
Выходит, хуже, чем пожар,—
Спалили без огня.

А как пошел по речке лед —
Ни пить, ни есть не мог.
И точно птица в перелет —
Собрался и утек.

По солнцу шел, а по ночам
Сидел у огонька.
И кто в пути его встречал,—
Не трогал старика.

Но до своей земли дойти
Ему не довелось.
Под осень захворал в пути —
Тьфу-тьфу — и лапти врозь. . .

4.II.35. Конец первой книги

Моргунок приходит на базар. Заводит телегу к коновязи, где стоят с лошадьми, подвязывает оглобли. С соседнего воза человек спрашивает: что и как, почему телегу на себе везешь? — Так и так. Думаю на базаре поймать вора, может, продавать будет.— Да кто купит? (Ни колхозник, ни единоличник — не купит).

— ?...

— У нас один купил коня. Очень ему хотелось, хоть и в колхозе находясь, иметь коня. Купил, завел на гумно. Поставил за овином, ходит туда. Ну, а как проехать куда — все своего жалко коня,— можно колхозного попросить. И в гости, и на базар, и за дровами, и на мельницу. Так и стоит конь без дела...

— Это что, у нас один дед автомобиль под сеном держал. (Привез сын из Москвы, в годы революции, тихомолком.) Когда он вступал в колхоз, спросили, что ж ты обобществляешь? — А все, что есть: коня, корову, телегу, плуг, борону и антамобиль.— Вот сейчас наш механик пошел покупать покрышки, думает исправить машину — ездить будем.

Моргунок: А с чем вы на базаре?

— С огурцами.

— ?...

— С колхозными огурцами. Наш механик вывел в парнике.

Моргунок: Так-так... А нельзя ли поглядеть на эти огурцы?

— Почему нельзя — можно.

После идет разговор о колхозе, председатель рассказывает об успехах.

— А нельзя ли поглядеть на этот колхоз?

— Почему нельзя — можно. Привязывай свою телегу.

На базаре Моргунок не находит коня, но набредает на Гусина, поющего «Божью птичку» и другую антисоветчину со слепцами. (Что он с ним делает?)

Едут в колхоз, откуда огурцы. «Механик»— парнишка лет двадцати, с забинтованной ногой, прихрамывает. Обрезал на косилке — лечить было некогда — старики сказали — помочись на рану, послушался, еще хуже стало. (Необязательно.)

Приезжают. Плотники строят двор, обкаливают жулья [29*].

— Значит, надолго ставите, всерьез строите?.. и т. п.

[29*] Жу́лья (*обл.*) — заостренные колья.

Печник-единоличник, работающий в колхозе.

— Оставайся совсем,— говорят ему.— Нет...

— Дурак,— думает уже Тихонов.

Любовь. Аня, дочь предколхоза, сидит на корточках и смотрит, как Семен возится со всякими штучками, гайками,— автомобиль пускает.

Рассказ председателя колхоза.

Пуск автомобиля. Катанье.

Моргунок подговаривает Семена ехать с ним, угнать автомобиль, ехать в страну, где нет колхозов.

Мотивы отказа.— Здесь я механик, а там мне быть разве только пастухом. Кроме того: армия, мечта стать летчиком. Аня.

На другой день Семен смеется:

— В газете пишут, что едут несколько машин (автопробег). По маршруту они близко здесь проезжают. Попросись, мол.— Смеется.— Свезут тебя за тридевять земель.



НАДПИСЬ А. Т. ТВАРДОВСКОГО

На титульном листе поэмы «Страна Муравия» (М., ГИХЛ, 1940; гравюра Е. Бургункера): «С этой поэмы веду счет своим писаниям. А. Твардовский»

Литературный музей, Москва

В колхозе Никита слышит о еще более лучших колхозах. Мысль: может, я ехал и *проехал* множество таких колхозов.

«Ты себе смейся, а я так и сделаю»,— решает Моргунок. Отправляется в путь. С телегой. «Попрошу привязать оглобли к задней машине...»

Павлик остается в колхозе. Помощником Сеньке.

Концовка.

Выражения, факты и т. д.

— Дайте мне его живого, я из него сделаю мертвого.

Дайте мне его живого —
Сделаю покойника.

Все хозяева — гости,
Все гости — хозяева (колхозный праздник)

Когда Хотаевич говорит, что будет дождь,— колхозники верят, что пойдет дождь.

9.11.35.

1. Базар (Павлик; приглашение предколхоза).
2. Дорога (Рассказ о том, как он стал предом).
3. Усадьба (Плотники).

Рассказ о кишке.
4. Печник.
5. Сеня.
6. Пуск автомобиля.
7. Разговор и предложение с бывшим владельцем автомобиля — конюхом.
8. Разговор и предложение печнику.
9. Разговор и предложение Сене.

Может быть в таком порядке:

1) Сеня — отказ.
2) Конюх — тоже отказ.
3) Печник-единоличник — и то отказ.

10. Рассказ (в шутку) Сени об автоколонне.
11. Концовка.

10.II.⟨35⟩. Цыган на съезде: Ну, хозяин, признаешь?
Признавай, хозяин [30*].

16.II.35. Все трудней и трудней. Грустно и тяжело.
«Божья матерь» («Правда»).

Посыпанные иголочками,
На холмике у реки —
Под елочками-сосеночками
Песчаные бугорки,

Лежат там старые жители.
Махнув на весь свет рукой.
Жизни они не видели
И знать не знают другой [31*].

Думаю начать опять сначала, по главам.

22.II.⟨35⟩. Настраивается конец. Есть начало главы «Усадьба». Дальше:
1. «Колхозники».
XVI. 2. Песня колхозниц (концовка — покойники)
3. Валет — рассказ.
XVII. 4. Печник.
5. Сторож. Стих (?)
6. Пуск автомобиля.
XVIII. 7. Предколхоза (Иди ты теперь к Петрову — И что тебе скажет он).
XIX. 8. Петров (молотьба).
9. Поиски встречи с Валетом. Разговор.
XX.
10. Разговор со сторожем.
11. Разговор с печником.
12. Отъезд. Сено.
XXI. 13. Концовка.

23.II.⟨35⟩. Выход с мальчиком.
После всех отказов Моргунок обращается к Павлику:
—Ну, что ж, едем, Павлик...
Павлик молчит.

Не виню тебя за это.
Оставайся. У Валета
За помощника...

[30*] Это двустишие вошло в 10-ю главу поэмы.

[31*] Возле этих двух строф на полях помета: «На такие строчки тратить два-три часа, чтоб потом выбросить».

26.II.⟨*35*⟩. Работа идет в направлении:
1. Окончания первой части.
2. Очищения от длиннот, размазывания и т. д.
3. «Унифицирования» размеров.
4. Отделки каждой главы, *как как бы самостоятельной вещи.* Sehr wichtig[32*].

Осталось по существу:
1. Выезд автомобиля.
2. Петров — самое трудное.
3. Переговоры.
4. Концовка — пожалуй, самое легкое.

Заменены двумя-тремя строфами:

I[33*]

Глядит Никита,— в стороне
Сидит мужик верхом на пне.
У ног котомка, и при ней —
Две пары запасных лаптей.

—Издалека?— Издалека. . .
—Куда, насчет чего? . .
—А вот иду, иду, пока
Не встречу самого.

—Зачем? — А просьба у меня,
Чтоб сняли твердое [96] с меня.
Иду по делу по сему,
Не жалко ног и сил.
Корову тестю моему
Сам Ленин воротил.

—Тогда садись, езжай со мной,
—Уж вот, что нет, то нет,
родной. . .
Он, может, едет прямиком
И встретится вот-вот.
И все, что я прошел пешком,
Напрасно пропадет.

⟨II⟩

Баба шла в повязке белой
И в пути одна-одна.
То ли выла, то ли пела,
То ли плакала она:

—А батюшка,
А родители!
Кабы знали вы,
Кабы видели! . .

Жила-жила —
Не поправилась.
В колхоз пришла —
Не понравилась

За глотку свою
Голосистую,
За правду мою,
За чистую.

Черти с дьяволами
Поладили.
Из колхоза вдову
Спровадили.

Одной с детьми
Горька песенка.
От трех до семи —
Как лесенка
и т. д.

7.III.⟨*35*⟩. «Закончена» 1-я часть — т. е. с грехом пополам доведено дело до строфы.

— Ну, вот,— подумал Моргунок,—
Один во всей державе я.
А ты все дальше, хуторок,
Страна моя Муравия.

13.III.35. Многое, конечно, дописывать и переделывать.

1. Выезд.
2. Свадьба.
3. Дождь.
4. Свояк.
5. Колхозники на пашне — не напис⟨ано⟩.

32* Очень важно! (*нем.*).

33* Из этого отрывка в поэму (гл. 19) вошла только первая строфа. В целом же надежда на встречу с «самим» (Сталиным) относится к замыслу 7-й главы.

6. Колхозники на бревнышках.
7. Песня Моргунка.
8. Страна Муравия.
9. [34*]
10. В пути (нужно ли?).
11. Поп и т. д.

Новые главки дают моменты противопоставления, обогащают трагичностью, начиная конфликт с самого начала вещи, восполняют недостаток «природы» и т. д. Работы много. 2-я часть «Первой части» — пока слабей. А она должна быть сильней. Нужно, чтоб из колхоза уезжать было больно до слез. Заключительную главу, может быть, удастся дать как более широкую картину страны, по крайней мере деревни, в духе «Главной улицы» Демьяна [97].

17.III.35. [Второй или третий приступ отчаяния и тоски. Все кажется плохим до последнего стиха. И все, что связывалось в привычных мечтах с окончанием,— прахом. Но положение безвыходное. Если бы не безвыходность (все было на карте), бросил бы давно и успокоился. Какое было бы счастье, кажется, писать короткие стихи. А то ведь работал четыре месяца, не вставая, запустил все, а собственно, из всего, что написано,— ни печатать, ни читать нечего. Как нет ничего. Угнетает ужасно. Когда пишешь и веришь, ощущаешь себя обладателем какого-то секрета, неизвестного другим. И с людьми хорош. И все хорошо. А что может быть хуже того, что переживаю сейчас? Даже эту запись не в состоянии сделать. Что толку, если я здесь установлю причины, выведу, оценю?..— Играет Буся Гольдштейн (из Варшавы). Почитать, что ли, Пушкина.

Конечно, все это не выход, но настраиваю себя] [35*]

18.III.35. Опять «прояснение»:

1. Отступления делать во что бы то ни стало.
2. Тему коня развить шире (причина отъезда).
3. После базара — автомобиль с районным руководителем, коммунистом из рабочих.

Все вырисовывается быстрей, живей и т. д. Не обольщаюсь легкостью.

19.III.35. Конечно, не районщик на автомобиле, а Валет на тракторе — домой, с курсов.

22.III.35. Кажется, совсем выпадает главка [36*]:

Знал и слушал без охоты,
Даром в памяти берег
Все мужицкие расчеты
И раздумья Моргунок.

Говорят, нельзя душевней,
И вздыхают тяжело.
—Кабы он в своей деревне
Был колхоз — куда ни шло.

—Кабы больше было воли,
Хочешь здесь, а хочешь там.
—Кабы жалованье, что ли,
Положили мужикам.

—Кабы ситчику хотя бы
Выдавали на ребят.
—Кабы если бы не бабы,—
Бабы слушать не хотят.

Ходит слух такой местами,
В той ли, в этой стороне.
Будто, значит, едет Сталин
По колхозам на коне [37*].

Эй, товарищ, погодите,—
Машет парень Моргунку.
По пути подсел к Никите
С револьвером на боку. . .

Разговор про то, про это
Без конца вести охоч.
Из мужицкого кисета
Закурить с тобой не прочь.

Ветром, что ли, их наносит
По пяти на каждый двор.
Забежит, поесть попросит
И заводит разговор:

[34*] Что дальше едет — то полней весна (*прим. автора*).

[35*] Запись обрывается.

[36*] К замыслу этой «главки» Твардовский вскоре вернулся (см. запись 31 марта 1935 г.). Но вошли из нее в поэму в значительно измененном виде только третья и четвертая строфы (гл. 14).

[37*] Ср. эту строфу с третьей строфой главы 7 поэмы («Росла невнятная сперва...»).

Что молотишь, что ты веешь,
Где ты будешь сеять рожь.
Что ты на сердце имеешь,
Что ты ешь и что ты пьешь.

Моргунок глядит все строже
На ремни и на портфель.
—На подметки нету кожи,—
Все на эту на модель.

Ехал-ехал черт со свету,
Соскочил, свернул в кусты.
Замахал, пропал и нету.—
Видно, плата от версты.

Окончание «первой части» перестало представляться делом ближайших дней. Каждая глава требует работы, как самостоятельное стихотворение, в котором каждая строка на виду. Переписано до десяти глав. Начал переделывать «Базар». Не знаю, чем закончить встречу с Ильей Кузьмичем, поющим на базаре. Из первого варианта второй половины первой части остается для использования выборочно следующее (все остальное сожигается) [98]:

А. Твардовский

I. Рассказ председателя колхоза:

Был я мужик тверезый,
Знал, что за мной семья.
Люди пошли в колхозы,
Что ж, за людьми и я.

Корову свою, кобылу
Свел за другими вслед.
Все уж по форме было,
Бац!— председателя нет.

Я заявляю совету:
—Жил, мол, с людьми в ладу,
Значит, на должность эту —
Режьте,— я не пойду.

Мне отвечают: ка́к-так,
Справишься, мол, вполне.
—Нет, говорю, характер
Не позволяет мне.

[Тут меня малый и старый
Знают с ребяческих лет.
Слушать меня не станут,
Строгости в голосе нет.]

Сколько ни тратил слов я,
—Брось, заступай со дня.
—Нет, говорю я, здоровье —
Слабое у меня.

[Дальше да больше вижу —
Отбиться нет моих сил.
До старости лет грыжу
Скрывал, а тут объявил.]

—У всех, говорят, слабо
Здоровье. Оно не в счет.
—Нет, говорю, баба,
Супруга против идет.

Дальше да больше, вижу —
Выходу больше нет.
—Нет, говорю, грыжу
Ношу восемнадцать лет.

—Ну, так тебе привычно.
Крой, принимай колхоз.
С бабой своей ты лично,
Мол, проведешь вопрос.

И занесли в два счета
Имя мое в протокол.
Вот я с какой охотой
В должность свою вошел.

Давай заводить порядок,
Того-сего ворошить.
Жить по-живому надо,
Раз уж в колхозе жить.

Ярь но весне посеяли,
Перевернули пар.
Рожь смолотили, свеяли
И под замок в амбар.

Будто бы все довольны,
Дело на лад идет.
Бац!— наш Илья Престольный,—
Празднуем каждый год.

Делал что-то на риге я —
Мне говорят меж тем:
—Против ли я религии?—
—Нет, говорю. Зачем?

Ладно. И кто-то пулей
Водки на всех привез,
И загудел, как улей,
Праздник на весь колхоз.

Так с моего решенья
Празднуют. Пить да пить.
Вышло у них сужденье
Рожь по рукам делить.

Овес, говорят, колхозный,
А рожь, куда ни кидай.
Она еще сеяна розно
Ее, говорят, подай.

Дай да подай сейчас,
Каждому свою часть.

—За все, говорю им, части,
На то я считаюсь пред,—
Перед Советской властью
Личный держу ответ.

—Ах, говорят,— ответ!—
А ты нам сосед, ай нет?..

—Сосед, говорю, сосед —
Свыше полсотни лет.

Нет, ты противник наш,
Если ты рожь не дашь.
—Нет, говорю, нипочем.
—Ну, говорят, возьмем.

Возьмем да возьмем. И тут
К амбару они идут.

Тогда я встал на пороге,
И слышу я голос свой:
—Рубите мне руки-ноги
И голову с плеч долой.

Стою, как прирос к порогу.
Как им со мною быть:
Тащить?—
Оттащить не могут,
Бить?—
Опасаются бить.

Держусь за замок — и точка,
Бились со мной полдня.
Везут пожарную бочку,
Целят кишкой в меня.

Как ахнет струя
Дугой!
И шапка моя —
Долой!

Крест-накрест
Водят струю.
Мотают.
А я стою...

В лицо, в глаза
Достают.
Дыхнуть не могу.—
Стою!..

Ту самую воду
Пью.

А, знаешь, стою ...
Стою!..

Подходят с кишкой поближе,
Слабеет, значит, струя.
Бац!— погляжу и вижу:
Несется баба моя.

Как крикнет:
—Слезай сейчас...
В последний и первый раз.

Ее не послушать сразу —
На год нажить беду.
А я, брат, стою. Зуб на́ зуб,
Мокрый, не попаду.

Сказать ли тебе, как другу,
Знать стал я смел от воды.
—Иди-ка ты, говорю, суп-руга
Ка-тись-ка ты под ту-ды...

Как дал поворот от ворот,
Так ахнул кругом народ.

Уж если такой я смелый,
Что бабу свою послал,
Святое, выходит, дело,—
Каждый так понимал.

Стою, молочу зубами,
Вода уже мимо льет.
Переменится из бани —
Баба белье несет...

Другие несут обутку,
Дают своею рукой.
Плачут: прими ты в шутку
Случай такой.

Несут на плечи тулупчик,
—Душу отогревай.
Вышей теперь, голубчик,
Пей, а нам не давай.

Мигом убрали бочку,
А я сижу за столом,
Пью себе в одиночку,
Праздную, как ни в чем.

Я похворал. Зато
После этого раза —
Го́лоса... Го́лоса — что́ —
Слушаться стали глаза.
С бабой моей с тех пор
Тише стал разговор.

Реже меня грызет,
Больше кричит на дочку.
Вот и весь анекдот
С этой кишкой и бочкой.

Как мы теперь живем,
Сам ты прекрасно видишь.
И все, что ни есть кругом,
Куда ни пойдешь, ни выйдешь,

Каждый гвоздик в стене,
Весь, что видишь зажиток,—
Все это стало при мне —
Значит, не лыком шитый.

Одну я семью питал,
Жил я, мужик тверезый.
Двором гордиться мечтал,
Вот, брат, горжусь колхозом.

[—Вот,— говорил председатель,
Бороду теребя.
—Едешь ты, а куда ты
Едешь, спросить тебя.

Жил бы себе во здравие,
Жизнь на виду видна —
Вот она! А Муравия —
Черт ее, где она...]

Стар я и лыс и сед,
Врать мне, пожалуй, поздно:
Жизни другой нет,
Правды другой нет —
Помимо правды колхозной.

Готов я с тобой по свету
Остатнюю жизнь пройти,
Идти и проповедь эту,
Слово мое нести.

Да что ходить?
На беду мою
И свет-то нынче другой.
Другой, брат.
И, как ты думаешь,
Один я что ли такой? ..

II. Печник

Тихо в бороду свищет Никита,
По усадьбе один бредет.
На отлете, в срубе покрытом
Бабьим голосом кто-то поет.

Заглянул он в створки пустые,
Видит, печку кладет печник.
Со слезинкой глаза голубые
И большое радушие в них.

Он поет, обрызганный глиной,
И Никиту манит рукой.
И, закончив припевок длинный,
«Здравствуй, здравствуй,—
сказал,— дорогой».

—Что ж, в колхозе?— спросил
Моргунок.
—Нет, пока еще нет, сынок.
Вот уж скоро семьдесят лет
Не в колхозе, и горя нет.

— А богатство, гляди-ка, у них!. .
— Ну ты что!— замахал печник.
Не в богатстве счастье, сынок.
Был бы хлеба кусок,
Да водицы глоток,
Да изба с потолком,
Да старуха под боком [38]*.

Я, сынок, тебе вот что скажу,
Лет полсотни по свету хожу,
Не дал бог мне здоровой семьи —
Незадачные детки мои:

Первый разумом слаб, а другой
Не владеет правой рукой.
А старуха глазами убога —
По стене идет до порога.

Три калеки, сынок, у меня. . .
И хожу до последнего дня.
До последнего в жизни дыхания
Добываю на всех пропитание.

А под праздник расчет получу,
В лапти — скок!— и домой
полечу.

Прилетаю к ночи домой,
Тут, и господи боже ты мой,
Тут и праздник у нас и престол.
Тут сажу я старуху за стол

А обáпол [39]* садятся сыны —
Сын — с одной стороны,
Сын — с другой стороны [40]*.
Вместе детки сидят и родители.
И большие мы песен любители.
И сидим мы вот так за столом
И любимую нашу поем:

---

[38]* Эта строфа в значительно измененном виде вошла в 14-ю главу поэмы.
[39]* Обáпол — по обе стороны.
[40]* Ср. стихотворение «Братья» (1933) — *Твардовский*, т. 1, с. 68.

Как сижу за решеткой я в темнице сырой,
Подлетает к решетке орел молодой.
Он зовет меня взглядом, зовет криком своим,
Он мне вымолвить хочет: давай улетим.
Полетим мы, товарищ, в далеки́е края,
Где счастливая доля, удача твоя.

Очень плохо. Еле переписал. Вероятно, выпадет.

III. Сторож [41*]

Ходит сторож, носит грозно
Дулом книзу ружьецо.
Ночью на земле колхозной
Сторож — главное лицо.

Вкруг амбаров и сараев
Ходит сторож на дворе.
И, росы не отряхая,
Тень шагает по траве.

Незаметно потухая,
Меркнет в небе звездный рой.
За вторыми петухами
Сходится заря с зарей.

И по звездам знает сторож,
По приметам, как всегда,
Тень двойная станет скоро
Проходить туда-сюда.

Обнимает главный мастер
Председательскую дочь.
По росе Валет и Настя
Провожаются всю ночь.

Доведет он до порога:
—Ну, прощай, стучись домой...
—Дай же я тебя немного
Провожу, хороший мой.

И она ведет Валета:
—Ну, прощай, хороший мой.
—Дай же я тебя за это
Провожу теперь домой.

От порога до порога
Ходят ночь, не стукнув в дверь.
—Дай же я тебя немного...
—Дай же я тебя теперь...

Под мостом курлычет речка,
Днем неслышная совсем.
На остывшее крылечко
Отдохнуть старик присел.

Свесил голову, как птица,
Ружьецо стоит у ног.
—Что-то, брат, и мне не спится... —
Скрипнул дверью Моргунок.

—Ну садись. А мне не скушно,
Тем и должность хороша.
Обо всем, что интересно,
Можно думать неспеша.

Вот, гляди. Родятся дети,
Каждый год, что ягод их.
А покойников на свете
Все же больше, чем живых.

Все они молились богу,
Поклонялись тыщи лет.
А его все это время
Не было, как нынче нет...

Сторож грозен, сторож важен,
[Сторож ночью голова.]
—А не взять тебя под стражу
За такие за слова?..

IV. Гулянка [42*]

В ожидании начала
Девки выстроились в круг.
Чтобы масса не скучала,
Гармонист ударил вдруг...

—Эх, дай на свободе,
Шире круг!
Шире круг!
Гармонист гармонь разводит —
Не хватает больше рук...

[41*] Эта главка почти полностью (кроме второй, третьей и трех последних строф) составила в несколько измененном виде начало 17-й главы поэмы.

[42*] Эта главка с очень незначительными изменениями полностью вошла в 18-ю главу поэмы.





Колхоз «Путь Ленина».

На пригорке у Днепра—
друг за другом трактора.
Дальше справа — избы в ряд,
скотный двор, правление,
школа, ясли, детский сад,
весь колхоз — «Путь Ленина».

«КРАЕВАЯ УЧЕБНАЯ КНИГА ДЛЯ ШКОЛ ЗАПАДНОЙ ОБЛАСТИ»
Стихотворный текст А. Т. Твардовского. Иллюстрации Ф. Ф. Лабренца
Смоленск, Запгиз, 1934
Обложка и страница со стихотворением «Колхоз «Путь Ленина»

Паренек чечетку точит,
Ходит задом наперед.

То присядет,
То подскочит,
То ладонью, между прочим,
По подметке попадет.

И поднесет ладонь к груди:
Ходи, ходи!
Ходи, ходи!..

Не скрывайся в хороводе,
Выходи, и я с тобой.
Гармонист ведет-выводит,
Помогает головой.

Вышла девочка бедовая,
Раздайся, хоровод.
Юбку беленькую, новую
В двух пальчиках ведет.

—Меня высватать хотели,
Не сумели убедить.
Не охота из артели
Даже замуж выходить.

А ты кто такой, молодчик,
Я спрошу молодчика.
Ты молодчик, да не летчик,
А мне надо летчика.

У колодца вода льется,
Подается по трубе.
Хорошо тебе живется,
Мне не хуже, чем тебе.

Раздайся, хоровод,—
Тимофеевна идет.
Кому девки надоели,
Тот старуху подберет.

—Ничего про вас худого,
Девочки, не думала.
Отбить парня молодого
Одного надумала.

Эх, думала, подумала,
Веселые дела.
Дунула,
Плюнула,
Другого завела.

Бабий век —
Сорок лет.
Пятьдесят —
Износу нет.
Если смерти не случится,
Проживу еще сто лет.

Эх, кума, кума, кума,
Я сама себе сама.

Я сама себе обновку
Праздничную справила.
Я за двадцать лет коровку
На дворе поставила.

Дед стар, стар, стар,
Заплетаться стал.
Никуда он не годится,
Целоваться перестал.

[Проведу его злодея,
Накажу лохматого:
Восемь штук детей имею,
Закажу девятого.]

А где ж моя пара,
Я не вижу никого.
Волоките от амбара
Кавалера моего.

Раздайся, хоровод,
Моргунок плясать идет.
Он сам идти не хочет,
Тимофеевна ведет.

Дробью сыпет впереди:
Ходи, ходи!
Ходи, ходи!..

Кусочки, остающиеся в предположении использования

—А у нас такой один
Был в колхозе гражданин.

Без коня, мол, скучно мне,
И купил коня он где-то
И кормил его все лето
Потихоньку на гумне.

[— Это что,— заметил с воза,
Грея лысину, сосед.—
Испокон у нас в деревне
Жил один бедняцкий дед.]

Так у этого у деда,
Вот вам истинная быль,
Десять лет стоял под сеном
Грузовой автомобиль.

И когда в колхоз пришел к нам,
Заявляет сам старик:
— Вот вношу овцу да телку,
Борону да грузовик.
(было гораздо длинней).

На взгорье селенье встало,
У самой реки погост.
Коротко стукнул старый,
Сдвинутый на бок мост [43*].

Деревня, плетень поломан;
Изба с отбитым углом.
Мост, дерева да солома
Соломенная кругом.

И все — дворы, огороды,
Куриная пыль у ворот.
Как было многие годы,
Так было еще в тот год.

А дальше — белели стены,
Сосновой несло смолой.
Кипели опилки пеной
Над [шаркающей] пилой.

Меж балок ложилось черное,
Под крышей, что звон оно,
Сухое и закопченное
Со старых дворов бревно.

И видимо, что не на год,
На добрых сорок лет
По бревнышку бревна лягут,
И по́мину больше нет.
Растет с четырех углов
Двор новый на сто голов.

Отделанный сруб золотой
Налей по окна водой,
И если где потечет,—
Работа не в счет.

Курчавой стружкой забитый,
Старик по лесам идет.
— Колхозник?— кричит Никита...
— Ого,— отвечает тот.

На широкий солнечный скат
Выбегал малолетний сад.
А выгоном вдоль ограды
По улице по прямой
Бредет, колыхаясь, стадо,
На полдень бредет домой.

Шагает за стадом сытым
Пастух, как Наполеон.
— Колхозник?— кричит Никита,
— А что ж,—отвечает он.

По пояс скрытые лугом,
От кустиков у реки
Ведут прокос полукругом
Бабы и мужики.

[43*] Возле этой строфы на полях помета: «Для памяти: Трактор не может перейти мост, строят новый, а трактор стоит».

В рубахе, прилипшей к лопаткам,
Тяжело, с перерывом дыша,
От соленого да с устатку
Пил косарь из ковша.

— Что ж, колхозник? — спросил
Никита,—
Тот все пил, и тряслась борода,
Серебром осыпалась вода,
И когда напился, тогда
Вытер лоб молодой непокрытый,
Улыбнулся и крякнул:
— Да-а!..

И похожи все друг на друга,
Как гороховые стручки (дети на
площадке).

В хороший золотой денек,
Лугами, лозняком
Шагал Никита Моргунок
На церковь прямиком.

Зубчатый лес темнел вдали,
Кучнели облака,
И нитки белые плыли,
Плыли издалека.

И все, что думал, что смотрел,
Смешалось точно сон.
А хлеб — он вырос и созрел,
И хлебом пахнет он.

Село, ограда. Всё, как встарь,
Молись, кому не лень.
Но в сторожа, небось, звонарь
Пошел за трудодень.

Поповский домик. Сельсовет.
Обшарпанный порог.
И запах памятных тех лет —
Махорки, паленых газет
И грязи от сапог.

[И в комнате, один душой,
Парнишка за столом.
Сидит и пишет, как большой,
И ноги босиком.

— Тебе Петрова? Нет его.
Должно быть, на гумне.
А что касается чего,
То обратись ко мне.]

Любой вопрос и всякий факт
Через меня идет.
Рожденья акт и смерти акт
И от жены развод.

Могу с одною развести,
С другою записать,
И номер в книгу занести
И припаять печать.

Из всех излюбленных работ
Любил Никита обмолот.
[И где, и кто молотит, мог
Узнать по стуку Моргунок.]

У богачей да у попов
Ходили в дюжину цепов.

И все цепы колотят в лад
И соблюдают счет.
И на току, что полк солдат
Под музыку пройдет.

А сам Никита Моргунок
Вдвоем с женой ходил на ток.

И в поте хлеб свой выбивал,
Не разгибая рук.
И, как калека, колдыбал
Хромой унылый звук.

Но любо было Моргунку,
Повесив теплый цеп,
Сидеть и веять на току
⟨Набитый за день⟩ [44*] хлеб.

Кидай по горсточке одной
Навстречу ветерку.
И полумесяц золотой
Ложится на току.

Кидал бы так за возом воз,
До нового утра.
А полумесяц все бы рос
И рос бы, как гора. . . [45*]

По стуку трактора на ток
Пришел Никита Моргунок.

Дрожит под пятками земля
Пыль, грохот, вой и свист.
И правит, сидя у руля,
На месте тракторист.

И пыль и дым несет в глаза,
И все зашлось в ушах.
Ни поздороваться нельзя,
Ни подойти на шаг.

Легка солома, колос чист,
Зерно шумит, как град.
— Снимай пиджак, да становись,
Скорей дождешься, брат.

[44*] В автографе пропуск; восстанавливается по окончательному тексту поэмы (гл. 15).
[45*] Этот отрывок вошел в поэму почти без изменений, составив начало 15-й главы

Давай!— разделся Моргунок. . . [46*]

Греби, носи, да поспевай,
А то по горстке носите.
Всю вашу армию давай,
Еще и пить запросите.

Как хватит, хватит Моргунок,
Как навернет рогатками.
Сопит, хрипит, до нитки взмок,
Колóтье под лопатками [47*].

— Довольно, брат.
— Ага, сдались.
— Да нет. Мы так кумекаем:
Как наживешь с натуги грызь,
То вправить будет некому.

— Ну, ладно, вот тебе ответ,
Открытый и сердечный.
Сначала будет на пять лет. . .
— А там?. .
— А там — навечно.
— И твердо, значит?. .
— Да.
— Навечно, значит? . .
— Навсегда.

— Ну, что ж,— причмокнул
Моргунок,—
Понятно все вполне.
Когда такой далекий срок,
То ехать дальше мне [48*].

Моргунок пришел к Валету,
Попросил сарай закрыть.
— Вот что, малый. По секрету
Надо б нам поговорить.

— Хорошо,— сказал Валет,—
Говори, какой секрет.

— Больно парень ты хороший,
Слову честному поверь.
Я к тому, пропала лошадь,
Ехать не на чем теперь. . .

По рукам и — шито-крыто. . .
— Не пойдет,— сказал Валет.
— Почему?— спросил Никита.
— Потому что смысла нет. . .
Потому, что в той стране
Работенки нету мне.

Там еловая машина
Тянет липовый прицеп,
Там лаптями щи хлебают,
Кнутовищем режут хлеб.

Там, брат, жить совсем невесело,
Край тот голоден и глух.
Там одна моя профессия —
Подпасок да пастух.

И сказать тебе открыто.
Я тех девок не люблю.
Они в валенках танцуют
И кусают коноплю.

Сторож.

— Кто такой?— басит сердито,
Смотрит пó-низу во тьму.
— Это я, свои. Никита.
Я по делу одному.

Я по вот какому делу,
Ты садись, садись, не стой.
Ехать время мне приспело,
А хомут лежит пустой.

А мужик ты, брат, хороший,
Скажем, правды не тая...
Взял бы ты с конюшни лошадь
Ну, которая твоя...

[Запряжем мы и поедем
Тихомолком на коне.
И, как добрые соседи,
Будем жить мы в той стране.]

С печником скорей споемся,
Путь не страшен старику,
Сговоримся, соберемся
И пойдем по холодку.

— Ох, сынок, сынок, сынок...
Жить осталось мне немного,
Скоро старость ссадит с ног.
От семьи уйти убогой
Невозможно мне, сынок.

Нет попутчиков Никите...
— Не хотите, как хотите...

— Запоясывайся, Павлик,
Собирайся в путь.
Разве ж я тебя оставлю,
Разве ж брошу как-нибудь...

[46*] Этот отрывок полностью, с небольшими изменениями вошел в 15-ю главу поэмы, непосредственно продолжив предыдущий отрывок.

[47*] Вторая строфа этого отрывка с незначительными изменениями вошла в 15-ю главу поэмы.

[48*] Первая строфа этого отрывка в измененном виде вошла в 16-ю главу поэмы.



А. Т. ТВАРДОВСКИЙ С ОТЦОМ НА МЕСТЕ БЫВШЕГО ХУТОРА ЗАГОРЬЕ

На переднем плане — ствол яблони, росшей в саду хутора

Фотография В. Аркашева. Конец сентября 1943 г.

Семейный архив М. Т. Твардовской, Смоленск

И. Т. Твардовский вспоминает, что все семь яблонь, составлявших сад, «значились условно за кем-нибудь из семьи: «Костина», «Шурика», «мамина», «бабушкина» и т. д. Ну, а для тех, кто родился с опозданием, яблонь не досталось ⟨...⟩. Я опознаю на фотоснимке, что это была моя — «яблонька Ивана»

[Где пройдем, а где присядем
Пополам, что есть.
— Хорошо. Но лучше, дядя,
Я останусь здесь.]

По земле пройду, как муха
Ходит по стене.
И ни по́мину, ни слуху
Нету обо мне.

И дождем замоет летним
Одинокий след,
Что прошел мужик последний
Через белый свет.

Короток день, а путь далек.
Телега у крыльца.
Колеса смазал Моргунок
И попросил сенца.

— Бери, бери, не жалко, дед,
Да для чего, чудак,
Коня-то нет?
Ну, что ж, как нет,
Дорога — как никак...

И по обычаю присел
И тронул Моргунок,
И след зеленый по росе
До поворота лег [49*].

И вот везет телегу он,
Дорога широка,
Свет белый с четырех сторон
И сверху облака [50*].

Река в обкошенных кустах,
Под елками погост.
Как дома, как в родных местах,
Знакомо стукнул мост.

Один во всей державе я,
Дорога мне одна.
Муравия, Муравия
Далекая страна...

24.III.35. Пишется главка (в пути после базара), выпадает, кажется, картина сна:

И покрыто поле снегом,
Все кругом белым-бело.
И по ступицы телегу
Занесло, замело...
И, раскинувшись, лежит
Под телегою мужик...

28.III.35. Читал Македонову написанное (почти сначала). Ободрен. Кое-что придется вернуть в поэму из тетрадки. Кое-что исключить покамест. Начало новой главы:

От ночлега до ночлега
Тянет лямку Моргунок.
У дороги под телегой —
Своя крыша, свой тенек [51*].

И лежит мужик здоровый
От краев родных вдали,
Под чумацким, древним кровом
Посреди большой земли.

Чуть глаза сомкнет Никита,
Слышит хруст и скрин травы.
Глухо тукают копыта
Возле самой головы.

Спит, не спит, тревожно дремлет
С кулаком под головой,
Потным телом греет землю
Под примятою травой.

[Конь вздыхает вздохом сытым,
Как в ночном, в кустах, под свет.
Вздрогнет, вскинется Никита,
А коня и нет, как нет...]

Отдыхает у дороги
Без коня один мужик.
Он лежит, раскинув ноги,
А под ним земля дрожит...

Выпадает описание базара:

Пахнут падалицы садом,
Режет пыль в глазах,
Тяжко дышат поросята
В клетках на возах.

Вертит сивыми рогами,
Пашет задними ногами.
Сзади баба ломит хвост:
Все равно идти в колхоз.

На гнезде сидит торговка,
Нехотя орет:
— Кому, кому коробовка,
Кому бергамот...

Карусель, коляски, кони,
Полинялая парча.
Развернулись две гармони
От плеча и до плеча.

Продает мужик коровку,
Тянет, тянет за веревку.
А коровка та суха
И горбата, как соха.

[Мальчик — ни на шаг от мужика.
Пусть идет. Дорога широка.
Он не скажет, если хочет есть,
Он боится с горочки присесть] [52*].

[49*] Эта строфа в значительно измененном виде вошла в 19-ю главу поэмы.

[50*] Эта строфа в значительно измененном виде открывает 1-ю главу поэмы, а также использована в главе 19-й.

[51*] Эта строфа со значительными изменениями вошла в главу 6-ю, став ее началом. Вошли в эту главу в несколько измененном виде также строфы 2-я и 5-я.

[52*] Начало этой строфы вошло в 11-ю главу поэмы.

Павлик (был такой кусок)

Не в дороге, не в чужих местах,
Ты бояться научился дома.
Мне знаком ребяческий твой страх,
Выучка отцовская знакома.
Яблоки на самых низких ветках,
Камень . . . . . .[53*] у крыльца,
Боязливых игр праздник редкий —
Все покрыто в памяти, как сеткой,
Жилками отцовского лица.

Выезжая утром в холодок . . . и т.д.[99]
(кнут)
Я бегу, бегу, бегу, бегу . . .

Что тогда я думал об отце

О своей ребяческой обиде
Я забыл, как память ни строга,
Ненавистью взрослой ненавидя
В детстве обретенного врага.

А не сделать ли из этого [отрывка] стихотворение к циклу «Семья»?

1. + Первое стихотворение о брате.
2. + Первое стихотворение о матери.
3. + Первое стихотворение об отце.
4. Второе стихотворение об отце (яблоки).
5. + Третье стихотворение об отце («Я тебя лишал...»)
6. + Второе стихотворение о матери.
7. Второе стихотворение о брате.
8. Четвертое стихотворение об отце.
   Форма письма.

31.III.35. Перед «Попом» мыслится главка.

Знал и слушал без охоты,
Даром в памяти берег
Все, что были анекдоты,
Все мужицкие расчеты
И раздумья Моргунок.

Кабы меньше беспорядку —
Жить да жить.

Кабы жалованье, что ли —
Мужикам.

Кабы ситчику хотя бы
На ребят.
Кабы если бы не бабы,
Бабы, брат.

Ходит слух такой местами...

Что ты едешь?..

4.IV.35. Вчерне добита глава о базаре. Она будет, вероятно, хуже других, но работа над ней дала (чуть ли не впервые за все время сознательной работы) ощущение возможности сделать, добиться того, что требуется... Я слишком полагался на давно открытое мной «нахождение струи» (тона, когда пишется и чувствуется, что хорошо, правильно, ново). Струя струей, конечно...

Перебираюсь в новую тетрадь.

[53*] Пропуск в автографе.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В это время Твардовский был студентом второго курса Смоленского педагогического института (*Материалы*: 1932, 14 августа). «Эти годы учебы и работы в Смоленске навсегда отмечены для меня высоким душевным подъемом»,— писал он позднее (*Твардовский*, т. 1, с. 24).

[2] В 1932—1933 гг. Твардовский работал над повестью, одним из героев которой должен был стать председатель колхоза Тихонов. Ему посвящены многие эпизоды, записанные в тетради, озаглавленной «Наброски неудавшейся повести» (Личный архив Твардовского, Москва). Дмитрий *Прасолов* — организатор и многолетний председатель колхоза «Память Ленина», где Твардовский бывал неоднократно,— персонаж ряда его очерков (*Материалы*: 1932, июль; 1934, конец октября; 1935, 22 января, 7—15 мая и 8—22 июня; *Библиография*, № 191—193, 226, 234, 237, 238); см. о нем: *Твардовский*, т. 4, с. 531, 532. По всей вероятности, Прасолов явился прообразом Фролова («Страна Муравия», гл. 16; см. также запись 27 ноября 1934 г.). В набросках к повести фигурирует Филипп Моргунок, обрисованный в том же духе, какой намечался в поэме «Мужичок горбатый» (см. вступ. статью к наст. публикации), а также кулак Илья Гусев, образ которого перекликается с будущим образом Бугрова; его фамилия — вместо бугровской — упоминается в некоторых прозаических заметках, относящихся к «Стране Муравии» (см. запись 4 февраля 1935 г.).

[3] Поэма была закончена в феврале 1934 г. (см. записи 10 и 23 февр. 1934 г.). Твардовский включил ее в поэтический сборник, который в это время готовил к печати (см. запись 5 марта 1934 г.). Сборник не был издан (*Материалы*: 1934, 23—25 апреля), а поэма подверглась критике (там же). «Мужичок горбатый» не был напечатан, кроме одного эпизода («Вор» — *Библиография*, № 209), и текст ее не сохранился, за исключением указанного эпизода и отрывков, записанных в публикуемой тетради. Лейтмотивом поэмы должна была стать песенка о «мужичке горбатом» (см. ниже запись 26 ноября 1933 г.). В 1934 г. Твардовский использовал ее в стихотворении «Мужичок горбатый» (опубликовано впервые в 1937 г. — см.: *Твардовский*, т. 1, с. 81 и 402).

[4] Джон *Дос-Пассос* (1896—1970) — американский писатель, автор известной трилогии «США», отличавшейся экспериментальным характером. Один из приемов Дос-Пассоса — включение документов в художественный текст; по-видимому, этот прием имеет в виду Твардовский.

[5] Лев Сергеевич *Овалов* (наст. фамилия Шаповалов; р. 1905) — писатель, журналист. Его книга «Красное и черное. Из записок журналиста» (М., 1931) изобилует неуместными эпиграфами.

[6] Ефрем Михайлович *Марьенков* (1898—1977) — писатель, друг Твардовского. В 1925—1935 гг. работал в смоленских газетах, был одним из редакторов Запгиза и областного Партиздата. Первое время своего пребывания в Смоленске Твардовский жил у Марьенкова (*Воспоминания о Твардовском*, с. 13—14). О нем см.: *Твардовский*, т. 5 («Записки краскома» Е. Марьенкова»).

[7] Неточная цитата из романа Горького «Жизнь Клима Самгина» (ч. I, гл. 1).

[8] «Письма В. И. Ленина к Максиму Горькому. 1908—1913 гг.» Л., Госиздат, 1924.

[9] Твардовский писал предисловие к «сводной книге стихов за 1929—1933 гг.», которую в это время готовил к печати (*Материалы*: 1933, май). Предполагаемое название книги — «Стихи и поэмы» (см. запись 30 ноября 1933 г.). Текст предисловия опубликован посмертно («От автора» — *Твардовский*, т. 5). О дальнейшей судьбе предполагавшегося сборника см. записи 5 марта и 6 октября 1934 г.; *Материалы*, 1934, 23—25 апреля.

[10] Перифраз формулы Маркса: «свести счеты с нашей прежней философской совестью» (так определил он свою задачу в «Предисловии» к работе «К критике политической экономии» — К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 13. М., 1959, с. 8). Эти слова цитирует Энгельс в предисловии к книге «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» (там же, т. 21, с. 370); Твардовский читал этот труд осенью 1933 г. (запись 24 сент. 1933 г.).

[11] Игорь Стефанович *Поступальский* (р. 1907) — автор книги «Поэзия Валерия Брюсова в ее идеях и связях со временем» (М., 1933) и ряда статей о творчестве Брюсова. «Каменщик» — стихотворение Брюсова из сборника «Urbi et orbi».

[12] Статья Борисевича не выявлена.

[13] Эта тетрадь сохранилась в личном архиве Твардовского (см. прим. 2). Маня — Мария Илларионовна Твардовская — жена поэта.

[14] Твардовский вспоминал, что в ранней юности исторические романы Г. П. Данилевского «предпочитал всем другим книгам, читал его с упоением», мечтая стать «гусарским офицером» (*Кондратович*, с. 25). Об отношении зрелого Твардовского к творчеству Данилевского см. в его статье «О Бунине» (*Твардовский*, т. 5, с. 100).

[15] О «хуторе пустоши Столпово» см.: *Твардовский*, т. 1, с. 19; *Кондратович*, с. 44. По объяснению К. Т. Твардовского, «торбулями» называли жителей западной стороны Днепра (*Кондратович*, с. 29). По устному свидетельству И. Т. Твардовского, в 1914 г. семья жила в с. Черневе (вблизи Ляхова), где Трифон Гордеевич арендовал фруктовый сад.

[16] О смерти Гордея Васильевича Твардовского см. стихотворение «Мне памятно, как умирал мой дед...» (1951; *Твардовский*, т. 3, с. 67).

[17] Речь идет об одном из неудачных начинаний Трифона Гордеевича — поставке сена в первую мировую войну (*Кондратович*, с. 50).

[18] По воспоминаниям К. Т. Твардовского, в 1917 г. семья приехала в Смоленск и остановилась у Ольги Яковлевны Арефьевой (урожд. Плескачевской), тетки М. М. Твардовской (матери поэта). Муж ее, Михаил Арефьевич Арефьев, имел прозвище «Орех» или «Дед Орех» (там же, с. 29—30).

[19] По-видимому, подразумеваются Фома Захаров и его сыновья (см.: Тетрадь I, прим. 39). Один из них — Григорий, по прозвищу «слепец», учил Твардовского грамоте (Константин Твардовский. На хуторе Загорье.— «Сельская новь», 1981, № 46, 15 апреля).

[20] По семейным преданиям, слова эти сказаны дедом Гордеем.

[21] В 1919 г. Константин и Александр Твардовские поступили в смоленскую гимназию, однако в самом начале учебного года гимназия закрылась (Иван Твардовский. На хуторе Загорье (из воспоминаний).— «Молодая гвардия», 1980, № 6).

[22] Гришка Босинский — племянник Т. Г. Твардовского, человек «невероятной силы», на которого братья Твардовские мечтали быть похожими (*Кондратович*, с. 29).

[23] В 1920 г. Твардовский поступил в третий класс егорьевской начальной школы, затем перешел в четырехклассную школу с. Ляхова (там же, с. 32, 35; *Твардовский*, т. 4, с. 274). Илья Лазаревич и Иван Ильич Поручиковы — учителя Егорьевской школы; Твардовский вспоминает о них в поэме «Василий Теркин» (гл. «О себе») и в статье «Преподавание литературы — творческое дело» (*Твардовский*, т. 5, с. 337). Толя — сын Ив. И. Поручикова, школьный товарищ Твардовского. Об этом периоде жизни Твардовского см.: И. И. Поручиков. На хуторе Загорье; Его же. В Егорьевской школе.— «Сельская новь», Починок, 1978, № 51, 27 апр.; П. Стародворцев. Об учителе А. Т. Твардовского.— Там же; А. Н. Седакова. В Ляховской начальной.— *Воспоминания о Твардовском*; Л. Н. Шестакова. Еще о Ляховской школе.— Там же.

[24] О Г. П. Данилевском см. прим. 12.

[25] По воспоминаниям К. Т. Твардовского Трифон Гордеевич в 1921 г. ездил в Поволжье в надежде переселиться на хорошие земли (*Кондратович*, с. 51).

[26] Белый Холм — село, где находилась школа второй ступени, в которую Твардовский перешел из Ляховской школы (там же, с. 34; И. Малашенков. Каким я помню А. Т. Твардовского.— «Сельская новь», 1979, № 148 и 149, 11 и 13 дек.; В. Сиводедов. Письма и встречи.— Там же, 1979, № 124—127, 16, 18, 20 и 23 окт.).

[27] Твардовский вступил в комсомол летом 1924 г. (В. Сиводедов. Указ. статья). Об этом событии он вспоминает в стихотворении «Памяти Ленина» (*Твардовский*, т. 3, с. 29).

[28] В 1924 г., когда Твардовский окончил шестой класс, белохолмская школа была переведена в Ельню. Твардовский пытался поступить в смоленскую школу, но безуспешно (М. И. Микешин. Наш земляк поэт.— «Сельская новь», 1970, № 74, 20 июня).

[29] В с. Кубарки (5 км. от Загорья) находилась комсомольская ячейка. Твардовский принимал активное участие в ее работе (М. И. Микешин. Указ. статья; И. Малашенков. Указ. статья).

[30] Зимой 1924—1925 гг. Твардовский ушел из дома и около недели прожил в с. Старое Ханино у Сиводедовых — родителей своего товарища по Белохолмской школе; причины этого поступка неизвестны (В. Сиводедов. Указ. статья).

[31] Об этом съезде см.: *Материалы*: 1926, 24—30 марта.

[32] О Н. Долгалеве см.: Тетрадь I, прим. 7.

[33] О Е. М. Марьенкове см. прим. 6.

[34] С газетой «Юный товарищ» связаны первые шаги творческой биографии Твардовского (*Материалы*: 1925, 6 октября; 1926, 25 мая и конец сентября; 1927, март и 27 апреля; 1928, 17 марта и 21 апреля).

[35] Об этой поездке см.: *Воспоминания о Твардовском*, с. 21—38; *Материалы*: 1928, 24 мая — середина июля.

[36] О трудностях первых лет жизни в Смоленске см.: *Твардовский*, т. 1, с. 23.

[37] Степан *Курдов* — смоленский писатель; в середине 1920-х годов входил в литобъединение при газете «Юный товарищ». В 1930 г. Твардовский ездил с ним в свою первую поездку по колхозам (*Материалы*: 1930, конец апреля — начало мая).

[38] О поездке Твардовского с разъездной агитбригадой («агровагон») см.: *Материалы*: 1929, 27 марта — 3 апреля.

[39] Мария Илларионовна *Горелова* — будущая жена Твардовского.

[40] Адриан Владимирович *Македонов* (р. 1909) — критик и литературовед, друг Твардовского; до 1937 г. жил в Смоленске. Ему принадлежит ряд статей и выступлений, посвященных творчеству Твардовского (*Материалы*: 1930, 1 июня, ноябрь; 1933, 12 июня; 1934, 23—25 апреля и 25—27 июля). Мемуары Македонова («Будущий Твардовский») см. в кн.: *Воспоминания о Твардовском*; см. также: *Материалы*: 1929, май — декабрь.

[41] Вторую половину 1929 г. Твардовский провел в Москве (*Материалы*: 1929, май — декабрь; см. также: *Твардовский*, т. 1, с. 23; *Кондратович*, с. 61—62).

[42] О некотором влиянии конструктивистов на раннее творчество Твардовского см.: *Материалы*: 1929, май — декабрь; *Кондратович*, с. 73—75.

[43] Писатель-сатирик Ефим Давыдович *Зозуля* (1891—1941) — один из руководителей жури. «Огонек», член редколлегии журн. «Прожектор», сотрудник журн. «Чудак»; в этих московских изданиях летом и осенью 1929 г. появлялись стихи Твардовского. Об отношении Зозули к Твардовскому см.: *Материалы*: 1929, май — декабрь. Беляев — вероятно, сотрудник одного из этих журналов.

[44] В 1930 г. генеральный секретарь РАПП Л. Л. Авербах был ответственным редактором смоленской газеты «Рабочий путь» (*РП*, 1930, 4 марта — 28 июля, № 52—178). А. В. Македонов вспоминает: «Авербах был в 1930 г. некоторое время редактором «Рабочего пути», членом бюро Обкома, хотя в то же время оставался руководителем РАПП. Это была своеобразная полуссылка Авербаха ‹...› Авербах в Смоленске — особая тема, очень интересная; это был человек, при всем его вульгаризаторстве и властолюбии, очень яркий и энергичный ‹...› Молодой А. Т. ему не понравился; он не соглашался с моей оценкой его творчества, однако все же печатал — и в «Рабочем пути» и в «Первом альманахе» (три очень важных стихотворения)» (из письма А. В. Македонова Р. М. Романовой 14 ноября 1979 г. Указ. в письме стихи см.: *Библиография*, № 157. О роли Авербаха в литературной жизни Смоленска и в судьбе Твардовского см.: *Материалы*: 1930, 25 февраля, 6 марта, начало июня).

[45] Об этой поездке см.: *Материалы*: 1930, конец апреля — начало мая.

[46] Об этом эпизоде см. : *Материалы*: 1930, 1 июня и начало июня.

[47] О поездке на родину Н. И. Рыленкова см.: *Материалы*: 1930, июль.

[48] О работе над этой поэмой см.: *Материалы*: 1930, май — август.

[49] Николай Александрович *Виницкий* возглавил Западное областное издательство (Запгиз), организованное в 1930 г. (*Материалы*: 1930, 6 марта).

[50] Об этой поездке см.: *Материалы*: 1930, 15 сентября — 18 октября.

[51] О работе Твардовского в этом журнале см.: *Материалы*: 1930, ноябрь.

[52] Ирина Евдокимовна Горелова, мать М. И. Твардовской, жила в Смоленске.

[53] О работе над этой книгой см.: *Материалы*: 1931, февраль; *Библиография*, № 173, 182—184.

[54] О поэме «Вступление» см. 19 авг. 1931 г.

[55] О поездке в Зубцовский р-н см.: *Материалы*: 1932, 23 апреля — середина мая.

[56] См. прим. 1.

[57] По-видимому, Твардовский имеет в виду свой очерк «Новый шаг к зажиточной жизни» (*Библиография*, № 204).

[58] Об этой командировке и ее результатах см.: *Материалы*: 1933, декабрь.

[59] Возможно, что речь идет о пьесе Маяковского «Клоп».

[60] Владимир *Смолин* — преподаватель Смоленского педагогического института, литературный критик, автор ряда статей о творчестве смоленских писателей.

[61] Об этом персонаже незавершенной повести Твардовского см. прим. 2.

[62] Речь идет о «Дневнике председателя колхоза» (см.: *Материалы*: 1931, февраль) и поэме «Мужичок горбатый», центральный персонаж которой — Филипп Моргунок (см. прим. 3.)

[63] См. прим. 3.

[64] Стихотворение Твардовского «Валерий Брюсов» не выявлено.

[65] Об отношении Твардовского к поэме А. И. Безыменского «Ночь начальника политотдела» (М., «Сов. литература», 1934) см. во вступ. статье к наст. публикации.

[66] Твардовский записал «по памяти» содержание сборника, предложенного в издательство «Советская литература» и отклоненного им (*Материалы*: 1934, 23—25 апреля). Большинство стихов, намеченных в сборник (№ 1—5, 7—17, 20—22, 24—27, 30, ‹32›, ‹33›), было опубликовано в периодической печати (*Библиография*, № 5, 39, 40, 23, 61, 69, 47, 48, 59, 136, 111, 78, 117, 131, 158, 125, 137, 141, 154, 157, 178, 196, 203). «Мужичок» — поэма «Мужичок горбатый» (см. прим. 3). №№ 6, 18, 19, 23, 29, и ‹34› не выявлены. О работе над этим сборником см. также прим. 9.

[67] Это стихотворение не было опубликовано.

[68] Стихотворение о челюскинцах — «На льдине» (*Библиография*, № 240, 259).

[69] Возможно, что это стихотворение («Братья») предназначалось для неосуществленного цикла «Семья» (см. запись 25 марта 1935 г.). Впервые напечатано в 1937 г. (см.: *Твардовский*, т. 1, с. 401).

[70] Стихотворение «Хозяин» после первой публикации (*Библиография*, № 216) неоднократно перерабатывалось (см.: *Твардовский*, т. 1, с. 401).

[71] Результат поездки в Урицкий с/с Велико-Лукского р-на — очерки «Островитяне» и «Бывшая деревня «Борок» (*Библиография*, № 218, 219).

[72] Это стихотворение не выявлено.

[73] По-видимому, это стихотворение не было написано.

[74] Стихотворение «Строитель» (*Библиография*, № 224).

[75] Подразумевается поэт Виктор Михайлович *Гусев* (1909—1944).

[76] См.: *Библиография*, № 220.

[77] С. А. *Леваневский* и А. В. *Ляпидевский* — летчики, участвовавшие в спасении экипажа ледокола «Челюскин» (1934), первые герои Советского Союза. Твардовский мог читать книгу Ляпидевского «Как мы спасали челюскинцев» (М., 1934) или книгу М. Э. Зингера «Герои Советского Союза» (М., 1934).

[78] Это стихотворение при жизни Твардовского не печаталось (см.: *Твардовский*, т. 1, с. 401—402). По-видимому, оно должно было войти в неосуществившийся цикл «Семья» (см. запись 28 марта 1935 г.).

[79] См. прим. 69.

[80] План первой книги см. запись 5 марта 1934 г.

[81] А. А. Ф а д е е в. За хорошее качество, за высокое мастерство (исправленная стенограмма выступления на пленуме Оргкомитета ССП СССР).— «Лит. критик», 1934, № 4, с. 44; см. также: *Твардовский*, т. 5, с. 32.

[82] Большая часть стихов, включенных в этот новый (ср. запись 5 марта 1934 г.) план (№ 2—5, 7—10), была опубликована в периодической печати (*Библиография*, № 137, 141, 168, 157, 188, 203, 220). № 1 и 11 не выявлены; № 12 и 13 — по-видимому, «Стихи о старшем брате...» и «Отцу-богатею» (*Библиография*, № 108 и 39).

[83] Это стихотворение («Товарищу») неоднократно перерабатывалось (*Библиография*, № 222).

[84] Последующая запись — начало работы над «Страной Муравией».

[85] Это стихотворение неоднократно печаталось под разными названиями (*Библиография*, № 225).

[86] С. Е. Рабинович. История гражданской войны (краткий очерк). Учебное пособие для военных школ РККА. М., Партиздат, 1933, с. 112 (неточная цитата).

[87] Об этом персонаже см. прим. 2.

[88] «Печник-единоличник» фигурирует также в «Заметках о колхозе «Память Ленина» (1932; *Твардовский*, т. 4, с. 80). Эпизод «Печник» был написан (запись 22 марта 1935 г.), но в поэму не вошел.

[89] Н. А. Некрасов. Кому на Руси жить хорошо (гл. «Поп»).

[90] Имеется в виду статья И. В. Сталина «Головокружение от успехов» («Правда», 1930, № 60, 2 марта).

[91] Имеется в виду «Рассказ председателя колхоза», не вошедший в поэму и опубликованный как самостоятельное стихотворение (*РП*, 1935, № 66, 21 марта; см. также запись 22 марта 1935 г.).

[92] Об А. В. Македонове см. прим. 40.

[93] Анатолий Кузьмич *Тарасенков* (1909—1956) — критик; один из первых оценил талант Твардовского (*Материалы*: 1930, январь; 1933, сентябрь, ноябрь).

[94] Отзывы Алексея Александровича *Суркова* (р. 1899) и Сергея Ивановича *Вашенцева* (1897—1970) о «Стране Муравии» неизвестны.

[95] Эти строки были написаны после исключения Твардовского из СмолАПП (*Материалы*: 1930, 1 июня).

[96] Подразумевается «твердое задание» (см.: Тетрадь I, прим. 46).

[97] Демьян Бедный. Главная улица. М., «Моск. рабочий», 1924 (2-е изд.— М.— Л., Госиздат, 1930).

[98] Из выписанных далее четырех отрывков в 1935 г. были опубликованы «Рассказ председателя колхоза» (см. прим. 91) и «Гулянка» (под названиями «Плясовая» и «Перепляс» — *Библиография*, № 247).

[99] См. запись 15 сентября 1934 г.

⟨ТЕТРАДЬ III⟩

СТРАНА МУРАВИЯ. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ № 2

1935 г.

Смоленск

4.IV.35. Из остатков «Вступления» (1931 г.) [1].

Попытка вылезть из серо-повествовательно-изложенческой нуды:

Разве еще не ясно
Кому-нибудь,
Что это главный
И самый славный,
И самый прекрасный
Путь?..

Мы наступали на ме́жи,
Хватались за ножи, за топор...
— *Я же тебя же зарежу*,—
Кричал шахтер.

Весь пбсуд колхоза —
Плуги, колеса
И множество всяких орудий,
Чем пашут, чем режут, чем рубят,
Чем делают хлеб на земле.
Все это ломано, бито, поношено,
Кем-нибудь взято,
Где-нибудь брошено,—
Как общая куртка в семье.

Втайне гордился он
Тем, чем батрак силен.

Слон ты. Слон,
А не человек.

Проваливается дорога,
Полозья шумят по воде.
Лошадь каждую ногу
Ставит, подумав где.

Из московских стишков (1929 г.— лето) [2]

В шубе, в потных валенках
Преешь на завалинке.

Курочки купаются
В пыли. Удобно им.
Каждый занимается
Делом своим.

Тебя — как приморозило —
Сидишь который год.
Вот баба на озеро
С бельем идет.

Ей впору управиться —
Здорова красавица.

Окликнешь ты ее:
— Что, мол, белье?
Она ответит на ходу:
— Мол, полоскать иду. . .

Коровы не удивлены,
Привычен им осмотр.
Волокна медленно слюны
Свисают с ясных морд.

Отец не любит старину,
Он строит жизнь приличную.
Он видел, мыкаясь в плену,
Культуру заграничную.

Его подъемлет мой приезд,
Он от души хорош.
Не предлагает мне невест,
Он знает: сам найдешь...

А хорошо в саду сидеть
На дедовской скамье.
И думать, что покойник дед
Был зол и крут в семье,

Что был порядок и закон
Примерного двора,
Был долог дед,
И умер он,
Когда пришла пора.

От железной дороги не так далеко,
В обаятельной местности возле реки
Он живет, потребляя одно молоко,
И не пишет знакомым своим ни строки.

Землячка моя Александра Петровна
Уехала в отпуск. Я знаю, теперь
Поет мастерица в Загорье на бревнах
Про то, как свекровь не пускает за дверь.

За нею подтянут, подхватят, подбросят
Поспешные девки высокий мотив.
И местный пижон подойдет с папиросой,
Изысканно вежлив, примерно учтив.

Там праздничный день обливается потом,
Загорьевской пылью широко метет.
Но завтра зажинки, но завтра работа,
И гостья с серпом на зажинки пойдет:

По левую руку с невесткою Таней
Согнется ткачиха, как равная всем,
До полдня она выше мочи устанет,
Но виду при всех не покажет ничем.

Когда-то большаком до нашего села
Со станции везли колокола.

Их подарил купец преклонных лет,
Исполнив данный господу обет.

Везли подарок строго, не спеша —
Дорога большаком нехороша.

К концу тяжелого торжественного дня
Запарили буланого коня,

Который шел всегда коренником,
Считаясь умным, опытным конем.

Об этом дне не меньше сотни раз
От старожилов слышал я рассказ.

А нынче ясным, необычным днем
Мне снова вспоминать пришлось о нем.

Не потому ль, что в этот самый день
Все шли в село из ближних деревень,

Чтоб увидать занятные дела,
Как мы снимали те колокола.

И прежнею дорогой — большаком
Их повезли на станцию шажком [54*].

5.IV.35. На сегодня «Первая часть» выглядит примерно так:

1. Выезд.
2. Свадьба.
3. Дождь, свояк.
4. Колхозники.
5. Муравия.
6. Земля.
7. Поп.
8. Сталин — сократить.
9. Илья Кузьмич — вставить отступл⟨ение⟩.
10. С телегой.
11. Цыгане.
12. Поп верхом — сократить, доделать.
13. Базар — доделать.
14. Трактор — есть начало.
15. Колхоз (усадьба, работа, печник) — есть строчки.
16. Рассказ предколхоза.
17. Сторож...— развить.
18. Гулянка.
19. Пожар — нет ни строки.
20. Отъезд, прощание. Отступление — концовка.

Итого: есть — 15 глав, нет — 5.

10.IV.35. Вслед за «Трактором» не удалось:

Крепко спит, но слышит Моргунок
Петушиный крик, пастуший рог.
Точно в детстве, крепко спит
Никита.
Под окошком звякнул болобон [55*],
Улицей простукали копыта,
Свежей пылью пронесло сквозь сон.
Загремели ведра у дверей,
Заскрипел высоко журавель,
И запели вдруг разноголосо
На подворьи косы и колеса,
Молотков и бабок тонкий бой,
Выкатился трактор со стрельбой.
И над самым ухом где-то рядом
Загудел певуче сепаратор.
В печке заработали дрова,
Голоса доносит со двора.
Вдруг затихло все, как под водой.
— Господи!— Проснулся Моргунок.
Никого — народу. День-деньской,
Солнце делит хату поперек.
Вышел на крылечко босиком,
Звонят косы где-то далеко,
Тишина чудесная кругом,
У крылечка куры: ко-ко-ко...
Вишенник нависнул на плетни
Пчелами и хмелем пахнет сад.
Понизу. . . . . [56*] в тени

[54*] По-видимому, этот отрывок должен был составить в поэме эпизод «Колокола», от которого позднее Твардовский отказался (см. запись от 21 апреля 1935 г.).
[55*] Болобон (балабон) — колокольчик на шее у коровы.
[56*] Пропуск в автографе.

Капельки последние висят.
Светит пес каленым языком,
Смотрит на чужого мужика.
На березе буфер с молотком,
У амбара бочка и кишка.
Вышел за усадьбу Моргунок,
Греет ноги добрая трава.
Камешки катает ручеек,
Разыгралась под мостом плотва.

Вышел на дорогу Моргунок,
Рожь стоит обáпол золотая.
По полю вдали ползет дымок,
Говорок мотора долетает.
Шаркает о косу оселок,
Где-то близко за хлебами косят.
Зашагал быстрее Моргунок,
Нагиная рукавом колосья. . .

Моргунок просыпается после всех в чужой избе.

Он умывается, оглядывается не спеша: изба хороша. Потолок — Моргунок. Бревна — как звон, лавки шириной...— Изба, родной, в колхозе [дана] получена. А жил здесь раньше Ивлий Грач. Иду бывало. А пес не гавкнет, [станет] только поглядит. Сложу руки [дрожу] и кланяюсь: Полкан Иваныч, батюшка, пропусти. Бог.

19.IV.35.

Книга первая

1. Отступление в главе о встрече с Бугровым

По всем дорогам в этот год
Тянулся человечий сброд.
Шли, кто их знает по какой
Наслышке, наугад.
Вели для жалости с собой
Замученных ребят.
Умели петь, просить и красть,
Стрелять из-за угла
И плакать, проклиная власть,
Что их сильней была

и т. д. [57*]

2. Отступление (обращение) в главе о базаре, после второго обмана?
3. Доработка глав:
   1) Сталин.
   2) Тракторист.
   3) «Гринчиха».
4. Песня колхозников.
5. Сторож, пожар (?).
6. Коммунист-двадцатипятитысячник

От самой Ельни я. А вы?
— А я от самой от Москвы...

7. Баба — предколхоза.
8. Деревня Остров (озеро не обязательно, можно — болото или что-нибудь в этом роде) [3].
9. Половодье (сказка).
10. Рассказ (может быть, сторожа) об отце, отдавшем взрослых сынов в колхоз, одевшем белую рубаху и со 100 р. отправившемся в Лавру (во второй части — встреча с ним — возвращающимся).

Книга вторая

Пролог.— По дороге к советской границе тысячи верст пешком идет безработный...

Поп, узнанный с аэроплана.

[57*] На полях возле этой строфы помета: «Вставить». Однако это «отступление», написанное в соответствии с планом, намеченным ранее (см. запись 5 апреля 1935 г.), в поэму не вошло.

Книга третья

«Страна Муравия».

Дыни, посаженные у дороги для проезжающих. Табора (Кабард‹ино›-Балк‹ария›) [4].

Съезд колхозников. Сталин.

20.IV.35.

1. Петрова — непременно, 25-тысячника, по-серьезному. С ним Моргунок попадает в единоличную деревню. О нем рассказывает сторож.
2. Продолжать со «Сторожа».
3. Сказку написать про запас.

Окна в землю. Крыша набок,
Две скворешни на шестах.
Жили были дед да баба
От деревни в трех верстах.

Баба пряла у окошка,
Дед с утра на рыбу шел.
И была в хозяйстве кошка,
Курочка да петушок [58*].

Очерк Канторовича в «Наших достижениях»— «Самолет над Енисеем» [5]:

1) Деревня, признавшая советскую власть в 1934 г. [Вот и с колхозом так: пройдет лет 20, все будут колхозники, а посмотришь, где-нибудь найдется и единоличник, забытый.]

2) Катанье колхозников на самолете.

3) Рассказы о Сталине (ссыльного периода), как о своем человеке, старом знакомце («Осип Виссарионыч»).

21.IV.35. Приступил к работе от первой главы. Выпадает, подчищается:

Гл. II.

— А, выходит, был дурак.
Ты б милей для власти был,
Каб ты вовсе не платил.
И лежал бы, развалясь:
Нету хлеба,—
Дай мне власть.

И ходил бы, заголясь:
— Нет рубашки,—
Дай мне власть.
Ел бы то ж
И пил бы то ж,
А налогу — хрен возьмешь.

Гл. IV («Колхозники»). Разделать так, чтобы ответы были и хорошие «Колхозники, отец»), расширить. Может быть, соединить с шестой главой?..

Гл. VI. Определенно соединить с четвертой. Закончить:

— Колхозники? — Колхозники!
— Колхозники? — Колхозники!
— Колхозники, отец [59*].

Гл. VII (поп) — конец.

Гл. VIII (Сталин). Своими и хорошими словами сказать, как ждут Сталина.

Гл. IX (Бугров). Отступление. «Колокола». Портрет.

Гл. Цыгане.

Сенокос.

Гл. Поп на коне.

Развить картину масштабного движения (самолеты, автоколонны, безработные (?) и т. д.).

[58*] Эти две строфы с незначительными изменениями в первой из них составили начало «Весенней сказки», к которой Твардовский неоднократно возвращался в процессе работы над поэмой (см. записи от 5 мая и 14 июля 1935 г.) и которая вошла в ее 6-ю главу.

[59*] Возле этих трех строк на полях помета: «отставший гусь!»

Гл. Базар. Безусловно выпадает:

Продает мужик коровку,
Тянет, тянет за веревку.
А коровка та суха
И горбата, как соха.

Машет сивыми рогами,
Пашет задними ногами.
Сзади баба ломит хвост:
— Все равно идти в колхоз.

Узнается Бугров по бороде, между прочим.
Гл. Тракторист. Выпадает:

Задымил, поехал,
Застучал, повез,
Мужика с телегой
Потащил в колхоз?

Концовку — тревожней, растерянней, ярче.
В рассуждение о дедах и прадедах, может быть, встанет: еловая машина, липовый прицеп...
Гл. Старушка.
Расширить биографию. Улучшить концовку.
Гл. На гумне.
Тут и дать председателя целиком и навсегда, без «Рассказа».
Дать продвижение из колхоза. С Петровым. Единоличн⟨ую⟩ деревню. Последняя беседа с единоличником — предложение и отказ — уклонение. Концовка.
Дать исчерпывающее отступление мальчику.
Пожар?..

22.IV.35. В голове все выстраивается как будто неплохо. Окончательно выпадает чуждый ритмически и растянутый «Рассказ» [6].

I. Беседа со сторожем [60*]:
1) Матвей-паломник

«Мы сидим, а он идет...»

2) «Бедняга» (безработный)

Мы сидим, а он идет...

3) Грач (слух, что идет на родину)

Мы сидим, а он идет...

4) Сходил бы ты к Фролову...

Строгой линии партийной
Задушевный человек.
Только он тебе поможет,

Наведет тебя на след. . .
Как на картах, жизнь разложит,
Золотой подаст совет.

5) Концовка: Васек и Настя.

II. Моргунок у Фролова. На сколько лет колхозы?.. Когда такой далекий срок, то ехать дальше мне... Фролов предлагает «по пути» завернуть с ним в одну деревушку. Деревня единоличная — Остров. Фролов дает слово Моргунку,— вот, мол, человек беспристрастный, пусть он скажет о колхозе.
Речь Моргунка: Я, конечно, против, но живут люди хорошо, работают хорошо. Я, конечно, против...
Единоличник: Добрый человек, послужи миру, поезжай от нас ходоком к Калинину, пусть нам, единоличникам, разрешит жить своим колхозом, единоличным.
Моргунок: Нет... Вы себе, а я себе...
Зарево. «Пожар!» Красным веником метет. Заняло полнеба. Поля осветились кругом. Яровые... как днем...

[60*] «Беседа со сторожем» составила основное содержание 17-й главы поэмы, где частично использована намеченная ниже композиция (ее первые три и последний пункты); строка «Мы сидим, а он идет» служит рефреном в рассказе сторожа.



А. Т. ТВАРДОВСКИЙ, М. И. ТВАРДОВСКАЯ, М. В. ИСАКОВСКИЙ
Фотография. Смоленск, 1935
Личный архив Твардовского, Москва

Смятение, деревенская неразбериха.

Фролов: [после поспорим за и против колхоза, а сейчас надо колхоз спасать].

— По коням!.. За мной!..

Так рвется вся страна
Грудью...
По команде командиров.
Взмахом, призывом Чапая...
Грудью. . . . . [61*] сшибая...

Моргунку не достается коня (конь!).
Он бежит. Зарево тускнеет, пожар затихает (горит гумно).
Овражком ползет человек,
сопя, как еж...
...Куда ползешь

Грач.
Стой! Задерживает. У меня такой коня угнал.
— Так это ж не я...— Все равно, одинаково...
...Моргунок...
Распоясал ремешок.
— Дай-ка руки...
Ведет...

Около залитого пожара стоят люди. Фролов, прислонившись к стволу обгорелого дерева, тяжело, с перерывами пьет воду... Все молчат...

III. Все же Моргунок уходит. Отказ Павлика. Прощание. Фролов, как и Матвею, говорит: «Возвращайся, расскажешь, какая есть страна Муравия...»

Он идет, идет, усадьба все дальше позади. На последнем подъеме видит —

[61*] Пропуск в автографе.

идет навстречу, как и он, человек с палкой, сумочкой. Матвей-паломник. Не дошел до Киева. Истратил из 100 37 рублей. Встретил попа одного

[Не святой и не угодник,
Не подвижник, не монах,
Был он просто поп-отходник,
Яко наг и яко благ] [62*].

— Говорит, пойдем лучше со мной, пускай будет так, что ты уже из Лавры...

— Конь? — Моргунок.

— Ни коня, ни сапог...

— Что ж ты?

— Да вот кием (Киев) протянул... А обратно — на поезде. Иду со станции.

— Спасибо, брат. Уважил, брат...

Спасибо, дорогой.

— Хочу дождаться темна́, вроде совестно возвращаться днем. Прощание.

Концовка — отступление...

Из газет

«В ряде колхозов, расположенных по дорогам Кабардино-Балкарии, началось строительство таборов для проезжих. Они будут строиться по типу ресторанов — со столиками, скамейками для отдыха, коновязью для лошадей, с фруктовым садом, огородом и бахчей. Каждый путник сможет остановиться в таком таборе, отдохнуть, закусить овощами и фруктами и накормить лошадь.

Уже сейчас колхозники пишут на арках, переброшенных через дороги, плакаты с надписью «Добро пожаловать в наш табор»...

«Правда» [7].

Культура сорняков. Донник — азотособиратель. Гибридизация пшеницы с пыреем — долголетняя пшеница, два урожая в один год.

«Известия». Сосновский.

27.IV.35. Закончена глава «Сторож».

К главе о Фролове и единоличниках:

1) Почти вся глава «Колхозники».
2) Кусочек из бывш⟨ей⟩ главы о Петрове.
3) — Ну, вот тебе Муравия...
4) — А что касается.
5) У меня свояк в колхозе. Спору нет. (Моргунок).

Глава «Земля» (вначале) включит и ответы

(Колхозники, родной; колхозники, отец — и т. д.).

А Павлика не оставить ли на базаре, напутствовав его отступлением о путях-дорогах беспризорника, о Павлике Морозове?

Хорошенько обыграть «Паломника».

Схема размеров поэмы

1. Выезд — основной размер:

С утра до ночи едет он,
Дорога далека,
Свет белый с четырех сторон
И сверху облака (1) [63*]

[62*] Эта строфа вошла в 5-ю главу поэмы.

[63*] Эта строфа в несколько измененном виде открывает поэму.

2. Свадьба — (переход). Хорей — частушечный с вариациями (2).
3. Дождь — свояк — основной.
4. Отступление — Муравия — основной с вариациями (2).
5. Земля — основной.
6. Песня — основной и песня:

У батьки, у матки
Родился Никита [64*]

7. Поп — хорей с присказками

под «Комаринского» (3)
и «Мужичка горбатого».

8. Сталин — основной с вариациями (3).
9. Встреча — основной.
10. С телегой — хорей + «документы» (2).
11. Цыгане — «Мужичок горбатый».

30.IV.35. «Песню» — между попом и Сталиным.

3.V.35.

1. Биографию Фролова (бедняк — партизан — крестьянский комитет [65*] и т. д.)
2. Пожар — основная картина конца.
3. Концовка?..

5.V.35 [66*].

Хочешь — сказка, хочешь — правда,
Хочешь — выдумка тебе.
Жили-были дед да баба
Сорок лет в одной избе.

Жили-были дед да баба
На отлете от села.
В этот год необычайно
Высока вода была.

Баба пряла у окошка,
Дед с утра на рыбу шел.
И была в хозяйстве кошка,
Курочка и петушок.

А весна стояла в силе,
Просто говоря,
Разлились по всей России
Реки и моря.

Все идут, а дед ни с места
На тринадцатом году:
— Из своей, граждáне, хаты
Никуда я не пойду.

Поплыли плетни, солома,
Огородов будто нет.
Поднялись весною воды,
Говорят, за целых двести
Девяносто восемь лет. . .

В этот год необычайно
Высока вода была,
Подняла избу с усадьбы,—
Как кораблик понесла.

Поднимает выше, выше
И несет ее, как плот.
Петушок кричит на крыше,
Из трубы дымок идет.

И качаются, как в зыбке
Дед и баба за стеной.
Поднесло избу под липки —
На деревню — тут и стой.

Ну, тогда, старик понятно
. . . . . [67*] (на запад дверь).
Значит, быть нам тут, старуха,
Дай, помолимся теперь.

7.V.35. (*Рибшево*) [8]. С каких концов продолжать работу:

1. Вставить «деда с бабой».
2. Отступление о Сталине.
3. Отступление перед пробуждением Моргунка в избе колхозницы

Собачий лай везде похож,
Скрип журавлей, крик петухов,
Рог пастуха, запахи липы в цвету и др. (время).

[64*] Этой песней оканчивается 3-я глава поэмы (см.: Тетрадь II, запись 5 января 1935 г.).

[65*] Крестьянский комитет — член крестьянского комитета.

[66*] Запись, сделанная под этой датой,— вариант «Весенней сказки», вошедшей в 6ю главу поэмы (ср. записи от 25 апреля и 14 июля 1935 г.).

[67*] Пропуск в автографе.

4. Обработать бабушку (сын-тракторист, вдовья жизнь; Фролов).
5. На току. Дать [председателя], бригадира

(Что ж, за людьми и я...)

6. Фролов — пожалуй, председатель (?)

Нет, говорю, характер мой
Не позволяет мне [68*]

Бац! Бригадира — нет...

Нет, говорю, супружница
Не позволяет мне.

---

7. Переписать «Перепляс»... [9]
8. Заготовки «Островитян».

11.V.35. Речь Сталина [10] глубоко потрясла.
Отступление о Сталине развертывается под непосредственным впечатлением речи.

1.VI.35. Вернулся из лагерей ⟨Осоавиахима⟩. Привожу все в строй.

Островитяне [11]

По загуменьям...
Кривые, короткие прокосы (валы)
Незарастающая куча углей, костры — около бань.
Три трубы на тринадцать дворов.
... Три трубы.
На тридцать три двора.
— Поглядите, поглядите, как живем. Сидора нашего поглядите.
Старик держится за угол избы, картуз, ключик на поясе.
— Корову сам и печку сам.

Неедóмое сено (охапка — весь укос).
. . . . . .[69*] (привез).

Ржи — тридцать шесть снопов.
Соха — рачья клешня.
«Половиночка».
Дурочка, калека.
— Пшеничка ваша добрая...
Дети — как горлачики, как гороховые стручки.

Расформированная глава (к «Островитянам») [70*].

Солома преет у ворот,
Повалены плетни,
И курит нехотя народ
На бревнышках в тени.

Сидит, глядит, как ножиком
Строгает что-то дед.
— Тпру!. . .— Бог на помощь,
граждане,
Колхозники, ай нет?. .
[Они сидят, пускают дым
Спокойно, как ни в чем].
— Зачем?— Мы — бесколхозные,—
Причмокнул дед.—
Сошлись жуки навозные,
Гудят, а кучи нет.
— Ты что строгаешь?

[68*] Это двустишие в измененном виде вошло в рассказ Фролова (гл. 16).
[69*] Пропуск в автографе.
[70*] Эта «расформированная глава» почти полностью, но в значительно измененном виде вошла в 14-ю главу поэмы.

— Дудочки.
— Зачем?
— А просто так.
— А не кулак ты, дедушка?
— А как же не кулак?. .

Богатством я, брат, славился
В деревне испокон.
Скота голов четыреста
И кнут пяти сажен. . .

И гостем в каждой был избе,
Где ужин, там ночлег.
[Сенца? Чего? Сенца тебе?]
Чудак ты человек.

[Плешивый, босый, маленький,
В морщинках, как сморчок,
Затрясся и зажмурился,
Захохотал дедок. . .]
Тьфу,— плюнул Моргунок.

Располагаю главы в отдельности в таком порядке:
1. Выезд.
2. Свадьба.
3. Свояк.
4. Муравия.
5. Земля.
6. (Глава перед попом)

Много слышал Моргунок,
Много в памяти берег.

Говорят, а мы не знаем... (о Сталине).

Дед и баба.

7. Поп.
8. Песня Никиты.
9. Сталин.
10. Речь Сталина. (А после, может быть, дать «Крестьянство!..»?)

Выпадает:

А то, как встретил он ребят,
Не струсили, куда там!
— Да — здравствуй, Сталин, говорят,
— Да — здравствуйте, ребята.

Глядит Никита: в стороне
Сидит мужик на белом пне.
У ног котомка, и при ней
Две пары запасных лаптей.

— Издалека?
— Издалека.
— Куда? Насчет чего?
— А вот иду, иду — пока
Не встречу самого.
— Зачем?— А просьба у меня,
Чтоб воротили мне коня.
Иду по делу, по сему,
Не жалко ног и сил. . .

Вон, Ленин тестю моему
Корову воротил.
— Тогда садись, езжай со мной.
— Уж вот что нет, то нет, родной.
Он, может, едет прямиком
И встретится вот-вот.
И все, что я прошел пешком,
Напрасно пропадет [71]*.

И двое редкостных дедов
Расселись на пути.
Один ста десяти годов,
Другой ста двадцати.

(может быть, что-то такое нужно дать, паломничества, встречающие и т. д.).

Да вы ж, небось, дивитеся,
На белый глядя свет.
— А мы деревни Витязи,
У нас моложе нет.

— И что ж, сидите?
— А сидим,
Хоть посмотреть его хотим.

---

[71]* Этот отрывок Твардовский еще раньше записал в числе отброшенных вариантов поэмы (см. запись 26 февраля 1935 г.).

По-военному, с прискоком,
С лошадиным звучным скоком
Догоняет верховой.
Догоняет, едет сбоку
С непокрытой головой.
Заезжает наперед,
Смотрит, точно узнает.

Удивляется Никита:
— Ты откуда, кто такой?
— Я из нашего колхоза,—
Отвечает верховой.

— Ждали-ждали, ждать устали,
Опасались мы как раз,
Кабы вдруг товарищ Сталин
Не проехал мимо нас.

И к тебе большая просьба:
Где бы встретить не пришлось бы
Где увидишь — едет он —
Передай от нас поклон.

Пусть без всяких он сомнений
Приезжает, хоть сейчас.
Передай, что план весенний
Перевыполнен у нас. . .

---

11. *Встреча с Бугровым.*
12. С телегой.
13. Цыгане.
14. Встреча с попом.
15. Базар.
16. Трактор.
17. Старушка.
18. Молотьба.
19. Пляска.
20. Сторож.
21.
22.
23.

5.VI.35 ⟨...⟩

План окончания:

1. Фролов. Портрет, лирическое обращение.
2. Моргунок у Фролова. «На сколько лет колхозы?» Предложение Фролова пойти в дер. Остров.
3. Деревня Остров.
4. Пожар и поимка Моргунком Грача.
5. Прощание.
6. В ⟨пути⟩. Встреча с «паломником»
7. Концовка.

Нужно:

1. Найти, обдумать живой образ 25-тысячника, участника гражданской войны, хорошего, веселого и умного парня. Если сделать вообще — будет схема.

2. Размеры (стихотворные). Добытый переложением «Рассказа» — развивать.

3. Картину пожара представить.

26.VI.35. Пишется после перерыва неплохо. Начал с «Муравии». Тон нащупывается. К Фролову придется вернуться, отделив «Муравию» от «Сторожа» специальной главкой.

30.VI.35. Около половины (в общем) «единоличной» главы написано. Трудней будет переход к пожару и вся эта история. Финал первой книги до последнего времени представляется весьма неясно. Теперь — это должен быть «Пролог» — глава о богомольце, возвращающемся из Лавры. Нужно что-то вроде «Благословляю вас, леса...»[12] — лирика, пафос, образ колхозного старца, видящего прекрасный, свободный от богов и прочего мир.

Но еще — кто ее знает.

Не забыть — потерять с напутствием мальчика на базаре...

Свадьба. Вчера навязался знакомый студент — опиши свадьбу. А сегодня, сию минуту я почти не могу себе представить поэму без этой свадьбы.

Доводы за:

1) Есть кого женить (Васек и Настя).
2) Оправдывается плясовщина (на базе ее и разворачивать дело).
3) Противопоставление «свадьбе».
4) Возможность расчувствоваться Моргунку.

5) Показ Фролова и др.
Быть свадьбе!

И она очень хороша для концовки. А Пролог прологом! А пожар, пожалуй, отложить,— пусть сторож больше о бдительности поговорит. И «Сторожа» нужно пустить вперед. И единоличников с их гуляньем.

В целом порядок глав примерно будет таков:

1. Вступление (Выезд)
2. «Свадьба»
3. Свояк
4. Земля
5. «Муравия»
6. Поп
7. Песня Никиты
8. Сталин
9. Речь к Сталину
10. Встреча с Бугровым
11. С телегой
12. Цыгане
13. 2-я встреча с попом
14. Базар
15. Тракторист
16. Бабка (?)
17. Молотьба
18. Сторож
19. Острова
20. Свадьба
21. Эпилог

Рука — сухая и желтая, и легкая, как дубовый лист. П. Бак [13].

1.VII.35.

... То дальше ехать мне...
— До свадьбы погоди...

Свадебная песня

Женился Василий, гостей приглашал,
Товарища Сталина за руку брал.
— Гости мои,
Гуляйте и пейте за счастье мое.
— Постой-ка ты, Вася, позволь нам сказать,
А где ж твоя родная мать?
Стесняешься что ли . . . . . [72*]
. . . . . матери родной?
Пускай она сядет рядом со мной,
Подвинься, Калинин, дай матери сесть
. . . . . честь
За старость ее
За . . . . . житье,
За жизнь молодую,
За счастье твое.

Сидит Ворошилов при всех орденах.

2.VII.35. В конце молотьбы — это Фролов курит с Моргунком. Сюда же втоптать и «вопрос». «Когда такой далекий срок, то дальше ехать мне». «До свадьбы — погоди». «А тут мы сходим тут в одно селенье Острова».

Затем идет «Сторож». Затем — «Острова».

Выпадает малый вариант «рассказа» (в переделанном размере).

— Позвольте ж мне теперь вопрос,—
Запнулся Моргунок.—

— Молчи, нелегкий случай,
Совпало как назло
Такое дело. Слушай,
Когда на то пошло.

Какая блажь заставила,
Какая, что ли, стать,
Вас, человека старого,
На эту должность стать.

Был я мужик тверезый,
Знал, что за мной семья.
Пошел народ в колхозы —
Что ж, за людьми и я. . .

[72*] Здесь и далее — пропуски в автографе.

Корову и кобылу
Свел за другими вслед.
Уж все по форме было —
Бац!— бригадира нет.

Я говорю совету:
— Жил, мол, с людьми в ладу.
Конец! На должность эту —
Зарежьте, не пойду.

Они: да что, да ка́к-так,
Мол, справишься вполне.
— Нет, говорю, характер
Не позволяет мне.

И что ни тратил слов я,—
— Брось, заступай со дня.
— Нет, говорю, здоровье
Плохое у меня.

— У всех здоровье слабо,
Оно теперь не в счет.
— Нет, говорю я, баба,
Супруга, не дает.

Беда. И дальше вижу —
Спасенья больше нет.
— Нет, говорю я, грыжу
Ношу семнадцать лет. . .

— Ну, с ней тебе привычно,
Крой, заступай на пост.
А с бабой, дескать, лично
Уладишь ты вопрос.

Двором одним я правил,
Бац!— Двадцать семь дворов.
И кто меня заставил —
[Когда бы не]
Товарищ наш Фролов.

— Ты, говорит мне, знаешь,
Как ходят за землей,
Ты бригадир, хозяин,
А я помощник твой.

И взялся. Вижу, можно
Направить жизнь на след.
А главное — помощник,
Каких на свете нет.

За всякою работой
Следил со мной со дня.
Политике и счету,
Уму учил меня. . .

И сам ты, братец, видишь,
Как мы теперь живем.
И все, куда ни выйдешь,
Ни поглядишь кругом —

Весь, что ни есть зажиток
И каждый гвоздь в стене,—
Знать, я не лыком шитый,
Раз это все при мне.

И ты бы жил во здравие,
Жизнь на виду видна.
Жизнь вот где. А Муравия —
Черт ее. Где она.

Полный вариант пойдет гулять отдельным стихотворением, как и «Перепляс» в настоящем виде [14].

6.VII.35. «Острова», кажется, добил.
Смущает немного хорейная середина. Плох, покамест, конец.

«Песню» написал [73*]. Не то, хотя хорошо. Может быть, эта песня пойдет как какой-то «свадебный рассказ» в ходе свадьбы. Это должно быть связано с легендой о поездке Сталина по колхозам. А песенку нужно, кроме того, написать какую-нибудь нейтральную. Свадьбу начинаю ощущать как главу. «И телеграмму Сталину»...

Маня не советует терять мальчика в дороге. Пусть останется в колхозе. Может быть, удастся вплести отступление в духе того же, что было когда-то.

Выпадает:

— Постой,— подсел поближе
Никита.— Вспомни, брат.
Прохожий был не рыжий?
— Маленько рыжеват.

Чуть рыжеват, и бороду
Прошило сединой.
— А он в какую сторону
Направился, родной?

— А нам и невдомек.
— Жаль,— молвил Моргунок. . .

[73*] См. «Свадебную песню» (записи от 1 и 7 июля 1935 г.).

7.VII.35.

Свадебная песня (1-й вариант)

Женился Василий,
гостей пригласил,
Гостей дорогих
за столом усадил.
Гармони и трубы
гремят под окном,
Почетные гости
сидят за столом.
Сам Сталин сидит,
сам Калинин в очках,
И сам Ворошилов
при всех орденах.
— Товарищи гости,
соседи, родня,
За хлеб мою соль
не судите меня.
Гуляйте и пейте
за счастье мое,
За счастье, за Настю,
за наше житье.
И подняты чарки
десятками рук.
Но Сталин один
поднимается вдруг.
Поднимается вдруг,
что-то смотрит вокруг:
— Ты что ж это, Вася,
ты что ж это, друг...
Ты что ж это, Вася,
позволь указать,
Ты где усадил
свою старую мать.
Стесняешься матери, что ли,
родной,
Пускай она сядет
здесь, рядом со мной.
Годам ее честь
и труду ее честь.
Подвинься, Калинин,
дай матери сесть.
И выпьем, друзья,
мы за старость ее,
За новую жизнь,
За другое житье.
За сына ее,
за невестку ее.
За счастье ее
и за внуков ее.

Никак не годится.

8.VII.35. Наброски к «Свадьбе» [74*]

Кони, кони у крыльца
В красных лентах коники.
У невестина отца
Кот на подоконнике.

Умывается кот
Напомаженный,
Собирается народ
Разнаряженный.

Ходит Настя с родной
Старой матерью.
Семь столов под одной
Белой скатертью.

— Что ж ты, Настенька,
Не заплакана,
Без попа зашла
Да без дьякона.

[Что ж ты ходишь при всех,
Девчоночка.
Тебе шутки да смех,
Обрученная.]

Обрученная,
Наряженная,
Три раза вкруг куста
Покруженная.

[— Телеграмму пущу
Я по радио:
Сама замуж выхожу,
Сама рада я.

Телеграмму по столбам
Пущу проводом:
Никому любить не дам
Чернобрового.]

— Эх, Настенька,
Нас обидела.
За кого зашла,
Кабы видела.

У миленочка —
Кобыленочка —
Не доехал до горы —
Ее съели комары.

А что ж тебя
Да заставило
Выйти замуж [молодой]
За [такого] старого.

[74*] Часть этих набросков (строфы 8—11) вошла в измененном виде в 18-ю главу поэмы.

За старого,
За отсталого,
За горбатого, косого,
Куцопалого.

11.VII.35. Вариант свадьбы

[Журавель скрипит,
Журавель скрипит,

Нагибается,
Наклоняется.
Пыль, пыль от копыт
Поднимается.]

Журавель скрипит, скрипит,
Низко нагибается.
Пыль пылит из-под копыт,
Дымом расстилается.

Кони, кони у крыльца,
Становились коники.
У невестина отца
Флаг на подоконнике.

Помогает дочь родной
[Управляться матери],
Ходит вместе с матерью,
Семь столов покрыть одной
Белоснежной скатертью.

Ах, пыль, пыль, пыль
Не подпыливает.
Подружки невесту
Подковыривают.

— Что ж ты, Настенька,
Не заплакана.
Без попа зашла,
Да без дьякона.

Обрученная,
Наряженная.
Раза три вокруг столба
Покруженая.

Эх, Настенька,
Нас обидела.
За кого зашла —
Кабы видела.

У миленочка —
Кобыленочка,
Не доехал до горы —
Ее съели комары.

А что ж тебя
Да заставило
Выйти замуж
За старого.

— Эх, вы девочки-подружки,
С вами что ж я сделаю:
Я одна напротив вас,
А вас бригада целая.

За старого,
За отсталого,
За горбатого, косого,
Куцопалого?.. [75*]

— Повернись, Васек!
Покажись, Васек,
Пусть подружки мои видят,
Как ты строен и высок.

— Ах, красивый да высокий,
Жалко, Настенька, тебя.
Унесут его сороки,
Как увидят у тебя.

Девочки, подруженьки,
Ну, что ж я с вами сделаю?
Я напротив вас одна,
А вас бригада целая.

На столе, как на ладони,
Подан свадебный обед.
Гармонисты в три гармони
Резанули — спасу нет.

Все собрались, все на месте,
Стихло все, повиснул флаг.
И встает отец невестин,
Подает рукою знак.

— Товарищи гости,
Соседи, родня,
За хлеб мою соль
Не судите меня.

Гуляйте и пейте
За счастье мое,
За Настю мою,
За удачу ее. . .

За новую жизнь,
За совет да любовь.
И пусть наливает
Товарищ Фролов.

Пусть линию держит
Своею рукой.
Партейным по малой
И нам по другой.

[75*] Эта и три предыдущие строфы в измененном виде вошли в 18-ю главу поэмы.

И ударили снова
Гармонисты втроем.
И заздравное слово
Звучит над столом.

И для первого тоста
Чарки строем поставлены.
За почетного гостя,
За товарища Сталина.

Чтобы чарки не стыли,
Поднимается тост
За хлеба золотые
В человеческий рост.

За луга, чтобы вдоволь
Кормили стада.
За почетную долю,
За счастье труда.

За высокое знамя,
За великий урок.
— Эй ты, пьешь ли ты с нами,
[Товарищ Фролов]
Наш гость Моргунок.

Эх, горько, горько, горько —
Нельзя пить, нельзя есть.

До чего же дрянь!

12.VII.35.

Эпиграфы [76]*:

К «Свадьбе» (настоящей)

Лети, лети, ластынька,
Лети за моря.
Прости, прощай, Настенька,
Дочушка моя.

Лети, сиротливая,
В чужие края,
Живи, будь счастливая,
Кровинка моя.

Одень бело платьице,
Пройдись по избе.
А что ж да не плачется,
Не горько тебе?. .

К «попу»

Не святой и не угодник,
Не подвижник и монах,
Был он просто поп-отходник,
Яко наг и яко благ. . .

Закруглилась «Сказка про деда с бабой».

Как будто взял начало «Свадьбы».

Главы, не входящие в основной текст «Муравии» [77]*.
1. Сказка (может быть, войдет)
2. Рассказ бригадира
3. Плод познания жизни
4. Грузовик
5. Печник
6. Песня (свадебная)
7. Пролог (не написан)

14.VII.35.

Весенняя сказка

(Глава, не вошедшая в поэму) [78]*

Окна — в землю, крыша — на́бок,
Гнезда галочьи в трубе.
Жили-были дед да баба
Сорок лет в такой избе.

Баба пряла у окошка,
Дед с утра на рыбу шел.
И была в хозяйстве кошка,
Курочка да петушок.

---

[76]* Оба «эпиграфа» вошли в текст поэмы — первый в 18-ю главу, второй — в 5-ю главу.

[77]* Возле этого перечня на полях помета: «В отдельную тетрадку».

[78]* «Весенняя сказка» с незначительными изменениями вошла в 6-ю главу поэмы. (см. также записи 25 апреля и 5 мая 1935 г.).

Жили старые помалу
На отлете от села.
Той весною небывало
Высока вода была.

Сказки до ночи гудели,
Шел в стране тридцатый год.
Про коммуны, про артели
Думал вслух и вкрик народ.

И весна в могучей силе
Выходила на простор.
Разлились по всей России
Воды рек, морей, озер. . .

Все — в колхозы, дед — ни с места
На тринадцатом году.
— Из своей избы, известно,
Никуда я не пойду.

Поплыли плетни, солома,
Огородов будто нет.
День за днем проводит дома,
Очищает лыки дед.

— Что, мол, жить мне на народе —
И какой мне в этом прок.
А вода к крыльцу подходит,
Бьет волною о порог.

И творились той весною
Сверхчудесные дела.
Подняла вода избушку,
Как кораблик понесла.

Поднимает выше, выше,
Гонит окнами вперед.
Петушок кричит на крыше,
Из избы дымок идет.

И качаются, как в зыбке,
Дед и баба за стеной.
Занесло избу под липки,
Прислонило. Тут и стой.

Спали воды, стало сухо.
Смотрит дед: на солнце дверь.
— Ну, вари обед, старуха,
Жить нам заново теперь.

Сделать также самостоятельными новеллами в стихах рассыпавшиеся и выпавшие эпизоды: «Грузовик», «Тьфу-тьфу» и др. «Грузовик» и в тетради не уцелел, а, помнится, был пространной главкой [15].

16.VII.⟨*35*⟩.

Проба песни (*для «Свадьбы»*)

Поля зацветали зеленые,
В садах утопало село.
Письмо дорогое с поклонами
От самой границы пришло.

— Хлеба золотые выращивай,—
Сын пишет отцу-старику.—
Люби эту жизнь настоящую,
Которую я стерегу.

Держись за нее до последнего
Смертельного вздоха в ночи.
Сынка моего малолетнего
Такой же любви научи.

Гляжу я на звездочку светлую,
Что светит в родимом краю.
Здесь пуля за каждою веткою,—
У самой границы стою.

В день ясный ли, ночью ли
позднею —
Всего ожидаешь всегда.
Враг метит на нивы колхозные,
На шахты твои, города.

И если столкнусь я с разведкою
И жизнь оборвется моя,
Гляди на ту звездочку светлую
И думай, что думаю я. . .

(Может быть, второй половины — ответа отца — и не требуется).

19.VII.35.

Муравия, Муравия,
Далекая страна.

— Конец — и богу слава, несмотря на то, что работы еще очень много.

21.VII.35. Вчера прочел все от начала до конца, с ужасом пропуская явно несделанные места и с грустью ощущая все в целом как нечто неотработанное, незвучащее. От большого желания услышать посторонний голос о ней — прочел Осину. Его замечания, злые или добрые,— сводятся к следующему:

1. Нет конца. Ничего не совершается.
2. Нет «приливов и отливов» у Моргунка,— он статичен.

3. Не развернута Островная картина (?).

4. На свадьбе ничего не совершается,— это правда. (Сделаем возвращение богомола.)

5. Увеличить главы за счет объединения «мелких княжеств». Правильно, но не вообще.

6. Дать Васька и Настю на свадьбе глубже и лиричнее — правильно. И т. д.

Много он не понимает в поэме. Оригинальность ее — для него только в плохих рифмах, хотя они не принципиально плохие, как у него («босой — глухой»,— как он говорит о себе).

И вот еще не стихнул пол
Под крепкой дробью ног.
Старик с котомкою взошел
Тихонько на порог.

Одел картуз на посошок,
Отвесил всем поклон.
Крестом,— заметил Моргунок,—
Не осенился он.

И первый с места встал Фролов,
И стихли все кругом.
— Ефим Иваныч! Жив здоров
Из Лавры прямиком.

Садись!— И говорит тогда
Старик ему в ответ.
— Что я — то да.
Что жив — то да.
А что из Лавры — нет.



А. Т. ТВАРДОВСКИЙ
Фотография. 〈1935—1936〉
«Литературное обозрение», 10 октября 1936 г. Фотография приложена к статье Е. Усиевич «Страна Муравия»

Иду. Вернулся с полпути.
А дальше не расчет.
Кому желательно идти —
Пускай другой идет.

— Садись, рассказывай, Ефим,
Угодничий ходок.
А ну-ка, чокнись, выпей с ним,
Товарищ Моргунок.

Не буду сейчас переписывать на машинке. В Хосте обработаю, показав в Москве только двум-трем человечкам. Да здравствует новая тетрадка в клетку!

23.VII.35. Выпала глава:

Дорога с вечера пуста,
Ложись бочком соснуть.
Стук деревянного моста
Разбудит где-нибудь.

Дуга росу стряхнет с ветвей
Над вздрогнувшим конем.
И точно в детстве — соловей,
И спится, как в ночном.

И ночь кругом, и спит народ,
И все собаки спят.

А конь идет себе вперед,
Везет, ступая в лад.

И чья-то песня, чуть слышна,
Доносится в ночи.
А дома спит, небось, жена
И дети на печи.

И ходит песня в стороне,
И нет умолку ей.
И песню видит он во сне
О жизни о своей.

(Песня переходит в главу «Свояк»).

И ночь кругом, и спит народ.
И все собаки спят,
А конь идет себе вперед,
Ступает песне в лад.

Сформировал главу со сказкой.

Предстоит:

1. С телегой — цыгане (сократ‹ить›)
2. Поп верхом (подчистка — разбивка)
3. Базар (сократ‹ить›)
4. Тракторист (подчистка)
5. Бабка — молотьба (объединение, добавка)
6. Сторож (подчистка)
7. Острова («бубочка», слова о путешествии, концовка)
8. Свадьба (молодые, оживление, концовка)
9. Эпилог

23.VII.35. Из «Базара» выпадает начало:

На горе дымится город
За мостом.
Куполглавые соборы
Без крестов.

Поползли подводы с ночи
На заре.
Годовой базар грохочет
На горе.

Друг за другом, воз за возом
Едут к городу колхозы,—
Узнавай:
Воз за возом, друг за другом —
На передних красных дугах
Надпись — роспись полукругом —
«Луч», «Победа», «Первомай».

Гомонит, гудит базар,
Сидят бабы по возам. . .

строфы:

Лежи, и землю носом рой,
Лежи, не шевелись.
Гора не сходится с горой,
А мы с тобой сошлись.

— Не знаю, близко ль, далеко ль
И в чьих руках уже,
Но только жив-здоров твой конь,
Держись настороже. . .

25.VII.35. *Конец* (*вариант*, *набросок*)

И вот еще не стихнул пол
Под крепкой дробью ног.
То ль нищий, то ли гость взошел
Тихонько на порог.

На нем поповский балахон
Подрезан и подшит.
Зовет хозяйку в сени он,
Глазами говорит.

Толкуют гости: кто такой?—
Утильщик? Коновал?
У палисада серый конь
На привязи стоял.

Идет к гостям старуха-мать.
— Ну, кто там?— ждет народ.
— Священник. Может обвенчать.
— Да ну?. .— Почем берет?. .

А мать подсела к старику
(Им шуточки одни):
— На яйца, говорит, могу.
Могу на трудодни.

И вдруг без шапки за порог
Метнулся Моргунок.
С крыльца бегом простукал вниз,
Как будто из огня,
И повод оборвав, повис
На шее у коня. . . [79*]

До ночи бережно в саду
Отавой вдоль плетня

[79*] Весь этот отрывок с некоторыми изменениями вошел в 18-ю главу поэмы. Им заканчивалась первая редакция поэмы, завершенная в июле 1935 г. и переданная на отзыв Горькому (см. прим. 22).

Кормил Никита в поводу
Усталого коня.

С любовной болью Моргунок
Глядит, не узнает.
Глядит на перепавший бок,
Свисающий живот.

Нарвет Никита добрый клок,
Сует коню к губам.
Ему на пользу Моргунок
Траву жевал бы сам. . .

И тихо гриву теребя,
Он говорит ему:

— Слышь, конь, а я тут без тебя
Клонился ко всему.

Слышь, конь, скажу тебе любя,
По правде говоря,
Гулял на свадьбе без тебя,
Болтал чего-то зря.

Слышь, конь. Нам жизнь теперь
с тобой,
Нам — близко ль, далеко ль.
Решим, так повернем домой,
Решим, так дальше, конь...

28.VII.35. В голове проясняется и очищается. Самая слабая глава «Старушка — Молотьба» выпадает. «Острова» становятся на пути раньше. Покупка коня. События должны связываться, как и впереди — кулак—цыгане и т. д. Делать сейчас что-нибудь — нет сил. Да здравствует Хоста и новые тетрадки.

3.VIII.35. Хоста. После читки у Исаковского, в Москве же стало понятно, что еще делать, делать и переделывать порядочно. Толька [16] прав, что композиционно после «Тракториста» идет очень плохо. Я это знал раньше. Прав и насчет «идеологически-выдержанных» лозунгов на свадьбе. Я это чувствовал. Но в целом до него вещь не доходит. Для него это «хомуты».

Нельзя было не отдать Крючковой рукопись, и тяжело представить, что Алексей Максимович будет читать этот экземпляр [17].

За дорогу наклевывались следующие «концы», переделки, исправления.

1. Первая часть вплоть почти до колхоза — остается, с добавлением и подчисткой.

2. Сказка, вероятно, выпадет. Останется, может быть, несколько строф о ночлеге, коне.

3. Сюжетно Моргунок определенно должен подумать о покупке коня (колхозы, раззор — дешевка), вроде того, который

Побежит, земля дрожит,
Упадет, три дня лежит... (Шолохов) [18]

4. *С этой целью он попадает и в колхоз, и в с. Острова.*

5. Свадьбу очистить от излишней «выдержанности».

6. Появление попа на свадьбе развить, обсосать.

7. Может быть, и даже вероятно, нужно дать дальнейшее продвижение Моргунка и встречу с богомольцем. Впаять где-то здесь отступление, «выход», как говорит Толька.

Домик наш стоит высоко на горе, в саду. Вид на целых полморя. Вниз ведут цементные ступеньки, каменистые дорожки, под ногами сизые черносливы. Шум моря очень похож на шум большого леса, соснового бора, только глуше и медлительней.

4.VIII.35. Просмотрел до «Вдовы». Здесь нужен новый план. Просто неясно, что делать, как расположить колхоз, Острова, Фролова, свадьбу, чтобы все это шло в хорошей органической последовательности. Сделаю покамест одно: вычеркну из этих глав до конца все, что явно не пойдет.

5. VIII.⟨35⟩. После беседы с Маней о переделках и доделках:

1. Сказка определенно опускается;

2. «Тракторист» в конце доделывается в следующем духе: Моргунку не нравится ехать на тракторе. Он заводит речь о том, что нельзя ли, мол, конька купить у вас в колхозе. Зачем вам они, мол, при машине. Тот отвечает в тоне шутки, что на свадьбе как же гулять без коней, а тут вот

свадьба как раз на очереди. А ты пойди в деревню Острова, там найдешь, пожалуй. Это близко от нас. А телегу под расписку сдай мне, доставлю в колхоз. Мальчишку — тоже, пусть к делу приучается. Упоминание Фролова.

3. Острова. Моргунок торгует коня. То⟨т⟩ не подходит, тот не подходит. Дед ему и предлагает коня, который

«побежит — земля дрожит,
упадет — три дня лежит».

А не кулак ты, дедушка?..

То да се, зовут на сходку. Моргунок присматривается к «уполномоченному» («ветром что ли их наносит...»). Это Фролов. Он зовет островитян на свадьбу. Моргунок с ним направляется в колхоз. Тут и вдова, и молотьба, и сторож, и свадьба — все на месте с соответствующей подчисткой. Не нагромождение ли это: тракторист, колхоз, Острова, Фролов?.. — Нет, это хорошая концентрация действия.

Получив коня в результате появления попа, Моргунок едет дальше (следующая глава — «И едет, едет, едет он»...). Отступление. Встреча с богомольцем. Концовка.

Таким образом, порядок глав следующий:

1. Тракторист.
2. Острова.
3. Вдова-колхозница.
4. Молотьба.
5. Сторож.
6. Свадьба (с попом).
7. И едет, едет, едет он. . . (со встречей и отст⟨уплениями⟩)

Тот же день. Сделал начерно конец «Трактористу». Кажется, удачно. Выпало прежнее окончание:

...Прет во все лопатки,
Гонит вдаль дымок,
Держится за грядки,
Едет Моргунок.

Ты куда, кустистая,
Наклонилась рожь?

Речка, речка быстрая,
Ты куда течешь?..

Сосенка кудрявая,
Укажи ты мне,
Сторона Муравия
В той ли стороне?

6.VIII.35. Погода скверная, не пишется. Едва состряпал момент с ездовым конем.

Из старого для последней главы:

Засунул кнут, бочком присел
И тронул Моргунок,
И след зеленый по росе
До поворота лег. . .

И едет, едет, едет он,
Дорога далека,
И белый свет со всех сторон,
И сверху облака [80*].

Поехал на катере в Сочи, оттуда на поезде. Очень устал, замотался и привез пузырек чернил с пробкой из какой-то смолы, перепачкавшей пальцы. Потом спал 3 часа. Чернила, видимо, плохие.

7.VIII.⟨35⟩. Завтра доделаю «Островитян». Долго не решался выкинуть из этой главы Фролова. Но без него получается лучше. Он загромождает прозаической распространенностью. Не будь тракториста, Фролов был бы необходим. Как это медленно очищается повествование от ненужных, кажущихся обязательными вещей, которые смутно томят тебя, как их тщательно ни переписывай, как ни подчищай.

Выпадает целиком глава о бабушке. И опять — облегчение, убыстрение. А о Граче скажет одной строфой сторож.

[80*] Эти две строфы с незначительными изменениями вошли в 1-ю и 19-ю главы поэмы.

Только бы подделать (доделать) «Молотьбу». Выпятить Фролова. «Свадьба» при задуманной теперь концовке — главе будет нуждаться лишь в общей подчистке, ибо не на ней будет упор, что очень хорошо.

...поют
Над полем провода
города,
...где она
Муравская страна [81]*.

Богомол.

Если не будет слишком символистично, главу придется развернуть так, что после лирики (в духе вступления) внезапно и коротко — встреча: богомол, идущий домой, не дошедший до лавры. И все.

А может быть, лирика — богомол — разговор — расставание — опять лирика. Но так будет явно требоваться продолжение. А в общем, хотя это по сравнению с тем, как кончалось раньше, много лучше,— я уже привыкаю к мысли, что поэма «не сделает эпохи»...

Страшно хочется закончить, приложить все усилия и оттолкнуть ее от себя с облегчением. Нескоро возьмусь теперь писать длинное!

8.VIII.35. От прежнего варианта «Островов» осталось для использования и на память:

Здесь жизнь по-старому тиха,
Вся разом на виду,
Кормить попа да пастуха —
И весь расход в году.

И в честь духовного лица
Носить заведено
Отцу Прокопу — два яйца,
А пастуху — одно.

И дед приподнял бороду,
Две дудки — разом в рот.
И заплясали бороны
С плугами у ворот [82]*.

Раскинул локти рваные,
Чуть на бок голова.
Пошла, кружась, как пьяная,
Зеленая трава.

Взметнулась удаль старая,
Дворы, плетни креня.
Ай, барыня, ба-арыня,
Сударыня-барыня.

И дед вздохнул, глаза прикрыв,
Довольный и усталый.
И вдруг пошел другой мотив
И все на место встало:

— Эх, жена ху-да.
Эх, жена блед-на,
Ро-остом невели-чи-ка. . .

Из всех калиток и ворот,
Из каждого двора
Посыпал улицей народ —
Хозяйки, детвора.

Привычным делом до чиста
На сходку шли они,
Садясь на старые места,
На бревнышках в тени.

Готовы слушать до зари,
Чин-чином все сидят,
Кивают, ты, мол, говори,
Толкуй в охоту, брат.

Речь хороша и сам хорош —
Все линии одной.
Но только где ж ты нас проймешь?
Нас не проймешь, родной.

— Так вот, деды, решать пора,—
Вздохнул Фролов и сел.
Осталось тридцать три двора
На весь наш СССР.

Вы, старые да малые,
Живете вы сейчас
Остатние отсталые,
Последние у нас.

Который год без хлеба вы,
А то и без воды,
Коптите наше небо вы,
Товарищи деды.

[81]* Эти строки использованы в 19-й главе поэмы.

[82]* На полях возле этой и двух последующих строф помета: «*Назад, в поэму*». Из них лишь несколько отдельных строк вошли в поэму (гл. 14).

Одно и то же походя,
Как заговор какой,
Твердят весь год, да охают,
Как раз как батька мой.

Толкуй ему, доказывай
Про бога сват ли, гость,—
А он сидит, да журится:
— Ох ёсть, молчите, ёсть.

Считал себя покойничек
Хитрее всех, небось.
Мол, бога все забросили,
А он, глядишь, и ёсть.

Сидите, дожидаетесь —
И столько вам беды.
На хитрость полагаетесь,
Товарищи-деды?. .

В том как раз и заковычка
От природы людям зло.
Отвечает, будто, птичка,
Жить, мол, в клетке тяжело.

— А еще сказал прохожий,—
В древлей книге прочитал,
Что всему конец, похоже,
Людям, зверям и скотам. . .

И врагами вас ославят,
Говорит, зажмут вам рты.
И земельки вам оставят
Возле окон — под цветы.

У людей, людей ребятки
День гуляют на площадке,
За столом за общим в ряд,
Как горлачики, сидят.

А мои живут на свете
Хуже сивых поросят.
Невиновны мои дети —
Ихний батька виноват [83*].

Наплюй, деды, на вражий
Кулацкий шепоток.
Пускай вам правду скажет
Товарищ Моргунок.

Деды! За правдой этой
От Ельни прямиком
Проехал он полсвета
И перешел пешком.

Трудящийся крестьянин,
Открытый середняк,
Наш брат, он врать не станет,
Что скажет, значит — так.

Глядит, растерян и смущен,
Никита Моргунок.
Что скажет он?
Что понял он
За этот долгий срок? [84*]

А конь был добрый. Стать легка,
В монету весь одет.
Под Ворошиловым конька
Такого, может, нет. [85*]

И плуг и воз везти здоров,
И гладок, что ладонь.
— Ну, хорошо,— сказал Фролов,—
Хороший в общем конь. [86*]

Конец речам на этот раз,
Спасибо за труды,
А мы на свадьбу просим вас,
Товарищи деды.

9.VIII.35. «Молотьбу» расширил осмотром усадьбы. Стало чуточку лучше. Помаленьку все становится лучше. Глава о бабушке выпадает. Не забыть Степку Грача.

От стороны, что всех родней,
За тридевять земель.
Знакомым скрипом вдруг о ней
Напомнит журавель.

Простыми яблоками сад
Запахнет па заре.

И петухи проголосят,
Как дома, на дворе.

И свет такой, и дым такой,
И запахи родны.
Лишь солнце будто бы с другой
Восходит стороны. [87*]

[83*] Обе строфы этого отрывка без изменений вошли в 14-ю главу поэмы.
[84*] Эта строфа почти без изменений вошла в 14-ю главу поэмы.
[85*] На полях возле этой строфы помета: «Пожалуй, в главу о Сталине войдет». Строфа вошла в главу 7-ю в измененном виде.
[86*] На полях возле этой строфы помета: «В «Свадьбу»; однако в поэму строфа не вошла.
[87*] Все три строфы вошли в заключительную главу поэмы (гл. 19).

Это пойдет в заключительную главу. Все туда, что есть в запасе, даже из того, что в окончательном тексте можно «позычить» [88*].

А дальше — это, может быть, будет обработано в самостоятельное стихотворение — рассказ, вроде «Председателя» и «Сказки».

Изба,— дивится Моргунок,—
Сосна да темный дуб.
И доска в доску потолок,
И каждый сук, что рубль.

Стара́, но каждое бревно
Лежит себе, как звон.
И солнце в каждое окно
Заходит с трех сторон.

На молотьбе с утра народ,
Горячие дела.
Старушка завтрак подает,
Хлопочет у стола.

— Изба, родной, добра, нет слов,
Раздолье — видишь сам.
Избу товарищ нам Фролов
Навечно записал.

Ты кушай, кушай, не спеши,
Куда спешить тебе.
Бывало, внове, нет души
Мне в этой жить избе.

Как ночь, так боязно, хоть плачь,
И не гаси светец.
А вдруг вернется Степка Грач,
Живой или мертвец.

Взойдет в свой терем на порог,
Посмотрит: где кивот,
И спросит: терем-теремок,
Кто в тереме живет?

Что строгий был. Ни слов, ни слез
Не слушал, не смотрел.
И от крыльца к амбару пес
По проволоке гремел.

Иду, бывало, кланяюсь,
Грех, господи прости:
— Полкан Иваныч, батюшка,
Голубчик, пропусти.

Войдешь в избу и станешь тут
На досочке одной.
— Степан Иваныч, батюшка,
До осени, родной.

Всю ласку, все его права
Узнала на себе.
А вот на старости, вдова,
Живу в его избе.

И одного до смерти жаль.
Случись же так как раз.
Весной тут Сталин проезжал,
Проехал мимо нас.

Я б рассказала наизусть
Ему всю жизнь до дна.
Все царство-государство пусть
Услышало б меня.

Как я жила-была вдова
Семнадцать лет подряд.
Как в печке у вдовы дрова
И те, брат, не горят.

Как я растила двух сынов,
Делила надвое любовь.

Росли сыночки-сыновья,
Был на поре старшой,
Женить с нужды хотела я,
Как раз, как в песне той:

Приклони свою головку,
Возьми девку ко двору.
Приведи ты мне коровку,
Подою, тогда помру.

А тот был сын — уехал в часть,
А этот сын был мал.
А тот был сын — за нашу власть
На красной службе пал.

А был он первый коммунист —
На волость всю один.
А этот — первый машинист
И первый бригадир. . .

Что жить мне было тяжело,
Что темен был мне свет,
Что счастье мне теперь пришло,
И слов про это нет. . .

А тот лежит. Который год
Лежит в земле сынок,
И этот дорог мне и тот,
Сережа и Васек. . .

И все у матери в груди,
Всех помню наизусть.
Ты кушай, кушай, не гляди,
Поплачу и утрусь.

88* Позычить — позаимствовать.

Повеял хлебом и дымком
С надворья ветерок.
С весны далеко-далеко
Заехал Моргунок.

И все, что думал, что смотрел,
Смешалось, точно сон.
А хлеб — он вырос и созрел,
И хлебом пахнет он.

Боже мой, как⟨ая⟩ это все дрянь, тяжело!

К концу все яснее — в поэме много не хватает, много слабых мест. Бессознательно многие моменты обдумывались опять-таки как проза, хотя все время это беспокоило.

Спокойствие. Допишем, перепишем в новую тетрадь, посмотрим в целом...

10.VIII.⟨35⟩. Из «Сторожа» выпадают:

Может быть, людским безбожьем
Мне проверку сделал бог.
— Мы про то судить не можем,—
Строго молвил Моргунок.

— Как не можем? Шутка что ли,
Верят в бога тыщи лет.
Верят зря, а бога ж нету...
— Нет и ладно — значит, нет.

и повторение «Ну, прощай, а мне привычно!».

Из «Свадьбы» — плохие строфы из речей Фролова и Сторожа. Завтра засядем за последнюю главу. Сегодня кончаю работу рано — 10.15 утра.

11.VIII.35. Читал у Асмусов [19]. Луговской. Как всегда, после таких вещей не мог долго заснуть. Сегодняшнее утро — не работник.

На очереди. 1. Тракторист. Концовка, песенка Моргунка.
2. Острова. Дед, «барыня», речь Моргунка.
3. Вступление — с точки зрения «Сократа».

13.VIII.35. Есть 15 строф эпилога.

Не решил еще: давать ли богомольца в эпилоге или отнести во вторую часть? Вт⟨ор⟩ая поэма, чувствую, должна быть. Намечающиеся эпизоды и моменты:

1. Человек, идущий «к границе нашей» (пролог).
2. Моргунок, продвигаясь «за солнцем вслед», т. е. на запад, попадает в пограничный колхоз. Ночная пахота тракториста с фарами. Перебежчик.
3. Продвижение вместе с «Гансом» или «Фрицем», искателем в другом смысле.
4. Сказка о стране Муравии (Балкарии).
5. Кабардино-Балкария.
6. Самолет.
7. Съезд, Сталин.

И если не давать в эпилоге, то — Богомол сюда.

Объекты: Днепрогэс, Канал В⟨олго⟩-Д⟨он⟩, Кабарда...

Встречи: Богомолец, Васек, Бугров, Цыган («Что, хозяин, признаешь?..— Признавай, хозяин» — на съезде!). И т. п.

Все придется, не в пример 1-й части, хорошенько обдумать, составить настоящий план, т. е. приблизить окончательный вариант, обычно у меня очень далеко отстоящий от того, что пишешь вначале.

К Ванюшке в Москву приехала мама с младшим сыном лет 8—9. В дороге потеряла паспорт. Ванюшка лежал в больнице (ожог ноги), нужны деньги. Послал, одолжив 30, сто рублей. Мелькнула было мысль поехать сейчас же самому в Москву. Но я не хозяин себе до окончания «Муравии». Да и билета на ближ⟨айшие⟩ дни не достать.

15.VIII.35. Закончен вчерне эпилог. Приступил к переписке. Покамест получается так, что вслед за пером обнаруживаются вещи, недопустимые в окончательном варианте, либо недопустимые и легко устранимые. Веду им реестр на отдельной бумажке.

Всего 17 глав.

Первые будут переписываться почти механически. Последние потребуют замедления. К 25<-му> хотелось бы переписку закончить. Желательно даже раньше.

1. Вступление — 15.VIII
2. Свадьба — } 16.VIII
3. Свояк — } 16.VIII
4. Земля — } 16.VIII
5. Поп — } 17.VIII
6. Сказка — } 17.VIII
7. Сталин — 18
8. Встреча — 19
9. Цыгане — 20
10. Поп (2-й раз) } 21
11. Базар — } 21
12. Тракторист } 22
13. Острова — } 22
14. Молотьба — } 23
15. Сторож — } 23
16. Свадьба — 24
17. Эпилог — 25

Была мысль переписать в тетрадь поэму с входившими в нее «новеллами» — «Сказка», «Тьфу-тьфу» и др. Но, пожалуй, лучше их в конце поместить в качестве отдельных стихов.

15.VIII.35. Примерный маршрут Моргунка во второй части.

1. «За солнцем вслед», т. е. на запад, до пограничного колхоза.
2. Вместе с «Гансом» до Днепрогэса, по степям Украины (?).
3. Днепрогэс — Сталинградский тракторный — Волго-Дон канал — Кабардино-Балкария — Москва (съезд).

В соответствии с этим мечты мои о поездке «по стране» приобретают почти вполне конкретные очертания. Мне нужно будет:

1. Посетить пограничный колхоз (в Западной области — дело домашнее).
2. Съездить на Днепрогэс, Сталинградский тракторный, Москва-Волго-канал, Кабардино-Балкария.
3. Совершить большой перелет на самолете к Москве из какого-нибудь южного пункта.

16.VIII.35. Переписал первые 4 главы, шедшие почти без сучка, если не считать двух-трех новых строф, перестановки внутри 4-й главы.

Теперь задача: перед сталинской главой идет «Поп». Его нужно обрамить с двух сторон.— Сему посвящается завтрашнее утро.

Костьми лягу, но не стану заносить в тетрадку того, что явно недоделано, излишне. В кр<айнем случае> буду заведомо оставлять места для дополнений.

Пока переписывал эти главы — до безобразия все нравилось. Правда, поту потрачено много.

Перед «попом» — встречи, картины пути (кратко, чтобы только поп был не один).

После попа — лирика «От ночлега до ночлега» — с ощущением спящего в ночи разворошенного крестьянского и вообще мира.

Чернила изготовил замечательные!

18.VIII.35. Закончил «Попа» и «Сказку». К «Попу» нашлось несколько предваряющих (жидковатых) строчек.

«Сказка» более-менее согласовалась с разговором о Сталине.

На очереди «Сталин», «Встреча» и т. д. «Тьфу-тьфу» — не давать уже и потому, что один «рассказ у костра» есть.

Остатки:

Большаком по правой бровке
Шел занятный пешеход.
Крест свисает на веревке,
Как завальчик от ворот. [89*]

И, колыхаясь, впереди,
Как мельница, идет,
С крестом помятым на груди,
Духовный пешеход.

[89*] Эта строфа в значительно измененном виде стала началом 5-й главы поэмы.

И лежит мужик здоровый
От родных краев вдали,
Под чумацким древним кровом,
Посреди большой земли.

Сходки до ночи гудели,
Скот ревел на весь приход.
Про коммуны, про артели
Думал вслух и вкрик народ.

Табунами ходят кони,
Всем один уход и счет.
И во сне мычит и стонет
Сбитый в кучу общий скот.

23.VIII.35. Получается так, что главы второй половины переписываю почти механически, по две — по три в день. Это А⟨лексей⟩ М⟨аксимович⟩. Подкосил дед, нужно признаться. Но уже прошло два дня. Обдумал, обчувствовал. Переживем. И да обратится сие несчастье на пользу нам. Слов нет, теперь для меня более явственны сырые места. А что продолжает оставаться хорошим, то, видимо, по-настоящему хорошо. Испытание, так сказать.

Все буду слышать: и восхищение, и такие отзывы, как «колесо», а работа будет продолжаться. Дед! Ты заострил лишь мое перо. И я докажу, что ты «ошибку давал»[20].

27.VIII.35. Начиная с 12-й главы переписано почти механически. Самое плохое опустил, самое легкоисправимое исправил. Читка Голодному и Светлову[21] вскрыла сусальноватость сталинской главы. Работы много, но, видимо, придется все же делать законченной эту первую поэму. Мне нужен некоторый отдых от нее. Конец здешнего пребывания употреблю на песенные опыты, тем более, что песня мне нужна для поэмы.

Полет

Шуточная

Анна Миканоровна — хороши дела —
На небе ни разу в жизни не была.
Для такого случая
Одела платье лучшее,
Под старость нарядилася,
В тот кузовок садилася.

Вот тебе и кузов, кузов-кузовок,
Стул-то больно узок, край-то не высок.

Ваня, Ваня, сокол мой,
Не летай высоко.
. . . . . [90*]
Сбавлю, бабка, три аршина.

Анна Миканоровна,
Анна Миканоровна.

8.IX.35. М⟨осква⟩.

Замечания А. М. Горького на рукописи «Страны Муравии»

1. «Ломятся» заменено на «собрались» (люди на паром).
2. Слово «большак» взято в кавычки; слова «худой» и «проезжей» — подчеркнуты.
3. «Везли» переделано на «везло» (колокола).
4. Слова «цуг» и «плыли» подчеркнуты: потом перечеркнута вся строфа.
5. «Но знал, что бога нет» на «Он знал...»
6. Строфа о зерне на блюдце перечеркнута; в конце второй строки, видимо, вначале поставлен знак вопроса.
7. «Духов день» — взято в кавычки и с большой буквы.

[90*] Пропуск в автографе

8. «И вспомним мы тридцатый год...» — справа знак вопроса, видимо, по отношению ко всей строфе.

9. «Кто за рукав,
Кто за полу,
Ведут Никиту
В дом, к столу». — Сведено в две строки.

10. «Ввели — и чайный — стук ему...» — «стук» подчеркнуто.

11. «Хавтуры» — подчеркнуто и знак вопроса.

12. «Помин» — подчеркнуто.

13. «Обмороки» — вычеркнуто 3-е «о» в слове.

14. «Если я да не платил...» — «да» вычеркнуто.

15. «Трулля-трулля-трулля-ши» — подчеркнуто.

16. «А сами врем» — над «в» сверху поставлено «м» (мрем?) и знак вопроса.

17. «Бывало свадьбу за пять дней
Почует, роет снег...» — отчеркнуто слева и знак вопроса.

18. «Что не в окошке белый свет...» — переделано на «Не весь в окошке белый свет».

19. «Дружили двадцать лет они...» — вся строфа в первом случае перечеркнута.

20. «С пчелиным хлебом пополам...» — слово «пчелиным» — подчеркнуто.

Кр⟨асным⟩ 21. в «Песне Никиты» напротив строф:

«В колхоз не желаю, —
Хвалился Никита.
Один ото всех
Отрубился Никита.
От рук, от хозяйства
Отбился Никита.
До синего дыму
Напился Никита» — сбоку справа написано: «*Плохо*»

— и подчеркнуто «без копыта»... и знак вопроса.

22. «А по полям, полям, полям —
Народ, народ народ...» — отчеркнуто слева.

23. «Жаворонок дрожит» — «дрожит» подчеркнуто.

24. «Она вокруг лежит» — «лежит» подчеркнуто.

25. «Бывало скажет в рифму дед» — «в рифму» подчеркнуто и замечено: «складно».

26. От «Ведет дорога длинная» до «Поехал-поезжай» — справа отчеркнуто красным; «Земля в длину и ширину
Кругом своя...» — синим слева.

Последняя строфа:

«И никого не спрашивай,
Ни в зуб не уважай.
Косить пошел — покашивай,
Поехал—поезжай...»— слева синим.

27. Строфы: «И все твое перед тобой...» и «Цветами белыми цветет...» — отчеркнуты синим справа.

28. «Есть комья́...» [91*] — «Комья́» подчеркнуто и знак вопроса.

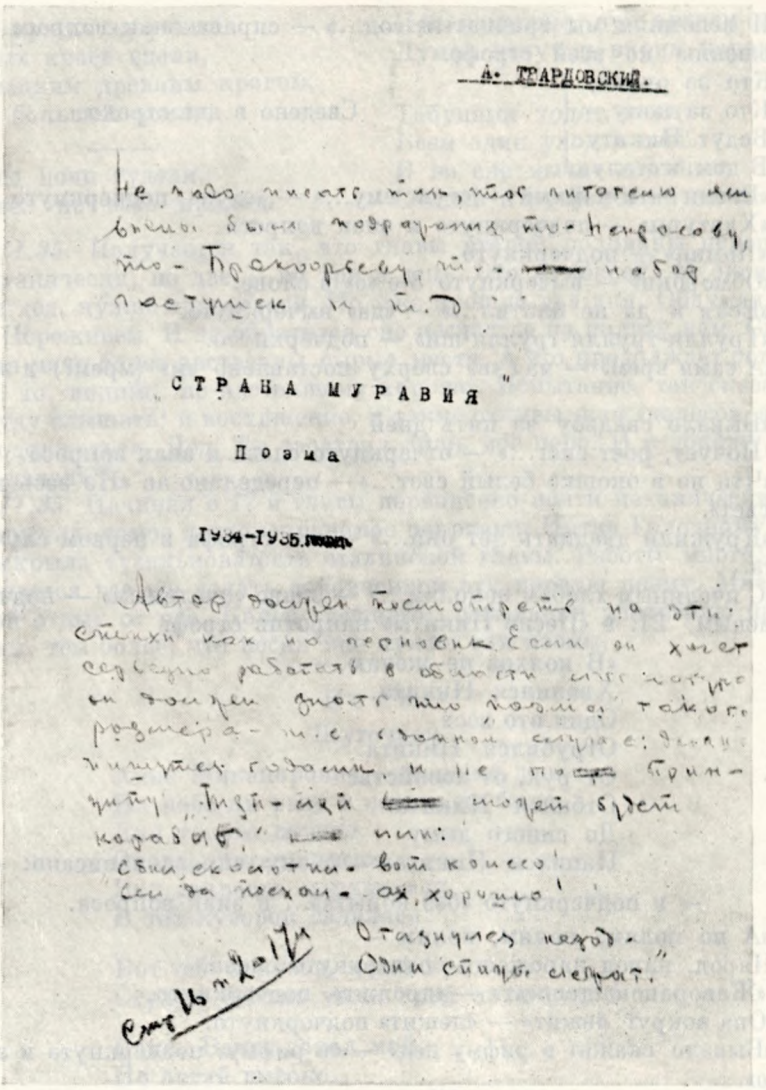
29. «Под чумацким древним кровом...» — «чумацким» подчеркнуто.

30. «Ну, тому бывать, старуха...» — «тому бывать» подчеркнуто.

31. Глава VII (о Сталине) отчеркнута с уголка от начала до:

«И надо всей страной рука,
Зовущая вперед...»

[91*] См. прим. на с. 341.



А. ТВАРДОВСКИЙ.

Не надо писать так, чтоб читателю ясно видны были подражания то — Некрасову, то — Прокофьеву, то — набор частушек и т. д.

„СТРАНА МУРАВИЯ"

Поэма

1934–1935 годы

Автор должен посмотреть на эти стихи как на черновик. Если он хочет серьезно работать в области литературы, он должен знать, что „поэмы" такого размера — т. е. в данном случае: длины — пишутся годами, и не по принципу „тяп-ляп может будет корабль", или:

Сбил, сколотил — вот колесо!
Сел да поехал — ох, хорошо!
Оглянулся назад —
Одни спицы лежат."

Стр. 16 и 2 а 17 и

ОТЗЫВ А.М. ГОРЬКОГО О ПОЭМЕ «СТРАНА МУРАВИЯ» В ЕЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ РЕДАКЦИИ:

«Не надо писать так, чтоб читателю ясно видны были подражания то — Некрасову, то — Прокофьеву, то — набор частушек и т. д. Автор должен посмотреть на эти стихи как на черновик. Если он хочет серьезно работать в области литературы, он должен знать, что «поэмы» такого размера — т. е. в данном случае: длины — пишутся годами, и не по принципу: «тяп-ляп может будет корабль», или:

«Сбил, сколотил — вот колесо!
Сел да поехал — ох, хорошо!
Оглянулся назад —
Одни спицы лежат».

Автограф (на титульном листе авторизованной машинописной копии поэмы). Август 1935 г.

Архив А. М. Горького, Москва

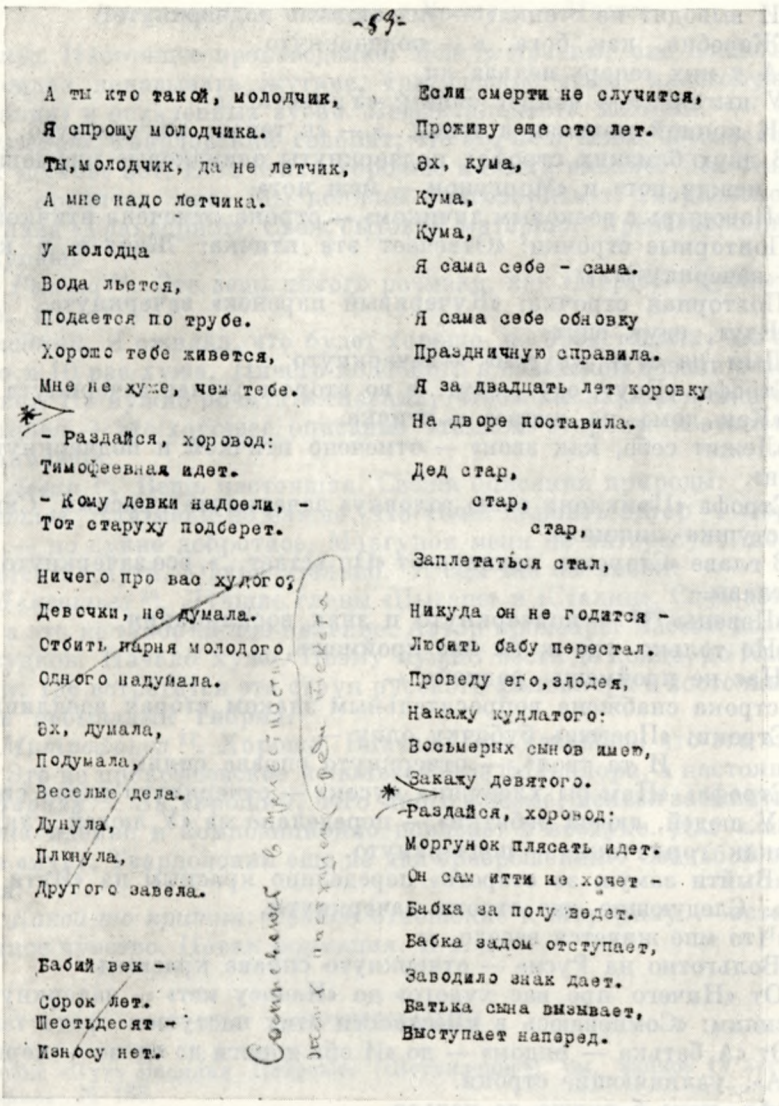
32. «Блестит в комеечке вода» — «в комеечке» подчеркнуто.

33. «Да при коне» — было исправлено на «Да при своем коне», затем зачеркнуто исправление. То же в отношении строки «Хотелось мне», куда сначала было вставлено «очень».

34. «Посею бубочку [92*] одну» — «бубочку» подчеркнуто.

35. «И шапка не моя,
И сумка не своя...» — зачеркнуто.

[92*] Бубочка — зернышко.



-59-

А ты кто такой, молодчик,
Я спрошу молодчика.
Ты, молодчик, да не летчик,
А мне надо летчика.

У колодца
Вода льется,
Подается по трубе.
Хорошо тебе живется,
Мне не хуже, чем тебе.

- Раздайся, хоровод:
Тимофеевная идет.
- Кому девки надоели, -
Тот старуху подберет.

Ничего про вас худого
Девочки, не думала.
Отбить парня молодого
Одного надумала.

Эх, думала,
Подумала,
Веселые дела.
Дунула,
Плюнула,
Другого завела.

Бабий век -
Сорок лет.
Шестьдесят -
Износу нет.

Если смерти не случится,
Проживу еще сто лет.
Эх, кума,
Кума,
Кума,
Я сама себе - сама.

Я сама себе обновку
Праздничную справила.
Я за двадцать лет коровку
На дворе поставила.

Дед стар,
стар,
стар,
Заплетаться стал,

Никуда он не годится -
Любить бабу перестал.
Проведу его, злодея,
Накажу кудлатого:
Восьмерых сынов имел,
Закажу девятого.
- Раздайся, хоровод:
Моргунок плясать идет.
Он сам итти не хочет -
Бабка за полу ведет.
Бабка задом отступает,
Заводило знак дает.
Батька сына вызывает,
Выступает наперед.

Сомневаюсь в уместности среди текста этих частушек

ПОМЕТЫ ГОРЬКОГО НА ОДНОЙ ИЗ СТРАНИЦ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ РЕДАКЦИИ ПОЭМЫ «СТРАНА МУРАВИЯ»: «СОМНЕВАЮСЬ В УМЕСТНОСТИ СРЕДИ ТЕКСТА ЭТИХ ЧАСТУШЕК»

Автограф (на авторизованной машинописной копии поэмы). Август 1935 г.
Частушки вычеркнуты рукой Горького
Архив А. М. Горького, Москва

36. «Онучки разувай,
Рассказывай давай» — зачеркнуто.
37. «И нет и вовсе нет» — подчеркнуто.
38. «Псель-псель»... — подчеркнуто.
39. «Становится на дороге» — «становится» подчеркнуто (удар⟨ение⟩?..)
40. «В сороковке нищий в бане...» — «сороковке» — зачеркнуто.
41. «Как деньги — еле целые» — «еле целые» подчеркнуто красным и сделана сноска (крестик в скобке) синим: «Перебой из Некрасова».
42. «Кроят, рубят, как дрова». Над словом «рубят» вопрос: «что?», «как дрова» подчеркнуто.
43. «Косы вверх заносят» — вопрос: «зачем?»
44. «Ну, хозяин, признаешь?
Признавай, хозяин...» — рефрен отчеркнут в трех строфах слева.

45. «И выводят из станка» — «из станка» подчеркнуто.
«Жеребца, как бога...» — подчеркнуто.
46. «А у них теперь нельзя ли,
У цыган?..» — вопрос синим: «Украсть?..»
47. «К конной привязи в тенек...» — «в тенек» подчеркнуто.
48. В двух близких строфах подчеркнуты одинаковые рифмовки. «Моргунок — между ног» и «Моргунок — меж ног».
49. «Поводырь с восковым личиком» — строка отмечена птичкой справа.
50. Повторные строчки: «Отвечает эта птичка: Жить я в клетке не хочу» — зачеркнуты.
51. Повторная строчка: «Кучерявый паренек» зачеркнута.
52. «Едут, едут, едут,
Дым да стук кругом» — зачеркнуто.
53. Строфа: «Едут, едут, едут...» во втором случае зачеркнута целиком.
54. «Как дома на дворе» — птичка.
55. «Лежит себе, как звон» — отмечено птичкой и подчеркнуто «лежит как звон».
56. Строфа «Приклони свою головку» зачеркнута красным. Синим справа: «Частушка лишняя».
57. В главе «Сторож», начиная от «Он встает...», все зачеркнуто синим до конца главы.
58. «Певень» [93*] — подчеркнуто и знак восклицания.
59. «Но только где ж ты нас проймешь,
Нас не проймешь, родной», —
первая строка снабжена вопросительным знаком, вторая восклицательным.
60. Строки: «Посеешь бубочку одну —
И та твоя», — отчеркнуто справа синим.
61. Строфа: «Нам бы хлебушка кусок» — отчеркнуто слева синим.
62. «У людей, людей ребятки» — переделано на «У людей, гляди, ребятки...», «как горлачики» — подчеркнуто.
63. «Выйти замуж за старого» переделано красным на «Идти замуж за старого». Следующие две строки зачеркнуты.
64. «Что мне живется весело,
Вольготно на Руси» — отчеркнуто справа красным.
65. От «Ничего про вас худого» до «Износу нет» — зачеркнуто синим. Сбоку синим: «Сомневаюсь в уместности этих частушек среди текста».
66. От «А батька — рядом» — до «И оба дороги до слез» — перечеркнуты «И» и «А», удлиняющие строки.
67. «Ах, надо б лучше да нельзя,
И расстаются, как друзья» — строки переставлены первая вместо второй.

Снято с экземпляра, остающегося в архиве редакции «Колхозника», 8 сентября 1935 г. в Москве [22]:

«Резолюция А. М. Горького на поэме А. Твардовского «Страна Муравия»
(с машинной копии)

«Не надо писать так, чтоб читателю ясно видны были подражания то Некрасову, то Прокофьеву [23], то — набор частушек и т. д.

Автор должен посмотреть на эти стихи, как на черновик. Если он хочет серьезно работать в области литературы, он должен знать, что «поэмы» такого размера, т. е. в данном случае : длины — пишутся годами, и не по принципу: «Тяп-ляп, может, будет корабль», или:

«Сбил, сколотил — вот колесо!
Сел да поехал — ох, хорошо!
Оглянулся назад —
Одни спицы лежат».

[93*] Певень — петух.

Высказывания о поэме в Хосте и в Москве.

1. *Асмус.* Настоящее произведение. Между прочим, оно показывает, что поэт в силах показывать жуткие, трагические вещи, классовую борьбу без «рыкания» и оскаленных зубов. Инфантильность местами.

2. *Луговской.* Твардовский говорит, что это не в моем, Луговского, духе. Никаких «духов» нет. Есть стихи хорошие и стихи плохие. Эти стихи по-настоящему нравятся мне. Мы должны благодарить т. Твардовского. Прекрасна глава «Тракторист». Свеж бытовой материал, представленный в поэме. Покупаю!

3. *Н. Рыкова* [24]. Это вещь такого размаха, как «Мертвые души» и «Кому на Руси». Язык!

4. *Голодный.* Я ожидал, что будет хорошо, но представлял, что это будет примерно в 10 раз хуже. Ничего подобного в советской поэзии о колхозной деревне нет. Но нужно почитать глазами, чтобы высказаться окончательно. Что я слышал — это хорошее описание «темной» стороны. А этого мало. Ты меня понимаешь.

5. *Б. Левин* [25]. Вещь настоящая. Свежи описания природы.

6. *Светлов.* Для меня не важно, что хочет скроить автор — сюртук ли, жилетку,— но сукно добротное. Моргунок меня не интересует, но все, что описывается по пути,— замечательно. Я сам так бы писал.

⟨7.⟩ *Дементьев* [26]. Лучшие главы «Цыгане» и «Сталин». Слушается очень хорошо, а это не такое частое явление. Автор пренебрег массой поэтических предрассудков. Начало хуже. Поэму нужно вести до конца, до Кабардино-Балкарии, где встретится эта струя русского фольклора с восточным и должна дать небывалый гибрид.

⟨8.⟩ *Митрофанов* [27]. Хорошо. Вначале мне казалось, что это «триптих» (и т. д.). Это не прокофьевское использование фольклора, а настоящее.

⟨9.⟩ *Черняк* [28]. За хорошим, чего много в поэме, нельзя забывать, что покамест она идейно и композиционно повисает в воздухе. Дав *классическое* описание «мук», Твардовский еще не дал «разрешения». Свадьбой отделаться нельзя.

⟨10.⟩ *Какой-то критик*: Теплое отношение к Моргунку — исторически оправданное чувство. Новая формация. И т. д.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] О поэме «Путь Василия Петрова» («Вступление») см. запись 19 авг. 1931 г.; *Библиография*, № 188.

[2] Некоторые из нижеследующих отрывков, по-видимому, принадлежат к тем опытам Твардовского в области иронической поэзии, о которых вспоминает А. В. Македонов (см. *Материалы*: 1929, май (вторая половина) — декабрь).

[3] См. прим. 11.

[4] См. запись 22 апреля 1935 г. и прим. 7.

[5] Этот очерк В. Я. Канторовича напечатан в журн. «Наши достижения», 1934, № 10.

[6] О «Рассказе председателя колхоза» см. запись 5 января 1935 г. и прим. 91.

[7] «Правда», 1935, № 101, 12 апреля.

[8] В с. Рибшево Пречистенского р-на находился колхоз «Память Ленина», которому посвящен ряд очерков Твардовского (см. прим. 2; *Материалы*: 1935, 25 апреля и 7—15 мая).

[9] Об отрывке «Перепляс» см. запись 5 января 1935 г. («Гулянка») и прим. 98.

[10] «Речь тов. Сталина в Кремлевском дворце на выпуске академиков Красной Армии 4 мая 1935 года» («Правда», 1935, № 123, 6 мая).

[11] Замысел главы «Островитяне» — отзвук конкретных впечатлений, описанных в очерке «Островитяне» (см.: *Материалы*: 1934, 1—5 августа). Прозаические заготовки, записанные ниже,— в большинстве своем цитаты из этого очерка (см.: *Твардовский*, т. 4, с. 107—111).

[12] Строка из поэмы А. К. Толстого «Иоанн Дамаскин».

[13] Перл *Бак* (1892—1974) — американская писательница. В русском переводе вышли ее романы «Земля» (М., «Худож. литература», 1934; 2-е и 3-е изд.— 1935, 1936) и «Сыновья» (М., «Худож. литература», 1935).

[14] О судьбе полного варианта «Рассказа председателя колхоза» и отрывка «Перепляс» см. Тетрадь II, прим. 91 и 98.

[15] Эпизод под названием «Грузовик» неизвестен. «Тьфу-тьфу» — «Рассказ Ильи Кузьмича» (см. запись 2 февр. 1935 г.); опубликован не был.
[16] Подразумевается А. К. Тарасенков; см. о нем Тетрадь II, прим. 93.
[17] Первая редакция «Страны Муравии» была передана Горькому через заведующую редакцией журн. «Колхозник» Елизавету Захаровну Крючкову (жену секретаря писателя).
[18] Эти строки из раешника Шолохов использовал в «Поднятой целине» (эпизод покупки коня дедом Щукарем — ч. I, гл. XXXI).
[19] Валентин Фердинандович *Асмус* (1894—1975) — философ и литературовед. Ему принадлежит рецензия на первый сборник стихов Твардовского (*Материалы*: 1935, 12 декабря) и статья «Александр Твардовский» («Знамя», 1939, № 7—8). Асмус был первым критиком, который поставил творчество Твардовского в связь с общим процессом развития русской литературы. Его отзыв о «Стране Муравии» см. в записи 8 сентября 1935 г.
[20] «Колесо» — см. «Резолюция А. М. Горького на поэме А. Т. Твардовского» (запись 8 сентября 1935 г.).
[21] Отзывы поэтов Михаила Голодного и М. А. Светлова о «Стране Муравии» см. «Высказывания о поэме...» (запись 8 сентября 1935 г.).
[22] Авторизованная машинопись первой редакции поэмы «Страна Муравия» (июль 1935 г.) с замечаниями Горького на полях хранится в АГ (РАв-пГ-93-4-2).
[23] Александр Александрович *Прокофьев* (1900—1971) — поэт, которого Горький считал «весьма даровитым», однако предостерегал против увлечения «гиперболизмом» образов («Первый Всесоюзный съезд писателей. Стенографический отчет». М., Госполитиздат, 1934, с. 679).
[24] Надежда Януарьевна *Рыкова* (р. 1901) — литературовед и переводчик.
[25] Борис Михайлович *Левин* (1899—1940) — писатель.
[26] Николай Иванович *Дементьев* (1907—1935) — поэт.
[27] Александр Георгиевич *Митрофанов* (1898—1955) — писатель.
[28] Яков Захарович *Черняк* (1898—1955) — историк литературы и общественного движения.

⟨ТЕТРАДЬ IV⟩

СТРАНА МУРАВИЯ. ОТРЫВКИ И НАБРОСКИ. ТЕТРАДЬ III

Смоленск, 1935

26.IX.⟨35⟩.

Из главы о Фролове [94*]

Поспорит с бабкой дед Фролов,
Бывало, в лес уйдет.
Сломает несколько дерев —
И, смотришь, отойдет.

И по привычке все твердит
Присловьице свое
Одно и то ж: едрит-кудрит,
Едрит-мадрит ее. . .

Отец большой лошадник был,
Сбивался на коня.
Лет пять копил,
Коня купил,—
Век не забуду дня.

Сидим вот так, глядим — ведет,
В чем дело, не поймем.
А конь то задом упадет,
То рухнет передком.

Отец нагнется, обоймет,
Поставит передок.
А конь тогда — наоборот —
Сидит без задних ног.

Выходит, помню, дед во двор,
На лошадь ту глядит в упор.
Взглянул, вздохнул:
едрит-кудрит. . .
Ты дай ей в морду!— говорит.

А конь стоит, не ест, не пьет,
Подует ветер,— упадет.

Отец на чурке у крыльца
Присел, кругом народ.
Трясутся плечи у отца,
Как маленький ревет.

— Сдавай бумаги,— говорят,—
Клади свою портфель.
Кидай!— И тут я вижу, брат,
Что дело не модель.

Настал мой час, пришел их суд,
Сражаться тяжело.

[94*] Из трех последующих отрывков в главу о Фролове (гл. 16) вошел в значительно переработанном виде только последний отрывок.

Когда б покойник-батя тут,—
Еще б куда ни шло.

Стоят и дышат в тишине,
Проходит целый год.
В просвете леса, на луне
Цыган коня ведет.

И запах водки бьет мне в нос,
Ночь поздняя свежа.
И, черный, возле двух берез
Грач крестится, дрожа.

И, помню, Степка торопил
Зятьев и сыновей:
— Сади меж крыл!
Сади меж крыл!
Грех, господи! Скорей!

27.IX.35. Вычеркнуто из чистого экземпляра. Глава III.

Бывало, только сам хомут
Одеть да снять не мог.
Вверялся одному ему
Никита Моргунок.

Переделана строфа:

Что вместе жили столько лет,
Не споря, конь с хозяином,
Что восемь бед, один ответ,
И не в окошке белый свет —
Широкий и незнаемый.

Последняя редакция строфы:

Что вместе жили столько лет,
Что восемь бед — один ответ.

Вычеркнута строфа:

Поет — чуть на бок голова,
Ведет, глаза закрыв.
И подбираются слова
Другие под мотив.

Глава IV. Вычеркнуто:

И никого не спрашивай,
Ни в зуб не уважай.
Косить пошел — покашивай,
Поехал — поезжай.[95*]

Глава VI. Опущены строфы:

Этот вздох, родной и сытый,
Знал, как голос, Моргунок.
За версту его Никита
Отличить из сотни мог.

Под телегой смолкнул голос,
Опадает огонек.
Спят окрест поля и села,
Люди спят без задних ног.

Глава VII.

В пути, в незнаемом краю,
Один-одним Никита
Слагал, как песню, речь свою
Душевно и открыто.[96*]
. . . . . .

Взглянул ты сбоку на него.
Понятно, хуже твоего,
Но тоже конь хороший,
Как говорится — лошадь!. . .
. . . . . .
А я пять лет пахал надел
Соседовой кобылой
И век в хозяйстве не имел
Другой наемной силы.
Ты слушай, выслушай меня,
Дай досказать насчет коня.
. . . . . .

[95*] Эта строфа без изменений вошла в главу 4-ю поэмы.

[96*] Эта строфа в несколько измененном виде вошла в главу 7-ю поэмы.

И никого не спрашивай,
Ни в зуб не уважай.
Косить пошел — покашивай,
Поехал — поезжай
. . . . . .

И едет, едет, едет он,
Забыв про кнут, Никита.
И будто видит, видит сон
Далекий и забытый.

Он едет в поле на коне,
И конь бредет на память.
И пахнет, точно на гумне,
Землею и снопами.

Он едет на коне своем —
Простоволосый, босый.
И клевер, вровень со жнивьем,
Ложится под колеса.

Собрав последний колосок,
Дожинки бабы справили. . .
Не то он дома, Моргунок,
Не то в стране Муравии. . .

Глава VIII.

Он едет по чужим краям,
Неведомо куда.
И посветлела по краям
От солнца борода.

По всем дорогам в этот год
Тянулся человечий сброд.
Шли, кто их знает — по какой
Наслышке, наугад.
Вели для жалости с собой
Замученных ребят.

Она не дура, власть, была,
Не шла на шармака.
А вот сняла колокола,
Лишила языка.

Глава XIII.

Едут, едут, едут,
Дым да стук кругом,
Едет парень с дедом,
Правит прямиком.

Глава XVIII.

Все точно расскажу про вас,
Всем мертвым — верь не верь,
Чье царство,
Чья земля,
Чья власть,
Чья жизнь пришла теперь.

МАТЕРИАЛЫ К ТВОРЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ А. Т. ТВАРДОВСКОГО

Смоленский период. 1925—1936

Составитель Р. М. Романова

Изучение творческого и общественного пути Твардовского по существу еще только начинается, и создание его научной биографии — дело будущих исследователей. Необходимая предпосылка создания такого труда — накопление фактических данных, одной из форм которого является создание летописи жизни и творчества писателя. Этот жанр прочно вошел в советское литературоведение, и ныне наличие летописи составляет одну из необходимых предпосылок для глубокого, обобщенного изучения и осмысления творческой биографии художника.

Предлагаемые «Материалы» не претендуют на исчерпывающую полноту — требование, предъявляемое к летописи. Это первая попытка составить хронику первого десятилетия творческой и общественной жизни Твардовского, завершившегося созданием поэмы «Страна Муравия». Основной источник этой хроники — областная периодическая печать, широко освещавшая общественно-политическую и литературную жизнь Западной области, в тесной связи с которой развивалось дарование Твардовского и формировались его творческие и общественные позиции. Данные периодической печати дополняются некоторыми архивными документами, дневниковыми и рабочими записями, публикуемыми в настоящем томе, а также ссылками на воспоминания современников. Следует учесть, что факты личной биографии Твардовского в нашу работу не включены.

1925

21 января.— Первое выступление в печати селькора Твардовского: в газ. «Смоленская деревня» (№ 3) напечатана заметка «Двенадцать с.-х. кружков» (подпись: А. Т.).

29 мая.— Т. впервые подписывает свою селькоровскую корреспонденцию полной фамилией: в газ. «Смоленская деревня» (№ 20) напечатана корреспонденция «Бедняк работу налаживает» (подпись: А. Твардовский).

19 июля.— Первое выступление в печати Т.-поэта: в газ. «Смоленская деревня» (№ 27) напечатано стихотворение «Новая изба».

6 октября.— Начало сотрудничества в смоленской газ. «Юный товарищ» (№ 60—61): заметка «Субботник».

1926

12 марта.— Начало сотрудничества в газ. «Рабочий путь» (№ 59): селькоровская заметка «Своими руками».

24—26 марта.— Т. принимает участие в совещании селькоров Смоленского уезда («Смоленская деревня», 1926, № 32 и 33 от 26 и 28 марта). 25 марта он выступил на совещании: «Селькор Твардовский из Переснянской волости указывал на факт недопустимого отношения к пересылке газет. У них в сельсовете газеты залеживаются очень долгое время, идут на раскурку, теряются, а мер никаких». На выступление Т. ответил пом. прокурора: «Подобное отношение к газетам со стороны работников сельсовета граничит с преступлением, которое карается по той же статье, как и хулиганство» («Что говорили селькоры.— Береги газету!»— «Смоленская деревня», 1926, № 33, 28 марта).

27—30 марта.— В Смоленске проходило Второе губернское совещание рабселькоров. На повестке дня доклады: «Состояние и задачи губернской печати», «Итоги и перспективы рабселькоровского движения», «Прокуратура и рабселькоры» («Смоленская деревня», 1926, № 31—33 и 35 от 24, 26, 28 марта и 2 апреля; *РП*, 1926, № 69—73 от 26—28, 30 и 31 марта). Т. присутствовал на этом совещании: «Одно из самых памятных и дорогих для меня впечатлений ранней юности — выступление Исаковского со своими стихами на губернском съезде селькоров, где я был делегатом» (*Твардовский*, т. 5, с. 217).

25 мая.— Первое выступление Твардовского-очеркиста: в газ. «Юный товарищ» (№ 38) напечатан очерк «На мельнице» (подпись: А. Гордеевич — *Библиография*, № 18).

13 июня.— Редакция газ. «Смоленская деревня» (№ 63) сообщала в рубрике «Чьи



Литературный уголок.

Селькор—поэт А. Твардовский.

Урожай

Много песень стало в нашем крае.
Все поют о пламенном, большом.
Кто о чем, а я—об урожае.
О своем,
Мужицком,
О родном.
Дышат грудью запотелой
Желтогривые овсы.
Чем то теплым,
Чем то спелым
Веет с нашей полосы.
Дай ступну ногой босою
По колючему жнивью.
Дай блестящею косою
Срежу полосу мою.
Под овсяный говор нивы
Жарким потом обольюсь.
Я вдвойне тогда счастливый,
Если вволю потружусь.
На гумне под темной крышей
Отдохнут в скидрах снопы.
Утро раннее услышит,
Как зазвякают цепы.
На душе простор—веселье,
Непочатый счастья край...
Валит хлеб златой метелью.
Здравствуй,
Новый урожай.

Александр Твардовский.

На гумне.

Загудела молотилка
И забегали ремни.
Загорелось седце пылко,
В сердце—радости огни.
Молотилка
Кружит шибко
— Подавай живей снопы!..
Руки гнутся,
Руки—гибки.
Облаками вьется пыль.
Дней, что в поте,
Дней—отрада
Скирдов полное гумно.
Бьется больно,
Бьется градом
Золотистое зерно.
Дружно, дружно,
Скоро, скоро,
Лишь солому отгребай!..
А соломы
Целы горы
Навивает урожай.
Не сложить зерна и в кучу,
Льется речкой тихой рожь.
Не рассердит,
Не наскучит
Молотилочная дрожь...

Вас. Балыкин.

«СЕЛЬКОР-ПОЭТ А. ТВАРДОВСКИЙ»
Рисунок Н. Фомичева
«Смоленская деревня», 21 сентября 1926 г.

заметки куда посланы»: «А. Твардовского „Читают центральные“ — в „Юный товарищ“». Заметка под таким названием в этой газете не выявлена.

21 сентября.— В газ. «Смоленская деревня» (№ 92; рубрика: «Литературный уголок») напечатано стихотворение «Урожай» и портрет (рисунок) с подписью: «Селькор-поэт А. Твардовский». Автор портрета — художник Н. Фомичев, сотрудник газеты (см.: Р. Романова. Кто автор первого портрета А. Т. Твардовского.— «Лит. Россия», 1974, № 11, 15 марта, с. 24; см. также: Мих. Исаковский. Так пришел он в нашу школу жизни...— *Воспоминания о Твардовском*, с. 56; *Твардовский*, т. 1, с. 22).

Конец сентября.— В газ. «Юный товарищ» (№ 32) напечатан первый рассказ Т. «У котла».

30 октября.— Начало сотрудничества в газ. «Красноармейская правда» (№ 251): стихотворение «Посиделки».

16 ноября.— Редакция газ. «Смоленская деревня» (№ 107; рубрика «Стихи, которые не печатаются. Ответ начинающим поэтам») сообщала: «*Твардовскому*: Способности у вас есть, но вы прибегаете к ненужным выражениям вроде: «притихнет как будто и снова опять». «Снова» и «опять» — слова однородные; «И будет овечка пугливо блиять». «Блиять» — такого слова в русском языке нет. Обрабатывайте свои стихи как можно тщательнее».

10 декабря.— В московской газете «Беднота» (№ 2584) объявлен конкурс «на рассказы и стихи». За лучшие работы назначались премии (от 25 до 100 р.). Срок присылки материалов — 31 марта 1927 г., результаты предполагалось сообщить 15 апреля. Объявление перепечатывалось 26 дек. 1926 г., 11, 20, 26 янв. и 3 февр. 1927 г. Т. принял участие в конкурсе (см. выше: Тетрадь I, запись 31 марта 1927 г.), однако в рубрике «Из стихов и рассказов, присылаемых на конкурс» его произведения не появились.

1927

Март.— Вышел сборник «Молодое. Стихи и рассказы» (Смоленск. Изд. литгруппы при газете «Юный товарищ», 1927). В предисловии (автор Б. С. Бурштын) сформулирована цель сборника: «дать громко высказаться преимущественно начинающим поэтам, а также «заразить» тягой к сознательному ходожественному творчеству дремлющие в этом отношении силы деревни» (с. 3). В сб. напечатаны стихи Т. (*Библиография*, № 42).

Конец марта. — Поездка в Смоленск, переговоры с М. В. Исаковским о работе (см. выше: Тетрадь I, запись 30 марта 1927 г.).

12 апреля.— В смоленском Доме просвещения — очередной вечер литобъединения (*РП*, 1927, № 82, 12 апр.). Т. выступил на вечере с чтением своих стихов (см. выше: Тетрадь I, запись 17 апр. 1927 г.).

27 апреля.— Газ. «Юный товарищ» — посвятила Т. очередную «Литературную страницу»: под общим заголовком «Творчество Александра Твардовского» напечатаны три стихотворения (*Библиография*, № 45), фотография автора и статья Д. Осина «Александр Твардовский. Литературно-творческий этюд». Автор статьи писал: «Песни о новой советской деревне, борющейся с темнотой и невежеством прошлого, ее трудную «страдную» работу, ее отдых за «крестьянской газетой», красные комсомольские вечеринки, самогонокурение и неисчислимый ряд отрицательных и положительных моментов, теневых

и световых сторон — Твардовский передает лирическим ладом и художественными образами ⟨. . .⟩ Твардовский не только показывает новую деревню, но и сам активно, по-комсомольски участвует в ее создании, строительстве, в ее борьбе с отзвуком прошлого».

29 апреля.— Редакция газеты «Смоленская деревня» (№ 33) сообщала: «А. Твардовскому. Заметка «Для вас...» и «Черт бы вас...» не пойдет».

14 и 15 мая.— В смоленском Доме просвещения выступали приехавшие из Москвы Александр Жаров и Иосиф Уткин («К приезду двух поэтов».— *РП*, 1927, № 104, 11 мая; Ал. Ж а р о в. Судьба двоих (дата: «г. Смоленск, 14 мая 1927 г.»).— *РП*, № 108, 14 мая). По-видимому, Т. присутствовал на первом из этих вечеров (см. выше: Тетрадь I, запись 14 мая 1927 г.).

24 мая.— В газ. «Смоленская деревня» (№ 39) напечатана статья Вл. Смолина «Из литературной папки», посвященная разбору творчества молодых деревенских авторов; статье предпослан эпиграф:

У наших дней иные речи,
Иная, радостная жизнь.
А. Твардовский

Автор статьи отмечает, что основная тема поэзии Т.— перемены, совершающиеся в деревне: «Об изменении бытового уклада деревни повествует А. Твардовский в стихотворении „Дед Епифан". Дед Епифан пробатрачил весь век, только под конец жизни „жизнь пришла", принесла землю, лошадь, но неумолимая старость гонит в гроб ⟨. . .⟩ Стихи В. Балыкина „В сельсовете" и А. Твардовского „На ниве" — дают наглядную картину, не лишенную художественности. В особенности неплох рисунок Твардовского:

Опоясанные туго
Буйнокудрые снопы,
Рожь высока и упруга,
Не управятся серпы.

Беглый ветер все просушит,—
Подхватил и убежал:
— Ну-ка, бабыньки, послушай,
Почитаю вам журнал».

Обращаясь к прозе молодых писателей, автор статьи пишет: «„Защита" Твардовского останавливает внимание на весьма остром и злободневном вопросе нашей советской общественности — селькорстве ⟨. . .⟩ „Защита" — грамотная вещь. Но отсутствие показа, слабое развитие действия делает ее художественно невыдержанной». Рассказ «Защита» и стихотворения «На ниве» и «Дед Епифан» не выявлены.

Август (до 31).— Первая поездка в Москву (см. выше: Тетрадь I, запись 31 авг. 1927 г.).

30 сентября.— В газ. «Юный товарищ» напечатана статья «Несколько слов о творчестве наших поэтов» (подпись Я. А.). Т. назван здесь в числе тех появившихся в Смоленске за последние годы «поэтов из молодежи», «чье творчество заслуживает серьезного общественного внимания».

Сентябрь.— В журн. «Октябрь» (№ 9) напечатана (подпись: «С. А.») рецензия на сборник «Молодое ⟨...⟩» (см. о нем: *Библиография*, № 42). Рецензент отмечал, что «неизбежно подражательные» стихи сборника «спасают непосредственность и заметное для внимательного читателя серьезное отношение к своему творчеству. Из поэтов нужно особо выделить А. Плешкова, Д. Осина, А. Твардовского» (с. 176).

4 декабря.— Открылась первая Смоленская конференция пролетарских писателей (*РП*, № 277, 4 дек.).

В этот же день на «Литературной странице» газеты «Рабочий путь» напечатана статья Вл. Смолина «Год работы (Смоленская организация пролетарских писателей)». «Конец 1927 года можно считать началом организационного закрепления ассоциации пролетарских писателей (АПП) в Смоленске,— пишет автор статьи.— В настоящее время САПП насчитывает 17 человек». Среди авторов, которые пишут «о деревне, о ее бытовых явлениях, о перестройке всего деревенского уклада жизни, о „молотилках", о „тракторе", об избе-читальне и уходящей деревенской некультурности», назван и Т.

7 декабря.— Газ. «Юный товарищ» (№ 87) объявила «Конкурс на лучший рассказ и лучшее стихотворение». Срок конкурса с 15 декабря 1927 г. по 15 февраля 1928 г. Конкурс организован с целью «выявления литературного молодняка в нашей губернии, а также для оказания помощи начинающим писателям и поэтам из среды крестьянской молодежи». Произведения, присланные на конкурс, «должны быть написаны на темы, отражающие

строительство новой деревни, жизнь и быт крестьянской молодежи и комсомольской организации в деревне». Т. принял участие в этом конкурсе (см. далее: 1928, 17 марта).

1927 г.— Т. принят в члены Смоленской ассоциации пролетарских писателей (САПП). Точной даты приема установить не удалось. Отнести этот факт к 1927 г. позволяет то обстоятельство, что имя Т. фигурирует в цитированной выше статье Смолина (см.: *1927, 4 декабря*), подводившей итог деятельности САПП за первый год ее существования. Это подтверждается также собственными свидетельствами Т.— в дневниковой записи от 20 февраля 1930 г. («Около двух-трех лет я член Ассоциации пролетарских писателей» — см. выше: Тетрадь I) и заявлением в секретариат РАПП (июнь 1930 г.), в котором Т. отмечает, что его работа в САПП длится уже «в течение трех лет» (ИМЛИ, ф. 132, оп. 1, ед. хр. 5).

1928

17 марта.— Газ. «Юный товарищ» (№ 22) сообщила результаты конкурса, объявленного 7 декабря 1927 г. В состав жюри вошли: от редакции газеты — А. Плешков, от САППа — М. Исаковский, от губкома ВЛКСМ — В. Классон, от участников конкурса — А. Твардовский. Первая премия (три книги: А. Жаров. Рост. М.— Л., 1927; И. Уткин. Первая книга стихов. М., 1927; Г. Шенгели. Как писать статьи, стихи и рассказы. М., 1927) присуждена Н. Рыленкову. Вторую премию (книги Жарова и Шенгели) получил Т. за «Два стихотворения» (*Библиография*, № 61). «Стихотворение т. Твардовского,— говорилось в решении жюри,— по качеству признано комиссией лучшим, но так как оно не удовлетворяет требованиям конкурса по теме, за него присуждена вторая премия».

В тот же день в этой же газете перепечатана из журн. «Октябрь» рецензия на сб. «Молодое ‹. . .›» (см. о нем: *1927, март и сентябрь*). Сделано это было «для сведения читателей», получивших сборник в качестве бесплатного приложения к газете.

29 марта.— Состоялась XIII конференция ВЛКСМ Смоленской губ. («Юный товарищ», 1928, № 21, 25 и 27 от 14 и 29 марта и 4 апр.). Т. был делегатом на этой конференции (Владимир Пашутин. Делегат из Загорья.— «Сельская новь», Починок, 1980, № 75, 21 июня). Этому событию Т. посвятил стихотв. «Весенний ...» (*Библиография*, № 73).

21 апреля.— На «Литературной странице» газеты «Юный товарищ» (№ 32) помещена фотография: «Воспитанники ЮТа». Под фотографией подпись: «Молодые комсомольские поэты — воспитанники «ЮТа» тт. Александр Плешков, Дмитрий Осин, Александр Твардовский, Александр Рутман, Сергей Фиксин». Историю этой фотографии см.: Сергей Фиксин. Первая даль поэта (*Воспоминания о Твардовском*, с. 18—19).

Около 23 мая.— Вместе со своим другом, смоленским поэтом С. Фиксиным, Т. выехал в Крым по маршруту: Брянск — Орел — Курск — Харьков — Симферополь — Севастополь. По дороге останавливались в этих городах, в редакциях местных газет оставляли свои стихи. Полученные гонорары вместе с другими заработками (например, работа на Брянской нефтебазе) служили источником существования и позволяли продолжать поездку (*Воспоминания о Твардовском*, с. 21—29). Возможно, что идея этой поездки, предпринятой «с целью изучения жизни и быта» (о чем свидетельствовала справка газеты «Юный товарищ» за подписью М. Исаковского — см. там же, с. 22), возникла из желания повторить романтику горьковских странствований, которой Т. восхищался в стихах, написанных незадолго до отъезда («Над книгой Горького» — *Библиография*, № 72):

Бродяжным раздумчивым парнем
Под лодкою заночевать...
Работать в порту и пекарне,
Бродить и работать опять.

Эту догадку подтверждают воспоминания И. Т. Твардовского, младшего брата поэта: «Когда мне было лет 9—10, в нашей семье зачитывались М. Горьким. Наш отец каким-то образом много знал о босяках и бродягах. Когда же он читал рассказы Горького, в которых жизнь обездоленных людей изображена во всей ее наготе,— он, отец, просто как-то по-особому, необыкновенно, смаковал изображаемую правдивость жизни этих людей. И происходило это с отцовскими комментариями. Конечно же, это не могло не отложить в душе юноши Александра известные и понятные впечатления, и его крымская поездка

с Сергеем Фиксиным, полагаю, была не иначе, как желание изведать собственным опытом что-то из жизни тех, кто оказался за бортом семьи» (из письма И. Т. Твардовского Р. М. Романовой, 3 октября 1979 г.). Появление в брянской газете «Путь молодежи» стихотворения «Почта» (26 мая) — первого в ряду стихов, напечатанных во время поездки (*Библиография*, № 61, 44, 69, 72, 75, 78, 85),— позволяет установить приблизительную дату отъезда из Смоленска — около 23 мая.

Середина июля.— Т. и Фиксин возвратились в Смоленск: 22 июля в газ. «Рабочий путь» (№ 169) напечатана корреспонденция Т. о крушении поезда, происшедшем 16 июля близ Рославля.

31 августа.— В газ. «Смоленская деревня» (№ 65) напечатано стихотворение Т. «Призыв», сопровождавшее обращение Смоленского губернского комитета крестьянских обществ взаимопомощи об оказании помощи районам, где погиб урожай.

22 сентября.— Т. откликнулся на призыв газеты «Юный товарищ», объявившей сбор книг для деревни: в рубрике «Книгу — деревне! Кто следующий?» значится: «Вношу 5 книг и вызываю С. Фиксина, С. Курдова ⟨...⟩ А. Твардовский».

Начало декабря.— Т. выступает на «творческом смотре» смоленских писателей с чтением своих стихов. В статье, посвященной итогам «смотра», Т. назван в числе писателей, которые «заметно за этот год выросли» и ныне «составляют творческий актив САППа»; отмечено, что «тематика» его «значительно расширилась»: «Если раньше Твардовский писал только о развороченном деревенском быте, о противоречиях этого быта в плане исключительно лирическом, то сейчас Твардовский дает нам более интересно разработанные вещи («Уборщица», «Поезда» и др.), но он еще не оформился окончательно, он весь еще в росте» (Вл. С⟨м о л и⟩н. Творческий актив САППа. К итогам творческого смотра.— *РП*, 1928, № 286, 9 дек.; см. также: *Воспоминания о Твардовском*, с. 57).



КНИГА ДЛЯ ШКОЛЬНОГО ЧТЕНИЯ, ПОДГОТОВЛЕННАЯ БРИГАДОЙ СМОЛЕНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ ПО МАТЕРИАЛАМ ПОЕЗДКИ В КОЛХОЗЫ

(С. Курдов, А. Твардовский, В. Шурыгин. На стройке новой деревни, вып. II. Москва — Смоленск. ОГИЗ, 1931)

Обложка

1929

8 февраля.— В газ. «Рабочий путь» (№ 31) напечатано стихотворение «Песня урожая» отклик Т. на решение ЦК ВЛКСМ «провести Всесоюзный поход за поднятие урожайности советских полей, за кооперирование и коллективизацию крестьянских хозяйств» («Комсомольская правда», 1929, № 13, 16 января; в том же номере газеты, в заметке «В дни похода», сообщалось, что с целью обеспечить успех похода «предполагается максимально использовать радио, кино, писателей, художников, газеты»). Размер и форма стихотворения — явное подражание «Урожайному маршу», которым откликнулся на решение ЦК ВЛКСМ Маяковский («Комсомольская правда», 1929, № 28, 3 февраля).

27 марта.— Т. выехал в Брянск в составе агитбригады, направлявшейся в поездку по области в специально оборудованном «агровагоне». Это была одна из многих агитбригад, организованных в ответ на постановление 4 сессии ЦИК СССР «О мерах по поднятию урожайности» («Известия ЦИК Союза и ВЦИК», 1928, № 292, 16 декабря) и на объявленный ЦК ВЛКСМ поход за урожай (см.: *1929, 8 февраля*). *28 марта* газета «Брянский рабочий» (№ 72) сообщала в редакционной заметке «В помощь крестьянину»: «Для поездки по губернии вчера вечером со ст. Брянск отправлен агровагон, в котором оборудована выставка экспонатов Новозыбковской и Брасовской сельскохозяйственных опытных стан-

ций. Кроме того, в агровагоне имеется кинопередвижка и сельскохозяйственная библиотека для бесплатной раздачи сельсоветам, колхозам и крестьянам-опытникам. Основная задача агровагона — помочь крестьянину повысить урожайность. С вагоном едут агроном, политпросветработник и представитель ГубРКИ, который будет принимать жалобы крестьян». Очевидно, обязанности политпросветработника были возложены на Т.

28 марта — 3 апреля. — «Агровагон» проехал по маршруту: Навля — Брасово — Комаричи — Евдокимовка. В заметке «Первые семь дней» Т. писал: «Агровагон возвратился на ст. Брянск на зарядку. Последней остановкой был разъезд Евдокимовка, где, как и на других остановках (Навля, Брасово, Комаричи), агровагон был встречен собравшимися с окрестных деревень и поселков крестьянами.

В Евдокимовке не хватило одного дня остановки, с утра до вечера вагон впускал группы крестьян по 50—70 человек в каждой ⟨...⟩

За семь дней пути, на всех четырех остановках через агровагон пропущено 1243 человека, они прослушали 26 лекций-бесед агронома и 13 бесед представителя РКК РКИ ⟨...⟩ посетители охотно покупали книжки в нашем «походном» киоске ⟨...⟩ Всего за время первого выезда продано свыше полутораста книжек. Кроме этого, роздано 36 бесплатных библиотечек в количестве 324 книжек ⟨...⟩.

По первым семи дням видно, какое большое значение имеет «затея» агровагона в горячке весенне-посевной кампании.

6 апреля агровагон отправляется в другой выезд, по маршруту: разъезд Березовский, ст. Судимир, ст. Зикеево, ст. Палики» («Брянский рабочий», 1929, № 80, 6 апр.; см. также очерк Т. «Агровагон в пути ⟨...⟩» (там же, № 76, 2 апр.).

Март — апрель.— Первое выступление Т. в московской печати: стихотворение «Доклад» в журн. «Октябрь» (№ 3; зарегистрирован: «Летопись журн. статей», 1929, № 3, май—июнь). В том же номере журнала член редколлегии «Октября» М. А. Светлов писал, характеризуя стихи молодых поэтов, в числе которых был и Т.: «Для того, чтобы ускорить дело торжества молодой поэзии, необходимо обратить серьезное внимание ⟨...⟩ на создание литературной среды для молодых писателей», особенно для писателей периферии, выдвигать наиболее талантливых из них. И далее: «подобное выдвижение молодых писателей в литературу является одним из серьезнейших достижений журнала. В настоящем номере «Октября» представлены главным образом не начинающие, но молодые. Поэты разных направлений, разной установки, разных городов и областей, но связанные одним общим — талантом. Некоторые из них уже много печатались, некоторые только начинают. Но стихи их, смеем думать, стоят на голову выше многих «маститых» (С⟨в е т л о в⟩. О молодых и начинающих.— «Октябрь», 1929, № 3, с. 145).

Май (вторая половина).— Т. приехал в Москву; время приезда устанавливается по публикации его стихов в первом июньском номере московского двухнедельного журнала «Лапоть» (№ 11). Этой публикацией началось сотрудничество Т. в московских журналах, длившееся лето и осень 1929 г. (*Библиография*, № 134—137, 139—145). Позднее Т. вспоминал: «Когда в московском «толстом» журнале «Октябрь» М. А. Светлов напечатал мои стихи и кто-то где-то отметил их в критике, я заявился в Москву» (*Твардовский*, т. 1, с. 23). По-видимому, он имел в виду оценку, которую сам Светлов дал напечатанным в «Октябре» стихам молодых поэтов, среди которых было стихотворение Т. (см.: *1929, март — апрель*). Других упоминаний о Т. в московской печати за 1929 г. не выявлено.

Май (вторая половина) — декабрь.— Т. живет в Москве. А. В. Македонов вспоминает: «А. Т. провел в Москве лето (часть — ?), осень 1929 г. и, по-видимому, начало зимы (декабрь и, может быть, начало января). Часть этого времени мы были там вместе ⟨...⟩ А. Т. пытался пробиться в большую литературу, но это ему удалось только отчасти, как он об этом вспоминал позже. Но печатался уже в нескольких журналах; в октябре 1929 г. был впервые организован вечер его стихов — в «Ударе» и т. д. С этим периодом связаны также важные литературные поиски А. Т., в том числе опыты своеобразных иронических стихов, отчасти перекликавшихся с ранним Заболоцким, но вполне самобытных. Только слабое отражение они получили в некоторых стихах, которые он тогда напечатал в юмористических журналах. А самое интересное он, несмотря на то, что я их хвалил,— впоследствии, по-видимому, уничтожил, во всяком случае у М. И. ⟨Твардовской⟩ они не сохранились. Некоторое представление об их направлении дает также стихотворение «Друг мой вовремя уехал...» ⟨*Твардовский*, т. 1, с. 46⟩, о котором я кратко пишу и в своей книге. Но представление далеко не полное. Были и гораздо более острые и далеко идущие. И в эти же месяцы

он познакомился с московскими писателями, и в частности, через меня — с А. Тарасенковым, который стал его полезным московским защитником. Зозуля помогал печататься в «Огоньке» и «Чудаке», т. к. это был друг Кольцова и довольно тогда влиятельный в этих делах человек, и он почувствовал талантливость А. Т. Состоялось знакомство и с конструктивистами, в частности, с наиболее талантливым из «констромольцев» В. Цвелевым, которого я тоже тогда пропагандировал. Возможно, и с Багрицким, но упоминаний о встречах с ним не помню. Однако именно Багрицкий помог напечатать позже «Путь к социализму». Близости к конструктивистам все-таки не получилось, пути были разные» (из письма А. В. Македонова Р. М. Романовой, 15 ноября 1979 г.). См. также выше: план «Автобиографии» и запись «Из московских стишков (1929 г.— лето)» — Тетради II и III, записи 30 ноября 1933 г. и 4 апреля 1935 г.

1930

Январь (до 15).— «Зимой тридцатого года я вернулся в Смоленск»,— вспоминает Т. (т. 1, с. 23). Произошло это, по-видимому, в первой половине января, т. к. с 16 января возобновилось его регулярное сотрудничество в смоленской печати (*Библиография*, № 144, 146 и далее). Возвращению в Смоленск предшествовала поездка в Загорье (см. выше: план «Автобиографии» — Тетрадь II, запись 30 ноября 1933 г.); внутреннюю необходимость этой поездки Т. сформулировал в записи от 21 ноября 1929 г. (см. выше, Тетрадь I).

30 января.— СмолАПП устроила первый литературный вечер по радио. В нем участвовали: Т., Исаковский, Марьенков, Зиборов, Фиксин и др.; вступительное слово сказал Авербах (*РП*, 1930, № 23, 29 янв).

Январь 〈?〉 — В журн. «Печать и революция» (№ 1) напечатана статья А. Тарасенкова «Среди стихов» — обзор творчества молодых поэтов (по сборникам и журналам конца 1929 г.). Здесь сделана первая попытка определить место Т. в молодой советской поэзии: «мы считаем необходимым поговорить о группе поэтов, еще не имеющих самостоятельных сборников стихов, но тем не менее чрезвычайно характерных для данного этапа развития советской поэзии, о поэтах, имеющих несомненное будущее, уже завоевавших на страницах журналов свое место. Если эта группа не особенно плодовита по своей продукции, она стоит на большой высоте. В первую очередь мы должны назвать здесь имена К. Митрейкина, В. Цвелева, А. Твардовского» (с. 68). Далее рассматриваются стихотворения «Гостеприимство», «Яблоки», «Лето в коммуне» (*Библиография*, № 141, 137, 139).

1 февраля.— Газ. «Рабочий путь» (№ 26) сообщала, что при редакции начала работать литературная консультация САПП. Среди дежурных консультантов — Т., Исаковский, Македонов и др.

3—24 февраля.— Т. участвует в составлении репертуарного сборника для клубов («Клубный сборник» — *Библиография*, № 151). 3 февраля экстренное собрание СмолАПП постановило «объявить мобилизованными на пять дней всех находящихся в Смоленске членов ассоциации и в течение этого срока написать культурно-художественный сборник на темы классовой борьбы в деревне» («Писатели — рабочим клубам» — *РП*, 1930, № 28, 4 февр.). Сводки о работе печатались в «Рабочем пути», в рубрике «Писатели — рабочим клубам»: «Работа по подготовке репертуара идет полным ходом. В ней принимают участие все члены ассоциации, проживающие в Смоленске. Уже поступили материалы (стихи, инсценировки, рассказы) от тт. Исаковского, Твардовского, Кудимова 〈...〉 тт. Исаковский, Зиборов, Твардовский и Фиксин заканчивают инсценировку в стихах» (*РП*, 1930, № 34, 12 февр.; см. также: *РП*, 1930, № 39, 17 февр.). 24 февраля «Рабочий путь» сообщил (№ 45): «Клубный сборник выходит к 5 марта».

25 февраля.— Смоленский горком ВКП(б) и СмолАПП устроили литературный вечер для партактива. Программа: 1. Доклад Л. Авербаха «Классовая борьба на литературном фронте»; 2. Обмен мнениями. Ответы на записки; 3. Выступления писателей и поэтов со своими произведениями (*РП*, 1930, № 45 и 46 от 24 и 25 февр.). По всей вероятности, Т. участвовал в этом вечере.

1—4 марта. — В Смоленске проходила Первая областная конференция пролетарских писателей Западной области. Повестка дня: 1. Задачи пролетарской литературы в реконструктивный период — докл. Ю. Либединский; 2. Творчество поэтов и писателей Западной области — докл. Ал. Исбах; 3. Практика работы рабочих литкружков — докл.

В. Ильенков; 4) Выборы («Областная конференция писателей».— *РП*, 1930, № 45, 24 февр.; см. также *РП*, № 48, 50, 52 от 27 февр., 1 и 4 марта). В докладе Исбаха отмечены творческие достижения ряда писателей области, в том числе Т. (В. Муравьев Первая областная конференция.— «Большевистский молодняк», 1930, № 57, 9 марта).

6 марта.— Газ. «Рабочий путь» (№ 54) сообщила: «В Смоленске организуется самостоятельное издательство ‹Западное отделение ГИЗа› ‹...› По вопросам литературы руководство осуществляют М. Исаковский и Л. Авербах» (см. также: «Областное издательство в Смоленске».— *РП*, 1930, № 58, 11 марта). Одновременно (с 4 марта) Авербах стал ответственным редактором газ. «Рабочий путь» (см. выше: Тетрадь II, прим. 44).

15 марта.— Газ. «Рабочий путь» (№ 61) сообщала в заметке «Книги писателей Западной области»: «Состоялось собрание авторов литературно-художественного сектора Западного отделения ГИЗа. На собрании обсуждался план издательства художественной литературы ‹...› До 1 октября решено издать следующие книги: 1. Клубный сборник № 2 ‹...› 2. Два литературно-художественных альманаха Западной области ‹...› 6. Книги стихов Ив. Зиборова, Ал. Твардовского и С. Курдова».

Апрель.— В московском журнале «Рост» (№ 4) перепечатано под названием «Пчелы» стихотворение Т. «Лето в коммуне» (*Библиография*, № 139). Здесь же помещена статья А. Селивановского «Барчук или пролетарский поэт?». Автор ее пишет: «А. Твардовский — способный начинающий поэт, имеющий желание стать поэтом пролетариата. Но разве не проявились в «Пчелах» самые отрицательные свойства литературного верхоглядства, барства, эстетства ‹...› «Рост» печатает стихотворение А. Твардовского потому, что оно во многом типично ‹...› А. Твардовский некритически усваивает образцы старой, поместной, усадебной поэзии. Это его (и не только его) ошибка. Он думает, что революционным поэтом можно стать, не принимая органического участия в классовой борьбе. Это его (и не только его) пагубное заблуждение» (с. 27—28). Статья сопровождается карикатурами на Т. (установить их автора не удалось).

Конец апреля — начало мая.— Т. совершает свою первую поездку по колхозам (см. план «Автобиографии» — см. выше: Тетрадь II, запись 30 ноября 1933 г.). Участники поездки сообщали об ее итогах: «Недавно возвратилась из поездки по колхозам Се‹бе›жского комбината бригада пролетарских писателей ‹...› Бригада, собирая материалы для литературных произведений, в то же время принимала участие в работе политико-просветительных учреждений при колхозах, проверке готовности к весеннему севу и проч. У работников Се‹бе›жского колхоз-комбината бригада встретила лучшее товарищеское отношение. В настоящее время бригада работает над «Книгой для чтения» (учебного порядка) и другими произведениями, используя материал, собранный во время поездки» (А. Т‹вардовский›, В. Ш‹урыгин›, С. К‹урдов›. Пролетарские писатели в колхозах.— *РП*, 1930, № 107, 12 мая). «Книга для чтения» — сборник «На стройке новой деревни» (см. о нем: 1930, 7 сентября). Впечатления этой поездки дали Т. материалы для поэмы «Путь к социализму».

Май — август. — Работа над поэмой «Путь к социализму» и публикация отрывков из нее в периодической печати (*Библиография*, № 178).

1 июня.— На закрытом собрании СмолАПП Т. исключен из Ассоциации сроком на 6 месяцев. Этому решению предшествовала статья Ф. Х. Власова «Богемствующие «пролетпоэты». Об успехах и непреодолимых препятствиях в работе СмолАПП» («Большевистский молодняк», 1930, № 122, 31 мая). В прениях об исключении мнения резко разделились. Предъявленным Т. обвинениям: «не ведет общественной работы», «мелкий интеллигент, чинуша, оторвавшийся от класса, не сработавшийся с массами»,— противопоставлялись мнения диаметрально противоположные: «Работа Т. в колхозе — блестящий пример того, как нужно работать» (Зиборов); на этой работе Т. «выдержал политический экзамен» (Македонов); «он — наш человек» (Марьенков). Большинством голосов предложение о полном исключении было отклонено и принято решение «исключить на 6 месяцев, за этот срок выявить его как в бытовом, так и в общественно-политическом отношении». Т. выразил несогласие с этим решением (Протокол закрытого собрания СмолАПП, 1 июня 1930 г.— ИМЛИ, ф. 132, оп. 1, ед. хр. 5).

Начало июня.— Т. обращается в секретариат РАПП с протестом против решения СмолАПП; в заявлении указывается, что решение принято под давлением Л. Л. Авербаха (там же).



ПЧЕЛЫ

Стихи
А. ТВАРДОВСКОГО

Мне отвели покой на сеновале,
И как мне спится — ночью узнавали,
И говорили:
— Хорошо на сене! —
И добавляли, стоя у ворот,
Что был удачен сенокос весенний.

— Ну, спите, спите! Славный нынче год!..
Хороший год!
Явился я в июне
И лето провести решил в коммуне.

В поповской шляпе и в костюме белом
Брожу среди общественных угодий
И занимаюсь пустяковым делом
По доброй воле,
По своей охоте.

Случилось так,
Что я оставлен был на пасеке.
Придумано чудесно:
Я деду-пчеловоду пособил
Копаться в ульях, как игрушки, тесных.
На ворох пчел пуская дым дурманный,
Я отступал на шаг от старика.
Он отбивался. Правая рука,
Казалось, лазала по всем карманам.

А пчелы яростно вились над ним,
И руки мне он подавал под дым.
Мне в сетке специальной без привычки
Дышалось трудно, появлялся пот.

В лицо мне пчелы чиркали, как спички,
И на мои сандальи капал мед.

Довольно дыму!
Вот конец работы.
Мы улей закрываем и вдвоем
По саду в гору медленно несем
Тяжелые сияющие соты.

В поповской шляпе и в костюме белом
Брожу среди общественных угодий.

Я угощал моих хозяев медом
За белыми столами у сарая.
И шуткою удобной поощряя,
Меня назвали младшим пчеловодом.

БАРЧУК ИЛИ ПРОЛЕТАРСКИЙ ПОЭТ?

Крестьянство нашей страны не может пройти этап сплошной коллективизации без помощи и руководства со стороны городского пролетариата. Советская промышленность посылает в деревню машины, химические удобрения, предметы широкого потребления. Рабочий класс выделяет из своей среды лучшие организаторские силы неповторяемого исторического момента. Среди них в то же время крепнет сознание того, что одним наблюдением со стороны тут нельзя ограничиться, что их долг — принять активное участие в перестройке деревни, оказать последней непосредственную культурную помощь.

Все ли так поступают? Нет. Ведь небо так высоко, солнце мом деле, не поехать в колхоз, если там под боком прохладная речка, ароматное поле и „тяжелые сияющие соты" меда? И невдомек подобному знатному путешественнику, какие думы волнуют „мужичков", какие трудности встают на пути колхоза, какие внутренние противоречия созревают в нем.

КАРИКАТУРА НА А. Т. ТВАРДОВСКОГО ПО ПОВОДУ СТИХОТВОРЕНИЯ «ПЧЕЛЫ»

Подпись (из стихотворения «Пчелы»): «В поповской шляпе и в костюме белом // Брожу среди общественных угодий»

Рисунок неизвестного художника

Ниже — статья А. Селивановского «Барчук или пролетарский поэт?» «Рост», 1930, № 4

29 июня.— А. К. Тарасенков обращается в Малый секретариат РАПП с заявлением: «Близко зная т. Твардовского (в продолжение года), считаю, что этот весьма одаренный поэт ценен для Ассоциации как вдумчивый человек, быстро растущий в смысле политическом и творческом в нашем, РАППовском понимании этих слов ⟨...⟩ Для Ассоциации Твардовский представляет большую ценность. Его надо воспитывать ⟨...⟩ но ни в коем случае нельзя исключать из РАППа» (там же).

30 июля.— В газ. «Большевистский молодняк» (№ 175) напечатана резолюция СмолАПП по отчету правления (под заголовком «Проверить ряды ассоциации. Сигналы «Большевистского молодняка» оказались действенными»): «Ассоциация констатирует, что появление статьи т. Власова «Богемствующие «пролетпоэты» ⟨...⟩» сыграло положительную роль в деле еще большего развертывания самокритики в ассоциации». И далее: «исключая сроком на 6 месяцев Ал. Твардовского, который проявил нетактичность и невыдержанность, отказывался от некоторых форм массовой литературной работы (в Ярцеве, на ж. д. узле) ⟨...⟩, ассоциация считает нужным усилить работу по общественно-политическому воспитанию членов организации».

В этот же день та же газета сообщала: «В августе выходит из печати и поступает в в продажу «Первый альманах Западной ассоциации пролетарских писателей». В альманахе напечатаны стихи Т.» (*Библиография*, № 157).

Июль.— Поездка вместе с А. В. Македоновым к Н. И. Рыленкову в дер. Алексеевка Рославльского р-на: там Т. работал над второй частью поэмы «Путь к социализму» (отрывки из нее датированы: «Дер. Алексеевка Зап. обл., июль 1930», — «Большевистский молодняк», 1930, № 196, 24 авг.). Об этой поездке см.: Николай Рыленков. Избр. лирика. 1926—1964. М., 1965, с. 8.

5 сентября.— Т. присутствует на заседании СмолАПП («Творческие занятия СмолАПП».— *РП*, 1930, № 213, 5 сент.).

7 сентября.— Газ. «Большевистский молодняк» (№ 208) сообщила в «Хронике»: «тт. Твардовский, Шурыгин и Курдов сдали в печать предназначенный для серии «Библиотека школьника» сборник «На стройке новой деревни», составленный по материалам поездок в колхозы» (о поездке см.: *1930, конец апреля — начало мая*). В сб. напечатан ряд произведений Т. (*Библиография*, № 171).

10 сентября.— Т. впервые выступил как автор лозунгов в стихах и призвал смоленских поэтов обратиться к этому жанру. «Лозунг в стихах должен занять, в определенном оформлении, место на стене рабочего клуба, колхозной и деревенской читальни, агитпункта и других культучреждений.

Лозунг в стихах действеннее простого лозунга: он останавливает внимание и запоминается, закрепляя мысль, вложенную в него.

Пролетарские поэты должны считать работу над лозунгом не менее важной, чем работу над другими произведениями.

Помещая сегодня первые опыты лозунгового жанра, я вызываю всех поэтов смоленской ассоциации» («Большевистский молодняк», 1930, № 211, 10 сент.).

13 сентября.— Газ. «Большевистский молодняк» (№ 213) сообщала, что редакция откликнулась на призыв газеты «Правда» начать сбор средств на постройку дирижабля; в перечне тех, кто уже сдал взносы, значится: «Твардовский А.— 10 руб. и вызывает тов. Осина».

15 сентября — 18 октября.— Литбригада ЗОАПП в составе Т. (представитель СмолАПП) и Д. Осина (представитель Брянской АПП) участвует в «творческой эстафете» ЗОАПП и литературных кружков Западной области, организованной с целью «мобилизовать все низовые ассоциации» на подготовку к предстоящему пленуму ЗОАПП и РАПП («Большевистский молодняк», 1930, № 208, 7 сент., «Хроника»). Задачи бригады определялись социалистическим договором, заключенным между писательскими организациями Смоленска и Брянска в ответ на призыв ЦК ВКП(б) «Ко всем партийным, хозяйственным, профсоюзным и комсомольским организациям» («Правда», 1930, № 243, 3 сент.). Писатели обоих городов обязались «провести большую массовую работу в помощь проходящим сейчас важнейшим хозяйственно-политическим кампаниям» («Социалистические обязательства писателей».— «Большевистский молодняк», 1930, № 215, 14 сент.).

Отчитываясь в работе, члены бригады писали: «15 сентября мы выехали на завод «Красный Профинтерн» 〈...〉 Помимо основного задания — проводить эстафету,— мы с первого же дня в Бежице мобилизовались на ликвидацию прорыва, включившись в работу бригады ЦК ВКП(б) 〈...〉 Из номера в номер в заводской газете «Бежицкий рабочий» стали печататься наши стихи, эпиграммы, лозунги, очерки и т. д. Вместе с бежицкой литературной группой мы писали репертуарные номера для артистов ленинградской агитбригады эстрадников, выступавшей в цехах. В этих частушках, сценках, юморесках и райках фигурировали действительные имена и факты 〈...〉 Вместе с бежицкой литературной группой мы организовали выступление с рапортом о работе литгруппы и читкой стихов на 8-й райпартконференции. Наши стихотворные лозунги изданы штабом ударников «Красного Профинтерна» в количестве 2400 экз. «Марш ударников «Красного Профинтерна», написанный нами ко дню ударника, вышел отдельной листовкой в количестве 3000 экз. Местным хоркружком 〈...〉 «Марш» положен на музыку для исполнения во время торжеств» («Рапорт бригады пролетарских поэтов в составе Д. Осина и А. Твардовского, работавшей на заводах «Красный Профинтерн», Дятьковский хрустальный и Людиновский машиностроительный».— «Большевистский молодняк», 1930, № 245, 20 окт.). В Дятькове по радио и в цехах Хрустального завода проводились беседы о призыве ударников в литературу, был создан литературный кружок, написано «стихотворное обозрение на местные дятьковские темы»; на Людиновском заводе создана «литбригада писателей-ударников», для газеты «Людиновский пролетарий» написано «обозрение на местные темы», на пленуме обкома металлистов Т. и Осин выступали с призывом ударников в литературу, участвовали в районном слете литкружков (там же). 18 октября «эстафета» завершилась — был написан цитированный выше «Рапорт».

20 октября.— Проходил очередной пленум ЗОАПП (*РП*, 1930, № 254, 22 окт.). Возможно, что Т. присутствовал на этом пленуме.

24 ноября.— Проходило совещание творческого актива СмолАПП, созванное редакцией только что созданного журнала «Наступление» (орган ЗОАПП); на повестке дня — обсуждение первых трех номеров журнала (*РП*, 1930, № 280, 23 ноября). Вероятно, Т. присутствовал на этом совещании, поскольку на него приглашался «широкий актив».

Ноябрь.— В смоленском журнале «На культурном посту» (№ 13) помещена рецензия А. М⟨акедонова⟩ на «Первый альманах» Западной ассоциации пролетарских писателей (о нем см.: *1930, 30 июля*). Рецензент отмечает: «Тракторный выезд» показал значительный идейный рост А. Твардовского, стихотворение «Зеленый город» содержит идеологические ошибки» (с. 67).

Ноябрь.— Т.— ответственный секретарь только что организованного журнала «Западная область» (орган Западного облисполкома). Эту должность он занимал до сентября 1932 г., когда оставил ее после поступления в Смоленский пединститут (Дм. Д в о р е ц к и й. Три месяца с Твардовским. Страницы воспоминаний.— «Сельская новь». Починок, 1978, № 58—62 от 13, 16, 18, 20, 23 мая).

Ноябрь.— Командировка в г. Ярцево по заданию редакции журн. «Западная область». Результат поездки — очерк «Ярцево не готово» («Западная область», 1930, № 3).

Декабрь.— Вышел в свет сборник «На стройке новой деревни» (*Библиография*, № 171; см. также: *1930, 7 сентября*).

Декабрь.— По заданию журнала «Западная область» Т. находился в Клинцовском р-не. Результат поездки — корреспонденция о пятидесяти партийцах, посланных в деревню клинцовской парторганизацией («Западная область», 1931, № 1, янв.).

1931

Февраль.— По заданию журнала «Западная область» Т. едет в колхозы Брасовского и Вяземского районов; поездка положила начало работе над книгой «Дневник председателя колхоза» (*Библиография*, № 173; см. также № 182—184).

Февраль.— В февральском номере журнала «Наступление» напечатана статья «О литературном отделе «Западной области» (подпись: В. С⟨молин⟩); стихотворение Т. «Четыре тонны» (*Библиография*, № 169) оценивается здесь как «грубая политическая и творческая ошибка поэта» (с. 60).

Апрель — май (первая половина). — Вышел в свет второй выпуск сборника: С. К у р д о в, А. Т в а р д о в с к и й, В. Ш у р ы г и н. На стройке новой деревни (*Библиография*, № 176).

16—20 мая. — Т. побывал в колхозах Идрицкого района; цель поездки — освещение хода посевной кампании (*Библиография*, № 174, 175, 177).

20—22 июня.— В качестве корреспондента журнала «Западная область» Т. присутствовал на первом слете колхозных бригадиров-ударников (Смоленск), где обсуждался ход подготовки к уборочной кампании (*Библиография*, № 180; *РП*, 1931, № 142—144, 21—23 июня).

Конец июня — начало июля.— В Москве вышла в свет поэма «Путь к социализму» (*Библиография*, № 178).

Июль.— В смоленском журнале «На культурном посту» (№ 5; подп. к печ. 5 июля) напечатана анонимная рецензия на два выпуска сб. «На стройке новой деревни» (*Библиография*, № 171, 176; см. также: *1930, декабрь*). С точки зрения рецензента, произведения Т. составляют в книге «излишний и вредный балласт», поскольку не могут претендовать «на показ новой деревни» (с. 59).

9 августа.— Т. присутствует на расширенном заседании ЗОАПП (*РП*, 1931, 9 авг.).

19 августа.— Т. записывает текст предполагавшегося выступления, в котором излагается замысел поэмы «Путь Василия Петрова» («Вступление») и ее содержание (см. выше: Тетрадь I).

Август.— В качестве корреспондента журнала «Западная область» Т. совершает поездку в Лукашинский с/с Сафоновского р-на. Результат — очерк «Организатор и руководитель колхозного производства» (*Библиография*, № 181).

2 ноября.— В «Литературной газете» (№ 59) напечатана рецензия Мих. Беккера на поэму «Путь к социализму» («Обезличка в колхозной поэзии»).

1932

27 января.— Т. участвует в совещании очеркистов, созванном Запоблгизом, и выступает в прениях по докладу заведующего изд-вом Н. Виницкого «Об организации объединения очеркистов» («Наступление», 1932, янв., ⟨№ 1⟩, с. 87).

17 февраля.— Подписан к печати последний номер журнала «Наступление» за 1931 г. (ноябрь—декабрь). В номере напечатана статья И. Каца «К чему приводит неправильное понимание задачи» — о книгах из серии «Библиотека школьника»; автор критикует сб. «На стройке новой деревни» (о нем см.: *1930, 7 сентября*; *1931, июль*) за то, что в нем отсутствует краеведческий материал и не показано колхозное строительство (с. 103).

Середина апреля.— Вышел в свет сб. «Третья большевистская ⟨...⟩», посвященный весенней посевной кампании; в сб. участвовал Т. (*Библиография*, № 183).

Вторая половина апреля.— Вышел «Дневник председателя колхоза» (*Библиография*, № 184).

23 апреля — середина мая.— Т. был в Зубцовском р-не по командировке газ. «Рабочий путь»; цель поездки — освещение хода посевной кампании (см. выше: Тетрадь II, записи 27 апреля и 5 мая 1932 г.; *Библиография*, № 185—187, 189, 190). Эту поездку Т. считал важным фактом своего творческого развития и включил ее в план «Автобиографии» (см. выше: Тетрадь II, запись 30 ноября 1933 г.)

28 мая.— Т. выступил на собрании актива советских писателей Западной области, посвященном постановлению ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. «О перестройке литературно-художественных организаций». Т. «указал на попытки торможения выполнения постановления ЦК, подчеркнул, что в этом случае самое опасное — не прямое сопротивление постановлению ЦК, а формальное и только «словесное» признание этого постановления, без попытки перестроиться реально» («Наступление», 1932, июнь, ⟨№ 6⟩, с. 89).

Май.— В журн. «Наступление» (⟨№ 5⟩) напечатана поэма «Путь Василия Петрова» (в дальнейшем «Вступление»).

Июль.— В журн. «Наступление» (⟨№ 7⟩) напечатана статья Я. Синельникова «О Твардовском». Автор статьи отмечает: «Твардовский как писатель за последний период значительно вырос», хотя пока еще «не может подняться до глубокого и серьезного обобщения явлений и типов» (с. 57, 61).

Июль.— Первая поездка Т. в колхоз «Память Ленина» (с. Рибшево Пречистенского р-на). Результат поездки — цикл очерков об этом колхозе (см. *1932, август — октябрь*).

14 августа.— Т. подает заявление о зачислении его в Смоленский педагогический институт. К заявлению приложена рекомендация:

«Оргкомитет Союза советских писателей Западной области ходатайствует о приеме в Смоленский педагогический институт на отделение языка и литературы поэта Твардовского А. Тов. Твардовский является одним из передовых писателей области, имеет ряд книг, изданных в Смоленске и в Москве.

А. Твардовский работает также и в области детской книги.

Учитывая загруженность тов. Твардовского редакционной работой, связанной с частыми поездками, Оргкомитет ходатайствует о приеме его без экзаменов.

Председатель — А. Локтев.

Секретарь — Н. Рыленков»

(Личное дело студента А. Твардовского. Начато 14 августа 1932 г. Закончено 20 июля 1936 г.— Архив Смоленского гос. пединститута).

Август — октябрь.— Опубликован первый цикл очерков о колхозе «Память Ленина» (*Библиография*, № 191—193).

1 сентября.— Т. приступил к занятиям на 1-м курсе Смоленского педагогического института.

Октябрь.— В московском журнале «ЛОКАФ» (№ 10) напечатана поэма «Вступление».

В московском журн. «Художественная литература» (№ 21; подп. к печ. 15 окт.) помещена рецензия Кл. Лавровой на «Дневник председателя колхоза». Рецензент считает, что, несмотря на некоторые ошибки, допущенные автором, «книжка Твардовского настолько интересна по замыслу, по материалу, по богатству творческих средств автора, *что ее следует рекомендовать для массового издания*» (с. 5).

Начало ноября.— Т. в числе других писателей Смоленска выступил на организованном Оргкомитетом ССП Западной области вечере, посвященном 15-летию Октября («Наступление», 1932, дек., ⟨№ 12⟩, с. 67).

Декабрь.— Журн. «Наступление» (⟨№ 12⟩) сообщил, что Запоблгиз предполагает издать повесть Т. о бригадах и бригадирах (с. 67). Однако, кроме очерка «Бригады и бригадиры» (*Библиография*, № 190), других материалов на эту тему не обнаружено.

Там же сообщалось о регулярных выступлениях смоленских писателей по радио с чтением своих произведений; в числе выступавших назван Т. (с. 67).

1933

22 февраля.— Многотиражная газета Смоленского пединститута «За пролетарские педкадры» (№ 4) сообщила, что при редакции этой газеты «организуется литературная консультация, ставящая своей задачей оказание практической помощи начинающим поэтам и писателям института и рабфака. Литконсультацией даются устные ответы и указания начинающим авторам; лучшие из произведений, поступающих в консультацию, будут печататься в «ЗПК». К участию в литконсультации привлекаются члены Союза советских писателей Западной области тт. Завьялов, Н. Рыленков, В. Смолин, А. Твардовский. Рукописи можно сдавать А. Твардовскому и М. Гуревичу (литотделение)».

3 апреля.— Подписано к печати отдельное издание поэмы «Вступление» (*Библиография*, № 196).

Май.— В майском номере журн. «Наступление» сообщалось: «А. Твардовский работает над циклом коротких стихов. Заканчивает повесть «Враги», готовит к печати сводную книгу стихов за 1929—1933 г.» (с. 95). Повесть «Враги» в печати не появилась, наброски ее (1932) сохранились в личном архиве Т. (Москва). О работе над книгой стихов см.: *1933, ноябрь — декабрь.*

12 июня.— Оргкомитет СПП Западной области организовал «поэтический декадник журнала «Наступление», посвященный творчеству смоленских поэтов. Докладчик А. В. Македонов оценил поэму «Вступление» как положительное явление литературной жизни области, отметив ее недостатки — прозаизм, надуманность образов (*РП*, 1933, № 136, 146, 11 и 22 июня; «Наступление», 1933, № 7—8, с. 107). Т. признал критику Македонова правильной.

20 июня.— Подписана к печати «Краевая учебная книга», изданная в исполнение постановления ЦК ВКП(б) «Об учебниках для начальной и средней школы», рекомендовавшего каждому краю и области ⟨...⟩ издавать краевую учебную книгу для начальных школ на базе местного краеведческого материала» («Правда», 1933, № 42, 12 февр.). В книгу включено 12 стихотворений Т. (*Библиография*, № 206).

28 июня.— Т. участвует во встрече писателей с библиотечными работниками и читателями в Областной библиотеке им. Ленина. На этой встрече библиотечные работники обязались: собрать отзывы рабочих читателей о ряде книг, в том числе о поэме «Путь к социализму» и книге «Дневник председателя колхоза» («Наступление», 1933, № 7—8, с. 108—109).

1 июля.— Т. участвует в очередном заседании литконсультации в Доме печати; обсуждались произведения начинающих писателей (*РП*, 1933, № 153, 30 июня).

29 июля.— Т. участвует в работе расширенного заседания Оргкомитета ССП Западной области совместно с участниками литературных кружков области (Бежица, Клинцы, Каменка и др.); цель совещания — оживление работы по подготовке к областному съезду писателей («Наступление», 1933, № 9, с. 150—159; *РП*, 1933, № 185, 8 авг.).

14 августа.— Газ. «Рабочий путь» (№ 191) сообщила: «Бригада писателей командирована облисполкомом и Оргкомитетом ССП в передовые сельсоветы области для художественного отображения их опыта к слету председателей сельсоветов». В бригаду вошел и Т. («Наступление», 1933, № 9, с. 155); он был командирован в Бельский р-н (*Библиография*, № 200, 202).

5—7 сентября.— Т. участвует в работе слета председателей передовых сельсоветов Западной области (*РП*, 1933, № 213—216, 5—8 сент.; *Библиография*, № 201).

24 сентября.— Т. фиксирует в дневнике начало работы над поэмой «Мужичок горбатый» (см. выше: Тетрадь II).

28 сентября.— Т. выступал на «декаднике», посвященном творчеству В. Шурыгина («Наступление», 1933, № 10, с. 94).

Сентябрь.— В московском журнале «Художественная литература» (№ 9) напечатана рецензия А. Т. Тарасенкова на поэму «Вступление». «Поэма,— пишет рецензент,— рит-

мически проста, цельна и едина. Твардовский сумел выразить в стихотворной форме идеи большого социального направления 〈...〉 очень сильно помог ему простой, но в то же время высокохудожественный стих»; вместе с тем «стремление Твардовского к максимальной точности и конкретности временами превращается в своеобразный художественный аскетизм, излишнюю сухость и прозаизм» (с. 19).

Сентябрь.— В смоленском журнале «На культурном посту» (№ 9) напечатана рецензия И. Чикина на «Краевую учебную книгу» (см. о ней: *1933, 20 июня*). Рецензент отмечает стихи Т.: «Они написаны живо, ярким и образным языком, вполне доступны для ребят первого и второго года обучения 〈...〉 Главное достоинство этих стихотворений в том, что в них ярко и образно отражены природные и хозяйственные особенности Западной области» (с. 70).

Октябрь.— Т. выступал на «декаднике», посвященном творчеству Н. Рыленкова («Наступление», 1933, № 10, с. 94).

4 ноября.— Т. выступает на «декаднике», посвященном творчеству Н. Павлова («Наступление», 1933, № 11—12, с. 119).

14 ноября.— Т. выступает на «декаднике», посвященном творчеству В. Кудимова, предостерегая молодого писателя от присущего ему «подражания образцам декадентской литературы» («Наступление», 1933, № 11—12, с. 120).

30 ноября.— Т. составляет план «Автобиографии» (см. выше: Тетрадь II).

Ноябрь.— В журн. «Молодая гвардия» (№ 11) напечатана статья А. Тарасенкова «Борьба за простоту (О творчестве Александра Твардовского)».

Ноябрь — декабрь.— Т. работает над «Предисловием» к задуманному им сборнику «Стихи и поэмы», рассматривая это «предисловие» как подведение итогов собственной «поэтической истории» (см. выше: Тетрадь II, записи 10, 12, 30 ноября и 11 декабря 1933 г.).

4 декабря.— В Смоленске состоялся вечер встречи читательского актива с писателями; докладчик — председатель Оргкомитета ССП Западной обл. М. С. Завьялов — отметил Т. в ряду писателей, известных уже за пределами области («Наступление», 1934, № 1, с. 108).

22 декабря.— На заседании Оргкомитета ССП Западной обл. решено выпустить к предстоящей IV Облпартконференции «Однодневную литературную газету» с целью показать «состояние литературного фронта области»; в состав редколлегии вошел Т. («Наступление», 1934, № 1, с. 107). В этот же день на совещании критиков в редакции «Наступления» обсуждался план критического отдела журнала на 1934 г.; план предусматривал ряд статей о писателях области, в том числе о Т. (там же, с. 110).

Декабрь (до 24).— Командировка в колхоз «Решительный» (с. Бобовичи Новозыбковского р-на). Результат поездки — очерк «Пусть Игнат Белый скажет...» и «Приветственное слово-отчет колхоза «Решительный» 〈...〉» (*Библиография*, № 205, 208); см. также выше: Тетрадь II, записи 11 и 24 декабря 1933 г.).

1933 г.— Т. работает в Смоленском радиокомитете. Э. П. Зубарева вспоминает: «Поступила я в Радиокомитет в октябре 1933 г. 〈...〉 Мы встретились с А. Твардовским в маленькой застекленной комнатке, он показал мне на стол, где я должна была работать редактором литературного вещания. Никаких дел, планов он мне не передавал, а дал отрывок из поэмы, какой я даже не помню. Но помню, что это был эпизод, как женщины колхоза, доведенные до голода, разбивают амбар и растаскивают посевное зерно. На этом кончался отрывок. Я робко попросила продлить отрывок, чтобы у слушателя не остался тяжелый осадок на душе. Саша улыбнулся и продлил отрывок. Потом я искала этот отрывок в поэмах «Вступление», «Путь к социализму», там были похожие эпизоды, но не тот, какой я помню. После он у микрофона сам не читал, но его стихи я часто передавала по радио» (Письмо Э. П. Зубаревой к Р. М. Романовой, 8 ноября 1980 г.).

1934

8 января.— Газ. «Рабочий путь» посвятила творчеству Т. и Рыленкова рубрику «Колхозные поэты на предсъездовской трибуне». Здесь напечатаны: стихотворение Т. «Гость», а также статьи И. Каца («По наказу вождя») и Я. Синельникова («Три документа роста»). Синельников оценивал «Путь к социализму», «Вступление» и «Дневник председателя колхоза» как «три ярких документа идейного и художественного роста поэта», как «бесспор-

ное достижение нашей областной художественной литературы». И далее: «Твардовский 〈...〉 со свойственным ему вдумчивым и серьезным отношением к теме уже многое сделал для художественного освещения актуальных проблем и вопросов социалистического строительства». Высокая оценка поэмы «Вступление» дана также в статье Каца (перепечатана: «Наступление», 1934, № 1).

18 января.— К IV Облпартконференции в Смоленске вышла «Однодневная литературная газета» (см. о ней: *1933, 22 декабря*). Разыскать газету не удалось. По информации журн. «Наступление» в ней содержались произведения писателей области, в том числе Т., и статьи «об отдельных отрядах и представителях творческого актива областной литературы» (1934, № 2, с. 114).

27 января.— Т. выступает на «декаднике», посвященном творчеству С. Курдова («Наступление», 1934, № 2, с. 116).

30 января.— В «Литературной газете» (№ 10; рубрика «Обзор печати») помещена заметка «Типичное явление» (без подписи); смоленская «Однодневная литературная газета» (см.: *1934, 18 января*) расценивается здесь как «неоспоримый признак роста» Западной области, отмечено, что «ряд писателей, выросших в области», в том числе Т., «печатается и издается в центральных издательствах».

4—8 февраля.— Т. участвует в работе бригады писателей Западной области, выехавшей в Минск для установления связи с Оргкомитетом ССП Белоруссии, заключения соцдоговора и ознакомления с достижениями белорусской советской литературы. Бригаду возглавил Н. Виницкий, в составе ее: М. Исаковский, Н. Рыленков, А. Твардовский и др. *4 февраля* бригада выехала из Смоленска. «Дни пребывания в Минске (5—8 февраля) были посвящены детальному ознакомлению с успехами социалистической стройки БССР, посещению промышленных предприятий, институтского городка, библиотеки и т. д.» («Наступление», 1934, № 2, с. 111; см. также Еф. С-и й. Делегация советских писателей Западной области в Минске.— «Рабочий». Минск, 1934, № 31, 8 февр.). *5 февраля* члены бригады встретились с делегацией писателей Белоруссии; в тот же день они присутствовали на общегородском собрании писателей Минска. *6 февраля* состоялся «вечер творческого содружества» в минском Доме писателей: доклад о литературе Западной области прочел И. Кац, члены бригады и писатели Белоруссии выступили с чтением своих произведений; Т. прочел отрывок из поэмы «Мужичок горбатый» (С-i. Вечар творчага садружаства.— «Літаратура і мастацтва», 1934, № 7, 12 февраля). *7 февраля* на расширенном заседании Оргкомитета ССП Белоруссии обсуждался и был подписан договор о соцсоревновании между писателями Белоруссии и Западной области; в договоре намечались мероприятия «по участию в подготовке и проведении сева», «по лучшей подготовке к съезду писателей», «по детской литературе» и др. («Наступление», 1934, № 2, с. 111—112; там же см. текст договора). В тот же день Т. вместе с другими членами бригады выступил на литературном вечере в Минском пединституте. *8 февраля* Т. читал стихи на митинге кожзавода «Большевик». Вечером бригада выехала в Смоленск.

Между 9 и 15 февраля.— Поездка в колхозы Сычевского р-на. Результат поездки — очерк «Большой год Матрены Сергеевой» (*Библиография*, № 207).

12 февраля.— В белорусской газете «Літаратура і мастацтва» (№ 7) напечатано стихотворение «Гость» в переводе Сергея Дорожного. Это первый перевод произведения Т. на языки народов СССР (см.: Р. Романова. Первый переводчик Твардовского.— *ВЛ*, 1977, № 7, с. 312—313).

14 февраля.— На расширенном заседании Оргкомитета ССП Западной обл. были подведены итоги поездки бригады писателей в Минск («Наступление», 1934, № 2, с. 113).

27 февраля.— Секретарь Запобкома ВКП(б) И. П. Румянцев принял делегацию писателей области; Т. входил в состав делегации. В ходе беседы обсуждался «ряд вопросов по реализации решений XVII съезда в области литературы», намечена дата открытия областного съезда писателей — 23 апреля, «день годовщины решения ЦК ВКП(б) о перестройке литературных организаций», принято решение об издании в Смоленске «Декадной литературной газеты» («Наступление», 1934, № 3, с. 3—7; «Декадная лит. газета», 1934, № 1, 1 апр.).

В тот же день Т. выступил на «декаднике», посвященном творчеству Ив. Мандрика («Наступление», 1934, № 3, с. 103).

28 февраля.— В газ. «Літаратура і мастацтва» (№ 11) напечатана статья И. Каца и Я. Синельникова «На шляху ідэёва-творчаго роста» («На пути идейно-творческого ро-

ста») — о творчестве писателей Западной области. В статье дана положительная оценка работам Т.

Февраль.— Закончена работа над поэмой «Мужичок горбатый» (см. выше: Тетрадь II, записи 10 и 23 февраля 1934 г.).

Февраль — март (до 5).— Т. посылает в московское изд-во «Советская литература» рукопись сборника «Стихи и поэмы» (содержание его записано «по памяти» в рабочей тетради 5 марта — см. выше: Тетрадь II). О судьбе сборника см. ниже: 1934, 23—25 апреля.

Конец марта.— В журн. «Наступление» (№ 1; подп. к печ. 20 марта) напечатана статья В. Муравьева «Преодоление литературного шаблона («Вступление» Твардовского)». Поэма оценивается здесь как «значительное произведение», которое «показывает историческую весну 1930-го года и ее героев глубже, многостороннее и правдивее», чем это удалось другим авторам (с. 57).

1 апреля.— «Декадная литературная газета» (№ 1) сообщала: «Печатается и днями выйдет в свет «Приветственное слово-отчет колхоза «Решительный». Текст записан А. Твардовским. В книге рассказано о достижениях и жизни колхоза «Решительный» Новозыбковского района Западной области. Книга богато иллюстрирована». Книга вышла без указания имени автора (*Библиография*, № 208); единственный обнаруженный нами экземпляр ее хранится в личном архиве Т. О поездке в колхоз «Решительный» см. 1933, *декабрь*.

В том же номере газеты напечатано сообщение о предстоящем выходе книжки-картинки Т. «Молочный колхоз» (*Библиография*, № 210) и коллективного сборника «Стихи о зажиточной жизни», приуроченного к областному съезду писателей; в сборнике напечатан отрывок из поэмы «Мужичок горбатый» (*Библиография*, № 209).

23—25 апреля.— В Смоленске проходил I областной съезд писателей Западной области. В отчетном докладе М. С. Завьялова, председателя областного Оргкомитета ССП, Т. назван среди писателей, которые были ошибочно «отброшены и чуть ли не объявлены классовыми врагами»; теперь же предпринятая в соответствии с решением ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. перестройка работы писательских организаций «вовлекла их в интенсивную литературную жизнь области» («Наступление», 1934, № 5—6, с. 77—78). В докладе А. В. Македонова «Поэтический участок областной литературы» Т. назван «наиболее оригинальным, наиболее самостоятельно работающим из поэтов нашей области» (там же, с. 111). Анализируя творчество Т., докладчик особо отметил еще не напечатанную поэму «Мужичок горбатый» — произведение, убедительно показывающее, «как внутри колхоза завершается процесс переделки человека, как складываются новые отношения к общественной собственности, к общественному труду» (там же, с. 110). С Македоновым полемизировал представитель Оргкомитета ССП СССР К. Л. Зелинский, выступивший с обзором литературы Западной области. Признавая Т. «безусловно человеком литературно одаренным», он резко критикует поэму «Мужичок горбатый» с точки зрения ее идейного содержания, усматривая в ней «душок не нашего представления о бедняке»; особо остановился Зелинский на сборнике стихов, который Т. подготовил к печати: «Именно мне довелось прочитать в качестве редактора книгу, которую он сам собрал и передал в издательство «Советская литература». Там собраны стихи от 29 до 33 г. По совести сказать — я эту книжку отклонил. Я считаю, что тов. Твардовскому еще рано печатать эти стихи отдельной большой книгой. Его поэзия еще не на таком идейном и художественном уровне, чтобы она по-настоящему воспитывала читателя» (там же, с. 92; содержание сборника см. выше: Тетрадь II, запись 5 марта 1934 г.). С резкой критикой творчества Т. выступил В. Горбатенков («Говорить о серьезных вещах выпрямившись!» — там же, с. 137—144).

Апрель.— Журн. «Наступление» (№ 4) отметил, что поэзия Т. «утверждает правду социалистических путей деревни» (Н. В и н и ц к и й и др. За высокое мастерство, с. 4). В том же номере журнала редактор Запгиза Е. М. Блинова писала по поводу детской книжки Т. «Молочный колхоз» (*Библиография*, № 210): «Мы будем иметь поэта, которого дети будут читать, понимать и запоминать» («О детской художественной литературе», с. 76).

Конец апреля — начало мая.— Поездка в колхоз «Передовик» Кублицкого с/с Невельского р-на. Результат поездки — очерк «Пастух Востренков и его стадо» (*Библиография*, № 211).



«МОЛОЧНЫЙ КОЛХОЗ». СТИХОТВОРЕНИЕ А. Т. ТВАРДОВСКОГО ДЛЯ ДЕТЕЙ
Смоленск. Запгиз, 1934
Обложка и страница с иллюстрацией Ф. Ф. Лабренца

13 мая.— Газ. «Правда» (№ 130) выступила с критикой номера «Декадной литературной газеты», выпущенного к I съезду писателей Западной области: «приведенные в газете образцы художественной прозы и поэзии ⟨...⟩ никак не оправдывают тех громких слов, которыми пестрят критические статьи о росте литературы Западной области»; газета «показывает печальный пример неграмотности и неряшливости литературного областного руководства» («Художественные сучки и критические бревна»; без подписи). Номер газеты, о котором идет речь (№ 3, 21 апр.), не разыскан, содержание его не установлено.

19 мая.— Бюро Западного обкома признало правильным критическое выступление «Правды» от 13 мая.

20 мая.— Собрание писателей Западной области обсудило решение бюро обкома, принятое 19 мая в связи с выступлением «Правды» от 13 мая. Поэт Ив. Мандрик выступил с утверждением, что отношение некоторых критиков к поэме Т. «Мужичок горбатый» являет пример того, как щедро раздаются «лавровые венки» при замалчивании «срывов идеологического и художественного характера» («Наступление», 1934, № 5—6, с. 175; см. также *РП*, 1934, № 117, 20 мая).

27 июня.— «На заседании комиссии Всесоюзного Оргкомитета Союза советских писателей ⟨...⟩ были рассмотрены заявления, представленные руководством ССП Западной области. В работе комиссии приняли участие руководители бригады по изучению лите-

ратуры Западной области К. Зелинский и председатель ССП Западной области М. Завьялов»; на этом заседании Т. принят в члены Союза («Наступление», 1934, № 7, с. 111).

Первая половина июля.— Т. провел две недели в лагере Осоавиахима («Пятнадцать дней, которые дали много».— *Библиография*, № 221).

17 июля.— Газ. «Большевистский молодняк» (№ 165) напечатала статью В. Горбатенкова «Кулацкий подголосок. О стихах А. Твардовского». Автор статьи обрушивается не только на Т., но и на критиков, оценивающих положительно его творчество: он обвиняет А. Тарасенкова, А. Македонова и др. в том, что они скрывают от читателей «идеологические и художественные пороки» Т.

25 и 27 июля.— Проходил «декадник», посвященный творчеству Т. Председательствующий М. Завьялов сказал, что «критика не всегда последовательно вскрывала ошибки Твардовского и это необходимо сделать сейчас, когда об этом заговорила комсомольская газета» (см.: *1934, 17 июля*). С докладом о творчестве Т. выступил А. В. Македонов, защищавший Т. от обвинений, предъявлявшихся ему в статье Горбатенкова. Выступавшие в прениях В. Горбатенков, Н. Матяс (редактор газеты «Большевистский молодняк») и Н. Павлов поддержали основные положения статьи Горбатенкова, обвиняя Т. в «кулацких тенденциях». Поэт Ив. Липовка (сотрудник газеты «Красноармейская правда») заявил, что Т. «искаженно показывает нашу действительность», однако «не так надо было бы критиковать», как это делает Горбатенков. Его выступление поддержал Н. Рыленков. Т. сказал, «что не считает себя совершенным поэтом, что в его творчестве еще много недостатков, ошибок и что ему еще надо упорно учиться, в чем должна помочь критика», но «критика нужна не такая резкая и оглушительная, как в статье Горбатенкова». В заключение Т. обещал, что в ближайшем будущем «эта же аудитория сможет обсудить его новые произведения, которыми он покажет, как исправлять ошибки». Зам. заведующего Культпропом обкома ВКП(б) указал: «нельзя огульно отрицать все творчество Твардовского. Он еще учится, растет и, естественно, совершает ошибки. Однако его творческие и политические срывы не столь велики, чтобы «стереть его с лица земли». Подводя итоги, Завьялов присоединился к позиции Горбатенкова, однако высказал надежду, что «Твардовский, находящийся еще на первых ступенях своего роста, сумеет воспринять критику, выправиться, доказав это новыми произведениями» (см. две информации «С литературного декадника, посвященного творчеству А. Твардовского»: К ⟨а ц⟩. Критика должна быть бдительной; К ⟨а ц⟩. Суровая самокритика — могучий рычаг в преодолении ошибок.— «Большевистский молодняк», 1934, № 173 и ⟨175⟩, 27 и 30 июля).

1—5 августа.— Поездка в Урицкий с.-с. Великолуцкого р-на (см. выше: Тетрадь II, запись 1—5 авг. 1934 г.). Результат поездки — очерки «Островитяне» и «Бывшая деревня Борок» (*Библиография*, № 218, 219).

15 августа.— В газ. «Рабочий путь» (№ 190) напечатан обзор журнала «Наступление» — «Помнить об ответственности перед читателем» (без подписи). В ряду произведений, рассказывающих «о новой жизни, утвердившейся в колхозах, о новых людях и новых чувствах людей», названы очерки Т.

17 августа — 1 сентября.— Т. присутствует на I Всесоюзном съезде советских писателей в качестве делегата с совещательным голосом («Стенографический отчет I Всесоюзного съезда писателей». Приложение: Списки делегатов, № 175, М., 1934).

18 августа.— В «Литературной газете» (№ 105) напечатана статья А. Тарасенкова «О загибах по-смоленски», в которой резко осуждаются выступления Горбатенкова и других смоленских критиков против «молодого талантливого поэта А. Твардовского». «Среди поэтов Западной области,— писал московский критик,— Твардовский один из наиболее интересных и талантливых ⟨...⟩ Пора, наконец, положить конец этой возмутительной истории».

19—25 сентября.— Выступления Т. с докладом «Итоги I Всесоюзного съезда писателей»: *19 сентября* — на партактиве просвещенцев и учащихся г. Старицы; *24 сентября* — на расширенном пленуме горсовета г. Ржева; *25 сентября* — в колхозе «Искра» Ржевского р-на («Наступление», 1934, № 9—10, с. 223).

6 октября.— Т. записывает замысел «эпопеи», т. е. будущей поэмы «Страна Муравия», и делает выписки из выступления А. А. Фадеева на Пленуме Оргкомитета ССП, подсказавшего ему этот замысел. В тот же день Т. записывает новый план книги своих стихов (см. выше: Тетрадь II; ср.: *1934, 5 марта*).

8 октября.— Т. начал работу над поэмой «Страна Муравия», записывая «первые пробы размера» поэмы (см. выше: Тетрадь II, запись 18 октября 1934 г.).

24 октября.— В газ. «Рабочий путь» (№ 249) напечатана первая литературоведческая работа Т. «Страница большой биографии» (*Библиография*, № 223).

Конец октября — начало ноября.— Т. побывал в колхозе «Память Ленина» (с. Рибшево, Духовщинского р-на) и в г. Старица. Результаты поездки — очерки «Огни колхозной усадьбы» и «Заброшенный музей» (*РП*, 1934, № 263 и 265, 12 и 15 ноября).

27 ноября.— Т. отчислен «по собственному желанию» с третьего курса Смоленского педагогического института (Личное дело студента А. Т. Твардовского — Архив Смоленского гос. пед. ин-та).

〈Конец 1934 г.〉 — Т. присутствует на смотре сельской художественной самодеятельности. «Помню, как мы случайно оказались рядом на смотре художественной самодеятельности в 1934 г. 〈...〉 Когда мы смотрели выступление самодеятельности Починковского района, там был один номер — отец и сын танцевали так называемую «рассыпуху». Молодой отец и сынишка лет 4—5, одетые одинаково в черных костюмах, ладно сшитых сапожках, изумительно ладно танцевали, вызывая друг друга на новые «коленца». Мы были в восторге. Как я была благодарна Твардовскому за то, что в поэме «Страна Муравия» он великолепно описал этот эпизод» (Письмо Э. П. Зубаревой к Р. М. Романовой, 8 ноября 1980 г.). Этот эпизод описан в гл. 18-й поэмы «Страна Муравия».

1935

7 января.— В Смоленске открылся III областной съезд Советов. К открытию съезда ССП Западной области подготовил «Однодневную литературную газету», в состав редколлегии входил Т. «Газета покажет деятелей колхозов, совхозов 〈...〉 Отдел «Фронт искусства — съезду Советов» 〈...〉 покажет, как участвуют в перевыборах советов писатели, театр, художники» («Наступление», 1934, № 12, с. 132). Газета не сохранилась, содержание ее неизвестно.

22 января.— Вместе с Д. Осиным и Е. Марьенковым Т. ездил в с. Рибшево на празднование пятилетия колхоза «Память Ленина» (письмо М. В. Исаковскому от 26 января 1935 г.— *ДН*, 1976, № 7, с. 249; Ал. Флоровский. Молодость артели.— *РП*, 1935, № 18, 21 янв.). Результат поездки — «Рассказы об одном колхозе» (*Библиография*, № 234).

13 февраля.— Т. выступил на «декаднике», посвященном разбору творчества Д. Осина. Критикуя поэму «Орлань», Т. сказал: «После статей М. Горького «О языке» каждый писатель должен очень внимательно просмотреть тот материал, которым он пользуется, т. е. слово» («Наступление», 1935, № 2, с. 133).

28 марта.— В газ. «Рабочий путь» (№ 72) напечатан первый отрывок из поэмы «Страна Муравия» («Плясовая»).

Март.— Журн. «Литературная учеба» в редакционной статье «Воспитывать писателей большевиков», посвященной литературной жизни «на местах», указывает на недопустимость «взаимоподсиживания и беспринципной склоки, как, например, склока в Смоленске, где начинающий полупоэт, полукритик Горбатенков старательно «изничтожает» как классового врага другого смоленского поэта, Твардовского, не стесняясь в выборе слов» (с. 6; о выступлении Горбатенкова против Т. см.: *1934, 17, 25 и 27 июля*).

14 апреля.— В газ. «Большевистский молодняк» (№ 74) напечатана статья В. Горбатенкова, И. Каца, Н. Рыленкова «Стих — это бомба и знамя. К областному поэтическому совещанию». «Твардовский,— сказано в статье,— начал с открыто кулацких стишков 〈...〉 В «Мужичке горбатом», в цикле «Семья», «Старушке» и ряде других 〈...〉 находим продолжение одной и той же линии — утверждение кулачества в жизни, извращенный показ бедноты». О цикле стихов «Семья» см. выше: Тетрадь II, запись 28 марта 1935 г.; «Старушка» см. наст. том, с. 368.

14—16 апреля.— Т. присутствует на совещании поэтов Западной области. С докладом «Заметки о поэзии 1934 г.» выступил московский критик М. И. Серебрянский. Характеризуя творчество Т., он возразил авторам вышеупомянутой статьи (см. *1935, 14 апреля*): «Обвинения тяжелые, суровые и в такой же мере несправедливые. По существу товарищи отказывают Твардовскому в звании советского поэта, но их обвинительный акт построен на песке и является плодом резкого непонимания специфики стихов Твардовского 〈...〉 Об этом стоит поговорить подробнее, ибо история с Твардовским имеет принципиальное

значение». И далее: «На огульные и несправедливые обвинения т. Твардовский ответил делом, т. е. новым произведением, большой поэмой на колхозную тему ⟨...⟩ Поэма еще нигде не печаталась, более или менее будет закончена только первая часть, но даже по черновику можно оценить ее, как интересное явление советской поэзии на тему о современной деревне» («Наступление», 1935, № 4—5, с. 184—186; № 6, с. 75). Серебрянского поддержал в своем выступлении московский критик С. Кирьянов («Творчество поэтов Западной области»): «Статья эта ⟨Горбатенкова, Каца и Рыленкова⟩ дает неправильную политическую оценку Твардовскому, как поэту. Никто на основании творчества этого поэта не может сказать, что он является кулацким поэтом. Твардовский идет очень трудными и сложными путями ⟨...⟩ Газета «Большевистский молодняк» в интересах общего дела должна дать правильную оценку творчества А. Твардовского ⟨...⟩ Твардовский подходит к изображению нашей колхозной действительности очень своеобразно ⟨...⟩ Но он упорно движется по пути правдивого реалистического отражения жизненных явлений. Поэма «Страна Муравия», над которой он сейчас работает, показывает это с несомненной очевидностью» («Наступление», 1935, № 6, с. 90 и 93). Выступления обоих критиков были перепечатаны московскими журналами: С. К и р ь я н о в. Молодые поэты Западной области.— «Лит. учеба», 1935, № 6; М. С е р е б р я н с к и й. Заметки о поэзии.— «Знамя», 1936, № 6. Эти оценки поэмы — первые отзывы о ней, появившиеся в печати.

16 апреля.— Подписан к печати сб. «Паэты Заходняй вобласці» (сост. Т.), в который вошла поэма «Путь Василия Петрова» в пер. на белорусск. яз. С. Дорожного (*Библиография*, № 188).

25 апреля.— Т. получил из редакции журнала «Красная новь» запрос о поэме «Страна Муравия» (см. письмо Исаковскому 25 апр. 1935 г.— *ДН*, 1976, № 7, с. 251).

В тот же день Т. сообщил Исаковскому: «поеду (после праздников) в один большой колхоз в порядке союзной работы по созданию книги о людях наших колхозов» (Там же, с. 252; см. также письма 29 апр. и 7 мая 1935 г.— с. 252, 253). Эта «союзная работа» — издание серии «История деревни», предполагавшееся по инициативе Горького (задачи его Горький изложил в статье «История деревни».— *ЛГ*, 1935, № 11, 24 февр.; «Правда», 1935, № 55, 25 февр.). В исполнение этого замысла Запоблгиз выпустил сборник «Колхозная Смоленщина», в котором участвовал и Т. (*Библиография*, № 251).

7—15 мая.— В исполнение плана, изложенного выше, Т. находился в колхозе «Память Ленина» (письмо Исаковскому 7 мая 1935 г.— *ДН*, 1976, с. 253; дневниковые записи 7—15 мая 1935 г.— Личный архив Т., Москва). Результат поездки — очерк «Озеро» (*Библиография*, № 238, 251).

8—22 июня.— Вместе с Исаковским Т. совершил поездку на родину Исаковского (дневниковые записи 8—22 июня 1935 г.— Личный архив Т., Москва). Журн. «Наступление» (№ 7, с. 212) сообщал об этой поездке: «Возвратились из творческой командировки поэты Мих. Исаковский и А. Твардовский. Поэты посетили с. Оселье Всходского района, родное село М. В. Исаковского, ныне колхоз, где работают его братья и семидесятилетняя мать ⟨...⟩ По приглашению районного совещания педагогов тт. Исаковский и Твардовский выехали во Всходы. Учительство района устроило теплую встречу земляку-поэту М. В. Исаковскому. Вечер, на котором поэты выступили с чтением своих произведений, прошел очень оживленно ⟨...⟩ В Ельне тт. Исаковский и Твардовский выступили на большом литературном вечере для районного актива ⟨...⟩ Конечной точкой маршрута был колхоз «Память Ленина» Пречистенского района, крупнейший и популярнейший колхоз Западной области» (см. также: письма Твардовского Исаковскому 30 мая и 27 июня 1935 г.— *ДН*, 1976, № 7, с. 253—254; Михаил И с а к о в с к и й. На Ельнинской земле. М., «Известия», 1978, с. 62 и 570).

5—7 июня. Писательский актив Западной области обсуждал речь П. П. Постышева на пленуме Правления ССП УССР («Пути развития украинской литературы».— «Правда», 1935, № 158, 10 июня). В своем выступлении Т. отметил, что «всесторонняя помощь, оказываемая нашей страной писателям, обязывает писателей проявлять большую творческую активность» («Наступление», 1935, № 7, с. 116).

Начало июля (до 7).— Т. назначен литературным консультантом Союза СП Западной области (письмо Исаковскому 7 июля 1935 г.— *ДН*, 1976, № 7, с. 256); в его обязанности входило рецензирование рукописей начинающих авторов (см. две его рецензии.— *Библиография*, № 239, 242).

Конец июля (до 30).— Т. завершает первую редакцию поэмы «Страна Муравия» —

подпись на авторизованной машинописной копии: «А. Твардовский, 1935 г. Июль. Смоленск» (АГ, РАв-пГ-93-4-2); см. выше: Тетрадь III, запись 25 июля 1935 г.

30—31 июля.— Т. с женой останавливается на два дня в Москве (по пути в Хосту). Читает у Исаковского «Страну Муравию»; после чтения Исаковский через зав. редакцией журнала «Колхозник» Е. З. Крючкову передал поэму Горькому (см. выше: Тетрадь III, запись 3 августа 1935 г.).

2 августа.— Т. с женой приезжает в Хосту.

10 августа.— Т. читал поэму у В. Ф. Асмуса (см. выше: Тетрадь III, запись 11 авг. 1935 г.); отзывы Асмуса и Луговского см.: там же, запись 8 сентября 1935 г.

20 или 21 августа.— Т. узнал об отрицательном отзыве Горького о поэме «Страна Муравия» (см. выше: Тетрадь III, запись 23 авг. 1935 г.).

Между 23 и 27 августа.— Т. читал «Страну Муравию» М. Голодному и М. Светлову (см. выше: Тетрадь III, запись 27 авг. 1935 г.). Отзывы Голодного и Светлова см.: там же, запись 8 сентября 1935 г.

Август.— Журн. «Наступление» (№ 8) сообщил: «СПП Западной области подготовил к печати сборник для колхозной сцены и эстрады ⟨...⟩ В отделе стихов печатаются: ⟨...⟩ А. Твардовский — «120 лет», «Перепляс» ⟨...⟩ Сборник должен выйти из печати к XVII годовщине Октября» (с. 118). Сборник («Своими силами». Смоленск, 1935) подписан к печати 23 дек. (в него вошел только «Перепляс».— *Библиография*, № 247).

8 сентября.— Т. в редакции журнала «Колхозник» переписывает отзыв Горького на поэму «Страна Муравия» и его замечания, сделанные на рукописи поэмы.

29 сентября.— Т. сообщил Исаковскому об окончании работы над «Страной Муравией» (*ДН*, 1976, № 7, с. 262).

Начало октября.— «Страна Муравия» отослана в журнал «Красная новь» (письмо Исаковскому 16 окт. 1935 г.— там же, с. 264).

Октябрь (до 22).— Вышла в свет первая книга стихов Т.— «Сборник стихов. 1930—1935». Смоленск, Запгиз, 1935 (см. письмо Исаковскому 22 окт. 1935 г.— *ДН*, 1976, № 7, с. 265).

4 ноября.— Т. подписывает договор с редакцией журнала «Красная новь» на публикацию поэмы «Страна Муравия» (письмо Т. Исаковскому 5 ноября 1935 г.— Там же, с. 265—266).

Конец ноября (до 29).— Окончательный текст «Страны Муравии» отослан в московское отделение ССП для предстоящего обсуждения (письмо Исаковскому 29 ноября 1935 г.— *ДН*, 1976, № 8, с. 254).

Начало декабря.— Т. был в колхозе «Новый путь» Сафоновского р-на (письмо Исаковскому 29 ноября 1935 г.— Там же, с. 254). Результат поездки — очерк «Мастерица» (*Библиография*, № 244).

12 декабря.— В газ. «Известия» напечатана рецензия В. Ф. Асмуса на «Сборник стихов» Т.: «Только подлинный поэт,— пишет рецензент,— притом поэт советский, превосходно знающий советскую деревню, может с таким тонким лирическим тактом, одним-двумя штрихами поэтически передать противоположность колхозного и единоличного отношения к труду («Гость»). Перед нами поэт, которому есть что сказать и у которого — свой голос».

21 декабря.— В московском Доме литераторов проходило обсуждение «Страны Муравии». «Литературная газета» сообщала, что на этом обсуждении поэма «получила высокую оценку ⟨...⟩ «Большая творческая удача», «настоящее талантливое произведение», «произведение большого поэтического и социального звучания», «первая удача в колхозной поэзии» — так характеризовали поэму участвовавшие в обсуждении товарищи» («Страна Муравия» А. Твардовского»; без подписи.— *ЛГ*, 1935, № 71, 24 дек.).

28 декабря.— Газ. «Рабочий путь» (№ 298) перепечатала информацию из «Литературной газеты» об обсуждении поэмы «Страна Муравия» (см.: *1935, 21 декабря*).

1936

1 января.— В газ. «Рабочий путь» (№ 1) опубликован отрывок из «Страны Муравии» («Последний поп») с примечанием: «Полностью поэма будет помещена в журнале «Красная новь».

10—15 февраля.— В Минске работает III пленум Правления ССП СССР (*ЛГ*, 1936, №8 и 11 от 10 и 16 февр.); Т. присутствует на пленуме (Маргарита А л и г е р. Тропинка во ржи. М., «Сов. писатель», 1980, с. 219—220).

Апрель.— В журн. «Красная новь» (№ 4) напечатана поэма «Страна Муравия».

24 мая.— В «Литературной газете» (№ 30) напечатана статья А. Адалис «Страна Муравия». Т. пользуется «простым, некрасовским языком»,— утверждает критик. Однако сюжет поэмы напоминает «ряд уже хорошо известных в литературе», а образ главного героя остается «не раскрытым до конца», «как бы выпадающим из общего круга», «пассивным», «созерцательным».

2 июня.— Газ. «Рабочий путь» (№ 126) сообщала на «Литературной странице» о выходе в свет поэмы «Страна Муравия» (Смоленск, Запоблгиз, 1936; подп. к печ. 27 мая 1936 г.). Здесь же опубликованы отзывы читателей о поэме и рецензия А. В. Македонова «Поэма о хорошей жизни», оценивающая «Страну Муравию» как значительное «достижение советской поэзии».

В тот же день подписан к печати сб. «Колхозная Смоленщина» (*Библиография*, № 251); см. о нем: *1935*, 25 апреля.

Первая половина июня.— Вторая поездка Т. с Исаковским на его родину — в с. Глотовка и Всходы (письмо Исаковскому 14 июня 1936 г.— *ДН*, 1976, № 8, с. 256; Мих. И с а к о в с к и й. На Ельнинской земле. М., 1978, с. 570). 7 июня Т. и Исаковский присутствуют на олимпиаде художественной самодеятельности во Всходах (описана в очерке «Праздник песни» — *Библиография*, № 252). См. также: *Твардовский*, т. 5, с. 261.

12 июля.— В газете «Труд» (№ 159) напечатана статья А. Лейтеса «Литературное обозрение»; автор отмечает, что в «Стране Муравии» «Твардовский без лакировки, художественно убедительно раскрыл человеческие переживания крестьянина-единоличника, решившего перейти к новой жизни».

20 июля.— Закончено личное дело студента Твардовского в Смоленском педагогическом институте (Архив Смол. пед. института).

Июль.— В журн. «Красная новь» (№ 7) напечатана статья Е.Златовой «Страна Муравия», полемичная по отношению к статье Адалис (см.: *1935*, *24 мая*): идейно-художественная задача, поставленная автором, по мнению Златовой, полностью решена.

Июль — август.— Переезд в Москву.

1 сентября.— Т.— студент филологического факультета Московского института истории, философии и литературы им. Н. Г. Чернышевского (Алексей К о н д р а т о в и ч. В том далеком ИФЛИ (Из воспоминаний об Александре Твардовском).— «Аврора», 1974, № 11, с. 72—76; № 12, с. 51—55; Лев О з е р о в. Годы учения.— «Звезда», 1976, № 8, с. 198—206).

10 сентября.— В «Литературной газете» (№ 51) напечатана статья редактора отдела художественной литературы Свердловского ГИЗа Е. Блиновой «Редактор и писатель». Здесь рассказано, как «художественное чутье и настойчивость Н. Виницкого ⟨зав. Запоблгизом⟩ помогли молодому автору ⟨Т.⟩ войти в литературу», хотя «местные критики ⟨...⟩ протестовали против издания его книги».

25 сентября. В изд-ве «Советский писатель» подписана к печати поэма «Страна Муравия» (*Библиография*, № 259).

Сентябрь.— В журн. «Красная новь» (№ 9) напечатан цикл «Семь стихотворений».

10 октября.— В журн. «Литературное обозрение» (№ 19) напечатана редакционная статья «Молодые советские поэты» (без подписи); поэма «Страна Муравия» характеризуется здесь как «яркий пример» роста молодой советской поэзии (с. 3). Там же опубликована статья Е. Усиевич («Страна Муравия»), оценивающая поэму как «событие на общем фоне всей нашей поэзии последних лет» (с. 5), отзывы читателей о поэме и фотография Т. (с. 10).

15 октября.— В «Литературной газете» (№ 58) напечатана статья Ан. Тарасенкова «Мнимый талант» — о поэзии Павла Васильева. Сравнивая поэзию Васильева и Т., критик характеризует «Страну Муравию» как «подлинно народную поэму», в которой «мы без труда различаем легкую, подлинную, певучую, подлинно песенную, фольклорную ритмическую основу».

27 декабря.— Подписан к печати первый сборник «Наступление» (Смоленск, Запоблгиз, 1936); здесь напечатан цикл «Стихи о женщине».

ПРИЛОЖЕНИЕ II

БИБЛИОГРАФИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А. Т. ТВАРДОВСКОГО
Смоленский период. 1925—1936

Составитель Р. М. Романова

Настоящая «Библиография» является первой попыткой по возможности полно отобразить публикации произведений, написанных в смоленский период творчества Твардовского (1925—1936). До сих пор единственным источником сведений об этих публикациях была небольшая библиография П. С. Выходцева, далеко не исчерпывающая всего, что было напечатано Твардовским в этот период, и не свободная от многих неточностей и ошибок («Издания и публикации произведений А. Твардовского. 1925—1928».— В кн.: П. С. Выходцев. А. Т. Твардовский. Семинарий. Л., 1960).

Публикуемая ниже «Библиография» составлена на основании сплошного просмотра газет, журналов и коллективных сборников, издававшихся в Смоленске в 1925—1936 гг., московских периодических изданий (начиная с 1927 г.— после первой поездки Твардовского в Москву), ленинградских (с 1929 г.), минских (с 1934 г.— после первой поездки смоленских писателей в Минск). Просмотрены также газеты, издававшиеся в Брянске, Курске, Орле, Симферополе, Севастополе, Харькове (с 1928 г.— после пребывания Твардовского в этих городах), а также ряд районных газет, выходивших в Бежице, Ельне, Людинове, Фокине и др.— за время его поездок в эти районы. Кроме того, обследованы справочно-библиографические издания, выходившие в 1925—1936 гг.— «Книжная летопись», «Летопись журнальных статей» и «Летопись газетных статей». Учтены все отдельные издания произведений Твардовского, вышедшие за этот период.

«Библиография» строится в хронологической последовательности первых публикаций, при регистрации которых даются также сведения о последующих перепечатках и других редакциях данного произведения в пределах 1925—1936 гг. Поэмы регистрируются по первым публикациям полного текста; при этом даются сведения о предваряющих их публикациях отрывков (без указания их названий). Отдельные издания произведений Твардовского регистрируются особо, под самостоятельными номерами.

«Библиография» сопровождается алфавитным указателем произведений Твардовского и указателем периодических изданий, содержащих публикации произведений Твардовского.

Необходимо оговорить, что некоторые периодические издания этого периода нам не удалось разыскать. Так, не найдены «Литературное приложение к газете «Красный Крым» за 1928 г., «Однодневная литературная газета» (Смоленск, 1934 и 1935), из семи вышедших номеров «Декадной литературной газеты» (Смоленск, 1934) удалось разыскать только два (№ 1 и 7). Однако есть основания полагать, что в этих и в некоторых других неразысканных газетах также печатались произведения Твардовского. Таким образом, при всей полноте обследованных источников, в будущем возможны некоторые дополнения к публикуемой «Библиографии».

1925

1. Двенадцать с.-х. кружков (Переснянская волость).— «Смоленская деревня», 1925, № 3, 21 янв. Подпись: А. Т.
2. Как проходят перевыборы кооперативов (Смоленский уезд).— Там же, 1925, № 6, 15 февр. Подпись: А. Т.
3. Наши избачи работают (Переснянская вол., Смол. у.).— Там же, 1925, № 7, 22 февр. Подпись: Селькор А. Т.
4. Бедняк работу налаживает (Переснянская вол., Смол. у.).— Там же, 1925, № 20, 29 мая.
5. Новая изба («Пахнет свежей сосновой смолою...»).— Там же, 1925, № 27, 19 июля.
6. Субботник.— «Юный товарищ», 1925, № 60—61, 6 окт.
7. Кто губит газеты? (Переснянская вол., Смоленского уезда).— «Смоленская деревня». 1925, № 41, 15 окт.

8. Наш праздник.— «Юный товарищ», 1925, № 70—71, 13 ноября. Подпись: А. Т.
9. На квалификацию девушки надо обратить внимание.— Там же, 1925, № 74, 24 ноября. Подпись: А. Т.

1926

10. Наконец-то!.. — Построили школу (Переснянская вол., Смол. у.); Селькор («Пишешь из деревни далекой...»).— «Смоленская деревня», 1926, № 62, 3 янв.
11. Комсомольцы разбудили сельсовет (Балтутинская вол., Ельнин. у.).— Там же, 1926, № 15, 10 февр.
12. Своими руками (Смоленский уезд).— *РП*, 1926, № 59, 12 марта.
13. Селькоровское («Я начал с маленькой заметки...»).— «Юный товарищ», № 24, 30 марта.
14. «На бурого вали»... А если «бурый» вывезти не может... — *РП*, 1926, № 75, 2 апр.
15. Три комиссии — и ни одна не работает (Переснян. вол., Смолен. у.).— «Смоленская деревня», 1926, № 37, 7 апр.
16. Предательский мост (Переснян. вол., Смол. у.).— Там же, 1926, № 54, 〈21〉 мая.
17. Селькорка («Цветной сарафан, платок...»).— Там же, 1926, № 55, 23 мая.
18. На мельнице (очерк).— «Юный товарищ», 1926, № 38, 25 мая. Подпись: А. Гордеевич. Принадлежность Твардовскому этого псевдонима (отчество отца поэта) подтверждается устным свидетельством Г. Т. Сиводедова, сотрудничавшего в той же газете.
19. Лебедь тащит в облака, а щука в воду... — Там же, 1926, № 44—45, 22 июня.
20. Сенокосное («Июль рассыпался цветами на лугах...»).— *РП*, 1926, № 163, 18 июля.
21. Книги стали много дешевле.— *РП*, 1926, № 165, 21 июля. Подпись: А. Тв.
22. Лесной разбой.—«Смоленская деревня», 1926, № 89, 10 сент. В рубрике: «На защиту лесов».
23. Урожай («Дышат грудью запотелой...»).— Там же, 1926, № 92, 21 сент. В рубрике «Литературный уголок». Здесь же — портрет автора (рис. 〈Н. Фомичева〉 с подписью: «Селькор-поэт А. Твардовский».
24. Родное («Дорог израненные спины...»).— «Юный товарищ», 1926, № 62—63, 30 сент. То же: *№ 42*.
25. У котла (рассказ).— «Юный пионер», 1926, № 32, 〈конец сент.〉.
26. Самогонщику («Грязь в избе, овин не крытый...»); Доставка аккуратна.— «Смоленская деревня», 1926, № 96, 8 окт. Под стихотв. подпись: Александр Т.
27. Первые шаги.— Там же, 1926, № 98, 15 окт. В рубрике «Итоги ко дню урожая».
28. Посиделки («Простучит и смолкнет молотьба...»).— «Красноарм. правда», 1926, № 251, 30 окт.
29. «Книжки... книжки!..» (очерк, дер. Загорье); О недокрытых крышах («Не все дворы под крышею стоят...»).—«Смоленская деревня», 1926, № 105, 9 ноября.
30. Я хочу («Поле спелое большое...»).— «Красноарм. правда», 1926, № 265, 13 ноября.
31. На верной дороге (О Катынском кооперативе).— «Смоленская деревня», 1926, № 107, 16 ноября. Подпись: А. Т.
32. По дороге.— «Красноарм. правда», 1926, № 269, 20 ноября.
33. Как умерла гармошка («Хлюпал ветер мокрою полой...»).— «Юный товарищ», 1926, № 79, 28 ноября.
34. «Все те же гумна и сараи...» — «Красноарм. правда», 1926, № 181, 4 дек.
35. Размолвка 〈неоконченный рассказ〉.— Там же, 1926, № 287, 11 дек. В рубрике: «Кто напишет продолжение?» (Продолжения, присланные другими авторами, см. там же, 1926, № 293 и 299, 18 и 25 дек.; 1927, № 6, 8 янв.).
36. Глухая сторона («Спорит ветер с елью вековой...»).— «Красноарм. правда на селе», 1926, № 52, 29 дек.
37. Тихий дом («Тихий дом в запущенном саду...»).— «Юный товарищ», 1926, № 87, 30 дек.

1927

38. Красная свадьба («Невеста вовсе не грустит...»). Дер. Загорье, Смол. у.— «Смоленская деревня», 1927, № 11, 8 февр.
39. Отцу-богатею («У тебя в дому во всем достаток...»).— «Юный товарищ», 1927, № 19, 16 марта.

То же: «Наша деревня», 1928, № 84, 27 мая.

40. Весенние строчки: 1. «Утренник лег на дорогу...»; 2. «Оттаял перемерзший хутор...»; 3. «Помню — ветер пригонял на крышу...» — «Красноарм. правда», 1927, № 67, 25 марта.
41. Избяные стихи: 1. «Старою надломленной ольхою...»; 2. «У окон березы да рябины...»; 3. «Не жалей ты хату...» — «Юный товарищ», 1927, № 22, 27 марта.
В др. редакции (первое стихотворение): «Смоленская деревня», 1927, № 64, 30 авг. («Две избы»).
42. «Метелью вишен у окон»...»; Девушке («Под окно, за сиренью густой...»), 1927; Родное (ранее: *№ 24*).— Сб. «Молодое. Стихи и рассказы». Смоленск. Изд. литгруппы при газ. «Юный товарищ», 1927, с. 35, 42, 54. Зарегистрирован: «Книжная летопись», 1927, № 13, 1 апр.
43. Бабушкино горе («Ходит бабушка Аксинья...») (Загорье).— «Юный товарищ», 1927, № 26, 13 апр.
44. По новым деревням: Кони («Рожь стоит в допоясном поклоне...»); Развалились старые сараи («Ветер злобно ветошь разметает...»).— «Красноарм. правда на селе», 1927, № 16, 20 апр. То же («Кони»): «Наша деревня», 1928, № 84, 27 мая; «Брянский рабочий», 1928, № 122, 27 мая.
45. О затихшей церкви («Перестало сживаться село...»); Потрава («Каждым утром в полевой тиши...»); Матери («Я помню осиновый хутор и детство...»).— «Юный товарищ», 1927, № 30, 27 апр. В рубрике: «Творчество Александра Твардовского».
46. Родная картина («Куда ни глянь — открытые для взора...»).— Там же, 1927, № 33, 11 мая.
47. Невеста («Наше детство было вместе...»).— Там же, 1927, № 35, 18 мая. В др. редакции: *РП*, 1936, № 200, 28 авг.; *КН*, 1936, № 9, с. 115 («Невесте»); «Наступление», сб. I. Смоленск, Запгиз, 1936, с. 7—8 («Сверстница»).
48. Матери («Было время — забавляла цацей...»).— «Юный товарищ», 1927, № 38, 28 мая.
49. В ночном («Льет баловство через край...»). Загорье.— Там же, 1927, № 42, 15 июня.
50. Девичье («Я тебя заждалась на крылечке...»).— Там же, 1927, № 45, 25 июня.
51. В старом доме («В старом доме кто-то плачет...»).—«Красноарм. правда», 1927, № 185, 18 авг. То же: «Брянский рабочий», 1929, № 145, 23 июня.
52. Конь («В седле, уздечке и подковах...»).— «Красноарм. правда», 1927, № 221, 29 сент.
53. Костер (Ване Прудникову) («Ленивые космы костровых волос...»).— «Юный товарищ», 1927, № 71, 5 окт.
54. «У барского дома я бегал босым...».— «Красноарм. правда», 1927, № 250, 2 ноября.
55. Десять («Нет, мне не вымерить, не взвесить...»).— Там же, 1927, № 253, 6 ноября.
56. Любимой (М. Радьковой) («Сегодня я влюбленно тих...»).— «Юный товарищ», 1927, № 83, 23 ноября.
57. «Бывал в плену. Отравлен газом...».— «Смоленская деревня», 1927, № 90, 2 дек. В рубрике: «Стихи о председателях сельсоветов».
58. Гать (Рассказ).— «Красноарм. правда», 1927, № 287, 17 дек.
59. Ночной сторож («Совсем готовым встретил вечер...»).—«Юный товарищ», 1927, № 93, 28 дек.
То же: *№ 78*.

1928

60. Девочка с вишнями («Покуда тени на дороге лягут...»).— «Юный пионер», 1928, № 5, 9 февр.
61. Два стихотворения: 1. Почта («В заветный день распутица и дождь...»); 2. В глуши («До заморозков в город не пробиться...»).— «Юный товарищ», 1928, № 13, 15 февр. То же («Почта»): «Путь молодежи», 1928, № 60, 26 мая.
62. Штаб («По лестницам и коридорам...»).— «Красноарм. правда», 1928, № 46, 23 февр.
63. Дезертиры («Нас было четыре, покинувших полк...»).— Там же, 1928, № 47, 25 февр.



А. Т. ТВАРДОВСКИЙ

Фотография. Смоленск, 1927

«Юный товарищ», 27 апреля 1927 г.

Фотография помещена на «Литературной странице» газеты. Здесь напечатаны стихи Твардовского и статья Д. Осина «Александр Твардовский» — первая статья о творчестве Твардовского.

То же — «Юный товарищ», 1928, № 17, 29 февр. В др. редакции: «Брянский рабочий», 1929, № 115, 19 мая.

64. «Десять раз отмерила...» (д. Загорье, Смоленской губ.).— «Журнал крестьянской молодежи», 1928, № 4, с. 5.
65. Жена («Муж плюет в потолок на печи...»). — «Смоленская деревня», 1928, № 19, 6 марта.
66. Девичьи думки: «Подруженьки не веселы...»; «У окна под вербой девки собираются...» (д. Загорье, Смоленск. у.).— «Юный товарищ», 1928, № 19, 7 марта. То же («Подруженьки не веселы...»).— «Наша деревня», 1929, № 27, 8 марта («Девичье»).
67. Матери («Сегодня рано встать не лень...»).— «Юный пионер», 1928, № 9, 8 марта.
68. Стихи о весеннем севе: 1. На пашне («Этой песне предан весь я...»); 2. Посев («В чернозем ложатся зерна...»).— «Юный товарищ», 1928, № 20, 10 марта.
69. Перевозчик («Стада неторопливых волн...»).— Там же, 1928, № 22, 17 марта.

    В др. редакции: *№ 78*; «Брянский рабочий», 1928, № 122, 27 мая; «Орловская правда», 1928, № 139, 17 июня.
70. Стихи о границе («Вам и кажется и снится...»).—«Красноарм. правда», 1928, № 64, 18 марта.
71. Объединим распыленные крестьянские хозяйства (отчет о первом производственном совещании комсомольцев при Смоленском УКОМе ВЛКСМ).— «Юный товарищ», 1928, № 23, 21 марта. Подпись: А. Твард.
72. Над книгой Горького («Над первым безвыборным томом...»).— *РП*, 1928, № 72, 25 марта. В др. редакции: «Брянский рабочий», 1928, № 151, 1 июля («Максим Горький»; без подписи).
73. Весенний... 13-ой губконференции ВЛКСМ («Зашевелились дальние уезды...») Смоленск.— «Юный товарищ», 1928, № 25, 29 марта.
74. Весенние новости («Я мечтой вперед не забегаю...»).— *РП*, 1928, № 76, 30 марта. В др. редакции: «Наша деревня», 1928, № 152, 7 ноября («Сегодня»); «Смоленская деревня», 1929, № 11, 10 февр. («Коллективное»).
75. Стихи о будущей коммуне («Нас призыв свел в одно звено...»).— «Красноарм. правда», 1928, № 77, 3 апр. В др. редакции: «Красный черноморец», 1928, № 222, 25 сент.
76. В дороге («Влажная дымная даль...»).— «Смоленская деревня», 1928, № 27, 6 апр. В др. редакции: «Юный товарищ», 1929, № 14, 2 февр. Подпись: Ал. Т..
77. Через два года — мастера.— «Юный пионер», 1928, № 14, 12 апр.
78. Три человека: 1. Перевозчик (ранее: *№ 69*); 2. Ночной сторож (ранее: *№ 59*); 3. Уборщица («Где самый ответственный, самый важный...»).— «Красноарм. правда», 1928, № 88, 15 апр. В др. редакции («Уборщица»): *РП*, 1928, № 95, 22 апр.; «Правда молодежи», 1928, № 21, 10 июня; «Харьковский пролетарий», 1928, № 134, 10 июня; «Брянский рабочий», 1928, № 280, 2 дек.; «Огонек», 1929, № 36, 15 сент.; «Большевистский молодняк», 1930, № 57, 9 марта.
79. Мое выздоровление («Милый доктор ушел недавно...»). Смоленск.— «Юный товарищ», 1928, № 32, 21 апр.

80. «Да, для новой жизни, для весны я годен...» д. Загорье, 1927.— Там же, 1928, № 34, 28 апр.
81. В сонной Ельне (от нашего спецкорреспондента).— Там же, 1928, № 35, 5 мая. Подпись: А.; авторство Твардовского устанавливается устным свидетельством А. А. Плешкова и С. А. Фиксина — б. членов лит. группы при газ. «Юный товарищ».
82. В пути («На дальнем полустанке где-то...»).— *РП*, 1928, № 113, 17 мая. В др. редакции: «Наша деревня», 1928, № 117, 12 авг. («Сезонники»).
83. «Рабочий путь» — подписчикам.— *РП*, 1928, № 120, 25 мая. Подпись: А. Т.
84. Расплата за расхлябанность.— *РП*, 1928, № 169, 22 июля. Подпись: Ал. Т.
85. Краснофлотец («Он к молу в сумерках спешит...»).— «Красный черноморец», 1928, № 173, 29 июля. В др. редакции: «Брянский рабочий», 1928, № 181, 5 авг. («Матросу»); «Красноарм. правда», 1928, № 183, 11 авг. («Матрос»); «Юный товарищ», 1928, № 81, 13 окт. («Матросу»).
86. Батрак («С рассветом батрацкая верность...»).— «Наша деревня», 1928, № 117, 12 авг. Подпись: А. Т.
87. Где нельзя пройти, там ползут.— «Юный товарищ», 1928, № 67, 25 авг. В рубрике: «Кто стучится в дверь ВУЗа?» Подпись: Твард.
88. Ты обучил одного неграмотного? 15 000 должны увидеть свет.— Там же, 1928, № 68, 29 авг. Подпись: Атвард.
89. Призыв («Течет река людского горя...»).— «Смоленская деревня», 1928, № 65, 31 авг.
90. «Кардымовщина». Третий день суда (судебный очерк).— *РП*, 1928, № 207, 6 сент. Подпись: А. Т. Здесь и далее (№ 91—97) авторство Твардовского подтверждается устными свидетельствами А. А. Плешкова и С. А. Фиксина.
91. Дело кардымовцев (судебный отчет).— «Смоленская деревня», 1928, № 67, 7 сент. Без подписи.
92. «Кардымовщина». Четвертый день суда (судебный очерк).— *РП*, 1928, № 208, 7 сент. Подпись: А. Т.
93. «Кардымовщина». На процессе бывш. работников Кардымовского ВИКа (судебный очерк).— «Юный товарищ», 1928, № 71, 8 сент. Без подписи.
94. «Кардымовщина». Пятый день суда (судебный очерк).— *РП*, 1928, № 209, 8 сент. Без подписи.
95. «Кардымовщина». Шестой день суда (судебный очерк).— *РП*, 1928, № 210, 9 сент. Подпись: А. Т.
96. Приговор по делу кардымовцев (судебный отчет).— «Смоленская деревня», 1928, № 68, 11 сент. Подпись: А. Т.
97. «Кардымовщина» (судебный отчет).— «Юный товарищ», 1928, № 72, 12 сент. Без подписи.
98. Урожай кричит: кар-раул!.. — Там же, 1928, № 73, 15 сент. Подпись: А. Твард.
99. Как идет призыв 1906 года (из беседы с начальником мобилиз. отдела терокруга).— «Юный товарищ», 1928, № 74, 19 сент. Подпись: А. Т.
100. Вношу пять книг и вызываю...— Там же, 1928, № 75, 22 сент. В рубрике: «Кто следующий?»
101. Солдатский хлеб («Рассказы старого солдата...»).— «Красноарм. правда», 1928, № 223, 27 сент.
102. Вне школы не останутся; Принимают зажиточных, а беднякам отказывают.— «Юный пионер», 1928, № 36, 27 сент. Подпись: А. Т.
103. Детский отдел при каждой взрослой библиотеке; Кружки изучения книги; Запись в детских отделах бесплатно; О книге («И в ночном, и за стадом была книга со мной...»). — «Юный пионер», 1928, № 36, 27 сент. Подпись: А. Т.
104. Думы о далеком («Белый домик, белый городок...»).—«Красный черноморец», 1928, № 233, 7 окт.
105. Фосфорит («Морозами зудили зимы...»). Октябрь 1928 г.— «Юный товарищ», 1928, № 80, 10 окт.
106. Мельница («Речка-безымянка, мелкая на вид...»).— «Юный пионер», 1928, № 38, 11 окт. В др. редакции: «Смоленская деревня», 1928, № 82, 30 окт.; *№ 171.*
107. Комсомолке-учительнице («От души мне сегодня хочется...»). Смоленск. Октябрь 1928.— «Юный товарищ», 1928, № 83, 20 окт.

108. Стихи о старшем брате и о первой ячейке («Бунтовали на поле снега...»).— «Красноарм. правда», 1928, № 250, 28 окт.
109. Переправа («К реке обрывистый спуск...»).— «Юный товарищ», 1928, № 87, 3 ноября.
110. В беде не помогаем.— Там же, 1928, № 89, 11 ноября. Подпись: А. Т. Т.
111. Поезда («В предутренний домашний час...»).— «Брянский рабочий», 1928, № 268, 18 ноября. В др. редакции: «Юный товарищ», 1928, № 98, 8 дек.; «Смена», 1929, № 2 ⟨янв.⟩, с 2; «Экран», 1929, № 42, 20 окт., с. 3.
112. Мишка ниоткуда («Старик спросил: Издалека ль, мальчишка...»).— «Юный пионер», 1928, № 43, 22 ноября. В др. редакции: *№ 171.*
113. Смоленск — исток («Не первый, не последний раз...»). Ноябрь, Смоленск.— *РП*, 1928, № 272, 23 ноября.
114. Борода («По-дедовски, всегда и неизменно...»).—«Юный товарищ», 1928, № 96, 4 дек. В др. редакции: «Смоленская деревня», 1928, № 95, 18 дек.; «Красный черноморец», 1929, № 9, 12 янв.; «Журнал крестьянской молодежи», 1929, № 9, май, с. 13.
115. Новое задание («Земля на безвестном погосте...»).— *РП*, 1928, № 286, 9 дек. В др. редакции: «Брянский рабочий», 1929, № 27, 27 янв. («Новое здание»).
116. Старая школа («Зимний день, заботы матери...»).— «Путь молодежи», 1928, № 152, 9 дек. В др. редакции: «Юный товарищ», 1928, № 104, 22 дек. («Сельская школа»); «Брянский рабочий», 1929, № 81, 7 апр. («О сельской школе»).
117. Кулак («Под опрятной крышей новый двор...»).— *РП*, 1928, № 289, 13 дек. То же: «Красноарм. правда», 1929, № 4, 6 янв. В др. редакции: «Большевистский молодняк», 1930, № 35, 12 февр.
118. Гибель канцеляриста («Он сыпал мелкий, четкий бисер...»). Смоленск⟨ая⟩ АПП.— «Путь молодежи», 1928, № 157, 15 дек. В др. редакции: «Большевистский молодняк», 1929, № 101, 1 сент. («Красивый почерк»).
119. Враг («О нем и знают и говорят...»).— *РП*, 1928, № 295, 20 дек. В др. редакции: *№ 151.*
120. Ответ («Стряпню оставив и детей...»).— *РП*, 1928, № 304, 30 дек. Подписи: А. Твардовский, И. Зиборов.

1929

121. Телеграфист («Телеграфист по долгу службы строг...»). 1928.— «Путь молодежи», 1929, № 17, 20 янв.
122. Книга Ленина («В стенах больших библиотек...»).—«Юный товарищ», 1929, № 9, 22 янв. Подписи: А. Твардовский, И. Зиборов. В др. редакции: *РП*, 1930, № 17, 21 янв. («Над книгой Ленина»).
123. Каникулы («Остынут сухие ступени...»).— «Наша деревня», 1929, № 10, 27 янв.
124. Поход весны («Покамест неподвижен снег...»).— *РП*, 1929, № 25, 1 февр. В др. редакции: *№ 151.*
125. Песня урожая («Бесхлебицу недавнюю навеки провожай...»).— *РП*, 1929, № 31, 8 февр. В др. редакции: «Красный черноморец», 1929, № 36, 15 февр.; «Наша деревня», 1929, № 43, 19 апр.; «Юный пионер», 1930, № 44, 20 авг.; *№ 151, 171.*
126. Докладчик («Не вы, так шумный ваш приезд...»).—«Путь молодежи», 1929, № 34, 10 февр. В др. редакции: «Октябрь», 1929, № 3, с. 36—37 («Доклад»); «Брянский рабочий», 1929, № 109, 12 мая.
127. Парад («Парадная музыка издалека...»).— «Юный товарищ», 1929, № 23, 23 февр. Подписи: Ал. Твардовский, Ив. Зиборов. В др. редакции: *РП*, 1930, № 45, 23 февр. («Двенадцать лет»); «Красноарм. правда», 1930, № 45, 23 февр. («Проходят строем»).
128. Первый волостной съезд Советов.— «Смоленская деревня», 1929, № 18, 6 марта. Подпись: А. Т.
129. «Начиналось утро бранью...».— *РП*, 1929, № 55, 9 марта.
130. Клад («Еще рассказывают старики...»).— *РП*, 1929, № 57, 12 марта.
131. Новоселье («Бессменный по кварталу почтальон...»).— «Путь молодежи», 1929, № 63, 17 марта. В др. редакции: «Брянский рабочий», 1929, № 133, 9 июня.
132. Агро-вагон в пути. Хорошо, да мало. Ст. Навля. 29 марта.— «Брянский рабочий», 1929, № 76, 2 апр.

133. Первые семь дней.— Там же, 1929, № 80, 6 апр. Подпись: Тв. Ал.
134. Сказка не про белого бычка («Молодой лесник головой поник...»); Хлебный запах («По пригоркам, по полям...»).— «Лапоть», 1929, № 11 ⟨июнь⟩, с. 8.
135. Честность («Кладбищенский сторож сказал мне однажды...»).— «Крокодил», 1929, № 26, июль, с. 4.
136. Варенье («В саду размашистые вишни...»).— «Чудак», 1929, № 33, авг., с. 11.
137. Яблоки («Спать и слышать яблока паденье...»).— «Прожектор», 1929, № 35, сент., с. 12.
138. Эпиграммы на смоленских писателей: Дм. Осину («Живет он в центре окружном...»); Ив. Зиборову («Иван. Моряк. Студент. Поэт...»); Ефрему Марьенкову («Он сидит и повесть пишет...»).— *РП*, 1929, № 231, 6 окт.
139. Лето в коммуне: 1. «Мне отвели покой на сеновале...»; 2. «Взвешивает утренний удой...».— «Огонек», 1929, № 40, 13 окт. В др. редакции: 1.— «Большевистский молодняк», 1930, № 79, 6 апр. («Лето в коммуне»); «Рост», 1930, № 4, апр., с. 27 («Пчелы»); 2.— «Большевистский молодняк», 1930, № 21, 26 янв. («Наш Василий»).
140. Сидят и смотрят («С праотцовскими вещами...»).— «Крокодил», 1929, № 40, окт., с. 5.
141. Гостеприимство («Трястись в телеге битый час...»).— «Резец», 1929, № 41, окт., с. 7. То же: «Октябрь», 1929, № 10, с. 60.
142. Хорошо («Он рассказывал, стоя у кафельной печки...»). Смоленск.— «Комсомольская правда», 1929, № 276, 30 ноября.
143. Зима («Местной власти представитель...»).— «Лапоть», 1929, № 22, ноябрь, с. 8.
144. Кулак в кино («Он купил себе билет...»).— Там же, № 23, дек., с. 3. В др. редакции: *РП*, 1930, № 13, 16 янв. («Случай в кино»).
145. Обоз («Мы встретили обоз. Свернули...»).— «Огонек», 1929, № 50, 22 дек., с. ⟨4⟩.

1930

146. Вообразите! («Вообразите: на задворках...»).— *РП*, 1930, № 20, 25 янв. Подписи: Ив. Зиборов, Ал. Твардовский.
147. Новый работник («Рабочий район. Приезжему...»).— *РП*, 1930, № 21, 26 янв.
148. Первая бригада. Посвящается рабочим бригадам («Лошади под инеем густым...»).— «Наша деревня», 1930, № 11, 8 февр. Подписи: А. Твардовский, Ив. Зиборов.
149. Поджог (драматическая сценка в стихах).— Там же, 1930, № 16, 26 февр. Подписи: Ал. Твардовский и Ив. Зиборов. То же: *№ 151*.
150. Весна 1930 года («Приехали. Рабочая бригада...»).— *РП*, 1930, № 50, 1 марта.
151. На сходке. Пьеса (подписи: Мих. Исаковский, Ив. Зиборов, А. Твардовский, С. Фиксин); Поджог (ранее: *№ 149*); Угощение. Инсценировка (подписи: Мих. Исаковский, Ив. Зиборов, А. Твардовский, С. Фиксин, С. Курдов); Колхозные частушки (подписи: Вл. Муравьев, А. Твардовский); Песня урожая (ранее: *№ 125*); Поход весны (ранее: *№ 124*); Враг (ранее: *№ 119*).— «Клубный сборник», I. Смоленск, Госиздат. Зап. обл. отд-ние, 1930, с. 31—37, 38—42, 47—48, 57—59, 71—72, 73—74, 75—76. О предстоящем выходе сб. к 5 марта см.: *РП*, 1930, № 45, 24 февраля.
152. Трое («Сидели на крыльце красноармейцы...»). Смоленск.— «Брянский рабочий», 1930, № 62, 16 марта.
153. Крестовый поход. С немецкого («К новым молитвам в посланьи своем...»).— *РП*, 1930, № 66, 22 марта. Подписи: А. Твардовский, Иван Зиборов. Оригинал (без подписи) в газ. «Arbeiter Stimme» (Дрезден, 1930, № 48, 26 февр.).
154. Суд («В ближайшем я сижу ряду...»).— «Брянский рабочий», 1930, № 85, 13 апр.
155. Юбилей («Открыта форточка с утра...»).— Там же, 1930, № 96, 27 апр.
156. Пролетарские писатели в колхозах.— *РП*, 1930, № 107, 12 мая. Подписи: А. Т⟨вардовский⟩, В. М⟨уравьев⟩, С. К⟨урдов⟩.
157. Зеленый город («Чисто в комнате нашей одной...»); Одна зима («Что-то из одежды зимней...»); Тракторный выезд ⟨из поэмы «Путь к социализму»⟩; Эпиграммы: «Мы приехали в колхоз...», «И никакого траура...» (подпись: Четверо (⟨А. Твардовский, Ив. Зиборов, Д. Осин, С. Фиксин⟩); псевдоним раскрывается на основании свидетельства А. В. Македонова в письме к Р. М. Романовой 9 окт. 1979 г.).— «Западная ассоциация пролетарских писателей. Первый альманах».— М.— Смоленск, Запгиз,

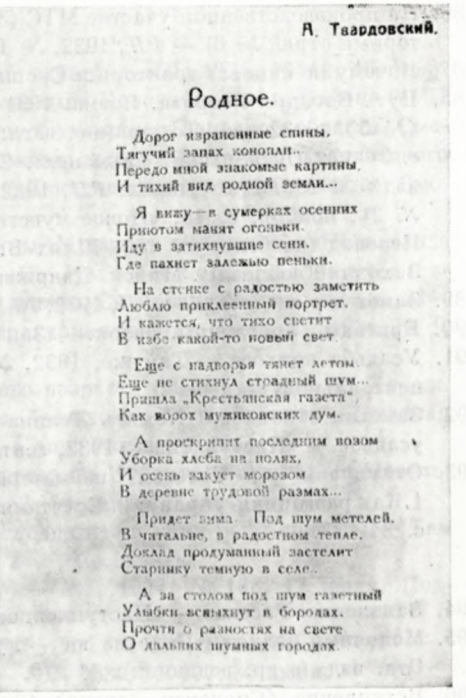
1930, с. 96—102, 161. О предстоящем в августе выходе альманаха см.: «Большевистский молодняк», 1930, № 175, 30 июля.

158. Красный обоз («Обозом ездили давно...»).— *РП*, 1930, № 208, 30 авг.
159. Стихи о всеобуче («Пятистенка с теплым коридором...»).—*РП*, 1930, № 212, 3 сент.
160. Всю детвору нашей страны грамоте мы обучить должны («Это — кампания! Это — поход!..»).— «Юный пионер», 1930, № 47, 6 сент.
161. Лозунги-стихи.— «Большевистский молодняк», 1930, № 211, 10 сент. С предисловием автора.
162. «Новый...» — «Бежицкий рабочий», 1930, № 21, 26 сент.
163. Марш ударников («Наши паровозы нужны стране...»).— «Брянский рабочий», 1930, № 225, 28 сент. Подписи: Д. Осин, А. Твардовский. То же: «Ударник» (газета, выпущенная вместо очередного номера газ. «Бежицкий рабочий», 1930, № 25, 1 окт.); *РП*, 1930, № 236, 1 окт.
164. От десяти до часу ночи.— «Ударник», 1930, № 25, 1 окт.
165. Стихи-лозунги.— «Большевистский молодняк», 1930, № 229, 1 ⟨окт.⟩ (в газ. опечатка: «сентябрь»). Подписи: Д. Осин, А. Твардовский.
166. Рапорт бригады пролетарских поэтов в составе Д. Осина и А. Твардовского, работавшей на заводах: «Красный Профинтерн», Дятьковский хрустальный и Людиновский машиностроительный (Смоленск, 18 октября); Два стихотворения: 1. «На заводском дворе, по разным углам...»; 2. «Товарищи! Окончен год...» (1930).— «Большевистский молодняк», 1930, № 245, 20 окт.
167. Про порядочки, про почтовые («Сидит заистрой и ждет письмо...»); На центральном месте («Стоит центроспирт на центральном месте...»).— «Людиновский пролетарий», 1930, № 5, 23 окт. Подписи: Д. Осин, А. Твардовский.
168. Путь к социализму. Колхозная пьеса в стихах; Ермак Кулагин (отрывок из поэмы ⟨«Путь к социализму»⟩; Семена (отрывок из поэмы ⟨«Путь к социализму»⟩; Лозунги ⟨в стихах⟩.— «Пролетарские писатели — колхозам. Клубный сборник», 2. М.— Смоленск, Госиздат, 1930, с. 109—122, 127—129, 135—137, 143. Зарегистрирован: «Книжная летопись», 1930, № 59, окт.
169. Ярцево не готово (от нашего корреспондента); Четыре тонны (рассказ бригады) («Семь деревень захватили мы...»).— «Западная область», 1930, № 3, дек. с. 9—12, 16.
170. Пятерки и тройки.— Там же, 1930, № 4, дек. с. 4—6.
171. Песня урожая (ранее: *№ 125, 151*); Мельница (ранее: *№ 106*); Мишка ниоткуда (ранее: *№ 112*); Дом за рекой (рассказ).— С. Курдов, А. Твардовский, В. Шурыгин. На стройке новой деревни. ⟨Вып. I.⟩ М.— Смоленск, Госиздат, 1930, с. 16—28. Зарегистрировано: «Книжная летопись», 1931, № 1, янв.

1931

172. Слово о пятидесяти.— «Западная область», 1931, № 1, янв., с. 12. Подпись: А. Т.
173. В порядке наступления (по Брасовскому району); Из дневника колхоза «III Интернационал» (Вяземский район).— Там же, 1931, № 5—6, март, с. 21—25, 28—29. Второй очерк — без подписи; в др. редакции: *№ 184*, с. 3—9 (без заглавия).
174. Колхоз «Победа» сумел справиться с севом в срок. Идрица, 16 ⟨мая⟩.— *РП*, 1931, № 114, 18 мая. Подписи: Твардовский, Кезин.
175. С колхозных льняных полей. О соревновании, о сдельщине, о бригаде Герасимова и бригаде Дорошенко, об измерении площадей лукошком и об измерении этих же площадей метром и еще раз о сдельщине. Идрица, 20 мая. Колхоз «Ударник».— *РП*, 1931, № 122, 27 мая.
176. Колхозная осень («Кончается лето, темнеет вода...»); Бригада № 3 (рассказ); Школа в колхозе («За оградой, за березами...»).—С. Курдов, А. Твардовский, С. Шурыгин. На стройке новой деревни. Вып. 2. М.— Смоленск, Госиздат, 1931, с. 3—4, 67—76, 77. Зарегистрировано: «Книжная летопись», 1931, № 28, май.
177. Тов. Жилин. Очерк (Идрицкий район, колхоз «Красный боец»).— «Западная область», 1931, № 11—12, июнь, с. 34—36. В рубрике: «Ударники полей».
178. Путь к социализму. Поэма. Май—август 1930, ⟨М.,⟩ «Молодая гвардия», 1931, 63 с. Зарегистрировано: «Книжная летопись», 1931, № 39, июль. В отрывках: *РП*, 1930,




А. Твардовский.

Родное.

Дорог израненные спины,
Тягучий запах конопли...
Передо мной знакомые картины,
И тихий вид родной земли...

Я вижу — в сумерках осенних
Приютом манят огоньки.
Иду в затихнувшие сени,
Где пахнет залежью пеньки.

На стенке с радостью заметить
Люблю приклеенный портрет,
И кажется, что тихо светит
В избе какой-то новый свет.

Еще с надворья тянет летом,
Еще не стихнул страдный шум...
Пришла „Крестьянская газета",
Как ворох мужиковских дум.

А проскрипит последним возом
Уборка хлеба на полях,
И осень задует морозом
В деревне трудовой размах...

Придет зима. Под шум метелей,
В читальне, в радостном тепле,
Доклад продуманный застелит
Старинку темную в селе.

А за столом под шум газетный
Улыбки всколыхнут в бородах,
Прочтя о разностях на свете
О дальних шумных городах.

«МОЛОДОЕ». СБОРНИК ПРОИЗВЕДЕНИЙ МОЛОДЫХ ПОЭТОВ — УЧАСТНИКОВ ЛИТЕРАТУРНОЙ ГРУППЫ ПРИ СМОЛЕНСКОЙ ГАЗЕТЕ «ЮНЫЙ ТОВАРИЩ»

Смоленск, 1927

Обложка и страница со стихотворением А. Т. Твардовского «Родное»

№ 105, 147, 170, 182 от 10 мая, 25 июня, 19 июля, 1 августа; «Большевистский молодняк», 1930, № 175, 176, 196, 203 от 30 июля, 1 и 24 августа, 1 сентября; *№ 157*, *168*, *240*.

179. Утро председателя колхоза (отрывок из книги о рабочем-двадцатипятитысячнике). Очерк.— «Колхозник», 1931, № 14, июль, ⟨с. 3⟩. В рубрике: «Энтузиасты колхозных полей».

180. До уборки (записки со слета колхозников-ударников). Очерк. Смоленск.— «Западная область», 1931, № 13—14, июль, с. 15—18.

181. Организатор и руководитель колхозного производства (Лукшинский сельсовет, Сафоновского района). Очерк; Палочка («Пьяница-лодырь устроился ловко...»).— Там же, 1931, № 17—18, сент., с. 16, 38. Под очерком подпись: А. Т.

182. Колхозное и «казенное» (отрывок из книги «Дневник колхоза»).— Там же, 1931, № 21, ноябрь, с. 17—18. В др. редакции: «Комбайн», 1932, № 2, янв., с. 9—10 («Вор. Из дневника двадцатипятитысячника»); *№ 184*, с. 20—25 (без заглавия).

1932

183. Помощь (из дневника председателя колхоза).— «Третья большевистская. Литературно-художественный сборник, посвященный весенней посевной кампании 1932 года». Смоленск, Запгиз, 1932, с. 15—20. Зарегистрирован: «Книжная летопись», 1932, № 17, апр. То же: «Дело чести. Литературно-художественный сборник для ШКМ и ФЗС». Сост. Ис. Кац. Смоленск, Запгиз, 1932, с. 53—57; *№ 184*, с. 68—73 (без заглавия).

184. Дневник председателя колхоза. Смоленск, Запоблиздат, 1932, 77 с. Зарегистрирован: «Книжная летопись», 1932, № 20, апр. Ранее в отрывках (под самостоятельными заглавиями): *№ 173*, *182*, *183*.

185. В дни проверки севом вскрыли неготовность (Зубцов, от наш. спец. корр.).— *РП*, 1932, № 110, 11 мая.

186. На производственном участке МТС (Зубцовский район, Бубновский сельсовет, тракторный отряд № 6).— *РП*, 1932, № 114, 16 мая.
187. Почему не виноват тракторист Скопцов.— *РП*, 1932, № 119, 22 мая.
188. Путь Василия Петрова. Поэма. 1931—32 г. Смоленск.— «Наступление», 1932, май, ⟨№ 5⟩, с. 32—44. То же (под загл. «Вступление»): «ЛОКАФ», 1932, № 10, окт., с. 3—17; «Октябрьский альманах». Смоленск, Запгиз, 1932, с. 36—50; *№ 240*. Отд. изд.: *№ 196*. В отрывках: *РП*, 1932, № 260, 6 ноября; «Западная область», 1932, № 21, ноябрь, с. 16; «Новое чувство». М.— Смоленск. Запгиз, 1934, с. 37—44. Перевод (на белорус. яз.): Шлях Василія Пятрова, пер. С. Дорожного.— «Паэты Заходняй вобласці». Минск. Дзяржвыдавецтва Беларусі, 1935, с. 19—44.
189. Заметки о «мелочах».— *РП*, 1932, № 133, 8 июня.
190. Бригады и бригадиры. Очерк.— «Западная область», 1932, № 11—12, июнь, с. 7—12.
191. Усадьба колхоза.— Там же, 1932, № 15—16, авг., с. 34—36. То же: *№ 192* («На центральной усадьбе»).
192. Заметки о колхозе «Память Ленина». Июль, 1932. 1. Хозяин; 2. На центральной усадьбе.— «Наступление», 1932, сент., ⟨№ 9⟩, с. 47—55 (ранее: *№ 191*).
193. От управы — к Советам (из материалов к истории колхоза «Память Ленина): 1.Как разгоняли управу; 2. Восстание.— «Западная область», 1932, № 19—20, окт., с. 34—37.

1933

194. Заявление. Рассказ.— «Наступление», 1933, № 3, март, с. 13—17.
195. Молочный колхоз («Поле на юг — луг...»).— «Юный пионер», 1933, № 29, 6 апр. Отд. изд. (в др. редакции): *№ 210*.
196. Вступление. ⟨Смоленск, Запгиз⟩, 1933, 48 с. Подписано к печ. 3 апр. 1933 г.; зарегистрировано: «Книжная летопись», 1933, № 27, июнь. Первая публикация: *№ 188*.
197. Николай Виноградов. Чертолино. МТС.— *РП*, 1933, № 177, 29 июля.
198. Дмитрий Пименов.— *РП*, 1933, № 187, 10 авг.
199. Прасковья Николаева.— *РП*, 1933, № 195, 18 авг.
200. О сельсовете, который числился передовым (Головеньковский сельсовет Бельского района).— *РП*, 1933, № 205, 28 авг.
201. Стихи со слета ⟨председателей передовых сельсоветов Западной обл.⟩ («Я помню когда-то отец мой..»).— *РП*, 1933, № 216, 8 сент.
202. Председсльсовета.— «Наступление», 1933, № 9, сент., с. 31—36. То же: «Ведущие. В боях за большевистские колхозы, за высокий урожай, за развитие животноводства». Смоленск, Партиздат, 1933, с. 49—55.
203. Два стихотворения: Гость («Верст за пятнадцать по погоде жаркой...»), 1933; «Бубашка» («В ночь, как всегда, на месте был Бубашка...»), 1933.—«Наступление», 1933, № 10, с. 4—6. То же («Гость»): *РП*, 1934, № 7, 8 янв.; «Октябрь», 1935, № 2, с. 128; *№ 209*, *240*. Перевод (на белорус. яз.): «Госць» — «Літаратура і мастацтва», 1934, № 7, 12 февр. В др. редакции («Бубашка»): *№ 209*, *240*.
204. Новый шаг к зажиточной жизни.— «Колхозная деревня», 1933, № 20, 21 дек. Подпись: А. Т.
205. Пусть Игнат Белый скажет...— *РП*, 1933, № 317, 30 дек. То же: «Наступление», 1934, № 3, с. 67—71 («Игнат Белый»).
206. Колхоз «Путь Ленина» («На пригорке у Днепра...»); Наши луга («По берегам реки Днепра...»); Что мы везем из колхоза в город («Флаг над первым возом...»); Что мы везем из города в колхоз («Тракторы, косилки...»); «Он литейщик с «Профинтерна»...»; Ржевский льнозавод («Новый Ржевский льнозавод...»); Дом печати («Вот он стоит из стекла и бетона...»); «За особую заботу...»; Лес осенью («Меж редеющих верхушек...»); Весною («Потемнели дороги...»); Разлив Днепра («Широко разлился Днепр...»); Лен — богатство Западной области («Фабрики, город и вся страна...»).— Л. А. Соколова, Н. М. Оглоблина. Краевая учебная книга для школ Западной области. 1 и 2 год обучения. Стихотворный текст А. Т. Твардовского. Илл. худож. Ф. Ф. Лабренца. Смоленск, Запгиз, 1933, с. 4—5, 7, 9—10, 12, 14, 17, 25, 33—34, 39. Поди. к печ. 28 июня 1933 г. Зарегистрировано: «Книжная летопись», 1934, № 1, янв. Второе изд.: Смоленск, Запгиз, 1934.

1934

207. Большой год Матрены Сергеевой (Сычевский район).— *РП*, 1934, № 42, 16 февр.
208. Приветственное слово-отчет колхоза «Решительный» Новозыбковского района XVII съезду ВКП(б), рабочим, колхозникам и всем трудящимся Западной области. Смоленск, Партиздат, 1934, 38 с., с илл. Без имени автора. Авторство Твардовского установлено по объявлению о выходе книги («Декадная литературная газета», Смоленск, 1934, № 1, 1 апр.).
209. Гость (ранее: *№ 203*); Вор ‹отрывок из поэмы «Мужичок горбатый»› («По команде Моргунок...»); Бубашка (ранее: *№ 203*).— Н. Рыленков, А. Твардовский, С. Фиксин. Стихи о зажиточной жизни. Смоленск, Запгиз, 1934, с. 23—32. О выходе книги сообщила «Декадная литературная газета». Смоленск, 1934, № 1, 1 апр.
210. Молочный колхоз. Стихи для детей младшего возраста («Поле на юг...»). Худож. Ф. Лабренц. ‹Смоленск›. Запгиз, 1934, 16 с. О выходе книги объявила «Декадная литературная газета», Смоленск, 1934, № 1, 1 апр. Ранее: *№ 195*.
211. Пастух Востренков и его стадо (Колхоз «Передовик» Кубицкого сельсовета Невельского р-на).— «Колхозная газета», 1934, № 53, 10 мая. Подпись: А. Т.
212. Песня о хорошем человеке («По дороге от колодца наши кони роют снег...»).— Там же, 1934, № 76, 8 июня. В др. редакции: *№ 240* («Песенка»).
213. Первая студенческая (из записной книжки).— *РП*, 1934, № 166, 17 июля. Подпись: А. Т.
214. «ВС» («Мишень на мушку, как врага...»).— *РП*, 1934, № 170, 22 июля.
215. Ребенок («Растет ребенок, преодолевая...»).— *РП*, 1934, № 177, 30 июля. В др. редакции: *№ 240*.
216. Хозяин («Вот он едет на первой подводе под флагом...»). 1934.— *РП*, 1934, № 183, 6 авг. В др. редакции: «Огонек», 1934, № 21, 7 ноября, ‹с. 7›; *№ 240*.
217. Победителям («Счастлив я, и я сегодня славлю...»).— *РП*, 1934, № 189, 14 авг.
218. Островитяне. Очерк.— *РП*, 1934, № 209, 6 сент.
219. Бывшая деревня Борок.— *РП*, 1934, № 224, 24 сент.
220. Полет («Для такого случая вышла наряженная...»).— *РП*, 1934, № 229, 30 сент. В др. редакции: «Своими силами». Смоленск, Запгиз, 1935, с. 68—70; *№ 240*.
221. Пятнадцать дней, которые дали много.— «За пролетарские педкадры», 1934, № 8, 8 окт.
222. Товарищу («Взгляни на зданья городов огромных...»).— *РП*, 1934, № 239, 12 окт. В др. редакции: «Наступление», 1935, № 1, с. 43—44; *№ 240*.
223. Страница большой биографии ‹рецензия на кн.: М. Горький. Материалы и исследования, т. I. Под ред. В. А. Десницкого. Л., Изд-во АН СССР, 1934›.— *РП*, 1934, № 249, 24 окт.
224. Строитель («Он сидит, расставив ноги вилкой...»).— «Знамя», 1934, № 10, с. 178. То же: *РП*, 1934, № 295, 21 дек. В др. редакции: *№ 240*.
225. Старик («Не меньше тыщи пар лаптей...»).— *РП*, 1934, № 260, 7 ноября. В др. редакции: «Знамя», 1934, № 12, с. 78—80 («Дед»); *№ 240* («Сто двадцать лет»).
226. Огни колхозной усадьбы (с. Рибшево, колхоз «Память Ленина», Духовщинского района). Очерк.— *РП*, 1934, № 263, 12 ноября.
227. Заброшенный музей.— *РП*, 1934, № 265, 15 ноября.
228. На Красной площади («Часы на башне медленно пробили...»).— *РП*, 1934, № 284, 8 дек. В др. редакции: *№ 240* («Памяти С. М. Кирова»).
229. Прощание («Прощай, Чапай...»). 4 декабря 1934.— *РП*, 1934, № 288, 12 дек.

1935

230. Усадьба («Над белым лесом край зари багровой...»).—*РП*, 1935, № 3, 3 янв. В др. редакции: *№ 240*.
231. Старики («У нас в стране на каждом съезде...»).— «Колхозная газета», 1935, № 3, 7 янв. То же: *№ 240*.
232. Утро («Кружась легко и неумело...»).— *РП*, 1935, № 6, 7 янв.

233. Смоленщина («Жизнью ни голодною, ни сытой...»).— *РП*, 1935, № 9, 10 янв. В др. редакции: *№ 240*.
234. Рассказы об одном колхозе: 1. Праздник; 2. Рассказ Дмитрия Прасолова.— «Наступление», 1935, № 2, февр., с. 47—54. То же: *№ 251*.
235. Рассказ председателя колхоза («Был я мужик тверезый...»).— *РП*, 1935, № 66, 21 марта.
236. В черте лагеря.— *РП*, 1935, № 128, 5 июня. Подпись: А. Т.
237. Начало хорошего дела. Очерк о колхозе «Память Ленина».— *РП*, 1935, № 129, 6 июня.
238. Озеро (с. Рибшево, колхоз «Память Ленина», Пречистенского района).— «Колхозная газета», 1935, № 63, 6 июня. То же: *№ 251*.
239. «Иван-дурак» (из дневника литературной консультации).— *РП*, 1935, № 226, 30 сент. Подпись: А. Т.
240. Сборник стихов (1930—1935). Смоленск. Запгиз, 1935, 88 с. Подп. к печ. 4 сент. 1935 г. Вышел в свет в окт. 1935 г. (*ДН*, 1976, № 7, с. 265). I. Тракторный выезд в 1930 году (из поэмы «Путь к социализму»); Вступление.— Ранее: *№ 157*, *178*; *188* и *196*.— II. Гость; Хозяин.— Ранее: *№ 203*, *216*.— III. Старики; Сто двадцать лет; Полет; Бубашка:— Ранее: *№ 231*, *225*, *220*, *203*.— IV. Смоленщина; Усадьба; Песенка; Перепляс ⟨из поэмы «Страна Муравия»⟩.— Ранее: *№ 233*, *230*, *212*; см. также *№ 247*.— V. Ребенок; Строитель; Товарищу; Памяти С. М. Кирова.— Ранее: *№ 215*, *224*, *222*, *228*.— VI. На льдине (стихотворение для маленьких детей).— В др. редакции: *№ 260*.
241 Пиджак. Рассказ.— *РП*, 1935, № 251, 30 окт. То же: № *251*.
242. Повесть П. Н. Прохорова (из дневника литературной консультации).— *РП*, 1935, № 252, 1 ноября. Подпись: А. Т.
243. Счастье быть большевиком ⟨стихотв. Андрея Александро́вича⟩. Пер. с белорусск. яз.— *РП*, 1935, № 257, 7 ноября. Подпись: М. Исаковский, А. Твардовский.

1936

244. Мастерица (колхоз «Новый путь» Сафоновского района).— *РП*, 1936, № 7, 9 янв. То же: № *251*.
245. Две песни: 1. «Засевала я ленок...»; 2. Приданое («Как на свадьбу вся родня...»).— *РП*, 1936, № 22, 27 янв. Подписи: М. Исаковский, А. Твардовский. 26 января 1936 г. В др. редакции («Приданое»): «Наступление», сб. I. Смоленск. Запоблгиз, с. 8 (в цикле «Стихи о женщине»).
246. Встреча («Не тебя ль в твой славный день...»); Мать ⟨очерк⟩.— *РП*, 1936, № 56, 8 марта. Подпись под очерком: А. Смоленский; авторство Т. устанавливается по книге: А. Твардовский. Собр. соч. в 4 томах, т. 4. М., «Худож. лит-ра», с. 36—41 (здесь очерк напечатан под заглавием «Анастасия Ермакова»). То же («Встреча»): *КН*, 1936, № 9, сент., с. 112; «Наступление», сб. I. Смоленск, Запгиз, 1936, с. 3—4 (в цикле «Стихи о женщине»).
247. Страна Муравия. Поэма.— *КН*, 1936, № 4, апр., с. 3—33. В отрывках: ⟨1.⟩ Плясовая.— *РП*, 1935, № 72, 28 марта; в др. редакции («Перепляс»): сб. «Своими силами». Смоленск, Запгиз, 1935, с. 65—67; *№ 240*.— ⟨2.⟩ Фролов.— *РП*, 1935, № 275, 30 ноября.— ⟨3.⟩ Последний поп.— *РП*, 1936, № 1, 1 янв.; в др. редакции — «Социалистич. путь», 1936, № 8, 24 янв.— ⟨4.⟩ В колхоз! — *РП*, 1936, № 263, 22 ноября. Отд. изд.: *№ 249*, *250*, *259*.
248. Мать и дочь («Выходила в поле жать...»).— *РП*, 1936, № 109, 12 мая. В др. редакции: *КН*, 1936, № 9, с. 114; «Наступление», сб. I. Смоленск, Запгиз, 1936, с. 4—5 (в цикле «Стихи о женщине»).
249. Страна Муравия. Поэма о колхозной жизни. Избранные отрывки. Сост. Д. Ермилова. М., Радиоиздат, 1936 (Микрофонные материалы Управления местного радиовещания Всесоюзного радиокомитета. Исключительно для радиовещания). На правах рукописи. Подп. к печ. 29 мая 1936 г.
250. Страна Муравия. Поэма. Смоленск. Запгиз, 1936, 108 с. Подп. к печ.: 27 мая 1936 г. Сообщение о выходе книги в свет см. *РП*, 1936, № 126, 2 июня.



МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА НА СТАНЦИИ ПОЧИНОК
Открыта в 1978 г.
Барельеф А. Сергеева

251. Рассказы о колхозе «Память Ленина»: 1. Праздник (ранее: № 234); 2. Рассказ Дмитрия Прасолова (ранее: *№ 234*); 3. Озеро (ранее: *№ 238*). Мастерица (ранее: *№ 244*); Пиджак (ранее: *№ 241*).— «Колхозная Смоленщина. Сб. очерков и рассказов о колхозах и колхозниках Западной области». Смоленск, Запгиз, 1936, с. 33—49, 76—81, 106—111. Подписан к печ. 2 июня 1936; зарегистрирован: «Книжная летопись», 1936, № 141, 18 июня.
252. Праздник песен.— *РП*, 1936, № 141, 18 июня.
253. Прощание («Тихо, тихо пошла грузовая машина...»).— *РП*, 1936, № 148, 27 июня. В др. редакции: *КН*, 1936, № 9, с. 113; «Наступление», сб. I. Смоленск, Запгиз, 1936, с. 6—7 (в цикле «Стихи о женщине»).
254. Песня («Сам не помню и не знаю...»).— *РП*, 1936, № 154, 4 июля. То же: *КН*, 1936, № 9, с. 112—113.
255. Два стихотворения: 1. «Я иду и радуюсь. Легко мне...»; 2. «Кружились белые березки...».— *РП*, 1936, № 156, 6 июля.
256. Путник («В долинах уснувшие села...»).— *РП*, 1936, № 176, 30 июля. То же: *КН*, 1936, № 9, с. 115.
257. Пилот («Снарядившись в путь далекий...»).— *РП*, 1936, № 207, 5 сент.

258. Размолвка («На кругу в старинном парке...»). 1936 г.— *РП*, 1936, № 212, 11 сент. То же: *КН*, 1936, № 9, с. 114; «Наступление», сб. I. Смоленск, Запгиз, 1936, с. 5—6 (в цикле «Стихи о женщине»).
259. Страна Муравия. Поэма. Илл. А. Бубнова, М., «Сов. писатель», 1936, 141 с. Поди к печ.: 25 сент. 1936 г.
260. На льдине. Стихотворение для дошкольников. Илл. Е. Тарас. Смоленск. Запгиз, 1936, 15 с. Поди. к печ. 25 дек. 1936 г. Ранее: *№ 240*.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Стихотворения, поэмы

Бабушкино горе 43
Батрак 86
Борода 114
Бубашка 203, 209, 240
«Бывал в плену. Отравлен газом...» 57
В глуши 61
В дороге 76
В колхоз! см. Страна Муравия
В ночном 49
В пути 82
В старом доме 51
Варенье 136
Весенние новости 74
Весенние строчки 40
Весенний ... 13-ой губконференции ВЛКСМ 73
Весна 1930 года 150
Весною 206
«Взвешивает утренний удой. . . » см. Лето в коммуне
Вор ‹из поэмы «Мужичок горбатый»› 209
Враг 119, 151
«ВС» 214
«Все те же гумна и сараи. . .» 34
Встреча 246
Вступление ‹поэма› 188, 196, 240
Всю детвору нашей страны грамоте мы обучить должны 160
Гибель канцеляриста 118
Глухая сторона 36
Гостеприимство 141
Гость 203, 209, 240
«Да, для новой жизни, для весны я годен...» 80
Две избы см. Избяные стихи
Девичье («Я тебя заждалась на крылечке...») 50
Девичье («Подруженьки не веселы...») см. Девичьи думки
Девичьи думки 66
Девочка с вишнями 60
Девушке 42
Дед см. Старик
Дезертиры 63
Десять 55
«Десять раз отмерила...» 64
Дм. Осину см. Эпиграммы на смоленских писателей
Доклад, Докладчик 126
Дом печати 206
Думы о далеком 104
Ермак Кулагин см. Путь к социализму
Ефрему Марьенкову см. Эпиграммы на смоленских писателей
Жена 65
«За особую заботу...» 206
Зеленый город 157
Зима 143
Ив. Зиборову см. Эпиграммы на смоленских писателей
Избяные стихи 41
Как умерла гармошка 33
Каникулы 123
Клад 130
Коллективное см. Весенние новости
Колхоз «Путь Ленина» 206
Колхозная осень 176
Комсомолке-учительнице 107
Кони см. По новым деревням
Конь 52
Костер (Ване Прудникову) 53
Красивый почерк см. Гибель канцеляриста
Красная свадьба 38
Краснофлотец 85
Красный обоз 158
«Кружились белые березки...» 255
Кулак 117
Кулак в кино 144
Лен — богатство Западной области 206
Лес осенью 206
Лето в коммуне 139
Лозунги-стихи 161
Лозунги 168
Любимой (М. Радьковой) 56
Максим Горький см. Над книгой Горького
Матери («Было время — забавляла цацей...») 48
Матери («Сегодня рано встать не лень...») 67
Матери («Я помню осиновый хутор и детство...») 45
Матрос, Матросу см. Краснофлотец
Мать и дочь 248
Мельница 106, 171
«Метелью вишен у окон...» 42
«Мне отвели покой на сеновале. . .» — см. Лето в коммуне
Мишка ниоткуда 112, 171
Мое выздоровление 79
Молочный колхоз 195, 210
Мужичок горбатый см. Вор
«На заводском дворе, по разным углам. . .» 166
На Красной площади 228
На льдине 240, 260
На пашне см. Стихи о весеннем севе
Над книгой Горького 72
«Начиналось утро бранью...» 129
Наш Василий см. Лето в коммуне
Наши луга 206
«Не жалей ты хату...» см. Избяные стихи
Невеста, Невесте 47
Новая изба 5
Новое задание (Новое здание) 115

Новоселье 131
Новый работник 147
Ночной сторож 59, 78
О затихшей церкви 45
О книге 103
О недокрытых крышах 29
О сельской школе см. Старая школа
Обоз 145
Одна зима 157
«Он литейщик с Профинтерна...» 206
«Оттаял перемерзший хутор...» см. Весенние строчки
Отцу-богатею 39
Палочка 181
Памяти С. М. Кирова — см. На Красной площади
Перевозчик 69, 78
Перепляс 240; см. также Страна Муравия
Переправа 109
Песенка — см. Песня о хорошем человеке
Песня 254
Песня о хорошем человеке 212
Песня урожая 125, 151, 171
Пилот 257
Плясовая — см. Страна Муравия
По новым деревням 44
Победителям 217
«Подруженьки не веселы...» — см. Девичьи думки
Поезда 111
Полет 220
«Помню — ветер пригонял на крышу...» — см. Весенние строчки
Посев — см. Стихи о весеннем севе
Посиделки 28
Последний поп — см. Страна Муравия
Потрава 45
Поход весны 124, 151
Почта 61
Призыв 89
Прощание («Прощай, Чапай. . .») 229
Прощание («Тихо, тихо пошла грузовая машина...») 253
Путник 256
Путь Василия Петрова. Поэма 188
Путь к социализму. Поэма 157, 168, 178, 240
Путь к социализму (пьеса в стихах) 168
Пчелы — см. Лето в коммуне
Развалились старые сараи — см. По новым деревням
Разлив Днепра 206
Размолвка 258
Рассказ председателя колхоза 235
Ребенок 215, 240
Ржевский льнозавод 206
Родная картина 46
Родное 24, 42
Самогонщику 26
Сборник стихов (1930—1935). (Смоленск, Запгиз, 1935) 240
Сверстница — см. Невеста
Сегодня — см. Весенние новости
Сезонники — см. В пути
Селькор 10
Селькорка 17
Селькоровское 13
Сельская школа — см. Старая школа
Семена — см. Путь к социализму
Сенокосное 20
Сидят и смотрят 140
Сказка не про белого бычка 134
Случай в кино — см. Кулак в кино
Смоленск — исток 113
Смоленщина 233
Солдатский хлеб 101
Старая школа 116
Старик 225, 240
Старики 231, 240
«Старою надломленной ольхою. . .»— см. Избяные стихи
Стихи о будущей коммуне 75
Стихи о весеннем севе 68
Стихи о всеобуче 159
Стихи о границе 70
Стихи о женщине 245, 246, 248, 253, 258
Стихи о старшем брате и о первой ячейке 108
Стихи со слета 201
Сто двадцать лет см. Старик
Страна Муравия 240, 247, 249, 250, 259
Строитель 224, 240
Суд 154
Телеграфист 121
Тихий дом 37
«Товарищи! Окончен год...» 166
Товарищу 222, 240
Тракторный выезд в 1930 году см. Путь к социализму
Три человека 78
Трое 152
«У барского дома я бегал босым...» 54
«У окна под вербой девки собираются...» см. Девичьи думки
У окон березы да рябины... см. Избяные стихи
Уборщица см. Три человека
Урожай 23
Усадьба 230, 240
«Утренник лег на дорогу...» см. Весенние строчки
Утро 232
Фосфорит 105
Фролов см. Страна Муравия
Хлебный запах 134
Хозяин 216, 240
Хорошо 142
Честность 135
Четыре тонны 169
Что мы везем из города в колхоз 206
Что мы везем из колхоза в город 206
Школа в колхозе 176
Штаб 62
Эпиграммы на смоленских писателей 138
Юбилей 155
«Я иду и радуюсь. Легко мне...» 255
Я хочу 30
Яблоки 137

Переводы поэтических произведений Твардовского

Госць (белорусск. яз.) см. Гость
Шлях Василія Пятрова (белорусск. яз.) см. Путь Василия Петрова

Проза, публицистика, критика

Агро-вагон в пути. Хорошо, да мало 132
Бедняк работу налаживает 4
Большой год Матрены Сергеевой 207
Бригада № 3. Рассказ 176
Бригады и бригадиры. Очерк 190
Бывшая деревня Борок 219
В беде не помогаем 110

В дни проверки севом вскрыли неготовность 185
В порядке наступления 173
В сонной Ельне 81
В черте лагеря 236
Вне школы не останутся 102
Вношу пять книг и вызываю. . . 100
Вор. Из дневника двадцатипятитысячника см. Колхозное и «казенное» ‹...›
Восстание см. От управы — к Советам‹...›
Гать 58
Где нельзя пройти, там ползут 87
Двенадцать с.-х. кружков 1
Дело кардымовцев (судебный отчет) 91
Детский отдел при каждой взрослой библиотеке 103
Дмитрий Пименов 198
Дневник председателя колхоза 184, см. также 173, 182, 183
До уборки (записки со слета колхозников-ударников). Очерк 180
Дом за рекой. Рассказ 171
Доставка аккуратна 26
Заброшенный музей 227
Заметки о колхозе «Память Ленина» 192
Заметки о «мелочах» 189
Запись в детских отделах бесплатно 103
Заявление. Рассказ 194
«Иван-дурак» 239
Игнат Белый см. Пусть Игнат Белый скажет...
Из дневника колхоза «III Интернационал» 173; см. также Дневник председателя колхоза
Как идет призыв 1906 года 99
Как проходят перевыборы кооперативов 2
Как разгоняли управу см. От управы — к Советам ‹...›
«Кардымовщина» 90, 92—95, 97
Книги стали много дешевле 21
«Книжки... книжки!..» Очерк 29
Колхозное и «казенное» (отрывок из книги «Дневник колхоза») 182; см. также Дневник председателя колхоза.
Комсомольцы разбудили сельсовет 11
Кружки изучения книги 103
Кто губит газеты? 7
Лебедь тащит в облака, а щука в воду... 19
Лесной разбой 22
Мастерица 244, 251
Мать. Очерк 246
«На бурого вали» ‹...› 14
На верной дороге 31
На квалификацию девушки надо обратить внимание 9
На мельнице. Очерк 18
На производственном участке МТС 186
На центральной усадьбе 191, 192; см. также: Заметки о колхозе «Память Ленина»
Наконец-то!.. Построили школу 10
Начало хорошего дела 237
Наш праздник 8
Наши избачи работают 3
Николай Виноградов 197
«Новый...» 162
Новый шаг к зажиточной жизни 204
О сельсовете, который числился передовым 200
Объединим распыленные крестьянские хозяйства ‹...› 71
Огни колхозной усадьбы (с. Рибшево, колхоз «Память Ленина» ‹...›) 226
Озеро 238
Организатор и руководитель колхозного производства. Очерк 181
Островитяне. Очерк 218
От десяти до часу ночи 164
От управы — к Советам (из материалов к истории колхоза «Память Ленина») 193
Пастух Востренков и его стадо 211
Первая студенческая 213
Первые семь дней 133
Первые шаги 27
Первый волостной съезд Советов 128
Пиджак. Рассказ 241
По дороге 32
Повесть П. Н. Прохорова 242
Помощь (из дневника председателя колхоза) см. также Дневник председателя колхоза) 183
Почему не виноват тракторист Скопцов 187
Праздник см. Рассказы об одном колхозе
Праздник песен 252
Прасковья Николаева 199
Предательский мост 16
Предсельсовета 202
Приветственное слово-отчет колхоза «Решительный» ‹...› 208
Приговор по делу кардымовцев 96
Принимают зажиточных, а беднякам отказывают 102
Пусть Игнат Белый скажет... 205
Пятерки и тройки 170
Пятнадцать дней, которые дали много 221
«Рабочий путь» — подписчикам 83
Размолвка 35
Расплата за расхлябанность 84
Рассказ Дмитрия Прасолова см. Рассказы об одном колхозе
Рассказы о колхозе «Память Ленина» 234, 238, 251
Рассказы об одном колхозе 234; см. также Рассказы о колхозе «Память Ленина»
С колхозных льняных полей ‹...› 175
Своими руками 12
Слово о пятидесяти 172
Страница большой биографии 223
Субботник 6
Тов. Жилин. Очерк 177
Три комиссии — и ни одна не работает 15
Ты обучил одного неграмотного? ‹...› 88
У котла. Рассказ 25
Урожай кричит: кар-раул! ... 98
Усадьба колхоза 191, 192
Утро председателя колхоза ‹...› Очерк 179
Хозяин см. Заметки о колхозе «Память Ленина»
Через два года — мастера 77
Ярцево не готово 169

Коллективные произведения с участием Твардовского

Стихи

Вообразите! 146
Двенадцать лет см. Парад
«Засевала я ленок...» 245
«И никакого траура...» см. Эпиграммы
Книга Ленина 122
Колхозные частушки 151
Марш ударников 163

«Мы приехали в колхоз...» см. Эпиграммы
На центральном месте 167
Над книгой Ленина см. Книга Ленина
Ответ 120
Парад 127
Первая бригада 148
Приданое 245
Про порядочки, про почтовые 167
Проходят строем см. Парад
Стихи-лозунги 165
Эпиграммы. 157

Переводы

Крестовый поход (с немецкого) 153
Счастье быть большевиком. Стих. Андрея Александрóвича (с белорусск.) 243

Пьесы

На сходке. Пьеса 151
Поджог. Драматическая сценка в стихах 149, 151
Угощение. Пьеса 151

Заметки, корреспонденции

Колхоз «Победа» сумел справиться с севом в срок 174
Пролетарские писатели в колхозах 156
Рапорт бригады пролетарских поэтов в составе Д. Осина и А. Твардовского ‹...› 166

УКАЗАТЕЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

Газеты

Бежицкий рабочий (1918—1956) 162, 163
Большевистский молодняк (Смоленск, 1926—1936; далее изм. загл.) 78, 117, 118, 139, 157, 161, 165, 166, 178
Брянский рабочий (1917 — прод.) 44, 51, 63, 69, 72, 78, 85, 111, 115, 116, 126, 131—133, 152, 154, 155, 163
Декадная литературная газета (Смоленск, 1934) 208—210
За пролетарские педкадры. Многотиражная газета Смоленского индустриально-педагогического института 221
Колхозная газета (ранее: Смоленская деревня, Наша деревня; Смоленск 1929—1935) 211, 212, 231, 238
Колхозная деревня (Сычевка, 1930—1936) 204
Комсомольская правда (М., 1925 — прод.) 142
Красноармейская правда (Смоленск, 1921—1939; далее — в др. городах) 28, 30, 32, 34, 35, 40, 51, 52, 54, 55, 58, 62, 63, 70, 75, 78, 85, 101, 108, 117, 127
Красноармейская правда на селе (Смоленск, 1925—1927) 36, 44
Красный черноморец (Севастополь, 1920—1947; далее изм. загл.) 75, 85, 104, 114, 125
Курская правда (1928—1929)
Літаратура і мастацтва (Литература и искусство; Минск, 1932 — прод.) 203
Людиновский пролетарий (1928—1937) 167
Наша деревня (Брянск, 1924—1929) 39, 66, 74, 82, 86, 123, 125
Наша деревня (Смоленск, 1929—1930; ранее: Смоленская деревня; далее: Колхозная газета) 44, 148, 149
Орловская правда (1917 — прод.) 69
Правда молодежи (Орел, 1922—1937) 78
Путь молодежи (Брянск, 1925—1952; далее изм. загл.) 61, 116, 118, 121, 126, 131
Рабочий путь (Смоленск, 1919 — прод.) 12, 14, 20, 21, 47, 72, 74, 78, 82—84, 90, 92, 94, 95, 113, 115, 117, 119, 120, 122, 124, 125, 127, 129, 130, 138, 144, 146, 147, 150, 151, 153, 156, 158, 159, 163, 174, 175, 178, 185—189, 197—201, 203, 205, 207, 213—220, 222—230, 232, 233, 235—237, 239, 241—248, 250, 252—258
Смоленская деревня (Смоленск, 1923—1929; Наша деревня) 1—5, 7, 10, 11, 15—17, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 38, 41, 57, 65, 74, 76, 89, 91, 96, 106, 114, 128
Социалистический путь (Ельня, 1931—1956; далее изм. загл.) 247
Ударник (однодневная газета. Бежица, 1 окт. 1930) 163, 164
Харьковский пролетарий (1924—1930) 78
Юный пионер (Смоленск, 1920—1929) 25, 60, 67, 77, 103, 106, 112, 125, 160, 195
Юный товарищ (Смоленск, 1920—1929) 6, 8, 9, 13, 18, 19, 24, 33, 37, 39, 41, 43, 45—50, 53, 56, 59, 61, 63, 66, 68, 69, 71, 73, 76, 79—81, 85, 87, 88, 93, 97, 98, 100, 105, 107, 109—111, 114, 116, 122, 127

Журналы

Журнал крестьянской молодежи (М., 1925—1931) 64, 114
Западная область (Смоленск, 1930—1933) 169, 170, 172, 173, 177, 180—182, 188, 190, 191, 193
Знамя (М., 1933—1936; ранее: ЛОКАФ) 224, 225
Колхозник (М., 1930—1932) 179
Комбайн (М., 1923—1932) 182
Красная новь (М., 1921—1942) 47, 246—248, 253, 254, 256, 258
Крокодил (М., 1922 — прод.) 135, 140
Лапоть (М., 1924—1933) 134, 143, 144
ЛОКАФ (М., 1931—1932; далее: Знамя) 188
Наступление (Смоленск, 1931—1936) 188, 192, 194, 202, 203, 205, 222, 234
Огонек (М., 1923 — прод.) 78, 139, 145, 216
Октябрь (М., 1924 — прод.) 126, 141, 203
Прожектор (М., 1923—1935) 137
Резец (Л., 1930—1934) 141
Рост (М., 1930—1934) 139
Смена (М., 1924 —) 111
Чудак (М., 1928—1930) 136
Экран (М., 1923—1930) 111

НИКОЛАЙ АСЕЕВ

К ТВОРЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ПОЭМЫ «МАЯКОВСКИЙ НАЧИНАЕТСЯ»

Вступительная статья и публикация А. М. Крюковой

Творческая судьба Николая Николаевича Асеева (1889—1963) сложилась таким образом, что его имя в литературе и читательском сознании оказалось прочно связанным с именем В. В. Маяковского. На протяжении почти двух десятилетий он выступал рядом с Маяковским, а после смерти поэта, уже до конца своей жизни, продолжал страстно отстаивать, защищать и пропагандировать его творчество. За пятьдесят лет своей творческой жизни Асеев написал такое количество работ о Маяковском, что они составили значительную и чрезвычайно ценную часть его литературного наследия [1]. Сохранилось свидетельство современника о том, что в последние годы жизни поэт мечтал собрать эти работы и издать «два-три тома...» [2]

Произведение «на тему о Маяковском» Асеев задумал создать сразу после смерти поэта. Но сама тема была в центре его размышлений всю жизнь: начиная с первой рецензии 1915 г. на поэму «Облако в штанах» и кончая последними статьями, написанными незадолго до кончины, в марте 1963 г., посвященными связям Маяковского с русской классической литературой.

Знакомство Асеева с Маяковским, состоявшееся летом 1913 г.[3] в Москве, оказалось одним из решающих событий его жизни. «Я чувствовал, что встреча эта для меня неизгладима по своим последствиям» [4],— писал он позднее. Этот биографический факт произвел на поэта столь сильное впечатление, что мотив «встречи», ассоциирующийся в представлении поэта с появлением Маяковского в литературе, истории вообще, повторяется во многих работах Асеева о Маяковском, и именно с этого эпизода начинается и созданная много лет спустя его поэма. Одно из последних стихотворений Асеева, посвященное Маяковскому, так и называется: «Встреча» [5].

«Со времени встречи с ним,— писал поэт в позднейших воспоминаниях,— изменилась вся моя судьба. Он стал одним из самых близких мне людей; да и у него не раз прорывались мысли обо мне и в стихах и в прозе. Наши взаимоотношения стали не только знакомством, но и содружеством по работе...» [6].

Еще в дореволюционные годы творческое общение с Маяковским во многом способствовало определению поэтической позиции Асеева [7]. Он начинал как поэт, связанный со школой символистов. В первой книге стихов «Ночная флейта» (1914) запечатлен образ поэта — «тихого принца», одинокого в толпе горожан, бегущих в «департамент» [8]. Но уже во второй половине 10-х годов в его творчестве возникает другой образ — поэта-бунтаря, предчувствующего близость социальных преобразований, мечтающего о торжестве мировой гармонии. В 1915 г. в рецензии на «Облако в штанах» Асеев приветствует появление нового литературного имени —Маяковского, противопоставляя его течению символизма, говорит о значительности его мира «гипертрофированных образов» и «внезапно вырастающих уличных слов» [9].

Тенденция к демократизации искусства, наметившаяся в дореволюционные годы, получит дальнейшее развитие в творчестве Асеева в первые годы революции [10]. В 1917—1921 гг. он находился на Дальнем Востоке и активно пропагандировал творчество Маяковского на страницах дальневосточных газет и журналов [11], ставил его пьесы, выступал с чтением его стихов и поэм [12]. В мае — июне 1919 г. Асеев печатает в газете «Дальневосточное обозрение» цикл своих статей о поэзии под общим заглавием «Современники». В составе этого цикла была опубликована и статья о Маяковском: «Раскрепощение языка» [13]. В той же газете помещена рецензия Асеева на поэму «Война и мир», озаглавленная «Казнящийся людоед» [14].

Маяковский внимательно следил за работой своих дальневосточных товарищей [15]: известно его письмо Асееву (1921), в котором содержалась благодарность «за агитацию нашего искусства и за восславление моей скромной фигуры, в частности» [16]. Высоко оценивал Маяковский и работу журнала «Творчество», главное достоинство которого видел в том, что он утверждает «социальную неизбежность нашего течения, нашу социальную слитность с Октябрем» [17].

В позднейших воспоминаниях Асеев писал: «Помню, как окольным путем получил во Владивостоке в двадцатом году «Все, сочиненное Маяковским» — книгу, в которой были уже и «Мистерия-буфф» и «Ода революции», сверх того, я получил новую его книгу «150 000 000» с трогательным посвящением: «Бомбой» взорван с удовольствием. Целую. За». («Бомба» — моя книга, напечатанная на Дальнем Востоке [18] и присланная мной Маяковскому)» [19].

В книгу Асеева вошли стихи о революции, во многом перекликавшиеся со стихами Маяковского. В предисловии к ней Маяковский был назван в числе тех, кого Асеев считал самыми выдающимися поэтами современности [20].

Возвращение Асеева в Москву в начале 1922 г. было воспринято Маяковским как одно из значительных событий собственной жизни. «Приехали с Дальнего Востока Асеев, Третьяков и другие товарищи по дракам»,— записывает он под 1922 г. в автобиографии «Я — сам» [21]. С этого времени начинается совместная работа по строительству новой, социалистической культуры. Позднее Асеев скажет об этом: «Вернувшись в Москву, я так общался в работе с Маяковским, что уже перестал быть самим собой, а стал тем «ближайшим другом Маяковского», званием которого горжусь до сих пор» [22].

В печати Асеев в 20-е годы высказывается о Маяковском скупо. В письме к дальневосточным друзьям (1922) он сообщает как об одном из самых значительных литературных событий о том, что Ленин похвалил стихотворение «Прозаседавшиеся» [23]. В статье 1924 г. «Советская поэзия за шесть лет» (оставшейся тогда неопубликованной) Асеев утверждает, что «Маяковский — наиболее яркая фигура среди поэтов сегодняшнего дня» [24]. Дальнейшие выступления Асеева о Маяковском в этот период были посвящены защите принципов создававшегося ими поэтического искусства от нападок литературных и политических недругов. Многие из статей Асеева, регулярно печатавшихся на страницах журнала «Новый Леф» [25], были включены им в книги «Дневник поэта» (1929) и «Работа над стихом» (1929). Эти статьи никогда больше не перепечатывались автором, «остыв во времени» [26]; однако проникнутые «духом Маяковского», они содержали и первые подступы к раскрытию его человеческой и поэтической сущности.

В поэзии Маяковский и Асеев идут своими, самостоятельными, но во многом совпадающими путями: вспомним, например, первые стихи Маяковского о революции («Ода революции», «Приказ по армии искусств» и др.) и стихотворения Асеева, написанные одновременно (цикл «Тайга» [27], «Стальной соловей» и др.), поэмы «Про это» (1923) и «Лирическое отступление» (1924), «Хорошо!» (1927) и «Семен Проскаков» (1927—1928). Мы видим в них и сходство и своеобразие: общность мировоззренческих принципов и самостоятельность в поисках художественных решений общих идейных и творческих задач.

Маяковский, высоко оценивая работу Асеева как единомышленника в отстаивании принципов нового искусства [28], неоднократно подчеркивал в то же время своеобразие таланта поэта и его замечательную творческую одаренность: «Есть пять-шесть поэтов, среди них один Асеев» [29].

Проблема влияния Маяковского на Асеева сложна и неоднозначна; решение ее не входит в нашу задачу. Надо лишь заметить, что сам Асеев, разделяя в молодости некоторые крайности взглядов Маяковского и лефовских установок (отказ от традиций классики, теория «социального заказа» и т. п.), впоследствии от этих крайностей отказался. Вот что писал он, например, в 1959 г.: «Поэзия начинается там, где есть тенденция»,— говорил Маяковский — ⟨...⟩ Настоящая поэзия начинается только там, где есть непредвзятая тенденция» [30]. «Когда я стал понимать, что нельзя запрягать поэзию только лишь в утилитарную телегу необходимости, тогда я написал свое первое стоящее стихотворение» [31]. Но именно творчество Маяковского осталось для Асеева до конца жизни образцом высокой и истинной поэзии — поэзии новаторской, «которая была и поэзией нового строя» [32]. Очевидно, размышляя и о своей роли в отечественной культуре, Асеев писал: «Были поэты пушкинской поры, так есть поэты и маяковской» [33]. И строки из стихотворения 1960 г. «Посещение»:

Вот — Грибоедов, Тютчев, вот — Державин.
А мне? Нельзя ли Баратынским стать? [34]

— невольно соотносятся в нашем сознании с этими словами о поэтах «маяковской поры». О. Г. Петровская вспоминает, что еще в 20-е годы Асеев сопоставлял свою судьбу в поэзии с судьбой Баратынского, работавшего одновременно и рядом с Пушкиным, как он сам — с Маяковским [35].

Смерть Маяковского глубоко потрясла Асеева: скорбь о гибели друга соединилась у него с осознанием потери величайшего поэта современности.

Самым ранним поэтическим откликом на смерть поэта было стихотворение «Последний разговор» (датированное в рукописи 16—19 апреля 1930 г. [36]), которое сам Асеев впоследствии рассматривал как первый «подступ» к поэме «Маяковский начинается»: «Первый раз в „Последнем разговоре" была попытка ослабить остроту тоски, неожиданной разлуки с тем, с кем связаны были все надежды, вся деятельность»,— писал он в статье 1940 г. «Работа над повестью» [37]. Стихотворение несло на себе все следы моментально зафиксированного ощущения: и в реалиях этих первых мгновений («От гроба в страхе не убегу», «Смотрю на тучу пальто поношенных, || на сапогов многое множество»...), и в его взволнованной, открыто интимной интонации («Володя! Послушай! || Довольно шуток! || Опомнись, вставай, пойдем...»).

«В этом первом подступе к повести еще очень много истерики,— отмечает поэт,— и если есть несколько стоящих и реально ощутимых строк, то ими я обязан только искренне переживаемой горечи и желанию как-нибудь утишить сердечную боль» [38].

Одновременно со стихотворением «Последний разговор» была написана и статья «Если бы знал он» (см. ниже в наст. томе), также проникнутая ощущением горя. Правда, в отличие от стихотворения, здесь намечен путь к преодолению трагедии, связанный с мыслью о бессмертии поэта.

Тотчас же после смерти Маяковского у Асеева возникает мысль о необходимости собрать воедино и сохранить о нем все, что знает он сам и что помнят о нем современники. В июне 1930 г. появляется статья «Володя маленький и Володя большой (заметки для биографа)», начинающаяся словами: «Мои первые — они же заочные — воспоминания, только вчера услышанные мной от семьи Маяковского» [39]. Статья заканчивается призывом к современникам: «Товарищи! Умер огромнейший поэт. Такой огромный, что мала наша фантазия, чтобы себе по-настоящему это представить ‹...› Давайте же вспомним все, кто его видел и знал и чувствовал, что он оставил, какой след наложил на наши памяти. Я буду писать книгу о его жизни и работе. Прошу всех направлять материалы воспоминаний о его выступлениях, о впечатлениях от него и от его стихов, запомненные его словечки и выражения — прошу все это присылать ко мне в Москву, на Мясницкую улицу, д. 21, кв. 3» [40].

В статье впервые в схематичном, конспективном виде появились те факты биографии Маяковского, которые в значительно преображенном виде войдут в поэму «Маяковский начинается».

Асеев продолжает активно защищать и отстаивать дело Маяковского. В ноябре 1930 г. он выступает с резким «Письмом в редакцию „Комсомольской правды"» по поводу «Декларации прав поэта» И. Сельвинского, которую Асеев квалифицирует как попытку «всячески шельмовать методы революционной поэтической работы Маяковского». «Письмо» заканчивалось словами: «Я требую от РАПП расследования настоящего случая» [41].

Несколько позднее в журнале «На литературном посту» появляется его столь же резкое «Письмо в редакцию» по поводу воспоминаний Вл. Бонч-Бруевича, в которых несправедливо, по мнению Асеева, утверждалось, что Ленин не любил поэзии Маяковского [42].

Защита Маяковского, его поэтических принципов осуществлялась Асеевым в эти годы и в целом ряде статей, посвященных поэтике Маяковского. Эти статьи не утратили своего значения и сегодня. Первая статья на эту тему — «Как читать Маяковского» [43] (1930) — содержала многие положения, которые войдут в другие выступления поэта, в том числе и в поэму (см., например, в статье: «Маяковскому в его поэтической культуре помогла и организовала ее его социальная установка на язык улиц, язык площадей, язык пролетариата» [44] и в поэме: «он речь от дворцов поворачивал к хижинам...» [45]). К этому ряду работ принадлежат также статьи: «Черновики и варианты» [46], «Железки строк» [47], «Метод Маяковского» [48], «Работа Маяковского» [49], «Работа Маяковского над поэмой „Про это"» [50].



Н. Н. АСЕЕВ
Литография по рисунку К. Ф. Юона. 1926
Личный архив Асеева, Москва

Статьи были проникнуты глубоким лиризмом, в них прорывалась боль, размышления о трагической судьбе Маяковского и о величии его труда: «Сейчас весна — первая весна без Маяковского ⟨...⟩ Я говорил с текстом Маяковского, как с ним самим, я видел его работу, как свою собственную. Я ощущал необъятность того труда, который был им вложен в поэтическое ремесло» [51],— так заканчивалась статья «Работа Маяковского».

Статья, открывавшая «Альманах с Маяковским», была целиком посвящена размышлениям о судьбе поэта, трагичность которой Асеев видел «в огромной огнеопасности личной лирики, бесконечные запасы которой вмещал и хранил в себе Маяковский» [52].

В эти годы в сознании Асеева все более нарастает уверенность в том, что смерть Маяковского не есть следствие случайности, слабости поэта и т. д. [53], но результат ожесточенной политической и литературной борьбы.

«Через год после его смерти мною вновь овладело упорное желание дать себе отчет в том, что произошло. К этому времени у меня уже сложилось глубочайшее убеждение, что здесь налицо не только личная временная слабость Маяковского, но и внешнее давление на него со стороны каких-то темных, не обнаруженных еще сил, использовавших его огромную чувствительность и склонность к трагическому ощущению им всего, что происходит в мире,— писал Асеев в статье «Работа над повестью».— Эту вражескую осведомлен-

ность о ранимости и уязвимости Маяковского 〈...〉 я хотел осветить и зафиксировать в призыве расследовать черное дело, которое мне казалось аналогичным убийству рабкора или активиста-колхозника» [54]. Так появились строки «Поэмы о ГПУ», оставшейся, очевидно, незаконченной [55].

Этот замысел представляет определенный интерес как следующий «подступ к повести»,— так назвал его Асеев в одном из выступлений [56].

«Первые стихи о Маяковском» — так была названа «Поэма о ГПУ» в одном из вариантов (личный архив) — были проникнуты глубокой скорбью, желанием рассчитаться с врагами Маяковского:

Ничего, что губы, оледенев,
Обронили октябрьской листвы слова.
Я останусь с тобою наедине:
Расскажи мне — кто в этом виноват?
. . . . . .
Я знаю, что к сердцу свинец неся,
Поднимая стотонную сталь ствола,—
Ты нажим гашетки нажал не сам,
Что чужая рука — твою вела...

Убеждение в том, что виновниками смерти Маяковского были прежде всего его идейные и литературные враги, с годами не ослабевало, а крепло в сознании писателя. Его полемические выпады в их адрес, порой пристрастные и несправедливые, отражали характер литературной борьбы 20-х — начала 30-х годов. Страстность обвинений в адрес противников Маяковского определит во многом и содержание поэмы.

В целом период 1931—1934 гг. следует признать временем вызревания замысла поэмы.

Важным этапом в осознании значения Маяковского в культурной и общественной жизни страны явился Первый всесоюзный съезд советских писателей (август — сентябрь 1934 г.) и развернувшаяся на нем дискуссия о творческом наследии Маяковского. «Когда говорят о том, что мы, друзья Маяковского, пытаемся установить какой-то культ Маяковского, какую-то единственную правильность его формы,— это чепуха,— сказал Асеев в выступлении на съезде.— Мы говорим о поведении Маяковского, о культуре его биографии, и вот к чему мы приковываем внимание поэтов всего мира, поэтов всей нашей страны, поэтов, которые должны рассматривать и ценить культуру биографии Маяковского» [57].

В литературно-критических выступлениях поэта второй половины 30-х годов наряду с усилением полемического начала впервые делается попытка понять Маяковского в русле национальной традиции, как наследника и продолжателя классической русской литературы [58]. Эта мысль станет ведущей в литературно-критических статьях поэта периода Великой Отечественной войны; развитие и обоснование она получит в последние годы его жизни.

В выступлениях 1936—1940 гг. еще была сильно ощутима боль, горечь от сознания непоправимой потери — этим настроением во многом затем будет определяться и лирический подтекст поэмы. Столь же ощутимо в ней и резкое полемическое начало, желание «рассчитаться» с врагами Маяковского. В личном архиве поэта сохранились незаконченные статьи и заметки этого периода, направленные против критика Корнелия Зелинского [59], ведущих деятелей РАППа — Авербаха и Киршона [60], Демьяна Бедного [61] и др.; некоторые наброски статей посвящены защите отдельных лиц из литературного окружения Маяковского [62]. Здесь еще отчетливо проявляются групповые пристрастия автора.

Наиболее законченный вид эти выступления получат в статье Асеева «Друзья подлинные и мнимые» (1936) [63], в которой говорилось о стремлениях недругов поэта изолировать его в сознании читателей не только от предшествующего периода русской литературы, но и от современной поэзии, о тенденциозном противопоставлении его Есенину, Багрицкому, Пастернаку и другим советским поэтам...

К 1934 г. относится, очевидно, начало работы Асеева над большим произведением на тему о Маяковском. Им был начат роман о поэте. «Вещь, над которой я работаю уже два года, получила, наконец, реальные очертания»,— сказал Асеев в своем выступлении 8 декабря 1936 г. (стенограмму выступления см. ниже в наст. томе).

В декабре 1935 г. было опубликовано известное высказывание И. В. Сталина о Маяковском [64], способствовавшее переоценке творчества Маяковского в общественном сознании. Тогда же появилось интервью Асеева, озаглавленное «Роман о Маяковском» [65], из которого явствовало, что замысел романа в основном уже сложился в сознании писателя. В 1936 г. Асеев вновь рассказал об этом замысле: «Мне предложил журнал ленинградский

„Звезда" написать биографию Маяковского художественного типа, рассказать, что я знал, как встречался, какие наблюдал характерные особенности, создать образ его, фигуру, его творческий образ ⟨...⟩ Наконец, в мае этого года я решил писать, и действительно начал писать. Я действительно написал два листа этой прозаической вещи, вижу, что все факты верны, все ясно, все, что я считаю нужным, я высказал честно и по мере сил своих, но фигура стоит на месте и действие не двигается. Остановилось, и можно рассматривать! Как увлекательный фильм — остановился, смотришь и что же дальше?» (см. ниже стенограмму выступления Асеева 8 декабря 1936 г.).

«Роман» не удался поэту. Хотя в дальнейшем, уже в последние годы жизни, Асеев будет не раз возвращаться к замыслу какого-то большого прозаического произведения о Маяковском, на этом, первоначальном витке творческой истории произведения от замысла его он вскоре откажется: «Я разозлился, счел себя бездарным, решил, что ничего не выйдет у меня,— говорил поэт в цитированном выступлении 1936 г.,— и вот в таком припадке холодного самобичевания я написал несколько строк в отношении себя. Я думал потом это вставить в прозу или взять эпиграфом. Но мне почувствовалось, что здесь получается какой-то пробег. Я тогда дальше написал. Потом вошел в аппетит и — написал целый кусок» (там же).

От этой прозаической вещи остался фрагмент под заглавием «Недалекая звезда», который и публикуется в данном томе.

Непосредственно к работе над поэмой Асеев приступил летом 1936 г. «Я бросил прозу и написал за лето 7 глав этой повести»,— сообщил он 17 декабря 1936 г. в выступлении на собрании в Политехническом музее [66].

В октябре 1936 г. в печати сообщалось о большом поэтическом вечере в Москве, на автозаводе им. Сталина: «Особенно горячо принят был слушателями отрывок из стихотворной повести Асеева «Маяковский». Поэт рассказал о своей работе над повестью, которая задумана им как прозаическое произведение о Маяковском и молодежи и о предреволюционной России, но которую он в процессе творческой работы счел необходимым перевести на язык поэзии» [67].

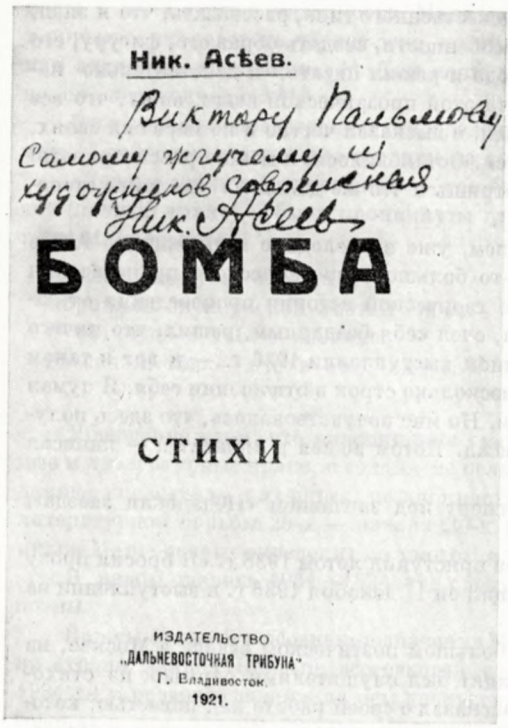
21 декабря того же года в газете «Рабочая Москва» появился отрывок из поэмы под заглавием «Первое знакомство» (в дальнейшем войдет в 1-ю главу поэмы), сопровождавшийся следующим разъяснением автора: «...отрывок ⟨...⟩ является фрагментом I главы повести в стихах „Маяковский начинается" ⟨...⟩ Вся повесть будет напечатана в журнале „Звезда" [68]. Она заключает в себе 20 глав, посвященных биографии, делам и помыслам того поколения, представителем и ярчайшим выразителем которого являлся Маяковский» [69]. Это была первая публикация текста поэмы.

Работу над произведением Асеев предполагал закончить тогда же, в кратчайший срок, к 20-летию Октября, о чем он сообщал в одном из писем 1937 г. [70]

Однако на этом, первоначальном этапе общий замысел был не до конца ясен автору: не ясны были композиция и состав произведения — и то и другое находилось в постоянном движении. Еще в 1938 г. Асеев в интервью «Вечерней Москве» сообщал о желании, говоря о литературном окружении Маяковского, рассказать, в частности, и о Блоке и о «современных нам литераторах» [71]. Общий план поэмы излагался в том же интервью следующим образом: «Первые две главы своей поэмы Н. Н. Асеев посвящает Москве 1911 года ⟨...⟩ Третья глава—переселение поэта в Москву и первый арест его. Следующие пять глав посвящены первым литературным выступлениям Маяковского ⟨...⟩ Ряд следующих глав — о Маяковском в годы войны и Великой Октябрьской социалистической революции. Пятнадцатая глава — о работе Маяковского в РОСТА и его первых послереволюционных произведениях. Шестнадцатая глава посвящена образу Маяковского — патриота Советской Родины, семнадцатая — дружбе и верности Маяковского друзьям, восемнадцатая — памяти поэта ⟨...⟩ и последняя ⟨...⟩ — заключительная.

Из общего количества девятнадцати глав поэтом уже написаны четырнадцать» [72].

Этот замысел в процессе работы претерпел существенные изменения: не говоря уже о том, что общее количество глав в окончательном тексте будет семнадцать [73], распределены по содержанию они будут совсем иначе: первым литературным выступлениям поэта посвящено не пять глав, а две (3-я и 4-я), войне и революции — также только две (10-я и 11-я); «пятнадцатая» глава (о РОСТА) не будет написана вовсе; замысел «шестнадцатой» найдет воплощение в «дополнительных главах» (1950): «Знаменосец революции» и «Маяковский в Америке».



ПЕРВЫЙ ПОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ СБОРНИК СТИХОВ Н. Н. АСЕЕВА «БОМБА». ВЛАДИВОСТОК, 1921

Титульный лист с дарственной надписью: «Виктору Пальмову самому жгучему из художников современья Ник. Асеев»

Литературный музей, Москва

В основе замысла поэмы лежали две главные темы. «Появление Маяковского и его гибель — вот два основных пункта моей поэмы»,— говорил Асеев [74]. Причем, первая часть, раскрывающая тему появления поэта, сложилась у него сразу (первые шесть-семь глав), а мотив гибели давался поэту с трудом.

В первых главах есть сюжет, движение которого определялось самой биографией героя поэмы; в дальнейших частях развивалась, утверждалась, по существу, одна мысль — бессмертия, «начала» Маяковского. Вероятно, именно последние главы дали возможность первым слушателям и критикам определить метод поэмы как «систему радуг», «наращивания дополнительных тонов» и т. д. [75]

Но эта же часть поэмы вызвала упреки в неопределенности ее жанровой природы. Впервые они были высказаны на обсуждении 1938 г. А. Т. Твардовским: «Отсутствует какой-то цельный сюжет, отсутствует даже, я бы сказал, очень крепкое сцепление глав. Попросту говоря, это книга лирических стихов о Маяковском, книга каких-то посвящений» [76].

Первые критики поэмы уже прямо воспринимали ее как «исповедь поэта, быть может, наиболее личную из всего им написанного» [77].

В дальнейшем исследователи потратили немало усилий, чтобы определить жанр этого произведения [78].

Принимая авторское определение — «повесть в стихах», следует, очевидно, иметь в виду наличие двух начал в этом произведении: эпического — наиболее ощутимого в первых главах, и лирического — в последующих.

Принцип композиции поэмы представляется Асееву в чем-то сходным с кинематографическим приемом: от общего плана к крупному — от изображения эпохи — к судьбе главного персонажа [79]. В поэме широко представлены исторические события: революция 1905 г., первая мировая война, Великая Октябрьская социалистическая революция, строительство новой жизни в стране. И хотя первые критики поэмы отмечали, что эти открыто «повествовательные» куски не принадлежат к лучшим местам поэмы [80], отказаться от них поэт не мог, они органически входили в замысел произведения. Столь же органично входит в повествование и рассказ о литературном окружении Маяковского (Хлебников, Пастернак, Крученых, Бурлюк и т. д.).

Сохранились следующие источники текста поэмы, раскрывающие процесс работы над ней: автограф первых шести глав [81]; многочисленные автографы отдельных глав и фрагментов текста [82]; машинописные тексты поэмы в целом и отдельных ее глав [83].

Черновые автографы позволяют судить о том, что при работе над текстом произведения отдельные строфы, группы строф находились постоянно в движении, объединяясь затем в части глав, главы и т. д. Эти микроэлементы постоянно переставлялись. Чаще всего они образовывали как бы самостоятельные лирические стихотворения, со своим лирическим сюжетом, своим эмоциональным фокусом, заключающимся в последней, ударной строке. Сохранившиеся материалы почти не содержат примеров работы над словом как таковым — она проходила, очевидно, где-то в сознании поэта, выливаясь на бумаге уже

в законченных формах: многочисленные варианты отдельных частей текста имеют сравнительно небольшие стилистические отличия.

В машинописных текстах видна серьезная работа над композицией произведения. Если последовательность первых восьми глав поэмы оставалась на всех этапах без изменений, то следующие главы передвигались, новые главы дописывались, «наращивая» текст, постоянно менялась общая конструкция произведения. В самом раннем из сохранившихся законченных машинописных текстов поэмы [84] было одиннадцать глав: после первых восьми глав последовательность их была следующей: глава IX — «Четырнадцатый год», X — «Хлебников», XI — без заглавия (в дальнейшем «Невский перед Октябрем»).

Затем в процессе работы у автора возникла, очевидно, мысль дополнить поэму: IX исправлено на X, X — на XI, XI — на XIII. В дальнейшем после главы VIII была дописана глава IX «Впереди поэтовых арб», IX (прежней нумерации) стала главой X («Четырнадцатый год»); X — главой XII («Хлебников»); XI («Невский перед Октябрем») — осталась без изменений. Тогда же была дописана глава XIII «Осиное гнездо».

Последние главы поэмы действительно наращивались, идея бессмертия поэта варьировалась в главах XIV, XV, XVI, XVII и в эпилоге. В связи с этим, очевидно, в процессе создания поэма заканчивалась по меньшей мере трижды:

Главой XV «Маяковский рядом» (беловой автограф главы завершался словами: «1938. Май — август. Ялта — Барвиха» [85]);

главой XVI «Косой дождь» (беловой автограф заканчивался: «1938 VIII—IX. Барвиха» [86]);

главой XVII «Площадь Маяковского» (в конце машинописного текста главы написано: «1939. Июнь — сентябрь» [87]).

В архиве нет автографа второй части поэмы — можно предположить, что его и не было; существуют автографы только отдельных глав продолжения поэмы. На стадии машинописных текстов поэт вообще отказался от деления поэмы на части — на этом этапе творческой истории в замысле существовал уже единый текст произведения.

О своей работе над текстом поэт рассказывал: «Я написал десять глав, причем старался по возможности сжиматься, я выкидывал целыми кусками то, что для меня первоначально являлось подсобной работой, а потом оказалось просто разросшимися в стороны кусками. Мне хотелось вести линию действия, не прерывая ее» [88].

Эти «разросшиеся в сторону» и затем исключенные из текста фрагменты поэмы и публикуются в настоящем издании. Условно их можно разделить на две группы: 1) описательные куски, содержащие «исторические экскурсы», детализацию событий, факты личной биографии и т. д.,— и 2) полемические, составившие значительную часть исключенных в процессе работы текстов.

В первых семи главах поэмы, создававшихся в 1936 г., полемические моменты почти отсутствуют (исключение составляет глава V). Однако и на этом этапе поэт, очевидно, предполагал ввести их в поэму (уже в первом публичном обсуждении поэмы 8 декабря 1936 г. он заявил о желании дополнить стихотворный текст «полемическими разговорами с публикой» — см. в наст. томе стенограмму выступления 8 декабря 1936 г.). Асеев понимал, что полемические сюжеты нарушают художественную целостность произведения, но и расставался он с ними с большим трудом. Интересно отметить, что, в отличие от так называемых «описательных» кусков, которые поэт, набросав на отдельных листах, как правило, даже не включал в текст поэмы,— полемические места отрабатывались им с большой тщательностью и сохранялись на всех этапах творческой истории, иногда вплоть до первых публикаций, или, во всяком случае, машинописных текстов. С одной стороны, желание Асеева рассчитаться с недругами Маяковского (и своими тоже) поддерживали и некоторые представители литературной среды. В архиве поэта сохранилась брошюра Л. Авербаха «Памяти Маяковского», подаренная поэту Вс. Вишневским с такой дарственной надписью: «Николаю Асееву — в дни исторического расчета большевиков-писателей с бандой троцкистов. Они сгубили нашего Маяковского. Эта книга — улика. Обрушим ее на врагов. 23—29 апреля 1937 года. Москва».

Асеев действительно «обрушил» ее на своих противников: внимательно прочитав ее, он отчеркнул многие места в ней, сделал выписки, которые затем в трансформированном виде включил в поэму, в ее полемическую часть.

Несколько позднее, познакомившись, очевидно, с рукописью поэмы, Вс. Вишневский писал Асееву: «Лучшие главы — полемические места поэмы ⟨...⟩ Они достигают большой

силы» [89]. Здесь же высказывается сожаление, что в поэме не нашлось места «быту гражданской войны», «гигантской партийной работе» и другим важным темам.

В неопубликованной статье о поэме критик А. И. Ромм писал: «Книга Асеева замечательна тем,что она продолжает одну из лучших традиций Маяковского: никого не бояться, не притворяться, будто не видишь „всяких мерзавцев, ходящих по нашей земле и вокруг", а хлестать их прямо в рожу, с полным увлечением, рискуя нарваться, рискуя чем угодно» [90].

Однако, с другой стороны, уже первые обсуждения поэмы в литературной и читательской среде показали, что этот «полемический запал» вызывал и резкое неприятие: см. например, стенограмму обсуждения поэмы 8 декабря 1936 г. (наст. том), а также оценку поэмы в дискуссии на обсуждении книг о Маяковском в ноябре 1940 г. «Я считаю,— говорил, например, А. Фадеев на этом собрании,— что излишне много места уделено в поэме возне всевозможных литературных групп вокруг Маяковского. Это написано так, точно эти группы существуют и сейчас, и точно сам Асеев смотрит на них глазами одной из групп» [91].

Асеев при обсуждении поэмы обычно защищал полемические куски, но можно предположить, что они не совсем удовлетворяли и его самого. Недаром так много их было в конце концов исключено из текста.

Первые публикации глав поэмы, полностью или в отрывках, появились в следующем порядке: главы I—VI были напечатаны в 1937 г. [92], далее — в 1937 г.— появились главы VIII и X [93], в 1938 — XI, XII [94] и Эпилог [95]; в 1939 — главы VII [96], XV [97], XVII [98], в 1940 — IX [99], XIV [100] и XVI [101]. Публикацией поэмы в первом отдельном издании [102] заканчивается по существу ее творческая история.

Поэма получила широкое признание в литературной и читательской среде; поэт был удостоен за нее Государственной премии I степени [103].

Период 1940—1941 гг. был временем активного обсуждения произведения в печати [104], в котором принимал участие и автор. Критика писала о «новом Асееве» [105], вышедшем в своем творчестве на путь углубленного, философского осмысления действительности, о зрелости его поэтического мастерства. «Поэма Асеева — большое поэтическое произведение большого мастера,— писал А. Н. Толстой в рецензии для Комитета по Сталинским премиям.— Язык его — коренной, московский ⟨...⟩ Образ этот (Маяковского.— *А. К.*) написан огромной любовью к России, к поэзии и к великому поэту» [106].

А. Фадеев в выступлении на вечере, посвященном 25-летию творческой деятельности Асеева (1939), говорил, что в поэме Асеев «достиг такой высоты и настоящего ⟨...⟩ революционного мировоззрения, и изумительного мастерства стиха, и совершенно неотразимого чувства поэтического, что эти стихи можно назвать гармоничными». Отмечая, что стихи поэмы достигают «абсолютной» поэтической ценности, Фадеев продолжал: «И это самое большое и высокое, что один художник, говоря о другом, может сказать» [107].

Но особенно ценным для Асеева было признание поэмы широкой читательской массой, зафиксированное во множестве писем читателей к нему. Выступая в ноябре 1940 г. с ответным словом на дискуссии о поэме и признав справедливость многих критических замечаний, он затем сказал: «И все же я думаю, что „Маяковский начинается" — это моя удача. Об этом свидетельствуют дружеские письма со всех концов страны, с дальних краев» [108].

Отчитываясь о своей работе на одном из писательских собраний (очевидно, весной 1941 г.), Асеев вновь обратил внимание аудитории на читательский успех поэмы: «Работа над повестью в стихах «Маяковский начинается» заняла все мои последние пять лет. Я дал себе клятву написать повесть о друге и выполнил ее в меру моих способностей. Повесть заслужила внимание читателей, о чем свидетельствуют сотни писем из самых отдаленных концов страны. Высокой наградой почтено это произведение, над которым я работал без всякого расчета на награды и, признаюсь, даже без надежды на всеобщее одобрение. Я был несколько оглушен таким успехом, который, конечно, относится в большей своей части к фигуре главного персонажа повести, поднимающего ее своей необычайностью» [109].

В 1940 г. Асеев подготовил к печати подборку писем читателей к нему, исполненных изъявлений любви рядового читателя к Маяковскому. Подборка эта в печати не появилась [110].

«Я очень люблю Маяковского, и мне приятно видеть его настоящего, большого ⟨...⟩ Маяковского любят и понимают, а вы еще больше выделили его, отряхнули от мусора, который на него старались нанести его, а стало быть, и наши враги ⟨...⟩ Маяковский не

стареет, наоборот, он становится все моложе и моложе, все ближе и ближе к нам». Такими и подобными признаниями полны письма к Асееву учителей, рабочих, красноармейцев — людей разных профессий из разных уголков страны. Читатели пишут о необходимости усилить пропаганду творчества Маяковского, издать его книги дешевыми массовыми тиражами, говорят о манере чтения его стихов, обсуждают проблему сооружения ему памятника и т. д. Эти письма были для Асеева источником законной гордости и радости. Одно из них заканчивалось словами: «Но ваш долг перед Владимиром Владимировичем и перед людьми, которые его почитают и любят, еще не выполнен. Каждое слово о нем — его друзей, товарищей, родных,— драгоценно. И мы вправе требовать этих слов».

Выходом поэмы в свет работа Асеева над темой о Маяковском не была завершена — он продолжал работать над ней до конца жизни.

В конце 30-х годов, в связи с приближавшимся 10-летием со дня гибели поэта, Асееву вместе с А. А. Фадеевым было поручено осуществить «практическое наблюдение за повседневной подготовкой» к юбилейной дате [111]. Сохранились материалы, свидетельствующие о его работе в этом плане [112], в частности в связи с подготовкой первого полного собрания сочинений Маяковского, одним из редакторов которого он был и которое открывалось его вступительной статьей [113].

Словно подводя итог размышлениям этих лет, Асеев писал в статье «Слушайте, товарищи потомки!»: «Еще и еще раз берешься за перо, чтобы вспомнить и оценить значение Владимира Владимировича Маяковского. И с каждым годом все глубже и глубже понимаешь неизмеримость потери. Память оседает вглубь, стираются детали. За жизненным, близким обликом вырастает гигантская фигура столетий» [114].

В годы Великой Отечественной войны, переживая вместе со своей страной огромный патриотический подъем, Асеев много размышляет над темой национальных корней, «родословной» творчества Маяковского и всей советской поэзии в целом. В эти годы в печати появилось несколько статей поэта о Маяковском [115].

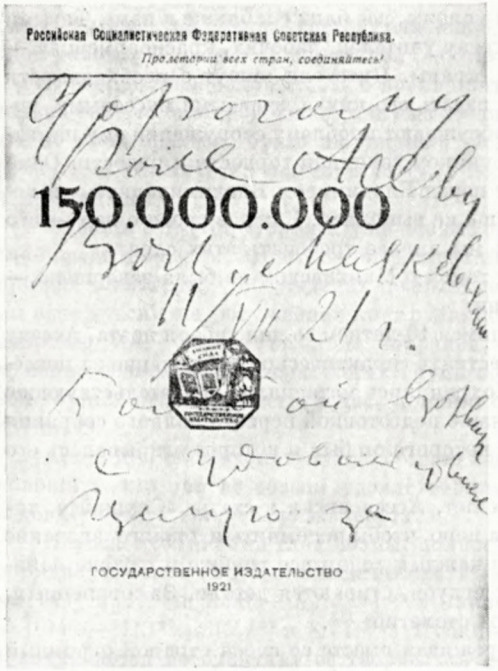
В 1943 г. писатель объединил две из них в отдельном издании [116]. Статьи 1940-х годов были существенным этапом в осмыслении поэтом темы Маяковского, в них впервые в полный голос заявлено о неразрывной связи его поэзии с лучшими традициями русской литературы: «И Маяковский, великий русский поэт, через Державина, Пушкина, Льва Толстого принял на себя эти родовые черты несгибаемой, свободной, все преодолевающей на своем пути русской культуры» [117].

К годам войны относится и начало работы Асеева над замыслом «Позднейшего послесловия к поэме», которое не было завершено, хотя работа над ним продолжалась и в послевоенные годы. Фрагменты «Послесловия» сохранились в архиве и публикуются в настоящем томе. В 40-е же годы поэт задумал написать в стихах работу по истории советской страны и советской поэзии — «Повесть временных лет» (отрывки из которой также публикуются ниже), где Маяковскому должно было быть посвящено, очевидно, немало страниц. К 50-м годам относится начало работы над одним из самых значительных произведений Асеева о Маяковском — его воспоминаниями, озаглавленными «Маяковский о себе. Комментарий к „Я — сам“» [118]. Эта работа предназначалась сначала для предисловия к полному собранию сочинений Маяковского, но осталась тогда неопубликованной и была напечатана позже, но до сих пор все еще не полностью [119].

В те же 50-е годы Асеев обдумывает план создания автобиографического романа. Он пишет о нем Фадееву 2 июня 1951 г.: «Усиленно пишу стихи, статьи и, кажется, даже на роман хочу размахнуться. Пожалуйста, не смейся надо мною, роман предполагается автобиографический — вместо обычных стариковских воспоминаний, которые вылезают на свет после шестидесяти годов» [120]. Можно быть уверенным, что в этом замысле Маяковскому отводилась значительная роль.

В конце 40-х годов Асеев возвращается к тексту поэмы. Большой читательский успех, всеобщее признание и одобрение, с которым она была встречена литературной общественностью, способствовали тому, что сразу по завершении работы над нею Асеев задумал создать дополнительные главы к ней. В самом заглавии поэмы, ее концепции и содержании в целом заключалась идея «продолжения». На обсуждениях поэмы в читательской аудитории поэту не раз задавались вопросы: «Будет ли „Маяковский продолжается“?» [121] Первые рецензенты поэмы отмечали: «Поставлена точка, рукопись ушла в печать, но Асеев видит уже новые главы — поэма продолжает расти» [122].

В целом ряде критических замечаний указывались и конкретные темы, которых явно



ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ ПОЭМЫ В. В. МАЯКОВСКОГО «150.000.000» (М., ГИЗ, 1921) С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ: «ДОРО ОМУ КОЛЕ АСЕЕВУ ВОЛ. МАЯКОВСКИЙ. 11/VII 21 г. БОМБОЙ ВЗОРВАН С УДОВОЛЬСТВИЕМ. ЦЕЛУЮ ЗА.»

Литературный музей, Москва

недоставало поэме. Л. И. Тимофеев дважды повторял мысль о том, что «в поэме Асеева Маяковский дан вне литературного процесса: пропущено такое, например, литературное и культурное явление, как Горький ⟨...⟩ Это вызывает недоумение при всем том сочувствии, которое поэма Асеева к себе вызывает» [123].

Возможно, что, учитывая именно эти критические замечания, Асеев решил дополнить поэму главой «Горький на Капри».

В первые годы Великой Отечественной войны, в одном из отчетов перед писательской общественностью, Асеев сообщил: «В плане работы этого года (очевидно, 1943-го.— *А. К.*) у меня задуманы две дополнительные главы повести в стихах „Маяковский начинается" — одна о Горьком на Капри и другая — о чтении Маяковским поэмы „Владимир Ильич Ленин" в Большом театре 21 января 1930 года» [124].

Дополнительные главы, названные Асеевым в этом выступлении, не были написаны. Не сохранилось и никаких поэтических заготовок к ним. Вместо них в 1950 г. появились другие главы: «Знаменосец революции» и «Маяковский в Америке».

После публикации 1940 г. поэма выходила при жизни поэта еще шесть раз [125]. Каждое из этих изданий автор заново редактировал.

В процессе этой работы поэт вносил ряд сокращений. Их можно рассматривать как результат своего рода «автоцензуры», которая, безусловно, ухудшала произведение. Самым неудачным вариантом из названных изданий было издание 1951 г. [126]: здесь впервые была снята нумерация глав, изменен подзаголовок, произведены значительные изъятия текста: исключена полностью глава XII «Хлебников»; изъяты части текста, посвященные А. Е. Крученых и содержащие упоминание о Хлебникове, сняты строфы о Художественном театре, о Левитане и др. [127] В поэму были введены главы, написанные в 1950 г.: «Знаменосец революции» и «Открытие Америки» [128]. Главы эти, очевидно, не удовлетворили самого автора, так как уже в следующем издании поэмы (1953) , в котором сохранились все изъятия текста 1951 г., он исключил эти главы из состава поэмы и никогда более к ним не возвращался [129].

Новое оживление творческого интереса Асеева к теме Маяковского приходится на период после 1956 г. и связано в первую очередь с зарождением замысла большого труда «К истории советской поэзии». Центральное место в этом замысле, оставшемся осуществленным не полностью, должен был занять Маяковский — его роль в судьбах отечественной поэзии. В последние годы в работах Асеева о Маяковском появляется новый мотив — Маяковский и советская литература. Этому вопросу посвящены многочисленные наброски на тему «Маяковский и Шолохов» [130] и статья «О поэзии громогласной и приглушенной» (на тему «Маяковский и Пастернак») [131].

Последняя статья Асеева о Маяковском была написана незадолго до смерти, в марте 1963 г.— она называлась «Достоевский и Маяковский» [132].

Размышления о творческой судьбе Маяковского находились у Асеева в теснейшей связи с раздумьями о судьбах родины, судьбах русской поэзии и о собственном месте и роли в истории отечественной культуры.

* * *

Творческая история поэмы «Маяковский начинается» никогда еще не была предметом специального исследования. Основная часть материалов, раскрывающих эту тему, до сих пор не опубликована.

Архив Асеева хранится в настоящее время в ЦГАЛИ, ИМЛИ, ГЛМ и у вдовы поэта — К. М. Асеевой (материалы этой части архива мы обозначаем в публикации словами «личный архив»). При выявлении материалов для данной публикации был изучен весь комплекс этих документов.

Задача настоящей публикации — ввести в научный оборот наиболее существенные из неопубликованных материалов, раскрывающих тему «Асеев и Маяковский». Материалы расположены в хронологическом порядке по трем основным разделам: «До поэмы», «Работа над поэмой» и «После поэмы». Кроме того, публикуются материалы к главам поэмы XII и XIV, посвященным Хлебникову и Пастернаку.

Автор публикации выражает глубокую благодарность Ксении Михайловне Асеевой, не только любезно предоставившей возможность познакомиться с личным архивом Асеева, но всячески помогавшей в этой работе своими советами и консультациями, а также Марии Михайловне Синяковой-Уречиной и Ольге Георгиевне Петровской. Автор благодарит директора ЦГАЛИ Н. Б. Волкову и научного сотрудника ЦГАЛИ С. Ю. Малахову, содействовавших появлению этой работы в печати.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В библиографическом указателе «Русские советские писатели. Поэты» (т. 2. М., «Книга», 1979, с. 78—80) зафиксировано около 100 выступлений Асеева о Маяковском в разных жанрах. По нашим данным, включая забытые и неопубликованные работы, их было значительно больше.

[2] Лев О з е р о в. Асеев начинается.— *ЛГ*, 1966, № 62, 28 мая.

[3] Эту дату Асеев называет, например, в статье «Как живой с живыми» — «Литература и искусство», 1943, № 29, 17 июля. По другим его же воспоминаниям, знакомство с Маяковским произошло в 1911 или 1912 г. (см. интервью Асеева «Маяковский начинается» в газете «Вечерняя Москва», 1938, № 283, 13 декабря и статью «Что меня сблизило с Маяковским» — «Огонек», 1963, № 9).

[4] Н. А с е е в. Владимир Владимирович Маяковский. М., «Молодая гвардия», 1943, с. 10.

[5] *Асеев*, т. 4, с. 214. Стихотворение входит в цикл «Звездные стихи», предваряемый эпиграфом из Маяковского. В первоначальном варианте оно называлось «Маяковскому» (ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 32, л. 6—7).

[6] *Асеев*, т. 1, с. 8.

[7] Взаимное дружеское расположение поэтов в эти годы еще не привело к тесному литературному сотрудничеству. Известны лишь три их совместных выступления в печати за 1914—1915 гг.: на составленной Маяковским литературной странице «Траурное ура» газеты «Новь» (1914, № 119, 20 ноября) и в сборниках «Весеннее контрагентство муз» (М., Студия Д. Бурлюка и С. Вермеля, 1915) и «Взял. Барабан футуристов» (Пг., тип. З. Соколинского, 1915).

[8] Н. А с е е в. Ночная флейта. М., «Лирика», 1914, с. 31.

[9] Сборник «Пета». М., изд-во «Пета», 1916, с. 45; см. также *Асеев*, т. 5, с. 505.

[10] Задуманный Асеевым в 1917 г. цикл статей («бесед») назывался «Демократизация искусства». Опубликованы были лишь беседы первая и вторая (журнал «Великий океан», Владивосток, 1917, № 1 и 1918, № 3; см. также: «Москва», 1974, № 1).

[11] В журнале «Творчество» (Владивосток — Чита, 1920—1921, № 1—7, редактор Н. Чужак), ближайшее участие в работе которого принимал Асеев, были напечатаны поэмы «Облако в штанах» (ч. II, III и IV — 1920, № 1—3) и «Война и мир» (ч. II — 1920, № 5); в последнем номере журнала (1921, № 7) появилось объявление, что готовится к печати «Мистерия-буфф» («новый вариант, присланный автором редакции журнала «Творчество») и уже печатается «150 000 000» со вступительной статьей Н. Чужака; кроме того, в журнале были опубликованы две статьи о Маяковском: Д. Б у р л ю к. Владимир Маяковский. Критико-биографический очерк (1920, № 1) и Н. Ч у ж а к. Тринадцатый апостол (1920, № 3).

[12] О чтении Асеевым поэмы «Человек» см.: Ольга П е т р о в с к а я. Николай Асеев.— В кн.: *Воспоминания о Николае Асееве*, с. 36, 50.

О чтении «Мистерии-буфф» сообщала газета «Дальневосточная республика», 1921, № 299, 11 июня. См. также.— *Асеев*, т. 5, с. 672.

[13] «Дальневосточное обозрение», 1919, № 79, 8 июня.

[14] Там же, № 119, 3 августа.

[15] Асеев перечисляет их в статье «Октябрь на Дальнем»: «Чужак, Третьяков, Бурлюк,

Алымов, художник Пальмов, Силлов, Петровская — это уже была литературная группа, вокруг которой можно было организовать культурные силы Приморья» (*Асеев*, т. 5, с. 131).

[16] *Маяковский*, т. 13, с. 50.

[17] Там же, т. 12, с. 42.

[18] Н. А с е е в. Бомба. Владивосток, изд-во «Дальневосточная трибуна», 1921. Весь тираж книги был уничтожен во Владивостоке японскими интервентами. В настоящее время известно о существовании только двух ее экземпляров, из которых один хранится в ГЛМ (экземпляр с дарственной надписью автора В. Пальмову), другой — в отделе редких книг ГБЛ (библиотека А. К. Тарасенкова).

[19] А с е е в. Комментарий к «Я — сам». Маяковский о себе. Опубл. частично: *Асеев*, т. 5, с. 643—683 и 696—699; ЛГ, 1979, № 29, 1 июля. Цитируемые слова — в неопубликованной части воспоминаний: ГЛМ, оф. 5837/1,2.

[20] «Виктор Хлебников, Владимир Маяковский, Давид Бурлюк, Борис Пастернак. Эти — ослепительный блеск вершинных снегов».— А с е е в. Вместо предисловия. К современникам.— «Бомба», с. 1; см. также: Н. А с е е в. Стихотворения и поэмы. Л., «Сов. писатель», 1967, с. 673.

[21] *Маяковский*, т. 1, с. 26.

[22] ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 141, л. 5.

[23] «Дальневосточный телеграф», 1922, № 237, 25 мая.

[24] *ВЛ*, 1967, № 10, с. 184.

[25] См., например, «Поход твердолобых».— «Новый Леф», 1927, № 5; «Страдания молодого Вертера».— Там же, 1928, № 4 и др.

[26] Такими словами определяет поэт позднее свои (и Маяковского) лефовские увлечения. См.: *Асеев*, т. 5, с. 401.

[27] В дальнейшем заглавие было изменено («Стихи сегодняшнего дня») — см.: А с е е в. Стихотворения и поэмы, с. 119—121 и 673.

[28] См. *Маяковский*, т. 11, с. 137; т. 12, с. 342, 457; т. 13, с. 164, 222, 287 и др.

[29] Там же, т. 12, с. 342.

[30] *Асеев*, т. 5, с. 428—429.

[31] Там же, с. 428.

[32] Там же, с. 432.

[33] Н. А с е е в. К истории советской поэзии. Машинопись, личный архив.

[34] *Асеев*, т. 4, с. 154. Об истории создания этого стихотворения вспоминает Л. А. Озеров в письме к О. Г. Петровской (см.: *Воспоминания о Николае Асееве*, с. 60—63).

[35] Там же, с. 61. В статьях последних лет эту роль Асеев отводит Хлебникову: «Хлебников — Баратынский двадцатого века»,— писал Асеев, отвечая на вопрос «У кого мы учились? У кого учился, в частности, я?» (*Асеев*, т. 5, с. 395).

[36] ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 12, л. 1. Опубл.: *Асеев*, т. 2, с. 321—328.

[37] *ЛГ*, 1940, № 21, 14 апреля.

[38] Там же.

[39] *КН*, 1930, № 6, с. 176.

[40] Там же, с. 184.

[41] «Комсомольская правда», 1930, № 284, 10 ноября. «Декларация прав поэта» Сельвинского впервые опубл.: *ЛГ*, 1930, № 51, 5 ноября.

[42] «На лит. посту», 1931, № 10, с. 36—37. Статью В. Д. Бонч-Бруевича «Ленин о поэзии» см. там же, № 4, с. 4—8.

[43] В кн.: В. М а я к о в с к и й. Избр. произв. М.— Л., 1930, с. 12—28.

[44] Там же, с. 18.

[45] *Асеев*, т. 3, с. 448.

[46] *ЛГ*, 1931, № 20, 14 апреля.

[47] «Стройка», 1931, № 11, с. 10—11.

[48] «Красная нива», 1931, № 11, с. 18.

[49] *НМ*, 1931, № 4, с. 154—166.

[50] В. М а я к о в с к и й. Полн. собр. соч., т. 5. М., 1934, с. 8—56. См. также: *Асеев*, т. 5, с. 508—545.

[51] *НМ*, 1931, № 4, с. 166.

[52] «Альманах с Маяковским». М., «Сов. литература», 1934, с. 13.

[53] На этом продолжали настаивать деятели РАППа — см.: Л. А в е р б а х. Памяти Маяковского. М., «Московский рабочий», 1930, с. 6; е г о ж е — «За большое искусство большевизма».— *ЛГ*, 1931, № 20, 14 апреля.

[54] *ЛГ*, 1940, № 21, 14 апреля.

[55] Опубл: *ЛГ*, 1931, № 20,14 апреля, под названием «Отрывки поэмы». Имеются в виду строки, призывающие ОГПУ в связи со смертью Маяковского «Расследовать черное дело, ‖ как тысячи черных дел».

[56] Н. А с е е в. Работа над повестью.— ЛГ, 1940, № 21, 14 апреля.

[57] А с е е в. Мы создаем новый тип поэта.— *ЛГ*, 1934, № 116, 1 сентября.

[58] Библиографию статей см.: «Русские советские писатели. Поэты», т. 2, с. 79—80. В статье 1936 г. «Как читать Маяковского» (*ЛГ*, 1936, № 22, 14 апреля), как и в одноименной статье 1930 г. (В. М а я к о в с к и й. Избр. произв., с. 12—28), Асеев отстаивает мысль о понятности и доступности Маяковского. Но здесь впервые среди поэтов — новаторов языка — названы имена не только современников Асеева, но и Пушкина. Однако Маяковского, как новатора по преимуществу, Асеев оценивает в этой статье выше Пушкина. Спустя два года он уже без всяких оговорок скажет, что Маяковский — прямой наслед-

ник Пушкина и Некрасова («Наследство Маяковского».— «Комсомольская правда», 1938, № 273, 28 ноября).

[59] Статья называлась «Страна вдохновенья»; в ней, в частности, говорилось: «Вот критик Корнелий Зелинский. Он еще в 20-м году предлагал «перешагнуть» через Маяковского, бывшего тогда еще вживе ‹...› Все это звучало внешне очень торжественно, внутри скрывая холод и враждебность группового критика» (автограф, личный архив).

[60] «Вы довели этого жизнерадостного человека (Маяковского — *А. К.*), бодрого, веселого, до полнейшей прострации, мании преследования и в большой степени до рокового конца. Пора об этом говорить ‹...› об этом страшном деле, о котором я вопил в «Литературной газете», не имея еще точных данных: «расследовать черное дело!» ‹...› Но тогда мои вопли казались всем еще следствием болезненной травмы от полученного удара ‹...› Теперь мои подозрения имеют твердую реальную почву» (автограф, личный архив).

[61] «Много лет над советской поэзией тучей нависал Демьян Бедный ‹...› Вялость стиха, шероховатость ритма, приблизительность созвучий выдавалась за простоту, которая нужна и любезна широкому читателю. Маяковский противопоставлялся Демьяну как образец непонятности, усложненности и вычурности» (автограф, личный архив).

[62] Например, в защиту О. М. Брика, статья без начала; фрагмент начинается словами: «...перспективами реального непрерывного движения в области искусства» (автограф, личный архив). В статье явно преувеличивалось значение литературной работы О. Брика и его роль в поэтической судьбе Маяковского.

[63] «Комсомольская правда», 1936, № 10, 12 января.

[64] «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Безразличие к его памяти и его произведениям — преступление». Опубл. впервые: «Владимир Маяковский» (редакционная статья, без подписи) — «Правда», 1935, № 334, 5 декабря.

[65] *ЛГ*, 1935, № 70, 20 декабря.

[66] ЦГАЛИ, ф. 336, он. 7, ед. хр. 52.

[67] «Поэты на автозаводе им. Сталина».— *ЛГ*, 1936, № 58, 15 октября.

[68] В журнале «Звезда» была напечатана лишь первая часть поэмы (гл. I—VI). См. прим. № 92.

[69] «Рабочая Москва», 1936, № 292, 21 декабря.

[70] Письмо к Н. А. Булганину, 1937, без даты.— ГЛМ, оф. 5841.

[71] «Маяковский начинается». Беседа с поэтом Н. Асеевым.— «Вечерняя Москва», 1938, № 283, 13 декабря.

[72] Там же.

[73] Первое отдельное издание поэмы (М., «Сов. писатель», 1940) вышло с подзаголовком: «Повесть в стихах в 17 главах с эпилогом».

[74] «Лит. учеба», 1938, № 4, с. 92.

[75] См. выступление В. Инбер на заседании президиума ССП совместно с Бюро секции поэтов, посвященном поэме.— *ЛГ*, 1938, № 65, 26 ноября. Цит. слова — также в кн.: «Александр Фадеев. Материалы и исследования». М., «Худож. лит.», 1977, с. 144.

[76] «Александр Фадеев. Материалы и исследования», с. 143—144.

[77] И. Бачелис. Поэма о поэте.— «Известия», 1940, № 72, 28 марта.

[78] Произведение Асеева называли «историко-литературной поэмой» («Поэты начали перестройку секции» — изложение выступления А. Суркова в Союзе писателей.— *ЛГ*, 1938, № 12, 1 марта); «художественной биографией Маяковского» (А. Ивич и В. Трениин. «Маяковский начинается».— «Молодая гвардия», 1940, № 11, с. 143); «стихотворными примечаниями к жизни гения» (В. Шкловский. Крупный мастер стиха.— «Правда», 1939, № 57, 27 февраля). Подробно об этом см. в статье: И. Смирнов. Поэма «Маяковский начинается» (об эволюции поэтического стиля Асеева).— «Русская литература», 1965, № 3, с. 90—108.

[79] См. об этом в статье Асеева «Работа над повестью».— «Лит. учеба», 1938, № 4, с. 93—94.

[80] В. Шкловский. Про него.— *ЛГ*, 1940, № 24, 1 мая.

[81] Блокнот с дарственной надписью С. И. Кирсанова:

«Родному Колядке
Сём.
Пишите здесь обо всём».— ГЛМ, оф. 4436.

[82] ЦГАЛИ, ф. 28, он. 1, ед. хр. 56—59 и ф. 619, он. 1, ед. хр. 550; ГЛМ, оф. 5835/2,4-6; личный архив.

[83] ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 60—68 и ф. 619, оп. 1, ед. хр. 550; ГЛМ, оф. 5835 3; личный архив.

[84] ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 62, л. 1—97.

[85] Там же, ед. хр. 57, л. 33.

[86] Там же, л. 46.

[87] Там же, ед. хр. 66, л. 51.

[88] «Лит. учеба», 1938, № 4, с. 95.

[89] Черновой автограф письма сохранился в архиве Вишневского.— ЦГАЛИ, ф. 1038, оп. 1, ед. хр. 1441. Получил ли Асеев это письмо,— неизвестно, так как в его архиве оно не обнаружено.

[90] ЦГАЛИ, ф. 1495, оп. 1, ед. хр. 64, л. 137.

[91] «На обсуждении книг о Маяковском. Выступление А. А. Фадеева».— *ЛГ*, 1940, № 58, 24 ноября.

[92] «Звезда», 1937, № 2—4, 7 (под заглавием «Маяковский»); то же: «Октябрь», 1937, № 2, 3, 5, 8 (под заглавием «Маяковский начинается»).

[93] «Октябрь», 1937, № 11.

[94] *ЛГ*, 1938, № 61, 7 ноября (отрывок под заглавием «Митинг с Маяковским», без указания на принадлежность к поэме) и № 67, 5 декабря (под заглавием: «Глава X. Хлебников»).

[95] «Тридцать дней», 1938, № 11 (под заглавием «Новоселам земли», без указания на принадлежность к поэме).

[96] *ЛГ*, 1939, № 11, 26 февраля (под заглавием: «Глава VII. Петроград»).

[97] «Октябрь», 1939, № 1 (с обозначением «Глава XIII»).

[98] *КН*, 1939, № 10—11 (без обозначения № главы).

[99] «Октябрь», 1940, № 3.

[100] *НМ*, 1940, № 1 (под заглавием «Разговор с другом о задолженности молодости», без указания на принадлежность к поэме).

[101] «Известия», 1940, № 35, 12 февраля (под заглавием «О любви»).

[102] Н. А с е е в. Маяковский начинается. М., «Сов. писатель», 1940. Это издание было подписано к печати 25 февраля 1940 г. В указателе «Русские советские писатели. Поэты» (т. 2, с. 8) первым изданием поэмы ошибочно названо издание «Роман-газеты» (№ 3, М., Гослитиздат, 1940). Но оно было подписано к печати только 19 мая.

[103] Постановление о присуждении премии см.: «Правда», 1941, № 74, 16 марта.

[104] Библиографию рецензий см.: «Русские советские писатели. Поэты», т. 2, с. 108.

[105] См.: А. И в и ч и В. Т р е н и н. «Маяковский начинается».— «Молодая гвардия», 1940, № 11, с. 142—150; Н. С т е п а н о в. «Маяковский начинается».— «Лит. современник», 1941, № 1, с. 151—152; Е. К р е к ш и н, Ю. С е в р у к. Традиции Маяковского.— «Знамя», 1941, № 2, с. 185—186 и др.

[106] А. Т о л с т о й. Собр. соч. в 10 томах, т. 10. М., 1961, с. 462.

[107] ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 133, л. 44.

[108] На обсуждении книг о Маяковском. Выступление Н. Н. Асеева.— *ЛГ*, 1940, № 57, 17 ноября.

[109] Автограф, б.д.,— личный архив.

[110] Письма (автографы и машинописные копии) хранятся в личном архиве и ГЛМ (Н-В 1686 и 1687/1-39).

[111] См. «Выписку из протокола № 17 заседания Правления Президиума ССП СССР от 7 августа 1939 г.».— ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 315, л. 1.

[112] См. тексты выступлений поэта на юбилейных заседаниях: «Наверстать упущенное».— ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 117, л. 2—5; набросок без заглавия, начало: «Общий принцип издания Полного академического собрания Маяковского...» — Там же, л. 1; «Вопросы на совещании».— Там же, ед. хр. 136, л. 5—5 об.; статью «Сделать творчество В. В. Маяковского достоянием миллионов».— «Правда», 1939, № 239, 29 августа и др.

[113] См.: Н. А с е е в. «Сила Маяковского».— В. В. М а я к о в с к и й. Поли. собр. соч. в 12 томах, под общей редакцией Н. Н. Асеева и др., т. I. М., Гослитиздат, 1939.

[114] *ЛГ*, 1939, № 20, 10 апреля. См. также статьи: «Довольно ли Маяковского?» — «Правда», 1940, № 79, 20 марта; «Был и остается!» — Там же, № 104, 14 апреля.

[115] «Кому родня Маяковский?» — «Литература и искусство», 1943, № 16, 17 апреля; «Как живой с живыми».— Там же, 1943, № 29, 17 июля; «Владимир Маяковский».— «Рабочий путь», Смоленск, 1943, № 149, 20 июля; «Почему такой Маяковский?» — «Пионер», 1943, № 7—8, с. 16—19; «Два поэта».— «Известия», 1945, № 88, 14 апреля.

[116] Н. А с е е в. Владимир Владимирович Маяковский. М., «Молодая гвардия», 1943.

[117] Там же, с. 47.

[118] В архиве сохранилось 4 варианта этой работы (в машинописи): два — в личном архиве и два — в ГЛМ (оф. 5837/1, 2).

[119] См. прим. 19 к наст. статье.

[120] ЦГАЛИ, ф. 1628, оп. 2, ед. хр. 493, л. 5.

[121] Такие записки сохранились в личном архиве.

[122] И. Б а ч е л и с. Поэма о поэте.— «Известия», 1940, № 72, 28 марта.

[123] *ЛГ*, 1940, № 56, 12 ноября; «Вечерняя Москва», 1941, № 13, 15 января.

[124] Автограф, личный архив.

[125] «Избранные стихотворения и поэмы». М., Гослитиздат, 1947, с. 207—316; «Избранное». М., «Сов. писатель», 1948, с. 192—314; «Избранные стихотворения и поэмы». М., Гослитиздат, 1951, с. 255—368; «Избранные произведения в 2 томах», т. 2, М., Гослитиздат, 1953, с. 59—161; «Памяти лет». М., Гослитиздат, 1956, с. 319—442; «Стихотворения и поэмы в двух томах», т. 2. М., Гослитиздат, 1959, с. 120—222.

[126] Асеева это издание не удовлетворяло в целом. 2 июня 1951 г. он писал Фадееву, что эта книга — «одна из неудачнейших» его книг «по составу» (ЦГАЛИ, 1628, оп. 2, ед. хр. 493, л. 5).

[127] Перечень изъятий текста в издании 1951 г. см. в кн.: Николай А с е е в. Стихотворения и поэмы, с. 702. Эти изъятия произведены, вероятно, в связи с критическими замечаниями А. А. Фадеева, высказанными на обсуждении книг о Маяковском в Союзе писателей (ноябрь 1940 г.): «Мне кажется неправильным его отношение к классическому наследству ‹...› Например, у Асеева чайка на занавесе Художественного театра является символом реакции ‹...› Неправильно ставить рядом мракобеса Розанова и чудесного русского лирика Левитана. Это своеобразный нигилизм. В э их условиях прекрасно написан-

ная глава о Хлебникове приобретает иное звучание. Получается, что Маяковский вырос из Хлебникова <...> Упоминание же о Крученых как о серьезном литературном явлении — это просто кокетство» (*ЛГ*, 1940, № 58, 24 ноября).

[128] Впервые опубл: «Октябрь», 1950, № 4, с. 76—78 и «Огонек», 1950, № 15, 9 апреля, с. 9. См. также: *Асеев*, т. 3, с. 504—519.

[129] Дополнительные главы были опубликованы вновь (после основного текста, как дополнение к нему) в 3-м томе Собрания сочинений. Том готовился к печати после смерти Асеева (сам он успел подготовить незадолго до смерти только первый том этого издания).

[130] Личный архив.

[131] *Асеев*, т. 5, с. 496—504.

[132] *ВЛ*, 1979, № 4, с. 146—154.

I. ДО ПОЭМЫ

ЕСЛИ БЫ ЗНАЛ ОН

Сокращенный вариант этой статьи был опубликован в день похорон Маяковского [1] за подписью группы лиц: «Николай Асеев, Семен Кирсанов, А. Родченко, Варвара Степанова» [2]. В ЦГАЛИ сохранился полный текст статьи — рукопись, которая дает возможность по почерку, содержанию и стилю с уверенностью установить, что статья написана Асеевым [3]. Этот полный вариант публикуется ниже. Фрагменты, напечатанные в *ЛГ*, выделены в данной публикации курсивом, зачеркнутые части текста, воспроизведенные лишь частично, даются в квадратных скобках; небольшие разночтения с печатным вариантом не отмечаются; слова, подчеркнутые автором, выделяются разрядкой.

Владимир Владимирович никогда не знал, как мы его любили.

[Когда я говорю — «мы»,— я не выделяю в отдельную группу нас, его друзей].

Чтобы иметь мерку этой, помноженной в десятки, а может и в сотни тысяч раз любви к нему людей, проходящих рядом с его гробом, чтобы понять эту любовь,— мы выделяем из них [себя и] *всех нас, стоявших к нему вплотную.*

[Проклятое и благодетельное слово п р и в ы ч к а. Проклятое потому, что тушит чувство, стирает его грани. Потому, что оно притупляет его первизну.

Благодетельное потому, что оно вводит реальность в сознание, осваивает ее в нем, закрепляет ее, не дает ей перемещаться. Оно лишает первичное впечатление зыбкости, вкореняет ее во времени, упорядочивает ее, эту реальность мира.

Эта реальность перестает ощущаться и начинает сознаваться. И зато усваивается как данная, оправданная опытом, существующая закономерность.

Но переставляются данные опыта, человечество видит себя в окружении новых реальностей, новая могущественная закономерность подрывает поношенный опыт человеческих взаимоотношений, назревает потребность в новой идеологии. Тогда появляются друзья этой новой идеологии, этой новой меры мира.]

Во всех надстройках идет ломка [сознаний]. Передовые новой идеологии заранее, задолго до того, как она войдет в привычку, уловляют это дрожание нового спектра.

И вступают в бой с привычкой.

Передовая передового была поэтической биографией Владимира Маяковского.

С первой написанной им строки и до последней, с первого услышанного аудиторией и до последнего ей сказанного слова — она вызывала глухое недовольство человеческих привычек, протест привычек, их настороженный рев, заглушаемый рукоплесканиями вызываемых Маяковским сочувствий.

В этой борьбе, сорганизовавшей нас во главе с Владимиром Маяковским в единую группу протестантов, он был запевалой и затевалой. Протестан-

тов, быть может, еще не всегда точно представлявших себе новое, но питавших всегда неукротимую ненависть к старому.

И прежде всего в этом старом — к старой идеологии человеческих взаимоотношений.

Это крепило и ободряло, это давало силы — несмотря на неблагоприятствовавшие часто обстоятельства — эмоционально держать эту раскаленность ненависти к былому — на должной силе огня.

Но время —
незнамо, неведомо
подкралось
и к нашим дням,
И стала ходить
с подседами
вокруг —
и моя родня! [4]

Привычки стали отвердевать и среди нас самих. Эмоциональное ощущение правильности компаса нашей работы начала качать магнитная буря переместившихся притяжений привычек. Чувствам, жизни одних лишь чувств — близко было несдобровать. [Леф распался, чтобы прояснить сознание реальности делаемого. Маяковский первый почувствовал необходимость и одновременную опасность этого. Он разбил вдребезги [Реф] Леф [5], как только почувствовал на нем мертвую лапу эстетического канона, то есть силу привычки к нему, усвоения его литературных приемов, [обволакивающих, а не пропитывающих то единственное] а не понимание метода этих приемов, разрушающих привычку [чувственных] ощущений все новой и новой реальности мира.

То же было и среди нас, что и со всеми в отношении к нему].

Мы перестали реально ощущать Маяковского, потому что мы привыкли к нему.

А он этого нипочем не хотел.

Признавая его огромную литературную и человеческую величину, мы переставали ощущать его грани и меры. Мы верили этой громадности уже на слово, не имея точного представления о ее размерах. Мы ощущали ее, как ощущаешь круглоту земного шара не в реальном его разрезе.

Мы верили, как верим тому, что земля кругла, тому, что Маяковский огромен, ни разу не испробовав своего права на опыт объехать землю.

И нужна была новая реальность, чтобы земля ощутимо повернулась под нами. Чтобы Маяковского не стало. И сквозь слезы, увидев по-новому новых людей, проходивших около его гроба, [я] *мы поняли, что ни он, ни мы не знали, насколько мы его любили. Не было никогда еще, чтоб так хоронили поэта.*

Трудовая Москва пришла с ним прощаться. *Среди людской очереди, среди тысяч прошедших за день редко-редко, одного на сотню можно было не определить как пролетария.*

Шофер случайно подвернувшейся машины, везший Кирсанова, после того, как тот сказал, что ему нужно спешно, что Маяковский умер, отвез его, отказавшись от платы.

Он потом был узнан в очереди.

Шел юноша на костылях со встревоженными дотемна глазами.

Шел почтальон с сумкой, полною писем.

Шли красноармейцы — должно быть, в их частях выступал Владимир Владимирович.

Люди с серьезными лицами, в сапогах и долгоношенной одежде поднимали на руки детишек.

Пионеры проходили, салютуя [мертвому] *ему.*

Комсомолка с чистейшей ширью [смелых] *глаз стала в почетный караул.*

Литераторов, литературщину, литературу смывало перехлестнувшей за борт ее рабочей, служилой, трудовой Москвой.



ПОХОРОНЫ В. В. МАЯКОВСКОГО
Похоронная процессия выходит к Большому Каменному мосту
Фотография. 17 апреля 1930.
Литературный музей, Москва

Если ⟨*бы*⟩ *знал он, как его любили.*
Может быть...
Ничего не может быть. Есть то, что есть.

Есть борьба с привычкой, с прошлым опытом, за новую меру мира. Это его подлинное завещание. *Ни минуты унынья и сдаванья! Выше салют, пионер! Ты идешь, ты вступаешь в ряды этой борьбы. Запомни же* [живые] *резкие черты лица поэта, не дождавшегося себе смены.*

А мы крепче сожмем в цепи свои руки, в цепи разведывательного отряда пролетарской культуры, *чей лозунг — «долой привычку», и пусть останется с нами тот жар и та сила, которые двигали им, им, кого* [оказывается] *мы любили больше того, чем могли себе представить* [6].

Черновой автограф. ЦГАЛИ, ф. 336, оп. 7, ед. хр. 46 (альбом «Маяковский. Bis. С 14 апреля 1930 г.», составленный А. Е. Крученых, л. 34—37).

[1] *ЛГ*, 1930, 17 апреля (экстренный выпуск, совместно с «Комсомольской правдой»).

[2] Семен Исаакович *Кирсанов* (1906—1972) — поэт; Александр Михайлович *Родченко* (1891—1956) и Варвара Федоровна *Степанова* (1894—1958) — художники. Все трое, как и Асеев, в 20-е годы принадлежали к группе Леф. В. Ф. Степанова была первым человеком, сообщившим Асееву о смерти Маяковского (см. *Асеев*, т. 5, с. 643—644).

[3] В статье есть небольшая правка С. Кирсанова. Она в данной публикации не учитывается.

[4] Из стихотворения «В те дни, как были мы молоды»... (*Асеев*, т. 1, с. 217).

[5] 25 сентября 1928 г. Маяковский выступил в Политехническом музее с докладом «Левей Лефа!». «Задача доклада,— говорилось в объяснительной записке к афише,— показать, что мелкие литературные дробления изжили себя и вместо групповых объединений литературе необходимо сплотиться вокруг организаций, ведущих массовую литературную работу» (*Маяковский*, т. 13, с. 122). В мае-июне 1929 г. во главе с Маяковским была образована группа Реф (организационно оформилась в сентябре). 6 февраля 1930 г. Маяковский выступил на конференции МАПП с заявлением о вступлении в РАПП и с призывом о вступлении в РАПП ко всем активным рефовцам (там же, с. 134 и 350—351). Это заявление

Маяковского было неожиданным и непонятным для его товарищей по Рефу и привело к серьезной размолвке с ними, в том числе и с Асеевым (см.: *Асеев*, т. 5, с. 646--647).

[6] В публикации далее следовало:

Как ты стоишь, кузнец и ткач седой,
Твои глаза
не слезы ль пропитали?
Нет, он не умер бы,
увидя над собой
Одну твою слезинку,
пролетарий.

Автор стихов, вероятно, С. Кирсанов.

НЕДАЛЕКАЯ ЗВЕЗДА

Публикуемый отрывок — единственное сохранившееся в архиве поэта свидетельство его работы над большим прозаическим произведением о Маяковском [1]. Данный фрагмент восходит, очевидно, к раннему варианту этого произведения, замысел которого Асеев охарактеризовал так: «Не хроника событий и фактов из жизни поэта, не персонифицированная биография: герой романа не будет носить имени Владимира Маяковского. Это будет роман о большом поэте, большом человеке, выросшем из поколения 1905 года, о человеке, наделенном характерными чертами Маяковского» [2]. Начало фрагмента «Недалекая звезда» строится в соответствии с этим замыслом: в действующих лицах его и портретно, и по манере речи и поведения без труда узнаются Маяковский и Бурлюк [3], но обстоятельства их встречи, описанные здесь,— вымышлены. Реальная встреча Маяковского с Бурлюком произошла, как известно, в 1911 г. в Московском училище живописи, ваяния и зодчества [4]. В дальнейшем Асеев откажется от замысла дать образ поэта на основе вымышленной фабулы и попробует писать в прозе роман о Маяковском, излагающий реальные факты его биографии [5]. Но и эта попытка не удовлетворила его [6]. Связь публикуемого отрывка с замыслом поэмы бесспорна: сохранился автограф первых шести глав поэмы, где она называлась «Недалекая звезда. Повесть пламенных лет» [7].

I

Невысокое солнце скупо светило над городом. Розово-дымчатые облака плотно затянули горизонт, как бы охраняя края земли от загустевшего мороза. Иней лежал плотными шапками на ветвях деревьев, на телеграфных столбах, на карнизах окон. Инеем мерцал опаловый воздух зимы. Среди нечастых прохожих, торопившихся укрыть покрасневшие носы за дверьми пивных, чайных, дешевых харчевен, распахивались двери, клубившиеся банным потом, среди шуб и полушубков и меховых шапок, горжеток и скунсов [8], ⟨капюшонов?⟩ и воротников, по кольцу бульваров от Пречистенских ворот к Никитским шагал человек, не похожий на этих старооседлых москвичей. Коротенькая серая куртка с поднятым суконным воротником не закрывала покрасневших ушей. Длинные руки с крупными кистями то и дело поднимались к ушам, оттирая их и снова ныряя рукав в рукав, так как перчатки у человека отсутствовали. Саженными спорыми шагами он вымеривал бульвар, ежась от холода, но его походка не была озабоченным бегом человека, идущего к определенной цели. Человек иногда останавливался, оглядывая поседелые дома Малого бульварного кольца. Иногда он оборачивался спиной к ветру и, не укорачивая шага, двигался спиной, забирая руки под мышки. Большие, темные блестящие глаза его жадно окидывали пройденный путь; поворачивая крупное тело, он шел вверх по бульвару — не то мастеровой [9], не то социалист, из этих, что так подозрительны старожилам, что так несхожи с ними ни поступью, ни одежей.

В один из таких поворотов, когда человек шел спиной, не уменьшая шагов, он натолкнулся именно на такого матерого старожила в запушенной инеем бороде, в шубе на котике, в воротнике выше головы, с солидным костылем в солидной руке, утепленной в немнущуюся перчатку. Налетев на почтенную бороду, упрятанную в каракуль воротника, курточник быстро обернулся, сверкнул, как соляной столб, блеском большущих темных глаз,



Д. Д. БУРЛЮК
Рисунок В. В. Маяковского (карандаш). 1915
Личный архив К. И. Чуковского, Москва



В. В. МАЯКОВСКИЙ
Литография по рисунку Д. Д. Бурлюка. 1912
Обложка сборника «Живой Маяковский» (литографированное издание «Группы друзей Маяковского», вып. II. М., 1930)

усмехнулся покровительственно и задорно и буркнув басом: виноват, папаша! — обогнул плавным шагом шубу, повернутую толчком широкого плеча на ⟨сто⟩ восемьдесят градусов вокруг своей оси. Проследовав дальше, он услыхал в спину ворчливый попрек: «Ишь ты, расшагалась, ноздря! Глаза на спину посади!» Но тот уже был далеко от рассерженного старожила, хотя «ноздря» и развеселила меткостью определения. «Хорошо москвичи лаются,— подумалось ему.— Рассмотрел ведь сквозь бороду, шубный черт». И снова облапив голову руками, начал на ходу оттирать зазнобленные уши. Дойдя до памятника Гоголю, бывшего в тот год московской обновкой [10], человек остановился, обошел его с четырех сторон, все так же продолжая оттирать крупный подбородок, нос и уши, пригляделся к заснеженным барельефам, к похождениям Чичикова, потом откинулся во весь свой нескладный, юношеский рост, оглядывая взглядом художника сгорбленную, несчастную фигуру Гоголя, казалось, пытавшуюся согреться от крепкого утренника под бронзовой шинелью. Потанцевав так минуты с три вокруг памятника, человек двинулся дальше через площадь, свернув налево на Арбат, шагая теперь по тротуару, также поворачиваясь из стороны в сторону, то идя ст⟨ороной⟩ ⟨*далее в рукописи пропущена одна страница*⟩.

Длинный в куртке уже приготовился встретить плюгавую фигурку какого-нибудь московского полуденди и вдруг остановился в недоумении, как сенбернар перед черепахой. Широченный торс загородил ему дорогу: великолепный размах грудной клетки, еще усиленный широко расставленными руками, стал заставой на его пути. Асимметричное и тем не менее необычайно привлекательное лицо глядело на него разными глазами. Правый, сильно расширенный и неподвижный, с высоко поднятой бровью, изумлялся и негодовал. Левый радовался и насмехался над неудачным поворотом встречи. Все лицо с коротким прямым носом, с саркастическим ртом, опущенным концами вниз, с упрямым подбородком искрилось, светилось, сияло добродушием и хитростью, весельем и победой. Странная одежда, состоящая из грубо-

шерстного пальто, распахнутого вопреки времени года, такого же сюртука и необъятных брюк — все из одной и той же материи, несмотря на мешковатость, была как-то по-своему элегантна на этом почти что четырехугольном теле. Небрежно повязанный галстук и пестрый жилет, расцветкой схожий с дешевыми веселыми обоями, и летняя соломенная шляпа, выгоревшая давным-давно где-то под южным солнцем. «Вы очень спешите?!» — «Не в ваши объятия»,— собирался было пробасить долговязый, но необъяснимая симпатия с первого взгляда изменила его наершенный тон на благожелательный. «Поторапливаюсь в никуда»,— пробасил он, обдавая встречного всем блеском своих темно-искрящихся глаз. «А откуда, дозволено будет спросить?» — чуть церемонно и настоятельно спросил незнакомец.

Эта встреча двух бродяг на бульваре была похожа на встречу главы государства со вновь аккредитованным послом, ждущим момента вручить свои верительные грамоты [11].

— Пока что из тюрьмы [12],— усмехаясь, неожиданно откровенно ответил долговязый.

— Тогда вам следует торопиться, по крайней мере, вдвое быстрее,— возразил грубошерстный, вынимая из жилета лорнетку и приставляя ее к широко раскрытому глазу, так же сияя усмешкой и добродушием, которыми, казалось, была напряжена каждая черточка его лица. И они разошлись, церемонно давая дорогу, прикоснувшись к своим шляпам и оглядываясь вслед, не имея основания для продолжения разговора и втайне не желая оставить друг друга, не доузнав чего-то, что ими обоими почувствовалось при встрече. И долго еще приставленная лорнетка провожала длинную фигуру, действительно зашагавшую такими огромными шагами, точно за нею и впрямь была погоня. Лорнетка запоминала удалявшиеся очертания долговязого, изучала, ощупывала их, как новый, необычайный феномен, который еще нужно приобщить, упорядочить, оживить в собственной биографии...

⟨Середина 1930-х годов⟩

Автограф. Личный архив.

[1] О замысле этого произведения см. во вст. ст. к наст. публ.

[2] Н. А с е е в. Роман о Маяковском.— *ЛГ*, 1935, № 70, 20 декабря.

[3] Давид Давидович *Бурлюк* (1882—1967) — поэт и художник, один из зачинателей русского футуризма, друг молодости Маяковского.

[4] См. об этом: *Маяковский*, т. 1, с. 19—20 («Я — сам»).

[5] Об этом Асеев рассказал, выступая в Политехническом музее через год, 17 декабря 1936 г.: «Я честно записывал те первоначальные встречи и воспоминания, описал речь, фигуру, факты и даты. Все это я делал честно в последовательности, как это происходило, хотел рассказать всем читателям. Но, может быть, потому, что у меня проза не выходит, может быть, потому, что эта вещь шире ⟨...⟩ и не вмещается это в такой, невзволнованный рассказ, у меня получилось плохо» (ЦГАЛИ, ф. 336, оп. 7, ед. хр. 52, л. 3—6). См. также в наст. томе стенограмму выступления Асеева 8 декабря 1936 г.

[6] См. наст. том, с. 475.

[7] См.: ГЛМ, оф. 4436. Это заглавие в том же автографе Асеевым зачеркнуто и исправлено на окончательное.

[8] Скунс — пушной зверек с ценным мехом.

[9] Ср. в поэме: «Похожий на рослого мастерового, ‖ Зашедшего в праздник в богатый квартал...» (*Асеев*, т. 3, с. 390).

[10] Памятник Гоголю работы Н. А. Андреева был открыт в Москве на Пречистенском (ныне Гоголевском) бульваре 26 апреля 1909 г., в связи со столетием со дня рождения писателя.

[11] Эта сцена напоминает картину встречи «двух послов» из XII главы поэмы, но там описывается встреча Маяковского не с Бурлюком, а с Хлебниковым (*Асеев*, т. 3, с. 465).

[12] Маяковский вышел из тюрьмы 9 января 1910 г.

II. РАБОТА НАД ПОЭМОЙ

‹АВТОРСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ К ПОЭМЕ›

На одном из этапов работы над поэмой Асеев предполагал предварить ее поэтический текст прозаическими пояснениями: поэму в целом — общим предисловием, а каждую главу — конспективным изложением ее содержания. Сохранившиеся источники позволяют датировать возникновенйе этого замысла самым началом работы над поэмой.

В автографе I части поэмы (1936) [1] названия первых четырех глав пространны, повествовательны и стилистически близки к будущим прозаическим пояснениям («Глава I, описывающая фон, на котором появляется высокая фигура неизвестного; глава II, в которой, как и в жизни, несколько непоследовательно [описывается] смешаны отрочество и выстрелы [Кутаиси и Багдади], Прометей и Багдади; глава III. Семья, сходки, тюрьма; глава IV. Москва принимает меры»).

Выступая 8 декабря 1936 г. в Доме печати, Асеев говорил, что в поэму он предполагает включить «полемические разговоры с публикой» и «в прозе вставки» [2]. Возможно, что под «вставками» он имел в виду именно эти будущие пояснения к главам.

Сохранившись в нескольких машинописных (т. е. готовившихся к печати) вариантах поэмы, пояснения никогда не входили ни в один из ее печатных текстов.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПОЭМЕ

Эта повесть о молодости Маяковского, о нашей общей молодости, не претендует на исчерпывающее раскрытие всей исторической перспективы пред- и послереволюционных годов. Но часть этой перспективы, именно — ту среду, в которой начал свое поэтическое развитие Маяковский, тот зачастую бессознательный протест против существующего в мире порядка, которому он придал силу и цельность, выражением которого было движение в русском искусстве, возглавляемое им,— вот что хотелось показать мне в этой повести. Свидетель и участник этого движения, автор ставил себе в задачу дать внутреннее ощущение тех чувств и мыслей, которые, несомненно, были у них общими с Маяковским.

Это повесть о предреволюционном поколении, порвавшем после 1905 года с традициями отцов, со спокойной уверенностью в завтрашнем дне, в незыблемой повторности его монотонных очертаний. Поколение это, лихорадочное и взволнованное близостью надвигающихся изменений общественных норм, мечущееся и ищущее в искусстве найти возможность протеста против старого, сношенного общественного порядка, вкуса, правил поведения,— возглавлялось и нашло себе выражение в великолепной фигуре Маяковского, сочетавшего в себе наиболее характерные черты человека своего времени.

К ГЛАВЕ I. «МАЯКОВСКИЙ ИЗДАЛИ»

В этой главе раскрывается перспектива старой Москвы 1910—12 годов, неузнаваемо изменившейся теперь, Москвы, на фоне которой впервые видят Маяковского, контрастирующего с ней каждым своим шагом, каждым движением и поворотом. Это было все равно, что увидеть на бульваре мирно вышагивающего гиппопотама. Но людей это не затрагивало и не удивляло. Люди были так заняты своими делами, так вовлечены в круговорот ежедневных забот и занятий, что появление Маяковского могло остановить внимание только тех, кто был не слишком заинтересован и вовлечен в шумную толчею тогдашних интересов.

К ГЛАВЕ II. «ЗНАКОМСТВО С МОСКВОЙ»

Эта глава, продолжая первую, несколько отступает во времени для того, чтобы показать, откуда он взялся на московском бульваре в предыдущей главе.

К ГЛАВЕ III. «ЕГО УНИВЕРСИТЕТЫ»

Первое знакомство с Москвой и первое обучение ее тогдашним повадкам. Гостеприимно раскрытые двери Бутырской тюрьмы [3] дают ему возможность обдумать свое будущее. Из нее он выходит, уже восприняв кой-какие уроки общения с тогдашней действительностью.

К ГЛАВЕ IV. «ПРОБА ГОЛОСА»

Москва была очень чувствительна ко всякому постороннему телу, вошедшему в ее организм. Она сейчас же отзывалась на все, что нарушало ее сложившиеся привычки и устои. Но за грохотом и ревом дел она не могла расслышать ту новую настойчивую ноту, которая вплелась в ее стародавнюю песню. И только когда эта нота начинала взлетать над ее разноголосицей — она постаралась избавиться от этой беспокоящей и все усиливающейся мелодии.

К ГЛАВЕ V. «ОТЦЫ И ДЕТИ»

Эта глава — об общепринятых мнениях, о кружащемся граммофонном заводе общественного организма, который тянул бы без конца один и тот же мотив, если бы не лопалась движущая его пружина. Старая стертая пластинка его отбрасывала вращательной силой все, что препятствовало ее однообразному движению. Время ее завода исчислялось столетиями. Но внутри вала налипали пылинки в глубине провинциального захолустья, нарастал скептицизм и недоверие по отношению к повторности движения. Мы были этими пылинками, микроскопическими задерживателями ее кружения. Но были и другие — жирным маслом смазывавшие ее завод. Между этими и теми шла борьба невидная и упрямая. Борьба вкусов и симпатий, борьба осязания нового и привычки к старому.

К ГЛАВЕ VI «ГОЛОС ДОКАТЫВАЕТСЯ ДО ПЕТЕРБУРГА»

Так, прокатясь по глухим углам страны, вышвырнутый из московских деревянных пределов, Маяковский попадает в шлифовку в камни Петербурга [4]. Этот город — средоточие тогдашнего русского европеизма, лощеный и упорядоченный внешне, применяет к нему другие способы укрощения. Он пытается освоить его, нивелировать, приспособить к своим вкусам и потребностям, к своему приличию и порядкам. Он привлекает его к себе своим богатством разумения, своей сдержанностью и манерами, своей терпимостью к экстравагантности, сложностью своего устройства и психологии. Простор его площадей и прямота его проспектов надолго замыкают за ним свои ледяные объятия.

К ГЛАВЕ VII «ЦЕНТР И ОКРАИНЫ»

Продолжение предыдущей. Маяковский приглядывается к Петербургу, а затем к Петрограду военных лет. Он входит в редакцию «Сатирикона» [5], он уже «признан» тогдашними литературными кругами как странное, но выдающееся явление. Литературные спекулянты делают на него ставку, начинают его разработку. Но Маяковский, внешне поддаваясь на лесть и внимание, отдает себе отчет в цене этой славы и, в свою очередь, не уступая ни в чем, использует эту временно благоприятную для себя ситуацию.

К ГЛАВЕ VIII. «ПЕРВАЯ ТРАГЕДИЯ»

Весна поколения. Ледяное скольжение по холодным сердцам, по замороженным вкусам. Иногда эти нависшие сосульки вспыхивают даже радужным блеском. Но это — отраженный свет, не собственное сияние. Однако оттепель уже на дворе, теплеет страна, и сосульки превращаются в лужи. «Све-

тить всегда, светить везде» [6],— начинает Маяковский сквозь неприязнь и несогласие с ним законодателей вкусов. И молодежь все чаще и чаще переходит на его сторону, расставаясь с прежними своими привязанностями и убеждениями [7].

К ГЛАВЕ IX. «ВПЕРЕДИ ПОЭТОВЫХ АРБ»

Этой главой завершается первый период развития биографии Маяковского. Он уже взрослый человек, с определившимися вкусами и представлениями, выбравший твердо свой путь революционера искусства. Но какие-то новые линии и особенности его биографии накладывают резкие черты на его выросший облик.

К ГЛАВЕ X. «ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ГОД»

Мы мало знали о том, что происходит в мире. Остриженные наголо в училищах и школах, запуганные и взнузданные правилами внутреннего распорядка,— мы, как полуфабрикат, были приготовлены для службы в канцеляриях и конторах. Государство покрыло нас полудой страха за завтрашний день, за свое будущее. И только изредка взрывы искусства раскалывали эту оболочку невнимания ко времени.

К ГЛАВЕ XI. «НЕВСКИЙ ПЕРЕД ОКТЯБРЕМ»

Этот эпизод записан мной со слов Е. Ф. Усиевич [8]. Он кажется мне очень характерным для облика Маяковского, рассказанный именно так, непредубежденным свидетелем. Коммунистка, политическая эмигрантка, она возвратилась в Петроград вместе с В. И. Лениным, в одном поезде, в знаменитом запломбированном вагоне. Невский бурлил революционным народом. Летучие митинги стихийно образовывались на всех углах. «Свобода слова» выливалась в травлю большевиков захватившей власть буржуазией и эсеровщиной. Говоря по-русски с сильным акцентом, очевидица не решилась вмешиваться в споры и речи, чтобы не быть обвиненной демагогами в шпионаже и немецкой агитации. Но ее возмущение против лжи и клеветы обывателей не позволяло ей уйти с улицы. И вот однажды она была восхищена и потрясена неожиданным выступлением неизвестного ей тогда человека, который сумел необычным приемом разбить враждебные сплетни на одном из таких летучих митингов. Как потом она узнала, этим неизвестным был Маяковский.

К ГЛАВЕ XII «ХЛЕБНИКОВ»

Много событий первостепенной важности, не описанных в этой повести, произошло за время, в которое вместились ее главы. Они воспроизведены в других, лучших и специально ими занятых произведениях. Мельчить их и раздроблять на мимоходом упоминаемые строки я не имею смелости. Но одно из них, очень важное и малоощутимое для современников, я должен отметить. Это событие — утрата замечательного поэта, великого словотворца Велимира Хлебникова. Это тем более необходимо, что с ним, с его безошибочным абсолютным слухом к языку, изумительным знанием слова, конечно, связано развитие гения Маяковского. До сих пор еще не удавалось нам увидеть Хлебникова во весь рост. Произведения его, изданные столь небрежно и спорно, что в них нельзя разобраться читателю, ждут еще любовного отбора и учета [9]. О нем и о неповторимом облике его творчества — эта глава.

К ГЛАВЕ XIII «ОСИНОЕ ГНЕЗДО»

Впервые ставился вопрос о реализации социалистического учения. Вышел во всеоружии на арену истории Сталин. План коллективизации, борьбы с кулачеством уже намечался. Троцкий дернул ручку тормоза, чтобы за-

стопорить ход. Его отшвырнуло от пределов СССР. Я не берусь описывать всего этого в хронологической последовательности, но в литературе это отражалось своими особенностями.

К ГЛАВЕ XIV. «РАЗГОВОР С НЕИЗВЕСТНЫМ ДРУГОМ»

Еще одна фигура неотделима от памяти Маяковского. Здесь не названо имя этого персонажа [10], так как его биография настолько отдалилась от нас, что очертания ее стали смутны и нечетки, но начало этой биографии так близко связано с нашей, что вся глава эта, может быть, и бесплодно сентиментальная,— последний отзыв на далеко разошедшихся путях, бывших в своей начальной поре нашей общей юностью *.

К ГЛАВЕ XV. «МАЯКОВСКИЙ РЯДОМ»

Эта глава вплотную приближает к глазам Маяковского. Если в прошлых он дан на расстоянии, если там мне хотелось осветить его фигуру всегда стоящей в центре повествования, с разных точек зрения, то в этой главе нет никаких взглядов и рассуждений. Здесь преувеличенно огромные глаза его смотрят на вас в упор.

К ГЛАВЕ XVI. «КОСОЙ ДОЖДЬ»

Еще в одном ракурсе видим мы фигуру Маяковского. Много раз в своих стихах говорил он о своей любви, о ее неизменности, постоянстве, опасности для него самого. Нам казались все эти заявления, хотя и выходящими за пределы обычного, но все же традиционными поэтическими гиперболами. На самом деле это были самые точные, самые реальные, самые правдивые определения его душевных волнений. И когда теперь сравниваешь их с обычными мерами людских чувств, становится понятным, чем отличается настоящий большой поэт от ходовых представлений о поэтичности.

К ГЛАВЕ XVII. «ПЛОЩАДЬ МАЯКОВСКОГО»

Многие читатели недоумевали, почему вся в этой главе завершающаяся повесть носит название «Маяковский начинается». Автор полагает, что настоящее признание и понимание творчества и судьбы Маяковского только теперь получает свой достойный величественный разворот. Этой величественности всенародного участия в судьбе своего гения уже не охватить отдельному человеку. Вся повесть — только начало его будущего утверждения в памяти вновь пришедших людей.

Предисловие — машинопись, личный архив. Пояснения к гл. I и II — беловой автограф, ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 55, л. 2; к гл. III—XVII — машинопись, там же, ед. хр. 60, л. 22, 30, 43, 52, 63, 72, 81, 91, 99—100, 105—106, 114, 124, 130, 140—141, 153.

Кроме указанных выше, сохранились следующие источники текстов: автограф предисловия — ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 55, л. 1; автографы пояснений к гл. I—VIII и XIII — там же, ед. хр. 56, л. 2—5 и ед. хр. 57, л. 1, к гл. X—XII и XIV — личный архив; машинопись пояснений к гл. II — личный архив, к гл. X — ГЛМ, оф. 5835/3 и к гл. XV—XVI — ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 66, л. 33, 43.

Публикуемые варианты представляют собой тексты наиболее поздние и отработанные автором.

[1] См. прим. 81 к вступит. статье наст. публикации.

[2] См. стенограмму этого выступления в наст. томе.

[3] Маяковский провел в Бутырской тюрьме почти 5 месяцев (с 18 августа 1909 г. по 9 января 1910 г.).

[4] Регулярные поездки Маяковского в Петербург и знакомство его с литературными кругами столицы начались в 1912—1913 гг., с конца июля 1915 г. и до начала 1919 г. он живет в Петербурге постоянно.

* В одном из ранних автографов прозаического пояснения к этой главе — другой текст: «Глава XVIII. О неназванном друге, о молодости, которая была общей молодостью с Маяковским, хотя он и не появляется в этой главе» (Личный архив).

[5] Маяковский активно сотрудничал в «Новом Сатириконе» в 1915—1917 гг.

[6] Из стихотворения «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» (*Маяковский*, т. 2, с. 38).

[7] В беловом автографе главы, переданном в редакцию журнала «Октябрь» для первой публикации (1937), сохранилось авторское послесловие (здесь же зачеркнутое): «Приводимый отрывок из повести в стихах «Маяковский начинается» рисует состояние и настроения русской молодежи в 1912—13 годах, годах глухой реакции, когда появление Маяковского воспринималось как протест против этой реакции. Развал семьи, падение всех и всяческих авторитетов, тяга к каким-то новым, неосознанным еще возможностям изменения своих вкусов, привычек, симпатий — вот эти характерные настроения. Маяковский был знаменем этого неорганизованного протеста; отсюда успех его выступлений, ярких, неожиданных, ошеломляющих.

Цитаты в конце отрывка — из первой трагедии и из «Человека». Ник. А с е е в».— ЦГАЛИ, ф. 619, оп. 1, ед. хр. 550, л. 7.

[8] Елена Феликсовна *Усиевич* (1893—1968) — литературный критик и переводчица.

[9] См. об этом подробнее в наст. томе (стенограмма выступления Асеева 15 ноября 1939 г. и прим. 15 и 16 к ней).

[10] Имеется в виду Б. Л. Пастернак.

СТИХОТВОРНЫЕ ФРАГМЕНТЫ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ПОЭМУ

Архивный материал, раскрывающий творческую лабораторию Асеева в работе над поэмой, до сих пор не изучен.

Первое сообщение о наличии такого материала появилось в 1967 г.: «В архиве Асеева сохранились многочисленные черновые автографы, относящиеся к разным этапам работы над поэмой. Последовательность формирования текста не установлена» (Н. А с е е в. Стихотворения и поэмы, с. 702). В настоящей публикации впервые предпринята попытка систематизировать этот материал и познакомить с ним исследователя и читателя. Для публикации отобраны наиболее интересные куски, не вошедшие в окончательный текст поэмы.

Публикуемые отрывки различны по размеру: от больших сюжетных фрагментов, раскрывающих, конкретизирующих какой-то эпизод поэмы (например, фрагмент 7 — «Ехали три друга по сонным городам...»), до отдельных четверостиший, содержащих, на наш взгляд, интересные формулировки в характеристике персонажей поэмы (фрагмент 3 — о Маяковском, фрагмент 17 — о Хлебникове и т. п.) или их окружения (фрагменты 4, 9 и др.). Степень завершенности и обработанности этих фрагментов различна, но все они несут в себе некое сюжетное или эмоционально-смысловое содержание, дополняющее основной текст поэмы. Варианты, содержащие лишь стилистические, а не смысловые отличия от основного текста, в публикацию не включены.

Материал располагается по главам. Следует оговорить условность этого расположения, так как порядок глав и распределение по главам отдельных эпизодов поэмы в процессе работы менялись. Яркий тому пример — фрагмент 1. Он включает в себя строфу, вошедшую затем в главу XII. Но весь фрагмент в целом — безусловно, вариант начала поэмы, впоследствии автором измененный. Поэтому он включается в публикацию в составе гл. I.

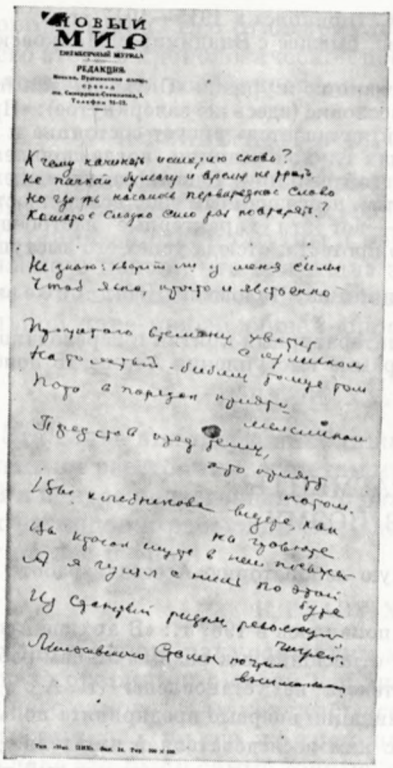
Бо́льшая часть публикуемых отрывков в рукописях не датирована, и вопрос о том, на каком этапе работы над поэмой они появились, в данной публикации решается лишь приблизительно.

К ГЛАВЕ I. «МАЯКОВСКИЙ ИЗДАЛИ»

1

Не знаю: хватит ли у меня силы,
Чтоб ясно, просто и явственно...

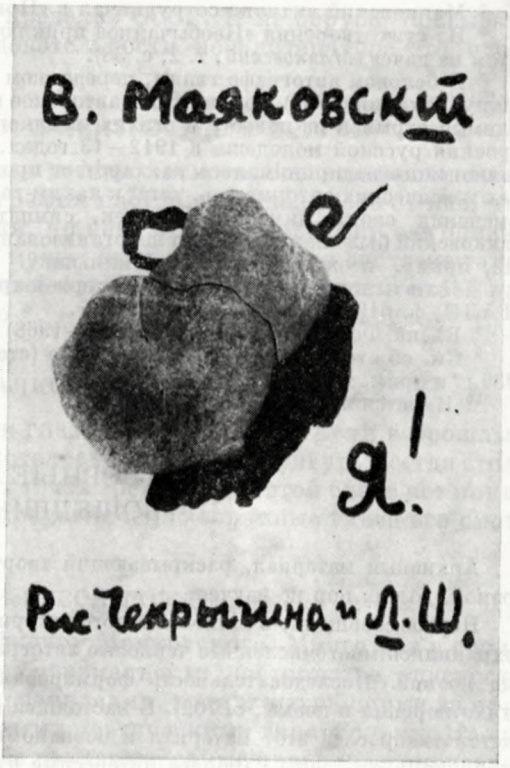
Прожитого времени хватит с излишком
На толстый — библии толще — том.
Пора в порядок придти мыслишкам,
Представ пред теми, кто придут потом.



ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ НАБРОСОК ПОЭМЫ «МАЯКОВСКИЙ НАЧИНАЕТСЯ»

Начало поэмы. Автограф. 1936

Личный архив Асеева, Москва



ПЕРВЫЙ СБОРНИК СТИХОВ В. В. МАЯКОВСКОГО «Я»

Литографированное издание.

Май 1913 г. (тираж 300 экземпляров)

Обложка по рисунку Маяковского

Литературный музей. Москва

Вы Хлебникова видите, как на гравюре,
Вы красок ищете в нем посвежей,
А я гулял с ним по этой буре
Из странствий, рифм, революций, чижей.

Маяковского Сталин почтил вниманием...

Черновой автограф. Личный архив

На листе из блокнота со штампом журнала «Новый мир».

Можно предположить, что этот отрывок является первым стихотворным наброском, из которого впоследствии выросла вся поэма: об этом Асеев говорил в выступлении 17 декабря 1936 г. Рассказав о неудаче с попыткой написать роман в прозе, он продолжал: «Я тогда огорченный и очень разозленный на себя за то, что у меня ничего не выходит ⟨...⟩ начал писать эпиграмму на самого себя в таком смысле: «Зачем ты за это дело берешься, зачем пытаешься пересказать историю». Я начал и написал несколько строк. У меня в это время сидел мой товарищ, Кирсанов. Я прочел ему, а он мне сказал: «Вот это и есть повесть о Маяковском» (ЦГАЛИ, ф. 336, оп. 7, ед. хр. 52, л. 6); см. также наст. том, с. 475, от слов: «Я написал несколько строк стихов в отношении себя...»

Позднее чернилами более темного оттенка перед первыми строками наброска была вписана строфа, ставшая в дальнейшем началом поэмы («К чему начинать историю снова?..» — *Асеев*, т. 3, с. 387). Третья строфа вошла затем в окончательный текст главы XII поэмы («Хлебников».— Там же, с. 462).

2

Слушайте, слушайте! Пора поднять беседу
Про славные начала и грозные концы.
Слушайте, слушайте! Скажи сосед соседу,
Что мы не беспризорники, что есть у нас отцы.

По спинкам стульев, по их рядам сомкнутым
Пройди, первоначального волненья дрожь,
Глухое равнодушие к промчавшимся минутам
Разбей на мелкий щебень и уничтожь.

Чтоб давнего подполья мелькнули даты,
Чтобы партийных явок блеснули адреса,
Чтоб в уши, не забитые пыжами ваты,
Шумели первых сходок и митингов леса.

Поизносился уже блеск галунов и медалей,
Службою жили дворяне, дедову спесь расточив,
По-европейски бороды подстригали
Русские, в силу вошедшие, бородачи.
Время крестьянских восстаний уже миновало,
Сила переходила — к фабрикам, в города.
Сила солому ломила, литье молотами ковала,
В стачках стихийных бурлила. Сила была молода.
Все же Россия была еще далека от Европы,
Винная монополия — смахивала на кабаки.
В дичь непробудного леса вели непробитые тропы,
В глушь непролазного быта впутывали тупики.
Почитай, как жизнь дрянна
У Салтыкова-Щедрина.
Там описано подробно.
Там рассказано о том,
Как ⟨*пропуск в тексте*⟩ утробно
Человека ⟨*пропуск в тексте*⟩ со скотом.
Мы теперь их не боимся

Черновой автограф. Личный архив.

В процессе работы содержание фрагмента трансформировалось в разных частях поэмы: см. в гл. I — «Взъярилась российская дикая глушь...» (*Асеев*, т. 3, с. 393); «Всей будничной обыденщиной быта...» (там же, с. 394) и др.

Сохранилось еще 4 варианта публикуемого текста (автограф, личный архив).

3

И в голосе юношеском басила
Иная какая-то мера и стать,
Какая⟨-то⟩ ясная вера и сила,
Идущая наново мир создавать.

Черновой автограф. Личный архив.

На листе, содержащем запись отрывка: «Похожий на рослого мастерового ∽ Ладонями кверху несли на весу» (*Асеев*, т. 3, с. 390). Публикуемая строфа непосредственно продолжала этот отрывок. Строфа была вписана и затем вычеркнута в автографе поэмы (ГЛМ, оф. 4436, л. 1 об.).

К ГЛАВЕ II. «ЗНАКОМСТВО С МОСКВОЙ»

4

Вся жизнь была прочно привинчена к месту.
Обычай был стоек и невысок:
Подрос — выбирай поплотнее невесту,
Добротнее ткань да жирнее кусок.
Портьеры, закрытые наглухо, слепо,
Как щели у каменных хижин

Черновой автограф. ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 56, л. 3.
На листе из блокнота со штампом журнала «Новый мир».
Публикуемым строкам предшествовали еще две:

«Пускать капиталы на воздух...
Шалишь!» (*Асеев*, т. 3, с. 399).

К ГЛАВЕ III. «ЕГО УНИВЕРСИТЕТЫ»

5

Смотрите, как чинен, параден и вылощен
Летит по Мясницкой под сеткой рысак.
А этот — что
в Строгановском училище —
Культуре [их бой] борьбу объявляет... Босяк!

Черновой автограф. Личный архив.
Текст входит в часть главы, написанной на отдельном листе; публикуемая строфа следует после слов: «средь этих обвислых телес» (*Асеев*, т. 3, с. 406).
Сохранился еще один вариант этого текста (автограф, личный архив).

К ГЛАВЕ IV. «ПРОБА ГОЛОСА»

6

Конечно, теперь его в люди не вывести
И доводы зря за него распинать [1].
Здесь повесть ведется не о справедливости,
и в ней он выводится — как экспонат
того, что могла навести на ребенка
тогдашней России кромешная мгла.
Как неводом схваченная рыбенка
сдыхать не хотела и жить не могла.

Ему бы тогда бы еще догадаться,
что эта истерика и хрипота
лишь — копия римского декаданса,
когда он пред варварами трепетал.

Что эти звериные всхлипы и ржанье,
в ничто поворот и зажмуренность глаз —
не только — от старого содержанья,
но и от будущего — отказ.

Черновой автограф. Личный архив.
См. также: ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 58, л. 26 и ед. хр. 62, л. 38. В последнем источнике следует после строк:

«В вольерах искусства прыжки и ужимки
взбешенного мелкого буржуа» (*Асеев*, т. 3, с. 415).

[1] Речь идет о футуризме.

7

Ехали три друга
По сонным городам,
Где выпячено брюхо
Подставкой бородам.
[Вася Каменский]

Где пропадали пропадом,
Почтенья лишены,
Кто рокотом попробовал
Коснуться тишины.

Где жили тихо, чинненько
Знакомые мои,
Щетинники-вощинники,
Попы да шибаи.

Дочки на носочки,
На цыпочки сыны,
Неслыханные строчки
Неведомой цены.

Машут платочками,
Трещат: у Бурлюка,
Говорят, цветочками
расписана щека.

Закручивают коски,
Волнуются, визжа:
«Как будто, Маяковский
Носит розовый пиджак!»

Одесса и Харьков,
Баку и Тифлис
Афишными ярко
цветами зажглись.

Черновой автограф. Личный архив.
Принадлежность к главе IV — предположительна. Текст обозначен автором: «Глава XI» — и предваряется эпиграфом: «Афишами по стране распластав» (эта строка в окончательном тексте заключает гл. IV — *Асеев*, т. 3, с. 416).

К ГЛАВЕ V. «ОТЦЫ И ДЕТИ»

8

Вы все с каждым годом становитесь глаже:
Работать, мол, легче и жить веселей;
Крученых же лишней рубахи не нажил,
На прочности вкусов своих и целей.

Вы все из своих непроветренных спален
Коситесь, зевая и морщась, на мир...

Черновой автограф главы. ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 56, л. 5.
Текст следует после слов: «Как стиль ваш ни пышен и вид ни форсист!» (*Асеев*, т. 3, с. 418).
См. также: ГЛМ, оф. 4436, л. 24.

9

Не вы ль норовили прозаседаться,
Под своды комиссий попятившись вспять,
Когда пролетарское государство
Впервые позволило на ноги встать.

Черновой автограф главы. ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 56, л. 6.
Текст следует после слов: «подросших лабазниковых сыновей» (*Асеев*, т. 3, с. 418).

К ГЛАВЕ VI. «ГОЛОС ДОКАТЫВАЕТСЯ ДО ПЕТЕРБУРГА»

10

[К таким
и приблизиться — не надейся [1]:
То в ветер обдует,
то в дождик зальет.
Он чуден и чужд им,
как перьям индейца
Впервые увиденный самолет.]

Черновой автограф части главы. Личный архив.
На листах из блокнота со штампом журнала «Новый мир». Текст следует после строк:

«мальчика — Оставь Не Трогай
и девочки — В Ладонь Глаза» (*Асеев*, т. 3, с. 427).

[1] Речь идет о Л. Ю. и О. М. Бриках.

К ГЛАВЕ VII. «ЦЕНТР И ОКРАИНЫ»

11

И наконец из тины
критик бесхребый
Щуковский
Выплыл и огляделся:
[есть чего пожевать]
есть на чем спекульнуть.
Зубьями широкорото
лязгнул вполоборота:
В случае неудачи
в тину [готовый] надолго вильнуть.

Черновой автограф части главы. Личный архив. Блокнот со штампом журнала «Новый мир».

Публикуемая строфа следует после слов: «Колют его, идущего через хребты эпох» (*Асеев*, т. 3, с. 436).

Тот же отрывок в наброске к главе VI — личный архив.

К ГЛАВЕ IX. «ВПЕРЕДИ ПОЭТОВЫХ АРБ»

12

. . .Вавила!
Откуда такая роскошь?
Неужто — с Аверченки,
за фельетон? [1]
У брюк
разлинеенная полоска,
у галстуха —
принца Уэльского тон!?
Глядит,
по-мальчишески гордо
взирая с высот
своего дальнобойного роста:
«Нет, деточка,
Это — вчера я,
не насилуемый никем,
просто
снял в железку по шестой руке
три тысячи двести
со ста!»
Роняет слова —
будто палец о палец
не хочет —
а сам внутри — напряжен,—
глядит,
как будто вконец
разнахалясь.
А — весь
гудит в труде,
как Гужон.[2]
И вдруг,
как будто мальчишке
гостинца —
нежданно
глаза подобрели:
«А вышеозначенного
принца —
мы — галстухом,
значит, уели?!»

Беловой автограф. ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 59, л. 1—2.

Текст входит (в качестве первого отрывка) в автограф, озаглавленный автором «Два отрывка, не вошедших в повесть «Маяковский начинается»» (второй отрывок см. фрагмент 19), и обозначен: «Из главы IX».

В тексте поэмы отрывок следовал, вероятно, после строк:

«Вошел.
Маяковского —
Не узнать» (*Асеев*, т. 3, с. 444).

Тот же отрывок см.: ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 58, л. 17.

На обороте листа с публикуемым текстом запись: «Почему случается так, что чем крупнее и самобытнее дарование поэта,— тем позже...» (не закончено).

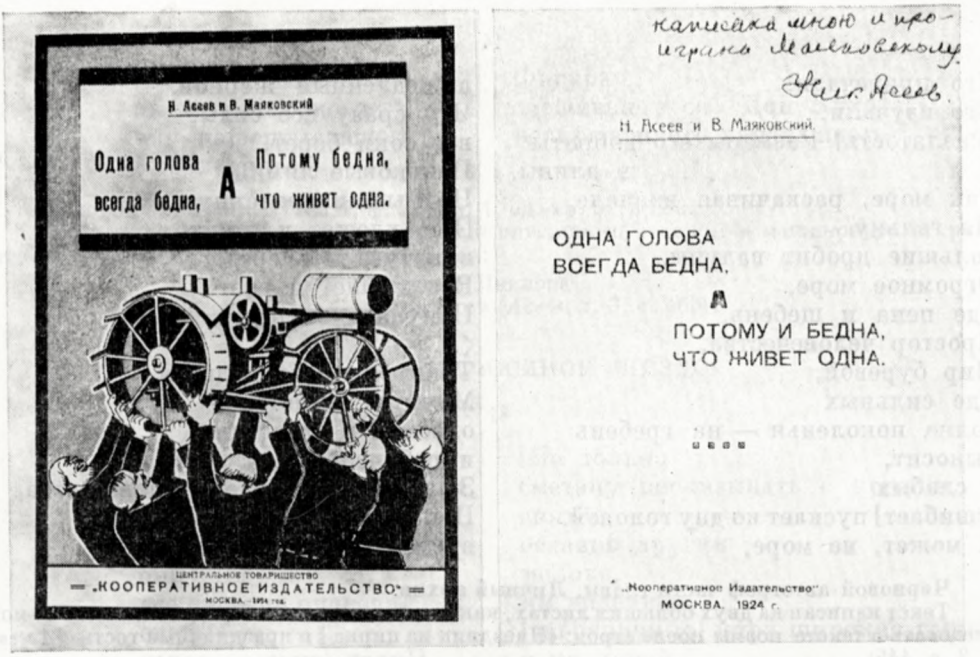
В личном архиве поэта сохранился более полный текст этой интересной заметки Асеева. Приводим его здесь:

«Почему случается так, что чем крупнее и ярче личность и дарование поэта — тем позже признают его современники?

Нужно упасть ему плодом с ветки, чтобы оплодотворить землю, его породившую.

А время его расцвета и созревания всегда проходит не оцененным по достоинству.

Быть может, причина этого заключается в необычности поведения поэта, в его выделении себя из общих правил, которыми руководствуется общество, среда, его окружающая.



ОДНО ИЗ АГИТСТИХОТВОРЕНИЙ, НАД КОТОРЫМИ МАЯКОВСКИЙ И АСЕЕВ РАБОТАЛИ ВМЕСТЕ В НАЧАЛЕ 1920-х гг.

(«Одна голова всегда бедна...» М., «Кооперативное изд-во», 1924).

Обложка и титульный лист с надписью: «Написана мною и проиграна Маяковскому. Ник. Асеев»

Литературный музей, Москва

Мы имеем в виду здесь подлинно крупные, из ряду вон выходящие дарования. Такими в Англии был — великолепный Байрон, во Франции — нежнейший и несчастнейший Верлен. Уот Уитмен в Америке, Гарсиа Лорка в Испании».

[1] Имеется в виду участие Маяковского в журнале «Новый Сатирикон», одним из редакторов которого был Аркадий Тимофеевич *Аверченко* (1881—1925). Первое стихотворение поэта в этом журнале — «Гимн судье» — было напечатано в 1915 г. (№ 9, 26 февраля).

[2] Металлургический завод Гужона и К° в Москве.

13

Роняет слова,
будто палец о палец
вовек не ударит
в работе он.
Глядит на тебя,
до конца разнахалясь,
наметлив взгляд
и заносчив тон.
Ругаешься сам про себя:
«Растяпа!
Никак подход не найдешь
к⟨1*нрзб*⟩»

— А что вы там пишете
про Остапа? [1]
Бросьте!
Пишите, как я пишу!
Расстроишься,
Чуя в словах насмешку.
Володя!
Я ставлю вопрос ребром!
— Да будет!
Сыграем в орел и решку!
И ну в ладонях
звенеть серебром. . .

Черновой автограф. Личный архив.

На обороте листа, на котором начинается беловой автограф главы XVII — «Площадь Маяковского». Принадлежность к гл. IX определяется по сопоставлению с фрагментом 12.

[1] Очевидно, имеются в виду ранние стихи Асеева из книги «Зор» (1914), в которых впервые появляются в его творчестве запорожские мотивы (см.: *Асеев*, т. 2, с. 39—47).

14

Его привечали.
Его изучали.
[Разлатость] Размеры его доброты
и длины.
Так море, раскачивая вначале,
На гальку
большие дробит валуны.
Огромное море,
Где пена и щебень,
Простор человечества,
Мир буревой,
Где сильных
волна поколенья — на гребень
выносит,
а слабых
[сшибает] пускает ко дну головой.
А может, не море,
а медленный жернов,
Что сразу все силы,
все соки берет,
Пеньковые лямки
Подмышки продернув
[Все хлещет и гонит
в натуге — вперед!]
Все хлещет и гнет
Понукая: вперед![1]
〈...〉
Таким он мне видится,
Мучится, мечется —
огромен в страстях
и ребячески мал,
Заложник грядущего человечества,
Попавший в стремительный
времени вал.

Черновой автограф части главы. Личный архив.
Текст написан на двух больших листах, как «вставка» к главе. Предположительно мог следовать в тексте поэмы после строк: «Наездник из цирка ‖ и праздничный гость» (*Асеев*, т. 3, с. 445).

[1] Далее 18 строк текста совпадают с окончательным: «Огромным упорным Самсоном остриженным ∞ Из-за скопившихся в сплетнях клоак» (*Асеев*, т. 3, с. 448).

15

И то,
чего он не хотел,
с чем боролся,
что требует крови,
а не чернил,
на самое то —
налетел, напоролся,
всего себя
[целиком] навек подчинив.
Вы скажете,
нравов блюстители строгие,
что вам
точка зрения эта странна,
что все это
голая
биология,
а где же — общественная струна?

Черновой автограф. Личный архив.
Данному тексту предшествует строка:
«в тысячу сил» (*Асеев*, т. 3, с. 447).

К ГЛАВЕ XII «ХЛЕБНИКОВ»

16

Так и [виднелись] ходили, издалека нам
На горизонте черно видны,
Два побратима, два великана,
Оба не в меру людям чудны.

Так и бродили два великана.
Оба несвычны, оба чудны
На горизонте людей океана
Издалека *〈пропуск в тексте〉* видны.

Было им море лишь по колени,
Было мало им их поколенье

Черновой автограф. ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 56, л. 22.
Текст следует здесь после слов: «Из странствий, войн, революций, чижей» (*Асеев*, т. 3, с. 463).

17

[Верно, в веках
он встречал кого-то,
ему нашептывавшего
о большом...

Фигура
спешившего〈ся〉 Дон Кихота,
воскрешенного карандашом]

Беловой автограф. ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 62, л. 86.
Публикуемая строфа является частью вписанного автором в машинопись от руки текста вставки и следует в ней после строк:

«И после Павлова
за пятьсот» (*Асеев*, т. 3, с. 463).

К ГЛАВЕ XIII. «ОСИНОЕ ГНЕЗДО»

18

[Пока остальные
в очередях
переминались
с мешком за плечами,
они —
все очереди опередя,
особые
договора заключали[1]]
〈...〉

[Не только
сметану послизывать с крынки,
снятое
оставив другим
молоко,
им виделись
[заграничные] мира широкие рынки,
с их лапой,
запущенной глубоко.]

Беловой автограф главы. ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 57, л. 2—3.
Текст следует после строк:

«особо ответственный
жирный паек» (*Асеев*, т. 3, с. 470).

[1] Далее 9 строк текста совпадают с окончательным:
«Они отъедались ∞ еще более лакомые куски» (*Асеев*, т. 3, с. 470).

19

...И вот пошли искать
на солнце пятен;
то здесь,
то там,
в два пальца резкий свист:
— он мелкобуржуазен,
непонятен,
он — лишь попутчик,
он эгоцентрист!
Он слишком вычурен!
Не в наших вкусах!
О, как был дружен
тот зловещий вой...
И вот — медведь,
качающий в укусах
своей большой,
гонимой головой!
Друзья?
Но что друзей кружок нехитрый,
сникающий
при первой же грозе?
Какой, к примеру, друг,

Хитровский Митрий?[1] —
Избави бог
от этаких друзей!
Читатели?
Сочувственники —
Эти
похлопают,
на цыпочки привстав,
и разойдутся,
расплывясь на свете,
пойди —
ищи их у семи застав.
При счастьи —
все вплотную
вкруг теснятся,
все в самой близкой
кажутся связи,
а в горе —
как-то вдруг
начнут стесняться:
«Не оказаться б
лишними вблизи!»

Беловой автограф ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 59, л. 2—3.
Текст является второй частью автографа, озаглавленного автором: «Два отрывка, не вошедших в повесть «Маяковский начинается»» (первый отрывок см. фрагмент 12) и обозначен: «К главе XIII».

См. также ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 58, л. 22.
Отрывок предполагалось включить в главу XIII, очевидно, после строк:

«Их муштрованная рота
направо иль налево отшагнет» (*Асеев*, т. 3, с. 473).

[1] Имеется в виду Дмитрий Васильевич *Петровский* (1892—1955), литератор, примыкавший к Лефу, а затем к «Перевалу».

К ГЛАВЕ XIV. «РАЗГОВОР С НЕИЗВЕСТНЫМ ДРУГОМ»

20

[Но это ж и есть
наша радость и слава,
что все начинается
снова, сначала,
чтоб жизни живая,
летучая лава
недавнюю молодость
нам возвращала!]

Беловой автограф главы. ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 57, л. 15 об.
Глава озаглавлена: «Глава XII. Разговор с неназванным другом о задолженности молодости». Строфа следует после строк:

«К полярным разводьям
зимовщика — друга» (*Асеев*, т. 3, с. 479).

К ГЛАВЕ XV. «МАЯКОВСКИЙ РЯДОМ»

21

Менялось вокруг и время и местность,
Но уже не под шелест картежных сдач.
Мы с ним играли на радость, на честность,
На выполненье строчных задач.
Мы с ним играли в игры большие,
враз отмечая мастей колера,
не подтасовывая и не фальшивя,
карты на стол, господа шулера!
Припоминая жесты и позы,
Плеч разворот, голоса звук,
Знаю и верю: мой главный козырь
Враги у меня не выбьют из рук.

Черновой автограф начала главы (с обозначением «К главе XIII»). ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 57, л. 17.
Текст следует после строк:

«Мы с ним доигрывались до рассвета
В разную карту, в любую игру» (*Асеев*, т. 3, с. 482).

К ГЛАВЕ XVI. «КОСОЙ ДОЖДЬ»

22

Он в гущу шел
тоску разгулять.
А вслед ему, как из тучи:
[нахал, бандит,
самохвал, спекулянт]
Наглец, самохвал,
Жулье, спекулянт,
Приспособленец, халтурщик!

Черновой автограф главы. ЦГАЛИ, ф. 29, оп. 1, ед. хр. 57, л. 51.
Строфа следует после строк:

«Никому не видна
плывет любовная лодочка» (*Асеев*, т. 3, с. 493).

23

Один мне сказал: Маяковский умер,
С ним и Асееву амба, конец!
Врете, приятель, [спрятавшись в трюме.

Вас еще вызовут, мичманец!]
запрятавший в трюме
споротый вензель свой, мичманец!

Знаю, трепнулся по пьяному делу,
Сам не придумал — что слышал, то врал.
[Видите] Чувствуете: строчка не охладела,
Та же, что — в бешенстве рвал адмирал!

А если [ты] доволен ты смертью поэта,
Если считаешь, что ваша взяла,
Вслушайся в грохот сплошного ответа.
Шапку долой! Опускай вымпела!

Черновой автограф. ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 57, л. 23.
Принадлежность к гл. XVI устанавливается по бумаге, почерку и чернилам. По содержанию соотносится со строфой: «Еще ли молчать, безъязыким ставши ~ А петушок уже пропел давно» (*Асеев*, т. 3, с. 494).

24

Брезгливое,
Злое:
опущенный рот
сухим себялюбием вытлел,
фигуры кокетливый поворот —
не вышедший в канцлеры Гитлер [1].

Вставка к беловому автографу главы. ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 57, л. 42.
Публикуемая строфа следует после строк:

«То там, то здесь появлялось лицо
зловещего выраженья» (*Асеев*, т. 3, с. 495).

[1] Имеется в виду Троцкий.

25

Я знаю:
Слава — [при цифре] без цифры —
нуль.
Ну что за судьба проклятая:
[поэтам русским] бойцам отборным
гибнуть от пуль,
дорогу к славе прокладывая.

Не верят;
косятся — «Какой с него толк!»
Недаром дается
стоустая!
— Докажет —
уплатим последний долг,
последнему вздоху сочувствуя.

Ну вот — доказал!
Славословий хвала
растет —
словно мох у полюса...
Слова его
и его дела —
как шпоры тупицам — колются!

Беловой автограф главы. ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 57, л. 45.
Публикуемый отрывок следует после строк:

«До пули в конце
вниманье стиху вымаливая» (*Асеев*, т. 3, с. 496).

См. также ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 60, л. 151—152.

СТЕНОГРАММЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ АСЕЕВА О ПОЭМЕ «МАЯКОВСКИЙ НАЧИНАЕТСЯ»

В архиве поэта сохранилось пять стенограмм его выступлений о поэме: от 8 и 17 декабря 1936 г., от 15 ноября 1939 г. и две — от 2 апреля 1940 г. Из них публикуются первая и третья, как наиболее значительные по содержанию и объему.

Вечер в Доме печати 8 декабря 1936 г. был самым первым обсуждением поэмы «Маяковский начинается». Председателем вечера был Л. А. Вакс. В обсуждении приняли участие С. А. Васильев, И. П. Уткин, А. Е. Крученых, М. А. Светлов, А. И. Ситковский,

Г. Я. Захаров и др. Сообщение о вечере см.: *ЛГ*, 1936, № 70, 15 декабря. О выступлении Асеева перед студентами Литературного института 15 ноября 1939 г. до сих пор нигде в печати не сообщалось.

Обе стенограммы не правлены. Если стилистические шероховатости, связанные с неточностью записи, не меняют смысл сказанного, они оставляются в публикации, как правило, без изменений. Места, смысл которых ввиду неправильной записи не поддается расшифровке, опускаются с обозначением места пропуска. Иногда для уточнения смысла в текст вводятся дополнения публикатора, которые заключаются в угловые скобки. Неточности в записи стихотворных цитат исправляются без оговорок. Если стихотворная цитата, воспроизведенная в стенограмме лишь одной строкой, существенна для понимания мысли Асеева, то она приводится полностью.

Стенограммы, не вошедшие в настоящую публикацию, см.: ЦГАЛИ, ф. 336, оп. 7, ед. хр. 52, л. 3—6 и ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 137, л. 1—3.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВЕЧЕРЕ В ДОМЕ ПЕЧАТИ
8 декабря 1936 г.

Вступительное слово

Вещь, над которой я работаю уже два года, получила, наконец, реальные очертания. В этом году я начал ее писать, написано семь глав. Всего в поэме будет около 20 глав. Сейчас треть, первая часть поэмы, закончена. Я имею смелость в товарищеской среде читать. Мне это интересно потому, что это первоначально написано, пока еще можно исправлять, переделывать. И мне очень хотелось бы выслушать ваше мнение, пока это не стало еще окончательно застывшим материалом.

Моя трактовка Маяковского несколько своеобразна, несколько полемична. Она вне обычных представлений, которые составлены о Маяковском и которые, по-моему, дурно, неправильно трактуют фигуру и образ Маяковского.

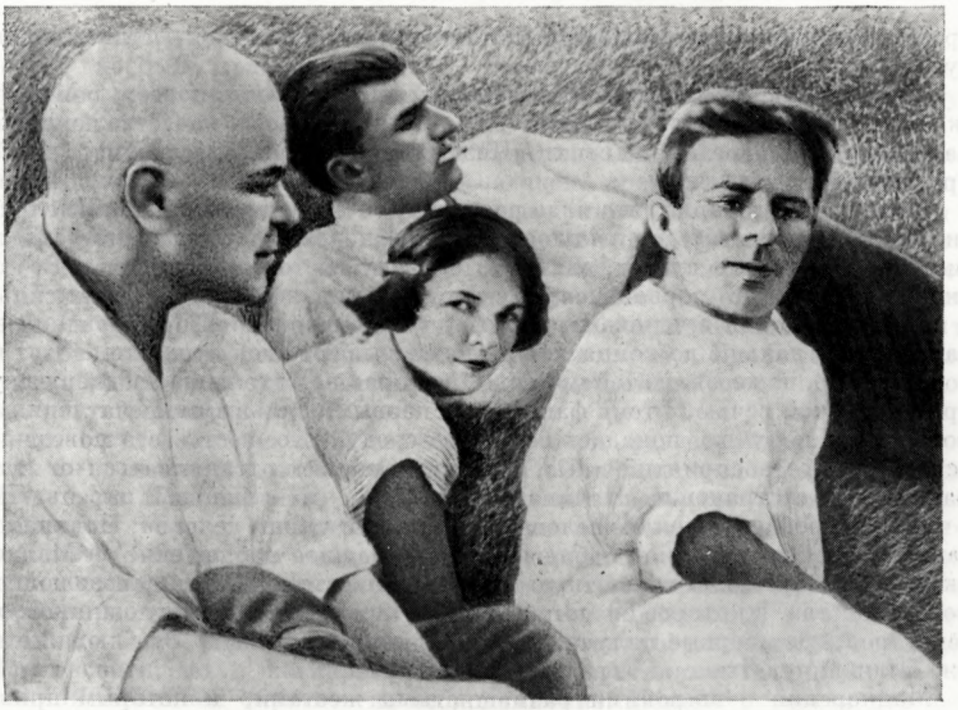
Как до сих пор обычно представляли Маяковского?

Его представляли, как лопатой разрубленного червяка, две половинки. До революции он был такой, этакий, мелкобуржуазный, до революции был плохой, бука, футурист, желтая кофта, «свергнуть Пушкина с парохода современности». Все грехи, «детские болезни левизны» приписывали ему. После Октября или, вернее, после вступления в РАПП [1] Маяковский делается паинькой и настоящим пролетарским поэтом. Что это неверно — это ясно. После вступления в РАПП Маяковский, к сожалению, не написал ничего [2]. Таким образом, получается извращенное представление о творчестве и биографии Маяковского.

Я беру цельную фигуру дореволюционных лет, объясняю те недоумения, которые у читателей бывают по поводу всех тех искажений фигуры Маяковского — желтая кофта, этот его тогдашний эпатаж буржуазии, который на самом деле был обдуманным единственным путем.

Конечно, Октябрьская революция развернула для Маяковского возможности необычайно, конечно, сделала Маяковского тем, которого мы любим и знаем, которого знает Советская страна, который заслужил признание Иосифа Виссарионовича Сталина, как лучший и талантливейший поэт нашей эпохи [3]. Но все это не с неба свалилось, не явилось неожиданным поворотом поэта в сторону революции, а было органически подготовлено всей судьбой, всей биографией. И только возможности открылись! Не будь первоначальной подготовки, не будь такой биографии и тех задач и целей, которые он давно наметил,— не было бы Маяковского и после Октября.

И вот мне хочется в поэме рассказать об этой биографии, которая является биографией не только Маяковского, но биографией поколения, и потому фигура Маяковского важна, как лучший образчик поколения, как типический случай, на котором можно показать всю судьбу его. И, во-вторых, мне



В. В. МАЯКОВСКИЙ и Н. Н. АСЕЕВ НА СПОРТИВНОМ ПРАЗДНИКЕ
Слева направо: В. Б. Шкловский, Л. Краснощекова, Маяковский, Асеев
Фотография. Пушкино, конец 1920-х гг.
Литературный музей, Москва

хочется дать ответ на вопрос, постоянно задаваемый аудиторией, где бы я ни выступал, в любом месте, на каком бы собрании ни зашла речь, всегда были записки, в которых писали — объясните причины самоубийства Маяковского.

Вот задачи, которые я поставил в своей вещи. Люди думают, что тут есть какой-то секрет. Люди не удовлетворяются теми объяснениями и материалами, которые остались в связи с его самоубийством. И действительно, недостаточно все это объяснено. Вот человек любил жизнь, страшно боролся, любил свою родину, своих современников и вдруг ушел в совершенно неожиданный момент. Мне хочется путем целого ряда наблюдений и ряда указаний ответить и на этот большой и законный вопрос со стороны молодежи, со стороны любящих Маяковского.

Я долго трактовать не буду, я перейду к чтению поэмы.

Но мне хочется предуведомить вас, что вещь задумана сначала как повесть прозаическая о Маяковском. Мне это предложили, я долго думал над этим. Мне предложил журнал ленинградский «Звезда» написать биографию Маяковского художественного типа; рассказать, что я знал, как встречался, какие наблюдал характерные особенности, создать образ его, фигуру, его творческий образ... И я взялся за это дело и долго готовился к нему.

Наконец, в мае этого ⟨года⟩ я решил писать и действительно начал писать. Я написал два листа этой прозаической вещи [4], вижу, что все факты верны, все ясно, все, что я считаю нужным, я высказал честно и по мере сил своих, но фигура стоит на месте и действие не двигается. Остановилось и можно рассматривать! Как увлекательный фильм — остановился, смотришь и что же дальше?

Я разозлился, счел себя бездарным, решил, что ничего не выйдет у меня, и вот в таком припадке холодного самобичевания я написал несколько строк стихов в отношении себя [5]. Я думал потом это вставить в прозу или взять эпиграфом. Но мне почувствовалось, что здесь получается какой-то

пробег. Я тогда дальше написал. Потом вошел в аппетит и — написал целый кусок.

Семен Исаакович Кирсанов сказал мне, что это и есть повесть о Маяковском, а не то, что я писал в прозе. Два листа остались в качестве чернового материала, и я перешел на стихи. Получилась главка о Москве и т. д. Вот предыстория этой вещи.

Я много раз говорил, что надо рассказать о тех условиях действительной биографии, рассказать, как жилось в Москве человеку, пришедшему из других условий своего существования, человеку, который родился в Грузии около Кутаиса, те первоначальные впечатления, действие которых сильно и надолго остается в человеке, вплоть до совершенного сформирования его характера и дальше до конца жизни накладывают свой отпечаток. Этот человек из гор, из лесов, из той природы, которая не похожа на среднерусскую природу, с той речью, с теми фактически первыми сильными впечатлениями, которые он получил, попадает в другую среду. Его жесты, его поведение, вся сумма его восприятий иные, и люди начинают отталкиваться от него, начинается отстранение. Начинают говорить, что странный парень. Как в чужую деревню зашел бы человек, не со своей улицы человек. Начинается такое немножко холодное наблюдение, осторожное наблюдение за Маяковским, не подпуская его вплотную к себе. Это со стороны того дореволюционного общества, в которое он попал, в среду исключительно художников, литераторов, где впервые получил свой общественный опыт. Эти люди не так уж были виноваты.

Маяковский с широкими размашистыми жестами, к которым привык в обстановке постоянного нахождения на воздухе, Маяковский с его громким голосом, который он не преувеличивал и не желал, чтобы он казался более сильным голосом, привык к тому, что горные речки шумят острее, звонче, чем наши медлительные реки, и перекричать этот горный поток нужно. И впервые услышанные звуки речи западают надолго, со всей фоникой, с этими р, ш, щ, эти гортанные буквы грузинской речи. Там гласные редко расставлены, там собраны гортанные, свистящие, шипящие, и у Маяковского остается эта любовь к твердому опорному звуку. У него нет этого аканья москвичей или оканья горьковцев.

Это мелочь, но одна из мелочей, на которой строился образ Маяковского. Его остроумие, его добродушие, его огромный юмор, его лиричность ⟨...⟩ смехотворчество. Его юмор, его остроумие, эти словечки, которые мы слышали за столом, когда происходит угощение гостей,— эта его добродушная насмешливость, если не враг — высмеять так, но не обидеть, а если враг — то поразить на месте оружием смеха.

Вы знаете рассказы об остротах Маяковского. К сожалению, никто их не записывал. Сохранились частично в памяти у Кассиля [6] те замечательные остроты, которые сразу клали человека, противоречившего Маяковскому, и перед аудиторией ставили в смешное положение, потому что его отношение к Маяковскому было несправедливое, враждебное.

Его великодушие!

Я расскажу случай, когда я был в 26-м году болен и Маяковский ходил по моему делу в Госиздат, продвигал книжку [7]. Он ходил ровно 21 раз! И никогда при жизни он не рассказал об этом. Странно, что человек, который хлопотал за товарища, не рассказал об этом. Естественно было рассказать, когда товарищ выбрался из беды, выздоровел, что вот, знаешь, потрепал я подошвы... Никогда не сказал. Только после смерти нашли записку, где были записаны хождения по моему делу: — ходил 20-го — не застал, ходил по Колиному делу, проклятые секретарши!.. [8] и т. д. Одним словом, 21 раз человек ходил, упрямо настаивал на том, чтобы отстоять мое дело. Самому мне было не до того, я лишен был возможности. И это великодушие и скрытность, которая не ищет немедленной компенсации — я ходил, ты же помни, что и ты за меня пойдешь. Он это сделал и считал необходимым сделать не потому, чтобы похвастаться своим великодушием. Эта конспиративность в отношении

своих хороших поступков и определяет очень большое качество Маяковского, которое не было правильно понято. Он не часто говорил о себе и своем состоянии, не раскрывал рубашку, не каждому рассказывал, что на душе у него.

Первоначальный период его работы, дореволюционной работы был законспирирован от большинства непонимающей, враждебно настроенной публики. Иногда у Маяковского прорывался крик, что это вовсе не то, что я говорю! Маяковский писал:— «Хорошо, когда в желтую кофту» [9] (*читает*). Желтая кофта, которую рвали все собаки, впивавшиеся в ноги Маяковского.

У Маяковского вовсе не было желания расшевелить буржуазию, не клоунада это была. Из-за этой желтой кофты бросал такие слова и метафоры, так звучала поэзия, о которой многие не хотели думать. Впервые Маяковский поднял образ бастующего рабочего [10], о котором было просто рассказать. Он говорил... (*читает*).

Это было написано в 1913 г., когда не очень разговаривать поощрялось, хотя бы в высокой поэзии, хотя бы в высокой лирике. Или возьмите трагедию «Владимир Маяковский», когда неожиданно среди совершенно странных метафор и образов появляется — «Ищите жирных в домах-скорлупах» [11] (*читает*). Этот призыв продуть уши, протереть глаза, выискивать виновных того состояния общества, против которого Маяковский задолго задумал борьбу до того, как призвали поэзию на революционный фронт. Вот это, конечно, было недопонято, недоучтено не только тогдашними критиками Маяковского, но и послереволюционными критиками. Мы знаем, что это считали желанием обратить на себя внимание. Маяковского считали человеком, который хулиганит ради того, чтобы привлечь к себе внимание и т. д., рекламистом... И Маяковский в 1914 г. писал, что он принимает все эти эпитеты кретина, хулигана, микроцефала, рекламиста, невежды, антикультурного человека... Он писал, что хорошо, он согласен на все эти эпитеты, но теперь, когда вы все получили удовольствие от этого — прочтите мои стихи [12]. Он принимал на себя все эти ругательные эпитеты и сам писал: — «Вы, обеспокоенные мыслью одной» [13] (*читает*). И горечь была в том, что они называли сутенером искусства, называли разбойником, круглым невеждой, наглым шутом — вот в чем была недопонятость, недоговоренность Маяковского с той аудиторией.

После революции остались люди, которые не любили Маяковского, остались люди, которые вообще не знали его. Говорили — знаем, скандалы устраивал, а что пошел на работу Революции, что в РОСТе стал работать — так приспособленец. Начались такие шпильки, разговорчики. А так как люди были умные, враг, который понимал, что удалить из советской литературы Маяковского очень важно, то они нашептывали дурачкам, что Маяковский вообще мелкобуржуазный, что здесь не классовый заказ, а кассовый, что не наш писатель, что был лакеем при буржуазии, стал лакеем при пролетариате. Эти шпильки подхватывали и распространяли, и это очень повлияло на душевное состояние Маяковского и много повредило всей советской литературе.

Материала у меня много, и я мог бы еще многое рассказать. Но я просто перейду к чтению. Я буду читать стихотворную часть, но будут полемические разговоры с публикой и в прозе вставки (*читает первые семь глав поэмы «Маяковский начинается»*).

Заключительное слово

Постараюсь быть возможно кратким. Не буду по поводу мелочей возражать и спорить. Я возьму только одно место, которое кажется мне центральным, и действительно об этом не раз мне приходилось говорить. Это вопрос о полемической части поэмы.

Я очень благодарен товарищам, которые стараются меня подбодрить. Я отлично отдаю себе отчет, что дело не в том, чтобы похвалить или поругать.

а важно, чтобы было сказано, что живо, что нужно, что дышит в поэме. Это очень важно. И интересны выступления последних 4—5 товарищей не потому, что они были более дружелюбны ко мне, а потому что это была дружба к повести, прочитанной мной. Меня это волнует, и я благодарен за это. Не в том дело, что хороший поэт, а важно, что эта повесть в стихах нашла своего читателя. Мне не важно, каким размером она написана — ямб это или хорей. Я, право, не знаю, и даю вам слово, что не знаю, как написано (*смех*). Мне Кирсанов разъяснил, что она написана, кажется, дактилем [14]. Мне хотелось найти такой размер, которым я мог бы вести рассказ. В 7-й главе я начал вводить перебивку, потому что Ленинград хотелось дать другим.

Мне хотелось показать, как государственный промышленный организм выжимал из себя Маяковского, хотел выбросить или переварить по своему образу и подобию. Москва хотела в художники произвести, сделать обычным служакой своего времени, своего общественного строя. Потом увидела, что нельзя, что слишком он колется, что в желудке ворочается еж, и тогда она вышвырнула его из себя. Она поставила на нем такой значок, который говорил — осторожно, не подходите, это человек не нашего круга, не нашего поля ягода, человек, который может быть опасен. Маяковский, вышвырнутый после первых диспутов, поехал, «афишами по стране распластанный» [15], поехал в литературное турне. Он познакомился со страной, он увидел всю Россию... Вот эта тряска в вагоне ⟨...⟩ У него ⟨еще⟩ не было ощущения прочности связи со всей страной. Было впечатление от зал, людей, которые могли платить за место, в крайнем случае молодежь, которая платила полтинник. Это уже была сочувствующая аудитория. Это была первая наметка — кто за него и ⟨с⟩ кем он должен быть. Но после того, как он мотался по всем городам, ощущения личного доверия к себе он не чувствовал... Он все время не ощущал, что его любят за него самого. Он считал, что относятся хорошо только за остроумие, только за то, что умел рассмешить. Если бы он знал, как мы хоронили Маяковского, если бы видел, как вереницей выстроились по всей Никитской, если бы видел рабочих, поднимавших детей над его гробом, он, конечно, не застрелился бы [16] (*аплодисменты*). Мне важно показать, как в прошлом оплевали Маяковского, как поразили его сознание травмой, что нет у него связи с народом... И когда во время советской жизни повторялись эти проявления недоверчивости, недружелюбия, Маяковский вспоминал подсознательно эти свои ощущения [17]. И на выставке подошел к нему парень и сказал:— Маяковский, когда же вы застрелитесь? — А почему я должен застрелиться? — Все хорошие поэты кончают так, это уже традиция, не своей смертью кончать [18]. Это был, может быть, неплохой парень...

Маяковского выбросили из Москвы, он приехал в Петербург... «Об Невский гранит обломилось весло» [19]... Здесь мне важно показать людей, которые его окружали.

Некоторые думают, что я Крученых, Бурлюка вывожу из каких-то ⟨групповых⟩ соображений. Одни думают, это потому, что мой выход из группы связывает меня. Ситковский думает, что ⟨···⟩ Маяковский ненавидел ⟨их в то⟩ время [20]. Я рисую его не с ⟨позиций⟩ 36-го г., а передаю ощущения, которые были у Маяковского от Москвы, у Маяковского того времени. Как в микроскоп рассматриваете микроорганизм... Я не могу сказать, что вот вошел Маяковский и сразу стал революционером. Я могу рассказать так, как наблюдал. Тут Ситковскому не нравится описание женщины. У него другое впечатление [21]. Но не могу я описывать с точки зрения Ситковского, а могу только с точки зрения того Маяковского и так воспринимать, как было в то время. Иначе будет голая публицистика.

Замечательно сказал т. Захаров, что Крученых тогда взрывал общество, у него выработался рефлекс, он остался одиночкой с этим рефлексом, что в зале большинство идиотов и что нужно полемизировать [22]. Он до сих пор не может почувствовать, что большинство вовсе не дураков сидят (*аплодисменты*) ⟨...⟩ Я убежден, что если Крученых показать по-настоящему, то

вы увидите замечательного мастера, замечательного знатока. Молодые ребята плюют, а нужно учиться знанию языка, фоники. Они думают, что это какой-то жулик. Я почему даю фигуру Крученых, потому что нельзя скинуть со счетов его влияния на Маяковского, на его образование, влияния Бурлюка и Крученых. Этого нельзя так просто сказать и мимоходом пробежать ⟨...⟩ Возможно, что фигура Крученых одиозная и возбуждает раздражение. Так судите, черт возьми.

Вот сегодня за что начались такие реплики, выкрики...

Возглас. Он Яхонтова обругал! [23]

Асеев. Может же Крученых иметь право иметь свое суждение! Но почему сердиться и заранее обзывать! Это неправильно, потому что мы, как капризные дети, отбрасываем ⟨его⟩ как игрушку. Получается, что человек на задворках, человек гордый, большого вкуса и знания поэзии... Получается, что человек обойденный, вне разговоров... Нужно осудить тогда! Если он сделал в своей жизни политически неправильное дело, если был в литературе отрицательной величиной, то нужно поставить вопрос и осудить. Нельзя это отдавать в третьи и четвертые руки, которые раз навсегда поставят крест, потому что боятся его нервности, его возбудимости и т. д.

Я в поэме говорю о месте Крученых в жизни Маяковского. Нельзя отделять Маяковского от всех друзей и показать чистеньким, как стекло. Было окружение, в котором он рос. Бурлюк помогал первые годы, чуть не содержал, выдавал по 50 коп. Бурлюк сказал ему, что он замечательный поэт, Бурлюк внушил самоуважение Маяковскому, которому никто из критиков не помог.

Т. Захаров правильно подметил этот чудесный оттенок в сталинских словах, что Маяковский был и остается лучшим поэтом [24].

12-го числа в «Рабочей Москве» будет стихотворение Маяковского об Испании [25]. Оно написано 10 лет назад, но звучит, как написанное вчера. А что писали критики по поводу этого стихотворения: «Будет вам большевизм защищать! Все известно! Вы говорите — классовый заказ. Это — кассовый заказ. Это вы разгоняете строчки, чтобы больше денег получить! Это — чтобы за границей писали».

Сколько сплетен, сколько грязи!

Ермилова я мог бы притянуть за волосы гораздо больнее [26], но это было бы смертоубийство. Можно было бы напомнить Селивановского [27], попавшего в троцкисты, это было бы политическое убийство. Моя задача показать, что эти люди — обыватели, которые вмешиваются в советскую литературу, искусство. Отец Ермилова [28] сделал Крученых таким, как он сейчас, который раздражает вас в силу таких нервов, что передается залу и заставляет насторожиться и вести себя, как с отщепенцем и неприятным человеком. Все это я говорю потому, что мне неважно восстанавливать Крученых, восстанавливать справедливость, обиженную репутацию... Я хочу показать Маяковского в том окружении, с теми друзьями, с теми связями, в каких он состоял.

Товарищ правильно говорил, что нужно показать Маяковского в таком плане, чтобы показать события [29], но это начало. Тут заготовлены такие вещи, которые будут не хуже того, что написано. Есть глава о войне, есть глава об Октябрьской революции [30], есть РОСТА [31]...

Я прошу извинения за горячность. Может быть, я совершенно сумбурно говорил. Мне важно в вопросе о Бурлюке и Крученых не давать Маяковского схемой. Мне хочется, чтобы это был живой человек, разговаривал бы живым языком, и насколько это удалось — мне интересно слышать. Мне хочется слышать, какие места надо усилить. Вот о чем я попрошу при следующей встрече.

Я буду думать. Может быть, надо дать разъяснительные строфы. Но идти на ⟨изменения потому⟩, что вот у Ситковского не совпадает представление о Брик, я не могу. Вся поэма будет в швах, вся как бы в оспе. Мне важно показать, как Маяковский попал в эту семью, но каждый раз его личная био-

графия рушилась и попадала на мель 〈...〉 Потом особенно это трагически сказалось, когда привело его к такому печальному концу.

Вот все!

(*Аплодисменты*).

Машинопись стенограммы вечера (54 страницы). ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 132, л. 1—43 (с. 1—8, 13—46) и личный архив, л. 1—12 (с. 9—12, 47—54).

Выступления Асеева печатаются:

Вступительное слово — ЦГАЛИ, указ. ед. хр., л. 2—8 (с. 2—8), личный архив, л. 1—4 (с. 9—12);

Заключительное слово — личный архив, л. 5—12 (с. 47—54).

[1] Маяковский был принят в РАПП 6 февраля 1930 г. Подробнее см. выше прим. 5 к заметке «Если бы знал он».

[2] С февраля по апрель 1930 г. Маяковский написал 3 стихотворения: «Подводный комсомолец», «Товарищу подростку», «Новый тип» (*Маяковский*, т. 10, с. 179—182). Кроме того, к этому времени относится ряд его выступлений на собраниях и диспутах.

[3] См. выше, прим. 64 ко вступ. статье к наст. публикации.

[4] Об этом замысле см. подробнее во вступ. статье к наст. публикации.

[5] Вероятно, речь идет о стихотворном наброске, включенном в наст. публ.— см. фрагмент 1.

[6] Имеется в виду статья Льва Кассиля «На капитанском мостике», в которой рассказывается, как Маяковский разговаривал с аудиторией («Альманах с Маяковским». М., 1934, с. 251—256; см. также: «В. Маяковский в воспоминаниях современников». М., Гослитиздат, 1963, с. 540—548).

[7] Очевидно, речь идет о книге Асеева «Изморозь» (М., Госиздат, 1927).

[8] Местонахождение этой записки неизвестно.

[9] Из поэмы «Облако в штанах» (*Маяковский*, т. 1, с. 186).

[10] Там же, с. 188.

[11] Из трагедии «Владимир Маяковский» (там же, с. 155).

[12] Имеется в виду статья «О разных Маяковских» (там же, с. 344—349).

[13] Из поэмы «Облако в штанах» (там же, с. 187).

[14] О ритмической структуре поэмы см. в статье А. Ивича и В. Тренина «Маяковский начинается».— «Молодая гвардия», 1940, № 11, с. 147—148.

[15] Из поэмы «Маяковский начинается» (*Асеев*, т. 3, с. 416).

[16] См. статью «Если бы знал он» в наст. томе.

[17] О том же Асеев говорил в своем выступлении 17 декабря 1936 г.: «Всегда в записках 〈...〉 видно требование объяснить в конце концов, широко и глубоко, а не только в том разрезе, как мы все это знаем, включая и самых близких ему людей, и это, что он оставил сам в предсмертной записке,— требование объяснить настоящую причину того самоотравления, которое было у Маяковского, начиная с детства и молодости, что вошло в плоть и кровь и напугало тем призраком государственности, которым была Россия царская, объяснить ту травму, нанесенную ему и затем перенесенную через волну Октябрьской революции теми мещанами, которые преследовали его и относились отрицательно, брюзжали и создавали ему такие условия жизни, при которых эта первоначальная и главная причина отразилась на физическом и душевном состоянии Маяковского» (ЦГАЛИ, ф. 336, оп. 7, ед. хр. 52, л. 3—6).

[18] См. об этом подробнее в кн.: Лев Кассиль. Маяковский — сам. М.— Л., «Детская литература», 1940, с. 154.

[19] Из поэмы «Маяковский начинается» (*Асеев*, т. 3, с. 426).

[20] Поэт Аркадий Ильич *Ситковский* (1901—1964) в своем выступлении сказал: «В поэме Асеева есть ряд преувеличений, но мне кажется, что для Асеева и той группы поэтов, которые группировались вокруг Маяковского, эти преувеличения неизбежны. Иначе Асеев не мог бы написать, так же, как всякий человек, который оглядывается в свое прошлое, и как бы оно ни было тяжело, ему всегда кажется, что все-таки в молодости было хорошо. Фигура Бурлюка обрисована так, что получается, что Маяковский, Бурлюк, Крученых и другие — это было одно целое. Мне кажется, что это неверно 〈...〉 Мы, поэты, всегда считали, что в Крученых сконцентрировались значительные недостатки той литературной группы, которую мы называли футуризмом. 〈...〉 Сейчас как раз не нужно делать экивоков, реверансов и говорить, что все хорошо, что все прекрасно, а потом, когда в соответствующем месте или органе начнут против шерстки брать, то тогда все начнут или ругать или же молчать. 〈...〉 Фигуры Бурлюка и Крученых получили оценку не такую, как были в действительности» (ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 132, л. 27—29).

[21] «Главное, на что хотелось бы указать,— говорил дальше Ситковский,— чтобы Асеев пересмотрел, передумал,— это показ Брик О. и Лили 〈...〉 Вы украшаете отдельные фигуры, преувеличиваете значение, это мы можем понять. Но с этим образом вы должны посмотреть,— нельзя ли ввести больше правдоподобности.

Асеев: Никак нельзя!

Ситковский: Надо это продумать вам!

Возглас: Вы прочтите «Про это»...

Ситковский: Я читал. Когда Маяковский писал «Про это», это была точка зрения

человека, охваченного большой, всеобъемлющей драмой *, личной, трагической, человеческой.

Асеев: А когда «Хорошо» писал?

Ситковский: А когда Асеев пишет об этом, он же становится на точку зрения Маяковского, который переживал по-своему все это... Асеев мог и должен был иначе сказать». (Там же, л. 30).

[22] В своем выступлении поэт Георгий Яковлевич *Захаров* (1898—1964) сказал: «Я совершенно не согласен с Крученых. Да, он взрывал вместе с Маяковским в то время, когда они выступали. Правильно, нужно было взрывать. Но товарищ Крученых и на нашем собрании пытается взрывать. А взрывать-то что? Сейчас совершенно не та обстановка — нечего взрывать! Сейчас нужно учиться писать так, как писал Маяковский» (Там же, л. 38).

[23] Крученых говорил о стихотворении Маяковского «Вам, проживающим в тылу»: «Яхонтов неверно его читает. Я слышал, как читает Маяковский, и не согласен с тем, как читает Яхонтов. Яхонтов все время читает приподнято, пафосным громким голосом, стараясь подделаться под Маяковского. У Яхонтова голоса не хватает, но, главное, что нет пропорции, нет расстановки интонации. Маяковский вовсе не везде подъемно говорил! Это было бы скучно и однообразно. Кроме того, Яхонтов допускает в читке безграмотность ‹...› Яхонтов читает так: «баб да блюда́», и дальше рифмуется с «буду». А нужно было сказать — «баб да блю́да» (Там же, л. 18—19).

[24] Захаров в своем выступлении сказал: «...было бы не плохо, а хорошо, если бы т. Асеев сумел бы еще в этой поэме вспомнить Маяковского, как он нам нужен сейчас для нашей эпохи. Сколько замечательных событий прошло со времени смерти Маяковского, который бы воспел их так, как ни один из поэтов не воспел. Почему товарищ Сталин сказал, что Маяковский был и остается лучшим поэтом. Он не сказал, что останется, а остается» (Там же, л. 39—40).

[25] Стихотворение Маяковского «Испания» (*Маяковский*, т. 7, с. 7—8) в «Рабочей Москве» опубликовано не было.

[26] Владимир Владимирович *Ермилов* (1904—1965) — критик, литературовед, в 1920-е годы — деятель рапповского направления, выступавший с резкой критикой Маяковского.

Слова Асеева являются, очевидно, ответом на следующее высказывание Захарова: «Читает он ‹Асеев› хорошо. Но это такая поэма, что хочется слышать самого Маяковского. И вот когда приводятся такие строчки, когда говорится об Ермилове, то слышался Маяковский, который громил противников на диспутах» (ЦГАЛИ, указ. ед. хр., л. 39).

[27] Алексей Петрович *Селивановский* (1900—1938) — литературный критик, в 1926—1932 гг.— один из руководителей РАПП.

[28] Владимир Евграфович *Ермилов* (1861—1918) — историк литературы, критик, педагог. Асеев, скорее всего, имеет в виду не его лично, а некий собирательный образ критика-традиционалиста, не способного понять новое в искусстве.

[29] Очевидно, имеется в виду следующее место из выступления Захарова: «И вот эта поэма должна показать не только биографию Маяковского, она должна сопоставить Маяковского в прошлом до самой смерти с теми огромными событиями, радостными событиями нашей жизни теперь, чтобы читатели почувствовали, что для того, чтобы описать, выразить нашу эпоху, нужно писать так, как писал Маяковский» (ЦГАЛИ, указ. ед. хр., л. 40).

[30] Подразумеваются гл. X («Четырнадцатый год») и XI («Невский перед Октябрем»).

[31] Глава о РОСТа не была написана. Не сохранилось и никаких заготовок к ней.

БЕСЕДА ‹СО СТУДЕНТАМИ ЛИТЕРАТУРНОГО ИНСТИТУТА›

15 ноября 1939 г.

‹В начале встречи Асеев высказывает пожелание, чтобы предстоящая беседа «не была односторонней», и предлагает вести ее в форме вопросов и ответов.›

Вопрос. Во вступительном слове на юбилее Лермонтова у вас было определение несколько необычное, которого до сих пор не было в отношении Хлебникова: вы назвали его величайшим поэтом начала XX в.[1] Я хотел бы, чтобы вы это расшифровали — эту преемственность между Хлебниковым, Маяковским и вашим личным творчеством.

— Вещь такая, что появление самого Хлебникова — оно для тогдашней литературной молодежи было совершенно необычным той незаинтересованностью в своей биографии, незаинтересованностью в своей литературной карьере, незаинтересованностью в своем даже личном творчестве, которая поражала абсолютной неприспособленностью к жизни, причем это можно

* В стенограмме, очевидно, опечатка: «душой».

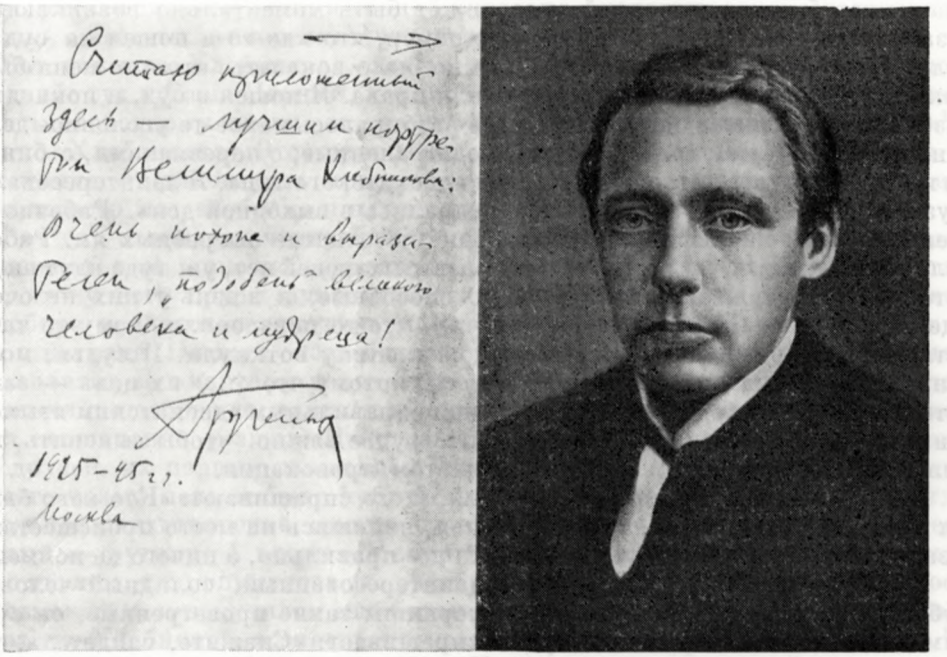
было трактовать так: ну, чудак такой, юродивый, чудак-человек, который не умеет цепляться за жизнь, не умеет как-то свою дорогу протаривать для себя. Но этого мало было, и ясно было, что вот такая изолированность от собственных интересов происходит от величайшей сосредоточенности на работе. И результаты этого сейчас же сказываются, потому что среди вороха рукописей, которые его окружали и которыми он абсолютно не интересовался, абсолютно не было самого минимального: человек написал поэму, хочется прочесть, получить мнение и получить славу или в своем семействе, или среди знакомых, или в обществе. У Хлебникова этого абсолютно не было, и то, что он писал, это были записи его мыслей, соображений, отношений к историческим событиям, явлениям, но ни в какой мере не было собранием сочинений, подготавливаемых для издания. Уже это одно меняло к нему отношение.

Он на самом деле интересовался главным образом своими математическими исчислениями. У него было такое соображение, что им открыт закон мировых чисел, по которому явления в истории возвращаются рикошетом, как бумеранг, возвращаются или в противопоставлении или в повторении, перекликаются с событием, породившим их. Научно объяснить я вам это не берусь, очевидно, это не научно, но это тоже поэтический способ был передать огромные образы, передвигающиеся через века [2]. Вот что было в этом интересного. Он видел историю, видел время на таком огромном протяжении, что становилось как-то так, что холодок по телу пробегал, потому что его убежденность, непретенциозность, нежелание показать себя пророком или человеком, обладающим особенными знаниями,— этого нет, а на огромном количестве примеров доказана какая-то сумасшедшая теория, идущая абсолютно вразрез с нашими представлениями и вместе с тем оглушающая тем, что она попадает в самые разнообразные места, которые он избрал [3].

Это было его манией, его убеждением, а отводами от этого всего были поэтические произведения с таким великолепным, безошибочным, точным знанием языка, что действительно было потрясающе. Вот почему Маяковский, например, говоря о Хлебникове, считает его величайшим учителем своим и поэтом, которого никак нельзя показать, никак нельзя доказать людям [4]. Только при ближайшем знакомстве с ним, при внимательном рассмотрении видишь, как знает он, понимает оттенок смысла, оттенок значения слова, оттенок его содержания. И потому знаменита в нашей среде его «Азбука ума», где он говорит о том, что значимость, смысл уже складывается в звуке, что первоначальным корнем слова был звук, комплекс звуков, а первоначальным, направляющим значением слова он берет целый ряд значений и по алфавиту доказывает, как они совпадают, как являются одним гнездом смысла, затем расходящимся лучами по практическому значению языка, по самым разнообразным путям [5].

Ну, вот такой небольшой пример. Мы говорим все слова⟨ми⟩, первичное значение которых, необходимое для общения мыслями, не очень точно выражено и не очень понятно ⟨своим⟩ приблизительным смыслом. Мы берем два слова: слово «невероятно» и слово «неимоверно». Вот два совершенно одинаково выражающих смысловое значение слова. И в языке они образованы от разных корней и по разным формам. И вот Хлебников, я помню, утверждал, что в русском языке имеются два таких вспомогательных глагола, которые очень древни и от массы смыслов тяжелы: это «имать» и «ять». «Имать» — это брать, ⟨а⟩ «ять» — это значит обнимать, осваивать. И вот два слова: «невероятно», т. е. то, что не дает веры и «неимоверно», т. е. два одинаковых образования, но в основе этих двух слов лежат два глагола.

Вначале это было его занятием любительским, правда, он был филолог по образованию [6], но когда я ознакомился с работой Марра и с работами английских и французских лингвистов, то я увидел, что вся эта теория Хлебникова, которая была поэтическим провидением, потом в науке отложилась совершенно точными формулировками, хотя ни одной из них Хлебников не знал и не мог предвосхитить того, что было тогда написано [7].



В. В. ХЛЕБНИКОВ

Фотография, 1910-е гг.

В книге: «Записная книжка Велимира Хлебникова. Собрал и снабдил примечаниями А. Крученых». М., изд. Всероссийского союза поэтов, 1925

На форзаце надпись: «Считаю приложенный здесь — лучшим портретом Велимира Хлебникова: очень похож и выразителен, «подобень» великого человека и мудреца! А. Крученых. 1925—45 гг. Москва»

Литературный музей, Москва

И вот когда т. Тимофеев говорил об эмоциональной речи, то он правильно говорил, что слово, поставленное в контекст, зачастую значит не то, что оно обозначает [8]. Больше того, нужно было еще до конца довести это прекрасное исследование не только эмоционально-взволнованной речи, но речи аффективной, которая происходит под непосредственным впечатлением. Вот целиком совпадение состояния переживания человека, который пишет, и человека, который действует, действия и описания этого действия, воспроизведение его,— вот это самое главное было в Хлебникове.

Он не стеснялся никакими разрывами строф, построениями, и поэтому получилось введение этой живой речи, замечательной контрастом с омертвленной литературной речью в поэзии 1912, 1913, 1914 гг. Аффективная речь, как говорится у французов, подобна реке, подобна живой, текущей реке. То, что откладывается в литературные формы, в те спокойно развитые формы языка, которые считаются нормальным языком повествования,— он говорит, что они похожи на замерзший наверху лед, и это правильно. Вот это уже откристаллизовавшийся язык, отслоившийся от того, что бурлит внизу,— в народе, в разговорах, в криках, в переживаниях, спокойно уже сформулированный, откристаллизовавшийся, он наверху в форме льда, он не бурлит, не течет, он формой зафиксирован, но весь вопрос в том, что снизу поступает все время живая речь, и если толща этого льда пройдет ⟨вниз⟩ *, то река станет.

Вот ⟨Хлебников хотел⟩ того **, чтобы язык литературный, язык докладчика, интеллигенции, которая всегда склонна фиксировать свои переживания,— чтобы он не замерз, чтобы не стала река, причем поэзия может быть самой разнообразной: она может быть письменной, она может быть устной,

* В стенограмме ошибка: наверх. ** В стенограмме: «Вот против того».

она может быть разговорной, она может быть моментально возникающей и забывающейся. Я всегда привожу пример, что как-то я пошел на суд по делу: умер писатель Розанов [9], и нужно было доказать, что его жена была фактической женой, чтобы она получила права. Я пошел в суд, и пока дело разбиралось, вошел в одну камеру, где разбиралось какое-то уголовное дело. И не поймешь, в чем дело: выходят люди раненные, с перевязками, с бинтами и начинают говорить какие-то речи адвокатского типа. Я заинтересовался и узнал, в чем дело. Там рабочие передрались в выходной день. Рабочие не очень высокой квалификации — рабочие по очистке выгребных ям. Работа мало ароматная, и уж там особенно развитых людей нет, уж туда идут люди, которым больше нечего делать, мало способные, и жизнь у них не очень еще культурная. Перепились в получку, что-то повздорили, кому-то табуреткой череп размозжили, кому-то нож в спину воткнули. И судья, молоденькая женщина, не может разобраться, потому что 〈...〉 их цель — запутать. И они все выходят и говорят страшно правильным адвокатским языком, и ничего не поймешь, кто бил первый. А судье важно, чтобы выяснить, кто был первым зачинщиком, не было ли в этом провокации.

Выходит парень хитрый, узколобый, и его спрашивают: «Кто кого бил?» Он отвечает: «Видите ли, товарищ судья, явившись на место происшествия, я застал такую-то картину». Логически все правильно, а ничего не поймешь.

Наконец, вышел рабочий — не заинтересованный, солидный человек, рубашка-косоворотка отглаженная, морщины такие проветренные, он с таким достоинством держится. Судья спрашивает: «Скажите, свидетель, что вы можете сказать об этом деле? Кто из них кого бил?» Он отвечает: «Водка била». И сразу стало понятно, что не хотят говорить, что они были пьяны. «Ну, да, но что вы застали, какую картину?» Он говорит: «Когда я прибежал, так они уже табуретками кидаться стали». Публика и судья засмеялись, и всем стало понятно, что все люди вышли из себя. И можно было прочесть целую диссертацию о сопротивлении материалов, о том, что дерево крепче черепа, привести развитую длинную физиологическую тему. Он же в двух словах сказал. В этом была экономия слов и логическое соединение слов, которое нужно на данный случай, потому что повторить их в другом контексте — они не будут работать, а здесь, как проволочка электрическая, они дали ток. На один раз данное соединение оказалось необходимым [10].

И вот это построение слов — взаимоосвещение того, что чувствовалось Хлебниковым. Никогда, ни в одном его стихотворении — там можно найти нелогичности, бесформенность,— никогда нет такого построения, которое бы этой цели не преследовало.

И вот, когда я читаю «Ночь перед Советами», я понимаю так, что крестьянин повесил собаку, за это его засекли, жена ушла в лес, а потом ей дали грудью щенка кормить. Но это так 〈...〉 сделано, что в самых различных аудиториях, не знающих, что такое Хлебников, это действовало и не только содержанием, что вот рассказали анекдот из старой жизни, который доходит до сердца и вызывает щиплющие слезы на глазах, а это действует потому, что аудитория чувствует страшную правду языка, весомость слов, их значимость, умение скрепить их так, что они непреодолимо свидетельствуют о том времени, которое было [11].

Вот это — аффективная речь, которая была введена Хлебниковым в поэзию впервые за огромный промежуток времени после Некрасова, потому что вся речь поэтическая была фиксированным льдом, иногда его пробивали, но потом эту реку опять заносило ледком, опять хрустящим шерешем [12], и так оставалось.

Маяковский, конечно, учился у Хлебникова вот этому умению прорываться к живому течению ключа, к истокам, там, где река серебрится. Мне кажется, что в этом отношении опередил, конечно, Хлебников Маяковского, и не будь Хлебникова, у Маяковского не было бы примера этой вольности, этой свободы рук в работе 〈...〉 По свидетельству Владимира Владимировича, он был очень рад, что его первые стихи были уничтожены, потому что это

были революционные стихи под Скитальца, которые свидетельствовали ⟨лишь⟩ о честных намерениях человека [13].

Вот влияние Хлебникова, затем, конечно, усложненное целым рядом влияний: тут и Саша Черный, и Блок, но первоначальная возможность выхода к свободному слову, то, что раньше называли самовитым словом [14], ⟨идет от Хлебникова⟩. Это еще не доделано литературоведами-лингвистами — не оценена эта значимость прорыва в свежую воду, в движущуюся стихию речи, просто не разобрана в нашем литературоведении.

Вот ⟨в⟩ это⟨м⟩ значение хлебниковской работы. Если вы возьмете его сочинения, там, конечно, вы запутаетесь, потому что Хлебников работал так, что у него груды рукописей лежали и он не заботился о нумерации, о подборе последовательно страниц, и они лежали обыкновенно в подушке или в матраце. Он жил очень бедно и безалаберно, абсолютно не зная, чем он заплатит за квартиру и что будет обедать, и с рукописями обращался чрезвычайно небрежно, запихивал рукопись в подушку, брал мешок на спину и неожиданно уезжал. И когда эти смятые рукописи попадали в руки его друзей, их первым движением было их издать как-нибудь, потому что от него толку нельзя было добиться. И вот издавали как попало, иногда отдельное стихотворение, иногда отдельную поэму, иногда хвост, прилепленный к другому. А после его смерти Ленинградское издательство усугубило это тем, что попыталось это разобрать, но разобраться в этом оказалось невозможным, и получился еще больший сумбур, и то, что вы теперь читаете, это не Хлебников, а винегрет из разных периодов работы Хлебникова [15]. И при таком издании произведений ни Пушкин и никто не мог бы выдержать такого оглашения. Люди читают и смотрят: черт знает что — одно перескочило в хвост, другое в середину. Я знаю отдельные стихотворения, которые вошли в другую поэму. Нужна целая комиссия знатоков текстов, чтобы разобраться [16]. Но я бы предложил издать Хлебникова массовым тиражом — 3 поэмы [17] и 20—30 стихотворений, которые, безусловно можно определить, что это целиком написано им. Причем сам Хлебников, между прочим, возмущен был тем, как его издают, написал письмо, что «прошу считать, что не все то, что написано моим почерком, можно издавать, я прошу издавать только то, что подписано моей фамилией» [18].

Вот мой ответ, а то, что я его считаю лучшим и первым величайшим поэтом начала нашего века,— это, мне кажется, подтверждается тем, что он имел влияние на Маяковского, огромное влияние на всех поэтов, вплоть до современных поэтов: Ксения Некрасова учится у нас в Литинституте: у ней Хлебников возникает [19]. Не знаю, влияние ли это непосредственное, или отразилось другим способом. У многих есть неосознанное влияние Хлебникова, а ощущение свободы, развязанности, возможности выбирать из материала — это дает Хлебников, отраженный его свет сказывается у многих затем поэтов.

Вопрос. Маяковский писал в стихотворении Горькому, там были такие строки. Может быть, это было под влиянием Хлебникова? «Даже нет и тленья ‖ В их стихе холодном и лядащем. ‖ Все входящие срифмуют впечатленья ‖ и печатают в журнале в исходящем» [20].

— В данном случае нет. Влияние Хлебникова очень сильно на Маяковского в первой трагедии. Молодой Маяковский был под влиянием Хлебникова [21]. Восстание зверей у Хлебникова, боа, соболя — это живые органические лица природы, и вот у Маяковского: «А может быть, вещи нужно любить? Может быть, у вещей душа иная». И там магазины перчаток и в «Про это»: «Швырялись в лицо магазины перчаточные». Это та самая перчатка, которая была у Хлебникова. Этим люди пользовались для того, чтобы сказать, что Маяковский обобрал Хлебникова [22]. Это очень первоначальное влияние, но толчок большой дал Хлебников.

Вопрос. Отношение Маяковского к каким-то жизненным фактам совершенно конкретно,— как это потом находило свое отражение в стихах?

— Я помню, например, была такая вещь. Например, такое выражение:

«Пейте какао Ван-Гутена» [23]. Этот странный образ имеет эмоциональную окраску, чисто конкретную, ко времени и к событию относящуюся окраску. Маяковский именно тем и замечателен, что события времени настолько в нем постоянно повторяются, что по этим стихам можно почти восстановить время. Что такое «пейте какао Ван-Гутена»? Это было в то время в одной газете сообщение, что голландская фирма купила у преступника, осужденного на смертную казнь, право заплатить его семье известную сумму денег, если он в момент казни крикнет: «Пейте какао Ван-Гутена!». Это был капиталистический мир. Маяковский не объясняет, что это было напечатано в газете, он просто сравнивает свое состояние с этим человеком, который крикнет про какао, вынужденный сказать не то, что он хочет. Вот какая страшная вещь. Вот фактическ⟨ое⟩ знамение времени, для которого ⟨теперь⟩ нужно искать комментариев ⟨...⟩ расшифровать смысл.

Примеров этому можно привести массу, вплоть до мелочей. Например: «Сквозь свой ‖ до крика разодранный глаз ‖ лез, обезумев, Бурлюк» [24]. Нужно представить себе стеклянный глаз Бурлюка — он его прикрывал лорнетом, и когда он отнимал лорнет, этот стеклянный глаз производил впечатление расширенного крика. Везде нужно часто объяснять. Что это — хорошо или нехорошо? С одной стороны, для людей, которые не интересуются ни историей, ни поэзией, конечно, нехорошо. Тогда вообще нехорошо. Говорят: зачем же так усложнять поэзию, нужно говорить так, чтобы все было понятно. Но это значит свести поэзию к 500 словам и 200 оборотам. Это будет механическая поэзия, механизированная поэзия из нескольких эмоциональных возбудителей и нескольких интеллектуальных сведений с расширением и в сторону злободневности и в сторону сложности человеческих переживаний. Я думаю еще вот о чем: что влияние Горького было на Маяковского, и непосредственное влияние. Вдруг такое совпадение, что вышли Горького «Дети солнца» [25], и у Маяковского: «Солнце! отец мой! Сжалься хоть ты и не мучай» [26]. Откуда этот образ? Конечно, от «Детей солнца». Или «Человек» у Маяковского: это, конечно, из выражения: «Человек — это звучит гордо». Конечно, ни в какой мере не следует ставить параллель между Маяковским и Горьким в общем в поэтике, потому что в поэтике, если говорить о несчастных и униженных, тогда можно и Достоевского и Гаршина взять, очень много параллелей, десяток наберется. Правильно то, что в страшной гордости, грубости сунуть нос в жизнь, в непосредственности взятую, в необработанной, незакристаллизованной сущности и тенденциозно поданную в глаза тем, которые отвращаются и не хотят чувствовать ее гнилостности,— это, конечно, было у Маяковского. Но система и образов и синтаксиса, конечно, имеет в конечном счете ⟨целью⟩ доведение до определенного воздействия, отношения к миру, но все-таки настолько разно все это, что параллели не выходит.

Вопрос. Скажите о Маяковском-драматурге.

— Этого я не знаю, просто не думал об этом. Сказать о нем как о драматурге очень трудно, потому что его проза театральна, и в стихах то же самое, и в автобиографии, и в ⟨отчетах о⟩ поездках — видите, как он ⟨пьесу⟩ строит: он строит на контрасте поворотов. Он начинает в комедии с того, что «у нас не будет обеда: не будет первого, не будет трюфелей» [27], и из выражения «не будет обеда», из этого отрицания пошло все и жалостное и смешное в то же время. Вот этот смысловой оборот у Маяковского был постоянно и в остротах и в разговоре.

Арнольд [28] рассказывает, что ⟨Маяковский⟩ сидел где-то с Кирсановым в кафе и что-то разговаривали о стихах. И Кирсанов сказал: «А у меня есть рифма, которую я первый выдумал».— «Какая же рифма?» — «А я не скажу». Дразнится, а потом сказал: «Какая рифма? Улица и караулится». Маяковский сказал: «Да, Семочка, это верно. Не везет вам очень. Не успели вы рта раскрыть, а я уже десять лет назад написал» [29].

В этом повороте фразы есть и смешной и остроумный синтаксической неожиданностью удар по впечатлению, когда вы окажетесь не с той стороны,



В. В. МАЯКОВСКИЙ
Фотография, 1923
Литературный музей, Москва

где вы ожидаете,— это заставляет вас расширить круг представлений о мире.

Вопрос. Был давно такой термин: «нахлебник Хлебникова». Имеются в виду Бурлюк, Крученых...

— Этот термин пустил человечек, называемый Альвек [30]. Он въедливый и надоедливый, такой маменькин сынок, который все ругал и со всем не согласен. Он писал такие вещи и все оспаривал. Но он был похож на человека у Достоевского в «Мертвом доме»: «Братцы, все умрем». Он надоедал Маяковскому, что он повторял Хлебникова. Потом он распустил слух, что Маяковский обобрал Хлебникова, что он стащил некоторые поэмы у Хлебникова [31]. Наконец, его творчество закончилось романсом «Утомленное солнце нежно с морем прощалось» [32]. Вот этот человек пустил эту версию, а так как враждебно настроенные люди к Маяковскому подхватывали всякий слушок, то распространению этой теории способствовал этот человек, который существует до сих пор. И, конечно, из мелких щепочек и сплетен создавалась невыносимая атмосфера для Маяковского.

Вопрос. Было бы интересно, если бы вы прочитали главу из своей поэмы. Расскажите, как вы ее делаете.

— Я начал ее полный горечи и гнева и желания, чтобы компенсировать пустое место, оставшееся в сердце, и начал давно, на следующий год после смерти Маяковского. Мне чувствовалось, что что-то здесь неладно, нужно докопаться. Причина, выставленная им для того, чтобы обелить все вокруг себя, чтобы не дать повода враждебным советскому государству людям для упрека, что Маяковского не могли уберечь, он дал эту причину и справку перед смертью: «Пожалуйста, не сплетничайте» [33]. Сплетничать или не сплетничать, но причина была гораздо глубже. И я на второй год после его смерти написал «Заявление в ОГПУ», в котором писал, что

Он был советским заводом
Без смены который год;
Заводу нужна забота,
Заводу нужен уход [34]

Это было чисто эмоциональное ощущение. Не было в руках ничего, и я не знаю, как это тогда напечатали, потому что существовали те, против которых это было направлено:

Я знаю этих людей в лицо,
Я твердо помню их имена;
Они на стройке советских лесов
Не попадут под криминал.

Вот что было грубо сказано еще тогда, и тогда мне чувствовалось, что какое-то преступление было совершено:

Какой-то вымуштрованный гипнотизер,
Запропавший за сдвинувшиеся этажи,
На тебя ненавистный направил взор
И в безволье крикнул тебе: — Не дыши!

И вот тогда я это задумал, потом я оставил это. Ну что — неизвестно ничего. Вместе с процессом [35] 〈...〉 когда выяснилось, какие силы орудовали, я понял, что было ясно, что Маяковского нельзя было оставить, потому что это настолько огромная радиобашня, что если они рассчитывали на переворот, то его 〈Маяковского〉 нельзя было переменить 〈...〉

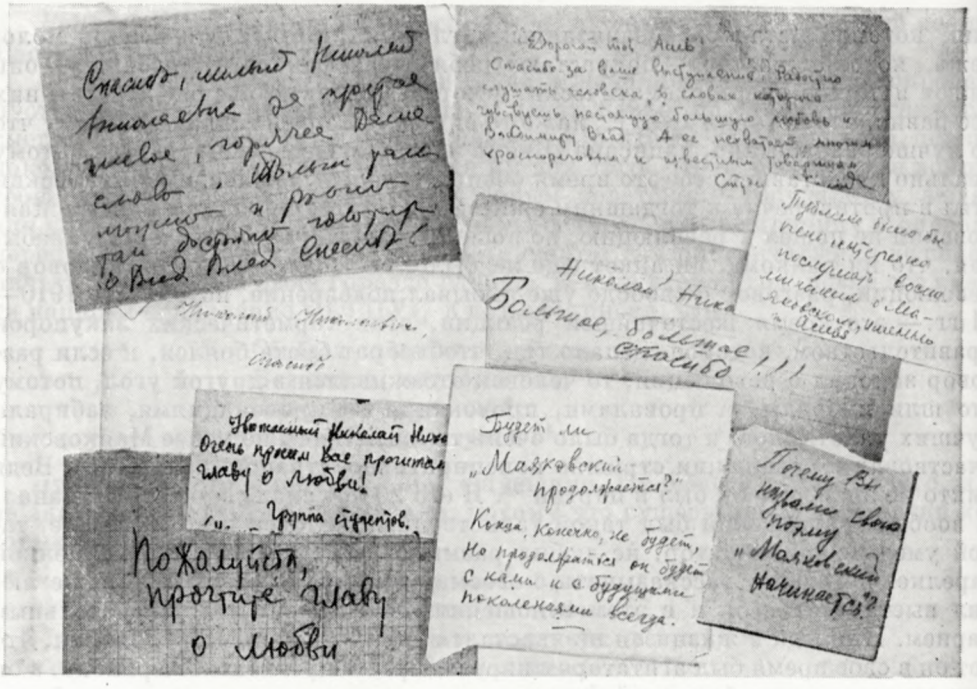
Маяковского нельзя было на это взять. Я знаю эти пробы, настроения и прощупывания. Когда мы шли по Петровке в 1927 г., Маяковский вдруг шел и говорит: «Коля, что если вдруг ЦК издаст такое предписание: писать ямбом?». Я говорю: «Володичка, что за дикая фантазия! ЦК будет декретировать форму стиха?» — «А представьте себе. А вдруг?» — «Я не могу себе представить».— «Ну, что у вас фантазии не хватает? Ну, представьте невероятное».— «Ну, я не знаю. Для этого нужно чувствовать свою стихию для того, чтобы не заблудиться. Я, наверное, не сумею, наверное, кончусь».— Замолчали и пошли. Я не обратил внимания, думал, что пришла фантазия. Мы прошли шагов сорок. Он махал палкой, курил папиросу и вдруг сказал: «Ну, а я буду писать ямбом» [36].

И только теперь вопрос стал ясен, что речь шла не о ямбе. Он не любил размазывать. Он меня спросил: «Что ты будешь делать, если партийная дисциплина заставит тебя заниматься тем делом, которое тебе неприятно, но нужно для народа?». Тогда это было непонятно, тогда о форме стиха разговор зашел, а теперь понятно, что не форма стиха его беспокоила. Демьян навис тушей беспросветной [37], РАПП его мучил, он не знал, что делать. А так как он относился ко мне хорошо, он меня спросил таким способом. А я тогда не понял, думал, что этот вопрос — дикая фантазия.

И вот обо всем этом, что теперь стало ясным, я и думал писать поэму, причем для того, чтобы все это охватить, я хотел написать вещь о его молодости и о нашей общей молодости, о молодости предреволюционного поколе-

ния, которое металось с завязанными глазами, потому что теперь молодежь, которая растет,— подрастают ребята, рабфаковцы, вузовцы,— они знают историю очень схематически, история предоктябрьских лет для них все равно, что история 1812 г., даже то они лучше представляют, потому что то лучше разработано, написана «Война и мир», а здесь очень мало, и потому реально представить себе это время очень трудно. И вот почему Маяковский стал в противоречие к тогдашним силам. Некоторые думают: а почему Маяковский не пошел в революцию, не пошел в райком, не подал анкету, забывая, что ни райкома, ни анкет еще не было, забывая о том, что разговор о революции, разговор о свободе уже вызывал подозрение, потому что 1910—11 гг.— это время жесточайшей реакции, этих герметических закупорок правительством, которое сделало так, чтобы брат брата боялся, и если разговор заходил о революции, то человек отсаживался в другой угол, потому что шли провалы за провалами, провокации за провокациями, забирали лучших работников, и тогда было очень трудно. И тем не менее Маяковский участвовал в революции страшно конспиративно, страшно подпольно. Ведь никто не знал, что он был в партии [38]. Я его 20 лет знал, а об этом не знал. И вообще Маяковский был такой таинственный человек в этом смысле, такой умелый конспиратор, не любил размазывать манную кашу по мелкой тарелке, не любил рассказывать о своем революционном прошлом, не любил выставлять себя и в этом отношении был совершенно замечательным парнем. Никогда в жизни он не хвастался своим прошлым, не говорил, что вот он в свое время был агитатором партии Краснопресненского района, а он был агитатором и в булочной Филиппова, потому у него и расходятся белые рабочие, потому что рабочие осыпаны белой мукой [39]. И его образ о булках и булочнике не из пальца взят, а из его биографии взят [40].

Все это я задумал, это очень трудно, трудно не потому, что я хочу преувеличить, но действительно — хватаешься за одно, другое не расскажешь, потом окажется, что нужно связать один эпизод с другим, потом выбросить его. И иногда собираешь косвенные материалы, опрашиваешь людей. И я наткнулся на золотую жилу. Я многих опрашивал, очень мало кто его знает, потому что люди думали, что он будет сегодня и завтра, что я буду о нем помнить. И только очень памятные, пытливые люди запомнили Маяковского, и в числе таких людей — танцор Арнольд, который мне массу рассказывал совершенно замечательных вещей, не только тем, что их сумел показать. Это человек, который должен быть в нашей среде, но он руководит оркестром в джазе Утесова. Он с фантазией человек и с воображением. На протяжении получаса он мне рассказал столько, чего я не узнал за десять лет. Он мне рассказывал, как Маяковский изменил всю его жизнь. Маяковский однажды с Арнольдом был на юге. Арнольд большой игрок, Маяковский тоже был любителем играть. Но, кроме игры, Арнольд любил выбирать партнеров из среды ему приятной. Арнольд любил стихи и говорил о поэзии, а в это время он танцевал на эстраде. И во время разговора о стихах Арнольд что-то сказал о каком-то произведении. Маяковский сказал: «Арнольд, вы несчастный человек будете». Арнольд очень испугался: «Почему?» — «У вас голова на два километра впереди ног, а каждый, кто себя уважает, должен уважать свою профессию». Арнольд говорит, что он задумался: «Мне стало грустно. Я поехал в Ленинград и сказал своей партнерше, что кончил танцевать». И с этого дня поступил осветителем на фабрику ФЭКС на 35 рублей. А на эстраде он зарабатывал по несколько тысяч. И он очень плохо жил. И чтобы ему помочь, кто-то из Траубергов ему предложил сниматься [41]. Нужно было запустить бороду. А он высокий очень, шпагообразный человек, тонкий, очень вежливый, с грустными глазами, черными еврейскими бровями, на испанского еврея похожий, тонкий, очень подобранный. Маяковский идет по тротуару, смотрит — Арнольд, и с тротуара: «Что такое? Арнольд! Что они с вами сделали?» — «Да вот, Владимир Владимирович, сниматься нужно».— «Безобразие, я поговорю». И ушел. Потом встретил кого-то из Траубергов и сказал: «Что вы сделали с моим чудным арапом Арнольдом?». А тот



ЗАПИСКИ СЛУШАТЕЛЕЙ ПОЭМЫ «МАЯКОВСКИЙ НАЧИНАЕТСЯ»
Получены Асеевым во время авторских чтений поэмы (1936—1939)
Личный архив Асеева, Москва

сказал Арнольду, что встретил Маяковского и он сказал: «Что вы сделали с этим арапом Арнольдом?». Арнольд обиделся, встретил Маяковского и спрашивает: «Что вы меня так обозвали нехорошо, арапом?». Маяковский говорит: «Идем». Берет, ведет к себе, заказал разговор с Ленинградом, вызвал Трауберга и говорит: «Что я вам сказал про Арнольда? Повторите, как я сказал». И дает трубку Арнольду. Вот эта мелочь, которая в биографию не должна входить, это рисует, во-первых, чистоплотность Маяковского, настойчивость, умение придать слову эмоциональный оттенок.

⟨Арнольд⟩ мне очень ⟨много⟩ рассказывал, и потому я его включил в эту главу [42]. И я ее очень люблю, и поэтому позвольте ее прочитать (*читает. Бурные аплодисменты*).

Ну, спасибо, товарищи, за приветливый прием. Это хорошая глава?

С места: Очень хорошая.

Чем она мне нравится? Мне нравится то, что мне здесь удалось в первый раз в жизни ⟨написать⟩ так, что стихотворная строчка совпадает с моим желанием разговаривать с людьми, что она неотделима, я не выхожу за мои пределы обычного существования и разговариваю. Кое-где мне это удалось. И это самое величайшее ощущение индивидуальное, я не говорю, что это самое величайшее достижение поэзии, но это самое величайшее ощущение человека, когда стихотворением можно разговаривать с людьми, непосредственно рассказывать.

Хотите, я вам еще кусок прочту? (*Аплодисменты*). Это лирическая глава — «Разговор с другом о задолженности молодости» [43] (*читает. Аплодисменты*).

И последний кусочек я вам прочту из последней главы. Это «Площадь Маяковского». Это заключительная глава. Я ее всю не помню. «Площадь Маяковского». Там стоит один или другой эпиграф. Один эпиграф: «Поэту не надо многого. Пусть только время скорей родит такого, как я, быстроногого». Или другой: «Если был бы я Вандомской колонной, я бы женился на площади Согласия» [44] (*читает*).

Я говорю, что это площадь, которою он шел всю жизнь. Это был маршрут и окончательная его цель, и он вспоминает об этом: «Себе навстречу сам иду Кудринскими вышками» [45]. Вот это его всегдашнее первоначальное движение. И тут он шел по этой улице, и в Америке и по Парижу он шел все по этой площади. И вот его окончательный дом, где метро стоит, это его квартира, и в гости заходит вся Москва и вся страна под этот вензель, в котором имена и метро и Маяковского совпадают. И вот он шагал.

«Как он шагал...». (*читает. Бурные, продолжительные аплодисменты*).

Машинопись (11 л., нумерация стр.— 1—21). Личный архив.

[1] Выступая на торжественном заседании, посвященном 125-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова, Асеев сказал: «Величайший поэт начала века — Виктор Владимирович Хлебников с огневой силой горя и гнева бросил в лицо предреволюционному обществу слова обвинения в безучастии к судьбе своих поэтов: «Пушкин и Лермонтов застрелены вами, как бешеные собаки, за городом, в поле» (*ЛГ*, 1939, № 58, 20 октября). Асеев неточно цитирует здесь воззвание Хлебникова «Труба марсиан» (*Хлебников*, т. 5, с. 153).

[2] Идея Хлебникова о числовых закономерностях, определяющих взаимосвязь исторических событий (см.: В. Хлебников. Доски судьбы. М., 1922), восходит к философским воззрениям пифагорейцев, утверждающих, что подвижное равновесие вселенной, ритмически правильная смена ее состояний, зиждется на числовых соотношениях, существующих между силами природы. См. об этом в ст. В. В. Иванова «Категория времени в искусстве и культуре XX века».— В кн.: «Ритм, пространство и время в литературе и искусстве». Л., 1974.

[3] Хлебников строил свою теорию на сопоставлении конкретных исторических фактов. Возможно также, что Асеев имеет в виду известное предположение, высказанное им в 1912 г.: «Не следует ли ждать в 1917 г. падения государства?» (*Хлебников*, т. 5 — «Учитель и ученик»).

[4] Позднее Асеев уточнил эту мысль: «Маяковский видел в Хлебникове неповторимого мастера звучания, не укладывающегося ни в какие рамки науки о языке, как бы своего рода Лобачевского слова» (*Асеев*, т. 5, с. 656). Сам же Маяковский писал в статье, посвященной памяти Хлебникова (1922): «Во имя сохранения правильной литературной перспективы считаю долгом черным по белому напечатать от своего имени и, не сомневаюсь, от имени моих друзей, поэтов Асеева, Бурлюка, Крученых, Каменского, Пастернака, что считали его и считаем одним из наших поэтических учителей и великолепнейшим и честнейшим рыцарем в нашей поэтической борьбе» (*Маяковский*, т. 12, с. 28).

[5] Речь идет об одном из основных положений языковой теории Хлебникова, изложенной им в ряде статей («Разложение слова», «О простых именах языка», «Перечень. Азбука ума», «Второй язык» — *Хлебников*, т. 5), а также в поэтических произведениях — «Царапина по небу. Прорыв в языки» и «Зангези» (Там же, т. 3). Наиболее полное изложение этой теории содержится в программной статье «Наша основа» (Там же, т. 5). По Хлебникову, в каждом отдельном звуке языка присутствует определенное смысловое ядро («каждый согласный звук скрывает за собой некоторый образ и есть имя»); путем выявления этого сокровенного смысла («азбучных истин» языка) возможно установить некоторые определенные закономерности развития слова («что-то вроде закона Менделеева»); в этих закономерностях заключены неисчерпаемые возможности словотворчества, без которого немыслимо развитие поэтического языка. См. об этом: А. Костецкий. Лингвистическая теория Велимира Хлебникова («Структурная и математическая лингвистика», вып. 3. Киев, 1975, с. 34—39).

[6] В 1909 г. Хлебников перешел на первый курс русско-славянского отделения историко-филологического факультета Петербургского университета (до этого он учился на физико-математическом факультете), но не закончил его, т. к. в 1911 г. был исключен за невзнос платы за обучение (*Хлебников*, т. 1, с. 9; Н. Степанов. Велимир Хлебников. Жизнь и творчество. М., 1975, с. 13—14).

[7] Николай Яковлевич *Марр* (1864—1934) выдвинул теорию единства мирового языкотворческого процесса, утверждая, что все языки берут начало из общего материала (т. наз. «четырех элементов»). Какую из его многочисленных работ имеет в виду Асеев, неизвестно. Некоторые положения французских и английских теоретиков стиха XX в., очевидно, были известны Асееву по книге Л. И. Тимофеева «Теория стиха» (М., 1939); судя по дальнейшему тексту стенограммы, с этой книгой Асеев был хорошо знаком. Подвергая критическому рассмотрению работы ряда зарубежных ученых в области истории и теории стиха, Тимофеев приводит их суждения о смысловой нагрузке, которую несет в слове звук (с. 5—7). Эти суждения во многом совпадают с идеей Хлебникова о смысловом значении звука.

[8] В первой главе указ. книги Тимофеева рассматривается вопрос о «выразительной природе стиха». Опираясь на труды французских ученых Вандриеса и Гюйо, разработавших учение о различных видах речи, автор определяет эти виды — логическую, волевую и аффективную (или эмоциональную) речь. В логическом языке «содержание совпадает со значением слов ‹...› наоборот, эмоциональная речь — это речь, в которой субъективно-оценочные элементы играют конструктивную роль, дополняя, а иногда и вытесняя непосредственное словарное значение слова» (с. 24, 25). «И совершенно очевидно,— пишет Тимофеев,— что ‹...› стих ближе всего к тому типу языка, который Вандриес назы-

вает аффективным. Вообще под аффективным элементом в языке следует разуметь его эмоциональную окраску, то, что придает языку субъективный оттенок, вносит в него эмоционально-оценочный элемент ‹...› Рассматривая стих как определенную систему речи, мы и можем прежде всего определить его как речь аффективную» (с. 22—23).

[9] О своем знакомстве с писателем Василием Васильевичем *Розановым* (1856—1919) Асеев нигде больше не упоминает.

[10] Асеев неоднократно вспоминал об этом эпизоде в суде, варьируя детали языковых открытий, поразивших его в молодости (см., напр.: *Асеев*, т. 5, с. 425).

[11] Читая поэму «Ночь перед Советами» (*Хлебников*, т. 1), Асеев сделал ряд помет на полях (с. 226, 229, 230, 232; книга сохранилась в его личной библиотеке). В частности, он отметил место, которое имеется в виду в публикуемой стенограмме:

Утром барин встает, Крутится‹...›
А на дворне вой! — Гайдук!
Смотрит: пес любимый, Эй!
Удавленный папой, Плетей! Да плетьми, да плетьми!
Висит, как живой, Так папаню и засек до чахотки...

(с. 230).

Эти строки Асеев цитировал также в статье «Велимир Хлебников» (*ЛГ*, 1932, № 29, 29 июня).

[12] «Шерешь — это молодой утренний ледок на лужах при первом морозце ‹...› он у меня от бабки в наследство достался; это она говорила: «Еще утка шерешу не хватила», то есть еще ранних заморозков не было»,— так объяснял Асеев Маяковскому значение этого слова (*Асеев*, т. 5, с. 656).

[13] Сам Маяковский сопоставляет свои первые стихи со стихами не Скитальца, а Кириллова: «Получилось невероятно революционно и в такой же степени безобразно, вроде теперешнего Кириллова»; и далее — уже о других стихах: «Спасибо надзирателям — при выходе отобрали. А то б еще напечатал!» (*Маяковский*, т. 1, с. 16, 17).

[14] Теория «самовитого слова» — одна из заповедей русского футуризма — была сформулирована Хлебниковым и А. Е. Крученых («Слово как таковое», «Наша основа».— *Хлебников*, т. 5). Для них поэзия — прежде всего «искусство слова» (Там же, с. 247). Хлебников утверждал самостоятельность поэтического слова («самовитое слово вне быта и жизненных польз».— *Хлебников*, т. 2, с. 9). Внимание к «слову как таковому» (к его звуковой стороне, его этимологии и морфологическому строению) должно было, по мысли Хлебникова, вернуть поэтическому языку первозданную свободу и образность.

[15] Асеев имеет в виду «Собрание произведений Велимира Хлебникова», т. 1—5. Под общей редакцией Ю. Тынянова и Н. Степанова. Изд-во писателей в Ленинграде, 1928—1933.

[16] Асеев начал работу по редактированию текстов Хлебникова. Об этом свидетельствуют сделанные им выписки отдельных строф из его стихотворений (Личный архив), а также машинописная копия поэмы «Синие оковы» (ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 336; без заглавия), подготовленная, по устному свидетельству К. М. Асеевой, для редактирования (по ее же свидетельству, Асеев считал, что в указ. издании произведений Хлебникова в эту поэму включены три разных произведения, не связанных между собою). В тексте «сверхповести» «Зангези» (в том же издании) Асеев сделал перестановку ряда строф (*Хлебников*, т. 3, с. 347—354; личная библиотека Асеева). По свидетельству А. Дымшица, Асеев считал, что «поэма» Хлебникова «Уструг Разина» — «это три стихотворения: «Где море бьется диким неуком...», «По затону трех покойников...», «И плахи медленные взмахи...» (Весь в мыслях о поэзии.—*Воспоминания о Николае Асееве*, с. 230).

[17] По-видимому, Асеев имеет в виду поэмы «Уструг Разина», «Ночь перед Советами» и «Ночной обыск». Позднее он называл их как примеры произведений Хлебникова, «вполне доступных и широкому читателю, и поэту» (*Асеев*, т. 5, с. 396).

[18] Асеев неточно цитирует «Открытое письмо» Хлебникова от 1 февраля 1914 г. (*Хлебников*, т. 5, с. 257).

[19] Ксения Александровна *Некрасова* (1912— 1958) — поэтесса; в 1938—1941 гг. была студенткой Литературного института им. А. М. Горького. Ее первые стихи («Октябрь», 1937, № 3) получили высокую оценку Асеева («Об «отделе молодых».— Там же, с. 162—164).

[20] Из стихотворения «Письмо писателя Владимира Владимировича Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому» (*Маяковский*, т. 7, с. 208).

[21] Далее Асеев сопоставляет строки из трагедии «Владимир Маяковский» и поэмы «Про это» (*Маяковский*, т. 1, с. 158; т. 4, с. 176) с гротеском Хлебникова «Маркиза Дэзес» (*Хлебников*, т. 4, с. 234—238), где оживают изображенные на картинах звери и птицы, а также вещи, для создания которых были убиты живые существа (перчатки, боа, соболя, и т. д.), в то время как эти вещи обретают жизнь, люди, которые ими пользовались, превращаются в статуи (*Хлебников*, т. 4).

[22] Такое обвинение предъявлял Маяковскому и Асееву литератор И. И. *Альвек* в статье «Нахлебники Хлебникова» (см.: Велемир Хлебников. Всем. Ночной бал; Альвек. Нахлебники Хлебникова. Маяковский. Асеев. М., изд. Альвек, 1927, с. 14—15).

[23] Из поэмы «Облако в штанах» (*Маяковский*, т. 1, с. 186).

[24] Там же, с. 186.

[25] Пьеса Горького «Дети солнца» опубликована в 1905 г.

[26] Из стихотворения «Несколько слов о себе самом» (1913; *Маяковский*, т. 1, с. 48).

[27] Неточная цитата из незаконченной пьесы «Комедия с убийством» (*Маяковский*, т. 11, с. 422).

[28] Имеется в виду Арнольд Григорьевич *Барский* (р. 1897) — артист и режиссер цирка, эстрады и кино, выступавший под псевдонимом Арнольд. Рассказанные далее эпизоды (о рифме, о профессии Арнольда) вошли в статью Асеева «Маяковский начинается» (*КН*, 1940, № 4, с. 195).

[29] Рифмы «улица — караулится» у Маяковского нет. Возможно, что речь шла о рифме «июлиться — улицы» (*Маяковский*, т. 1 — «Человек»).

[30] См. прим. 22.

[31] Это обвинение высказал художник П. В. Митурич в «Открытом письме» Маяковскому (Велемир Хлебников. Всем..., с. 17—19).

[32] Романс «Утомленное солнце...» (1938) пользовался большой популярностью в предвоенные годы.

[33] Предсмертное письмо Маяковского начинается словами: «В том, что умираю, не вините никого, и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил» (*Маяковский*, т. 13, с. 138).

[34] Здесь и далее Асеев читает отрывки из незаконченной «Поэмы о ГПУ», опубликованные в 1931 г. (см. о ней во вступ. статье к наст. публикации).

[35] Имеются в виду политические судебные процессы 1937—1938 гг.

[36] См. этот эпизод в главе XIII «Осиное гнездо» (*Асеев*, т. 3, с. 475—476).

[37] Еще при жизни Маяковского Асеев противопоставлял эти два поэтических имени в статье «Маяковский и Демьян Бедный». (Н. А с е е в. Работа над стихом. Л., «Прибой», 1929, с. 42—50). В начале 60-х годов Асеев вернулся к этой теме в незавершенной статье «Что сталось с поэзией?» (из цикла «К истории советской поэзии»). В 1920-х годах «наметились два лица, два претендента на роль руководителя новой поэзии,— писал Асеев в этой статье,— Демьян Бедный и Маяковский». Отметив «привилегированное положение» Бедного, Асеев рисует его портрет: «Его внешность — плотного, самодовольного, грубого человека, нечто от провинциального прасола или преуспевающего кучера-лихача — производила отнюдь не поэтическое впечатление. Маленькие глазки, грубо отесанное лицо с чертами, выражающими надменность и самодовольство собственным талантом,— вот впечатление, оставшееся при первом с ним знакомстве. Он считал свою родословную от Беранже». По свидетельству Асеева, Демьян Бедный считал Маяковского «опасным конкурентом в отношении популярности среди революционной молодежи ‹...› и тем более невзлюбил Маяковского, чуждого ему и по поэтической культуре. Придравшись к злостной опечатке в стихах о Ленине, Демьян издевался над якобы непонятной и бессмысленной строкой Маяковского «К векам коммуны сияющий генерал»; хотя всякому ясно было, что здесь предумышленное, злостное искажение текста, где вместо слова «генерал» у автора было «перевал». Кто сделал опечатку, так и не выяснено, но тот, кто воспользовался этой опечаткой, чтобы оклеветать Маяковского,— известен. Это был Демьян Бедный» (Машинопись с авторской правкой. Личный архив). Историю с опечаткой в поэме «Владимир Ильич Ленин» см.: *Маяковский*, т. 12, с. 272—273. О Демьяне Бедном Асеев писал и в неопубликованной поэме «Поэтическая панорама» (публикацию отрывков из нее см. ниже, в разделах «Асеев и Хлебников», «Асеев и Пастернак»):

У него грубошерстный стих;
но корить его ныне не будем:
как к винтовке привинчен штык,
он тогда был привычен людям.

Стихотворцев святейшим папой,
утвердивши в газете трон,
осенял полновесною лапой
маломощную братию он...

(Машинопись с авторской правкой, л. 7—8. Личный архив).

[38] Маяковский писал в автобиографии «Я сам»: «1908 год. Вступил в партию РСДРП (большевиков). Держал экзамен в торгово-промышленном подрайоне. Выдержал. Пропагандист. Пошел к булочникам, потом к сапожникам и наконец к типографщикам» (*Маяковский*, т. 1, с. 16).

[39] См. поэму «Облако в штанах» (*Маяковский*, т. 1, с. 188).

[40] См. поэму «Человек» (там же, с. 249).

[41] Кинорежиссер Леонид Захарович *Трауберг* (р. 1902). В 1921 г. организовал группу актеров и режиссеров под названием «Фабрика эксцентрического актера» (ФЭКС).

[42] Речь идет о XV главе поэмы («Маяковский рядом»).

[43] Под таким заглавием была впервые напечатана глава, посвященная Пастернаку (*НМ*, 1940, № 1, с. 170). В другой редакции она называлась «Разговор с неназванным другом о задолженности молодости» (Личный архив). Окончательное название — «Разговор с неизвестным другом» (*Асеев*, т. 3, с. 476).

[44] Оба эпиграфа — из стихотворения «Город» (*Маяковский*, т. 6, с. 201 и 203). Они предваряют последнюю главу поэмы в ряде черновых вариантов (ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 66, л. 44; личный архив). В окончательном тексте сохранен только второй эпиграф.

[45] Неточная цитата из поэмы «Про это» (*Маяковский*, т. 4, с. 159).

III. ПОСЛЕ ПОЭМЫ

ИЗ ПОЭМЫ «ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»

В годы Великой Отечественной войны Асеев задумал большое произведение в стихах, посвященное истории советской страны и советской литературы, озаглавленное «Повесть временных лет». Замысел остался неосуществленным, сохранились лишь многочисленные черновые наброски отдельных глав, которые Асеев в некоторых вариантах называл «пролетами»: в прошлое и в будущее [1]. Один из таких «пролетов», связанных с именем Маяковского, мы здесь публикуем.

Замысел датируется по бумаге началом 1940-х годов. Кроме того, на обороте одного из черновых набросков «Повести временных лет» записана строка из поэмы «Урал», над которой поэт работал в 1942—1943 гг. [2] В дальнейшем, с конца 1950-х годов, замысел «Повести временных лет» начал, очевидно, раздваиваться, вылившись, с одной стороны, в «Поэму о Страхе» [3], а с другой — в «Поэтическую панораму» [4], краткий и весьма критический очерк советской поэзии в стихах. Тема Маяковского сохранилась в обоих разветвлениях замысла поэмы Асеева.

ПРОЛЕТ СЕДЬМОЙ

Смерть Маяковского потрясла меня
неожиданностью удара;
словно дом, изглоданный пламенем,—
после погаснувшего пожара.
Это ведь он о пожаре сердца
в давней молодости говорил [5].
Сбить это пламя не знал он средства,
сам лишь себя им озарил.
Не я один потрясен, поражен,
немел от необычности горя;
но близостью выстрела обожжен
с недоуменьем в расширенном взоре.
Я помню, как люди событью не верили,
в повернутый к стенке в профиль лицом,
огромный поверженный рост его мерили,
как бы увеличенный горьким концом.
Одни останавливались молча,
вглядываясь в дорогие черты;
другим — улыбка довольная волчья
непроизвольно трогала рты.
Как же! Ведь кончился враг многолетний,
прервалась жизни красная нить;
теперь уж возможно ползучей сплетней
последний поступок его объяснить!
Остряк, что со всею Москвою на ты,
вопил, в ошаленьи всплеснувши руками:
Да есть ли богиня такой красоты,
чтоб с ним поделиться лавра венками?
Здесь бы нужна Орлеанская дева!
И кто-то его охладил от нагрева:
— Да не в Орлеанской тут Деве причина,
а в том, что он сам — Орлеанский мужчина! [6]

Зачем я об этом пишу, вспоминая?
Не знаю, но чувствую — есть в этом цель...
Уже улеглась суетливость дневная,
и ночь над Москвой опускает апрель.
И вот, все дела отодвинувши прочь,

Событием этим всерьез опечален,—
Читал Маяковского целую ночь,
Его сочиненья потребовав, Сталин...

〈1942—1943 гг.〉

Машинопись с авторской правкой.— Личный архив. Черновые наброски того же текста сохранились также в личном архиве.

[1] Под заглавием «Повесть временных лет» наброски сохранились в личном архиве. К замыслу «Повести» по содержанию могут быть отнесены и другие фрагменты: набросок «Время и Сталин», «Время Ленина вечно славится», «Правда, Ленин был не один», «Облик Ленина вплавлен в поэмы», «Поступь истории» (ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 152, л. 36 об.; ед. хр. 41, л. 8—8 об.; ед. хр. 35, л. 1 и 13—19). Возможно, что с этим замыслом связано и предисловие к поэме «Великие намерения» (там же, ед. хр. 79).

[2] Личный архив. Поэму «Урал» см.: *Асеев*, т. 4, с. 389—399.

[3] Поэма осталась незаконченной. Наброски к ней сохранились в личном архиве. Отрывок из поэмы, под заглавием «Верность Ленину» (первоначальный вариант заглавия — «Похороны страха») опубл.: *Асеев*, т. 4, с. 383—385.

[4] Наброски «Поэтической панорамы» см.: ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 152, л. 2 об., 3, 4 об., 16 об.; полный текст сохранился в личном архиве.

[5] См. «Облако в штанах» (*Маяковский*, т. 1, с. 180).

[6] См. ниже вступительную заметку к стихотворным фрагментам «Он лежал...»

НАБРОСКИ К «ПОЗДНЕЙШЕМУ ПОСЛЕСЛОВИЮ К ПОЭМЕ»

В годы войны Асеев начинает работу над продолжением поэмы «Маяковский начинается», которое он впоследствии назовет «Позднейшее послесловие к поэме». В архиве сохранился лишь один набросок конца 1950-х годов, озаглавленный так самим автором. Принадлежность всех остальных отрывков к данному замыслу — предположительна. Они располагаются нами в порядке хронологии их написания.

I

Немало укатилось лет,
Чуть помнят день тот и число.
А все еще не дан ответ
На то, что было и прошло.

И все еще не кинут свет
На лет сгустившуюся тьму.
Зачем с пути сошел поэт?
Полжизни отдал почему?

Недаром требуем ответ,
И взять никто не может в толк,
Зачем себя убил поэт,
Зачем среди пути умолк.

〈1941—1943 г.〉

Черновой автограф. ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 58, л. 3. Датируется по бумаге.

II

〈«ОН ЛЕЖАЛ...»〉

Стихотворные фрагменты, объединенные нами под заглавием «Он лежал...», датируются концом 1940-х годов: один из фрагментов начинается строками, обращенными к Маяковскому: «Вот уж восемнадцатой весной разоделись деревья заново...» [1].

Замысел публикуемых набросков тематически связан с отрывком из «Повести временных лет» (см. выше), относящимся к периоду Великой Отечественной войны.

Фрагменты воспроизводят трагическое впечатление от первых мгновений после смерти Маяковского, которое Асеев пронес через всю жизнь. Его статья, открывавшая «Альманах с Маяковским» (1934), начинается такими словами: «Когда он лежал, упав носками к письменному столу, головой к двери, заполнив всю комнату огромной, отяжелевшей массой бесполезного уже груза,— самое страшное во всем этом было — безволие» [2].

В позднейших воспоминаниях о Маяковском (1960-е годы) Асеев воспроизводит уже не только это первое свое впечатление от того, что он увидел в квартире на Лубянском проезде, но и позднейшее: «Позже, на Гендриковом, увидел его на диване, лежащим в

спокойном сне, с головой, повернутой к стене, важным и торжественным в своей отрешенности от окружающего.

Входило много людей ⟨...⟩ Запомнился, например, приход конферансье Алексеева. «Маяковский? Застрелился? — вскричал он, еще входя в квартиру.— Из-за чего? Из-за кого, неужели правда, что из-за...? Подумаешь — Орлеанская Дева!» На это художник Левин ⟨...⟩ воскликнул: «Да не Орлеанская Дева, а Орлеанский Мужчина!»

И в этом случайном восклицании определилась характерность случившегося ⟨...⟩ Да, Орлеанский Мужчина, одержимый, безудержный, самоотверженный. Верящий самозабвенно в свою миссию защиты Родины — революции от всех врагов и недоброжелателей» [3].

Содержание публикуемых фрагментов почти полностью совпадает с этими позднейшими воспоминаниями.

⟨1⟩

[Два голоса]

Он лежал на кушетке,
как будто заснув,
К стене отвернувши тяжелую
голову.
Входили неприглашенные.
Два голоса приглушенные:
Да как же так? Да из-за чего же?
Нашел Орлеанскую деву, тоже!
Мереть из-за [каждой] этакой,
новое дело,
И голос второй
объяснил причину:
Да тут вам не Орлеанская дева,
а Орлеанский мужчина!

И голос [обиды и гнева]
Дошел до

⟨2⟩

Он лежал, отвернувшись к стене лицом,
Плоть, косность, масса,
Будто все позабыв, обо всем людском,
Еще в глину не успев смяться.

Поднимается веснами людская опара.
И глядишь — глаз не отвесть —
Весной красивая подымается пара
И идут одиночкам на зависть
[Новая завязь]
Вы, уничтожающие печаль, уничтожили индивидуализм.
Но я видел — лелеет слепого жена
И безрукого оберегает подруга
Венера Милосская.

⟨3⟩

Он лежал, отвернувшись к стене лицом:
вес,
тяжесть,
масса.
будто враз
позабыв о земном обо всем,

утомясь
горевать и смеяться.
Он лежал, от всего отвернувшись лицом,
Будто все, что в нем было, живьем
сокруша.
Плоть, косность, тело —
[Лишь у сомкнутых губ]
У сомкнувшихся губ
горевала душа —
Не совсем еще отлетела

‹4›

Он лежал, от всего отвернувши лицо,
И с врагом,
и с друзьями в ссоре,
будто враз позабыв
про былое, про все:
стих,
счастье, горе.
[Он как будто бы так глубоко
уснул,
так все предал былое забвенью,
что раздайся салют
в двести тысяч дул,
все равно бы]

‹5›

Он был так торжественно величав,
так беспомощно неподвижен,
так повернут к стене головой у плеча
[как мальчишка, судьбою обижен]
так мальчишески горько обижен
‹1948›

Автограф, черновые наброски, ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 58, л. 7—10.

Фрагмент 1 озаглавлен автором «Два голоса», но заглавие им же зачеркнуто. Нумерация фрагментов принадлежит публикатору. Фрагменты 3—5 написаны подряд, на двух листах бумаги, пронумерованных автором (1—2, л. 9—10 архивной нумерации), и представляют собой, скорее всего, единый связный текст, разделенный автором на строфы. Две первые строфы этого текста (соответствуют фрагментам 3—4 нашей публикации) отчеркнуты слева и пронумерованы: 1, 2.

[1] ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 151, л. 2 об.— 3 об.
[2] «Альманах с Маяковским», с. 7.
[3] *Асеев*, т. 5, с. 644—645.

III

‹КОГДА Я ОГЛЯДЫВАЮСЬ НА НЕДАВНИЕ ГОДЫ...›

Наброски (1—5), объединенные в публикации общим номером III и общим заголовком «Когда я оглядываюсь на недавние годы...», написаны в конце 40-х — начале 50-х годов: после избрания А. А. Фадеева генеральным секретарем Союза советских писателей (1946), но до смерти И. В. Сталина (1953). Эти отрывки объединены полемическим запалом, направленным против бывших противников Маяковского, которых Асеев продолжал считать и своими врагами. В одной из записок, адресованных Союзу писателей, относящихся к первым послевоенным годам, он писал: «Внимательная и чуткая забота правительства и партии, поддержавших и сохранивших во мне возможность творческой деятельности, не смогли устранить ту скрытую неприязнь, которую чувствовал и сам

Маяковский со стороны вновь засиявших светил нашей литературы и которая по наследству от него обратилась ко мне...» (личный архив). Связь этих отрывков с размышлениями о собственной судьбе особенно очевидна во фрагменте 5.

‹1›

Когда я оглядываюсь на недавние годы,
Задумываясь о своей судьбе,
Слыша «ревомые ревмя оды»,
[Я вновь и вновь вспоминаю о тебе]
Приглядываясь
к литературной гурьбе,
Я вижу:
опять возникают тени
из политического небытия.
Что вы скажете, например, о Шапирштейне? [1]
Немного, по правде, могу сказать и я.
Он в «Литпосту» писать пытался
Под псевдонимом изящным «Лэрс»,
На голубом рысаке катался,
Потом куда-то исчез.

Или, к примеру, Семен Родов [2],
Пытавшийся нас зацепить в аркан,
Опять впивается в семью народов,
Правда, высохший, как таракан.
Опять влезают в двери без мыла
Кому Маяковский был не с руки,
Профессорствует Шенгели [3],
редакторствует Ермилов [4],
Клейменные им двурушники
и пошляки.

‹Начало 1950-х годов›

‹2›

Когда я оглядываюсь
на недавние годы,
Масштаб времен
примеряя на глаз,
Сквозь все эти
«ревмя ревомые оды»
Я вновь [Владимир Владимирович]
вспоминаю, Володя, о Вас.
О вашем душевном широком размахе,
О твердости,
вашим присущей шагам,
О том, как мы с Вами работали дружно,
О том, что Вам ничего не было нужно,
Кроме чисто вымытой рубахи [5]
И о Вашей ненависти
к врагам.
Кто были они?
Пошляки и мещане,
[Из революции сделавшие ренту,]
впившиеся в литературу клещами,
[приспосабливающиеся к моменту,]
уловляющие
моменты.

Может, у меня припадок желчи,
И надо на жизнь смотреть веселей?
Но вы ж их еще поливали жестче
И все же не выморили из щелей.

‹3›

А как они Вас ненавидели злобно,
Как сжить со свету старались скорей,
Их всех перечислить нужно подробно,
Пока еще память не стала старей.

Они клянутся коммуны именем
На каждой странице безрадостных книг,
Коммуну себе представляя выменем,
с которого сливки сбирают для них.
‹...›
Они на вас лаять открыто не смеют,
Начальством приказано помнить и чтить,
Но как они, даже немея, умеют
Вас в сторону сдвинуть и оттеснить!

‹4›

Когда я оглядываюсь
на недавние годы,
Масштаб времен примеряя на глаз,
Сквозь все эти «ревомые ревмя оды»
Я вновь, Владимир Владимирович,
вспомню про вас.

Неизмеримы страны успехи,
Жар рассвета ее зоревой,
Пятилеток вздымаются вехи
По дороге времен столбовой.

Партии око — видит далеко,
[Безошибочен] безупречен ее расчет,
Скажет — и ширь голубого потока
По пустыне песков течет.

Городов подымаются крыши
Там, где раньше шумела тайга,
Поднимаются выше и выше
Самолеты, мечты и стога.

Лозунг партии явен и ясен:
С ходу взяв, не отстань, не стой.
Каждый в сердце своем согласен:
Весь в порыве Советский строй.

Над страною своей большою
Под бескрайною ширью всей
Я лечу, понимаешь, душою,
Как весною косяк гусей.

Всюду вспашки и всюду вспышки,
Стал считать и не сосчитал:
От Баку зашагали вышки,
Из Кузбасса пошел металл.

Все в движенье и все в стремленье,
Все в напоре вперед и вперед,
Ни унынья нигде, ни лени,
Всюду, всюду наша берет.

Лесорубов кружатся пилы,
Паровозы взрезают тьму,
Время новое наступило,
Все ответом на зов ему.

Нет, не те мы совсем, что были,
Не страшна нам теперь беда,
Мы в гранит свое царство врубили,
Царство мужества и труда.
〈...〉
Медным морем зерно струится,
[в дружбе села и города]
Урожаем плывет руда,
Звездным роем пчела роится,
Облаками плывут стада.

〈Начало 1950-х годов〉

〈5〉

И словно камень, пущенный в реку —
С нагреву и скользко ему и чудно́,—
Я погружаюсь моему веку
В тину забвенья на самое дно.

Кому это надо, чтоб жил я забытый?
Чтоб — надо мною 〈1 *нрзб*〉 вал
Что я в этой 〈*пропуск в тексте*〉 дел и событий,
Сам взволновавшись, других волновал.

Не станем вновь возвращаться к РАППу,
К его назойливому нахрапу...

Черновой автограф. ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 58, л. 1, 11—15 об.; личный архив.

Все публикуемые наброски (1—5) написаны на отдельных листах без заглавия и нумерации.

Возможно, входили в замысел произведения о Маяковском, впоследствии озаглавленного «Позднейшее послесловие к поэме». Это подтверждается и тем, что один из набросков начинался строкой «Когда я писал про него «начинается»...» (ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 58, л. 14).

[1] Яков Ефимович *Шапиршейн* (1901—1976) — настоящая фамилия критика и литературоведа Я. Е. Эльсберга. Писал под псевдонимами Я. Лерс, Ж. Эльсберг и др.; в 1920 — 30-е годы — активный сотрудник журнала «На литературном посту» (1926—1932); неоднократно выступал против Маяковского и других участников Лефа, в том числе против Асеева. См., например, его статью «Наши заграничные путешественники (о путевых записках Б. Кушнера, Н. Асеева, В. Инбер, Е. Зозули)».— «На лит. посту», 1928, № 18, с. 72.

[2] Семен Абрамович *Родов* (1893—1963) — один из редакторов журнала «На посту» (1923—1925); с критикой Лефа выступал в статьях «Как Леф в поход собрался», «А король-то гол (Вместо рецензии на книгу Асеева «Избранное»)». — «На посту», 1923, № 1; в книге «В литературных боях» (М., 1926) и т. д.

[3] Георгий Аркадьевич *Шенгели* (1894—1956) — поэт, переводчик, теоретик стиха. В 1927 г. выпустил брошюру «Маяковский во весь рост», резко направленную против Маяковского и группы Леф. Маяковский неоднократно критиковал книгу Шенгели «Как писать статьи, стихи и рассказы» (1926), см. статьи «Как делать стихи?», «А что вы пишете?», доклад «Как писать стихи?», стихотворение «Моя речь на показательном процессе по случаю возможного скандала с профессором Шенгели» и др.

[4] О Ермилове см. выше, прим. 26 к стенограмме выступления Асеева 8 декабря 1936 г.

[5] Перифраз строки из поэмы «Во весь голос» (*Маяковский*, т. 10, с. 285).

IV

ПОЗДНЕЙШЕЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПОЭМЕ (О СУПРУЖЕСТВЕ И ПАТРИОТИЗМЕ)

Нынче говорят, что, как сквозь призму
распадается на краски свет,
на любовь к семье, к патриотизму
должен разложить себя поэт.

[В этом поэтово слово прославлено;
а, по-моему, это неправильно!]
Одни привыкают к семейным халатам,
другие — не прочь ночевать на скамье,
привыкли мы Пушкина помнить — женатым,
а Лермонтова не представишь в семье *.
Владимир Владимирович не был семейным,
хоть не был и явным холостяком,
ни домом своим не владел, ни именьем,
он гол, как сокол, был стальным опереньем,
одним обладал он богатством — стихом!
Слова его за море перелетали,
перемахнув над границей любой,
слова его прямо за сердце хватали
и звали парить и лететь за собой.
Он был героем Советской России,
ее удивительным языком <...>

Машинопись с авторской правкой. Личный архив.

Сохранились варианты «Послесловия», озаглавленные «Так как же он начинался?» и «Наследники (Как же он все-таки начинался?)» (ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 36, л. 32—35 и 37—40). Они начинаются строфой, не вошедшей в публикуемый текст:

Писатели разных родятся мастей,
Различных повадок, привычек и вкусов;
Одни погибают от сильных страстей,
Другие от комариных укусов...

V

Все это было
совсем не так,
Как представлялось
вначале.
Часы — тик-так.
Часы — тик-так.
И — столько лет отстучали.
Я жил тогда в такой тесноте
Событий, случайностей, фактов,
Что ныне они
оказались не те,
Совсем изменились как-то.
И зря я обидел тогда этих дев [1],
Они —
сверкая очами —

---

* В личном архиве поэта сохранился набросок начала этого стихотворения, возможно, более поздний. Между строчками: «А Лермонтова не представишь в семье» и «Владимир Владимирович не был семейным» — там был следующий текст:

Как будто виденья из сна Татьяны,
устроив сплошной надувной маскарад,
жирафы, лисицы, козлы, обезьяны
поэтам пожертвовали свой наряд.
Средь этого лающего зверинца,
средь ихних ужимок, уверток и рож
о, как он на бедного датского принца,
без всяких намерений стать им, похож.
Он брови сдвигал, и темнели деревья,
он плакал, и падали облака,
его поэтического кочевья
хватило б на страны и на века!

И гневные длани к небу
воздев,
Являются мне
ночами.
Конечно, любая из лучших, из них,
От радости хорошея,
Лишь только глазом огромно мигни,
Повисла б навеки на шею.
Но он-то шеи ни [пред кем не гнул]

⟨1960-е годы⟩

Черновой автограф. ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 58, л. 27.

Вариант того же текста входит в статью Асеева о Маяковском «Муз обреченный данник» (разрозненные листы машинописи, 5 лл.— Личный архив).

[1] Имеются в виду строчки из поэмы «Маяковский начинается» (гл. XVI — «Косой дождь»):

Что б из них
додуматься какой-нибудь
кинуться на шею
на века!

Может бы,
и не пришлось покойнику
навзничь лечь
на горб броневика.

(*Асеев*, т. 3, с. 491).

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О МАЯКОВСКОМ

⟨МАЯКОВСКИЙ И ГОРЬКИЙ⟩

В личном архиве хранится экземпляр статьи, озаглавленной «О Маяковском. Воспоминания Н. Н. Асеева». Текст неполный (56 с.), конец отсутствует. В тексте — пометки редактора и небольшая авторская правка.

Воспоминания предназначались, очевидно, для 2-й книги «Литературного наследства» — «Новое о Маяковском» (первая книга — т. 65, вышла в 1958 г., вторая издана не была). Впервые воспоминания были опубликованы в книге Асеева «Зачем и кому нужна поэзия» (М., «Сов. писатель», 1961, с. 267—311.— См. также: *Асеев*, т. 5, с. 643—699).

Текст воспоминаний, сохранившийся в архиве поэта, имеет небольшие отличия от опубликованного. Отдельные страницы не попали по тем или иным причинам в публикацию; против некоторых из них — пометки Асеева: «Пропуск», «Очень важно», «Почему-то пропущено» и т. д.

Не появились в печати и страницы, посвященные теме «Маяковский и Горький». Эти страницы (с. 45—46 указанной машинописи) и публикуются ниже.

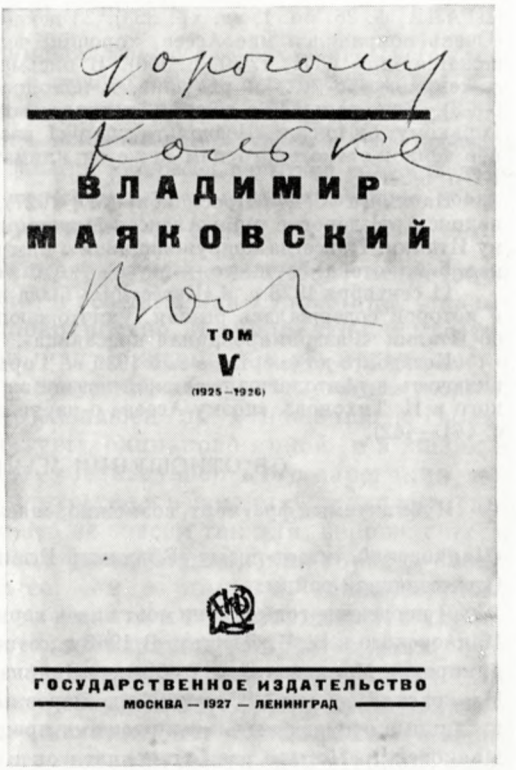
... Горький был навсегда рассержен на Маяковского. Люди, ревновавшие их по отношению друг к другу, постарались устроить так, чтобы эта рассерженность Горького не остывала. Горькому сплетничали на Маяковского, Маяковскому на Горького. В конце концов Маяковским было написано стихотворение [1], в котором содержались такие упреки общественного значения по отношению к Горькому, которые не могли быть восприняты иначе, как с горечью и гневом.

Еще не время подробно описывать историю печальной размолвки двух крупнейших писателей этого века [2], но следует установить, что размолвка эта была вызвана искусственно со стороны людей, так или иначе заинтересованных в ней. То ли это было сделано на почве политических интриг, то ли по склонности довести до ближнего своего всякую сплетню про него, в особенности, если этот ближний представляет из себя ранимого в самолюбии человека, отстаивающего даже не свою личную славу, а славу того дела, которому он посвятил себя. Но результат был налицо: люди, хорошо относившиеся друг к другу, большие люди, стали озлоблены по отношению друг к другу. Поэтому, когда я в 1927 г. поехал с женой в Италию [3], Маяковский хмуро предупреждал меня: «Небось, к Горькому на поклон поедете? Смотрите, он вам весь жилет слезами вымочит!»

Я не понимал тогда причин ссоры двух людей, бывших для меня одинаково ценными по литературной значимости. И я не отказался от поездки к Горькому в Сорренто. Однако при всем радушии, с которым Горький нас принял, одно лишь вызывало в нем молчаливый протест и отчуждение: это было чтение стихов Маяковского. Он со вниманием слушал стихи и Светлова, и Казина, и Обрадовича, которые я тогда ему читал, как новинки советской поэзии. Слушая, курил, одобрял, отмечал недостатки. Так это и установилось в продолжение моего пребывания в Сорренто, что после обеда засиживались за чтением стихов. Я задумал в тайне души примирить Горького с Маяковским. Поэтому после разных стихов, я вдруг начинал читать, не называя автора, отрывки из поэмы Маяковского, только что тогда законченной [4]. Горький сразу узнавал автора стихов и всякий раз под каким-нибудь предлогом прерывал чтение. То ему нужно было посмотреть, как подрезывают розы, то он бумагу для меня обещанную вдруг решал принести именно в тот же час. И это тогда же, когда он выслушивал,— повторяю, со вниманием,— стихи, гораздо менее заслуживающие такого внимания. Что было делать? Я раз и брякнул напрямки: «Алексей Максимович, ведь это же замечательные стихи! Почему вы к ним холодны?» Он суровел, поднимался с места и явно не желая продолжать разговора, подытоживал:

— Может быть, стихи и хороши, да автор-то хулиган!

Так мне и не удалось смягчить Горького. Правда, и обида была нанесена непоправимая. Вместо примирения с Маяковским я восстановил Горького и против себя... [5]



ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ В. В. МАЯКОВСКОГО Н. Н. АСЕЕВУ НА ТИТУЛЬНОМ ЛИСТЕ ПЯТОГО ТОМА СОЧИНЕНИЙ МАЯКОВСКОГО (М.— Л., 1927): «ДОРОГОМУ КОЛЬКЕ ВОЛ»
Личный архив Асеева, Москва

Машинопись с авторской правкой. Личный архив.

[1] «Письмо писателя Владимира Владимировича Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому (*Маяковский*, т. 7).

[2] Об отношениях Горького и Маяковского в разные периоды жизни существует большая литература — см. статьи: И. Груздев. Мои встречи и знакомство с Горьким («Звезда», 1961, № 1); М. Б. Козьмин. Горький был для него ближе.— В кн.: Маяковский и современность. Сб. статей. (М., 1977); прим. к «Письму писателя...» (В. Маяковский. Собр. соч. в 12 тт., т. 4. М., изд-во «Огонек», 1978); и др. В воспоминаниях о Маяковском Асеев писал: «В пятнадцатом году Маяковский призывается на военную службу. Горький дал ему возможность не стать рядовым, устроив в автомобильную роту чертежником. Горький относился весьма внимательно к росту таланта Маяковского. Впоследствии враги путем лжи и наговора восстановили их друг против друга. Но Горькому Маяковский во многом обязан в своем творчестве и, быть может, в главнейшем — обязан жизнью, тем, что не был послан в маршевую роту под немецкие гаубицы» (*Асеев*, т. 5, с. 671—672).

[3] Асеев с женой гостил у Горького в Сорренто в ноябре — декабре 1927 г.

[4] Очевидно, из поэмы Маяковского «Хорошо!», законченной в октябре 1927 г.

[5] Знакомство Горького и Асеева было приятным и радостным событием для обоих писателей: на своей фотографии, подаренной Асееву, Горький сделал такую надпись: «Н. Н. и К. М. Асеевым М. Горький, обрадованный знакомством с ними. 15/XII — 1927 г.»

(ЦГАЛИ, ф. 28. оп. 1, ед. хр. 353). 28 декабря 1927 г. Горький писал Б. Л. Пастернаку: «Очень понравился мне Асеев, хороший человек, и много он может сделать хорошего, кажется мне» (ЛН, т. 70, с. 306). В письмах Горькому Асеев благодарил писателя «за гостеприимство ⟨...⟩ и радушие, и помощь» (Письмо от 31 января 1928 г.— АГ, КГ-п 6-8-3). Еще раньше, в письме, которое, возвращаясь из Италии, Асеев послал с пути Горькому, он писал: «Позвольте еще раз вас крепко обнять и поблагодарить за то душевное тепло, от которого нам кажется климат Сорренто наилучшим в Италии» (Там же, КГ-п 6-8-1).

На книге «Семен Проскаков» (М., 1927), подаренной Горькому, Асеев сделал такую надпись: «В дорогие руки Алексея Максимовича Горького, комок снега — в теплую спину Италии. Навсегда подружившийся с ним в полминуты Ник. Асеев, 1927. XII.3» (Личная библиотека Горького.— Музей А. М. Горького).

11 сентября 1928 г. в «Известиях» была напечатана статья Горького «О двух книгах», в которой содержалась резкая, уничтожающая критика книги путевых заметок Асеева об Италии «Разгримированная красавица».

Незадолго до смерти, в мае 1936 г., Горький советовал в письме к Н. Н. Накорякову включить в «Антологию советской поэзии за 20 лет» наряду с произведениями Э. Багрицкого и Н. Тихонова «поэму Асеева о партизане» (Горький. Собр. соч. в 30 тт., т. 30, с. 441—442).

ОБ ОТНОШЕНИИ МАЯКОВСКОГО К ЛЕНИНУ

Публикуемый фрагмент, возможно, связан с замыслом дополнительной главы поэмы — «Маяковский читает поэму «Владимир Ильич Ленин», относящимся к периоду Великой Отечественной войны.

В последние годы жизни поэт вновь вернулся к размышлениям на тему об отношении Маяковского к В. И. Ленину. В 1960 г., отвечая на вопрос, «как работал Владимир Владимирович Маяковский над образом Ленина», Асеев писал: «Не подойти к этому образу Маяковский не мог. Я вспоминаю морозный январь 1924 г., траурные флаги, костры и длинные очереди людей, пришедших прощаться с любимым вождем. Среди них был и Маяковский. Четыре раза становился он в траурные очереди.

Потом Маяковский говорил:

— Не знаю, кто как, но я смотрел на него сквозь слезы ⟨...⟩

Ленин для поэта был человеческим образцом. Именно таким, считал Маяковский, должны быть люди будущего,— такими же мудрыми, большими и такими же простыми, доступными, человечными, как Владимир Ильич Ленин...» («Учительская газета», 1960, № 36, 24 марта).

Сохранилось также свидетельство современника, относящееся к 1960—1962 гг., о том, что Асеев, видимо, «хотел специально поработать над поэмой Маяковского «Владимир Ильич Ленин», заняться ею пристально, почти так же, как он некогда поработал над поэмой «Про это» ⟨...⟩ Он ⟨Асеев⟩ считал, что Маяковский открыл в поэзии ленинскую тему, дал ключ к ее подлинному постижению ⟨...⟩ Асеев видел задачу поэтов в том, чтобы, идя за Маяковским, войти в интеллектуальный мир Ленина, показать гений Ленина-мыслителя». По словам Асеева, «у Пастернака на сей счет есть намек, очень содержательный:

Он управлял теченьем мыслей
И только потому — страной...»

(А. Дымшиц. Весь в мыслях о поэзии. — *Воспоминания о Николае Асееве*, с. 227 — 229).

Асеев пытался и сам подойти к ленинской теме в своем поэтическом творчестве (см. об этом статью поэта «Тема — Ленин» — *ВЛ*, 1980, № 4, с. 231—237).

Маяковский любил Ленина огромной, безоговорочной любовью. Основой этой любви, как мне кажется, была радость: радость сознания, что на земле объявился новый человек, человек таких качеств, которые открывали представления о будущем, о человечности — о человеке будущего.

Главное, что поражало в Ленине,— это соединение гениальности и простоты. Гениальной зоркости мышления, охвата огромного количества явлений, соединение в себе [философа, политического деятеля, мудреца] мудрости и...

⟨1942—1943 гг.⟩

Автограф. Личный архив.

‹МАЯКОВСКИЙ И ПУШКИН›

В последние годы жизни Асеев много размышлял на тему о связях Маяковского с традициями русской классической литературы, в первую очередь с Пушкиным. Эта тема присутствует в итоговой книге поэта «Зачем и кому нужна поэзия» (1961) и других работах последних лет жизни. Но там она выступает в историко-литературном и теоретическом аспектах. Публикуемый фрагмент (начало) заметки интересен попыткой сблизить двух поэтов психологически, найти общие человеческие черты, характеризующие обоих. Продолжения этой заметки в архивах не сохранилось.

Я двадцать лет без малого знал Маяковского как человека, встречался с ним многие годы чуть ли не ежедневно, и все-таки как художника, оказывается, знал его очень несовершенно, поверхностно. Я думал, что в искусстве он так же простодушен и прямолинеен, как в жизни, так же мальчишески надменен и неприступен по отношению к чужим, несочувствующим людям, так же деятельно весел и открыто дружелюбен по отношению к своим. Я полагал, что в этой цельности его натуры, одинаково яркой и в жизни и в искусстве, заключается полновесность, убедительность его дарования, непререкаемость его взглядов и вкусов в искусстве и в жизни. Однако длительный жизненный опыт доказал мне, что это не совсем так или, вернее, совсем не так. Оказалось, что в творческом своем бытии Маяковский гораздо сложнее, многограннее, глубже и неузнаннее, чем в обычной, каждодневной, наблюдаемой извне жизни. Случилось то же, что и с Пушкиным. Их характеры, оказывается, были очень близки по темпераменту, простодушию, беззащитности, несмотря на всю внешнюю задорность и неуступчивость. Их человеческие черты во многом могут быть сближены по своим проявлениям. Та же горячая любовь и ненависть, то же желание быть хозяевами в своем дому, в своем деле, вплоть до непременного желания иметь свой журнал, в котором отстаивать свои вкусы и взгляды, те же взаимоотношения с критикой и консервативными любителями старины. Это — их человеческие черты. Но творческое начало у обоих выше человеческого или, по крайней мере, выше среднечеловеческого уровня понимания жизни и ее назначения.

‹1950-е годы›

Машинопись без правки, 1 л. Личный архив.
Бумага и шрифт машинки — Асеева.

КАК Я ВЫЛУПИЛСЯ ИЗ СКОРЛУПЫ

Автобиографическая заметка под таким заглавием была написана Асеевым по просьбе польского поэта Анатоля Стерна и впервые напечатана в переводе на польский язык в воспоминаниях последнего, озаглавленных «Все, чем дышу...» (газ. «Kultura», Варшава, 1963, 18 июля; затем в кн.: Anatol S t e r n. Legendy naszych dni. 1970). Заметка сопровождалась следующим комментарием А. Стерна: «Эта написанная прошлой осенью коротенькая автобиография — одно из последних высказываний поэта об искусстве. Оно — прямое и непосредственное, как все, что писал этот ближайший друг и товарищ по работе Маяковского. Не случайно автор «Хорошо» около двадцати раз упоминает об Асееве в своих произведениях [1], что всегда было предметом постоянной и неизменной гордости Асеева».

Впервые я начал понимать, что такое искусство, когда на меня, провинциального юношу, попавшего в Москву и оглушенного шумом громадного города, стали нагромождаться впечатления, одно за другим. Помню, как, очутившись в Щукинской галерее, я был поражен необычностью тамошних картин. Полотна Ван-Гога, Гогена, Матисса, Пикассо, Сезанна давали новое представление о мире вещей и действительности, нежели то, к которому я привык по репродукциям. То же было и со стихами. Начитавшись разных поэтов, от Жуковского до Бальмонта, я был поражен, как непохожи на них взрывающий канонические формы Маяковский, необычные интонации Пастернака и детская мудрость Хлебникова.

Тогда именно я понял, что нельзя повторять уже известное; это будет лишь жалким подражанием, а не самостоятельным трудом. Словом, пришло время разбить скорлупу, в которой родился, и выйти на свет своей собственной поступью.

И вот тогда я написал свои первые стихи о Москве и весне, ударах копыт по булыжнику узких мостовых тогдашней столицы и о вывесках, напоминающих молитвенные заклинания, о тревоге улиц:

А если сердце к тревогам улиц пребудет глухо,
руби мне, грохот, руби мне глупое, глухое ухо [2].

Такими были мои первые отзвуки на окружающую меня действительность. Маяковский стал самым близким мне поэтом того времени — так же близок он мне и по сей день. Его живой язык заслонил от меня все голоса, которые я слышал раньше. Я начал пробиваться сквозь скорлупу искусства.

1962 г.

Печатается по тексту газеты «Kultura» (пер. с польского Ю. Живовой).

[1] Имя Асеева в произведениях Маяковского упомянуто шесть раз (см. *Маяковский*, т. 1, с. 26, т. 6, с. 53; т. 8, с. 206; т. 9, с. 43 и т. 11, с. 137, 336).

[2] Из стихотворения «Объявление» (1915 — *Асеев*, т. 1, с. 50).

ПРИЛОЖЕНИЯ

К ГЛАВЕ XII «ХЛЕБНИКОВ»
(Асеев и Хлебников)

Знакомство Асеева с Велимиром (Виктором Владимировичем) Хлебниковым (1885—1922) относится, очевидно, к началу 1910-х годов. Сам Асеев периодом их сближения считал 1914—1917 гг. [1] По свидетельству К. М. Асеевой и М. М. Уречиной-Синяковой, в это время Хлебников часто бывал в загородном доме Синяковых, в Красной Поляне под Харьковом, и здесь встречался с Асеевым [2]. Они же вспоминают о возникшем вскоре после знакомства взаимном восхищенном, любовном отношении поэтов друг к другу.

В литературном плане Асеев и Хлебников встретились на страницах ряда изданий. Оба начали свою поэтическую деятельность в журнале Н. Г. Шебуева «Весна»: в 1908 г. здесь впервые выступил со стихами Хлебников, а спустя три года в этом журнале были напечатаны первые стихотворные опыты Асеева [3]. В дальнейшем их произведения появлялись рядом на страницах сборников «Руконог» (1914), «Взял» (1915), «Пета» (1916), «Лирень» (1916), «Временник I» (1917) и др.

К 1915—1916 гг. относятся первые письма Хлебникова Асееву [4], а также первое его упоминание об Асееве в печати: в статье «Ляля на тигре» (1916) Хлебников высоко оценивает только что вышедшие поэтические сборники Асеева «Леторей» и «Ой конин дан окейн» [5]. Несколько позже, в статье «О современной поэзии» (1920), он сочувственно отметил — как отличительную черту поэзии Асеева — «азийское, персидско-гафизское упоение словесными кущами в чистоте их цветов» [6].

Первая статья, в которой Асеев говорит о Хлебникове — «Арзрум», датирована 3 января 1917 г. Очевидно, она предназначалась для очередного (третьего) сборника издательства «Центрифуга»; однако в то время статья напечатана не была и впервые увидела свет лишь в 1929 г. [7]

Уже здесь были заложены основы асеевской концепции творчества Хлебникова, своеобразие которой заключалось в возведении родословной его поэзии к устному народному творчеству, с одной стороны, и к опыту русской классической поэзии, в первую очередь к опыту Пушкина, с другой. Асеев доказывает, что излюбленный поэтический прием Хлебникова — «близость звучания при дальности понятий, облекаемых звуками»,— это «любимый прием» народного языка, неизменно присутствующий в «народном говоре, пословицах и поговорках», и что разрабатывать этот прием в поэзии начал еще Пушкин [8]. В той же статье впервые была сформулирована мысль о близости поэтических приемов Хлебникова и Маяковского как восходящих к тому же источнику — устному народному творчеству [9]. Позднее эта мысль найдет более полное воплощение в статье Асеева «Наша рифма» [10].

В 1917—1921 гг., живя на Дальнем Востоке, Асеев активно пропагандирует творчество Хлебникова. Из воспоминаний современницы мы знаем, что он читал «Ночь в Галиции», «Ладомира», «Заклятие смехом», «Вилу и лешего» посетителям литературно-художественного клуба «Балаганчик» во Владивостоке [11]. В 1920 г. он печатает в журнале «Творчество» произведения Хлебникова [12]. Здесь же, а также в ряде других дальневосточных изданий появляются его статьи о современной поэзии, в частности о Хлебникове.

В первой из этих статей, написанной два года спустя после «Арзрума», Асеев сосредоточил внимание на разъяснении поэтических приемов Хлебникова, призывая читателя «вслушаться в эти новые слова, постараться найти в них отголоски собственных смятенных чувств и понятий, одним словом, заинтересоваться тем языком чужестранцев, которые называют своей родиной — Будущее» [13]. К «людям Будущего» Асеев отнес здесь также Маяковского и Пастернака. Эта статья входила в цикл «Современники» и называлась «Певцы нового мира».

За этой статьей последовали еще две, посвященные исключительно творчеству Хлебникова,— «Язык Хлебникова» и «В. В. Хлебников. Критико-биографический очерк» [14]. Эти статьи, так же как и цикл «Современники», ныне забыты. Однако они примечательны как первые попытки предпринять исследование творчества Хлебникова. Уже в этих статьях содержатся те постоянные для Асеева представления о Хлебникове, которые в дальнейшем почти без изменений войдут в поэтическую характеристику этого действующего лица в поэме, а позднее — в сложившуюся у Асеева общую концепцию творчества Хлебникова, изложенную в ряде его статей и публичных выступлений [15]. «Критико-биографический очерк» начинался, например, так: «Хлебников — уже сейчас полулегендарное имя, к которому без малейшей натяжки приложим эпитет гения ⟨...⟩ Друзьями он назван «словождем». Вождь слов, послушно следующих за его удивительной способностью составлять их в полки, выстраивать в колонны, ударять со всех сторон волнами звуков и побеждать очарованную ими мысль неожиданным перестроением» [16]. В обращении же «К современникам», которым открывается его поэтический сборник «Бомба» (1921), Асеев начинает именем Хлебникова перечень наиболее выдающихся, с его точки зрения, поэтов современности [17]. Уже после отъезда Асеева в Москву «Дальневосточный телеграф» напечатал его статью «О современной поэзии», в которой вновь утверждается мысль об исключительной роли Хлебникова в развитии современного поэтического языка [18].

По возвращении Асеева из Владивостока в Москву в январе 1922 г. его дружеские и литературные связи с Хлебниковым еще более укрепляются. По свидетельству К. М. Асеевой, Хлебников некоторое время жил в их московской квартире на Мясницкой улице (д. 21) [19], тогда же была написана поэма «Синие оковы», посвященная приезду Асеевых [20].

28 июня 1922 г. Хлебников скончался. В 1923 г., в первых же номерах журнала «Леф», в состав редакции которого входил Асеев, были напечатаны произведения Хлебникова [21]. Вслед за этим было объявлено, что «Леф» издает собрание его сочинений под редакцией Асеева и Г. О. Винокура [22].

В статье «Советская поэзия за шесть лет», написанной в феврале 1924 г., Асеев определяет роль Хлебникова в становлении молодой советской литературы. Фиксируя внимание на социальном звучании его поэзии, Асеев говорит о Хлебникове как о поэте революции: «Хлебников, написавший за это время «Ночь в окопе», «Уструг Разина», «Ладомира», всей своей судьбой приветствовал революцию как изменение мирового лица. Он поверил в нее, как в «бесповоротный поход в будущее»; и это делает потерю Хлебникова невозвратимой» [23].

Начиная с середины 1920-х годов Асеев стремится оценить творческий опыт Хлебникова с точки зрения перспектив дальнейшего развития отечественной поэзии: «Его тяжелая поступь проложила много тропинок для современной и будущей поэзии. Его легкая рука лежит на плечах большинства современных поэтов»,— пишет Асеев в очерке «С девятого этажа» (1926), противопоставляя поэтический опыт Хлебникова «искусственным» видам поэзии — «рифмованным формулировкам, скандирующим поучениям, стихотворной педагогике» [24].

Принципиальное значение для понимания того, как воспринимал Асеев поэзию Хлебникова, имеет статья, написанная им совместно с А. Е. Крученых к десятилетию со дня смерти поэта (1932). Здесь получает развитие идея о наследовании Хлебниковым классических традиций. К имени Пушкина, названному еще в статье «Арзрум», прибавляется

новое имя: «В революционные годы,— пишет Асеев,— Хлебников в некоторых произведениях тематически и стилистически близок Некрасову» [25].

В 1936 г., в начале работы над поэмой, Асеев написал очерк «Велемир», в котором обрисованы характерные особенности поведения Хлебникова и его судьбы. Очерк открывался портретом: «В свисающем с одного плеча плаще или накинутой враспашку солдатской шинели, длинноглазый, длинноногий, с чуть замедленными движениями, но всегда точный в них, никогда не ошибающийся в этих движениях, человек этот действительно владел миром. Он владел им в том смысле, что знал его от мельчайших пылинок до самых крупных явлений, знал вдоль и поперек, снизу доверху, от древнейших времен до последних событий». И далее: «Был он похож больше всего на длинноногую задумчивую птицу, с его привычкой стоять на одной ноге, с его внимательным глазом, с его внезапными отлетами с места, срывами с пространств и улетами во времена будущего. Все окружающие относились к нему нежно и несколько недоуменно» [26]. Этот образ психологически близок образу Хлебникова, нарисованному в поэме.

Он был высок,
правдив и спокоен,
как свежий, погожий
сентябрьский день.
Он был действительно
бедный воин —
со всем, что рождало
бездумье и лень.
<...>

Словно в кристалл времена разумея,
он со своих
недоступных высот
ведал —
за тысячу
до Птолемея
и после Павлова
на пятьсот[27].

Подобные сопоставления можно было бы продолжить, поскольку многие образы и характеристики, найденные Асеевым в этом очерке, обрели поэтические формы в его поэме. Но там образ Хлебникова получит — в сопоставлении с Маяковским — более глубокое художественное воплощение.

Необходимо отметить и тот факт, что в очерке имя Хлебникова впервые введено в широкий контекст мирового искусства. Возражая против трактовки Хлебникова как «поэта для поэтов», Асеев сравнивает его с Моцартом и Гете и утверждает, что Хлебников близок Леонардо да Винчи «как широтой своих воззрений, так и насыщенностью, эрудицией, громадным знакомством с природой, языком, наукой дальних времен и новейших» [28].

Впервые после завершения работы над поэмой имя Хлебникова возникает у Асеева в 1939 г.— в речи, посвященной 125-летию со дня рождения Лермонтова — Хлебников назван здесь «величайшим поэтом XX в.» [29]. В том же году Асеев повторил эту мысль и оценку в другом своем публичном выступлении (см. в наст. томе стенограмму его выступления 15 ноября 1939 г.).

Вскоре была написана публикуемая ниже рецензия на вышедший в 1940 г. сборник неизданных произведений Хлебникова [30].

Позднее, в 1950-х годах, имя Хлебникова возникает в стихотворении «Сон» [31] и в ряде не известных ранее поэтических произведений, которые публикуются ниже (в частности, в «Поэтической панораме» — см. о ней наст. том, с. 494—495).

В конце жизни Асеев снова возвращается к мысли о Хлебникове, о его роли в своей собственной судьбе. Отвечая на вопрос: «У кого мы учились? У кого учился, в частности, я?» — Асеев называет Хлебникова в числе своих учителей: «Кроме голоса Маяковского, я расслышал еще и хлебниковский голос»,— говорит он, ставя, как и прежде, эти два имени рядом и подчеркивая их решающую роль не только в своей судьбе, но и в судьбах отечественной поэзии в целом [32].

В одной из последних своих статей Асеев вновь обращается к имени Хлебникова: «Гениальный безумец В. В. Хлебников, мечтавший избавить мир от войн, создав свое собственное определение ценности [людской] деятельности людей, различаемых по типу изобретателей и приобретателей [33], был сам изобретатель мыслей и слов, еще не входивших в обиход. Он был буквально засыпан потоком им придуманных слов для выражения новых чувств и новых представлений, еще не освоенных обывателями. Его изумительные, хрустальной прозрачности строки были невидимы близорукими критиками, общающимися только с привычным набором слов и мыслей. Поэтому когда Хлебников писал: «Сегодня



В. В. ХЛЕБНИКОВ

Рисунок Б. Григорьева, 1915. Слева автограф Хлебникова: «Сидел В. Хлебников»; справа подпись художника: «Борис Григорьев 915»

Личный архив К. И. Чуковского, Москва

снова я пойду опять туда, на торг, на рынок, и войско песен поведу с прибоем рынка в поединок» [34], — то прибой рынка глушил его голос» [35].

Сохранилось свидетельство современника о том, что Асеев и в самые последние годы и даже месяцы своей жизни продолжал размышлять о судьбе Хлебникова, сопоставляя ее, очевидно, и со своей собственной судьбой [36]. «Какой Хлебников футурист? — говорил он в беседе с Д. М. Молдавским в марте 1960 г.— Если уж хотите — он архаистом был. Знал ли он исследования Сахарова? Вы нашли у него прямые цитаты? Конечно, знал. Вообще, очень хорошо знал фольклор и древнюю литературу — не только русскую, но и восточную» [37]. И в письме к нему же: «И уж совсем неправильно Хлебникова включать в футуристическую семью. Он-то, скорее, архаист, если надо наклеивать ярлыки» [38].

Упоминание о «ярлыках» соотносится с такими, например, словами Асеева о самом себе: «Футуристом я никогда не был, как не был и символистом или акмеистом, то есть не принадлежал ни к одной из существовавших тогда марок»,— эти слова он писал Д. М. Молдавскому в письме от 28 марта 1963 г., за несколько месяцев до смерти. «Ну,

футурист, ну, урбанист,— продолжает он в том же письме.— Нет. Я не был ни деревенским, ни городским. Я был и остался русским, к которому никакое чуждое слово не пристанет, повторяй его хоть тысячу раз» [39]. Очевидно, этими словами уместно охарактеризовать и позицию Хлебникова в русской поэзии, как она представлялась Асееву.

Ниже публикуются связанные с Хлебниковым материалы из личного архива Асеева: отрывок рецензии на книгу: Велимир Хлебников. Неизданные произведения (М., Гослитиздат, 1940), два стихотворения, посвященные Хлебникову, и отрывок из «Поэтической панорамы».

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Асеев*, т. 5, с. 553.

[2] Этими и более поздними посещениями навеяны поэмы Хлебникова «Три сестры» (1920) и «Синие оковы» (1922) — *Хлебников*, т. 1. О сестрах Синяковых см. ниже, прим. 4 к разделу «Асеев и Пастернак».

[3] Еженедельный журнал «Весна. Орган независимых писателей и художников» (изд. Л. А. Шебуевой) выходил сначала в Петербурге (1908, № 1—11; редактором этих номеров был В. В. Каменский), затем в Москве (1908, № 12—18; 1911, № 19—32); по свидетельству В. Г. Лидина, фактическим издателем журнала был Н. Г. Шебуев («Друзья мои — книги». М., «Современник», 1976, с. 186). Характеристику «Весны» как «органа начинающих писателей» см. там же (с. 186—187) и в «Записках о прошлом» С. П. Боброва (*Воспоминания о Николае Асееве*, с. 7). В «Весне» были напечатаны «Искушение грешника» Хлебникова (1908, № 9; см. также: *Хлебников*, т. 4) и стихи Асеева — «Весна», «Лунно-янтарным туманом...», «Мимолетное» (1911, № 19 и 20; в дальнейшем Асеев никогда их не перепечатывал).

[4] *Хлебников*, т. 5, с. 305—307. Здесь опубликовано три письма Хлебникова Асееву за 1915—1916 гг. Однако известно, что их было значительно больше: в течение 1917 г. Асеев неоднократно сообщал С. П. Боброву о своей переписке с Хлебниковым и посылал ему полученные от Хлебникова произведения (ЦГАЛИ, ф. 2554, оп. 1, ед. хр. 10, л. 6—9).

[5] *Хлебников*, т. 5, с. 214. По устному свидетельству К. М. Асеевой, Хлебников ставил Асеева на первое место среди современных поэтов за «великолепное знание русского языка».

[6] *Хлебников*, т. 5, с. 223.

[7] 31 января 1917 г. Асеев писал С. П. Боброву в Москву из Харькова: «Посылаю статью «Арзрум» и стихи на запас <...> Напиши, как покажется статья?» (ЦГАЛИ, ф. 2554, оп. 1, ед. хр. 10, л. 7). 3 февраля он сообщал, что посылает статью «завтра» (Там же, л. 9). Была ли она отправлена, неизвестно,— в дальнейшей переписке Асеева с Бобровым упоминаний о ней нет. Статья была опубликована как программная декларация, открывающая книгу Асеева «Дневник поэта» (Л., «Прибой», 1929) и впоследствии не перепечатывалась.

[8] Н. Асеев. Дневник поэта, с. 7.

[9] Там же, с. 9—10.

[10] Там же, с. 95—96.

[11] Ольга Петровская. Николай Асеев.— *Воспоминания о Николае Асееве*, с. 43.

[12] Книгохранилища Москвы и Ленинграда располагают лишь отдельными номерами этого издания; полный комплект его сохранился в собрании Н. Н. Матвеева-Бодрого (Москва). В 1920 г. в «Творчестве» были напечатаны произведения Хлебникова «Вила и леший» (по рукописи автора № 1) и «Правительство земного шара» (№ 5).

[13] «Дальневосточное обозрение», Владивосток, 1919, № 76, 5 июня (23 мая).

[14] «Творчество», 1920, № 1 и 2.

[15] См. статью «Велимир Хлебников».— *Асеев*, т. 5; стенограмму выступления Асеева 15 ноября 1939 г. в наст. томе.

[16] «Творчество», 1920, № 2, с. 26.

[17] Н. Асеев. Бомба. Владивосток, 1921, с. 1. См. прим. 20 вступ. статьи к наст. публ.

[18] «Дальневосточный телеграф», 1922, 29 января. (Машинописная копия хранится в личном архиве).

[19] В конце января, по приезде из Пятигорска в Москву, Хлебников писал Л. Ю. Брик: «Эта приписка — доказательство моего пребывания в Москве и приезда к милым дорогим друзьям на Мясницкую» (Велимир Хлебников. Неизданные произведения. М. «Худож. литература», 1940, с. 386).

[20] Асеев свидетельствовал, что поэма была написана вскоре после его возвращения в Москву — см. *Хлебников*, т. 1, с. 326. В этом издании ошибочно прокомментированы некоторые детали поэмы: «Синголы — китайцы и японцы»; «Куть — задний угол избы...». По свидетельству К. М. Асеевой и М. М. Уречиной-Синяковой, «синголы» — шуточное прозвище сестер Синяковых («Синяки-голяки»), а «Куть» (Кутя) — домашнее прозвище К. М. Асеевой. Другие ошибки комментария исправлены в самом издании (т. 2, с. 321).

[21] «Уструг Разина», «Ладомир», «Образ восстания (из поэмы «Морские берега»)», «Иранская песня», «Навруз труда» (Леф, 1923, № 1—3).

[22] «Леф», 1923, № 1, с. 171.
[23] *ВЛ*, 1967, № 10, с. 180.
[24] *Асеев*, т. 5, с. 56.
[25] «Велемир Хлебников».— *ЛГ*, 1932, № 29, 29 июня. Асеев писал всегда «Велемир», вопреки общепринятому «Велимир».
[26] *Асеев*, т. 5, с. 546, 554. Впервые статья была напечатана в журн. «Литературный критик» (1936, № 1), позднее под заглавием «Велемир Хлебников» вошла в книгу Асеева «Зачем и кому нужна поэзия» (М., Сов. писатель, 1961). Статья вызвала ряд критических откликов: А. Селивановского («Против формализма».— *ЛГ*, 1936, № 12, 24 февраля; «Дары буржуазной культуры».— Там же, № 13, 29 февраля); А. Суркова («Влияние формализма в поэзии» — *ЛГ*, 1936, № 17, 20 марта) и др.
[27] *Асеев*, т. 3, с. 463.
[28] «Лит. критик», 1936, № 1, с. 189 и 192. В последующих перепечатках статьи эти сравнения опущены.
[29] *ЛГ*, 1939, № 58, 20 октября.
[30] Велимир Хлебников. Неизданные произведения. М., Гослитиздат, 1940.
[31] *Асеев*, т. 4, с. 233.
[32] *Асеев*, т. 5, с. 395—397.
[33] См. об этом: Виктор Хлебников и др. Труба марсиан. М., «Лирень», 1916 (*Хлебников*, т. 5, с. 151).
[34] Хлебников. Неизданные произведения, с. 160.
[35] «Фадеев и Пастернак». Машинопись. Личный архив.
[36] Ал. Дымшиц. Весь в мыслях о поэзии.— *Воспоминания о Николае Асееве*, с. 230.
[37] Дм. Молдавский. Господин леший, господин барин и мы с мужиком. М.— Л., «Наука», 1965, с. 328. Иван Петрович *Сахаров* (1807—1883) — известный этнограф и фольклорист, собиратель русских песен и сказок. В произведении Хлебникова «Ночь в Галиции» использованы ведьмовские песни и заклинания из его книги «Сказания русского народа». СПб., 1836 (см.: *Хлебников*, т. 2, с. 200—202, 316—317; см. также: Д. Молдавский. Указ. соч., с. 332—333; Дм. Молдавский. Николай Асеев. М.— Л., «Худож. литература», 1965, с. 24—26).
[38] Дм. Молдавский. Поэзия и фольклор.— *Воспоминания о Николае Асееве*, с. 220.
[39] Там же, с. 221, 225.

‹1›

‹РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ. НЕИЗДАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. М., Гослитиздат, 1940›

‹...› Ведь если Маяковский был мощным ледоколом, проламывавшим ледяную кору равнодушия и непонимания, то за собой он вел караван с драгоценным грузом поэзии. И самым большим кораблем, головным каравана поэзии * наших дней, конечно, был Хлебников.

Давно пора отбросить утвердившееся почему-то недальновидное определение творчества Хлебникова как «поэзии для поэтов» [1].

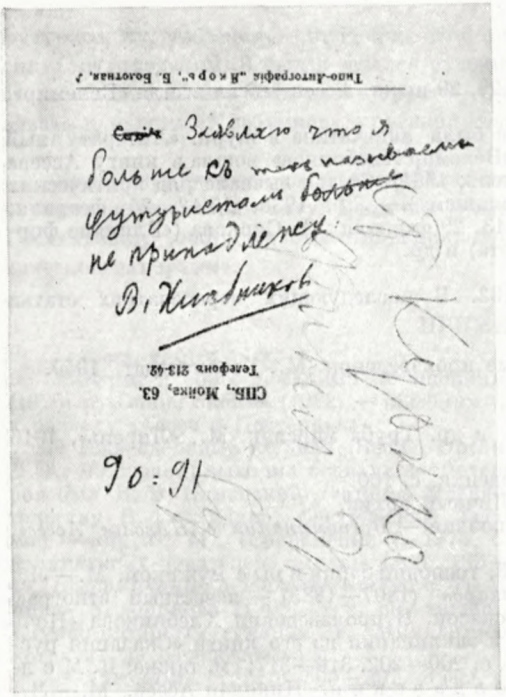
Неверно это ни в какой степени.

Хлебников ничуть не меньше Низами и Руставели. Только на нем еще не наслоилось той патины времени, которая придает ценность картине в глазах знатоков.

Правда, в Хлебникова трудно «вчитаться», войти в его мир по-своему построенных пропорций и соотношений вещей и явлений. Но ведь и Руставели и Низами писали не на легком языке шаблонов и набивших оскомину сравнений. Это потом уже их образы и языковое чувство нового превратилось в обиход, стало необходимой принадлежностью «поэтического».

А Хлебников пишет на таком хрустально-чистом, родниковом языке, от которого не хочется оторваться обветренным губам. Он пишет на языке, силу, яркость и ясность которого мы зачастую забываем, довольствуясь той частью регистра, на котором высказывался век в своих заботах и устремлениях. Даже Маяковский, совершенно искренне и небезуспешно стремясь демократизировать язык поэзии нынешних дней, часто забывал обо всей

* *Далее зачеркнуто*: нового времени.


Заявляю что я
больше к так называемым
футуристам не принадлежу.
В. Хлебников

90:91

ЗАПИСЬ В. В. ХЛЕБНИКОВА НА ОБЛОЖКЕ КАТАЛОГА ПОСМЕРТНОЙ ВЫСТАВКИ Я. Ф. ЦИОНГЛИНСКОГО (1915): «ЗАЯВЛЯЮ, ЧТО Я БОЛЬШЕ К ТАК НАЗЫВАЕМЫМ ФУТУРИСТАМ НЕ ПРИНАДЛЕЖУ. В. ХЛЕБНИКОВ»

Автограф. 1915

Личный архив К. И. Чуковского, Москва

широте регистра этого языка, горько сожалея потом об утраченной возможности «реветь — в голос во весь, срывая струны гитарам» [2].

Маяковский «смирял себя, становясь на горло собственной песне» [3], т. е. — подчинял всего себя, всю свою творческую фантазию, все свои данные — «рифмы, темы, дикцию, бас» [4] — будничной работе по «вытаскиванию республики из грязи» [5].

Пределы творчества Хлебникова были шире одной, хотя бы и лучшей в мире республики, безграничней своего, хотя бы и счастливейшего в веках времени.

Хлебников, путешественник во времени *, — не только наш современник. Кажется, что он входил в прошлое и в будущее, как в знакомые комнаты родного ему дома. И если Маяковский весь в сегодняшнем дне, даже и после своей смерти, то «сегодняшний день» Хлебникова заходит далеко за века прошлого и будущего, «свивая обе полы времени» [6].

В «Неизданных произведениях» В. Хлебникова все сказанное выше встает еще отчетливее, чем в известных уже его вещах. Отчетливее главным образом потому, что тексты тщательно проверены и подобраны любовной редакторской рукой [7].

Повторяем: вчитаться в Хлебникова — нелегко. Но нелегко было вчитаться по первоначалу и в Маяковского. Нелегко вчитаться во всякого поэта, который не «тянет, как фокусник, строчку изо рта и у себя и у других» [8].

Многих отпугивает разномерность его стиха. Люди привыкли к определенности размера, к повторности, единообразию строки, вошедшей в сознание как обязательное условие стиха.

Привычка — вторая натура. Но все же — только вторая, а первой натурой русского стиха, конечно, является его разномерность. И недаром «Сказка о попе и работнике его Балде» у Пушкина остается опытом обращения к подлинному русскому стиху [9].

Хлебников писал разномерным стихом. Это затрудняло его восприятие, делало его «поэтом для поэтов».

Два царя в высоком Курдистане,
Дочь и сын растут у них.
Годы носят свои дани.
Молодые уж невеста и жених [10].

Третья строчка здесь как бы проваливается под ногой идущего по мостику стиха. Здесь нужно внимание и осторожность. Любители привычных стихов,

* *Далее зачеркнуто*: пытавшийся создать числовую машину времени, установить законы времени, подчиняющие себе законы пространств

чьи глаза, как резвые мыши, бегают по половицам, метнутся в сторону, испуганные необычностью этой строки.

Да, это не путешествие по привычным, пробитым тропкам. Это прыжки со льдины на льдину по половодью освобожденного — от скованности размером — стиха.

Но не только разномерность стиха создает затруднение в первоначальном знакомстве с Хлебниковым. Разнородность синтаксических и грамматических форм, многоплановость описаний, пытающихся воссоздать многообразие зримого горизонта и того, что за ним находится,— все это часто принимается за вычурность и надуманность, в то время как на самом деле есть совершенно новое отношение к миру. Хлебников — Лобачевский поэзии [11] — недаром так бережно воспринимается воображением людей, даже незнакомых с его творчеством. Люди чуют огромность задач и дерзаний, которыми был озабочен этот великий поэт. И еще не подойдя к нему вплотную — издали снимают шапки перед самоотверженной его работой. Разве Хлебников не мог бы писать «просто»? Яснее и кристальней его строчек не придумать никому в мире:



В. В. МАЯКОВСКИЙ
Иллюстрация М. М. Синяковой-Уречиной к первому изданию поэмы Асеева
Из книги: Н. Асеев. Маяковский начинается. М., 1940

Из отдыха и вдоха
Веселый мотылек
На край чертополоха
Задумчиво прилег.
Летит его подруга
Из радуги и блеска,—
Два шелковые круга,
Из кружева нарезка.
И юных два желания,
Поднявшихся столбом,
Сошлися на свидание
И тонут в голубом [12],
(«Поэмы», первый голос)

— стихи, которые могут быть помещены в хрестоматию, если бы хрестоматии не были заняты ужасающими изделиями из самобытников [13].

Что может быть чище и хрустальней такого показа природы:

В холодном озере в тени
Бродили сонные лини.
И в глубине зеркальных окон
Сверкает полосатый окунь.
А сине-черный скворушка
На солнце чистит перышко [14].

Но не так много этой кристальной чистоты и ясности в мире, чтобы стих следовал только этим качествам. Есть войны и казни, есть темнота и муть, горе и страх. Их не покажешь с такой безмятежной зеркальностью. И стих начинает искать таких возможностей, чтобы вмещать в себя все многообразие противоречий мира, всю сложность его разномерных и разноценных движений.

Пусть пахарь, покидая борону,
Посмотрит вслед летящему ворону
И скажет: в голосе его
Звучит сраженье Трой,
Ахилла бранный вой [15].

Да, Хлебников сложен и труден. «Но, скажите, где, когда, какой великий выбирал — путь — чтобы протоптанней и легше?» [16]. Эти слова Маяковского так особенно применимы к творчеству Хлебникова.

А умный читатель не остановится перед этими трудностями, зная, что преодоленная трудность дороже и нужнее сердцу сотен ненужных легкостей и подделок под простоту.

Хлебников — певец единой материи, умеющий сообщить читателю дальнее видение вещей и событий, одинок и несравним ни с кем, кроме тех великих, раскопками памяти которых человечество занимается спустя века после их смерти. Нельзя ли сократить этот срок народу, сумевшему скинуть с себя века отсталости и бесправья, сохранив под ними, под этими веками, зоркий глаз и чуткий слух ко всему подлинно бесценно прекрасному, не поддающемуся учету, так как нет ему цены и меры.

⟨1940—1941⟩

Автограф. Личный архив, л. 2—7 (по авторской нумерации); л. 1 утерян, на л. 7 подпись: *Н. Асеев.*

[1] Об этом говорил Маяковский: «Хлебников — не поэт для потребителя. Его нельзя читать. Хлебников — поэт для производителя» (*Маяковский*, т. 12 «В. В. Хлебников»; см. также, с. 165).

[2] Из стихотворения «Тамара и Демон» (*Маяковский*, т. 6, с. 75).

[3] Не совсем точная цитата из поэмы «Во весь голос» (Там же, т. 10, с. 280—281).

[4] Из стихотворения «Послание пролетарским поэтам» (Там же, т. 7, с. 155).

[5] Перифраз строки из стихотворения «Приказ № 2 армии искусств» (Там же, т. 2, с. 88).

[6] Неточная цитата из «Слова о полку Игореве»: «свивая славы оба полы сего времени». Прозаический перевод Д. С. Лихачева: «свивая славы обеих половин своего времени» (См.: «Слово о полку Игореве». Л., «Сов. писатель». Библиотека поэта. Малая серия, 1953, с. 39 и 68).

[7] Редакторами и комментаторами рецензируемой книги были Н. Харджиев и Т. Грин.

[8] Из стихотворения «Разговор с фининспектором о поэзии» (*Маяковский*, т. 7, с. 122).

[9] В статье «Русский стих» (1957) Асеев развивает мысль о том, что эта сказка Пушкина создана «по образцу прибауточного, пословичного стиха» (*Асеев*, т. 5, с. 479).

[10] Из стихотворения «Медлум и Лейли» (Велимир Хлебников. Неизданные произведения, с. 209).

[11] См. выше, прим. 4 к выступлению Асеева 15 ноября 1939 г.

[12] Велимир Хлебников. Неизданные произведения, с. 31—32.

[13] Возможно, намек на фамилию одного из пролеткультовских поэтов — Маширова-Самобытника.

[14] Из стихотворения Хлебникова «В лесу, где лебедь с песней стонет...» (Там же, с. 213—214).

[15] Из стихотворения Хлебникова «Пусть пахарь, покидая борону...» (Там же, с. 195).

[16] Из стихотворения Маяковского «Сергею Есенину» (*Маяковский*, т. 7, с. 104).

⟨2⟩

ВЕЛЕМИР ХЛЕБНИКОВ В 1910—16 гг.*

После серного дождя, землетруса,
На обломках горелых бревен
человечек уже мучается
над постройкой нового крова.

Тебе будут плевать в лицо,
по пяткам бить бамбуком,
а ты, ославленный подлецом,
не дрогнув, идешь на всенародные муки.

---

* *Первоначальное заглавие* (*зачеркнуто*): «Велемиру Хлебникову».

Художник, бродяга, босяк,
стройный тюльпан пустыни,
без страха, без денег,
скользишь по камням,
одетый в лучи и овчину,—
мерцающим светом
руки подняты кверху.

Неутолимая надежда,
неугасимая купина,
и нынче яростней, чем прежде,
и на предвечные времена.

1950 г.

Машинопись. Личный архив.

С созданным здесь образом Хлебникова перекликается стихотворение «Сон», к работе над которым Асеев неоднократно возвращался на протяжении 1950-х годов (ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 32, л. 35—37). Автограф окончательной редакции «Сна» (1959) содержит авторское предисловие: «Эти стихи, имеющие главным образом литературное значение, я не удосужился опубликовать ввиду занятости другими, более неотложными произведениями» (Там же, л. 37). «Сон» был опубликован в 1962 г. (с авторской датой «1956—1961» — *Асеев*, т. 4, с. 233). Приводим его первоначальную, более полную, по сравнению с окончательной, редакцию (ЦГАЛИ, указ. ед. хр., л. 35).

Мне снилось, Хлебников пришел в Союз поэтов
(Христос, на торжище явившийся во храм) —
нагую истину самим собой поведав,
он был торжественно бесхитростен и прям!

Ему NN творить предписывал поэмы,
чтоб злободневные имелись в них места *,
чтоб преклонился он пред ним, но — были немы
его уста!

Вокруг него теснились мытари угрюмо,
а он, как облако, бесплотно прошумел
про толстодушие былого толстосума,
а я помочь ему не смел и не сумел!

Я не отрекся, и петух не пел в полуночь,
но сон прервался, и вставать пришла пора.
А — если верой и пылинки ты не сдунешь,
то как же может ею сдвинуться гора!?

1954 г.

‹3›

И грусть,
и смех,
и дождь,
и снег.

Ранее — рос лес,
радостен жил бог,
ныне там — лыс бес,
лепится глух мох.

Я знался с богами,
я жил среди них,
боролся с врагами
их песен живых.

Один был могуч
разлетом плечей,
другой был певуч,
как в роще ручей.

Был лоб его небо,
а сумерки глаз
смотрели, как заповеди,
на вас.

Один был игрок,
а другой был пророк,
но тот и другой
был душевно широк.

* *Далее зачеркнуто*: чтоб соответствовал уставу он, иль

Один прогремел,
просиял, прошутил,
другой разумел
теченье светил.

Но оба, но оба —
душой не таимы,
ни зависть, ни злоба
не ведомы ими.

И силы обоих —
мнилось — несметны,
но вот оказалось:
и боги — смертны!

‹1950-е годы›

Черновой автограф, без даты. Личный архив.
Судя по почерку и бумаге, написано в 1950-е годы.

‹4›

ИЗ «ПОЭТИЧЕСКОЙ ПАНОРАМЫ»

Еще Хлебников и Крученых
были в поэтах полузапрещенных.

А критическим нашим раззявам
все равно ведь с кем воевать:
формализм, футуризм или заумь,
было бы только что пожевать!

Хлебникова, чья хрустальная речь
могла бы примером стать образцовым,
хотели в заумье, в безумье упечь,
так был нелюб он нахохленным совам.

Пора бы, однако, прислушаться нам
к таким хотя бы его словам:

«Сегодня снова я пойду
опять туда — на торг, на рынок
и войско песен поведу
с прибоем рынка в поединок!» [1]

Но что стихи торгашьему миру?
Ведь их не внесешь гардеробом в квартиру,
на стол не поставишь, не выкроишь брюк;
ведь песни — это не вещи, а — звук!

17 ноября 1961 г.

Машинопись с авторской правкой. Личный архив.
О «Поэтической панораме» см. наст. том, с. 494—495.

[1] Неточная цитата из стихотворения «Сегодня снова я пойду...» (Велимир Хлебников. Неизданные произведения, с. 160).

К ГЛАВЕ XIV. «РАЗГОВОР С НЕИЗВЕСТНЫМ ДРУГОМ»
(Асеев и Пастернак)

История личных и творческих отношений Асеева и Пастернака носила сложный, порой драматический характер. В ней отчетливо проявились оказавшиеся разными в эпоху революционных преобразований жизненные и творческие судьбы обоих художников. История этих отношений — одна из важных, но совершенно неизученных страниц отечественной поэзии. Мы рассматриваем ее с учетом как известных, так и выявленных нами архивных материалов.

Знакомство Асеева и Пастернака относится, по-видимому, к началу 1910-х годов, когда оба они были студентами Московского университета [1]. Много лет спустя Асеев вспоминал: «Не знаю, каким именно образом случай свел меня с писателем С. Бобровым, через него с поэтом Борисом Пастернаком. Пастернак покорил меня всем: и внешностью,

и стихами, и музыкой» [2]. Очень скоро между ними установились дружеские отношения [3]. Вспоминая зиму 1913—1914 гг., Пастернак писал: «Я снимал комнату с окном на Кремль. Из-за реки мог во всякое время явиться Николай Асеев. Он пришел бы от сестер С., семьи, глубоко и разнообразно одаренной. Я узнал бы в вошедшем: воображение, яркое в беспорядочности, способность претворить неосновательность в музыку, чувствительность и лукавство подлинной артистической натуры» [4]. В 1913 г. они оба вошли в литературную группу «Лирика», возглавляемую С. П. Бобровым, и в том же году в одноименном альманахе, издававшемся этой группой, появились рядом стихи Асеева и Пастернака [5], что положило начало активной литературной деятельности обоих поэтов. С образованием литературного объединения «Центрифуга» Асеев и Пастернак вместе с Бобровым составили основное его ядро. Таким образом, к середине 1910-х годов Асеева и Пастернака связывала не только глубокая личная симпатия, но и участие в общих литературных начинаниях.

Первая книга стихов Пастернака — «Близнец в тучах» (1914) — вышла, как вспоминал ее автор впоследствии, «с дружеским предисловием Асеева» [6]. Асеев приветствовал начинающего поэта как «одного из ⟨...⟩ подлинных лириков новой русской поэзии»; «мы знаем,— писал он,— что звонко прозвучат эти стихи в оцепенелой тишине русского Символизма, ибо они наследство его по праву рождения» [7]. Сборник открывался стихотворением «Эдем», посвященным Асееву; оно заканчивалось обращением:

Ты к чуду чуткость приготовь
И к тайне первых дней:
Курится рубежом любовь
Между землей и ней [8].

В ответ Асеев написал «Терцины другу», вошедшие в первую книгу его стихов — «Ночная флейта» (1914):

Дерзай, поэт! Недолгой немотой
ответствуют небесные пространства.
Пей вешних трав целительный настой.
Да радостно твое пребудет пьянство... [9]

В книге стихов «Оксана» (1916) Асеев посвятил Пастернаку стихотворение «Сорвавшийся с цепей». Здесь в еще более усложненной, метафорически насыщенной форме, чем в «Терцинах к другу», содержался призыв к художественному овладению миром [10].

На эту книгу Пастернак откликнулся рецензией, в которой высоко оценивал творческие возможности молодого поэта: «Он сложен и замысловат; это неважно,— писал Пастернак об Асееве.— Он талантлив и творчески безупречен: важно это. Приемы его разнообразны тем разнообразием, которое пугает понимающих опасность для поэта. Каков же должен быть лирический темперамент автора, если над такою пестротою приемов он берет верх, если, невзирая на разнокачественность письма, автор — не эклектик ⟨...⟩ Вот свидетельства высочайшей марки, вещи совершенно неподражаемые, насыщенные, как камера — ⟨паром⟩ * — давлением вдохновенья: «Песня Ондрия», «Гремль 1914», «Тунь» [11]. В конце жизни Пастернак повторит высокую оценку ранней лирики Асеева: «В те годы наших первых дерзаний только два человека, Асеев и Цветаева, владели зрелым, совершенно сложившимся поэтическим слогом» [12].

В первые годы революции Асеев и Пастернак не встречались: начиная с 1915 г. Асеев с перерывами проходил военную службу, а в октябре 1917 г. уехал во Владивосток, где пробыл до января 1922 г. [13] Можно предположить, что в эти годы они переписывались редко [14].

Тем не менее поэтическая судьба Пастернака оставалась в центре внимания Асеева. В период пребывания на Дальнем Востоке Асеев пишет статью «О приемах творчества», вошедшую в его цикл «Современники» (1919). Сборник Пастернака «Поверх барьеров» (1917) рассматривается в ней как проявление неисчерпаемых возможностей современной поэзии, создающей «новый язык новых имен и ощущений» [15]. Два года спустя, в обращении «К современникам», которым открывался поэтический сборник Асеева «Бомба», Пастернак был назван наряду с Маяковским и Хлебниковым в числе самых выдающихся поэтов современности [16].

* В автографе, очевидно, ошибка — «народом».

По возвращении Асеева в 1922 г. в Москву дружеские связи обоих поэтов возобновляются. Асеев по-прежнему следит за работой Пастернака, откликаясь на его новые книги. В мае 1922 г. появляется рецензия Асеева на только что вышедший сборник стихов Пастернака «Сестра моя жизнь», в которой высоко оцениваются поэтические достижения ее автора: «После воздушного мальштрема, образовавшегося за походкой Маяковского, воронкой втянувшего в себя все попытки «обособиться» в работе над словом,— говорится в статье,— «Сестра моя жизнь» является новым трамплином песен, новым поводом отыскивать, как будто уже найденное, сокровище общения людского через слово...» [17] Асеев утверждает новаторство и современность звучания стихов Пастернака: «Если поэт тебе труден и все же с ним жаль расстаться, если эта трудность утомляет, но не отталкивает, перед тобой твой, за тебя запевающий современник» [18].

Рецензия Асеева на следующую книгу Пастернака — «Темы и варьяции» (1923),— озаглавленная «Организация речи» [19], имела для него принципиальное значение: в новой редакции, под заглавием, еще более обнажившим основную мысль статьи, «Мелодика или интонация?»,— автор включит ее в свою программную книгу «Дневник поэта» (1929) [20]. На примере пореволюционного творчества Пастернака Асеев рассматривает в этой статье вопрос о важнейшей, с его точки зрения, тенденции в развитии современной поэзии — о «сознательном противопоставлении интонационно-выразительного начала», отличающего творчество ведущих советских поэтов, прежнему, «мелодийному» началу, свойственному классической поэзии [21].

Положение о внутренней близости Пастернака и Маяковского получает здесь определенное обоснование: Асеев доказывает, что Пастернак с его «изумительной способностью строить строку по наиболее близкой к разговорной речи линии» [22], играет выдающуюся роль в «организации» современного поэтического языка, развивая то демократичное «интонационно-выразительное начало» (или, по его позднейшему определению, «звучащий голосовой стих» [23]), основу которого заложил Маяковский.

Статья внутренне полемична: Асеев защищает Пастернака от упреков в непонятности и недемократичности, предъявлявшихся ему некоторыми критиками [24]. Всем ходом своих рассуждений он подводит читателя к выводу о «непревзойденной силе» поэта, «чья роль замечательного организатора речи требовала бы для выяснения подлинной своей значительности специального длительного и внимательного исследования» [25].

Надо сказать однако, что Пастернак не согласился с основными положениями статьи Асеева. В позднейших воспоминаниях он писал: «Ради ненужных сближений меня с Маяковским находили у меня задатки ораторские и интонационные. Это неправильно. Их у меня не больше, чем у всякого говорящего» [26].

В первой половине 1920-х годов Пастернак и Асеев сотрудничали вместе в журнале «Леф», на страницах которого не раз появлялись их произведения [27]. Позднее Асеев вспоминал об этом времени: «Маяковский очень ценил участие Бориса Леонидовича в журнале ⟨...⟩ окружил его величайшим вниманием и заботой» [28]; он «пытался вовлечь его в орбиту своего движения в советской поэзии и советской жизни ⟨...⟩ хотел сделать его равным соратником в поэтической деятельности советского времени» [29].

О дружбе Асеева и Пастернака в те годы свидетельствует дарственная надпись Асееву, сделанная на книге «Сестра моя жизнь»: «Дорогой и драгоценный друг мой! Однажды и раз навсегда узурпировал ты слово «брат» [30] и однажды раз навсегда зажал им мне рот. И оттого моя любовь к тебе — без преувеличений и с точностью почти докучной — смешана постоянно с болью, что без этого слова, предвосхищенного тобой, ты так, наверное, и не узнаешь, сколько бы обстоятельства ни говорили тебе о том другими словами,— что́ ты составил в моей жизни и что́ ты представляешь для меня» [31].

Но уже в середине 20-х годов подспудно назревал драматический конфликт в отношениях поэтов. Еще в 1924 г. на страницах «Лефа» была напечатана поэма Пастернака «Высокая болезнь», в которой была выражена позиция художника, расходившаяся с принципиальными установками Маяковского и Лефа:

Уместно ль песнью звать содом,
Усвоенный с трудом
Землей, бросавшейся от книг
На пики и на штык?
⟨. . . . . .⟩
Мы были музыкой во льду.

Я говорю про всю среду,
С которой я имел в виду
Сойти со сцены, и сойду.
Здесь места нет стыду.
Я не рожден, чтоб три раза́
Смотреть по-разному в глаза... [32]

Как мы увидим далее, с этими программными строками Асеев спустя несколько лет будет спорить в статье «Вырождение двусмыслицы».

Тем не менее участие Пастернака в Лефе еще продолжалось. В 1927 г. в первом номере журнала «Новый Леф» был напечатан отрывок из поэмы «Лейтенант Шмидт» (под заглавием «14 ноября»). Маяковский тогда же назвал эту поэму «завоеванием Лефа», «революционной вещью», на которой «учиться надо» [33].

Однако уже в 1927 г. пути Асеева и Пастернака разошлись: Пастернак вышел из Лефа, «порвал,— по его собственному позднейшему признанию,— с Маяковским» [34], что послужило причиной его расхождения и с Асеевым: «В последние годы жизни Маяковского,—свидетельствует Пастернак,— 〈...〉Асеев, отличный товарищ, умный, талантливый, внутренне свободный и ничем не ослепленный, был ему близким по направлению другом и главною опорою. Я же окончательно отошел от него...» [35]. Как писал Пастернак, он «не понимал пропагандистского усердия Маяковского, его подчинения голосу злободневности»; для Пастернака, по его словам, было неприемлемо то «нетворческое, ремесленное полуискусство, которое процветало в Лефе», а также вся «система идей, которые в нем защищались» [36].

Тем не менее на страницах печати этот конфликт не нашел отражения, за исключением того, что имя Пастернака с 6-го номера «Нового Лефа» перестало значиться в числе сотрудников журнала. Более того, Маяковский и Асеев не теряли надежды сохранить его среди своих друзей и единомышленников и старались сгладить этот конфликт. В марте 1927 г. Маяковский назвал Пастернака в ряду тех, кого Леф всегда готов «защищать» [37]. В свою очередь, Асеев в «Записной книжке Лефа», опубликованной в апрельском номере «Нового Лефа», назвал Пастернака в числе своих «ближайших друзей, с которыми ничто не сможет изменить отношений» [38].

И после ухода Пастернака из Лефа участники конфликта сохраняли взаимное уважение и личную привязанность.

Асеев в своей программной книге «Дневник поэта» (1929) говорит об «огромном даровании» Пастернака, который «вопреки и наперекор его субъективным эмоциям представляет огромную двигательную и организационную силу» в современной поэзии [39].

В свою очередь, Пастернак в эти годы говорил об Асееве и Маяковском неизменно с любовью и уважением. В 1928 г. он писал, что долго сохранял видимость своего участия в Лефе исключительно «ради Маяковского, который, конечно, самый большой из нас» [40]. Об Асееве он отзывался тогда же как о человеке «большой сердечности и очень хорошем» и считал, что без его имени нельзя представить себе историю советской поэзии. Когда же летом 1929 г. Асеев тяжело заболел, они снова виделись «по-многу и так, как когда-то, лет 10 или 15 тому назад» [41].

Расхождение между Асеевым и Пастернаком стало очевидным, окончательно «оформилось» в самом начале 1930-х годов, сразу после смерти Маяковского. Это было связано с целым рядом программных выступлений Пастернака того времени, в которых отчетливо выявилась его общественная и эстетическая позиция.

В январе 1931 г. появилось стихотворение Пастернака «Смерть поэта», посвященное Маяковскому [42]. Поэт Леонид Вышеславский в своих воспоминаниях рассказывает, как в 1932 г. Асеев, заговорив о только что вышедшей книге Пастернака «Второе рождение», особенно резко полемизировал с этим стихотворением: «Зачем этот страшный, роковой выстрел приравнивать к Этне, величественному вулкану?! А внизу кто?

Твой выстрел был подобен Этне
В предгорьи трусов и трусих...

Асеев прочел эти строки с явным неодобрением, даже, как мне показалось, с обидой» [43].

Но особенно глубоко потрясла Асеева появившаяся автобиографическая повесть Пастернака «Охранная грамота». В ней не только впервые была вынесена на страницы печати история расхождения Пастернака с Маяковским и его ближайшим окружением, но — и это главное — Пастернак здесь впервые публично подверг решительной критике всю деятельность Маяковского за последнее десятилетие его жизни. Суть этой оценки Пастернак еще резче выразил потом в автобиографическом очерке «Люди и положения»: «За вычетом предсмертного и бессмертного документа «Во весь голос» позднейший Маяковский, начиная с «Мистерии буфф», недоступен мне. До меня не доходят эти неуклюже зарифмованные прописи, эта изощренная бессодержательность, эти общие места и изби-

тые истины, изложенные так искусственно, запутанно и неостроумно. Это, на мой взгляд, Маяковский никакой, несуществующий» [44].

В «Охранной грамоте» Асеева должно было поразить и то лаконичное, категорическое утверждение, которое относилось к нему самому: «От искусства, как и от жизни, мы добивались разного» [45].

Открытое столкновение взглядов, объяснявшее самую суть отчуждения поэтов друг от друга, произошло в декабре 1931 г., на творческой дискуссии в Московском отделении Всероссийского союза советских писателей, где Асеев выступил с докладом «Сегодняшний день советской поэзии».

«Из чего складываются в главном интересы сегодняшнего поэтического дня?» — спрашивал он и отвечал: «Первым бесспорным и главным интересом этого дня являются, конечно, проблемы социалистического строительства, во всей их бесконечной, сложной, взаимосвязанной полноте и глубине». При этом «для всех, кровно заинтересованных в судьбах советской поэзии, должно быть ясным, что разговор о проблематике соцстроительства включает в себя не только писание стихов о новостройках ⟨...⟩ и круг так называемых «вечных» тем включается в проблематику соцстроительства, но включается в нее, освещенный новым светом трудовых человеческих взаимоотношений. Что это значит для поэта? Это значит, что человечество — и он, поэт, как наиболее чуткое щупальце осязания, как наиболее отзывчивый эмоционально его кожный покров,— не только ощущает, не только реагирует, но и обменивается теплотой с окружающей его новой атмосферой. Что он не только видит этот новый, вырастающий вокруг него мир, но и участвует в его постройке» [46]. Для выполнения этой задачи «нужно найти им, этим проблемам, соответствующий стихотворный язык. Причем в понятие этого стихотворного языка включаются отдельные, изменяющиеся временно и идеологически представления о семантике, словаре, словосочетании, фонетике, ритмическом строении синтаксиса, рифме и т. д.». Эти «главные компоненты стихосложения,— продолжал докладчик,— являются решающими для нашей перестройки. Новаторство, изобретательство в области носителей и выразителей новой тематики необходимо», тогда как «самовлюбленность в свой «личный» творческий метод» приводит «на темные задворки недовольства, бессознательности, а иногда — и прямо враждебности соцстроительству» [47].

В центре дискуссии, развернувшейся вокруг этого доклада, оказалась полемика между Асеевым и Пастернаком. Несовершенство стенограммы дискуссии, записанной явно неудовлетворительно и оставшейся неправленной, не позволяет воспроизвести полностью выступление Пастернака и ответ на него Асеева. Поэтому приводим (частично в пересказе) только некоторые, наиболее существенные для нашей темы положения, высказанные ими.

Пастернак выступил в прениях по докладу дважды: «Возможны ли,— говорил он,— в наше время такие чудаки, которые бы не понимали, что мы живем не в светелке, что что-то расширяется, время крупное, большое?» И утверждал: «Время существует для людей, и я человек этого времени, и я это знаю, и именно в этом цель». Но, указывая на связь художника с временем, Пастернак настаивал на специфичности и сложности природы искусства, решительно отвергая лефовскую теорию «социального заказа»: «Искусство отличается от ремесла тем, что оно само ставит себе заказ, оно присутствует в эпохе как живой организм, оно отличается от ремесла, которое не знает, чего оно хочет, потому что оно делает все то, что хочет другой. Наша бестолочь потому и происходит — и ею грешат большие люди — что мы все говорим: надо то-то и то-то, и неизвестно, кому это надо. В искусстве это «надо» нужно самому художнику». Возражая против чрезмерного внимания к технике стиха, против того, что «все время происходит разговор о ремесле», Пастернак отметил неправомерность аналогий между такими явлениями как сумма технических навыков в строительстве и совокупность приемов в области поэзии, потому что «это области неравной проблематичности» [48].

Основную направленность выступления Пастернака поддержали и некоторые другие участники дискуссии, в частности, М. Тарловский, В. Инбер, Г. Шенгели, М. Зенкевич [49].

Свое заключительное слово Асеев почти целиком посвятил полемике с Пастернаком. Он подверг критике и его теоретические установки и его поэтическую практику последних лет. При этом он подчеркивал, что ведет свой спор с позиций «человека, ставшего силою вещей в противоположное понимание сути поэзии, но все же ценящего и знающего, что такое Пастернак» [50].

Свои возражения Асеев начал с указания на то, что Пастернак не имеет права на «отмахивание от поставленных в докладе задач» (л. 43 об.), в частности от вопросов «технологии».

«Все прекрасно знают,— говорил Асеев,— как своеобразны, необычны для поэтической практики именно те особенности творчества Пастернака, которые и привлекают к нему всех, которыми он и воздействует на всех. Нельзя думать, что только философские установки Пастернака предрешают внимание по отношению к нему ⟨...⟩ Он знал, как удержать себя от опасностей слиться с тем однообразием символического стиха, которое царило в то время. Он закрепил эти способы отличия, он поставил их главным символом своего творчества, он работал над ними все время ⟨...⟩ Борис Леонидович сказал, что этим можно заниматься в молодости. Вовсе не так. Как будто разговор о перестройке себя возможен только в молодости, как будто не каждый вол⟨ен⟩ и принужд⟨ен⟩ к этой перестройке и формально и мировоззренчески» (л. 42 об. — 43).

Признавая, что «много замечательного сделано Пастернаком» в области «технологии» стиха (л. 43), Асеев переходит к «самому важному» — к полемике с пастернаковской концепцией искусства и к истории своих расхождений с Пастернаком, определившихся на этой почве:

«Все эти мысли, которые были изложены в докладе, сталкиваются ⟨...⟩ с китайской стеной. Таковая — невнимание, некультурность в отношении вопросов технологии или сознательное сбрасывание их со счетов в силу такого вра⟨ста⟩ния в методы своего творчества и непризнания возможности разговора о них, как у Бориса Леонидовича, который поэтому неслучайно сейчас же ставит вопрос о гении и посредственности. Что это значит? То, что для гениальности, одаренности никакая мерка вообще не подходит. Посредственность пусть выбирает рифму, а гениальность сама за себя постоит и сама сделает, не о чем разговаривать. А между тем как раз для Пастернака чрезвычайно опасна, чрезвычайно губительна оказалась на практике шестилетней нашей размолвки именно такая установка. А размолвка — то, что в докладе было мною опущено для заключительного слова,— шла по линии постоянных споров о том, что мы постоянно думали и продолжали утверждать, что разговор о стихе — есть разговор о мастерстве, а Борис Леонидович предполагал, что вопрос о поэзии, о стихе — вопрос гениальности и удач. Тогда ⟨исключается⟩ возможность выращивания, возможность помощи тем кадрам, которые путаются в бесплодном ⟨вер⟩сификаторстве, путаются в подражании ⟨...⟩ Нужно сказать, что с Борисом Леонидовичем мы шли 15 лет вместе и весь тот мальчишеский жар к овладению технологией мы провели вместе, Казалось бы, нет ничего, что могло бы разлучить нас ⟨...⟩ мне казалось, что наши пути шли параллельно, потом они на полградуса разошлись, и это развело так, что пути пошли в противоположные друг другу стороны. И пытаясь в докладе позвать Пастернака опять возможно где-нибудь встретиться, я имел в виду главным образом товарищеский, серьезный разговор о поэзии. И мне крайне неприятно, что силой такой аудиторной поддержки, чрезвычайно вредной ⟨...⟩ Пастернака опять относит в сторону от этого разговора, что Пастернак натягивает удила, что он опять бросится в небеса поэзии при помощи той поддержки, которую вы ему даете, которая пружинит его от земли. Вы сочувствуете тем установкам, которые ему абсолютно не полезны и отрывают его от возможности разговора. Я сказал на одном собрании, что Пастернак вовсе не такой беспомощный, чтобы нуждаться в поддержке. Тогда очень хороший женский голос мне назидательно сказал: «Пастернак высоко талантлив». Как будто все этим кончается. Как будто — высоко талантлив — нужно запечатлеть на нем, как крышку склепа, а там как хочешь разбирайся. С этой фразы разговор и начинается. После этого и нужно говорить, какие условия формировали эту высокую талантливость, какой же его личный опыт в этой окончательной отработке высокой талантливости. И больше того, когда дело идет о его закапризничании, вы похлопываете, и он все больше взрывается штопором вверх» (л. 44—45 об.). Асеев упрекнул поддерживавших Пастернака литераторов в том, что они, вместо заводской или комсомольской аудитории, оставляют поэту «угол». «Не здесь его масштаб творчества, не здесь — среди высококультурных поэтов. Оставляя его в этой комнате, оставляя его только на потребу себе, вы снижаете его значимость» (л. 45 об.).

Асеев говорил о «губительности» и «опасности» для Пастернака его точки зрения на природу художественного творчества, так как она влечет за собой «инертность» его философской и общественной позиции (л. 45 об). Свою мысль Асеев пояснил конкретными примерами из поэтической практики Пастернака, в частности, характеристикой поэмы

«Спекторский»: «Более или менее блестящие строфы, которые там разбросаны почти в необычном изобилии, меня отчасти радовали и отчасти не удовлетворяли, потому что тратился весь порох пастернаковский на обработку какой-то устарелой темы, носящей недостаточную ясность, даже мне, знающему Пастернака, неизвестной» (л. 46 об.). «Какие мотивы в конце концов раздаются в творчестве Пастернака?»— спрашивал Асеев и отвечал: «Мотивы чрезвычайно мрачного настроения, мрачного ощущения жизни. Очевидно, это столкновение двух тем, столкновение и побеждаемость личной темы, которая пыталась открыть ему коридор эпохи. Прохождение дальнейшее в эту сторону ⟨...⟩ приводит вот к чему:

Светает. Осень, серость, старость, муть.
⟨Горшки и бритвы, щетки, папильотки.
И жизнь прошла, успела промелькнуть,
Как ночь под стук обшарпанной пролетки⟩ [51],

т. е. ⟨...⟩ приводит его к полной отчужденности» (л. 47).

Здесь Асеев имеет в виду строки из «Вступления» к поэме «Спекторский», написанного в 1930 г. и выразившего чувство творческого одиночества, которое Пастернак испытал после полного разрыва с недавними товарищами и друзьями. В этом «Вступлении» Асеева особенно больно поразили последние строфы, которые он принял на свой счет:

Где сердце друга?— Хитрых глаз прищур,
Знавали ль вы такого-то?— Наслышкой.
Да, видно, жизнь проста...но чересчур.
И даже убедительна... но слишком.

Чужая даль. Чужой, чужой из труб
По рвам и шляпам шлепающий дождик,
И, отчужденьем обращенный в дуб,
Чужой, как мельник пушкинский, художник [52].

Поэтому в своем заключительном слове, говоря об «отчужденности» Пастернака, Асеев и вспомнил эти строчки: «Уже глаз первого друга, который был по отношению к нему самым прямым образом направлен, кажется ему «хитрым глазом прищура». Не покажется ли ему сейчас, что здесь опять какое-то желание его деклассировать, желание нанести неприятность, когда здесь идет разговор о борьбе за Пастернака, когда идет разговор ⟨о том, чтобы⟩ отвоевать его от того, что считается поиском случайных вещей, отвоевать к главной теме, которая поставлена в центре доклада, чтоб он не почувствовал себя отчужденным, чтобы не подчинялся мании, что следит «хитрый глаз прищура», когда он идет по улице, так как это опасная штука, это начало ощущения боязни, что тебя предает стоящая рядом рука, что голос, который поднят в защиту тебя, является голосом уже нападающим ⟨...⟩ тут можно было бы еще примеры приводить, но я хочу поставить на этом точку. Я не хочу распинать Пастернака, делать его установки более реакционными, что также имеется у него, с которыми он боится расстаться, потому что они заквашены его молодостью, детством и фундаментом его культуры, который кажется непреодолимым, который отдавать ему кажется незачем» (л. 47, 47 об.).

Не ограничиваясь устным выступлением, Асеев намеревался тогда же полемизировать с Пастернаком в печати. Об этом свидетельствуют черновые редакции стихотворения, само заглавие которого—«Сердце друга»,— отдельные детали вроде упоминания о «хитрых глаз прищуре» и все содержание показывают, что оно возникло как ответ на цитированные строфы из «Вступления» к поэме «Спекторский», а также на некоторые другие программные стихотворения Пастернака.

Асеев формулирует здесь свою общественную и творческую позицию, противопоставляя ее позиции Пастернака. Приводим стихотворение «Сердце друга» в наиболее полной его редакции [53].

1

Не сердись. Но ты чуть-чуть мне жалок
И, в своей предвзятости, смешон...
Вместо тех испытанных, бывалых,
Падавших в лавинах и обвалах,—
Несколько предубеждений вялых —
Разве ими спор с тобой решен?

2

Разве в том была твоя задача,
Чтоб, оставшись с виду простачком,
Все косноязыча и чудача,
Всех пересчитав, пересудача,—
Будто бы не может быть иначе,—
Проходить в историю бочком?

3

Я не принимал — двух разных шкур,
Двух оттенков кожи во вниманье,
Как за юбкой бродит девичур,
Я с тобой был близок чересчур,
Где же этот «хитрый глаз прищур»*
В бескорыстном ты сыскал романе?

4

Помнишь: время мчалось под уклон,
Ветром рвало в стороны событья,
Красный хутор [54], иволговый клен,
Я из сердца их не выгнал вон,
В эти всплески юности влюблен,
Их зажить не смог и позабыть я!

5

Я с другим пошел к плечу плечом,
С тем, который в общей памяти хранится,
С ним, земли восставшим трубачом,
А в твоей обиде — не при чем.
В жизни — мне одним была ключом
Та — в пути плескавшая криница.

6

Так вот мы с тобой и разошлись,
В стороны враждебные расстрелись.
Ты во весь размахивался лист,
Ты боялся оглянуться вниз,
Ты иных искал и встреч и лиц,
Мне — все тех же улыбалась прелесть.

7

Все тебе твои успехи снятся,
Все ты ими бредишь наяву.
Мне на них не хочется равняться,
Сам ты знаешь; первенствовал Надсон,
Свод стихов, засаленных, как святцы,
Поднимал в конвульсиях молву.

8

Мне другие радости даны,
Я людей не завлекаю позой.
Мы с любым читателем равны,
Наши судьбы вместе сплетены,
Я живу — сочувствием страны,
Не ее капризом, не угрозой.

9

Разве виноват я, что река
Берегов раскатывает устье,
И летит отчальная доска,
И седеет пена у виска,
И вбирает море моряка,
В общем направленьи, в общем чувстве?

10

И тогда не жмет грудная клетка.
В горло воздух будущего бьет.
И летит соленая отметка,
И светла грядущего расцветка,
И за пятилеткой пятилетка
Выше гор кавказских восстает!

Последняя строфа подчеркнуто противопоставлена известным строкам из стихотворения Пастернака «Другу»:

И разве я не мерюсь пятилеткой,
Не падаю, не подымаюсь с ней?
Но как мне быть с моей грудною клеткой
И с тем, что всякой косности косней? [55]

О стихотворении «Другу» Асеев также говорил и в своем заключительном слове на дискуссии: «В этом стихотворении о пятилетке Борис Леонидович опять оставляет неразрешенным вопрос об отношении искусства и той действительности, которая окружает его» (л. 47 об.).

Вероятно, тогда же, в самом начале 30-х годов, Асеев начал писать полемическую статью под заглавием «Вырождение двусмыслицы». Неизвестно, была ли написана эта статья,— сохранились лишь две первые ее страницы. Содержание этих страниц, посвященных самым истокам расхождения Маяковского и Асеева с Пастернаком, связанного, как уже отмечалось, с поэмой «Высокая болезнь», позволяет предположить, что Асеев намеревался дать здесь свое освещение истории этого расхождения, в противовес только что изданной «Охранной грамоте» Пастернака. Приводим полностью сохранившиеся страницы статьи:

«Когда-то, не так еще давно, Б. Пастернак декларировал непреклонную стойкость своих взглядов, своей оценки мира, своего к нему отношения, заявляя:

Я не рожден, чтоб три раза́
Смотреть по-разному в глаза...

Заявление это дышало гордой обреченностью, консерватизмом английского джентльмена, вросшего с ушами и ногтями в вековые традиции старинного рода, не умеющего, даже если бы и захотел он, изменить эту свою приращенность к ним.

* Неточная цитата из Пастернака. Надо: «хитры*х* глаз» (*Стихотворения и поэмы*, с. 307).

При всей его пышной непреклонности, нам и тогда это заявление казалось несколько необоснованным: откуда у Б. Пастернака эти традиции и почему бы ему, человеку взрослому и образованному, не пересмотреть свое мировоззрение, если он заметил, что мировоззрение это заводит его в тупик, ослабляет зоркость его глаз, портит его голос фальшивыми, надтреснутыми нотами. Ведь не лорд же он, на самом деле, английский, связанный веками выработанными рефлексами — только надменного и только презрительного окидывания глазами черни.

Да мы видали, впрочем, и лордов, умевших восстать против традиций старого общества, когда им становилась видима высвобождающаяся формула нового. Таким был, например, сиятельнейший и родовитейший лорд Байрон. Консерватизм лорда Пастернака казался, таким образом, и тогда еще в значительной мере надуманным и наигранным.

Не говоря уже о неточности этого заявления, где основной смысл его «не рожден, чтобы по-разному смотреть на вещи»,— подменялся моральной категорией «смотреть по-разному в глаза», т. е. кому-то изменить, кого-то предавать, а между тем следовало изменить себя, предавать на суд общественного внимания свои мысли и поступки,— не говоря уже обо всем этом, стоит вспомнить, что уже тогда была дана краткая и сильная характеристика подобным настроениям в формулировке В. Шкловского о том, что не может быть, чтоб вся армия шла не в ногу, пребывая в убеждении, что один только взводный идет именно в ногу.

Однако Б. Пастернак настаивал именно на таком своем праве трактовать события в своих стихах, и мы с сожалением вынуждены были принимать эту позу, рассчитывая на всеисцеляющее и всепобеждающее время. Мы с некоторой неловкостью за бестактность современника пережидали все эти повторяющиеся припадки верности несуществующим гербам, мы с недоумением сторонились от застарелых старомодных» (на этом рукопись обрывается) [56].

По-видимому, статью Асеев не завершил, а «Сердце друга» осталось ненапечатанным. Вероятно, их резкость показалась самому автору чрезмерной. Но спор поэтов продолжался подспудно.

Лев Озеров вспоминает, что, слушая в 1933 г. его стихи, написанные под непосредственным влиянием Пастернака, Асеев «стал говорить о жизни, о Маяковском, о судьбе русского стиха, о языке ⟨...⟩ Позднее я понял, что Асеев спорит не столько со мной, сколько с Пастернаком. На расстоянии, но как с близким, кровным другом, о самом главном, о самом сокровенном ⟨...⟩ Он говорил то о Маяковском, то о Пастернаке. И я понял, что самый счастливый момент его, асеевской, жизни: все трое дружны, молоды, обнадежены. И как несчастен был Асеев, когда Маяковский с Пастернаком разошлись. Он мысленно, душевно все время пытался их сочетать, соединять, ставить рядом, но — разводил, сопоставлял, противопоставлял» [57].

Этот эпизод помогает понять, почему, работая над поэмой, Асеев отказался от полемичности, которой пронизаны и «Сердце друга», и «Вырождение двусмыслицы», и написанная в 1936 г. статья «Друзья подлинные и мнимые», в которой он выступил против тех, кто «раздувает авторитет» Пастернака, противопоставляя его Маяковскому [58].

Глава поэмы, посвященная Пастернаку, выдержана в спокойном тоне и полна грусти, она — дань их прошедшей молодости, в ней звучит и надежда на возможность взаимопонимания в будущем:

А я не с тобою
сижу в этот вечер,
шучу, и грущу, и смеюсь
не с тобою.
И в разные стороны
клонятся плечи,
хоть общие
сердцу страшны перебои!

Неназванный друг мой,
с тобой говорю я:
неужто ж безвстречно
расходятся реки?
Об общем истоке
не плещут, горюя,
и в разное море
впадают навеки? [59]

Пастернак никак не откликнулся на поэму Асеева [60].

Но в 1939 г. Пастернак присутствовал на праздновании 25-летия творческой деятельности Асеева и выступил в печати с приветствием, адресованным ему — «Другу, замечательному товарищу»:

«Хорошо известен образ поэта как соратника Маяковского, его заслуги перед обществом, давно нашедшие признание и в последнее время удостоившиеся награды. Это вещи общеизвестные.

Но только благодаря тому, что это — замечательный лирик и поэт по преимуществу, с прирожденной слагательской страстью к выдумке и крылатому, закругленному выражению, так безупречны и не имеют себе равных «Русская сказка», «Огонь», стихи о детях и беспризорных и все то, что наравне со всеми, и в этом отношении без соперников, с такой душевной прозрачностью, глубиной и естественностью писал Асеев на революционные, историко-гражданские и общечеловеческие темы.

Поколению (не исключая и Маяковского) была свойственна одаренность общехудожественная, распространенного типа, с перевесом живописных и музыкальных начал. В отличие от сверстников, Асеев с самого начала удивлял редкой формой поэтического дара в его словесно-первичной, классической форме» [61].

Эти слова всецело обращены в прошлое.

А через несколько лет, во время Великой Отечественной войны, происходит заметное потепление в отношениях обоих поэтов. Об этом свидетельствуют два письма Пастернака Асееву, написанные в 1943 г. после отъезда Асеева на Чистополя в Москву.

«Дорогой Колечка!— писал Пастернак 19 января 1943 г.— С любовью и увлечением берусь за перо, чтобы писать тебе ⟨...⟩ Я задумал писать тебе потому, что надеюсь между переводом написать 2 главы для продолжения «Охранной грамоты» и несколько стихотворений «ни для кого», которые наверное пошлю тебе. Но еще не дожидаясь этого, мне хочется написать тебе следующее. Большое спокойное мое счастье последнего времени составляет сознанье, что какие-то исторические обстоятельства, то есть сила самих вещей складывает мою дружбу с тобою так, как я мечтал о ней когда-то давно, когда по молодости я и ты должны были поддерживать ее силами своего хотенья, а это всегда утомляет, один исступляется больше, а другой меньше, и всегда я подозревал себя, что недостаточно отвечаю тебе, а теперь нас, помимо сердца, сближают окружающие факты, и, главное, лучшие, интереснейшие из них» [62].

Ответ Асеева неизвестен. 26 марта 1943 г. Пастернак вновь писал ему: «Дорогой Коля! Большое спасибо тебе за чудное письмо и за вероятную твою помощь по телеграмме: действенность перемены я приписываю твоему вмешательству ⟨...⟩

По-прежнему (может быть, это самообман) мне кажется, что я полон сил и предположений, что только сейчас понял, что мне надо и могу то, чего хочу. По-прежнему радуюсь тебе, тому, что ты в жизни оказался рядом, независимо от того, как мы этим воспользовались.

Ты очень хорошо сказал в письме про нашу работу: единственный измеритель прожитого» [63].

Мы не знаем, как складывались отношения Асеева и Пастернака в последующие десять лет. Но в 1953 г. они, по-видимому, встречались, и эти встречи носили характер дружеского общения. Это подтверждается двумя письмами Пастернака Асееву, написанными в феврале 1953 г. из Болшева в Москву. Живя после тяжелого инфаркта в санатории, Пастернак читал рукопись поэмы Асеева «Гоголь» [64]. «Чтением твоего «Гоголя»,— писал Пастернак 5 февраля 1953 г.,— обновил наше пребывание в Болшеве. Живем в лесу, разузоренном 35-градусным морозом. Ясность, скованная безветрием, но благодаря красоте и завороженности как бы сама унесенная неведомо куда. Это, вероятно, постоянное и самое общее свойство красоты, что, находясь перед глазами и оставаясь на месте, она всегда уводит куда-то вдаль. Это и главная черта твоей поэмы ⟨...⟩

Что сказать тебе? Читать поэму было мне радостью, наслаждением. Она — привольный, ненавязчивый вырез из более широкого мыслимого мира необязательных изображений, где наряду с нею стояли бы по соседству другие произведения такой же подлинности и чистоты. В одиночестве она немыслима, и трагична, как выпущенный в непогоду в поле чистый беззащитный ребенок ⟨...⟩

Поздравляю тебя. Теплящаяся краска некоторых кусков, трепет колорита напомнил мне самые свободные твои дерзания самого молодого твоего прошлого. Конечно, все это сказано сейчас совсем по-другому, да так оно и нужно» [65].

Очевидно, тогда же Асеев читал роман, над которым Пастернак в это время работал. 27 февраля 1953 г. Пастернак писал Асееву по поводу романа: «Помнишь, я говорил тебе, что во многих отношениях это ослабление прежних навыков и возможностей,

и, наверное, путь в ненужную сторону, а может быть, и тупик. И, однако, при всем сознании этого, я, чуть почувствовал себя лучше, начал тут писать окончание вещи».

Ответ Асеева неизвестен. По свидетельству К. М. Асеевой, он высоко ценил стихи, включенные в роман, сам же роман считал слабым в художественном отношении; позднее он охарактеризует его как «роман-неудачник» [66].

Высоко ценил Асеев деятельность Пастернака-переводчика. «Гете и Шекспир стали доступны и сродни ему не только с того момента, когда он сел за перевод на русский язык их творений,— это были близкие старейшие друзья его юности,— писал Асеев в статье «Новая жизнь «Фауста»» (1956).— Поэтому так явственны и объемны образы шекспировских поэм в трактовке их Пастернаком, и поэтому такими доступными нашему воображению становятся персонажи гетевской трагедии» [67]. Статья была проникнута прежним восторженным отношением к раннему творчеству поэта, подготовившему его выдающиеся поэтические достижения как переводчика.

В 1957 г. Пастернак написал «Вступительный очерк» к собранию своих стихотворений, которое готовилось в Издательстве художественной литературы. Издание не осуществилось, и очерк был напечатан лишь десять лет спустя под заглавием «Люди и положения». В личном архиве Асеева хранится машинописная копия «Вступительного очерка», полученная, по свидетельству К. М. Асеевой, от Пастернака. Из многочисленных помет Асеева на ее страницах видно, что при чтении очерка в центре его внимания была фигура Маяковского и его роль в судьбах советской поэзии.

Позиция Пастернака в этом вопросе была выражена ясно и недвусмысленно. От оговорок и разъяснений возможности другого, по сравнению с ним, подхода к творчеству Маяковского, содержавшихся в «Охранной грамоте», не осталось и следа. И читая очерк, Асеев не мог не продолжать своего старого спора о Маяковском.

Можно предположить, что под влиянием этого чтения Асеев написал статью «О поэзии громогласной и приглушенной», явившуюся частью большого замысла поэта последних лет жизни, озаглавленного «К истории советской поэзии».

Очевидно, в процессе этой работы он сделал выписки из произведений Маяковского и Пастернака, расположив их под рубриками: «Образы Маяковского» и «Образы Пастернака». Выписки подытоживало заключение: образы Маяковского — «предметы внешнего мира (телеобразы)», образы Пастернака — «вещи комнатного обихода» [68]. На этом противопоставлении строится и статья: с точки зрения Асеева, Пастернак — «мастер детали», который «все дальше уходит ⟨...⟩ за подробностями быта, приравнивая к домашности весь огромный мир», Маяковский же «создал свой мир образов огромного масштаба, которые видны далеко и ясно»; и если голос Маяковского, голос «агитатора, горлана, главаря», раздавался не только в пределах одной страны, но увлекал за собой и дальние сердца, находя отклик во всем молодом человечестве», то Пастернак «уже не рассчитывал на большие аудитории, оставаясь поэтом подробностей, и подробности эти, к сожалению, закрыли от него горизонт» [69]. Мы видим, что эти оценки творчества Пастернака решительно отличаются от оценок, которые дал ему Асеев в 1923 г. в статье «Организация речи». Если в 1923 г. интерес Пастернака к «подробнейшей детали повествования» Асеев рассматривает как проявление «реалистичности» поэтического мышления, то в 1962 г. он увидит в этом признак ограниченности художественного мышления.

Образ Пастернака — поэта «микрообразов» из «комнатного обихода» — возникает у Асеева и в «Поэтической панораме», над которой он работал в 1960-е годы, после смерти Пастернака. Здесь этот образ рисуется уже в откровенно сатирических тонах:

Пастернак на высокой жердочке
замолкал — обижаясь — петь;
где ж ему из открытой форточки
весь широкий мир осмотреть!

И «Сестра его жизнь» оставила...
в этом поздно его винить;
он хотел под папашины правила
всю вселенную подчинить.

Перейдя на докучную прозу,
подавил он в себе творца,
сохранив неприступную позу
в Геростратовом пепле конца... [70]

Таков, казалось, итог многолетнего спора между бывшими друзьями и единомышленниками. И все же есть в истории Асеева и Пастернака, в последние годы их жизни, и другие страницы.

В эти годы встречи Асеева с Пастернаком прекратились. Вот что рассказывает об этом Андрей Вознесенский: «Я не встречал человека,— говорит он об Асееве,— который так беззаветно любил бы чужие стихи. Артист, инструмент вкуса, нюха, он, как сухая нервная борзая, за версту чуял строку ⟨...⟩ Пастернак был его пламенной любовью. Я застал, когда они уже давно разминулись. Как тяжелы размолвки между художниками! Асеев всегда влюбленно и ревниво выведывал — как там «ваш Пастернак»? Тот же говорил о нем отстраненно — «даже у Асеева и то последняя вещь холодновата». Как-то я принес ему книгу Асеева, он вернул мне ее не читая» [71].

В 1959 г. Асеев написал Пастернаку письмо. Неизвестно, было ли оно отправлено, но письмо это очень важно для понимания их взаимоотношений последних лет [72]:

«Дорогой Боречка,
не знаю зачем, но я хочу написать тебе эти несколько строк, как возможность какого-то никогда неосуществленного разговора. Мы так редко видимся и так мало знаем друг о друге, что тебе может показаться странной и эта моя попытка вызвать отклик на обращение к тебе. Но так мне хочется, так я считаю возможным и необходимым для нас обоих. Вот послушай.

Оказывается, умереть не страшно...
Вот вдруг упал, умолк и охладел.
Была бы только жизнь украшена
Сиянием каких-то добрых дел.

Чтобы тебя не вялость, не усталость
К последнему порогу привели,
И чтоб после тебя осталась
Не только горсть развеянной земли!

Лишь доживи до этого спокойства,
И стань доволен долей небольшой,
Чтобы и мозг и плоть твоя и кости
Пришли в одно содружество с душой;

Такое непреложное решенье,
Что с каждым часом мне всего видней,
Я оставляю людям в утешенье,
Хорошим людям. Лучшим из людей [73].

До свиданья, Боречка. Я все же на него надеюсь. Твой Ник. А с е е в».

Через год после этого письма Пастернака не стало. В архиве Асеева сохранилось несколько черновых стихотворных набросков, написанных в дни, последовавшие за смертью Пастернака. Асеев говорит о его похоронах. Зрительное впечатление перерастает в этих стихах в поэтический символ, утверждающий бессмертие художника: молодежь несет гроб поэта, «Подняв высоко на руках, // Как бы приблизив к синей дали // И вечной славе в облаках» [74].

И уже в последние годы своей жизни Асеев с горечью говорил о «бесхозяйственном» отношении к творчеству Пастернака: «Непризнание его как большого поэта было прежде всего бесхозяйственным с точки зрения государственной пользы, могшей наглядно представить миру овладение столь сложным сознанием человека, не сразу, но тем прочнее пришедшего от идеалистической философской системы, воспитавшей его в самом центре этой философии Марбурге,— к ясному и убедительному в своей необычной выраженности пониманию действительности. К сожалению, этого не произошло. Непризнанность его как своего сочлена новой общественностью отчудила Пастернака от себя, заставив его искать опоры в тех впечатлениях детства и юности, которые легли в основу романа, явившегося как бы уходом сознания от непризнающей его, как поэта, действительности» [75].

И наконец, последняя страница в сложной и драматичной истории отношений Асеева и Пастернака. Лев Озеров вспоминает:

«За три дня, за два дня, за день до смерти ⟨...⟩ Асеев, бледный, измученный, отрывая ото рта трубку с кислородом, говорил:

— Прочитайте «Спекторского»!

Читаю: «Не спите днем. Пластается вдоль стен...»

— Не то! «Вступление»...

Начинаю: «Привыкши выковыривать изюм...» Асеев подхватывает. Читаем в два голоса.

— Нет, больше не нужно. Здесь страшные строки: «И отчужденьем превращенный в дуб...» Сейчас...

И он долго кашляет. Некоторое время лежит, закрыв глаза. Отходит, но еще с закрытыми глазами говорит: «Как писал Боря!»

Чувствуется: даже сейчас продолжается его нескончаемый душевный разговор-спор» [76].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Асеев говорил в конце 1931 г., что до размолвки с Пастернаком, имевшей к тому времени шестилетнюю давность, они «шли 15 лет вместе» (Н. А с е е в. Сегодняшний день советской поэзии. Доклад и заключительное слово. 10 и 13 декабря 1931 г. — Стенограмма. Машинопись.— ИМЛИ, ф. 157, оп. 1, ед. хр. 76, л. 44, об.).

[2] *Асеев*, т. 1, с. 8.

[3] К. М. Асеева свидетельствует, со слов Николая Николаевича, что в молодости Асеев и Пастернак некоторое время жили вместе, снимая одну комнату.

[4] *Охранная грамота*, с. 102. Зимой 1913—1914 гг. Пастернак жил в Лебяжьем переулке у Каменного моста. Сестры С.— сестры Синяковы. Одна из них, Надежда Михайловна (в замужестве Пичета), проживала в Москве на Б. Полянке. У нее жили приехавшие из Харькова сестры Ксения и Вера, постоянно бывали в доме и две другие сестры—Мария (в замужестве Уречина), профессиональная художница, и Зинаида (в замужестве Мамонова), известная певица. К. М. Синякова в 1914 г. стала женой Асеева. По ее свидетельству, Н. М. Пичета была предметом юношеского увлечения Пастернака.

[5] «Лирика. Первый альманах». М., «Лирика», 1913. Здесь были напечатаны стихи Асеева («Песня бочарных подмастерьев», «Переулок поэтов», «Три сына», «Признак», «Веление») и Пастернака («Я в мысль глухую о себе...», «Константину Локс», «Сумерки... словно оруженосцы роз...», «Сегодня мы исполним грусть его...», «Как бронзовый закат жаровень...»). Это было первое выступление Пастернака в печати. Асеев дебютировал в 1911 г. (см. прим. 3 к вступ. заметке в разделе «Асеев и Хлебников»). О группе «Лирика» Пастернак вспоминал: «У нас было в сообществе с Асеевым и несколькими другими начинающими небольшое содружеское издательство на началах складчины. Знавший типографское дело по службе в «Русском архиве» Бобров сам печатался с нами и выпускал нас...» (*Люди и положения*, с. 223—224).

[6] *Люди и положения*, с. 224.

[7] Борис П а с т е р н а к. Близнец в тучах. М., «Лирика», 1914, с. 6.

[8] Там же, с. 9—10. В дальнейшем это стихотворение не перепечатывалось.

[9] Николай А с е е в. Ночная флейта. М., «Лирика», 1914, с. 26; *Асеев*, т. 1, с. 36.

[10] Николай А с е е в. Оксана. М., «Центрифуга», 1916, с. 21; *Асеев*, т. 1, с. 83.

[11] Рецензия Пастернака, датированная 3 января 1917 г., предназначалась для третьего сборника «Центрифуги», который не вышел в свет. Цитируется по фотокопии с автографа, предоставленной редакции «Литературного наследства» Е. Б. Пастернаком. Автограф, хранившийся в личном архиве С. П. Боброва, утерян.

[12] *Люди и положения*, с. 214; см. также с. 232.

[13] «Советские писатели. Автобиографии в двух томах», т. 1. М., Гослитиздат, 1959, с. 91—92; письма Асеева С. П. Боброву (1917; ЦГАЛИ, ф. 2554, оп. 1, л. 8—10, 16—17).

[14] «Что Боря?», «Что слышно о Боре?» — спрашивал Асеев Боброва 5 октября и 19 декабря 1917 г. (Там же, л. 16 и 19).

[15] «Дальневосточное обозрение», 1919, № 84, 15 июня. К статье Асеев сделал примечание: «Отсутствие книг заставляет нас цитировать исключительно по памяти образцы новой поэзии».

[16] Николай А с е е в. Бомба. Владивосток. 1921, с. 1. См. прим. 20 к вступ. статье к наст. публикации.

[17] Ник. А с е е в. Письма о поэзии («Сестра моя жизнь» Пастернака) — *КН*, 1922, № 3 (7), с. 253.

[18] Там же, с. 251.

[19] *ПР*, 1923, № 6.

[20] Н. А с е е в. Дневник поэта. Л., «Прибой», 1929.

[21] *ПР*, 1923, № 6, с. 73.

[22] Там же, с. 73.

[23] *Асеев*, т. 5, с. 502.

[24] См., напр., статью С. А. Клычкова «Утверждение простоты» (газ. «Новости», 1922, № 4, 30 октября).

[25] *ПР*, 1923, № 6, с. 78.

[26] *Люди и положения*, с. 223.

[27] В журнале «Леф» были напечатаны следующие произведения Пастернака: «Кремль в буран конца 1918 года» (1923, № 1), «1-ое мая» (1923, № 2), «Высокая болезнь» (1924, № 1); Асеева: «Через мир — шаг», «Интервенция веков» (1923, № 1), «1-ое мая» (1923, № 2), «Машина времени» (1923, № 3), «Черный принц» (1923, № 4), «Лирическое отступление» (1924, № 2).

[28] «Воспоминания о Маяковском» (1961). Машинопись, л. 44.— Личный архив. В печатный текст «Воспоминаний...» (глава «Артель Лефа».— *Асеев*, т. 5, с. 667—678) эти слова не вошли.

[29] Н. А с е е в. Фадеев и Пастернак. Машинопись. Личный архив. Маяковский постоянно называл Пастернака в числе сотрудников «Лефа» и «Нового Лефа» (*Маяковский*, т. 13, с. 164, 212, 232 и др.).

[30] Возможно, имеется в виду поэтический образ из стихотворения «Осада неба» (Николай А с е е в. Оксана, с. 13; А с е е в, т. 1, с. 51):

Эй, эй! Он брат нам, брат нам, брат нам!
Его, его земель и прав длина...
Не будет здесь на ветре ратном
его дыханье окровавлено.

«Он» в контексте стихотворения — человек вообще, «товарищ».

[31] Полный текст надписи и стихи, включенные в нее, см.: *Стихотворения и поэмы*, с. 702 и 550. Об истории разыскания этой надписи см.: Лев О з е р о в. Мой Асеев.— *Воспоминания о Николае Асееве*, с. 107—109.

[32] Первая публикация поэмы — «Леф», 1924, № 1; *Стихотворения и поэмы*, с. 236, 239—240.

[33] *ЛН*, т. 65, с. 62. Заметим, что позднее Пастернак иначе охарактеризует отношения Маяковского к его творчеству 20-х годов: «Он (Маяковский.— *А. К.*) не любил «Девятьсот пятого года» и «Лейтенанта Шмидта» и писание их считал ошибкою. Ему нравились две книги: «Поверх барьеров» и «Сестра моя жизнь» (*Люди и положения*, с. 227).

[34] *Люди и положения*, с. 230. О конкретных обстоятельствах выхода Пастернака из Лефа см. в наст. томе: «Из переписки Б. Л. Пастернака с писателями» (Пастернак — В. П. Полонский, п. 9, прим. 8).

[35] *Люди и положения*, с. 231.

[36] Там же, с. 230. См. также в наст. томе: «Из переписки Б. Л. Пастернака с писателями» (Пастернак — В. П. Полонский, п. 9, прим. 7).

[37] *ЛН*, т. 65, с. 62.

[38] «Новый Леф», 1927, № 2, с. 3. См. также: Н. А с е е в. Дневник поэта, с. 15.

[39] Н. А с е е в. Дневник поэта, с. 148, 142.

[40] См. наст. том: Переписка Б. Л. Пастернака с писателями (Пастернак — В. П. Полонский, предисловие).

[41] См. наст. том: Переписка Б. Л. Пастернака с писателями (Пастернак — В. С. Познер, п. 2 и прим. 4 к нему; Пастернак — Н. С. Тихонов, п. 9).

[42] *НМ*, 1931, № 1; *Стихотворения и поэмы*, с. 356.

[43] Леонид В ы ш е с л а в с к и й. Бесконечный сонет Асеева.— *Воспоминания о Николае Асееве*, с. 127.

[44] *Люди и положения*, с. 230.

[45] *Охранная грамота*, с. 102.

[46] Н. А с е е в. Сегодняшний день советской поэзии. Доклад во Всероссийском союзе советских писателей. 10 декабря 1931 г.— *КН*, 1932, № 2, с. 160—161. Авторизованная машинопись доклада хранится в ИМЛИ (ф. 157, оп. 1, ед. хр. 78—81).

[47] *КН*, 1932, № 1, с. 161, 171, 169.

[48] Б. П а с т е р н а к. Выступления по докладу Н. Асеева «Сегодняшний день советской поэзии». 10 и 13 декабря 1931 г. Стенограмма.— ИМЛИ, ф. 157, оп. 1, ед. хр. 92, л. 4 об. и 1.

[49] См.: ИМЛИ, ф. 157, оп. 1, ед. хр. 76.

[50] Н. А с е е в. Заключительное слово к докладу «Сегодняшний день советской поэзии». Стенограмма.— ИМЛИ, ф. 157, оп. 1, ед. хр. 76, л. 46 об. Далее ссылки на соответствующие листы стенограммы приводятся в тексте.

[51] *Стихотворения и поэмы*, с. 306. Первая публикация — *НМ*, 1930, № 12.

[52] *Стихотворения и поэмы*, с. 307.

[53] Черновой автограф, без заглавия.— Личный архив. Сохранилось еще пять незавершенных редакций этого стихотворения, незначительно отличающихся от публикуемого текста (ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 20, л. 52—55). Одна из этих редакций озаглавлена «Сердце друга» (л. 52).

[54] Подразумевается Красная поляна, дачное место под Харьковом, где находился загородный дом Синяковых — родителей будущей жены Асеева. Здесь в 1910-х годах в летнее время нередко гостили Асеев, Пастернак и Хлебников.

[55] *Стихотворения и поэмы*, с. 199. Впервые: *НМ*, 1931, № 4.

[56] «Вырождение двусмыслицы». Черновой автограф (2 лл.). Личный архив.

[57] Лев О з е р о в. Мой Асеев.— *Воспоминания о Николае Асееве*, с. 106.

[58] «Комсомольская правда», 1936, № 10, 12 января.

[59] *Асеев*, т. 3, с. 478.

[60] К. М. Асеева и М. М. Уречина-Синякова в устных беседах с автором этой статьи не раз вспоминали один и тот же эпизод, относящийся к моменту выхода поэмы в свет: К. М. Асеева, М. М. и В. М. Синяковы с радостью показывают Пастернаку только что появившуюся книгу «Маяковский начинается»: «Посмотрите, Боречка, как замечательно написал о вас Коля!»— на что получают такой ответ Бориса Леонидовича (после продолжительной паузы): «Да, иллюстрации очень хороши!»

[61] *ЛГ*, 1939, № 11, 26 февраля.

[62] Это и следующие письма цитируются по автографам, любезно предоставленным редакции «Литературного наследства» Л. А. Озеровым.

[63] Ответные письма Асеева найти не удалось. Сохранилось начало одного из них: «Москва, 3 июня 1943. Дорогой Боречка! Прости, прости, прости, что не писал тебе так долго» (ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 71, л. 4 об.).

[64] Эту поэму см.: *Асеев*, т. 4.

[65] См. прим. 62.

[66] А с е е в. Фадеев и Пастернак. Машинопись. Личный архив.

[67] «Мастерство перевода». М., «Сов. писатель», 1965, с. 395—396. В статье «Фадеев и Пастернак» Асеев упоминает о том, что он обращался к руководителям Союза советских писателей с просьбой отметить переводческую работу поэта каким-нибудь общественным поощрением (Машинопись. Личный архив).

[68] Черновой автограф (1 л.). Личный архив.

[69] «О поэзии громогласной и приглушенной».— *Асеев*, т. 5, с. 502—503.

[70] Машинопись с авторской правкой. Личный архив.

[71] *НМ*, 1980, № 9, с. 160.

[72] Копия письма (машинопись с авторской правкой) сохранилась в личном архиве Асеева.

[73] Стихотворение опубликовано с разночтениями: *Асеев*, т. 4, с. 134.

[74] ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 44, л. 8.

[75] А с е е в. Фадеев и Пастернак. Личный архив.

[76] Л. О з е р о в. Мой Асеев.— *Воспоминания о Николае Асееве*, с. 107. Строки из «Спекторского» цитируются в статье не совсем точно.

II
ИЗ ЭПИСТОЛЯРНОГО НАСЛЕДИЯ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

А. К. ВОРОНСКИЙ

ИЗ ПЕРЕПИСКИ С СОВЕТСКИМИ ПИСАТЕЛЯМИ

Вступительная статья и публикация Е. А. Динерштейна

Вопрос: Какую работу считаете наиболее подходящей для себя?
Ответ: Редакционную.

Из анкеты Воронского (1922 г.) [1]

Луначарский считал Воронского одним «из образованнейших и наиболее глубоких представителей нашего художественного или научно-художественного коммунистического мира»; Вяч. Полонский полагал, что за ним «в истории советской литературы должно укрепиться имя Ивана Калиты» [2]. Даже его литературные противники вынуждены были признать, что созданный им журнал «Красная новь» в первые годы своего существования шел «впереди нашей литературы» [3].

Профессиональный революционер, чьими «университетами» стали тюрьмы и ссылки, он был наделен природой ярким литературным талантом и обладал громадной работоспособностью. Еще в стенах бурсы за ним прочно укрепилось ироническое и в то же время почтительное прозвище «писатель». Но путь в литературу оказался тернистым и долгим. Первыми увидевшими свет произведениями Воронского стали листовки, отпечатанные на самодельном гектографе.

Старый большевик Сергей Васильевич Малышев вспоминал, как в 1905 г. на явку Петербургского комитета партии, который в тот момент представляли они с Марией Ильиничной Ульяновой, с рекомендацией от Тамбовской организации пришел юноша, твердо заявивший, что хочет посвятить себя служению Революции. Несмотря на уговоры повременить, «парень ершился, шумливо требовал предоставить ему работу в партии...» [4]. Увидев, что обратно его не повернешь, Малышев решил познакомиться с ним поближе. И не ошибся в своих расчетах. Отныне работа в партийных организациях Петербурга, Свеаборга, Владимира, Москвы, Екатеринослава, Одессы, Николаева и других городов Российской империи знаменовала этапы жизненного пути товарища Валентина.

Александр Константинович Воронский родился 27 августа ст. ст. 1884 г. в селе Хорошавка Кирсановского уезда Тамбовской губернии[5]. Отец его, Константин Иосифович, был священником в местной церкви, мать, Феодосья Гавриловна, после смерти мужа преподавала в Тамбовском женском епархиальном училище. Фамилию его предкам дала небольшая речушка Ворона, протекавшая по тамбовской земле, где испокон веков они имели свои приходы. Ту же судьбу предназначали родители и Александру Воронскому, определив его в Тамбовскую духовную семинарию. Но при переходе в последний, шестой класс Училищный совет исключил его «без балла поведения за буйство, вредное в политическом отношении...» [6]. К этому времени он был уже тесно связан с местной социал-демократической организацией и твердо наметил для себя жизненную дорогу.

За годы революционной деятельности Воронский проявил себя незаурядным пропагандистом и организатором. Начинал «товарищ Валентин» с работы в Василеостровской партийной организации Петербурга (1905) и Финляндской партийной организации, подготовившей Свеаборгское восстание (весна 1906 г.). Вместе с Марией Ильиничной

Ульяновой и С. Кржижановским был руководителем Саратовской партийной организации. Сохранилось немало и других свидетельств о годах его пребывания в подполье [7].

Особую роль в жизни Воронского сыграла Пражская партийная конференция 1912 г., на которой он встретился с В. И. Лениным. Как известно, Воронский вел протоколы конференции, баллотировался в члены ЦК, но собрал на один голос меньше, чем Ф. И. Голощекин. По заданию Владимира Ильича он вернулся в Россию с целью разъяснения решений конференции в ряде местных организаций партии, и, выданный провокатором, в очередной раз оказался за тюремной решеткой. О перипетиях своего пути в поисках «живой воды» Воронский рассказал в неоконченной книге воспоминаний [8].

После Великой Октябрьской революции Александр Константинович — один из руководителей Одесской и Ивановской губернских партийных организаций, ответственный редактор местных газет, член ВЦИК трех созывов, участник советской делегации, подписавшей мирный договор с Румынией. Но где бы, на какой работе ни находился Воронский, он не забывал о своем призвании. Еще в 1911 г., находясь на нелегальном положении, он сотрудничает в газете «Евпаторийские новости» и в одесской газете «Ясная заря», редактором которой был В. В. Воровский (одна из статей, опубликованных на ее страницах, была посвящена М. Горькому) [9]. В 1918—1920 гг. Воронский весьма интенсивно печатается в ивановской газете «Рабочий край» [10]. Но по-настоящему его литературное дарование раскрылось в годы сотрудничества в «Правде», «Красной нови», «Прожекторе» и ряде других столичных изданий.

Известно, что о Воронском высокого мнения был Ленин, считавший его «старым, надежнейшим партийцем». Именно такими словами он характеризовал Воронского, направляя одно из его писем 1919 г. в военное ведомство [11]. Владимир Ильич знал и о его влечении к литературной деятельности и об организаторских способностях: редактировавшийся им «Рабочий край» был аттестован Отделом печати ЦК РКП(б) как одна из лучших провинциальных газет [12]. Да и Горький, со своей стороны, указывал Ленину на эту газету как на центр, вокруг которого группируются настоящие пролетарские поэты [13].

Острая нехватка партийных литературных кадров обусловила перевод Воронского в Москву. 3 февраля 1921 г. Н. К. Крупская подписала приказ о назначении его заведующим редакционно-издательским подотделом Главполитпросвета. В марте 1921 г. Оргбюро ЦК РКП(б) утвердило его членом коллегии агитационно-пропагандистского отдела Госиздата, а в январе 1922 г. он был введен в состав членов редколлегии издательства, вначале как временный, а затем и постоянный заместитель ее председателя. Некоторое время он заведовал и литературным отделом «Правды» (см. п. 7). В Госиздате Воронский работал до лета 1924 г. (получив в июне трехмесячный отпуск для лечения, он уже больше туда не возвратился). Все это время (с некоторым перерывом в 1923 г.) он ведал литературно-художественным отделом издательства. Причем под его непосредственной опекой находился выпуск советской художественной литературы.

Предложение издавать «толстый» литературно-художественный и общественно-политический журнал «Красная новь» Воронский обосновал 5 февраля 1921 г., выступая перед руководством Главполитпросвета [14]. Внимание и личное участие Ленина, на квартире которого в Кремле проходило первое организационное собрание редакции «Красной нови», предрешили успех дела [15]. В чрезвычайно сжатые сроки Воронскому удалось подготовить первый номер и в начале апреля 1921 г. сдать в набор. Редакция журнала была полностью автономна: наравне с другим журналом Госиздата «Печать и революция», «Красная новь» была освобождена от предварительного просмотра материала в редакционном секторе издательства.

Новый журнал быстро завоевал популярность. Приветствуя появление «Красной нови», рецензент журнала «Печать и революция» писал, что «это очень крупная победа на нашем литературном фронте... Благодаря огромной энергии и несомненному редакторскому таланту тов. А. Воронского, технические и иные препятствия преодолены» [16]. Мнение рецензента разделяли представители различных литературных течений. В том числе и будущие противники Воронского. Дм. Фурманов восторженно отзывался о первых книжках «Красной нови»: «Объемистый и содержательный журнал Главполитпросвета уже за короткое время своего существования (вышло всего три номера) успел заслужить внимание и симпатии всей нашей мыслящей и читающей публики. Умелая организаторская рука незаурядного редактора сумела при величайших затруднениях объединить вокруг журнала все лучшее, что только имеется в литературном и научном резерве



А. К. ВОРОНСКИЙ
Фотография. Липецк. Сентябрь 1929 г.
Семейный архив Г. А. Воронской, Москва

Республики: журнал пестрит большими именами, изобилуя статьями первостепенного значения»[17].

Пройдет ряд лет и, поздравляя Вяч. Полонского с успехами редактируемого им «Нового мира», Луначарский в своей оценке журнала отметит: «На мой взгляд (думаю, что я не преувеличиваю), «Новый мир» сейчас любопытнее д а ж е (разрядка наша.— *Е. Д.*) «Красной нови»[18]. Это «даже» — красноречивое свидетельство того, сколь высок был авторитет «Красной нови» в глазах современников.

«Красная новь» не являлась пионером советской журналистики. До ее выхода было сделано несколько попыток возродить практику издания литературно-художественных журналов. «Пламя», «Творчество», «Художественное слово» наряду с групповыми журналами Пролеткульта, выпускавшимися в центре и на местах, активно противостояли органам внутренней эмиграции. И тем не менее существовали они недолгое время, не оставив заметного следа в памяти своих современников. Неудачу, постигшую организаторов этих журналов, нельзя объяснить лишь одними техническими трудностями, хотя последние многое и определили в их судьбе. Все эти издания были предприняты прежде, чем создались объективные предпосылки к их выпуску. Первые советские журналы не имели ни целостной эстетической программы, ни авторского актива, ни своего постоянного читателя. Старые писатели в большинстве своем выжидательно молчали, публикуя случайные вещи, часто не имеющие никакой связи с современностью. Новые были слишком малочисленны. Советская литература делала еще только первые шаги.

«Красная новь» возникла в более подходящий момент.

С введением нэпа в стране оживилась деятельность частных и кооперативных издательств, появилось несколько частных журналов. Возникала опасность оживления буржуазной идеологии. Необходимо было привлечь на свою сторону все лучшее, чем располагала в те дни русская литература, объединить, как тогда говорили, на советской платформе всех писателей, сочувствующих новой власти, независимо от принадлежности к той или иной литературной школе. В организационном плане такую роль в известной мере выполнял московский Дом печати, в творческом — журнал «Красная новь». Однако «Красная новь» в начале своего существования была журналом не столько литературно-художественным, сколько общественно-политическим. Художественный отдел составлял всего лишь одну пятую часть материалов журнала [19].

Если в отделах политико-экономическом, научном, критическом первого номера были напечатаны статьи таких авторов, как В. И. Ленин, Н. К. Крупская, А. В. Луначарский, Н. Л. Мещеряков, А. К. Тимирязев, то отдел художественного слова не блистал именами. Тогда еще не писатель шел к Воронскому, а Воронскому приходилось искать своих будущих авторов. Н. Никитин, например, вспоминал, как, будучи еще совсем безвестным литератором, он однажды утром был разбужен каким-то человеком, пожелавшим познакомиться с ним и его друзьями из кружка «Серапионовы братья». Незнакомец оказался редактором «Красной нови», приехавшим в Петроград, чтобы на месте получить материал для журнала [20].

Как представлял свои задачи сам Воронский, приступая к редактированию журнала? Новое время требовало новых песен. Воронский собирал не просто литературу. На страницах произведений, печатавшихся в «Красной нови», находили отражение Революция и Новь, рожденная этой революцией. В строчки и страницы должна была войти современная жизнь со всеми ее достижениями и противоречиями, трудностями и темными сторонами быта. Кто должен был это сделать? На кого следовало делать ставку? И Воронский отвечал: «Вести ⟨...⟩ идейную борьбу должна новая литературная молодежь, вышедшая по большей части из рядов рабоче-крестьянской интеллигенции. Такая литературная молодежь у нас есть» [21].

О первых результатах этой своей работы по выявлению новых литературных сил Воронский сообщает В. И. Ленину в письме от 21 апреля 1922 г.: «В противовес «старикам», почти сплошь белогвардейцам и нытикам, я задался целью дать и «вывести» в свет группу молодых беллетристов — наших или близких нам. Такая молодежь есть. Кое-каких результатов я уже добился. Дал Всеволода Иванова — это уже целое литературное событие, ибо он крупный талант и наш. Есть у меня С. А. Семенов, Зуев, Либединский, Н. Никитин, Федин и др. Все это молодежь — самый старший В. Иванов 27 лет, все они из Красной Армии, из подлинных низов, с красноармейскими звездами. Твердо уверен, что через год-два эта зелень совсем окрепнет и займет места Чириковых и прочих господ и займет с честью. Против «стариков» я организую молодежь. Это нужно; обстоятельства складываются так, что беллетристика в ближайшее время будет играть очень большую роль — такие времена. Таланты из низов прямо прут — им только надо дать ходу и сорганизовать идейно» [22].

Не в пример идеологам Пролеткульта и им подобным, Воронский понимал под словами «наших или близких нам» не писателей, связанных общностью пролетарского происхождения или принадлежностью к определенной литературной группировке, а людей, объединенных своим отношением к революции и Советской власти. Вот почему «нашими» были для него и коммунисты Либединский и Семенов, и беспартийные Бабель и Федин. Критерием оценки произведений и пролетарского писателя, и попутчика должны были служить лишь идейная направленность произведения и талант автора.

Воронский откровенно ориентировался на молодежь, но он прилагал максимум усилий, чтобы привлечь к журналу и литераторов старшего поколения. Весьма знаменательно, что первый номер открывался произведениями молодого, почти никому тогда неведомого Всеволода Иванова и старейшего крестьянского писателя Семена Павловича Подъячева. По инициативе Воронского, в конце 1921 г. редактором художественного отдела был приглашен В. В. Вересаев, имя которого было весьма авторитетно для многих его коллег. И действительно, вскоре читатели «Красной нови» могли познакомиться с новыми произведениями А. Н. Толстого, М. М. Пришвина, М. А. Волошина, самого Вересаева и ряда других известных писателей.

Наряду с журналом Воронский вскоре организует и литературные сборники. Появ-

ляются альманахи «Наши дни», как бы дополняющие «Красную новь». Но этого было еще недостаточно, чтобы оказать в полной мере помощь развитию молодой советской литературы и чтобы противостоять активизировавшемуся при нэпе частному книгоизданию с его продукцией развлекательно-бульварного характера, а также с альманахами и журналами сменовеховских или откровенно оппозиционных по отношению к советской действительности литераторов.

Ограниченные технические возможности не позволяли в то время Госиздату увеличить выпуск художественной литературы. С горечью отмечая тяжелое положение книжного дела в Советской России, Воронский писал о необходимости его реформирования: «Писатель не может издавать своих произведений, если даже они далеко стоят от белогвардейщины... Происходит это, помимо общих известных причин (разруха, отсутствие бумаги, краски и т. д.), иногда и от идейного обскурантизма, и от непонимания и неумения, и от ошибок организационного характера. Едва ли правильно стремление сосредоточить все или почти все издательское дело в руках Госиздата: это непосильная задача в данное время для государства» [23].

По первоначальному плану, изложенному Воронским на заседании Главполитпросвета 14 февраля 1922 г., предполагалось организовать ряд объединений писателей «советского направления», параллельно которым следовало создавать несколько кооперативных литературно-художественных издательств [24].

Проявленная инициатива встретила полную поддержку Агитационно-пропагандистского отдела ЦК, который созвал 21—23 февраля 1922 г. под председательством Я. А. Яковлева совещание представителей всех заинтересованных организаций. Основными докладчиками выступили Воронский и председатель редакционной коллегии Госиздата Н. Л. Мещеряков.

В основе выступления Воронского лежала мысль о необходимости «сплочения близко стоящих к нам писателей». Докладчик считал, что «только таким путем мы сможем повести идейную борьбу на книжном рынке».

Предложения Воронского были приняты. В специальной резолюции «О мерах объединения и поднятия работы издательств близких нам групп» говорилось о том, что Госиздат должен всячески поддерживать группу пролетарских писателей, «Серапионовых братьев» (при условии их неучастия в «реакционных издательствах»), «Центрифугу» (кроме руководителя С. Боброва в объединение входили тогда такие писатели, как Б. Пастернак и С. Буданцев), группу В. Маяковского, в которой особо выделялись имена Н. Асеева и С. Третьякова. Намечались и некоторые другие меры [25].

Насколько важна была тема совещания, можно судить по тому факту, что буквально через три дня — 27 февраля — Оргбюро ЦК РКП(б) рассмотрело его рекомендации. В развернутом решении «О борьбе с мелкобуржуазной идеологией в области литературно-издательской», принятом по выступлениям Яковлева и Воронского, предложения Агитпропа нашли полную поддержку. На следующий день президиум редакционно-издательской коллегии Главполитпросвета, в который входил и Воронский, реализуя принятое постановление, поручил ему организовать кооператив советских издательств, органом которого должен был стать новый еженедельник [26].

В дальнейшем от создания такого издательского объединения пришлось отказаться, передав инициативу его организации Госиздату. Видимо, из-за этого выпуск «тонкого» литературного журнала несколько задержался. Зато в 1923 г. их появилось сразу три: «Красная нива» (с января), «Прожектор» (с февраля), а затем «Огонек» (с апреля). Одним из редакторов «Прожектора», издававшегося при газете «Правда», стал Воронский.

6 июля 1922 г. Политбюро ЦК РКП(б) образовало под председательством Я. А. Яковлева специальную «Комиссию по организации писателей и поэтов в самостоятельное общество», в работе которой наряду с другими приняли активное участие Воронский, Мещеряков и П. И. Лебедев-Полянский. С самого начала комиссия решила при организации беспартийного общества использовать фактически существующую группу «Красной нови». К совместной работе было признано необходимым привлечь более широкие слои писательской общественности, чем это было сделано на февральском совещании в Агитпропе: и «старых писателей», примкнувших к Революции в первый же ее период (таких, например, как Брюсов и Горький), и пролетарских писателей, группирующихся вокруг различных ассоциаций, и футуристов, и имажинистов, и «Серапионовых братьев», и группу колеблющейся, политически не оформившейся, но талантливой молодежи. Для

того чтобы придать этой ассоциации деловые формы и избежать возможной бюрократизации, было решено «идти к организации общества через издательство». Инициативную группу составили Воронский, Н. Асеев, В. Брюсов, Вс. Иванов, Н. Ляшко, Б. Пильняк. 26 июля 1922 г. специальная литературная комиссия, созванная Политбюро ЦК РКП(б), назначила Воронского ответственным за организацию нового издательства, названного по его предложению «Круг» [27].

Литературно-эстетическая платформа «Круга» в основном совпадала с позицией «Красной нови». В декларации, написанной, правда, значительно позднее, но содержащей программу, всегда близкую «Кругу», говорилось, что основная задача творчества писателей — отражение «нового быта Советской России и тех социальных, психологических и идейных явлений, которые обусловили собою зарождение новых форм общественных отношений». Декларация особо оговаривала, что «художественные приемы, применяемые писателями для осуществления этой литературно-общественной программы, могут быть разнообразны, в зависимости от индивидуальности того или иного автора», но «Круг» считает наиболее близкой себе такую интерпретацию, в основе которой лежит «реалистическое мироощущение и миропонимание» [28].

Декларацию подписали почти 40 крупнейших советских писателей, в их числе М. Горький, Н. Асеев, И. Бабель, А. Веселый, Ф. Гладков, М. Зощенко, Вс. Иванов, В. Каверин, В. Казин, И. Касаткин, Л. Леонов, Н. Ляшко, А. Малышкин, Н. Никитин, А. Новиков-Прибой, Н. Огнев, Б. Пастернак, М. Светлов, Л. Сейфуллина, И. Сельвинский, И. Соколов-Микитов, Н. Тихонов, К. Федин, А. Чапыгин, В. Шишков. Большинство этих лиц сотрудничало и в «Красной нови». Среди подписавших декларацию было и двое видных деятелей РАПП — В. Саянов и А. Фадеев.

Деятельность «Красной нови» и «Круга» развивалась успешно, однако их работа и положение их редактора чрезвычайно осложнялись и затруднялись той групповой борьбой, которая разгорелась в эти годы на литературном фронте. Особенно ожесточенно нападали на Воронского претендовавшие на гегемонию в литературе члены группы «На посту» (1923—1925), а позднее лидеры Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП).

Полемика напостовцев и рапповцев с Воронским затрагивала целый ряд вопросов, в частности, о значении художественного наследия, о пролетарской литературе и о роли творческого вклада в советскую литературу писателей, которых принято было объединять понятием «попутчики».

Если напостовцы резко противопоставляли пролетарскую литературу всей остальной и возражали даже против понятия «советская литература» (Семен Родов утверждал, например: «Никакой советской литературы нет и быть не может. Литература всегда классовая и поэтому может быть или пролетарской, или непролетарской» [29]), то Воронский в пылу полемики выдвинул не менее ошибочный антитезис: «Пролетарского искусства нет и быть не может в переходную эпоху диктатуры пролетариата» [30].

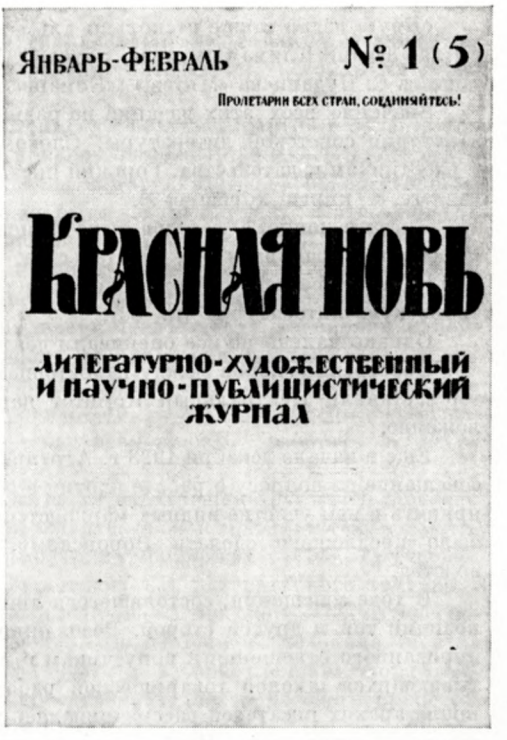
Тем самым Воронский дал основание упрекать его в том, что он по выражению Луначарского, «переоценил правый фланг попутчиков и несомненно недооценил молодую поросль пролетарской культуры» [31]. Можно говорить об известной недооценке им таких этапных произведений советской литературы, как «Чапаев» Фурманова, «Железный поток» Серафимовича, поэма Маяковского «Владимир Ильич Ленин».

Однако было бы несправедливо не видеть, что в орбиту внимания Воронского как критика и редактора входило и многое из созданного пролетарскими писателями. Он высоко оценивал поэзию Демьяна Бедного предреволюционных лет и периода гражданской войны, сочувственно писал о рабочих поэтах Иваново-Вознесенского края, о творчестве ряда поэтов и прозаиков «Кузницы». Что же касается авторов, принадлежавших к рапповской группе, то повесть Либединского «Неделя» увидела свет на страницах редактировавшегося Воронским альманаха «Наши дни», а роману Фадеева «Разгром» он дал весьма положительную оценку в рецензии, опубликованной в «Прожекторе» (1927, № 7).

Воронский имел право сказать о себе, что «ни в практической работе, ни в теоретической» он «не старался воздвигать искусственных средостений между пролетарскими писателями и попутчиками». В отличие от рапповских критиков он стремился подчеркнуть общность черт, присущих лучшим произведениям советской литературы, черт, являющихся, по его выражению, «результатом воздействия на писателя Октябрьского — экономического, политического и культурного — ренессанса» [32]. Поэтому Воронский пре-

доставлял страницы «Красной нови» писателям разных направлений, писателям, в творчестве которых он видел эти черты.

Действительно, в журнале печатались и члены группы «Кузница», и крестьянские писатели и поэты, и лефовцы, и конструктивисты, и «серапионы», и молодняк из «Перевала», и многие писатели, коммунисты и беспартийные, не входившие ни в какие группировки. Столь широкое представительство свидетельствует о стремлении Воронского привлечь к журналу почти все наиболее талантливое, чем располагала тогда советская литература. Понятно, что Луначарский, не разделявший некоторых взглядов Воронского, писал, осуждая рапповские нападки на него: «В общем, т. Воронский держался той же линии, которой держится Наркомпрос и которую я считаю единственно правильной линией, в общем и целом фактически одобренной партией» [33].



ЖУРНАЛ «КРАСНАЯ НОВЬ», 1922, № 1/5
Обложка

В «Красной нови» в 1921—1927 гг. появились такие значительнейшие произведения советской литературы, как «Мои университеты», «Дело Артамоновых» и «Жизнь Клима Самгина» (первые главы) М. Горького, «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова, «Цемент» Ф. Гладкова, «Перемена» М. Шагинян, «Барсуки» Л. Леонова, «Виринея» Л. Сейфуллиной, «Конармия» и «Одесские рассказы» И. Бабеля, «Аэлита» и «Голубые города» Ал. Толстого, «Дневник Кости Рябцева» Н. Огнева, «Кащеева цепь» М. Пришвина, «Разин Степан» А. Чапыгина, «Зависть» Ю. Олеши, «Анна Снегина» и «Русь Советская» С. Есенина, «Дума про Опанаса» Э. Багрицкого, «Сами» и баллады Н. Тихонова, стихи В. Маяковского и Н. Асеева... За шесть лет редакторства Воронского на страницах журнала успели выступить 75 беллетристов, 104 поэта и 101 критик. По тем временам это были значительные цифры, свидетельствующие о весьма серьезных достижениях журнала.

«Я вообще умею ценить человеческую работу,— писал Горький в одном из своих писем к Воронскому,— и вы можете быть уверены, что я хорошо представляю себе, каких трудов стоило вам поставить журнал так, как вы это сумели сделать, я чувствую, как много сил тратите вы, чтоб удержать его на этой высоте. Я внимательно слежу за вашей полемикой с «На посту», за хулиганскими выходками Лефа и лично к вам имею чувство искреннего уважения». И позднее Горький продолжал считать, что «заслуга ⟨Воронского⟩ перед новой русской литературой так же неоспорима, как поучительна» его энергия. «Вами,— писал Горький своему корреспонденту,— создан самый лучший журнал, какой возможно было создать...» [34].

К заслугам Воронского следует причислить и результаты деятельности «Круга». В каталоге издательства, подводившем итоги пятилетней работы (1922—1927), были перечислены наиболее значительные вещи, вышедшие под его маркой. Здесь были названы сборники рассказов И. Бабеля, Е. Зозули, Вс. Иванова, В. Каверина, Л. Леонова, Н. Ляшко, Н. Никитина, Н. Огнева, А. Перегудова, Б. Пильняка, М. Слонимского, К. Тренева, А. Толстого, К. Федина, О. Форш, двухтомник М. Пришвина, повести А. Малышкина, П. Низового, А. Новикова-Прибоя, Л. Сейфуллиной, В. Шишкова, роман А. Белого «Москва», «Разин Степан» А. Чапыгина.

Поэзии в планах издательства уделялось меньше внимания, чем прозе. Тем не менее издательство сумело выпустить три сборника стихотворений Маяковского, избранное Асеева и Есенина, «Брагу» Тихонова, «Рабочий май» Казина, «Улялаевщину» Сельвинского, избранное Мандельштама.

«Круг» издал также несколько альманахов, на страницах которых увидели свет главы из «Жизни Клима Самгина», поэма Б. Пастернака «Спекторский», рассказы Зощенко, повесть С. Буданцева «Мятеж» («Командарм») и др.

Значение всех этих изданий не равноценно, но каждое из них завоевало свое место в истории советской литературы. Словом, сделано было немало. Обращаясь в 1925 г. к работникам издательства, Горький писал: «Разрешите искренно похвалить вас: хорошо издаете и книги хорошие» [35].

Когда в конце 20-х годов было решено слить «Круг» с издательством «Федерация», Воронский, сравнивая оба издательства, имел основание прийти к выводу, что «Круг» был куда интересней, содержательней и революционней: он все же делал новую пооктябрьскую литературу» (п. 80).

Однако далеко не все оценивали деятельность Воронского так, как Горький.

Обострение споров между напостовцами и Воронским, их затяжной и резкий характер заставили Центральный Комитет партии обратить внимание на создавшееся положение.

Еще в начале декабря 1923 г. Агитпропотдел ЦК РКП(б) решил созвать специальное совещание по вопросу о работе партии в области художественной литературы, пригласив принять в нем участие видных марксистских критиков. Один из двух основных докладов было предложено сделать Воронскому, второй — представителю вапповского руководства.

В ходе совещания, состоявшегося лишь в мае 1924 г., выявились наиболее уязвимые позиции той и другой сторон. Резолюция, принятая совещанием, требовала дифференцированного отношения к попутчикам и поддержки «наиболее даровитых из них, воспитывающихся школой товарищеской работы совместно с коммунистами». Работа среди пролетарских писателей рассматривалась как основная задача партии в области художественной литературы. Чтобы предупредить неверные толкования принятого решения, в резолюции черным по белому указывалось, что «ни одно литературное направление, школа или группа не могут и не должны выступать от имени партии» [36]. Но, как справедливо было уже замечено историками советской литературы, непосредственно после совещания обе спорящие стороны снова включились в ожесточенную полемику, причем каждая стремилась доказать, что резолюция была ударом по ее противникам.

В конце августа 1924 г. вапповцы подготовили для секретариата ЦК проект постановления «О редакционной коллегии „Красной нови“», предусматривавший освобождение Воронского от должности редактора журнала и создание редакционной коллегии в составе Ф. Раскольникова, И. Вардина и В. Сорина.

Однако полностью осуществить намеченный план вапповцам не удалось. Осенью 1924 г. в редколлегию «Красной нови» были введены сторонник «напостовства» Раскольников и зам. зав. отделом печати ЦК Сорин, но третьим членом ее оставался Воронский. Образование редколлегии, по словам Раскольникова, «имело своей целью изменение прежней линии журнала» [37]. Найти общий язык с Раскольниковым не представлялось возможным, и в январе 1925 г. Воронский объявил о своем уходе из журнала. Но и на этот раз торжество вапповцев оказалось преждевременным.

«Партия в настоящий момент, — писал новый заведующий отделом печати ЦК РКП(б) И. Варейкис,— должна поставить перед собой совершенно определенную задачу: содействие созданию художественной литературы, пригодной для идейного воспитания широких масс в духе социализма...» Указывая на необходимость «всемерной и всесторонней поддержки» рабоче-крестьянских писателей, он решительно осуждал претензии секретариата ВАПП, добивавшегося «передоверия» ему руководства литературой, резко критиковал отношение напостовцев к «попутчикам». Вместе с тем он призывал «исправить те недочеты, которые были, скажем, в некоторой небрежности, невнимательности в линии группы Воронского по отношению к рабоче-крестьянским писателям» [38].

Направление, намеченное статьей Варейкиса, нашло дальнейшее подтверждение в работе литературной комиссии, созданной Центральным Комитетом партии. Выступая на одном из ее заседаний в марте 1925 г., М. В. Фрунзе, старый товарищ Воронского по революционному подполью, указывал ему на ошибочность политики недооценки пролетарской литературы и рекомендовал отбросить «методы острой кружковой борьбы». Но, что весьма симптоматично, критикуя Воронского, он видел его ошибки не в политическом капитулянтстве, как это пытались изобразить напостовцы, а лишь «в неправильном ор-

ганизационном подходе». В свою очередь, как антипартийная была охарактеризована вапповская «линия административного прижима и захвата литературы в свои руки путем наскоков» [39].

Через три месяца ЦК РКП(б) принял резолюцию «О политике партии в области художественной литературы», которая вскрывала природу ошибок Воронского и рапповцев и предостерегала от угрожавшей опасности («против капитулянтства, с одной стороны, и против комчванства — с другой,— таков должен быть лозунг партии»). Категорически была отвергнута сама идея «легализованной монополии на литературно-издательское дело какой-либо группы или литературной организации». «Поддерживая материально и морально пролетарскую и пролетарско-крестьянскую литературу, помогая «попутчикам» и т. д.,— говорилось в резолюции,— партия не может предоставить монополии какой-либо из групп, даже самой пролетарской по своему идейному содержанию» [40].

Были сделаны и некоторые практические выводы. Еще весной произошли серьезные изменения в составе редколлегии «Красной нови» — Ф. Раскольников был заменен Е. Ярославским, и Воронский вновь получил возможность работать в журнале.

К сожалению, несколько видоизменившаяся, но не затихавшая групповая борьба и азарт полемики заставляли стороны вновь и вновь возвращаться к прежним темам и мотивам, много сил и внимания уделять сведению внутрилитературных счетов. Групповая борьба не могла не отразиться и на позициях Воронского как литературного критика и теоретика литературы. В спорах с представителями рационалистического и схематического подхода к искусству, игнорировавшего специфику художественного познания, он стал слишком акцентировать роль подсознательного начала в художественном творчестве, абсолютизировать значение «непосредственных впечатлений» для творческого процесса. В результате создавалось впечатление некоторого принижения роли разума, мировоззрения в искусстве.

Положение осложнилось тем, что во второй половине 1926 г. Воронский примкнул к троцкистской оппозиции. (В 1928 г. он был исключен из партии, но вскоре после отхода от оппозиции восстановлен в ее рядах.) Естественно, в руководящих партийных кругах появились сомнения в целесообразности его дальнейшего пребывания на посту руководителя центрального журнала.

В апреле 1927 г. «Красная новь» была подвергнута суровой критике на обсуждении, состоявшемся в Отделе печати ЦК ВКП(б). Отмечалось снижение уровня журнала, сужение круга авторов, чрезмерное внимание к теме «лишних людей» в нашей современности, усиление мотивов растерянности и ущербности.

Вскоре была создана новая редколлегия журнала в составе Воронского, Раскольникова, В. М. Фриче и В. Н. Васильевского (без назначения ответственного редактора). Сработаться с Раскольниковым и Фриче Воронскому было трудно. «Мне приходится отказываться, и уже недели две, как сдаю дела; об этом искренно жалею, но оставаться не имеет смысла» [41], — сообщал Воронский Горькому в июне 1927 г. Во второй половине года он еще числится членом редколлегии, но фактически в ней не работает.

Аналогично событиям в «Красной нови» развивались и дела «Круга». Во второй половине 20-х годов издательство не играло уже прежней роли идейного центра, противостоящего продукции частного рынка, появился ряд советских литературно-художественных издательств, конкуренцию с которыми «Круг» выдерживал не столько своеобразием и оригинальностью своего репертуара, сколько его широтой. Небольшие по объему и тиражам издания «Круга» находили своего покупателя даже в годы книжной депрессии (1925—1927). Руководители издательства (в первую очередь Воронский и А. Н. Тихонов) отлично понимали, что наряду с громадной затоваренностью книжного рынка в стране из года в год возрастает интерес к современной художественной литературе. Учитывая это обстоятельство, издательство выпустило ряд массовых серий, в том числе пользующиеся повышенным спросом: «Библиотеку пролетарских писателей», «Новости русской литературы», «Романы приключений» (намечалось также издание серии «Жизнь замечательных людей»).

В переписке с Горьким, сочувственно следившим за делами издательства, Воронский неоднократно указывал на благоприятный для «Круга» ход событий. «Книжки вообще идут теперь хорошо. Небывалый интерес к литературе. Новый читатель прямо прет»,— с радостью сообщал он в начале 1927 г. Но уже в летних письмах появляется

тревога. «Дела «Круга» идут недурно, но боюсь, что осенью и здесь произойдут недоразумения со мной» [42].

Предчувствия не обманывали Воронского. У руководства ВАПП возникает мысль реорганизовать «Круг» и на его базе создать издательство «Федерация». Таким образом достигались две цели: новое издательство сразу получало прочную экономическую базу, а Воронский лишался своего последнего форпоста. «Круг» начинает испытывать давление извне. Не получают одобрительной санкции некоторые решения правления издательства, стремившегося, в частности, повысить рентабельность изданий, расширив тематику выпускаемых книг, и т. п.

Понимая, что создавшиеся трудности в известной степени связаны с одиозностью его имени, Воронский видит единственную возможность сохранить издательство лишь ценой отказа от поста председателя правления. 15 декабря 1927 г. он информирует товарищей о своем решении, а 22 декабря правление удовлетворяет его просьбу [43].

К любимой редакторской работе Воронский вернулся лишь осенью 1930 г. в качестве старшего редактора по отделу русских классиков во вновь образованном Государственном издательстве художественной литературы, заведующим которым был назначен старый большевик В. И. Соловьев. Свою деятельность на этом посту Воронский начал с подготовки большого однотомника «Шестидесятники», вышедшего в 1933 г. О некоторых других его редакторских замыслах и предложениях (в частности, о создании литературной серии «Наше революционное прошлое») дает представление его переписка с Горьким начала 30-х годов.

Деятельность Воронского как редактора и литературного критика еще недостаточно изучена [44]. Нет монографической работы, освещающей его жизненный и творческий путь. Положение осложняется тем, что погибла большая часть его личного архива [45]. Тем важнее собрать и опубликовать сохранившуюся часть материалов его обширной переписки с современными ему литераторами. Попыткой выполнить эту задачу и является предлагаемая публикация.

Разумеется, она не может дать полного представления о широте и интенсивности литературных связей Воронского. Тем не менее публикуемые письма помогают понять роль Воронского в литературном процессе 20-х годов и характер его взаимоотношений со многими видными писателями этих лет. Среди тех, с кем он переписывался, мы видим как писателей, известных еще до революции, так и представителей молодой поросли советской литературы.

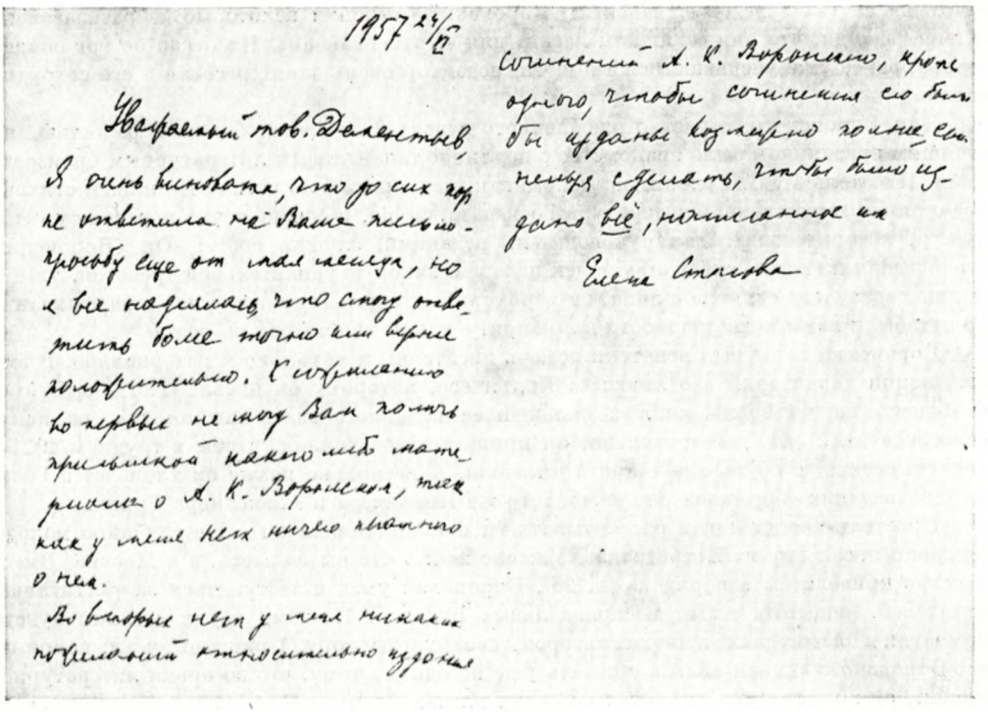
В переписке находят отражение различные стороны деятельности Воронского — критика, редактора, организатора литературных сил, деятельности, которая проходила в весьма трудных условиях. Обладая большим опытом партийной и журналистской работы, он отдавал себе отчет в том, какую сложную миссию он взял на себя. «Опасения ваши относительно журнала основательны,— писал он С. П. Подъячеву весной 1921 г.— Вести его сейчас очень трудно, но все-таки это дело нужное» (п. 4). Однако результаты усилий Воронского стали сказываться довольно быстро. В начале следующего года он сообщает тому же Подъячеву: «Помаленьку раздуваю кадило, туговато идут дела, литературы хорошей нет: сгинула. Но все-таки лучше, чем 5—6 месяцев тому назад» (п. 14).

По переписке в какой-то мере можно судить о принципах, которыми руководствовался Воронский как редактор журнала, поскольку в ряде писем речь идет об оценках рукописей с определенных идейно-эстетических позиций.

Воронский искал и умел находить талантливых писателей, но для него, критика-коммуниста, разумеется, очень важна была идейная направленность произведения. Характерно, что в 1921 г., когда редакция особенно остро нуждалась в художественном материале, Воронский отказался от публикации трагедии Брюсова «Диктатор». Мотивируя свое решение, он писал автору: «...уверен, что трагедия будет истолкована и понята в духе нежелательном для Советской России» (п. 12).

Заметим, что Воронскому-редактору при решении таких вопросов о судьбе литературных произведений не были свойственны самонадеянность и безапелляционность. Цитируемое письмо свидетельствует, что он читал пьесу Брюсова некоторым товарищам, чтобы проверить свое мнение. А обращаясь к самому автору, добавлял в постскриптуме: «Чрезвычайно интересно было бы поговорить с вами. Может быть, я не понял вещи вашей» (там же).

Известно, что автор вскоре прочел пьесу в московском Доме печати. Реакция боль-



1957 24/VI

Уважаемый тов. Дементьев,

Я очень виновата, что до сих пор не ответила на Ваше письмо-просьбу еще от мая месяца, но я все надеялась, что смогу ответить более точно или верно положительно. К сожалению во первых не могу Вам помочь присылкой какого либо материала о А. К. Воронском, так как у меня нет ничего печатного о нем.

Во вторых нет у меня никаких пожеланий относительно издания сочинений А. К. Воронского, кроме одного, чтобы сочинения его были бы изданы возможно полнее, если нельзя сделать, чтобы было издано всё, написанное им.

Елена Стасова

ПИСЬМО Е. Д. СТАСОВОЙ А. Г. ДЕМЕНТЬЕВУ

Автограф, 24 июня 1957 г.

Семейный архив Г. А. Воронской, Москва

Письмо написано по поводу планов издания сборника статей А. К. Воронского: «...нет у меня никаких пожеланий относительно издания сочинений А. К. Воронского, кроме одного, чтобы сочинения его были бы изданы возможно полнее, если нельзя сделать, чтобы было издано *все*, написанное им. Елена Стасова»

шей части аудитории оказалась близкой отзыву критика. Это, вероятно, убедило Брюсова в объективности оценки Воронского, и он отказался от публикации своего произведения.

История с «Диктатором» не была единственным случаем, что хорошо видно из переписки с Н. Никитиным и М. Зощенко.

Свойственная Воронскому широта в оценке талантливых явлений искусства сочеталась с идейной принципиальностью. «Благо революции превыше всего и иных постулатов у меня нет». В этих словах Воронского из письма к Замятину — сущность его позиции, которая проявилась и в подходе к творчеству данного писателя.

Высоко оценивая талант Замятина и его художественные произведения, написанные до революции, Воронский решительно выступил против тех его сочинений послеоктябрьской эпохи, в которых проявилось неприятие или непонимание революционной действительности. Но следует подчеркнуть и другое: критикуя писателя, Воронский не отталкивал его, не терял на первых порах надежды завоевать талант автора для революции. Характерно, что свое письмо к Замятину, содержащее трезвую констатацию: «на разных плоскостях мы стоим»,— он заканчивает совсем в другой тональности: «А знаете: мы с вами земляки, я — тамбовский семинарист из Усманского уезда» (п. 35).

Неудивительно, что, узнав в 1923 г. о намерении писателя выехать за границу, Воронский дает ему добрый совет: «О вашем отъезде искренно сожалею. Пожалуйста, не работайте в зарубежных русских повременных изданиях. Честное слово, не стоит. Крепко надеюсь, что месяца через три вы сможете возвратиться в Россию и сесть здесь более крепко» (п. 40).

В письмах проявляется и требовательность Воронского-редактора к художественному качеству и к идейно-художественной значительности публикуемых рукописей. Искренне симпатизируя Подъячеву, произведениями которого он, по собственному признанию,

зачитывался «на заре своей юности», Воронский отклонил некоторые из рассказов писателя, находя, что они «слишком легки» для «Красной нови». Но отказ не мог обидеть автора, ранее уже убедившегося в том, что редактор очень заинтересован в его сотрудничестве.

Для Воронского, страстно влюбленного в искусство слова, большой радостью, настоящим праздником было знакомство с подлинно талантливым литературным произведением. Писатель И. В. Евдокимов, вспоминая, как проходило чтение Есениным стихов в редакции художественной литературы Госиздата, скупо, но очень точно передал ту гамму чувств, которые испытывал руководитель редакции, слушая поэта: «Он ⟨Воронский⟩ выглядывал из-под светлых стекляшек пенсне с какой-то удивительной тревогой, улыбка пришла сразу и не сходила с лица, он хорохорился, скрывая свои чувства и переживания, но они были явны в той жадности внимания, с какой он смотрел на поэта» [46].

Воронский готов был всячески помочь писателям и морально и материально. В этом отношении характерны его заботы о Подъячеве, которому он писал: «Когда прочитал, что «почти наги и босы», явилось сильнейшее желание оказать вам помощь, на какую способен» (п. 3). И, действительно, он прилагает все усилия, чтобы в трудном 1921 г. достать одежду и обувь для старого писателя. А несколько позже он хлопочет в Госиздате об издании сборников рассказов того же Подъячева и Александра Грина.

Писатели всегда могли рассчитывать на помощь Воронского. Не случайно молодой Зощенко писал ему из Петрограда: «Ужасно жаль, что вы не здесь, а в Москве. Вместе рассказ привели бы в порядок» (п. 26). Воронский умел и заступиться за талантливых писателей, защитить их от несправедливых нападок. Поэтому неудивительны чувства симпатии и благодарности многих авторов к своему редактору. Пришвин писал, например, что Воронского «никак нельзя обижать уже по одному тому, что во время литературного пожара он выносил мне подобных на своих плечах из огня» [47].

Своей работой редактора Воронский завоевал громадный авторитет в писательской среде. В публикуемых письмах мы видим, что созданный Воронским журнал получил высокую оценку литераторов. «Вы можете сделать ваш журнал «единственным» в России журналом»,— писал Воронскому Н. Никитин (п. 22). И вскоре он с радостью констатировал, что его прогноз оправдывается: «Журнал вкусен, подобран, т. е. что называется составлен по-настоящему» (п. 36). А. Толстой назвал «Красную новь» журналом, который «останется крепко в русской литературе» (п. 39).

Для молодой советской литературы оказалось очень полезным, что Воронский как литературный критик выступал часто и толкователем творчества тех самых авторов, которых он печатал на страницах своего журнала. Они с большим вниманием прислушивались к его оценкам и рекомендациям.

Конечно, в публикуемых письмах можно найти примеры того, что корреспонденты Воронского порой спорили с теми или иными его положениями. Например, Никитин решительно протестовал против утверждения о том, что «Серапионовы братья» подпадают под идейное влияние Замятина (п. 36). Но вот как Никитин оценивал критические статьи Воронского в целом: «Вы писали верно, честно, без барабанов, без трескотни, живущей минутами, не делая лихих набегов, а крепко, как уверенный в своих прогнозах критик и литератор. Тот, кто хватается, может быть, за ваши частичные ошибки, тот из-за деревьев не видит леса. Ваш долг, по-моему, и перед литературой и перед революцией выполнен и хорошо и честно» (п. 58).

По письмам Тихонова и того же Никитина мы видим, что молодые писатели солидаризировались с критиком и в важнейшем вопросе о методе новой литературы, который определялся Воронским как «неореализм».

Известно, что в юбилейных посланиях обычно содержится много комплиментарных преувеличений. Но в писательском адресе Воронскому по случаю пятилетия «Красной нови» с полным основанием говорилось о том, что его деятельность «редактора, критика и организатора определила непрерывный жизнедеятельный рост журнала и нераздельно связанное с ним возрождение и развитие русской литературы» [48].

К этому определению роли Воронского можно добавить признание самого критика: «Литературу я любил и люблю, как и революцию» [49]. Им он и служил всю свою жизнь.

Говоря о значении публикуемой переписки, следует сказать и о том, что она интересна не только для раскрытия роли Воронского, она помогает лучше понять идейный и психологический облик его корреспондентов, участников литературного движения тех

лет. В письмах Никитина, например, мы находим своеобразные декларации-исповеди об идейных и эстетических позициях писателя, его кредо, ответ на вопрос, почему он «с большевиками» (п. 36).

Таким образом, переписка в целом содержит богатый материал для уяснения литературной жизни и литературной мысли 1920-х годов.

Ниже печатается 37 писем Воронского (№ 1—12, 14, 18, 20, 21, 27, 35, 40, 44, 55, 61, 63, 66, 68, 69, 71, 73—75, 77—83) и 46 писем его корреспондентов: В. И. Анненского-Кривича (№ 64), М. Д. Артамонова (№ 42), И. Э. Бабеля (№ 60), Андрея Белого (№ 76), В. Я. Брюсова (№ 53), А. С. Бубнова (№ 28), В. В. Вересаева (№ 32), М. М. Зощенко (№ 13, 25, 26, 29), И. Ф. Каллиникова (№ 62), Л. М. Клейнборта (№ 57), О. Э. Мандельштама (№ 59), А. Б. Мариенгофа (№ 65), Н. Н. Никитина (№ 19, 22, 36, 43, 48, 50, 52, 58), Б. А. Пильняка (№ 15, 30, 31, 33, 34), А. П. Платонова (№ 72), С. П. Подъячева (№ 17), Е. Г. Полонской (№ 45), В. П. Полонского (№ 70), М. М. Пришвина (№ 46, 56, 67), С. А. Семенова (№ 16), Д. Н. Семеновского (№ 23), М. Л. Слонимского (№ 49), Н. С. Тихонова (№ 47, 51), А. Н. Толстого (№ 24, 39), К. А. Тренева (№ 37, 54), О. Д. Форш (№ 41), И. Г. Эренбурга (№ 38).

Письма охватывают период с 1921 по 1934 г., расположены в хронологическом порядке, печатаются по автографам, хранящимся в АГ, ЦГАОР, ЦГАЛИ, ИМЛИ, ИРЛИ, ЦПА ИМЛ, ГБЛ, Гос. музее И. С. Тургенева (Орел) и в музее М. М. Пришвина (филиал ГЛМ). Место нахождения каждого из писем указывается в примечаниях к нему. Сведения о корреспондентах Воронского и о их участии в редактируемых им изданиях сообщаются в примечаниях к первому из писем данного корреспондента или к нему.

В публикацию не входят все ранее опубликованные письма Воронского, в том числе его переписка с В. И. Лениным [50], А. М. Горьким [51], К. А. Фединым [52], письмо А. В. Луначарского к Воронскому от 9 июля 1923 г. [53], письмо Воронского к М. С. Шагинян от 17 марта 1923 г., в котором приводится ленинская оценка ее повести «Перемена» [54], письмо Вс. Иванова к Воронскому от 22 февраля 1922 г. [55], а также письма Воронского, связанные с изданием газеты «Рабочий край» [56].

В подборку публикуемых писем не включены некоторые деловые и бытовые письма, связанные не столько с Воронским, сколько с его адресатами, краткие записки, написанные как правило по случайным и малозначительным поводам, а также коллективные приветствия в связи с юбилейными датами.

Письма № 63, 66—68, 71, 73, 75 любезно предоставлены В. Д. Пришвиной, № 11, 44, 74 — А. И. Понятовским. Письма № 10, 16, 19, 22—26, 36—39, 41—43, 45, 47—52, 56, 58, 59, 62, 64 извлечены из архивов и подготовлены редакцией, остальные — Е. А. Динерштейном.

В составлении примечаний к письмам принимала участие Т. Г. Динесман.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *ЛМ*, 1964, № 12, с. 215.

[2] А. В. Луначарский. Перспективы советского искусства.— «На лит. посту», 1927, № 20, с. 7; Вяч. Полонский. Очерки литературного движения революционной эпохи (1917—1927). М.— Л., Госиздат, 1928, с. 142.

[3] Цит. по ст.: А. Г. Дементьев. А. Воронский — критик. В кн.: А. Воронский. Литературно-критические статьи. М., 1963, «Сов. писатель», с. 9.

[4] С. В. Малышев. Страницы жизни.— «Прожектор», 1925, № 2, с. 24.

[5] См. запись в метрической книге на 1884 г., ч. I — «О родившихся» (Инжавинский районный ЗАГС Тамбовской обл.). Сообщено Л. С. Шуруповым.

[6] «Писатели современной эпохи. Био-библиографический словарь русских писателей XX века», т. 1. М., ГАХН, 1928, с. 81.

[7] «Деятели революционного движения в России», т. 5, вып. 2. М., 1933, стлб. 1028—1032.

[8] А. Воронский. За живой и мертвой водой. М., «Худож. литература», 1970.

[9] В «Сведениях о состоящем под гласным надзором А. К. Воронском», составленных 28 декабря 1912 г., в графе «Чем до сего времени добывал себе средства к существованию» сообщалось: «Работал в газетах. Фельетонист» (Гос. архив Архангельской обл., ф. 1323, оп. 1, д. 331, л. 978 об.).

[10] П. В. Куприяновский. А. К. Воронский в иваново-вознесенской печати (1918—1926 гг.). Библиографический указатель. Иваново, 1979. См. также в наст. томе статью П. В. Куприяновского «А. К. Воронский в газете «Рабочий край».

[11] См. публикацию И. С. Смирнова «Письмо Воронского В. И. Ленину».— *ЛМ*, 1964, № 12. с. 215.

[12] Т. Л е ш у к о в. Журналист, писатель, редактор.— «Рабочий край» (Иваново), 1964, № 208, 3 сентября.
[13] «В. И. Ленин и А. М. Горький». Изд. 3. М., «Наука», 1969, с. 259.
[14] Е. А. Д и н е р ш т е й н. Маяковский в «Круге» и «Красной нови».— В сб.: «Маяковский и советская литература». М., «Наука», 1964, с. 408.
[15] Об этом собрании Воронский рассказал в речи, произнесенной на юбилейном вечере «Красной нови» в 1926 г. (А. В о р о н с к и й. Мистер Бритлинг пьет чашу до дна. М., «Круг», 1927, с. 199).
[16] *ПР*, 1921, № 2, с. 228.
[17] Цит. по ст.: П. В. К у п р и я н о в с к и й. Дм. Фурманов и литературно-художественные журналы 20-х годов.— В сб.: «Из истории советской литературы 20-х годов». Иваново, 1963, с. 18.
[18] *НМ*, 1964, № 5, с. 207.
[19] См. статью «Красная новь» (авт. М. М. Кузнецов) в кн.: «Очерки истории русской советской журналистики. 1917—1932». М., «Наука», 1966, с. 211.
[20] Н. Н и к и т и н. Избранное в двух томах, т. 1. М.— Л., Госиздат, 1959, с. 17.
[21] А. В о р о н с к и й. На стыке. М.— Пг., Госиздат, 1923, с. 25.
[22] *НМ*, 1964, № 12, с. 216.
[23] А. В о р о н с к и й. На стыке, с. 231.
[24] ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 1, ед. хр. 469, л. 12.
[25] Е. А. Д и н е р ш т е й н. Указ. соч., с. 409.
[26] ЦГАОР, ф. 395, оп. 9, ед. хр. 195, л. 47, 49—54.
[27] Е. А. Д и н е р ш т е й н. Указ. соч., с. 410—411.
[28] «Каталог книгоиздательства артели писателей „Круг“». М., 1927, с. 5—8.
[29] Цит. по ст.: Л. К и щ и н с к а я. Литературная дискуссия (1922—1925 годов).— ВЛ, 1964, № 3, с. 40.
[30] А. В о р о н с к и й. Дела литературные.— «Прожектор», 1923, № 22, с. 21.
[31] *ЛН*, т. 74, с. 34.
[32] А. В о р о н с к и й. Литературные типы. Изд. 2. ‹М.›, «Круг», 1927, с. 117.
[33] *ЛН*, т. 74, с. 34.
[34] *Архив Горького*, т. X, кн. 2, с. 12—13, 45, 50.
[35] Там же, с. 24.
[36] «Вопросы культуры при диктатуре пролетариата». М.— Л., Госиздат, 1925, с. 139.
[37] «Октябрь», 1924, № 3, с. 214.
[38] И. В а р е й к и с. О нашей линии в художественной литературе и о пролетарских писателях.— «Правда», 1925, № 40, 18 февраля.
[39] М. В. Ф р у н з е. Полн. собр. соч., т. 3. М., Госиздат, 1927, с. 151—154.
[40] «Издательское дело в СССР (1923—1931)». Сб. документов и материалов. М., 1978, с. 50.
[41] *Архив Горького*. Т. X, кн. 2, с. 55—56.
[42] Там же, с. 52, 57.
[43] АГ, Протоколы правления изд-ва «Круг».
[44] Характеристика Воронского как литературного критика и теоретика дана в статье: А. Г. Д е м е н т ь е в. А. К. Воронский и советская литература (в кн.: А. В о р о н с к и й. Избранные статьи о литературе. М., «Худож. литература», 1982) и в книге: В. А к и м о в. В спорах о художественном методе (Л., «Худож. литература», 1979). Перечень более ранних работ см. в наст. томе, с. 644, прим. 2.
[45] Сохранилась переписка Воронского с Горьким, сданная самим критиком после смерти писателя в Гос. лит. музей. Некоторые материалы архива издательства, связанные с Воронским (в том числе и письма к нему ряда писателей), были переданы в Архив Горького и в рукописный отдел ИМЛИ. В ЦГАЛИ хранится фонд журнала «Красная новь», составляющий лишь небольшую часть редакционного архива. Корректуры некоторых работ Воронского, правленные им, находятся в рукописном отделе ИРЛИ, в фонде журнала «Новый мир». Отдельные материалы, относящиеся к Воронскому, имеются еще в нескольких архивохранилищах страны.
[46] И. В. Е в д о к и м о в. Сергей Александрович Есенин.— В кн.: «Воспоминания о Сергее Есенине». М., 1965, с. 431.
[47] *НМ*, 1964, № 10, с. 197.
[48] ЦГАЛИ, ф. 1689, оп. 1, ед. хр. 1392, л. 2.
[49] *Архив Горького*, т. X, кн. 2, с. 60.
[50] *НМ*, 1964, № 12, с. 213—219.
[51] *Архив Горького*, т. X, кн. 2, с. 8—78.
[52] «Творчество Константина Федина». М., «Наука», 1966, с. 381—385.
[53] *ЛН*, т. 82, с. 243—244.
[54] *НМ*, 1978, № 9, с. 181—182.
[55] Вс. И в а н о в. Собр. соч. в 8 томах, т. 8. М., «Худож. литература», 1978, с. 58 — 59.
[56] *ВЛ*, 1970, № 3, с. 245—246.

1. В ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

⟨Москва. Около 6 февраля 1921 г.⟩

Комитет Главполитпросвета постановил издавать периодический журнал, в котором намечаются отделы: литературный, политико-экономический, публицистический, научный, педагогический и т. д. Журнал будет иметь в виду слушателей рабочих факультетов, партийных и советских школ, командных курсов [1]. К журналу привлечен *Горький* и ряд ученых и видных партийных работников [2].

Предполагаемый объем журнала 18—20 печатных листов, из расчета 40 тысяч букв в листе. Журнал предполагается выпускать каждые полтора месяца в количестве 15 000 экземпляров, на что потребуется приблизительно 250—280 стоп бумаги на номер.

Главполитпросвет, находя, что потребность в подобном журнале более чем назрела, предлагает Государственному издательству зарегистрировать журнал, отпускать, начиная с марта месяца, в счет наряда Главполитпросвета требуемое количество бумаги — 280 пудов — каждые полтора месяца, а также признать печатание журнала ударной работой с тем, чтобы журнал мог выходить периодически в срок. Что касается слияния журнала с другими периодическими изданиями, на необходимость какового указало Государственное издательство в лице т. Вейса [3], то таковое слияние Главполитпросвет признает желательным, но затрудняется в настоящий момент приступить к такому слиянию прежде всего благодаря неясности вопроса [4].

Председатель Главполитпросвета Н. К р у п с к а я
Завед. Редакционно-издательским подотделом А. В о р о н с к и й

ЦГАОР, ф. 395, оп. 1, ед. хр. 28, л. 49.
Машинопись; на бланке Главполитпросвета РСФСР. Подписи — автографы.
Датируется по содержанию: письмо написано непосредственно вслед за постановлением Главполитпросвета Наркомпроса РСФСР от 5 февраля 1921 г. об издании *КН*.

[1] Более обстоятельно программа журнала и принципы его организации изложены в письме Главполитпросвета в Политбюро ЦК РКП(б), подписанном Н. К. Крупской и Воронским (опубликовано И. С. Смирновым — *НМ*, 1964, № 12, с. 215).

[2] Стремясь привлечь к участию в *КН* наиболее авторитетных авторов, ЦК РКП(б) и Главполитпросвет обратились к ряду ответственных работников советского аппарата с предложением принять участие в журнале (напр., сохранилась телефонограмма Н. К. Крупской и секретаря ЦК РКП(б) Л. П. Серебрякова руководителям ВСНХ В. П. Милютину и А. Ломову от 8 февраля 1921 г. с предложением войти в состав сотрудников *КН* — ЦГАНХ, ф. 3429, оп. 1, ед. хр. 3325, л. 2). В первой книге *КН* были напечатаны статьи В. И. Ленина, Н. К. Крупской, А. В. Луначарского, М. В. Фрунзе и др.

[3] Давид Лазаревич *Вейс* (1877—1940) — заместитель заведующего Госиздатом РСФСР.

[4] Проект слияния отдельных журналов Главполитпросвета реализован не был.

2. ВОРОНСКИЙ — С. П. ПОДЪЯЧЕВУ

⟨Москва. 9 февраля 1921 г.⟩

Уважаемый Семен Павлович!

Редакционно-издательский подотдел Главполитпросвета получил ваш адрес от А. М. Пешкова (Горького) по следующему поводу: при Главполитпросвете будет издаваться периодический журнал, в котором намечены отделы: художественный, политико-экономический, научный, исторический, публицистический, библиографический. Журнал рассчитан на слушателей рабочих факультетов, советских, партийных школ, командных курсов. Предполагаемый объем журнала 14—15 печатных листов в 32—36 тысяч печатных букв в листе. К журналу привлечен т. Горький. Главполитпросвет обращается к вам с просьбой вступить в число постоянных сотрудников журна-

ла. Очень нужны рассказы, бытовые очерки. Надежда Константиновна Ульянова очень просит вас выбрать свободное время приехать в Москву и переговорить более подробно о работе *в редакции* [1]. Об этом же просит вас и Горький. Отвечайте по адресу: Москва, Штатный пер., № 13, Главполитпросвет; редакционно-издательский подотдел, А. Воронскому.

Журнал предполагается к выходу в конце марта [2].

Соблаговолите ответить как по первому, так и по второму вопросам.

С приветом

Завед. редакционно-изд. подотделом А. Воронский

19—9/II—21 г.

ЦГАЛИ, ф. 374, оп. 3, ед. хр. 4, л. 1.

Семен Павлович *Подъячев* (1866—1934) был одним из первых писателей, привлеченных к сотрудничеству в *КН*. Воронский обратился к нему по совету Горького (А. Воронский. Встречи и беседы с Максимом Горьким.— *НМ*, 1966, № 6, с. 217), ценившего в Подъячеве глубокое знание крестьянской психологии и крестьянского быта. Эту особенность творчества писателя отмечал и Воронский («Литературные отклики».— *КН*, 1922, № 2).

С конца прошлого века Подъячев жил в родном селе Обольяново-Никольское (ныне Подъячево) Дмитровского уезда Московской губ., изредка приезжая в Москву по литературным делам. Член РКП(б) с 1918 г., он активно участвовал в работе местных советских учреждений — заведовал волостным Отделом народного образования и волостной библиотекой, входил в различные комиссии, в 1920—1922 гг. состоял корреспондентом Дмитровского отделения РОСТА (см.: М. А. Макина. С. П. Подъячев и М. Горький.— «Русская литература», 1978, № 1, с. 182).

В *КН* за 1921 г. было опубликовано четыре произведения Подъячева: очерк «Голодающие» (№ 1) и рассказы «Болящий» (№ 3), «Из недавнего прошлого» и «Православные» (№ 4). На этом его сотрудничество в *КН* прервалось (возобновилось в 1929 г. публикацией автобиографических записок «Моя жизнь»).

Рассказ «Болящий» был высоко оценен Воронским («О художественном слове в наши дни».— «Правда», 1921, № 202, 11 сентября). Этим рассказом и очерком «Голодающие» открылась серия «Дешевая библиотека «Круга» (№ 1 и 2, 1923).

[1] В работе редакции *КН* Подъячев не участвовал.
[2] См. п. 5, прим. 1.

3. ВОРОНСКИЙ — С. П. ПОДЪЯЧЕВУ

Москва. ⟨4 марта 1921 г.⟩

Уважаемый Семен Павлович! Получил вчера ваше письмо. Очень рад, что вы обещали прислать для журнала. Дело двигается, хотя и встречаются обычные в наше время препятствия. Надеюсь, что к концу марта получу от вас обещанное [1].

На заре своей юности когда-то я зачитывался некоторыми вашими рассказами. Поэтому, когда прочитал, что «почти наги и босы», явилось сильнейшее желание оказать вам помощь, на какую способен. Получил от Надежды Константиновны записочку к сильным мира сего по части распределения и на днях пойду хлопотать. К сожалению, не знаю, что вам именно нужно. Буду говорить: пальто, сапоги, костюм, белье. Думаю, что удастся коечего добиться. О результатах своих похождений сообщу на днях дополнительно. Но только тогда вам самим придется приехать сюда. Конечно, это ни в каком отношении к вашему сотрудничеству не стоит. Просто у меня, говоря откровенно, кошки скребут на сердце, когда получаешь сведения, что такой-то художник, писатель, ученый имя рек отправился к праотцам или наг и бос! Пока всего хорошего. Ждите на днях нового письма. Материал посылайте либо по старому адресу, либо по адресу: Москва, 1-ый дом Советов (бывш. «Националь»), № 340, А. Воронскому. Последний даже лучше. Всего лучшего.

А. Воронский

4/III—21 г.

P. S. Посылайте заказным, конечно.



С. П. ПОДЪЯЧЕВ и Е. ВАРЕНЦОВА
Фотография. Ярославль, 1928
Литературный музей, Москва

ЦГАЛИ, ф. 374, оп. 3, ед. хр. 4, л. 2.

[1] Очерк «Голодающие» (см. прим. к п. 2). О том, что Подъячев обещал прислать его для *КН*, Воронский сообщал Горькому 24 марта 1921 г. (*Архив Горького*, т. X, кн. 2, с. 9).

4. ВОРОНСКИЙ — С. П. ПОДЪЯЧЕВУ

〈Москва. 21 марта 1921 г.〉

Уважаемый Семен Павлович! На ваше письмо не мог сразу ответить, так как был мобилизован на Кронштадтский фронт и только день тому назад возвратился из командировки [1]. По поводу обещанного могу сообщить: у меня лежит в кармане подпись Бадаева [2] на получение вами костюма, ботинок и двух пар белья. Хлопоты относительно пальто не увенчались успехом. Вам следовало бы приехать самому, чтобы реализовать разрешение. Придется еще побегать вам самому. Опасения ваши относительно журнала основательны. Вести его сейчас очень трудно, но все-таки это дело нужное. Жду от вас что-нибудь для первого номера. Кое-что уже собрано. Думаю в печать сдать 1—2-го апреля. Жду художественный материал от Горького [3].

Надеюсь, что вы воспользуетесь разрешением на получение вещей. На три, на четыре дня я выезжаю в провинцию. Буду числа 28-го. Сообщите, когда приедете [4].

С приветом А. Воронский

21/III—21 г.

ЦГАЛИ, ф. 374, оп. 3, ед. хр. 4, л. 3.

[1] Контрреволюционный мятеж в Кронштадте начался 28 февраля и был полностью ликвидирован 18 марта 1921 г.

[2] Алексей Егорович *Бадаев* (1883—1951) — партийный и советский деятель, в 1921 г.— председатель Московского союза потребительских обществ.

[3] 24 марта 1921 г. Воронский писал Горькому: «...вчера получил от вас материал. Конечно, его недостаточно, и я жду и надеюсь, что скоро получу от вас еще. Согласно нашим переговорам, я буду сдавать в набор только то, что проредактировано вами» (*Архив Горького*, т. X, кн. 2, с. 9). О роли Горького в *КН* см.: А. Воронский. Из прошлого (в кн.: А. Воронский. Мистер Бритлинг пьет чашу до дна. М., «Круг», 1927, с. 199—203); А. Воронский. Встречи и беседы с Максимом Горьким (*НМ*, 1966, № 6, с. 215—219); А. Дементьев. А. М. Горький и советская журналистика (*НМ*, 1964, № 11, с. 214—217).

[4] Подъячев приезжал в Москву в последних числах (между 26 и 31) марта 1921 г. (*Летопись Горького*, вып. 3, с. 218).

5. В ГОСИЗДАТ. ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

⟨Москва⟩. 17 мая 1921 г.

Комитет Главполитпросвета настоятельно просит ускорить выпуск периодического журнала «Красная новь». В журнале принимают участие *М. Горький*, *Ленин*, *Луначарский*.

Издание журнала предпринято с одобрения ЦК РКП (большевиков). Материал сдан в набор больше месяца, но до сих пор по сведениям Главполитпросвета дело движется очень плохо. Материал стареет и теряет современность [1].

Зам. председателя Главполитпросвета В. Максимовский
Редактор журнала «Красная новь» А. Воронский

ЦГАОР, ф. 395, оп. 10, ед. хр. 119, л. 157.
Машинопись, на бланке Главполитпросвета РСФСР (исх. № 534), с надписью: «Весьма срочно». Подписи — автографы.

[1] Первый номер *КН* вышел в начале июня 1921 г.

6. ВОРОНСКИЙ — С. П. ПОДЪЯЧЕВУ

⟨Москва. 13 сентября 1921 г.⟩

Уважаемый Семен Павлович!

Извините, что не сразу послал вам просьбу Главполитпросвета, чтобы вас освободили от партобязанностей: я уезжал в отпуск и, кроме того, сбился с ног. Второй номер выходит на днях [1]. Третий сдал частью в набор. Сужусь и скандалю с Госиздатом из-за оплаты и очень жалею, что до сих пор не могу как следует оплатить ваши две рукописи [2]. Все-таки устрою. Со мной случилась неприятность: я потерял вашу расписку на 75 тысяч за рассказ «Болящий». Очень прошу прислать дубликат: нужно для отчета. Пришлите или по почте или с сыном. Шлите еще что-нибудь. Здорово у вас выходит. Между прочим «Общее дело» перепечатало в трех номерах весь ваш рассказ [3]. Читал также хороший для вас отзыв ⟨о⟩ вашей книге в берлинском журнале «Русская книга» [4]. Гоните расписку, а вверху напишите: дубликат. С приветом

А. Воронский

Москва, 1-ый Дом Советов, № 217, мне.

13/IX—21 г.

ЦГАЛИ, ф. 374, оп. 3, ед. хр. 4, л. 4 — 4 об.

[1] Второй номер *КН* поступил во Всесоюзную книжную палату 30 сентября 1921 г.
[2] Очерк «Голодающие» и рассказ «Болящий».
[3] «Общее дело» — белоэмигрантская ежедневная газета (Париж, 1918—1934; ред.-изд. В. Л. Бурцев). В этой газете был перепечатан из *КН* очерк «Голодающие» (1921, № 379—382, 31 июля, 1—3 августа).
[4] «Русская книга» — сменовеховский критико-библиографический журнал (Берлин, 1921—1923; с 1922 г. — «Новая русская книга»). Здесь (1921, № 3) была помещена рецензия А. М. Дроздова на книгу Подъячева «Дома (Ивановы записки)» (М., 1920).

7. ВОРОНСКИЙ — С. П. ПОДЪЯЧЕВУ

⟨Москва. 14 сентября 1921 г.⟩

Уважаемый Семен Павлович! Вчера позабыл вам написать об одной вещи. ЦК партии командировал меня для работы в «Правде» [1]. Хочу, насколько это возможно, привести ее в литературный вид. Очень бы хорошо было, если бы вы время от времени присылали небольшие очерки из деревенского житья-бытья, рассказы и т. д. [2] «Правда» оплачивает хорошо. Вчера послал вам удостоверение от Главполитпросвета и просьбу, чтобы выслали мне расписку на получение от меня 75 тысяч рублей за рассказ «Болящий». Я вашу расписку куда-то засовал и не могу найти. № 2 журнала выйдет числа 20 сентября. Всего лучшего.

А. Воронский

P. S. Материал и письма посылайте по старому адресу: Москва, 1-ый Дом Советов, № 217, или с сыном.

ЦГАЛИ, ф. 374, оп. 3, ед. хр. 4, л. 6. Датируется по связи с п. 6.

[1] Воронский руководил литературным отделом «Правды» в 1921—1922 гг.
[2] В 1921 г. в «Правде» было опубликовано три рассказа Подъячева: «Сусанин», «Овца заблудящая» и «Вот он я» (№ 221, 251, 266, 3 октября, 6—7 и 25 ноября).

8. ВОРОНСКИЙ — П. С. КОГАНУ

⟨Москва. 12 октября 1921 г.⟩

Посылаю вам, Петр Семенович, экземпляр «Красной нови» [1]. Ваша статья — в печати. Она мне очень понравилась, хотя отношения ваши к Буниным и Толстым мне кажутся очень мягкими [2]. Но это настоящая мелочь в конце концов. 3-й номер идет весьма успешно и недели через две выйдет из печати. Очень прошу вас приготовить вторую половину статьи, так ⟨как⟩ скоро нужно будет сдавать № 4-ый [3].

С приветом А. Воронский

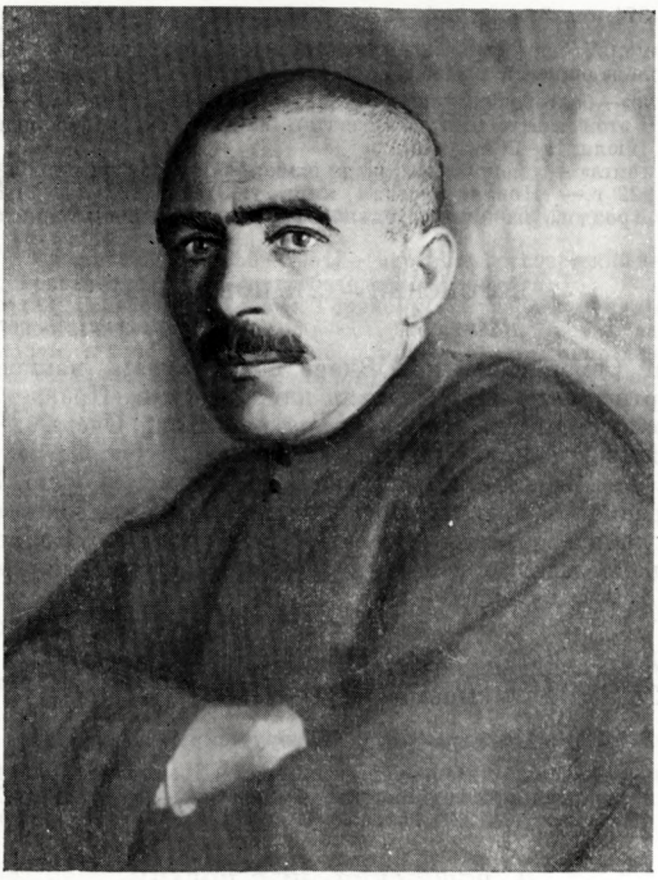
12.X.21.

P. S. Ответьте, когда будет готова статья. Чем скорее — тем лучше
А. В.

ЦГАЛИ, ф. 237, оп. 1, ед. хр. 24, л. 1.

Петр Семенович *Коган* (1872—1932) — историк литературы и критик, с 1921 г. — президент Государственной академии художественных наук. В 1921—1923 гг. был одним из самых активных сотрудников *КН*, где систематически печатались его статьи и рецензии. Важнейшие из них: «Александр Блок», «Русская литература в годы Октябрьской революции» и «Литературные заметки (об Андрее Белом)» (1921, № 2—4), «Памяти В. Г. Короленко», «С. Есенин» (1922, № 1, 3), «Современная литература за рубежом», «Заграничные литературные новинки», «О социальной драме» (1923, № 2—5).

В конце 1923 г. взаимоотношения Когана с Воронским прервались после неоправданно резкой и запальчивой заметки Воронского «Клеветнику и сплетнику», помещенной в декабрьской книге *КН* (№ 7; вышел в январе 1924 г.). В ответ на иронический упрек в неправильном «воспитании» Б. Пильняка, содержавшийся в книге Когана «Литература этих лет» (Иваново-Вознесенск, 1924, с. 104), Воронский назвал эту книгу «вульгарным приспособлением к коммунизму» со стороны человека, который «коммунистом не был и быть не может, но готов в известные моменты (при победе) утверждать: «и мы па-



И. Е. ВОЛЬНОВ
Фотография М. С. Наппельбаума. Москва, 1927
Литературный музей, Москва

хали» (*КН*, 1923, № 7, с. 291). Против такой характеристики Когана протестовал А. В. Луначарский в письме, адресованном в редакцию «Правды» 4 февраля 1924 г.: «За коммуниста тов. Коган себя никогда не выдавал, никакого «мы пахали» я от него не слышал. Но это не только серьезнейший литературный критик-марксист, но чрезвычайно лояльный наш работник со дня революции по сие время. Мы, в Наркомпросе, привыкли относиться к П. С. Когану как к своему человеку, даем ему разного рода ответственные поручения, и удар по нему является в то же время ударом и по Наркомпросу ⟨...⟩ Думается мне, что на это нужно реагировать, но, конечно, в очень мягкой форме, потому что мы все любим и уважаем т. Воронского» (ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 1, ед. хр. 3397, л. 17). Письмо Луначарского осталось неопубликованным. После этого инцидента сотрудничество Когана в *КН* прекратилось.

[1] Второй номер *КН*.

[2] В статье «Русская литература в годы Октябрьской революции» Коган писал: «Толстым и Буниным непонятно, что их место здесь, что это господство (коммунистической идеологии.— *Ред.*) ближе к тому мученичеству, которое так дорого в воспоминаниях русской литературы, чем к безидейному произволу, характерному для деспотических правительств» (*КН*, 1921, № 3, с. 239).

[3] В № 4 *КН* была помещена статья Когана «Литературные заметки. I. Эпопея Андрея Белого».

9. ВОРОНСКИЙ — С. П. ПОДЪЯЧЕВУ

⟨Москва. 13 октября 1921 г.⟩

Семен Павлович! Ваши «шутки» получил [1]. Думается мне, что для журнала они не совсем подходят — слишком легки. «Сусанин» помещен в «Правде» в номере для голодающих [2]. Шлите еще. Чем скорее — тем лучше.

№ 3-ий с вашим рассказом [3] выйдет недели через 2. Я собираю материал для № 4. Журнал крепнет, хотя кое-кто бурчит за вольности; ну, да это ничего. Сейчас испытываю большую нужду в художественных рукописях [4]. Если что есть, не задерживайте у себя. Всего хорошего.

А. Воронский

13/X.

ЦГАЛИ, ф. 374, оп. 1, ед. хр. 4, л. 7.
Год устанавливается по содержанию (ср. п. 7, прим. 2).

[1] О каких произведениях писателя идет речь, не установлено.
[2] См. п. 7, прим. 2.
[3] Рассказ «Болящий».
[4] Приветствуя выход первого номера *КН*, Вяч. Полонский отмечал: «Благодаря огромной энергии и несомненному редакторскому таланту тов. А. Воронского, технические и иные препятствия преодолены ‹...›. Журнал составлен богато и интересно. Правда, не все отделы равноценны. Очень невелик и небогат отдел художественной литературы» (*ПР*, 1921, № 2, с. 228—229). В первом номере за 1921 г. из 319 страниц только 63 были отданы художественной литературе, во втором — 68 из 359, в третьем — 95 из 398 и лишь в четвертом она заняла чуть больше трети всего объема журнала (см. *НМ*, 1964, № 12, с. 217).

10. ВОРОНСКИЙ — О. Д. ФОРШ

‹Москва. 2 ноября 1921 г.›

Уважаемый товарищ!

Редакция журнала «Красная новь» сообщает, что к сожалению, никаких исправлений в вашем рассказе сделать не может, так как 2 номер журнала, где напечатан рассказ «Чемодан», давно уже вышел.

Редакция просит прислать ей еще материал. Плата 380 000 руб. печатный лист. Если нужен аванс — сообщите размер и адрес, по которому его выслать. Второй номер журнала передан для вас т. Горькому.

Адрес редакции — Милютинский 2. Редакция «Красная новь».

2/XI 21 г.

Редактор А. Воронский

ИРЛИ, ф. 732, оп. II, ед. хр. 80.

Ольга Дмитриевна *Форш* (1873—1961) — была в числе первых писателей, привлеченных Воронским к сотрудничеству в *КН*. Здесь опубликованы ее рассказы «Чемодан» (1921, № 2) и «Африканский брат» (1922, № 5), отрывок из романа «Современники» («Флакон Борджиа» — 1925, № 6), очерк «Розариум» (1925, № 8). В изд-ве «Круг» вышли ее сборники: «Обыватели» (1923) и «Рассказы» (1925).

Воронский оказывал Форш содействие в ее работе, о чем свидетельствует его письмо в библиотеку б. Румянцевского музея (ныне ГБЛ), датированное 10 июня 1924 г.: «Прошу дать возможность заниматься в рукописном отделе библиотеки б. Румянцевского музея — Ольге Дмитриевне Форш — сотруднице «Красной нови» для работы над материалами по биографии художника А. Иванова. Редактор «Красной нови» А. Воронский» (ИРЛИ, ф. 732, оп. II, ед. хр. 80).

11. ВОРОНСКИЙ — И. Е. ВОЛЬНОВУ

‹Москва.› 5.XI.21.

Тов. Вольнов!

Ваша просьба о высылке вам официальной «охранной грамоты» на ваши рукописи давно — несколько месяцев тому назад — исполнена: нужная бумажка по сообщенному вами адресу выслана. Получили ли вы ее? [1]

Не имеется ли у вас чего-нибудь для журнала? Если есть, немедленно шлите.

А. Воронский

Адрес: 1-ый Дом Советов, № 217.

Гос. музей И. С. Тургенева (Орел), ф. 13, ед. хр. 5125.

Иван Егорович *Вольнов* (наст. фамилия: Владимиров; 1885—1931) был одним из первых писателей, приглашенных к сотрудничеству в *КН*. Воронский обратился к нему по совету Горького (А. В о р о н с к и й. Встречи и беседы с Максимом Горьким.— *НМ*, 1966, № 6, с. 217).

В 1920-х годах Вольнов жил в родном селе (Богородицкое Куракинской волости Малоархангельского уезда Орловской губ.).

Вольнов поместил в *КН* (в годы редакторства Воронского) четыре рассказа из цикла «Деревенская пестрядь» (1923, № 2; 1924, № 2).

[1] Этот документ неизвестен. В 1919 г. Вольнов был арестован и при обыске у него отобрали рукописи; вскоре он был освобожден в результате вмешательства В. И. Ленина (*Ленин*, т. 50, с. 280; т. 51, с. 70). В марте 1921 г. на предложение Воронского сотрудничать в *КН* «Вольнов ответил, что все написанное у него сожгла Орловская ЧК» (письмо Воронского Горькому 24 марта 1921 г.— *Архив Горького*, т. X, кн. 2, с. 9). Об «охранной грамоте» на свои рукописи Вольнов просил Горького, очевидно, в январе 1921 г. (см. *ЛН*, т. 70, с. 57).

12. ВОРОНСКИЙ — В. Я. БРЮСОВУ

⟨Москва. 21 ноября 1921 г.⟩

Уважаемый Валерий Яковлевич!

К величайшему сожалению, «Красная новь» вынуждена отказаться от вашей трагедии «Диктатор» [1]. Не вхожу в художественную оценку: она для вас едва ли нужна. Но уверен, что трагедия будет истолкована и понята в духе, нежелательном для Советской России. Не доверяя своим личным впечатлениям, я читал трагедию некоторым товарищам, не называя автора. Ответ получался единодушный: вещь направлена против современной пролетарской диктатуры. Мое личное впечатление: нет выхода; тупик у Орма [2], ибо он пренебрег «человеческим, слишком человеческим»; тупик у тех, кто восстал и сверг Орма: их глаза не способны видеть далей, они прикованы только к сегодняшнему. Очень хотелось бы поговорить лично, но совершенно завален работой.

Надеюсь, что это не испортит вашего доброжелательного отношения к журналу.

Считаю, что обязан уплатить вам своего рода неустойку. Скоро получу деньги и пришлю миллион рублей. Не можете ли вы мне позвонить по телефону: 2-06-82, добавочно 217, Воронскому.

А. В о р о н с к и й

21/XI—21 г.

P. S. Чрезвычайно интересно бы было поговорить с вами. Может быть, я не понял вещи вашей.

ГБЛ, ф. 386, 81.8, л. 2.

Валерий Яковлевич *Брюсов* (1873—1924) значился в объявлениях *КН* среди сотрудников журнала (1922, № 6; 1923, № 6-7; 1924, № 1), однако, участие его ограничилось публикацией трех стихотворений (1923, № 3); ни в изд-ве «Круг», ни в альманахах, руководимых Воронским, он не печатался.

В декабрьском номере *КН* за 1923 г. было опубликовано приветственное письмо Брюсову в связи с его 50-летием от имени Госиздата и редакций *КН* и *ПР* (подписи: О. Ю. Шмидт, Н. Л. Мещеряков, Воронский, В. П. Полонский; № 7, с. 289—290).

[1] В ноябре 1921 г. Брюсов предложил в *КН* свою трагедию «Диктатор». 15 ноября Воронский отвечал ему, что редакция согласна на его условия и обязуется выплатить гонорар «по истечении 10—12 дней по представлении и принятии вашей рукописи» (ГБЛ, ф. 386, 81.8, л. 1). Трагедия «Диктатор» не публиковалась (рукопись находится в ИРЛИ). 2 декабря 1921 г. автор впервые прочел ее в московском Доме печати (см. сообщение Б. И. Пуришева в кн.: Н. А ш у к и н. Валерий Брюсов в автобиографических записях, письмах, воспоминаниях современников и отзывах критики. М., 1929, с. 356—357).

[2] Орм — имя главного героя пьесы Брюсова «Диктатор».



М. М. ЗОЩЕНКО
Фотография М. С. Наппельбаума, 1925
Автограф: «Мих. Зощенко. 1925 год»
Литературный музей, Москва

13. М. М. ЗОЩЕНКО — ВОРОНСКОМУ

〈Петроград. 16 января 1922 г.〉

Тов. Воронский, письмо ваше я получил. Вы, конечно, правы: тон моего рассказа, это точно, не идет вашему журналу [1]. Но только это не контрреволюция, это я просто размахнулся на большее, чем нужно. Впрочем, я не оправдываюсь. Я только хочу вам сказать, что «для удовольствия белой печати» не писал и писать не хочу — пишу так, как есть. А если и выходит иной раз с душком — такова жизнь, а не я.

Рассказ «Любовь» подержу у себя, посмотрю, подумаю: может, и верно — изменю кое-что. Тогда пришлю.

Пока посылаю рассказ «Черная магия». Тоже бытовой.

Пока всего доброго.

Мих. Зощенко

P. S. Сегодня виделся с Бор. Пильняком — говорили о вашем журнале и о моем рассказе «Любовь». Пильняк считает, что вы правы. Я согласился. Привет и от него.

16/I—22. Мих. Зощенко

ИМЛИ, ф. 62, оп. 1, ед. хр. 1, л. 1.
В неполном виде опубликовано в кн.: А. К. Воронский. Литературно-критические статьи. М., 1963, с. 27.

Михаил Михайлович *Зощенко* (1895—1958), так же, как и некоторые другие члены группы «Серапионовы братья», был привлечен к участию в *КН* по совету Горького и при его посредстве (А. Воронский. Встречи и беседы с Максимом Горьким.— *НМ*, 1966, № 6, с. 217). В апреле 1922 г. Воронский назвал его в числе тех молодых писателей, которых считал опорой своего журнала (*Архив Горького*, т. X, кн. 2, с. 10). Сотрудничество Зощенко в *КН* (в годы редакторства Воронского) ограничилось публикацией рассказа «Лялька Пятьдесят» (1922, № 1). Три его рассказа напечатаны в альманахах, выходивших под руководством Воронского: «Черная магия» (*Наши дни*, № 1, 1922), «Коза» (*Круг*, кн. 1, 1923), «Война» («Веселый альманах», 1923).

Воронский сочувственно отозвался в печати о творчестве Зощенко: в рецензиях на альманах «Серапионовы братья» (Пг., 1922 — *КН*, 1922, № 3) и на первую книгу писателя — «Рассказы Назара Ильича, господина Синебрюхова» (Пб., 1922 — *КН*, 1922, № 6). Он отметил стремительное развитие дарования автора «Рассказов» и «своевременность» избранных им темы и жанра: «Сатира и смех теперь нужны как никогда, и о Синебрюховых нужно писать» (там же, с. 344); вместе с тем, Воронский предъявлял Зощенко серьезный упрек в «неопределенности» авторской позиции, проистекающей из неумения писателя стать «в уровень с революцией» (там же).

[1] Речь идет о рассказе «Любовь». Зощенко явно преувеличивал здесь некоторые негативные явления быта начала 20-х годов. Из-за неопределенности авторской позиции рассказ мог быть воспринят как изображение торжества того, что принято было называть «накипью революции». Рассказ не был напечатан в *КН*; опубликован в приложении к «Петроградской правде» («Литературная неделя», 1922, № 9).

14. ВОРОНСКИЙ — С. П. ПОДЪЯЧЕВУ

〈Москва. 7 февраля 1922 г.〉

Семен Павлович! Я не ответил вам сразу на письмо, потому что был болен, а потом набежали всякие делишки. № 4 «Красной нови» я послал вам по почте [1]. № 5-ый выходит на днях [2]. С Вересаевым мы приступили к изданию художественных альманахов [3]. № 1-ый выйдет недели через три. Пришлю. Раскачайтесь написать что-нибудь побольше. Плачу я теперь прилично (4 миллиона руб. печатный лист). Плохо, что вы болеете. Подберите ваши последние рассказы; я сдам их в Госиздат для издания [4]. Самому мне очень трудно возиться. Помаленьку раздуваю кадило, туговато идут дела, литературы хорошей нет: сгинула. Но все-таки лучше, чем 5—6 месяцев тому назад. Пока всего хорошего. Пишите.

А. Воронский

7/II—22 г.

ЦГАЛИ, ф. 374, оп. 3, ед. хр. 4, л. 5—5 об.

[1] В четвертом номере *КН* (ноябрь — декабрь 1921 г.; зарегистрирован во Всесоюзной книжной палате 11 января 1922 г.) опубликовано два рассказа Подъячева — «Из недавнего прошлого» и «Православные».

[2] Имеется в виду № 1 (5) *КН* за 1922 г. (в 1921 г. вышло всего 4 книги, в 1922 г. журнал имел двойную нумерацию).

[3] Альманах *Наши дни* (№ 1—5, М., ГИЗ, 1922—1925), как и *КН*, объединял писателей различных направлений (в основном, авторов журнала). Первый номер вышел в мае 1922 г. под ред. В. В. Вересаева (фактически под совместной редакцией Вересаева и Воронского). На титуле последующих номеров (№ 2—4) имя редактора не обозначено, редактор 5-го номера — Воронский.

[4] О судьбе этого предложения см. п. 17 и 18.

15. Б. А. ПИЛЬНЯК — ВОРОНСКОМУ

Kirchstrasse E[II] bei Delion. Charlottenburg 1-Berlin
Boris Wogau-Pilniak [1].
〈Берлин〉 15 февраля 1922 г.

Дорогой Александр Константинович!

Алексей Михайлович Ремизов пишет вам о горестях своих [2]. О его рукописях хлопочут все, начиная с Горького, кончая Аросевым [3] (видел я его в Риге, долго толкался я по пуговичным нашим соседям). Пожалуйста, сходите в Наркоминдел (там рукописи Алексея Михайловича), узнайте,

у кого они там, толку добейтесь, вызвольте рукописи, пришлите их сюда (или нам, я вместе с Ремизовым живу [4],— или Гринбергу Захару Григорьевичу в Наркомпросе [5]): *пожалуйста*. Сами вы понимаете, что значит писателю без рукописей быть.

Это одно дело. Другое — теперь. Это письмо в Москве бросит Ладыжников Иван Павлович [6]. В Москве он пробудет всего несколько дней и вернется сюда, в Берлин. Писать всем товарищам некогда—Иван Павлович завтра едет. Позвоните по телефону, скажите Яковлеву, Клычкову, Лидину, Зайцеву, чтоб слали к вам рукописи, а вы передайте их Ладыжникову, чтоб Ладыжников мне их привез (всем писателям скажите, без окрасок партийных, без различия «имен») [7]. Спрос здесь огромный. Надо русский товар лицом показывать.

Извините, что только о делах пишу. Всего не расскажешь, а «о душе», как писал из Ревеля [8],— все же напишу, на днях, как схлынет суматоха: огромная суматоха.

Помогите Ремизову.
Пришлите, через Ладыжникова, рукописей } по-жа-луй-ста

Может, изловчитесь, пришлете: газет советских, «Красную новь» — комплект, журналов московских мелких — очень скучно без будничной России.

Целую вас крепко ваш Б. П и л ь н я к

ИМЛИ, ф. 62, оп. 1, ед. хр. 12, л. 1.

Борис Андреевич *Пильняк* (наст. фамилия Вогау; 1894—1937) был привлечен к участию в *КН* по совету Горького (А. В о р о н с к и й. Встречи и беседы с Максимом Горьким.— *НМ*, 1966 № 6, с. 217). С осени 1921 г. стал постоянным сотрудником изданий, которыми руководил Воронский: в *КН* напечатаны его «Простые рассказы» (1921, № 4), отрывки из романа «Голый год» (1922, № 1), рассказы «Волки» и «Speranza» (1923, № 3, 6), «Материалы к роману» (1924, № 1, 2), очерк «Могила А. П. Чехова», рассказ «Гибель Свердрупа» и очерк «Соли Камские» (1925, № 2, 3, 8), «Рассказ о ключах и глине» (1926, № 1), «Корни Японского солнца» и «Иван Москва» (1927, № 3 и 6); в *Круге* — повести «Третья столица» (кн. 1, 1923), «Мать сыра-земля» и «Заволочье» (кн. 4, 5, 1925); в *Наших днях* — «Кукушка» («отрывок из романа «Коломенские земли» — № 5, 1925). В 1923—1927 гг. изд-во «Круг» выпустило роман «Голый год» и 6 сборников рассказов Пильняка. В 1922—1923 гг. Пильняк, как член правления изд-ва, принимал самое активное участие в его работе, в частности, в редактировании альманахов *Круг*.

Воронский высоко ценил Пильняка и называл его в числе тех, на кого опирался, работая «над объединением вокруг журнала группы молодых литераторов» (*Архив Горького*, т. X, кн. 2, с. 10). Он посвятил его творчеству первую статью в цикле «Литературные силуэты» («Борис Пильняк» — *КН*, 1922, № 4), значительное внимание уделял Пильняку и в своих обзорах современной литературы (*КН*, 1922, № 2; 1923, № 2). Признавая, что Пильняк — «писатель не отстоявшийся и сложный», не пришедший еще к «целостному мироощущению», Воронский отзывался о нем как о художнике «с большим дерзанием и самостоятельностью, с несомненными художественными данными» (*КН*, 1922, № 4, с. 260, 265). Вместе с тем он резко критиковал идеологические шатания Пильняка, помешавшие ему увидеть «подлинных, настоящих строителей новой России» (*КН*, 1923, № 2, с. 337).

Дружеские отношения, установившиеся у Воронского с Пильняком, прервались в 1926 г. после того, как Пильняк опубликовал свою «Повесть непогашенной луны» (*НМ*, 1926, № 5), посвятив ее Воронскому, на что не получил его разрешения. В открытом «Письме в редакцию» Воронский указал, что повесть «является не только грубейшим искажением» обстоятельств смерти М. В. Фрунзе, «но и злостной клеветой на нашу партию»; в заключение он заявил: «Повесть посвящена мне. Ввиду того, что подобное посвящение для меня, как для коммуниста, в высокой степени оскорбительно и могло бы набросить тень на мое партийное имя, заявляю, что я с негодованием отвергаю это посвящение» (*НМ*, 1926, № 6, с. 184). Редакция *НМ* признала публикацию повести «явной и грубой ошибкой» (там же). В начале июля 1926 г. Воронский писал Горькому: «Меня обвиняют в инспирации Пильняка. Кое-что он, правда, узнал от меня, но в самом главном я неповинен» (*Архив Горького*, т. X, кн. 2, с. 38). Впоследствии взаимоотношения между Пильняком и Воронским были восстановлены.

[1] В 1922 г. Пильняк провел несколько месяцев за границей — сначала в странах Прибалтики, а затем в Германии.

[2] Алексей Михайлович *Ремизов* (1877—1957) в августе 1921 г. выехал из Советской России за границу, чтобы, по его словам, «прикоснувшись к старым камням Европы, набраться силы и вернуться назад в Россию,— русскому писателю без русской стихии

жить невозможно» («Русская книга», Берлин, 1921, № 9, с. 30). Первое время жил в Берлине. В конце публикуемого письма — приписка неизвестной рукой: «Дорогой Воронский, ‹...› прошу тебя также помочь Ремизову. Он здесь болеет и вообще чахнет, но тяготеет к нам и против белогвардейщины...». Письмо Ремизова Воронскому неизвестно.

[3] Александр Яковлевич *Аросев* (1890—1938) — писатель, партийный и государственный деятель. Был активным сотрудником *КН* с ее основания, состоял членом правления изд-ва «Круг». В начале 1920-х годов находился на дипломатической работе за рубежом.

[4] Пильняк был связан с Ремизовым не только дружескими отношениями, но и творчески. Повесть «Третья столица» посвящена им Ремизову — «мастеру, у которого я был подмастерьем». О судьбе рукописей Ремизова см.: «Ежегодник отдела рукописей Пушкинского Дома на 1975 год». Л., «Наука», 1977, с. 20.

[5] Захарий Григорьевич *Гринберг* был представителем Наркомпроса РСФСР и Госиздата по заграничным закупкам в Берлине.

[6] Иван Павлович *Ладыжников* (1874—1945) — издательский работник, друг и помощник Горького в его литературно-издательской деятельности. В 1921—1930 гг.— один из руководителей акционерного изд-ва «Книга» (Берлин), затем акционерного общества «Международная книга» (Москва).

[7] По-видимому, речь идет о материалах для литературного приложения к газете «Накануне» (подробнее см. п. 24, прим. 2). Александр Степанович *Яковлев* (1886—1953), Сергей Антонович *Клычков* (см. о нем. п. 33 прим. 4), Владимир Германович *Лидин* (1894—1979), Петр Никанорович *Зайцев* (1888—1971.— писатели, группировавшиеся вокруг *КН* и изд-ва «Круг».

[8] Ревель — дореволюционное название Таллина. Этот город описан в повести Пильняка «Третья столица».

16. С. А. СЕМЕНОВ — ВОРОНСКОМУ

Петроград. 22 февраля ‹19›22 г.

Тов. Воронский! Очень прошу вас срочно выслать оттиск «Голода». Если сам «Голод» выйдет позднее 1 марта, то мне в высшей степени необходим хотя бы оттиск.

«Голод» я препровождаю с В. И. Немировичем-Данченко за границу [1], и Василий Иванович обещает, что он будет издан там. По этой причине мне срочно необходим хотя бы оттиск, ибо Василий Иванович уезжает около 5 марта.

Сергей Семенов

АГ, П-ка *КН*, 1-66-1.

Сергей Александрович *Семенов* (1893—1942) — писатель-прозаик, участник гражданской войны. В 1921—1922 гг. принимал участие в работе Петроградского отделения Пролеткульта.

Первые произведения Семенова (начал печататься в 1921 г.) посвящены эпохе гражданской войны и военного коммунизма. В *КН* опубликован его рассказ «Тиф» (1922, № 1), в *Наших днях* — роман «Голод» (№ 1, 1922) и рассказ «По стальным путям» (№ 3, 1923). В 1922 г. «Голод» вышел отдельным изданием в Петроградском отделении ГИЗа, затем дважды переиздавался изд-вом «Круг» (1923, 1925); был переведен на болгарский и немецкий языки.

[1] Писатель Василий Иванович *Немирович-Данченко* (1844—1936) эмигрировал в 1922 г.

17. С. П. ПОДЪЯЧЕВ — ВОРОНСКОМУ

‹с. Обольяново-Никольское Дмитровского уезда, Московской губ. Между 7 и 27 февраля 1922 г.›

Уважаемый товарищ!

Посылаю вам с сынишкой несколько рассказиков. Добавьте к ним из «Красной нови» «Болящий», «Голодающие», «Православные» и «Овца заблудящая» в «Правде» [1].

Прошу сделать, что можно.

Затем относительно вашего альманаха нового скажу, что я со своей стороны постараюсь дать что-нибудь [2]. Об этом и толковать нечего, только ей-ей — нездоровится. Да как-то по-чудному нездоровится — худею и стал, как баба. Слезы, злость. Временами постыло делается всё, так что хоть

в петлю. Семейству кажется в тягость. Покою от меня мало. Задыхаюсь. Пройду немного — рот разеваю — воздуху мало.

Ну да это все между прочим. Пора ведь костям на место, и работать-то надо, и буду пока и т. д.

Жму руку. Ваш С. П. Подъячев

Не забывайте меня. Устройте с изданием. Да нельзя ли за него денег ⟨1 *нрзб.*⟩ получить?

С. Подъячев

P. S. «Красную новь» пришлите.

ЦГАОР, ф. 395, оп. 9, ед. хр. 17, л. 62—62 об.
Ответ на п. 14. Датируется по содержанию.

[1] См. п. 14 и 18.
[2] В альманахе *Наши дни* (см. п. 14, прим. 3) Подъячев не участвовал

18. В РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКУЮ КОЛЛЕГИЮ ГОСИЗДАТА

⟨Москва⟩ 27/II—22 г.

Писатель Семен Павлович Подъячев обратился в редакцию журнала «Красная новь» с просьбой оказать ему содействие по выпуску через Госиздат отдельным сборником его литературных произведений, помещенных в «Красной нови», «Правде» и других советских органах.

Находя такой выпуск вполне своевременным и желательным, редакция поддерживает означенное ходатайство Подъячева [1].

Произведения Подъячева и письмо при сем прилагаются.

Редактор А. Воронский

ЦГАОР, ф. 395, оп. 9, ед. хр. 17, л. 61.
Машинопись (исх. № 183). Подпись — автограф.

[1] 8 мая 1922 г. на сборник были получены положительные рецензии П. Н. Зайцева и В. М. Фриче (ЦГАОР, ф. 395, оп. 9, ед. хр. 17). Однако автор попросил вернуть ему рукопись, решив выпустить книгу в изд-ве Наркомзема «Новая деревня» (там же, л. 64). С согласия председателя Редколлегии Госиздата Н. Л. Мещерякова рукопись была ему возвращена. В 1922 г. «Новая деревня» выпустила сборник рассказов Подъячева под заглавием «На грани».

19. Н. Н. НИКИТИН — ВОРОНСКОМУ

⟨Петроград. 1 марта 1922 г.⟩

Тов. Воронский,

вместе с этим письмом посылаю вам рукопись «Подарок Фатьмы». Эта вещь пародирует семейный и авантюрный английский роман. Все чрезвычайно сжато и напряжено, где вехи романа — главы. Стержнем романа нарочно выбран такой пустяковый и незначительный предмет, как туфли. Конец нарочно условен. Всего в ней 42 000 букв.

Почему вы мне ничего не пишете? И я не знаю, что вы сделали с моим «Хлебом» [1]. Был бы крайне признателен, если бы вы сочли возможным прислать редактируемые вами издания.

Читал статью С. Городецкого (о «Петербургском сборнике») [2]. Здорово! ⟨...⟩ На днях выйдет Серапионовский сборник [3].

Жму руку. Ваш. Ник. Никитин

Жду срочного ответа.

АГ, П-ка *КН*, 1-44-2.
Открытое письмо. Датируется по почт. штемпелю: «Петроград. 1.3.22».

Николай Николаевич *Никитин* (1895—1963) начал профессиональную литературную деятельность в 1920 г. в студии «Дома искусств» в Петрограде. Входил в группу «Серапионовы братья» и вместе с другими ее участниками был, по совету Горького, приглашен сотрудничать в *КН*.

«Отеческим пинком я попал в литературу — это пинок Горького,— писал Никитин.— Через Горького к Воронскому. Пинок, данный Алексеем Максимовичем, был правилен. Потом Москва и Воронский — это совершенно связано. И Воронский, что бы и кто бы ни писал о современной литературе, не только для меня, но и для всех нас, кухарей сегодняшней кухни, никогда из этой связи не выйдет» («Красная панорама», 1926, № 28, с. 13). Столь же высоко оценивал он и впоследствии роль основанного Воронским журнала: «Не думайте, что печатание в «Красной нови» было тогда обыкновенным, будничным явлением. Это был серьезный и, пожалуй, до известной степени политический шаг в жизни. И действительно, на «питерском парнасе» заговорили, что молодежь уходит к большевикам ‹...› Многие из «серапионов» один за другим стали вскоре печататься в „Красной нови“» (Н. Н и к и т и н. Избранное в двух томах, т. I. М.— Л., 1959, с. 17—18).

Воронский сочувственно отозвался о Никитине в статье «Литературные отклики» (*КН*, 1922, № 2 — см. п. 22, прим. 8), а в рецензии на альманах «Серапионовы братья» (Пб., 1922) писал: «Большой дар у Никитина и многое ему дано» (*КН*, 1922, № 3, с. 266). Впоследствии Воронский неоднократно отмечал незаурядное дарование этого писателя (*КН*, 1923, № 2, с. 344; № 5, с. 370).

В письме Горькому от 27 апреля 1922 г. Воронский назвал Никитина в числе молодых писателей, которых считал опорой своего журнала (*Архив Горького*, т. X, кн. 2, с. 10). В *КН* опубликованы его рассказ «Мокей», отрывок из повести «Рвотный форт» (1921, № 3; 1922, № 4). Три рассказа Никитина напечатаны в альманахах, выходивших под руководством Воронского: «Подарок Фатьмы» («Веселый альманах», М., 1922), «Чаване» (*Наши дни*, № 2, 1922), «Ночь» (*Круг*, кн. 2, 1923). Последний рассказ вызвал резкую критику Воронского, считавшего неприемлемой авторскую позицию писателя в изображении событий гражданской войны (*КН*, 1923, № 2, с. 344; см. также п. 36 и п. 43, прим. 1 и 2). После этого сотрудничество Никитина в *КН* прервалось и возобновилось только в 1926 г. («Обояньские повести» — № 3 и 4; «Преступление Кирика Руденко»— 1927, № 10—12).

С 1922 г. Никитин был членом правления изд-ва «Круг» и принимал деятельное участие в его организации (об этом он писал Горькому 22 августа 1922 г.— *Летопись Горького*, вып. 3, с. 289; см. также *ЛН*, т. 70, с. 466). В 1923 г. «Круг» выпустил сборник рассказов Никитина «Бунт» (2-е изд. под заглавием «Рассказы», 1925).

[1] Рассказ «Хлеб» опубликован в журнале «Культура и жизнь» (М., 1922, № 2-3), одним из редакторов которого был Воронский (всего вышло 4 номера журнала).

[2] В статье Сергея Городецкого «Зелень под плесенью. (Литературный Петербург)», напечатанной в «Известиях ВЦИК» (1922, № 42, 22 февраля), давалась оценка книги «Петербургский сборник 1922. Поэты и беллетристы» (Пб., изд. журн. «Летопись Дома литераторов», ‹1922›), в которой рядом с петербургскими писателями дореволюционной формации, в том числе эстетами из «Аполлона», выступали и члены группы «Серапионовы братья». Называя последних «молодой цветущей зеленью нашей литературы», Городецкий в то же время констатировал, что они испытывают вредное влияние «старой идейной плесени», характерной для произведений большинства участников сборника, в результате чего помещенные там рассказы Вс. Иванова и Зощенко представляют собой «идеологически пустое место».

[3] «Серапионовы братья». Альманах первый. Пб., 1922 (вышел в мае 1922 г.).

20. ВОРОНСКИЙ — А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ

‹Москва› 2/III—22.

Народному комиссару по просвещению
Анатолию Васильевичу Луначарскому

На основании вашего письма к Н. Л. Мещерякову [1] от 7 февраля за № 8508 Государственное издательство препровождает список поэтов с указанием отдельных произведений некоторых из этих поэтов для прочтения на литературных вечерах, устраиваемых в Берлине тов. Гринбергом в пользу голодающих России [2].

Книги указанных в списке авторов могут быть приобретены в Ассоциации пролетарских писателей и в книжных магазинах Москвы и Петрограда, так как большинство их, кроме басен Д. Бедного, являются частными изданиями и на складах Государственного издательства таких книг не имеется.

Зам. Председателя Редакционной коллегии В о р о н с к и й
Секретарь Редакционной коллегии С у х а н о в а

ЦГАОР, ф. 395, оп. 1, ед. хр. 265, л. 150.
Машинописная копия (исх. № 1831).

Решением Оргбюро ЦК РКП(б) от 9 января 1922 г. Воронский был введен в Редакционную коллегию Госиздата; 12 января коллегия Наркомпроса назначила его временно

заместителем председателя Редколлегии, а 18 мая он был утвержден в этой должности (ЦГАОР, ф. 395, оп. 1, ед. хр. 265, л. 21, 22, 39; оп. 9, ед. хр. 115, л. 6).

[1] Николай Леонидович *Мещеряков* (1865—1942) в 1920—1924 гг. был председателем Редколлегии Госиздата.

[2] З. Г. Гринберг, представитель Наркомпроса и Госиздата в Берлине, в 1922 г. устраивал при участии Объединения русских студентов в Германии литературные вечера, часть сбора с которых шла в фонд помощи голодающим. О вечере, состоявшемся 21 апреля 1922 г., сообщала газ. «Накануне» (в числе его участников назывались известные артисты О. Гзовская, В. Гайдаров и др.—1922, № 22, 22 апреля).

21. ВОРОНСКИЙ — В. В. ИВАНОВУ

〈Москва. 22 марта 1922 г.〉

Тов. Иванов! Получил ваше письмо о делах издательских [1]. Из письма я увидел, что вы не совсем, по-видимому, поняли, о какой помощи «государства» идет речь. Дело идет не о казенных субсидиях и редакционном вмешательстве, а о кредите и льготах на коммерческих началах. Кредит из Госбанка. Это практикуют почти все издательства. «Задруга», например, «свистнула» месяца два тому назад три миллиарда. Я хлопотал *о бóльших* льготах для вас, чем для иных издательств (бумага, кредит льготный, закупка Госиздатом ваших изданий по соглашéнию и пр.).

Вот о чем идет речь. Понятно, что о редакционном вмешательстве не может быть и речи. Решение, которое вынесли серапионы, очень, по-моему, подходящее. Я на днях переговорю с Госиздатом, а потом сообщу. Поднимая вопрос о помощи вам, я имел 〈в виду〉 не взятие вас «на казенное содержание», а дружескую помощь на коммерческих началах, не связывающих ни ту, ни другую сторону. Может быть, я сам дал повод к иному истолкованию моего предложения: извиняюсь.

Теперь о «Голубых песках». Ах, тов. Иванов! Рукопись, хотя бы два-три листа, нужно было уже послать мне. № 6-ой работается в два раза быстрей пятого и выйдет 10-го апреля [2]. Уже сейчас нужно точно знать, что пойдет, а дней через 7—8 надо сдать художественную часть журнала. Жду рукопись уже недели две и, так как надеюсь на нее, то другое отбрасываю. Убедительно вас прошу послать несколько листов. Жду вас в Москву [3].

Привет и счастья!

22/III—22 г. А. Воронский

«Бронепоезд» расценивается среди коммунистов очень высоко. Скоро появится ряд рецензий. В восторге Сталин и прочая именитая публика. Да, это не «лампадка»!

А. В.

ГБЛ, ф. 673, без шифра.

Всеволод Вячеславович *Иванов* (1895—1963) был привлечен к сотрудничеству в *КН* по рекомендации Горького, который передал Воронскому его повесть «Партизаны» (см.: Всеволод Иванов. Собр. соч., т. I. М., 1958, с. 712—713). Этой повестью в 1921 г. открылся первый номер *КН*. По словам Воронского, она «уже тогда наметила художественную физиономию журнала» («Прожектор», 1927, № 6, с. 20).

В творческой судьбе Иванова Воронский и его журнал сыграли значительную роль. В *КН* была опубликована большая часть произведений писателя, созданных в первой половине 1920-х годов: повести «Партизаны» (1921, № 1), «Бронепоезд 14-69» (1922, № 1), «Хабу» (1925, № 2), роман «Голубые пески» (1922, № 3 — 6; 1923, № 1 и 3), отрывок из романа «Северосталь» (1924, № 5) и ряд рассказов (1921, № 2; 1923, № 5; 1924, № 1, 4; 1926, № 1, 3, 5, 6, 8, 10; 1927, № 4, 5); в *Наших днях* напечатана повесть «Возвращение Будды» (1923, № 3), в *Круге* — рассказы «Пустыня Туубкоя» и «Блаженный Ананий» (кн. 4, 1925; кн. 6, 1927). В изд-ве «Круг» вышел роман «Голубые пески», три сборника рассказов и отдельным изданием — рассказ «Полая Арапия».

Воронский посвятил Иванову вторую статью в цикле «Литературные силуэты» («Всеволод Иванов» — *КН*, 1922, № 5). «Из молодых беллетристов, выдвинувшихся за последние 1½ года,— писал Воронский, — Всев. Иванов наиболее решительно и безоговорочно принял Советскую революционную Россию, и выходит это у него просто, молодо, легко, художественно, правдиво и цельно» (там же, с. 254). Воронский-критик



Н. Н. НИКИТИН

Фотография. Начало 1920-х гг.

Институт мировой литературы им. А. М. Горького, Москва

возлагал на Иванова особые надежды: «Дал Всеволода Иванова — это уже целое литературное событие, ибо он крупный талант и наш,— писал он В. И. Ленину 21 апреля 1921 г., характеризуя художественный отдел *КН*.—‹...› Имейте в виду, что Всев. Иванов— это первая бомба, разорвавшаяся среди Зайцевых и Замятиных. Уверен, что будут и другие» (*НМ*, 1964, № 12, с. 216).

Сочувственные отзывы о творчестве Иванова встречаются в ряде других статей Воронского, напр.: «Литературные отклики» (*КН*, 1922, № 2), рец. на альманах «Серапионовы братья» (*КН*, 1922, № 3), «Литературный дневник» («Прожектор», 1927, № 13, с. 20). По признанию В. Иванова, Воронскому принадлежала идея инсценировки повести «Бронепоезд 14-69» (Собр. соч., т. 8. М., 1978, с. 661).

С 1922 г. Иванов был членом правления артели писателей «Круг» (*ЛН*, т. 70, с. 466). О своих встречах с Воронским и другими членами «Круга» он рассказал в воспоминаниях «История моих книг» (Собр. соч., т. I. М., 1958).

Вскоре после того, как Воронский был отстранен от руководства *КН* (последняя книга журнала, подписанная им к печати,— № 10 за 1927 г.), Иванов вошел в состав редколлегии и возглавил в журнале отдел прозы (первый номер, который он подписал среди других членов редколлегии,— № 12 за 1927 г.).

[1] Это письмо неизвестно. «Дела издательские» — вопрос о поддержке издательской деятельности группы «Серапионовы братья», в частности, задуманного ими журнала «Двадцатые годы».

[2] Имеются в виду № 1 (5) и 2 (6) *КН* за 1922 г. (см. п. 14, прим. 2). Роман «Голубые пески» начал печататься в *КН* с № 3 (7).

[3] В середине августа 1922 г. М. Л. Слонимский, приглашая Горького участвовать в журнале «Двадцатые годы», писал: «Журнал этот — следствие поездки моей со Всеволодом и Фединым в Москву. Жду сейчас Всеволода, который еще в Москве,— он дол-

жен привезти деньги» (*ЛН*, т. 70, с. 376). Тем не менее издание журнала не состоялось: «Совсем было наладилось дело с изданием в Петербурге серапионовского журнала,— писал К. А. Федин Горькому 28 августа 1922 г.,— но в последний момент затею пришлось отложить, как ни странно — не из-за денег» (там же, с. 466).

22. Н. Н. НИКИТИН — ВОРОНСКОМУ

⟨Петроград. Между 10 и 15 апреля 1922 г.⟩

⟨...⟩ [1].

Ваша статья — дельная и прекрасно написанная [2]. И не от себя скажу, а от других — которые говорят:

— Да... Приятно читать. Настоящий литературный обзор большого толстого журнала.... Как раньше...

(Между прочим, кажется, П. Щеголев это говорил) [3].

Удивителен медный пушкинский стих Есенина [4].

Просматриваю статьи и вижу — что составлен номер очень хорошо.

В одном из писем своих я как-то вам писал, что вы можете сделать ваш журнал — «единственным» в России журналом.

И это оправдывается.

Но вам тяжело, вы устали. Понимаю — тяжко было подымать целину, а теперь на готовенькое, на чистенькое и выхоженное — все готовы слететься — «примите, мол, и нас...».

Работы будет много.

Но это ваша гордость.

Возьмите хорошего, надежного помощника.

Если б я был московский, я не задумался бы помочь вам.

Журнал стоит того, чтобы обеспечить за ним литературный приоритет.

Вот хотел открытку, а пишу письмо.

О деле так.

Выясню и напишу. 70 м⟨иллионов⟩ за мной. К этим можно будет прибавить то, что выторгую из запроданного и передам вам [5].

№ 2 «Культуры и жизни» получил — спасибо [6].

Деньги за «Фатьму» жду.

«Летопись» — я с ней поспорил [7]. Это старая каша.

Посмотрите в № 2 «Новой России» — один из последних моих рассказов «Пес» — выходит на этой неделе.

Благодарю за память обо мне в «Литературных откликах» [8].

Жалко, что располагаете малым материалом. Ваш отзыв — мне дорог.

Ехать думаю во второй половине мая. Дам вам знать — и без денег ваших не поеду.

Крепко жму руку Ник. Никитин

P. S. Кстати, о Замятине. Не влияет он на меня так, как вы думаете [9]. Вначале может быть было, это верно... а теперь нет. Я не отрекаюсь от него, конечно, а просто по существу. Человек он хороший, «оппозиционер» по природе — ну что поделаешь, интеллигентская замашка. Родиться бы ему вновь, пройти сквозь революционную жижу — здоров бы был....

АГ, П-ка *КН*, 1-44-6.

[1] Начало письма не сохранилось. Датируется по упоминанию о втором номере *КН* за 1922 г. (вышел в апреле), а также по словам Никитина в письме Воронскому от 26 апреля 1922 г.: «Письмо писал вам на Страстной» (АГ, П-ка *КН*, 1-44-3, л. 1) — Страстная неделя в 1922 г. приходилась на 10—15 апреля нов. стиля.

[2] Статья Воронского «Литературные отклики» (*КН*, 1922, № 2).

[3] Павел Елисеевич *Щеголев* (1877—1931) — литературовед, историк революционного движения.

[4] Стихотворением «Не жалею, не зову, не плачу...» (*КН*, 1922, № 2) началось постоянное сотрудничество С. А. Есенина в *КН*. Его творчеству Воронский посвятил статью в цикле «Литературные силуэты» («Сергей Есенин» — *КН*, 1924, № 1), некролог «Об отошедшем» (*КН*, 1926, № 1) и воспоминания «Памяти Есенина» (*КН*, 1926, № 2).

[5] По-видимому, речь идет о вступительном взносе в артель писателей «Круг».
[6] См. п. 19, прим. 1.
[7] «Летопись Дома литераторов» (Пг., 1921—1922) — «литературно-исследовательский и критико-библиографический» журнал, отпочковавшийся от журнала «Вестник литературы» (Пг.— Л., 1919—1922); издавался группой литераторов, чуждых революции.
[8] В статье «Литературные отклики» (*КН*, 1922, № 2) Воронский назвал Никитина в числе тех недавно вступивших в литературу молодых писателей-прозаиков, которых объединяют общие черты: «они вышли из революции, пережили ее, стремятся каждый по-своему ее отобразить, их тянет к быту, к современности, к недавним дням» (с. 270).
[9] В той же статье Воронский писал: «Почти все «молодые» подражают кому-нибудь. В рассказах Пильняка нередко чувствуется А. Белый, у Лидина — Бунин, у Всеволода Иванова — М. Горький, у Ник. Никитина — Замятин и Ремизов, у Зощенко — Замятин и Лесков»; однако он отмечал, что это «влияние часто внешнее, формальное» (*КН*, 1922, № 2, с. 271).

23. Д. Н. СЕМЕНОВСКИЙ — ВОРОНСКОМУ

‹с. Троицкое Иваново-Вознесенской губ.,
14 мая 1922 г.›

Дорогой Александр Константинович!

Обещал вам рассказ, а вместо того посылаю стихи. Если подойдут, то напечатайте их поскорее, так как они имеют значение агитационное. Если нельзя напечатать все, то напечатайте хоть часть (хотя стихи не длинны, а в журнале места много), но непременно с посвящением [1].

Живу в себе. Иногда прихожу в редакцию. В. А. Смирнов из «Рабочего края», кажется, уходит [2]. Собирается осенью в Москву.

Получили ли мои вирши, посланные вам недели две назад? [3] Шлите гонорар или аванс. Извините, что беспокою мелочами. Впрочем, это для меня далеко не мелочь, особенно теперь, когда я нигде не служу и ничего не зарабатываю.

Всего хорошего!

Ваш Д. С е м е н о в с к и й

14/V—22.

P. S. Деньги, журнал и, если придется, письма — можно посылать, как и прежде, на «Рабочий край». Оттуда мне передадут.

Д. С.

Если аванс прислать можно, то пусть он будет не меньше 10 миллионов. Хотел послать несколько стихов интимного характера, но раздумал и посылаю одну только виршу.

АГ, П-ка *КН*, 1-67-1.

Поэт Дмитрий Николаевич *Семеновский* (1894—1960) входил в кружок пролетарских поэтов при иваново-вознесенской газете «Рабочий край», которую в 1918—1920 гг. редактировал Воронский. В рецензии на три сборника членов кружка, изданные в 1919—1920 гг. в Иваново-Вознесенске, Воронский писал: «Самый значительный и даровитый из поэтов этой группы несомненно Д. Семеновский» («Литературные заметки. I. Песни северного края» — *КН*, 1921, № 2, с. 218). Семеновский посвятил Воронскому стихотворение «Не враждой, не яростью звериной...» (сб. «Взмах. Стихи и поэмы иваново-вознесенских поэтов». Иваново-Вознесенск, 1921).

Семеновский был одним из первых писателей, привлеченных Воронским к сотрудничеству в *КН*,— в первом номере журнала напечатана его статья «Современная частушка», включающая тексты частушек, собранных в 1917—1919 гг. (1921, № 1), его стихи печатались в ряде номеров *КН* (1921, № 2; 1922, № 2 и 5; 1926, № 6). В 1927 г. изд-во «Круг» выпустило сборник стихов Семеновского «Мир хорош».

[1] К письму приложено стихотворение «Влажен, чье сердце...» В *КН* оно не было напечатано; вошло в сб. стихов Семеновского «Благовещание» (Иваново-Вознесенск, 1922).
[2] Василий Алексеевич *Смирнов* — поэт и журналист, ответственный редактор «Рабочего края» после перевода Воронского в Москву. В мае 1922 г. был переведен на работу в «Правду».
[3] По-видимому, стихотворение «Всем, нам, всем: цветам, деревьям, людям...» *К Н*, 1922, № 5).



Д. Н. СЕМЕНОВСКИЙ, М. Д. АРТАМОНОВ, И. И. ЖИЖИН

Члены кружка пролетарских поэтов при иваново-вознесенской газете «Рабочий край»

Фотография. Иваново-Вознесенск, 1920

Ивановский объединенный историко-революционный музей

В 1921 г. творчеством этих поэтов заинтересовался, по рекомендации А. М. Горького, В. И. Ленин

24. А. Н. ТОЛСТОЙ — ВОРОНСКОМУ

Kurfürstendamm, 31. Pens. M. Fischer. Berlin.
19 мая 1922 г.

Уважаемый А. В о р о н с к и й,

с удовольствием принимаю ваше предложение участвовать в журнале и альманахе [1]. Об условиях мы сговоримся тогда, когда у меня будет рукопись,— я вам напишу.

Очень прошу вас — если у вас есть в портфеле небольшие (строк в 400—500), яркие, сильные рассказы — присылайте мне аэропочтой для помещения в литературном приложении «Накануне» [2].

Крепко жму вашу руку А. Т о л с т о й

АГ, П-ка *КН*, 1-79-1.

Алексей Николаевич *Толстой* (1882—1945) в то время жил еще в Берлине, но уже порвал с эмигрантскими кругами. Вернулся на родину в конце апреля 1923 г. (см. «Известия», 1923, № 100, 8 мая). Впервые о его творчестве Воронский писал в ст. «Литературные заметки» («II. О двух романах» — *КН*, 1921, № 2; один из рассматриваемых здесь романов — 1-я часть «Хождения по мукам»). Толстому посвящена его статья «Журавли над Гнилопятами» (*КН*, 1926, № 9).

В бытность Воронского редактором *КН* в журнале были помещены следующие произведения Толстого: «Аэлита» (1922, № 6; 1923, № 1, 2), «Гидра» (под. назв. «На рыбной ловле» — 1923, № 6), «Голубые города» (1925, № 4), «Гиперболоид инженера Рарина» (1925, № 7—9; 1926, № 4—9; 1927, № 2), «Азеф (Орел или решка)» (1926, № 1), «Случай на Бассейной улице» (1926, № 12). В изд-ве «Круг» вышел сб. рассказов Толстого «Древний путь» (1927).

[1] Произведения Толстого в альманахах *Наши дни* и *Круг* не печатались.

[2] «Накануне» — русская газета сменовеховского направления; издавалась в Берлине (1922—1924) и имела своего представителя в Москве. В литературном приложении к газете, которое редактировал Толстой, печатались многие советские писатели. Газета и издания «Накануне» беспрепятственно ввозились в Советскую Россию.

25. М. М. ЗОЩЕНКО — ВОРОНСКОМУ

<Петроград. Февраль — май 1922 г.>

Тов. Воронский! Вы хотели что-то почиркать в рассказе моем «Любовь» [1]. Если это незначительное и ущерба для рассказа не будет, то пожалуйста. Полагаюсь на усмотрение ваше. Хотелось бы мне рассказ этот видеть в «Красной нови», а не в вересаевском альманахе [2]. Неправда ли — больше подходит? Ну, да я не протестую, если иначе. Нового вам не посылаю — не пишу. Болею все — астма и легкие дрянь [3]. Ну да извините, что на нездоровье жалуюсь. Это я всем.

А вот у меня дело к вам есть. Мне сказали, что рассказ мой «*Война*» лежит в редакции «*Культура и жизнь*». Как это случилось — не знаю. Помню, осенью еще дал я этот рассказ Замятину. Он сказал: «Пошлю в Москву, пристрою там». Нынче он говорит мне: «Ну вот, пристроил. Напишите, согласны ли. Журнал «Культура и жизнь» [4].

Так вот, тов. Воронский, верно ли это? Если так, то посылаю согласие свое. Напечатайте. Если нужно. Если нет — ответьте. Рассказ из ранних — даже не помню, хорош или плох. Так вот — всего доброго.

Ваш З о щ е н к о

АГ, П-ка *КН*, 1-23-1.

Датируется по упоминанию о журнале «Культура и жизнь», который выходил в феврале — мае 1922 г.

[1] О судьбе этого рассказа см. п. 13, прим. 1.

[2] Альманах *Наши дни* (см. о нем п. 14, прим. 3).

[3] Участник первой мировой войны, Зощенко, по его собственным словам, «на фронте пробыл два года. Участвовал во многих боях, был ранен и отравлен газами» (М. М. З о щ е н к о. Избранные произведения в 2-х томах, т. I. М., 1968, с. 47).

[4] Рассказ «Война» был опубликован в кн. «Веселый альманах» (М., «Круг», 1923). О журнале «Культура и жизнь» см. п. 19, прим 1.

26. М. М. ЗОЩЕНКО — ВОРОНСКОМУ

〈Петроград. 12 июня 1922 г.〉

Тов. Воронский, а ведь вы меня совсем забыли. Даже не ответили, где пойдет «Любовь».

Может быть, вы не получили моего письма, где я пишу: «Можно еще кое-что почиркать» [1]. Если вы сомневаетесь, напечатать ли этот рассказ или нет, то лучше не стоит печатать. Право, может и на самом деле есть там кое-что этакое... А мне этого не хочется.

Если же печатать рассказ вы все-таки решили, то пришлите мне, пожалуйста, денег. Очень нужно. Извините, что я прошу. До сих пор я не просил — думал, что у вас нету, однако кой-кому вы прислали. Так что я в некотором даже недоумении. *Если же печатать не будете* (печатать его, кроме как у вас, я не буду), то ответьте. *Денег* же *не высылайте*, а вышлите как только я пришлю вам новый рассказ. Я вот на днях собрался вам посылать, да деньги понадобились срочно — продал в «Петроградскую правду», в газету [2]. А это не интересно.

Ужасно жаль, что вы не здесь, а в Москве. Вместе рассказ привели бы в порядок.

Итак, тов. Воронский, жду вашего ответа.

Ваш Мих. Зощенко

12/VI—22.

АГ, П-ка *КН*, 1-23-2.

[1] См. п. 25.

[2] Речь идет о рассказе «Веселая жизнь» («Петроградская правда», 1922, № 136, 25 июня).

27. В АГИТ-ОТДЕЛ ЦК РКП (БОЛЬШЕВИКОВ)

〈Москва. 18 августа 1922 г.〉

По поводу сборников, намеченных к изданию в связи с пятилетней годовщиной Октябрьской революции,— II тома,— предлагаю два варианта:

Вариант А.

Сборник (II-ой том) должен включать в себя статьи литературно-критического и публицистического характера такого примерно содержания:

1) Статья общего характера о состоянии идеологии кануна Революции (обзор идеологических настроений разных классов и общественных группировок). Перелом после Октября и основные настроения в эпоху Революции [1].

2) Обзор белогвардейских настроений в местах, занимавшихся Колчаком, Деникиным, Врангелем и т. д.

3) «Наши за границей». Белогвардейцы за рубежом. Их газеты, журналы, распад смено-веховства и пр.

4) Махновщина.

5) Художественная литература до нэпа — в эпоху гражданской войны и после. Молодые и старые. Шуйца и десница молодежи.

6) Пролетарское русло в литературе (обзор) 〈...〉

8) Намечающиеся перспективы.

Б. Второй вариант.

Сборник (II-й том) составляется из воспоминаний, связанных с Октябрьской революцией и с последующей гражданской войной. Привлекаются лучшие наши литературные силы и наиболее активные участники и руководители 〈...〉 Часть мемуарной литературы носит беллетристический характер. Для этого нужно привлечь также и художников слова (В. Иванов, Серафимович, Ник. Асеев, В. Маяковский, В. Казин, Плетнев [2] и др.). Можно дать и стихи.

Второй вариант, по-моему, предпочтительней первого: интересней, своевременней. Сборник останется как любопытный документ. Категорически высказываюсь против эклектического смешения вариантов первого и второго, так как нарушена будет целостность. Может быть, лучше выпустить вместо двух три тома.

А. Воронский

19—18/VIII—22

ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 60, ед. хр. 271, л. 19.

3 июля 1922 г. Президиум ВЦИК принял решение об издании юбилейного сборника в честь пятилетия Октября (ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 1, ед. хр. 1154, л. 3). 31 июля 1922 г. в ЦК РКП(б) состоялось заседание «Комиссии по литературной подготовке к 5-й годовщине Октябрьской революции», решившей выпустить двухтомное издание, посвященное знаменательной дате. Составить проект второго тома («Наука и искусство») было поручено А. Воронскому и Н. Осинскому (там же, л. 12 и 13). В этом виде издание не осуществилось.

[1] Этому пункту соответствует статья А. В. Луначарского «Идеология накануне Октября», напечатанная в сб. «За пять лет (1917—1922)». М., «Красная новь», 1923.

[2] Валериан Федорович *Плетнев* (1886—1942) — писатель, автор пьесы «Лена» (1921), посвященной ленским событиям 1912 г. Один из руководителей и теоретиков Пролеткульта.

28. А. С. БУБНОВ — ВОРОНСКОМУ

т. Воронскому

〈Москва〉. Сентябрь 2 〈1922 г.〉

Для второго тома издания ЦК РКП(б) к 5-й годовщине Октябрьской революции вам поручается написать статью на тему: «Художественная литература при Советской власти до НЭПа, в эпоху Гражданской войны, и при НЭПе». Размер статьи до 2-х печатных листов. Представление статьи безусловно необходимо не позднее 30 сентября с. г. [1]

Зав. агитпропом ЦК РКП(б) (А. Бубнов)
Секретарь (Михайлов)

ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 60, ед. хр. 182, л. 65. Копия.
Год устанавливается по содержанию.

Андрей Сергеевич *Бубнов* (1883—1940) — советский государственный и партийный деятель. В 1922—1923 гг.— заведующий Агитпропом ЦК РКП(б). В 1924—1929 гг.— начальник Политуправления РККА и член Реввоенсовета СССР. В 1929—1937 гг.— нарком просвещения РСФСР.

В 1923 г. был членом редколлегии *КН*.

[1] См. п. 27 и прим. к нему.

29. М. М. ЗОЩЕНКО — ВОРОНСКОМУ

〈Петроград, 2 сентября 1922 г.〉

Тов. Воронский, посылаю вам рассказ «Коза». Со Всеволодом и Никитиным я условился уже—рассказ этот пойдет вместо «Записок офицера» в I альманахе [1]. «Записки» по некоторым причинам я не кончил и хочется над ними поработать еще.

P. S. «Коза» — последний мой рассказ, напечатан нигде не был. И посылаю я вам его с некоторой даже радостью, потому что писал я его с любовью.

Ваш Мих. Зощенко

Рассказ — 1 лист.

2/IX—22 г.

ИМЛИ, ф. 265, оп. 1, ед. хр. 1.
Письмо написано на титульном листе рукописи рассказа Зощенко «Коза».

[1] Вс. В. Иванов и Н. Н. Никитин входили в состав правления артели писателей «Круг» и участвовали в отборе материалов для альманаха *Круг*, в первой книге которого (1923) был напечатан рассказ «Коза».

30. Б. А. ПИЛЬНЯК — ВОРОНСКОМУ

3 сентября 1922 г. Коломна — Никола.

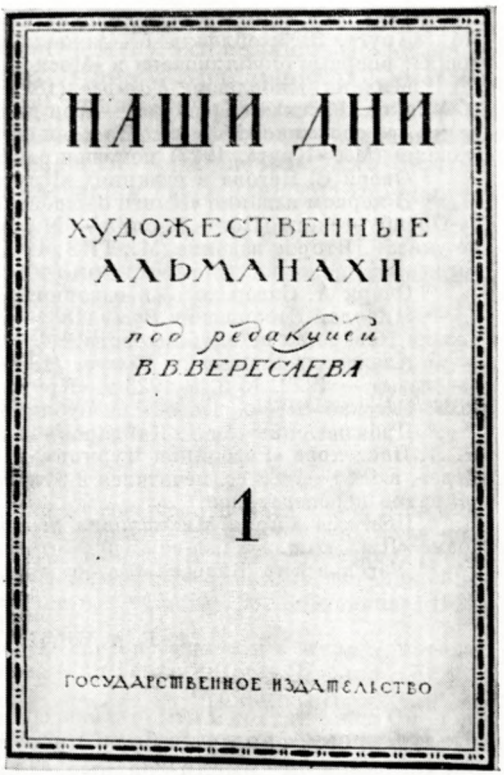
Воронскому А. К.—
от Пильняка Б. А.

Донесение:
о принятых и непринятых
рукописях и прочем.

1) *Книга рассказов Бор. Пильняка «Никола на Посадьях»*: следует сдать в набор, памятуя, что рукопись «Рязани-яблока» входит в эту книгу, находится у Воронского и ее надо вложить в папку — перед тем, как сдавать. Шрифт и формат Пильняк просил дать ему возможность избрать самому, а также бумагу. Очень хотел бы заказанную обложку [1].

2) *«Крокодил»*, *рассказ М. Козырева* — очень веселый, очень хороший,— брать его для «Веселого альманаха» — и: не назвать ли им всего альманаха: *«Веселый Альманах Крокодил»*? [2]

3) *Сергей Пегов,— о еврейских погромах* [3]. У Гржебина лежит аналогичная книга С. Гусева-Оренбургского, проредактированная Горьким [4]. Рассказ Пегова, как рассказ, пойти никуда не может, но терять материял жалко: можно а) обработав тщательно (я или Аросев), издать маленькой книжкой,— в) поберечь, когда подберется еще такой очерковый материал и тогда—не решаю. Надо обсудить сообща. Пусть посмотрит Аросев.



ПЕРВАЯ КНИГА АЛЬМАНАХА «НАШИ ДНИ»
Москва — Петроград, ГИЗ, 1922
Обложка

4) *«Уголок Галиции» — очерк Сигорского* — написан не на русском языке, но на галицийском наречии. Интересен как этнографический материал. Если — обсудив — решим издавать «очерковые» альманахи, тогда — беречь; иначе — вернуть. Надо почистить и заменить «солдатню» — солдатами [5].

5) *«Плотник из Назарета» Н. Н. Русова* — есть изложение Евангелия с добавлениями от себя: *не идет* [6].

6) *А. Неверов* — *«Песнь Песней»* — не идет; слабо, риторично и не нужно [7].

7) А. Кайдаров — «Лазун Ничка» — вещь совершенно невероятная, тут и «Дубровский», и разбойники из Пастухова, и княжны, и медведи: совершенно, как в сытинских изданиях «для народа». Не идет [8].

8) *Мария Шкапская — «Явь»*, *стихи*. Надо печатать в I альманахе [9].

Вот и все на сей раз

П и л ь н я к - н а - П о с а д ь я х

9) *«Ветер»* — рассказ *Ант. Власова* — по просмотру Аросева — принять в 1 альманах [10].

ИМЛИ, ф. 62, оп. 1, ед. хр. 12, л. 2—2об.

В письме говорится о рукописях, предложенных для изд-ва «Круг», в частности, для первой книги альманаха *Круг*. Как член правления издательства, Пильняк, наряду с Воронским, Аросевым, Асеевым и др. выполнял функции редактора.

[1] Бор. Пильняк. Никола на Посадьях. Рассказы. (Сочинения, кн. III). М.— Пб., «Круг», 1923; обложка Ю. Анненкова. Повесть «Рязань-яблоко» в этот сборник не вошла; впервые опубликована в «Московском альманахе» (М.— Берлин, 1922, кн. I).

[2] Михаил Яковлевич *Козырев* (1892—?) — писатель, автор ряда юмористических сборников. Рассказ «Крокодил — три дня из жизни Красного Пришепонска» опубликован в его сборнике «Морока. Настоящие рассказы» (М., «АРТ», 1923). В «Веселом альманахе» (М., «Круг», 1923) помещен рассказ Козырева «Покосная тяжба. (Эпопея)».

[3] Очерк С. Пегова в изданиях «Круга» опубликован не был.

[4] В первом издании «Книги о еврейских погромах на Украине в 1919 г.» С. И. Гусева-Оренбургского (Пб.— Берлин — М., изд. З. Гржебина, б. г.) Горький как редактор не указан. Второе издание (М., ГИЗ, 1923) вышло под редакцией и с послесловием Горького.

[5] Очерк А. Сигорского в изданиях «Круга» не публиковался.

[6] Николай Николаевич *Русов* (1884—?) — писатель и литературовед. Повесть «Плотник из Назарета» не опубликована.

[7] Александр Сергеевич *Неверов* (1886—1923) опубликовал в *КН* цикл «Маленькие рассказы» — 1922, № 3. В 1923 г. «Круг» выпустил его «Пьесы» и сб. рассказов «Новый дом». Рассказ «Песнь песней» не публиковался.

[8] Произведения А. К. Кайдарова в изданиях «Круга» не публиковались. Роман Н. И. Пастухова «Разбойник Чуркин», рассчитанный на обывательский вкус «торгового люда», в 1881—1882 гг. печатался в бульварной газете «Московский листок», затем неоднократно переиздавался.

[9] Поэтесса Мария Михайловна *Шкапская* (1891—1952) в *Круге* не печаталась. Ее поэма «Явь» вышла в изд-ве «Круг» отдельной книгой (1923).

[10] Рассказ Ант. Власова «Ветер» в *Круге* не печатался.

31. Б. А. ПИЛЬНЯК — ВОРОНСКОМУ

Коломна. 8 сентября 1922 г.

Воронский!

Это письмо пишу — буду писать — в несколько присестов, по-разному: расхворался и мысли разные. Так — вот, начну с тоски и матерщины.

1) Прочитал сейчас «Железную тишину» Ляшко, и стало неприятно: *в лучшем случае* это книжка *второсортная*. Ей богу, у нас не так уж скудна литература, чтобы издавать *такие* книжки вторым изданием [1]. Я знаю, что Ляшко человек и литератор (как человек), и больше многих любит литературу, и больше положил на нее мозолей,— но это не исключает его бесталанности (или еще хуже — третьесортности). Попал он к нам *из-за личных отношений*, и жалко. Этак лучше катаевского «Генри и Черта» издать [2].

Теперь перейду ни-к-два-ни-к-полтора.

1) Вы сдаете в набор «Заячий ремиз»: не нужно ли было бы дать кому-нибудь просмотреть, сверить, написать предисловие, примечания? [3]

2) *Мих. Слонимский.* «*Поручик Архангельский*». Не очень. Прочту его в альманахе — журнале: не очень, уж *очень все* «*литературно*». Нам, «Кругу», не годится, по-моему. Просмотрите для «Наших дней» или «Красной нови» [4].

3) *Лев Лунц.* «*Родина*». Рассказ о еврейском национализме, написан неровно, его первая и последние главы просто слабы. Это, в сущности, не рассказ, а притча. Если Лунц подчистит,— можно было бы взять в «Круг»,— «Красной нови» он не подойдет темой. Пошлите рукопись Лунцу — для подчистки. Попросите — до отсыла — прочитать Аросева [5].

4) *Яков Полонский* «*Чертова каниталь*». Рассказ написан хорошо, хоть и страдает «литературностью». «Кругу» не идет из-за малых его размеров, да и не альманашный рассказ. «Красной нови» — подошел бы [6].

А теперь о хо-ро-ших-вещах:

1) *Книга Каверина — не книга.* Выпускать ее так, как она есть, не стоит,— вообще книгу выпускать ему еще не с чем. А вот рассказ его, «*Пятый странник*», коим и названа книжка, если он не напечатан, надо напечатать в первом альманахе [7]. Занятный рассказ, Иоган Фауст фукцирует, весело. И

2) «*Батраки*» *Прапорщикова — очень хорошая повесть*, настоящая, правдивая, жестокая, верная. Печатать ее обязательно надо, *нужно печатать* [8]. Прапорщиков обещал прислать повесть из эпохи революции; в первый альманах повесть не идет («Пятый странник» я предлагаю, считаясь с другим ма-

териалом),— и вам, Воронский, решать — или отложить ее до 2-го №, или— наметив его вторую повесть «Кругу»— эту печатать в ближайшем № «Красной нови». Решайте. Дайте прочесть Аросеву. Я пишу Прапорщикову письмо. Пошлите ему денег. Мы дали ему всего 50 миллионов. Ведь вот, возьмите их за руб-за сорок,— Слонимского, Лунца, хорошие ребята, но литераторы от литературы, и скучно, хоть и умело, а сказать — или нечего, или белыми нитками, на заданную тему,— а этот *литератор от жизни*, и *хорошо*.

П и л ь н я к - н а - П о с а д ь я х

Приеду в Москву я в среду-четверг, как окончательно перестану чихать, кашлять, истекать соплей и голове надоест болеть.

Целую всех крепко!

В а ж н о

Шлю рукопись «Рязани-яблока»,— вложите в книгу. Спросите Шапиршт-тейна [9],— написал ли он Гржебину[10] в Берлин?— надо написать!

ИМЛИ, ф. 62, оп. 1, ед. хр. 12, л. 3—3 об.

[1] Воронский оценивал творчество Н. Н. Ляшко совершенно иначе, чем Пильняк. Характеризуя прозаиков «Кузницы», он писал: «Н. Ляшко — самый одаренный из них, наиболее интересный, не по сюжету и занимательности рассказа, а по углубленной сосредоточенности настроения и по работе над собой» (*КН*, 1923, № 4, с. 323). Очевидно благодаря его поддержке сб. рассказов Ляшко «Железная тишина» (М., «Кузница», 1922) вышел вторым изданием в изд-ве «Круг» (1923).

[2] Рассказ В. П. Катаева «Сэр Генри и Черт» был опубликован в журн. «Москва» (1922, № 7); затем вошел в сб. рассказов Катаева «Сэр Генри и Черт» (Берлин, «Книгоизд-во писателей», 1923).

[3] Книга Н. С. Лескова «Заячий ремиз. Наблюдения, опыты и приключения Онофрия Перегуда из Перегудов» вышла в изд-ве «Круг» (1922) без предисловия и без примечаний.

[4] Рассказ М. Л. Слонимского «Поручик Архангельский» был напечатан в журн. «Ленинград» (1924, № 15, 15 августа).

[5] Повесть Л. Н. Лунца «Родина» опубликована в кн.: «Еврейский альманах» (П.— М., «Петроград», 1923).

[6] Рассказ Я. Полонского «Чертова канитель» в альманахе *Круг* не публиковался.

[7] Повесть В. А. Каверина «Пятый странник» опубликована в первой книге *Круга* (М., 1923). Сборник рассказов Каверина вышел в изд-ве «Круг» под названием «Мастера и подмастерья» (М., 1923).

[8] Повесть Прапорщикова «Батраки» ни в *Круге*, ни в *КН* не публиковалась.

[9] Критик Я. Е. Шапиршт-тейн (псевд. Эльсберг) в те годы был сотрудником изд-ва «Круг» (см. о нем наст. том, с. 500).

[10] Зиновий Исаевич *Гржебин* (1869—1929) — владелец издательства (1919—1923), которое было организовано в Петрограде, а затем переведено в Берлин. В первые годы общее руководство его работой осуществлялось Горьким, В. А. Десницким и А. П. Пинкевичем.

32. В. В. ВЕРЕСАЕВ — ВОРОНСКОМУ

⟨Москва. Сентябрь (после 10) — октябрь 1922 г.⟩

Александр Константинович! Направляю к вам Софью Захаровну Федорченко, автора замечательной книги «Народ на войне»,— по мнению многих,— лучшего, что написано о войне. Книга в свое время была издана в Киеве, но издание погибло для большой публики и мало кому известно [1]. Советую не упустить книгу. Получил письмо от Волошина,— он благодарит вас за предложение аванса, но пишет, что к «Путям Каина» пишет еще ряд глав и закончит не скоро. Несколько глав пришлет мне в скорости [2].

Ваш В. В е р е с а е в

P. S. Есть у нее еще чудесные сказки[3]. Вообще, человек очень литературно-ценный.

ЦГАЛИ, ф. 1677, оп. 1, ед. хр. 12, л. 1.

Датируется по упоминаемому письму М. А. Волошина Вересаеву от 10 сентября 1922 г. (не опубл.; находится у В. М. Нольде — Москва).

Викентий Викентьевич *Вересаев* (наст. фамилия Смидович; 1867—1945) был привлечен к сотрудничеству в *КН* и редактированию альманаха *Наши дни* (см. п. 14, прим. 3)

по совету Горького. В *Наших днях* опубликованы его переводы из Гете (№ 1,1922), в *КН* — статьи о Л. Толстом (1921, № 4), Пушкине (1923, № 5;1924, № 2), о народных обрядах (1926, № 1 и 11), переводы из древнегреческой поэзии (1922, № 1), отрывки из романа «В тупике» (1922, № 4 и № 5). Воронский одним из первых отозвался на этот роман еще до появления его в полном виде. Он писал: «Напечатанные отрывки являются знаменательным и ценным художественным документом распада и исторического краха интеллигенции старого поколения» («В тисках» — «Правда», 1922, № 288, 20 декабря).

[1] Софья Федорченко. Народ на войне. Фронтовые записи. (Киев. Изд. подотдел Комитета Юго-западного фронта Всероссийского земского союза, 1917). Об этой книге Воронский написал статью «Стихийный большевизм» («Правда», 1922, № 247, 20 октября). В *КН* (1924, № 5) опубликованы отрывки из второй книги «Народа на войне». Подробно о С. З. Федорченко и ее книге см. в наст. томе, с. 9—22.

[2] Максимилиан Александрович *Волошин* (1877—1932) опубликовал в *КН* три фрагмента из поэмы «Путями Каина» (1922, № 3) и одно стихотворение (1923, № 2);участвовал в *Наших днях* (№ 1, 1922). В *КН* опубликовано и его «Письмо в редакцию», содержащее протест против обвинений в «поэтической контрреволюции», предъявленных ему журналом «На посту» (1924, № 1).

[3] Сказки С. З. Федорченко были собраны в третьем томе собрания ее сочинений (М., «Никитинские субботники», 1925). См.также ее «Мужиковские сказки» (альманах«Недра», кн. 1. М., 1923) и многочисленные книги для детей, напр. «Присказки» (Л., 1924).

33. Б. А. ПИЛЬНЯК — ВОРОНСКОМУ и Н. Н. АСЕЕВУ

Щурово 〈Коломенского уезда, Московской губ.〉,
30 октября 1922 г.

Воронский — Асеев — дорогие![1]

Сижу и думаю о «Круге». Вот о чем. Стихов у нас много набрано. Большаков идет, М. Зенкевич — а это не первый сорт, хоть я и рад им[2]. Идет ли у нас книжка Мандельштама? Я считаю его лучшим из современных поэтов, книжку он давал, а в объявлениях ее нету. Почему?

Обязательно надо ее издать![3] Возьми, Николаша, у него. Он живет в Союзе писателей (Тверской бульвар, 25), пошли Сережку [4] к нему.

Целую вас крепко Пильняк

Пи-и-и-шу: сочиняюю...

ИМЛИ, ф. 62, оп. 1, ед. хр. 13, л. 2.

[1] Некоторое время (до образования «Левого фронта искусств») Н. Н. Асеев, наряду с Воронским и Пильняком, входил в правление изд-ва «Круг», где заведовал отделом поэзии.

[2] Стихи К. А. Большакова и М. А. Зенкевича в альманахе *Круг* не печатались. Не выходили они и в изд-ве «Круг». В *КН* опубликовано только одно стихотворение Большакова (1925, № 10). Зенкевич в этом журнале не печатался.

[3] Сборник О. Э. Мандельштама «Вторая книга. Стихи» вышел в изд-ве «Круг» (1923). Об участии Мандельштама в *КН* см. прим. к п. 59.

[4] Поэт Сергей Антонович *Клычков* (наст. фамилия Лешенков; 1889—1940) был штатным сотрудником редакции изд-ва «Круг» и *КН*. В 1922—1927 гг. систематически печатался в этом журнале. Воронский откликнулся на его роман «Чертухинский балакирь» статьей «Лунные туманы» (*КН*, 1926, № 10).

34. Б. А. ПИЛЬНЯК — ВОРОНСКОМУ и Н. Н. АСЕЕВУ

〈Щурово, Коломенского уезда, Московской губ.
Октябрь 1922 г.〉

Воронский — Асеев — родненькие!

Шлю пачку рукописей. На листке написал — как и что. Просмотрите рукопись Буданцева — очень хорошая вещь для второго альманаха [1]. «Красный фонарь» — вы, Воронский, поглядите для «Наших дней», хорошо, но не «Кругу» [2]. Остальное — не идет никуда. У меня осталась рукопись Леонова, кажется, хорошо — до конца не прочел [3]. Пришлю почтой,— если хорошо, тогда альманах обойдется и без Григорьева.

Вот и все.

Теперь о деньгах. Несколько товарищей писали мне, что денег никак не добьются, поэтому сердятся. Устроить бы как, чтобы давали, не тянули? Почему Госиздат тормозит, когда деньги наши?

Слезкин мне прислал письмо, просит вернуть его рукопись (романа), у кого она, найдите, отдайте [4].

А —

Я —

Сочиняю — — —

целую крепко П и л ь н я к

Александр-Константинович!

Вы посмотрите поскорей «Мятеж» Буданцева, чтоб к моему приезду можно было б составить второй альманах — и в ноябре сдавать.

ИМЛИ, ф. 62, оп. 1, ед. хр. 13, л. 3.

Датируется по содержанию: Пильняк рассчитывает в ноябре, по возвращении в Москву, сдать в печать вторую книгу *Круга* (вышла в феврале 1923 г.; Пильняк приехал в Москву после 30 октября 1922 г.—см. п. 33). Место написания устанавливается по п. 33.

[1] Сергей Федорович *Буданцев* (1896—1940) — прозаик и поэт. Его роман «Мятеж» (*Круг*, кн. 2, 1923) Воронский подверг детальному анализу в статье «Литературные отклики. Об альманахах «Круга» (*КН*, 1923, № 2).

[2] По-видимому, Пильняк имеет в виду повесть Сергея Тимофеевича *Григорьева* (1875—1953) «Красный бакен». Ни в *Круге*, ни в *Наших днях* повесть не публиковалась; вышла отдельным изданием (М., ГИЗ, 1924). Позднее в *Круге* была опубликована повесть Григорьева «Казарма» (кн. 4, 1925); книги его выходили в изд-ве «Круг».

[3] Имеется в виду рассказ Л. М. Леонова «Гибель Егорушки» (*Круг*, кн. 3, 1924). В 1924—1927 гг. Леонов систематически печатался в *КН* (здесь были опубликованы его романы «Барсуки», «Вор» и др.), участвовал в альманахе *Наши дни* (№ 5, 1925). В изд-ве «Круг» вышел сб. «Рассказы» (1925). Воронский посвятил творчеству Леонова статью в цикле «Литературные силуэты» (*КН*, 1924, № 3).

[4] Юрий Львович *Слезкин* (1885—1947) — писатель-романист. По-видимому, речь идет о романе «Столовая гора», законченном в 1922 г.

35. ВОРОНСКИЙ — Е. И. ЗАМЯТИНУ

〈Москва. Октябрь — ноябрь 1922 г.〉

Дорогой Замятин!

Простите, что не сразу ответил вам на письмо. Собирался все в Петербург, да так и до сих пор собираюсь, а хотел вместо письма лично поговорить с вами. В Петербург я все-таки поеду, немного позже, а пока отвечаю.

Кончил часа два тому назад длиннейшую статью о вас для очередного номера «Красной нови». Там я старался ответить на многое из того, о чем вы мне писали. И ругаю и хвалю я вас предостаточно. Хвалю за «Уездное», «Алатырь», «На куличках», «Островитяне», «Ловец человеков», а «Дракон», сказочки и «Мы» — это уж совсем другое дело [1]. Опять вы меня 〈будете〉 упрекать в доносах. Но во-первых, вы — худший доносчик, ибо вы прежде всего доносите на себя: если «грамотные» люди читают меня, то в большей степени они читают вас. А, во-вторых, благо революции превыше всего и иных постулатов у меня нет; критиковать же других, тех, которым рот зажимают, считаю приемлемым, ибо за это мы платили кровью, ссылками, тюрьмами и победами. Ведь было же время, когда над нами издевались всюду печатно (1908—1917), а мы вынуждены были молчать. Пусть помолчат теперь «они», если уж на худой конец так складываются обстоятельства. Лежит у меня, от Пильняка полученный, роман ваш «Мы». Очень тяжелое впечатление. По совести. Неужели только на это вдохновил вас Октябрь и что после было до наших последних дней? Какая же это «самая шуточная и самая серьезная вещь»? Самая мрачная и мизантропическая [2]. Рано еще по нас такими сатирами стрелять. Как-то не туда, куда нужно, вы смотрите. Ведь вот Уэллс, о котором вы так талантливо и хорошо написали, увидел все-таки в нас, в коммунистах, что-то положительное и очень большое [3], а вы нас расписываете одной черной краской. Неладно это. Ваше, впрочем, дело, а я вам — не советчик. На разных плоскостях мы стоим. Вы вот пишете — нельзя связанного человека убивать, а я этого не понимаю. Как, почему нельзя? Иногда нельзя, иногда

можно. Все зависит от форм, степени ожесточенности борьбы, от цели, от того, кто и каков противник и что он, какими средствами, борется сам.

Вы — стоите, должно быть, в стороне от реальной борьбы теперешней, а так нельзя судить, что можно и чего нельзя. Ну, и это — побоку: не договоримся.

Вот в чем я прошу вас еще извинить меня. В своей статье я в конце немного поговорил о романе «Мы» в довольно решительных выражениях. Получилось так, что он у меня засел крепко по многим причинам и я никак не мог не иметь ⟨его⟩ в виду, когда взялся за статью. Кстати: очень растянут роман и тяжело читается. Нужно, по-моему, удалить о носах, о выборах — это ни к чему и придает роману какой-то подсидочный характер. Может быть, тогда можно будет где-нибудь напечатать.

«На куличках» — прелестно. О паутинке хорошо очень. Много лиризма.

Вообще у меня к вам двойственное отношение: одно идет от «Уездного», другое от «Церкви божьей». Оттого я так много и занимаюсь вами в журнале (доносы).

Пока всего лучшего. Пишите. Буду очень рад. «Уездное» мы думаем, т. е. «Круг», купить у вас. Я сегодня сказал, чтобы выслали пока аванс. Согласны вы?

А знаете: мы с вами земляки, я — тамбовский семинарист, из Усманского уезда [4].

Привет. Счастья. А. Воронский

1-й Дом Советов (бывш. гост. «Националь»), № 217.

P. S. Что делать с романом?

№ 1 альманах⟨а⟩ «Круг» выйдет дней через 10.

ИМЛИ, ф. 47, оп. 3, ед. хр. 58, л. 1—2.

Датируется по содержанию: письмо Замятина, на которое с запозданием отвечает Воронский, написано не позднее октября 1922 г. (ИМЛИ, ф. 47); шестая книга *КН* со статьей о Замятине, по окончании которой Воронский написал свое письмо, вышла в декабре 1922 г. (зарегистрирована во Всесоюзной книжной палате 22 декабря 1922 г.).

Частично опубликовано в ст. А. Г. Дементьева «А. Воронский — критик» (в кн.: А. Воронский. Литературно-критические статьи. М., 1963, с. 31—32).

Евгений Иванович *Замятин* (1884—1937) вызывал, по собственному признанию Воронского, «двойственное отношение» с его стороны: «Замятин — большой художник и умный человек,— писал Воронский.— Это доказано «Уездным», «Островитянами», замечательной статьей его об Уэллсе» (*КН*, 1922, № 3, с. 267); но именно «на примере Замятина прекрасно подтверждается истина, что талант и ум, как бы ни был ими одарен писатель, недостаточны, если потерян контакт с эпохой, если изменило внутреннее чутье» (*КН*, 1922, № 6, с. 305). Эта мысль лежит в основе статьи Воронского, посвященной анализу творчества Замятина («Литературные силуэты. III. Евгений Замятин» — *КН*, 1922, № 6); она проходит и в других статьях, где он касается отдельных произведений Замятина (*КН*, 1922, № 3, с. 267—268; 1923, № 2, с. 344).

В *КН* Замятин не сотрудничал. В *Круге* (кн. 1, 1923) опубликована его повесть «На куличках» (см. о ней ниже, прим. 1). В изд-ве «Круг» вышли два сборника Замятина: «Уездное. Повести и рассказы» (1923) и «Нечестивые рассказы» (1926).

[1] Упоминаемые произведения Замятина — повести «Уездное» (М., «Современные проблемы», 1915), «Алатырь» («Русская мысль», 1915, № 9), «На куличках» (первая публикация — в журн. «Заветы», 1914, № 3 — была конфискована и не увидела света; вторично — *Круг*, кн. 1, 1923), «Островитяне» («Скифы», сб. 2, Пг., 1918), «Ловец человеков» («Дом искусств», 1921, № 2), «сказки» — «Церковь божия» и «Арапы» («Петербургский сборник, 1922. Поэты и беллетристы». Пб., ⟨1922⟩); с романом «Мы» (1920) Воронский познакомился в рукописи.

[2] В статье о творчестве Замятина Воронский писал, что роман «Мы» «производит тяжелое и странное впечатление. Написать художественную пародию и изобразить коммунизм в виде какой-то сверхказармы под огромным стеклянным колпаком не ново: так издревле упражнялись противники социализма — путь торный и бесславный» (*КН*, 1922, № 6, с. 319).

[3] Английский писатель Герберт Уэллс в 1920 г. посетил Советскую Россию. Его книга «Россия во мгле», вышедшая в том же году, сыграла значительную роль в распространении на Западе правды о нашей стране и о партии большевиков. Замятину принадлежит монография об этом писателе («Герберт Уэллс». Пг., «Эпоха», 1922).

[4] Замятин родился в г. Лебедянь Тамбовской губ., Воронский — в с. Хорошавка Кирсановского уезда той же губернии, в том же 1884 г., и все свое сознательное детство (примерно с 3-х лет) провел также на Тамбовщине — в с. Добринка Усманского уезда.



А. К. ВОРОНСКИЙ
Фотография. Тамбов, 1904
Семейный архив Г. А. Воронской, Москва

36. Н. Н. НИКИТИН — ВОРОНСКОМУ

29/XII—22 г. П⟨етер⟩бург

Дорогой Воронский, первое — о чем хочу написать вам — это: 6-я книга «Нови». Я скажу вам совершенно определенно — издание стало совершенно прямым (в смысле «выпрямилось»), это в смысле тона и выдержанности толстого российского журнала. Это огромное достоинство, это общее от него впечатление. Журнал вкусен, подобран, т. е. что называется составлен по-настоящему[1].

Если говорить о деталях, они, конечно, не касаются журнала, они — суть внутренние органические пороки авторов,— об этом скажу так.

Эренбург — ?

Эклектичен, как щенок, лающий на 10 лаев, под всех знакомых взрослых собак.

Вам, конечно, может нравиться его «Курбов», но если вы вглядитесь в ритм вещи, в стиль диалога (особенно диалога, — такие, например, фразы, их строй: «ценю я свободу... как в Англии...» «Идеи? — Это так не модно, есть лишь одно... моя свобода...» «Я обожаю Метерлинка...» «Воляй-Сюпрем»...), в эту отрывчатость, ненужность вещей, о ко-

торых сообщают действующие лица, диалог — тоже ритмичный, вы скажете — *Белый*. Жалко только, что однопроцентный раствор. *Белый* в языке элегантен, и шаманством своего бреда — заразителен. И в данном случае: хороший повторитель не стоит даже пальца хотя бы маленького оригинала.

Мне Чапыгин — интересен больше. А Шагинян просто интересна и мила. Это то, что всегда должно быть в журнале — *для веса и информации* [2]. Толстой — *для имени* (об «Аэлите», о существе — говорили мы, кажется, еще в Москве).

А вы знаете, что у вас там самое замечательное — это — этот несносный быт, но он острый, в иголках, живой, с мясом, им питаешься с наслаждением — это очерки Шишкова. Хорошо!

То, что напечатана «Записка» Дурново, — прекрасно [3]. Прочел, подумал: старый императорский режим имел огромных людей, но не умел ими пользоваться. Об этой «Записке» будут говорить. Вот бы таких нам. Впрочем, кажется, сказал глупость!

Теперь о статье вашей. Что говорить? Замятин вами вознесен и уничтожен. Статья — я скажу — запечатлевшая Замятина, превосходно написанная. Но негатив, сложившийся в голове, был, наверное, острее и больнее, перенеся на бумагу, вы отретушировали. Так, «Мы» — стала замечательной. Ничуть. Эта вещь — «интересна» (если можно так говорить) — политической пряностью, памфлетизмом! Ценность небольшая. А написана скучно, сухо — читатели зевают. Это вам не Свифт — а сатирочка из уездного. Уездное, а не мировое [4].

Дай мне рожу, талантливый гротеск, кривое, дай новую мысль, чего не бывало в русской литературе, не бойся сказать, что «человек хуже собаки», пусть ругают... Впрочем, довольно. Теперь о конце статьи. Тут я говорю от себя. Об учениках Замятина. От Замятина я не отрекаюсь. Он показал мне — что слово имеет и *скелет*, и *кровь*, и *мускулы*, что это такой же организм, готовый анатомически и физиологически, как всякий организм. Не будь его, я, может быть, и не писал бы. Но как неправдоподобно сочетание меня и Замятина, так прививщееся за последнее время. Мы разные люди во всем. Соседство мое с ним сейчас присваивается мне, как политическая накладка, но ей-богу, снять ее так же легко, как даме волосяную фальшивую накладку из-под своих волос [5].

Стиль Замятина — и мой... Где же сходство? У него словечки и словечушки, сказ алатырских мещан [6], а в другом — («Островитяне») — имажинизм сентиментальных конструкций (например, «самое лучшее в жизни бред, а самый прекрасный бред — влюбленность»).

Я никогда не писал так.

1) У меня фольклор — язык земли (не мещанина, а мужика), смешной и корявый, богатый и темный. Говорят: — словари. Пусть — кто знает эти словари? Кто-то меня упрекнул однажды в Дале. Но я Даля и не нюхал. Я просто знаю местный язык, и еще (это теоретически) — местные словари, собранные не академиками, а собирателями. Фольклор — это русское богатство. Мой фольклор — не для сказа, чтобы высмеять, «подсидеть» (Замятин всегда подсиживает) мещанство. И моя первая вещь, написанная фольклором, «Кол» [7] — разве это сатира или ирония или подсиживание, смешок... Простите, это — трагедия. Россия — пережила эту трагедию. А трагедия была — напрасно вы спорите, Александр Константинович, была по нашей глупости, по нашей взаимной темноте. Вся кровь гражданской войны и бессмысленность мужицкого бунта вышла оттуда. Это общая тупость мест и людей. Никто не виноват. Вот заключительная сцена, в последней главе вы чувствуете полный покой (Шагинян была права), нет виноватых — это прекрасное, идущее за Лиром, за классикой, за трагедией. Замятин так не кончает. И наконец, последняя повесть «Полет» [8] — язык, и смысл, и тема, где же «замятинство», у Замятина нет строчки без смешка («Уездное», «Островитяне», «Мы», «Сказки» [9]).

Теперь политически.

Эта кличка «замятинца» — не только вредна, с этим я мало считаюсь, и если б это было только так, я не протестовал бы, но в корне груба.

Credo мое — вам известно: — «с большевиками!» Теперь подробности. Меня к замятинству можно примазать тем, что беру темные, страшные вещи. Но это, дорогой Александр Константинович, исторический процесс,— ребеночек не рождается чистеньким, он рождается уродцем и в крови, пусть заботливые бабки обмоют его. Но я не смеюсь над ребеночком. Каждому дано свое — один искренно романтизирует, поет гимны, другой копает трагическое («Рвотный форт») [10], где люди безумствуют, мучаются, где некоторые принижены «хуже собаки», где занимаются онанизмом... Но где Пим говорит, когда ждут англичан (говорит не он, а русский темный лес) [11]: «Не надо нам царя Ирода». Революция живет среди людей, обеими ногами погрязших в жирной свинине и блуде. И те, кто творит ее,— тоже плоть от плоти. Это не весело, это — неприятно. Я и мои товарищи — художники катастрофической эпохи, каждый у нас берет по-своему. Упреки в отсутствии пафоса или радости у одного из нас (а хотя бы у меня) бессмысленны, потому что я этого не дам, ибо мне этого не дано. Когда придет синтез, тогда будет золотой Пушкин, а мы — «горьковщина» или «достоевщина», литература не той пробы (т. е. романтически-радостная ложь или романтическое поскребывание душ).

Почему — «с большевиками!»? И почему — *такой*, а не такой, как хотелось бы вам? Вот пример: у матери два сына — один ласковый, другой неласковый. Но любовь обоих одинакова. И ласки того, кто всегда ласкается,— нужны, необходимы, мать к ним привыкла, без них ей не прожить, но вот, во время привычных ласк, она с тревогой смотрит на того, кто не умеет ласкаться, с тревогой (это ясно матери)... Но когда опасность грозит матери, тот — кто не умеет ласкаться,— может быть, первый берется за винтовку, чтобы защитить мать. Любовь такая — познается в действии, а мне переряжаться в красноармейца — не привыкать. Но я люблю говорить матери — то, что думаю..., потому что если бы я лгал ей, я не любил бы ее. И никаким неприятностям, никаким цензурам — этого моего ощущения не убить. Все, что щелкает меня по носу сегодня, я считаю глупостью сегодняшнего дня. А вечно одно: Россия — Революция — РСФСР. Триада. И если я скажу о разложении, о падении, о летящих в бездну Фирсовых,— то здесь я говорю о проценте, осужденном на смерть. Кто виноват? Большевик? Конечно, нет. Война, революция — закон исторического процесса. Это люди, может быть, очень хорошие, но попавшие в машину времени и ею измолотые. Может быть, очень плохие — гниль, помои, остатки — не будем о них плакать. Так офицер Донбрюков в «Рвотном форте» — и гниль, и честен. Онанист и человек, исполнивший свой долг честно, умер на посту. Фирсов — офицер — сформировавшийся в войне и революции в истребительный организм. Зверино — в волка, любит и думает сильно, но эти думы и эта любовь не годны уж к творчеству, а только к разрушению, он оценит вам подлость прошлого и подлость сегодняшнего («Лакеи в Москве»), но не создает, а, свой мозг тоже разрушив, сойдет с ума. Этот конец законен. Фирсовы — процент, определяемый статистикой. Процент самоубийств, идущих сейчас полосой,— это не контрреволюция, нет, это признак, что мы начинаем обстраиваться, что начинается отбор, что, как заботливая хозяйка, мы выкидываем помои. В этом смысле я намереваюсь при корректуре доделать конец (помните, мы уславливались) [12]. Тяжело, страшно — но что же делать. Это так. Это опять совершенно естественный процесс. Меньше сентиментов — побольше ясности. Вот наша задача. И плевать на бабушек из «Воли народа»— они ничего не сделают [13]. Поменьше внимания на их выводы. Правда, в жизни мы научились ходить приплевывая. (Вы, наверное, осуждая меня за мою пародическую автобиографию — (*пародия* сущая!) [14] — не уловили этого, а если уловили, то оценили не так) — да, мы ходим приплевывая, как солдат на фронте. А ведь мы и до сих пор — все солдаты фронта, но это наигранная усмешка, чтобы пуль не бояться... Это не есть органическое безразличие.



ОБЛОЖКА ПЕРВОГО СБОРНИКА РАССКАЗОВ Н. Н. НИКИТИНА («РВОТНЫЙ ФОРТ». М.—П г. ГИЗ, 1922)

Рисунок Б. Б. Титова (акв.), 1922

Центральный архив литературы и искусства, Москва

Дайте отойти от фронтовых привычек, дайте время — мы заговорим не так.

Вот всё — написал, кажется, очень грубо, простите меня, Александр Константинович, и поймите, что ваш глухой финал (финал статьи) — обидел меня. Мне думается, что вы неправы. И за себя я должен был ответить. В письме всего не скажешь, я только слегка наметил, но и по намекам вы сумеете догадаться — о чем я хотел сказать.

Теперь часть официальная.

1) Мои дела к вам.

а) «Ночью» — (для 3 № «Наших дней») я закрепляю свою позицию лирическую, как лирика (я, кажется, сейчас единственный лирик, насколько это мне известно из чужих разговоров).

Я не могу считать эту вещь бытовой, символической, реалистической (да я и вообще не бытовик), чтобы отвести от себя упрек в статичности этой вещи, я хочу — чтобы было такое предисловие, его надо напечатать сразу после заглавия, немного поднявшись над текстом повести, т. е. так, как я это даю в приложении к этому письму — пусть это вставят [15].

б) — отдана ли моя книга рассказов «Кол» в набор? [16] Хочу сам провести корректуру, для этого приеду, пусть известят. Также — очень прошу, чтобы была хорошая бумага и приличный формат. Чья будет обложка? Срок ведь был поставлен к 1 февраля.

с) Когда выйдет корректура «Полета» — прошу вызвать меня в Москву на день-два, чтобы мне доделать конец и выправить некоторые другие места повести. Хорошо бы это скомбинировать в один приезд, т. е. тогда же выправить и книгу. Повесть должна идти в № 2 [17].

2) Дела по «Кругу».

а) Каверин просит денег — 800 миллионов.

Назвать книгу «Мастера и подмастерья» и порядок рассказов такой, как в списке, что он прислал Пильняку [18]. Также просит обратить внимание на эпиграфы к рассказам.

б) Вопрос информационный (ведь вы нас не осведомляете) — получили ли деньги, как дела с домом? [19]

с) Просьба — высылайте, пожалуйста, новые издания «Круга», например, альманах и прочее — что будет... Альманаха у меня нет.

А в конце — крепко обнимаю и хочу, чтобы этот Новый год прожить нам еще дружнее, теснее и громче. Да покруче, да похмельнее и забористей заварите пива. А за границу, Александр Константинович, едем вместе, фалангой — и выбьем «заграничников». Идет? Обнимаю — и выпью за здоровье Вронского (так зовут вас в Петербурге) —

ваш Ник. Никитин.

3) к «Красной нови»

Юрковский — автор рассказа «Приключение», посланного в «Красную новь», просит ответа [20].

Сижу у Зощенки.

Зощенко говорит.

Сижу у Зощенки — только что рассказал ему содержание моего письма в пункте о Замятине. Видим — огромную ошибку каждого, кто обязательно приклеивает к нам замятинский ярлычок.

Мы не обороняемся, а напоминаем, что Замятин своей статьей о Серапионах в «Литературных записках» (№ 3) создал из себя мэтра [21]. Это неверно по существу, и отчасти неверно формально. По существу неверно, потому что *мэтр* — это не есть исход, источник, выход, образец, это лишь техник и мастер... Мы ученики — техника, а не учителя такого, как Леонардо да Винчи или Достоевск⟨ий⟩. Не будь Замятина, мог бы быть Шкловский, не будь Шкловского — мог бы быть Шишков или Чапыгин, если бы они технически были близки к уровню Замятина. Но классические образцы, которыми мы питались,— не от Замятина, учились — не на замятинской прозе, а на классиках и своей — ученической, когда читали свои рассказы. Вот!

Зощенко говорит — что мы не связаны с ним (т. е. с Замятиным) одной кровной идеей. Это не тот учитель, от каждой новой вещи которого ждут откровения.

Не откровение же «Огни святого Доминика» [22] или «Мы».

АГ, П-ка *КН*, 1-44-5.

[1] В шестом номере *КН* за 1922 г. были опубликованы: отрывок из романа И. Г. Эренбурга «Жизнь и гибель Николая Курбова», начало повести М. С. Шагинян «Перемена», рассказ А. П. Чапыгина «Чемер», продолжение романа Вс. Иванова «Голубые пески», начало романа А. Н. Толстого «Аэлита», стихи Н. Асеева, С. Клычкова, Е. Полонской, П. Орешина и др. поэтов. Затем следовали статьи, посвященные проблемам современной политики, ряд научно-популярных статей по вопросам истории, философии и естествознания, публикация исторических документов, а также статьи под рубриками «Внутри Советской России» (Вяч. Ш и ш к о в. С котомкой. Путевые заметки), «Литературные края» (ст. Воронского «Евгений Замятин» из цикла «Литературные отклики» и обзор Н. П. Смирнова «По журнальным страницам»), «Библиография» (рецензии).

[2] Повесть М. С. Шагинян «Перемена» печаталась в *КН* (1922, № 6; 1923, № 2, 4, 6). Начало повести вызвало одобрительный отзыв В. И. Ленина (20—21 марта 1923 г. Шагинян записала в своем дневнике: «Получила письмо от Воронского с дорогими для меня словами: «Да, забыл: знаете, очень ваши вещи нравятся тов. Ленину, он как-то говорил Сталину, а Сталин мне». Чувствую острую охоту писать дальше «Перемену», чтоб он прочитал».— Мариэтта Ш а г и н я н. Дневники 1917—1931. Изд-во писателей в Ленинграде, 1932, с. 68. Здесь же в сноске приводится полный текст письма Воронского от 17 марта 1923 г.).

[3] «Записка» П. Н. Дурново, б. министра внутренних дел в кабинете Витте, опубликованная в *КН* (1922, № 6), была составлена в феврале 1914 г. и адресована Николаю II. В ней прогнозировался ход предстоящей войны: автор «Записки» предполагал, что война приобретет общеевропейский характер, причем главная тяжесть ее выпадет на долю России.

[4] Намек на название повести Замятина «Уездное» (М., 1915). О статье Воронского «Евгений Замятин» и о критике, которой подвергнут в ней роман «Мы», см. п. 35.

[5] В конце статьи о Замятине Воронский писал: «⟨...⟩ Замятин определил во многом характер и направление кружка «Серапионовых братьев» ⟨...⟩ от Замятина у них словопоклонничество, увлечение мастерством, формой; по Замятину вещи не пишутся, а делаются. От Замятина стилизация, эксперимент, доведенный до крайности, увлечение сказом, напруженность образов, полуимажинизм их» (*КН*, 1922, № 6, с. 321). Воронский говорит здесь о влиянии Замятина на творчество «Серапионовых братьев» в целом, никого не называя персонально, в статье же «Литературные отклики» (*КН*, 1922, № 2) он прямо связывает имена Никитина и Замятина (см. п. 22, примеч. 9).

[6] Имеется в виду название повести Замятина «Алатырь» («Русская мысль», 1915, № 9).

[7] Рассказ «Кол» опубликован в сб.: «Пчелы. Петербургский альманах». Пб.— Берлин, ⟨1922⟩. В сборники рассказов и повестей Никитина не включался.

[8] Повесть «Полет» была закончена 1 ноября 1922 г. (см. «Звезда», 1924, № 2, с. 144); о ней см. ниже, прим. 12 и 17.

[9] См. п. 35, прим. 1 и 2.

[10] Повесть «Рвотный форт» вошла в одноименный сборник рассказов Никитина (М.— Пг., Госиздат, 1922). До этого отрывок из нее был напечатан в *КН* (1922, № 4).

[11] Пим — персонаж повести «Рвотный форт», отшельник, живущий в лесу.

[12] Фирсов — герой повести «Полет», офицер, принявший революцию, но не нашедший своего места в новой жизни,— сходит с ума; два его товарища кончают жизнь само-

убийством. Сформулированную в публикуемом письме идею повести Никитин изложил в предисловии к ней: «Мне пришлось до напечатания читать эту повесть — и это предварительное чтение нынче обязывает меня сделать оговорку, исключительно объясняющую намерение автора. Тут — я не говорю о России, Россия велика. У меня узкий круг некоторой части старого царского офицерства. ⟨...⟩ Повестью я их регистрирую как покойников. Война, революция, исход развеяли их, как песок, революция им не была *своей*, организм этой группы прогнил насквозь, и они вывалились из нашей жизни, как из мешка, *вылетели*. ⟨...⟩ Это точка — им и для меня, автора,— чтобы мог теперь после точки сказать о радости нового, чтобы обменяться приветом с тем племенем, кого еще Пушкин назвал «младым и незнакомым» («Звезда», 1924, № 1, с. 31; то же: Н. Никитин. Полет. Л., 1925, с. 63).

[13] Имеется в виду деятельница эсеровской партии Е. К. Брешко-Брешковская, которую в свое время буржуазная печать величала «бабушкой русской революции». После Октября заняла резко враждебную позицию по отношению к Советской власти. Находилась в эмиграции, сотрудничала в эсеровской газете «Воля народа».

[14] Журнал «Литературные записки» (Пг., 1922, № 3, 1 августа) поместил под заглавием «Серапионовы братья о себе» ряд автобиографий членов этого содружества. Автобиографию Никитина заменяла заметка И. А. Груздева «О Ник. Никитине»: «Никитина нет в Петрограде, и редакция просит меня сообщить что-нибудь о нем. Но я даже не знаю точно, в каком году родился Никитин. Для меня он родился осенью 1920 г., когда в студии Дома искусств прочел нам свой «Кол» (с. 30). Возможно, что эта заметка — мистификация, в которую был посвящен Воронский, и автором ее является сам Никитин.

[15] Сюжет рассказа «Ночь» (*Круг*, кн. 2, 1923) — столкновение и гибель двух бронепоездов — «имени Л. Г. Корнилова» и « № 14-7. Бела Кун». Приложенное к письму предисловие не сохранилось и в *Круге* опубликовано не было. Об отношении Воронского к этому рассказу см. п. 43, прим. 1.

[16] Сб. рассказов Никитина вышел в изд-ве «Круг» под другим названием («Бунт», 1923).

[17] По-видимому, первоначально «Полет» предназначался для второй книги альманаха *Наши дни* (1923), затем предполагалось отдельное издание его в «Круге» (см. п. 50). Эти планы не осуществились. Повесть была опубликована в отрывках в журн. «Россия» (1923, № 6) и «Петроград» (1923, № 10), полностью — в журн. «Звезда» (1924, № 1 и 2); отдельным изданием вышла в Ленинградском отделении Госиздата (1925).

[18] О книге В. А. Каверина см. п. 31, прим. 7.

[19] Первоначально предполагалось, что артель писателей «Круг» не ограничится издательской деятельностью, а будет заниматься также вопросами быта литераторов. Эти намерения не осуществились.

[20] Ни этот, ни другие рассказы Александра Юрковского в *КН* не печатались. В «Веселом альманахе» («Круг», 1923) был опубликован его рассказ «Два правых американских ботинка».

[21] Статья Замятина «Серапионовы братья» опубликована в журн. «Литературные записки» (1922, № 1, 25 мая; Никитин ошибся, указав на № 3).

[22] «Огни святого Доминика» — пьеса Замятина (альм. «Литературная мысль», кн. 1, Пг., 1922).

37. К. А. ТРЕНЕВ — ВОРОНСКОМУ

⟨Симферополь, 3 февраля 1923 г.⟩

Многоуважаемый тов Воронский! (Да когда же я узнаю ваше имя-отчество!)

Очень благодарен вам за отклик. Рад, что наконец-то показались на горизонте мои «Вихри» [1]. Спасибо. Что касается моей книги «Мокрая балка», то действительно: профессор Гудзий взял у меня книжку для передачи Госиздату на предмет приобретения [2]. Но прошло 4 месяца, и я наконец получил от Гудзия письмо, с грустью извещающее о том, что Госиздат, ввиду стеснения в средствах, сейчас не может ее приобрести и «надо немного подождать»*. Что это значит? Вы пишете: «Если согласны, сообщите мне». Т. е. на что? На продажу Госиздату? Да, согласен, как видите. Но только надо бы все это оформить, закончить. Я очень беспокою вас просьбой посодействовать этому. И еще: у меня есть материал для 3-го тома [3]. Как тут быть?

Теперь относительно «Красной нови»: что значит «приемлемые для «Красной нови» вещи»? Пишу, как пишется. И мне, при всей моей пагубной скромности, представляется, что писания мои нужны и «Красной нови» и России. Да мне кажется, что на этот счет у нас споров не может быть... Но сейчас я

* Это было с месяц тому назад (*прим. К. Тренева*).

доделываю своего «Пугачева» [4], а потом уж вольный казак. А кроме того — надеюсь и между этим делом вылущить небольшой созревший рассказ, и если бы не сторожкость перед вашей оговоркой «подходящий для «Красной нови», я уже попросил бы под него аванс.

Кстати, был ли у вас под руками наш «Южный альманах» [5]?

Шлю вам своих «Батраков», изданных в Крымиздате [6].

Жму вашу руку. К. Тренев

3/II 1923.

АГ, П-ка *КН*, 1-80-2.

Константин Андреевич *Тренев* (1876—1945) в начале 1920-х годов жил в Симферополе. Участие его в *КН* ограничилось публикацией отрывка из пьесы «Пугачевщина» (1924, № 2). В 1923—1924 гг. изд-во «Круг» выпустило отдельными изданиями два рассказа Тренева (см. ниже, прим. 1 и 6).

[1] Рассказ «Вихри» опубликован в *Наших днях* (№ 3, 1923). В том же году вышел отдельным изданием в изд-ве «Круг».

[2] Профессор Николай Каллиникович *Гудзий* (1887—1966) работал в то время в Госиздате. Сб. рассказов Тренева «Мокрая балка» (М., 1916; 2-е изд.— М., 1918) в Госиздате не переиздавался.

[3] Т. е. для третьего сборника рассказов; первый сборник — «Владыка» (М., 1915), следующий —«Мокрая балка» (во 2-м изд. обозначен как «том II»).

[4] Пьеса «Пугачевщина. (Картины народной трагедии)»; вышла отдельным изданием в 1924 г. (М., «Мосполиграф»); поставлена впервые в МХАТ в 1925 г.

[5] «Южный альманах», кн. I. Симферополь, Крымиздат, 1922. Вышел под редакцией А. Б. Дермана, К. А. Тренева и Я. А. Тугендхольда. Здесь были опубликованы стихи М. А. Волошина, Б. Л. Пастернака, главы из «Истории моего современника» В. Г. Короленко, первая часть романа В. В. Вересаева «В тупике», рассказ С. Н. Сергеева-Ценского «Чур», пролог к пьесе Тренева «Пугачевщина», отрывок из книги С. З. Федорченко «Народ на войне» и др. Воронский был знаком с альманахом — в рецензии на роман Вересаева («Правда», 1922, № 288, 20 декабря) он опирался на публикацию «Южного альманах» и *КН* (1922, № 4, 5).

[6] К. А. Тренев. Батраки. В станице. Рассказы (Симферополь. 1922). В 1924 г. рассказ «Батраки» вышел в изд-ве «Круг» отдельной книгой.

38. И. Г. ЭРЕНБУРГ — ВОРОНСКОМУ

9 февраля ⟨1923 г., Берлин,⟩
Trautenstrasse 9. Haus Trautenau

Дорогой Александр Константинович,

спасибо за ответ и доброе отношение.

Сестра моя получила официальную справку в иностранном отделе Главлита (Москва, Сретенский бульвар) о том, что «6 повестей о легких концах» в Россию не допускаются [1]. Буду вам бесконечно благодарен, если вы поможете разъяснить это явное недоразумение и настоять на пересмотре решения.

Я жду ответа от Госиздата касательно этой книги (т. е. «6 повестей»).

Я сейчас пишу новую вещь:

«Трест Д. Е.

(История гибели Европы по последним данным)»

Это сатира-утопия. Европа гибнет между 1928—1940 гг. при содействии американского треста, организованного авантюристом Енсом Боотом.

Я предлагаю эту вещь для «Красной нови» [2]. В ней будет около 6 печатных листов, и ее можно напечатать в двух книжках. После этого издать отдельной книгой. Я написал уже 16 глав. Всего будет 40, и книгу я закончу в течение месяца.

Если вас «принципиально» эта вещь занимает, напишите мне (также и об условиях), и я вам вышлю всё, что будет к этому времени написано.

В Москву я полагаю приехать весной.

Еще раз спасибо и сердечный привет Ваш Эренбург

P. S. Вот названия написанных глав:

Часть первая

Енс Боот и организация «Треста Д. Е.».

1. Первый завтрак мистера Твайтва.
2. Другие события того же исторического дня.
3. Корень зла или непростительная рассеянность монакского принца.
4. Дальнейшие последствия рокового шага.
5. «Мерси, я не танцую» (о роли личности в истории).
6. Европа или m-lle Люси Фламенго.
7. Честь рода лордов Хэгов оскорблена.
8. Тяжелое расставанье.
9. Превосходная бритва за 20 центов.
10. «Час изобретений».
11. В радужном предвиденьи свадебного путешествия.
12. Но что «но»?
13. Небольшое аналитическое отступление.
14. «Д. Е.»

Часть вторая

Гибель Европы

1. Именины Енса Боота.
2. Предсмертные слова фараона Ферункануна.

Гонорар, о котором вы пишете (75 з⟨олотом⟩) очень хорош. Но мне были бы важны следующие обстоятельства:

1) чтобы скоро вышло (это главное);

2) чтоб гонорар был выплачен здесь или переслан сюда в валюте;

3) чтоб я имел право издать здесь эту книгу (только для заграницы, конечно).

Э.

АГ, П-ка *КН*, 1-94-2.
Год написания устанавливается по времени выхода упоминаемых в письме книг.

Илья Григорьевич *Эренбург* (1891—1967) в 1921—1924 гг. жил в Берлине. В годы редакторства Воронского опубликовал в *КН* отрывок из романа «Жизнь и гибель Николая Курбова» (1922, № 6), «Лето 1925 года в Париже» (1926, № 5) и «Бретань» (1927, № 10). Второе из этих произведений вышло отдельным изданием в изд-ве «Круг» (1926, 1928). В полемике с «напостовцами» Воронский защищал Эренбурга от нападок с их стороны («Искусство, как познание жизни, и современность» — *КН*, 1923, № 5, с. 370, 376—377).

[1] Книга Эренбурга «Шесть повестей о легких концах», первоначально была издана русским издательством в Берлине «Геликон» (1922). По существовавшему в те годы положению разрешение на ввоз в СССР давалось только тем изданиям, которые Госиздат брался распространить. Из всех эмигрантских издательств советские деловые круги предпочитали «Накануне» как издательство, наиболее лояльно относящееся к советской власти и печатающее свои книги по новой орфографии (см.п. З. Г. Гринберга О. Ю. Шмидту от 7 июня 1923 г.— ЦГАОР, ф. 395, оп. 1, ед. хр. 368, л. 87—88). В СССР книга Эренбурга была напечатана сначала в сокращенном виде («Четыре повести о легких концах», М., ЗИФ, 1923), затем полностью («Акционерное общество Меркюр-де-Росси (шесть повестей о легких концах)». Рязань, «Пучина», 1925).

[2] Роман «Трест Д. Е. История гибели Европы» в *КН* не печатался; в 1923 г. вышел отдельным изданием в Берлине («Геликон») и в Москве (ЗИФ).

39. А. Н. ТОЛСТОЙ — ВОРОНСКОМУ

Belzigerstrasse 46[III]. Berlin, Schöneberg.
Понедельник, ⟨февраль 1923 г.⟩

Дорогой Александр Константинович, я получил ваше письмо от 29 января,— большое спасибо за доплату за роман [1], деньги сейчас мне очень нужны. Пожалуйста, известите меня о дне их перевода в «Книгу» [2].

Только что получил последний № «Красной нови» [3]. Журнал с каждым номером лучше и интереснее. Журнал останется крепко в русской литературе.

Как обстоит дело с изданием Госиздатом «Аэлиты» [4]? Когда они думают издать? Кому написать об этом? У них уже лежит несколько моих книг из собрания сочинений. Когда они думают приступить к его изданию [5]? На днях

я сдаю Гринбергу [6] роман «Чудаки». Это старый роман, но заново написанный этой зимою. Роман забавный и смешной. Я бы очень советовал выпустить его первой книгой в собрании сочинений [7].

С приездом в Москву у меня вышли опять затруднения. Сначала задержало окончание «Аэлиты», затем подоспели роды жены, чудом только не окончившиеся трагически. Теперь — третьего дня жене делали операцию. Все же в первых числах марта вырвусь из Берлина — иначе получается даже смешно.

Привет Аросеву [8], Калашникову [9], Серапионам [10], Пильняку.

До скорого свидания

Ваш А. Толстой

АГ. П-ка *КН*, 1-79-2. Датируется по содержанию.

[1] «Аэлита» — последний из романов А. Н. Толстого, написанных в эмиграции. Печатался в *КН* (1922, № 6; 1923, № 1,2).

[2] «Книга» — советское издательство, организованное в Берлине (1922) Наркоматом внешней торговли и Бюро иностранной науки и техники Научно-технического отдела ВСНХ.

[3] Вероятно, речь идет о № 6 *КН* за 1922 г.

[4] Отдельное издание романа вышло в Госиздате в 1923 г. под названием: «Аэлита (Закат Марса)».

[5] Кроме романа «Аэлита», в 1923 г. Госиздат выпустил следующие книги Толстого: «Дикое поле. Рассказы» (т. 3); «Под старыми липами. Рассказы» (т. 4); «Повесть о многих превосходных вещах (Детство Никиты)»; «Лунная сырость»; «Приворот»; «Хромой барин» (изд. заново перераб.).

[6] О З. Г. Гринберге см. п. 15, прим. 5.

[7] В первом варианте роман назывался «Две жизни» (альм. «Шиповник», кн. 14 и 15. СПб., 1911); в 1922—1923 гг. был переработан и под заглавием «Чудаки» вошел в I том собрания сочинений Толстого (Берлин, изд. И. П. Ладыжникова, 1924).

[8] См. п. 15, прим. 3.

[9] Александр Георгиевич *Калашников* — советский ученый-физик, в те годы заведующий редакционным сектором Госиздата РСФСР. Познакомился с Толстым в 1922 г.

[10] «Серапионы» — писатели, входившие в группу «Серапионовы братья»: М. Зощенко, Вс. Иванов, В. Каверин, Л. Лунц, Н. Никитин, Е. Полонская, М. Слонимский, Н. Тихонов, К. Федин, И. Груздев.

40. ВОРОНСКИЙ — Е. И. ЗАМЯТИНУ

〈Москва. 21 марта 1923 г.〉

Дорогой Евгений Иванович!

Сначала о делах. Книгу рассказов мы сейчас не возьмем, так как набрали уже более чем достаточно. Месяца через два взяли бы. Вашего рассказа «В детской» у нас нет. Единственный экземпляр у меня кто-то стащил и молчит: не могу разыскать. Пришлите. О деньгах передал Аросеву; он что-то ворчит, но я его уломаю и попрошу перевести переводом [1].

О вашем отъезде искренно сожалею [2]. Пожалуйста, не работайте в зарубежных русских повременных изданиях. Честное слово, не стоит. Крепко надеюсь, что месяца через три вы сможете возвратиться в Россию и сесть здесь более крепко. Держите связь с нами. Если будут затруднения денежного характера, обращайтесь ко мне. Присылайте нам, что напишете. Сообщите ваш адрес. Очень извиняюсь, что не сразу ответил вам: у меня рев изии, куча дел и прочая. Мечусь из одного места в другое. Всего лучшего. Сегодня буду уламывать Аросева. Крепко жму руку

А. Воронский

21/III. Москва

ИМЛИ, ф. 47, оп. 3, ед. хр. 58, л. 3.

Год устанавливается по содержанию: рассказ «В детской» опубликован, под заглавием «Детская», в альманахе «Петроград» (вып. I, Пг.— М., 1923).

[1] Деньги Замятину были переведены (см.: ИМЛИ, ф. 62, оп. 1, ед. хр. 8, л. 3—4). Об А. Я. Аросеве см. п. 15, прим. 3.

[2] В 1923 г. Замятин за границу не уехал. В автобиографии он писал впоследствии: «Если бы все эти годы не прожил вместе с Россией,— больше не мог бы писать» (Е. И. Замятин. Собр. соч., т. I. М., «Федерация», 1929, с. 19).

41. О. Д. ФОРШ — ВОРОНСКОМУ

⟨Петроград, 22 марта 1923 г.⟩

Уважаемый Александр Константинович,

Посылаю вам рассказ «Для базы» [1] и главу из книги, которую пишу, — «Живцы» [2]. И вот какая к вам просьба: во-первых, прочтите эти вещи и дайте о них ответ (а в случае принятия и капитал) Михаилу Леонидовичу Слонимскому [3].

А второе вот о чем:

В Москве на Фоминой будет Церковный собор. Мне крайне важно на него попасть. У меня много записано о современной жизни прихода, о новых разновидностях «церковного *быта*» — и такое историческое событие как этот Собор — нельзя не записать [4].

Помогите мне туда попасть! Репортерских корреспонденций писать не умею, но объективную *беллетристику* о Соборе могла бы давать раз в неделю, но куда? Вот посоветуйте. Главное, нужен мне пропуск на Собор — и о нем очень вас прошу.

А рукописи, если вам не подходят, прошу обратно отдать М. Слонимскому.

Уважающая вас Ольга Форш

19.22/III 23

АГ, П-ка *КН*, 1-84-2.

[1] Рассказ «Для базы» опубликован в *Круге* (кн. 3, 1924).

[2] В это время Форш работала над книгой «Живцы и Гуссова старушонка» — о так называемой «живой церкви», стремившейся приспособить церковную организацию к условиям советской действительности (*ЛН*, т. 70, с. 581). Посланная Воронскому глава из этой книги ни в *КН*, ни в альманахах «Круга» не печаталась. В сб. рассказов Форш «Летошний снег» (М.— Л., «ЗИФ», 1925) напечатана под заглавием «Живцы».

[3] О М. Л. Слонимском см. п. 49.

[4] Открытие Всероссийского поместного собора русской православной церкви первоначально назначалось на 15 апреля, но было перенесено на 29 апреля («Известия», 1923, № 72, 1 апреля). Собор, проходивший в Москве, ставил целью объединение трех обновленческих групп: «Живой церкви», «Древле-апостольской церкви» и «Союза церковного возрождения». Фотохроника Собора помещена в журн. «Прожектор» (1923, № 7, с. 31).

42. М. Д. АРТАМОНОВ — ВОРОНСКОМУ

⟨Москва. 10 апреля 1923 г.⟩

Уважаемый Александр Константинович!

Давно уже я ищу встречи с вами в редакции и Госиздате и, наконец, решаюсь обратиться с письмом. Я хочу поговорить относительно моей книги песен в Госиздате. Мне хочется, чтобы она была издана, и я хожу туда чуть не каждую неделю вот уже долгие месяцы, сначала на Никитскую, потом на Софийку.

С изданием книги происходит какая-то непонятная для меня задержка. Отправил я ее еще из Иванова, года два назад в Лито Наркомпроса, и она провалялась там с полгода, ее едва разыскали [1]. Потом через бывшего заведующего ивановским Госиздатом А. Н. Савина [2] переправил ее в московский Госиздат. В то время сборник назывался «Терема». Год тому назад, кажется, в апреле, я переделал его и заново сдал Госиздату. Позднее мне удалось случайно видеть отзыв Айхенвальда [3] о моем сборнике, он был неплох и только в заключительной части его стояло «НО»... Мне передали, что сборник будет напечатан, если исключить некоторые стихотворения. Я уже надеялся, как вдруг узнаю перемену суждения, что сборник отклонен. Я взял сборник с собой и передал в «Поморье» [4]; через 2—3 недели я получил известие, что сборник принят и так как летом книжная деятельность замерла, будет напечатан осенью или в начале зимы. Не желая даром тратить время до осени, я включил в него несколько новых стихотворений, выбросил часть старых и вновь отнес в Госиздат, в надежде, что к зиме он выйдет в свет. В конце лета

мне передали его с вашей пометкой, которая, как помню, гласила: «предложить автору отобрать лучшие». Вновь я переделываю и отношу в Госиздат. С той поры по несколько раз в месяц я хожу в Госиздат узнать, в каком положении дело, и месяца два-три подряд слышу: «Будет окончательно рассматриваться на ближайшем заседании». Прогулки мои в Госиздат бывают неудачны — я хочу видеть вас, чтобы поговорить о сборнике, но я вас не вижу. Может быть, это происходит потому, что служащие нарочно говорят, что вас нет, хотя вы и там, так как к вам, наверное, ходит очень много народа, и все по таким же делам, как и я. Вот почему обращаюсь к вам письменно.



СБОРНИК СТИХОТВОРЕНИЙ М. Д. АРТАМОНОВА («ЗЕМЛЯ РОДНАЯ». Пг., ГИЗ, 1919) ОБЛОЖКА

Когда Бухарин говорил, что нужен советский Пинкертон, он был прав только наполовину: нужен не только Пинкертон, нужна своя советская *лубочная* литература — песенник, сказка, именно то, на чем нажил свои капиталы Сытин и на что чувствуется большой спрос на книжном рынке, особенно в глубокой провинции, ибо такие вещи не издавались вот уже лет 5—6. Песенник с одними революционными песнями не удовлетворяет: нужен общий песенник, как и в старину, с бросающейся в глаза лубочной картинкой, простонародной песней и, главное,— дешевка. Свое детство я провел в деревне, в глубоких лесах Заволжья, среди почти первобытного народа, откуда ближайший город был 40 верст, к которому нужно было пробираться на скрипучих телегах бесконечными лесными дорогами и кривыми проселками полей, и первой книгой, которая доходила в эту глушь, был все-таки песенник и сказка. Эту потребность никто не учел до сих пор, а она сильна, и явись теперь новый Сытин, он наживет состояние. Такие песенники можно было бы наполовину или на треть заполнять революционными песнями и, благодаря этому, они привились бы лучше, даже в самой глуши, в медвежатной стороне, где до одури пьют самогонку, хлещутся кольями, сходятся на кулачные бои целыми деревнями и поют отвратительные бесстыдные самодельные частушки. Причем из старого наследия может быть принято все, пусть нереволюционное, но такое, что не противоречит новому быту и нейдет ему вразрез, т. е. стоит исключить царя, веру, отечество,— остальное не принесет вреда, а только пользу.

Но это между прочим.

Я хочу сказать, что мой сборник надо рассматривать не как сборник стихотворений, а как сборник простых, бесхитростных песен, почти как лубочную литературу или частушку. Когда-то давно и я писал стихи, но сознательно отошел от них, полюбил песню, лубок, все больше привязываясь к простоте, безыскусственности и культивируя в себе этот род творчества, простую песню — родную дочь пригорода, слободы и деревни. Уж и задержка с изданием книги происходит не потому ли, что в ней собраны не стихи, в обычном их смысле.

Цель этого письма к вам — желание выяснить: будет ли моя книга принята. Вы, конечно, поймете, Александр Константинович, что два года по-

рядочный срок и три или четыре переделки сборника, в соответствии с указаниями, дают мне некоторое право на то, чтобы знать окончательный результат.

Будьте добры — не толкнете ли это дело, чтобы оно пришло к какому-нибудь *определенному концу*.

Мне думается, этим сборником можно начать, если бы было у Госиздата желание, новую серию лубочной литературы, которая, сомнения нет, найдет широкий спрос. В этом случае старое название сборника стоит зачеркнуть, а озаглавить так:

«Мих. Артамонов
Деревенские песни» [5] —

и придать обложке пестрый вид, подобно тому, как это было на моей третьей книге стихов («Земля Родная»), изданной в Петроградском издательстве [6]: хоровод-пляску, поле с деревенькой вдали, или покос на лугу, усеянном цветами, в пестром узоре парней и девок.

Не подумайте, пожалуйста, что мое желание издать книгу основано ради получения денег. Эта сторона меня мало интересует: я зарабатываю достаточно и дело в самом факте издания.

С приветом Мих. Артамонов

10 апреля 1923 г.
Арбат, Староконюшенный пер., дом 33, кв. 8.

АГ, П-ка *КН*, 1-5-1.

Поэт Михаил Дмитриевич *Артамонов* (1888—1958) был секретарем иваново-вознесенской газеты «Рабочий край» в годы редакторства Воронского (1918—1920). О работе в газете рассказал в очерках «Первые годы «Рабочего края» («Рабочий край», 1928, № 101, 5 мая) и «В редакции» (сб. «Ловцы новостей». М.—Л., ЗИФ, 1930).

Артамонов входил в кружок пролетарских поэтов при «Рабочем крае». Рецензируя три сборника членов кружка, изданные в 1919—1920 гг., Воронский писал: «Мотивы поэтического творчества Артамонова характерны для литературного облика почти всего поэтического кружка красной губернии〈...〉это песни и стихи деревни, вынужденной стихией общественного развития двинуться в города, в каменные — «стоокие корпуса», и еще не понявшей и не приемлющей ни города, ни этих корпусов» («Литературные заметки. I. Песни северного рабочего края» — *КН*, 1921, № 2, с. 217).

В *КН* Артамонов выступил в 1921 (№ 2).

[1] Рукопись книги прочел А. В. Луначарский. 16 марта 1922 г. он писал автору: «...стихи ваши мне очень нравятся. Я, правда, долго не мог приступить к их чтению, т. к. был очень занят, поэтому отправил их в Госиздат совершенно недавно. Рукопись ваша находится в Госиздате. Будут ли они изданы, я не знаю, т. к. московский Госиздат довольно недружелюбно относится к изданию стихов. Во всяком случае я их рекомендовал и, если получим отказ, можно будет попытаться у Ионова» в Петроградском отделении Госиздата〉.— ЦГАЛИ, ф. 17, оп. 1, ед. хр. 5, л. 1.

[2] Аркадий Наумович *Савин* был заместителем Воронского в бытность его заведующим иваново-вознесенским отделением Госиздата (1920—1921).

[3] Юлий Исаевич *Айхенвальд* (1872—1928) — критик и публицист, с 1922 г. в эмиграции.

[4] «Поморье» — московское частное издательство (1922—1924), выпускало научную, художественную и детскую литературу.

[5] Книга Артамонова была выпущена Госиздатом в 1924 г. под названием «Деревенская улица. Песни» в серии «Библиотека избы-читальни».

[6] М. Д. Артамонов. Земля родная. Пг., 1919.

43. Н. Н. НИКИТИН — ВОРОНСКОМУ

11/IV—23. П〈етер〉б〈ург〉

Дорогой Александр Константинович,

только что сегодня встал с одра, был болен и вот сегодня смог ответить вам на письмо. Я рад, что вы написали мне открыто и просто по-товарищески... Надо радоваться хоть этому. По существу, конечно, целый ряд неприятностей, и очень тяжелых. По поводу вашей статьи в последнем номере «Нови» [1] и по поводу вашей там диалектики я мог бы привести ряд обратных доказа-

тельств, но к несчастью болен и не могу сейчас много писать. Буду в Москве, тогда расскажу все по душе.

В отношении ко мне — вы неправы. Но об этом потом, сейчас исключительно дело.

1) «Ночь»... Придется конец переделать. Вставлю новую сцену. Надо это хорошенько обдумать и переправлю текст. Вскоре вышлю. Ждите. Но то, что тут опять затор, страшно меня удручает [2].

2) *Книга*. Я не жалею, что ее написал. И то, что жестокие нападки, и то, что — похвалы, и то, что фальшивая слюна садофьевских инсинуаций и клаки из бывших врангельцев, ничуть меня не смущает [3]. В библиографическом сборнике по поводу 5-летия Госиздата были напечатаны моя обложка и мой портрет [4]. Если вы видели эту книжечку, то вошедший туда материал по поводу 5-летия квалифицируется только как избранный. Это меня убеждает в том, что не все поддаются панике тех злобных и недостойных нападок на меня и на мою книгу. Александр Константинович, мне все-таки хотелось бы знать об этом определеннее. Что значит «считаться»? Берется издательство или не берется за издание этой книжки? Сами посудите, что ходить мне в нетях и домогаться ответа тяжело, так уж скажите мне категорически.

Вот если бы удалось поехать в Англию [5]. Какую бы я написал книгу... Мне кажется, что она подняла бы мои фонды в ваших глазах. Сейчас надо писать повесть «*Ягоду*» [6].

А я так устал и так разболелся. Этот год видимо утомил меня. Хотя бы месяц, полтора отдохнуть. Но вот завтра опять за работу.

Крепко жму руку — привет.

Ваш Никитин

АГ, П-ка *КН*, 1-44-9.

[1] Воронский писал по поводу рассказа «Ночь» (*Круг*, кн. 2, 1923): «Постоянные отступления, неуместная лирика, лишние, невпопад, как будто невзначай, не во время подвернувшиеся, случайные слова ‹...› И рядом сцены и фигуры, неплохо отделанные и выписанные ‹...› Но основной недостаток — в каком-то шатком, реакционном, в сущности, настроении автора ‹...› Знаем, что Никитин не реакционер, что по-своему он любит русскую революцию, он к тому же талантлив. Откуда же такое мерзкое, в сущности, освещение революционной войны? Вот откуда. Никитин считает, что автор должен быть пред читателем в маске, не показывать своего лица. Если нужна иллюстрация, как подобные взгляды на искусство портят произведения, следует обратиться к «Ночи» Никитина: очень показательно и наглядно» («Литературные отклики. Об альманахах «Круга» — *КН*, 1923, № 2, с. 344). О рассказе «Ночь» см. также в п. 36.

[2] Новую редакцию «Ночи» Никитин готовил для сборника своих рассказов, где она была напечатана «в исправленном виде» (Н. Никитин. Бунт. Рассказы. М., «Круг», 1923, с. 59). При перепечатке цитированной выше статьи в книге «Искусство и жизнь» (М., 1924), Воронский сделал к ней примечание: «В позднейшей книге рассказов «Бунт» автор переделал «Ночь» и истолковал Кузьму (героя повести.— *Ред.*) по-иному, более приемлемо» (с. 192).

[3] Книга Никитина «Рвотный форт. Рассказы» (М.— Пг., Госиздат, 1922; см. о ней п. 36, прим. 10) вызвала ряд резко отрицательных отзывов. В «Красной газете» (1922, № 286, 16 декабря) была опубликована статья А. Мечиславцева (Свентицкого) «Тюха», которую и имеет в виду автор письма. «Литературную страничку» в «Красной газете» возглавлял поэт Илья Садофьев, руководитель петроградского Пролеткульта и образовавшейся на его основе группы «Космист». Никитин вел с Воронским переговоры о переиздании «Рвотного форта» в «Круге» (см. п. 50).

[4] В посвященном пятилетию ГИЗа номере журнала «Новая книга» (1923, № 3-4) была воспроизведена обложка «Рвотного форта» и помещен портрет Никитина (с. 19).

[5] О поездке в Англию см. п. 48.

[6] «Прелестная ягода» — см. п. 50, прим. 8.

44. ВОРОНСКИЙ — И. Е. ВОЛЬНОВУ

‹Москва. 17 апреля 1923 г.›

Иван Егорович! Мои соредакторы оказались против напечатания целиком «Деревенской нестряди», в частности «Схода». Поэтому вещь пошла без «Схода». Тем не менее я уверен, что в следующем номере я помещу «Сход» [1]. Придется только кое-где подчистить. Не обижайтесь и присылайте еще. «Дети

нужды» идут в «Прожекторе», но со второй главы [2]. Редакция не взяла всю из-за размера. Для «Прожектора» слишком много.

Высылайте еще.

Я болен и только сегодня встал. Очень ослаб, еле двигаю ногами. Всего хорошего. Пишите.

А. Воронский

17/IV—23 г.

Гос. музей И. С. Тургенева (Орел), ф. 13, ед. хр. 5123.

[1] В *КН* было напечатано четыре рассказа из цикла «Деревенская пестрядь»: «Зимний», «Самогонщики», «Трясучий департамент» (1923, № 2) и «Сход» (1924, № 2).

[2] Повесть «Дети нужды» напечатана в журн. «Прожектор» (1923, № 5 и 6).

45. Е. Г. ПОЛОНСКАЯ — ВОРОНСКОМУ

23 мая 1923. Петроград

Уважаемый товарищ Воронский.

Мариэтта Сергеевна Шагинян передала мне, что вы согласны напечатать мою поэму «В петле» с тем условием, чтобы я написала к ней эпилог и чтобы поэме было предпослано ваше предисловие [1].

Я охотно принимаю ваше предисловие, так как считаю его в данном случае вполне уместным и заранее за него благодарю. Надеюсь также, что вы не слишком станете меня бранить.

Что касается эпилога, то он уже написан; посылаю вам его вместе со всей поэмой. Место печатания, если вы вообще найдете, что поэму стоит напечатать, я предоставляю вашему выбору, хотя признаюсь, что «Круг» поступил со мной не по-товарищески.

Очень прошу вас, тов. Воронский, известить меня через Федина, или по моему личному адресу, о судьбе поэмы.

С приветом Е. Полонская

Мой адрес:

Петроград. Загородный 12, кв. 6 Елизавете Григорьевне Полонской

АГ, П-ка *КН*, 1-53-1.

Поэтесса Елизавета Григорьевна *Полонская* (1890—1969) входила в группу «Серапионовы братья». В 1922 г. ее стихи печатались в *КН* (№ 4, 6) и в *Наших днях* (№ 2).

[1] Поэма «В петле (Лирическая фильма)», посвященная М. С. Шагинян, опубликована в литературно-художественном альманахе «Ковш» (кн. I. Л., Госиздат, 1925) с эпилогом, но без предисловия Воронского.

46. М. М. ПРИШВИН — А. К. ВОРОНСКОМУ

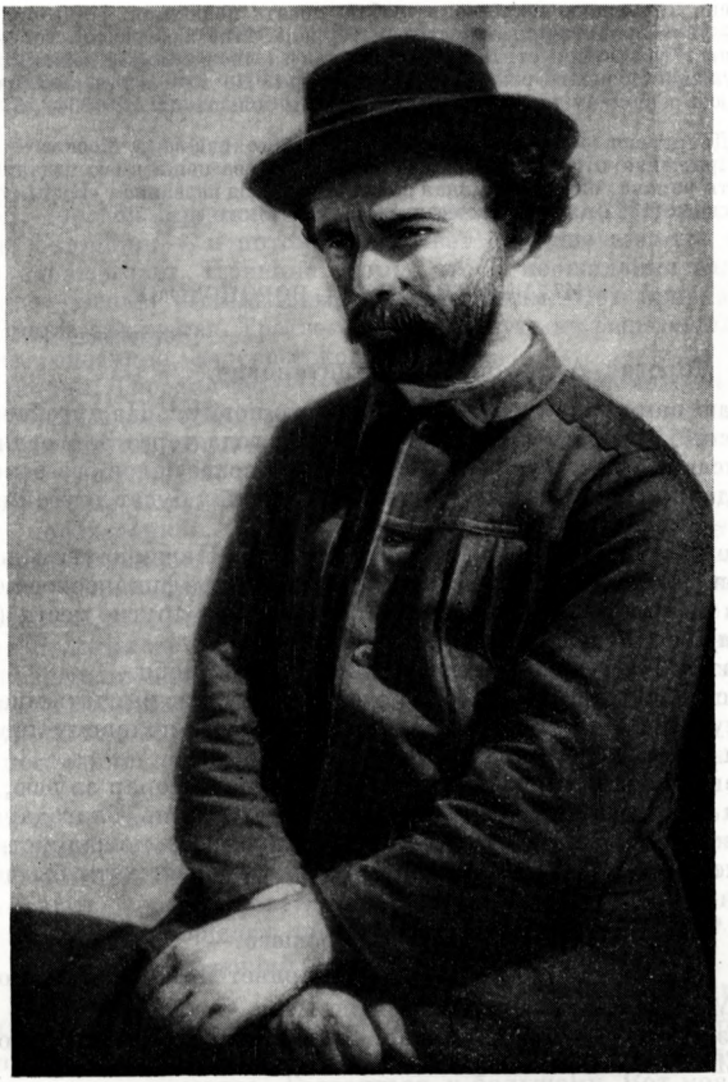
⟨с. Костино Талдомского у. Московской губ. Весна — лето 1923 г.⟩

Многоуважаемый Александр Константинович,

и будь тому неладно, вышла такая заворошка: после нашего разговора по поводу издания Френкелем моей «Кащеевой цепи» раньше «Красной нови» [1] вгорячах я послал ему письмо и обронил такую фразу, что «должен был отвергнуть правду его слов Воронскому». После этого письма вышло у нас объяснение, и так я понял, что некоторыми своими словами действительно мог дать повод Л. Д. Френкелю предпринимать шаги к изданию. Так он мне и сказал: «нехорошо быть чистеньким за счет другого» — вот ведь какую штуку отмочил! А потому я считаю своим долгом довести до вашего сведения, что я сам в этой истории маленько «зарапортовался». Во всяком случае, беды никакой не вышло, а просто ерунда, и мы условились с Л. Д. Френкелем издавать книгу к осеннему сезону, после того, как она будет напечатана в «Красной нови».

С искренней и неизменной симпатией к вам

Михаил Пришвин



М. М. ПРИШВИН
Фотография. Середина 1920-х гг.
Литературный музей, Москва

ИМЛИ, ф. 62, оп. 1, ед. хр. 14, л. 1.
Датируется по времени публикации романа «Кащеева цепь» в *КН*.

Михаил Михайлович *Пришвин* (1873—1954) с 1922 г. жил в селе Костино Талдомского уезда Московской губ. В 1923—1926 гг. он был одним из самых активных сотрудников *КН*. Здесь опубликованы три первые «звена» его автобиографического романа «Кащеева цепь» (1923, № 3—5, 7), фенологические записки «Родники Берендея» (1925, № 8), «Рассказы» (1926, № 8). Пришвин систематически участвовал также в разделе «От земли и городов», который был введен в журнал в 1923 г. Пришвин был основным (а до 1924 г. и единственным) корреспондентом этого раздела, где напечатаны его очерки: «История цивилизации села Талдом» и «Домашние были» (1923, № 6 и 7), «Путешествия», «Голубиная книга» и «Жильцы» (1924, № 1, 2, 7-8), «Очерки» (9 очерков-миниатюр — «Волчки», «Марьина роща» и др.) и «Весна человека» (1925, № 2 и 9), «Очерки» и «Радио» (1926, № 9 и 11). В изд-ве «Круг» вышли три сборника рассказов Пришвина — «Черный араб» (1923), «Охота и лов. Рассказы из жизни на севере» (1923) и «Рассказы» (т. I, II, 1925).

О своем отношении к Воронскому и его журналу Пришвин писал В. П. Полонскому 25 января 1926 г.: «Вы правы относительно А. К. Воронского, которого никак нельзя обижать уже по одному тому, что во время литературного пожара он выносил мне подобных на своих плечах из огня. Но я стал бояться «Красной нови» по двум причинам: во-

первых, очень это видное место, а я люблю писать подшумок, во-вторых, в «Красной нови» очень увлекаются журнальностью материала. Мне в «Красной нови» за очерк текущей жизни в три-четыре страницы платят как за лист художественной прозы, так что всегда искушение оборвать роман, написать очерк. Но горе в том, что, написав очерк, я возвращаюсь к роману только через год, а то и больше» (*НМ*, 1964, № 10, с. 197).

[1] Лев Давидович *Френкель* — владелец частного изд-ва в Москве — выпустил сб. рассказов Пришвина «Колобок» (1923). Роман «Кащеева цепь» в его издании не выходил. Первая часть романа, опубликованная в *КН*, вышла под названием «Курымушка» в изд-ве «Новая Москва» (1924). О планах ее издания см. также в п. 56.

47. Н. С. ТИХОНОВ — ВОРОНСКОМУ

〈Петроград〉 17/VII 〈1923 г.〉

Дорогой Александр Константинович.

Посылаю вам первому, как обещал, свою поэму [1]. Не пугайтесь подписи: первая песнь. Вторая песнь будет написана года через 3. А если и не будет вовсе написана, то все же первая часть сохранит свое целое без всякой потери, так как в дальнейших песнях, конечно, материал будет другой и обработка и подход — тоже другие.

В поэме 295 строк. Я писал ее почти 2 месяца. Ничем другим не занимался и поэтому переживаю сейчас самое затруднительное финансовое недомогание.

У меня было несколько соблазнов продать ее в другие места (ко мне уже приходили), но я твердо помню обещанное.

Напечатайте ее, если можно, в одном №, не дробя.

Что касается денег, то я очень, очень прошу вас выслать мне их поскорей, потому что без них обречен сидеть и остальную половину лета в Питере, в то время как все разъехались уже на отдыхи.

Если вы сможете выслать мне одновременно гонорар за всю, или даже, в крайнем случае, за половину поэмы,— буду очень благодарен.

Если же почему-либо поэма не подойдет вам, то, пожалуйста, сообщите мне, Александр Константинович, как можно скорее, хотя бы через Костю Федина.

Всего хорошего.—

Всем привет Николай Т и х о н о в

Ни в Москву, никуда выбраться не могу — денег нет.

Я все забросил — сидел и писал. Думаю, что это лучшее, что я написал вообще. Может быть, ошибаюсь.

АГ. П-ка *КН*, 1-78-1.

Год написания устанавливается по дате сопроводительного письма К. А. Федина (см. прим. 1).

Николай Семенович *Тихонов* (1896—1979) с 1922 г. входил в группу «Серапионовы братья». Его сотрудничество в *КН* началось в 1922 г. публикацией поэмы «Сами» (№ 4). С тех пор он оставался постоянным сотрудником журнала в течение всех лет редакторства Воронского. Подборки его стихотворений печатались в следующих номерах *КН*: 1922, № 4 и 5; 1923, № 4-6; 1924, № 1 и 5; 1925, № 7; 1926, № 4, 5 и 9. В 1923—1925 гг. его стихи публиковались также в *Наших днях* (№ 2, 3, 5). В издании «Круга» вышел стихотворный сборник Тихонова «Брага» (1922).

Воронский высоко ценил революционный романтизм поэзии Тихонова, острое чувство современности, присущее поэту: «Брага» Н. Тихонова — ярка, свежа и содержательна. Но главное в том, что она о молодом поколении»,— писал Воронский («В вечных боях» — «Прожектор», 1923, № 1, с. 14). С именем Тихонова Воронский связывал понятие «неореализма» — наиболее плодотворного с его точки зрения направления молодой советской литературы; он считал, что характерная особенность этого направления — «сочетание романтизма с реализмом» — наиболее ярко проявлялась в творчестве Тихонова («О группе писателей «Кузница» — *КН*, 1923, № 4, с. 316; см. также п. 51, прим. 3). Высокую оценку прозы Тихонова (рассказ «Бирюзовый полковник») Воронский дал в ст. «Литературный дневник» («Прожектор», 1927, № 13).

[1] 25 июля 1923 г. К. А. Федин писал Воронскому: «Посылаю вам новую поэму Н. Тихонова и его письмо. Хорошо было бы — и нужно! — после того, как «Шахматы» пройдут в «Красной нови», издать поэму отдельной книгой в «Круге» и выпустить позд-

ней осенью, в сезон. Поэма, по-моему, исключительная» («Творчество Константина Федина. Статьи, сообщения, документальные материалы ‹...›». М., «Наука», 1966, с. 383). Первая часть поэмы «Шахматы» была опубликована в *КН* (1923, № 6); отдельным изданием не выходила. Вторая часть написана не была.

48. Н. Н. НИКИТИН — ВОРОНСКОМУ

20.7.23. London[1]

Спасибо, дорогой Воронский, за хорошие известия. Я только что вчера приехал из Германии — и потому мой ответ на ваше письмо, как будто, несколько запаздывает. Причина этому, что я неожиданно задержался в Германии по разным официальным препятствиям. Вот приехал обратно. Лондон. Голова обалделая. Третьего дня меня чуть не расстреляли бельгийцы, приняв, очевидно, за советского шпиона.

Дело было так. Я поехал через Рур — конечно, чтобы посмотреть. Ехать стоило. Интересный запас впечатлений. Готовьте для меня страницы. Для этого стоило пережить часы, когда жизнь дрожала на ниточке. Отъехав от Берлина, я уже почуял неладное, но возвращаться было поздно. Сейчас всех подробностей передать не могу. Главное, что в Аахене меня высадили из поезда, арестовали, поиздевались, грозили расстрелом. До Аахена тысячу раз осматривали. Перед Hamm'ом, где начинается рурская трагедия [2], мне удалось пройти французские кордоны, ускользнув от их контроля, бросив на произвол судьбы вещи, но с Кельна, по-видимому, меня решили подловить. И вот Аахен. Для Бельгии же мне достали бельгийскую визу. В Аахене — порядком меня потрепали, вдобавок не хватило несколько вещей, выбрался чудом. Старушечьими молитвами. Словом, когда я попал в Англию с парохода — сразу почувствовал всю благословенность этой страны. Остенде — Дувр — была моя последняя пересадка. Всего же я их сделал от Берлина до Лондона — пять.

Я взболтан — как хороший гоголь-моголь. Это для здоровья — плохо, для впечатлений — хорошо. В Россию очень хочу. И очень хочу Европы. Остался бы в Англии. Здесь тихо и хорошо жить и писать. Но надо в Россию — так ‹складываются› обстоятельства. Быть может, зимой — куда-нибудь поеду. А сейчас, в первых числах августа, думаю nach Vaterland *.

Искренний привет. Жму руку.

Ваш Ник. Никитин

P. S. Надо писать. Чтобы написать — надо отдохнуть от огромного багажа, навалившегося на меня с Европы. Мы писали малое. Надо большое. Две задачи — кончить малое. Готовиться к большому. Вот моя производственная программа. Мы невежи — надо учиться.

АГ, П-ка *КН*, 1-44-14.

[1] В 1923 г. Никитин совершил поездку в Германию и Англию, впечатления от которой отражены в сб. очерков «Сейчас на Западе. Берлин — Рур — Лондон». Л.— М., «Петроград», 1924.

[2] В январе 1923 г. Рурская область, одна из наиболее промышленно развитых областей Германии, была оккупирована Францией и Бельгией, выдвинувшими кабальные репарационные условия. Пассивное сопротивление трудящихся было сломлено капитуляцией немецкой буржуазии в ноябре 1923 г. Оккупация продолжалась до августа 1925 г., причинив огромный ущерб Германии и дав толчок к крупным революционным выступлениям немецкого пролетариата.

49. М. Л. СЛОНИМСКИЙ — ВОРОНСКОМУ

‹Петроград. 10 августа 1923 г.›

Дорогой Александр Константинович,

пишу вам откровенно, безо всяких «остранений» и фокусов, письмо.

Дело такое:

в вашей, как редактора, власти два моих рассказа: «Артистка» (принятая вами, Пильняком и Фединым для 3-го альманаха «Круг») и «Сельская идил-

* На родину (*нем.*).

лия» (взятая вами на просмотр для 4-го альманаха «Наши дни»)[1]. Эти два рассказа — лучшие мои вещи. В них я оторвался от прежних тем (царская армия и пр.), и стиль в них чище и проще, и композиция занимательнее и сложнее. Рассказы эти оплачены полностью, и заинтересованность моя в их напечатании отнюдь не материальная, а чисто литературная.

Я надеюсь: можно не сомневаться в том, что «Артистка», принятая для 3-го альманаха «Круга» еще в апреле, пойдет, действительно, в третьем, а не в четвертом или четырнадцатом альманахе. Но о «Сельской идиллии» я беспокоюсь.

Скажу вам откровенно и просто: оторвавшись от прежних тем и целиком уходя в темы сегодняшней России, я нахожусь в том периоде, когда каждый удар (а непринятие рукописи, которую автор считает значительной,— удар) болезненно и губительно отражается на работе. Рассказы, о которых я говорю,— не под Пильняка, не под Замятина, не под кого,— они мои целиком. Именно потому, что подражательность отсутствует в них начисто,—именно поэтому я и отношусь к их судьбе с волнением. Ведь, скажем, невозможность печатания их означает неприемлемость меня как писателя. Политически они благополучны, но вдруг «Сельская идиллия» покажется вам «остраненной» (хотя «остранений» в ней меньше, чем где бы то ни было; она — живой быт Украины).

Словом: я нуждаюсь в моральной поддержке, чтобы уверенно идти дальше. Без нее я свихнусь. Моральную поддержку в данном случае можете оказать только вы. Эта самая поддержка — вот в чем: «Артистку» оставьте, как она была назначена, в третьем альманахе «Круга», а «Сельскую идиллию» напечатайте в «Наших днях». И тогда я с полной бодростью буду продолжать работу, а вам буду чрезвычайно благодарен.

Сейчас я наскреб денег и уезжаю снова на Донбасс, чтобы видеть то, что мне нужно, и писать. Я хочу писать о юге. Донбасс, Украина — должны быть в литературе. Там наиболее остро стоят вопросы перестройки быта, и быт там наиболее фантастичен и странен.

Денег мне от вас не нужно. Мне нужно только одно: внимательное отношение к этому письму и моей просьбе. Я бы не писал с такой наглой откровенностью, если б не знал, что вы — внимательный и хороший человек и если б не так остро чувствовал, что именно теперь я нуждаюсь в поддержке, ибо я сдвинулся с места, увидел новые темы и почувствовал, что сила во мне есть и усталость преодолена.

Очень вас прошу, хотя вы завалены работой, урвите десять минут для ответа мне. Отпишите ваше мнение об «Артистке» и «Сельской идиллии» и успокойте насчет их напечатания. Вам — хорошо, а я — волнуюсь.

Адрес мой такой:

Ст. Деконская (Донецкой губернии), рудник Либкнехта.
Доктору Льву Борисовичу Шварцу —
для М. Л. Слонимского.

Письмо, прошу, отправьте *заказным*. А то ведь станция Деконская — дыра, куда простое письмо может и не дойти. Пожалуйста. Ненапечатанные «Артистка» и «Сельская идиллия» мешают мне жить, а напечатание их не в «Круге» и не в «Наших днях» (или «Красной нови») меня никак не удовлетворит.

Пока не получу вашего ответа, буду волноваться. Жду.

Всего хорошего.

Ваш М. Слонимский

10/VIII—23 г.

АГ, П-ка *КН*, 1-72-1.

Михаил Леонидович *Слонимский* (1897—1972) начал печататься в 1921 г. Тогда же вошел в группу «Серапионовы братья». Первые его рассказы, составившие сб. «Шестой

стрелковый» (Пг., «Время», 1922), рисуют нравы царской армии в годы мировой войны. Воронский откликнулся на этот сборник сочувственной рецензией (*КН*, 1922, № 6).

Ни в *КН*, ни в альманахах *Круг* и *Наши дни* Слонимский не печатался.

[1] Рассказ «Артистка» был напечатан в сб. «Молодая Россия» (Берлин, 1923). Вариант рассказа «Сельская идиллия» под названием «Городовой Оридорога» был опубликован в журн. «Красная нива» (1923, № 34).

50. Н. Н. НИКИТИН — ВОРОНСКОМУ

⟨Корабль «Л. Красин». 21 или 22 августа 1923 г.⟩

. . . . . Вечер —
на корабельных часах в кают-компании первая четверть после десяти. Эти часы — каждое утро после брэкфеста младший помощник капитана подводит по секстанту. Этот помощник — парень простой и глупый с лицом костромича, но с твердой английской фамилией — служил во время войны тральщиком — нынче торговый моряк. На нашем же судне есть другой такой митя — тоже с твердой английской фамилией — заика, а фигурой, речью и носом картофельным — телеграфист Ять из Чехова — кстати он ему родственник — «марконист» — это значит по нашему радиотелеграфист, а на английских судах это радио-офицер.

Я сейчас вернулся с кубрика — там матросы рассказывали анекдоты про Екатерину Вторую и трубочиста, про нее же и про матроса — настоящий народный эпос, говорил матрос Андрей, бежавший в 1909 году с «Рюрика», когда русская эскадра, делавшая визит в Англии, на обратном пути зашла в Барри, чтобы нагрузиться углем. Другой матрос, Меликов,— парнишка лет 22-х, рассказывал — как ночью снятся ему принцессы в белых платьях и как он их т о ч и т.

Вчера же говорили о политике, о советских паспортах, об интернационале и о «старой курве» — таким имячком пришлепнули они бывшую царицу-мать.

Еще говорили о преимуществах махорки перед английским табаком об американской жвачке чонгапуун и о кабаках Ист-Эндского дока в Лондоне, об индейских ножах — достающих до печени «одним поворотом»... –

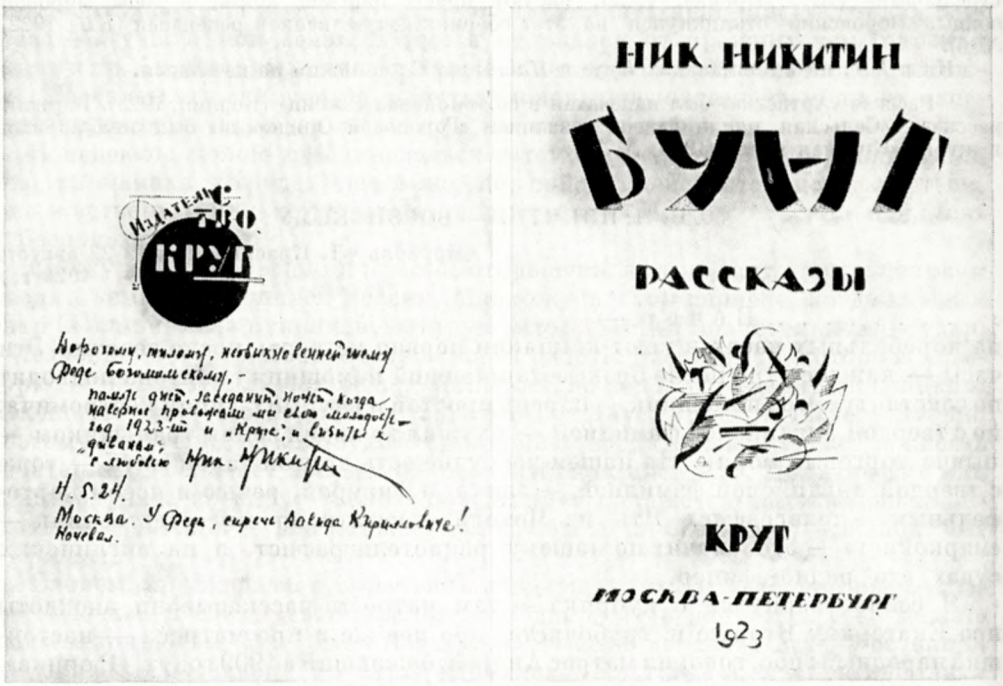
В иллюминатор каюты заглянул сейчас «вперед-смотрящий» — вахтенный с капитанского мостика — приказывают мне закрыть иллюминатор занавеской, а то мой огонь выходит прямо на нос — на формаст и путает сигнальные фонари —

небо мое, гляжу, чухонское — с белой, упавшей в самый край горизонта зарею,— плоские, как свечки, звезды — до Питера еще 60 часов хода — высаживаемся мы в Кронштадте.

Днем я читал воспоминания Витте — третий том [1] — это гораздо скучнее его политических мемуаров — его лирика, «литературная часть», философия не только скучны, а просто глупы, и даже странно, что этот башка, считавшийся умным, высоко-культурным человеком, философствует в своих мемуарах со всеми повадками генералов-мемуаристов из «Исторического вестника» [2].

Балтика бьется за бортом и причитает, точно унтер-офицерская вдова,— шумит, скандалит противной, тошненькой зыбью. Пильняк [3] ползает по стене каюты с порошком для мора тараканов, их у нас множество,— наползавшись, и тараканы и клопы укладываются спать, моя машинка стучит, мешает им и Пильняку... укладываюсь и я, завтра напишу вам *деловую часть* письма.

Покойной ночи... хотя мы укладываемся тогда, когда вы наверное только встаете для настоящей работы, наш же день начинается с 7 утра — первая наша утренняя беседа, после того, как нас разбудит староста, принесший для мытья пресную воду.



СБОРНИК РАССКАЗОВ Н. Н. НИКИТИНА («БУНТ», М.—Пб., «КРУГ», 1923)

Обложка и форзац с дарственной надписью: «Дорогому, милому, необыкновеннейшему Феде Богомильскому,— память дней, заседаний, ночей, когда наверное провожали мы свою молодость — год 1923-ий и «Круга», и визиты к «диванам», с любовью Ник. Никитин. 4.5.24. Москва. У Феди, сиречь Давида Кирилловича! Ночевал»

Литературный музей, Москва

〈Петроград. 25 августа 1923 г.〉

Деловая часть письма

Пишу просто, без обиняков — прямо по пунктам.

1. Нет ни монеты денег, совсем нищий, надо квартиру искать и переезжать и вообще жить — посему, Александр Константинович, выручьте, а то погибну, просил я об этом Пильняка передать, передал ли он?

2. Получить деньги я могу с двух своих книг — изданной и издающейся — «Бунта» и «Полета» [4].

3. Так как первое издание «Рвотного форта» разошлось, то нынче можно выпустить второе, как и уговаривались мы весною. Всю повесть я переделаю — у меня уже составлен 〈план〉 переделки — остальной материал тоже подвергнется переделке, вообще вся книжка будет реконструирована заново, и ее мы выпустим под новым заглавием с предисловием — это другой источник [5].

4. Очень важное. От этого зависит моя литературная судьба. Напишите обо мне сами, что вы думаете, в ваших литературных записках в «Красной нови», статейкой. Мне трудно сейчас не иметь литературной и общественной реабилитации от той грязи, которой нас завалили, мне говорила жена, что вы что-то писали в этом смысле, касаясь «Кузницы». Но надо отдельно [6].

5. Прикажите послать мне «Красную новь» — те номера с весны, что вышли, а также книжку вашу [7] и все новые Круговские издания.

6. Как дела в «Круге», кто новый туда вошел, как Аросев — ему привет сердечный, какой план издательский у «Круга»?

7. Для «Красной нови» буду писать рассказы из цикла «Прелестной ягоды» («25 июля», «Пышма», «Шесть дней» и пр.) [8].

8. Деньги следуемые, авансы, книги надо посылать по адресу, где я приткнулся пока на время,— это: Петроград, Эртеля 3, кв. 3. Адрес верный.

9. Что происходит с «Полетом» — в каком положении обстоит дело с ним — надо мне знать об этом твердо и поскорее.

10. Пусть дошлют мне остальные 15 авторских экземпляров — неужели они никак, кроме как оказией, сделать этого не умеют, а книги нужны мне до зарезу.

Всего, всего хорошего.

Ваш Никитин

До собрания!

P. S. Пильняк говорил, что уходит из «Круга». Ну что же... Его дело.

25.8.23. П⟨етер⟩бург

АГ, П-ка *КН*, 1-44-11. Первый лист письма не сохранился.

Первая часть письма написана по пути из Лондона в Петроград (см. п. 48 прим. 1); она датируется по словам: «до Питера еще 60 часов»; вторая часть, написанная уже в Петрограде, имеет дату: «25 августа 1923 г.»

[1] С. Ю. Витте. Воспоминания. Том 3. Детство. Царствование Александра II и Александра III (1849—1894). Берлин, «Слово», 1923.

[2] «Исторический вестник» (1880—1917) — научно-популярный журнал консервативно-монархического направления.

[3] Никитин возвращался на родину вместе с Пильняком, с которым он одновременно был в Англии. Пильняк опубликовал в газ. «Известия» очерки «Великая Британия» и «Лондон» (1923, № 228, и 243, 7 и 24 октября), с посвящением: «Моему спутнику Н. Никитину».

[4] См. п. 36, прим. 16 и 17.

[5] Первое издание сборника рассказов Никитина «Рвотный форт» вышло в 1922 г. (М.— Пг., Госиздат); второе — исправленное и дополненное — под тем же заглавием появилось в 1926 г., без предисловия (М.— Л., Госиздат). В изд-ве «Круг» этот сборник не выходил.

[6] В июне 1923 г. «напостовцы» начали в первом номере своего журнала кампанию против писателей-«попутчиков». В частности, резко критическую оценку с их стороны вызвала повесть Никитина «Рвотный форт» (Б. Волин. «Клеветники (Эренбург, Никитин, Брик)» — «На посту», 1923, № 1). В статье «О группе писателей «Кузница» Воронский взял под защиту писателей-попутчиков от нападок журнала «На посту»; в частности, он писал: «Все дело в том, что у попутчиков часто больше России, больше революции нашей, с ее особенностями, чем в красных псалмах, гимнах и в мертвых, ходульных рассказах и агит-повестях, больше жизни и больше художественного чутья» (*КН*, 1923, № 4, с. 316). Отдельного очерка, посвященного творчеству Никитина, Воронский не написал, но в статье «Искусство, как познание жизни, и современность» уделил ему ряд строк, назвав одним «из самых талантливых молодых беллетристов» (*КН*, 1923, № 5, август—сентябрь, с. 370).

[7] А. Воронский. На стыке. М.— Пг., Госиздат, 1923.

[8] В сб. «Бунт» были помещены рассказы: «25-го июля 1918 года», «Шесть дней», «Трава-пышма (из романа «Прелестная ягода»)» и др. В *КН* они не печатались.

51. Н. С. ТИХОНОВ — ВОРОНСКОМУ

⟨Новороссийск. Конец августа — начало сентября (до 10) 1923 г.⟩

Дорогой Александр Константинович.

100 руб. за поэму я получил. Большое спасибо. Сижу в Новороссийске. Личные дела забросили меня сюда. Но я немного не рассчитал. Денег у меня, конечно, на обратный путь нет. Поэтому очень прошу вас, Александр Константинович, то, что осталось, дополучить мне за поэму [1],— выслать по следующему адресу: Новороссийск. Станичка. Слепцовская 7 — до 10 сентября. После 10-го без денег мое положение будет очень затруднительным. Проклятая дорога съела все. В Москву я прибуду на обратном пути.

У меня тысячи планов работы. Я очень хочу поговорить с вами об одном деле. Я хочу писать и роман «Русский Ким», и поэмы целых две ждут меня, и для всего нужны материалы и выяснения [2]. А теперь о некоторых ваших статьях. Я совершенно согласен с выдвинутой вами формулой неореализма [3]. Несомненно основная ошибка писателей «Кузницы» в том, что они не могут найти и не ищут художественное воплощение своего мировоззрения. Если

в каждом отдельном коммунисте развитие характера представляет целый процесс, совершенно индивидуальный и все-таки связанный с общим ростом характера партии,— то не может пролетарский писатель, переняв приемы литературных школ, механически влить в них себя. Это невозможно. Они хотят быть Белыми, Пильняками, Блоками — это не нужно. Все школы — только подспорье, только школы. И я думаю, что выход тут наметился только такой: наиболее сильные из них попробуют, и я уверен, что им удастся,— сломав подражательную форму, прогреть ее духом характера. Синклер не коммунист, т. е. человек не партии, он выходец из класса, противопоставляемого пролетариату, и он же в данном случае доказательство того, как писатель, выйдя из традиций литературы своего класса, остается большим писателем [4]. Значение его для Америки совсем иное, конечно, чем для России.

Писатели «Кузницы» или обнажают мировоззрение так, что оно проходит в лозунгах, или наоборот уходят в форму так, что их не отличить от обычных эпигонов. Отсюда их анекдотичность, поспешность, эпизодичность, но это — детская болезнь. Но разве не жалко, например, что Казину, поэту молодому и свежему, угрожает антропософия [5]. И не потому, что антропософия — плохо, а потому, что это плохо для Казина. Он не Штейнер и не Белый. Никакой кризис культуры грозить ему не должен, и философия белых йогов ему и по характеру чужда.

Теперь о «На посту». Лелевич и Родов работают впустую. Работают неприятно. Они шельмуют своих же товарищей. Их вопль в книге ясен: отойдите в сторону — дайте нам занять место [6]. И это ошибка. Никто и не пытается оспаривать у них их место. А достоинства и недостатки молодой литературы будут существовать и без них, раз эта литература жизненна. Хуже всего то, что нападение ведется не только в пределах критики, но и в несколько иных. Они штурмуют тов. Воронского — с лозунгом: долой попутчиков. Чудаки. Тов. Воронский отвечал не только Лелевичам и Родовым в своей жизни, а попутчики — неизбежное явление в любой дороге. В том-то и дело, что люди из «На посту» никуда не идут, а сядут в ⟨1 нрзб.⟩ Леф! Приходится говорить, что се Леф, а не собака. Это пример людей, которые не с того начали. Будем им благодарны. Такое обнажение собственного характера помогает разобраться в окружающем. Неправильное у них: искусство сейчас из простой зауми и шаблона не выкроишь. Маяковский пишет под Демьяна Бедного [7] — бедный футуризм. О том, что будет настоящего, я напишу вам или поговорю при встрече. Если у меня будут деньги, я приеду в Москву около 15 сентября. Письмо * беспорядочно до безобразия.

Пока всего лучшего.

Н. Тихонов

АГ, П-ка *КН*, 1-78-1. Датируется по содержанию.

[1] Речь идет о поэме «Шахматы» (см. п. 47).

[2] В письме редактору наст. тома Н. А. Трифонову от 9 октября 1978 г. Н. С. Тихонов писал: «Если вы вспомните роман Киплинга «Ким», то там шла речь о мальчике-разведчике, где он главного врага Британской империи в Индии видел в России. У меня была мысль на нашем восточном материале написать роман — поспорить с Киплингом. Этот роман остался только в черновых набросках плана». См. также письмо Тихонова Б. Л. Пастернаку от 15 февраля 1924 г. в наст. томе.

[3] В статье «О группе писателей «Кузница» Воронский писал: «Н. Тихонов — не бытовик, а романтик, но его романтизм сумел впитать в себя новую, нашу, Советскую Русь, отразить революционную эпоху, но по-настоящему, по-живому, по-осязаемому и в целом советски и революционно. У него очень своеобразное и типичное для нашего времени сочетание романтизма с реализмом. Он — неореалист» (*КН*, 1923, № 4, с. 316).

[4] Эптон Билл *Синклер* (1873—1968) — американский писатель; происходил из аристократической семьи; его произведения начала 1920-х годов имели социалистическую направленность.

[5] В статье «О группе писателей «Кузница» Воронский отмечал, что поэзии В. В. Казина, которого он считал наиболее одаренным поэтом этой группы, свойственны черты космизма и антропоморфизма. Он связывал это с влиянием А. Белого и исповедуемой им антропософии (религиозно-мистического учения, основателем которого был немецкий философ Р. Штейнер) — *КН*, 1923, № 4, с. 318.

* как оно мне представляется (*прим. Н. Тихонова*).

[6] Тихонов соглашается с основными положениями статьи Воронского «Искусство, как познание жизни, и современность» (*КН*, 1923, № 5), в которой шла речь о позиции журнала «На посту», в частности, о статьях его редакторов Лелевича и Родова.

[7] В цитированном выше письме Н. А. Трифонову от 9 октября 1978 г. Тихонов разъясняет: «Фраза про Маяковского, вероятно, родилась потому, что в это время у Маяковского были стихотворения пропагандистского порядка, на темы разных кампаний...» Сам Маяковский писал в предисловии к сборнику стихов «Вещи этого года (до 1 августа 1923 г.)» (Берлин, 1924): «Для нас, мастеров слова России Советов, маленькие задачки чистого стиходелания отступают перед широкими целями помощи словом строительству коммуны. В этот же год мною написаны многие агитки-лубки: «Вон, самогон», «Ни бог, ни ангелы бога человеку не подмога», а также многочисленные вещи в городских и деревенских бюллетенях ЦК» (Вл. Маяковский. Полн. собр. соч. в 13 томах, т. 12. М., 1959, с. 63). Об отношении Тихонова к поэзии Маяковского в это время см. также его письмо к Б. Л. Пастернаку (конец 1924 г.) наст. том, Пастернак — Тихонов, п. 4 и прим. 12 к нему.

52. Н. Н. НИКИТИН — ВОРОНСКОМУ

П⟨етер⟩бург. 7.10.23.

Дорогой Александр Константинович —

Спасибо за письмо и за сообщение. Пишу короткую записку — сейчас спешно заканчиваю книгу «Разговоры на Западе», это моя отчетная работа за лето [1], туда включена серия моих фельетонов в «Петроградской правде» — «Путешествие в Рур» (шесть статей)[2],— пользовавшиеся огромным успехом в партийных кругах и на заводах Питера.

Но для статьи «О себе» — завтра эту книжку прерываю и сажусь писать вам [3]. Напишите мне: можно ли для «Прожектора» рассказ «Тайна мистера Бэкиш» [4]— английский импрессионизм — о море и шквале, о том — что такое жена, а что любовница. Порнографии никакой, все свято. Если тема подходит — напишите немедля, тогда пришлю вам. Если нет — тоже пишите немедля, тогда подберу другое.

Завтра сажусь за статью для «Круга».

Обнимаю вас крепко —

Николай

P. S. Из Берлина пишут, что там купили мой «Бунт» [5].
Не пишете ли вы что-нибудь о «Бунте» [6]?

АГ, П-ка *КН*, 1-44-12.

[1] См. п. 48, прим. 1.

[2] «Путешествие в Рур» — «Петроградская правда», 1923, № 201, 208, 209, 215, 219 и 223 от 7, 15, 16, 23, 28 сентября и 3 октября.

[3] Статья, получившая название «Вредные мысли», напечатана в сб. «Писатели об искусстве и о себе». Вып. I. М. — Пг., «Круг», 1924.

[4] Рассказ напечатан в жур. «Петроград», 1923, № 13. Вошел в сб. «Сейчас на Западе».

[5] Т. е. сб. рассказов Никитина «Бунт» (М.— Пг., «Круг», 1923).

[6] См. п. 50, прим. 6.

53. В. Я. БРЮСОВ — ВОРОНСКОМУ

⟨Москва. 16 октября 1923 г.⟩

В художественный отдел Гос. Издательства.
Завед⟨ующему⟩ т. Воронскому
Писателя В. Я. Брюсова

Заявление

Мне сообщили, что решено отказаться от издания Собрания (полного) стихов Эдгара По в моем переводе, принятого Госиздатом к изданию в серии «Всемирная литература» [1].

Со своей стороны решительно возражаю против такого постановления.

Госиздат частью ссылается на то, что мною пропущен срок сдачи рукописи. Но это произошло: во 1-х) по моей болезни (есть свидетельства врачей), во 2-х) по моему желанию исполнить работу добросовестно, ибо рукопись

перевода была сдана в Госиздат еще *в 1920 г.*, но ныне мною все переводы *переработаны вновь* и к ним составлены биобиблиографические примечания, столь точные, *каких нет и в английских изданиях*, и, главное, в 3-х) вследствие моей перегруженности работой по Наркомпросу. Неоднократно я обращался как к т. Яковлевой, в бытность ее завед⟨ующей⟩ Главпрофобром [2], так и к ее преемникам и заместителям т. Каменскому [3] и т. Истомину [4], и даже непосредственно к Наркому просвещения т. Луначарскому,— с просьбой освободить меня от работы по Главпрофобру, указывая, что эта работа не позволяет мне выполнить мои обязательства перед Госиздатом, все раза мне было отказано. Таким образом, пропуск сроков произошел по вине моего прямого служебного начальства.

Между тем, как указано выше, мною уже сделана громадная работа по этому изданию: все переводы переработаны заново и составлены к ним примечания, потребовавшие пересмотра и изучения десятков книг. Если рукопись еще не сдана, то лишь потому, что опять желая быть добросовестным, я не хотел дать в виде предисловия свой очерк о Эдг. По, *напечатанный* в «Истории западной литературы» т-ва «Мир» [5], а хотел *написать новый*.

Мне кажется крайне несправедливым, чтобы я потерял и оплату моего большого труда и возможность опубликовать его в печати,— почему и прошу Художественный отдел Госиздата пересмотреть свое решение о Полном собрании стихов Эдг. По.

Кроме того, я считаю, что приостановка полного собрания сочинений *Пушкина* под моей редакцией [6] совершенно *невозможна* по техническим условиям работы, об чем подано подробное заявление в Коллегию Гос. Издательства, где говорю также и об издании стихов Эдг. По и о моем *Учебнике стихологии*, издание которого совершенно необходимо для преподавания на Факультетах Общественных Наук Университетов и в др. ВУЗах [7].

Валерий Брюсов

16 октября 1923 г.

ЦГАЛИ, ф. 56, оп. 1, ед. хр. 84, л. 1—2.

[1] Книга вышла в следующем году: Э. По. Полн. собр. поэм и стихотворений. Пер., предисл. и критико-библиографические комментарии В. Брюсова. М.—Л., ГИЗ, 1924.
[2] Варвара Николаевна *Яковлева* (1884—1944) — заместитель народного комиссара просвещения РСФСР.
[3] Абрам Захарович *Каменский* — председатель Совета по делам ВУЗов Главпрофобра.
[4] Яков Алексеевич *Истомин* — ответственный сотрудник Наркомпроса.
[5] В. Я. Брюсов. Эдгар По.— В кн.: «История западной литературы», т. III. Под ред. Ф. Батюшкова. М., «Мир», 1914.
[6] Издание полного собрания сочинений А. С. Пушкина под ред. Брюсова осталось незавершенным. Вышел лишь том I, ч. I. М., ГИЗ, 1920.
[7] Книга была издана под другим названием: «Основы стиховедения. Курс В.У.З». Части I—II. Общее введение. Метрика и ритмика. Изд. 2-е. М., ГИЗ, 1924.

54. К. А. ТРЕНЕВ — ВОРОНСКОМУ

⟨Симферополь. 31 декабря 1923 г.⟩

Уважаемый тов. Воронский!

Еще раз пытаюсь побороться с фатумом, мешающим правильности сношений с вами. В конце лета вам было послано письмо, на которое я рассчитывал получить ответ. Возможно, что письмо это и не дошло до вас. В начале октября я был в Москве и у вас в редакции. Сказали — вы на Кавказе — неудача.

Был в издательстве «Круг», где мне сообщили, что мне в Симферополь было послано три телеграммы. Ни одной из них я не получил. И даже справляясь специально на телеграфе по возвращении из Москвы, не нашел никаких следов.

Когда я был в издательстве «Круг», то там сначала было предположено издать книжечку моих рассказов («Мокрая балка» и др.), а на другой день мне объявлено, что это отвергнуто. Это мое 1-е дело с «Кругом» [1].

Затем у меня взят для альманаха рассказ и даже аванс под него выдан. Однако с той поры прошло ровно 3 месяца, а сведений о судьбе рассказа, несмотря на запрос мой Б. А. Пильняку, никаких не имею. А в случайно попавшем мне анонсе о содержании альманаха своего рассказа я не нашел. Это мое 2-е дело с «Кругом» [2].

Может быть, на этом следует и закончить, а может быть, тут лишь новый круг недоразумений. Очень бы хотелось получить разъяснения непосредственно от вас.

Во-первых, действительно ли вы находите неуместным издавать 2-ю мою книжку — лучшее из написанного мною?

И, во-вторых, какова судьба моего сданного для альманаха рассказа? Вот покамест и все мои к вам докуки и пропозиции.

С уважением К. Тренев

Адрес: Симферополь, Казанская, 22, Константину Андреевичу Треневу. Для телеграмм: Симферополь, Крымиздат.

31/XII.

ИМЛИ, ф. 62, ед. хр. 16, л. 1.

Год устанавливается по упоминанию о планах переиздания сборника рассказов Тренева «Мокрая балка» (см. п. 37).

[1] Второй сборник рассказов Тренева («Мокрая балка», М., 1916) в изд-ве «Круг» не переиздавался. В этом изд-ве был выпущен только один его рассказ — «Батраки» (М., 1924).

[2] В альманахе *Круг* рассказы Тренева не печатались.

55. ВОРОНСКИЙ — Н. Л. МЕЩЕРЯКОВУ

Председателю Редакционной Коллегии ⟨Госиздата⟩

⟨Москва. Января⟩ 3 дня 1924 г.

Предложение литературной группы «Кузница» об издании рабочего журнала («Рабочий журнал») в счет нормы вполне поддерживаю и нахожу необходимым немедленно приступить к изданию этого органа, полагая, что в нем отразятся художественно-литературные особенности «Кузницы».

Завед. Литер.-Худож. отд⟨елом⟩ А. Воронский

ЦГАОР, ф. 395, оп. 9, ед. хр. 95, л. 10. На бланке заведующего лит.-худ. отделом Госиздата.

Дата, поставленная в письме («Декабря 3 дня 1924 г.»), ошибочна. Уточнена по содержанию. Текст от руки (неизвестного лица), подпись — автограф Воронского.

10 декабря 1923 г. группа пролетарских писателей, входивших в объединение «Кузница», обратилась в Отдел печати ЦК РКП(б) с просьбой разрешить им издание журнала (ЦГАОР, ф. 395, оп. 9, ед. хр. 95, л. 12). Просьба была поддержана одним из руководящих работников Агитпропа В. И. Нарбутом. «Не входя в рассмотрение по существу сметы журнала,— писал он руководителю Отдела печати ЦК РКП(б) Я. А. Яковлеву,— полагаю, что самое издание «Рабочего журнала» явится делом необходимым и полезным, как дающее возможность второй части (группа «Октябрь» уже имеет свой журнал) пролетарских писателей теоретически и практически выявить свою программу до конца» (там же, л. 11). 15 декабря 1923 г. заявление с резолюцией Я. А. Яковлева («Тов. Мещерякову для срочного разрешения» — там же, л. 12) было передано в Госиздат. Мещеряков сделал на заявлении помету: «Тов. Воронскому на отзыв мне» (там же). С мнением Воронского Мещеряков согласился, о чем свидетельствует его резолюция на тексте письма Воронского («Согласен в принципе»). Орган «Кузницы» «Рабочий журнал» выходил в 1924—1925 гг.

56. М. М. ПРИШВИН — ВОРОНСКОМУ

⟨С. Костино Талдомского у. Московской губ. 5 января 1924 г.⟩

Многоуважаемый Александр Константинович,

напечатанное у вас мое сочинение «Кащеева цепь» представляет из себя вполне законченную повесть «Курымушка» и под таким заглавием я очень бы хотел ее издать в «Круге» [1]. Окажите мне в этом содействие своей рекомендацией и заявите, чтобы вопрос об этом поставили на очередь. Френкель, с которым

я заключил было условие, теперь издавать не хочет, и я получил от него об этом письмо. Рукопись, исправленная, будет мною доставлена по выходе журнала.

Меня очень смущает и отнимает охоту работать то странное обстоятельство, что «От земли и городов» пишу я один, и так моя затея имеет вид не дела, а личного писательского фокуса [2]. Я очень вам советую каким-нибудь способом побудить публику к наблюдению жизни рабочего и крестьянина, потому что такие материалы дают действительное жизненное питание журналу. Вероятно, вы уже теперь заканчиваете этот период борьбы за идею преемственности культур и очень бы хорошо вам теперь взяться за насаждение в журнале образцов жизненного внимания против теоретической засмысленности. Очень хорошо это выходит с первой же книжки в журнале «Народный учитель» [3]— очень жизненно.

Уважающий вас М. Пришвин

АГ, П-ка *КН*, 1-56-1.

Дата и место написания устанавливаются по письму Пришвина секретарю редакции *КН* Е. В. Муратовой от 5 января 1924 г. (с. Костино), в котором содержится просьба переслать публикуемое письмо Воронскому (АГ, П-ка *КН*, 1-57-1).

[1] Повесть «Курымушка» в «Круге» не выходила (см. п. 46, прим. 1).

[2] О роли Пришвина в этом разделе *КН* см. в прим. к п. 46. С 1924 г. к участию в нем были привлечены и другие авторы.

[3] «Народный учитель» — общественно-политический, литературно-художественный и научно-педагогический журнал, объединенный орган ЦК профсоюза работников начальной и средней школы ряда республик; выходил в Москве в 1924—1935 гг. Пришвин имеет в виду один из отделов этого журнала — «Как живет и работает народный учитель»; со второго номера журнала он принял участие в этом отделе (очерк «Школьная робинзонада»).

57. Л. М. КЛЕЙНБОРТ — ВОРОНСКОМУ

⟨Ленинград. 10 марта 1924 г.⟩

Многоуважаемый А. К.!

Издательство «Петроград» [1] предложило мне напечатать для Московского Госиздата мою книгу «Очерки народной литературы» [2]. Сношения «Петроград» вел через вас. Рукопись прошла все инстанции (удостоилась очень лестного отзыва как вашего, так и рецензировавшего ее проф. Переверзева) (по словам издательства), но до сих пор «Петроградом» ничего не сделано, чтобы пустить рукопись в дело.

Я хотел бы вступить в непосредственные сношения с Госиздатом по поводу этой книги, т. е. заключить с ним условие, устранив издательство «Петроград». Так как это вполне осуществимо для меня, то прошу вас возможно скорее дать мне ответ по адресу:

Ленинград, Петроградская сторона. Улица Литераторов, д. 19, комн. 5. Льву Максимовичу Клейнборту.

Тотчас по выражении вашего согласия, я вышлю вам рукопись, а вас, с своей стороны, попрошу определить условия и прислать бланк для подписи.

С приветом Л. Клейнборт

10/III

P. S. Буду весьма признателен за незамедлительный ответ.

ЦГАЛИ, ф. 246, оп. 1, ед. хр. 60, л. 6—6 об. Год устанавливается по почт. штемпелю на конверте.

Лев Максимович *Клейнборт* (1875—1950) — литературный критик и публицист. Основная тема его работ — становление и развитие пролетарской литературы и печати.

Публикуемое письмо было направлено писателю И. Касаткину для передачи Воронскому. В сопроводительной записке Клейнборт излагал историю вопроса и просил адресата переговорить с Воронским (ЦГАЛИ, ф. 246, оп. 1, ед. хр. 60, л. 7—7 об.). Письмо

сохранилось в архиве Касаткина и, вероятно, не было передано Воронскому. Возможно, суть его была изложена Касаткиным Воронскому устно.

[1] «Петроград» — частное издательство (1922—1928), принадлежавшее А. И. Гессену.
[2] Книга Клейнборта «Очерки народной литературы (1880—1923). Беллетристы. Факты, наблюдения, характеристики» вышла в изд-ве «Сеятель» (Л., 1924).

58. Н. Н. НИКИТИН — ВОРОНСКОМУ

12.3.24. Ленинград

Дорогой Александр Константинович. Так давно не писал вам, что становится страшно. Я совсем засиделся в Питере, приезжают сюда разные хлопцы, говорят о Москве, ибо сами из Москвы, да все никак не двинуться самому: связался с тысячью всяких дел, так что никак не урваться. За этот год прошло кажется так много, что сразу всего этого не вспомнишь — эта ужасная и дикая баталия «напостовцев», ваши статьи в «Красной нови», весь этот гам и бой — будто преддверие литературных сражений [1]. Что же — все это очень хорошо, это признак *жизни*. Вы писали верно, честно, без барабанов, без трескотни, живущей минутами, не делая лихих набегов, а крепко, как уверенный в своих прогнозах критик и литератор. Тот, кто хватается, может быть, за ваши частичные ошибки, тот из-за деревьев не видит леса. Ваш долг, по-моему, и перед литературой и перед революцией — выполнен и хорошо, и честно. Часто, в пылу борьбы еще, хотелось мне написать вам пару строк, но что-то мешало, и вот теперь, когда слегла эта шумиха и бутада и когда кончилась лягня, а лягающие перессорились,— хочется мне пожать вам руку.

Что делал я? Редактировал «Ленинград» [2], писал рассказишки, переделывал «Полет» [3], писал отчасти в газете, писал можно сказать отчетную работу за лето, за свою летнюю поездку,— чтобы выпустить книжку «Сейчас на Западе», ее я вам при сем посылаю заказной бандеролью [4]. Успех книжки для издательства был совершенно неожидан, она разошлась у них в три дня, без остатка, так что даже я не успел сполна получить свои авторские экземпляры. В ней меньше искусства, но больше правды. Издана она не так, как бы мне хотелось, но сейчас при полном ее расходе горевать об этом, конечно, не приходится. Издавать ее второй раз в издательстве «Петроград»— мне бы не хотелось, уж очень там халтурно [5]. И потому у меня к вам просьба,— прочтите книжку, и если она вам понравится, устройте ее второе издание в Москве, издавать ее нужно теперь же, книжка вся уйдет без остатка, за это ручаюсь. А эту книжку переиздать необходимо, она имеет помимо вообще интереса чисто читательского, т. к. написана живо, и большое служебное значение. Устройте ее, где хотите, на вас я надеюсь [6].

Второе — что с «Кругом»? У москвичей я всегда справляюсь о вас и о «Круге». Про вас мне говорят, что вы хвораете, а в «Круге» дела исправились. Так ли это? «Ленинград» скоро кончается, и у меня не будет постоянного пристанища. У меня нет ничего, жить невыносимо трудно на гонорары, хворает жена, месяца через два будет ребенок, роды и прочие трагедии, нет ни копейки, а надо много-много денег. Осенью мы с вами говорили о переиздании «Рвотного форта». Таким образом — я переделываю «Форт», изменяю его, выбрасываю одиозные сцены и вставляю новые, потом из книжки вставляю все остальное, то что фундаментально и ценно, к этому добавляю «Полет». Все это могу я сдать в апреле в «Круг». Александр Константинович, могу я на это надеяться в данный момент?[7]

Вот два основные дела.

Третье — для «Красной нови». Еще с осени я задумал повесть. Называется «Русское действо». Пишется это просто, ясно, отчетливо. Будет она листа 4—5. Сейчас виднеются уже концы. К весне я ее тоже кончу. Она — спокойная и радостная. Она дает мне большое удовлетворение. Правда, я никогда не писал так. Самый строгий мой критик — жена; от нее мне всегда попадало больше, чем от других. Теми сценами, которые я читал ей, она осталась довольна и просит только об одном — чтобы я не торопился, не захватался. Ее я предназначаю — обязательно для «Красной нови». Когда вы



ПЕРВАЯ КНИГА АЛЬМАНАХА «КРУГ»
Москва — Петербург. «Круг», 1923
Обложка по рисунку Ю. П. Анненкова

прочтете — я думаю, я даже уверен, что вы тоже согласитесь со мной. Поэтому извещаю вас об этом [8].

Устройте мои дела эти — иначе я погибну, честное слово. И напишите мне подробно ответ. Крепко вас обнимаю, целую крепко.—

Ник. Никитин

P. S. Поругался с «Серапионами». Почему даже в рецензиях сводит личные счеты А.А.?[9] Будет ли выходить № 3 «Круг», а также «Писатели о себе»[10]?

Второй экземпляр «Сейчас на Западе» посылаю на случай для издательства.

Отпишите обо всем скорей. Адрес: Эртелев, 3, кв. 3. Ленинград.

АГ, П-ка *КН*, 1-44-13.

[1] Речь идет о статьях Воронского в *КН*: «О группе писателей «Кузница», «Искусство, как познание жизни, и современность», «На попятный двор», «О пролетарском искусстве и о художественной политике нашей партии» (1923, № 4—7). См. также п. 50, прим. 6.

[2] «Ленинград» — двухнедельный художественно-иллюстрированный журнал. Выходил в 1923—1925 гг. (в 1923 г.— под названием «Петроград»). Ответственным редактором его был Г. И. Сафаров, редактор «Ленинградской правды». Никитин являлся, вероятно, членом редколлегии.

[3] Об этой повести см. п. 36, прим. 8, 12, 17.

[4] Об этой книге см. п. 48, прим. 1 и п. 52.

[5] Об изд-ве «Петроград» см. п. 57, прим. 1.

[6] Книга «Сейчас на Западе» не переиздавалась.

[7] О планах переиздания сборника рассказов Никитина «Рвотный форт» см. п. 50, прим. 5.

[8] Повесть «Русское действо», по-видимому, завершена не была.

[9] За подписью «А. А.» в *КН* помещал рецензии А. Я. Аросев (см. о нем. п. 15, прим. 3). В рецензии на первый номер журн. «Звезда» за 1924 г. он дал отрицательную оценку повести Никитина «Полет», противопоставив ее всем остальным произведениям литературно-художественного отдела журнала (*КН*, 1923, № 7, декабрь; этот номер вышел в январе 1924 г.).

[10] Третья книга *Круга* и сб. «Писатели об искусстве и о себе» вышли в 1924 г.

59. О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ — ВОРОНСКОМУ

(Ленинград. 1924 г.)

Уважаемый Александр Константинович!

Посылаю вам выправленный текст моих «Записок» [1]. Простите за чудовищную проволочку: она объясняется отнюдь не забывчивостью моей, а тем, что я хотел над вещью спокойно поработать. Буду вам весьма признателен, если вы сообщите мне, когда и где вы собираетесь ее печатать, так как я предполагаю, *выждав приличный срок после появления ее* в «Красной нови» или «Круге», напечатать ее с некоторыми дополненьями книжкой, о чем я и вел переговоры с «Ленинградом».

Разумеется, после моей медлительности, я не решаюсь торопить вас, а с дальнейшими моими планами на книгу буду ждать *ровно столько, сколько вам потребуется.*

С искренним приветом О. Мандельштам

Ленинград. Ул. Герцена, д. 49, кв. 4.

P. S. Из мелькавших названий мне бы хотелось остановиться на «Шум времени», с подзаголовком: «Записки». Очень прошу прислать корректуру, которую я *не задержу.*

АГ, П-ка *КН*, 1-36-1.

Датируется по упоминанию о «Ленинграде» (что не могло быть ранее 1924 г.) и о рукописи воспоминаний Мандельштама (изданы в марте 1925 г.).

В 1922—1924 гг. стихи и рецензии Осипа Эмильевича *Мандельштама* (1891—1938) печатались в редактируемых Воронским изданиях — в *КН* (1922, № 4; 1923, № 1, № 5), в *Наших днях* (№ 2—4, 1922—1924), а также в журн. «Прожектор». В 1923 г. изд-во «Круг» выпустило сборник его стихов «Вторая книга» (см. п. 33, прим. 3).

[1] Ни в *КН*, ни в *Круге* записки Мандельштама не появились. Вышли отдельной книгой под названием «Шум времени (Воспоминания)» в изд-ве «Время» (Л., 1925).

60. И. Э. БАБЕЛЬ — ВОРОНСКОМУ

⟨Киев. 2 мая 1925 г.⟩

Дорогой Александр Константинович.

Я потерял надежду на получение корректуры [1]. История эта огорчает меня. Посылаю проверенную рукопись. В нее внесены исправления по сравнению с первичным текстом. Печатать можно *только* по этому экземпляру. Удивляюсь образу действий технического персонала нашей редакции. Они обнаружили пренебрежение к элементарным авторским правам.

Сегодня выезжаю в Харьков. Через неделю приеду в Москву на короткий, вероятно, срок.

Ваш И. Бабель

Киев. 2.V.25.

ИМЛИ, ф. 62, оп. 1, ед. хр. 7, л. 1.

Исаак Эммануилович *Бабель* (1884—1941) начал сотрудничать в *КН* с конца 1923 г.— две его «Миниатюры» были напечатаны в декабрьской книге журнала (№ 7). В течение 1924—1925 гг. в *КН* опубликовано более половины рассказов, составивших книгу «Конармия», и ряд «Одесских рассказов» (1924, № 1, 3—5; 1925, № 2—4), в 1926 г.— повесть «Беня Крик» (№ 6); в том же году повесть вышла отдельным изданием в изд-ве «Круг». В альманахе *Круг* напечатан рассказ «Иисусов грех» (кн. 3, 1924).

Воронский одним из первых оценил талант Бабеля. Отвечая в мае 1924 г. на вопрос газеты «Вечерняя Москва» — «Какие из новейших явлений и произведений нашей литературы вы считаете самыми выдающимися и почему?»,— Воронский писал: «В нынешнем году будут сильно говорить о Бабеле, чрезвычайно талантливом молодом писателе, также и о Леонове, подающем большие надежды...» («Вечерняя Москва», 1924, № 106, 10 мая). Ту же мысль он высказал в письме к Горькому от 29 января 1925 г. (*Архив Горького*, т. X, кн. 2, с. 15).

Творчеству Бабеля Воронский посвятил специальную статью в своем цикле «Литературные силуэты» («И. Бабель» — *КН*, 1924, № 5). Отметив «культурность, ум и зрелую твердость таланта» писателя, Воронский утверждал: «Бабель — новое достижение послеоктябрьской советской литературы, достижение немаловажное и весьма бодрящее» (там же, и с. 278). См. также его оценку пьесы Бабеля «Закат» («Прожектор», 1927, № 13, с. 20).

Воронского связывали с Бабелем и личные дружеские отношения. Летом 1925 г. они вместе отдыхали в Сергиевом Посаде. «Мы с Воронским живем дружно! Он все пишет про литературу»,— сообщал Бабель (Е. Краснощекова. Три года жизни И. Э. Бабеля.— «Север», 1969, № 9, с. 110). Как высоко Воронский ценил мнение Бабеля, свидетельствует его письмо Горькому, в котором, сообщая о выходе первой части своих воспоминаний, он отмечает, что «Бабель одобрил» их (*Архив Горького*, т. X, кн. 2, с. 46).

[1] По-видимому, речь идет о корректуре рассказа «Первая любовь» (альм. «Красная новь», вып. I. М., ГИЗ, 1925).

61. ВОРОНСКИЙ — Ф. В. ГЛАДКОВУ

⟨Москва. Май — июнь 1925 г.⟩

Тов. Гладков! Предлагая на просмотр конец вашего романа, считаю нужным заметить: 14-ю главу об эмигрантах я считаю у вас слабее других. Кроме того, ⟨эта⟩ глава эпизодическая, она не связана органически с романом. Полагал бы нужным ее совсем опустить, по крайней мере, в «Красной нови»[1]. Конец романа написан твердо и хорошо. О партчистке тоже неплохо. Роман постараюсь кончить в № 6-м, т. е. разбить на 2 ближайших номера.

С тов. приветом А. В о р о н с к и й

P. S. Хорошо, чты вы развели Глеба с Дашей [2].

А. В.

ЦГАЛИ, ф. 1052, оп. 5, ед. хр. 321, л. 2.

Написано на листе, сохранившем пометы: «Федор Гладков. Цемент. Глава XVII (последняя)» и «XV, XVI».

Датируется по содержанию: письмо написано после выхода четвертого номера *КН* (майского) и до появления пятого (июньского) номера.

Федор Васильевич *Гладков* (1883—1958) в нач. 1920-х годов входил в объединение пролетарских писателей «Кузница», был одним из его руководителей.

В 1925 г. Воронский напечатал в *КН* его роман «Цемент» (№ 1—6); до этого в *Наших днях* были опубликованы повести Гладкова «Изгои» (№ 2, 1922) и «Огненный конь» (№ 3, 1923).

Воронский отмечал недостатки романа («несвободен от излишней взвинченности, диалог местами искусственен, есть сюжетная незавершенность, есть просто лишние страницы»), однако, ценил в нем «крепкий, здоровый романтизм» («О том, чего у нас нет» — *КН*, 1925, № 10, с. 261). Позднее Воронский развил эту мысль: он писал, что «Цемент» — «незаурядное явление в литературной жизни последних лет» не только потому что был первой попыткой изобразить восстановительный период в жизни Советского государства, но прежде всего в силу того, что автор романа сумел окутать этот период «легендой, своеобразной революционной романтикой и, следовательно, его опоэтизировать. В факте прозаическом на первый взгляд, писатель сумел найти и драматизм, и огромное напряжение коллективной воли рабочих масс».

Отзыв Воронского о более ранних произведениях Гладкова см. в ст. «О группе писателей «Кузница» (*КН*, 1923, № 4, с. 329—331).

Об отношении Гладкова к Воронскому см. его письмо к Горькому за январь 1926 г. (*ЛН*, т. 70, с. 73, а также в кн.: Ф. В. Г л а д к о в. Собр. соч., т. I. М.— Л., ЗИФ, 1926, с. 206).

[1] В отдельном издании романа (Ф. В. Г л а д к о в. Собр. соч., т. III. М.— Л., ЗИФ, 1926) эта глава, опущенная в *КН*, была восстановлена, так же как и некоторые другие выпущенные Воронским места.

[2] Глеб и Даша — герои романа «Цемент».

62. И. Ф. КАЛЛИНИКОВ — ВОРОНСКОМУ

Tchecoslovaquie. Radešovice u Říčan, 149 u pana Lhotaka
⟨Радешовицы. Чехословакия. 4 июля 1925 г.⟩

Александр Константинович! Сегодня получил письмо от Алексея Максимовича, которое меня очень обеспокоило, почему я и пишу вам. Он пишет, что неудобно будет, если отрывки из «Мощей» будут печататься здесь, и советует посоветоваться об этом с Лутохиным [1]. Последний писал мне, чтобы я поставил вас об этом в известность, что и было мною сделано в первом письме к вам [2].

До сих пор иной возможности, кроме печатания в эмиграции, у меня не было, и пробивать себе дорогу в Россию я мог только путем печатания, тем более, что мои вещи являются восприятием революции и, например, «Опустошение» не имеет общих точек соприкосновения с идеологией того журнала, где оно было напечатано [3], почему я и считал, что печатание *отрывков* из романа не повредит его выходу в целом (где он определенно выявляет автора) в России, так как всецело принимает Революцию, тем более, что выйдет не в журнале, а в издательстве «Круг».

С коммерческой стороны мне казалось, что печатание отрывков из романа и здесь вызовет спрос на него в целом, тем более, что автор его тем самым

делает определенный шаг. Пишу вам так же откровенно, как и Алексею Максимовичу.

Отрывки были взяты давно и фактически они, вероятно, будут печататься в то время, когда роман уже выйдет в «Круге».

Одно из соображений — Ходасевич печатается и здесь и в России [4].

Вместо «Смрада» пришлю «Бобры», «Смрад» к зиме переработаю [5].

Надеюсь, что отрывки не повредят выходу в целом в «Круге»; коль скоро же я смогу иметь возможность выступить с «Бобрами»[6], а, главное, освободиться материально от эмиграции, и вопрос о моем печатании здесь отпадет, это и есть то, к чему я стремился все время.

Хотелось бы с вами списаться не только по вопросу о романе, так как я считаю, что Алексей Максимович прав в отношении меня, говоря, что «в эмиграции вам делать нечего», но в данном случае меня связывает семейное и материальное положение.

В ожидании вашего ответа Иосиф К а л л и н и к о в

4.VII.25 г. Радешовицы

АГ, ПТЛ, 9-75-2.

Иосиф Федорович *Каллиников* (1890—1934) — писатель и переводчик, с 1920 г. жил в эмиграции. В 1924—1929 гг. переписывался с Горьким.

Стремясь содействовать возвращению писателя на родину, Горький рекомендовал Воронскому роман Каллиникова «Мощи» для публикации в *КН* (*Архив Горького*, т. X, кн. 2, с. 19). Роман вышел в изд-ве «Круг» (т. I—II, 1925—1926).

[1] Это письмо неизвестно. О том же Горький писал Д. А. Лутохину 17 июня 1925 г. и просил сообщить это мнение Каллиникову (*Архив Горького*, т. XIV, с. 398). Далмат Александрович *Лутохин* (1885—1942) — экономист и литератор. В 1923—1927 гг. был в эмиграции. При содействии Горького вернулся в Советский Союз.

[2] Это письмо не сохранилось.

[3] Рассказ «Опустошение» опубликован в эмигрантском журнале «Воля России» (1925, № 4, 5). Включен в книгу Каллиникова «Баба-змея» (М., «Современные проблемы», 1927).

[4] Владислав Фелицианович *Ходасевич* (1886—1939) — поэт и литературный критик. В 1922 г. эмигрировал. После его отъезда в СССР вышла его книга «Поэтическое хозяйство Пушкина» (Л., 1924); стихи его публиковались в альм. *Наши дни* (№ 3, 1923).

[5] В письме Каллиникову 13 июля 1924 г. Горький отозвался о повести «Смрад» отрицательно (АГ, Пг-ра, 18-3-6). В советских изданиях повесть не печаталась.

[6] Роман «Бобры» в Советском Союзе не печатался. Вышел в изд-ве «Геликон» (Берлин, 1929).

63. ВОРОНСКИЙ — М. М. ПРИШВИНУ

⟨Москва. 22 сентября 1925 г.⟩

Дорогой Михаил Михайлович!

По поводу «Родников Берендея». Вещь это замечательная, но воспользоваться целиком я не могу [1]. Ваши «Записки»— для отдельной книги, для периодического журнала подходят только отдельные части. Один отрывок на лист я уже взял для № 8-го —«Щучий бой» и «Весна зеленой травы» (отдельные части). Для № 9 я тоже возьму на лист из «Весны человека» [2]. Остальное свободно. Деньги 150 р. ⟨за⟩ лист вышлю в два приема. Один на днях, другой через месяц. Иначе не могу. Жду от вас повести. Отрывок, который я взял у вас в № 8-й, великолепный. Прямо — наслаждение читать. Крепко жму руку.

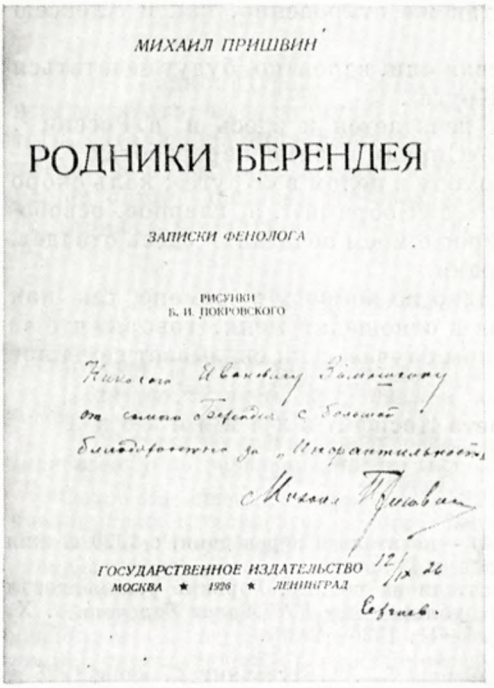
19—22/IX—25 г.

А. В о р о н с к и й

Музей М. М. Пришвина (филиал ГЛМ).

[1] Отрывки из этой книги были впервые опубликованы в *КН* под названиями: «Родники Берендея. Записки фенолога с биостанции «Ботик» и «Весна человека» (1925, № 8 и 9, октябрь, ноябрь). В 1926 г. «Родники Берендея» вышли отдельным изданием (М.— Л., Госиздат). Впоследствии вошли в книгу Пришвина «Календарь природы».

[2] «Щучий бой», «Весна зеленой травы» и «Весна человека» — названия отдельных разделов «Родников Берендея».


МИХАИЛ ПРИШВИН

РОДНИКИ БЕРЕНДЕЯ

ЗАПИСКИ ФЕНОЛОГА

РИСУНКИ
Б. И. ПОКРОВСКОГО

Николаю Ивановичу Замошкину
от самого Берендея с большой
благодарностью за «инфантильность»
Михаил Пришвин 12/IX 26

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА ★ 1926 ★ ЛЕНИНГРАД

ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ КНИГИ М. М. ПРИШВИНА «РОДНИКИ БЕРЕНДЕЯ» (МОСКВА — ЛЕНИНГРАД, ГИЗ, 1926)

Титульный лист с дарственной надписью: «Николаю Ивановичу Замошкину от самого Берендея с большой благодарностью за «инфантильность». Михаил Пришвин. 12/IX 26 Сергиев»

Литературный музей, Москва

64. В. И. АННЕНСКИЙ-КРИВИЧ — ВОРОНСКОМУ

〈Детское село.〉 23/IX. 1925.

Многоуважаемый Александр Константинович.

На днях я виделся с О. Д. Форш, и она передала мне о беседе с вами по поводу вопроса издания «Книги статей» И. Ф. Анненского.

Очень был бы я рад осуществить это дело с «Кругом» и очень хочу надеяться, что это так и будет [1].

Должен по чистой совести сказать, что сборник чрезвычайно интересен. И интересны статьи не только в силу имени их автора, в плане, так сказать, историко-литературном,— но и совершенно безотносительно. Конечно, имя Иннокентия Анненского находится уже в списке тех, каждая мало известная страница или вновь открытая строка которых имеют свою особую ценность, совершенно независимую от ценности безотносительной,— но в данном случае, повторяю, интересность сборника идет в обоих направлениях.

Позволю себе подчеркнуть, что это — далеко не единичное — мнение высказываю я здесь, конечно, не в качестве «составителя» книги и даже не в качестве лица, уже давно работающего над литературным наследием Анненского (да уж и не в качестве сына, разумеется!),— а просто как и всякий другой литератор; как, так сказать, «квалифицированный читатель».

Значительная пестрота библиографии Анненского заставляет в деле объединения и опубликования его вещей применять некоторую классификацию. В этой книге мною собраны (в хронологическом порядке) статьи только по, так сказать, общелитературным вопросам, и изданием данного сборника исчерпывается его наследие в этой области. Это — третья книга критико-литературных статей (1-я и 2-я — суть его «Книги отражений»).

Статьи, сюда входящие, действительно почти никому не известны,— во всяком случае $^3/_4$ их. В самом деле, многие ли даже из лиц, причастных литературе,— не говорю уже о «широкой публике»— следили за Вестником античного мира «Гермесом» или «Вестником императорских театров»?[2] Кто, кроме жителей Казани — да и то в очень, пожалуй, небольшом составе,— видел казанскую газету «Обновление»?[3] А то вот, например, «Голос Севера», живший, кажется, всего несколько дней и даже едва ли успевший собрать подписчиков![4] и т. д.

На некоторые — давние — тексты Анненским были нанесены в позднейшее время кой-какие изменения — в сборник включаются, конечно, именно эти редакции. В статье «Что такое поэзия?» восстановлены не бывшие в печати («Аполлон», посмертно) строки, а в «примечаниях» приведен и тот отрывок, который должен был быть напечатан в качестве «скрепы» между статьей и стихами (первоначально очерк этот Анненский предполагал приложить к 1-й книге стихов) [5].

Сборник снабжен небольшим предисловием и примечаниями к статьям,

причем примечания эти, в соответствии с самым характером книги, не являются историко-текстуальными, а скорее историко-литературными.

В ближайшее время я доставлю вам часть материала.

С истинным уважением Валентин К р и в и ч

АГ, П-ка *КН.*, 1-4-1.

На л. 1 сверху: «Валейтин Иннокентьевич Анненский-Кривич. Детское село, ул. Карла Маркса, 14, кв. 1».

Валентин *Кривич* (наст. фамилия Анненский; 1880—1936) — поэт, сын Иннокентия Анненского, автор воспоминаний о нем («Литературная мысль». Л., 1925, № 3).

[1] В 1914 г. сообщалось, что к печати готовится «Книга статей» И. Ф. Анненского, в которую предполагалось включить его критические статьи, не вошедшие в прижизненные сборники: «Книга отражений» (СПб., 1906) и «Вторая книга отражений» (СПб., 1909) (см.: Е. А р х и п п о в. Библиография Иннокентия Анненского. М., 1914, с. 33). Издание это не осуществилось. В 1979 г. в изд-ве «Наука» вышло собрание статей И. Анненского («Книги отражений»).

[2] В журнале «Гермес» опубликованы две статьи Анненского — «Афинский национализм и зарождение идеи мирового гражданства» и «Античный миф в современной французской поэзии» (1907, № 1 и 2; 1908, № 7—10), две рецензии (1908, № 10 и 19) и небольшие заметки на разные темы (1909, № 10, 11-12). В «Ежегоднике императорских театров» за 1909 г. напечатана статья Анненского «Леконт де Лиль и его Эриннии» (В. Кривич ошибся в названии этого издания).

[3] «Обновление» — ежедневная общественно-политическая газета; выходила в Казани с января по май 1906 г. Здесь была опубликована статья Анненского «Ф. М. Достоевский» (1906, № 35, 24 февраля).

[4] «Голос Севера» — газета (Петербург). Вышел только один номер — № 1, 6 декабря 1909 г. В нем посмертно опубликована статья Анненского «Анфиса» Л. Андреева в связи с «Тремя сестрами».

[5] Статья «Что такое поэзия?» опубликована в журн. «Аполлон» (1911, № 6). Первая книга стихов Анненского — Ник. Т-о. Тихие песни. СПб., 1904.

65. А. Б. МАРИЕНГОФ — ВОРОНСКОМУ

〈Москва.〉 28 окт. 〈1925 г.〉

Уважаемый тов. Воронский,

я не просто посылаю вам свои вещи, а в сопровождении небольшого письма,— потому, что считаю свое положение несколько иным, чем положение моих товарищей по перу.

Мое имя с какого-то времени (после нэпа) стало (смешно сказать) политически одиозным.

Два года я не заходил в наши редакции — потому, что прекрасно видел, что даже для тех товарищей, которые меня любят как поэта,— я представлял некоторые неудобства.

В чем же дело? Действительно ли у меня наметились внутренне-существенные расхождения с революцией, или это просто нелепое сплетение недоразумений?

Я только вернулся из-за границы [1]. Эти 6 месяцев, проведенные вне России, прежде всего еще раз убедили меня самого, что *конечно* все мои творческие начала ОТ и В — той стране, в которой я литературно родился в 1918-м [2].

Это хорошо также почувствовала и белая печать, провожавшая каждое мое выступление бешеной руганью.

Пробежав свою творческую жизнь и ощутив себя там яснее, чем на московском фоне, я пришел к догадке, что причина моей «одиозности» может быть от: внешности, от лакированного ботинка...

Это письмо (и свои вещи) я посылаю именно вам, тов. Воронский, потому что знаю, что вы достаточно крупны, чтобы (при желании и при уверенности, что это нужно русской литературе) — сказать свое — ЗА наперекор маленьким ПРОТИВ.

Конечно, все письмо имеет смысл только в том случае, если будет эта *уверенность* или попросту: если вы сочтете значительным то, что я вам по-

сылаю (в последнем случае распоряжайтесь материалом на предмет печатания по своему усмотрению) [3].

Я буду вам очень признателен, если вы мне ответите лично несколькими строками, не откладывая в долгий ящик.

Крепко жму вашу руку

А. Мариенгоф

После звонка по телефону я заходил в «Красную новь», но у вас была такая веселая толчея, что убоялся за свой язык, который мог не достаточно развязаться,— и поэтому написал то, что намеревался сказать.

Адрес: Москва, Петровка, Петровский переулок, д. 3, кв. 46. А. Мариенгофу

ИМЛИ, ф. 62, оп. 1, ед. хр. 9, л. 1—2. Год устанавливается по содержанию.

Анатолий Борисович *Мариенгоф* (1897—1962) — поэт и драматург, входивший в группу имажинистов.

[1] Мариенгоф был во Франции в 1925 г.

[2] Первый сборник стихов Мариенгофа «Витрина сердца» вышел в Пензе в 1918 г.

[3] Ответ Воронского Мариенгофу неизвестен, но в *КН* (1926, № 11) была помещена рецензия Л. Повицкого на сборник стихов «Новый Мариенгоф» (1926, изд-во «Современная Россия»; в сборнике есть раздел «Парижские стихи»).

66. ВОРОНСКИЙ — М. М. ПРИШВИНУ

⟨Москва. Декабрь 1925 г.⟩

Дорогой Михаил Михайлович!

Вы простите меня, что я вам не писал долго. Очень уж много дел. То, что я напечатал у вас из «Родников»,— превосходно. За небольшие сокращения не судите. Мне нужно было выкроить несколько страниц для другой вещи. Так что это к художественной оценке никакого отношения не имеет. Очерки в целом очень хороши. Прошу вас, пришлите что-нибудь в этом или другом роде для январской книжки. Но нужно спешить. Оплата с январской книги 200 рублей лист. Если у вас нет ничего, то сообщите, а то я рассчитываю на вас. Всего хорошего. Привет.

А. Воронский

Музей М. М. Пришвина (филиал ГЛМ).

Датируется по содержанию: упоминание о публикации «Родников Берендея» в *КН* (см. п. 63) и просьба прислать материал для «январской книжки» журнала.

67. М. М. ПРИШВИН — ВОРОНСКОМУ

⟨Переславль-Залесский. Конец декабря 1925 г.⟩

Дорогой Александр Константинович!

Такая досада, что мы с вами не списались раньше, материалы у меня наготове, но я предался волчьим облавам, совершенно упустив из виду, что январь на носу. К февралю могу и обещаю повесть. Это будет продолжение «Кащеевой цепи», звено 4-е, студенческие годы Алпатова (будет читаемо и вне связи с «Курымушкой») [1]. Лист я мог бы дать и теперь, но боюсь, что с продолжением, начав в январе, не справлюсь к февралю. (У вас есть мой рассказик «Халамеева ночь» [2], помню, он вам очень нравился, но положение было тогда острое. Теперь я не знаю, какая температура в цензуре, может быть и ничего?)

Читал вашего «Гамсуна» и все мысли разделяю, но жалею, что вы не углубили до конца очень важный вопрос о русском происхождении этого писателя [3]. Я лично думаю, что он целиком от русских, и особенно от Лермонтова (Глан — Печорин — княжна Мери — коротенькие острые диалоги и т. д.).

Ущипнула меня как сотрудника журнала «Охотник» статья Якерина в № 9-м фразой «С фонарем Ленина на куропаток» [4]. Автор пишет о журнале — органе охотничьей кооперации, охватывающей всю охотничью промышлен-

ность, представляющую немалую статью государственного хозяйства, дело серьезное, именно ленинское, а не любительское, а он бух! «на куропаток».

Музей М. М. Пришвина (филиал ГЛМ).
Ответ на п. 66. Датируется по связи с этим письмом.
Черновой автограф без подписи, незакончен.

[1] «Юность Алпатова» — четвертое «звено» автобиографического романа «Кащеева цепь» — Пришвин напечатал в «Новом мире» (1926, № 2—5). Первые три «звена» были опубликованы в *КН*, затем вышли отдельным изданием под названием «Курымушка» (см. п. 46).

[2] Рассказ «Халамеева ночь» впервые напечатан в Собрании сочинений Пришвина (т. 4. М.— Л., Госиздат, 1928).

[3] В статье «Кнут Гамсун» Воронский писал: «Общность некоторых бытовых, хозяйственных и культурных условий в прошлом Норвегии и России (преобладание крестьянства, уездного быта и т. д.) создала благоприятную почву для воздействия на Гамсуна русских классиков»; далее он называет трех писателей (Тургенева, Толстого и Достоевского), наложивших «свой отпечаток» на творчество Гамсуна (*КН*, 1925, № 8, с. 246).

[4] Цитата из рецензии В. Якерина (*КН*, 1925, № 9, с. 281), в которой критиковалась бестактная форма упоминания имени В. И. Ленина в стихотворном лозунге, напечатанном в журнале «Охотник» (1925, № 2).

68. ВОРОНСКИЙ — М. М. ПРИШВИНУ

(Москва. 29 января 1926 г.)

Дорогой Михаил Михайлович!

Вы совсем забыли меня. Это — не порядок. Не порядок, что вы «Алпатова» сдали в «Новый мир» [1]. Но я помню, что вы просили не обращать внимания, если что и появится не у меня. Хорошо. Но все же я попросил бы вас к 10—15 февраля для мартовской книжки «Красной нови» прислать очерк для «От земли и городов» [2]. Уповаю и рассчитываю. Дела литературные идут как будто ничего. Рукописи есть, но писатели находятся в довольно смутных настроениях.

Привет. Жду ответа и... рукописи.

А. Воронский

19—29/I—25 г.

Музей М. М. Пришвина (филиал ГЛМ).

[1] Об этом «звене» «Кащеевой цепи» см. п. 67, прим. 1.

[2] Об участии Пришвина в этом разделе *КН* см. в прим. к п. 46. В первой половине 1926 г. Пришвин в *КН* не печатался. В августе—ноябре он поместил в этом журнале цикл маленьких рассказов (№ 8) и принял участие в разделе «От земли и городов» («Очерки», «Радио» — 9, 11).

69. ВОРОНСКИЙ — Е. И. ЗАМЯТИНУ

(Москва. 9 февраля 1926 г.)

Дорогой Евгений Иванович!

Жду обещанного, т. е. писем Лермонтова и из архива Кузьмы Пруткова. Не тяните, ибо я это намерен дать в № 3 «Красной нови», который уже в наборе [1]. Привет. Умерла Лариса [2].

А. Воронский

19—9/II—26 г.

ИМЛИ, ф. 47, оп. 3, ед. хр. 58, л. 2.

[1] Упоминаемые материалы предназначались для нового раздела *КН* — «Художественный архив». По невыясненным причинам в *КН* не публиковались.

[2] Л. М. Рейснер умерла 9 февраля 1926 г. В 1924 г. она напечатала в *КН* (в отделе «От земли и городов») серию «путевых очерков», написанных после поездок на Урал и в Донбасс (№ 4—8). Во втором номере *КН* за 1926 г. опубликованы ее «Портреты декабристов (Барон Штейнгель. Каховский)» и некролог, посвященный памяти Рейснер (без подписи); автором некролога был Воронский.

70. В. П. ПОЛОНСКИЙ — ВОРОНСКОМУ

⟨Москва. 13 марта 1926 г.⟩

Тов. А. К. Воронскому

Дорогой Александр Константинович.

Когда я соглашался редактировать «Новый мир», вы помните, я беседовал с вами на этот счет. Меньше всего мне хотелось создавать такое положение, при котором «Новый мир» мог бы оказаться конкурентом «Красной нови». Я ведь согласился взять «Новый мир» во имя интересов литературы. Общие задачи, за которые мы с вами боролись вместе истекшие пять лет, диктовали нам, казалось бы, некоторую общую линию. И я говорил с вами о согласованности издания этих журналов. Я даже, помнится, предлагал вам принять участие в редактировании «Нового мира». В разговорах со мной вы не высказывали опасений по поводу возможной между нами конкуренции.

Но вот две книжки «Нового мира» успели уже выйти. С огромным трудом мне приходится преодолевать то отрицательное отношение к журналу, которое создалось у писателей в прошлом году. Вы знаете, как трудно получить хороший материал. Трудность эта усугублялась для меня тем, что «Новый мир» в прошлом году не сумел внушить к себе никакого уважения. Кое-что мне удалось сделать. Но вот, в самые последние дни я неожиданно узнал о резко враждебном отношении, занятом вами по отношению к журналу. Враждебность эта дошла до того, что, как мне передавали, вы, попросту, Казину запретили дать свои стихи «Новому миру» [1]. То же самое говорит про ваши дружеские советы целый ряд писателей. Меня это и огорчает и удивляет. Меньше всего я мог предполагать, что вы, так любящий литературу и так много сделавший для ее развития, что вы способны стать на узкую точку зрения конкурента, препятствующего развитию журнала, который ставит себе те же задачи, что и вы.

Я пишу это откровенно, потому, что слишком вас уважаю, чтобы кривить душой. Я, с своей стороны, боролся против всякой возможности каким-нибудь вредным образом повлиять на развитие «Красной нови». Я ведь люблю «Красную новь». Не так давно два видных писателя предлагали мне условия сотрудничества, которые монополизировали бы их произведения для «Нового мира». Я отказался от этих условий, для меня крайне благоприятных, именно потому, что не хотел лишить вас возможности иметь от этих писателей произведения, которые до последнего времени появлялись, главным образом, в вашем журнале. Я пишу вам, не будучи уверенным в том, что слухи, переданные мне (о них громко говорят в литературной среде), соответствуют действительности. Мне это не совсем понятно потому, что точка зрения ваша как редактора, литератора и коммуниста, сознающего всю бедность нашей журналистики, не может же походить на точку зрения собственника, ведущего борьбу нелитературными приемами.

Не сердитесь на меня, милый Александр Константинович, за некоторую, быть может, резкость этого письма, но повторяю, что я слишком вас ценю для того, чтобы быть с вами неискренним. Я очень хотел бы, чтобы слухи эти оказались неверными, ложными и чтобы мы с вами и в дальнейшем продолжали бы столь же дружно вести литературную работу, как это делали истекшие пять лет [2].

«⟨13⟩» марта 1926 г.

ЦГАЛИ, ф. 1328, оп. 3, ед. хр. 109, л. 1—1 об. Машинописная копия (без подписи и даты). На л. 1 помета: «Отправл. 13.III.26».

Вячеслав Павлович *Полонский* (наст. фамилия Гусин; 1886—1932) — критик и историк, редактор журналов «Печать и революция» (1921—1929), «Красная нива» (1926—1930) и «Новый мир» (1926—1931).

[1] Василий Васильевич *Казин* (1898—1981) в то время заведовал отделом поэзии в *КН*. Его стихи часто появлялись в этом журнале.

[2] В дальнейшем взаимоотношения между автором письма и его адресатом были полностью восстановлены. На страницах «Нового мира» Воронский опубликовал такие важные для него произведения, как «Заметки о художественном творчестве» (1927, № 8 и 9), вторую и третью части автобиографической повести «За живой и мертвой водой» (1928, № 9—12; 1929, № 1).

71. ВОРОНСКИЙ — М. М. ПРИШВИНУ

⟨Москва. 11 мая 1926 г.⟩

Дорогой Михаил Михайлович!

Простите, что не сразу ответил вам: был в Крыму. Кажется, вы кончили свою повесть в «Новом мире» [1] и пора бы вам вспомнить про «Красную новь». Время приспело. Жду от вас очерков, рассказов, повестей. Дела «Красной нови» пока идут хорошо, тираж повышается, но недостает вас, особенно в отделе «От земли и городов» [2]. Относительно Горького я с вами вполне согласен [3]. Алексей Максимович мне часто пишет; он много работает над новым романом, кончить его думает к осени [4]. Здоровье у него неважное.

Надеюсь, что со следующим письмом вы пришлете мне рукопись. Привет.

А. Воронский

19—11/V—26 г.

Музей М. М. Пришвина (филиал ГЛМ).

[1] Речь идет о «Юности Алпатова» (см. п. 67, прим. 1).

[2] См. п. 68, прим. 2.

[3] По-видимому, эта фраза — ответ на несохранившееся письмо Пришвина, написанное по поводу статьи Воронского «О Горьком» (*КН*, 1926, № 4; статья посвящена выходу в свет т. XVI—XIX Собрания сочинений Горького. М., Госиздат, 1924—1926). Позднее Пришвин писал Горькому: «Я написал Воронскому благодарственное письмо, когда он назвал вас «первым писателем» (*ЛН*, т. 70, с. 333). Вероятно, в этом письме Пришвин поделился с Воронским также и своими впечатлениями от только что прочитанных книг Горького («Дело Артамоновых», «Рассказы 1922—1924» и «Мои университеты»); свое мнение об этих книгах он изложил в письме Горькому 10 апреля 1926 г. (там же, с. 330—331).

[4] В это время Горький работал над первой частью романа «Жизнь Клима Самгина». В 1927 г. эта часть печаталась (в отрывках) в *КН* (№ 5—7), *Круге* (кн. 6), «Огоньке» (№ 26—31), в газетах «Правда» и «Известия». В том же году она вышла отдельным изданием в Берлине.

72. А. П. ПЛАТОНОВ — ВОРОНСКОМУ

⟨Москва. 27 июля 1926 г.⟩

Товарищ Воронский!

Два года назад я был у вас, разговаривал о стихах, которые потом печатались в альманахе «Наши дни» и в «Прожекторе» [1].

Эти два года я был на больших и тяжелых работах (мелиоративных), руководя ими в Воронежской губернии.

Теперь я, благодаря смычке разных гибельных обстоятельств, очутился в Москве и без работы. Отчасти в этом повинна страсть к размышлению и писательству. И я сную и не знаю, что мне делать, хотя делать кое-что умею (я построил 800 плотин и 3 электростанции и еще много работ по осушению, орошению и пр.) [2].

Но пишу и думаю я еще более по количеству и еще более давно по времени, и это мое основное и телесное.

Посылаю вам 4 стихотворения, 1 статью и 1 небольшой рассказ — все для «Красной нови». Убедительно прошу это прочитать и напечатать [3].

Я знаю, что вас и так заваливают просьбами и материалами, но я обращаюсь в первый раз.

Глубоко уважающий вас Андрей Платонов

27.VII.26.

Мой адрес: Москва, Б. Златоустинский пер., 6. Центральный дом специалистов. А. П. Платонову.

ЦГАЛИ, ф. 1677, оп. 2, ед. хр. 1, л. 1.

Андрей Платонович *Платонов* (наст. фам. Климентов, 1899—1951) начал литературную деятельность в 1919 г. Приобрел известность после выхода сборника рассказов «Епифанские шлюзы» (М., 1927). С одним из наиболее значительных его произведений — повестью «Сокровенный человек» Воронский познакомился до ее публикации. В августе 1927 г. он писал Горькому: «Мне нравится Андрей Платонов, он честен в письме, хотя еще и неуклюж. У меня есть его повесть о рабочем Пухове — эдакий русский Уленшпигель — занятно» (*Архив Горького*, т. X, кн. 2, с. 57). Своего намерения опубликовать повесть Воронский не успел осуществить.

[1] Речь идет о стихотворениях: «Динамо-машина» («Прожектор», 1923, № 16; «Воронежская коммуна», 1920, 28 ноября); «Сердце в эти дни смертельно и тревожно...» (*Наши дни*, № 4, 1924).

[2] В автобиографии Платонов писал: «С начала 1922 г. я начинаю работать в губернском земельном управлении ‹. . .› Сначала я работал председателем комиссии по гидрофикации, а затем управляющим губернским мелиоративным бюро и потом заведующим подотделом сельскохозяйственной мелиорации ‹. . .› и заведующим работами по электрификации сельского хозяйства (построил 3 электростанции). С весны по осень 1923 г. я еще работал в губисполкоме председателем комиссии по постройке гидроэлектрической станции на р. Дон» (Э. И н о з е м ц е в а. Платонов в Воронеже.— «Подъем», 1971, № 2, с. 99—100). В Воронежском губернском земельном управлении Платонов работал с 5 февраля 1922 г. по 10 мая 1926 г.

[3] Эти произведения в *КН* не публиковались.

73. ВОРОНСКИЙ — М. М. ПРИШВИНУ

‹Москва. 1 ноября 1926 г.›

Дорогой Михаил Михайлович!

А. М. Горький написал мне о том, что он послал вам письмо-статью в ответ на вашу просьбу написать предисловие к вашим книгам [1]. При этом он заявил мне, что он ничего не имеет против помещения его письма в журнале, если на то будет дано ваше согласие. Я думаю, что помещение этого письма вам не повредит, а наоборот будет содействовать вашей популярности и расхождению книжек. А посему: очень прошу вас выслать мне копию письма Алексея Максимовича для напечатания в «Нови».

Жду от вас очерков. Привет.

А. В о р о н с к и й

19—1/XI—26 г.

Музей М. М. Пришвина (филиал ГЛМ).

[1] В это время Пришвин готовил к печати первые тома Собрания сочинений (т. 1—7, М.— Л., 1927—1930). С просьбой написать вступительную статью к этому изданию Пришвин обратился к Горькому 3 октября 1926 г. (*ЛН*, т. 70, с. 333). Горький выполнил его просьбу: статья «О М. М. Пришвине», написанная в виде письма к автору, была напечатана в *КН* (1926, № 12), а затем в Собрании сочинений Пришвина (т. 1, с небольшими изменениями).

74. ВОРОНСКИЙ — И. Е. ВОЛЬНОВУ

‹Москва. 13 ноября 1926 г.›

Товарищ Вольнов!

Повесть вашу «Встреча» я прочитал. Хорошая повесть, но она мне была доставлена, когда я уже приобрел ряд вещей на 1927-ой год. Поэтому воспользоваться могу отрывками: для «Красной нови» могу взять отрывок в 1 1/2—2 листа, для «Прожектора» на 1/2—3/4 листа. Прошу немедленно сообщить, согласны ли вы на это. Тогда я вырежу отрывки из повести, остальное возвращу [1].

Жду ответа. Как живете? Привет.

А. В о р о н с к и й

19 13/XI 26 г.

Гос. музей И. С. Тургенева (Орел), ф. 13, ед. хр. 5124.

[1] Повесть «Встреча» была напечатана в журн. «Молодая гвардия», 1927, № 3—5; отрывок («Передышка») — в «Красной ниве», 1926, № 45.

75. ВОРОНСКИЙ — М. М. ПРИШВИНУ

⟨Москва. 17 ноября 1926 г.⟩

Дорогой Михаил Михайлович!

Благодарю за статью М. Горького, она будет напечатана в № 12 «Красной нови»[1]. Прекрасная и верная статья. Молодец Алексей Максимович.

Жду от вас для январской книги «Нови» очерка[2]. Непременно. И не думайте отговариваться: январскую книжку, ударную, не мыслю без вашего очерка. Прошу прислать к 1 декабря. Привет.

А. Воронский

19—17/XI—26 г.

Музей М. М. Пришвина (филиал ГЛМ).

[1] Об этой статье см. п. 73, прим. 1.
[2] В 1927 г. Пришвин в *КН* не печатался.

76. АНДРЕЙ БЕЛЫЙ — ВОРОНСКОМУ

Кучино. 19 января ⟨19⟩27 г.

Глубокоуважаемый Александр Константинович,

Я очень просил бы вас передать Петру Никаноровичу Зайцеву[1] тот № «Записок мечтателей»[2], который я вам когда-то передал и в котором напечатана повесть моя «Преступленье Николая Летаева», которая мне сейчас нужна до зареза[3]. Буду вам очень благодарен. Да и кстати: передайте Петру Никаноровичу «Серебряный Голубь», который вам, вероятно, не нужен[4].

Очень хотелось бы встретиться, да все это время сижу в деревне (подрасклеился).

Остаюсь искренне уважающий вас и готовый к услугам

Борис Бугаев

ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 6, ед. хр. 14, л. 1.

О творчестве Андрея *Белого* (1880—1934) Воронский писал впервые в статье «Литературные отклики» (*КН*, 1922, № 2). Его прозе критик посвятил позже большую статью «Мраморный гром» (в кн.: А. Воронский. Искусство видеть мир. М., «Круг», 1928).

Воронскому принадлежит также статья об Андрее Белом в первом томе «Литературной энциклопедии» (М., 1930). Критик со всей категоричностью утверждал, что «символизм Белого неприемлем для передового класса, переделывающего мир», но в то же время считал, что Белый — «первоклассный художник», который «при всей своей неуравновешенности и неустойчивости, тяготении к оккультизму сумел создать ряд ярких типов и образов» (стлб. 427). В 1925 г. Воронский опубликовал отрывки из романа Белого «Москва» в альманахе *Круг* (кн. 4 и 5). В 1926 г. в изд-ве «Круг» вышли романы «Московский чудак» и «Москва под ударом».

[1] Поэт П. Н. Зайцев в 1924—1930 гг. вел издательские дела Белого.
[2] «Записки мечтателей» — литературно-художественный журнал, издававшийся группой литераторов символистского направления во главе с Белым в 1919—1922 гг. (Пб., «Алконост»).
[3] Первая глава повести Белого опубликована в «Записках мечтателей» (1921, кн. 4) под названием «Крещеный китаец».
[4] Этот роман вышел в двух изданиях — в 1910 г. (М., «Скорпион») и в 1922 г. (Берлин, «Эпоха»).

77. ВОРОНСКИЙ — Г. ЛЕЛЕВИЧУ

⟨Москва. 27 января 1927 г.⟩

Дорогой Лелевич! Пользуюсь случаем, чтобы подать вам весть о себе.

Меня по-прежнему снимают[1]. Одно время мне звонила из «Правды» Мария Ильинична[2], сообщала, что я уже снят и вместо меня назначен Керженцев[3]. Потом оказалось, что с Керженцевым вели переговоры, Гусев, из отдела печати[4]. Уговорились, но Керженцев будто говорил, что может взять «Новь» через месяц, через полтора... Словом пока задержка. Все это несусветимо мне надоело, устал я до пределов.

Федерация... Что с ней происходит и сам не понимаю [5]. Приехал Молотов [6] и заявил, что... поторопились. Теперь тянут, чего тянут — не ведомо. ВАППы на заседания не являются. Идет спор, кого еще включить — Леф, «Кузницу», конструктивистов. Об этом, вероятно, сговорятся. Мои друзья говорят, чтобы я из Федерации не уходил и не упускал «высот». То, что я вам говорил тогда о тактике Гусева, подтверждается прямыми заявлениями его. Гусев на меня скрежещет. Оживления вокруг Федерации пока не замечено, все делается сверху, келейно, а за последнее время даже и не делается... Вообще все еще сомнительно, а впрочем посмотрим.

〈...〉 В руководящих кругах тихо, особых новостей нет. Я каждый почти день шляюсь по собраниям и дошел до изнеможения, но интересно. Занимаюсь с рабкорами — они довольны. В литературе ничего особо занимательного нет. Настроение неважное. Склоки между братьями-писателями растут. Нездоровая атмосфера.

Сейчас приходил Казин [7] — плакал: сердечные дела, ох, уж эти поэты! Какие индивидуалисты!

Вчера в редакцию пришел сменовеховец Ю. Потехин [8], поднял вежливо котелок, сел, сказал: пришел проститься, решил зачеркнуть себя, выйти из жизни, позаботьтесь о моей двухлетней девочке; у вас мой роман, если подойдет куда-нибудь, гонорар ей. Я спросил, в чем дело? — Родовое, у меня отец, брат, сестра кончили самоубийством. Уйду из жизни тихо, никто не скажет, что я самоубийца.— Поднял котелок, вышел, на глазах слезы. Кошмар!!! Ищу его сейчас повсюду — не могу найти... Вот так редакционная работа!!!

Посылаю «Красную новь» № 1 и 2-й. Не ругайте меня за соглашательство (Федерация). У меня другое положение, чем у вас. Пишите. Вардин уехал в Кисловодск [9]. Ох, как я устал за эти дни!

Ваш Александр

27/1—27 г.

ЦГАЛИ, ф. 1392, оп. 1, ед. хр. 37, л. 1—2.

Г. Лелевич (наст. имя — Лабори Гилелевич Кальмансон; 1901—1945) — критик, поэт. В 1923—1925 гг.— один из редакторов журн. «На посту» и руководитель ВАПП. Полемика с ним содержится в целом ряде статей Воронского: «О хлесткой фразе и о классиках» («Прожектор», 1923, № 12), «Искусство, как познание жизни, и современность» (*КН*, 1923, № 5) и др. В 1926 г. Лелевич был выведен из руководства ВАПП и вошел в так называемое «левонапостовское меньшинство». В 1926—1928 гг. был на научной и преподавательской работе в Саратовском университете. В эти годы, на основе общей неприязни к руководству РАПП, и произошло известное сближение Лелевича с Воронским.

[1] 30 марта 1927 г. Воронский писал Горькому: «Начиная с марта месяца прошлого года, я не был уверен, что смогу подписать номер, составленный мною» (*Архив Горького*, т. X, кн. 2, с. 51). Октябрьская книжка *КН* за 1927 г. (№ 10) была последним номером журнала, на котором стоит подпись Воронского как члена редколлегии.

[2] Мария Ильинична *Ульянова* (1878—1938) в 1917—1929 гг. была ответственным секретарем редакции газеты «Правда». Как один из руководителей Петербургской организации РСДРП принимала в 1905 г. Воронского в партию (см.: С. В. Малышев. Страницы жизни.— «Прожектор», 1923, № 3).

[3] Платон Михайлович *Керженцев* (наст. фамилия — Лебедев; 1881—1940) — видный деятель советской культуры, активный участник пролеткультовского движения; был на дипломатической работе; в 1924—1925 гг. работал заместителем главного редактора Госиздата.11 февраля 1927 г. он писал Горькому: «Атаковали меня также с тем, чтобы я стал во главе одного из крупнейших художественных журналов. Я тяну это, потому что просто некогда, принципиально не возражаю...» (*Архив Горького*, т. X, кн. 2, с. 50). О предполагаемом назначении Керженцева писал Горькому и Ф. В. Гладков 10 марта 1927 г. (*ЛН*, т. 70, с. 90). В редакцию *КН* Керженцев введен не был.

[4] Сергей Иванович *Гусев* (наст. имя — Яков Давидович Драбкин; 1874—1933) — член РСДРП (б) с 1903 г.; во время гражданской войны один из видных начальников Красной Армии; в 1925—1927 гг.— зав. отделом печати ЦК ВКП(б).

[5] Федерация объединений советских писателей (ФОСП) была образована в декабре 1926 г. Однако в вопросе о составе этой организации и ее задачах еще долгое время не было ясности. Первоначально в нее вошли три писательские группировки: Всероссийская ассоциация пролетарских писателей (ВАПП), Всероссийское общество крестьянских писателей (ВОКП) и Всероссийский союз писателей (ВСП). Позже в ФОСП были приняты «Перевал», «Кузница», «ЛЕФ» и «Литературный центр конструктивистов». В результате торжественное открытие Федерации состоялось только 21 ноября 1927 г. О спорах Во-

ронского с Гусевым по вопросу о создании Федерации советских писателей см. статьи Воронского «О Федерации советских писателей» (*КН*, 1927, № 4) и «Об ужасной крокодиле, о федерации писателей и фальшивых фразах (открытое письмо тов. Гусеву)» (*КН*, 1927, № 6), а также статью Гусева «Какая федерация нам нужна?» («Красная печать», 1927, № 7).

[6] Вячеслав Михайлович *Молотов* (р. 1890) в то время был секретарем ЦК ВКП(б) и секретарем МК ВКП(б).

[7] О В. В. Казине см. п. 70, прим. 1.

[8] Юрий Николаевич *Потехин* (р. 1888) — писатель, участник сборника «Смена вех». В изд-ве «Новые вехи» в 1924 г. вышла его книга «Павлины без перьев. Из архива контрреволюции». В дальнейшем печатался в советских изданиях.

[9] *И. Вардин* (наст. имя — Илларион Виссарионович *Мгеладзе*; 1890—1943) — журналист и литературный критик. Наряду с Лелевичем — один из активнейших напостовцев и организаторов ВАПП.

78. ВОРОНСКИЙ — Г. ЛЕЛЕВИЧУ

Москва. 28 июня ⟨1927 г.⟩

Дорогой Лелевич! Письмо ваше получил. Спасибо. Какое это вы состряпали было соглашение с Авербахом и К°? [1] Ничего не понятно и бессмысленно: ничего не может получиться, они вас надуют, ей-ей. Впрочем, это и вы сами знаете. Но вообще вы правы: время теперь не литературное и наши *некоторые* с вами расхождения — пустяки, о которых всерьез по-моему и говорить не стоит. Из «Нови» я уже ушел. Мне дали редакцию в составе Раскольникова, Фриче и Васильевского (и я при них), делать мне с ними нечего, и я уже в редакцию не хожу [2]. Сожалею, но что мне делать? Кругом атмосфера очень, до крайности сгущенная. Писал статьи на разные темы, теперь, освободившись от дел редакционных, сажусь за второй том воспоминаний [3]. Есть о чем рассказать. Беру самые глухие годы реакции и мои хождения в то время по мертвым душам. Элегические настроения будут на третьем плане (а все же припущу маленько), а больше буду негодовать и издеваться. Потираю руки сладострастно при виде чистых листов бумаги. Настроен, как и все, бодро вполне и по-моему даже на 100%. Фигурки из «мертвых душ» у меня есть превосходные, справлюсь ли только с ними? Роман Горького мне не очень нравится, он — тягуч, хотя замысел интересен [4]. Я живу в Хорошевском Серебряном бору, по вторникам и пятницам бываю в Москве; приезжайте ко мне погостить, есть где ночевать. Буду рад. И поговорить нужно обо многом. Ну, до свидания, надеюсь, до скорого.

А. Воронский

ЦГАЛИ, ф. 1392, оп. 1, ед. хр. 37, л. 4—4 об.
Год устанавливается по содержанию (см. прим. 1).

[1] В апреле 1927 г. группа бывших напостовцев, отстраненная в ноябре 1926 г. от руководства ВАПП, направила, за подписью С. Родова, заявление в секретариат организации с просьбой восстановить их в правах. В информации для местных АПП «Ко всем организациям пролетарских писателей», распространенной в декабре, сообщалось, что с группой Лелевича заключено соглашение и что этой группе «пришлось отказаться от фракционной борьбы и согласиться с требованием секретариата ВАПП, в частности, присоединиться к политике ВАПП» «по отношению к Воронскому и «Перевалу» (С. Ш е ш у к о в. Неистовые ревнители. М., 1970, с. 274). Соглашение это оказалось недолговечным, уже в следующем году наметились новые расхождения.

Леопольд Леонидович *Авербах* (1903—1939) — литературный критик, один из руководителей РАПП.

[2] С седьмого номера за 1927 г. *КН* подписывала редколлегия в составе Воронского, В. Н. Васильевского, Ф. Ф. Раскольникова, В. М. Фриче. Федор Федорович *Раскольников* (наст. фамилия Ильин; 1892—1939) — активный участник Октябрьской революции и гражданской войны, советский дипломат, журналист и писатель, член редколлегии «Правды» (с конца 1924 до начала 1925 г.); Владимир Максимович *Фриче* (1870—1929) — литературовед, искусствовед, критик; Владимир Николаевич *Васильевский* (1893—1957) — партийный работник.

[3] Первая часть воспоминаний Воронского «За живой и мертвой водой» вышла в изд-ве «Круг» в начале 1927 г. Вторая и третья части печатались в *НМ* (1928, № 9—12 и 1929, № 1).

[4] Рукопись «Клима Самгина» Горький переслал Воронскому в апреле 1927 г. «Бегло» прочитав роман, Воронский оценил его в письме к автору как «большое явление, вернее сказать, событие», хотя и заметил, что третья глава показалась ему «бледнее» остальных. (*Архив Горького*, т. X, кн. 2, с. 53).

79. ВОРОНСКИЙ — Н. И. ЗАМОШКИНУ

⟨г. Ессентуки. 8 июля 1928 г.⟩

Тов. Замошкин!

Рукопись я давно послал [1]. Очень прошу вас последить за корректурой. Стилистические исправления допускаются, я на этот счет человек покладистый. На всякий случай мой адрес: г. Ессентуки, улица Ленина, № 20, дача «Звездочка». Нельзя ли №№ 6 и 7 «Нового мира» послать мне по этому адре у. Устал от лечений и выступлений. Имею вид очумелый и задрипанный.

Привет.

А. Воронский

ЦГАЛИ, ф. 2569, оп. 1, ед. хр. 99, л. 1.
Открытка. Датируется по почт. штемпелю: «Ессентуки. 8.VII.28».

Николай Иванович *Замошкин* (1896—1960) — литературный критик; был членом литературного объединения «Перевал». С 1926 г.—секретарь редакции журнала «Новый мир».

[1] Речь идет о второй части воспоминаний Воронского «За живой и мертвой водой» (*НМ*, 1928, № 9—12).

80. ВОРОНСКИЙ — Г. ЛЕЛЕВИЧУ

Липецк, 18/III ⟨1929 г.⟩

Дорогой друг! Письмо ваше получил. По поводу марксистского литературного учебника. План ваш одобряю всецело, но прибавляю: учебник должен быть и основателен, и очень общедоступен, ясен и интересен. На себя я бы взял литературные портреты, предоставив вам социологическую канву. Из портретов я мог бы не спеша написать о Пушкине, о Гоголе, о Лермонтове, Тютчеве, о Толстом, Успенском, Чехове, Андрееве и кое о ком из современных. А вы — все остальное. Конечно, сидя в разных концах, трудно спеваться, но не невозможно. Некоторый разнобой, главным образом, стилевой можно оговорить. Тут можно пойти и на уступки друг другу. Учебник нужно начинать с времен древнейших, но упор — на 19-ое столетие и новое время. Писать его придется, пожалуй, года полтора. Но это ничего. Зато это будет единственный большевистский учебник [1]. Я уверен в этом. Главное препятствие — отсутствие пособий, библиотеки, справок — думаю, правда, с трудом, но преодолеем. Вообще, главным автором должны быть вы, а я помощник. Дело в том, что моя голова сейчас занята темами художественного порядка и никак отвязаться я от них не могу. Письма все ваши доходят исправно — думаю, и мои также.

Получил пачку книг из «Федерации»— книги выпускаются случайные, издательство — без руля и без ветрил, нет центральной идеи [2]. Сравниваю с «Кругом», который вам был во многом не по нутру: «Круг» был куда интересней, содержательней и революционней: он, все же, делал новую пооктябрьскую литературу, а сейчас слизь одна и «всего понемножку». Вот это «всего понемножку» воистину губительно для наших дней. Не думайте, что я за «Круг», он свое время отжил, разве «на затычку» пригоден. А можно бы сейчас журнальчик литературный оборудовать. И силы есть новые. Я кое-кого заприметил. Но не буду растравлять себя.

Нового в моей жизни нет ничего: какие тут новости? Да и живу я тут как некий «Даниил Заточник». Иногда от книжного и рукописного бытия голова горит и требуется освежение, беседа, а беседуешь только со звездами. Поневоле сделаешься художником. На днях непременно напишу что-нибудь веселое и задорное, а то «взгляд мрачный» делается. Скоро получу добавочный материал о Желябове и напишу новеллу о нем [3], о Липецке, о висельницах, о Перовской и о пустом здешнем доме с выбитыми окнами, где собирался Липецкий съезд [4].

Ночью во время прогулок, когда на заводе льют чугун, весь небосклон освещается кровавым цветом на десятки верст и мне всегда кажется, что над

хатенками, над избами, над глухим городом распахивает крылья наша вещая птица будущего. Да будет!

Кажется, я разболтался... Не думаете ли, друг, что слух совершенней и тоньше зрения и остальных чувств? Мне это приходит в голову, когда я воспринимаю музыку. Послушал бы я сейчас «Хованщину», гадание Марфы князю Голицыну — лучше я ничего не знаю в русской музыке.

До свидания. Пишите.

Ваш Воронский

ЦГАЛИ, ф. 1392, оп. 1, ед. хр. 37, л. 3—3 об.
Год устанавливается по времени пребывания Воронского в Липецке (январь — октябрь 1929 г.).

[1] Еще в первой половине 1920-х годов Воронский читал, по заданию Агитпропа ЦК РКП(б), курс лекций по русской литературе в Коммунистическом университете им. Я. М. Свердлова, Педагогическом институте им. К. Либкнехта и во Всесоюзном институте журналистики (см. ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 60, ед. хр. 698, л. 99, 100). Замысел учебника не был осуществлен.

[2] «Федерация» — изд-во Федерации объединений советских писателей (ФОСП); было создано в 1929 г. в Москве на базе нескольких кооперативных издательств, в том числе «Круга».

[3] Андрей Иванович *Желябов* (1850—1881) — выдающийся русский революционер, один из руководителей общества «Народная воля». Книга Воронского «Желябов» вышла в 1934 г. в серии «Жизнь замечательных людей».

[4] Липецкий съезд «Народной воли» состоялся в июне 1879 г.

81. ВОРОНСКИЙ — А. Г. ГОРНФЕЛЬДУ

⟨Москва, 28 марта 1933 г.⟩

Тов. Горнфельду А. Г. Ленинград, ул. Некрасова, д. 58, кв. 26.

Письмо ваше получил. Статья принимается целиком. Сокращения в «Записных книжках» Владимира Галактионовича будут сделаны, но с таким расчетом, что они вашей статьи не затронут. От нее очень много зависело. Вступительные статьи к черновым записям всегда в большой мере определяют книгу. Вы превосходно, по-моему, разрешили эту задачу. Ваша статья содержательна и интересна [1].

Привет.

А. Воронский

28/III—33 г.

ЦГАЛИ, ф. 155, оп. 1, ед. хр. 259, л. 2.
На бланке Гос. издательства художественной литературы.

Аркадий Георгиевич *Горнфельд* (1867—1941) — критик и литературовед.

[1] 9 января 1933 г. Воронский, работавший в то время редактором Издательства художественной литературы, заказал Горнфельду вступительную статью к «Записным книжкам» В. Г. Короленко (ЦГАЛИ, ф. 155, оп. 1, ед. хр. 259, л. 1). 21 марта 1933 г. дочь писателя Софья Владимировна Короленко сообщила Горнфельду, что, передавая ей предисловие, «Воронский его очень хвалил» (там же, ед. хр. 343, л. 2). Книга вышла в 1935 г.

82. ВОРОНСКИЙ — В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ACADEMIA» [1]

⟨Москва, июль 1933 г.⟩

Героическая поэма Плотникова на мой взгляд является событием в нашей литературе [2]. Во многих отношениях она выше «Песни о Гайавате» [3], в вогульской поэме цельнее сюжет и мысль значительнее; образы Вазы, Очи, Мэйка великолепны. С. А. Клычков превосходно отредактировал поэму, внес в нее немало чудесных образов, выправил много стихотворных шероховатостей и прямых оплошностей. Все же мне представляется необоснованным изменение заглавия; «Янгал-Маа» («Тундра») лучше «Мадур-Вазы», оно глубже передает сокровенный смысл поэмы [4]. Кое-где выправка спорна. Ввиду того, что в печати я уже встречал отчеты о «новой поэме Клычкова», счи-

таю со всею категоричностью нужным заявить: поэма эта, как бы ни была серьезна правка ее со стороны С. А. Клычкова, все же целиком принадлежит Плотникову.

Не касаюсь здесь вопроса о гонораре, но говорю о том, как все это будет напечатано, а напечатано должно быть, по-моему, так: «М. Плотников. «Янгал-Маа», под редакцией и в обработке Клычкова». Предисловие Плотникова необходимо сохранить. Нужно также сохранить песню 19-ую — «Последняя песнь Куксы» и песню 20-ую — «Ожидание Вазы», не включая их в основной текст, но поместив их позади текста петитом и с соответствующим примечанием [5]. Нужно также по выбору дать одну из песен в обработке самого Плотникова, чтобы читатель сам имел представление, что принадлежит Плотникову, а что Клычкову. В общей вступительной статье нужно подробно, помимо всего прочего, отметить историю рукописи, роль и Плотникова, и Клычкова, а также выяснить, почему взят размер «Калевалы» и «Песни о Гайавате» [6].

Кое-где С. А. Клычков злоупотребляет вогульскими словами с их пояснением в тексте. Прием этот использован в очень сильной мере.

Вообще же поэма — произведение замечательное и работа редакционная С. А. Клычкова совершенно исключительна по своим достоинствам.

А. Воронский

ЦПА ИМЛ, ф. 142, оп. 1, ед. хр. 464, л. 85.
Копия. Датируется по находящимся в деле документам.

[1] «Academia» (1922—1938) — советское изд-во, выпускавшее главным образом книги по литературе и искусству.

[2] Двенадцать лет понадобилось М. А. Плотникову, чтобы из собранных им сказаний и шаманских песен вогулов составить, путем стихотворной обработки их, эпос, известный под названием «Янгал-Маа».

[3] Поэма американского поэта Генри Лонгфелло «Песня о Гайавате» (1885) написана на основе сказаний индейского народа.

[4] На титульном листе книги, включавшей поэму Плотникова и вольный перевод ее, выполненный С. А. Клычковым, было обозначено: М. А. Плотников. Янгал-Маа. Вогульская поэма со статьей автора о вогульском эпосе.— С. Клычков. Мадур Ваза — победитель. Вольная обработка поэмы «Янгал-Маа». М.— Л., «Academia», 1933.

[5] Песнь девятнадцатая («Последняя песня Куксы») и песнь двадцатая («Ожидание Вазы») были сохранены, но включены в основной текст как заключительные главы, без шрифтового выделения, как предлагал Воронский.

[6] Пожелание Воронского было выполнено, и в предисловии «От издательства» упомянутые им вопросы получили освещение.

83. ВОРОНСКИЙ — Н. И. ЗАМОШКИНУ

⟨Москва. 25 сентября 1934 г.⟩

Н. И. Замошкину

Предлагаю вам прокомментировать и написать предисловие к «Недорослю» [1] и двум книжкам «Библиотеки начинающего читателя» [2]. Условия общие.

А. Воронский

19—25/IX—34 г.

ЦГАЛИ, ф. 2569, оп. 1, ед. хр. 99, л. 4.

[1] Пьеса Д. Фонвизина «Недоросль» с предисловием Замошкина не выходила.

[2] «Библиотека начинающего читателя» — серия небольших брошюр зарубежных, русских дореволюционных и советских писателей, выпускавшихся Гослитиздатом. Часть из них сопровождалась примечаниями и небольшими предисловиями. Замошкин в подготовке этих изданий не участвовал.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Л. Н. СЕЙФУЛЛИНА — В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

〈Москва. 10 декабря 1923 г.〉

В редакцию журнала «Молодая гвардия»

Ввиду тесной, внешней и внутренней, связи редакции журнала «Молодая гвардия» с редакцией «На посту», я отказываюсь от непосредственной работы в редакции и от сотрудничества в журнале «Молодая гвария». Т. Либединский, т. Авербах и т. Зонин слышали от меня неоднократно заявление о том, что я не разделяю отношения журнала «На посту» к журналу «Красная новь» и к редактору ее тов. Воронскому в частности [1]. Известно им также, что я сотрудничаю в журнале «Красная новь» и буду продолжать сотрудничать, если написанное мной будет нужно этому журналу.

А все же, невзирая на это, мой разговор в редакции «Молодой гвардии» об отношении к современной беллетристике тов. Воронского был искажен, и мне случайно стало известно,что его хотят использовать в полемике с тов. Воронским руководители журнала «На посту».

Об этом инциденте я написала тов. Лелевичу. Письмо известно редакции «Молодая гвардия». Повторять его в данном заявлении — излишне. Такого отношения ко мне я допустить не могу. Не желая быть втянутой в атмосферу склочничества и сплетен, я вынуждена уйти от близкого соседства к журналу «На посту». Естественно, что после этого заявления не может идти в «Молодой гвардии» и мой рассказ «Преступление» [2].

Прошу прислать его мне, а полученный за него гонорар я возвращу в кассу издательства.

Одну, имеющуюся у меня для прочтения, рукопись — возвращаю.

Л. С е й ф у л л и н а

10-го декабря 1923-го года

АГ, П-ка *КН*, 1-65-1.
На автографе помета автора: «Копия».

Лидия Николаевна *Сейфуллина* (1889—1954) начала литературную деятельность в 1922 г. В *КН* впервые выступила в декабре 1923 г. с рассказом «В будний день» (№ 7). Затем последовали «Мужицкий сказ о Ленине» (1924, № 1) и две повести — «Виринея» (1924, № 4 и 5), «Встреча» (1925, № 7, 9 и 10). Воронский посвятил Сейфуллиной статью из цикла «Литературные силуэты», в которой дал высокую оценку ее творчеству и ее позиции художника: «Сейфуллину считают «попутчицей», но в ее художественном восприятии нашей эпохи больше коммунизма, чем иногда у тех, кто своей специальностью избрал травлю «попутчиков» («Л. Сейфуллина».— *КН*, 1924, № 5, с. 300).

[1] Журнал «Молодая гвардия» начал выходить в 1922 г. В нем наряду с комсомольскими поэтами, с такими прозаиками, как А. Фадеев, Ю. Либединский, А. Неверов и др., начала сотрудничать и Сейфуллина (рассказ «Инструктор красного молодежа» — 1923, № 3). В 1923—1924 гг., в период ожесточенной литературной полемики, журнал, в редакцию которого входили «напостовцы» Л. Л. Авербах (редактор), А. И. Зонин (зам. редактора) и И. В. Вардин, выступил с резкими нападками на Воронского и *КН*.

[2] Рассказ «Преступление» вышел в 1924 г. отдельной книгой в изд-ве Главполитпросвета «Красная новь».

П. В. КУПРИЯНОВСКИЙ

А. К. ВОРОНСКИЙ В ГАЗЕТЕ «РАБОЧИЙ КРАЙ»

1

Широкую известность в литературе Александр Константинович Воронский получил в 20-е годы. В это время он был редактором журналов «Красная новь» и «Прожектор», руководил издательством «Круг», состоял членом правления Госиздата, выступал как литературный критик, активно участвовал в дискуссиях по литературно-эстетическим вопросам. Его статьи печатались в газете «Правда», в журналах «Красная новь», «Печать и революция», «Прожектор» и других изданиях. В 20-е годы вышло девять его книг литературно-критического, теоретического и полемического характера [1]. Поэтому

не удивительно, что имя Воронского-критика принято связывать именно с этим периодом в истории советской литературы [2].

Начавшаяся научная разработка его наследия требует, однако, выхода за рамки только критики (Воронский был блестящим журналистом-публицистом и талантливым прозаиком, его прозаические произведения высоко ценил М. Горький) и за хронологические рамки только 20-х годов. В частности, назрела необходимость обратиться к истокам литературной деятельности Воронского, чтобы проследить формирование и развитие его взглядов на литературу, его участие в литературной жизни до 20-х годов. Частично это сделано О. В. Семеновским, указавшим на сотрудничество Воронского в мае—июне 1911 года в «Евпаторийских новостях», где состоялся его литературный дебют критика, и подробно разобравшим его статьи и заметки, печатавшиеся в том же году в одесской газете «Ясная заря», которую редактировал В. В. Воровский. О. В. Семеновский резонно связывает ранние статьи Воронского с формированием марксистской критики в периферийной печати и рассматривает их как «оперативные отклики партийного критика и публициста на злободневные литературные события своего времени» [3].

Член большевистской партии с 1904 г., профессиональный революционер, участник Пражской партийной конференции, Воронский до Октябрьской революции общался с М. И. Ульяновой, В. В. Воровским, Н. В. Крыленко, М. В. Фрунзе, Г. К. Орджоникидзе и другими видными революционными деятелями; был также знаком с В. И. Лениным. Исключенный из последнего класса духовной семинарии, он проходил «университеты» на партийной работе, в подполье, в тюрьмах и ссылках. Воронский, как он сам писал, «сызмальства любил литературу» [4]. Находясь в ссылке, он писал рассказы, посылал их Горькому. О своих литературных занятиях не без юмора и самоиронии Воронский поведал в мемуарной книге «За живой и мертвой водой» и в рассказе «Первое произведение» [5].

Литературной — первоначально литературно-редакторской — работой Воронский вплотную занялся с 1917 г. Он был членом редколлегии большевистской газеты «Голос пролетария», издававшейся в Одессе, и одним из редакторов «Известий» Одесского Совета рабочих депутатов [6]. В связи с оккупацией Одессы немецкими войсками в марте 1918 г. Воронский покинул этот город и, побыв некоторое время в Саратове и Москве, вскоре через секретаря ЦК РКП(б) Е. Д. Стасову [7] получил назначение в Иваново-Вознесенск, где во главе губисполкома и партийной организации находился его старый товарищ М. В. Фрунзе.

В Иваново (до 1932 г. город назывался Иваново-Вознесенск) Воронский прибыл в мае 1918 г. и через некоторое время стал редактировать губернскую газету «Рабочий край». Точной даты вступления в эту должность установить не удалось. Но уже в июне в газете появляются его статьи. Первая статья за подписью «Воронский» напечатана 22 июня. Статья называется «По поводу ориентации», в ней разоблачается политика кадетов. Мы полагаем, что редактором «Рабочего края» Воронский стал с июня 1918 г. [8]

Газета «Рабочий край» начала выходить с 5 марта 1918 г. как орган Иваново-Вознесенского губернского и городского Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, заменив газету «Рабочий город», издававшуюся с 4 (17) ноября 1917 г. В статье «Первые годы „Рабочего края“» секретарь редакции поэт Михаил Дмитриевич Артамонов рассказывает, что первым редактором газеты (до Воронского) был Николай Николаевич Колотилов, старый член партии, рабочий-текстильщик по профессии, впоследствии, в 20-х годах, ставший секретарем губкома и членом ЦК. В ядро редакции, кроме редактора и секретаря, входили молодые поэты Дмитрий Николаевич Семеновский и Иван Ипатьевич Жижин; были в редакции еще один сотрудник и один хроникер [9].

Очевидно, таким оставался состав редакции газеты и тогда, когда в нее пришел Воронский. Позднее он несколько изменился и расширился, но большим за годы редакторства Воронского не был. Из штатных работников «Рабочего края» при Воронском следует еще назвать В. А. Смирнова, А. Е. Ноздрина (выпускающий), С. А. Селянина, А. А. Баркову, В. С. Смирнова (Малкова). Первый исполнял обязанности редактора во время отсутствия Воронского. Поскольку редакционный аппарат был невелик, журналисты, работавшие в газете, в том числе и сам редактор, должны были писать на самые разнообразные темы и привлекать к сотрудничеству внештатных корреспондентов. Постоянными корреспондентами, в частности, были Дмитрий Андреевич Фурманов, Николай Павлович Смирнов (впоследствии поэт, прозаик и критик), краевед Иван Иванович Вла-



РАБОЧИЙ КРАЙ

Орган Ив. Б. Губерн. и Городского Советов Раб., Красноарм. и Кр. Депутатов.

№ 107 Вторник, 18 мая 1920 года № 720

Цена 1 руб. 60 коп. Четвертый год издания

ВАЖНЕЙШИЕ ИЗВЕСТИЯ

Обращение 8-го Губернского Совета Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов Иваново-Вознесенской губ. к населению губернии

М. КАЛИНИН.

На борьбу с польской шляхтой.

По Советской России.

НОМЕР ГАЗЕТЫ «РАБОЧИЙ КРАЙ», РЕДАКТОРОМ КОТОРОЙ В 1918—1921 гг. БЫЛ А. К. ВОРОНСКИЙ (18 МАЯ 1920 г.)

В этом номере была напечатана статья Воронского «М. Калинин»

сов, Георгий Иванович Бейчек (чех по национальности, работник губернского Агитпропа, входил в редколлегию газеты), П. Заславский и др. Несколько статей в газете опубликовал Михаил Васильевич Фрунзе.

Годы работы Воронского в Иванове падают на период гражданской войны. Большинство партийных работников ушло на фронт, и Воронский не мог заниматься только газетой. Он был членом бюро губкома партии, входил в состав губисполкома, вплоть до отъезда из Иванова являлся членом ВЦИК; с отъездом на фронт председателя губкома М. В. Фрунзе Воронский становится председателем губкома РКП(б) и возглавляет губернскую партийную организацию с 30 января 1919 г. по 29 сентября 1919 г.[10] Он ведет разнообразную партийную работу, избирается делегатом Всероссийских съездов Советов, партийных конференций и съездов, часто выступает на митингах, собраниях, диспутах, читает лекции и доклады о текущем моменте, преподает на курсах общественных работников, на курсах по внешкольному образованию и т. д.[11] С образованием Государственного издательства он заведует его отделением в Иваново-Вознесенске.

Деятельность Воронского в Иванове продолжалась до отзыва его в Москву. В протоколе заседания бюро Иваново-Вознесенского губкома РКП(б) от 16 ноября 1920 г. записано: «Заслушав отношение Центрального Комитета об откомандировании тов. Воронского в распоряжение Главполитпросвета, бюро постановило: 1) освободить тов. Воронского от обязанностей редактора «Рабочего края» и заведующего Государственным издательством, согласно его заявления, не позднее 10 января...»[12]

12 января 1921 г. вышел последний номер «Рабочего края», подписанный редактором А. Воронским. Но с отъездом в Москву связь его с «Рабочим краем», с Ивановом не прекратилась. Он неоднократно присылал статьи для газеты, печатался в сборниках, выходивших в Иванове[13]. Ивановское издательство «Основа» выпустило в 1924 г. отдельной книжкой его работу «Искусство как познание жизни и современность». Последняя его статья в «Рабочем крае» посвящена восьмой годовщине газеты (7 февраля 1926 г.). По свидетельству дочери критика Галины Александровны Воронской, ее отец «очень любил Иваново», уделил «ивановскому периоду» много места в последней части своих мемуаров, к сожалению, утраченных[14]. В Иванове он близко общался с М. В. Фрунзе, И. Е. Лю-

бимовым, О. А. Варенцовой, Н. Н. Колотиловым, С. И. Назаровым и другими местными партийными и советскими руководителями, прошедшими, как и он, большую школу революционной борьбы. Иваново Воронский называл «незабываемым краем красных ткачей», с вдохновением писал об ивановском крае как самобытном и богатом революционным опытом[15]. Безусловно, он вбирал в себя этот опыт, и вместе с тем как образованный марксист, теоретик он, по воспоминаниям Г. И. Бейчека, был идейным вожаком местных ответственных работников[16].

Несмотря на трудности гражданской войны, типографскую разруху, нехватку бумаги, отсутствие квалифицированных кадров, Воронскому удалось быстро улучшить качество газеты, наладить ее регулярный выход, увеличить тираж. Его деятельность на посту редактора «Рабочего края» оставила глубокий след. Лучше всего эту деятельность охарактеризовать словами тех, кто близко его знал, наблюдал за его работой.

Д. Н. Семеновский и С. А. Селянин пишут: «Вскоре в редакции появился человек небольшого роста с коротко обстриженными волосами, в пенсне на близоруких глазах. Это был А. К. Воронский — новый редактор «Рабочего края». Сразу же в газете почувствовалась опытная, уверенная, трудолюбивая рука ⟨...⟩. Ни одна строка будущего набора не избегала его внимательного просмотра. Материал умело систематизировался. В газете появились постоянные отделы: «По нашему краю», «Хроника», «Рабочая жизнь» и т. д. Количество корреспонденций от полей и машин стало расти ⟨...⟩. Появился в газете и специально литературный материал: критические статьи, рассказы, стихотворения, отзывы о книгах. Тираж газеты увеличился до 9000 экземпляров. Новый редактор сумел привлечь к участию в газете свежие силы. ⟨...⟩. Отношения между сотрудниками и редактором были самые товарищеские. Это обязывало каждого работать не за страх, а за совесть. «Рабочий край» при Воронском настолько окреп, что уже в 1918 г. имел возможность посылать своих корреспондентов на места гражданской войны. ⟨...⟩. Все это делало газету интересной, занимательной, богатой материалами. Партийное руководство газетой усиливалось ⟨...⟩»[17].

Очень интересные воспоминания о Воронском-редакторе оставил Г. И. Бейчек: «Умный, сосредоточенный, отзывчивый, чуткий политик, прекрасный марксист, все время прислушивающийся к «подпочвенным» процессам,— он, как говорят на газетном языке,— «делал газеты».

Он быстро схватывал «новости» дня, давал им глубокий анализ. Его передовицы ⟨...⟩ организовывали общественное мнение нашего рабочего края в дни ужасных потрясений, в дни гражданской войны, в дни поражений и побед ⟨...⟩, были всячески связаны с переживаниями подлинно рабочей массы. Воронский видел перед собой всегда читателя и всячески старался удовлетворить его запросы. ⟨...⟩

Как работал Воронский?

Как лошадь!

Писал почти ежедневно политическую передовицу и всегда бил в точку. Зачастую писал и вторую статью. Писал до судорог пальцев. Весь материал газеты проходил через его руки. Исправлял и изменял статьи сам. Устранял конфликты в типографии, доставал бумагу, поставил вокруг редакции коллектив поэтов (Семеновский, Селянин, Огурцов, Артамонов и др.), выступал беспрерывно на митингах, словом — был подлинным массовиком»[18].

Работа Воронского как редактора «Рабочего края» нашла поддержку со стороны В. И. Ленина. Во время встречи с Воронским, состоявшейся до 20 января 1920 г., Ленин «дал указание», чтобы газета в Иваново-Вознесенске была «поставлена по образцу столичных газет», а тираж ее увеличен[19].

Под руководством Воронского «Рабочий край» стал «одной из лучших и наиболее солидно поставленных провинциальных газет»[20]. И это было мнение не только местных, иваново-вознесенских, кругов. Уже в конце 1918 г. газета «Правда» устами старейшего партийного публициста М. С. Ольминского дала «Рабочему краю» высокую оценку. Он писал: «Большинство провинциальных советских и партийных газет еще не вступили на новый путь. ⟨...⟩ Счастливым исключением является «Рабочий край». Здесь мы находим богатую местную хронику и массу обличительного материала. ⟨...⟩ Читайте «Рабочий край», следуйте его примеру, тт. редакторы партийных и советских газет»[21]. 16 июня 1920 г. в письме чрезвычайному комиссару Совнаркома по распределению бумаги К. Шведчикову, ходатайствуя об увеличении нормы бумаги, отпускаемой «Рабочему краю»,

Воронский ссылался на поддержку ЦК партии и между прочим сообщал такое мнение о газете: «Наша газета, по общему отзыву знающих людей: Рязанова, Невского, Калинина, Ольминского и других товарищей, лучшая из провинциальных газет» [22].

Сам Воронский позднее имел все основания сказать, что газета «Рабочий край» была отголоском, выразителем и показателем славной, героической поры — первых лет революции. «Она подслушивала, старалась в меру своих сил и разумения найти нужные слова, наиболее верный язык для выражения дум и стремлений рабочих и крестьян текстильного края. Она творила волю их и выполняла боевые приказы своего рабочего и партийного штаба» [23].

2

В «Рабочем крае» Воронским было опубликовано свыше 370 статей, рецензий, заметок, фельетонов и других материалов, не считая неподписанных передовиц [24].

Естественно, как редактор газеты Воронский в первую очередь выступал партийным публицистом. Огромное количество его статей посвящено политике, партийной работе, борьбе с соглашательскими партиями, событиям на фронтах гражданской войны, разоблачению белогвардейцев и интервентов, международным и внутренним вопросам, местным проблемам. Особо отметим несколько статей о В. И. Ленине: «Владимир Ильич Ульянов (Ленин)» (5 сентября 1918 г.) — написана в связи с покушением на вождя революции; «По поводу одной речи» (27 марта 1919 г.) — о речи В. И. Ленина на VIII съезде партии; «Н. Ленин. (К пятидесятилетию со дня рождения)» (23 апреля 1920 г.) [25]; «Н. Ленин и крестьянство. (К пятидесятилетию со дня рождения тов. Ленина)» (24 апреля 1920 г.); «О продовольственном налоге, свободе торговли, кооперации, государственном капитализме и коммунизме. (Из брошюры т. Ленина)» (5 мая 1921 г.). Большинство статей партийно-публицистического типа имеет подписи А. Воронский или А. В.; многие из них шли под рубрикой «Политические заметки».

Вторую группу статей составляют мелкие заметки (зачастую фельетонного типа), воспоминания (некоторые из них предваряют мемуарную книгу «За живой и мертвой водой») и художественно-публицистические размышления, написанные в свободной манере. Большинство материалов второй группы подписано псевдонимами Нурмин и Н.

В третью группу материалов можно выделить статьи, рецензии и заметки на литературные темы или написанные на литературном материале. Они-то и являются предметом нашего обзора.

Однако, прежде чем заняться ими, необходимо остановиться на проблеме атрибуции.

Вопрос об авторстве Воронского в «Рабочем крае» представляет значительные трудности, так как зачастую его статьи или анонимны (так, многие передовицы не подписаны, но значительное количество их несомненно принадлежит редактору газеты) или подписаны псевдонимами.

Анонимные статьи можно атрибутировать Воронскому лишь по содержанию и форме изложения, так как архива «Рабочего края» за первые годы революции нет. В принципе это не всегда вызывает затруднения: Воронский обладал ярким индивидуальным стилем, который резко выделяет его статьи среди других материалов газеты. По ним чувствуется, что автор является литератором по призванию, обладает талантом публициста, разносторонне эрудирован и обстоятельно подготовлен в области марксистской теории. В его статьях часто встречаются литературные образы, цитаты, ассоциации, исторические реминисценции, они отличаются свободой и темпераментностью изложения, искусством полемики, страстной убежденностью, богатством словаря, гибкостью синтаксиса, нешаблонностью заголовков. Такова, например, передовая статья «О насилии и насильниках» (21 июня 1918 г.), начинающаяся со ссылки на К. Гамсуна. Такова также статья «Обывательщина» (26 июля 1919 г.), в которой говорится о необходимости борьбы с обывательщиной и при этом используются образы и цитаты из произведений Ф. Сологуба («серая недотыкомка»), Г. Успенского (будочник Мымрецов), Чехова (унтер Пришибеев), Радищева (обывательщина — это «чудище обло, озорно, стозевно и лаяй») и даются ссылки на Салтыкова-Щедрина и Горького.

В известном «Словаре псевдонимов» И. Ф. Масанова указаны следующие псевдонимы Воронского: А. В., Анисимов, Нур-н, Нурмин, Нурмин А. [26] В статье «А. Воронский — критик» А. Г. Дементьев называет еще один его псевдоним — А. Климский [27].

Из перечисленных псевдонимов в «Рабочем крае» Воронский пользовался двумя: А. В. и Нурмин. Кроме того, на наш взгляд, Воронскому в этой газете принадлежат еще следующие псевдонимы: А. В-ий, В., Валентин, Вега, Глинский, В. Г., Марксист, Одессит.

Валентин — партийная кличка Воронского, этим псевдонимом подписана статья «Октябрьский переворот и деревня», опубликованная 7 ноября 1918 г. в номере, посвященном первой годовщине Октябрьской революции. В этом же номере под псевдонимом Одессит напечатана статья Воронского «Украина в Октябрьские дни» (в Иваново Воронский приехал из Одессы и, несомненно, с этим фактом связано появление псевдонима Одессит). Валентин и Одессит — псевдонимы разовые, к ним Воронский вынужден был прибегнуть потому, что в юбилейном номере были напечатаны еще другие его статьи за подписями А. Воронский («Значение Октябрьской революции» и «В те дни») и Нурмин («Памяти погибших»). Разовый характер носит и псевдоним Марксист, поставленный под статьей «Параллели» (10 сентября 1918 г.), в которой с марксистских позиций дается анализ Октябрьской революции и Великой французской революции. Характер анализа и стиль статьи говорят за то, что ее автором был Воронский. Псевдонимом В. Воронский воспользовался при публикации первых статей в «Рабочем крае». В дальнейшем он обращался к этому псевдониму крайне редко — лишь в статьях информационного порядка, например, в статьях «Партийная жизнь» (17 ноября 1918 г., 11 и 14 октября 1919 г.), в которых рассказывается о решениях, принятых на заседаниях губкома партии.

Условия газетной работы были таковы, что Воронский зачастую писал для номера несколько материалов: передовую статью (которая, как указывалось, часто шла без подписи), статью общественно-публицистического характера, статью на литературную тему и статью или фельетон под рубриками «Мелкие заметки», «Маленький фельетон» или «Брызги пера». Этим, а также соображениями другого порядка (Воронский, кроме того, что редактировал газету, занимал другие высокие посты в губернии; естественно, далеко не всем своим выступлениям он хотел придавать официальный тон) объясняется то, что Воронский в «Рабочем крае» часто прибегал к псевдонимам.

Выше приведены доводы, объясняющие принадлежность Воронскому псевдонимов Валентин, Одессит, Марксист и В. Какие есть аргументы, позволяющие утверждать, что Н., Вега, Глинский и В. Г. тоже его псевдонимы?

Н.— это инициал псевдонима Нурмин, им подписывались небольшие заметки, относящиеся к текущим событиям: «Положение на Восточном фронте» (18 апреля 1919 г.), «Кто такой Колчак» (26 преля 1919 г.), «Памяти Герцена (1870—1920)», напечатанная 22 января 1920 г. к 50-летию со дня смерти А. И. Герцена, и многие др. Эти заметки и по тематике и по стилю «вписываются» в круг материалов Воронского в «Рабочем крае».

За подписью Вега опубликованы фельетон о кино «Загипнотизированный Полидор» (2 ноября 1918 г.) и статья «Об одном романе» (20 декабря 1918 г.). Фельетон напечатан в разделе «Мелкие заметки». Обычно свои материалы в этом разделе он помещал под псевдонимом Нурмин. Появление нового псевдонима можно объяснить тем, что выступление по вопросам, связанным с кинематографом, Воронский не считал органически близким другим материалам, которые шли за подписью Нурмин. В дальнейшем Воронский использовал псевдоним Вега только однажды, рецензируя роман Анатоля Франса «Боги жаждут». Начало статьи об этом романе явно указывает на то, что автор — активный и заинтересованный наблюдатель современного литературного процесса. Таким именно и был Воронский. «Впервые этот роман,— говорится в статье,— появился в русском переводе в 1911 году, где он печатался в «Современном мире».

Была пора Арцыбашева и Куприна. В зените стояла звезда Леонида Андреева, а этот роман был обойден молчанием русской критики.

В 1917 году он издан отдельным изданием «Универсальной библиотеки», и вот я вновь перечитал эти страницы изящно изданного тома.

Я говорю о романе Анатоля Франса «Боги жаждут».

Содержание и форма изложения в материалах за подписью Вега вполне в духе Воронского.

Псевдонимы Глинский и В. Г. встречаются устойчиво на протяжении второй половины 1919-го и первой половины 1920 г.

Первым подписывались главным образом некоторые передовые статьи и статьи под рубрикой «Литературные заметки». Те и другие были в основном прерогативой редактора газеты. Авторство Воронского в них можно установить не только по стилю. Например,

статья Глинского «Мы идем вперед» (23 мая 1920 г.) имеет подзаголовок «Впечатления с 8 губернского съезда Советов». В ней идет речь о выступлениях на съезде М. И. Калинина и В. И. Невского, о труде как главном, что «стоит в повестке дня». Впечатления о съезде даны глазами участника съезда, стоящего близко ко всему происходившему. Таким был Воронский — один из руководящих работников Иваново-Вознесенской губернии.

Псевдоним В. Г. можно рассматривать как контаминацию инициалов от партийной клички Валентин и псевдонима Глинский. Им подписаны статьи, так или иначе связанные с литературой и близкие по содержанию и стилю к другим статьям критика на литературные темы.

Принадлежность Воронскому псевдонимов Глинский и В. Г., как, впрочем, и других, указанных выше, подтверждается еще рядом фактов. Во-первых, с уходом Воронского из редакции «Рабочего края» они более не встречаются на страницах газеты [28]. Не встречаются они и в период с февраля по апрель 1920 г. включительно, когда он находился в длительной командировке на Украине и в Москве [29]. Во-вторых, их нет и среди псевдонимов, принадлежащих сотрудникам и литераторам газеты» [30].

3

Обратимся непосредственно к работам Воронского на литературные темы. Общее количество таких работ более пятидесяти. По материалу они касаются классической русской литературы, литературы предоктябрьских лет, зарубежной литературы и современного литературного процесса. Но о чем бы ни писал Воронский, все литературные явления он соотносит с великим переворотом, совершенным Октябрьской революцией. Его критика носит явно выраженный социолого-публицистический характер, отличается классовым, партийным подходом и всегда обращена к насущно злободневным проблемам современности. Критик как бы пропускает явления литературы сквозь призму Октября.

В некоторых статьях Воронский использует литературный материал лишь как иллюстрацию для решения определенных проблем социально-политического порядка. Не случайно подобные статьи нередко печатались под рубрикой «Политические заметки». И даже одна из статей, озаглавленных «Литература и жизнь», помещена под этой же шапкой (26 сентября 1918 г.).

Статья эта написана в связи с продолжением империалистической войны. В ней Воронский зло бичует германскую, английскую и французскую интеллигенцию, «цвет земли» — ученых, художников, философов — за узкий шовинизм, за «слепую злобу, лютую звериную ненависть, тупое бешенство», которые усилились «в каждом выступлении литературного и научного олимпа». Национализм Гауптмана, Оствальда, Андреева и других, противостоящий традициям гуманистической культуры и дошедший «до последней черты», дает основания автору сделать вывод: «Не здесь, в старой культуре, не в верхах старого общества нужно искать те силы, которые в состоянии положить предел неслыханному кровавому преступлению ⟨...⟩. Свет идет не отсюда, он идет с низов, он идет от тех, кто решил приступить к коренной ломке буржуазного общества» [31].

В статье «Жизнь беспощадна! Да здравствует жизнь!» (2 ноября 1919 г.; подписана псевдонимом В. Г.) Воронский развивает мысль о неизбежности и закономерности смены классов и культур в развитии общества. Говоря о дворянстве, он обращается к образам Тургенева (Рудин, Лаврецкий), Гончарова (Райский), Чехова (Раневская, Гаев). На примере чеховского «Вишневого сада» и произведений Салтыкова-Щедрина и Брюсова он показывает беспощадность и торжество буржуазного принципа с его этикой «Распивочно и на вынос». И вот: «Здание буржуазной культуры охвачено пожаром... Но в жизни неисчерпаемые запасы сил... Идут новые батальоны, их поступь тверда... Они поют: «Мы наш, мы новый мир построим». И ярким цветом новой, еще невиданной культуры покроют землю».

Как критик-социолог и публицист Воронский ориентировался на традиции русской революционно-демократической критики Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Писарева. Он был хорошо знаком с их статьями со времени учения в семинарии. Но особое значение он придавал наследию Плеханова. В этом он сам признавался неоднократно. И в этой связи особую роль приобретают статьи Воронского о Плеханове, посвященные второй годовщине со дня его смерти и опубликованные в «Рабочем крае» 30 мая 1920 г.

Первая статья «Памяти Г. В. Плеханова (25 ноября 1856 г.— 30 мая 1918 г.)» подписана псевдонимом В. Г. Она построена в чисто биографическом плане и завершается так: «Он умер политически одиноким. Но его славное имя, несмотря на заблуждения последних лет, останется навсегда в скрижалях истории русского и международного рабочего движения — это имя того, кто десятки лет был вождем русского пролетариата и кто первый вручил ему знамя революционного марксизма».

Вторая статья «Г. В. Плеханов (1918—1920 г.)» дана за подписью А. Воронский. Она является логическим продолжением первой. Пафос ее — в раскрытии ценного, непреходящего у Плеханова. «Имя Плеханова,— пишет Воронский,— должно быть поставлено наряду с именами Белинского, Герцена, Чернышевского. Плеханова нужно изучать, нужно, чтобы каждый сознательный рабочий знал лучшие сочинения Плеханова. Будет величайшим преступлением, если из-за ошибок Плеханова начнут проходить мимо целого ряда его блестящих работ, до сих пор не превзойденных».

Нельзя не заметить, что отношение Воронского к Плеханову и его наследию в целом близко к ленинскому. В своей статье, называя Плеханова «отцом русского революционного марксизма», Воронский отмечает вклад Плеханова в философию, прекрасное владение им марксистским методом анализа явлений, останавливается на борьбе Плеханова с оппортунизмом, дает великолепную характеристику стиля Плеханова и особо говорит о Плеханове как историке русской общественной мысли и истолкователе русской литературы.

«Есть одна область, где колоссальная роль Плеханова нами, марксистами, недостаточно оценена. Это область литературной критики. Плеханов оставил нам много статей и книг из истории русской общественной мысли: его книга о Чернышевском, его статьи о Белинском, о Герцене, об Успенском, о Некрасове — далеко не полный перечень того, что было написано Плехановым. <...> Здесь приходится сказать то же самое, что мы сказали о философских работах Плеханова: для того, кто хочет познакомиться с историей нашей общественной мысли и с нашей литературой — с марксистской точки зрения — Плеханов целый клад. С тонким художественным чутьем Плеханов соединял основательнейшее знакомство с предметом, глубокое уменье и способность к анализу. В этой области Плеханов наглядно показал, как надо применять м е т о д Маркса» [32].

Вполне естественно, что, высоко ценя метод Плеханова в изучении и критической интерпретации литературы, Воронский стремился следовать этому методу. В наиболее законченном виде это проявилось в работах 20-х годов и нашло теоретическое обоснование в статье «Искусство как познание жизни и современность» («Красная новь», 1923, № 5). Вдумчивая исследовательница эстетики и критики Воронского Г. Порембина по этому поводу пишет:

«Эстетическая система Воронского в первом пятилетии (автор имеет в виду 1921—1925 гг.— *П. К.*) его деятельности опирается на взгляды Г. Плеханова. Ее основой были первоначальные предпосылки философского материализма, утверждающие первичность материи и вторичность сознания в области онтологии и познаваемость действительности в области гносеологии.

Эти предпосылки утверждали социологический метод критико-литературных исследований, целью которого является прежде всего открытие объективной истины, отраженной в литературе, т. е. его познавательной ценности» [33].

Статьи Воронского о Плеханове в «Рабочем крае» позволяют сказать, что ориентация на плехановскую методологию изучения литературы началась раньше 1921—1925 гг., но его работы лет гражданской войны точней будет назвать не социологическими, а социолого-публицистическими. Чаще всего явления литературы он рассматривает как партийный публицист, что вполне объяснимо условиями классовой борьбы того времени, когда произошло резкое размежевание в политике, идеологии, культуре. Воронский в первую очередь стремится выяснить, какое значение для революции, для нового общественного строя имеет то или иное литературное явление, «по какую сторону баррикад» оно находится. В зависимости от этого дается оценка ему. Оценка, включающая в себя задачи агитационно-пропагандистского и идейно-воспитательного порядка. Ярким примером этого может служить упоминавшаяся заметка «Загипнотизированный Полидор». В ней автор зло бичует пустой развлекательный кинофильм под этим названием и фильм «Преступление доктора Галановского», выдержанный в низкопробном стиле. «Мы все отлично знаем,— отмечает он,— какое колоссальное значение имеет кинематограф,

какое культурно-просветительное влияние он может иметь. И вместо этого гражданину Социалистической Республики преподносятся всевозможные кошмарные драмы и готтентотовский юмор». «Вряд ли более терпим ⟨...⟩ подобный моральный разврат»,— делает вывод автор.

На всех статьях Воронского в «Рабочем крае» лежит печать убежденного борца-коммуниста. В этих статьях больше тонов, чем полутонов. Не все конкретные оценки и характеристики, высказанные в обстановке ожесточенной борьбы, сегодня приемлемы, иногда они кажутся чрезмерно прямолинейными, односторонними, произнесенными запальчиво. Но все это понятно и вполне объяснимо. В главном же — в поддержке революционных сил литературы и искусства и в борьбе с идейными литературными противниками — Воронский не ошибался. Он ясно видел, что Октябрьская революция вызвала резкое размежевание в среде деятелей культуры. «Культура против культуры ⟨...⟩. Новый мир против старого»,— так он писал в статье «Под флагом демократии» (23 ноября 1919 г.). Осуждая в своих статьях позицию писателей, не принявших революцию (Андреев, Бунин, Куприн, Чириков и др.), Воронский противопоставлял им писателей, пошедших одним путем с народом: «Пролетарский демократизм собирает вокруг себя все лучшее, всех, кто ощущает дыхание грядущего, кто понял, что несет завтрашний день, ⟨...⟩ у нас Горький, Блок, Белый, Ромен Роллан» (там же) [34].

4

Один из острых и злободневных вопросов первых лет революции — отношение к классическому наследству. Известно, как В. И. Ленин воевал с руководителями Пролеткульта, пытавшимися создавать новую культуру без опоры на все лучшее в культуре прошлого. Статьи Воронского в «Рабочем крае» проникнуты глубоко уважительным отношением к русской классической литературе, он страстно защищает ее от фальсификаций и ложных трактовок.

Тема классической русской литературы проходит через многие статьи критика. Прежде всего обращает на себя внимание общая высокая оценка русской классики. «Когда-то русская литература была гордостью России,— пишет Воронский в статье «Литература и жизнь» (26 сентября 1918 г.),— и вся она была пропитана огромной любовью к общечеловеческой культуре, она была гуманна в лучшем и высшем смысле этого слова. Она умела возводить явления повседневной жизни в «перл создания» и быть в одно и то же время социалистической и народной».

В другой статье «Классики и упадочная литература» (27 июля 1919 г.) Воронский повторяет эту оценку и подчеркивает непреходящее значение классики для строительства нового мира. «Читайте в первую голову наших классиков — огромные художественные ценности ⟨...⟩ . Это то великое, драгоценное наследие, которое передается новому миру, рождающемуся в крови и неизбывных муках. ⟨...⟩ Русская литература — наша гордость. У нас есть произведения истинной красоты. Даже звезды второй и третьей величин у нас горят ярко. Глубокой человечностью проникнута наша литература, начиная с Грибоедова и Пушкина».

Гуманизм, народность, связь с передовыми, освободительными идеями — вот качества, которые привлекают Воронского в лучших произведениях русской литературы. «Наши лучшие русские писатели были демократами»,— подчеркивает он в статье «Под флагом демократии» (23 ноября 1919 г.). Статье «Декабристы» (27 декабря 1919 г.; подписана псевдонимом В. Г.) он предпосылает эпиграф «Из искры возгорится пламя» и указывает на действенность революционных лозунгов декабристов вплоть до Октября. О произведениях Герцена в статье «Памяти Герцена» (22 января 1920 г.; напечатана под псевдонимом Н.) он пишет, что они «до сих пор не утратили своей свежести» и что «рабочим и крестьянам следует учиться у Герцена так же, как учились на нем целые поколения лучших сынов России». Воронский с одобрением отмечает, что Наркомпрос «своевременно выпустил сочинения Герцена, ибо Герцена должен знать каждый из нас».

Помимо того, что русская литература — носитель передовых идей, дорогих и близких тем, кто с революцией начал созидание нового мира, новой культуры, она рассматривается Воронским и как правдивый источник познания прошлого родной страны. В силу своего реализма она создала галерею художественных образов, познавательное значение которых исключительно велико. Исходя из этого Воронский очень часто ссы-

лается на творчество писателей-классиков, использует литературные образы как глубоко верное, правдивое отражение породившей их действительности. Сами заглавия некоторых его публицистических статей в этом отношении весьма примечательны. «Чумазый патриотизм» — о буржуазном патриотизме (11 августа 1918 г.), «Господа Подколесины» — о предательстве русской интеллигенции (3 октября 1918 г.), «Окуровщина и партия большевиков» — о борьбе большевиков с окуровской Русью (1 мая 1920 г.). В них широко привлекаются образы Пушкина, Гоголя, Гончарова, Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Г. Успенского, Чехова, Горького и других писателей. Например, заявляя, что интеллигенты в XIX—XX вв. «только тем и занимались, что «прыгали в окно» в решительные моменты», Воронский ссылается на авторитет русских писателей и упоминает таких героев, как Онегин, Лаврецкий, Обломов и др. В конце статьи Воронский, отправляясь от гоголевского образа, назвал «Подколесиными русской революции» уже не литературных героев, а реальных людей, ренегатствующих писателей начала XX в.: «Господа Арцыбашевы, Винниченко, Сологубы, Андреевы, Рошины-Савинковы, Мережковские и Гиппиусы занялись писанием пасквилей на революционеров (...). Разве это были не Подколесины русской революции, прыгнувшие в окно в самую трудную и критическую минуту?»

Среди статей Воронского, посвященных классической русской литературе, выделяется статья «Своим умом», напечатанная под рубрикой «Публицистические наброски» в двух номерах «Рабочего края» (за 17 и 19 сентября 1919 г.). Она почти целиком построена на материале творчества Г. Успенского и лишь частично — Чехова. Успенский был одним из самых любимых писателей критика. К его авторитету, к примерам из его творчества Воронский прибегает едва ли не больше всего. «Успенский,— заключает критик,— был народником, он ценил русскую общину как зачаток социалистической культуры, он как никто проник в сокровенный смысл непосильного крестьянского труда, понял и оценил поэзию крестьянской жизни, но, в отличие от целого ряда народников, он видел многое такое, что не было видно многим его современникам. Успенский видел, что вся старая крестьянская жизнь, будучи по-своему совершенна, гармонична,— лишена вместе с тем своей мысли, исканий своей воли». Опираясь на произведения Успенского («Из разговоров с приятелями», «Наблюдения одного лентяя» и др.), подробно анализируя образ Ивана Ермолаевича, Воронский показывает, как «власть земли», природа цепко держали крестьянина, не позволяли «вглядываться по сторонам», задумываться «над посторонним».

Вместе с тем, весь анализ образа Ивана Ермолаевича направлен у Воронского на то, чтобы доказать, как «случай» в виде новых капиталистических отношений разрушал гармонию жизни Ивана Ермолаевича, «заставлял его волей-неволей думать о далеком, неведомом и непонятном», пробуждал его сознание, и он начинает жить уже «своим умом». Успенский выражал уверенность в том, что этот процесс приведет крестьянина к такому итогу: «будет у него свой собственный, выдуманный, взятый умом и волею рай» («Из разговоров с приятелями»).

Величайший смысл русской революции Воронский усматривает именно в том, что она заставила всю Россию «жить своим умом», что она пробудила в массах ответственность за окружающее, за свои и чужие поступки.

Любя и высоко ценя классическую литературу, Воронский решительно критиковал попытки ложного ее истолкования. Замечательным примером этого является обширная статья «Долой разум!» (19 августа 1920 г.), написанная по поводу книги М. Гершензона «Мудрость Пушкина» (М., 1919). Известно, что Пушкин был певцом разума, человеческой мысли. В «Вакхической песне» он провозгласил: «Да здравствует разум!», «Да скроется тьма!» Мудрость Пушкина Гершензон усмотрел в развенчании как раз того, что поэт воспевал. Вот почему статью об этой книге критик озаглавил «Долой разум!».

Гершензон «обработал» Пушкина под Бергсона»,— замечает Воронский. Критик обнажает «массу явных натяжек», с помощью которых Гершензон пытался «углубить» Пушкина «до бергсоновского мистического актуализма», заявляя о бессилии и банкротстве разума, утверждая, что «рычаг человеческой воли в иррациональном», и призывая «спуститься вниз», в «бездну», в «таинственные недра», дать выход «темным силам», бессознательному. Пушкин, по Гершензону, будто бы ненавидел просвещение, науку, рассудок, потому что они налагают на стихию «оковы закона», «обуздывают» ее. Все это, подчеркивает Воронский, есть «откровения Гершензона, не имеющие ничего общего с подлинным Пушкиным».

Он ставит эти «откровения» в прямую связь с «мистическим уклоном западноевропейской общественной мысли», с попытками подорвать теорию прогресса Маркса и рассматривает их как проявление «общего разложения», выражение «*идеологии* падающего, наполовину павшего *класса*».

5

Защита и пропаганда классических традиций в статьях Воронского сочетались с критикой упадочных, декадентских и ренегатских явлений в литературе, обнаружившихся в начале XX в. Особенно сурово оценивает он полосу 1907—1916 гг., когда, по его словам, художественное слово «играло часто исключительно отрицательную роль» и когда были «забыты великие заветы классиков» (статья «Классики и упадочная литература» — «Рабочий край», 27 июля 1919 г.). Он называет в качестве примера роман «Санин» М. Арцыбашева, «У последней черты» и «Честность с собой» В. Винниченко, «Навьи чары» Ф. Сологуба, «Конь бледный» Б. Ропшина-Савинкова, произведения Д. Мережковского, З. Гиппиус, М. Кузмина и других писателей, проникнутые проповедью эротизма, индивидуализма, «грубейшего и пошлейшего эгоизма», зачастую прикрытого «красивыми словами и фразами».

«Нет ничего вредней и губительней упадочной литературы этих дней»,— пишет Воронский. Все ее убожество «особенно бросается в глаза теперь, в годы великих событий и невиданных классовых битв. Развернешь какой-нибудь альманах «Шиповник» и только диву даешься. Непонятно, почему автор носится с «переживаниями» своего героя, как любили тогда выражаться. И герой-то совсем неинтересный, а «переживания» его интересны либо для него самого и автора, либо для психиатрической лечебницы и, в сущности, выеденного яйца не стоят...» Естественно звучит общий вывод статьи: «... не учитесь у Сологуба, Арцыбащева, Андреева, Винниченко, Мережковского, Гиппиус, Кузмина времен 1907—1916 годов. 〈...〉 Толстой и Тургенев, Успенский и Некрасов, Гоголь, Чехов, Салтыков, Горький, Короленко, литература семидесятников и предрассветного периода девятисотых годов, но не литература упадка и переоценки ценностей с точки зрения буржуазного индивидуализма».

Воронский оговаривается, что не хочет «огулом осудить» литературу этой эпохи, а имеет в виду лишь ее «основной тон». Так, решительный и справедливый протест критика вызывает отход писателей от общественной тематики, от гуманистических традиций и проповедь в их творчестве шовинизма и лжепатриотизма (особенно в период первой мировой войны). «Где,— спрашивает он,— гневные и саркастические вещи, в которых велась беспощадная война с пошлостью, с российской интеллигентской обывательщиной, с человеками в футляре, с «недотыкомкой серой» во имя правды-истины и правды-справедливости? Где грустная и нежно-страстная мечта Успенского о «выпрямленном» во весь свой рост человеке?! Все забыто. На страницах патриотических буржовок (биржовок? Здесь Воронский, по-видимому, обыгрывает название буржуазной газеты «Биржевые ведомости».— *П. К.*) успокоились наши литературные светила: Андреев и Куприн, Арцыбашев и Сологуб. В общем хоре диких патриотических завываний их голоса мы слышали все» («Литература и жизнь» — «Рабочий край», 26 сентября 1918 г.).

Специальную статью — она называется «Борис Савинков» (21 октября 1920 г.) — посвятил критик творчеству Б. Ропшина-Савинкова. Статья, носящая характер памфлета, написана с целью проследить эволюцию этого писателя, одного из лидеров партии эсеров, террориста, к союзу с Врангелем. Если присмотреться к духовному облику Савинкова в прошлом, замечает Воронский, то его «чудесное превращение 〈...〉 станет менее странным». И он дает анализ его романов «Конь бледный» (1911) и «То, чего не было» (1913), раскрывает духовный и нравственный мир их героев Жоржа и Андрея Болотова, которые выражают сокровенные мысли и чувства автора этих произведений. Критик показывает, что и Жорж, и Болотов действуют не во имя любви к угнетенным и ненависти к угнетателям, что по существу это авантюристы и индивидуалисты до мозга костей, люди с опустошенной душой. Романы дают возможность убедиться в том, что «террорист, бомбист Савинков, в сущности, бесконечно далекий человек от всей текущей революционной борьбы». В конечном итоге в лагере контрреволюции «Савинков только нашел самого себя». И вот: «Конь бледный стоит у границ новой Советской России. Конь бледный топчет русские луга и нивы и шагает по тысячам трупов. И на нем Жорж — Болотов —

Савинков». Творчество Ропшина-Савинкова для Воронского — яркий пример ренегатствующей литературы, литературы, компрометирующей идеи революционной борьбы.

Одним из отрицательных явлений в литературе предоктябрьского десятилетия Воронский считает распространение пинкертоновщины. В статье «Литература и жизнь» (26 января 1919 г.) он останавливается на причинах увлечения «пинкертоновской литературой» и видит их не только в темноте, невежестве, плохих литературных вкусах, которые «прививались уличной копеечной прессой», но и в том, что у современных писателей, в том числе у настоящих талантов, «пропала фабула, пропал художественный вымысел». «Он был у Гоголя, Пушкина, был у Тургенева, Толстого, но нет у Бунина, нет у Горького, и у целого ряда современных писателей». Исключение Воронский делает лишь для Куприна, которого считает хорошим рассказчиком [35]. Следствием писательского пренебрежения фабулой, художественным вымыслом явилась погоня читателей за интригующим сюжетом, который находили в «пинкертоновской литературе» и тянулись к ней, поскольку «литература последнего периода разучилась рассказывать», а между тем, «рассказ — неотъемлемая вещь всякого истинного художественного произведения».

В «суммарных» характеристиках Воронского творческие особенности отдельных писателей не всегда достаточно учитываются, с чем можно столкнуться, обратившись и к его оценкам текущей литературы, и это надо иметь в виду. Но все же следует подчеркнуть, что при анализе конкретных литературных произведений обычно проявлялись его эстетическая чуткость и стремление «извлечь» из произведения объективно-познавательный смысл.

В этом отношении показательны оценки Воронским творчества И. А. Бунина. В первую очередь оценки диктовались политической позицией писателя, который не принял Октябрьскую революцию и связал себя с белогвардейским движением. Позицию Бунина Воронский считает предательской (статья «Братья-писатели», 20 февраля 1919 г.). Он знал Бунина лично, встречался с ним в Одессе в 1911 году, когда писатель «приятельски» посещал квартиру В. В. Воровского. Напоминает, что Бунин участвовал в 1913 — 1914 гг. в журнале «Просвещение», издававшемся большевиками во главе с Лениным. Тем поразительней поворот Бунина от демократии к контрреволюции. И подобного поворота критик, естественно, не может простить писателю, о чем свидетельствует и его статья «Цивилизаторы» («Братья». Ив. Бунин)» (29 июля 1919 г.).

Обличая Бунина, вместе с тем критик не забывает того ценного, что писателем создано. Называя Бунина «одним из лучших наших заслуженных художников», он обращается к его рассказу «Братья» (1914) и отмечает, что в нем дано «поразительно яркое и исключительное по силе художественности» описание «цивилизаторской» деятельности английских колонизаторов. В статье воспроизводятся эпизоды рассказа, в которых показывается, как «знатный иностранец» загонял старика-рикшу, довел до самоубийства его сына и украл у этого юноши невесту. Описывая рабское положение туземцев, цинизм и пресыщенность европейских буржуа-«цивилизаторов», Бунин, по словам Воронского, «нашел в себе мужество заклеймить и вскрыть истинную подоплеку «человечности» империалистических разбойников» — в этом он видит главный смысл и достоинство рассказа «Братья».

В статье «Предчувствие революции» (опубликована 7 мая 1920 г. под псевдонимом В. Г.) Воронский говорит о Бунине как о «законченном лучшем прозаике наших дней». Он относит его к тем писателям, которые «силой художественной интуиции поднимают завесу грядущего». При этом он ссылается на рассказ 1915 г. «Господин из Сан-Франциско» и пишет далее: «У этого господина нет лица, нет имени, и так без имени и лица он вырастает в небольшом рассказе до трагического символа всего империалистического мира, до трагического символа всей буржуазной культуры». Объективно из этого произведения вытекает, что революция — это «справедливое возмездие», «правовая идея нового общества».

Если из прозаиков начала XX в. за предчувствие грядущей революции, неизбежных катаклизмов и катастроф Воронский выделяет Бунина, то из поэтов в связи с этим называет одного «из совершенных мастеров нашего времени» А. Блока, цитирует его пророческие стихи из цикла «На поле Куликовом» и уподобляет его «вещему певцу демократии» У. Уитмену.

К творчеству Блока Воронский специально обращается дважды: в рецензии на брошюру поэта «Катилина. Страница из истории мировой революции» (26 сентября 1919 г.)



А. К. ВОРОНСКИЙ СРЕДИ ДЕЛЕГАТОВ 8-го ГУБЕРНСКОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ

В первом ряду слева направо: председатель губкома РКП(б) О. А. Варенцова, М. И. Калинин, председатель губисполкома Н. Н. Колотилов. Выше (третий справа) — А. К. Воронский

Фотография (фрагмент). Май 1920 г.

Ивановский объединенный историко-революционный музей

и в статье «Литературные наброски» (30 октября 1919 г.; подпись: В. Г.) — о поэме «Двенадцать».

В изображении Блока Катилина, как известно, предстает римским «большевиком», первым из революционеров, восставших против разлагающегося римского общества, которое уподобляется современному капитализму. Отмечая это и называя Блока «одним из самых талантливых и глубоких художников», «тонким эстетом и великим мастером стиха», суть работы поэта Воронский видит не в том, был или не был «большевиком» Катилина, а в том, что Блок «мыслит современно», что он «нашел в себе силы отвернуться от позорно издыхающей современной буржуазной культуры» и «во дни великой борьбы» оказался вместе с революционной стихией большевизма.

Эту же мысль критик развивает и в «Литературных набросках», относя Блока, «большого тонкого художника», автора «прекрасной поэмы» «Двенадцать», к числу тех, кто стремился прозреть «сокровенный смысл» революции, постичь и увидеть блаженный край освобождения «там, за далью непогоды». Отмечая, что поэма «написана под свежим и острым впечатлением Октябрьской революции», Воронский трактует героев «Двенадцати» как «апостолов Мирового Восстания», призванных разрушить до тла старый одряхлевший мир. Он считает мастерским изображение в поэме типов этого старого мира. И в то же время, по его мнению, «Блок не мог избежать общей всем интеллигентам ошибки: он не видел движения масс, героического восстания и борьбы»; «хаос первых моментов» революции наложил отпечаток на созданные им образы двенадцати красногвардейцев. Отсюда — «наряду с исторической миссией последнего освобождения от социальных цепей 〈...〉 кровь и преступление — человеческое, слишком человеческое». Однако последнее «Блок нашел возможным искупить в мировой миссии двенадцати», и «символом высшего оправдания» их действий является в поэме образ Христа. Таково, в общем, толкование поэмы «Двенадцать» Воронским, близкое к тому, которое существовало в партийных и советских изданиях тех лет и которое противостояло злобным нападкам на поэму и ее автора в стане врагов революции и либеральной интеллигенции [36].

6

Рецензия на «Катилину» и статья о «Двенадцати» представляют собой уже отклики Воронского на текущий литературный процесс, на литературу, появившуюся после Октябрьской революции. Революция и литература — этот угол зрения, постоянно чув-

ствующийся в статьях Воронского о прошлом, становится особенно ощутимым, когда он высказывается о литературной современности в прямом смысле этого понятия.

Судя по статьям и заметкам, в поле зрения Воронского 1918—1921 гг. находились многие явления текущей литературы. Он откликнулся на выход в свет ряда литературно-художественных сборников, альманахов и журналов: «Огни» (М., 1918), «Эпоха» — кн. 1 (М., 1918), «Слово» — сб. 8 (М., 1918), «Книга» — сб. 2 (Пг.— М.— Киев, 1920), № 1 журнала «Художественное слово» за 1920 г. Писал о творчестве М. Горького, С. Гусева-Оренбургского, И. Бунина, В. Брюсова, А. Блока, А. Белого. Давал оценки и делал разбор таких произведений, как «Катастрофа» П. Бессалько, «Затишье» И. Матусевича, «Прапорщик Игнатов» М. Криницкого, «Голубая звезда» Б. Зайцева, «Милосердия!» А. Н. Толстого, «Чаша скорбная» Б. Тимофеева, «Заклинательница змей» Ф. Сологуба, «Шелковый дождь» М. Кузмина, «Крестики» А. Ремизова, «При дверях» Б. Пильняка и др. Его остро волновал вопрос о новой литературе, о творчестве писателей, идущих из недр рабоче-крестьянской массы.

Прежде всего Воронский пытается разобраться в вопросе о том, почему с революцией замолчали многие писатели и возникло состояние литературного распутья. Его статья, напечатанная в газете 11 декабря 1918 г., названа весьма симптоматично: «Сумерки богов». В ней говорится, что старая литература умерла, писатели молчат, «умерли и не восстанут». «Может быть, это печально, но это так. Не знаю, вернутся ли к художественной жизни те или иные писатели, скорее всего вернутся, но школа, эпоха уже не вернется».

Воронскому было ясно, что с Октябрьской революцией должна была начаться новая эпоха в развитии литературы, с новыми общественными и идейно-художественными основаниями. «В это железное время действия масс», замечает критик, многим старым писателям нечего было сказать, они оказались банкротами, так как в основе их деятельности лежала «интеллигентская индивидуалистическая психика», которую новая эпоха отрицает [37]. «Старый индивидуализм умирает. Вот почему в бессилии молчат наши художники. С чем они пойдут в эти толпы восставших масс? В эту борьбу, доведенную до крайнего ожесточения? Неужели Андреев будет рассказывать о запутавшейся и съевшей саму себя «мысли» Керженцева, а Бунин о тихих умирающих дворянских усадьбах, а Сологуб о Триродове и «тихих мальчиках». Их не поймут, да и не нужно это сейчас. Их не поймет новый хозяин жизни».

«Старому интеллигентскому индивидуализму» Воронский противопоставляет развитие и раскрытие человеческой личности на основе коллективизма. «Новый хозяин не «панургово стадо», он не намерен растворять личность в коллективе, но его индивидуализм, как небо от земли, далек от особых, замкнутых, довлеющих в себе мирков Андреевых, Буниных и Сологубов». Этот «новый индивидуализм», под которым следует понимать человеческую личность новой формации, возросшую под воздействием социалистических общественных отношений, находился, по Воронскому, лишь в зачаточном состоянии, он еще не окреп для того, чтобы выразить себя в литературе. Иначе говоря, с точки зрения критика, еще не сформировался новый тип художника, потребность в котором властно диктовала революция.

Этими двумя обстоятельствами — банкротством старых писателей и неумением новых, нарождающихся писателей выразить себя — Воронский объясняет состояние распутья и молчания, которое, по его наблюдению, переживала тогда литература. Разумеется, это наблюдение сейчас нельзя считать абсолютно верным. Картина состояния литературы была сложнее, было не только распутье и молчание, но и бурный отклик на события всемирно-исторического значения (В. Маяковский, А. Блок, Д. Бедный, С. Есенин, поэты-пролеткультовцы и др.). Однако в среде старой художественной интеллигенции преобладала растерянность, непонимание.

В статьях критика немало упреков в адрес тех литераторов, которые сформировались и творили еще до Октября. Прежде всего, он критикует их за нежелание увидеть, понять и отразить текущую современность. В статье «Из недавнего прошлого» (27 декабря 1918 г.) Воронский рецензирует литературный сборник «Огни», включавший в себя стихи Вяч. Иванова, В. Брюсова, И. Эренбурга, рассказы Н. Бромлей, Г. Чулкова, Л. Никулина, И. Новикова, И. Матусевича, М. Рослякова, статьи Ю. Айхенвальда и Б. Кремнева, и дает ему следующую общую оценку: «В сборнике совсем не отразилась настоящая, текучая, живая жизнь. Как будто не было ни Февральской, ни Октябрьской революции. Как будто писатели сидят на совершенно другой планете и совершенно не-

знают, что делается на нашей грешной земле. И, может быть, глубокая правда заключается в стихах Валерия Брюсова (критик цитирует далее его сонет «Наряд весны».— *П. К.*):

Лишь наш привычный взор, угрюм и туп,
Обходит равнодушно зелень куп
И свежесть нив под возрожденной новью.

«Свежесть нив под возрожденной новью», по-видимому, чужда и непонятна участникам сборника».

Подобный же упрек бросает критик и авторам альманаха «Эпоха», выпущенного издательством «Альциона». В нем участвовали Бунин, Блок, Брюсов, Белый, Сологуб, Кузмин и др. В статье «Литературные заметки» (31 июля 1919 г.; под псевдонимом Глинский), где идет речь об этом альманахе, он уважительно говорит о Блоке, Брюсове, Бунине как создающих глубокие по смыслу и совершенные по форме произведения, выделяет стихотворение А. Белого «Современникам», где есть «глубокое прозрение и отзвук наших дней», но в целом, пишет он, «кроме первого стихотворения Андрея Белого, кажется, что все вещи в прошлом. Мировая война, мировая революция не коснулись их совсем крыльями — отжившие люди, отжившие тени, отжившие настроения...» Такова итоговая оценка альманаха «Эпоха».

Особенно резкой критике подвергаются в альманахе стихи Б. Ропшина-Савинкова, которые «бледны, неинтересны», а их темы «шаблонны, банальны». Воронский высказывает удивление, как вообще стихи Савинкова — вдохновителя недавно отгремевшего восстания эсеров в Ярославле — могли появиться в печати. Прозу (роман Ф. Сологуба «Заклинательница змей», повесть М. Кузмина «Шелковый дождь», рассказ В. Мозалевского «Пантеистическая Полина»), составившую большую часть альманаха, критик считает «совершенно неудовлетворительной». О Сологубе пишет, что он «лишен социального чутья», психология героев романа, особенно из рабочей среды — «ему чужда», «от этого все произведение кажется выдуманным, вымученным»; М. Кузмин рассказывает «изящно», но его произведение незначительно по содержанию; рассказ Мозалевского «манерен, вычурен и даже нелеп».

Лучше, считает Воронский, писателям удается запечатлеть то, что связано с прошлым. «Умирающий быт» — так озаглавлены «Литературные заметки», напечатанные в «Рабочем крае» 9 сентября 1919 г. под псевдонимом В. Г. Они написаны по поводу 8-го сборника «Слово», выпущенного Книгоиздательством писателей в Москве, и в основном посвящены повести Бориса Зайцева «Голубая звезда» и рассказу А. Н. Толстого «Милосердия!», в которых реалистически запечатлен старый быт, разрушенный теперь ураганом революции.

Разбирая повесть Зайцева, Воронский делает экскурс в предшествующее его творчество и в «Голубой звезде» видит выражение типичного для него мировоззрения:

«Особое миросозерцание — принятие мира со всеми его падениями и горними взлетами — основной лейтмотив творчества Б. Зайцева.

«Я» индивидуальное и «я» социальное в его творчестве растворяются и поглощаются в «я» космическом, как в буддийской нирванне.

И люди, и вещи, и общественные столкновения, настроения и катастрофы — все для него лишь отражения, борения иной космической жизни. Нет грани между жизнью и смертью. И та и другая лишь формы космического бытия, приливы и отливы воли вечности.

Поэтому-то любимые его герои проходят в жизни странные и призрачные, как бы скользят по ее поверхности, едва касаясь; умудренные и чувствующие Вечность и кажущиеся остальным людям просто-напросто милыми чудаками, незлобивыми и забавными.

Таков Христофоров, беззаботный, святой бедняк, поклонник Франциска Ассизского, «не то поэт, не то отшельник», влюбленный в голубоватый, очаровательный, таинственный свет Веги в последней повести Б. Зайцева».

Основой повести, по мнению критика, является сопоставление жизни этого героя с жизнью и бытом той Москвы, «которой уже нет» и воплощением которой выступают другие герои повести: развратная миллионерша Анна Дмитриевна, нежная девушка Машура, картежник Фонни, офицер генерального штаба Никодимов, студент Антон и др. Все они живут «широкой, беспутной, грешной, беззаботной, беспечной» жизнью, совершающей свой круговорот. Но «над жизнью московских мансард, чердаков на Молчановке, где жили

одинокие мечтатели, над буржуазными кабинетами, салонами на Пречистенке ⟨...⟩ пронесся могучий ураган революции» — и «испепелил старый быт». «И как унылы,— восклицает критик,— беспомощны и жалки люди, выброшенные на песок в этом могучем урагане!»

Если действие в повести Зайцева опрокинуто в прошлое, то Алексей Толстой в рассказе «Милосердия!» рисует, по словам Воронского, «тот же быт», но спустя двенадцать месяцев после революции. В нем показана жизнь семьи, которая стала обломком «когда-то хорошо оснащенного суденышка».

Произведения Б. Зайцева и А. Толстого дают критику повод произнести приговор старому, умирающему быту. Вместе с тем их объективное значение он видит в том, что эти произведения как бы предупреждают: кто не найдет в своем сердце отклика на призывы революции, тот погибнет. Не случайно он завершает статью словами, которые Бунин поставил эпиграфом к «Господину из Сан-Франциско»: «Горе тебе, Вавилон, город крепкий!».

Резкому осуждению подвергает Воронский настроения растерянности, состояние безнадежности, уход от революционной современности в далекое прошлое, нашедшие выражение в произведениях, опубликованных в сборнике «Книга» № 2 и в журнале «Художественное слово» (1920, № 1). Об этих изданиях он пишет в очерке «Без дороги» (21 ноября 1920 г.).

В первом он обращает внимание на рассказ А. Ремизова «Крестики», в котором настроения пессимизма и бездорожья сочетаются с прозрачными намеками на то, что в жизни теперь правит тот, у кого есть хлыст. «Ни идеала, ни надежды, ни веры. Без дороги. Куда-то понукает ехать *московский* ямщик, да и он-то непутевый» — вот, по мнению критика, идейное содержание рассказа Ремизова «Крестики». Здесь же, в сборнике «Книга», Воронский критикует статью Л. Войтоловского о Л. Андрееве, в которой говорится «о сбывшихся черных пророчествах» этого писателя: «Читаешь статью и вспоминаются страницы из Мережковского о грядущем хаме».

Из журнала «Художественное слово» Воронский кратко анализирует рассказ Н. Ашукина «Венеция» и рассказ Б. Пильняка «При дверях». Действие в рассказе Ашукина происходит в октябрьские дни, но один из героев занят коллекционированием старых вещей и чувствует себя «лишним человеком», а другой «грезит старой Венецией времен дожей и догаресс». «Все реальное,—замечает критик,— Москва, революция, все уплыло». Хотя в рассказе Пильняка изображены современные люди — военспецы, военкомы, комиссары, доктора, девушки, писатели, но, по определению критика, в рассказе даны «нелепые обрывки нелепой опустившейся жизни», показаны «люди, которые уже ни во что не верят, которым больше нечего терять».

В целом очерк «Без дороги» имеет целью, опираясь на произведения художественной литературы и публицистики, выявить «настроения некоторых кругов нашей интеллигенции в России и за границей». В нем широко использована белоэмигрантская пресса, стихи Н. Крандиевской, Дона Аминадо, статья Б. Мирского в № 3 парижских «Свободных мыслей» и др.

Тема интеллигенции, пути и судьбы интеллигенции в бурном XX в. и их отражение в литературе привлекают особое внимание Воронского. Он приветствует роман П. Бессалько «Катастрофа», изданный Пролеткультом, потому что в нем с «потрясающей правдой» рассказано о «гнусном и темном времени реакции 1907—08 годов» и в частности о ренегатстве интеллигенции («Господа Подколесины» — «Рабочий край» за 3 октября 1918 г.). Положительно оценивается им и роман Марка Криницкого «Прапорщик Игнатов» (1918), изображающий первую мировую войну.

Роман Криницкого рассматривается (в статье «Без дороги» — 5 января 1919 г.) в сопоставлении с книгой рассказов Бориса Лазаревского «Во время войны» (1915). Обоих писателей, с точки зрения критика, «художников средней величины», объединяет одна и та же тема — «наша российская интеллигенция во дни войны». Однако в трактовке этой темы «между художниками лежит пропасть не меньшая, чем между 1915 годом и 1918».

В чем критик усматривает «пропасть»? В рассказах Лазаревского русская интеллигенция показана переродившейся под влиянием войны, нашедшей смысл жизни, она вся — «патриотический подвиг». «Рассказы Б. Лазаревского,— говорит Воронский,— воскрешают в памяти поистине позорнейшие времена нашей литературы, когда она уни-

зилась до казенного, барабанного ура-патриотизма». Между прочим, и по поводу рассказов С. Гусева-Оренбургского, написанных в 1915—1916 гг. и изданных в 1918 г. как XV том собрания сочинений писателя, Воронский с негодованием восклицает: «Какая это позорная, квасная, патриотическая дребедень!» («Братья-писатели» — 20 февраля 1919 г.).

Достоинство романа Криницкого критик видит в том, что в нем дается совершенно иное освещение героев и событий: «Правда, и он (М. Криницкий.— *П. К.*) отмечает «порыв», патриотические манифестации, но в изображении Криницкого все это было поветрием. За этим поветрием быстро наступил момент крайнего морального разложения и бездорожья». Подобный вывод позволяет сделать критику судьба заглавного героя романа. Прапорщик Игнатов убеждается на фронте в бессмысленности и преступности империалистической войны, возвращается в Москву нравственно разбитым, но не может там найти себе место в жизни. Привлекает Воронского в романе и фигура другого интеллигента — издателя «высоко патриотической газеты» Лихачева, который живет, руководствуясь моралью: «умные — в плену, богатые — в тылу, а дураки дерутся», и в то же время считает себя «мозгом нации», которая должна его сохранять и оберегать. Критик предупреждает, что подобные типы, «пользуясь бездорожьем русской интеллигенции», могут пролезть в советские органы и орудовать там так, что это будет выгодно лишь Лихачевым, а не Советам и честной интеллигенции.

Роман Криницкого «Прапорщик Игнатов» дает Воронскому еще один повод для критики «бездорожья нашей русской интеллигенции», кризиса и банкротства ее духа, потери ею «бога живого человека» (А. П. Чехов), для постановки вопроса о том, «пойдет ли в конце бездорожья интеллигенция по одному пути с народом». Все эти мотивы впервые прозвучали еще в статье «Народ, революция и интеллигенция» (28 июня 1918).

Из произведений, воскрешающих события только что минувшей четырехлетней войны, с большим сочувствием встретил Воронский книгу Б. Тимофеева «Чаша скорбная» (1918). Он поставил ее в один ряд с романом Б. Ибаньеса «4 всадника» (Испания), «прекрасной, изумительной книгой» Анри Барбюса «В огне» (Франция) и романом Э. Штильгебауэра «Ад» (Германия). Анализу повести Тимофеева посвящена первая часть «Литературных заметок», напечатанных под псевдонимом Глинский 31 июля 1919 г. Воронский одобряет ее за то, что в ней «просто и безыскусственно даются картины мирной жизни, мобилизации, фронтового быта, боев, горя и страданий народа». «Над книгой веет страшный и суровый бог войны, но издалека слышно веяние иных мощных крыл — крыл Революции». Идея неизбежного преобразования мира выражена и в эпиграфе, взятом из Евангелия («Переходит бо образ мира сего»), и в размышлениях искалеченного войной кандидата прав Погожева, который мечтает увидеть «всечеловеческую безмерную любовь», «любовь к незнакомому преображенному человеку». Именно эти стороны произведения Тимофеева — идея преобразования мира, вызревавшая в горниле войны, и гуманизм — привлекли к себе внимание критика.

Выше уж говорилось, что с Октябрьской революцией Воронский связывал возникновение новой литературы и формирование нового типа писателя. Он верил, что новое поколение писателей выйдет именно из недр народа:

«Несколько лет тому назад Куприн писал, что он ждет, когда во врата художественной литературы придет кто-то новый, великий, придет литературный Мессия.

Да, он нужен, как вода и воздух, этот новый Мессия.

И он идет из недр революционного народа. От сохи и станка» («Братья-писатели» — 20 февраля 1919 г.).

Известно высказывание В. И. Ленина о том, что капитализм не давал возможности развернуть свои способности талантам из народа, «мял, давил, душил» их «тысячами и миллионами», и лишь Октябрь создал условия народу для самостоятельного творчества новой жизни [38]. В полном соответствии с этим Воронский пишет в статье «О свободе печати» (2 октября 1919 г.), что Дорошевичи и Арцыбашевы имели свободу слова только для себя и «давили молодые ростки народного творчества», и лишь с революцией «ростки» получили возможность развернуться и проявить себя. «У Ибсена,— пишет критик,— скальд Ятгейр говорит: «Самые дорогие песни — это еще не рожденные». 〈...〉 Теперь эти тысячи трудовой, рабочей интеллигенции потянулись к литературе, теперь они складывают свои «нерожденные песни», теперь впервые тысячи из них нашли себе место, где они могут говорить свободно».

Воронский давал решительный отпор тем, кто кричал, что Советская власть попрала свободу печати, свободу творчества. Он заявлял: «*Истинная свобода печати для миллионов трудового народа, для народившейся рабоче-крестьянской интеллигенции, для всех тех, кто пишет в чердаках и подвалах, на сундуках и подоконниках, впервые осуществлена при Советской власти.* 〈...〉 Истинная свобода печати существует для народа только теперь».

С творчеством молодых писателей из рабоче-крестьянской среды Воронский связывал обновление литературы, он надеялся, что они внесут в нее «свежую, боевую струю» («Литература и жизнь», 26 января 1919 г.). Он указывал, что за образцы им надо брать творчество лучших русских писателей, учиться у них создавать истинно художественные произведения. Он напоминал, цитируя слова Гоголя и Тургенева: «Писатель должен явления жизни возводить «в перл создания», он должен из грубого куска жизни творить то, что «лучше жизни и более похоже на правду, чем сама жизнь» (там же). И в то же время Воронский предостерегал рабоче-крестьянских писателей от слепой подчиненности старым традициям, призывал их избирательно подходить к тем или иным образцам. В частности, он писал, что появилось немало произведений пролетарской литературы, но «бросается в глаза подчиненность молодых пролетарских писателей старым традициям. И прежде всего, нет фабулы. Идут бесконечные описания природы, душевных изломов и т. д. Даже у лучших из них, например у Гастева, нет рассказа, нет фабулы, нет художественного вымысла». И далее указывал: «Фабуле, рассказу нужно дать подобающее место. Тогда, и только тогда наши пролетарские писатели мало-помалу вытеснят пинкертонов и шерлок-холмсов» (там же).

Размышляя о новой литературе и ее отличительных качествах, Воронский не мог пройти мимо темы труда, ее места в литературном творчестве. В статье «Новые скрижали» (29 декабря 1918 г.) он пишет о «скрижалях освобожденного и радостного труда» и подчеркивает: «Счастье — это свободный, великий и радостный труд, вот что начертано в новых скрижалях». Отмечая, что в прошлом целые классы и группы людей были оторваны от труда, а для других он был только бременем, критик с этой точки зрения кратко прослеживает развитие русской литературы и дает такую характеристику образам и писателям:

«Вот они проходят целым сонмом перед нами: мятущийся Чацкий, неудовлетворенный Онегин, холодный и разочарованный Печорин, слабый и нерешительный Рудин, сомневающийся Нежданов, запутавшийся в этом мире Раскольников, странный Иван Карамазов и еще более странный Керженцев, совестливый Пьер, грустные чеховские сестры.

Все они были незанятые люди, праздные прежде всего, они были исковерканы эпохой, средой и никогда не знали счастья свободного труда.

Но у многих из лучших было предчувствие этого счастья.

Глеб Успенский с поразительной силой открыл во «власти земли» русскому обществу поэзию и радость разумного крестьянского труда. 〈...〉 О труде как о выходе говорят чеховские сумрачные люди».

Весь пафос статьи «Новые скрижали», учитывая ее «оснащенность» литературным материалом и литературными примерами, состоит в том, чтобы акцентировать роль и значение темы труда для новой литературы, поскольку освобожденный труд стал основой развития нового общества, его «новыми скрижалями».

Задумываясь над новой литературой и новым типом писателя, рождающимися в ходе революции, Воронский, естественно, не мог пройти мимо фигуры М. Горького и роли его литературного опыта. О Горьком он писал еще до Октября [39]. О своем восприятии творчества Горького критик хорошо рассказал в статье «М. Горький», впервые напечатанной в «Рабочем крае» 13 февраля 1921 г. [40].

Вспоминая «утренние зори первой русской революции», Воронский отмечает, что в эти дни его поколению «нельзя было читать произведения Горького без того, чтобы они не захватывали целиком». Захватывал романтизм Горького—«призывы Сокола и песни о Буревестнике». Захватывала уверенность Горького, что косная современная жизнь может быть переделана, что «в ней есть зачатки другой, новой правды, новой жизни». «Мы видели сквозь призму произведений Горького,— пишет критик,— Русь неспокойную, ищущую, взалкавшую правды и истины, а в людях на дне, в опорках, сквозь отекшие от пьянства черты нам открывались истинно человеческие лица. «Человек — это звучит



А. К. ВОРОНСКИЙ СРЕДИ ИНОСТРАННЫХ РАБОЧИХ — ДЕЛЕГАТОВ ВТОРОГО КОНГРЕССА III ИНТЕРНАЦИОНАЛА, ПОСЕТИВШИХ ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК

В центре — А. К. Воронский
Фотография (фрагмент). Июль 1920 г.
Ивановский объединенный историко-революционный музей

гордо». Вместе с художником мы создавали в своих мечтаниях этого гордого человека, не чувствовали себя одинокими и верили в будущее».

Статья «М. Горький» примечательна тем, что создает живой, одушевленный образ Горького, проникнута глубоко личным чувством автора к великому пролетарскому писателю. В ней живо рисуется встреча Ленина и Горького, состоявшаяся в начале 1921 г., воспроизводятся высказывания Горького о текущем состоянии художественного слова. Безусловно, мысли Горького о старых и новых писателях, о новом читателе, о необходимости показывать успехи Советской России были близки ее автору, как близок был и весь творческий облик писателя.

В статьях Воронского имя Горького встречается довольно часто, нередко он цитирует его, ссылается на отдельные произведения, а к статье «Товарищ Фрунзе (Арсений). (В связи с разгромом Врангеля)» (17 ноября 1920 г.) в качестве эпиграфа берет слова из «Песни о Соколе»: «Безумству храбрых поем мы песню. Безумство храбрых — вот мудрость жизни». Иногда он критикует Горького. Например, он критикует очерк «Лапочка» за то, что в нем преувеличены эксцессы, происходившие в деревне в период революции («Народ, революция и интеллигенция») [41].

Появление этого очерка из-под пера Горького критик связывал с ошибками Горького в 1917—1918 гг., которые, по его определению, были продиктованы «личными качествами Горького, его мягкостью, отвращением к крайним формам борьбы».

Об ошибках Горького Воронский писал и в статье «Максим Горький с Советской властью» (12 сентября 1918 г.), подчеркивая, что они носили временный характер. В основе своей, по характеристике критика, «Горький — гениальный художник и большой честный человек. Он — плоть от плоти трудового народа. В годы реакции он все время шел нога в ногу с рабочим классом. Личный друг Ленина, Луначарского и других большевиков — он долгие годы работал вместе с ними за границей». Как «большой и чуткий человек и сын народа», Горький не мог не оценить и не признать «огромную творческую работу Советов». «Выстрел в Ленина ⟨...⟩ показал всем, в том числе и ему, кто является виновником ужасов гражданской войны, от кого исходит почин».

Преодоление Горьким своих ошибок, активное признание им Советской власти, приход к полному сотрудничеству с ней Воронский назвал «крупнейшей победой» советского строя и приравнял ее к победе, одержанной тогда Красной Армией на Восточном фронте.

О Горьком Воронский опубликовал в «Рабочем крае» две статьи. Однако обращает на себя внимание следующий факт: газета, им редактируемая, проявляла к Горькому исключительный интерес, на ее страницах печаталось в те годы большое количество материалов, связанных с писателем: перепечатывались горьковские статьи, публиковались статьи и стихи, ему посвященные, сообщалось о переписке и встречах ивановских литераторов с Горьким и т. д. [42]. Конечно, здесь надо учитывать и то обстоятельство, что двое из сотрудников редакции — поэты Д. Семеновский и М. Артамонов — непосредственно общались с Горьким, находились в сфере его идейного и литературного влияния. Но роль Воронского как редактора в публикации «горьковских материалов» на страницах газеты также несомненна. Он безусловно поддерживал ориентацию местных литераторов на Горького, что выразилось, в частности, в заметке «Литературные новости», где говорилось в его адрес: «Мы приветствуем чудесную деятельность родного всем нам писателя...» [43].

Кроме указанных выше двух статей, Горькому Воронский посвятил первый раздел своих «Политических заметок», напечатанных в «Рабочем крае» 11 января 1921 г. Раздел озаглавлен «Русские белогвардейцы и Горький». Здесь критик сообщает о настоящем походе против Горького на страницах белогвардейской прессы. Ближайшим поводом для этого явились высказывания Г. Уэллса о Советской России, которые он сделал по возвращении в Англию и в которых он с большим сочувствием говорил о молодой советской республике. В этом белогвардейцы и эмигранты усмотрели пагубное влияние Горького и подвергли его всяческим поношениям вплоть до пожелания... скорейшей смерти. Воронский использует этот факт, чтобы разоблачить лицемерный и лживый характер разглагольствований врагов Советской власти о культуре и цивилизации. Их речи о культуре, пишет он, сменяются «звериным нечленораздельным урчанием, диким и свирепым». Именно такой характер носили их статьи о Горьком.

Выступление Воронского против белогвардейской и эмигрантской прессы было систематическим на протяжении 1919—1921 гг. «Белогвардейская пресса 〈...〉,— замечает он в статье «Обреченные. (Из недавнего прошлого)»,— была крайне неряшлива, не литературна, не интересна. Но главное не в этом. Главное в том, что, пробегая старые, помятые белогвардейские листки, чувствуешь, что нет самого важного — нет «изюминки», нет «души», того, что Чехов называл «богом живого человека». На одной ненависти к большевизму далеко не уедешь, и сама ненависть гроша медного не стоит, если кроме этой ненависти, слепой и часто бессильной,— нет ничего за душой. А за душой-то и нет ничего. Царит растерянность и неуверенность» (11 апреля 1920 г.).

Касаясь в своих острополемических обзорах тем, так или иначе связанных с литературой или отдельными писателями, критик использует литературный материал, чтобы с помощью его нагляднее и сильнее дискредитировать так называемое белое движение, действия буржуазных партий и их заправил. Он вскрывает бездарность белогвардейской «поэзии» («Из белогвардейских газет» — 15 января 1920 г.); выявляет объективный смысл публикуемых в белогвардейской печати предсмертного письма Л. Андреева («Обреченные» — 11 апреля 1920 г.) и статьи И. Бунина об эсерах («Из недавнего прошлого» — 29 марта 1921 г.), показывает ложную ситуацию, в которой оказался В. Короленко, опубликовав в «Южнорусском крае» политически беспомощную статью «Мысли о единой России» («Мы привыкли с величайшею любовью и благодарностью вспоминать автора «Сон Макара», «Без языка», «В дурном обществе» и т. д. Как попал он в это несомненно «дурное общество»?...».— «Обреченные» — 11 апреля 1920 г.).

Очень любопытна статья Воронского «Из одного дневника» (5 января 1921 г.). Она написана по материалам дневника жены Нестора Махно. Захваченный в бою, дневник был передан Воронскому М. В. Фрунзе во время встречи с ним на VIII съезде Советов в декабре 1920 г. Критик использовал его как «любопытный в бытовом отношении документ», в котором «изнутри показано разложение Махно и махновцев». Обильная цитация «ударных мест» дневника убедительно подтверждает это. Воронский великолепно умел заставить «говорить» документ в его чистом виде.

Статьи «Сказка о белом дьяволе» (4 февраля 1921 г.), «Почему они погибли. (Из недавнего прошлого)» (27 и 28 февраля 1921 г.) и «Пестрые заметки (Из белой прессы)» (29 ию-

ня 1921 г.) присланы Воронским в «Рабочий край» из Москвы. Они написаны на материале белоэмигрантских изданий: газеты «Общее дело» (Париж), книги Г. Н. Раковского «От Орла до Новороссийска», вышедшей в Константинополе в 1920 г., и возобновленной П. Б. Струве «Русской мысли». В это время Воронский был референтом В. И. Ленина и печатал в «Правде» обзоры литературы белой эмиграции. Аналогичные обзоры и рецензии публиковались им в журнале «Красная новь».

Ярким примером критики белоэмигрантской литературы являются «Пестрые заметки». В них Воронский едко иронизирует по поводу умилительных воспоминаний кн. Е. Н. Трубецкого, остроумно высмеивает такие образцы эмигрантских писаний, как дневник Зинаиды Гиппиус, который она вела в 1919 г. в Петрограде и который полон злобных записей о тех, кто «продался большевикам».

7

Из приведенного выше обзора статей, заметок и рецензий Воронского на литературные темы, напечатанных в «Рабочем крае», видно, что им охвачен большой круг материалов и проблем от Пушкина до современной русской литературы. Однако он не ограничивался только русской литературой. В его публицистических статьях встречаются ссылки на Ибсена, Анатоля Франса, Уитмена, Киплинга, Гауптмана и других иностранных писателей. В семи его статьях и рецензиях зарубежная литература освещается специально.

Как и явления русской литературы, он рассматривает произведения зарубежных авторов, позицию тех или иных писателей в свете задач, стоящих перед социалистической революцией. Он приветствует тех прогрессивных писателей, которые, подобно Р. Роллану и Г. Уэллсу, сочувственно отнеслись к Октябрю, к действиям Советской власти.

В статье «Советская власть и Ромен Роллан» (6 сентября 1918 г.) Воронский с радостью отмечает: «Телеграф принес известие, что французский писатель Ромен Роллан за Советскую власть. ⟨...⟩. Сочувствие Советской России со стороны таких людей, как Р. Роллан, является залогом того, что дело рабоче-крестьянского правительства — дело правое, дело всего, что есть культурного и человечного на земле». Он кратко знакомит читателей с Р. Ролланом и дает ему такую характеристику: «Это современная совесть Франции. Один из самых честных и чутких людей. Большой, умный, талантливый человек. К его голосу прислушивается вся демократическая Франция. Его перу принадлежат прекрасные книги о войне, написанные во время международной бойни».

На выход в свет книги Г. Уэллса «Россия во мгле» (в переводе с английского, с предисловием кн. Н. С. Трубецкого, Российско-болгарское книгоиздательство, 1921) Воронский откликнулся большой статьей «Г. Д. Уэллс о Советской Росии», напечатанной в газете 30 июня и 1 июля 1921 г. (статья эта опубликована также в № 1 журнала «Красная новь» за 1921 г.). Отмечая «эклектизм» Уэллса, критик вместе с тем приводит из его книги пространные выдержки, из которых явствует, что писатель, побывав в России осенью 1920 г., «оказался достаточно умным и честным», чтобы нарисовать объективную картину положения в стране и сказать, что в России нет общественных сил, кроме большевиков, «способных справиться с катастрофой». Воронский блестяще использовал книгу Уэллса для полемики с белоэмигрантской прессой, признавшей ее вредной, для разъяснения политики ленинской партии и советского правительства.

Злободневное политическое событие — арест английскими империалистами великого индийского писателя Рабиндраната Тагора, обвиненного в содействии своим соотечественникам-революционерам,— послужило причиной написания статьи о нем «По поводу одного ареста» (1 октября 1918 г.). По определению Воронского, «Тагор — это Индия ⟨...⟩. Арест Тагора показал, как много горючего материала накопилось там». Вместе с тем этот арест критик рассматривает как символ того, что буржуазное общество изжило себя, неспособно ценить культуру, а «лучшие представители человечества отвертываются от этого загнившего общества и становятся в ряды протестантов и новаторов».

Статья о Тагоре примечательна, однако, не только своим публицистическим пафосом, своей актуальностью. В ней содержатся проникновенные, отмеченные тонким художественным вкусом замечания о некоторых сторонах его творчества.

«Тагор не просто талантливый поэт и художник. Тагор — пророк и величайший учитель жизни. Недаром в Индии время жизни и творчества Тагора называют эпохой Тагора.

Бессмертна прежде всего форма его произведений. Это — не стихи, это — молитвы-песни, псалмы великому безбрежному океану жизни. «Гитанджали» — жертвенные песнопения — так называется одна из книг индийского поэта-пророка.

Эти песнопения просты, как детский рассказ, как все истинно гениальное, ибо все гениальное — просто. Они бездонно глубоки, и потому они притягивают к себе и их не устаешь перечитывать в пятый, десятый, в двадцатый раз».

Две статьи Воронский посвятил Анри Барбюсу: «Дух войны» (11 мая 1919 г.) и «На одре страданий» (30 июня 1920 г.). В первой говорится о романе «В огне», во второй — о романе «Свет».

Назвав роман «В огне» «превосходной книгой», «великолепной хроникой», критик ссылается на оценку этого произведения Горьким и весь анализ его ведет с таким расчетом, чтобы показать, как измученная масса французских солдат приходит к заключению: «Нужно убить самый дух войны»; «Надо победить не врагов, а войну. Нужно воевать с войной». «Книга А. Барбюса,— замечает он,—написана в декабре 1915 г., в разгар войны. То, что мы выписали из нее, поистине является пророческими словами. Война против войны — этот лозунг становится теперь всеобщим среди народов».

Если роман «В огне» привлек Воронского своей ярко выраженной направленностью против империалистической бойни, идеей мира, то в романе «Свет» он выделяет пафос гуманизма и интернационализма, рожденный «на одре страданий» первой мировой войны: «*Человечество — вот новое слово истины, интернационализм как единственный выход из хаоса и безумия — вот итог итогов*».

Сопоставляя два романа Барбюса, критик выявляет своеобразие того и другого. В центре первого стоит изображение массы и будней войны. В центре второго — «духовная эволюция, пережитая человеческой личностью в буре и грозе военных испытаний». При этом Воронский обращает внимание и на эволюцию героя, который от духовной разъединенности приходит к такой истине: «Понять жизнь и полюбить ее в каком-нибудь существе — вот задача человека и вот совершеннейшее его призвание». Свет откровения, перерождение героя ценой мучений, «общих миллионам людей», по мнению критика, являются для писателя порукой грядущего обновления мира.

В статье «На одре страданий» Воронский высказывает также суждение о некоторых особенностях дарования Барбюса: «У Барбюса большой силы изобразительный талант. Отличительная своеобразная черта этого таланта заключается в умении схватывать сразу многочисленные мелочи повседневной жизни. Иногда даже кажется, что эти детали загромождают основное, но в конце концов получается цельная и полная живая картина».

При рассмотрении зарубежной литературы Воронский-критик счел необходимым откликаться не только на то, что прямо и непосредственно связано с современностью, но и на то, что обращено к прошлому. Он написал статьи о двух исторических романах: «Боги жаждут» Анатоля Франса (статья под псевдонимом Вега «Об одном романе» — 20 декабря 1918 г.) и «Народный вождь Георг Енач» (в оригинале «Jürg Jenatsch» — 1878 г.) К. Ф. Мейера (обширная рецензия в разделе «Библиография» 12 августа 1919 г.). Оба эти произведения не случайно заинтересовали его: в первом изображена Великая французская революция, во втором сюжет взят из эпохи борьбы швейцарского народа за свою независимость в период тридцатилетней войны (1618—1648 гг.).

Роман Мейера был выпущен издательством «Колос» в 1919 г., в нем, по словам критика, автору «удалось создать свежий и новый художественный тип вождя — борца за свободу и независимость своего народа». Образ Георга Енача был близок советским людям, боровшимся в гражданскую войну за свободу и независимость рабоче-крестьянского государства. Вот почему Воронский в конце рецензии заявлял: «Роман Мейера безусловно заслуживает самого широкого распространения. Так как частным лицам теперь не легко приобретать книги (...), то на помощь читателю должны прийти библиотеки, избы-читальни и т. д.».

Последнее обстоятельство наложило определенный отпечаток на характер рецензий и литературных заметок Воронского, опубликованных в «Рабочем крае»: в них большое место занимают пересказ сюжета, цитация. Критик стремился как можно обстоятельнее, подробнее ознакомить читателей с содержанием произведений. При этом он акцентировал определенные моменты, особенно актуальные с его точки зрения, сопровождал изложение и цитаты публицистическими комментариями. По данной методике написаны многие его статьи, заметки, рецензии на литературные темы (да и не только на литературные). Пе-



А. К. ВОРОНСКИЙ СРЕДИ ИВАНОВЦЕВ — ДЕЛЕГАТОВ VIII ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ

В первом ряду — Д. А. Фурманов (первый слева), М. В. Фрунзе (третий слева). В третьем ряду — А. К. Воронский (второй слева)

Фотография. Москва, 1920

Ивановский объединенный историко-революционный музей

ресказ, цитация и публицистические пояснения занимают особенно большое место, когда речь идет о произведениях зарубежной литературы. Например, разбирая роман А. Франса «Боги жаждут», Воронский подробно останавливается на картинах французской революции и «революционных переживаниях» главного героя Гамелена с тем, чтобы вызвать у читателя определенные ассоциации, а приведя рассуждения Гамелена о необходимости «святой гильотины», пишет: «Не найдут ли отклика в своей душе многие революционеры наших дней на это исповедание революции якобинца-энтузиаста, когда Дон и Кубань играют роль русской Вандеи, в Уфу прибывают эшелоны зуавов, а в Севастополь высаживаются новозеландские дивизии?» [44].

Умение связать литературный материал с злободневными вопросами жизни и политики, использование его в целях полемики и борьбы с идейными врагами — характерные черты всех критических выступлений Воронского на страницах «Рабочего края». Его статьи и рецензии о зарубежной литературе в этом отношении не являются исключением.

8

В заключение нашего исследования о Воронском в газете «Рабочий край» нельзя не коснуться таких вопросов: какие отношения сложились у него с литераторами-ивановцами; какую роль он играл в развитии литературы края, в деятельности кружка поэтов, сгруппировавшихся вокруг газеты; какое значение имела его редакторская и литературная работа в «Рабочем крае» для последующей работы в журнале «Красная новь»?

В историко-литературных трудах, посвященных первым годам революции, часто цитируется записка В. И. Ленина библиотекарю Кремля:

«Прошу достать (комплект) «*Рабочий край*» в Ив.-Вознесенске.

(Кружок *настоящих* пролетарских поэтов).

Хвалит Горький { Жижин / Артамонов / Семеновский» [45].

Записка эта, свидетельствующая о значительности творчества ивановских поэтов, была написана Владимиром Ильичем 28 января 1921 г. после встречи и беседы с Горьким. Горького о деятельности кружка информировал главным образом поэт Д. Н. Семеновский, который находился с ним в систематической переписке и неоднократно встречался [46]. Горькому посылались стихи ивановских поэтов, отдельные номера газеты «Рабочий край», литературно-художественные сборники, выходившие в Иваново-Вознесенске.

В кружок поэтов при «Рабочем крае» входило около 25 человек. Преимущественно это были молодые рабочие, деревенские парни, бывшие солдаты, красноармейцы, «кухаркины дети», а также выходцы из среды демократической интеллигенции. Некоторые из поэтов писали и печатались еще до Октябрьской революции. Авенир Евстигнеевич Ноздрин — один из зачинателей пролетарской поэзии, активный участник революционного рабочего движения, председатель первого общегородского Совета рабочих депутатов, созданного в Иваново-Вознесенске в 1905 г.; Михаил Дмитриевич Артамонов — издатель журнала «Дым» (1913—1914 гг., Иваново-Вознесенск), поэт-«правдист», участник первого и второго «Сборника пролетарских писателей», вышедших под редакцией Горького; Дмитрий Николаевич Семеновский — автор многих стихотворений, публиковавшихся в демократических изданиях, в том числе в журнале «Просвещение», в газете «Правда»; Александр Дмитриевич Сумароков — поэт, общавшийся с Блоком; Василий Алексеевич Смирнов — старый партиец и журналист; Иван Ипатьевич Жижин также имел некоторый литературный опыт (живя в 1914—1917 гг. в Петрограде, посещал литературные кружки, печатался); Николай Иванович Колоколов, как и Д. Н. Семеновский, учась в университете Шанявского, дружил с С. Есениным, публиковал свои стихи в небольших журналах; печатался до революции и Николай Павлович Смирнов. Но большинство поэтов, объединившихся вокруг «Рабочего края», были начинающими. Из них следует назвать талантливого поэта-пастуха Сергея Семина, дочь школьного сторожа Анну Баркову, комсомольского работника Серафима Огурцова, Александра Тимонина, Федора Дмитриева, Сергея Селянина, Александра Рязанова [47].

Все поэты «Рабочего края» — и начинающие, и более или менее опытные — с Октябрьской революцией переживали творческую весну, состояние эмоционального подъема. Это находило прямое выражение в их произведениях, которые охотно печатались в газете. По словам М. Артамонова, Воронский как редактор любил «живой, яркий, не казенный материал», поэтому в каждом номере шли «стихи и беллетристика или, по крайней мере, фельетон и наброски» [48].

Существенное значение имело то обстоятельство, что в аппарате редакции «Рабочего края» с 1920 г. трудилось шесть поэтов: Д. Семеновский, М. Артамонов, И. Жижин, А. Ноздрин, С. Селянин, А. Баркова. По словам С. Селянина, редактор часто обращался к поэтам с предложением давать стихи для очередного номера, а правили поэты материал так, что в газете «не было места сухим, казенным заметкам (...). Каждая заметка была литературной, рисовала живую картину» [49]. Все это, как и многие статьи самого Воронского, придавало газете «Рабочий край» «литературный уклон», хотя, конечно же, в первую очередь она оставалась газетой общественно-политической.

Д. Н. Семеновский в дружеских беседах с автором настоящей статьи не раз вспоминал об участливом отношении Воронского к творчеству поэтов-ивановцев. Он подчеркивал, что редактор предоставлял возможность публиковать стихи на разные темы, не обязательно так называемые «газетные». Бывало, что в его отсутствие печатались и довольно слабые вещи. «В этом случае,— говорил Дмитрий Николаевич,— редактор собирал нас, редакционных поэтов, и укоризненно выговаривал. Но никогда не „распекал“».

В требованиях, предъявляемых Воронским к художественным произведениям, Семеновский отмечал проявления высокой культуры и вкуса, а общее его направление в воспитании молодых поэтов считал исключительно плодотворным. Вспоминая тяжелые и героические годы гражданской войны, он писал: «Не до литературы, казалось, было в те дни (...). В это время голода, холода, разрухи ивановский писательский молодняк, поднявшийся из рабоче-крестьянских низов, черпал силы в художественном творчестве, грелся в творческой среде общих литературных интересов.

К «Рабочему краю» упрямо потянулись писатели-самоучки с новым мировоззрением, часто малограмотные, но почти всегда талантливые (...).

Под умелым и опытным руководством тогдашнего редактора «Рабочего края» А. К. Воронского, писателя с прекрасным литературным вкусом, молодежь сомкнулась в крепкое литературное ядро» [50].

Воронским много было сделано для объединения и творческого роста местных поэтов. На страницах газеты были введены рубрики «Пролетарские поэты» и «Поэты «Рабочего края», где поэты могли регулярно печататься. В заметках под названием «Литературная хроника», «Литературные новости» газета широко информировала о литературных событиях в стране, о выходе новых книг; журналов. Хорошо был налажен отдел библиографии. Статьи редактора и других авторов ориентировали и направляли творчество поэтов в определенное идейно-художественное русло. В помощь начинающим пролетарским поэтам была напечатана серия статей Д. Семеновского, знакомящая с понятиями образа, ритма, размера, звуковой организации стиха. «Литературная учеба» осуществлялась и на «литературных вторниках», во время обсуждения произведений. «Одно время,— сообщает Д. Н. Семеновский,— «литературные вторники» рабкраевцев были самым настоящим, образцово-показательным литературным клубом, который привлекал много гостей. На таких собраниях поэты читали стихи, беллетристы — рассказы, после обсуждали прочитанное, молодо и горячо спорили» [51].

Кружок поэтов и писателей «Рабочего края» не был изолирован от «большой» литературы. Преодоление узкопровинциального подхода к литературе достигалось различными путями. Во-первых, на страницах самой газеты — и прежде всего в статьях Воронского — ставились и обсуждались проблемы, имеющие магистральное значение для всей формирующейся советской литературы (отношение к классическому наследству, литература и революция, вопрос о пролетарской литературе и др.). Во-вторых, в «Рабочем крае» публиковались не только произведения местных авторов, а и таких, как М. Горький, А. Серафимович, С. Подъячев, Д. Бедный, В. Маяковский, С. Есенин, Р. Ивнев, С. Городецкий, печатались пролетарские поэты А. Гастев, Л. Котомка, А. Белозеров, Я. Коробов, Я. Бердников и др. В-третьих, с произведениями ивановцев знакомились и давали этим произведениям оценку такие выдающиеся художники слова и критики, как М. Горький (отзывы о Семеновском, Артамонове, Жижине, Семине и др.), А. Блок (отзывы о Семеновском, Колоколове, Барковой, Сумарокове), А. Луначарский (рекомендовал к изданию книги стихов М. Артамонова «Земля родная» — 1919 г. и А. Барковой «Женщина» — 1922 г.; написал предисловие к сборнику Барковой, переписывался с ней), В. Брюсов (отзыв о Барковой). Все это не могло не сказываться благоприятно на идейно-художественном развитии участников кружка.

Важно отметить и такую особенность в жизни кружка — включение поэтов в активную общественную деятельность, что происходило также не без воздействия редактора. «Кружок «Рабочего края»,— отмечает Д. Семеновский,— всегда принимал самое живое участие во всех политических кампаниях города. Писатели выступали со своими произведениями на митингах, публичных лекциях, в рабочих клубах, в красноармейских театрах. . .» [52].

Несмотря на занятость партийными, государственными и редакторскими делами, Воронский уделял внимание и местным литераторам. Иногда он выступал вместе с ними. Так, 26 февраля 1919 г. в анонимной статье «Литературные заметки» сообщалось: «По инициативе редактора «Рабочего края» А. К. Воронского местными журналистами при содействии Пролеткульта предполагается устройство «Вечера поэзии», на котором выступят местные поэты и литераторы». Вечер состоялся 6 апреля. О нем 9 апреля появилась в газете информационная заметка, в которой, кстати, отмечалось: «Первое отделение составляла речь А. К. Воронского о русской литературе в целом и в частности о новом течении ее — пролетарском творчестве».

При Воронском начато было издание в Иваново-Вознесенске литературно-художественных сборников. Мы не склонны приписывать это только инициативе и деятельности редактора «Рабочего края», однако совершенно очевидно, что он оказывал этому содействие, в особенности в преодолении трудностей, связанных с типографией и нехваткой бумаги [53].

Первый сборник, «Крылья свободы», вышел (с подзаголовком «Советский песенник и декламатор») в октябре 1919 г. тиражом 20 000 экземпляров. Составители «с одной стороны, старались дать вообще сборник стихов в революционном духе, пригодный для декламации на вечерах культурно-просветительских кружков, и, с другой стороны, считали

не менее важным выявить творческий облик местных иваново-вознесенских поэтов, в преобладающем большинстве выдвинувшихся из рабочей или крестьянской среды» [54]. А. В. Луначарский, внимательно следивший за ивановскими поэтами и помогавший им, одобрительно отозвался о выходе сборника «Крылья свободы» в статье «Новая поэзия» («Известия», 27 ноября 1919 г.) [55].

Во втором сборнике, названном «Красная улица» (1920), издатели, опираясь на «моральную поддержку» Луначарского, решили «продолжить опыт» предыдущего сборника, но отдали страницы «Красной улицы» «исключительно поэтам местного края, группирующимся вокруг иваново-вознесенской газеты «Рабочий край» [56].

В третьем сборнике, «Сноп» (1920), напечатаны были не только стихи, но и рассказы. Выпущен он Иваново-Вознесенским отделением Государственного издательства и был посвящен третьей годовщине Октябрьской революции. Воронский принимал участие в этом сборнике и как издатель (книга издана Иваново-Вознесенским отделением Госиздата; во главе отделения, как говорилось выше, стоял А. К. Воронский) и как автор. Его перу принадлежат два этюда: «За осажденный лагерь» — о героической борьбе за революцию и Советскую власть, и «В те дни» — об Октябрьских днях в Петрограде 1917 г.; оба они написаны в стиле художественного эссе.

Вслед за этими тремя сборниками в 1921—1922 гг. в Иваново-Вознесенске вышло еще несколько сборников и альманахов: «Взмах», «Живописное слово», «Начало», «Коробейник», которые свидетельствовали о творческой активности ивановских литераторов.

Надо отметить, что на страницах ивановских сборников появляются стихотворения с посвящением А. К. Воронскому: в сборнике «Сноп» — стихотворение И. Жижина «Строитель», в сборнике «Взмах» — стихотворение Д. Семеновского «Любовью» (первоначально напечатано в газете «Рабочий край» 21 января 1921 г.). А в произведении И. Жижина «Венок» (сб. «Сноп»), где даны стихотворные портреты ивановских литераторов, второе стихотворение озаглавлено «А. Воронский» и звучит так:

Высокий лоб и взгляд такой холодный,
Но кровью звездной сердце влито в мозг.
В душе — вся скорбь и горький плач народный
Любовью солнечной расплавлены, как воск.
Политик и поэт, строитель и философ,
Он вечно замкнут, волей тверд и смел,
И кажется, что нет таких утесов,
Где б он о судьбах Руси не скорбел.

Стихотворные посвящения Воронскому — дань несомненного уважения и благодарности ему за все, что он сделал для ивановских литераторов во время пребывания на посту редактора «Рабочего края» [57].

В свою очередь, Воронский не забывал литераторов-ивановцев. В журнале «Красная новь», в статье «Песни северного рабочего края» (1921, № 2) он дал обстоятельный разбор их творчества, используя главным образом материал сборников «Крылья свободы», «Красная улица» и «Сноп». В первые годы существования журнала в нем были напечатаны произведения Д. Семеновского, Н. Колоколова, М. Артамонова, А. Барковой, С. Огурцова, Н. Смирнова, рецензировались книги стихов А. Барковой «Женщина» и Д. Семеновского «Благовещание».

Воронский был немало обязан иваново-вознесенским писателям и поэтам. Их творческая активность, художественные искания, революционный энтузиазм, искренность в выражении нового мироощущения укрепляли его в мысли о том, что новая литература нарождается. Не случайно в статье «Песни северного рабочего края» критик писал о поэтах-ивановцах: «Это подлинный рабоче-крестьянский демос. ⟨...⟩ Это большой поэтический выводок, вскормленный полями, рабочей околицей и гулом фабрик. Факт примечательный, о котором нужно знать всей мыслящей Советской России.

Он свидетельствует еще раз, что в нашем народе, в недрах его таятся большие духовные богатства и что не напрасны наши надежды, что на смену литературе старых господствовавших классов трудящиеся смогут выдвинуть своих поэтов, романистов, художников...» [58].

Последнюю мысль Воронский выразил несколько позднее и в письме к В. И. Ленину от 21 апреля 1922 г.: «Таланты из низов прямо прут — им только надо дать ходу и организовать идейно» [59].

Не исключена вероятность, что статья критика «Песни северного рабочего края» явилась своего рода откликом на беседу Ленина и Горького о «кружке *настоящих* пролетарских поэтов» при газете «Рабочий край». Кому, как не Воронскому, близко знавшему этих поэтов, было поведать о них, о их творчестве в только что начавшем выходить первом советском «толстом» литературно-художественном журнале, редактировать который поручил Воронскому Ленин.

Сама мысль «испробовать силы» на «толстом» журнале пришла Воронскому еще в Иваново-Вознесенске, когда он редактировал газету «Рабочий край». Об этом он недвусмысленно говорит в своих воспоминаниях о Горьком [60]. Безусловно, опыт руководства губернской газетой в течение двух с половиной лет, активная работа в это время в качестве не только редактора, но и литературного критика «подготавливали» его к будущей роли руководителя журнала «Красная новь» и весьма пригодились ему во время работы на этом посту. Характерно, что некоторые свои статьи в первых номерах «Красной нови» он печатал под теми же рубриками, что и в «Рабочем крае»,— «Литературные заметки», «Из белой прессы». Статья «Из современных литературных настроений» (1921, № 3) частично повторяет материал, использованный критиком в статьях «Долой разум!» и «Цивилизаторы», опубликованных в иваново-вознесенской газете. Критическое обозрение белоэмигрантской литературы, которое делали в журнале разные авторы, в том числе и сам Воронский, было начато им еще во время работы в «Рабочем крае» [61].

Хотелось бы здесь отметить такое обстоятельство: идея о новом литературно-художественном журнале довольно широко обсуждалась в литературных кругах Иваново-Вознесенска. Еще в конце 1918 г. ивановские литераторы обратились к Горькому с открытым письмом, в котором приветствовали его огромную работу по строительству новой культуры и писали о необходимости издавать «хороший, живой литературно-художественный журнал, который бы объединил все передовые творческие силы страны» («положить начало такому журналу» они просили самого Горького). Письмо это было опубликовано в «Рабочем крае» 14 декабря 1918 г. Авторами его, как видно из архивных источников, были М. Артамонов и Д. Семеновский [62]. О замысле издавать в Иванове литературно-художественный журнал под названием «Светлая явь» сообщается в статье И. Жижина «Первый журнал» («Рабочий край», 27 ноября 1920 г.). С просьбой о сотрудничестве предполагалось обратиться к М. Горькому, А. Блоку и ряду других видных писателей. С изданием журнала тогда ничего не получилось. Но сама идея нового журнала, который бы собрал литературные силы страны и создал соответствующую литературную среду, как говорится, «носилась в воздухе». Заслуга Воронского заключалась в том, что он первым встал на путь ее практической реализации. Он обратился к В. И. Ленину, и его инициатива получила одобрение вождя: редактором «Красной нови» стал А. К. Воронский, а А. М. Горький возглавил литературно-художественный отдел журнала.

История организации журнала «Красная новь» освещена в воспоминаниях Воронского [63] и в ряде исследований по истории советской журналистики и литературы [64]. В данном случае нам хотелось бы обратить внимание на следующее обстоятельство. А. К. Воронский был известен В. И. Ленину не только как участник Пражской партийной конференции и не только из рассказов о нем сестры Марии Ильиничны Ульяновой, которая хорошо знала его по совместной революционной работе в Саратове. В. И. Ленин знал Воронского и как редактора «Рабочего края», и как публициста, и как ответственного партийного работника в Иваново-Вознесенске. В Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма хранятся два письма Воронского к Ленину, написанные им в период, когда он был редактором «Рабочего края»,— в ноябре 1919 г. и 26 сентября 1920 г. Излагая содержание этих писем и публикуя письмо от 21 апреля 1922 г., И. Смирнов пишет: «О Воронском Ленин был высокого мнения, считал его старым, надежнейшим партийцем. Именно этими словами он охарактеризовал А. К. Воронского, направляя его ноябрьское письмо 1919 года в военное ведомство» [65].

Таким образом, выдвигая кандидатуру Воронского на пост редактора «Красной нови», В. И. Ленин несомненно учитывал его успешную литературно-редакторскую, партийную и государственную деятельность в Иваново-Вознесенске.

Издание журнала «Красная новь» было событием в культурной жизни страны, имело большое значение для развития советской литературы.

Небезынтересно отметить, что первые номера журнала подверглись обстоятельному и сочувственному рецензированию в иваново-вознесенской печати: в газете «Рабочий край» (12 июля и 5 октября 1921 г.), в альманахе «Начало», № 1, 1921 (рецензия С. Селянина), № 2-3, 1922 (рецензия Д. Фурманова). Кроме того, в «Рабочем крае» публиковались некоторые материалы, которые шли в «Красной нови» (статьи А. Воронского, статья Н. Л. Мещерякова «Наши за границей»). Особое значение имеет статья Воронского по поводу работы В. И. Ленина «О продовольственном налоге». Между прочим, Воронский писал в ней:

«На днях редакция художественно-научного журнала Главполитпросвета «Красная новь» издает отдельным оттиском статью т. Ленина «О продовольственном налоге», написанную им для первого номера журнала, находящегося в наборе. Статья в два печатных листа посвящена самым злободневным вопросам текущей внутренней политики, и имя автора говорит само за себя.

〈. . .〉 пользуясь корректурным оттиском, мы постараемся познакомить читателя «Рабочего края» с наиболее интересными местами статьи тов. Ленина. При этом недостаток места заставляет нас воздержаться от тех или иных замечаний».

Дальше идет изложение статьи, обширная цитация, привлечение других работ Ленина («Грозящая катастрофа и как с ней бороться»). Приводим то место статьи Воронского, где высказывается оценка работы В. И. Ленина:

«Статья тов. Ленина читается с глубочайшим вниманием. Не только потому, что она написана по самым животрепещущим вопросам нашей внутренней политики человеком, который без всякого преувеличения может быть назван творцом этой политики. Статья тов. Ленина привлекает к себе внимание также благодаря мастерскому подходу к этим вопросам с точки зрения марксистской диалектики. 〈...〉. Это — образец марксистского подхода к сложным явлениям советской действительности. Бесспорные мысли соединяются с практической дальнозоркостью и осторожностью. Отдельные явления хозяйственной деятельности поставлены на свои места, оценена и осмыслена с точки зрения торжества коммунизма их роль и значение» (5 мая 1921 г.).

Рецензирование отдельных номеров «Красной нови», перепечатка публикуемых в ней материалов были формой популяризации и поддержки журнала, свидетельством прочных, близких и заинтересованных контактов между газетой «Рабочий край» и ивановскими литераторами — с одной стороны и А. К. Воронским — с другой.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «На стыке». М.— П. ГИЗ, 1923; «Искусство как познание жизни и современность». Ив.-Вознесенск, «Основа», 1924; «Искусство и жизнь». М.— П., «Круг», 1924; «Об искусстве». М., «Правда», 1925; «Литературные типы». М., «Круг», 1926; «Литературные записи». М., «Круг», 1926; «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна». М., «Круг», 1927; «Искусство видеть мир». М., «Круг», 1928; «Литературные портреты». В 2-х томах. М., «Федерация», 1928—1929.

[2] См.: А. Дементьев. А. Воронский — критик.— В кн.: А. Дементьев. На новом этапе. Статьи о литературе. М., «Сов. писатель», 1965; Очерки истории русской советской журналистики. 1917—1932. М., «Наука», 1966; В. П. Раков. Вопросы творческой индивидуальности писателя в работах А. К. Воронского.— В кн.: «Проблемы стиля, метода и направления в изучении и преподавании художественной литературы». М., 1969; С. Шешуков. Неистовые ревнители. Из истории литературной борьбы 20-х годов. М., «Московский рабочий», 1970; А. А. Ревякина. Вопросы специфики художественного творчества в литературной критике 20-х годов и теория «непосредственных впечатлений» А. К. Воронского.— В кн.: «Литературные направления и стили». Изд-во Москов. ун-та, 1976; Gabriela Pogębina. Aleksander Woronski. Poglądy estetyczne i krytycznoliterackie (1921—1928). Wrocław, 1964. (Prace Komisji Słowianoznawstwa PAN (Kraków), N 6); Robert A. Maguire. Red Virgin Soil Soviet literature in the 1920's. Princeton New Jersey, Princeton university presse, 1968. (Studies of the russian institute Columbia university) и др.

[3] О. Семеновский. В начале века. Из истории дооктябрьской марксистской литературной критики. Кишинев, «Картя молдовеняска», 1971, с. 310.

[4] Письмо Воронского к А. М. Горькому от 16 июня 1926 г.— *Архив Горького*, т. X, кн. 2, с. 35.

[5] См. А. Воронский. Избранное. М., «Художественная литература», 1976, с. 464—465, 591—598 и др.

[6] «Деятели революционного движения в России. Био-библиографический словарь», т. 5, ч. 2. М., 1933, стб. 1029. Сотрудничество Воронского в этих газетах не стало еще предметом изучения, хотя, например в «Известиях» он неоднократно печатался (сообщено О. В. Семеновским); много статей напечатано также в газетах «Голос пролетария» и «Солдатская мысль» (сообщено Г. А. Воронской).

[7] И. О в с я н н и к о в. Соратники и друзья.— «Тамбовская правда», 1977, № 105, 5 мая. Между прочим, Е. Д. Стасова, хорошо знавшая Воронского, высоко ценила его и на вопрос об издании его работ так писала 24 июня 1957 г. в Комиссию по литературному наследию критика: «Нет у меня никаких пожеланий относительно издания сочинений А. К. Воронского, кроме одного, чтобы сочинения его были бы изданы возможно полнее, если нельзя сделать, чтобы было издано *все* написанное им» (письмо Е. Д. Стасовой хранится в семейном архиве Г. А. Воронской).

[8] Подпись А. К. Воронского как редактора «Рабочего края» появляется лишь 31 августа 1920 г. До этого газета не подписывалась. Очевидно этим объясняется ошибка Н. В. Копеина, отнесшего начало работы Воронского редактором «Рабочего края» к 1920 г. (Н. К о п е и н. Газетные страницы рассказывают (Из истории партийной печати Ивановской области). Ивановское кн. изд., 1959, с. 40—41). В книге «1918 год в Иваново-Вознесенской губернии. Хроника событий» (Ив.-Вознесенск, Истпарт обкома ВКП(б), 1930, с. 269, 271) отмечается, что на четвертом губернском съезде Советов, проходившем 6—8 сентября 1918 г., А. К. Воронский избран членом Иваново-Вознесенского губисполкома; тогда же, 8 сентября, бюро окружкома РКП(б) рекомендовало утвердить его редактором губернской газеты. Однако это не означает, что до сентября Воронский не был редактором «Рабочего края».

[9] Мих. А р т а м о н о в. Первые годы «Рабочего края.— «Рабочий край», 1928, № 101, 5 мая.

[10] Партийный архив Ивановского обкома КПСС (далее обозначается: ПАИО), ф. 2, оп. 1, д. 2, л. 5, 24, 42; ф. 2, оп.2, д. 6, 7.

[11] Так, из программы курсов по внешкольному образованию, которые возглавлял Д. А. Фурманов, видно, что А. К. Воронский читал там лекции по истории социализма (Рукописн. отдел ИМЛИ, II. 62.1347). Фурманов и Воронский в это время близко знали друг друга, постоянно общались на заседаниях губкома партии и губисполкома (частично об этом см.: П. В. К у п р и я н о в с к и й и Л. А. Р о з а н о в а. Д. А. Фурманов — секретарь губкома.— В кн.: «Дмитрий Андреевич Фурманов. (Сб. статей и материалов)». Иваново, 1971 («Уч. зап. Иванов. пед. ин-та», т. 74). Не лишне в связи с этим отметить такой факт. 15 марта 1919 г. Воронский поместил в «Рабочем крае» (№ 59) статью «О выгодах», которая в значительной своей части посвящена защите Фурманова от клеветы на него. В статье Воронский пишет, что вступление в Коммунистическую партию бывших эсеров, меньшевиков, анархистов и т. д. враги Советской власти использовали для дискредитации партии и этих людей («перекинулись из шкурных интересов»). «На одном из собраний ‹...› особенно сильно досталось Фурманову, бывшему анархисту. Между тем, как обстояло дело с ним? Тов. Фурманов до вступления в партию был помощником заведующего губернским отделом просвещения. Его «благополучию» ничто не угрожало. Во дни ярославского мятежа Фурманов решил вступить в партию коммунистов и мобилизовался вместе с другими коммунистами... Всякому немного добросовестному человеку известно, что вступить в партию коммунистов, когда чехи взяли Казань, шли на Нижний, когда в Ярославле сидели белогвардейцы,— вступить в партию в эти дни из-за каких-то выгод — смешно и нелепо.

Как известно, вступление в партию влечет за собой полное подчинение партийной дисциплине. В отношении т. Фурманова с партийной дисциплиной дело обстоит так: он отправлен на фронт и назначен комиссаром бригады, находящейся в действии против противника. Хорошая «выгода»?».

[12] ПАИО, ф. 2, оп. 3, д. 6, л. 41.

[13] В 1921 г. из Москвы Воронский прислал в газету 7 статей. В сборниках были напечатаны следующие его статьи: «М. Горький», «Песни северного рабочего края», «Перегруппировка сил».— Литературно-художественный и публицистический альманах «Начало», 1921, № 1; «Иностранные делегаты в Иваново-Вознесенске».— «Иваново-Вознесенский губернский ежегодник (календарь-справочник) на 1921 год». Иваново-Вознесенск, 1921, с. 62—69. (О посещении Иванова Серрати, Ж. Садулем, М. Кашеном, К. Цеткин и другими представителями рабочих организаций, социалистических и коммунистических партий.)

[14] Письмо Г. А. Воронской от 20 мая 1966 г. к автору настоящей работы.

[15] См. статьи А. Воронского «Красная губерния» («Рабочий край», 1919, № 296, 28 декабря), «Песни северного рабочего края» («Красная новь», 1921, № 2), «Рабочему краю» («Рабочий край», 1926, № 31, 7 февраля).

[16] «Помню наши встречи в губкоме. 20—30 работников почти ежедневно собирались вечером у Ольги Афанасьевны Варенцовой (секретаря губкома) и обсуждали политические события. Главным руководителем этого «кружка» был Воронский. Какие только вопросы здесь не всплывали. К каждому из них Воронский подходил особенно, так сказать, индивидуально, каждого сумел он вызвать на разговор, на его любимую тему, из каждого извлекал он то, что ему нужно было для руководства газетой» (Г. Б е й ч е к. Из странички прошлого.— «Рабочий край», 1926, № 33, 10 февраля).

[17] С. и С. ‹Д. С е м е н о в с к и й и С. С е л я н и н›. По пути к массовой. (Этапы

«Рабочего края»).— «Рабочий край», 1926, № 31, 7 февраля. См. также другое свидетельство, в котором утверждается, что газета «Рабочий край» «заметно оживилась, когда в качестве редактора прибыл А. Воронский», и дается характеристика Воронского-редактора (И. Майоров. Иваново-вознесенские газеты. (Отрывки воспоминаний за 7 лет).— «Рабочий край», 1924, № 202, 5 сентября).

[18] Г. Бейчек. Из странички прошлого.— «Рабочий край», 1926, № 33, 10 февраля.

[19] Письмо в Государственное издательство комиссару по распределению бумаги от 20 января 1920 г. Опубликовано в статье Е. Динерштейна «Комментарий к ленинской записке».— *ВЛ*, 1970, № 3, с. 246.

[20] И. Любимов. Возникновение рабочей печати в Ив.-Вознесенске.— «Рабочий край», 1926, № 31, 7 февраля.

[21] «Правда», 1918, № 263, 4 декабря.

[22] *ВЛ*, 1970, № 3, с. 246.

[23] А. Воронский. Рабочему краю.— «Рабочий край», 1926, № 31, 7 февраля.

[24] См.: «А. К. Воронский в иваново-вознесенской печати (1918—1926). Библиографический указатель». ‹Сост. П. В. Куприяновский›. Иваново, 1979. (Ивановский гос. ун-т).

[25] Тогда же, в 1920 г., в Иваново-Вознесенске вышла отдельным изданием брошюра А. Воронского «В. И. Ульянов (Ленин). (К пятидесятилетию со дня рождения)». Это была одна из первых книг о В. И. Ленине, написанных и изданных в советское время. Экземпляр этой книги имелся в кремлевской библиотеке вождя (см.: «Библиотека В. И. Ленина в Кремле. Каталог книг», М., Всесоюз. кн. палата, 1961, с. 122). Кстати, имелась в библиотеке также и книга Воронского «На стыке» (там же, с. 481), в которую вошли некоторые его статьи, публиковавшиеся в газете «Рабочий край»: «Г. В. Плеханов (1918—1920 гг.)», «Г. Уэллс о Советской России», «Из одного дневника».

[26] И. Ф. Масанов. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей, т. 4. М., Всесоюз. кн. палата, 1960, с. 114. Псевдоним Нурмин, по свидетельству Г. А. Воронской, происходит от названия станции Нурма в Финляндии, где Воронский одно время жил.

[27] А. Дементьев. На новом этапе, с. 343.

[28] Правда, в 1919—1921 гг. в «Рабочем крае» появлялись за подписью В. Г. статьи на юридическую тему — они принадлежали юристу В. А. Гуськову и резко отличались по стилю от тех статей, которые мы приписываем Воронскому.

[29] С 3 февраля 1920 г. передовые статьи подписывал главным образом В. А. Смирнов, иногда П. Заславский. В марте в «Рабочем крае» печатались «Письма с Украины» А. Воронского (№ 52, 54, 58, 61 за 6, 9, 14 и 18 марта). В апреле Воронский присутствовал на Всероссийской партийной конференции и IX съезде партии, был занят подготовкой к 50-летнему юбилею В. И. Ленина. 5 мая 1920 г. (№ 96) в газете появляется сообщение «В редакции» следующего содержания: «4-го сего мая приступил к редактированию газеты «Рабочий край» тов. А. К. Воронский».

Начиная с июля 1920 г. и кончая началом января 1921 г. количество статей Воронского в «Рабочем крае» резко уменьшилось (в среднем по 8 статей в месяц). Статьи стали более пространными и подписывались как правило А. Воронский, изредка — А. В., лишь дважды — Нурмин (маленький фельетон «Совещание» — № 151, 10 июля 1920 г. и статья «Клара Цеткин» — № 236, 19 октября 1920 г.). Псевдонимы Глинский, В. Г. и Н. не встречаются. В этот период Воронский не раз уезжал из Иванова. Так, в июле и августе некоторые передовые подписаны: В. Сокол; 12 сентября — 4 октября и 19—31 декабря редактором газеты значится Вас. Смирнов.

[30] См. в «Словаре псевдонимов» И. Ф. Масанова фамилии: Артамонов М. Д., Ноздрин А. Е., Семеновский Д. Н., Жижин И. И., Колоколов Н. И., Баркова А. А., Коробов Я. Е., Селянин С. А., Майоров И. А., Огурцов С. А., Тимонин А., Дмитриев Ф. и др. Как явствует из материалов И. Ф. Масанова, хранящихся в ЦГАЛИ (ф. 317), он переписывался с А. Е. Ноздриным, который сообщил ему свои псевдонимы и псевдонимы других литераторов — активных сотрудников газеты. Писатель и критик Николай Павлович Смирнов, часто печатавшийся в «Рабочем крае» при А. К. Воронском, сообщил псевдонимы автору настоящей статьи (среди них нет псевдонимов, которые мы приписываем Воронскому).

[31] Ввиду того, что статьи А. К. Воронского, опубликованные в «Рабочем крае», неизвестны и мало доступны, мы считаем необходимым пространно их цитировать и излагать. Ссылки на них даются в тексте.

[32] Разрядка Воронского. В дальнейшем подчеркивания, принадлежащие авторам цитат, специально не оговариваются.

[33] G. Porębina. Op. cit., s. 144.

[34] Ср. также: А. Воронский. По поводу одного слуха.— «Рабочий край», 1920, № 168, 31 июля.

[35] О А. И. Куприне в статьях Воронского, помещенных в «Рабочем крае», нет развернутых суждений. В целом он говорит о нем в контексте «отошедшей» литературы, что не исключает положительной оценки некоторых сторон его творчества и его отдельных произведений. Например, публицистическая статья «Народ, революция и интеллигенция» (28 июня 1918 г., № 91, подпись: В.) начинается словами: «У Куприна есть прекрасная легенда». И далее пересказывается легенда о мужественном народе,

который поклонялся будто бы живой прекрасной женщине — богине смерти, оказавшейся на самом деле безобразной старухой. Воронский обращается здесь к рассказу-легенде «Аль-Исса» (1894).

[36] См.: Вл. О р л о в. Поэма Александра Блока «Двенадцать». Страница из истории советской литературы. Изд. 2-е, доп. М., «Художественная литература», 1967, с. 150—195.

[37] При характеристике этой психики Воронский опирается на высказывание героя «Железной пяты» Д. Лондона — вожака рабочих Эвергарда, который говорит ученым старого общества: «Вы анархисты в области мысли. И все вы безумные создатели особых миров. Каждый из вас живет в своем мирке, который он создал по своему собственному желанию и представлению». Позднее на это высказывание Воронский будет ссылаться, выступая против субъективизма в литературе (А. В о р о н с к и й. Искусство как познание жизни и современность.— КН, 1923, № 5, с. 351).

[38] В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 35, с. 195.

[39] О статьях Воронского, посвященных Горькому (опубликованы в 1911 году в «Евпаторийских новостях» и одесской газете «Ясная заря»), см.: О. С е м е н о в с к и й. В начале века, с. 294—300.

[40] Статья эта была написана Воронским под впечатлением встречи с Лениным, Горьким и Крупской по поводу основания журнала «Красная новь» и сразу же послана в «Рабочий край». Поскольку она опубликована там 13 февраля 1921 г., следует признать ошибочным утверждение: «Встреча Воронского с Лениным и Горьким, о которой рассказывается в статье, была в марте 1921 года» (см. «Примечания» в кн.: А. В о р о н с к и й. Литературно-критические статьи. М., «Сов. писатель», 1963, с. 420).

[41] Очерк «Лапочка» был опубликован в газете «Новая жизнь» 19 июня 1918 г. за подписью: М. Горький. В письме к В. Итину Горький разъяснил, что очерк написан его сыном М. А. Пешковым («Сибирские огни», 1933, № 1, с. 160; см. также: С. Б а л у х а т ы й. Литературная работа М. Горького. М.— Л., «Academia», 1936, с. 245).

[42] По поводу этих материалов см.: П. К у п р и я н о в с к и й. Горький. Фурманов. Серафимович. А. Толстой. (Литературно-краеведческие очерки). Ивановское кн. изд., 1960, с. 14—21.

[43] «Рабочий край», 1919, № 118, 31 мая.

[44] А. К. Воронский писал также и о романе А. Франса «Восстание ангелов», используя его в полемике с журналом харьковских меньшевиков «Мысль». См. Н у р м и н. Политические заметки. Перлы.— «Рабочий край», 1919, № 123, 6 июня.

[45] В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 52, с. 58.

[46] См.: Дм. С е м е н о в с к и й. М. Горький. Письма и встречи. 2 изд. Ивановское кн. изд., 1961.

[47] Более подробно о кружке ивановских поэтов при «Рабочем крае» см. нашу статью «Кружок настоящих пролетарских писателей» в журнале «Волга», 1966, № 1, а также в кн.: П. К у п р и я н о в с к и й. Сквозь время. Статьи о литературе. Ярославль, Верхне-Волжское кн. изд., 1972, с. 136—142. В альманахе № 1 «Коробейник» (Ив.-Вознесенск, 1922) напечатана статья Вл. Загорского «Наши поэты», где даны краткие характеристики 21 ивановского поэта.

[48] Мих. А р т а м о н о в. В редакции.— В кн.: «Ловцы новостей. (Журналистика в лицах)». Сб. под ред. П. Краснова. М.— Л., «Земля и фабрика», 1930, с. 164. В рассказе описывается редакция газеты «Рабочий край» первых лет революции, дается портрет редактора. Хотя ни названия газеты, ни фамилии редактора в рассказе нет, он носит строго фактический характер и проецируется на газету «Рабочий край» и Воронского. В частности, о редакторе есть такие заметки. Редактору «нужно писать в день по две и по три статьи: газета большая, немного меньше столичных, в четыре полосы» (с. 162); «Редактор — литератор, публицист, лектор и оратор — приобретает все большее и большее влияние в кругах местной власти. Он работает в губкоме, губисполкоме, он член ВЦИКа. Он делает доклады, читает лекции, выступает на рабочих собраниях. Без него, кажется, не обходится ничего. Рано утром он уже в редакции — пишет очередные статьи. Днем звонит телефон:

— Товарища В. к телефону.— Вы назначаетесь туда-то.
— Не могу. У меня номер не готов...
— Больше некого послать.
— Не могу же я бросить газету.

Поговорит, поругается, потом бежит на собрание или на митинг по указанию губкома. Все меньше и меньше он начинает уделять внимания газете. Иногда лежит в папках интересный материал, но он не может просмотреть. А тут снова надо готовиться к выступлению, к лекции, к заседанию. И снова кричит он в трубку телефона:

— Да не могу же я, поймите! Одно из двух: или газета, или совсем отойти от нее...

Редактор отзывается в центр. На смену ему назначен другой, но и он сменяется новым. Редакторы стали меняться. ‹...› Когда-то бойкая газета стала терять интерес» (с. 174—175).

[49] С. С е л я н и н. Поэзия в «Рабочем крае».—«Рабочий край», 1924, № 202, 5 сентября.

[50] С. ‹Д. С е м е н о в с к и й›. Писатели «Рабочего края».— «Рабочий край», 1928, № 101, 5 мая.

[51] «Рабочий край», 1928, № 101, 5 мая. О «литературных вторниках» подробно пишет также С. Селянин в цитировавшейся статье «Поэзия в «Рабочем крае».

[52] «Рабочий край», 1928, № 101, 5 мая.

[53] В связи с этим сошлемся на рассказ А. Медникова о том, как Воронский помог ему издать «Задачи Союзов молодежи» — речь В. И. Ленина на III Всероссийском съезде РКСМ: А. М е д н и к о в. Слово Ленина к молодежи.— «Рабочий край», 1975, № 232, 2 октября. По-видимому, аналогично было и с изданием литературно-художественных сборников.

[54] «Крылья свободы». (Советский песенник и декламатор). Ив.-Вознесенск, 1919, с. 3.

[55] См. А. В. Л у н а ч а р с к и й. Собр. соч. в 8 томах, т. 2. М., «Художественная литература», 1964, с. 219. Кстати отметим, что А. В. Луначарский посетил Иваново-Вознесенск 17—19 апреля 1919 г. Не исключена возможность, что тогда же через Воронского, с которым близко общался, он познакомился с некоторыми ивановскими поэтами и их творчеством. По воспоминаниям старожилов, Луначарский с удивлением говорил, что с приходом революции промышленный, немузыкальный Иваново-Вознесенск превратился в своего рода «поэтические Афины». По его инициативе Наркомпрос республики принял в 1921 г. постановление о передаче ивановским поэтам десяти специальных пайков («Известия АН СССР. ОЛЯ», 1959, т. XVIII, вып. 3, с. 256). О помощи Луначарского А. Барковой см.: Н. А. Т р и ф о н о в. Из опыта работы Луначарского с молодыми писателями.— В кн.: «А. В. Луначарский. Исследования и материалы». Л., «Наука», 1978, с. 148—149.

[56] «Красная улица». Стихи и песни. Ив.-Вознесенский губсовнархоз. Государственная типография, 1920, с. 4.

[57] Об этом же свидетельствуют и проводы Воронского в Москву, организованные в редакции газеты 22 января 1921 г. С. Селянин в цитировавшейся статье «Поэзия в «Рабочем крае» так их описывает: «Мы расставались с человеком, которому много были обязаны. Это он сделал «Рабочий край» одной из лучших провинциальных газет, это он сумел съединить в редакции сотрудников, он воспитал многих начинающих поэтов. Даже «Пустослов» настроился в этот вечер на минорный тон». И далее Селянин приводит стихи М. Артамонова, посвященные Воронскому и вписанные в «Пустослов» — рукописный журнал редакции «Рабочего края»:

Редеет семья трудовая...
За далью — печалью дневной
Тропинка легла золотая
К неведомой жизни иной.
Иные настанут мгновенья,
Но сердце в незнаемый час,
В минуту тревог и волненья,
Быть может, напомнит о нас.
И как не печалиться, зная,
Что врозь разошлися пути?
Страницу в историю края
Не каждый сумеет внести.

[58] А. В о р о н с к и й. Литературно-критические статьи, с. 54.

[59] Письмо А. К. Воронского В. И. Ленину. (Публикация И. Смирнова).— НМ, 1964, № 12, с. 216.

[60] А. К. В о р о н с к и й. Встречи и беседы с Максимом Горьким. (Из воспоминаний).— В кн.: «В. И. Ленин и А. М. Горький». Изд. 3, доп. М., «Наука», 1969, с. 455.

[61] Софья Виноградская сообщает, что В. И. Ленин назначил Воронского своим референтом по литературе белой эмиграции (С. В и н о г р а д с к а я. Если подойдет...— «Огонек», 1962, № 18, с. 7). Когда это произошло — точно не установлено, но не исключено, что боевые выступления Воронского в «Рабочем крае» против белогвардейской печати были Ленину известны.

[62] Оригинал письма хранится в архиве А. М. Горького в ИМЛИ. В связи с этим отметим и такой факт. Еще 14 сентября 1918 г. губком (окружком) партии поручил А. К. Воронскому составить смету расходов на задуманный двухнедельный партийный журнал. Особенно горячо настаивал на организации этого издания Фурманов. 9 ноября 1918 г. Воронский представил в губком подробно разработанную смету, в которой, в частности, говорилось об отделах журнала: «Кроме освещения чисто партийного или профессионального вопросов, журнал должен иметь литературный и богато поставленный краевой отделы, где бы давались картинно-живые обозрения разных начинаний и работ на местах. Долгий опыт показал, что эти отделы значительно увеличат тираж издания» (ПАИО, ф 1, оп. 1, д. 15, л. 27).

[63] А. В о р о н с к и й. Из прошлого.— «Прожектор», 1927, № 6, с. 19—20.

[64] М. М. К у з н е ц о в. «Красная новь».— В кн.: «Очерки истории русской советской журналистики. 1917—1932». М., «Наука», 1966; А. Д е м е н т ь е в. В. И. Ленин и советская литература. М., «Художественная литература», 1977.

[65] НМ, 1964, № 12, с. 215.

БОРИС ПАСТЕРНАК

ИЗ ПЕРЕПИСКИ С ПИСАТЕЛЯМИ

Предисловие и публикация Е. Б. и Е. В. Пастернаков

Начало 20-х годов застает Бориса Леонидовича Пастернака сложившимся писателем. Предшествующие семь лет (1913—1920) были для него временем выработки профессиональных навыков, за этот период им было задумано и написано огромное количество работ, большая часть которых впоследствии была утеряна или уничтожена автором. В общий неполный перечень сделанного за эти годы входит пять стихотворных сборников, столько же повестей, роман, драма в стихах, две поэмы, книга статей об искусстве и психологии; в то же время переведено шесть пьес Клейста, Суинберна и Бен Джонсона, стихи Гете, Ш. ван Лерберга, Верхарна, Рильке [1]. Пастернак отказался от какой-либо службы, ограничив себя литературным переводом в качестве побочного заработка. После выхода книги «Сестра моя жизнь» (1922) он попадает в рязряд первых литературных имен своего времени. Критика отмечает его безусловное влияние на современников, в особенности на пишущую молодежь.

В 1923 г. издаются написанные ранее «Темы и варьяции», в 1925 г. — «Рассказы», растет возможность печататься в журналах и альманахах.

Широкую известность получили историко-революционные поэмы «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт». Пастернак писал тогда в журнале «На литературном посту»: «Я считаю, что эпос внушен временем, и поэтому в книге «1905 год» я перехожу от лирического мышления к эпике, хотя это и очень трудно» [2].

Центральными работами этого времени следует считать роман в стихах «Спекторский» и повесть «Охранная грамота». Сборники «Поверх барьеров», вышедшие в 1929 и 1931 гг., объединили стихи, переработанные с новых позиций, а книга «Воздушные пути» (1933) включила повести и рассказы.

Ярким свидетельством пережитого, продуманного и воплощенного в эти годы служат письма. Помимо того, что по ним достоверно восстанавливаются моменты биографии Пастернака, его письма в большинстве случаев представляют собой самостоятельный жанр, по праву заслуживающий название эпистолярной лирики [3]. Пастернак всегда и прежде всего оставался художником слова. Он неоднократно говорил, что не может вести дневник, потому что наблюдения и мысли при попытке записать их сразу воплощаются у него в образ, приобретают художественную форму, т. е. становятся литературой.

Переписка Пастернака в целом охватывает полвека (1910—1960) и может составить несколько томов, подготовка которых к печати едва начинается. Первые публикации его писем [4] привлекли широкий интерес. Для настоящего тома «Литературного наследства», включающего материалы по истории советской литературы 20—30-х годов, естественно было дать ту часть переписки Пастернака, которая приходится на этот период и историко-литературное значение которой наиболее полно соответствует характеру издания.

Такова переписка с Анной Андреевной Ахматовой и Николаем Семеновичем Тихоновым, поэтами, чье соседство в литературе и дружба были особенно дороги Пастернаку.

Тихонов олицетворял для Пастернака стихию революции и современности. Их близость была наибольшей в 20-е годы, когда Пастернак восхищался Тихоновым, как образцом мужественности в жизни и поэзии, и называл его своим «младшим братом» [5]. Тихонов отвечал ему взаимностью.

Отношение Пастернака к Анне Ахматовой и ее поэзии характеризует дарственная надпись, сделанная им на двухтомнике своих переводов шекспировских драм: «Анне Андреевне Ахматовой, началу тонкости и окончательности, тому, что меня всегда ободряло и радовало, тому, что мне сродно и близко и что выше и больше меня. Б. Пастернак. 10 мая 1952 г.» [6]

Переписка с литературными критиками и издательскими деятелями представлена письмами к Вячеславу Павловичу Полонскому, Павлу Николаевичу Медведеву и Сергею Александровичу Обрадовичу.

Полонский, на наш взгляд, был тем человеком, чья дружба и поддержка определили переход Пастернака к эпической тематике и его стремление к более тесной связи с социальной действительностью. В 1934 г. Пастернак так подытожил свои отношения с ним и «Новым миром»: «Не верится, что это всего десятилетие,— столь определяющая часть жизни падает на эти годы. Кажется, чуть ли не с первого литературного рождения журнал вел меня, воспитывал и переделывал к лучшему. В особенности, наряду с нынешним его руководством, относится это к годам редактирования Вячеслава Павловича Полонского» [7].

Отношения с заведующим литературно-художественным отделом Ленгиза П. Н. Медведевым связаны с подготовкой предполагавшегося в 1929 г. издания «Спекторского». Письма к Медведеву освещают не только историю этого неосуществленного издания, характерную для биографии Пастернака, но и самый процесс работы над романом. Они значительны еще и тем, что раскрывают взгляды Пастернака на формальный метод и его критику, высказанные им по поводу книги Медведева «Формальный метод в литературоведении» [8]. Пастернак, вероятно, знал, что к созданию книги причастен М. М. Бахтин, который, таким образом, косвенно включается в переписку.

В письме к С. А. Обрадовичу Пастернак комментирует написанные им в 1927 г. стихи «К Октябрьской годовщине» и обосновывает свой тогдашний подход к этой теме и связанные с ней творческие замыслы.

Большой интерес представляют письма Пастернака к Владимиру Познеру и Джорджу Риви, переводчикам его поэзии на французский и английский языки и авторам появившихся в 1920-е годы за границей работ о советской литературе.

Поздравительное письмо к юбилею известного педагога и популяризатора русского фольклора, артистки и писательницы Ольги Эрастовны Озаровской — не только пример умения сделать такое письмо светлым и праздничным, но и характерный знак глубокого интереса Пастернака к фольклорным истокам художественной литературы.

[1] Сведения взяты из «Анкеты профессионального союза поэтов» (1919; см. наст. том: Пастернак — Полонский, п. 2, прим. 1), и из очерка *Люди и положения*, с. 224.

[2] «На лит. посту», 1927, № 4, с. 74.

[3] *ВЛ*, 1972, № 9, с. 139.

[4] «Горький и советские писатели. Неизданная переписка».— *ЛН*, т. 70; «Край, ставший мне второй родиной (Письма Б. Пастернака к грузинским писателям)».— *ВЛ*, 1966, № 1; «Письма друзьям».— «Лит. Грузия», 1966, № 1-2; «Письма Б. Л. Пастернака к М. В. Юдиной».— «Записки отдела рукописей ГБЛ, вып. 29. М., «Книга», 1967; «Из писем Б. Пастернака к С. Спасскому». — *ВЛ*, 1969, № 9; «К переводам шекспировских драм (Из переписки Бориса Пастернака)».— В кн. «Мастерство перевода». М., «Сов. писатель», 1969; «Чудо поэтического воплощения (Письма Бориса Пастернака)».— *ВЛ*, 1972, № 9; «Пастернак и Козинцев. Письма о Гамлете».— *ВЛ*, 1975, № 1; «Из переписки Рильке, Цветаевой и Пастернака в 1926 г.» — *ВЛ*, 1978, № 4; «Письма к В. М. Саянову.— «Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1977 год». Л., «Наука», 1979; «Иозеф Гора и Борис Пастернак».— *ВЛ*, 1979, № 7; «Письма грузинским друзьям».— «Лит. Грузия», 1980, № 2, «Письма к М. А. Волошину и О. Д. Форш», «Письма к Г. Э. Сорокину». — «Ежегодник рукописного отдела ПД на 1979 г.». Л., 1981, с. 191—227.

[5] Письмо к О. М. Фрейденберг, 3 января 1928 г. (*АП*).

[6] Печатается по фотокопии, предоставленной нам Ахматовой (оригинал утерян).

[7] *НМ*, 1934, № 12, с. 9.

[8] П. Н. Медведев. Формальный метод в литературоведении. Критическое введение в социологическую поэтику. Л., «Прибой», 1928.

БОРИС ПАСТЕРНАК — АННА АХМАТОВА

В очерке «Люди и положения» Пастернак восстанавливает момент своего первого знакомства с поэзией Анны Ахматовой. Он пишет о том, как в 1915 г. ее стихи поразили его живой реальностью своего содержания: «Я хорошо помню. Лучи садившегося осеннего солнца бороздили комнату и книгу, которую я перелистывал. Вечер в двух видах заключался в ней. Один легким порозовением лежал на ее страницах. Другой составлял содержание и душу стихов, напечатанных в ней. Я завидовал автору, сумевшему такими простыми средствами удержать частицы действительности, в нее занесенные. Это была одна из первых книг Ахматовой, вероятно, «Подорожник» [1].



Б. Л. ПАСТЕРНАК

Рисунок Л. О. Пастернака (ит. карандаш). Берлин, 12 марта 1923 г.

На полях надписи: «L. Pasternak»; «Пастер‹нак› 12/III 23»; «Мой сын Борис. Л. Паст‹ернак›»

The Ashmolean Museum of archaeology and art (Музей археологии и искусства Эшмола), Оксфорд

Вспоминая во всей свежести первого впечатления подробности этого чтения, Пастернак забыл название книги. Это никак не мог быть названный им «Подорожник», потому что сборник этот вышел только в 1921 г. [2] Название книги угадывается в самом тексте очерка: «Вечер в двух видах заключался в ней». Это именно впечатление от чтения первой книги Ахматовой «Вечер», но в руках у Пастернака был, вероятно, не сам «Вечер», изданный в 1912 г. [3], а «Четки» [4], включавшие «Вечер» отдельным разделом в конце книги.

Вероятно, Пастернак познакомился с Ахматовой в январе 1922 г., когда ненадолго приезжал в Петроград. Во всяком случае, встретившись с Цветаевой, он рассказал ей об этом знакомстве, назвав «основной земной приметой» Ахматовой «чистоту внимания». «Она напоминает мне сестру» [5],— добавил он.

И так на всю жизнь,— всякий раз, в стихах, в разборах, стремясь охарактеризовать творчество Ахматовой, Пастернак возвращался к первому нетускнеющему воспоминанию:

Но, исходив из ваших первых книг,
Где крепли прозы пристальной крупицы... (п. 3)

Для Пастернака «пристальность прозы» — лучшее качество стихов.

Об этом же он пишет в неопубликованной рецензии на книгу стихотворений Ахматовой «Избранное» (Ташкент, 1943): «Эротической абстракции, в которую часто вырожда-

ется условно живое «ты» большинства стихотворных излияний, Ахматова противопоставила голос чувства в значении действительной интриги. Эту откровенность в обращении к жизни она разделяла с Блоком, едва еще тогда складывавшимся Маяковским, шедшими на сцене Ибсеном и Чеховым и их интересом к значащим очевидностям и сильным людям. Это придавало «Вечеру» и «Четкам», первым книгам Ахматовой, оригинальный драматизм и повествовательную свежесть прозы» (АП).

В 1922 г. была издана «Сестра моя жизнь», до этого пять лет ходившая в списках,— первая книга, которой Пастернак не стыдился: «сила, давшая книгу, ⟨...⟩ была безмерно больше меня и поэтических концепций, которые меня окружали»,— писал он о ней в *Охранной грамоте* (с. 113). Из числа авторских экземпляров, полученных от издательства, Пастернак подарил и надписал несколько книг людям, чьим мнением он дорожил: Маяковскому, Асееву, Брюсову, Кузмину, Мандельштаму. В их числе была и Анна Ахматова.

В отношении Пастернака к Ахматовой многое определяется тем, что они оба принадлежали к одному поколению. Это поколение, по мнению Пастернака, в зачатке и расцвете творческих сил оказалось втянутым в решающие события родной истории [6]. Пастернак считал, что им дано сказать еще многое о виденном и пережитом. Поэтому волна критики, определявшей Ахматову, Кузмина, Мандельштама как поэтов, уже исчерпавших себя, достигших вершины мастерства и застывших в нем [7], возмутила его так, как если бы речь шла о нем самом. Именно этим руководствовался Пастернак, надписывая Ахматовой книгу «Сестра моя жизнь» (п. 1). Тогда же, 14 июня 1922 г., он развил свою мысль в письме к Ю. И. Юркуну (прозаику и близкому другу М. А. Кузмина): «Но я считаю родными себе тех людей, самый расцвет впечатлительности и способности выраженья коих совпал с началом войны. О них установилась аксиома какой-то «дореволюционности», «выслушанности читателями до конца», «высказавшего себя без остатка мастерства», «символизма, акмеизма, буржуазности» и так далее. При установившемся у нас — час по нашим часам назад — взгляде это, как вам известно, означает что-то вроде доисторического происхожденья». И далее: «В случае с Анной Андреевной боязнь показаться фамильярно-панибратствующим (а как это было бы далеко от истины!) преодолена чувством живого знакомства с ней. В этом духе я и сделал ей надпись: как человеку, несправедливо потерпевшему от дружественной критики, преждевременно объявляющей человека мастером, канонизирующей его в меру своих умеренных требований и больше ничего от него не желающей. А когда я книжку ей надписывал, я видел перед собою чуть что не девочку с тем восприимчивым воображеньем, которое чурается всякой обобщенности и отвлеченья, даже того малого, какое заключается в понятии «зрелого человека», не говоря уже о той абстракции, которой подвергается человек, мирящийся со званьем мастера» [8].

В середине августа 1922 г. Пастернак с женой прожили в Петрограде несколько дней, а затем уехали морем в Германию, к родителям Бориса Леонидовича [9]. Ахматова пришла к отплытию, чтобы их проводить. Художница Е. В. Пастернак [10] при каждой последующей встрече с Анной Андреевной вспоминала ее на фоне Финского залива, стоящую у палубных поручней парохода.

Потом Ахматова приезжала в Москву, Пастернак — в Ленинград, и письма только дополняли их живое общение. Об одном из таких приездов и связанных с ним впечатлениях Пастернак пишет И. А. Груздеву 9 марта 1926 г.:

«Приехала сюда на три дня Анна Андреевна. Я ее видел два года назад. По-моему она поправилась и больше — похорошела, помолодела, но очень грустна. Я боялся задать ей вопрос о том, как ей живется матерьяльно, потому что прошлый год, когда ходили слухи о ее болезни [11] и стесненных обстоятельствах и я с Асеевым и Маяковским думали что-нибудь в этом отношении сделать (а мы Анне Андреевне горячо преданы и навыки приобрели не на улице, так что все, что тут тонкого надо было соблюсти, мы не хуже других знали),— до меня косвенно что-то дошло (не от А. А., а от ее знакомых),— что легло тенью обидной щепетильности на наши намеренья [12].

Недавно тут был вечер в пользу Волошина, без афиш, устроенный знакомыми для знакомых, миром Пречистенки и Арбата. Я в нем участвовал, хотя Волошин во мне и доли того не вызывает, что Ахматова, как бы я хорошо к нему ни относился [13]. И вообще в отношении А. А. формула этого товарищеского аффекта такова: изумительный поэт, человек вне всякого описанья, молода, вполне своя, наша, блистающий глаз нашего поколения, надо, чтобы долго жила, много еще скажет и сделает.

Если бы она объявила тут свой вечер, был бы сбор «битковый». Но она и думать об этом не хочет, и явленье это так чудесно в своей красоте и стройности, что со всеми его прихотями и пунктами хочешь считаться.

Я не знаю, к чему я вам про все это так сложно и вскользь пишу. Ага, понял. Это я, верно, собираюсь от почтового ящика пройтись в Морозовский музей, где она остановилась. Ваш Б. Пастернак.

Если случится увидеть Мандельштама, кланяйтесь ему. Мы много о нем с Анной Андреевной говорили и, кажется, одинаково его любим» [14].

Высказанные в этом письме чувства восхищения, любви, уважения и нежной заботы возрастали от встречи к встрече. Пастернак имел возможность выразить их во время своих наездов в Ленинград в октябре 1932 г., когда Ахматова была больна, и в августе 1935 г., когда он задержался в Ленинграде, возвращаясь после Конгресса в защиту культуры из Парижа морем через Лондон. Пастернак, в свою очередь, заслужил расположение и доверие Ахматовой, которые со временем становились все глубже. Бывая в Москве, Ахматова дважды останавливалась у Пастернака: в 1935 г. (на городской квартире) и в 1940 г. (в Переделкине — см. п. 8, прим. 1). Письма Пастернака к Ахматовой за 1940 г. (п. 7 и 8) отражают новую ступень душевной близости и участия.

Из публикуемых писем видно, что переписка со стороны Ахматовой ограничивалась телеграммами и надписями на фотографиях. Иногда она просто не отвечала, что тревожило Пастернака и заставляло его осведомляться о ней у общих знакомых. Объясняя односторонний характер переписки, Ахматова писала Пастернаку 29 ноября 1952 г. в больницу: «Вы — мастер эпистолярного стиля — не осуждайте меня, ведь я же не пишу никому и никогда!» (АП).

Во время войны, в июле 1942 г. Пастернак написал Ахматовой в Ташкент. Ахматова читала это письмо вслух на встрече Нового (1943-го) года у композитора А. Ф. Козловского [15]. Сохранился ее ответ (АП), само же письмо Пастернака утеряно. В 1961 г. передавая нам копии писем Пастернака, Анна Андреевна особенно сожалела о пропаже этого письма.

Письма 1940—1950-х годов представляют собой эпизодические свидетельства живой многолетней дружбы Пастернака и Ахматовой. Ахматова в эти годы подолгу жила в Москве и встречи создавали бо́льшую осведомленность друг о друге, нежели переписка. Письма и другие документы этого периода немногочисленны и до конца не собраны. Нам известны: 2 рецензии Пастернака на сборник стихов Ахматовой «Избранное» (Ташкент, 1943 — АП), 2 записки, цитированная выше надпись на книге и одна телеграмма Пастернака (1952—1954 — ГПБ, ф. 1073), а также два письма Ахматовой Пастернаку от 1943 и 1952 гг. и записка ему же от 1947 г. (АП).

Ниже публикуются все сохранившиеся довоенные письма Пастернака к Ахматовой (8 писем, в том числе дарственная надпись на книге «Сестра моя жизнь»). Письма Ахматовой к Пастернаку неизвестны.

Судьба публикуемых писем Пастернака такова.

В 1926 г. Ахматова передала книгу «Сестра моя жизнь» с дарственной надписью Пастернака своей приятельнице Л. Я. Рыбаковой, сделав на титульном листе надпись: «Милой Лидии Яковлевне Рыбаковой на вечное хранение от недостойной собственницы этой книги. Анна Ахматова. 1926. 15 апреля». Позже она отдала ей также письма Пастернака, объясняя это своей бездомностью и неумением хранить бумаги. Машинописные копии этих писем (п. 1, 2, 4, 5, 7, 8) Ахматова в 1961 г. передала в семейный архив Пастернака (АП). В 1972 г. письма, хранившиеся у Рыбаковой, поступили в ЦГАЛИ; однако книги с надписью среди них не оказалось, местонахождение ее неизвестно.

Письмо 3 поступило в 1945 г. в ГЛМ (в разговоре с нами Ахматова не упоминала о его существовании). Письмо 6 сохранилось в архиве Н. Н. Пунина (ЦГАЛИ). Письмо 1 публикуется по машинописной копии (АП), письма 2—8 — по автографам: п. 3 — ГЛМ, ОФ 4840; п. 6 — ЦГАЛИ, ф. 2633, оп. 1, ед. хр. 17; остальные письма — ЦГАЛИ, ф. 13, оп. 1, ед. хр. 149. Письмо 7 ранее было опубликовано по дефектной копии (*ВЛ*, 1972, № 9).

Мы глубоко благодарны друзьям Анны Ахматовой и исследователям ее творчества, помощью и советами которых пользовались при подготовке этой переписки к печати.

[1] *Люди и положения*, с. 225.
[2] Анна Ахматова Подорожник. Пг., «Петрополис», 1921.
[3] Анна Ахматова. Вечер. СПб., «Цех поэтов», 1912.
[4] Анна Ахматова. Четки. СПб., «Цех поэтов», 1913 (2-е изд.— 1914).
[5] Письмо Цветаевой Пастернаку от 29 июня 1922 г.— в кн. Марина Цветаева. Неизданные письма. Париж, 1972, с. 268.
[6] «Каково же было поколение? Мальчикам близкого мне возраста было по тринадцати лет в девятьсот пятом году и шел двадцать второй год перед войною. Обе их критические поры совпали с двумя красными числами родной истории. Их детская возмужалость и их призывное совершеннолетие сразу пошли на скрепы переходной эпохи. Наше время по всей толще прошито их нервами и любезно предоставлено ими в пользование старикам и детям» (*Охранная грамота*, с. 92).
[7] См., например, отзыв В. Чудовского, бывшего критика журнала «Аполлон»: «Какова бы ни была оценка событий, семь лет ниспадающих на нас, как дождь небесного огня, каково бы ни было конечное их разрешение, достоверно одно: эти события — второе рождение России. Но для многих лучших уже поздно, слишком закончено и зрело высокое их мастерство. Ни Анна Ахматова, неизлечимо больная зарей вчерашнего «Вечера»; ни зачарованный собственной свирелью Кузмин; ни опьяненные фимиамами Федор Сологуб и Вячеслав Иванов; ни давно запутавшийся в чащах Андрей Белый; ни даже столь непоправимо умудренный Александр Блок — не найдут новых слов на новых дорогах. Иные же просто не поймут» («По поводу одного сборника стихов («Корабли» Анны Радловой)» — «Начала», 1921, № 1, с. 209—210).

В статье «Ахматова и Маяковский» Корней Чуковский, противопоставляя двух поэтов, связывает Ахматову целиком с прошлым за ее приверженность старой России и религиозность («Дом искусств», № 1, 1921). 19 января 1922 г. на первом вечере «Чистки поэтов» в Политехническом музее Маяковским было объявлено, что «Ахматова, Вяч. Иванов остаются за бортом как последыши рухнувшего строя, никчемные, жалкие и смешные анахронизмы» (Д. А. Фурманов. Собр. соч. в 4-х томах, т. 3. М., 1960—1961, с. 280).

Несколько позже еще более резко писал О. Тизенгаузен: «От мертвой Ахматовой, кроме благородных перепевов, более нечего ждать» («Салоны и молодые заседатели Петербургского Парнаса».— «Абраксас», № 1, 1922, с. 60).
[8] ГПБ, ф. 400, оп. 1, ед. хр. 148.
[9] См.наст. том: Пастернак — Полонский, п. 3, прим. 1.
[10] Жена Пастернака — Евгения Владимировна Пастернак — была тогда студенткой ВХУТЕМАСа.
[11] Апрель и май 1925 г. Ахматова провела в санатории в Детском селе в связи с обострением туберкулеза.
[12] Об одной из попыток денежно помочь Ахматовой писал Л. В. Горнунгу поэт П. Н. Лукницкий 10 февраля 1926 г.: «Я сделал большую оплошность: сказал А. А. Ахматовой о пушкинском вечере в ее пользу. А. А. очень огорчилась и категорически отказалась от денег. Вы знаете ее щепетильность в этом отношении. Очень я себя браню и очень это грустно, потому что ее материальное положение, как мне приходится видеть, оставляет желать много лучшего» (Личный архив Л. В. Горнунга, Москва).
[13] Вечер состоялся 1 марта 1926 г. Л. В. Горнунг в своих неизданных воспоминаниях пишет, что Пастернак читал на этом вечере два отрывка из поэмы «Девятьсот пятый год» (там же).
[14] АГ, ФГ-8-8/8.
[15] По рассказу жены композитора Г. Л. Козловской.

1. ПАСТЕРНАК — АХМАТОВОЙ

Анне Ахматовой, поэту — товарищу по несчастью. Дичливой, отроческой, и менее чем на половину использованной впечатлительности, и потому: — особо-исключительной жертве критики, не умеющей чувствовать и пытающейся быть сочувственной, жертве непрошенных и никогда не своевременных итогов и схем, с любовью от человека, который все силы свои положит на то, чтобы изгнать отвратительное слово «мастер» из прижизненной обстановки людей, осужденных выражать себя и себя в этом выражении складывать, с клятвенным обещанием повысить требовательность века до тех натуральных норм, когда можно будет прохаживаться в размышлениях, не рискуя расшибить лба об неожиданную апофеозу, и темени, при естественном отскоке назад — об еще более неожиданное и оправданное только принципом архитектурной симметрии развенчанье.

Б. Пастернак

6/VI—1922. Москва

Дарственная надпись на книге «Сестра моя жизнь» (М., изд. Гржебина, 1922) об обстоятельствах, определивших содержание этой надписи, а также о судьбе самой книги см. наст. том: Пастернак — Ахматова, предисловие.

2. ПАСТЕРНАК — АХМАТОВОЙ

〈Москва〉 17.IV.〈19〉26

Дорогая, дорогая Анна Андреевна!

Как вас благодарить, что не забыли вашего слова в ответ на мое восклицанье, вырвавшееся так безотчетно и так ведь верно! Еще труднее описать чувство радости при получении этой удивительной карточки с удивительной Ахматовской надписью, совершенной в ее кажущейся случайности, как и все у вас. Вы может быть забыли? Там сказано: «от этого садового украшенья»! [1]

Но, Анна Андреевна, зачем вы так небрежете здоровьем? Горнунг передает, будто вы опять хвораете. А я-то на радостях написал Цветаевой (знаете, в тот вечер, что мы о ней говорили, она читала вас в Лондоне) [2],— про сказочную перемену, которую нашел в вас, и эта радость успела там распространиться [3]. Если бы я не верил в доброту всякого глаза, устремленного на вас, я бы из предосторожности перестал заикаться о вашем здоровье. При таком же убеждении мне хочется просить вас положенья этого не колебать. От всего сердца желаю вам скорейшей поправки.

Анна Андреевна, у меня к вам просьба, которую я испещрю оговорками только в виду вашей высокой, поразительной и редкой разборчивости в вещах практических. Однако, думается, ей в данном случае не может быть места. Речь идет о получении причитающегося вам гонорара за перепечатку ваших стихов в «Антологии русской поэзии XX в.», выпущенной изд〈ательст〉вом «Новая Москва» [4]. Составители и книгоиздательство, собирая книгу, и не подозревали, что им когда-нибудь об авторах напомнят. Сделали это, в отно〈шении〉 себя самих, Герасимов и Кириллов [5]. Суд приговорил издательство к выплате истцам гонорара по 50 коп. за строчку. Местком писателей (полноправный Союз) на основании соответствующих отдельных заявлений, предъявляет издательству аналогичный иск от лица всех, как говорится в таких случаях,— потерпевших. И вот, драгоценная и неповторимая пострадавшая, одного насморка которой не стоит вся антология со всем издательством впридачу, настойчиво прошу вас о следующем. Пришлите Ю. Н. Верховскому [6] или мне собственноручное заявление в Моск〈овский〉 местком писателей при Союзе Рабпроса — о доправке с издательства «Новая Москва» причитающегося вам гонорара за перепечатку ваших стихов в «Ант〈ологии〉 р〈усской〉 поэзии XX в.», выпущенной издательством. Пришлите также Юрию Никандровичу или мне доверенность на полученье денег, которые изд〈ательство〉 обязано будет выплатить по принужденью суда, но вероятно не раньше осени. Вам приходится, если не ошибаюсь, около 200 руб. (немн〈ого〉 больше или меньше, не помню). В доверенные я вам навязываю двух лиц на выбор с тем, чтобы сузить наблюденье за вашими дальнейшими шагами до полной обозримости. А то нельзя быть уверенным, что вы что-нибудь предпримете.

Простите, что неприличнейшим образом исписываю листок со всех сторон. Не знаю, куда девалась почтовая бумага. Хочется верить, что вам уже лучше. После вашего пребывания в Москве началось для меня удивительное время. Было несколько радостных сообщений из-за границы [7]. Потянуло к работе. И вдруг разыгралась нестерпимая невралгическая боль в челюсти и в левом виске. Пришлось все бросить.

Адрес Ю. Н. Верховского. Остоженка, Коробейников (б. 1[й] Ушаковский) п., д. 12, кв. 4.

Привет Н. Н. Пунину [8]. Мой адрес: Волхонка 14, кв. 9.

Еще раз горячо благодарю вас за все.

Преданный вам Б. П а с т е р н а к

[1] Фотография Ахматовой, в позе сфинкса, с надписью «от этого садового украшенья» в АП не сохранилась. Передал ее Пастернаку поэт Лев Владимирович *Горнунг* (р. 1902), в то время сотрудник ГАХН. Пастернак познакомил его с Ахматовой в марте 1926 г., во время ее пребывания в Москве; в конце марта Горнунг ездил в Ленинград, виделся там с Ахматовой и привез от нее Пастернаку фотографию с надписью (сведения взяты из дневниковых записей Горнунга, хранящихся в его личном архиве, и из его сообщения в разговоре с нами). Позднее Горнунг выполнил серию фотопортретов Ахматовой (1936) и Пастернака (1936 и 1948). Перед написанием этого письма Пастернак запрашивал его об адресе Ахматовой (в архиве Горнунга сохранилось письмо к нему П. Н. Лукницкого от 9 апреля 1926 г.: «Сообщаю вам пока адрес Анны Андреевны для Б. Пастернака: ул. Халтурина (б. Миллионная), д. 5, кв. 12». О Лукницком см. п. 5, прим. 2).

[2] Ахматова была в Москве 8—10 марта 1926 г. Цветаева была в Лондоне с 10 по 25 марта; здесь, по инициативе Д. П. Святополка-Мирского (см. о нем. п. 6, прим. 6), были организованы в ее пользу два вечера, на которых она читала произведения современной русской поэзии.

[3] О том же Пастернак писал И. А. Груздеву 9 марта 1926 г. (см. наст. том: Пастернак—Ахматова, предисловие).

[4] «Русская поэзия XX века. Антология русской лирики от символистов до наших дней». Сост. И. С. Ежов и Е. И. Шамурин. М., «Новая Москва», 1925. Здесь напечатано 35 стихотворений Ахматовой.

[5] Михаил Петрович *Герасимов* (1889—1939) и Владимир Тимофеевич *Кириллов* (1889 — 1943)—поэты «Кузницы».

[6] Юрий Никандрович *Верховский* (1878—1956) — поэт, переводчик, историк литературы.

[7] Из письма отца (17 марта 1926 г.— АП) Пастернак узнал, что он стал известен своему любимому поэту Р.-М. Рильке. Одновременно до него дошла очень его взволновавшая «Поэма конца» Цветаевой. Оба эти события отразились в письме Пастернака к Рильке 12 апреля 1926 г. (Архив Рильке. Гернсбах — Баден, ФРГ; отрывок из этого письма см.: *ВЛ*, 1978, № 4).

[8] Николай Николаевич *Пунин* (1888—1953) — искусствовед, муж Ахматовой.

3. ПАСТЕРНАК — АХМАТОВОЙ

〈Москва〉 6.III.〈19〉29

Дорогая Анна Андреевна!

Мне кажется, я подберу слова
Похожие на вашу первозданность,
И если не означу существа,
То все равно с ошибкой не расстанусь.

Я слышу мокрых кровель говорок,
Колоколов безмолвные эклоги.
Какой-то город, явный с первых строк,
Растет и узнается в каждом слоге.

Волнует даль, но за город нельзя.
Пока внизу гуляют краснобаи,
Глаза шитьем за лампою слезя,
Горит заря, спины не разгибая.

С недавних пор в стекле оконных рам
Тоскует воздух в складках предрассветных.
С недавних пор по долгим вечерам
Его кроят по выкройкам газетным.

В воде каналов, как пустой орех,
Ныряет ветер и колышет веки
Заполуночничавшейся за всех
И счет часам забывшей белошвейки.

Мерцают, заостряясь, острова.
Метя песок, клубится малокровье,
И хмурит брови странная Нева,
Срываясь за́ мост в роды и здоровье.

Всех градусов грунты рождает взор:
Что чьи глаза накурят, все равно чьи.
Но самой сильной крепости раствор —
Ночная даль под взглядом белой ночи.

Таким я вижу облик ваш и взгляд.
Он мне внушен не тем столбом из соли,
Которым вы пять лет тому назад
Испуг оглядки к рифме прикололи [1],

Но, исходив от ваших первых книг,
Где крепли прозы пристальной крупицы,
Он и сейчас, как искры проводник,
Событья былью заставляет биться.

Дайте мне, просто даже открыткою, санкцию на печатанье этого стихотворения. Может быть, в корректуре я его усилю. Очень много работаю сейчас, но над прозой, и для того чтобы ее дальше писать, пришлось прибегнуть к помощи стихов [2].

Но последний остаток лирического чувства живет и догорает во мне только еще в форме живого (и конечно неоплатного) долга перед несколькими большими людьми и большими друзьями. Я написал вам, Мейерхольдам и Маяковскому. Я у вас спрашиваю не мненья о стихотворении, потому что знаю, что оно слабо, и в нем нет того *движенья*, которое соответствовало бы записанным образам, вами вызываемым. Но может быть вам что-нибудь просто *не понравится* как-нибудь лично, и это я должен знать и с этим обязан считаться, потому что это обращено к вам, т. е. «Ахматовой» будет заголовком, а не только посвященьем.

Необходимость уписать строку в почтовую строчку довела мой почерк до такой несвойственной ему бисерности, что у меня нет чувства, будто я вам пишу письмо. Я и не пишу его. Это деловой запрос. Буду с нетерпеньем ждать вашей открытки. Адрес Москва 19, Волхонка 14, кв. 9. Отдам, если позволите в альманах «Недра», вместе с двумя другими обращеньями, которые еще хуже [3]. Еще раз повторяю — вопрос в том, *терпимо* ли оно для вас. Вы знаете, с какой силой живете во мне, как и во всяком, и насколько это лишь естественно, не более того. К этому знанью стихотворенье ничего не прибавляет.

Затем ясно ли, что речь об особом складе электрической силы, которая выражена не только в «Лотовой жене» и не в образе соляного столба только, а исходит от вас всегда и никогда не перестанет исходить.

Ваш Б. П.

Вьюном подчеркнул места, которые постараюсь заменить *во всяком случае*, по их невыразительности или неуклюжести [4].

Письмо адресовано в Мраморный дворец (ул. Халтурина, д. 5, кв. 12), но к этому времени Ахматова переехала в квартиру своего мужа Н. Н. Пунина в «Фонтанном доме»; старый адрес на конверте, написанный рукой Пастернака, заклеен справкой о переезде адресата: «Фонтанка, 34, кв. 14».

[1] Имеется в виду стихотворение Ахматовой «И праведник шел за посланником бога...» («Русский современник», 1924, № 1; позднее получило название «Лотова жена» — см.: Анна Ахматова. Стихотворения и поэмы. Л., «Сов. писатель», 1976, с. 160):

Взглянула, и, скованы смертною болью,
Глаза ее больше смотреть не могли;
И сделалось тело прозрачною солью,
И быстрые ноги к земле приросли.

Кто женщину эту оплакивать будет?
Не меньшей ли мнится она из утрат?
Лишь сердце мое никогда не забудет
Отдавшую жизнь за единственный взгляд.

[2] В это время Пастернак был поглощен работой над прозаической «Повестью» (см. наст. том: Пастернак — Медведев, п. 3, прим. 3). Мотивы, побудившие его к работе над стихотворными посвящениями Ахматовой, Мейерхольдам и др., Пастернак излагает в п. 4.

[3] Стихотворение опубликовано в *КН* (1929, № 5); там же напечатаны (без названия) стихи, обращенные к Марине Цветаевой, и стихотворение «Мейерхольдам» (Вс. Э. Мейерхольду и его жене З. Н. Райх). — См. *Стихотворения и поэмы*, с. 199—201.

[4] Стихотворение подверглось существенной переработке: 6-я строфа выпущена, строфы 3—5-я и 7-я переписаны заново, но подчеркнутые волнистой чертой («вьюном») слова («*Ночная даль. . .*» и «*Где крепли* прозы...») остались без изменения (*Стихотворения и поэмы*, с. 199—200; впервые: «Поверх барьеров». М., ГИХЛ, 1931).

4. ПАСТЕРНАК — АХМАТОВОЙ

〈Москва〉 6.IV.〈19〉29

Дорогая Анна Андреевна!

Недели три тому назад я вам отправил письмо по вашему старому, а легко может быть, и по ложному адресу [1]. Я в нем испрашивал вашей санкции на печатанье стихотворенья, к вам обращенного. Оно было приложено. Своей оплошностью я поставил себя в положенье неуяснимой неизвестности. Но все же мне казалось, что вы бы мне отказали на словах (в случае, если письмо дошло), а не в такой молчаливой, обрекающей на догадки, форме. Вероятно, так оно и есть, и я очень рад пропаже письма, потому что я им поторопился, и стихи послал с первой записи.

Я третий месяц очень усидчиво работаю над большой повестью [2], которую пишу с верой в удачу. Я недавно болел, но не прерывал работы. Мне очень хорошо. Далекий от мысли, что я это осуществляю, я вновь, как бывало, умилен до крайности всем тем, что человеку дано прочувствовать и продумать. Мне некуда девать это умиленье, повесть потеряла бы в плотности, если бы я все это излил на нее одну. Мне приходится исподволь писать стихи. Их теперь, в моем возрасте, я понимаю как долговую расплату с несколькими людьми, наиболее мне дорогими, потому что, конечно, именно они — истинные адресаты, к которым должно быть обращено это умиленье. Я хочу написать стихотворенье Марине, вам, Мейерхольдам, Жене и Ломоносовой, нашей заграничной приятельнице. Вам и Мейерхольдам они написаны, и когда будут сделаны остальные (повесть задерживает), мне бы хотелось их напечатать [3].

Если я пока не заслужил вашей искренности, то заслужу еще ее. И потому, будьте, пожалуйста, со мной откровенны. Если прилагаемое стихотворенье чем-нибудь неприятно вам (помимо того, что оно недостаточно сильно), напишите мне о том, пожалуйста, со всем прямодушьем. Пусть неудачно, но свое виденье вас и свое чувство я в нем выразил, и этого достаточно, чтобы на мой взгляд оно годилось для печати, и в этом случае, по понятным причинам, даже в нее *просилось*. Но я обязан считаться и с вами.

Ответьте, пожалуйста, и напишите несколько слов о себе. Ответьте хотя бы открыткой.

Всей душою преданный вам Б. П.

[1] Не получив ответа на п. 3, Пастернак просил Л. В. Горнунга 21 марта 1929 г.: «Не откажите в услуге, позвоните, пожалуйста, по нашему телефону 1-71-64, как-нибудь, в 3 часа дня, вызовите жену и сообщите ей точный адрес Ахматовой. У меня он записан неразборчиво. Ул. Халтурина 5, кв. 12. Но можно прочесть и 15 (№ дома). Может быть, так именно я ей и адресовал одно письмо, отосланное тому назад две недели, и оно не дошло, отчего и нет на него ответа. Какие у вас вообще вести, от нее непосредственно, или же хотя бы о ней? Заранее благодарю вас. Всего лучшего. Ваш Б. П.» (АП).

[2] См. п. 3, прим. 2.

[3] О стихах, обращенных к Цветаевой, Ахматовой и Мейерхольдам см. п. 3, прим. 3. Стихотворения, обращенные к Е. В. Пастернак и Раисе Николаевне Ломоносовой (жене известного инженера-паровозостроителя Ю. В. Ломоносова, другу семьи Пастернаков), не были написаны.

5. ПАСТЕРНАК — АХМАТОВОЙ

⟨Москва⟩ 10.IV.⟨19⟩29

Дорогая Анна Андреевна!

Горячо благодарю вас за ответ и очень обеспокоен концом телеграммы [1]. Если это возможно, я просил бы кого-нибудь из ваших близких или друзей, вас навещающих, сообщить мне, что с вами и как ваше самочувствие.

Не надо прибавлять, с какой признательностью я приму такое извещенье. Я просто бы, миновав вас, запросил Лукницкого [2], но, к сожалению, затерял его адрес. А вы, Анна Андреевна, пожалуйста, простите меня, что в такое время я вас обеспокоил подобной ерундой,— ведь это произошло без моего ведома, и не по моей воле все вышло так нехорошо и глупо. Всей душой, как только можно, желаю вам поскорее оправиться. Я и сам болел недавно, и по упорству и естественности, с какой, точно у себя дома и как постоянная жилица, обосновалась болезнь, еще недели две назад не видел, отчего бы и зачем ей кончиться и смениться здоровьем.

Пишу в вере, что моя просьба к вашим друзьям застанет вас в состоянии, когда это кажется уже более вообразимым. Всего лучшего.

Еще и еще раз большое спасибо.

Но об этом лучше не распространяться. Мне страшно стыдно. Я все знаю. Правда и то, что невозможно трудно сказать что-либо, хоть отдаленно вас достойное. Или не только вас. Но когда мы говорим о природе или о третьем лице, или о себе,— мы не опрашиваем и не слышим ответа. И все сходит с рук. А ваша телеграмма, как старшая, смотрит на стихотворенье, и в ней больше содержания, живого и противоречивого, чем в последнем.

Ваш Б. П.

Жена шлет вам сердечный привет и тоже желает скорейшего и полнейшего выздоровленья.

[1] Телеграмма (ответ на п. 4) не сохранилась. Вероятно, кроме согласия на печатание стихотворения, в ней содержалось упоминание о болезни Ахматовой — причине того, что п. 3 осталось без ответа.

[2] Павел Николаевич *Лукницкий* (1900—1973) — поэт и прозаик, друг Ахматовой и помощник в ее литературных делах. Ее занятия Пушкиным в это время шли при его непосредственном участии (см.: В. Л у к н и ц к а я. Ранние пушкинские штудии Анны Ахматовой.— *ВЛ*, 1978, № 1).

6. ПАСТЕРНАК — Н. Н. ПУНИНУ И АХМАТОВОЙ

⟨Москва⟩ 19.X.⟨19⟩32

Дорогой Николай Николаевич, сердечно благодарю вас за успокоительное известие и Анну Андреевну за особенно драгоценную в ее состоянии приписку [1].

Звонил в день приезда Чулкову [2], он обещал тотчас же обратиться по делам Анны Андреевны в Наркомпрос и Оргкомитет, но этим не ограничился, как вы уже наверное об этом знаете по результатам одной оказии в Ленинград, которой он для этого воспользовался.

Так же горячо ко всему отнесся и Борис [3], пообещав намылить голову Гронскому, главе Оргкомитета [4]. Он собирается к вам в конце месяца, перед этим я его увижу.

Набравшись храбрости, хочу просить лично вас, Николай Николаевич, чтобы в этих делах вы не ограничивали допуска нас, посторонних, одними теми минутами, когда Анна Андреевна находится в опасности, что́ в отношеньи общества было бы как-то страшно и нечеловечно. Поправка и отдых Анны Андреевны потребуют еще бо́льших забот, нежели болезнь, и сколько найдется людей, для которых сознанье, что они хоть чем-нибудь могут быть ей полезны, составит счастье.

Не забудьте позвонить Спасскому (Сергею Дмитриевичу) [5], 4-76-99. У них какие-то замечательные связи во врачебно-больничном мире, что для

установленья более твердого диагноза перед операцией может очень пригодиться, а, может быть, и для производства самой операции, если ее не избежать. И вообще, во всем, вплоть до направленья мыслей и симпатий, Спасские меня легко заменяют и охотно заменят.

На вокзале собирался рассказать вам, но забыл,— что в Москву приехал из Англии Святополк-Мирский [6], был у меня и очень кланялся Анне Андреевне. Он был у меня перед самым моим отъездом, и я толком еще даже и не познакомился с ним. Упущенье это восполню на днях, когда увижусь наново и как бы сначала. Тогда помешало состоянье квартиры. Вещи не были еще расставлены, оконные рамы были частью без стекол, частью с остатками расколотых, и — (был дождливый день) с потолка текло. Это меня страшно стесняло при встрече, т. е. я не стыдился его, а все это отвлекало вниманье. Но за четыре дня моего отсутствия Зинаида Николаевна [7] произвела настоящие чудеса, и теперь жить и принимать друзей можно сосредоточенно и не рассеиваясь.

Дорогая Анна Андреевна, целую вашу руку, и крепко жму вашу, Николай Николаевич. Еще раз большое спасибо за доверье и скорое известие. Выздоравливайте!

Преданный вам Б. Пастернак

[1] Это письмо не сохранилось. В октябре 1932 г. Пастернак был в Ленинграде, где узнал о тяжелой болезни Ахматовой.

[2] Друзья Ахматовой ходатайствовали перед Оргкомитетом Союза писателей и Наркомпросом об оказании ей материальной помощи и устройстве ее в больницу. Активное участие в этих хлопотах принял писатель Георгий Иванович *Чулков* (1879—1939).

[3] Б. А. Пильняк был в это время дружен с Ахматовой. Ему посвящено стихотворение «Все это разгадаешь ты один...» («Стихотворения и поэмы». Л., «Сов. писатель», 1976, с. 191).

[4] Иван Михайлович *Гронский* (р. 1894) — журналист и литературный критик, в 1932—1934 гг.— председатель Оргкомитета Союза советских писателей.

[5] Поэт Сергей Дмитриевич *Спасский* (1898—1956) — друг Пастернака; жил в Ленинграде. 22 октября 1932 г. Пастернак писал ему: «От Пунина имел утешительное известие относительно Ахматовой, но в ответном письме порекомендовал все же обратиться к вам» (*ВЛ*, 1969, № 9, с. 173).

[6] Дмитрий Петрович *Святополк-Мирский* (1890—1939) — критик и литературовед, был в эмиграции в Англии, с 1930 г. член Коммунистической партии Великобритании, в 1932 г. вернулся в СССР.

[7] Зинаида Николаевна *Пастернак* (1894—1966) — с 1931 г. жена Пастернака.

7. ПАСТЕРНАК — АХМАТОВОЙ

⟨Переделкино⟩ 28.VII.⟨19⟩40

Дорогая Анна Андреевна!

Давно мысленно пишу вам это письмо, давно поздравляю вас с вашим великим торжеством, о котором говорят кругом вот уже второй месяц [1].

У меня нет вашей книги. Я брал ее на прочтение у Федина и не мог исчертить восклицательными знаками, но отметки вынесены у меня отдельно, и я перенесу их в свой экземпляр, когда достану книгу [2].

Когда она вышла, я лежал в больнице (у меня было воспаление спинного нерва), и я пропустил сенсацию, сопровождавшую ее появление. Но и туда дошли слухи об очередях, растянувшихся за нею на две улицы, и о баснословных обстоятельствах ее распространенья. На днях у меня был Андрей Платонов [3], рассказавший, что драки за распроданное издание продолжаются и цена на подержанный экземпляр дошла до полутораста рублей.

Неудивительно, что, едва показавшись, вы опять победили. Поразительно, что в период тупого оспаривания всего на свете ваша победа так полна и неопровержима.

Ваше имя опять Ахматова в том самом смысле, в каком оно само составляло лучшую часть зарисованного вами Петербурга. Оно с прежнею силой напоминает мне то время, когда я не смел бы поверить, что буду когда-нибудь знать вас и иметь честь и счастье писать вам. Нынешним летом оно

снова значит все то, что значило тогда, да, кроме того, еще и что-то новое и чрезвычайно большое, что я наблюдал последнее время в отдельности, но чего еще ни разу не видал в соединении с первым.

Это — соперничающее значение вашего нового авторства в «Иве» и новейших вставках [4], ваша нынешняя манера, еще слишком своезаконная и властная, чтобы казаться продолженьем или видоизменением первой. Можно говорить о явлении нового художника, неожиданно поднявшегося в вас рядом с вами прежнею, так останавливает этот перевес абсолютного реализма над импрессионистической стихией, обращенной к впечатлительности, и совершенная независимость мысли от ритмического влиянья.

Способность ваших первых книг воскрешать время, когда они выходили, еще усилилась. Снова убеждаешься, что, кроме Блока, *таким* красноречием частностей не владел никто, в отношении же Пушкинских начал вы вообще единственное имя. Наверное я, Северянин [5] и Маяковский обязаны вам безмерно бóльшим, чем принято думать, и эта задолженность глубже любого нашего признанья, потому что она безотчетна. Как все это врезáлось в воображенье, повторялось и вызывало подражанья! Какие примеры изощренной живописности и мгновенной меткости!

Замечательно, что когда рядом с ними натыкаешься на вещи более широкого действия и иной, дополнительной силы, они теперь кажутся позднейшими вставками, и присутствие вашего нынешнего искусства начинаешь подозревать там, где его нет, как, например, на стр. 199 и 203 (наряду со стихотворением на стр. 198 [6], которое вы читали у Фединых).

Выбор ваш так совершенен, что предпочтенью уже нечего делать и подчеркивать приходится почти все подряд. Особенно изобилуют такими гнездами сплошных драгоценностей стихи из «Чёток». Вот эти ряды: стр. 222, *223*, 224, 225, 226, 227; 232, *235*, 237, *238*, *239*, 240, 241, 243 [7]. Именно к таким «гнездам» может относиться весь будущий мир «Поверх барьеров», атмосфера его зарожденья, т. е. все то, чего я лишь вскользь коснулся тут в словах о нашей задолженности, о магическом действии вашей живописной силы и пр., и пр. Вот еще звездные скопленья: *249*, 253, 256; 264, *265*, *266*, *267*, 269, 271 и др. [8]

Чтобы вы знали, с кем, в отношении вкуса, вы здесь имеете дело, скажу, что бегло, с налету и первого взгляда, вершинами, в разных отношениях, показались мне: стр. *50*, *69*, *145*, *174*!, *194*, *198* [9], и несущественно, какую роль тут играла знакомость одних и знаменитость других страниц.

Но я начинаю заговариваться, и вам должно стать скучно. Позвольте, я прерву письмо, а то я боюсь, что никогда не отошлю его. Узнав, что я пишу вам, вам просили кланяться Софья Андреевна [10], Нина Александровна Табидзе [11], Константин Александрович Федин и Зина [12] ⟨...⟩ Когда будете в Москве, непременно приезжайте к нам в Переделкино! Тут сущий рай. После упоминанья о больнице необходимо сказать, что я давно себя так замечательно не чувствовал, как этим летом.

Если бы вы почтили меня открыткой, сообщите, пожалуйста, как ваши дела и здоровье? С вами ли уже Лев Николаевич? [13] Нина Т⟨абидзе⟩ приехала сюда хлопотать за мужа.

Я думал, вам будет приятно узнать, каким радостным событьем была для меня ваша книга, написать вам об этом было моей живейшей потребностью, но я сделал это так неудачно, что письмо вам ничего не даст.

Вы должны догадываться, источником какой гордости являются для меня оба ваших незаслуженных подарка, стихотворенье и эпиграф [14]. Относительно последнего я не верил, несмотря на ваши слова, пока не увидал. Тон Перцова [15] возмутил нас всех, но тут думают (между прочим, Толстой), что кто-нибудь из настоящих писателей должен написать о вас в журнале, а не в газете.

Ну до свиданья. Целую вашу руку.

Еще раз горячее спасибо вам от нас всех за это воплощенное чудо.

Ваш Б. Пастернак

На конверте обратный адрес: «Ст. Баковка (под Москвой) Зап. ж. д. Дачный гор. пос. «Переделкино», дача № 3.

Перед тем, как написать это письмо, Пастернак узнавал адрес Ахматовой у Н. А. Ольшевской: открытка Пастернака с этим вопросом хранится в ее личном архиве (Москва).

[1] Подразумевается выход в свет сборника Ахматовой «Из шести книг. Стихотворения» (Л., «Сов. писатель», 1940).

[2] Ни записок, ни книги с «отметками» Пастернака в его архиве не сохранилось.

[3] Писатель Андрей Платонович *Платонов* (1889—1951) пользовался дружеским расположением Пастернака, высоко ценившего его прозу. Как нам известно, часто бывая в «доме Герцена» (Тверской бульв., 25), Пастернак всегда заходил и к Платонову, который жил в этом доме.

[4] Сборник включал книгу стихов «Ива» (1940), а также избранные стихи из книг: «Anno Domini MCMXXI», «Подорожник», «Белая стая», «Четки» и «Вечер».

[5] Об отношении Пастернака к И. Северянину см. наст. том: Пастернак — Познер, п. 2, примеч. 5.

[6] Здесь и далее Пастернак указывает страницы сборника, на которых напечатаны следующие стихи (в скобках нами обозначены соответствующие страницы издания: Анна Ахматова. Стихотворения и поэмы. Л.—М., «Сов. писатель», 1977): с. 199 — «Там тень моя осталась и тоскует» (с. 121); с. 203 — «Да, я любила их, те сборища ночные» (с. 178); с. 198 — «Из памяти твоей я выну этот день» (с. 120);

[7] с. 222 — «Прогулка» (с. 56); с. 223 — «Вечером» (с. 56); с. 224 — «Все мы бражники здесь, блудницы» (с. 57); с. 225 — «После ветра и мороза было» (с. 58); с. 226 — «Косноязычно славивший меня» (с. 152); с. 227 — «И на ступеньки встретить» (с. 58); с. 232 — «Настоящую нежность не спутаешь» (с. 60); с. 235 — «Столько просьб у любимой всегда» (с. 62); с. 237 — «В последний раз мы встретились тогда» (с. 62); с. 238 — «Здравствуй! Легкий шелест слышишь» (с. 63); с. 239 — «Цветов и неживых вещей» (с. 63); с. 240 — «Каждый день по-новому тревожен» (с. 64); с. 241 — «Михаилу Лозинскому» (с. 67); с. 243 — «Я научилась просто, мудро жить» (с. 67).

[8] с. 249 — «Вижу выцветший флаг над таможней» (с. 71); с. 253 — «Ты письмо мое, милый, не комкай» (с. 73); с. 256 — «Вечерние часы перед столом» (с. 75); с. 264 — «Знаю, знаю,— снова лыжи» (с. 78); с. 265 — «Венеция» (с. 79); с. 266 — «Протертый коврик под иконой» (с. 79); с. 267 — «Гость» (с. 80); с. 269 — «Александру Блоку» (с. 81); с. 271 — «В то время я гостила на земле» (с. 323).

[9] с. 50 — «Не с теми я, кто бросил землю» (с. 152); с. 69—«Встреча» («Призрак», с. 178); с. 145 — «Чернеет дорога приморского сада» (с. 96); с. 174 — «Ни в лодке, ни в телеге» (с. 110); с. 194 — «Широк и желт вечерний свет» (с. 119); с. 198 — «Из памяти твоей я выну этот день» (с. 120).

[10] Софья Андреевна Толстая-Есенина, внучка Л. Толстого, вдова Есенина.

[11] Нина Александровна Табидзе — жена грузинского поэта Тициана Табидзе.

[12] Зинаида Николаевна Пастернак.

[13] Лев Николаевич Гумилев — сын Ахматовой.

[14] Стихотворение «Борис Пастернак» (позднее — «Поэт» — см.: Анна Ахматова. Стихотворения и поэмы Л., 1976, с. 188). Эпиграф к «Иве» взят из стихотворения Пастернака «Импровизация».

[15] Речь идет о статье В. Перцова «Читая Ахматову» (*ЛГ*, 1940, № 38, 10 июля).

8. ПАСТЕРНАК — АХМАТОВОЙ

〈Переделкино. 1 ноября 1940 г.〉

Дорогая, дорогая Анна Андреевна!

Могу ли я что-нибудь сделать, чтобы хоть немного развеселить вас и заинтересовать существованьем в этом снова надвинувшемся мраке, тень которого с дрожью чувствую ежедневно и на себе. Как вам напомнить с достаточностью, что жить и хотеть жить (не по какому-нибудь еще, а только по-вашему) ваш долг перед живущими, потому что представления о жизни легко разрушаются и редко кем поддерживаются, а вы их главный создатель.

Дорогой друг и недостижимый пример, все это я вам должен был бы сказать тем серым днем августа, когда мы последний раз видались [1] и вы мне напомнили, как категорически вы мне дороги. А между тем я пренебрегал возможностями встречи с вами, уезжал на целые дни в Москву, для встречи поезда для учащихся, шедшего вне графика и не по расписанью из Крыма, с Зиною и ее больным сыном, которого надо было устроить в больницу и даже *день* приезда которого был неизвестен. В скобках, для удовлетворенья естественного интереса, все обошлось благополучно, и мальчик, проболев с месяц, теперь выздоровел [2].



А. А. АХМАТОВА
Фотография М. С. Наппельбаума, 1933
С дарственной надписью: «Борису Пастернаку Анна Ахматова. 10 октября 1933 г. Москва»
Личный архив Пастернака, Москва

Я не читаю газет, как вы знаете. И вот, последнее время, когда я спрашиваю, что на свете нового, я узнаю одну вещь радостную и одну грустную: англичане держатся [3], обижают Ахматову [4]. О если бы между этими новостями, мне одинаково близкими, мог существовать обмен веществ и сладость одной могла ослабить горечь другой!

Я говорил вам, Анна Андреевна, что мой отец и сестры с семьями в Оксфорде, и вы представите себе мое состоянье, когда в ответ на телеграфный запрос я больше месяца не получал от них ответа. Я мысленно похоронил их в том виде, какой может подсказать воображенью воздушный бомбардировщик, и вдруг узнал, что они живы и здоровы. 〈...〉

Простите, что я так грубо и как маленькой привожу вам примеры из домашней жизни в пользу того, что никогда не надо расставаться с надеждой, все это, как истинная христианка, вы должны знать, однако, знаете ли вы, в какой цене *ваша надежда* и как вы должны беречь ее?

«Смирив души неукротимый ропот» и т. д.— в общей сложности 4 строки у меня записаны [5], но вы не договорили тогда,— нас позвали к Фадееву. Книжку вашу мне подарили в Гослитиздате. Если бы вам пришла фантазия сделать мне надпись, пошлите мне ее в счастливую и легкую минуту,— я ее вклею. Однако вы можете тут же забыть о сказанном, я вас не буду теснить ожиданьем.

Два ваших почитателя, муж и жена, просили меня переслать вам письмо, я сообщил им ваш адрес и отослал письмо обратно. В нем не было ничего дурного, но оно слишком лазурно и безоблачно для пересылки. Зная вас и вашу нынешнюю грусть и хмурость, я не вправе поддерживать то нереальное представленье о поэте, которым дышит их обращенье, немного вневременное и внепространственное.

Это бедные люди, каких очень много, что именно в похвалу им, а не во осужденье, он сын ветеринарного врача, пробовал сам писать, его попытки свободны от той блестящей безвкусицы удачливости, которая так часто и быстро выводит на широкую дорогу, но ⟨его⟩ недостаткам нехватает гения, чтобы стать достоинствами, и, таким образом, шероховатое его тяжелодумье остается при нем в качестве глубоко колоритной черты, просящейся под перо какого-нибудь нового Достоевского или Писемского. Это скромные и очень достойные люди, но зачем я на их счет так расписался?

Не считайте неуваженьем к себе, что я без всякого страха пишу вам таким слогом, с такими помарками и такой вздор.

От всего сердца желаю вам здоровья.

Ваш Б. П.

На конверте обратный адрес: «Ст. Баковка, Зап. ж. д. Дачный гор. писателей «Переделкино», № 3»; почт. шт.: «Москва. 1.11.40».

[1] В августе 1940 г. Анна Ахматова на 5 дней приезжала в Москву. Два дня она провела в Переделкине на даче Пастернака.

[2] В это время заболел костным туберкулезом старший сын З. Н. Пастернак, Адриан *Нейгауз* (1925—1945). Он был в санатории в Евпатории, куда за ним ездила Зинаида Николаевна. Улучшение, о котором пишет Пастернак, было временным, Адриан умер после пяти лет тяжелой болезни.

[3] Имеется в виду мужественное сопротивление Англии немецким воздушным бомбардировкам. Душевное состояние этих дней отразилось в стихах Ахматовой «Когда погребают эпоху. . .» и «Лондонцам» («Стихотворения и поэмы». М.—Л., «Сов. писатель», 1977, с. 208).

[4] Летом и осенью 1940 г. в газетах появились критические отзывы на сборник «Из шести книг», напр., упомянутая рецензия В. Перцова (см. п. 7, прим. 15) и отзыв С. Нагорного, утверждавшего, что «стихи Ахматовой глубоко чужды самому духу советского общества» («Следующий номер». Рецензия на № 8-9 журнала «Литературный современник», 1940.— *ЛГ*, 1940, № 50, 29 сентября).

[5] Неизвестные стихи Ахматовой. Запись их в архиве Пастернака не обнаружена.

БОРИС ПАСТЕРНАК — НИКОЛАЙ ТИХОНОВ

Пастернак и Тихонов познакомились в начале 1924 г. в лефовском кружке у Бриков. Сразу завязалась переписка, подкрепляемая личными встречами и рассказами общих знакомых. Тихонов привлек внимание Пастернака своим недавно вышедшим сборником стихов «Брага» [1]. Действенная поэзия войны и мужества вызывала в Пастернаке самые горячие симпатии. За написанным виделась нелегкая биография человека, недавно вернувшегося с фронтов мировой и гражданской войны, энергия и военная романтика были не выдуманными, а кровно пережитыми.

Применяя к самому Пастернаку слова, написанные им о Верлене, можно сказать, что он «требовал «*не слов, а дела*» даже и от искусства слова, т. е. хотел, чтобы поэзия содержала действительно пережитое или свидетельскую правду наблюдателя» [2]. Именно этой правдой поразила Пастернака молодая поэзия Тихонова: «Вы поэт моего мира и по-

ниманья, лучше не скажешь и нечего прибавлять» (п. 2). Его радовала возможность сближения их художественных задач — Тихонов в это время пришел к отказу от стихов «сюжетных» и о «чем-нибудь» (п. 2).

Тихонов, работавший тогда, в 1924 г., над тремя поэмами («Красные на Араксе», «Шахматы» и «Лицом к лицу»), выразил горячее желание познакомиться с поэмой Пастернака «Высокая болезнь» (п. 1). Ему импонировало отношение Пастернака к искусству, сторонящееся узкотеоретических разговоров о поэзии: «Вы один из тех немногих, с кем можно говорить о нашем труде нашими словами, обходясь без литературных адвокатов, и адвокатствующих литераторов»,— пишет он Пастернаку (п. 3) и приблизительно в это же время делает надпись на сборнике «Брага»: «Борису Пастернаку, великолепному мастеру и собрату — человек «Браги» и «Орды» Николай Тихонов» (АП).

В июне 1924 г. Тихонов проездом на Кавказ провел несколько дней в Москве. Кроме общих встреч на Мясницкой (Водопьяный пер.) у Бриков, он несколько раз приходил на Волхонку к Пастернаку. Об этих посещениях Пастернак пишет жене, уехавшей с сыном на дачу: «23 июня 1924. В нашу семью (Мясницкая, Петровский [3]) вошел новый человек. Это Н. Тихонов. Ему моя «Высокая болезнь» не нравится. Он тут читал нам прекрасную вещь [4], которую отказался принять Казин («Красная новь») [5]. Он раза два был у меня, по утрам. Радость видеть такого человека. Он единственный, с кем я говорил о тебе. Тогда он преобразился, полез в кармашек своей куртки военной, порылся, помычал, ничего не нашел, что-то пробормотал, ничего не сказавши. Это было в первое посещенье. На другое утро я просто спросил его, нашел ли он карточку жены. Он звал к себе, я объяснил ему, что нужно для того, чтобы мне попасть в Петербург. Просил кланяться тебе, как давно мне это поручили Петровские, Брики, Асеевы и Маяковский, постоянно о тебе спрашивающие» (АП).

В 1925 г. Пастернак стал печататься в новом ленинградском альманахе «Ковш» [6], в создании которого участвовал и Тихонов (п. 5). Посылая И. А. Груздеву первую главу «Спекторского» для этого альманаха, Пастернак просит показать ее Тихонову и продолжает: «К Тихонову же долго лежало у меня начатое письмо, открывавшееся словами: «Тихонов, моя радость!» Я его оставил не потому, что обращенье несколько напоминает хлестаковское «Душа Тряпичкин» (кажется, так), а оттого, что в нем заоткровенничался до-нельзя. Жена в ужас пришла, так завещанья пишут, и вот, рано мне их писать, а Тихонову читать рано. Когда с Тихоновым войду я в другой голос (более человеческий и охлажденный), тогда станет возможно нам переписываться, т. е. мне вовремя на его письма отвечать. А ему скажите, что молодец он, что не сдает позиций, и я его очень люблю» [7].

Новая поэма Тихонова «Дорога» была написана под непосредственным впечатлением от его первой поездки на Кавказ, состоявшейся летом 1924 г. (п. 4). Пастернак восторженно встречает эту поэму: «С такой безоговорочностью мне у вас нравилась одна «Брага» (п. 6). О своем восприятии поэмы в чтении Асеева Пастернак пишет в письме Груздеву: «Она мне понравилась именно тем, чего больше всего сейчас ищет и требует мой слух у себя и других: серьезным поэтическим содержанием, отбрасывающим края формы за барьер художнического одиночества и достигающим того, что форма становится формой слушанья или пониманья собравшихся, формой их расположенья в комнате и восхищенья» [8].

В июле 1926 г. Тихонов приезжал на неделю в Москву и останавливался у Пастернаков на Волхонке. Пастернак отправил жену с двухлетним сыном на лето в Германию к родителям и остался в Москве один, чтобы поработать. Вернувшись в Ленинград, Тихонов с удовольствием вспоминает эту «воздушную», «ералашную» неделю, проведенную в Москве (п. 7).

Время, проведенное вместе, четко выявило разницу характеров обоих поэтов. Об этом Пастернак писал Марине Цветаевой 11 июля 1926 г.: «У меня гостит сейчас Ник. Тихонов. Он 7 лет провел на войне. Он нарушил мое одиночество, и я прямо ему назвал, в чем он мне мешает и чем удобен. Он мешает моим настроеньям. Мне светлей и легче за его рассказами, чем в полной беспрепятственности с самим собой. Вот мужчина. В соседстве с ним мои особенности достигают силы девичества, превосходя даже степень того, что можно назвать женскостью... Жизни, как ее верно постоянно видят другие, хоть тот же Ник. Тихонов, я никогда не видел и не увижу» (АП).

Об этой кардинальной разнице мировосприятия, послужившей позднее, в конце 30—40-х годов причиной их расхождения, Пастернак более подробно пишет своей жене

в Берлин: «Так вот, бесконечные кавалерийские рассказы Тихонова, которые не прекращались с утра до вечера, и вообще соседство его юношеской и здоровой простоты (как у гимназиста) действовали и на пульс и на все мое существо очень благотворно. Он около 7 лет был на фронте, в деле, и имеет что порассказать. На его примере видишь, какую роль играет субъективное преломленье мира. В его изображеньи от войны не остается ничего страшного, ничего грязного даже, точно и в действительности, десять лет назад, она целиком была приспособлена для детей среднего возраста» (12 августа 1926 г.— АП).

В следующем, 1927 г. Пастернак ездил в Ленинград, снова виделся с Тихоновым. Он останавливался у своей двоюродной сестры О. М. Фрейденберг, в письме к которой от 3 января 1928 г. мы читаем: «У меня литературных друзей пол-Ленинграда, и ведь я не видел ни Ахматовой, ни Кузмина, ни Чуковского, ни десятка других менее милых, хотя почему же менее, этого может быть о них нельзя сказать. Единственным исключеньем был Тихонов, но ведь это же почти младший брат мне» (АП).

Когда в 1930 г. было основано «Издательство писателей в Ленинграде», Тихонов стал одним из его редакторов и членов правления. В плане этого издательства стояло печатание собрания сочинений Пастернака. Но несмотря на поддержку, которую это издание получило от Горького, инициатива собрания была остановлена. Издательству удалось уже набранный к тому времени первый том издать как однотомник стихотворений. Во всех этих перипетиях и сложностях немалое значение имело доброе отношение Тихонова к Пастернаку и его заинтересованное участие в издании и связанных с ним переговорах. Свидетельства этому имеются в письме Пастернака от 10 ноября 1932 г. заведующему редакцией «Издательства писателей в Ленинграде» Г. Э. Сорокину [9].

Следующим событием в цепи отношений Тихонова и Пастернака оказалась совместная их поездка в Грузию в ноябре 1933 г. в составе бригады Оргкомитета Союза писателей. В письме Сорокину от 5 ноября 1933 г. Пастернак пишет: «Если у вас есть возможность увидеть Николая Семеновича и есть возможность на него повлиять, склоните его к поездке с грузинской бригадой. Я только оттого в нее включился, что мне был обещан Тихонов, и перспектива трехдневного общенья с ним в вагоне была для меня главною географической приманкой путешествия» [10]. Одухотворенная красота грузинской столицы, встречи с друзьями и новые знакомства составили содержание переписки 30-х годов. Общая работа Пастернака и Тихонова над грузинской поэзией отразилась в их переводах, составивших сборник «Поэты Грузии» (Тифлис, Закгиз, 1935). В январе 1936 г., на первом всесоюзном совещании переводчиков Пастернак говорил о практике и результатах этой совместной работы: «Конечно, с моей стороны будет смело говорить и за Тихонова, но мы с ним работаем настолько в сходных условиях и настолько во многих случаях сходно смотрим и на задачи искусства и на свои собственные, что, я думаю, могу свои слова распространить и на его роль ⟨...⟩ Мы были с Тихоновым, в конце концов, зачинателями того дела, которое нельзя оставить на этой стадии, ограничившись теми приемами, какими мы располагали. Я совершенно согласен со всеми ораторами, которые говорили или будут говорить о том, что перевод по подстрочникам не есть перевод, а что это — отделка. Это — правильно ⟨...⟩. У вас мог бы остаться какой-то след недоумения, если бы я не сказал, что эта работа меня и Тихонова осчастливила. Думаю, что мы кое-что дали вам и тем, которые пойдут по вашим стопам, пусть не все совершенно, но мы ознакомили публику с изумительной, огромной поэзией...» [11].

В архиве Пастернака нет писем Тихонова после 1926 г. Чтобы дать понятие о том, как в это время Тихонов характеризует творчество Пастернака, приведем цитату из его доклада на Первом всесоюзном съезде советских писателей (1934):

«Труднейшая скороговорка Бориса Пастернака, этот обвал слов, сдержанных только тончайшим чувством меры, этот на первый взгляд темный напор, ошеломляющий читателей и отпугивающий их, чудесной силой мастерства вызвал к жизни новые утверждения:

В родстве со всем, что есть, уверясь
И знаясь с будущим в быту,
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
В неслыханную простоту» [12].

В июне 1935 г. Пастернак и Тихонов в составе делегации советских писателей участвовали в работе Международного антифашистского конгресса в защиту культуры (Па-

риж). В докладе «Поэзия борьбы и победы», с которым Тихонов выступил на конгрессе, он так охарактеризовал Пастернака: «Сложный мир психологических пространств представляет нам Борис Пастернак. Какое кипение стиха, стремительное и напряженное, какое искусство непрерывного дыхания, какая поэтическая и глубоко искренняя попытка увидеть, совместить в мире сразу множество пересекающихся поэтических движений» [13].

Послевоенные отношения Пастернака и Тихонова отличаются сдержанностью, о чем свидетельствует записка Пастернака от 21 марта 1944 г. с просьбой посодействовать увеличению пенсии К. Н. Бугаевой — вдове Андрея Белого: «Мне кажется,— писал он,— можно было бы придраться к тому факту, что это в любой концепции крупная фигура прошлого, большой поэт, друг Блока и выдающийся представитель символизма, и повысить, в уважение к его памяти, эту пенсию хотя бы рублей до пятисот. <...> Лично я никогда не решился бы беспокоить тебя по собственному поводу, чтобы не заподозрить себя в злоупотреблении нашей былой дружбой, и прости, что мне пришлось изменить этой сдержанности» [14]. Однако анализ отношений этого времени выходит за хронологические рамки настоящего тома.

Ниже публикуются письма обоих корреспондентов за довоенный период: 6 из семи сохранившихся писем Пастернака (1924—1934) и 5 писем Тихонова (1924—1926); единственное письмо, относящееся к последующим годам (записка Пастернака 21 марта 1944 г.), цитировано выше.

Письма Тихонова находятся в АП; там же хранится книга Тихонова «Брага» (М., 1922) с дарственной надписью автора Пастернаку.

Письма Пастернака хранятся в личном архиве Тихонова (Москва) и печатаются с его разрешения.

[1] Ник. Тихонов. Брага. Вторая книга стихов, 1921—1922. М.—П., «Круг», 1922.
[2] Поль Верлен. Лирика. М., ГИХЛ, 1969, с. 172.
[3] В речи на I съезде писателей поэт Д. В. Петровский сказал, что встреча с Пастернаком была определяющим моментом его творческой биографии («Первый всесоюзный съезд советских писателей. 1934. Стенографический отчет». М., ГИХЛ, 1934, с. 535).
[4] Имеется в виду поэма «Лицом к лицу» (датирована 10 января — 23 марта 1924 г., опубликована в 1925 г.— альм. «Недра», № 6).
[5] Поэт Василий Васильевич *Казин* (1898—1981) заведовал отделом поэзии в «Красной нови».
[6] «Ковш» — литературно-художественный альманах (№ 1—4. Л., ГИЗ, 1925—1926; ред. С. А. Семенов). В редколлегию его входили: И. А. Груздев, И. И. Садофьев, М. Л. Слонимский, К. А. Федин и др.
[7] Письмо без даты.— АГ, ФГ—8—8/10.
[8] Письмо без даты — АГ, ФГ—8—8/11.
[9] Б. Л. Пастернак. Письма к Г. Э. Сорокину.— «Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1979 г.» Л., «Наука», 1981, с. 206.
[10] Там же, с. 221.
[11] «Литературная Грузия», 1968, № 8, с. 38—39.
[12] «Первый всесоюзный съезд советских писателей», с. 506.
[13] «Международный антифашистский конгресс в защиту культуры в Париже. Доклады и выступления». М., ГИХЛ, 1936, с. 407.
[14] Личный архив Н. С. Тихонова (Москва).

1. ТИХОНОВ — ПАСТЕРНАКУ

<Ленинград. 15 февраля 1924 г.>

Дорогой Борис Леонидович!

В Петербурге господствует седой провинциализм. Литература или трясет жидкими ребрами на диванах редакций, отарзаненных [1] и опрощенных, или сделалась однодумкой, сидящей у моря и ждущей погоды.

Но море сейчас во льду, а погода — в нетях — каждый день — новое.

Отдельные поэтические кружки́ похожи на церковные кру́жки — звяканье медяков, падающих с религиозной отчетливостью на их дно, регистрируется верующими для укрепления неофитов.

Единственное утешение — у каждого желающего есть своя комната, где он может читать, что хочет, и говорить, о чем говорится.

Известия о литературных явлениях мы находим в «Вечерней биржевке», то бишь, в «Красной газете», рядом с бюллетенями обсерватории и курсом червонца [2], или — или где-нибудь в стороне.

А между тем время и пространство вслушиваются друг в друга. Борис Леонидович,— вы написали поэму [3]. Больше того, вы читали ее в Москве.

Вы знаете, что каждое новое появление ваше на страницах журналов встречается с особым вниманием.

Сейчас обретение целой поэмы — уже само по себе событие большой важности.

Но вы, так редко балующий нас своими посещеньями,— и на этот раз не измените своего правила.

Вас нельзя встретить ни в одном питерском журнале, в большинстве московских — то же.

Значит — остается одно, Борис Леонидович,— я должен оговориться — я не имею понятия о величине поэмы и о том, где она будет напечатана.

Но уже и кратких сообщений о ней довольно для того, чтобы я просил вас: на каких угодно условиях пришлите ее мне — я обязуюсь вернуть вам экземпляр в самый кратчайший срок, в целости и сохранности — но я должен прочесть ее.

Я сейчас по уши закопался в поэмы. Я работаю сразу над тремя вещами. Для одной — из-за отсутствия точного материала нить рвется ежеминутно — но я еду весной на Восток — венчать его с Россией. Благодарнейший материал [4].

Вторая — «Шахматы» — ругаемая и подругиваемая всеми. Она требует продолжения. С ней легче. Время работает за меня. Более компактного хаоса, чем эта поэма, не было и не будет [5].

Но третья вещь должна быть самой ясностью. Я перечитываю и рву написанное и снова пишу и снова уничтожаю. Или я или она. Вдвоем нам не будет места и отдыха. Я ее выживу из памяти [6].

Понимаете, Борис Леонидович, до чего мне хочется видеть вашу поэму. Я знаю из нее четыре строки — 4!! — Я знаю, что моя просьба громоздка — но я буду благодарен за себя и за будущее потомство (без иронии), если получу ее.

В Питере живых людей надо искать днем с прожектором, а поэм не найдешь ни с каким освещением.

Я сижу, как дерево в снегу,— я закопан в поэмы, в английский язык, в изучение Востока и все сразу и все вдруг. Я не скучаю, но иногда мне нужно услышать настоящий голос, пересекающий пространство и организующий время.

Я жду вашего голоса.

Я жду вашей поэмы, Борис Леонидович, как только я кончаю свою,— первый экземпляр я вышлю вам.

Привет вашим близким.

Крепко любящий вас Ник. Тихонов

15/II 1924

Адрес мой: Ленинград — Зверинская 2, кв. 21. Николай Семенович Тихонов.

[1] В это время пользовался успехом роман Э. Берроуза «Тарзан» (перевод с английского Н. Каменщикова-Македонского. «Московский рабочий», 1922). На его сюжет ставились популярные приключенческие фильмы.

[2] «Красная газета» — массовая рабочая газета (Пг.—Л., 1918—1939), основанная В. Володарским. Выходила двумя выпусками, утром и вечером. В этом отношении продолжила традицию таких газет, как «Биржевые ведомости» («Биржевка»). Содержала разные виды местной информации: городскую и судебную хронику, происшествия, сводку погоды, объявления.

[3] Речь идет о поэме «Высокая болезнь» (см. п. 2, прим. 1).

[4] Подразумевается поэма «Красные на Араксе» («Ковш», № 1, Л., 1925). Чтобы собрать материал, необходимый для ее завершения, Тихонов летом 1924 г. ездил на Кавказ.

[5] Первая часть поэмы «Шахматы» была напечатана в 1923 г. (*КН*, № 6). Вторая часть написана не была. См. об этой поэме п. 3, а также наст. том: «Из переписки А. К. Воронского. . .», п. 47.

[6] Имеется в виду поэма «Лицом к лицу» (см. о ней также в п. 3). Пастернак оценил ее как «прекрасную вещь» (письмо к жене, 23 июня 1924 г. — см. наст. том: Пастернак — Тихонов, предисловие).

2. ПАСТЕРНАК — ТИХОНОВУ

‹Москва› 21/IV ‹19›24

Напрасно, дорогой Николай Семенович, обиделись вы на меня и даже, как мне передавали,— рассердились. Взаимное сношение поэтов требует большой веры друг во друга, и если я замедлил ответом, ваше воображенье должно было подсказать вам какие угодно другие объясненья моего безмолвия, но никак не те, которые могут рассердить или обидеть. Вот видите, не будь у вас сердца на меня, я прямо бы начал с извинений, теперь же случай проводит меня прямо к вам мимо них.

Вы спрашивали о моей поэме. В начале зимы затеял я большую отчетную вещь, трезвую, сухую, и немолодую, в представлении моем носились только: тон и размер,— и всего менее я стал бы звать ее поэмой,— да, затеял я, значит, ее писать, и сделал глупость, показав ее кое-кому на неделе же ее первого возникновенья. Теперь этого не поправить, да и целая зима прошла, утвердив мою оплошность, и потребуются слишком длинные нитки, чтобы этот на год отплывший, непродолженный кусок приметать к продолженью, чем далее, тем менее терпимому и предвидимому. В той же форме, которой поспособствовали слабость воли, обстоятельства и прочая вспомогательная дребедень, порция этого многословия в скорости выйдет в «Лефе» [1], и вы успеете восхититься. Вчера я держал ее корректуру и должен сказать, что по скуке и тупоумию это произведенье вполне совершенное. Когда Ахматова про вас сказала, будто собираетесь вы порвать навсегда (я не помню выраженья) с писаньем стихов «сюжетных» и «о чем-нибудь», я громко эту ее фразу подхватил и за вас порадовался, и под налетом этой темы и закончился ночной чай у Асеева, где все мы до этого читали, радовались друг другу, сожалели о брошенных молодых наших путях, кляли отклоненья и собирались встретить утро решительно переменившимися к лучшему (т. е. ставши прежними и новыми в одно и то же время).

Посылайте мне скорее все, что вами сделано нового. Вышло ли у вас что-нибудь (отдельным изданьем) после «Браги» [2]? Вы поэт моего мира и пониманья, лучше не скажешь, и нечего прибавлять. В литературное коловращенье я не вставился и механически с частями шестерни не сообщаюсь. Вот отчего многого я не вижу и не знаю, с чем автоматически сталкиваются другие. Жалко, что не читавши регулярно «Красной нови», пропустил несколько ваших вещей [3]. Их хвалили. Мне нравятся ваши стихи в «России» [4]. Теперь вот что сделайте. Напишите точно, в каких именно номерах каких журналов вы имеетесь, я их достану. У меня был очень тяжелый во всех отношеньях год [5]. Крепко жму вашу руку.

Ваш Б. Пастернак

[1] Первая редакция поэмы «Высокая болезнь» напечатана в журн. «Леф» (1924, № 1/5). В 1928 г. (*НМ*, № 11) были опубликованы дополнения к ней: «Высокая болезнь (Две вставки к поэме)». Окончательная редакция — *Поверх барьеров 1929*.

[3] «Брага» (М., «Круг», 1922) — вторая книга стихов Тихонова (первая книга — «Орда». Пг., 1922). В 1924 г. отдельной книгой была издана поэма «Сами» (М., ГИЗ, 1924).

[3] К этому времени в *КН* были напечатаны следующие стихи и поэмы Тихонова: «Сами», «Колымага», «Не по часам с проверенным ходом. . .», «Песня об отпускном солдате», «У меня была шашка, красавица станом. . .» (1922, № 4, 5); «Сон в лесу», «Трактор», «Утро», «Пилоты», «Осень», «Шахматы» (1923, № 4-6); «Америка» (1924, № 1).

[4] Стихотворение «Дождь» («Россия», 1924, № 1).

[5] Об этом времени в жизни Пастернака см. во «Вступленьи» к «Спекторскому» (*Стихотворения и поэмы*, с. 304):

Я бедствовал. У нас родился сын.
Ребячества пришлось на время бросить.
Свой возраст взглядом смеривши косым,
Я первую на нем заметил проседь.

3. ТИХОНОВ — ПАСТЕРНАКУ

25.4. (1924), Ленинград

Добрый день, дорогой Борис Леонидович. Никакого не может быть даже разговора о том, что я имею сердце на вас,— вероятно, Анна Андреевна или гиперболический Виктор [1] мои простые слова — о том, что вы долго не даете никакой вести о себе,— пересказали с каким-нибудь оттенком, не лишенным образности.

Я вас очень люблю и поэтому когда-нибудь подыму сердце — с кем же и воевать, как не с теми, кого любишь,— но это уже не в плане какой-либо обиды, а в движении работы и радости. Вы один из тех немногих, с кем можно говорить о нашем труде нашими словами, обходясь без литературных адвокатов и адвокатствующих литераторов.

Поэму вашу, несмотря на аттестацию, жду с нетерпением [2]. Стих, как иноходец, узнается на ходу.

Что касается моих стихотворений, то следить за ними, читая из месяца в месяц «Красную новь» и другие — не красные «нови»,— дело совершенно пропащее и убыточное.

В журналах я за год печатался не больше 5—6 раз, и то, чем я дорожу до некоторой степени, я покажу вам лично по приезде в Москву. А приеду я не позже 10 мая и обязательно [3].

Стихи же, печатавшиеся,— печатались по причинам и в условиях, сходных с вашими, даже не подменяя слабоволие — рассеянностью.

Единственное исключение за прошлый год, т. е. со времени «Браги», составляют «Шахматы» [4]. Как их ни ругали все последними словами, я люблю их дикое и темное нагромождение. Почему? — не знаю. Я их люблю так же, как люблю смотреть на отряхивающихся от холодной ванны собак, с мокрой взвихренной шерстью, громадными глазами, опирающихся на лапы так, точно они впервые почувствовали их под собой.

У меня на руках есть цикл стихов о Юге [5], в них я попробовал повеселиться,— то же и в последней поэме «Лицом к лицу» [6]. В ней я подсчитал все зубоскальства балладного тона и сюжетные прейскуранты и убедился, что они износились и обнаглели. Я развалил поэму и повеселился при этом.

Может быть, как отряхивающаяся мокрая собака,— не знаю. Не кажется ли вам, Борис Леонидович, что слишком серьезно, слишком серьезно и тяжело, с мрачностью пишутся стихи за последнее время. Мне захотелось хохотать и улыбаться без спросу и без ограничения. Если это лишний грех — тем лучше. «Юга» еще не знают в Москве. Если вам скажут, что моя поэма никуда не годится,— не верьте, если будут хвалить ее за «хороший тон»,— не верьте. Сами можете не читать.

Она — опыт вивисекционного порядка. Было слишком большим искушение искромсать сюжет так, чтобы он помнил долго,— и я его справил в мясорубку.

Конечно, это не поэма, а все та же отряхающаяся собака.

Я вас очень хочу видеть — и в Москву хочу — побродить. Я не читал ни одного вашего стиха после «Тем и вариаций» [7], несмотря на упорнейшие розыски в журналах и альманахах. Я скучаю без ваших стихов — серьезно — *по-настоящему*.

Здесь гостит Волошин. Он похож на жирный, волошский орех, со скорлупой, которую не берет молоток. Застрахованный от грехопадения орех. А его «История русской интеллигенции» по Овсянико-Куликовскому [8] для

школ I ступени — то бишь поэма о России [9] — вполне прекрасна и «коктебельна». Средство для страдающих бессонницей. Почему не жить ореху? — Он жёсток и питателен, как мука Нестле и передовица «Известий». Если он переложит шестистопным ямбом «Капитал» Маркса, Демьян будет сконфужен бесповоротно.

Как прошел вечер «Литературное сегодня», с Ахматовой [10]? — Что касается литературной шестерни, в которую вы не «вставились», — то в Питере и при желании этого нельзя было бы сделать. Здесь даже разбитое литературное колесо не сразу отыщешь. — Стоит ли жалеть об этом.

До скорого свидания.

Крепко жму вашу руку Н. Тихонов

Ответ на п. 2.

[1] А. А. Ахматова и В. Б. Шкловский.

[2] О поэме «Высокая болезнь» см. п. 1 и 2.

[3] Тихонов приехал в Москву в июне 1924 г. и бывал у Пастернака (см. письмо Пастернака жене 23 июня 1924 г.— наст. том; Пастернак — Тихонов, предисловие).

[4] О поэме «Шахматы» см. п. 1, прим. 5.

[5] Стихи «Из цикла «Юг» впервые опубликованы в альм. «Литературная мысль», кн. III. Л., «Мысль», 1925.

[6] О поэме «Лицом к лицу» см. п. 1, прим. 6.

[7] Сборник «Темы и варьяции» вышел в 1923 г.

[8] Популярный в свое время трехтомный труд Д. Н. Овсянико-Куликовского «История русской интеллигенции. (Герои русской художественной литературы XIX века)» (СПб., 1906—1911) посвящен исследованию развития различных «общественно-психологических типов» в истории русского общества. В 1923—1924 гг. был переиздан в составе «Собрания сочинений» Овсянико-Куликовского (т. 7—9. М.—Пг., ГИЗ).

[9] Отрывок из поэмы М. А. Волошина «Россия» напечатан в альм. «Недра» (№ 6, М., 1925) с подзаголовком «Неоконченная поэма». По-видимому, Тихонов ознакомился с нею в рукописи или в чтении Волошина. Рукопись содержит на 140 строк больше напечатанного в альманахе (ИРЛИ, ф. 562).

[10] 17 апреля 1924 г. в Москве, в помещении Консерватории, состоялся вечер журнала «Русский современник» (Л.—М., № 1—4; 1924; см. об этом журнале: *ЛН*, т. 70, с. 185). Вечер проходил под названием «Литературное сегодня». Для участия в нем из Ленинграда приехали сотрудники журнала: А. Н. Тихонов, К. И. Чуковский, А. А. Ахматова, Е. И. Замятин и Н. И. Магарам (издатель журнала); в вечере участвовал и московский сотрудник журнала А. М. Эфрос (Дневник К. И. Чуковского, 14 апреля 1924 г.— Архив Чуковского, Москва).

4. ТИХОНОВ — ПАСТЕРНАКУ

(Ленинград. Декабрь 1924 г.)

Дорогой Борис Леонидович!

Давно собирался я писать вам, да то одно, то другое задерживало, прямо держало за руки. — Я узнал от гостящих здесь перевальцев, что вы занимаетесь статистикой или библиографией [1], — кажется, я не так понял их — но это не важно. Значит, то, что вы думали написать большое в прозе, опять отложили [2]. Почему, Борис Леонидович? Вас нигде не видно. Ни в одном журнале ничего нет. Когда же будет новая ваша книга?

Я написал такую большую и сумбурную до глупости вещь — что сказать страшно. В ней около 600 строк и столько напихано туда разного, что дочитать до конца без отдыха невозможно [3].

Один перечень введенных лиц занял бы полстраницы: Тифлис, Мцыри, медвежонок, хевсуры, тигр, осетинская девочка, бандиты, белые, красные, полосатые — баня, дорога и пр. и пр. и пр.

Одним словом мой шашлык пережарен — а может быть, и наоборот [4].

Константин Федин кончил недавно свой роман «Города и годы» [5]. Роман толстый и почтенный. Веня Каверин написал повесть из жизни налетчиков: «Конец хазы» [6].

Свою поэму я продал в альманах Госиздата. Думаю, что в феврале я забреду в Москву. Тогда я расскажу вам всякое про наши дела в Питере.

Юноши из «Перевала» производят очень честное впечатление. По-моему, у них есть несомненные успехи [7].

Сейчас я работаю над приведением в порядок книги стихов, которая к весне должно быть будет собрана [8].

Что в ней будет и как это уложится — никому неизвестно, всего менее мне.

Напишите о себе хоть 2 слова, Борис Леонидович,— а то мы питаемся одними слухами, а это очень немного.

Да, в «Русском современнике» — выходит статья Тынянова «О поэзии»,— где о вас есть несколько любопытных замечаний и, по-моему, верных [9]. —

Какой неожиданный поворот стиха у Асеева. Давно ли это? «Лирическое отступление» — очень любопытно [10]. Вы знаете, за что будет бороться сейчас стих — за интонацию и иронию. Есенин пьянствует в Персии [11].— Футуристский гиперболизм Маяковского перешел в самый осмысленный и строгий анекдот [12] или в сюжет.— Тут поезд идет еще, но идет под откос. Может быть, действительно лирическое отступление будет объявлено скоро по всему фронту, но здесь за вами — слово.

Привет всем — Петру Никаноровичу Зайцеву [13] — если увидите его.

Н. Т.

Адрес мой: Зверинская ул. 2, кв. 21.

Датируется по содержанию: четвертый номер журнала «Русский современник», о предстоящем выходе которого сообщает Тихонов, появился 25 декабря 1924 г. (Дневник К. И. Чуковского, запись 25 декабря 1924 г.— Архив Чуковского, Москва; см. также *ЛН*, т. 70, с. 484); поэму «Дорога», о завершении которой он пишет, Тихонов читал друзьям в конце ноября — начале декабря 1924 г. (*ЛН*, т. 70, с. 479).

[1] Чтобы справиться с материальными трудностями, Пастернак вынужден был поступить на службу. Сначала С. П. Бобров предложил ему работу в области статистики: «Служба у меня обещает получиться по статистической части,— сообщал Пастернак О. Э. Мандельштаму 19 сентября 1924 г.— Так как я в юридических дисциплинах ничего не смыслю и вообще в отношении теории, как уясняется мне, гораздо наивнее, чем мог предполагать, то придется мне на месяц засесть за разнообразные курсы, до преодоления которых не буду себя считать вполне человеком» (АП). Тем временем Я. З. Черняк — тогда сотрудник Института Ленина при ЦК ВКП(б) — привлек Пастернака к участию в составлении библиографии зарубежных высказываний о Ленине. «Если бы вас обо мне спросили,— писал Пастернак Мандельштаму 31 января 1925 г.,— ответ один — занимаюсь библиографией (по Ленину), как оно есть и в действительности. Трудно, заработок мизерный» (*ЛГ*, 1972, № 9, с. 161). Издание этой библиографии, предполагавшееся под ред. И. В. Владиславлева в ГИЗе, не осуществилось.

[2] Об этих замыслах см. наст. том: Пастернак — Полонский, п. 4, прим. 2 и 4.

[3] Поэма «Дорога» опубликована в альм. «Ковш» (кн. 2. Л., ГИЗ, 1925). Отзывы Пастернака о ней см. в п. 6, а также в недатированном письме И. А. Груздеву (наст. том, Пастернак — Тихонов, предисловие).

[4] Об ироническом отношении Тихонова к своим поэмам см. в письме К. А. Федина Горькому 16 июля 1924 г. (*ЛН*, т. 70, с. 474).

[5] Роман Федина «Города и годы» (Л., ГИЗ) вышел в 1924 г. (там же, с. 480).

[6] Повесть В. А. Каверина «Конец хазы» опубликована в альм. «Ковш» (кн. 1, 1925).

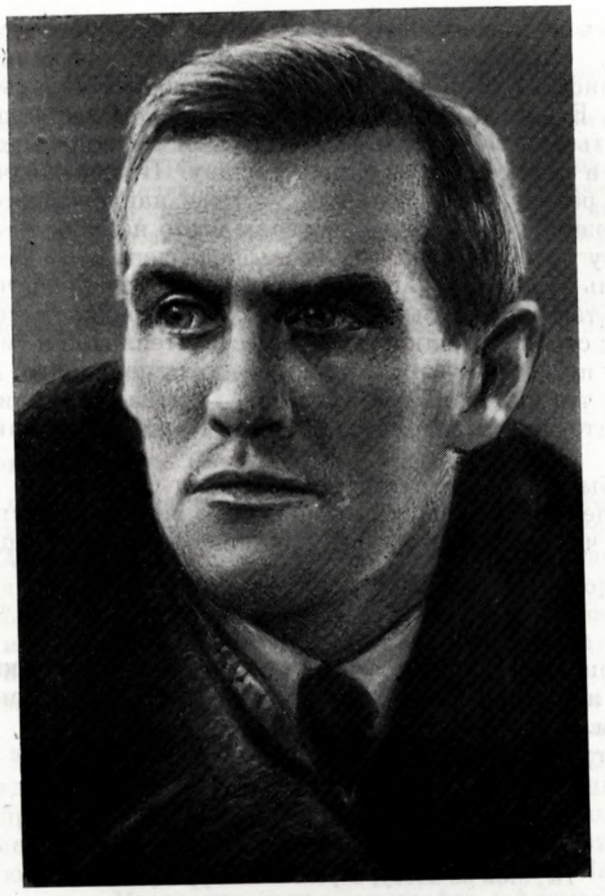
[7] Литературная группа «Перевал» возникла зимой 1923—1924 гг. при редакции «Красной нови». Первоначально она объединяла некоторых молодых писателей, входивших ранее в объединения «Октябрь» и «Молодая гвардия». Среди них были: Артем Веселый, М. Светлов, М. Голодный, А. Ясный и др.

[8] Эта книга стихов вышла в 1927 г. под названием «Поиски героя. Стихи 1923—1926 гг.» (Л., «Прибой»).

[9] В журн. «Русский современник» (1924, № 4) было напечатано начало статьи Ю. Н. Тынянова «Промежуток (О поэзии)». Публикация статьи оборвалась на гл. 8 (на 4-м номере журнал прекратился), тогда как анализу творчества Пастернака посвящена гл. 9. Полностью статья была напечатана в кн. Тынянова «Архаисты и новаторы» (Л., «Прибой», 1929) с посвящением Пастернаку, которого не было в журнальной публикации. В гл. 9 Тынянов пишет: «Я воздерживаюсь от предсказаний Пастернаку. Время сейчас ответственное, и куда он пойдет — не знаю. (Это и хорошо. Худо, когда критик знает, куда поэт пойдет.) Пастернак бродит, и его брожение задевает других — недаром ни один поэт так часто не встречается в стихах у других поэтов, как Пастернак. Он не только бродит, но он и броди́ло, дрожжи» (Ю. Н. Тынянов. Поэтика. История литературы. Кино. М., «Наука», 1977, с. 187).

[10] Поэма Н. Н. Асеева «Лирическое отступление» впервые опубликована в журн. «Леф» (1924, № 2).

[11] С сентября 1924 г. по февраль 1925 г. С. Есенин находился в Тифлисе, Баку и Батуме, где, в частности, писал свои «Персидские мотивы» (М., «Сов. Россия», 1925).



Н. С. ТИХОНОВ
Фотография 1927
Литературный музей. Москва

[12] Вероятно, имеются в виду издававшиеся в 1923—1924 гг. сатирические стихи В. Маяковского, направленные против пережитков старого в быту («Маяковский улыбается, Маяковский смеется, Маяковский издевается». М.—П., «Круг», 1923), а также памфлеты, осмеивающие заправил капиталистического мира («Маяковская галерея». М., «Красная новь», 1923). Об отношении Тихонова к поэзии Маяковского см. также наст. том: А. К. Воронский. Из переписки ⟨. . .⟩, п. 51.

[13] Поэт Петр Никанорович *Зайцев* (1889—1971) был в то время секретарем изд-ва «Недра».

5. ТИХОНОВ — ПАСТЕРНАКУ

⟨Ленинград. Февраль — март, 1925 г.⟩

Дорогой Борис Леонидович.

Я читал вашу поэму, вернее, 1-ю главу («Спекторский») в «Ковше» у Груздева [1]. Борис Леонидович,— это очень хорошо — любовная сцена — исключительна. Стихов такой прямоты и честности давно не было в русской поэзии. Трудности, которые вы себе поставили задачей, велики — это видно уже и на проработанном материале, но ведь и работать стоит, только борясь и имея дело с какой-то новой и враждебной силой. Признаться, стихотворные экскурсии Маяковского все больше похожи на прогулки совшкол [2]. Зато Асеева «Лирическое отступление» очень человечно и очень звучит — чуть-чуть пахнет вивисекцией правда,— но тут ничего не поделаешь. Потом в издании Ленгиза выкинули Гейновский иронический эпиграф — напрасно [3].

Возвращаясь к вашей поэме, хочу еще сказать вам, что она, конечно, явление такое, что далеко оставит позади многое из написанного сейчас. Будете ли вы писать ее беспрерывно — или она будет являться неопределенно, по кускам? Еще одно, что мне хочется узнать от вас: будет ли в каждой главе заключаться самостоятельный эпизод — или они будут связаны непрерывностью и переходами из главы в главу? Правда ли, что триединство: до революции, революция и после нее — тоже найдет место в композиции? Здесь вашей поэмой очень заинтересованы и это не любопытство. Она органична и потому требования к ней очень повышены.

Я вас очень люблю, Борис Леонидович, и потому рад, что вы снова начали писать, и так писать. Вы сами знаете, какая редкость сейчас — настоящие стихи — с солью, с колкостью, и вместе с теплотой и силой.

Очень хочу приехать к вам, в Москву,— хоть ненадолго, да грехи не пускают. Думаю, что выберусь все же в мае,— тогда поговорим обо всем подробнее. Помните, как я нагрянул с Кавказа прошлой осенью и поднял переполох?

Зима эта была какая-то слишком общая и спешная и проскочила она незаметно. Почему книги ваших рассказов не видно в Ленинграде [4]? «Круг» опять мудрит чего-то — а где его издание «Тем и вариаций» [5]? Тоже зажилил —

Странная вещь,
Непонятная вещь —

Как вам понравился «Ковш» [6]? Сидели, сидели, все-таки кое-что высидели — сразу же обрушилось на нашу голову, что это контрреволюция и проч. В общем, старая история.

Хотите эпиграмму о напостовцах и попутчиках (не моя только):

Кольцо Сатурново сказало: а не дурно
В попутчики теперь мне пригласить Сатурна.
— Ах,— отвечал Сатурн,— мне не догнать тебя,
Ты, стоя на посту, вертишься вкруг меня [7].

Ничего эпиграмма. Немного устарела, но ей уж год жизни. Итак, Борис Леонидович,— до скорого свиданья. Если вы напишете, буду очень рад. Я знаю, что вы пишете очень редко,— привет вашей жене и Асееву.

Н. Тихонов

Датируется по упоминанию о первой книге альманаха «Ковш», вышедшей в феврале 1925 г. (см. *ЛН*, т. 70, с. 491).

[1] Пастернак писал И. А. Груздеву, члену редколлегии «Ковша»: «У меня написана только одна глава (первая) романа, представляющая, сколько могу судить сейчас,— не более одной десятой замысла. Я мечтал о том, чтобы печатать начать не раньше исполненья всего целого. От этой мысли пришлось отказаться, больше жить в доме стало невозможно. Я сам открыл свой секрет, и теперь вещь известна. То, что написано, пойдет в очередном альманахе «Круга». Было бы большим подспорьем для меня и поддержкой в дальнейшей работе, если бы «Ковш» согласился взять несколько отрывков из этой главы (в общей сложности, скажем, не больше чем 100 строк)» (письмо без даты.— АГ, ФГ—8—8/10). Далее в этом же письме Пастернак просит показать главу «Спекторского» Тихонову. Этим обстоятельством объясняется тот факт, что Тихонов ознакомился в редакции альманаха («в «Ковше» у Груздева») с полным текстом первой главы романа, отрывок из которой был напечатан во второй книге «Ковша» (вышла в августе 1925 г.— см. *ЛН*, т. 70, с. 496). «Любовная сцена» (*Стихотворения и поэмы*, с. 596) в публикацию «Ковша» не входила. Полный текст глав 1—3 появился в 1925 г. (*Круг*, № 5).

[2] См. п. 4, прим. 12.

[3] В книге Н. Н. Асеева «Поэмы» (М.—Л., ГИЗ, 1925) отсутствует предварявший первую публикацию поэмы «Лирическое отступление» («Леф», 1924, № 2) эпиграф из стих. Гейне из пикла «Heimkehr» * (XV):

Denk nicht, dass ich mich erschiesse,
Wie schlimm auch die Sachen stehn:
Dass alles, meine Süsse,
Ist mir schon einmal geschehn.

Что б ни было, я стреляться
Не стану, ангел мой!
Ведь это все, признаться,
Когда-то уж было со мной.

(Перевод В. Гиппиуса)

* «Возвращение на родину» (*нем.*).

[4] О книге «Рассказы» (М.—Л., «Круг», 1925) см. наст. том: Пастернак — Медведеву, п. 3.

[5] Предполагавшееся переиздание сборника «Темы и варьяции» в изд-ве «Круг» не состоялось.

[6] В первой книге альм. «Ковш» напечатаны: М. Зощенко. Страшная ночь; Н. Тихонов. Красные на Араксе; А. Толстой. Семь дней, в которые был ограблен мир; С. Семенов. Петли одного и того же узла; Л. Леонов. Три рассказа; М. Слонимский. Однофамильцы; В. Каверин. Конец хазы; А. Голиков (Гайдар). В дни поражений и побед; стихи О. Мандельштама, П. Антокольского, Е. Полонской, Вс. Рождественского, К. Вагинова и др. Несколько позже Горький писал о первых двух книгах «Ковша»: «В общем же «Ковш» более искусство, чем остальные альманахи: «Круг», «Красная новь» и т. д» (*ЛН*, т. 70, с. 497).

[7] Эпиграмма Ю. Н. Тынянова. Автограф первых двух строк ее сохранился в альбоме К. И. Чуковского «Чукоккала» (М.—Л., «Искусство», 1979, с. 339).

6. ПАСТЕРНАК — ТИХОНОВУ

⟨Москва. 7 июня 1925 г.⟩

Дорогой Николай Семенович!

Извиненья и выраженья чувств до вас наверное своевременно доходили через других людей. Удивительно, что я вам не написал по ознакомлении с «Дорогой» у Асеева [1]. Он ее прочел восхитительно, вам так не прочесть. Потом я стал ждать выхода «Ковша» для дотошного ее разбора. С такой безоговорочностью мне у вас нравилась одна «Брага». Наибольшее впечатленье в слушаньи на меня произвели: тигр, осетинская пастушка, перевал через хребет. В особенности последний эпизод. Теперь говорю по воспоминанью. Я хотел было взять рукопись, но потом рассудили, что надо ее повезти на дачу к Брикам. Теперь скоро ее увижу. Катаев видел «Ковш» сверстанным.

У нас снята дача под Москвой, а переехать все не удается,— холода и безденежье. Когда будете тут, обязательно к нам. Надо, справившись с расписаньем по рубрике Немчиновка — Усово (Александровской железной дороги), взять билет на поезд, совпадающий с поездами этой ветки. Билеты на эту линию выдаются *без очереди*. Билет надо взять в Усово. Пересесть в Немчиновке. По приезде в Усово спросить, как пройти в Александровское. Переход через Москва-реку (вброд или кликнуть перевозчика). В Александровском спросить новый дом (избу) Шарова. Окраина деревни. Бурная встреча друзей.

Вышел ли отдельной книжкой ваш «Вамбери»? Я журнала не получаю и не читал [2]. Его очень хвалят. Если вышел, пришлите.

Садофьев [3] сказал, что большинство меня в Петербурге не принимает. В той форме, в какой он эту сентенцию высказал, это было некоторой новостью для меня, глубоко и до странности меня огорчившей. Врет? Врет?!

Вы всегда несправедливы к Маяковскому [4]. Прав все-таки оказался я в своем к нему отношении. Он написал «Парижские стихи», бесподобные по былой свежести [5]. Интересно, что вы скажете насчет «Лисьей шубы» Казина, которую прочтете в «Красной нови» [6].

Вы спрашивали, связным ли романом будет «Спекторский»? Да, надеюсь. Несвязного в нем пока лишь то, что в самый разгар работы над 2-ой главой мне пришлось все побросать и наспех омолоди — виноват — омладенчиться [7]. Впадать в детство мне придется, по всей вероятности, сплошь все лето. Таковы обстоятельства. Долгов у меня столько, что я скоро стану державой. Вы, конечно, догадались, что я говорю о вещах для Маршака и Чуковского. Крепко вас целую.

Ваш Б. Пастернак

7.VI.25

[1] «Я напишу сегодня Тихонову,— сообщал Пастернак И. А. Груздеву.— Асеев привез его замечательную «Дорогу» (письмо без даты — АГ, ФГ—8—8/11). В том же письме он характеризует свое отношение к этой поэме (см. наст. том: Пастернак — Тихонов, предисловие). Авторскую оценку «Дороги» см. в п. 4; см. также прим. 3 к нему.

[2] Н. Тихонов. Вамбери. Повесть для юношества. Л., ГИЗ, 1925. Первая публикация — в журн. «Новый Робинзон», 1925, № 3—6.

[3] Илья Иванович *Садофьев* (1889—1965) — поэт, активный деятель Пролеткульта, в то время один из членов редколлегии альм. «Ковш».

[4] См. п. 4, прим. 12.

[5] См.: В. Маяковский. Париж («Московский рабочий», 1925). До этого стихи печатались в «Красной нови», «Огоньке», «Прожекторе» и в альм. «Красная новь».

[6] Поэма В. В. Казина «Лисья шуба и любовь» опубликована в *КН*, 1925, № 5.

[7] Чтобы выбраться из долгов, Пастернак занялся детской литературой. 14 мая 1925г., закончив «Карусель», он писал Н. К. Чуковскому: «Окажите мне протекцию в Кубуч с «Каруселью», если она не слишком плоха и подходит для детей» (архив Н. К. Чуковского, Москва). Вероятно, по заказу С. Я. Маршака летом 1925 г. писался «Зверинец» — 8 июня 1925 г. Пастернак писал Груздеву: «Аванс, высланный Маршаком под вещь для детей, позволил мне воздержаться от напоминанья Садофьеву о его слове. Но у меня столько долгов...» (АГ, ФГ—8—8/1). «Карусель» напечатана в журн. «Новый Робинзон» (1925, № 9, илл. Н. Тырсы); отд. изд.—Л., ГИЗ, 1925; илл. Д. И. Митрохина. «Зверинец» был издан позже (М., ГИЗ, 1929).

7. ТИХОНОВ — ПАСТЕРНАКУ

(Пудость Ленинградской обл. 20-е числа июля 1926 г.)

Дорогой Борис Леонидович!

Добрый день.

Московская воздушная неделя — та, которую ты добродушно разделил со мной,— до сих пор у меня в памяти.

Это были очень славные дни — ей-богу. Если бы вокруг было немного больше зелени и воды и немного меньше людей — это была бы по-своему совершенная неделя.

Я даже начинаю всерьез порой скучать по тем ералашным дням. Сижу сейчас в месте, которое зовется Пудостью [1] — я называю его Гадостью. Может быть, я несправедлив — окружающее даже похоже чуть на подмосковные виды.— Потом я «непрерывно» еду в Туркестан [2].

Он шевелится, как большое поле передо мной, и я не знаю, с чего начать.— Уеду, должно быть, около 10-го, то есть после 10-го. Проездом через Москву прибегу взглянуть на твой счастливый угол. Жаль, что не увижу твоего сына. Я его помню крепко [3].

Если бы я выбирал-попутчика в азиатские эти пустыни — я бы с «благоговейным» азартом выбрал бы Пастернака. Он умеет делать дни легкими и веселыми. Это ничего, что он временами рассеян. Истинный путешественник и должен быть таким. Он должен забыть, где лежит его записная книжка. Заглядывать в нее можно только после захода солнца.— Так мы условимся.

Как живет лейтенант Шмидт [4]? Я должен буду на днях огорчить одного скромного поэта: он собирался написать осенью поэму, использовав переписку лейтенанта Шмидта. Я сообщу ему, что это уже сделано и что он может не беспокоиться.— Осенью же я надеюсь слушать в 1-й и действительно настоящий раз, как «Лейтенант Шмидт» будет прочитан Пастернаком и прочитан без отговорок. Неправда ли?

Вчера я прошел по лесам 20 верст, и у меня развалились сапоги. Прямо сказать — нестоящие люди подбивают теперь подметки.

Что касается ленинградцев, то они живут так.

Груздев Илья занят семейным очагом. Сидит над Горьким и анатомирует старика [5].

Вагинов пишет драму в стихах, очень странную [6]. Посмотрел бы я на театр, который взялся бы ее поставить.

Федин уехал по Волге на лодке втроем [7]. Старик Джером-Джером не дает ему спать.

Тынянов пишет роман из жизни шутов Петра Великого [8].

Каверина, кажется, берут в солдаты [9].

От Петровского и Петникова я получил открытку из Ялты [10].

Приезжайте к нам осенью, Борис Леонидович. Я даже на вы перешел от уважения.

Я буду три дня и три ночи врать о Туркестане с севера на юг и с востока на запад.— Я это могу и даже с удовольствием.

Привет мой твоему брату — и твоей жене, тому юному германцу из страны Маркса и Энгельса — и той слушательнице моего рассказа [11] — и Асееву — старому славному вождю волчьих стай — Акеле [12], и Маяковскому, если он приехал, и всей баптистской обедне во главе с Шкловским и Лили Юрьевной [13].

Напиши мне, пожалуйста, до 6 августа, чтобы я получил письмо во благовременье, о том, как ты себя чувствуешь.— Если же душа твоя не лежит к чернилам и словам, посылаемым на дальнее расстояние — я разрешаю тебя от этой необходимости. Не пиши, но живи счастливо и поцелуй от меня своего хорошего сына; когда он вернется, я буду уже в песках Кара-Кумов, и, кроме чесоточных верблюдов, кто разделит мое одиночество?

Прощай пока. —

Любящий тебя Н. Тихонов

Датируется временным интервалом между пребыванием Тихонова в Москве в первой половине июля 1926 г. (см. выше Пастернак — Тихонов, предисловие) и предполагаемым отъездом Тихонова в Туркестан («Напиши мне до 6 августа»).

[1] Пудость — дачное место под Ленинградом по Балтийской ж. д.

[2] В августе 1926 г. Тихонов совершил первую поездку по Туркмении, что потом отразилось в сб. его рассказов «Рискованный человек». (М., ГИЗ, 1927).

[3] В середине июля 1926 г. Пастернак писал сыну Жене, проводившему лето с матерью в Германии: «Знаешь, жил у нас в комнате, спал на диване дядя один, ты его не знаешь, а мама знает. Зовут его Тихонов Николай — дядя Коля. Так ты ему на карточке полюбился, что хотел он ее со стенки снять и с собой увезти» (без даты.— АП).

[4] К этому времени была написана 1-я часть поэмы «Лейтенант Шмидт» (*НМ*, 1926, № 8—9). В ней использованы документальные материалы — письма П. П. Шмидта к З. И. Ризберг и к сестре — А. П. Избаш («Лейтенант Шмидт. Письма, воспоминания, документы». М., 1922; «Лейтенант Шмидт. Воспоминания сестры». М., 1925).

[5] 12 августа 1926 г. И. А. Груздев писал Горькому: «Работой я сейчас увлечен и задание у меня большое: хочу сделать книгу, основополагающую для изучения вашего творчества, а также передать смысл и пафос целой эпохи» (*Архив Горького*, т. XI, с. 19). Результатом этой работы Груздева явился, помимо кратких биографических очерков, обширный труд «Горький и его время» (М., 1938).

[6] Константин Константинович *Вагинов* (1899—1934) — поэт и прозаик. О какой его стихотворной драме идет речь, неизвестно.

[7] Об этой поездке см. в письме К. А. Федина Горькому 1 ноября 1926 г. (*ЛН*, т. 70, с. 512—513).

[8] Ю. Н. Тынянов работал над романом «Король Самоедский» — о придворном шуте Лакосте. Название романа упоминается в составлявшихся в 1926 г. планах собрания сочинений (архив В. А. Каверина, Москва; любезно сообщено М. О. Чудаковой).

[9] В. А. Каверин проходил в то время военные сборы.

[10] Григорий Николаевич *Петников* (1894—1977) — поэт, близкий по направлению Хлебникову, фольклорист и переводчик. О Д. В. Петровском см. наст. том, с. 472.

[11] А. Л. Пастернак, Е. В. Пастернак и Эрнст Розенфельд (друг семьи, гостивший у Пастернаков). «Слушательница» рассказа, вероятно, С. С. Адельсон, жившая в той же квартире.

[12] Акела — вожак волчьей стаи в повести Р. Киплинга «Маугли».

[13] Подразумевается лефовский кружок, собиравшийся у Бриков.

8. ПАСТЕРНАК — ТИХОНОВУ

⟨Москва⟩ 19.XI.⟨19⟩28

Дорогой Николай!

Пишу второпях, и прости, в письме ничего не найдешь, кроме просьбы. Сегодня выезжает в Ленинград Шарль Вильдрак [1], остановится в Доме ученых Цекубу (кажется, на Миллионной) и пробудет у вас три дня. Ему надо и хочется познакомиться с тобою и следовало бы повидать несколько человек, которых мы назвали с ним почти в один голос, не сговариваясь. Я бы возлюбил тебя еще больше, если это возможно, а так же и он был бы тебе очень признателен, если бы ты связался с ним, не откладывая дела в долгий ящик, по телефону и повидался с ним. Прости за нескромность, но лично я советовал бы тебе пригласить его к себе в первый же вечер, позвав из людей, которых ему хочется узнать, тех, которые Марии Константиновне [2]

и тебе приятны. Мандельштам, кажется,— здесь в Москве. Ну, так вот, познакомиться ему надо с АннойАндреевной, с тобою, с Кузминым, с прозаиками, т. е. с Замятиным, Фединым, Тыняновым, Кавериным и др. Впрочем, он только тебе будет благодарен, если ты, помимо права хозяина, воспользуешься и своим правом передового и первейшего поэта и выправишь этот список и в этом отношеньи, т. е. заменишь своим. Да, и про Ольгу Дмитриевну забыл [3]! Он милейший человек, и очень простой, и как поэт мне очень нравится. Я думаю, он как живое явленье, как частица переживаемого и как обещанье будет мил и близок тебе. Это первый случай, что я захотел действительной дружбы с приезжим, которой лично пока не заслужил, но одно другому не помеха. Дорогой, ты не пожалеешь. И не бойся, что он будет тебе в тягость: в среду приедет Пильняк, который много с ним тут встречался и на которого, в основном, Вильдрак возлагает все надежды (в смысле показа города, людей и пр. и пр.). А главное, это не «знатный иностранец» и очень прост. Ты знаешь, как я живу. В том, что он ко мне пошел, нет ничего удивительного: у меня много друзей тут. Но он у меня сидел довольно долго, и я его видел и успел узнать. И поэт очень настоящий. Позови его к себе. Обнимаю тебя и целую руку Марии Константиновне. Прости за вмешательство,— но как было это сделать иначе? Ну, бегу на вокзал отправить письмо.

Твой Б. П.

[1] Шарль *Вильдрак* (наст. фамилия — Мессаже; 1882—1971) — французский поэт, друг Ромена Роллана. В ноябре 1928 г. посетил Советский Союз; впечатления от этой поездки описал в книге очерков «Russie neuve». Paris, 1937 («Новая Россия»). 16 ноября 1928 г. Пастернак писал О. М. Фрейденберг о вечере Вильдрака, состоявшемся накануне в Союзе писателей: «...вечер был посвящен творчеству этого гостя, прекрасного, между прочим, поэта, Ромен Ролландовской «человечной» складки» (АП). Пастернак писал А. Белому: «В воскресенье у меня был и долго просидел Шарль Вильдрак, вероятно, его направил ко мне кто-нибудь из друзей, Пильняк или еще кто-нибудь. Он показался мне очень милым, простым, задушевным человеком. Как поэта я его еще не знал, книги его получил на другой день, и они усилили это впечатление, а не ослабили, что бывает гораздо чаще» (ГБЛ, ф. 25).

[2] Мария Константиновна *Тихонова-Неслуховская* — жена Тихонова.

[3] Писательница О. Д. Форш. В архиве Форш сохранилось письмо Пастернака от 1 февраля 1927 г. с высокой оценкой присланной ею книги «Московские рассказы» (Л., «Прибой», 1926) — «Ежегодник Рукописного отдела ПД на 1979 г.». Л., 1981, с. 198.

9. ПАСТЕРНАК — ТИХОНОВУ

(Москва. 14 июня 1929 г.)

Дорогой Николай, благодарю и уступаю: с ласковостью и содержаньем твоего письма тягаться не в силах, сдаюсь, рекорд — твой.

Но шутки в сторону,— я рад,— я не знал, что все у нас с тобой так хорошо,— спасибо.

А мне на будущей неделе удалят разом 6 зубов и потом будут долбить челюстную кость,— развязка прескверной истории, тянувшейся около пяти лет и только теперь, благодаря рентгену, разъяснившейся.

Знаешь, с кем еще мне так просто радостно (и ясно), как с тобой? С Пильняком. Это единственный, пожалуй, человек, с которым встречался эту зиму.

Наверное семья вскоре после операции поселится под Можайском, я же задержусь недели на 2 или больше,— сколько перевязки потребуют. На этот, вероятно, срок буду «осужден» на полное молчанье — то-то отдохну — тут уж никакие таланты и обещанья ничего со мной не поделают [1] и перед собой буду чист. Прочту «Вазир-Мухтара», все откладывал до подходящего случая, вот и нашелся [2].

Вообще нынешней весной повернулась жизнь (на двух-трех примерах) неожиданно простой, беспощадно трогательной стороною. Это как когда у Шекспира герои без штанов сидят и зал рыдает, а Лир под дождем мокнет и колобродит.

Во-первых, Коля Асеев стал кровью харкать, и тут обнаружилось, что у него в острейшей форме туберкулез, чуть ли не то, что прежде звали скоротечной чахоткой. По счастью, он уже в санатории, где такие формы теперь поддаются полному излеченью (из одного легкого воздух выкачивают, оно сморщивается комочком, и, благодаря его бездействию и неподвижности, каверны зарубцовываются; тогда его вновь распускают). Случаев кровохарканья у него было два-три, и по внешности никто бы не сказал, в какой он опасности. Меня, естественно, эта новость ошеломила, я с ним видался, помногу и так, как когда-то, т. е. как лет 10 или 15 тому назад [3].

Потом Мандельштам превратится для меня в совершенную загадку, если не почерпнет ничего высокого из того, что с ним стряслось в последнее время. В какую непоучительную, неудобоваримую, грамофонно-газетную пустяковину превращает он это дареное, в руки валящееся испытанье, которое могло бы явиться источником обновленной силы и вновь молодого, нового достоинства, если бы только он решился признать свою вину, а не предпочитал горькой прелести этого сознанья совершенных пустяков, вроде «общественных протестов», «травли писателей» и т. д. и т. д. [4]

Тут на днях собиралась конфликтная комиссия. Его на ней не было, и я, защитник, первый признал его виновным, весело и по-товарищески, и тем же тоном напомнил, как трудно, временами, становится читать газеты (кампания по «разоблачению» «бывших» людей и пр. и пр.) и вообще, насколько было в моих силах, постарался дать движущий толчок общественнической лавине, за прокатом и паденьем которой широко и звучно очистился воздух, обвиняемому подобающий и заслуженно присущий. И теперь вся штука в том, воспользуется ли Осип Эмильевич этот чистотой и захочет ли он ее понять.

Наконец,— последний случай жизненной простоты — читал я как-то прозу у Пильняка ему и его питомцам [5]. Все это было удивительно счастливо и радостно. Это была замечательная ночь и люди были замечательные. И хотя я понял, что все это вызвано Петровским парком, а не прозой, меня именно то и радовало, что эта неприкрыто чистая чужепричинность мне дороже каких-то критических выяснений сделанного. Я радовался ей, как сквозной, неподдельной случайности, до бесстыдства откровенной.

Имей в виду (с этого следовало начать), что это не ответ на твое письмо. Ответить тебе я бы мог лишь с твердого места, широко и щедро, как ты, ощущая обоих в диалоге. Но под собой я чувствую нечто шаткое и неопределимое, точно меня занесли в некую операционную пятилетку, и пока мне не индустриализируют челюсти, не знаю, как себя вести и за что приняться. Видишь, вот ведь и «Вазира» я раньше наступленья социализма читать не смогу.

Расхожденье бухгалтерских данных с моими расчетами проистекает верно оттого, что в «Грамоте» считали $1^1/_2$ печ. листа, а теперь их, видно, оказалось меньше. Потому что так было дело. «Грамота» была оплачена из полуторалистового расчета, и за нее получено 625 руб. (350 р. $\times 1^1/_2$) [6].

Потом я в этом году получил аванс в 200 р. и в его погашенье послал «Реквием». Не помню, сколько в нем строк (полтора руб. за переводную строчку, расценка *очень хорошая*), но, кажется, около 150-ста. Тогда за него выходит что-то около 225 р. Из 625 и 200 и получается та сумма авансов, которую тебе указали (у тебя 819 р., а не 825 оттого, что почтовые расходы с меня вычитывались). Итак, если в «Грамоте» $1^1/_2$ листа, то мне с «Звезды» дополучить еще 25 руб., если же правилен расчет бухгалтерии (т. е. что я «Звезде» еще около полутораста рублей должен), то это лишь в том случае, если листовой расчет «Грамоты» был произведен неправильно, а производили его у вас и, кажется, Н. Л. Это ничего, что я с тобой на такие темы?

Выраженья твоей скромности не знаю как высмеять и чем отстранить. Да и не надо. Мечтаю о времени, когда индустриализация будет уже за плечами, и проза подвинута, и некоторые домашние сложности лета далеко по-

зади. Страшно хочу тебя видеть. Обнимаю, пока подбородок цел. Сердечный привет от нас обоих Марии Константиновне.

Твой Б.

Ответ на несохранившееся письмо Тихонова. Датируется по почт. штемпелю: «Москва. 14.VI.1929».

[1] Имеются в виду молодые поэты, отказывать которым в их просьбах о встрече Пастернак никогда не умел.

[2] Ю. Н. Тынянов послал Пастернаку только что вышедшую книгу «Смерть Вазир Мухтара» со следующей надписью: «Борису Пастернаку, который своим существованием делает жизнь более достойной. Юр. Тынянов. 1929.II.20» (АП). В ответ на благодарность Пастернака за присланный роман и извинения, что ввиду занятости не может его сейчас же прочесть, Тынянов писал 7 марта 1929 г.: «Ваше нечтение для меня очень лестно, я же по природе человек терпеливый, и потому буду до июня ждать вашего суда» (АП).

[3] Об отношениях Пастернака с Асеевым см. наст. том: «К творческой истории поэмы «Маяковский начинается», Приложение II. См. также Пастернак — В. Познер, п. 2, прим.4.

[4] Инцидент, о котором идет речь далее, заключался в следующем. В 1928 г. изд-во «Зиф» выпустило книгу Ш. де-Костера «Тиль Уленшпигель». По договору с издательством О. Э. Мандельштам сделал литературную обработку двух старых переводов В. Н. Карякина (1916) и А. Г. Горнфельда (1915). По издательскому недосмотру Мандельштам, редактировавший перевод, был обозначен на титуле книги как переводчик. По его требованию правление издательства выступило в печати с признанием этой ошибки («Красная газета», 1928, № 313, 13 ноября, вечерний выпуск), после чего Горнфельд печатно заявил, что подобное признание «снимает с известного поэта возможное в таком случае обвинение в плагиате» («Красная газета», 1928, № 328, 28 ноября, вечерний выпуск). В свою очередь Мандельштам в открытом письме в редакцию «Вечерней Москвы» (1928, № 288, 10 декабря) заявил, что не снимает с себя моральной ответственности за происшедшее недоразумение. Тем не менее, почти полгода спустя, Д. И. Заславский выступил с фельетоном, в котором обвинил Мандельштама в плагиате («Скромный плагиат или развязная халтура» — *ЛГ*, 1929, № 3, 7 мая). С протестом против этого необоснованного обвинения выступила группа писателей, открытое письмо которых вскрывало подоплеку выступления Заславского: «Недостойный фельетон направлен против статьи О. Мандельштама в «Известиях» (<«Потоки халтуры».— «Известия», 1929, № 80, 7 апреля>, статьи, открывающей кампанию за оздоровление всего переводческого дела в нашем Союзе. Сознательно умаляя значение статьи, призывающей к революционизированию громадной отрасли книжного производства, статьи, из которой ГИЗом уже сделаны важнейшие организационные выводы, Заславский рядом возмутительных приемов пытается набросить тень на доброе имя писателя» (*ЛГ*, 1929, № 4, 13 мая; письмо подписали: К. Зелинский, Вс. Иванов, Н. Адуев, Б. Пильняк, М. Козаков, И. Сельвинский, А. Фадеев, Б. Пастернак, В. Катаев, К. Федин, Ю. Олеша, М. Зощенко, Л. Леонов, Л. Авербах, Э. Багрицкий). Однако Заславский продолжал настаивать на своем обвинении (*ЛГ*, 1929, № 5, 20 мая). 21 мая 1929 г. Исполбюро Федерации объединений советских писателей (ФОСП) рассмотрело заявление Мандельштама, потребовавшего разобрать это дело и, оценив инцидент как следствие общей неупорядоченности переводческого дела, постановило считать его исчерпанным (ИМЛИ, ф. 51, оп. 1, ед. хр. 13, л. 32). Тем не менее по настоянию редактора «Литературной газеты» С. И. Канатчикова была создана, под его председательством, конфликтная комиссия для нового разбирательства «дела». Заседание комиссии состоялось 11 июня, в нем участвовал и Пастернак. Он протестовал против обвинения Мандельштама в плагиате, однако считал его ответственным за происшедшее и предложил сформулировать решение комиссии словами самого Мандельштама, признававшего в упомянутом письме в «Вечернюю Москву» свою «моральную ответственность» перед автором перевода. Ход этого «дела» отражен в протоколах ФОСП (ИМЛИ, ф. 51, оп. 1, ед. хр. 13 и 28); см. так же: *ЛГ*, 1929, № 19, 26 августа.

[5] Пастернак читал у Пильняка, который жил на Ямском поле, вблизи Петровского парка, «Повесть», начатую им в январе 1929 г. (см. о ней наст. том: Пастернак — Медведев, п. 3, прим. 3).

[6] Здесь и далее речь идет о расчетах за первую часть «Охранной грамоты» и перевод «Реквиема» Р.-М. Рильке («Звезда», 1929, № 8). Очевидно, в расчете при выдаче аванса была допущена ошибка —625 р. вместо 525 р.

10. ПАСТЕРНАК — ТИХОНОВУ

<Москва> 5.XII. <19>29

Дорогой Николай!

Горячо благодарю тебя за письмо. «Поэм» с «Вырой» у меня нет, хотя все в отдельности знаю по прежним изданьям, а «Выру» по «Звезде», и я был у тебя, когда ты ее писал, и Ракова как бы пережил [1]. Страшно буду благодарен за книгу, если пришлешь. «Барьеры», за двумя-тремя исключеньями, я роздал кому попадется, все больше случайным посетителям, чтобы поско-

рей уходили. Но и эту скучную книгу ты получишь. Я обменяю авторские второго изданья «Двух книг» на барьерские, и ждать этого придется недолго [2]. Между прочим, я тебя безбожно плагиатировал в основной мысли, заложенной в окончанье «Спекторского». Потому что если в двух словах выразить то, что со мной делалось, то это были — поиски героя [3]. Ты скажешь, что это слишком общо, но можешь быть уверен, что пустыми каламбурами я бы тебя угощать не стал и, думается, знаю, что говорю. Это было следованье по направленью твоей метафоры, которая шире и обязательнее словесного названья, точно так же, как «Облако в штанах» *все еще* поэзия, а не заголовок, и можно быть под властью всей поэмы, вторично вложенной в эти два слова. Еще точнее я мог бы сказать о «Сестре» [4], но это не столь удобно.

Со всем, о чем ты пишешь, я глубоко согласен и не так наивен, как тебе, верно, кажется. Я уверен, что литература никому не нужна, и только в этом вижу достоинство эпохи. Я стал бы ликовать, если бы об этом заявили открыто и свернули издательства и закрыли бы лит. газету и лит. отделы в других. Я только оставляю про себя право раздражаться по поводу того, что этого не делают и ради какого-то отвода глаз ставят нас в положенье детей, не без баловства даже.

В одном я не согласен с тобой: мне нравится «Петр Первый» [5], и я не могу понять, как это он тебя оставляет равнодушным. Дай его Марии Константиновне: она счастливее и свободнее нас с тобой, она не опутана *последствиями* дружб каждого из нас, которых нельзя пресечь без того, чтобы не сделать людей (может быть, только в нашем дружеском мненьи) несчастными. Комкаю и кончаю. Ты все понимаешь! Но «Петр»! Молодец Толстой. Как легко, густо, страшно, бегло все двинуто. Как не перестает быть действительностью в движеньи, как складывается в загадки (не сюжетные, а историографические), как во всех изворотах, на всем ходу разъясняется!

Впрочем дар легкости в прозе и у тебя очень велик, и мы, может быть, в разном положеньи. Ты был вправе недооценить его.

Получил от Эрлиха обе книжки [6]. Напрасно он стыдится «Перовской». За вычетом двух-трех действительных штампов, где он *рассуждает* о штампе, а не *жертвует собой* ради него, все в ней — настоящая поэзия. Она вообще без самопожертвованья немыслима. Я жертвовал собой и во имя прозрений и во имя традиции. Первое делалось, когда любилось легко и когда пристрастия дифференцировались. Когда одни любили одно, а другие — другое. Когда же настало такое положенье, когда все будто бы любят одно, а на самом деле ничего не любят, я полюбил традицию, чтобы не вовсе распроститься с этим чувством. Меня не может не трогать Перовская. Я сам все эти годы жертвую собой для штампа. Я знаю, что и это поэзия, мне это близко. Книжка о Есенине написана прекрасно. Большой мир раскрыт так, что не замечаешь, как это сделано, и прямо в него вступаешь и остаешься. Писать ему не буду. Не хочется размазывать в виде трактата и в упор человеку то, что тут сказалось коротко и гладко. Передай, что захочешь, и мою благодарность. Последняя новость. В Ленгизе не знают, издавать ли «Сп⟨екторского⟩» или не издавать [7]. Но ты молчи, не звони. Храни в тайне,— есть соображенья. Обнимаю. Твой Б.

Ответ на несохранившееся письмо Тихонова.

[1] Поэма «Выра» вошла в книгу Тихонова «Поэмы» (М.—Л., ГИЗ, 1928). Впервые — в журн. «Звезда» (1927, № 11), с примечанием автора: «Выра — деревня около Гатчины, где 29 мая 1919 г. бывший Семеновский полк перешел на сторону белых. Здесь погиб комиссар рабочей бригады, член Исполкома тов. Раков».

[2] В 1929 г. ГИЗ выпустил переработанный заново сборник стихов Пастернака «Поверх барьеров» (1-е изд.—М., 1917), а в 1930 г.— второе стереотипное издание сборника «Две книги» («Сестра моя жизнь» и «Темы и варьяции»; 1-е изд.— М., ГИЗ, 1927). Авторские экземпляры «Двух книг» Пастернак собирался обменять в издательстве на экземпляры сборника «Поверх барьеров».

[3] Речь идет о книге Тихонова «Поиски героя. Стихи 1923—1926 гг.». (Л., «Прибой», 1927). Реализацию метафоры, заложенной в понравившемся Пастернаку названии книги, находим в нескольких строфах написанной тогда 8-й главы «Спекторского» (*КН*, 1929, № 12).

[4] Имеется в виду «Сестра моя жизнь» (третья книга стихов Пастернака).
[5] Первый том романа А. Н. Толстого «Петр Первый» печатался в *НМ* (1929, № 7—12).
[6] Вольф Э р л и х. Софья Перовская. Поэма. Изд-во писателей в Ленинграде, 1929; Вольф Э р л и х. Право на песнь. Воспоминания о Есенине. Изд-во писателей в Ленинграде, 1930. Письмо Пастернака к В. И. Эрлиху см.: «Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1971 год». Л., 1973, с. 124.
[7] См. наст. том: Пастернак — Медведев, п. 8, прим. 1.

11. ПАСТЕРНАК — ТИХОНОВУ

4.I.⟨19⟩34. ოსკოვუი[1*]

როგორ ვხვრობ[2*], дорогой мой?

Ты, конечно, сразу введен в курс воспоминаний данными письменами, не правда ли? А что, если я, например, покажу тебе такое: ზვიზი[3*]?

Не уходит ли у тебя душа в пятки при мысли о договорах [1]? А у меня случилось вот что. Когда я приехал, оба мальчика были в кори [2]. Только они оправились, как старший заболел скарлатиной. Чтобы обеспечить младшему скорейшее посещенье детсада и обезопасить от зараженья, его отделили от заболевшего, а больного с большим трудом пристроили (я нарочно так выражаюсь и не говорю: поместили) в хорошую больницу. Потом у нас была дезинфекция, как до войны, формалиновая, с выворачиваньем всех потрохов и покиданьем дома, и потом с проветриваньем этого маленького авлабара [4*] все 31-е число, весь остаток старого года, при восьмидесятиградусном, если ты привык к небольшим преувеличеньям, морозе и вышедших дровах. Оргкомитеты были все в разлете, и нам пришлось все это поднять самим, самыми смертными и демократическими средствами. Неделю мы были отрезаны при общем вое соседей от воды и всего с нею связанного, а когда 1-го сели с Зиной друг против друга выяснить, кто из нас первый не выдержит этих молчаливых переглядок и рассмеется, поучительную эту игру прервали телефонным сообщеньем, что заболел и Лялик, отделенный младший сын З⟨инаиды⟩ Н⟨иколаевны⟩, но сверх ожиданья это не скарлатина, а ветряная оспа, и завтра я его с совершенно измучившеюся Зиною перевезу из Трубниковского пер⟨еулка⟩ домой. Я нарочно даю тебе это коротенькое резюме всего проверченного и проработанного, чтобы с его помощью измерить степень того легкомыслия и оптимизма, или энтузиазма, уж не знаю, право, как лучше это назвать,— которые я вывез из Грузии. Потому что, несмотря на все перечисленное, чувствую я себя так, точно мне сейчас в «Ориант» [3] и, миновав обоих парикмахеров, я в конце коридора открою дверь и, о радость! — Ты будешь ерошить волосы и рвать бумажки, а Гольцев [4] — лежать под пледом с ячменем. Нет, каков заряд-то, а? И вовсе не винный какой-нибудь, а более глубокий и широкий, черт знает, в чем он, опять не знаю как сказать.

Наслышаны мы, между прочим, что не меньше нашего полюбился вам Шаншиашвили Сандро [5]. Я давно догадывался, что, если говорить о людях, он гораздо ближе тебе, чем, скажем, Юрин [6] или Колосов [7], и даже симпатичнее Кирпотина [8]. Надо ли говорить, что я вполне разделяю твою симпатию и, например, даже не сравнил бы его с Никулиным [9]. Но прости мне этот тон (это ощущенье «Орианта»; помнишь пытку коньяком (Арсенишвили [10], Гаприндашвили [11] и пр.)?) Как твоя работа? Не заставят ли нас делать одно и то же? Списываешься ли ты с Мицишвили [12]? Помнишь ли ты вообще что-нибудь? Да жив ли ты, черт побери, если уж на то пошло, и что с тобой, наконец?!

[1*] Москва (*груз.*).
[2*] Как живешь? (*груз.*).
[3*] Не думай, пожалуйста, что ⟨это⟩ фига с инкрустациями,— это Закгиз.— *Прим. Б. Пастернака.*
[4*] От названия района старого Тифлиса со смешанным народонаселением.

А я, может статься, подзаймусь грузинским [13], но не раньше, чем оргкомитеты переведут на положенье пожарных команд, с ночными дежурствами и вызовом на дом по первому требованью, а также изобретут сыворотку ото всех детских болезней сразу. Еще в скобках: ориантизм тона возможен благодаря тому, что у Адика болезнь в очень легкой форме и все у Жени тоже благополучно. И ты не поверишь, представь себе, я наравне с сулемою и лизолем переводил все это время Чиковани и Абашидзе [14], ведрами, изо дня в день. Не хочу и за глаза обижать названных: у Чиковани замечательный есть материал — «Мингрельские вечера», не шутя восхитительный, и тот я переведу как-нибудь в другое время [15], потому что его можно переводить без рецепта. В предвиденьи конца страницы я чувствую совершенную беспомощность перед Марией Константиновной: ты наверное, чтобы подать себя большим планом (хотя это не в твоем характере) таких гадостей нарассказал про меня, если вообще обмалвливался, что никакими поклонами теперь делу не помочь. Если это не так, то потрудись передать ей самый сердечный на свете привет, и знай: от меня он, собака. Зины нет здесь, она с младшим и лишь завтра переедет. Урывками читала она (оцени условия) «Кл⟨ятву⟩ в тумане» [16] и восхищалась.

Хотя переводы Ч⟨иковани⟩ и А⟨башидзе⟩ чудовищные, но тем не менее, однако, я дал их Колосову, в «Молодую гвардию» [17]. Лучше будут,— звездану [18].

Письмо не подписано. На конверте: «От Б. Пастернака. Москва 19, Волхонка 14, кв. 9. От чистого сердца».

[1] В 1933 г. Пастернак заключил с «Московским товариществом писателей» (впоследствии — «Советский писатель») договор на книгу переводов из современных грузинских поэтов. 23 октября 1933 г. он писал по этому поводу Тициану Табидзе: «Я начинаю серьезно беспокоиться за судьбу книги. Я должен сдать ее к концу января и легко бы справился с работой, если бы знал язык и не нуждался в помощи самих переводимых» (Тициан Табидзе. Статьи, очерки, переписка. Тбилиси, 1964, с. 246—247). В ноябре 1933 г. он принял участие в поездке писательской бригады в Грузию, надеясь получить необходимые подстрочники. 5 ноября он писал об этом Г. Э. Сорокину: «Только затем и еду в Тифлис, по почте этого не уладить. ⟨. . .⟩ Я бы на это дело плюнул, если бы не был связан договором на книгу (М. Т. П.)» («Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1979 г.» Л., «Наука», 1981, с. 221). Во время пребывания в Тбилиси Тихонов и Пастернак заключили с издательством Закгиз договор на сборник переводов из грузинской поэзии. Оба сборника вышли два года спустя («Грузинские лирики». М., «Сов. писатель», 1935; «Поэты Грузии». Тб., Закгиз, 1935). Кроме того, Пастернак перевел поэму Важа Пшавела «Змееед» (Тб., Закгиз, 1934).

[2] Сыновья З. Н. Пастернак Адриан и Станислав Нейгаузы.

[3] Гостиница в Тбилиси, где останавливались члены бригады писателей. «Мы остановились в «Орианте», я, Тихонов и Гольцев в одном номере. Тифлис неожиданно родной, то есть гораздо ближе, чем был в воспоминаниях»,— писал Пастернак жене 17 ноября 1933 г. (АП).

[4] Виктор Викторович *Гольцев* (1901—1955) — литературный критик, автор работ о Тихонове и о грузинской литературе.

[5] Александр Ильич (Сандро) *Шаншиашвили* (1888—1979) — грузинский писатель.

[6] Михаил Петрович *Юрин* (1894—1951) — поэт, член группы «Молодая гвардия»; в те годы — редактор закавказского комсомольского журнала «Красные всходы».

[7] Марк Борисович *Колосов* (р. 1904) — писатель, в 1930-е годы заместитель ответственного редактора журнала «Молодая гвардия».

[8] Валерий Яковлевич *Кирпотин* (р. 1898) — литературовед и критик, в то время секретарь Оргкомитета союза писателей, заведующий сектором художественной литературы ЦК ВКП(б).

[9] Лев Вениаминович *Никулин* (1891—1967) — писатель.

[10] Алексей Ильич (Али) *Арсенишвили* (1892—1939) — грузинский критик и литературовед.

[11] Валериан *Гаприндашвили* (1888—1941) — грузинский поэт, один из основателей символистской группы «Голубые роги».

[12] Николо *Мицишвили* (1894—1937) — грузинский писатель, главный редактор Закгиза. Книга «Поэты Грузии» вышла под его редакцией и с его предисловием.

[13] «Я просто из собственной потребности начал заниматься грузинским языком и оставил его, как я оставил работу над прозой и как много вещей бросал, и не потому, что охладел, а потому что, может быть, это слишком трудно».(«Речь Б. Л. Пастернака на первом всесоюзном совещании переводчиков, январь 1936 г.».—«Лит. Грузия», 1968, № 8, с. 39).

[14] Симон *Чиковани* (1902—1966) — грузинский поэт, один из ближайших друзей Пастернака. Ираклий *Абашидзе* (р. 1909) — грузинский поэт, с 1953 г.— первый секретарь Союза писателей Грузии.

[15] «Мингрельские вечера» Чиковани в переводе Пастернака напечатаны в книге «Поэты Грузии».

[16] Ник. Тихонов. Клятва в тумане. Роман. Изд-во писателей в Ленинграде, 1933.

[17] «Баллада спасения» И. Абашидзе и «Ушгульский комсомол» С. Чиковани в переводе Пастернака напечатаны в журн. «Молодая гвардия» (1934, № 2), затем вошли в книгу «Поэты Грузии».

[18] Т. е. отдам в журнал «Звезда».

БОРИС ПАСТЕРНАК — ВЯЧЕСЛАВ ПОЛОНСКИЙ

В 1921 г. в Москве начал выходить как орган Госиздата критико-библиографический журнал «Печать и революция». Его организатором и ответственным редактором до 1929 г. был Вячеслав Павлович Полонский, который «сам собирал авторов, давал им заказы, уговаривал их работать, сам правил статьи, сам писал статьи для журнала, сам бурно воевал в Госиздате»[1]. Редакции журнала поручалось и рецензирование присылаемых в Госиздат рукописей перед заключением договоров. Таким образом в 1921 г. Полонский ознакомился с рукописью «Четвертой книги стихов» Пастернака (позднее названной «Темы и варьяции») и горячо рекомендовал ее к изданию, увидев в авторе одного «из самых многообещающих и талантливых представителей молодой поэзии»[2]. Вероятно, узнав о таком отзыве, Пастернак захотел показать Полонскому другие свои работы, в том числе основной труд того времени — роман, начало которого вскоре было опубликовано в альманахе «Наши дни» как самостоятельное произведение под названием «Детство Люверс» (см. п. 2).

Полонскому была присуща разносторонность интересов и широта взглядов, умение оценить и поддержать талантливое произведение безотносительно к тому, к какой из литературных группировок принадлежит автор. Это качество особенно привлекало к нему Пастернака, считавшего ошибкой свое юношеское участие в футуристическом кружке «Центрифуга». Критика по-прежнему продолжала причислять его к футуристам, тогда как уже в книгах, вышедших в начале 1920-х годов,— «Сестра моя жизнь» и «Темы и варьяции» — Пастернак нашел свое собственное лицо, не связанное с групповыми вкусами и рамками. В журнале, руководимом Полонским, была напечатана рецензия Я. З. Черняка[3] на книгу «Сестра моя жизнь». В ней говорится, что появление этой книги «симптоматично для всей русской поэзии», поскольку «знаменует собой поворот от непримиримости школ», не оборачиваясь в то же время эклектизмом; «культурная традиция», которой дышат стихи этой книги, прежде всего бьет «по односторонности, по антикультурным настроениям футуризма, от которого книга ведет свою внешнюю историю»[4]. Статья Черняка, сумевшего так прочесть книгу, увидеть и понять то, что руководило автором во время ее написания, послужила поводом к знакомству Пастернака с Черняком, перешедшему в дружбу, связавшую их на всю жизнь.

Эта дружба шла бок о бок с растущим сближением Пастернака и Полонского. Полонский старался привлечь Пастернака к участию в журнале «Печать и революция»; он выдал ему аванс под будущие корреспонденции из Берлина, куда Пастернак уезжал в августе 1922 г. на несколько месяцев (см. п. 3). Он пробовал заказывать Пастернаку статьи для журнала (сохранилась записка Пастернака в редакцию «Печати и революции», свидетельствующая о его неосуществленном намерении написать статью «Данные и мыслимые перспективы»[5]), привлекал его к участию в вечерах Дома печати, председателем которого был в 1919—1920 гг.[6]

Общение с Полонским и Черняком — «людьми революции», как называл их Пастернак[7], глубоко сказалось на формировании его отношения к действительности того времени. «Люблю своих учителей и никогда их не забываю. Политическое воспитание получил я здесь»[8],— напишет потом Пастернак в записке о Полонском.

В 1926 г. Полонский становится редактором «Нового мира» и вскоре привлекает Пастернака в число постоянных авторов этого журнала. В «Новом мире» печатаются, по мере написания, поэма «Лейтенант Шмидт», новые стихи, а также стихи из ранних поэтических сборников, переписанные заново[9].

Свое положение редактора одного из ведущих журналов Полонский использовал для отстаивания позиций, выраженных в резолюции ЦК РКП (б) «О политике партии в области художественной литературы» (1925). Стремясь к объединению разобщенных литера-

турных группировок, Полонский выступил против «гипертрофированного индивидуализма» лефовцев. Развернулась полемика с Лефом (1927—1928). Она коснулась и Пастернака, который в 1923—1924 гг. напечатал в этом журнале несколько стихотворений и числился его сотрудником. По мере того как все четче обрисовывался групповой характер журнала, Пастернак все более тяготился сотрудничеством в нем. Отношения особенно обострились в 1927 г., когда стал выходить «Новый Леф». В 1928 г. Пастернак писал в анкете «Наши современники»: «Долгое время я допускал соотнесенность с Лефом ради Маяковского, который, конечно, самый большой из нас. Весь прошлый год, с первого же номера возобновленного журнала, я делал бесплодные попытки окончательно выйти из коллектива, который и сам-то числил меня в своих рядах условно и вырабатывал свою комариную идеологию, меня не спрашиваясь» [10].

Выход Пастернака из Лефа совпал с обострением полемики между Лефом и Полонским, опубликовавшим в 1927 г. в «Известиях» и «Новом мире» две статьи, резко обвинявшие журнал в продолжении «богемских» привычек дореволюционного футуризма [11]. Письмо с заявлением о выходе из Лефа Пастернак намеревался послать Маяковскому. Выдержку из этого письма он посылает Полонскому: Пастернак заявляет о своем несогласии с «лефовскими методами» и «лефовской эстетикой», поддерживая позицию, выраженную в статьях Полонского (п. 9). Письмо Маяковскому, по-видимому, не было отправлено, Пастернак ограничился обращением в «Леф» с повторной просьбой не числить его среди сотрудников [12]. При всей своей любви к Маяковскому, Пастернак не мог не видеть, как ограничивало и сковывало его лефовское окружение. «Сильнейшее мое убеждение, что из Лефа первому следовало уйти Маяковскому, затем мне с Асеевым»,— писал Пастернак в упомянутой выше анкете. Еще в 1922 г. он надписал экземпляр книги «Сестра моя жизнь», подаренный Маяковскому, стихотворением:

Вы заняты нашим балансом,
Трагедией ВСНХ,
Вы, певший летучим голландцем
У края любого стиха.

Холщовая буря палаток
Ревела дремучей Двиной
Движений, когда Вы, крылатый,
Возникли борт о борт со мной.

И Вы с прописями о нефти!
Теряясь и оторопев,
Я думаю о терапевте,
Который вернул бы Вам гнев.

Я знаю, Ваш путь неподделен,
Но как Вас могло занести
Под своды таких богаделен
На искреннем Вашем пути?! [13]

Общность отношения обоих корреспондентов к Маяковскому во время болезненного для Пастернака разрыва с ним и сочувствие Полонскому, с 1928 г. подвергавшемуся во многом несправедливой критике, особенно сблизили Пастернака и Полонского. На экземпляре вышедшего в то время сборника «Поверх барьеров» Пастернак написал: «Вячеславу Полонскому, самому дорогому и близкому из людей революции. Б. Пастернак, 28 октября 1929» [14].

Полонский со своей стороны высоко ценил Пастернака. В книге «Очерки литературного движения революционной эпохи (1917—1927)» он писал о нем, как о поэте, «значение которого далеко не оценено, которым гордилась бы любая из европейских литератур» [15]. Эту книгу автор подарил Пастернаку с надписью: «Дорогому Борису Леонидовичу Пастернаку с уважением и любовью. Вяч. Полонский. 30.IV.28».

Полонский сумел увидеть тот труднейший для Пастернака переход от лирического мышления к эпическому, который остался непонятым «большинством, и даже людьми такой смысловой восприимчивости, как Цветаева и Маяковский» [16]. В статье Полонского «Концы и начала» читаем: «Насколько диктовка времени категорична и обязательна, можно видеть хотя бы по тому, что такой тонкий и личный лирик, как Борис Пастернак,— едва ли не крупнейший лирик нашего времени,— и тот преодолевает свой органический индивидуальный лиризм, обращается к эпическому революционному материалу и создает вещи такого большого значения, как «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт» [17].

Публикуемые письма помогают увидеть, как развивались отношения Пастернака и Полонского на протяжении десяти лет их знакомства. В первых письмах, чувствуя недостаток доверия Полонского, Пастернак как бы оправдывается перед ним, подробно объясняя мотивировки своих поступков. Несмотря на то, что Полонский, заинтересованный в Пастернаке как участнике журнала, мгновенно отзывается на просьбы о помощи и всег-

да готов его поддержать, между ними нередко возникают конфликтные ситуации (см. п. 3, 4, 8). Но постепенно Пастернак полностью завоевывает симпатии и доверие Полонского, и заинтересованность сменяется дружбой. Особенно это сказалось в 1928 г., когда Полонский был на несколько месяцев отстранен от руководства журналом «Новый мир» (см. п. 12—14). К лету этого года относятся планы совместного путешествия по Кавказу. Одновременно по просьбе Полонского переносится из «Звезды» в «Новый мир» публикация заново переписанных стихов из первых книг Пастернака «Близнец в тучах» и «Поверх барьеров» [18].

Весной 1931 г. Полонский пригласил Пастернака принять участие в поездке в Магнитогорск, организованной газетой «Известия». Писатели должны были ознакомиться с гигантскими стройками Челябинска, Магнитогорска и Кузбасса. Пастернак ограничился посещением Челябтракторостроя и писал жене домой о напрашивающемся сравнении его со стройками в эпоху Петра Первого (АП).

В 1930—1931 гг. Пастернак пишет «Новые стихи», вошедшие впоследствии в его книгу «Второе рождение», первоначальную публикацию которых взял на себя «Новый мир» [19].

В архиве В. Г. Лидина сохранилась рукопись, посланная Полонскому в августе 1931 г. Она содержит три стихотворения («Весенний день тридцатого апреля...», «Столетье с лишним — не вчера...», «Будущее! Облака встрепанный бок!..»), объединенных названием «Гражданская триада»; первые два из них были напечатаны в «Новом мире» (1932, № 5), третье впервые опубликовано в книге *Стихотворения и поэмы* (с. 553). Рукопись оканчивается припиской: «P. S. Наш адрес до конца августа: Коджоры, гостиница «Курорт», ком. 8. Был бы страшно рад вестям от вас, если снизойдете, напишите авиапочтой, а то слишком долго. Еще раз всего лучшего. Любящий вас Б. Пастернак». Таково последнее сохранившееся письмо Пастернака Полонскому.

Следующая поездка Полонского в Магнитогорск кончилась трагически. Его внезапная смерть 24 февраля 1932 г. была для Пастернака тяжелым ударом. Он отозвался на нее со всей остротой и болью. В стихах, написанных тогда и до сих пор не печатавшихся, горечь и неожиданность утраты сочетаются со свойственным Пастернаку чувством собственной вины перед лицом человеческого несчастья:

Я видел и не уберег,
Взглянул и прошел душегубом [20].

В организаторской работе и идеологической борьбе за развитие советской литературы, которой посвятил свою жизнь Полонский, Пастернак не мог стать его активным соратником:

Ты дрался, я жил под шумок,
Ты бурно взывал из дежурной
На помощь, и я не помог [21].

«Смелому борцу и неосторожному ребенку» — В. П. Полонскому — Пастернак шлет свою благодарность и обещает ему вечную память [22].

Известно 18 писем Пастернака к Полонскому. 16 из них (1921—1929) находятся в ЦГАЛИ; две недатированные записки — в личных архивах: Я. З. Черняка (собств. Б. Я. и Н. Я. Черняк, Москва), и В. Г. Лидина (Москва). Одно из писем (п. 9) опубликовано (*НМ*, 1964, № 10).

Из писем Полонского к Пастернаку сохранилось только одно — от 26 августа 1928 г. (АП).

Сохранились также 4 дарственные надписи на книгах обоих корреспондентов: три надписи Пастернака Полонскому (ИМЛИ, ф. 59, оп. 2, ед. хр. 83) и одна — Полонского Пастернаку (АП).

Ниже публикуются 13 писем Пастернака из собрания ЦГАЛИ (ф. 1328, оп. 1, ед. хр. 268), рецензия Полонского на «Четвертую книгу стихов» Пастернака (там же, оп. 3, ед. хр. 11), и стихотворение Пастернака «На смерть Полонского» (там же, оп. 4, ед. хр. 74). Записку из собрания В. Г. Лидина см. выше.

В публикацию не включены: письмо Полонского (об обстоятельствах его пребывания в Кисловодске в августе 1928 г.) и 4 записки Пастернака: записка от 29 марта 1929 г. с просьбой перенести «материал ⟨...⟩ на майскую книгу» (ЦГАЛИ) и 3 недатированные записки: сообщение о посылке неустановленного стихотворения, просьба о выплате го-

норара (ЦГАЛИ) и просьба о переносе выступления Пастернака в Доме печати (архив Я. З. Черняка).

[1] Н. Мещеряков. Вячеслав Полонский (некролог).— «Известия», 1932, № 57, 27 февраля.

[2] Из публикуемой ниже рецензии Полонского.

[3] Яков Захарович *Черняк* (1898—1955) — критик и историк литературы. В гражданскую войну был комиссаром дивизии; в 1920-е годы — секретарь редакции журнала «Печать и революция».

[4] *ПР*, 1922, № 6, с. 136.

[5] В недатированной записке, адресованной в редакцию *ПР*, Пастернак просит выдать ему аванс в счет этой, заказанной ему статьи (архив Я. З. Черняка, Москва).

[6] Этот факт устанавливается из недатированной записки Пастернака Полонскому с просьбой перенести его выступление на одном из таких вечеров (архив Я. З. Черняка, Москва). На этом вечере, 22 апреля 1922 г., Пастернак должен был читать стихи, составившие позднее книгу «Темы и варьяции» (дневник поэта Е. Ф. Куниной; хранится в ее личном архиве, Москва). О чтениях Пастернака в Доме печати см. также: И. Эренбург. Люди, годы, жизнь, кн. 1, 2. М., «Сов. писатель», 1961, с. 415—416; В. П. Полонский. Очерки литературного движения революционной эпохи (1917—1927). М.—Л., ГИЗ, 1928), с. 37; неопубликованные воспоминания Л. В. Горнунга (хранятся в его архиве, Москва).

[7] См. дарственную надпись Пастернака Полонскому на книге *Поверх барьеров, 1929*— наст. том, с. 685.

[8] ЦГАЛИ, ф. 1328, оп. 4, ед. хр. 74.

[9] *НМ*, 1926, № 8—9; 1927, № 2—5; 1928, № 11, 12; 1929, № 1.

[10] ЦГАЛИ, ф. 379, оп. 1, ед. хр. 24.

[11] «Леф или блеф» («Известия», 1927, № 46 и 48, 25 и 27 февраля); «Блеф продолжается» (*НМ*, 1927, № 5).

[12] См. п. 9, прим. 8.

[13] Стихотворение не публиковалось. Две строфы из него Пастернак включил в очерк *Люди и положения* (с. 231). Книга, подаренная Маяковскому, утеряна. Нам известны два автографа этого стихотворения, написанные Пастернаком для Г. О. Винокура (1945) и Г. В. Бебутова (1958) и сохранившиеся в их личных архивах (Москва и Тбилиси). Печатается по первому из этих автографов.

[14] ИМЛИ, ф. 59, оп. 2, ед. хр. 83.

[15] Вячеслав Полонский. Очерки литературного движения революционной эпохи (1917—1927). М.— Л., ГИЗ, 1928, с. 137.

[16] А. Крученых. Встречи с Мариной Цветаевой. Тетрадь десятая. Москва, 1944 (машинопись с пометками Пастернака — АП).

[17] *НМ*, 1931, № 1, с. 119.

[18] 24 августа 1928 г. Пастернак пишет секретарю *НМ* Н. И. Замошкину: «Летом я читал несколько таких переделок Вячеславу Павловичу, и он пожалел, что не в «Новом мире» и что я их предназначил «Звезде» (ЦГАЛИ, ф. 2569, оп. 1, ед. хр. 317). Пять таких стихотворений появились в журнале «Звезда» (1928, № 8, 9), следующие восемь печатались в *НМ* (1928, № 11, 12; 1929, № 1). Позднее эти стихи вошли в сб. *Поверх барьеров, 1929*. Об этой работе см. наст. том, Пастернак — В. Познер, п. 5, прим. 6.

[19] *НМ*, 1931, № 8.

[20] «На смерть Полонского» — см. п. 15.

[21] Там же.

[22] Там же.

1. В. П. ПОЛОНСКИЙ. «БОРИС ПАСТЕРНАК. 4-Я КНИГА СТИХОВ»

〈Рецензия〉

Пастернак, молодой поэт, недавно еще был одной из ярких звезд плеяды футуристов. Нынче он от футуристов отошел, развился, усвоил все достижения словесного мастерства и по справедливости может считаться одним из самых многообещающих и талантливых представителей молодой поэзии. Стих его звучен, рифмы оригинальны и неожиданны, размеры свежи и своеобразны, техника стиха изощрена. При этом формальные достоинства его поэзии связаны с богатством мотивов вообще, зоркостью глаза, молодым восприятием мира. В настоящей книге стихов есть, конечно, пара-другая недочетов, но о них не хочется говорить, так как достоинства ее увлекают.

Нынче стихи пишут все, кому не лень. Но как это бывает во всех областях искусства — здесь много званых, но мало избранных. Пастернак принадлежит к последним. Он значителен еще тем, что весь в будущем, но его нельзя ни в коем случае назвать классиком, и каждое новое стихотворение его — новый шаг вперед. Настоящая книга должна быть приобретена Государст-

венным издательством и, лишь представится возможность, издать с выпуском или заменой одного-двух стихотворений [1].

В. Полонский

⟨Апрель — май 1921 г.⟩

Машинописная копия. Подпись — автограф. Датируется на основании следующих фактов:

14 октября 1920 г. Госиздат заключил с Пастернаком договор на издание третьей книги его стихов «Сестра моя жизнь» (ИМЛИ, ф. 120, оп. 1, ед. хр. 23, л.1). Книга не была напечатана, и 25 мая 1921 г. был заключен новый договор, по которому Госиздат приобретал право на издание «3-й, 4-й книги стихов» (там же, л. 2). Поскольку в практике издательства заключению договора предшествовало рецензирование рукописей, «четвертая книга стихов» была отправлена на отзыв Полонскому («третья книга» в рецензировании не нуждалась, поскольку договор на нее заключался вторично). Следовательно, можно полагать, что рецензия Полонского была написана незадолго до заключения договора — в апреле или мае 1921 г.

[1] «Четвертая книга стихов» ь Госиздате не была напечатана. В начале 1922 г. ее анонсировало изд-во «Современник» («Каталог изд-ва «Современник» — альм. «Современник», № 1, М., 1922), но это издание также не состоялось и в начале 1923 г. книга вышла в берлинском изд-ве «Геликон» под названием «Темы и варьяции». 9 января 1923 г. Пастернак писал Боброву: «Вышла моя 4-я книжка. Это не у тебя ли я, обознавшись, стащил нечаянно название? Называется она «Темы и варьяции». Лично я книжки не люблю, ее, кажется, доехало стремленье к понятности» (ЦГАЛИ, ф. 2554, оп. 2, без шифра). Третья книга стихов — «Сестра моя жизнь» — была выпущена в 1922 г. изд-вом З. И. Гржебина.

2. ПАСТЕРНАК — ПОЛОНСКОМУ

⟨Москва. Лето 1921 г.⟩

Дорогой Вячеслав Павлович!

Очень жалею, что вас не застал. Мне хочется последовательно ознакомить вас с другими моими работами, с художественной прозой, статьями и т. п. [1]. Для начала вот вам большая порция прозы. Несколько слов о ней. Это начало (5-я — примерно — часть) большого романа, который я задумал, частью написал и частью наметил в 1917 — весной 1918 года и тогда бросил [2]. Вообще, весною 1918 г. мне пришлось оригинальные работы оставить и взяться за переводы (заказы) [3]. Вот история этой вещи. До 17 г. у меня был путь — внешне общий со всеми; но роковое своеобразие загоняло меня в тупик, и я раньше других и пока, кажется, я единственно,— осознал с болезненностью тот тупик, в который эта наша эра *оригинальности в кавычках* заводит. Тут, в записке, трудно об этом говорить обстоятельно и точно; но у меня есть обвинения врем⟨ени⟩ формулятивные, продуманные, и я как-нибудь ими с вами поделюсь. Пока достаточно вам будет знать, что на море произвола, открывавшемся за нашим неоэстетизмом, я готов был заболеть морской болезнью. И я решил круто повернуть. Я решил, что буду писать, как пишут письма, не по современному, раскрывая читателю все, что думаю и думаю ему сказать, воздерживаясь от технических эффектов, фабрикуемых вне его поля зренья и подаваемых ему в готовом виде, гипнотически, и т. д. Я таким образом решил дематерьялизовать прозу и, чтобы поставить себя в условья требов⟨авшейся⟩ объективности, стал писать о героине, о женщине, с психологической генетикой, со скрупулезным повествованьем о детстве и т. д. и т. д. — Три года назад я этой вещи литераторам не показывал. Неискушенных она приводила ... в трепет. Потом я о ней забыл. Этой весной мне принес ее С. П. Бобров. Я перечел ее, и вот мое о ней мненье. Печатать я ее не буду. Она перепрощена донельзя и перегружена сентенциями и длиннотами. Не буду ее и перерабатывать. Время и труд, потраченные на нее, потерянными не считаю. Такую ванну следовало принять, значенье ее, вероятно, воспитательное и школьное. Значенья этого я, вероятно, еще не в силах оценить. Оно скажется на первой же вещи, которую я возьмусь писать.

Но, к сожаленью, в последнее время эта вещь попалась на глаза нескольким молодым беллетристам, и они превознесли ее превыше небес. Видел ее и Горький. Боюсь, что верить в искренность его слов *мне* нельзя, т. к. однажды я (по роковому недоразумению) очень резко и незаслуженно его обидел [4].

Большие люди в таких случаях до гипертрофии доводят беспристрастье и, боюсь, такого происхожденья и его советы относительно этой вещи и похвалы [5].

Прочтите ее, Вячеслав Павлович. Превозмогите психологизмы, там есть и свежие места, существенные, но читайте подряд, мне очень дорого и важно ваше мненье.

Ваш Б. Пастернак

Датируется по содержанию: Пастернак выражает желание ознакомить Полонского с «другими» своими работами,— «с художественной прозой, статьями», но не упоминает о стихах. Это позволяет предположить, что со стихами Полонский уже был знаком, т. е. письмо написано после того как Полонский написал рецензию на «Четвертую книгу стихов»,— по-видимому, летом 1921 г.

[1] Работы, о которых говорит Пастернак, перечислены им в «Анкете профессионального союза поэтов» от 15 марта 1919 г.: «Роман в рукописи около 15 печатных листов, свободный для издания. Центральная вещь нижеподписавшегося. Повести, числом 3 по $^1/_2$—1 листа каждая ‹...› Задуманы, начаты, в частях исполнены: 1. «Quinta Essentia»* (гуманистические этюды о человеке, искусстве, психологии и т. д.) как составляющие эту книгу, готовы статьи: 1) О Клейсте, 2) О Тютчеве, 3) О Шекспире, 4) «Quintessentia», 5) «К естественной истории дарования», 6) О трагедии Суинберна» (ИМЛИ, ф. 120, оп. 1, ед. хр. 18).

Из этого списка напечатано: начало романа (5 печатных листов из 15) под названием «Детство Люверс» (*Наши дни*, № 1, 1922), повесть «Письма из Тулы» («Шиповник», № 1. М., 1922) и статья «Quintessentia» под названием «Несколько положений» («Современник», № 1. М., 1922; см. также: Л. Флейшман. Неизвестный автограф Б. Пастернака.— В кн.: «Материалы XXVI научной студенческой конференции. Литературоведение. Лингвистика». Тарту, 1971). Сборник статей «Quinta Essentia» был анонсирован в альманахе «Лирень» (М., 1920), но напечатан не был. Остальные работы не сохранились.

[2] Рукопись «Детства Люверс» (см. прим. 1) хранится в ЦГАЛИ (ф. 379, оп. 1, ед. хр. 25). Посылая ее С. П. Боброву, Пастернак писал ему 18 июля 1918 г.: «Прошу тебя о большой дружеской услуге: прочти начало романа, о котором слышал отзывы самые противоречивые. ‹...› Перед тем, как приступить к обработке существеннейшей второй и наисущественнейшей третьей части, мне бы хотелось как-нибудь реализовать или, по крайности, заручиться видом на реализацию целого на основании переписанных $^3/_4$ первой части. ‹...› Роман будет называться «Три имени» или что-нибудь в этом духе. Пока это неважно» (ЦГАЛИ, ф. 2554, оп. 1, ед. хр. 55). Позднее в числе утерянных рукописей Пастернак упоминал «черновик романа в нескольких, листового формата, тетрадях, которого отделанное начало было напечатано в виде повести «Детство Люверс» (*Люди и положения*, с. 224).

[3] В 1918—1921 гг. были переведены три стихотворные драмы Клейста («Принц Гомбургский», «Семейство Шроффенштейн» и «Роберт Гискар»); три интермедии Ганса Сакса; «Посвящение» и фрагмент «Тайны» Гете; комедия Бен-Джонсона «Алхимик»; стихи Ш. Ван Лерберга (см.: ходатайство Пастернака в Литотдел Наркомпроса от 14 июня 1920 г.— ЦГАОР, ф. 2306, оп. 22, ед. хр. 92; его же ответы на «Анкету профессионального союза поэтов» — ИМЛИ, ф. 120, оп. 1, ед. хр. 18).

[4] Этот эпизод имел место в 1915 г. Пастернак вспоминает о нем: «Журнал «Современник» поместил мой перевод комедии Клейста «Разбитый кувшин». ‹...› Что-то случилось с корректурой комедии. Она опоздала и содержала посторонние приписки наборной, к тексту не относившиеся. ‹...› Он ‹Бобров› сказал, что так этого безобразия, мазни в корректуре и непрошенной стилистической правки оригинала нельзя оставить и что я должен на это пожаловаться Горькому, негласно причастному, по его сведениям, к ведению журнала. Так я и сделал. Вместо благодарности редакции «Современника», я в глупом письме, полном деланной невежественной фанаберии, жаловался Горькому на то, что со мною были внимательны и оказали мне любезность. Годы прошли, и оказалось, что я жаловался Горькому на Горького. Комедия была помещена по его указанию, и он правил ее своею рукою» (*Люди и положения*, с. 226; письмо Пастернака Горькому, о котором здесь говорится, неизвестно). 5 февраля 1921 г. Пастернак обратился к Горькому с объяснительным письмом по поводу этого давнего недоразумения (*ЛН*, т. 70, с. 295—296).

[5] Во время пребывания Горького в Москве, между 20 января и 28 февраля 1921 г. (*Летопись Горького*, в. 3, с. 204—213) Пастернак приходил к нему (*ЛН*, т. 70, с. 296). По-видимому, тогда Горький ознакомился с повестью «Детство Люверс» и высказал ему свое мнение о ней. Оценку этой повести Горький дал в 1926—1927 гг., в предисловии к неосуществленному американскому изданию «Детства Люверс» (перевод М. И. Будберг), предполагавшемуся по его инициативе: «...мне кажется, что Пастернак умел сказать нечто свое и очень значительное. «Детство Люверс» может быть прочитано не только с интересом, но можно надеяться, что эта книга разбудит много хороших мыслей о маленьких людях, которых мы весьма беззаботно вводим в наш огромный, но все-таки тесный, шумный, но не очень веселый мир» (*ЛН*, т. 70, с. 310).

* «Квинтэссенция» — от лат. «Пятая сущность» (в значении—«человек»).

3. ПАСТЕРНАК — ПОЛОНСКОМУ

Fasanenstrasse 41[III] bei v. Versen. Berlin W. 15
〈Берлин〉 2.〈I.19〉23

Дорогой Вячеслав Павлович!

Я сам, сидючи тут, мог как угодно отзываться о себе самом, о видимой, покамест, бессмысленности моей поездки, о душевной тяжести, мешающей мне тут работать, и пр. и пр. И верьте мне, в горечи этого признанья я всякое чужое порицанье превзошел [1]. Когда при расставаньи с вами я в особенности настаивал на желательности личной переписки с вами, я настолько же мало кривил душой, как и прощаясь в том же духе с давними и испытанными своими друзьями, которые мое молчанье, наверное, как-нибудь объяснят, но ни за что на свете не поставят нашу дружбу под угрозу этого толкованья, удачного или неудачного. Меня часто беспокоила мысль о неоправданном вашем авансе [2]. Эта мысль беспокоила бы меня еще больше, если бы, будучи связана непосредственно и причинно с целым рядом других и превосходных беспокойств, она не тонула в их море с угнетающей гармонией и симметрией.

Успокаивала ли меня согласованность этих невзгод? Нет, увы, далеко не успокаивала. Напротив того, боюсь, что я питал и поддерживал этот мрак своей «обеспокоенностью беспокойствами». Однако я не терял надежды услышать и иную музыку, твердо зная, что и ваш трагический аванс разрешится в ней неожиданным и долгожданным консонансом. Между тем, стороной узнал я, в каком свете сложилась у вас эта история с моим эксом. Как это ни обидно для меня, повторяю, всего неприятнее мне то, что, при таком толковании, вы должны были необходимо усомниться в моем к вам, по меньшей мере, уважении. А если вы играете им, значит оно вам не нужно. Значит, мое отношенье к вам вас мало трогает и интересует. Вот что огорчительно весьма.

Как поправить это дело и поправимо ли оно вообще, надо будет выяснить по моем приезде домой. Что же касается аванса, он будет вам возвращен в самое ближайшее время. Я не знаю, что составят сейчас те двадцать долларов, которые я достал за те осенние 100 мил.,— во всяком случае, я перешлю деньги в долларах вам, равно как и О. С. Литовскому, который вероятно тоже решил, что я наперед все знал и уехал, радуясь своей требовательности к себе, часто осуждающей меня на молчанье.

Когда вы получите деньги, не почтите, пожалуйста, их за брошенную перчатку и не подумайте, qu'on prend congé de vous *. Даже и ребенку должно быть ясно, что занятые деньги надо возвращать, и если я их задержал и стал бы задерживать и далее, то только оттого, что был в неясности относительно характера этого займа и смысл его понял слишком распространенно и широко.

Однако это обстоятельство нисколько не умаляет признательности, с которой я их вам возвращаю, и огорченье, причиненное вами мне и выше объясненное, служит только доказательством моего небезразличья к тому, каких вы обо мне держитесь мыслей и чем мне отвечаете на мое, скажу на этот раз,— уваженье.

Крепко жму вашу руку

Ваш Б. П а с т е р н а к

Нежнейший привет (если вы только и тут не подгадили мне своей кровавой недоверчивостью) ото всего сердца дорогой Валентине Ароновне [3] и Черняку с женою [4].

Б. П.

О способе пересылки денег выясню на днях. Если у вас есть прямой и хороший способ, тотчас же меня об нем известите. Эту просьбу исполните пожалуйста *точно*, т. е. не заменяйте ее исполнение неожиданной и (как вы думаете) незаслуженной любезностью.

За всем прочим — с Новым годом!

---

* что с вами перестают иметь дело (*франц.*).

Письмо ошибочно датировано 2 декабря 1923 г. Дата исправлена по почт. штемпелю: «Москва. 15.I.23» (берлинский штемпель отсутствует).

[1] В середине августа 1922 г. Пастернак с женой уехал в Берлин, где в это время жили его родители, и пробыл в Германии до марта 1923 г. О своих надеждах и опасениях в связи с этой поездкой Пастернак писал из Петрограда Брюсову 15 августа 1922 г.: «Я еду в Германию на полгода или на год, если удастся. Еду работать. То же неуменье жить не дает мне возможности поделить время между работой и не работой, как того требует Москва. Оттого и еду. Я знаю, что внешне — порчу себе, так как, несомненно, меня в мое отсутствие так же быстро покатят вниз, как вкатили, меня не спрашиваясь, наверх, на высоту вполне условную, еще пока незаслуженную и малопонятную. Сделают это «молодые», то есть те, из которых, представьте себе! некоторые пишут кровным моим тоном, вовсе этого за собой на зная и не видав «Сестры»,— благодаря вторичным — горизонтально-круговым заимствованьям друг у друга» (ГБЛ, ф. 386, 97.37). См. также п. 4, прим. 7.

[2] Перед отъездом Пастернак получил аванс в журн. «Печать и революция» под будущие работы, в том числе «под корреспондирование» из Берлина; аванс был взят также в «Известиях», через О. С. Литовского, в то время ответственного секретаря редакции (эти авансы Пастернак в письме шуточно называет «эксом»). 17 января 1923 г. Пастернак писал С. П. Боброву: «Между прочим, да будет известно тебе, что авансы, данные мне Полонским и Литовским, я им в полной сохранности возвращаю. Я их пошлю в валюте, полностью покрывающей обе суммы (Полонскому 20 долларов, Литовскому 30). Мне пока что отработать и оправдать их не пришлось, а в вечности их доброго мнения я куда как не уверен. Сегодня окажешься обманщиком, завтра неверность их перекинется на твои политические убежденья, послезавтра за грудобрюшную преграду, а еще когда-нибудь тебе преподадут, как писать и чувствовать надо, раскаявшись в своем незаслуженном легковерии. Это меня не шутя огорчает, ибо я о них думаю хорошо» (ЦГАЛИ, ф. 2554, оп. 2, без шифра). Деньги были посланы в конце января 1923 г.

[3] Валентина Ароновна *Мильман* (1900—1968) — журналистка, в то время секретарь Дома печати.

[4] Елизавета Борисовна *Черняк* — жена Я. З. Черняка (о нем см. наст. том, Пастернак — Полонский, предисловие. Сохранились неопубликованные воспоминания ее о Пастернаке (архив Я. З. Черняка, Москва).

4. ПАСТЕРНАК — ПОЛОНСКОМУ

Berlin W. 15. Fasanenstrasse 41III bei v. Versen
〈Берлин. 10 января 1923 г.〉

Дорогой Вячеслав Павлович!

Получили ли вы мое письмо, посланное вам летучею почтой? С его отсылки прошло немного времени, но за это время случилось вот что. Во-первых, я после многолетнего перерыва стал опять работать, чем отчасти обязан Бор〈ису〉 Зайцеву [1], догадавшемуся пожелать мне написать что-нибудь такое, что он бы полюбил (счастливая по простоте формулировка потребности в художестве), во-вторых,—в чем отчасти виноваты вы,— я связал обычные для меня при всяком новом подступе к настоящей работе ощущенья тревоги и боязни (что не доделаешь, не кончишь, помешают или упустишь, или вообще, что это яйца выеденного не стоит, и т. д. и т. д.) — с вами. То, о чем я говорю сейчас, никакого отношения к «Печати и революции» не имеет. Опять заварившаяся беллетристическая моя кашка [2] ни на иоту моей задолженности вам не уменьшает, дела с корреспондированьем не подвигает ни на шаг, и вообще предложенного вам в прошлом письме возвращенья аванса не затрагивает и не касается. Это — дело решенное и пойдет своим порядком [3]. Что же до сегодняшнего моего письма, до моей встревоженности, и той именно, в которой обращаешься к друзьям, возобновляешь замершую переписку и т. д., то это совершенно иная статья. Вероятно, оттого, что всего менее у меня оснований ждать удовлетворенья этой странной жажды именно с вашей стороны, мне почему-то особенно занадобился десяток-другой живых слов от вас, о вашем житье-бытье, о том, что вы меня не забыли, о чем хотите сколь угодно далеко лежащем от несчастной трудности писанья по-настоящему, вызывающей всегда это периферическое, волнообразное и вихревое влеченье к людям в моменты постигнутости этим трудом. Я почти не понимаю, что пишу, у меня язык заржавел, и почти уверен, что вам знакомо описываемое явленье. Напишите мне, Вячеслав Павлович, непременно напишите.

Я оглядываюсь кругом, присматриваюсь к себе и одновременно готов прийти к двум выводам. Что никто сейчас из живущих не чувствует искус-

ства в его специфической требовательности к автору с той остротой, что я, и никто, вероятно, не настолько как я,— бездарен. Все что-то делают, что-то или о чем-то пишут и, за двумя-тремя исключениями, друг друга стоят. Ни труда этого (легкого и почетного), ни благополучья я разделить не в состояньи. Есть какой-то мне одному свойственный тон. Как мало дорожил я им, пока был им беснуем! Вне этого тона я не способен пользоваться даже тем небогатым кругом скромнейших ощущений, которые доступны любой современной посредственности, чаще всего — мещанской. Будто исчезновеньем этой одержимости я прямо-таки выключаюсь изо всего обихода, на весь срок ее исчезновенья. На днях после пятилетнего отсутствия у меня в зрачках, кажется, опять забегали эти зайчики. До этой недавней радости я не раз рвался домой. Теперь же повременю. Занялся развитием одного отрывка, однако эта проба ввела меня в тон брошенной когда-то большой работы (романа) [4]. Если за этой небольшой работой сохраню в целости эту загипнотизированность, возьмусь за продолженье романа. Как ужасно, что для моего существованья этот внутренний свист и грохот — условье sine qua non *. Замечательно, что эти ремни должны безостановочно кружиться и находиться в деятельности для того, чтобы пробуждались и пассивные способности: пониманья, восприятья и т. д. Так обстоит у меня, например, с чтеньем. Для него требуется досуг. Для досуга требуется приостановка писанья. Но достаточно мне забросить мазню *хоть на месяц*, как вслед за этим месяцем тут же, под рукой, неведомо откуда и в срок каких-нибудь двух-трех часов вырастает затяжное и продолжительное, неописуемо тупоумное бездействие, и когда эта временная опухоль начинает бледнеть, то с ужасом обнаруживаешь, что: *то прошло пять лет*! Вы поняли? Мне трудно описать это оглушительное чувствованье ближе. Неужели вы хоть на минуту всерьез плохо подумали обо мне? Как вам не стыдно! А не бросилось ли вам в глаза то, что даже Маяковский написал свою автобиографию для Ященки, я же отказался наотрез участвовать в этой сборной телефонной книге, равно как и в «Накануне», участие в котором того же Маяка и, теперь, Асеева меня огорчает [5]. Неужели вам ничего не сказало то, что обо мне вы перестали вообще слышать, именно вот это обстоятельство, именно оно, само по себе. Уж не объяснили ли вы себе его простейшим и бездушнейшим образом? Неудачей? — Упал, мол, в цене,— что-то ничего о нем не слыхать. А, помнится, я предупреждал о том, что «литературы» в Берлине делать не собираюсь [6]. Для чего же я наперед глушь — Марбург — избрал? [7] В Марбург мне попасть не удалось: жена заболела, а потом удачно стала работать (она художница). Но теперь я о нем и не думаю. Теперь место моей тетради, как она с вечера ложится,— мое собственное. Дорогой Вячеслав Павлович, в таком роде, с описками и колоратурами, утомительно и коловратно, я бы мог с вами еще до многого дописаться, однако довольно. В ожиданьи чего-нибудь отрадного от вас, крепко вас обнимаю. Я горячо и упорно люблю Боброва, Асеева и Маяка. Для оценки их данных мне, их одноротцу, не надо было сюда забираться. Но тут мы кажемся богами.

Ваш Б. Пастернак

P. S. О пересылке денег поговорю с Гринбергом [8].

Очень буду ждать письма от вас. Вот видите, не лучше ли было мне молчать, как раньше, не беспокоя себя лишними и сомнительными надеждами? А теперь молчанье это нарушено, и по утрам уже справляешься, нет ли писем. И, конечно, их нет [9].

Б. П.

Письмо датируется по почт. штемпелю на конверте: «Berlin, 10.1.23».

[1] Борис Константинович *Зайцев* (1881—1974) читал по просьбе автора «Детство Люверс» в 1921 г. в Москве. В своей книге «Далекое» Зайцев вспоминает о своем знакомстве с Пастернаком: «Этот высокий, с крупными чертами лица, несколько нескладной фигурой, крепкими руками и нервами, очень умными глазами, тридцатилетний человек принес мне рукопись: отрывок произведения в прозе. Рукопись тоже походила видом на хозяина

* Обязательное (*лат.*).

своего: написано крупным, размашистым почерком, нервным и выразительным. Пришел он как младший писатель к старшему, показать образец своей прозы — он этим доселе мало занимался, а я много ‹...› Рукопись оказалась отрывком из довольно большого повествования. Описывалось детство на Урале, на горном заводе. Подробностей не помню, но общее впечатление такое: никакого крика, никакого футуризма, написано человеческим, а не заумным языком, но очень *по-своему*. То есть — ни на кого не похоже и потому ново. Ново потому, что талантливо». И дальше: «В Берлине Пастернака я встречал очень бегло, кажется, на литературных собраниях, в кафе Ноллендорфплатц» (Борис З а й ц е в. Далекое. Вашингтон, 1965, с. 113—115).

[2] Пастернак вернулся к работе над повестью, часть которой была напечатана в 1922 г. («Три главы из повести» — «Московский понедельник», № 1). В 1929 г. он писал о том, как развивался в дальнейшем его первоначальный замысел: «Вот уже десять лет передо мною носятся разрозненные части этой повести, и в начале революции кое-что попало в печать. Но читателю лучше забыть об этих версиях, а то он запутается в том, кому из лиц какая, в окончательном розыгрыше, досталась доля. Часть их я переименовал, что же касается самих судеб, то, как я нашел их в те годы на снегу под деревьями, так они теперь и останутся, и между романом в стихах под названием «Спекторский», начатым позднее, и предлагаемой прозой разноречья не будет: это — одна жизнь» (Б. П а с т е р н а к. Повесть. Изд. писателей в Ленинграде, 1934, с. 5). О работе над «Повестью» в 1929 г. см. наст. том: Пастернак — Медведев, п. 3, прим. 3.

[3] Об авансе, полученном в редакции *ПР*, см. п. 3, прим. 2.

[4] Об этом же в письме к С. П. Боброву 9 января 1923 г.: «Продолжаю прозу, напечатанную как-то раз весною в «Понедельнике». Если додержу тон, возьмусь за «Люверс» (ЦГАЛИ, ф. 2554, оп. 2, без шифра).

[5] В октябре 1922 г. в № 9 критико-библиографического журнала «Новая русская книга» (Берлин; ред. А. С. Ященко, изд. И. П. Ладыжников) был напечатан ряд автобиографий русских писателей и в их числе автобиография Маяковского «Я сам». В ноябре 1922 г. Маяковский заключил договор с берлинским сменовеховским изд-вом «Накануне» (о нем см. наст. том, А. К. Воронский. Из переписки ‹...›, п. 24, прим. 2) на сборник «Избранный Маяковский» (В. К а т а н я н. Маяковский. Литературная хроника. М., ГИХЛ, 1961, с. 172); сборник вышел в 1923 г. Книги Асеева в изд-ве «Накануне» не выходили.

[6] Слово «литература» в этом контексте у Пастернака означает участие в литературной жизни и не совпадает с понятием «работа».

[7] Перед отъездом в Берлин, 14 июня 1922 г., Пастернак писал Ю. И. Юркуну: «...чтобы снять с себя горб этого закоснелого безделья и выпрямиться для дела, задумал я в близком будущем месяцев на 6 съездить за границу, верно, поселюсь где-нибудь в Марбурге или Геттингене, да я, быть может, об этом вам и говорил. От берлинской литературной шумихи, в которую я уже без моего ведома и против воли отчасти втянут, буду, разумеется, держаться в стороне» (*ВЛ*, 1981, № 7, с. 230).

[8] О З. Г. Гринберге см. наст. том, А. К. Воронский. Из переписки..., п. 15, прим. 5.

[9] Через две недели Пастернак послал Полонскому только что вышедшую книгу «Темы и варьяции» с надписью: «Вячеславу Павловичу Полонскому с лучшими к нему чувствами, по странности безответными. Б. Пастернак. 29/I.23. Берлин» (ИМЛИ, ф. 59, оп. 2, ед. хр. 83).

5. ПАСТЕРНАК — ПОЛОНСКОМУ

‹Берлин. 11 февраля 1923 г.›

Дорогой Вячеслав Павлович!

Горячо вас благодарю за щедрое и сердечное письмо, за участие, за советы.

Им наперекор, а также вопреки и собственным соображениям и пожеланьям, постепенно подымаюсь в обратный путь и в скорости, вероятно, в марте месяце,— буду в Москве. А как бы мне хотелось переехать в Марбург, куда попал я лишь по шестимесячном сидении в совершенно ненужном мне Берлине, бескачественном и сверхколичественном! И всего лишь на два дня. Но — жена у меня [1].

И в согласии с последним замечаньем:— до скорого, до скорого.

Ваш Б. П.

VII-й «Печати и революции» не видел. Пришлите [2].

Открытка с видом г. Марбурга. Датируется по почт. штемпелю: «Berlin. 11.2.1923». Ответ на несохранившееся письмо Полонского.

[1] Рассказав о своем студенческом пребывании в Марбурге летом 1912 г., Пастернак писал: «Впоследствии мне посчастливилось еще раз наведаться в Марбург. Я провел в нем два дня в феврале 23-го года. Я сдил туда с женой, но не догадался его ей приблизить. Этим я провинился перед обоими» (*Охранная грамота*, с. 71).

[2] Седьмой номер *ПР* за 1922 г. был посвящен пятилетию Октябрьской революции. Напечатанные там статьи Брюсова, Асеева, Луначарского и др. подводили итоги развития советской литературы и искусства за это пятилетие.

6. ПАСТЕРНАК — ПОЛОНСКОМУ

(Москва. Конец мая — июнь 1926 г.)

Дорогой Вячеслав Павлович!

С благодарностью возвращаю «Благонамеренного» [1]. В него вложен тот кусочек к «Шмидту», о котором говорил вам вчера [2]. Если склонитесь к тому, чтобы вдвинуть в целое (в «Новый мир»), я завтра зайду в редакцию и покажу тов. Замошкину [3], где этой вставке полагается быть. Привет Кире Александровне [4].

Ваш. Б. П.

Датируется по связи с письмом Пастернака М. И. Цветаевой от 23 мая 1926 г. (см. ниже, прим. 2).

[1] В журнале «Благонамеренный» (Брюссель, 1926, № 1 и 2) печатались стихи и проза Цветаевой.

[2] Этот «кусочек» — «Письмо к сестре» (гл. 10 журнальной редакции поэмы «Лейтенант Шмидт»), что выясняется из письма Пастернака Цветаевой 23 мая 1926 г.: «Когда она (первая часть поэмы), была сдана, нашел матерьял, несоизмеримо существеннейший, чем тот, которым пользовался. Переделывать надо бы поместьем владеть. Не придется. Вгоню главу в виде клина, от которой эта суть разольется в обе стороны» (*ВЛ*, 1974, № 4, с. 259—260). Материал, который использовал в этой главе Пастернак,— воспоминания сестры Шмидта (см. наст. том: Пастернак — Тихонов, п. 7, прим. 4). «Письмо к сестре» не было опубликовано в *НМ*, его напечатал журн. «Молодая гвардия» (1926, № 7).

[3] Николай Иванович *Замошкин* (1896—1960) — литературный критик, в то время секретарь редакции «Нового мира».

[4] Кира Александровна Эгон-Бессер — жена Полонского.

7. ПАСТЕРНАК — ПОЛОНСКОМУ

(Москва. Июль 1926 г.)

До подачи следующего отрывка рукописи *не печатать*. По-видимому, тогда выпущен будет весь кусок под 3-ей цифрой [1]. Когда я писал, мне казалось, что нужно дать представление о домашней сутолоке, характерной для героя и времени [2].

Б. П.

Кроме того, письмо на стр. 8, предоктябрьское, будет докончено [3].

Датируется по связи с письмом Цветаевой Пастернаку от 1 июля 1926 г. (см ниже, прим. 1).

Категорический тон этой записки, сохранившейся в архиве Полонского, обусловлен срочностью изменений, которые вносились в текст поэмы «Лейтенант Шмидт» уже в процессе набора.

[1] Эта записка отражает реакцию Пастернака на критику, которой Цветаева подвергла поэму «Лейтенант Шмидт», ознакомившись с ней по рукописи, соответствовавшей тексту, опубликованному в *НМ* (редакция не выполнила пожелания автора). 1 июля 1926 г. она писала ему, что письма Шмидта «заслоняют» автора и звучат «неправдоподобно»; особенно протестовала она против «Письма о дрязгах» (третья глава): «Да, очень важное: чем же кончилась потеря денег? Остается в тумане. И зачем этот эпизод? Тоже не внушает доверия. Хорош офицер! А форма негодования! У офицера вытащили полковые деньги, а он: «Какое свинство!» Так неправдоподобен бывает только документ» (*ВЛ*, 1974, № 4, с. 277). В окончательной редакции («Девятьсот пятый год». М.— Л., ГИЗ, 1927) третья глава была выпущена.

[2] Свое отношение к критике поэмы и обоснование своего подхода к фактам, в ней отраженным, Пастернак записал в 1944 г., по просьбе Алексея Крученых: «Автор, пользуясь материалами того времени для своей поэмы, подходил к ним без романтики, реалистически, видя в задаче обеих поэм («Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт») картину времени и нравов, хотя бы и в разрезе историко-революционном. Поэтому, когда документы, наряду с высотою и трагизмом материала, обнаруживали черты ограниченности или политического фразерства, или по-иному смешные, автор переносил их в поэмы с целью и умыслом, в сознании их самообличающей красноречивости. Снабжать их комментарием ни с какой стороны было невозможно. Но без объяснения некоторая *иро-*

ния № 3 («Письма о дрязгах») и в особенности «Мужского письма» (№ 6), по мнению автора, совершенно прозрачная (тон интеллигентской хвастливости), осталась непонятой большинством и даже людьми такой смысловой восприимчивости, как Цветаева и Маяковский. Обязательная *приподнятость* в трактовке героя и героической стихии предполагалась настолько сама собою, что намеренная и умышленная психологическая и бытовая обыденщина некоторых частей поэмы была оценена как недостаточная их проникновенность, как нехватка пафоса и неудача» (А. К р у ч е н ы х. Встречи с Цветаевой. Тетрадь десятая. Машинопись с пометами Пастернака.— АП).

[3] Имеется в виду глава 6-я журнальной редакции поэмы («Мужское письмо»). В окончательной редакции поэмы эта глава, как и глава 3-я, была выпущена (см. прим. 1).

8. ПАСТЕРНАК — ПОЛОНСКОМУ

⟨Москва. 2.XI.26⟩

Дорогой Вячеслав Павлович!

Я не подводил вас и ничего от вас умышленно не таил. Вины, мне вмененной, я за собой не знаю. Но я доставил вам неприятность и теряюсь от сознанья, что мне ее не загладить. Вы проявили в сужденьи обо мне незаслуженную строгость. Я в отчаяньи и три дня хожу, как больной. «Посвященье» прикрыто условностями формы из побуждений, до политики никакого отношенья не имеющих. Сделанное поэту, оно отдано на волю случая, в предположении, что поэтами же и будет раскрыто [1].

Теперь вы утратили веру ко мне и в меня. Я так легко и быстро не могу расстаться со своею. Я вынужден верить вам, что случай значителен, хотя все во мне против такой оценки восстает. Дольше пребывать в этой неясности я не в силах. Я умоляю вас сравнить значительность инцидента с тем значеньем, которое имеет для меня и может не иметь для вас мое отношенье к вам. Выбор этот в вашей власти. И тогда либо *совершенно и безо всякого остатка* простите мне эту мелкую и роковую оплошность, либо же, при малейшем осадке личной горечи, совершенно пожертвуйте мною в пользу принципов, развивающих в обществе все бóльшую и бóльшую правдивость и ставящих меня, в их отраженном изображении, в положенье вкрадчивого лгуна. Это — ваше дело, категоричность же моей просьбы неосновательной претензии в себе не заключает: я всегда смотрел в глаза вам так же прямо и с той же симпатией и безусловным уваженьем, как — серьезно, неслучайно и во всех отношеньях заслужено и мое посвященье Цветаевой [2].

Ваш Б. П а с т е р н а к

2/XI/26

[1] Публикация поэмы Пастернака «Лейтенант Шмидт» (*НМ*, 1926, № 8—9) предварялась стихотворным посвящением М. И. Цветаевой. Имя ее не было названо прямо — его составляли первые буквы строк стихотворения. По-видимому, в несохранившемся письме Полонский упрекал Пастернака за это посвящение. В окончательной редакции (в книге «Девятьсот пятый год». М.—Л., ГИЗ, 1927) посвящение Марине Цветаевой снято, но поэма переработана в духе ее замечаний (см. п. 6, прим. 2, и 7 прим. 1). Книга была подарена Полонскому с надписью: «Дорогому Вячеславу Павловичу Полонскому, соучастнику от главного виновника. С чувством преданности и грусти. Б. Пастернак. 12.X.27» (ИМЛИ, ф. 59, оп. 2, ед. хр. 83).

[2] В 1944 г. Пастернак вспоминал: «Лейтенант Шмидт около 1905 г. был предметом детского и юношеского поклонения Марины Цветаевой. Это вызвало посвящение» (А. К р у ч е н ы х. Встречи с Цветаевой. Тетрадь десятая — АП). Посылая Цветаевой это посвящение, Пастернак писал ей 19 мая 1926 г.: «Соображения житейские заставляют меня признать все уже написанное о Шмидте «1-ою частью» целого, уверовать в написанье второй и сдать написанное в журнал. Я над вещью работы не брошу. Она будет. Но мне хотелось посвященье тебе написать по окончании всего, и хорошо написать. Помещать же его надо в начале. Вчера, перед сдачей, написал как мог (дальше приводится текст «Посвящения».— См. *Стихотворения и поэмы*, с. 661). Тут — понятье (беглый дух): героя, обреченности истории, прохожденья через природу,— моей посвященности тебе. Главное же, как увидишь, это акростих с твоим именем, с чего и начал: слева столбец твоих букв, справа белый лист бумаги и беглый очерк чувства» (*ВЛ*, 1978, № 4, с. 254—255).

9. ПАСТЕРНАК — ПОЛОНСКОМУ

⟨Мутовки Моск. обл.⟩ 1.VI.27

Дорогой Вячеслав Павлович!

У меня к вам большая личная просьба. Введите, пожалуйста, в должное русло работу подателя, Н. Н. Вильяма [1] в «Большой Советской Энциклопедии» [2]. Я видел и знаю две его статьи для Словаря. Обе они удачны и содержательны. По моему мненью, для недоразумений, которые у него случились с заместителями П. С. Когана, не должно бы быть никаких оснований. Петр Семенович [3] заказал ему статью о Гельдерлине на 6.000 знаков. Он статьей был удовлетворен. По отъезде Петра Семеновича при расплате Вильяму говорят, что о Гельдерлине была предположена статья лишь на 1.000. Статья о Верфеле встретила замечанья, которые просятся в ваш Скобеевский литературный ларек [4]. Между тем у Вильяма работа выравнивается, он уже, и очень быстро, вошел в требующийся тон. Его обязательно надо поддержать и, Вячеслав Павлович, очень *решительно*.

Жалею, что не увижу вас на этих днях, по приезде.

Я ухожу, и на этот раз окончательно, из Лефа [5]. Вероятно, я оформлю это в виде письма к В⟨ладимиру⟩ В⟨ладимировичу⟩. Вы знаете, как я его люблю и продолжаю ценить,— метафизическим авансом. Вот часть письма, имеющая отношенье к вам и к статье [6]. Вы должны мне оставить свободу ее толкованья, лишь под этим условьем, даже при резкости, эта часть не только не обидна для вас, а может быть, даже и наоборот. Кроме того, таково и мое истинное пониманье. Дальше под словом «вы» надо, значит, разуметь Маяковского. Предшествует мотивировка выхода. «*Только вне* лефовского пониманья поэта смею напомнить, что поэт не есть психологический *тип*, в своей общности реконструируемый из метафор, как из частностей дознанья, и из образов, как из реальных стычек с людьми отдаленных эпох. Бессмыслица, проникающая значительную часть статьи В. Полонского в «Новом мире», *не может не быть сознательной*. Нельзя предположить, чтобы критик и редактор забыл о границе, отделяющей переносный смысл от — во всех отношениях — непереносного. Утверждаю, что этот вопиющий по своей рискованности выпад против сильнейшего, что есть в нашей литературе за последнее десятилетье, гораздо шире и больше того, чем он может казаться. Это не только правомерная самозащита человека, пользующегося оружьем нападающих. Это защита всей литературы, всей той, среди которой числится и «Облако в штанах», от лефовских методов, не слышавших о таком произведеньи. Таким, каким вы получились у Полонского, и должен выйти поэт, если принять к руководству лефовскую эстетику, лефовскую роль на диспутах о Есенине, полемические приемы Лефа, больше же и прежде всего, лефовские художественные перспективы и идеалы [7]. Честь и слава вам, как поэту, что глупость лефовских теоретических положений показана именно на вас, как на краеугольном, как на очевиднейшем по величине явлении, как на аксиоме. Метод доказательства Полонского разделяю, приветствую и поддерживаю. Существованье Лефа, как и раньше, считаю логической загадкой. Ключом к ней перестаю интересоваться» [8].

Разрыв этот для меня нелегок. Они не хотят понять меня, более того, хотят не понимать. Я останусь в еще большем одиночестве, чем раньше. Буду в конце июня в Москве, хочу с вами повидаться. Не оставьте Вильяма без поддержки. Крепко жму вашу руку.

Ваш Б. Пастернак

[1] Летом 1927 г. Пастернаки жили на даче в деревне Мутовки (ст. Хотьково, Сев. ж. д.) по соседству с семейством Николая Николаевича Вильяма (Вильмонта), историка литературы и переводчика, который и отвез это письмо в Москву Полонскому.

[2] В 1926—1932 гг. Полонский заведовал отделом литературы и искусства Большой советской энциклопедии.

[3] П. С. Коган был главным редактором отдела иностранной литературы БСЭ.

[4] Юмористический отдел *НМ* назывался «Литературный ларек. Фрол Скобеев».

[5] Об отношении Пастернака к Лефу см. наст. том, Пастернак—Полонский, предисловие.

[6] Имеется в виду статья Полонского «Критические заметки. Блеф продолжается» (*НМ*, 1927, № 5). В ней Полонский продолжил полемику, начатую им статьей «Леф или Блеф» («Известия», 1927, № 46 и 48, 25 и 27 февраля) и подхваченную «Новым Лефом» («Протокол о Полонском» — 1927, № 8). Полонский обвинял Леф в приверженности «богемской закваске» дореволюционных футуристов: «Богема остается богемой даже тогда, когда меняет желтую кофту на красную...» (*НМ*, 1927, № 5, с. 148). Он обрушился на новолефовцев за «гипертрофию индивидуализма», самовлюбленность, высокомерие, «наплевизм» на все, что вокруг: «Эти черты характерны и для «Лефа», называющего себя «Новым». Они более всего заметны в фигуре вождя русского футуризма ‹...›. Я не хочу сказать, будто Маяковский — Хлестаков русской поэзии. Это было бы чудовищной недооценкой роли, сыгранной Маяковским. Я нисколько ее не преуменьшаю, она была велика. «Облако в штанах» оставило большой и неизгладимый след на развитии молодой русской поэзии. ‹...› Я предлагаю лишь отделить в поэзии Маяковского то, что есть в ней лучшего и настоящего, от «маяковщины», т. е. от всех тех отвратительных и смешных богемских черт, о которых говорил выше» (там же, с. 154).

[7] О своем отношении к лефовским методам и эстетике Пастернак позднее вспоминал: «Я не понимал его ‹Маяковского› пропагандистского усердия, внедренья себя и товарищей силою в общественном сознании, компанейства, артельщины, подчинения голосу злободневности. Еще непостижимее мне был журнал «Леф», во главе которого он стоял, состав участников и система идей, которые в нем защищались. Единственным последовательным и честным в этом кружке отрицателей был Сергей Третьяков, доводивший свое отрицание до естественного вывода. Вместе с Платоном Третьяков полагал, что искусству нет места в молодом социалистическом государстве или, во всяком случае, в момент его зарождения. А то, испорченное поправками, сообразными времени, нетворческое, ремесленное полуискусство, которое процветало в Лефе, не стоило затрачиваемых забот и трудов, и им легко было пожертвовать» (*Люди и положения*, с. 230).

[8] Письмо, отрывок из которого цитирует Пастернак, не сохранилось. Позднее Пастернак писал об этом эпизоде: «Я порвал с Маяковским вот по какому поводу. Несмотря на мои заявления о выходе из состава сотрудников «Лефа» и о непринадлежности к их кругу, мое имя продолжали печатать в списке участников. Я написал Маяковскому резкое письмо, которое должно было взорвать его» (*Люди и положения*, с. 231). По-видимому, Пастернак имеет в виду письмо, написанное им 26 июля 1927 г. в редакцию «Нового Лефа»: «Несмотря на мое устное заявление об окончательном выходе из Лефа, сделанное на одном из майских собраний, продолжается печатание моего имени в списке сотрудников. Такая забывчивость предосудительна. Вашему коллективу прекрасно известно, что это было расставание бесповоротное и без оговорок, в отличие от зимнего, тотчас по моем ознакомлении с 1-м номером, когда собранию удалось уговорить меня воздержаться от открытого разрыва и удовольствоваться безмолвной безучастностью к условной видимости моего участия. Благоволите поместить целиком настоящее заявление в вашем журналее. Борис Пастернак» (оригинал письма утерян, копия хранится в Гос. музее Маяковского, Москва). Редакция «Нового Лефа» пренебрегла и в этот раз просьбой Пастернака и не напечатала это заявление.

10. ПАСТЕРНАК — ПОЛОНСКОМУ

‹Москва. 19.IX.27.›

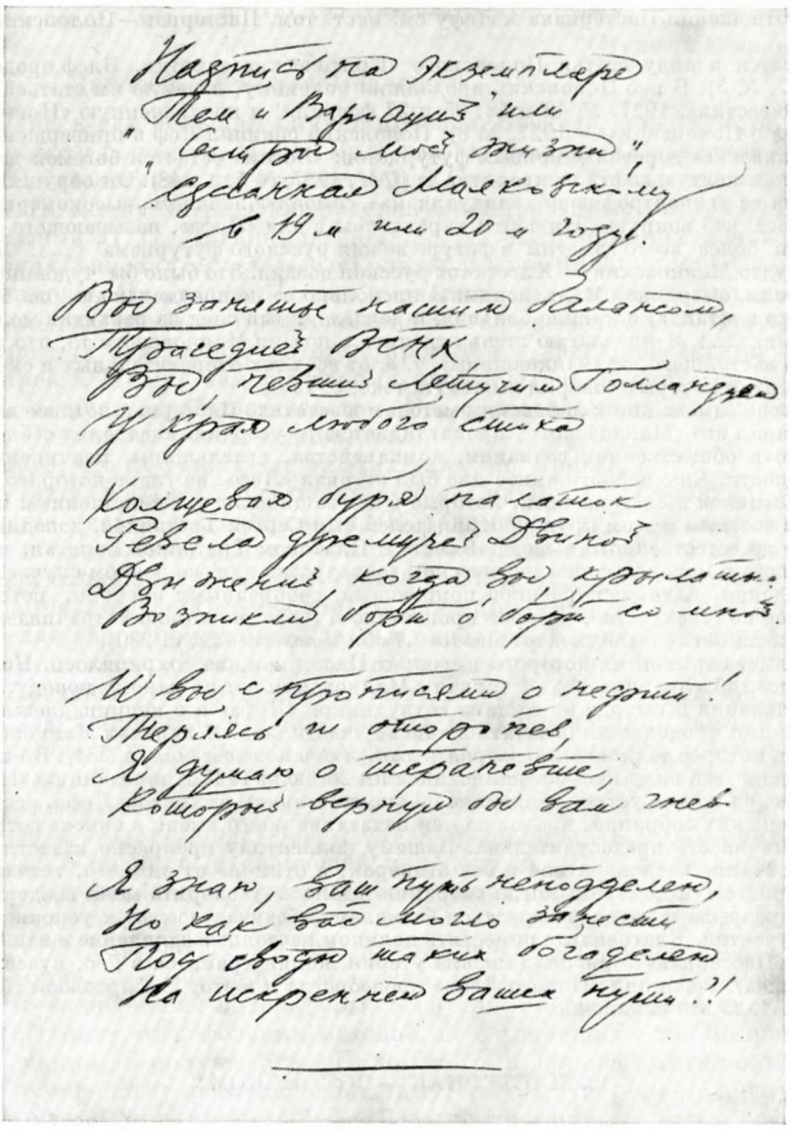
Дорогой Вячеслав Павлович!

Вероятно я поздно хватился, и вы даже при желании и готовности не успеете исполнить моей просьбы. Все же, на всякий случай, вот она. Не попадется ли вам в Вене или Берлине [1] стоящая и исчерпывающая книга о Рильке (с большим биографическим матерьялом) или люди сведущие, которые таковую могли бы указать? [2] Простите тут же неловкость, которую я сейчас же допущу. Зная вас, я прошу вас принять мою просьбу во вниманье только при том условии, что это не будет подарком. Лучше сказать, достаточным подарком будет уже и то, что среди множества легко представимых забот и поручений вы уделите долю времени и ей.

У меня есть весь Rilke *кроме* двух книжек дешевой библиотеки. Inselbücherei: «Requiem» и «Marienleben» [1*]. Если после книг, вышедших при его жизни, появились какие-либо посмертные, т. е. какой-нибудь «Nachlass» [2*], то нет у меня и этого последнего. За эти пополненья был бы вам также глубоко благодарен. Из книг же о Rilke есть у меня: книжка Faesi, сборник

[1*] Книжки ‹издательства› Инзель: «Реквием» и «Жизнь Марии» (*нем.*).

[2*] «Наследие» (*нем.*).



Надпись на экземпляре
„Тем и Вариаций" или
„Сестры моей жизни"
сделанная Маяковскому
в 19 м или 20 м году.

Вы заняты нашим балансом,
Трагедией ВСНХ
Вы, певший Летучим Голландцем
У края любого стиха

Холщевая буря палаток
Ревела дремучей Двиной
Движений, когда вы крылаты,
Возникли борт о борт со мной.

И вы с прописями о нефти!
Теряясь и оторопев,
Я думаю о терапевте,
Который вернул бы вам гнев.

Я знаю, ваш путь неподделен,
Но как вас могло занести
Под своды таких богаделен
На искреннем вашем пути?!

СТИХОТВОРЕНИЕ Б. Л. ПАСТЕРНАКА «МАЯКОВСКОМУ»

Автограф, 1945

На обороте пояснительная надпись Г. О. Винокура: «Стихотворение это записано по моей просьбе Б. Л. Пастернаком в Переделкине в сентябре 1945 г., после того, как я напомнил ему о том, что видел его в 1922 г. летом на экземпляре его книги «Сестра моя жизнь», подаренном им Маяковскому. По-моему, экземпляр должен находиться в библиотеке О. М. Брика. Речь идет именно о «Сестре моей жизни», а не о «Темах и вариациях», вышедших позднее. Г. Винокур. 12.IX. 45»

Семейный архив Т. Г. Винокур, Москва

французских писателей «Reconnaissance à Rilke» («Cahiers du mois»)[3*] и сборничек издательства Inselverlag под названием «Inselschiff»[4*]. Однако все это совсем не то, чего хочется и что, по всей вероятности, уже о нем имеется в немецкой печати.

Только вчера мы переехали с дачи[3]. От Я⟨кова⟩ З⟨ахаровича⟩[4] узнал о громадной работе, чудесно исполненной вами в такой невероятно короткий срок[5]. Тем глупее чувствую себя я при сознании, что три с половиной меся-

[3*] «Памяти Рильке» («Ежемесячные тетради») (*франц.*).
[4*] «Корабль ⟨издательства⟩ Инзель» (*нем.*).

ца провел в прекрасной местности без видимой пользы. То немногое, что я сделал (несколько небольших стихотворений и небольшой набросок, имеющий отношение к Октябрю, но абсолютно не тематический и очень слабый), я отдал в ЗИФ и «Звезду» [6].

Я боялся впечатленья, что вы так благоволите ко мне, что любая дрянь моя находит всегда гостеприимный кров «Нового мира», и чтобы себя и вас избавить хоть на время от этой тени, направил свои предложенья в другие места, затруднив соглашенья повышенными требованьями гонорара. Однако их сговорчивость превзошла все мои ожиданья, и после этого опыта совесть моя в отношении вас и себя много чище и легче.

Страшно рад за вас. Поработать с таким успехом и пользою в поездке это ведь одна из тех радостей, которые граничат с выигрышем в лотерею. И как вам наверно ездится при таком «feci» [5*], дающем полный нечеловеческий отпуск вашим глазам и ушам!

Крепко жму вашу руку.

Ваш Б. Пастернак

[1] В сентябре 1927 г. Полонский ездил в Западную Европу (Париж, Берлин, Вена).

[2] Пастернак собирался написать статью о Р.-М. Рильке: «В феврале 1926 года я узнал, что величайший немецкий поэт и мой любимый учитель Райнер Мария Рильке знает о моем существовании, и это дало мне повод написать ему, чем я ему обязан. ‹...› Я обещал себе по окончании «Лейтенанта Шмидта» свидание с немецким поэтом, и это подстегивало и все время поддерживало меня. Однако мечте не суждено было сбыться,— он скончался в декабре того же года, когда мне оставалось написать последнюю часть поэмы, и весьма вероятно, что на настроении ее последних страниц отразилась именно эта кончина. Тогда ближайшей моей заботой стало рассказать об этом удивительном лирике и об особом мире, который, как у всякого настоящего поэта, составляют его произведения» («Читатель и писатель», 1928, № 4-5, 11 февраля).

[3] См. п. 9. прим. 1.

[4] Я. З. Черняк (см. о нем наст. том, Пастернак — Полонский, предисловие).

[5] Речь идет о книге Полонского «Очерки литературного движения революционной эпохи. 1917—1927» (М.— Л., ГИЗ, 1928).

[6] Об этом см. наст. том: Пастернак — Обрадович (п. 2).

11. ПАСТЕРНАК — ПОЛОНСКОМУ

‹Москва. 30 октября 1927 г.›

Дорогой Вячеслав Павлович!

Сейчас Б. Ковынев прочел мне свою поэму, и я от души желаю вещи успеха. В лучших своих частях, количественно преобладающих, это — истинная лирика, незахватанная и неизбитая по тому живому чувству, которое ее, в счастливейших местах, насытило хорошим пафосом и метафоризмом [1]. Первое преодоленье романтики бывает и само романтично. Так я понимаю вещь и буду за нее ходатайствовать перед вами и устно. Крепко жму вашу руку.

Ваш Б. Пастернак

30.X.27

[1] Поэт Борис Константинович *Ковынев* (1903—1970) писал Горькому 9 января 1928 г., посылая ему свою поэму «Судьба»: «Показывал ее некоторым нашим литераторам, в частности, Б. Л. Пастернаку. Борису Леонидовичу она очень понравилась» («Лит. учеба», 1978, № 4, с. 116). 20 января 1928 г. Горький отвечал: «Стихи ваши очень понравились мне и по теме, и по тону. В технике стиха я, наверное, плохой судья, но если поэма ваша нравится Пастернаку — чего же вам больше?» (там же, с. 117). В то время поэма не была опубликована, и впоследствии Ковынев не включал ее в свои поэтические сборники.

12. ПАСТЕРНАК — В. П. и К. А. ПОЛОНСКИМ

‹Геленджик. Около 20 июля 1928 г.›

Дорогие Кира Александровна и Вячеслав Павлович!

Геленджик вовсе не так плох, каким его представила Женя [1]. Море, как море, и у самой его обнажающей синевы голой перламутровой ослепитель-

[5*] «сделал» (*лат.*).

ностью рассыпаны купающиеся, лодки, белые дачки греческого городка, белоногие моряки и греки-киосщики, чистильщики сапог, дети кофеен и кефирен, горячий, невинный и неразвращенный юг, бездельничающие олеандры, мимозы, персики, айва (но тут уже покинута синтаксическая согласованность) — а сзади — горы, не бог весть какие, но все-таки горы, настоящие горы, т. е. спокойные нагроможденья сторожевой неменяющейся обширности, отдаленно похожие на большую громаду времени, разом воображенную, на какую-то «целую жизнь», дожидающуюся чьего-то переживанья и никем не пережитую. Одним словом, это юг, каким ему полагается быть, и я бы им без конца любовался, если бы не был им сконфужен, если бы он не сконфузил меня своей ослепительной законченностью при совершенном спокойствии и здоровьи. Он этого достиг без всякой нервной утечки. Я же приехал сюда совершенно больным. Это позорно и об этом нельзя говорить, меня же тянет на такие признанья, потому что не хотелось бы ничего таить о себе. Вообще я рад как угодно уронить чувство своего достоинства, потому что живу чувством достоинства природы, и она не потеряет, как бы я ни унижал себя, всякий раз, впрочем, по заслугам. Три дня брожу здесь очарованный, уничтоженный, неудачный. Я совершенно забыл, откуда приехал, что собой изображаю и достигал ли когда чего. Однако надо взяться за ум. Необходимо что-нибудь возомнить о себе, а то сложно расчлененная, здоровая система человеческого самомненья сотрет тебя, и близким, ближайшим тебе людям (они очень загорели, и я их очень люблю) нечего будет есть. Пишу вам в день переломный, в день «принятых решений», так называемого «дальше так нельзя» и пр. Будем гулять, загорать, купаться. Очень хочется в Теберду, всем семейством, улыбается эта мысль и Евгении Владимировне.— Вспоминаю предложенье Киры Александровны и ловлю ее и вас на нем [2]. Не знаю, чем отвечу и чем смогу воздать за такую услугу, но так хочу побывать там и в одно время с вами, что решаюсь обо всем этом вас просить. Прекрасно было бы, если бы можно было поселиться вне дома Цекубу (если кругом имеются помещенья) в двух комнатах, с правом столоваться в Доме, и со скидкой, скажем, на одно мое лицо. Готов ассигновать на две недели двести, а если этого мало, то и несколько больше, рублей. Очень хорошо было бы все это знать между 5-м и 10-м, чтобы к 10-му ⟨VIII⟩ * уже и подняться отсюда (таковы сроки съемки тут). Страшно буду вам благодарен за сведенья и сопряженные со всем этим хлопоты. Поездим верхом, говорят, там это даже и с моим спорным стажем возможно, и даже без всякого, как у Жени. Не обращайте вниманья на тон в начале письма, это всегда у меня и не без причины. Преданный вам обоим

Б. П.

Адрес наш. Геленджик. Черноморское побережье Кавказа, ул. д-ра Гааза, 22, нам.

Датируется по переписке Пастернака с женой: 7 июля 1928 г. он писал ей, что надеется через неделю закончить работу и получить деньги на поездку в Геленджик (АП).

[1] 12—14 июня 1928 г. Е. В. Пастернак писала мужу из Геленджика, куда она приехала с сыном: «Вблизи море мне здесь нравится мало ⟨...⟩ Здесь бухта, море у берегов грязноватое, подходит почти в упор к отвесному склону, так что между морем и горой узкая полоса серых однообразных камешков — тут купаются, причем выше, по всей береговой линии санатории, окурки, как в парке в Александровке» (АП). Вероятно, об этом впечатлении Пастернак говорил Полонским в Москве.

[2] 25 июня 1928 г. Пастернак писал жене: «Вчера очень горячо Кира Александровна развила следующий план. Они в августе на месяц поедут в Теберду, все нам устроят (то, есть снимут помещенье вне дома отдыха и условятся о нашем столованьи в нем, сведенья которые мы получили весной,— преувеличены и неточны) и вызовут нас телеграммой на все готовое» (АП).

---

* *В автографе описка*: VII.

13. ПАСТЕРНАК — ПОЛОНСКОМУ

〈Геленджик〉 29.VII.28

Дорогой Вячеслав Павлович!

Сегодня отсюда уезжают в Москву, и вот пользуюсь оказией (а то обычным способом письма по 5-ти дней ходят). По своему обыкновению, как выяснилось, я вам свою просьбу изложил неточно. Оказывается, комната у нас тут снята до *7/VIII-го*, менее чем на месяц их тут не сдают, и таким образом *седьмого числа* мы должны либо на месяц опять продаться Геленджикскому дьяволу, либо же к тому же числу знать, куда нам переселяться. Есть тут кругом места более живописные и спокойные, чем Геленджик, как-то: Криница, Бета, Тонкий Мыс и пр., и если бы не маячила Тебердинская возможность, мы уже и теперь бы в этом отношеньи самоопределились. Однако мне больше всего хотелось бы, уж если на то пошло, переехать в настоящие горы. И, конечно, о Теберде заходит речь не только в виду ее прославленных красот, а и оттого, что вы там будете. Я никогда не стал бы вас затруднять, если бы был один, да это и естественно: в таком случае самые розыски и рекогносцировки и составляли бы мое путешествие и отдых, да я нигде бы и не засиживался,— что может быть интереснее и приятней этих пешеходных и всяких других разысканий по Кавказу? — Иное дело в моем случае, и вы не сердитесь, что я так злоупотребляю вашей добротой. Итак, в последнем уточнении просьба моя клонится к тому, чтобы вы обо всем просимом известили нас *телеграммой*, и, как *можно скорее* по вашем приезде в Теберду. Адрес таков: Геленджик, Гааза 22, Пастернаку. Текст приблизительно такой, «возможно» или «невозможно» — и я буду знать, что под этим подразумевается возможность или невозможность поселенья нас вчетвером (меня, Евгении Владимировны, Женички и человека при нем), в той или иной жилеческой и едовой комбинации, не превышающей 400 р. в месяц.

Тороплюсь,— уезжают,— и очень боюсь, что уже не застану вас письмом.

Привет от нас обоих милой Кире Александровне.

Любящий вас Б. П.

Простите, что вырастаю в настоящую напасть для вас.

14. ПАСТЕРНАК — ПОЛОНСКИМ

〈Геленджик. 24 августа 1928 г.〉

Дорогие Кира Александровна и Вячеслав Павлович!

В свое время получили и телеграмму и открытку [1], спасибо. Как здоровье Киры Александровны? Тем временем мы разнообразными способами пропутешествовали от Геленджика до Сочи, и открытка ваша застала нас по возвращеньи из этой прогулки, одновременно бывшей и семейным экзаменом. Т. к. Женичка испытанье это выдержал блестяще, то нас тянет вновь в путешествие. Мы надеемся его оставить на неделю сроком и в это время заскочить куда-нибудь в горы. Тут ли вы все еще и не согласились ли бы на переезд-переход: Кисл〈оводск〉 — Теберда — Сухум с дальнейшим направленьем для нас — Новороссийск и т. д., или на любую другую горную комбинацию [2]? На этот раз всякие просьбы об устройстве отпадают, и речь только о том, чтобы повидать вас и сделать что-нибудь крупное и вечно-снежное вместе. Отвечайте поскорее.

Ваш Б. П.

Открытка. Адресована в Кисловодск. Датируется по почт. штемпелю: «Геленджик. 24.8.28».

[1] Телеграмма и открытка не сохранились. Как видно из письма Полонского от 26 августа 1928 г. (АП), в телеграмме сообщалось что, вместо Теберды, он с женой направляется в Кисловодск.

[2] 26 августа Полонский отвечал, что болезнь жены не позволяет ему осуществить эти планы (АП).

15. ‹НА СМЕРТЬ ПОЛОНСКОГО›

Ты был обречен. Твой упрек
Сразил меня смыслом сугубым.
Я видел, и не уберег.
Узнал, и прошел душегубом [1].

Ты дрался,— я жил под шумок,
Ты бурно взывал из дежурной
На помощь, и я не помог.
Но урной и я буду, урна!

И речь моя рвется вперед
Не с тем, чтоб греметь
в правнучатах,
А только торопит черед,
Чтоб не горевать в провожатых.

Есть будущее. И туда
Мое за тебя благодарствуй.
Там памятливей города,
Признательнее государства.

В ту область открытых сердец
И шлю я, былого подонок,
«Прости» свое, смелый борец
И неосторожный ребенок.

Б. Пастернак

‹17 марта 1932 г.›

Стихотворение сохранилось в двух автографах с незначительными разночтениями. Печатается с более позднего, переписанного для К. А. Эгон-Бессер, вдовы Полонского. Более ранний автограф имеет название и дату: 17 марта 1932 г.

[1] В более раннем автографе: «Взглянул, и прошел душегубом».

БОРИС ПАСТЕРНАК — ПАВЕЛ МЕДВЕДЕВ

Переписка Пастернака с критиком и литературоведом Павлом Николаевичем *Медведевым* (1891—1938) ограничивается одним годом — с января 1929 по январь 1930 г. Формально она связана с предположением Ленгиза выпустить отдельным изданием «Спекторского» — роман Пастернака в стихах, который печатался по главам в журналах и альманахах в 1924—1929 гг.[1] Медведев как заведующий литературно-художественным отделом Ленинградского отделения Госиздата (Ленотгиза) был инициатором этого издания, вел переговоры с Пастернаком, прислал ему издательское предложение, а затем и договор; позднее он помог отсрочить время сдачи рукописи, и видимо, защищал «Спекторского» в издательстве от обвинений в недостаточной идейной четкости. Однако несмотря на его помощь и заступничество, Пастернаку, не соглашавшемуся на переделку последних глав в требуемом направлении, пришлось расторгнуть договор и возвратить полученный аванс.

Эти деловые моменты играли немалую роль в жизни Пастернака той поры. Значительное место занимают они и в письмах его к Медведеву. Однако главный интерес этих писем заключается в другом.

Обсуждая вопросы, связанные с предполагаемым изданием, Пастернак посвящает Медведева в процесс работы над романом в стихах и прозаической «Повестью», раскрывая их внутреннюю взаимосвязь (п. 2, 3), говорит об общем замысле «Спекторского» и дает оценку отдельных глав романа (п. 7—9, 11), сообщает план задуманного им «сборника прозы» (п. 2,3).

Не менее важна и другая тема, которой касается Пастернак в своих письмах к Медведеву.

Незадолго перед тем в Ленинграде вышла книга П. Н. Медведева «Формальный метод в литературоведении» [2], острокритическая по отношению к распространенным в то время воззрениям формальной школы. Первое же письмо Пастернака говорит о заинтересованности этой книгой. Переписка открывается 10 января 1929 г. нетерпеливым вопросом: «Что ж вы не шлете обещанной книги?» (п. 1), а разбору ее посвящено письмо от 20 августа (п. 6). Реакция Пастернака — столь характерное для него при встрече со значительным духовным явлением бурное изумление: «Я не знал, что вы скрываете в себе такого философа». Как установлено ныне, основной текст книги «Формальный метод в литературоведении» был написан М. М. Бахтиным [3]. Медведев в те годы был лично близок Бахтину и деятельно помог появлению в свет в 1929 г. его книги «Проблемы творчества Достоевского». Неизвестно, насколько Пастернак был посвящен в сложную ситуацию авторства книги «Формальный метод в литературоведении». Имя Бахтина в его переписке с Медведе-

вым прямо нигде не упоминается, однако в одном из писем Пастернак выражает надежду, что его «Повесть» прочтет некий близкий Медведеву человек, под которым вероятно подразумевается Бахтин (см. п. 4 и прим. 1 к нему).

Двумя-тремя фразами (п. 6) Пастернак раскрывает свое, окончательно к тому времени сложившееся, отношение к формальному методу, продолжавшему и развивавшему концепции футуризма, с которыми в юности его связывали, как сам он писал об этом, «характер случайности и случайность характера» [4] и с которыми затем происходит разрыв, протекавший трудно и болезненно.

Не вдаваясь в детальный анализ книги, Пастернак отмечает важнейшие стороны затрагиваемых в ней и достаточно продуманных им самим к тому времени вопросов. Однако, как всегда в своих отзывах, он с первых же слов оговаривает субъективность своего суждения.

Представлениям Пастернака о месте искусства в истории человечества соответствовали те моменты исследования, где говорится об историзме и социальной перспективе (ч. 3, гл. II, раздел «Социальная оценка и ее роль», с. 162—174). Близка была Пастернаку и критика тех литературоведческих увлечений, которые слишком прямолинейно ограничивали анализ литературных явлений выяснениями влияния социальных условий. Предвидя неизбежное столкновение подобного «дешевого гибридного марксизма» с «методологической содержательностью» книги, он выражает опасение, что автора могут упрекнуть в отклонении от подлинного марксизма. Пастернак целиком разделяет несогласие автора книги с позицией представителей формального метода, для которых «полемика из побочного дела становится чуть ли не главным и единственным устремлением, если оно проникает во внутрь всех терминов, определений и формулировок» (с. 88). В то же время Пастернак ставит под сомнение отдельные положения книги,— например, целесообразность критики некоторых понятий, вводимых формалистами, в частности, таких как остранение или соотношение фабулы и сюжета.

15 писем Пастернака к Медведеву хранятся в архиве Медведева (ГПБ, ф. 474, оп. II, ед. хр. 7). Ниже публикуется 12 из них. Остальные три письма содержат денежные расчеты и просьбы; выдержки из них используются в примечаниях. Письмо 6 в неполном виде опубликовано в книге: «Труды по знаковым системам. (Семиотика)», вып. V, Тарту, 1971, с. 528—531.

В архиве Медведева сохранились также беловые автографы стихотворения Пастернака «Ремесло» и первой редакции пятой главы романа «Спекторский», датированной 10 декабря 1927 г.[5]

Письма Медведева к Пастернаку не обнаружены.

[1] См. п. 3, прим. 4.

[2] П. Н. Медведев. Формальный метод в литературоведении. Критическое введение в социологическую поэтику. Л., «Прибой», 1928.

[3] См.: Вяч. Вс. Иванов. Значение идей М. М. Бахтина о знаке, высказывании и диалоге для современной семантики.—В кн.: «Труды по знаковым системам. (Семиотика)», вып. VI. Тарту, 1973, с. 44, прим. 101.

[4] *ВЛ*, 1972, № 9, с. 147.

[5] ГПБ, ф. 474, альбом № 2, л. 101—108. «Ремесло» впервые опубликовано в приложении в газете «Tartu Riiklik Ülikool» (26 декабря 1969 г.), затем — в *НМ*, 1971, № 8.

1. ПАСТЕРНАК — МЕДВЕДЕВУ

〈Москва〉 **10.I.〈19〉29**

Глубокоуважаемый Павел Николаевич!

Что же вы не шлете обещанной книги? [1]

Ваше молчанье толкую в том смысле, что вероятные осложненья с бумагой связали вам руки и отразились на ваших планах, во всяком случае в части, касающейся меня.

Между тем обстановка последнего месяца (толки о попутчиках, о правой опасности и пр.) [2] всего менее располагают к работе. С самой осени ничего не пишу и второй месяц живу на журнальные авансы. Когда вы со мной говорили по телефону [3], я себе не представлял, что это все так разрастется и так безнадежно на мне отразится. Вот отчего в обсужденьи всяких возможностей я ни нетерпенья, ни повышенной, сверх приличной меры, заинтересо-

ванности не выражал. Не то сейчас. По состоянию моего бюджета мне в скорости (недели через две) надо обратиться к договорным предположениям о «Спекторском» как к источнику по истребованию большого единовременного аванса. И если это невозможно у вас или вообще все это предположенье отпадает, не откажите меня о том известить, и чем скорей, тем лучше. И пришлите книгу. Жду ответа. Крепко жму вашу руку.

Ваш. Б. Пастернак

Мой адрес: Москва 19, Волхонка 14, кв. 9.
Борису Леонидовичу Пастернаку

[1] Имеется в виду книга П. Н. Медведева «Формальный метод в литературоведении...».
[2] 6 декабря 1928 г. докладом В. М. Фриче «Буржуазные тенденции в современной литературе и задачи критики» Коммунистическая академия открыла серию докладов о правых тенденциях в литературе. Эта же тема была затронута в докладе П. М. Керженцева «О политике партии в художественной литературе» на общем собрании писателей 22 декабря 1928 г. и в прениях по этому докладу.
[3] В этом разговоре Медведев предложил Пастернаку заключить договор с Ленотгизом на издание «Спекторского» (подробнее см. п. 11).

2. ПАСТЕРНАК — МЕДВЕДЕВУ

⟨Москва⟩ 20.I ⟨19⟩29

Глубокоуважаемый Павел Николаевич!

Сердечно благодарю вас за быстрый отклик. Отвечаю второпях, и ничего, кроме дела, да и то, верно, сбивчиво изложенного, в этих строках не ищите. Вы очень меня вызволили присылкой предложенья [1]. Чтобы не задерживать процедуры и, главное, присылки *35%* или их части, подписываюсь в графе об авторском согласии, но если бы это вам удалось, я очень бы просил вас, понизить тираж *с 4-х тысяч до трех* [2]. Это не из правила, что при заключеньи договора поторговаться никогда не мешает, а вот из каких соображений. Когда у меня к осени или к концу года сложится и подберется несколько книжек, я бы тут же или вскоре после того хотел запродать собранье, и наличие одного изданья не могло бы, вероятно, явиться помехой для такой сделки, между тем как 4-х тысячный тираж наверное выше единовременного выпуска и Р⟨едакционно⟩-И⟨здательский⟩ О⟨тдел⟩ Л⟨енгиза⟩, по-видимому, собирается воспользоваться своим правом двукратно (т. е. не исчерпав тиражной цифры сразу, потом допечатает). Я нетверд в этой терминологии, то что я хотел сказать, можно, вероятно, выразить в двух словах, но, думаю, вы и так меня поняли. Затем, *вам лично*, должен по совести сказать, что вряд ли до мая управлюсь, но очень прошу пропустить это признание мимо ушей и из него препятствия к заключению договора не делать. В теченье лета рукопись представлена будет, а задержки Гизу не в диковинку, и — что еще важнее, сплошь и рядом производственно и планово задерживает он и нас. У меня очень трудное и до крайности напряженное время сейчас, я об этом уже вам писал, вероятно. Крепко жму вашу руку и еще раз от души благодарю. Когда пришлете книгу, буду ее читать урывками и наперед вынужден вас предостеречь: не подивитесь, если запоздаю ответом, и скорого не ждите. С неделю сел за повесть, которая будет самостоятельным фабуляторным звеном «Сп⟨екторско⟩го», чтобы облегчить заключительное стихотворное его звено, и войдет в предполагаемый сборник прозы (=переизд⟨ание⟩ кн⟨иги⟩ «Круга» + эта повесть (листа 2) + автобиогр⟨афическая⟩ вещь листа на 3—4) [3]. О прозе говорить в этот торопливый час рано, но говорить готов именно с вами. Пока повременим. Отвечайте и, если можно, пришлите денег.

Ваш Б. Пастернак

Проза в сроках разойдется (со «Спекторским») месяца на два на три, и если бы мы договорились, то вопрос о том, что будет готово вперед, потерял бы существенность, и выбор мог бы быть предоставлен мне. Это было бы большим облегченьем в гонке.

[1] Медведев прислал Пастернаку текст договора на издание «Спекторского» в Ленотгизе.

[2] Как видно из письма Пастернака Медведеву от 11 февраля 1929 г. (ГПБ), эта просьба была выполнена.

[3] О работе над повестью и планах издания сборника прозы Пастернака в Ленотгизе см. п. 3, прим. 3 и 7. Книга «Круга» — *Рассказы*; в нее вошли: «Детство Люверс», «Il tratto di Apelle», «Письма из Тулы», «Воздушные пути»; «автобиографическая вещь» — «Охранная грамота» (см. п. 3, прим. 5).

3. ПАСТЕРНАК — МЕДВЕДЕВУ

〈Москва. 28 января 1929 г.〉

Глубокоуважаемый Павел Николаевич!

Книгу вашу получил и очень благодарю за нее. Так как в дни ее получения я времени для чтенья урвать не мог, то и не воспрепятствовал одному теоретику, приятелю моему со студенческой еще скамьи [1], ею завладеть. Мы должны были в этот день навестить Б. Садовского [2], он зашел за мной, и так мы втроем (с книгой) туда и отправились.

Вы не поверите, как мне больно и неловко надоедать вам, и не то что проявлять, а просто-таки *оголять* свое нетерпенье. Но так, к несчастью, сложились обстоятельства. Вот в чем дело. У меня давно, несколько уже месяцев, нет никаких денежных ресурсов, и держался я это время журнальными авансами. Но по своей робости я бы никогда на это не пустился, а пустившись, не стал бы вам в этом признаваться, если бы не сознанье моей кредитоспособности, которое только-то в последнее время ко мне и вернулось.

Если бы меня сейчас поддержали, то вот какова моя программа (или лучше планы). Все это должно быть выполнено к осени, скажем, к сентябрю. Это, первым делом, повесть в прозе, которую я только, только начал, но — надежно, т. е. с увлеченьем, заставляющим верить в то, что она будет доведена до конца. Названа она вчерне «Революция», будет листа на 3 на 4, а, может быть, и больше, и явится звеном «Спекторского», т. е. в ней я предполагаю фабуляторно разделаться со всем военно + военно-гражданским узлом, который в стихах было бы распутывать затруднительно. При всем том пишется она как вещь самостоятельная, и включу я ее в сборник прозы, а не — (интерполятивно) в роман, на который мы заключили договор [3].

Во-вторых, по исполнении названной прозы, должен быть закончен стихотворный «Спекторский», опять хотя и последовательно вытекающий из порученного прозе звена, но без ущерба для самостоятельности сплошь из стихов состоящей книжки [4].

Наконец, в-третьих, должна быть дописана автобиографическая вещь (памяти Рильке) об искусстве, половина которой готова и лежит в «Звезде» под временным, впредь до измененья, заглавьем «Охранная грамота»: редакция по неоценимой своей любезности воздерживается от печатанья этой, давно оплаченной части, пока не допишу всего [5].

Тогда, по доведеньи до конца этих трех работ у меня будут готовы те именно две книжки, которые интересовали вас, т. е. «Спекторский» и «Проза» (так мне хотелось бы назвать прозаический сборник, так собственно был он назван, когда был, в старом объеме, без «Революции» и «Охранной грамоты» — предложен «Кругу» и затем выпущен под названием «Рассказы», самовольно замененным издательством ради пущей расхожести; — «Проза» казалась хозяйственной части названьем нерентабельным) [6].

Фатально то, что ни план этот, ни очередной распорядок работ измененья не допускают. Т. е. я ни отложить его исполненья не могу, ни переверстать очереди. Я набрал (и прожил) авансы во всех трех журналах, и это время мне остается жить на авансы книгоиздательские (т. е. данные под книги, а не под отдельные вещи) или, короче говоря, под ваши, — если мы сделаемся и насчет прозы. В ней будет листов 12—6 листов будут новые, представил бы книгу осенью, за лист просил бы 250 р. Разумеется, прошу не у вас, а через вас, т. е. вполне на вас полагаюсь и знаю, чью сторону вы будете держать.

Простите, что тороплю вас, но не могу оставить надежды на скорый ответ от вас, в расчете на что и берусь снова за работу. Не задержитесь ответом и в том случае, если он сложится отрицательно,— тогда я обращусь в Гиз или в «Федерацию», главное, мне теперь откладывать этого нельзя и руку приходится наложить и на «Прозаический» аванс [7]. И — главнее главного — поспособствуйте скорейшей присылке всех авансовых денег под «Спекторского». Только в таком случае можно будет продолжать работу. Задержка же и дробление сумм делают ее невозможной и проживаются в покрытие задолженности, а тем временем дело не делается, вот и получается отчаянная чепуха. Не сердитесь, что надоедаю. Крепко жму вашу руку.

Ваш Б. П.

Датируется по почт. штемпелю: «Москва, 29.I.1929».

[1] Константин Григорьевич *Локс* (1890—1955) — литературовед и критик, близкий друг Пастернака. В неопубликованных воспоминаниях Локса («История одного десятилетия (1907—1917)» — ГБЛ) описаны обстоятельства этой дружбы, возникшей в 1910-х годах, когда Локс и Пастернак входили в литературные объединения «Лирика» и «Центрифуга». В архиве Е. Ф. Куниной (Москва) хранятся 10 писем Пастернака к Локсу (1912—1954); два из них опубликованы (*ВЛ*, 1972, № 9).

[2] С поэтом Б. А. Садовским Пастернак был знаком со времени их общего участия в группе «Лирика».

[3] В том же году, отвечая на вопросы анкеты «Писатели о себе», Пастернак писал об этом замысле: «Часть фабулы в романе, приходящуюся на военные годы и революцию, я отдал прозе, потому что характеристики и формулировки, в этой части всего более обязательные и разумеющиеся, стиху не под силу. С этой целью я недавно засел за повесть, которую пишу с таким расчетом, чтобы, являясь прямым продолжением всех до сих пор печатавшихся частей «Спекторского» и подготовительным звеном к стихотворному его заключению, она могла бы войти в сборник прозы,— куда по своему духу и относится,— а не в роман, часть которого составляет по своему содержанию» («На лит. посту», 1929, № 4-5, с. 119—120). Эта работа получила название «Повесть» и была опубликована в 1929 г., сначала в отрывках («Красная нива», № 30; *ЛГ*, № 13, 15 июля), а затем полностью (*НМ*, № 7). Позднее «Повесть» вошла в сб. прозы Пастернака «Воздушные пути» (М., ГИХЛ, 1933). О планах, связанных с дальнейшим развитием этого замысла, см. наст. том: Пастернак — Риви (п. 2).

[4] К этому времени было опубликовано 7 глав «Спекторского»: гл. 1—3 — *Круг*, кн. 5 (М., 1924); гл. 4 — альм. «Ковш», кн. 4 (Л., 1926); гл. 5 — *КН*, 1928, № 1; гл. 6 и 7 — *КН*, 1928, № 7. Две последние главы (8 и 9) были написаны и опубликованы в 1929 г. (*КН*, № 12).

[5] Работа над второй частью «Охранной грамоты» затянулась, и редакция «Звезды» вынуждена была напечатать первую часть, не дожидаясь продолжения (1929, № 8). Вторая и третья части были закончены в начале 1931 г. и в том же году опубликованы в *КН* (№ 4 и 5-6), после чего книга вышла отдельным изданием (Изд-во писателей в Ленинграде, 1931). Собственную оценку этого труда Пастернак высказал, непосредственно вслед за его окончанием, в письмах к Дж. Риви, публикуемых ниже (п. 2 и 3).

[6] Ср. письмо М. Цветаевой Пастернаку от 19 июля 1925 г. по поводу сборника *Рассказы*: «Название «Проза» настолько органично, а «Рассказы» настолько нарочито, что я ни разу, с тех пор, как взяла книгу в руки, не говорила о ней иначе, как «Проза» Пастернака. Никогда — «Рассказы». Разве ты можешь писать рассказы? Смеюсь. Рассказы, это Зайцев пишет. Проза, это *страна*, в ней живут, или море — черпают ладонью, это *цельное*. А рассказы — унизительная дребедень. Дурак издатель» (Марина Цветаева. Неизданные письма. Париж, 1972, с. 292—293).

[7] В письмах от 30 января и 11 февраля 1929 г. (ГПБ) Пастернак извиняется за излишнюю поспешность планов, и получив подписанный договор на «Спекторского», отказывается от предложения Медведева заключить договор и на сборник прозы, опасаясь, что не сможет выполнить обе работы в срок. Позднее сборник прозы вышел в Москве («Воздушные пути». М., ГИЗ, 1933); в него вошли: «Детство Люверс», «Апеллесова черта», «Воздушные пути», «Повесть».

4. ПАСТЕРНАК — МЕДВЕДЕВУ

⟨Москва. 23 февраля 1929 г.⟩

Дорогой Павел Николаевич!

Только что получил повестку о денежном переводе, и так как за этой быстрой помощью вижу вашу добрую руку, то и спешу от души вас поблагодарить. Иногда на теперешнюю свою работу смотрю как на постепенно выписывающуюся оправдательную отчитку перед двумя-тремя друзьями



П. Н. МЕДВЕДЕВ И М. М. БАХТИН В КРУГУ ДРУЗЕЙ

Слева направо, сидят: М. М. Бахтин, М. В. Юдина, И. И. Канаев, Л. В. Пумпянский, П. Н. Медведев; стоят: Н. А. Волошинова, Е. А. Бахтина

Фотография. Ленинград, зима 1924—1925 г.
Частное собрание, Ленинград

(и вами в том числе), перед которыми глубоко виноват. Вы простите, что я неловкость положенья, в котором сам нахожусь, то и дело сам подчеркиваю беспрестанным поминаньем о книге. Но так лучше, хотя и в обнажении своего собственного стыда мало такта. Но как все сбежалось! Теперь два месяца можно будет спокойно работать, и надо торопиться, чтобы время не прошло без пользы. Как уже сказал, утешаюсь мыслью, что первый ремингтонный оттиск беды моей можно будет послать потом в виде оправданья — и вы думаете — вам? Нет, искреннейшим образом и без всякой задней мысли,— вот о чем я мечтаю. Я возьму с вас слово, что вы на нее и не взглянете, а от вас она поступит к кому-нибудь близкому вам и более свободному человеку и, может быть, такому, ради досуга которого вы поступились своим [1]. И моего условья не изменит то обстоятельство, что к тому времени я, наверное, вам напишу о книге, потому что следующая моя работа («Охранная грамота») — частью об искусстве, и при переходе к ней мне вдвойне будет интересно и важно за одно из долгих лишений себя вознаградить.

Тут в письме есть налет пока неоформленной, но самой неподдельной сердечности, и если рука мне не изменяет, вы ее уловите. Так она потом оформится и сложится и найдет по себе назначенье, вот что я хотел сказать.

Ваш Б. П.

Датируется по почт. штемпелю «Москва. 23.2.29».

[1] Вероятно, Пастернак имеет в виду М. М. Бахтина и его отношения с Медведевым: Медведев состоял на службе в издательстве и благодаря этому мог оказывать материальную поддержку Бахтину, который в это время не служил и имел свободное время для работы над книгой. Слова Пастернака соответствуют тому, как Бахтин характеризовал свои отношения с Медведевым и В. Н. Волошиновым (друг и ученик Бахтина): «Мы были друзья,— говорил Бахтин.— Мы разговаривали. Но они служили, а у меня было время писать». Потом добавлял свою любимую мысль: «Ведь творчество по существу своему анонимно!» (Эти слова запомнила Ю. М. Каган, с отцом которой, философом, сотрудником ГАХН М. И. Каганом, Бахтин был дружен с 1919 г.)

5. ПАСТЕРНАК—МЕДВЕДЕВУ

⟨Москва⟩. 21.IV.⟨19⟩29

Дорогой Павел Николаевич!

Сердечно благодарю вас за новый и вновь незаслуженный знак участия [1]. Вы правы во всех ваших предположеньях и в точности угадали мои обстоятельства. Приход вашего письма так чудесен, что заслуживает особо горячей благодарности, потому что мне его подали в минуту, когда оно прозвучало нечаянно-громким ответом на мои безрадостные мысли.

Тем более должно вас удивить, что письмо придет без предложенья. Накануне его полученья, опять по обыкновенью дав делам дойти до последнего предела, я завел разговор о том же с одним из здешних издательств, и, повидимому, с ним и сделаюсь насчет прозы [2]. Не говоря о том, что вы меня особенно обязали тем, что все оформили без моих настояний, своим почином, этот подарок еще сказался и на ходе моих переговоров с другим издательством, и это произошло само собой, без моего участия.

А отсрочка, выговоренная «Спекторскому»,— громадная, громадная услуга, которой никогда не забыть. От души всего, всего вам лучшего.

Ваш Б. Пастернак

[1] Письмо Медведева неизвестно.

[2] Речь идет о высланном Медведевым предложении Ленотгиза на издание сборника прозы Пастернака (о планах этого издания см. п. 3, прим. 7).

6. ПАСТЕРНАК —МЕДВЕДЕВУ

⟨Дача Огневский овраг под Можайском Моск. обл.⟩
20/VIII.⟨19⟩29

Дорогой Павел Николаевич!

У меня лето сложилось очень неудачно, я болел, меня оперировали [1]. С месяц живу под Можайском в семье одного историка Рима [2],— род пансиона. Когда-то очень давно, когда он и сам был мальчиком, а я —младенцем, мои родители были дружны с его семьей [3], а потом, с кончиной его родителей, это разладилось, и нашему теперешнему симбиозу предшествует более чем 30-летний перерыв. В силу изложенного он с особенной теплотой выделяет меня из числа своих нахлебников; и он не может меня третировать как мальчика: я тут с женой и ребенком, мне 39 лет, мое имя и профессия ему, стороной, известны. Но в силу тех же приведенных причин он не может не отрицать меня со всею названною теплотой, и я ему должен казаться ложным порожденьем, бездарной претензией, кладущей пятно на его светлые юношеские воспоминанья о моем отце и матери, около 8 лет (по болезни последней) живущих за границей [4]. В двух словах этой обстановки, очень обыкновенной и естественной, не изобразить. В этой атмосфере мог бы работать только человек крайне самоуверенный. А я, вдобавок, приехал сюда после болезни, и если допущенный перерыв уже и тогда требовал силы для преодоленья, то теперь, «принимая во вниманье» описанное, он мне кажется непреодолимым. Но откровенничаю я не в виду Ленгизовского договора. Как с этим будет,— боюсь думать, и думать начну, когда возопиет само учрежденье. В подробности же эти вдаюсь вот зачем. Последние дни читаю вашу книгу, и хотел написать вам по ее прочтеньи, но сегодня, на 270-й странице [5], почувствовал страшную тягу к работе, и это обстоятельство — живейшая ей похвала. Я не смею сказать — лучшая и высшая, потому что надо всем моим миром с его градациями подъемов и падений имеется целая бесконечность еще более разительных реакций и отзывов, и значит, со своим пределом я не вправе ломиться в объективный суперлатив. Но что касается меня, то очень существенные и краеугольные вещи оживлены и наведены на память этим чтеньем. Я не знал, что вы скрываете в себе такого философа. Читал без карандаша, в оправдавшейся надежде, что главные тонкости не изгладятся и

так. Очень не в бровь, а в глаз отделаны постоянные lapsus'ы дешевого гибридного марксизма с его непониманьем внутреннего функционального воздействия в пределах самой литературы и поисками запредметного давленья и праздного, науке ни во что не дающегося и ни к чему не нужного влиянья [6]. Я слаб в теоретической литературе и не начитан, но с *таким ясным разбором* этой давно, как бабушкина бородавка, знакомой путаницы, столь характерной для нашей публицистики, встречаюсь впервые. И вашу позицию в отношении формализма целиком разделяю [7], с той, впрочем, лишнею оговоркой, что, разумеется, в деталях вы к ним несправедливы. Это, вероятно, сознаете и вы, и это допущено умышленно. Я говорю о *недостаточных* толкованиях некоторых понятий, как то: остраненье, взаимоотношенье фабулы и сюжета и пр. и пр. Мне всегда казалось, что это, теоретически, очень *счастливые* идеи, и меня всегда поражало, как позволяют эти понятья, эвристически столь дальнобойные, быть их авторам тем, что они есть. На их месте я тут же, сгоряча, стал бы из этих наблюдений выводить систему эстетики и если что всегда, с самого зарожденья футуризма (и чем дальше, тем больше), меня от лефовцев и формалистов отдаляло, то именно эта непостижимость их замиранья на самых обещающих подъемах. Этой непоследовательности я никогда понять не мог. С трудом представляю себе, чтобы при такой методологической содержательности вас признали правоверным марксистом. И, вероятно, с внешнею удачей вас поздравить нельзя. Тем сердечнее благодарю вас за удовольствие и за минуты радостного изумленья, которые вы мне доставили. Особенно мне близко ваше пониманье историзма, социальной перспективы [8] и других неуловимостей, на которых, пожалуй, все и держится. Крепко жму вашу руку. Всего, всего вам лучшего.

Ваш Б. Пастернак

[1] Об этой стоматологической операции см. наст. том: Пастернак — Тихонову, п. 9.

[2] Дмитрий Петрович *Кончаловский* (1878—1952) — профессор древней истории и переводчик.

[3] Имеется в виду семья Петра Петровича *Кончаловского* (1838—1904) — книгоиздателя, организовавшего иллюстрированное юбилейное издание собрания сочинений М. Ю. Лермонтова, выпущенное в 1891 г. товариществом И. Н. Кушнерева. Леонид Осипович Пастернак по приглашению Кончаловского взял на себя общее руководство художественной и технической частью издания. Впоследствии он вспоминал: «П. П. Кончаловский, отец известного ныне художника Петра Кончаловского, был очень милым, задушевным, увлекающимся человеком. Мы быстро сблизились с ним лично и семьями, и искренняя дружба наша продолжалась всю жизнь. Петя — его сын — еще гимназистом стал брать у меня первые уроки рисования» (Л. О. Пастернак. Записи разных лет. М., «Сов. художник», 1975, с. 51).

[4] В 1921 г. Л. О. и Р. И. Пастернак по ходатайству А. В. Луначарского получили разрешение на отъезд за границу для лечения. В 1929 г. они жили в Германии.

[5] В книге «Формальный метод в литературоведении...» всего 232 страницы, так что у Пастернака в письме — описка. Вероятно, он остановился на 170 странице.

[6] В рассматриваемой книге говорится: «Думать, что отдельные, выхваченные из единства идеологического мира, произведения непосредственно, в своей изолированности, определяются экономическими факторами — так же наивно, как думать, что рифма к рифме и строфа к строфе в пределах одного стихотворения подгоняются непосредственным действием экономической каузальности» (с. 26). Автор книги выступает против того, что впоследствии получило название вульгарного социологизма, в частности, он критикует статью В. М. Фриче «Проблемы социологической поэтики» («Вестник Ком. академии», вып. XVII. М., 1926), автор которой первой задачей социологической поэтики считает установление «закономерного соответствия известных поэтических стилей определенным экономическим стилям» (с. 50).

[7] См. в книге: «Отрицательный момент формалистического «воскрешения слова», принижающий, низводящий слово с его символических высот, имел очень существенное значение ‹...› Именно от него берут начало нигилистические тона, проникающие все выступления формалистов. Формалисты в слове не столько открывают новое, сколько разоблачают и упраздняют старое. Основные понятия формализма, выработанные в этот период,— заумный язык, остранение, прием, материал — до конца пронизаны этой отрицательной нигилистической тенденцией ‹...› Не столько раскрытие новых миров и нового смысла в звуке, сколько обессмысление осмысленного в слове звука воодушевляло формалистов» (с. 85).

[8] На страницах книги, особенно заинтересовавших и вдохновивших Пастернака (с. 162—174), развита теория социальной оценки, которая понята здесь как важнейший момент человеческого общения и живого акта высказывания, в том числе художествен-

ного высказывания — литературного произведения. «Оценка социальна, она организует общение» (с. 171). Понятие «социальной оценки» обозначает у автора книги актуальное содержание и «ценностную атмосферу» всякого живого высказывания в неповторимой конкретной ситуации. «Социальные оценки», так понятые, пронизывают насквозь высказывание, проникают, объединяют и организуют изнутри и все элементы поэтического произведения как его конструктивный фактор. «Итак, поэтическое произведение, как и всякое конкретное высказывание, является реально неразрывным единством смысла и действительности на основе единства проникающей его снизу доверху социальной оценки» (с. 169).

7. ПАСТЕРНАК — МЕДВЕДЕВУ

⟨Москва⟩ 6.XI.⟨19⟩29

Дорогой Павел Николаевич!

Сегодня высылаю вам «Спекторского» [1].

Вероятно, вам, как заведующему отделом, придется его прочесть. Так как на все вопросы я ответил себе уже и сам,— и в самом безутешнейшем смысле, то назову лишь один, решить который сам не в состоянии.

Я знаю, что это — неудача, но не знаю, мыслимо ли ее опубликованье? Или еще точнее: мне трудно судить, находится ли ее выпуск в пределах *объективной* мыслимости, широкой, человеческой,— а не главлитовской (в последнем отношении вещь совершенно невинна).

Потому что со стороны субъективной я этот вопрос решаю положительно. Более того, мне хотелось книжке предпослать короткое предисловье, которое состояло бы из признанья этой неудачи и ее разбора; потому что она не случайна, и в ее выяснившейся неизбежности весь интерес вещи [2].

Когда пять лет назад я принялся за нее, я назвал ее романом в стихах. Я глядел не только назад, но и вперед. Я ждал каких-то бытовых и общественных превращений, в результате которых была бы восстановлена возможность индивидуальной повести, то есть фабулы об отдельных лицах, репрезентативно примерной и всякому понятной в ее личной узости, а не прикладной широте. В этом я обманулся, я по-детски преувеличил скорость вероятной дифференциации нового общества и части старого в новых условьях, и той наконец части, о которой принято говорить наиболее фальшиво и лицемерно: точно ее отсутствие ничего, кроме публицистического злорадства, не вызывает и не оставляет в воздухе ощутительной пустоты; точно разлука не является названьем того, что переживается в наше время большим, *слишком* большим множеством людей.— Я знаю, в какое смешное бы положенье себя поставил (хотя бы перед вами), если бы столь крупные предметы стал поднимать только ради объяснения бездарности моей поделки, или просто даже поставить их в связь со столь малым пустяком. Я этого и не делаю. Я только хочу сказать, что начинал я в состояньи некоторой надежды на то, что взорванная однородность жизни и ее пластическая очевидность восстановится в теченье лет, а не десятилетий, при жизни, а не в историческом гаданьи. И как бы я ни был мал, такой ход придал бы мне силы — а ее рост, при живом росте общих нравственных сил, и есть единственная фабула лирического поэта. Потому что даже и о гибели можно в полную краску писать только, когда она обществом уже преодолена и оно вновь находится в состояньи роста. Но — довольно сказанного,— если вы меня поняли, то все остающееся и гораздо более существенное добавите и сами,— и гораздо лучше моего. Скажу только, что в моих словах нет ничего противозаконного, и если здоровейшей пятилетке служит человек со сломанной ногой, нельзя во имя ее здоровья требовать от него, чтобы он скрывал, что нога его укорочена и что ему бывает больно в ненастье [3].

А теперь несколько слов совсем в другом роде. Последние полстраницы рукописи я отделаю или может быть перепишу в гранках. Т. е. самый конец приведен будет в больший порядок. Это во всяком случае; этот недочет будет восполнен,— это в моих еще силах.— Конец станет более тем, чего мы требуем от всякого конца. Вот почему я и попрошу, чтобы корректуру мне пре-

доставили недели на $1^1/_2$, на две.— Сейчас я этого сделать не могу, потому что только что отбросил строк сто, тему окончанья развивавших [4]. Они совершенно немыслимы, потому что их бы неминуемо ложно истолковали. И вот мне нужно на известный промежуток времени отложить работу и перебить чем-нибудь иным. В том, что я отсылаю рукопись в таком виде, нет никакого риску. Если бы я не считался со своей уверенностью, я сделал бы это раньше.

Крепко жму вашу руку. Всего, всего вам лучшего. Благодарю вас за письмо, простите, что не ответил.

Ваш Б. Пастернак

[1] Посланная в Ленотгиз рукопись «Спекторского» состояла из 9 глав: семь из них были ранее опубликованы, а две последние — только что написаны (см. п. 3, прим. 4).

[2] Это предисловие написано не было.

[3] Ср.:

«И разве я не мерюсь пятилеткой,
Не падаю, не подымаюсь с ней?
Но как мне быть с моей грудною клеткой
И с тем, что всякой косности косней?»

(«Другу», 1931.— *Стихотворения и поэмы*, с. 199).

[4] Рукопись «Спекторского», посланная в Ленотгиз, не сохранилась. В публикации *КН* (1929, № 12) 9-я глава обрывается на эпизоде участия Спекторского в разборе конфискованного имущества сыромятниковских складов. Первоначальная редакция концовки этой главы, отброшенная Пастернаком, неизвестна. Через год конец главы был дописан для отдельного издания романа (М., ГИХЛ, 1931). Тогда же было написано «Вступление» и значительно переработан весь текст «Спекторского».

8. ПАСТЕРНАК —МЕДВЕДЕВУ

⟨Москва⟩ 28.XI.⟨19⟩29.

Дорогой Павел Николаевич!

Это совсем не то, что я ждал от вас услышать [1], то есть не к этому готовился, когда писал вам свое письмо.

И, прежде всего, я не знаю вашего мнения и лишен прямой встречи с тем сопротивленьем, которое вырастает рядом с вами или за вашей спиной в Ленгизе. Я не знаю размеров и характера неодобренья или превратного толкованья, или же недоуменья. Распространяется ли это на всю вещь в целом, или же на отдельные ее части? Или возраженье вызывает один ее конец?

Итак, объяснюсь, как могу, с риском полного непопаданья, так как не располагаю прямыми вопросами, на которые мог бы дать ответ.

Я бы и сам никогда не примирился с таким неподготовленным пресеченьем фабулы, если бы тот же «Спекторский» не пошел у меня боковыми разрешеньями в прозе. Проза выпрямит его конец и его дополнит. *Заявленье* об этом имеется у меня среди черновых строф конца, и, может быть, этих строф не надо было вымарывать в беловой, как я это сделал [2].

Но даже и при таком условии вещь нельзя было обрывать в виде фрагмента, то есть при ее фрагментарности нельзя было допустить *бесформенного* конца. То есть *сознанье* границ (замысла или собственных сил) должно было внушить форму окончанья, привести, так сказать, к заключительной мысли, это сознанье обнимающей, как часть. Это я и сделал, и это мне *удалось*. То есть из всей рукописи, находящейся сейчас у вас, самое достойное (поэтически и по-человечески) место — это страницы конца, посвященные тому, как восстает время на человека и обгоняет его. Это была очень трудная, очень неуловимая по своей широте тема, и я доволен ее разрешеньем [3]. Я никогда не расстанусь с сознаньем, что тут и в *этой* именно *форме* я о революции ближайшей сказал гораздо больше и более по существу, чем прагматико-хронистической книжкой «905-й год» — о революции девятьсот пятого года. Все это, так сказать, о себе.

Теперь об инциденте. Категорически ли отказывается отдел от изданья вещи? Если да, то тут ничего не поделаешь, и окончательный разговор об этом надо отложить, примерно, на год, когда проза, являющаяся широчайшим дополненьем к стихотворному эпизоду фабулы, будет налицо и доступна обозренью тех, кто сейчас протестует. Вы легко себе представите, в какое положенье это меня ставит матерьяльно, но насильно ведь не издашься.

Если же есть хоть какая-нибудь возможность уговорить несогласных, то я так верю в ваше участие и в удачу вашего заступничества, что мне остается только попросить у вас прощенья за доставленные беспокойства и заботы.

Или, может быть, я не понял вашего письма и что-то должен был из него вычитать сверх сказанного прямо? Но ведь это невозможно, не правда ли? Тогда я услышал бы ваше собственное мненье, и вы не отказали бы мне в практическом совете, не затрудняя моей догадливости. Правда?

Когда, посылая вам вещь, я в письме заикнулся о том, что может быть вам *придется* ее читать, я хотел этим сказать, что примирился бы с читкой рецензентов и прямо на ваше время не хочу притязать. Опасений о ее нецензурности у меня не могло быть, потому что все ее части в свое время печатались в повременных изданьях без возражений, как будет напечатан и ее конец [4]. Как мне резюмировать сказанное выше?

Уломайте, слезно прошу вас, кого надо, если это хоть сколько-нибудь возможно. Не задержите ответным известьем. Никаких переделок на себя взять не могу, потому что не в состояньи их буду выполнить в той неопределенной плоскости, в какой они могут быть испрошены. И в то же время прошу на известный срок предоставить в мое распоряженье гранки, чтобы переработать вещь, то есть привести ее в менее фрагментарный и более гармонический вид, что, легко может статься, и почти наверняка совпадет со смутными пожеланьями отдела. Но эта работа может быть произведена только в корректуре (так было с «1905-м годом» [5]) и только при условьи, что я буду свободен в правке и не связан обещаньями, то есть что матерьял будет принят в его теперешнем виде.

Мне кажется, что фрагментаризм вещи не преступает границ дозволенного. Еще раз повторяю: на мой взгляд, спад фабулы возмещен (формально, с точки зрения пропорции) и оправдан поэтически страницами, посвященными *смыслу этого спада*, как прямой теме конца. Вот что, по моему разуменью, надо сделать с вещью в окончательной обработке: ее надо сжать, *соразмеряясь* с названными страницами заключенья. Это я и имею в виду, говоря о гранках.

Еще и еще раз выражаю уверенность, что если бы вы на все это смотрели по-другому, вы бы сами об этом мне сказали. Потому что в своей книге вы дали немало доказательств того, как живо и тонко вы улавливаете случаи тождества плана творческого с социальным, а стало быть и случаи социальной несостоятельности, *совпадающей с несостоятельностью художественной* [6]. И, допустим, тут этот случай был бы налицо. Неужели вы ничем бы об этом не обмолвились, сколь угодно мягко и отдаленно, а довели бы далекость своих намеков до полного испаренья темы, до бесследного ее исчезновенья среди слов об отделе, препятствиях и т. п. Мне кажется, я этого ничем у вас не заслужил.

Итак, либо дело непоправимо, то есть во всяком случае поправимо не скоро, и не так, как думает Ленгиз (путем писанья заново заключительной части?); либо же оно поддается благополучному разрешенью и последним,— как мне ни стыдно в этих незаслуженных расчетах на вашу помощь,— я могу быть обязан только вам.

Говорить ли, что трудность этой задачи (если она вам по сердцу) и значенье вероятной вашей услуги я наперед измерил? — Ведь я не ребенок.

Скоро выйдут «Две книги» 2-м изданьем. Я их выменяю на соответствующие экземпляры «Поверх барьеров», потому что все авторские роздал случайным гостям и посетителям, и на долю действительных друзей и людей

литературы ничего не осталось [7]. Разумеется, это не общее правило и среди 25-ти казусов были случаи раздачи по действительному назначенью. Но все это происходило явочным порядком, дома. На днях получу эту возможность.

Всего лучшего.

Ваш Б. П.

[1] В несохранившемся письме Медведева, на которое отвечает Пастернак, сообщалось о колебаниях Ленотгиза в вопросе об издании «Спекторского» (ср. наст. том: Пастернак — Тихонов, п. 10).

[2] Эти черновые строфы неизвестны (см. п. 7, прим. 4).

[3] Подразумеваются строфы 17—30 восьмой главы «Спекторского» (*КН*, 1929, № 12; *Стихотворения и поэмы*, с. 334—336); в отдельном издании романа (М.— Л., ГИХЛ, 1931) эти строфы отсутствуют.

[4] См. п. 3, прим. 4.

[5] Поэма «Девятьсот пятый год» печаталась по главам в альманахах («Половодье», М.— Л., 1926; «Пролетарий», Харьков, 1926) и в журналах («Звезда», 1926, № 2; *НМ*, 1926, № 2; «Красная нива», 1926, № 20; «Огонек», 1926, № 29). При подготовке отдельного издания (М.— Л., ГИЗ, 1927) текст поэмы подвергся серьезной переделке. Такой процесс работы предполагался с самого начала: «Я работал и работаю над поэмой о 1905 годе. Вернее сказать, это не поэма, а просто хроника 1905 года в стихотворной форме. Работать над ней я начал с осени. Сейчас написаны начало Потемкинского восстания, Гапон, 9 января, декабрьское восстание. Эти фрагменты, пока еще лишенные внутренней связи, будут печататься в отдельных журналах, после чего я их переделаю еще раз и составлю уже к весне цельную вещь, книгу» («На лит. посту», 1926, № 1, с. 53; раздел «Над чем работают писатели»).

[6] См. п. 6 прим. 8.

[7] См. наст. том: Пастернак — Тихонов, п. 10, прим. 2.

9. ПАСТЕРНАК — МЕДВЕДЕВУ

⟨Москва. 5 декабря 1929 г.⟩

Дорогой Павел Николаевич!

Отойдя немного от недавно сделанного, по прошествии некоторого времени, взглянул сегодня непредвзятым взглядом на конец «Спекторского», и простить себе не могу двух последних моих писем к вам. Концом удовлетворен совершенно, от возникших редакционных сомнений отделяюсь абсолютно, изумляюсь им и никогда не пойму. С легким сердцем советую вам: печатайте вещь. Всякое препятствие буду рассматривать как случай внешней и посторонней силы, искать вразумленья у нее не стану, философии своей перестраивать на основании инцидента не буду. Это — во исправленье и в уточненье сказанного в письме. Спешу поделиться с вами этой радостной уверенностью. Вот что только и обращено к вам. Остальное — мимо, в направленьи неведомого объекта.

Ваш Б. П.

Датируется по почт. штемпелю: «Москва. 5.XII. 1929».

10. ПАСТЕРНАК — МЕДВЕДЕВУ

⟨Москва. 19 декабря 1929 г.⟩

Дорогой Павел Николаевич!

Как это унизительно, что спокойным, немногословным путем, без мелодраматических ссылок на крайности денег никогда не добиться! Говорю это вам тем свободнее, что это не только не касается вас, но даже не задевает вашего *отдела*.

У меня к вам просьба. Если бухгалтерия и финансовая часть тормозят ваши распоряженья, или если вам продолжают чинить препятствия руководящие органы с редакторской компетенцией, расторгните, пожалуйста, от моего имени договор на «Спекторского», я его тут перезаключу и аванс выплачу постепенными взносами по мере расплаты по новому договору [1]. В таком случае мне без рукописи не обойтись, и я попрошу вас вернуть мне ее

по почте: у меня копии нет, собрать же вновь из отрывков, печатавшихся в журналах, будет трудно.

Я думаю, эта просьба развязывает руки и вам, избавляя от досадных хлопот, которым я подал повод только отчасти: виноваты ведь также и те, которых вам пришлось уговаривать и убеждать.

Простите, что предлагаю этот выход с таким запозданьем. Как и раньше, я никакими справками тут не обзавелся, но в «реализуемости» вещи никогда и не сомневался. В *таком* успехе (который только и нужен дому и финорганам, меня теснящим) я наперед уверен.

Сомненья были уместны в переписке с вами, П. Н. Медведевым, в контексте, достойном лично вас, но о них и знать не должна бухгалтерия и вообще учрежденье на Невском.

Итак, не стесняйтесь мною,— я ничего не потеряю. Но ждать я больше не могу, я нахожусь действительно в крайности, и простить себе не могу, что приходится говорить об этом.

Крепко жму вашу руку.

Ваш Б. Пастернак

Датируется по почт. штемпелю: «Москва. 19.XII.29.»

[1] Этот план, о возможности которого Пастернак писал Медведеву еще 11 февраля 1929 г. (ГПБ), был впоследствии реализован: «Спекторский» вышел в издании ГИХЛ (М.— Л., 1931).

11. ПАСТЕРНАК — МЕДВЕДЕВУ

〈Москва〉 30.XII.〈19〉29

Дорогой Павел Николаевич!

На ваше большое письмо я в свое время ответил, и ответ, как все свои письма, отправил простым [1]. Если вы его не получили, вы ничего не потеряли. В нем была прежде всего искренняя и естественная благодарность вам за ваш обстоятельный разбор несчастного «Спекторского»; выраженье согласья с вашей оценкой; некоторое расхожденье с вашим мнением об окончаньи. Единственным пунктом несогласия с вашим письмом было несколько строк о Сельвинском. Я их не повторю, смысл же их был тот, что я был бы счастлив, если бы мог идти с ним в сравненье, потому что «Улялаевщина» и «Пусторг» [2] — блестящие победы и удачи большого поэта как раз на том поприще, на котором я провалился со своим «Спекторским». Тут и кончается передача этого давнишнего письма, либо утраченного, либо еще не дошедшего: отправлено оно было по домашнему вашему адресу [3].

А нынешнее начну с этой же параллели. Чаянья насчет «Спекторского» исходили не от меня. Никогда я об этой вещи как об эпопее не думал. Скажу точнее и проще: сближенья с «Онегиным» не стал бы делать, если бы и был полною себе (по складу характера) противоположностью. В том же, что такие ожиданья высказывались критикой, я неповинен: я шел мимо них, и этих сопоставлений не любил; это все были особо-типические случаи современной манеры объявлять человека Наполеоном или Гомером с пребудничнейшим спокойствием, точно такие возможности на полу валяются и не редкость. Между тем как на мой взгляд и по поводу малейшей художественной правды следовало бы звонить в колокола, так это исключительно *и за тысячу* верст от Толстых и Онегиных и Наполеонов [4].

Вчера я получил записочку из Ленотгиза (от 27/XII) с вашей припиской [5]. Ею заканчивается цепь колебаний редакционных и моих собственных. О решеньи моем, которое не обойдется без личной к вам просьбы,— ниже. А теперь несколько слов об истории этой переписки.

Она застала меня в состояньи больших денежных затруднений. Я этого не сказал сразу, пока мог терпеть. Я в этом признался, когда дело очень обострилось: но и с этого признанья прошло больше двух недель. Всего охотнее, по моему собственному недовольству «Спекторским» (совершенно

иному, чем недовольство Отдела), я бы отказался от печатанья его в настоящее время и отложил бы до того времени, как будет дописана проза (не из соображений фабулы) [6]. Но этому мешала безвыходность моего положенья. Однако и противоположное решенье выходом не явилось и облегченья не принесло.

Если бы около месяца назад, как следовало по договору, я получил бы оговоренные в нем в пункте 8-м 40%, это бы поддержало меня и, не нарушая ни работ моих, ни жизни, дало бы в будущем ту возможность прохожденья гранок, в которую я верил, и как-то... творчески ее предвосхищал. Такая работа мне не в новость... «Девятьсот пятый» и «Поверх барьеров» выходили неузнаваемыми именно из такой переработки. Потребность видеть вещь в единообразном типографском сырье, как-то уже лепечущем о книге в целом, быть может и каприз, но я до него дослужился, и мне в нем не отказывали. Мне верили, и я и у вас надеялся встретить это доверье. Вспомните, Павел Николаевич, о нашем прошлогоднем разговоре по телефону [7]. Я не только не навязывался вам, но, если вы не забыли, в первое время указывал на отдаленность Ленгиза и трудность сношенья с ним в критические минуты, между тем как Гиз, учреждение близкое по типу,— под боком, и все либо улаживается, либо уясняется в два счета. Лишь затем, как дело пошло своим ходом, я стал надоедать вам и на вас наседать. И вряд ли я вам говорил о «Спекторском», как об «Онегине».

Письмо очень растягивается. Я думал во всех подробностях разобрать происшедшее, но на это ни уменья моего, ни досуга у вас не станет. Условия, при которых шероховатости (художественно-композиционные) «Спекторского» могли быть сглажены, Ленгизом не соблюдены, он отказал мне в доверии, он в трудную минуту не пришел мне на помощь, он произведеньем заинтересован только с той точки зренья, чтобы договор, заключенный с большими выгодами для меня и в этом смысле исключительный, был исполнен. К этому присоединился взгляд, так и оставшийся для меня спорным, на окончанье вещи: и об идеологической его несоответственности я получил письмо, подписанное Лебеденкой [8]. Все б это ничего, но разговор пошел как с уличенным мошенником: на букве идеологии стали настаивать, точно она — буква контракта.

Точно именно в договоре было сказано, что в шахты будут спускать безболезненно, под хлороформом или местной анестезией, и это будет не мучительно, а даже наоборот; и террор не будет страшен. Точно я по договору — выразил готовность изобразить революцию как событье, культурно-выношенное на заседаньях Ком. Академии в хорошо освещенных и отопленных комнатах, при прекрасно оборудованной библиотеке. Наконец, точно в договор был вставлен предостерегающий меня параграф о том, что изобразить пожар значит призывать к поджогу.

Получилось так, что я обманул договорно-расчетную часть и за то и должен платиться.

Когда я посылал последнюю свою телеграмму [9], я искал выхода из крайности все в том же направленьи, я еще попыток выйти из положенья как-нибудь по другому не предпринимал. Но и это ни к чему доброму не повело.

Мне совершенно непонятно, откуда взялась сумма в 256 р. 25 к., обещанная мне высылкой 6.I.30 г. в последней записке Ленотгиза. В виду расхожденья предположенного числа строк (1500) с их настоящим числом (их, кажется, 1300 (?)), я эту арифметическую задачу решил так. По пункту 8-му договора авансом следует получить 35%, при сдаче рукописи — 40%, итого, общим счетом, получено должно быть по сдаче — 75%. В виду того, что мне авансом было переплочено (строк предполагалось больше), всего легче установить причитающуюся мне во второй срок сумму, вычислив 75% с истинной договорной суммы (по 1300 стр.) и вычтя из этого числа (1218 р. 75 к.) прошлогодний аванс (626 р. 25 к., кажется). По моим расчетам в ответ на мою телеграмму мне должно было получить 592 р. 50 к. Я нетвердо помню число строк в «Спекторском». Если я даже и ошибся на сотню, то все равно

никак не может получиться того, что мне обещано к высылке. Кроме того, дальнейшее оттягивание расплаты лишает меня и этой последней, загадочной по своим размерам, опоры. Все это сошлось очень фатально, но, думаю, к добру. Материальный план, первое время влиявший на все мои решенья, за последние две-три недели истаял и истончился сам собой. Времени прошло слишком много, да, кроме того, выяснилось, что и в расчетах своих я с Лентизом разошелся как-то уж слишком грубо.

Ото всего происшедшего остается долг мой Ленгизу в размере полученного прошлый год аванса. Я обязуюсь его вернуть. В крайнем случае, если я не встречу иной возможности с ним расплатиться, я эту сумму отработаю в «Звезде».

Каких-то чрезвычайных усилий для поправки своих дел мне все равно не избежать. Вот я и воспользуюсь полной ничтожностью «Спекторского» как матерьяльного ресурса, чтобы вовсе его изъять на полгода— на год из плоскости какого бы то ни было обсужденья. Между прочим, при доработке его, за которую я возьмусь лишь по написаньи прозы, я наверное с благодарностью воспользуюсь рядом ваших указаний, за исключеньем тех единственно, которые относились к идеологии окончанья (да они и не от вас исходили) [10].

К тому же все это окончанье идет в XII кн. «Красной нови» целиком безо всяких изъятий.

Итак,— резюме. Прошу вас 1) приостановить распоряженье о высылке мне 256 р. 25 к.; 2) расторгнуть от моего имени договор с Ленгизом (№ $^{48}/_{29}$) от $^{15}/_{II}$, с обязательством моим вернуть аванс (сейчас я не в состоянии указать срок точно, но в теченье года это будет сделано обязательно); я понимаю, как слаб этот пункт, но рассчитываю на снисхожденье (то есть что на год); 3-е, и главное: отошлите мне назад рукопись, у меня нет копии.

Просьба обо всем этом очень настоятельная, я не могу изменить этого решенья. И не сердитесь, пожалуйста, на меня. Никакого иного выхода я не вижу. Дело не в строках, указанных в официальном письме (насчет этих строк только я и уверен, что они останутся); дело не в строках, а в сроках. Ленгизу же предлагать вновь переработанную вещь спустя большой срок, после скандала с ней, будет неудобно. Да и строк я не уступлю. Простите за утомительное письмо... «Барьеры», как будут, пришлю непременно, это мой долг [11]. Крепко жму вашу руку.

Ваш Б. П.

A la marge * — вне дела: с новым годом вас.

Как все это, в общем, тяжело! Сколько кругом ложных карьер, ложных репутаций, ложных притязаний! И неужели я самое яркое в ряду *этих* явлений? Но я никогда ни на что не притязал. Как раз в устраненье этой видимости, совершенно невыносимой, я стал писать «Охранную грамоту». Я готов быть осужденным и вычеркнутым из поминанья *за дело*, на основаньи моей действительной наличности, но не иначе. Я никогда победителем себя не чувствовал и об этом не думал. Но и «литературой» не занимался. Отсюда усиленный автобиографизм моих последних вещей: я не любуюсь тут ничем, я отчитываюсь как бы в ответ на обвиненье, потому что давно себя чувствую двойственно и неловко. Поскорей бы довести до конца совокупность этих разъяснительных работ. И тогда я буду надолго свободен, я писательство брошу. Я б это сделал и сейчас, ничего не докончив, если б не семья и пр. и пр...

[1] Письмо Медведева с разбором «Спекторского» не сохранилось. Ответное письмо Пастернака, видимо, не было получено — в архиве Медведева его нет.

[2] Поэма Ильи Сельвинского «Улялаевщина» опубликована в 1927 г., поэма «Пушторг»— в 1928 г.

[3] Домашний адрес Медведева: Ленинград, пр. Майорова (б. Вознесенский), д. 26, кв. 2. Все сохранившиеся письма, начиная с 15/XI 1929 г. были посланы Медведеву на

* *На полях* (*франц.*).

служебный адрес: Ленинград, пр. 25 Октября (Невский пр.), д. 28, Дом книги, Литературно-художественный отдел Ленотгиза.

[4] Мысль об известной близости «Спекторского» к «Евгению Онегину» была высказана, в частности, в статье В. Красильникова «Борис Пастернак»: «Лиричность, углубленность в себя Спекторского, ощущение им «наново» всего мира заставляют невольно чувствовать в герое автора «Сестры моей жизни». Очевидно, Спекторский для Пастернака будет тем же, чем был Онегин для Пушкина и Печорин для Лермонтова, то есть частицей самого себя и фокусом, в котором должна отразиться целая эпоха жизни интеллигенции, ее индивидуалистические томления перед войной, ужас и волнение перед грозными формами революции и решительная переоценка ценностей. Размах романа заставляет оценивать «Высокую болезнь» и «1905 год» как материалы. С этой стороны особенно интересна фигура лейтенанта Шмидта. Конечно, поэт сознательно заставил «избранника севастопольских рабочих» уделить довольно большое место в своем бюджете времени любви. Любовная интрига, поставленная рядом с «грохотом событий», нужна не для истории (я даже затрудняюсь сказать, насколько здесь выдержана историческая верность), она нужна самому поэту как частная проблема к будущим главам «Евгения Онегина» наших дней: лейтенант Шмидт и Спекторский оказываются ликами одного героя, героя, так много общего имеющего с самим поэтом, автором «Высокой болезни» (ПР, 1927, № 5, с. 81).

[5] Эта «записочка» не сохранилась. Содержание восстанавливается по контексту данного письма: Ленотгиз извещал Пастернака о сумме гонорара, причитающегося ему по договору после сдачи рукописи «Спекторского».

[6] Об этом замысле см. п. 3, прим. 3.

[7] Об этом телефонном разговоре Пастернак упоминает в своем первом письме к Медведеву.

[8] Это письмо не сохранилось.

[9] Телеграммы в архиве Медведева нет, но есть открытка аналогичного содержания (15 ноября 1929 г.) — с просьбой не задерживать высылку «40% по п. 8-му договора».

[10] О переработке, которой подвергся «Спекторский» в 1931 г., см. п. 7, прим. 4.

[11] В п. 8 Пастернак обещал прислать Медведеву сборник *Поверх барьеров, 1929.*

12. ПАСТЕРНАК — МЕДВЕДЕВУ

〈Москва. 9 января 1930 г.〉

Дорогой Павел Николаевич!

Рукопись получил, сердечно благодарю вас. Ошибку свою в счете строк (я просто не записал их числа и запамятовал) тоже усмотрел и спешу вам об этом сообщить в предупрежденье возможных с вашей стороны объяснений. Цифра 1300 (или около того) встала в моем воображеньи, потому что я до отправки считал вместе с упраздненными варьянтами [1].

Не переводите, пожалуйста, аванса на «Звезду» пока что. Вероятнее всего, его вернут за меня из «Зифа» или еще откуда-нибудь в ближайшее время [2]. Причем это будет простым выкупом и знаменовать собой перепродажи не будет. Как я вам писал, я все силы приложу к тому, чтобы «Спекторского» не издавать сейчас, чтобы он полежал у меня и пр. и пр.[3]

Еще раз простите за бесконечные хлопоты, кончившиеся, с моей стороны, столь скандально. Жму вашу руку.

Ваш Б. П.

Датируется по почт. штемпелю: «Москва. 9.I.1930».

[1] Пастернак благодарит за возвращение рукописи «Спекторского» (см. п. 11; там же — о денежных расчетах с Ленотгизом).

[2] Деньги были переведены из журнала «Звезда», где были напечатаны (1929, № 8) первая часть «Охранной грамоты» и перевод «Реквиема» Р.-М. Рильке (Б. Л. Пастернак. Письма к В. М. Саянову.— «Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1977 год». Л., «Наука», 1979, с. 198—200).

[3] См. об этом также в п. 11.

БОРИС ПАСТЕРНАК — СЕРГЕЙ ОБРАДОВИЧ

Поэт Сергей Александрович *Обрадович* (1892—1956) был членом Пролеткульта, затем — одним из основателей группы «Кузница». В 1922—1927 гг. заведовал литературным отделом «Правды».

В 1927 г. Обрадович вместе с другими писателями, главным образом участниками «Кузницы», организовал литературно-художественный альманах «Земля и фабрика» («ЗИФ», № 1—13, М., 1927—1931) и стал одним из его редакторов.

Первый номер альманаха вышел в сентябре 1927 г. и был посвящен десятой годовщине Октябрьской революции. Собирая материал для него, Обрадович обратился к Пастернаку. Раньше они не были знакомы, о чем говорит обращение в публикуемых письмах.

В ответ на несохранившийся запрос Обрадовича Пастернак посылает ему на выбор — стихи об Октябре и пять небольших стихотворений, объединенных темой летнего пребывания на даче и названных им «антологическими» (п. 2).

Необходимость самостоятельно осмыслить недавние события и творчески отчитаться в прожитом десятилетии заставила Пастернака обратиться к теме Октябрьской революции. Об этом он пишет О. М. Фрейденберг 10 мая 1928 г.: «В двух-трех работах, которые мне предстоит довести до конца [1], я теперь дошел до очень тяжелой и критической черты, за которой находится, по теме,— истекшее десятилетье — его события, его смысл и прочее, но не в объективно-эпическом построеньи, как это было с «1905-м», а в изображеньи личном, «субъективном», т. е. придется рассказывать о том, как мы все это видели и переживали. Я не двинусь ни в жизни, ни в работе, ни на шаг вперед, если об этом куске времени себе не отрапортую. Обойти это препятствие, занявшись чем-нибудь другим, при всех моих склонностях и складе значит обесценить наперед все, что мне осталось пережить» (АП).

Стихи у Пастернака обычно были первой попыткой подхода к теме. Именно это свойство Пастернак отмечает, разбирая характерные черты поэтического стиля Шекспира: «Стихи были наиболее быстрой и непосредственной формой выражения Шекспира. Он к ним прибегал как к средству наискорейшей записи мыслей. Это доходило до того, что во многих его стихотворных эпизодах мерещатся сделанные в стихах черновые наброски к прозе» [2].

Ту же мысль, но уже применительно к собственному творчеству, Пастернак развил в письме к Обрадовичу, посылая ему стихи о революции (п. 2). Стихи эти Обрадович не напечатал. В том же году они были опубликованы в «Звезде», с эпиграфом из стихотворения Тютчева: «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет» (см. п. 2, прим. 2).

Весьма существенное для понимания принципов поэтики Пастернака суждение высказано им по поводу «антологических» стихов, посланных Обрадовичу. Ставя условием публикацию не менее трех из них, Пастернак поясняет, насколько важен для него «элемент неделимости» в поэтическом цикле (п. 2).

Сохранилось 3 письма Пастернака Обрадовичу (ЦГАЛИ, ф. 1638, оп. 1, ед. хр. 4). Два из них (август 1927 г.) публикуются ниже; третье (записка от 5 февраля 1945 г.— ответ на предложение перевести стихи О. Лысогорского) выходит за хронологические рамки настоящего тома.

Письма Обрадовича к Пастернаку неизвестны.

[1] Подразумеваются прерванная работа над романом в стихах «Спекторский», а также замыслы прозаического романа, к которым Пастернак неоднократно возвращался (см. наст. том: Пастернак — Медведев, п. 3, прим. 3 и 4).

[2] «Заметки к переводам шекспировских трагедий» — В кн.: «Литературная Москва. Литературно-художественный сборник московских писателей». М., ГИХЛ, 1956, с. 795.

1. ПАСТЕРНАК — ОБРАДОВИЧУ

〈Мутовки Моск. обл.〉 22/VIII 〈1927 г.〉

Глубокоуважаемый тов. Обрадович!

Вашу открытку я получил. Простите за запоздалый ответ, но лишь половина этой оттяжки ложится на меня непосредственной виною. Деревня находится в стороне от железной дороги [1], и если бы даже я дал всем свой прямой летний адрес, то все равно письма приходили бы с недельным запозданьем против своего прибытья на станцию.

А так мне их возят с тем же запозданьем по воскресеньям из города,— зато есть гарантия, что ни одно не пропадет. Так что и ваше, от десятого, я получил не так-то давно.

Можете на меня рассчитывать. Я смогу вам дать матерьяла строк на 70 или немного больше, несколько небольших стихотворений.

Перешлю я их вам, либо же сам зайду с ними,— через неделю. Кое-что надо еще привести в должный вид. Тогда же и об условиях. Всего лучшего.

Ваш Б. Пастернак

Ответ на несохранившееся письмо Обрадовича.
Год и место написания установлены по содержанию.

[1] Деревня Мутовки, где проводили Пастернаки лето 1927 г., находилась в 7 км от ст. Хотьково (Северная ж. д.).

2. ПАСТЕРНАК — ОБРАДОВИЧУ

⟨Мутовки Моск. обл.⟩ 29.VIII. ⟨1927 г.⟩

Глубокоуважаемый тов. Обрадович!

При сем высылаю матерьял для альманаха, вам на выбор. Его свободу я несколько ограничу. Тут вещи двух родов: чисто антологические и исторического характера. Страницы первого рода перенумерованы красным карандашом, страницы второго — чернилами. Их мешать нельзя, потрудитесь выбрать что-нибудь одно, либо то, либо другое. Если вы остановитесь на антологических стихах, то попрошу вас взять не меньше трех стихотворений, причем в таком сочетаньи: либо «Пространство», либо же «Приближенье грозы» (но никак не оба) с двумя какими-нибудь из ботанических в придачу. Или же можно было бы пожертвовать «Любкой» как недоделанной, т. е. вернее недописанной (отброшены две строфы, слишком сырые и темные), и тогда взять остальные четыре стихотворенья [1].

Стесняю ваш выбор я разумеется не с тем, чтобы легче и скорей сбыть стихи,— вы знаете, что их у всех нас отовсюду просят, значит, и от меня,— а потому, что одно отдельное стихотворенье, в качестве показательной единицы, ни во что не ставлю, и элемент неделимости, для данного случая наименьший, вам назвал.

Если антологии вы предпочтете стихи, более подходящие для октябрьского юбилейного сборника, то вам придется взять все эти 135 строк полностью [2], да еще с условьем, что они напечатаны будут только в том случае, если со стороны цензуры не будет предложено их сократить или что-нибудь выбросить.

Что бы вы ни выбрали, я просил бы гонорару по три рубля за строчку, и если издательству это не по силам, то нам придется разойтись. По два рубля со строки я получал за «1905-й год», вещь в 2000 строк, полностью и без пропусков шедшую в «Новом мире» [3]. Это же вещи, которые пишутся со ставкой на сжатость, с отбором. Не смотрите на октябрьский матерьял, как на поэму. Это я говорю вам как товарищу и поэту. В моем понимании Октябрь шире того трагического пятиактного члененья, при котором событье, переживая катастрофу, годится в рельефные темы для самостоятельной вещи, выводящей это событье как лицо или как предмет, в его сменяющихся перипетиях.

Я привык видеть в Октябре химическую особенность нашего воздуха, стихию и элемент нашего исторического дня. Иными словами, если предложенные отрывки — слабы, то на мой взгляд исполненье этой темы было бы сильнее только в том случае, если бы где-нибудь, например в большой прозе, Октябрь был бы отодвинут еще больше вглубь, и еще больше, чем в данных стихах, приравнен к горизонту и отождествлен с природой, с сырою тайной времени и его смен, во всем их горьком, неприкрашенном разнообразии. Вы легко догадаетесь, что предложенное — одна из попыток (и — первая) зафиксировать для себя и собрать воедино эту расплывчатую неуловимость, как бы впрок, для той более широкой переработки, о которой я сейчас сказал выше.

Стихов об Октябре к юбилею я не собирался вообще писать. С другой стороны, в прямейшие мои планы, не приуроченные ни к каким дням, входило провести свой матерьял, поэтический и повествовательный, именно через его атмосферу. На очереди у меня работа по продолженью «Спекторского» [4].

Из всяких запросов и предложений одно ваше, сверх уже раньше отклоненных и упущенных,— связано твердым сроком и, как будто, посвящено

годовщине. И я имел собственно в виду ЗиФ, когда засел в последнее время за октябрьскую запись. Прибавлю еще, что ее конец выиграл бы, если бы у меня было время дать еще небольшую вставку (еще немного развить тему *бытового* преломленья и три-четыре строфы посвятить 2-му Съезду Советов) [5]. Так это я и предполагал, и, может быть, пропуск этот чувствуется во внезапности концовки.

Но я боялся задерживать вас ответом. Поправлять ли это, и как (можно бы в корректуре),— я решить не могу до вашего редакционного решенья. В пятницу мне привезут почту из города. *Я очень бы вас просил дать мне ответ до четверга* *. Простите, что стихи, против правила, написаны на обеих сторонах бумаги. Это из почтовых соображений, да и все равно их придется перепечатать. Не удивляйтесь также, что как будто обставляю все излишними усложненьями. Так, съездить самому в город и вас повидать было бы всего проще. И, если бы вы знали, как меня туда тянет, хотя бы даже в эту самую сутолоку редакций,— ведь мы народ отравленный в этом отношеньи! Но я так напуган полосами совершенной бездеятельности или еще более частыми периодами вялой работы, что сейчас, когда мне вдруг стало работаться, я, превозмогая эту тягу по улице и телефону, умышленно и насильно решил отсидеться тут остающееся небольшое время. Да кроме того, до середины лета я с конца марта ничего не делал, и это надо нагонять. Жму вашу руку. Всего лучшего.

Ваш Б. Пастернак

Год и место написания устанавливаются по связи с п. 1.

[1] Условие, поставленное Пастернаком, не было соблюдено: два из пяти «антологических» стихотворений («Пространство» и «Ландыш») были напечатаны в первой книге «ЗИФ» (1927), а третье — («Сирень») — во второй книге (1928). «Приближение грозы» впервые опубликовано в «Звезде» (1927, № 9), «Любка» — в журн. «30 дней» (1928, № 3). Последнее стихотворение неоднократно перерабатывалось: первоначальная редакция его состоит из шести строф (*Стихотворения и поэмы*, с. 595—596), первая публикация — из трех, окончательная редакция (*Поверх барьеров, 1929*) — из четырех строф (см. *Стихотворения и поэмы*, с. 210).

[2] Эти стихи («Редчал разговор оживленный...»), не помещенные в альм. «ЗИФ», были напечатаны (в составе 130 строк и с эпиграфом из стихотворения Тютчева «29 января 1837») в «Звезде» (1927, № 11; затем — *Поверх барьеров, 1929*). Несколько ранее, 8 ноября 1927 г., отрывок в 50 строк был напечатан в юбилейной «Октябрьской газете» ФОСП с подзаголовком: «Из стихов, написанных для журнала «Звезда». Окончательный текст (122 строки), под названием «К Октябрьской годовщине», вошел в сб. «Поверх барьеров» (М., ГИХЛ, 1931); см. *Стихотворения и поэмы*, с. 228—232.

[3] В *НМ* была опубликована только одна глава из поэмы «Девятьсот пятый год» (1926, № 2). Вероятно, Пастернак имел в виду поэму «Лейтенант Шмидт», полностью напечатанную в *НМ* (1926, № 8—9; 1927, № 2—5). Эта поэма составила вторую часть книги «Девятьсот пятый год» (М., ГИЗ, 1927).

[4] К этому времени было написано и опубликовано 4 главы из романа «Спекторский» (см. наст. том: Пастернак — Медведев, п. 3, прим. 4).

[5] Последние три строфы стихотворения посвящены Второму съезду Советов. Намерение развить эту тему не было осуществлено.

БОРИС ПАСТЕРНАК — ВЛАДИМИР ПОЗНЕР

В книге воспоминаний «Vladimir Pozner se souvient» («Владимир Познер вспоминает»), изданной в Париже в 1972 г., автор — младший по возрасту из Серапионовых братьев, впоследствии известный французский писатель-коммунист, Владимир Соломонович *Познер* [1] восстанавливает первое впечатление, произведенное на него стихами Пастернака. Сборник «Сестра моя жизнь» был для него открытием. О свежести и непосредственности восприятия мира в этой книге он отзывается в том же духе, что и Цветаева, Мандельштам и Эренбург в отзывах, опубликованных в 1922—1923 гг., непосредственно вслед за ее появлением [2].

Знакомство Познера с Пастернаком состоялось ранней весной 1923 г. в знаменитом тогда берлинском литературном кафе Prager Diele незадолго перед отъездом Пастернака

* По городскому адресу: Волхонка 14, кв. 9.— *Прим. Б. Пастернака.*

из Берлина, где он и его жена Евгения Владимировна провели несколько месяцев [3]. В дальнейшем Познер упоминает лишь две незначительных встречи.

В апреле 1929 г. Познер послал Пастернаку свою «Антологию современной русской прозы» (Vladimir P o z n e r. Anthologie de la prose russe contemporaine. Ed. troisième. Paris, 1929), а затем и две другие свои книги: «Русская литература» из серии «Панорама современной литературы» («Panoramas des litteratures contemporainess. Litterature russe». Paris, 1929) и сборник стихов на русском языке («Стихи на случай (1925—1928)». Париж, 1928). В мае 1929 г. все три книги стали предметом оживленного обмена письмами между Пастернаком и Познером. Разбирая эти издания, не лишенные интереса и для современного читателя, Пастернак пишет о своем отношении к писателям, в них упомянутым.

Последнее письмо написано осенью 1929 г. В нем Пастернак подробно останавливается на мотивах, заставивших его коренным образом переработать сборник «Поверх барьеров» (М., «Центрифуга», 1917) для второго издания (*Поверх барьеров, 1929*).

Сохранилось пять писем Пастернака Познеру (1929). Все они публикуются ниже, по ксерокопиям, которые Владимир Соломонович Познер любезно предоставил в наше распоряжение. Автографы этих писем хранятся в его личном архиве (Париж).

Письма Познера к Пастернаку неизвестны.

[1] Владимир Соломонович *Познер* (Pozner) родился в 1905 г. в Париже. Юношеские годы провел в Петербурге, где учился в Тенишевском училище, в литературной и общественной жизни которого принимал активное участие. Член группы «Серапионовых братьев». В 1922 г. уехал для продолжения образования в Париж, где и остался. С 1932 г.— член Французской коммунистической партии.

[2] См.: Осип М а н д е л ь ш т а м. Vulgata. Заметки о поэзии («Русское искусство». М.— П., 1923, № 2-3); е г о ж е. Борис Пастернак («Россия», М.— П., 1923, № 6); Марина Ц в е т а е в а. Световой ливень (Поэзия вечной мужественности) («Эпопея», М.— Берлин, 1922, № 3); Илья Э р е н б у р г. Борис Пастернак. «Сестра моя жизнь» («Новая русская книга». Берлин, 1922, № 6).

[3] См. наст. том: Пастернак — Полонский, п. 3, прим. 1.

1′ ПАСТЕРНАК — ПОЗНЕРУ

〈Москва〉 1/V.〈19〉29

К моему стыду и крайней досаде я забыл ваше отчество. Сердечно благодарю вас за подарок. Насколько могу судить,— переводы превосходные [1]. Но еще и по другой причине я могу гордиться трудом, вами на меня положенным, и тем, так сказать, что побывал в ваших руках. Если отбросить ваше лестное ко мне отношенье и обратиться к остальным характеристикам, надо сказать, что они мне до чрезвычайности близки своей широкой, благородной положительностью и тем, не названным прямо, общим мерилом, которое легло в их основанье [2]. Тут вы дали мне случай порадоваться тому, что мои оценки, вероятно, пристрастные (они внушены посторонними причинами, о которых дальше), почти целиком совпадают с вашими, а вы в этом отношении свободнее моего. Я думаю, что огня и гения, так сказать, больше всего у Бабеля и Всеволода Иванова. И однако из крупных наших писателей мне всего ближе Пильняк и Федин. Я мог бы себя, например, заподозрить в лицеприятии в отношении Бабеля, т. е. в том, скажем, что не состоя в списке людей, с которыми ему в жизни по пути, я ему плачу взаимностью и не включаю в свой собственный. Но с другой стороны, моя работа доступна Всеволоду Иванову, и он знает, к чему я в ней тяготею, не говоря уже о том, что мое преклоненье перед громадным даром их обоих ему известно. Так что не в этом дело. В наше время, которое начинает измеряться уже десятилетьями, мне ближе, роднее и понятнее то, что берут на себя, по разному себя ограничивая и прибледняя, Пильняк и Федин. Тут и причина того, отчего я к Леонову отношусь холоднее, чем ко всем перечисленным того же полета. Пильняк и Федин ограничивают себя *исторически*, т. е. в согласии со всеми сторонами (теневыми и светлыми) эпохи, Леонов же идет путем *стилистического* самоограниченья. Может быть, я ошибаюсь, но дело мне представляется в таком что ли виде, что два первых приходят к академической крупноте и бесстрашию в отношении общего места скрепя сердце, ради

действительности, которая того хочет, и которую как-то можно подправить и облагородить такой уступкой; последний же и в любое время развивался бы так же, как сейчас, т. е. ему по душе капитальность места, к которому он пришел и так заслуженно занял. Я знаю, что все это — рассужденья внехудожественные. Оттого я и назвал причины, слагающие мое отношение к товарищам, посторонними.

Я мечтал вас тотчас же отдарить посылкой книжки «Поверх барьеров», которую обещали выпустить к концу апреля [3]. По-видимому, это желанье придется отложить недели на две. Но вы доставили бы мне большую радость, если бы тем временем у вас нашелся свободный экземпляр книги «Litterature russe» [4]. Верьте мне, что интерес у меня к ней не только лично-корыстный (да ведь я и не знаю, что меня в этом смысле в ней ожидает). Не на всякое свидетельство симпатии и признанья я отзываюсь так живо, как на вашу посылку. Но зато и ни одно доказательство широты, спокойно верящей в будущее и не цепляющейся за частности, не оставляет меня безответным, как в вашем, например, случае. А вложенное в «Prose russe» оглавленье (я говорю о перечне глав, а не об аннотации) обещает книгу захватывающей широты и существенности. И в перечне особняком поставлен Федин, и этот намек, как и несколько других, до крайности напрягают мое любопытство. Простите, если это чувство предосудительно.

Пишу вам утром 1-го мая. По Волхонке мимо окон третий уже час идут на парад войска, отряды рабочих, дети. Надо быть совершенным ничтожеством, чтобы догадаться назвать это все *помехой*, но все же письмо под беспрерывное следованье оркестров было писать трудно, и если вы уловите что-нибудь такое, что вам покажется неясным или досадным, то знайте, что́ именно меня отвлекало, рассеивало и волновало. Всего лучшего.

Глубоко вам признательный Б. П.

[1] Экземпляр книги Познера «Anthologie de la prose russe contemporaine» (P., 1929), полученный Пастернаком от автора, не сохранился. В авторском предисловии к этой книге отмечается возрастающий интерес в среде образованной французской публики к молодой литературе Советской России. Поскольку существующие переводы не могут удовлетворить этот интерес и «литературная карта революционной России» для европейского читателя выглядит «сплошным белым пятном», автор обещает дать представление о самых значительных молодых советских прозаиках. В антологию включены переводы отрывков из прозы И. Бабеля, М. Булгакова, И. Эренбурга, К. Федина, Ф. Гладкова, Всев. Иванова, В. Катаева, В. Каверина, Л. Леонова, Н. Никитина, Б. Пастернака, Б. Пильняка, Л. Сейфуллиной, М. Слонимского, Н. Тихонова, А. Н. Толстого, А. Веселого, Е. Замятина и М. Зощенко. Все переводы выполнены В. Познером.

[2] Образцы прозы каждого из авторов предваряются в антологии краткой биографической справкой и характеристикой творчества. Заметка о Пастернаке кончается так: «Пастернак-поэт знаменит, Пастернак-прозаик еще не известен публике. Мы завидуем тому человеку, который спустя несколько лет найдет счастье открыть его заново». Самым популярным прозаиком Познер называет М. Зощенко. Проза Бабеля и Вс. Иванова в ее последних к тому времени образцах отнесена к большой литературе. Выделены «Города и годы» Федина, «Цемент» Гладкова, «Растратчики» В. Катаева. В прозе Л. Леонова Познер ценит «основательность и классичность», в Б. Пильняке — тщательную работу над стилем, философичность и яркость персонажей.

[3] Сб. *Поверх барьеров*, *1929* вышел в сентябре (см. наст. том: Пастернак — Познер, п. 5, прим.).

[4] Об этой книге см. п. 2 и 4.

2. ПАСТЕРНАК — ПОЗНЕРУ

〈Москва〉 13.V.〈19〉29

Вы мне опять не сообщили вашего отчества. Благодарю вас за книгу [1]. Позвольте сказать вам искренне, что я о ней думаю, вас не щадя, потому что если вы со мной согласитесь, то недостаток, который на мой взгляд роняет ценность вашего труда и может дурно повлиять на судьбу книги,— легко поправить, да и случая внести эти исправленья недолго придется ждать, благо это 4-е уже изданье и, след〈овательно〉 книга будет переиздаваться. Я вам укажу на две, на три частности, но суть не в них, они будут поясняю-

щего характера, а потому и назову я их не сразу, а вперед скажу о том общем изъяне, который и мог только их вызвать. Предупреждаю вас, что книгу я получил лишь третьего дня, и все время очень занят. Я прочел ее не всю и читал не по порядку. Однако, пусть и без последовательности и вперемежку, две трети ее я все же прочел, и не думаю, чтобы в недостающей трети находились те оговорки, которые служили бы автору извиненьем, либо же, заключая теоретические обоснованья шероховатости, возводили недочеты книги в намеренно осознанную систему.

Книгу вы выслали мне по моей просьбе, просьба была внушена ожиданьями, ожиданья были вызваны вашими вводными замечаньями в «Антологии» [2]. Тремя первыми частями книга эти ожиданья оправдала. Объективными эти 277 страниц можно назвать лишь с тем ограниченьем, которое привлекает к вам и делает вам честь. Это — историческая широта человека живого, *с пристрастьями*, но такого, который этими пристрастьями не тешится, а сквозь них и при их помощи растет, переходя к широте еще большей и предрешенно-живой. Откуда я это заключаю, или, другими словами, что́ подтвердило мне, что я в своих надеждах на ваше лицо не обманулся? Вы нигде не даете своей поэтики, которая бы являлась мерилом ваших суждений и оценок, и хорошо очень сделали, что не пустились на такую подделку. Потому что глубже и богаче всяких эстетических схем встает ваша эстетика из сотни разбросанных по всем главам незначительностей, говорящих о вашем *незаурядном*,— творческой складки, пониманьи. Таковы замечания о переводах в главе об Анненском [3]; таковы соображенья о Бальмонтовой музыкальности первых книг, когда эта музыка умела звучать, потому что представляла новизну для автора, такова трактовка Брюсовской судьбы (непоэтическая недооценка жизни и действительности, ее, так сказать, порядкового места в последовательности творческого дела) и пр. и пр.,— называю лишь затем, чтобы вам было ясно, о чем говорю. Тут много прекрасных глав (об Анненском, о Блоке, об Ахматовой) — но я не занимаюсь разбором достоинств книги, побужденья у меня совсем обратные, я просто хочу, перед тем как перейти к четвертой части, ставящей вас и книгу в ложное положенье, указать, как сильно и с какой выгодной стороны показывает себя автор, как много, другими словами, мы вправе от него требовать.

Почему вы не пополнили своей осведомленности, с 22-го года становящейся очень недостаточной? Отчего, если это было невозможно, не предпочли ограничить книгу тремя первыми, прекрасными частями? Наконец, если вы не могли отказаться от характеристики этого периода, естественно-близкого вам и дорогого, то надо было из матерьяла, вам доступного, выделить одно только несомненное и проверенное. Эту часть, шаткость подступа к которой вы не могли не сознавать сами, следовало писать совершенно по-иному, нежели первые три. Тут сухая осторожность должна была заступить место личного лиризма, который в предыдущих частях дает историческую действительность, преломленную одаренным автором, а в этой преломляет ее через ряд житейских случайностей, т. е. через превратную среду, представляющую *вас* в еще более ложном и незаслуженном свете, нежели ваши утвержденья. Здесь надо было позабыть кучу имен, вами удержанных в памяти, и во всяком случае, посвятив две страницы Л. Лунцу, назвав Боброва, Эльзу Триоле и пр. и пр., *немыслимо* было обходить совершенным молчаньем Ник. Асеева, равно как и странно было, при Родовых, Машировых и пр., забыть о существованьи Демьяна Бедного.

Надо ли говорить, что для личной неудовлетворенности, вы мне прямого повода не подали, кроме того косвенного (с Асеевым), который, может быть, стоит иного прямого. Потому что как бы ни различествовали наши устремленья, как чужд ни был бы мне былой Леф, как мимоходом ни содействовал бы я всем смыслом моих работ постепенному оттесненью их на задний план, Асеев есть Асеев [4], и он поэт мировой и бессмертный в том случае, если Кирсановы и Вагиновы и т. д. и т. д. остаются у вас на страницах и с них не скатываются. Вы должны понять меня: я не отказываю названным в поэ-

тической жилке, я не перевожу их в самозванцы, я просто призываю вас к масштабам и пропорциям. Ведь вот сумели же вы представить участь Брюсова как трагедию и горькой серьезности ее не понизили. Нашлось же у вас достойной человечности написать, не роняя предмета, о Бальмонте, Вяч. Иванове, Ходасевиче. (Вам этот такт изменил лишь в гл⟨аве⟩ о Северянине, тут вы тему обидно упростили, тем ее исказив [5].) А трагедия Асеева есть трагедия природного поэта, перелегкомысленничавшего несколько по иному, нежели Бальмонт и Северянин, потому что тут не искусство, но *время* выкатило ту же, собственно говоря, дилемму: страдать ли без иллюзий или преуспевать, обманываясь и обманывая других.— К сожаленью, я очень занят, и вряд ли скоро опять смогу вам написать. На вашем месте я бы обязательно запросил ленинградских друзей о книге и выбрал бы судьями наименее пристрастных, и кто постарше. Вас просто засыплют указаньями, и то, что я привел, я сказал вам только в поясненье общего впечатленья от последней части.

Вы же не сердитесь на меня. А за всем сказанным горячо благодарю вас за подарок.

Ваш. Б. П.

[1] «Panoramas des litteratures contemporaines. Litterature russe, par Vladimir Pozner». Paris, 1929. Пастернаку был послан экземпляр 4-го издания, оконченного печатанием 7 марта 1929 г. Приводим перечень разделов книги в переводе с французского:

I часть (1885—1900): Введение; Ин. Анненский; В. Розанов; Д. Мережковский; З. Гиппиус; Ф. Сологуб; К. Бальмонт; В. Брюсов; М. Горький; Реалистическая школа 1885—1905 годов; В. Короленко; А. Куприн; И. Бунин.

II часть (1900—1910): Символизм; А. Блок; А. Белый; Вяч. Иванов; А. Ремизов; Реалистическая школа 1905—1914 годов; И. Шмелев; С. Сергеев-Ценский; Б. Зайцев; А. Н. Толстой; Л. Андреев.

III часть (1910—1915): Дифференциация; М. Кузмин; В. Ходасевич; Н. Гумилев; А. Ахматова; О. Мандельштам; И. Северянин; В. Хлебников; В. Маяковский.

IV часть. Наши дни (1917—1929): Октябрьская революция; *Поэзия*: С. Есенин; Б. Пастернак; М. Цветаева; Московские поэты; Петербургские поэты — Н. Тихонов; Пролетарские поэты; *Проза*: Революция; Литературные влияния; Е. Замятин; Б. Пильняк; Серапионовы братья; Формалистская критика — В. Шкловский; Л. Лунц; Вс. Иванов; Л. Сейфуллина; К. Федин; Л. Леонов; Пролетарские прозаики; М. Зощенко; И. Бабель; Приключенческий роман — В. Каверин, И. Эренбург и т. п.; Исторический роман — Ю. Тынянов, М. Алданов и т. п.

Заключение.

[2] См. п. 1, прим. 2.

[3] Глава об Ин. Анненском начинается с рассуждения о том, что поэт не может быть понят и оценен в переводе на другой язык, а признание Петрарки, Шелли и Гейне во Франции основано на «культурном ханжестве» и подчинении авторитету школьных учителей (с. 40).

[4] Пастернак высоко ценил первые стихотворные опыты Асеева и считал его поэтом с огромными данными. «Я уже сказал, что среди молодежи, не умевшей изъясняться осмысленно, возводившей косноязычие в добродетель и оригинальной поневоле, только двое, Асеев и Цветаева, выражались по-человечески и писали классическим языком и стилем» (*Люди и положения*, с. 232). В письме Пастернака к Горькому 7 января 1928 г. читаем: «Вы не ошиблись в Асееве. Это человек большой сердечности и очень хороший. Когда-то мы с ним были очень близки и только в последние годы наши пути разошлись. Особенно осложнилась наша дружба благодаря пресловутому «Лефу», который мне кажется недостойной Николая Николаевича и Маяковского ерундой. Но, может быть, журнал и люди, им объединенные,— выше моего пониманья. Я с этим теченьем давно порвал, и, разумеется, они на меня обижены» (АГ, КГ-П 56.12.13). См. также наст. том: Пастернак—Тихонов, п. 9, прим. 3.

[5] Познер объясняет успех Игоря Северянина исключительно дурным вкусом выскочек и нуворишей. Пастернак же считал, что у Северянина есть и истинно лирические достижения, что одним потворством пошлости это явление не ограничено: «Северянин повелевал концертными залами и делал, по цеховой терминологии артистов сцены, полные сборы с аншлагами. Он распевал свои стихи на два-три популярных мотива из французских опер, и это не впадало в пошлость и не оскорбляло слуха. Его неразвитость, безвкусица и пошлые словоновшества в соединении с его завидно чистой, свободно лившейся поэтической дикцией создали особый странный жанр, представляющий, под покровом банальности, запоздалый приход тургеневщины в поэзию» (*Люди и положения*, с. 229). Ср. заметку в записной книжке Пастернака за 1952 г.: «Первый том чеховских рассказов (марксовское издание). А в поэзии это — Игорь Северянин. Тот же мир, персонажи, общество, дачники и пр. И как у Чехова — на границе журнальной юмористики, тон почти пародийный» (без даты, АП).

3. ПАСТЕРНАК — ПОЗНЕРУ

⟨Москва⟩ 14.V.⟨1929 г.⟩

Сейчас пришло ваше письмо, дорогой Владимир Соломонович, и мне еще больнее стало, что я наверное огорчу вас, после теплоты ваших строк. Вы просите меня порассказать о себе, и я это с охотой когда-нибудь сделаю, но не теперь, потому что просто не опишу вам, как занят.

Между прочим, главная виновница моего недосуга — проза, за которую я принялся, но много и других виновников. Рад всему, что вы о себе сообщаете. С удовольствием прочту ваш сборник, симпатия ему обеспечена [1]. Но для вас и для меня будет лучше, если, отослав его, свыкнетесь с мыслью, будто бросили его, как камень в воду. Я сам расстрою эту аналогию, когда смогу. Писанье писем это то, что мне дается всего реже и труднее. О Carrefour'e [2] (если это то самое) мне Пильняк говорил. Радостно знать, что вы любите Цветаеву. Ее круг — самый мне близкий. Знаете ли вы, что «Крысолов» любимейшая вещь многих серьезнейших коммунистов?

Пруст года три назад был для меня совершенным открытьем [3]. Боюсь читать (так близко!) и захлопнул на пятой странице. Оставил впрок, отложил, не знаю насколько. А тем временем и опасность уменьшается: в прозе ближусь к Боборыкину, в стихах — к Щепкиной-Куперник. Еще раз спасибо за все.

Ваш Б. П.

Привет вашей жене, которой, вероятно, не знаю.

Год устанавливается по упоминанию о работе над прозой, которой Пастернак был занят в первой половине 1929 г. Об этой работе см. наст. том: Пастернак — Медведев, п. 3, прим. 3.

[1] Имеется в виду сб. стихотворений Познера «Стихи на случай (1925—1928)» (Париж, 1928), подробно разобранный Пастернаком в п. 5.

[2] Carrefour — перекресток (*фр.*). Возможно, что это название какого-то сборника или альманаха.

[3] Прозу Марселя *Пруста* (1871—1922) Пастернак считал основополагающим явлением литературы XX в. и постоянно к ней возвращался. Среди его книг (АП) сохранились разрозненные тома цикла романов Пруста «À la Recherche du Temps perdu» («В поисках утраченного времени»), в частности первый его том «Du coté de chez Swann» (P., 1930), с пометами и записью на форзаце: «Proust ist *tot* *, haben Sie das gemerkt? niemand wusste je soviel innere Erfahrungg leichzeitig!» R. M. Rilke (Aus einem Briefe an Elisabeth v. Schmidt-Pauli, Chateau de Muzot, 5.XII.22) **.

Получив в 1958 г. новое издание «À la Recherche du Temps perdu» (Paris, 1954), Пастернак летом систематически перечитывал его и взял из последней части («Le Temps retrouvé» — «Обретенное время») эпиграф к книге стихов «Когда разгуляется» (см. *Стихотворения и поэмы*, с. 446).

4. ПАСТЕРНАК — ПОЗНЕРУ

⟨Москва⟩ 23.V.⟨19⟩29

Дорогой Владимир Соломонович!

Не отвечайте мне, пожалуйста, на прошлое письмо [1], и вообще не пишите, пока я не прочту вашу книгу толком по порядку от доски до доски (хотя этого не говорят о книгах в бумажных обертках). Я был несправедлив к вам в отношении IV-ой части. Урывками успел в этом убедиться, как и в том, что книгу надо читать в ее естественной последовательности. Многое из того, чего ждал и не нашел в IV-й, рассыпано в предшествующих главах, там, где *досказываются* отдельные истории старших, концом приходящиеся на революционное время. Отказываюсь от всех моих замечаний, кроме одного, об Асееве. Впрочем, напрасно я их беру назад: от проверки и переработки посл⟨едней⟩ главы в новом издании, и такой проверки, которую произвели

* т. е. gestorben (Рильке сообщает S. P. о его смерти). — *Прим. Б. Пастернака.*

** Пруст мертв, поняли ли вы это? никто никогда не обладал столь обширным внутренним опытом! P.-M. Рильке (из письма к Элизабет фон Шмидт-Паули, замок Мюзо, 5.XII.22) (*нем.*)

бы *вы*, книга бы только выиграла. Но и тон у меня сегодня совершенно другой. А главное, не то совсем надо было вам написать. Не о книге, а о том, что удивительна в 24 года такая зрелость, и благородство, и глубина. Что написать книгу по истории литературы, которая бы читалась как серьезнейшие произведенья живейшего творчества и за которой постоянно бы веяло завидно-пластическое, достойное разделенья и по-должному не высказанное, не отделанное под теорию пониманье мира, да еще на чужом языке, при всех этих качествах, в этом языке свободно проявленных, да еще в таком возрасте,— это чудо, с которым надо поздравить и перед которым можно преклониться. *Вот что я упустил вам сказать.*

Все же остальное не столь существенно. И еще вот что. Я забыл вас предупредить, чтобы вы стихов не посылали, потому что им не дойти. Книги, напечатанные по-русски за границей, на ней задерживаются и нас не достигают. Простите мою оплошность.

Ваш Б. П.

[1] Подразумевается п. 2, в котором Пастернак излагал свое первое впечатление от книги Познера «Русская литература».

5. ПАСТЕРНАК — ПОЗНЕРУ

〈Москва. Октябрь — ноябрь 1929 г.〉

Дорогой Владимир Соломонович!

Я выслал вам «Поверх барьеров» с очень многословной надписью,— компенсацией за ненаписанное письмо [1]. Теперь я сообразил, что этот способ замещенья не пригоден. Книга не скажет вам, что ваши «Стихи на случай» [2], сверх всякого ожидания, своевременно дошли.

Я должен был тогда же поблагодарить вас и этого не сделал. Вот причина. Мне делали операцию летом [3],— вы верно об этом слышали,— и чуть ли не первым моим чтением после нее была ваша книга.

Известить вас во-время о ее полученьи мне было трудно.

Теперь я здоров, и вам интересно, верно, узнать что-нибудь о ней самой, а не об исправности почты.

Догадываетесь ли вы, что мне о поэзии судить очень трудно, что я в ней *ничего не понимаю*? Это не обмолвка, не кокетство, не увертка. Это точное обозначенье того, что я знаю за собой очень издавна, с первого темнейшего детского переживанья искусства. Разумеется, это — недостаток. Но мне бы не хотелось с ним расставаться.

Высылке книги, сколько помню, предшествовали оговорки с вашей стороны. И напрасно. Вам книжки не надо (и не приходится) стыдиться. Читать ее было приятно. Даже в *невыгоднейших* для поэзии расположеньях, в жанре, например, невыпуклой задумчивости с обезразличенным словарем (какова вся I-я часть), вы с промежутками, от страницы к странице, нападаете на значащие строчки. Они — ваши союзницы. От них узнаешь, что и страницы вашей художественной несамостоятельности (умышленной, разумеется) — восходят к самостоятельно пережитому. Тогда их перечитываешь по-новому. Эта перечитка, не подымая их эстетической судьбы, спасает их творческое достоинство. За ними обнаруживается живой опыт. Всего больше таких защитниц у вас к концу отдела, на стр. 33, 35, 37-ой. И на 20-й. И в других местах.

Лучше (в счастливейших своих частях) — второй отдел. Тут есть композиционные удачи (стр. 47, 49).

И больше всего их в отделе III-ем (65, 67, 69, 73, 74, 78, 80, 81). Тут есть вещи положительно хорошие.

Но вы уловите сдержанность в моем отзыве. Слух не обманет вас. Все, что я вам говорю, я сказал искренно. Но с примесью грусти.

В самом деле, порядок ли это и так ли справедливо, чтобы большинство писало с помощью средств и на основаньях, только что изложенных, с верой

(сбывающейся) в предрешенное расположенье читателя, в то, что смысл и образ, звук и краску и силовую игру принесет он сам из дому и из жизни? А немногим несчастным с первых шагов приходится заводить пожизненную драму с ним и его пустыми руками, годными лишь для аплодисментов и свистков в три пальца. Эти подозрительные уроды *тоже* любят личные непритязательные записи, как любят их простые, немудрящие люди, вроде революции или Ходасевича. Беда лишь та, что за веденьем записей им приходится заниматься созиданием глаза. Потому что записи их *так личны и так просты*, что их не прочесть, если читателю не вылепить добавочного, по природе выправленного, воображенья. Отсюда и все «лишнее» и «темное» их. Их образность не щеголянье собственными прихотями, а уход за восприимчивостью ближних [4].

Мой милый, это не в ваш огород. Но я вам посылаю книгу, насвежо переписанную местами. Я был свидетелем незаслуженного своего признанья. Я не тщеславен, но сердцу моему это должно было что-то сказать. Я должен был отвести этой безымянной любви место в жизни. И вдруг я стал узнавать, что оно для нее неудобно. Что эта любовь желала бы меня видеть другим; что *она лучше моего понимает, кем мне надо быть*, и как отблагодарить ее за ее издержки в вере. Следите ли вы за моими словами, ясно ли вам, что это разговор не о «славе», а о семейных вещах, о страстях:— о грязном белье.

Вы думаете, не обязывал меня некогда Ходасевич, когда *уступал*, когда *допускал* меня, когда... тема родства пробегала (творческая же любовь — есть *ответная* любовь)?

И вот, выходит,— я его обманул. Он прогадал, оказывается; он передал мне в доверьи, и я не оправдал его. Вы думаете, я не бросился бы его оправдывать? Простите,— я так устроен. Тут тот же секрет, что и в моем непониманьи стихов. Но Ходасевичево «но» в отношеньи меня разрослось в оговорку, ничего от меня не оставляющую. *Этого* романа не поправить. К тому же до Ходасевича и далеко. Свободой, взятой в отношеньи меня, он меня освобождает: вина перед ним с меня снимается [5].

Но вот под боком другой друг, почти с такой же эстетикой и с той же подозрительностью, это — время, т. е. революция. Уж меня ли не баловал этот жизненный спутник, ждал, спускал, терпел подражанье, рассыпался в авансах, допускал.

Трудно, знаете, жить в постоянном сознаньи своей черной *неблагодарности*. Наимягчайшие сожаленья о «непонятности» (при непрекращающихся знаках расположенья) действуют на меня, как неосновательная ревность человека, всем для тебя пожертвовавшего. И я не зверь, надо наконец внять столь милым людям, ну ее к чорту истину, если с нею в доме так трудно.

Я бы желал, чтобы в переизданных «Барьерах» вы усмотрели пример, иллюстрирующий все вышесказанное. Книга переделана с верой в читателя, она запросто беседует с ним, почти плюнув на искусство, т. е. не вынеся драмы в доме. В ней господствует добрый акмеистический лад. Футуризм же, имажинизм и Сельвинский — были продолжением символизма. Были — символизмом, т. е. разгоряченно-мировоззрительным полноприемным искусством. И я. [6]

В конце концов письмо мое — сплошная чепуха. Простите.

Ваш. Б. П.

Датируется по упоминанию о посылке сборника *Поверх барьеров, 1929*, вышедшего в сентябре: авторские экземпляры его Пастернак надписывал знакомым в начале октября (АП); в ноябре их у него уже не было (см. наст. том, Пастернак — Медведев, п. 8).

[1] Экземпляр этого сборника с дарственной надписью Познеру не сохранился.

[2] Владимир П о з н е р. Стихи на случай (1925—1928). Париж, 1929. Среди книг, принадлежащих Пастернаку, этот сборник не найден.

[3] Об этой операции см. наст. том: Пастернак — Тихонов, п. 9.

[4] Тема читательской восприимчивости в разных исторических обстоятельствах живо интересовала Пастернака. Так, в статье о творчестве Николая Бараташвили (1945) он писал: «Счастливые эпохи с их верою в человека и восприимчивость потомства позволяют художникам высказывать только главное, почти не касаясь побочного, в надежде на то, что воображение читателя само восполнит отсутствующие подробности. Отсюда некоторая неточность языка и плодовитость классиков, естественная при большей легкости их очень общих и отвлеченных задач.

Художники-отщепенцы мрачной складки любят договариваться до конца. Они отчетливо доскональны из неверия в чужие силы. Отчетливость Лермонтова настойчива и высокомерна. Его детали покоряют нас сверхъестественно. В этих черточках мы узнаем то, что должны были бы доработать сами. Это магическое чтение наших мыслей на расстоянии. Секретом такого действия владел и Бараташвили» (АП).

[5] Об отношении Ходасевича к Пастернаку см. письмо Пастернака С. П. Боброву: «...но Ходасевич, спервоначала подарив меня проницательностью «равного», вдруг, по прочтении Колина ⟨Ник. Асеева⟩ отзыва в «Нови», стал непроницаемою для меня стеной с той самой минуты, как на вопрос об Асееве я ему ответил в том единственном духе, в каком я и ты привыкли говорить об этом поэте» (Берлин, 17 января 1923 г.— ЦГАЛИ, ф. 2554, оп. 2, без шифра). Асеев писал о Ходасевиче в журнальном обзоре «По морю бумажному» (*КН*, 1922, № 4).

[6] Сб. *Поверх барьеров*, *1929* содержал часть стихов первых книг — «Близнец в тучах» (М., «Лирика», 1914) и «Поверх барьеров» (М., «Центрифуга», 1917), кардинально переработанных автором. Кроме того, в него вошли написанные в разные годы разделы — «Смешанные стихотворения», «Эпические мотивы», «Белые стихи» — и поэма «Высокая болезнь». Об обстоятельствах подготовки сборника читаем в письме Пастернака Мандельштаму 24 сентября 1928 г.: «А я закорпелся над переделкою первых своих книг («Близнеца» и «Барьеров»), их можно переиздать, но переиздавать в прежнем виде нет никакой возможности, так это все небезусловно, так рассчитано на общий поток времени (тех лет), на его симпатический подхват, на его подгон и призвук! С ужасом вижу, что там, кроме голого, и часто оголенного до бессмыслицы движения темы,— ничего нет. Это — полная противоположность вашей абсолютной, переменами улицы не колеблемой высоте и содержательности» (*ВЛ*, 1972, № 9, с. 162).

БОРИС ПАСТЕРНАК — ДЖОРДЖ РИВИ

В своей книге «The Poetry of Boris Pasternak» Джордж Риви (George Reavey, 1907—1976), известный английский славист и поэт, рассказывает о своем знакомстве с Пастернаком — сначала с его поэзией, потом с ним самим [1].

В детстве Риви четыре года (1914—1918) провел в России, где его отец служил управляющим на заводе; мать его была русская. В середине 1920-х годов, будучи студентом Кембриджского университета, Риви заинтересовался русской литературой. Тогда же — по его словам, вероятно, в конце 1927 г.— в руки ему попал сборник стихов Пастернака «Две книги» (М., 1927), в который входили «Сестра моя жизнь» и «Темы и варьяции»; однако, ему потребовалось несколько лет, чтобы преодолеть сложность этого автора и его полюбить [2].

Риви входил в группу молодых поэтов, прозаиков и критиков, которая сформировалась в Кембридже к концу 1920-х годов, получила название «Experiment» («Эксперимент») и стала издавать журнал под тем же названием. В октябре 1930 г. Риви опубликовал в этом журнале (№ 6) четыре стихотворения Пастернака в своем переводе и статью «First Essay towards Pasternak» («Первый очерк о Пастернаке») [3]. В этой статье он писал: «Его тончайшая чувствительность, эллинское мастерство, его стремительная лирическая, сохраненная им непосредственность смягчаются и уравновешиваются изысканной интеллектуальностью, необычным видением и искренностью, все это делает Пастернака если и не самым ясным, то тем не менее одним из самых замечательных лирических поэтов нашего времени» [4].

26 декабря 1930 г. Пастернак получил номер журнала «Experiment» от сестры из Германии. «Мне подали сейчас бандероль с тем английским журналом, о котором давно писала сестра. Наконец, она его выслала,— писал Пастернак в тот день З. Н. Нейгауз. — Чем волнует меня статья и переводы? В статье — совпадение с моими мыслями последних дней. Часть переведенного — из того, что я читал при Юдиной (цикла «Болезнь») ⟨...⟩ Перед статьей в строчку написано: Blok 1921, Essenin 1925, Mayakovsky 1930 — даты смертей до братства близких, и еще только недостает моей. Главное же, что о моей жизни не известный мне человек Georgee Reavey за тысячу верст на чужом языке пишет как о чем-то не принадлежащем мне» (АП).

В это время Риви жил в Париже, где стал одним из издателей антологии послевоенной европейской литературы «Europeap Caravan» («Европейский караван») [5]. 29 декабря 1930 г. он послал Пастернаку письмо, написанное по-русски, и номер журнала «Experiment» со своей статьей и переводами. «Вашу поэзию,— писал он,— я читаю с большим вниманием и удовольствием несколько лет — но только в последний год я принялся серьезно ее переводить на английский язык ⟨...⟩ и писать о ней критически. Нахожу я в вашей поэзии некоторые черты и проблемы, которые я считаю важными с точки ⟨зрения⟩ поэзии и современности» (п. 1).

Завязавшаяся переписка связана с работой Риви над переводами произведений Пастернака и содержит ряд принципиальных суждений, высказанных Пастернаком по этому поводу. Говоря о «потребности разговаривать с Западом», Пастернак вместе с тем протестует против создания искусственного интереса к своему творчеству (п. 2). Он положительно отзывается о переводах Риви («отличные переводы» — п. 2), но высказывает сомнение в том, что «стихи вообще, в особенности ⟨...⟩ — современные», могут быть переведены адекватно на другой язык (п. 3). Он настаивает на переводе «Охранной грамоты» и, мотивируя свое пожелание, разъясняет, какое место в его творческом самосознании занимает эта «книга мыслей» — единственное, по его мнению, произведение, в котором он сумел выразить себя (п. 2, 3).

Риви пишет, что впервые увидел Пастернака в июле 1935 г. в Париже на Международном антифашистском конгрессе в защиту культуры. Тогда же он подарил ему свой стихотворный сборник («Nostradam», 1935), в состав которого входило стихотворение «Exegi monumentum» *, посвященное Пастернаку. Следующая встреча была через восемь лет, осенью 1943 г., когда Риви, который с апреля 1943 г. по май 1945 г. был сотрудником посольства Великобритании в Москве, пригласил Пастернака в числе других представителей советского общественного и художественного мира на официальный прием по случаю приезда Энтони Идена. В то время Пастернак переводил Шекспира, и Риви достал ему несколько критических исследований о Шекспире, антологию английских поэтов и томик Джерарда Хопкинса [6].

Возобновившаяся вновь переписка велась теперь по-английски. Пастернак извинялся за свой «варварский и неграмотный» английский, который он совсем забыл из-за отсутствия практики и восстановил лишь, занявшись переводами Шекспира [7].

Риви ездил несколько раз в Переделкино (он был дружен с вдовой А. Н. Афиногенова Дженни). Осенью 1945 г. Риви застал пришедшего к Афиногеновым Пастернака [8]. Сделанная в тот день надпись Пастернака на «Двух книгах» подводит итог различным аспектам их знакомства: «To dear Georges Reavey, on memory of his verses, books, our correspondence, our meetings on Paris and Moscow and the sunny October morning in Peredelkino at Zhenia Afinogenov's» **.

Риви так вспоминает свое впечатление от разговоров с Пастернаком: «Бывший студент Марбургского университета, человек, проникший в дух шекспировского Лондона, он странным образом казался естественной и неотделимой частью этого деревенского пейзажа, того Переделкина, которое поэтически преобразил и обессмертил в своих поздних стихах. Когда голос его раскатывался в монологах, казалось, что его слышно в Париже, Лондоне и на Урале. Казалось, что он заполняет комнату и простирается по полю и лесу за домом. Поразительно, как естественно вписывался он в этот пейзаж, в эти сосны, клены и березы. «Как будто какая-то часть растительного существования переселилась в меня»,— сказал он однажды» [10].

Из переписки Пастернака с Риви сохранилось 10 писем: 1 письмо Риви (1930; АП) и 9 писем Пастернака (1931—1960; США, Houghton Library), из них 4 письма (1931—1933) — на русском языке, 5 писем (1943—1960) — на английском. Все письма Пастернака были опубликованы на английском языке Элен Левин («Nine letters of Boris Pasternak» — «Harvard Library Bulletin», vol. XV, N 4, October, 1967).

Ниже печатаются: письмо Риви (сохраняются особенности языка и орфографии подлинника, написанного на русском языке) и 4 письма Пастернака за 1931—1933 гг.— эти

---

* «Я памятник воздвиг» (*лат.*)

** «Дорогому Джорджу Риви на память о его стихах, книгах, нашей переписке, наших встречах в Париже и Москве и о солнечном октябрьском утре в Переделкине у Жени Афиногеновой» (*англ.*) [9].

письма публикуются по ксерокопиям с автографов, любезно предоставленным нам г-жой Jean Reavey.

Письма за период 1943—1960 гг. в публикацию не включены: они выходят за пределы хронологических рамок настоящего тома.

[1] «The poetry of Boris Pasternak (1914—1960) selected, edited, and translated by George Reavey with an essay on the life and writings of Pasternak». New York, 1959.
[2] Там же, с. 43—45.
[3] Там же, с. 43.
[4] Там же, с. 46—47.
[5] Об этом издании см. п. 1, прим. 3.
[6] «The Poetry of Boris Pasternak...», p. 54—55, 65.
[7] Письмо Пастернака Риви 25 сентября 1943 г.— «Harvard Library Bulletin». Vol. XV, n4, October, 1967, p. 325.
[8] «The Poetry of Boris Pasternak...», p. 67—68.
[9] Там же, с. 55.
[10] Там же, с. 69.

1. РИВИ — ПАСТЕРНАКУ

Париж. 29 дек⟨абря⟩ 1930

Дорогой Борис Леонидович,

прежде всего я бы просил вас меня извинить, потому что я вам уже раньше не написал,— долгие месяцы уже собираюсь — и вы, может быть, уже слыхали обо мне через Эренбурга или Лидина — во всяком случае письма я откладываю всегда — это одна из моих плохих привычек.

А писать-то вам я пишу по поводу моей большой симпатии к вашей поэзии и творчеству. Вашу поэзию я читаю с большим вниманием и удовольствием несколько лет — но только в последний год я принялся серьезно ее переводить на английский язык — (кстати должен я вас предупредить, что я поэт и как британский подданный пишу по-английски, отец мой ирландец, мать моя русская, последние десять лет я жил на островах и кончил «Cambridge University» [1*] по историческому и литературному факультету — а теперь живу в Франции и пробую писать etc.) — и писать о ней критически. Нахожу я в вашей поэзии некоторые черты и проблемы, которые я считаю важными с точки ⟨зрения⟩ поэзии и современности. Я уже в последний год о вас немало говорил и писал некоторые статьи — я надеюсь, что это с переводами ваше имя распространит в Англии и Америке. До сих пор, я заметил, в антологиях говорили ⟨о вас⟩ как о поэте замечательном, но странном и слишком трудном для перевода.

Я знаю, конечно, что ваша поэзия одна из самых трудных для переводчика — я сказал это тоже в статье — слово перевести нельзя,— и из всех 14 poems [2*] ваших, переведенных мною — мне, может быть, только две понравились — «comme approximation» [3*] —но многие, я нахожу, понравились другим,— во всяком случае я начал переводить инстинктивно, и теперь думаю, что лучше перевести плохо, чем не ⟨перевести⟩ совсем,— и в будущем, может быть, кто-нибудь захочет и сделает лучшие переводы. Во всяком случае, я вам посылаю некоторые переводы — и в отдельной посылке «revue» [4*], в которой появились 4 перевода и статья [1].

Вы, может быть, найдете какие-нибудь ошибки в статье, но вы поймете, что трудно сразу обо всем ⟨о⟩сведомиться, и я буду вам благодарен если ⟨бы⟩ вы меня поправили или могли бы мне дать дополнительные сведенья.— Я собираюсь написать книгу о русской литературе после 1912 года и все, касающееся футуризма 1912 года и после, мне будет очень интересно.

Я долго пробовал достать ваши рассказы — но без успеха. «Детство Люверс» я прочел в переводе Познера [2]. Если бы ⟨вы⟩ могли мне прислать экземпляр — я бы был благодарен и устроил бы перевод в какой-нибудь ан-

[1*] Кембриджский университет (*англ.*).
[2*] стихотворений (*англ.*).
[3*] «как приближение» ⟨к подлиннику⟩ (*франц.*).
[4*] журнал (*франц.*).

глийский «revue»... Ваш «1905» я тоже не мог нигде купить, но прочел у Эренбурга — может быть, вы могли устроить посылку... и если у вас найдутся другие рассказы, статьи etc., посылайте их, и я их наверно устрою....

В окончание я должен еще раз спросить вас извинить меня, что у вас разрешения раньше не спросил и что некоторые переводы уже появились. И хотел бы вам сказать, что с вашим разрешением я помещаю 7 поэм (некоторые уже напечатаны были) в русскую секцию «Европейского Каравана» [3], в котором издатель, мой друг Samuel Putnam надеется соединить главных и интересных писателей Франции, Англии, Германии, Италии, Испании и России, которые пишут и представляют дух «de l Europe d'après la guerre» [5*]. Документ это будет очень интересный и даже важный, и так как писатели поняли это с этой точки зрения, статьи и поэмы были представлены даром. Познер может быть вас уже уведомил, что он взял 4 перевода для «revue» «Morada» [4].—

Надеюсь, что вы мне скоро напишете и что мы будем переписываться и извините мой почерк.

С почтением Георгий Данилович Р и в и (George R e a v e y)

P. S. Я вам три перевода посылаю теперь — другие последуют — и одну из моих ⟨poems⟩, другую вы найдете в «revue» — «Experiment» [5].

[1] В конверт с письмом были вложены переводы трех стихотворений Пастернака «Весна, я с улицы, где тополь удивлен...», «Заплети этот ливень, как волны холодных локтей..», «Нас мало. Нас может быть трое...» Отдельно был послан журнал «Experiment» (1930, № 6) со статьей Риви о Пастернаке и переводом четырех его стихотворений (в АП не сохранился).

[2] Повесть «Детство Люверс» входит в сб. *Рассказы* (о содержании сборника см. наст. том: Пастернак — Медведев, п. 2, прим. 3). В переводе В. С. Познера повесть включена в составленную им «Антологию современной русской прозы».

[3] «The European Caravan. An Anthology of the new spirit in European Literature» («Европейский караван. Антология новых веяний в европейской литературе. Составители С. Путнам, М. Дарнтон, Дж. Риви, И. Броновский»). Первая часть «Антологии» (Франция, Испания, Англия, Ирландия) вышла в Нью-Йорке в 1931 г. Часть вторая, посвященная России и славянским литературам, напечатана не была.

[4] «Morada» — литературный журнал, выходил в Альбукерке, штат Нью-Мексико, США. Пятый номер с переводами Познера был издан зимой 1931 г. в Италии, куда переехал редактор журнала Норман Мак Леод. Затем издание прекратилось. О В. С. Познере — см. наст. том: Пастернак — Познер.

[5] Кроме переводов (см. прим. 2) Риви приложил к письму свое стихотворение «Soliloquy of Faust» («Монолог Фауста»); другое его стихотворение напечатано в номере журн. «Experiment», посланном Пастернаку.

2. ПАСТЕРНАК — РИВИ

⟨Москва⟩ 28.III.⟨19⟩31

Дорогой Mr. Reavey, Георгий Данилович!

Ваши переводы, статья, ваше вниманье и, затем,— письмо до глубины души взволновали меня. Во всякое другое время я вам ответил бы немедленно. Но нынешней зимой у меня было много личных событий. Как раз в их разгаре произошло мое знакомство с вами. Вот причина моего долгого молчанья, которое, вероятно, огорчило вас. Однако все это продолжается и сейчас. Я отвечаю вам наскоро, и не так, как хотел бы.

Горячо благодарю вас за отличные переводы. Восхищен вашим вкусом. Ваш выбор достаточно говорит о нем. Много хотел бы, друг мой, сказать о вашей прекрасной статье и оригинальных стихах, но это как-нибудь в другой раз. Как бы не задержало это письма.

С радостью даю вам разрешенье на помещенье переводов (даже и не известных мне) в «Европейский караван» и куда бы вы ни пожелали. Познер ни о чем не уведомлял меня, и из письма вашего мне неясно, о чем должен

[5*] послевоенной Европы (*франц.*).

был уведомить. За вашим сообщением, что он взял 4 перевода для revue [1*], у вас следует слово, которого я не могу разобрать [Morada (?)] [2*]. Если увидите В⟨ладимира⟩ С⟨оломоновича⟩, кланяйтесь ему, пожалуйста. Он кажется сердится на меня, но не знаю, за что.

Узнаю о себе всегда по слепой случайности, когда сообщают друзья. Мне пишут все реже,— виноват я сам.

Скоро распространенье на Западе заинтересует меня с той стороны, о которой я до сих пор никогда не думал. В Германию на долгое время выезжает жена моя с сыном [1], и возможности посылать им отсюда у меня не будет. Тут очень кстати оказались бы иностранные издания.

Но против искусственного навязыванья меня Западу я первый стал бы открыто протестовать. До сих пор у меня не было ничего, что заслуживало бы европейского вниманья. «Детство Люверс» и «Повесть» — неприятные претензии, пока они не развиты во что-нибудь крупное. Последнюю я надеюсь продолжить, доведя до более достойного целого, в форме романа [2].

Сейчас я закончил прозаическую вещь, которая называется «Охранная грамота» [3]. Это первая вещь, которую я без стыда увидал бы в переводе. Это — ряд воспоминаний. Сами по себе они не представляли бы никакого интереса, если бы не заключали честных и прямых усилий понять с их помощью, что такое культура и искусство, если не вообще, то хотя бы в судьбе отдельного человека. Думаю, тема эта никому не может быть далека, и разговор о ней на других языках так же уместен, как и в оригинале. Когда она появится у нас отдельной книжкой (к осени, вероятно, но, может быть, и раньше), вышлю ее вам. Остальных ваших просьб о книгах не могу исполнить. Последние изданья разошлись, прозы еще не переиздавали, —но по мере появленья буду всегда помнить о вас.— Еще раз большое за все спасибо. Крепко жму вашу руку. Напишите, что простили меня.

Ваш Б. Пастернак

Ответ на п. 1

[1] Е. В. Пастернак с сыном ездила на лето 1931 г. в Германию для лечения туберкулеза.

[2] «Детство Люверс» — начало впоследствии утерянного романа (см. наст. том: Пастернак — Полонский, п. 2, прим. 2). «Повесть» также была написана как часть более широкого прозаического замысла, работа над которым не была продолжена (см. наст. том: Пастернак — Медведев, п. 3, прим. 3).

[3] О работе Пастернака над «Охранной грамотой» см. также наст. том: Пастернак — Медведев, п. 2 и 3.

3. ПАСТЕРНАК — РИВИ

20.XI.⟨19⟩32

Москва 19, Волхонка 14, кв. 9.

Дорогой Георгий Данилович!

Не знаю, как благодарить вас за ваше прекрасное посвященье, за чудесные, замечательные ваши переводы [1], и за ваш бескорыстный и, вероятно, ничего, кроме неприятностей и разочарований, вам не приносящий интерес ко мне!

Еще труднее будет привести что-нибудь в оправданье моего молчанья, в ответ на ваше милое письмо, которое я получил 2 месяца назад. Положим, оно было не беспричинно: у меня в теченье этого времени было много хлопот, я устраивал личные и семейные свои дела, ездил в Ленинград, и пр. и пр. И, все-таки я очень виноват перед вами. Напишите мне, как сложились ваши дела, осуществляются ли ваши намеренья, и, если ваши начинанья оформились, пришлите мне, пожалуйста, проспект задуманного вами журнала [2].

[1*] журнала (*франц.*)

[2*] *скобки поставлены рукой Пастернака.*

Страшно буду рад книге ваших поэм, жду ее с нетерпеньем [3]. Большую радость также доставило бы мне, если бы вам удалось выпустить отдельной книжкой ваши переводы из меня, лучшие из всех, какие я знаю [4]. Если бы это удалось, мне было бы интересно знать их литературную судьбу на Западе, их относительный вес, мненье товарищей или прессы, и вот почему: мне передавали, что ко мне хорошо относятся в узких, немногочисленных кругах Европы, некоторые писатели и поэты, но все это, думаю я, основывается только на голой непроверенной легенде, на утвержденьях доброжелателей и друзей. Никто из иностранцев, слышавших звук Pasternak и привыкших относиться к нему как к консонансу, ничего не читал и не видел. И, вероятно, по первом испытаньи, т. е. после ознакомленья их со мной, легенда эта будет рассеяна и всех их постигнет разочарованье.

Однако вряд ли пригодны для такой пробы стихи вообще, в особенности (при их условности и сложности) — современные.

Гораздо больше может передать перевод прозы. Моя задержка в ответе произошла отчасти оттого, что у меня не было ни одного экземпляра «Охранной грамоты», и я нигде ее не мог достать. Только вчера посчастливилось мне случайно раздобыть эту книгу, и я вам ее высылаю [5].

Не боюсь сознаться: насколько безразлично относился я до сих пор к тому, переводят ли меня или нет, насколько не следил за своей западной судьбой и ничего в этом смысле не знаю, *настолько важно мне, чтобы эта книга была переведена.* Эту книгу я писал не как одну из многих, а как единственную. Мне хотелось высказать в ней несколько своих мыслей, несколько мыслей, свойственных мне, по ряду вопросов. Части этих вопросов *нельзя было* касаться. Остальные, которые можно было затронуть, я вероятно сформулировал недостаточно удачно. Книга вышла втрое меньше задуманного. Но и того, что осталось, достаточно, чтобы в моих глазах это было самым важным из всего, что я сделал. Я в этой книге не изображаю, а думаю и разговариваю. Я стараюсь в ней быть не интересным, а точным.

Вот почему книга этих *мыслей* наиболее пригодна к ознакомленью всякого, и западного, читателя со мною. Если ему неинтересна будет «Охранная грамота», то не могу и не должен быть интересен и весь я остальной. И тогда не надо создавать этого интереса искусственно. Потому что не в интересе дело, он не самоцель.

А дело в моей собственной потребности разговора с Западом, и потребность эта естественна и есть налицо *только* в «Охранной грамоте». Это оттого, что главным образом *мысль* ищет общенья с людьми, и тем более широкого, чем она глубже. Художественный же образ может удовлетвориться одиночеством, в котором он родился и может остаться. Для того, чтобы хорошо перевести «Охранную грамоту», ее надо перевести *точно*, как научное сочиненье.

Итак, резюмирую.

Без всякого стыда навязываю вам «Охранную грамоту» и не стесняюсь признаться, что очень бы хотел видеть ее переведенной, потому что только в ней, удачно или неудачно, обращаюсь к миру я сам, во всех же остальных случаях это произвол апологетов, снобизм друзей и пр. и пр.

Напишите мне, пожалуйста, не опоздал ли я с присылкою книги, хотите ли вы по-прежнему ее переводить и не заставил ли я вас своей задержкою упустить удобную возможность.

Простите, что пишу вам на разрозненных клочках, какие под руками, и ответьте поскорее, очень прошу вас.

Дружески жму вашу руку и еще раз горячо и сердечно благодарю вас за все.

Ваш Б. Пастернак

Мой адрес старый, вы его знаете. Вот он.
Москва 19, Волхонка 14, кв. 9.

Если писать по-русски вам трудно, т. е. отнимает много времени, то, при его недостатке, можете мне ответить по-английски, но тогда — четким почерком (very readably) *.

Ответ на несохранившееся письмо Риви.

[1] Упоминаемые здесь материалы не сохранились.
[2] О каком журнале идет речь, неизвестно.
[3] Книга стихов Риви «Nostradam» (1935) была подарена им Пастернаку при встрече на Конгрессе в защиту культуры (не сохранилась).
[4] Стихи Пастернака и отрывок из третьей части «Охранной грамоты» (под названием «Смерть поэта») в переводе Риви включены им в его «Антологию советской литературы» («Soviet Literature. Edited and translated by George Reavey and Marc Slonim». London, 1933; New York, 1934; Paris — Milan, 1935). Экземпляр первого издания антологии был прислан Пастернаку с дарственной надписью: «Борису Леонидовичу Пастернаку с сердечным приветом. George Reavey, Paris, oct. 1933» (АП). Свои переводы из Пастернака Риви печатал также в различных периодических изданиях 1930-х годов («This Quarter», «The New Review», «Contemps» и др). (Полное собрание стихотворных переводов Риви составило книгу «The Poetry of Boris Pasternak ⟨...⟩» (1959).
[5] Пастернак послал Риви первое издание «Охранной грамоты» (Л., 1931).

4. ПАСТЕРНАК — РИВИ

⟨Москва⟩ 2.I.1933

Дорогой Георгий Данилович,

с Новым годом! От души желаю вам всяких удач в этом году и облегченья вашей жизни, если кризис захватил и вас и она вам затруднена.

Получили ли вы мое письмо и «Охранную грамоту»? [1] Очень тревожусь, что она до вас не дошла, судя по вашему молчанью. Если вы ее получили и прочли, не бойтесь написать мне искренно в случае разочарованья. Вероятно движенье по слишком знакомому Западной Европе пути, который тут называют идеализмом, не представляет для Запада никакого интереса, и от русской литературы ждут произведений, богатых фактами, и на совершенно иной и новой социальной подкладке?

Очень вас прошу писать мне без всякого стесненья, не опасаясь огорчить меня отказами или неудачею с книгой.

Мне бы также хотелось знать, что сталось с вашими осенними планами, о которых вы мне сообщали в сентябре из Парижа. Осуществляются ли они? Да и в Лондоне ли вы? И где обещанная вами книга ваших собственных стихотворений?

Напишите мне, пожалуйста. Крепко жму вашу руку. Всего вам наилучшего.

Ваш Б. П а с т е р н а к

Москва 19. Волхонка 14, кв. 9.

[1] См. п. 3.

5. ПАСТЕРНАК — РИВИ

⟨Москва⟩ 6.III.⟨19⟩33

Глубокоуважаемый Георгий Данилович.

Ответ на ваше последнее письмо (от 20 янв. 33) очень долго пролежал у меня, и теперь не помню, отправил ли я его. Сейчас убирал на столе у себя, и не нашел среди бумаг. Может быть, письмо отправлено, а может быть, и пропало. На всякий случай повторю его содержанье.

Я благодарил вас за переводы и посвященье и сообщал вам, что в начале зимы отправил вам в Лондон (12, Philbeach Gardens Kensington Ldn S. W. 5) большое письмо и экземпляр «Охранной грамоты», с трудом добытый, и что тем более жаль, если это все затерялось, что другого экземпляра этой книги мне не достать. Готовилось второе изданье этой книги, но на днях

* легко читаемым (*англ.*).

ее запретили. Далее я советовал вам обратиться к И. Г. Эренбургу. Если вы его увидите, очень кланяйтесь ему. Великолепные фельетоны он в «Известиях» публикует, молодец [1].

Очень жалко, что все так получилось. В последнее время я взялся за новую работу и очень занят [2], но не делом, а отвлеченьями, страшно трудная у нас жизнь, и все затрудняется.

Напишите мне, пожалуйста, между прочим и то, отправил ли я вам ответ. Любопытно мне,— совершенно не помню.

Ваш Б. Пастернак

Москва 19. Волхонка 14, кв. 9.

[1] Вероятно, подразумеваются статьи И. Г. Эренбурга «Мысль в отставке» и «Мораль их морали» («Известия», 1932, № 346, 16 декабря; 1933, № 60, 2 марта).

[2] Пастернак имеет в виду роман, над которым работал, с перерывами, до 1941 г. Эта работа не была закончена и публиковалась в отрывках (*ЛГ*, 1937, № 71, 31 декабря; *ЛГ*, 1938, № 69,15 декабря; «Огонек», 1939, № 1; «Тридцать дней», 1939, № 8-9). Начало романа см.: *НМ*, 1980, № 6.

БОРИС ПАСТЕРНАК — ОЛЬГА ОЗАРОВСКАЯ

В феврале-марте 1929 г. широко отмечался 30-летний юбилей научно-художественной деятельности Ольги Эрастовны *Озаровской* (1874—1933), известной собирательницы и исполнительницы северного фольклора [1]. Здесь публикуется, по-видимому, единственное письмо Пастернака к Озаровской, написанное по поводу ее юбилея. Письмо сохранилось в машинописной копии в ЦГАЛИ (ф. 2238, оп. 1, ед. хр. 44, л. 27). Это письмо существенно для характеристики живого и глубокого интереса Пастернака к фольклору.

Попав во время первой мировой войны в 1915—1916 гг. на Урал и в Прикамье, Пастернак тщательно подмечал особенности народного говора, внося диалектные слова в свои ранние, писавшиеся тогда стихи. Свои наблюдения он укреплял, сверяясь по фольклорным сборникам и словарям.

Оказавшись снова на Каме в 1942—1943 гг., Пастернак серьезно занимается изучением уральского фольклора и говора, истоками народной песни, анализом частушек. Он штудирует сборник Бирюкова [2] и рассказы Мамина-Сибиряка («Охонины брови», «Хлеб»), построенные на фольклоре этих мест, сам записывает слышанные на улице диалектные обороты речи и выражения. В архиве Пастернака сохранились эти записи, из которых потом черпались материалы для прозаических и стихотворных работ позднего времени.

Письмо Пастернака Озаровской посвящено неизгладимому впечатлению непосредственного соприкосновения с живым народным устным творчеством сказительницы М. Д. Кривополеновой [3]. Озаровская познакомилась с ней во время своей поездки в Архангельскую губернию и привезла ее в Москву. Пастернак был на вечере их совместного выступления в Политехническом музее в 1915 г.

[1] «Юбилей О. Э. Озаровской».— «Правда», 1929, № 45, 23 февраля.

[2] В. П. Бирюков. Дореволюционный фольклор на Урале. Свердловск, 1936.

[3] Марья Дмитриевна *Кривополенова* (1843—1924) — сказительница, песельница из Пинежского уезда Архангельской губернии. В 1915 г. приезжала в Москву, выступала на вечерах, которые устраивала Озаровская. Былины Кривополеновой собраны в книге О. Э. Озаровской «Бабушкины старины», вышедшей двумя изданиями (М., 1916; М., 1922).

ПАСТЕРНАК — ОЗАРОЕСКОЙ

〈Москва〉 4.III.〈19〉29

Глубокоуважаемая Ольга Эрастовна.

Я не воспользовался честью, которую мне оказал ваш комитет [1], пригласив на чествование. Там я не удержался бы от желания присоединить свои поздравления к тому, что и раньше до вас доходило, а тут сразу на ваших глазах поднялось большое, торжественное незабывающейся волной. Меня должны были бы представить вам, и тут я не знал бы, куда со стыда девать-



О. Э. ОЗАРОВСКАЯ И М. Д. КРИВОПОЛЕНОВА ВО ВРЕМЯ СОВМЕСТНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ МУЗЕЕ (МОСКВА, 1915)

Эскизы Л. О. Пастернака (ит. карандаш). 1915

Слева — Озаровская и Кривополенова; справа — Озаровская

Личный архив Пастернака, Москва

ся. В самом деле, какими словами мог бы я отплатить за воспоминанье, мгновенно вставшее передо мной, как только я развернул юбилейную повестку? Вы тогда с бережностью, свойственной дару в отношении дара, впервые выводили за руку, как ребенка, старуху Кривополенову. Это было в Политехническом музее, та же бережность подсказала вам, что лучше бы, чем с эстрады, этому голосу, помнящему Грозного, прикатиться из края, который его сложил, и не долго думая, вы всего этого молниеносно достигли.

Вы разбросали по аудитории, точно все это было у вас в горсти, вороха нетерпеливой олонецкой скороговорки, рои еще носились, сохраняя упругость, с какой были брошены, когда, увидав, что аудитории не стало, и ветер колыхнул березы, как требовалось, и летнее облачное небо, смыкаясь и размыкаясь, всей высотой двинулось на реку к бабам, вами поставленным греметь ведрами, сва́риться и воевать, вы развалили эту деревню, как полный городок, и движением руки предоставили Кривополеновой говорить с созданного вами пригорка.

Я солгал бы, если бы сказал, что этот чудесный случай был единственным моим столкновеньем с искусством в его цельной неожиданности. Но зато это и было одной из тех редких встреч, каждым в жизни испытанных, когда нас волнует вся его неуловимая основа, вся ускользающая коренная его целостность, составляющая его секрет. Если бы я не знал, что пишу большой артистке и что она меня извинит, я при всей силе навязывающегося воспоминания не стал к вам с ним соваться. И как, вдобавок, оно уличает меня! Я назвал вам вечер, может быть, для вас мало значительный. А сколько их у вас было. Сколько, значит, случаев обновить свое восхищенье я проворонил. Я оставлю эту странность, настолько мне свойственную,

что я ее не стыжусь, без объяснения. Это случается со мной тем легче, чем прочнее мой восторг, чем пожизненнее признательность.

Еще раз от души поздравляю вас. Не ищу и не надеюсь что-нибудь прибавить к тем выражениям благодарности, которые вы услышали в дни вашего торжества. Такие чувства особенно хороши тем, что всех охватывают с равною силой, и если бы я был уверен, что мне дадут потонуть в них без следа, мне не пришлось бы притязать на ваше внимание. Затем простите, это конечно не то, что вам следовало написать. Ведь на эту кровную тему всегда приходится говорить сдерживаясь, из страха показаться смешным или впасть в фамильярность.

Как истинной исключительности, связанной ревнивейшими нитями с жизнью и привыкшей с детства переоценивать себя прошлым, недооценивая в настоящем, я было пожелал вам скорейшего наступления поры, когда это проходит и жизнь уже без растравы лежит перед нами во все лицо, навсегда неотменимая и в перемене не нуждающаяся. Потом я предположил, что это уже для вас наступило и, может быть, как раз в эти дни, и тогда вам больше нечего пожелать. Потом я увидал, что ничего этого, по глупости тона, писать нельзя, и разорвал четвертушку пополам, чтобы этого больше не упоминать на чистой странице и, вот снова упомянул.

Ваш Б. Пастернак

[1] В организационный комитет по юбилею Озаровской входил П. Н. Зайцев, через которого Пастернак получил приглашение на юбилей и передал это письмо («Вместе с письмом к О. Э. Озаровской пересылаю вам и стихи для «Недр»,— писал ему Пастернак 4 марта 1929 г.— ИМЛИ, ф. 15, оп. 11, ед. хр. 105).

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АГ — Архив А. М. Горького (Институт мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР), Москва.

АП — Архив семьи Б. Л. Пастернака, Москва — Оксфорд.

ГБЛ — Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва.

ГЛМ — Государственный литературный музей, Москва.

ГПБ — Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград.

ИМЛИ — Институт мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР, Москва.

ИРЛИ — Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом), Ленинград.

МГ — Музей А. М. Горького (Институт мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР), Москва.

ЦГА РСФСР — Центральный государственный архив РСФСР, Москва.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства СССР, Москва.

ЦГАНХ — Центральный государственный архив народного хозяйства СССР, Москва

ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства, Москва.

ЦМР — Центральный музей революции СССР, Москва.

ЦПА ИМЛ — Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Москва.

Архив Горького — «Архив А. М. Горького», т. I—XIV. М., 1949—1976.

Асеев — Николаев Асеев. Собрание сочинений в пяти томах. М., «Худож. литература», 1963—1964.

Библиография — Р. М. Романова. Библиография произведений А. Т. Твардовского. Смоленский период. 1925—1936. Наст. том, с. 421—437.

ВЛ — «Вопросы литературы».

Воспоминания о Николае Асееве — «Воспоминания о Николае Асееве». Сост. К. М. Асеева, О. Г. Петровская. М., «Сов. писатель», 1980.

Воспоминания о Твардовском — «Воспоминания о Твардовском». М., «Сов. писатель», 1978.

ДН — «Дружба народов».

КН — «Красная новь».

Кондратович — А. Кондратович. Александр Твардовский. Поэзия и личность М., «Худож. литература», 1978.

Круг — «Круг». Альманах артели писателей «Круг». Кн. 1—6. М., «Круг», 1923—1925.

ЛГ — «Литературная газета».

Ленин — В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Изд. пятое. М., 1958—1970.

Летопись Горького — «Летопись жизни и творчества А. М. Горького», вып. 1—4. М., АН СССР, 1958—1960.

ЛН — «Литературное наследство».

Люди и положения — Борис Пастернак. Люди и положения.—«Новый мир», 1967, № 1.

Материалы — Р. М. Романова. Материалы к творческой биографии А. Т. Твардовского. Смоленский период. 1925—1936. Наст. том, с. 399—420.

Маяковский — Владимир Маяковский. Полное собрание сочинений в 13 томах. М., Гослитиздат, 1955—1961.

Наши дни — «Наши дни». Альманах. № 1—5. М.—Л., Госиздат, 1922—1925.

НМ — «Новый мир».

Охранная грамота — Б. Пастернак. Охранная грамота. Л., Изд. писателей в Ленинграде, 1931.

ПР — «Печать и революция».

Поверх барьеров — Б. Пастернак. Поверх барьеров. Стихи разных лет. М.—Л., ГИЗ, 1929.

Рассказы — Борис Пастернак. Рассказы. М., «Круг», 1925.

РП — «Рабочий путь». Газета. Смоленск.

Сестра моя жизнь — Б. Пастернак. Сестра моя жизнь. М., изд. З. И. Гржебина, 1922.

Стихотворения и поэмы — Борис Пастернак. Стихотворения и поэмы. М.—Л., «Сов. писатель», 1965.

Твардовский — Александр Твардовский. Собрание сочинений в шести томах. М., «Худож. литература», 1976—1980.

Хлебников — Велимир Хлебников. Собрание произведений. Под общей редакцией Ю. Тынянова и Н. Степанова. Л., изд. писателей в Ленинграде, 1928—1933.

УКАЗАТЕЛЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ*

I. ПОРТРЕТЫ ПИСАТЕЛЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ

РИСУНОК, ЛИТОГРАФИЯ, СКУЛЬПТУРА

Н. Н. Асеев. Литография по рис. К. Ф. Юона, 1926. Личный архив Н. Н. Асеева, Москва — с. 441

Д. Д. Бурлюк. Рис. В. В. Маяковского (карандаш), 1912. Личный архив К. И. Чуковского, Москва — с. 457

В. В. Маяковский. Литография по рис. Д. Д. Бурлюка, 1912. Обложка сборника «Живой Маяковский» (литографированное издание «Группы друзей Маяковского», вып. П., М., 1930) — с. 457

В. В. Маяковский. Литография М. М. Синяковой-Уречиной, 1940. В книге: Н. Н. Асеев. Маяковский начинается. М., 1940 — с. 513

О. Э. Озаровская и М. Д. Кривополенова во время совместного выступления в Политехническом музее. Эскизы Л. О. Пастернака (итал. карандаш), 1915. Личный архив Б. Л. Пастернака, Москва — с. 736

Б. Л. Пастернак. Рис. Л. О. Пастернака (итал. карандаш), Берлин, 12 марта 1923 г. С автографическими надписями художника. The Ashmolean Museum of archaeology and art, Оксфорд (Англия) — с. 651

А. Т. Твардовский. Рис. Н. Фомичева, 1926 («Селькор — поэт А. Т. Твардовский»). «Смоленская деревня», 21 сентября 1926 г.— с. 400

А. Т. Твардовский. Барельеф А. Сергеева (мемориальная доска, установленная в 1978 г. на стене железнодорожного вокзала в г. Починок Смоленской области) — с. 433

В. В. Хлебников. Рис. Б. Григорьева (тушь, перо), 1915. С автографическими подписями Хлебникова и Григорьева. Личный архив К. И. Чуковского. Москва — с. 509

ШАРЖИ

‹А. Т. Твардовский›. Карикатура неизвестного художника по поводу стихотворения Твардовского «Пчелы». «Рост», 1930, № 4 — с. 407

ФОТОГРАФИИ

А. А. Ахматова. Фото М. С. Наппельбаума, 1933. С дарств. надписью Ахматовой Б. Л. Пастернаку, Москва, 10 октября 1933 г. Личный архив Б. Л. Пастернака, Москва — с. 663

И. Е. Вольнов. Фото М. С. Наппельбаума, Москва, 1927. ГЛМ — с. 550

А. К. Воронский. Фото, Тамбов, 1904. Семейный архив Г. А. Воронекой, Москва — с. 573

А. К. Воронский. Фото, Липецк, сентябрь 1929 г. Семейный архив Г. А. Воронской, Москва — с. 533

М. М. Зощенко. Фото М. С. Наппельбаума, Ленинград, 1925. С автографической подписью Зощенко. ГЛМ — с. 553

А. В. Луначарский. Хроникальный кадр из кинофильма «Уплотнение» по сценарию Луначарского и А. Пантелеева. Производство Петроградского Кинокомитета, 1918. Ленинградский архив кинофонофотодокументов — с. 261

А. Г. Малышкин в период работы в штабе 6-й армии. Фото, Херсон, 1920. ИМЛИ — с. 163

В. В. Маяковский. Фото, 1923. ГЛМ — с. 487

Н. Н. Никитин. Фото, начало 1920-х гг. ИМЛИ — с. 560

М. М. Пришвин. Фото, середина 1920-х гг. ГЛМ — с. 587

Л. М. Рейснер. Фото, ‹Петроград, 1915—1916›. ГЛМ — с. 222

А. Т. Твардовский. Фото, Смоленск, 1927. «Юный товарищ», 27 апреля 1927 г.— с. 424

А. Т. Твардовский. Фото, Смоленск, ‹1930›. ГЛМ — с. 289

---

*Указатель составила Т. Г. Динесман.

А. Т. Твардовский. Фото, Смоленск, ‹1933—1934›. Смоленский краеведческий музей — с. 339

А. Т. Твардовский. Фото. ‹1935—1936›. Приложено к статье Е. Ф. Усиевич «Страна Муравия». «Литературное обозрение», 10 октября 1936 г., № 19 — с. 381

Н. С. Тихонов. Фото. 1927. ГЛМ — с. 673

С. З. Федорченко — сестра милосердия. Фото. ‹1914—1916›. АГ — с. 11

С. З. Федорченко. Фото, М. С. Наппельбаума, Москва, 1927. ЦГАЛИ — с. 87

М. В. Фрунзе. Фото, 1919. ЦМР — с. 169

В. В. Хлебников. Фото, 1910-е гг. В книге: «Записная книжка Велимира Хлебникова. Собрал и снабдил примечаниями А. Крученых». М., изд. Всероссийского союза поэтов. 1925. С автографической надписью Крученых, удостоверяющей сходство портрета с оригиналом. ГЛМ — с. 483

ГРУППОВЫЕ ФОТОГРАФИИ

А. К. Воронский среди делегатов 8-го губернского съезда Советов Иваново-Вознесенской губернии. Фото (фрагмент), май 1920 г. Изображены: О. А. Варенцова (председатель Иваново-Вознесенского губкома РКП/б/), А. К. Воронский, М. И. Калинин, Н. Н. Колотилов (председатель Иваново-Вознесенского губисполкома). Ивановский объединенный историко-революционный музей — с. 629

А. К. Воронский среди иностранных рабочих — делегатов второго конгресса III Интернационала, посетивших Иваново-Вознесенск. Фото (фрагмент), июль 1920 г. Ивановский объединенный историко-революционный музей — с. 635

А. К. Воронский среди ивановцев — делегатов VIII Всероссийского съезда Советов. Фото, Москва, 1920. Изображены: А. К. Воронский, М. В. Фрунзе, Д. А. Фурманов. Ивановский объединенный историко-революционный музей — с. 639

А. Г. Малышкин после взятия Перекопа. Фото, Каховка, 1920. ИМЛИ — с. 183

В. В. Маяковский и Н. Н. Асеев на спортивном празднике в г. Пушкино. Фото, конец 1920-х гг. Изображены: Н. Н. Асеев, Л. Краснощекова, В. В. Маяковский, В. Б. Шкловский. ГЛМ — с. 475

П. Н. Медведев и М. М. Бахтин в кругу друзей. Фото, Ленинград, зима 1924—1925 гг. Изображены: М. М. Бахтин, Е. А. Бахтина, Н. А. Волошинова, И. И. Канаев, П. Н. Медведев, Л. В. Пумпянский, М. В. Юдина. Частное собрание, Ленинград — с. 707

С. П. Подъячев и Е. Варенцова. Фото, Ярославль, 1928. ГЛМ — с. 547

М. А. Рейснер с дочерью Ларисой и сыном Игорем. Фото Т. Диппенбах, Берлин, ‹1903—1904›. ГЛМ — с. 235

Д. Н. Семеновский, М. Д. Артамонов и И. И. Жижин, члены кружка пролетарских поэтов при Иваново-Вознесенской газете «Рабочий край». Фото, Иваново-Вознесенск, 1920. Ивановский объединенный историко-революционный музей — с. 563

Семья Твардовских. Фото, 1916. Изображены: М. М. и Т. Г. Твардовские с детьми — Александром, Анной, Иваном и Константином. Смоленский краеведческий музей — с. 299

А. Т. Твардовский, М. В. Исаковский и Дм. Прасолов (председатель колхоза «Память Ленина»). Фото, село Рибшево (Пречистенский р-н Западной области), 21 июня 1935 г. Личный архив А. Т. Твардовского, Москва — с. 315

А. Т. Твардовский, М. И. Твардовская и М. В. Исаковский. Фото, Смоленск, 1935. Личный архив А. Т. Твардовского, Москва — с. 369

А. Т. Твардовский с отцом на месте бывшего хутора Загорье. Фото В. Аркашева, конец сентября 1943 г. Семейный архив М. Т. Твардовской, Смоленск — с. 357

II. АВТОГРАФЫ ПИСАТЕЛЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ

Н. Н. Асеев. Первый набросок начала поэмы «Маяковский начинается». 1936. Личный архив Н. Н. Асеева, Москва — с. 464

А. М. Горький. Отзыв о первоначальной редакции поэмы А. Т. Твардовского «Страна Муравия», написанный на титульном листе авторизованной машинописной копии поэмы, и пометы, сделанные на одной из ее страниц. Август 1935 г. АГ — с. 392, 393

Б. Л. Пастернак. Стихотворение «Маяковскому» (1922), записанное по памяти в сентябре 1945 г. На обороте — надпись Г. О. Винокура, излагающая обстоятельства, при которых Пастернак записал для него эти стихи. Семейный архив Т. Г. Винокур, Москва — с. 698

Е. Д. Стасова. Письмо к А. Г. Дементьеву по поводу предполагавшегося издания сборника статей А. К. Воронского. 24 июня 1957 г. Семейный архив Г. А. Воронской, Москва — с. 541

А. Т. Твардовский. Обложка уничтоженного автором юношеского дневника («Пережитое», 1927), вклеенная в новую тетрадь («Из старых дневников»). Личный архив А. Т. Твардовского, Москва — с. 295

А. Т. Твардовский. Страница рабочей тетради. Запись 16 декабря 1934 г. («Путешествие Никиты»). Личный архив А. Т. Твардовского, Москва — с. 385

А. Т. Твардовский. Первоначальная редакция поэмы «Страна Муравия», посланная на отзыв А. М. Горькому. Авторизованная машинописная копия. Июль 1935 г. Титульный лист и л. 59 с отзывом и пометами Горького (август 1935 г.). АГ — с. 392, 393

В. В. Хлебников. Запись об отношении к футуризму, сделанная на обложке каталога посмертной выставки художника Я. Ф. Ционглинского. 1915. Личный архив К. И. Чуковского, Москва — с. 512

III. ДОКУМЕНТЫ

Записки слушателей поэмы Н. Н. Асеева «Маяковский начинается». Получены Асеевым во время авторских чтений поэмы (1936—1939). Личный архив Н. Н. Асеева, Москва — с. 490

IV. КНИГИ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

КНИГИ

М. Д. Артамонов. Земля родная. Стихотворения. Пг., ГИЗ, 1919. Обложка — с. 583

Н. Н. Асеев. Бомба. Владивосток, «Дальневосточная трибуна», 1921. Титульный лист с дарственной надписью В. Пальмову, б. д. ГЛМ — с. 444

Н. Н. Асеев и В. В. Маяковский. «Одна голова всегда бедна, а потому и бедна, что живет одна». М., «Кооперативное изд-во», 1924. Обложка и титульный лист с автографической надписью Асеева, подтверждающей его единоличное авторство, б. д. ГЛМ — с. 469

«Живой Маяковский». Литографированное издание «Группы друзей Маяковского», вып. II. М., 1930. Обложка (портрет Маяковского по рисунку Д. Д. Бурлюка. 1912) — с. 457

А. В. Луначарский. Фома Кампанелла. М., ГИЗ. 1922. Титульный лист и фронтиспис — с. 271

В. В. Маяковский. ‹Сочинения›, т. V. М.— Л., ГИЗ, 1927. Титульный лист с дарственной надписью Н. Н. Асееву, б. д. Личный архив Н. Н. Асеева, Москва — с. 503

В. В. Маяковский. 150 000 000. М., ГИЗ, 1921. Титульный лист с дарственной надписью Н. Н. Асееву. 11 июля 1921 г. ГЛМ— с. 448

В. В. Маяковский. Я! Литографированное издание Г. Л. Кузьмина и С. Д. Долинского. Май 1913 г. (первый сборник стихов Маяковского; тираж 300 экз.). Обложка по рисунку Маяковского. ГЛМ — с. 464

Н. Н. Никитин. Бунт. Рассказы. М.— Пб., «Круг», 1923. Обложка и форзац с дарственной надписью Д. Богомильскому. 4 мая 1924 г. ГЛМ — с. 592

Н. Н. Никитин. Рвотный форт. М.— Пг., ГИЗ, 1922. Обложка. Акварель Б. Б. Титова. ЦГАЛИ — с. 576

М. М. Пришвин. Родники Берендея. М.— Л., ГИЗ, 1926. Титульный лист с дарственной надписью Н. И. Замошкину, 12 сентября 1926 г. ГЛМ — с. 604

‹А. Т. Твардовский›. Краевая учебная книга для школ Западной области. 1 и 2 год обучения. Составители Л. А. Соколова и Н. М. Оглоблина. Стихотворный текст А. Т. Твардовского. Смоленск, Запгиз, 1934. Обложка и страница со стихотворением «Колхоз «Путь Ленина» (илл. Ф. Ф. Лабренца)— с. 353

А. Т. Твардовский. Молочный колхоз. Стихи для детей младшего школьного возраста. Смоленск. Запгиз, 1934. Обложка и страница с иллюстрацией Ф. Ф. Лабренца — с. 415

А. Т. Твардовский. На льдине. Стихотворение для дошкольников. Смоленск, Запгиз, 1936. Обложка и страница с илл. Е. Тарас — с. 329

А. Т. Твардовский. Страна Муравия. М., ГИХЛ, 1940. Титульный лист (гравюра Е. Бургункера) с автографической надписью Твардовского, б. д. ГЛМ — с. 345

С. З. Федорченко. Народ на войне (первая часть). Киев. Издательский подотдел Комитета Юго-Западного фронта Всероссийского Земского союза. 1917. Обложка (по рис. Е. И. Прибыльской) и титульный лист с дарственной надписью В. Г. Лидину, 30 июня 1945 г. Собрание В. Г. Лидина, Москва — с. 17

С. З. Федорченко. Сказки. Л.— М., «Радуга», 1925. Обложка (по рисунку П. Г. Пастухова) с дарственной надписью М. С. и М. А. Волошиным, 12 января 1925 г. Домм-музей М. А. Волошина, Планерское — с. 63

С. З. Федорченко. Как карась лютовал. Л.— М., «Радуга», 1925. Титульный лист (по рисунку М. Генке) и форзац с дарственной надписью М. А. Волошину, 17 августа 1925 г. Дом-музей М. А. Волошина, Планерское — с. 115

АЛЬМАНАХИ, СБОРНИКИ, ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

«Красная новь». Литературно-художественный и научно-публицистический журнал. 1922, № 1/5. Обложка — с. 537

«Круг». Альманах артели писателей «Круг». Книга первая. М.— Пб., «Круг», 1923. Обложка по рисунку Ю. П. Анненкова — с. 600

С. Курдов, А. Твардовский, В. Шурыгин. На стройке новой деревни, вып. II. М.— Смоленск, ОГИЗ, 1931. Обложка — с. 403

«Молодое. Стихи и рассказы». Смоленск. Издание литгруппы при газете «Юный товарищ», 1927 (в сборнике напечатаны три стихотворения А. Т. Твардовского). Обложка и страница со стихотворением Твардовского «Родное» — с. 429

«Наши дни». Альманах. Книга первая. М.— Пг., ГИЗ, 1922. Обложка — с. 567

«Рабочий край». Орган Иваново-Вознесенского губернского и городского Совета рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов. 18 мая 1920 г. (фрагмент) — с. 619

ЖУРНАЛ «РУДИН»

1915, № 1. Обложка по рисунку Е. И. Праведникова — с. 193

1915, № 1. «Краса». Памфлет Л. М. Рейснер и карикатура Е. И. Праведникова — см. раздел VIII («Карикатуры»)

1916, № 5. «О выеденном яйце или один из многих». Памфлет М. А. Рейснера и карикатура Е. И. Праведникова — см. раздел VIII («Карикатуры»)

1916, № 7. Обложка по рисунку Е. И. Праведникова — с. 248

1916, № 7. «Либкнехты». Статья М. А. Рейснера и заставка Н. Н. Купреянова — с. 239

1916, № 7. «Уничтожает пламень...» Стихотворение О. Э. Мандельштама и заставка Е. И. Праведникова — с. 231

1916, № 8. «Медному всаднику». Стихотворение Л. М. Рейснер и иллюстрация И. Юдина — с. 209

V. ПЛАКАТЫ

«Или смерть капиталу, или смерть под пятой капитала!» Плакат В. Н. Дени, 1919. ЦМР — с. 47

«Советская Россия — осажденный лагерь. Все на оборону!» Плакат-лубок Д. С. Моора. ‹1919›. ЦМР — с. 137

«Царские полки и Красная Армия. За что сражались прежде. За что сражаются теперь». Плакат Д. С. Моора. Июнь 1919 г. Гос. Третьяковская галерея, Москва — с. 29

«Неграмотный — тот же слепой, всюду его ждут неудачи и несчастья». Плакат А. А. Радакова. ‹1919—1920›. ЦМР — с. 104

«Товарищ! Охраняй мосты!» Плакат неизвестного художника. ‹1919—1920›. Гос. Третьяковская галерея, Москва — с. 126

«На могиле контрреволюции». Плакат В. Н. Дени, 1920. ЦМР — с. 41

«Только тесный нерушимый союз рабочих и крестьян спасает Россию от разрухи ‹...›». Плакат неизвестного художника, 1920. ЦМР — с. 143

«Ты записался добровольцем?» Плакат Д. С. Моора. Июнь 1920 г. ЦМР — с. 152

«Помоги!» Плакат Д. С. Моора, 1921. ЦМР — с. 72

VI. СОБЫТИЯ

Похороны В. В. Маяковского. Фотография. Москва, 17 апреля 1930 г. ГЛМ — с. 455

VII. ПАМЯТНЫЕ МЕСТА

Хутор Загорье, где прошло детство А. Т. Твардовского. Рисунок И. Т. Твардовского (карандаш), 1979. Собрание Р. М. Романовой, Москва — с. 305

В доме Твардовских на хуторе Загорье. Рисунок И. Т. Твардовского (карандаш), 1979. Собрание Р. М. Романовой, Москва — с. 305

Начальная школа в селе Егорье, где в 1920—1921 гг. учился А. Т. Твардовский. Рисунок В. И. Шелкоплясова (тушь, перо), 1979. Школьный мемориальный музей А. Т. Твардовского, деревня Сельцо (Починковский р-н Смоленской области) — с. 321

Усадьба Возновых, родственников А. Т. Твардовского (село Ковалево, Западная область). Фотография, 1930. Семейный архив Е. М. Худолеевой, г. Починок (Смоленская область) — с. 309

Мемориальная доска на стене железнодорожного вокзала в г. Починок (Смоленская область), установленная в 1978 г. Барельеф А. Сергеева — с. 433

VIII. КАРИКАТУРЫ

«Краса». Карикатура Е. И. Праведникова на участников общества крестьянских поэтов «Краса». Изображены: С. М. Городецкий, С. А. Есенин, Н. А. Клюев, А. М. Ремизов. «Рудин», 1915, № 1 — с. 227

«О выеденном яйце или один из многих». Карикатура Е. И. Праведникова на ученый диспут в Петроградском университете. «Рудин», 1916, № 5 — с. 215

‹А. Т. Твардовский›. Карикатура неизвестного художника — см. Раздел I («Портреты писателей и общественных деятелей»)

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ*

А. А. см. Аросев А. Я.
Абашидзе Ираклий Виссарионович 683, 684
А. В. (Воронский А. К.) 621, 622
Авербах Леопольд Леонидович 321, 362, 405, 406, 442, 445, 450, 613, 617, 680
Аверченко Аркадий Тимофеевич 468, 469
А. В-ий (Воронский А. К.) 622
Адалис (Ефрон) Аделина Ефимовна 420
Адамович Георгий Викторович 251
Адельсон Стелла Самуиловна 677
Адуев (Рабинович) Николай Адольфович 680
Азеф Евно Фишелевич 564
Айхенвальд Юлий Исаевич 582, 584, 630
Акимов Владимир Михайлович 544
Алданов (Ландау) Марк Александрович 724
Александр II 593
Александр III 145, 255, 593
Александрович Андрей Иванович 432, 437
Алексеев Алексей Григорьевич 496
Алигер Маргарита Иосифовна 420
Алкивиад 269
Алымов Сергей Яковлевич 450
Альвек Иосиф Израилевич 487, 492, 493
Альтшулер Федор Николаевич 199, 218, 219, 252
Ангарский (Клестов) Николай Семенович 10
Андреев Леонид Николаевич 298, 312, 605, 614, 622, 623, 625—627, 630, 632, 636, 724
Андреев Николай Андреевич 458
Анисимов (Воронский А. К.) 621
Анненков Юлий Павлович 568
Аненский Иннокентий Федорович 604, 605, 723, 724
Анненский (псевд.: Кривич) Валентин Иннокентьевич 543, 604, 605
Антокольский Павел Григорьевич 16, 675
Аракчеев Алексей Андреевич 245
Арефьев (Орех) Михаил Арефьевич 320, 361
Арефьева (рожд. Плескачевская) Ольга Яковлевна 361
Аристотель 204, 269
Аркашев Василий Иванович 357
Арнольд см. Барский А. Г.
Аросев (псевд.: А. А.) Александр Яковлевич 554, 556, 567, 569, 581, 592, 600
Арсенишвили Алексей Ильич (Али) 682, 683
Артамонов Михаил Дмитриевич 543, 563, 582—584, 618, 620, 636, 639—643, 645—648
Архиппов Евгений Яковлевич 605
Арцыбашев Михаил Петрович 622, 626, 627, 633
Асеев Николай Николаевич 6—8, 12, 14, 438—530, 535—537, 565, 567, 570, 577, 652, 665, 669, 672—675, 677, 679, 680, 685, 692—694, 723—725, 728
Асеева (рожд. Синякова) Ксения Михайловна 12, 449, 492, 502, 503, 506, 510, 526, 528, 529
Асмус Валентин Фердинандович 294, 388, 395, 396, 419
Афиногенов Александр Николаевич 729
Афиногенова Дженни 729
Ахматова (Горенко) Анна Андреевна 7, 196, 649—664, 666, 669, 671, 678, 687, 723, 724
Ашукин Николай Сергеевич 552, 632

Бабель Исаак Эммануилович 534, 536, 537, 543, 601, 721, 722, 724
Багрицкий Эдуард Георгиевич 537, 405, 442, 504, 680
Бадаев Алексей Егорович 547, 548
Бажов Павел Петрович 14, 15
Байрон Джордж Гордон 469, 524
Бак Перл 375, 395
Бакунин Михаил Александрович 240
Балухатый Сергей Дмитриевич 647
Балыкин В., смоленский поэт 401
Бальмонт Константин Дмитриевич 192, 257—259, 505, 723, 724
Бараташвили Николоз Мелитонович 728
Баратынский (Боратынский) Евгений Абрамович 440, 450
Барбюс Анри 633, 638
Баркова Анна Александровна 618, 640—642, 646, 648
Барский Арнольд Григорьевич 486, 489, 490, 493
Батин Михаил Адрианович 21, 22
Батюшков Федор Дмитриевич 596
Бахтин Михаил Михайлович 650, 702, 703, 707
Бахтина Елена Александровна 707
Бачелис Илья Израилевич 451, 452
Бебель Август 191, 260
Бебутов Гарегин Владимирович 687
Бедный Демьян (Придворов Ефим Алексеевич) 14—16, 21, 22, 348, 363, 442, 451, 488, 493, 536, 558, 594, 630, 641, 671, 723

*Указатель составила Т. Г. Динесман.

Безыменский Александр Ильич 292, 324, 325, 362
Бейчек Георгий Иванович 619, 620, 645, 646
Беккер Михаил Иосифович 409
Белинский Виссарион Григорьевич 168, 623, 624
Белозеров Александр Андреевич 641
Белый Андрей (Бугаев Борис Николаевич) 196, 208, 537, 543, 549, 562, 574, 594, 611, 625, 630, 631, 654, 667, 678, 724
Белый Игнат, колхозник 322, 412, 430, 436
Беляев, литератор 321, 361
Бен Джонсон см. Джонсон Б.
Бенуа Александр Николаевич 213
Беранже Жан Пьер 493
Бергсон Анри 626
Бердников Яков Павлович 641
Берлин Лев Ефимович 197
Берроуз Эдгар Райс 668
Бессалько Павел Карпович 630, 632
Бирюков Владимир Павлович 14, 15, 735
Благоволина Юлия Павловна 8
Блинова Елизавета Михайловна 414, 420
Блок Александр Александрович 5, 10, 21, 166, 192, 208, 443, 485, 549, 594, 625, 628—631, 640, 641, 643, 647, 652, 654, 661, 662, 667, 723, 724, 728
Блюм Арлен Викторович 266
Боборыкин Петр Дмитриевич 725
Бобров Сергей Павлович 510, 516, 517, 528, 535, 672, 688, 689, 691, 693, 723, 728
Богомильский Давид Кириллович 592
Бодлер Шарль 250
Боженко Василий Назарович 139
Боккаччо Джованни 203, 287
Большаков Константин Аристархович 570
Бонапарт (в первом браке Богарне) Жозефина 237, 254
Бонапарт Мария Луиза (Луиза Австрийская) 238, 254
Бонапарт Наполеон см. Наполеон I
Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич 440, 450
Боргезе Полина 238, 254
Борджа, итал. аристокр. семья 551
Борисевич, литератор 318, 360
Босинский Григорий, двоюродный брат А. Т. Твардовского 321, 361
Бочаров Сергей Георгиевич 8
Боэций Аниций Манлий Северин 269
Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна 578
Брик (рожд. Каган) Лиля (Лили) Юрьевна 467, 479, 480, 510, 664, 665, 675, 677, 678
Брик Осип Максимович 451, 467, 480, 593, 664, 665, 675, 677, 698
Бромлей Надежда Николаевна 630
Броновский И., сост. антологии «The European Caravan» 731
Бруно Джордано 216
Брюсов Валерий Яковлевич 5, 22, 208, 250, 316, 324, 360, 362, 535, 536, 540, 541, 543, 552, 595, 596, 623, 630, 631, 641, 652, 691, 694, 723, 724
Бубенец Иван Константинович 188
Бубнов Александр Павлович 434
Бубнов Андрей Сергеевич 543, 566
Бубнов, колхозник 307
Бугаева Клавдия Николаевна 667
Буданцев Сергей Федорович 535, 538, 570, 571
Будберг (рожд. Закревская) Мария Игнатьевна 689
Булгаков Валентин Федорович 160
Булгаков Михаил Афанасьевич 12, 21, 160, 166, 721
Булгакова (рожд. Белозерская) Любовь Евгеньевна 21
Булганин Николай Александрович 451
Бунин Иван Алексеевич 291, 360, 549, 550, 562, 625, 628, 630, 631, 636, 724
Бурбоны, франц. королевская семья 254
Бургункер Евгений Осипович 345
Бурлюк Давид Давидович 444, 449, 450, 456—458, 467, 478—480, 486, 487, 491
Бурцев Владимир Львович 192, 549
Бурштын Борис Сергеевич 400
Бухарин Николай Иванович 583

В. (Воронский А. К.) 622
Вагинов Константин Константинович 675—677, 723
Важа-Пшавела (Разикашвили Лука) 683
Вакс Лев Арнольдович 473
Валентин (Воронский А. К.) 531, 622, 623
Вандриес Жозеф 491
Ван Лерберг Шарль 649, 689
Вардин И. (Мгеладзе Илларион Виссарионович) 538, 612, 613, 617
Варейкис Иосиф Михайлович 538, 544
Варенцова Е. 547
Варенцова Ольга Афанасьевна 620, 645
Варшавский Сергей Петрович 197
Василевский (псевд.: Не—Буква, И. Полтавский) Илья Маркович 10, 12, 13, 19
Васильев Павел Николаевич 420
Васильев Сергей Александрович 473
Васильевский Владимир Николаевич 539, 613
Вашенцев Сергей Иванович 342, 363
В. Г. (Воронский А. К.) 622, 623—625, 628—631, 646
В.Г. см. Гуськов В. А.
Вега (Воронский А. К.) 622, 638
Вейс Давид Лазаревич 545
Веласкес Диего де Сильва 205
Вересаев (Смидович) Викентий Викентьевич 11, 21, 534, 543, 554, 564, 569, 579
Веригина Валентина Петровна 250
Верлен Поль 469, 664, 667
Вермель Соломон Самуилович 449
Вероккио Андреа 255
Вертинский Александр Николаевич 170
Верфель Франц 696
Верхарн Эмиль 649
Верховский Юрий Никандрович 655, 656
Вершилов Борис Ильич 166, 167
Веселый Артем (Кочкуров Николай Иванович) 20, 166, 536, 672, 722
Вильдрак (Мессаже) Шарль 677, 678
Вильям-Вильмонт Николай Николаевич 696
Виницкий Николай Александрович 321, 362, 410, 413, 414, 420
Винниченко Владимир Кириллович 13, 21, 626, 627
Виноградов Николай, колхозник 430, 436

Виноградская Софья Семеновна 648
Винокур Григорий Осипович 507, 687, 698
Винокур Татьяна Григорьевна 698
Витте Сергей Юльевич 577, 591, 593
Вицкоп-Плескачевская Анна Митрофановна 8
Вишневский Всеволод Витальевич 20, 23, 445, 451
Владиславлев (Гульбинский) Игнатий Владиславович 672
Власов Антон, литератор 567, 568
Власов Иван Иванович, 618, 619
Власов Федор Харитонович 406, 407
Вознесенский Андрей Андреевич 527
Вознов Василий Михайлович 300, 312
Возновы, родственники А. Т. Твардовского 309, 312
Войтоловский Лев Наумович 10, 12, 14, 22, 632
Волин (Фрадкин) Борис Михайлович 593
Волкова Наталья Борисовна 449
Володарский В. (Гольдштейн Моисей Маркович) 668
Волошин Максимилиан Александрович 11, 21, 22, 63, 115, 534, 569, 570, 579, 650, 652, 670, 671
Волошина Мария Степановна 21, 22, 63
Волошинов Валентин Николаевич 707
Волошинова Нина Аркадьевна 707
Волынский (Флексер) Аким Львович 250, 251
Вольнов (Владимиров) Иван Егорович 550—552, 585, 586, 610
Вольпе Лев Михайлович 161, 168
Вольтер (Аруэ) Франсуа Мари 232, 240
Воровский Вацлав Вацлавович 532, 618
Воронская Галина Александровна 8, 533, 573, 619, 645, 646
Воронская Федосья Гавриловна 531
Воронский Александр Константинович (псевд.: А. В., А. В-ий, Анисимов, В., В. Г., Валентин, Вега, Глинский, А. Климский, Марксист, Н., Нурмин А., Нур-н, Одессит) 7, 10, 11, 16, 20, 23, 312, 531—648, 669, 673, 693
Воронский Константин Иосифович 531
Воронцов, колхозник 308, 309
Ворошилов Климент Ефремович 18, 375, 377, 386
Востренков, колхозник 414, 431, 436
Врангель Петр Николаевич 565, 627, 635
В-ч А. см. Шабельский А. В.
Выходцев Петр Созонтович 297, 421
Вышеславский Леонид Николаевич 519, 529

Гаенко (Махно) Феодора Лукьяновна 636
Гайдар Аркадий см. Голиков А. П.
Гайдаров Владимир Георгиевич 559
Галилей Галилео 263
Гамсун Кнут 606, 607, 621
Гапон Григорий Аполлонович 713
Гаприндашвили Валериан 682, 683
Гартман Мориц 297, 311
Гаршин Всеволод Михайлович 486
Гассенди Пьер 263, 264, 267—269, 271, 272, 274—280, 282, 286, 287
Гастев Алексей Капитонович 634, 641
Гауптман Гергарт 623, 637
Гейне Генрих 240, 673, 674, 724
Гельдерлин Иоганн Христиан 696
Генке Маргарита Генриховна 115
Генкель Александр Германович 260
Герасимов, колхозник 428
Герасимов Михаил Петрович 655, 656
Герцен Александр Иванович 226, 236, 253, 302, 313, 601, 622, 624, 625, 662
Гершензон Михаил Осипович 626
Гессен Арнольд Ильич 599
Гессен Иосиф Владимирович 259
Гете Иоганн Вольфганг 219, 330, 450, 508, 526, 570, 649, 689
Гзовская Ольга Владимировна 559
Гиппиус Василий Васильевич 674
Гиппиус Зинаида Николаевна 626, 627, 637, 724
Гитлер Адольф 473
Гладков Федор Васильевич 536, 537, 602, 612, 722
Глинский (Воронский А. К.) 622, 623, 631, 633, 646
Глоцер Владимир Иосифович 13, 16
Гогарт см. Хогарт У.
Гоген Поль 505
Гоголь Николай Васильевич 314, 395, 457, 458, 525, 614, 626—628, 634, 665, 697
Голиков (псевд.: Гайдар) Аркадий Петрович 675
Голодный Михаил (Эпштейн Михаил Семенович) 295, 390, 395, 396, 419, 672
Голощекин Филипп Исаевич 532
Гольдштейн Борис Эммануилович 348
Гольцев Виктор Викторович 682, 683
Гомер 714
Гониондзкая <?>, мать С. З. Федорченко 160
Гониондзкий Захарий Анатольевич 159, 160
Гончаров Иван Александрович 623, 626
Гора Иозеф 650
Горбатенков Василий Ефимович 414, 416—418
Горелова Ирина Евдокимовна 321, 362
Горелова Мария Илларионовна см. Твардовская М. И.
Горгий 203, 249
Гордеевич А. (Твардовский А. Т.) 399, 422
Горнунг Лев Владимирович 654—656, 658, 687
Горнфельд Аркадий Георгиевич 615, 680
Городецкий Сергей Митрофанович 227, 557, 558, 641
Горфункель Александр Хаимович 266
Горький (Пешков) Алексей Максимович 5, 7, 8, 11, 12, 16, 21, 22, 159, 161, 163, 264, 267, 294—297, 301, 312, 316, 324, 328, 360, 382, 383, 390, 392—394, 396, 402, 417—419, 424, 431, 434, 448, 485, 486, 502—504, 532, 535—540, 543—548, 551—555, 557—560, 562, 563, 567—570, 601—603, 609—613, 618, 621, 625—628, 630, 634—636, 638—641, 643—645, 647, 648, 650, 666, 672, 675—677, 688, 689, 699, 724
Гош Лазар 237, 254
Гржебин Зиновий Исаевич 567—569, 655, 688
Грибовский Вячеслав Михайлович 213—215, 252
Грибоедов Александр Сергеевич 440, 625, 634

Григ Эдвард 210
Григорьев Борис Дмитриевич 509
Григорьев Сергей Тимофеевич 570, 571
Грин (Гриневский) Александр Степанович 192, 197—199, 542
Гринберг Захарий Григорьевич 555, 556, 558, 559, 580, 581, 692, 693
Гриц Теодор Соломонович 514
Гро Антуан 254
Гронский Иван Михайлович 659, 660
Груздев Илья Александрович 503, 578, 581, 652, 656, 665, 667, 672—677
Грузенберг Семен Николаевич 192, 198, 199, 250
Грузенберг Семен Осипович 213, 231, 252
Гудзий Николай Каллиникович 578, 579
Гумилев Лев Николаевич 661, 662
Гумилев Николай Степанович 195, 198, 250, 251, 724
Гуревич Любовь Яковлевна 10
Гуревич Марк Натанович 411
Гусев Виктор Михайлович 328, 362
Гусев Сергей Иванович (Драбкин Яков Давидович) 611—613
Гусев-Оренбургский (Гусев) Сергей Иванович 567, 568, 630, 633
Гуськов (псевд.: В. Г.) Василий Александрович 646
Гюго Виктор 251
Гюйо Жан Мари 491

Давид Луи 238, 254
Даль Владимир Иванович 574
Даниил Заточник 614
Данилевский Григорий Петрович 320, 321, 360, 361
Данте Алигьери 188
Дарнтон М., сост. антологии «The European Caravan» 731
Дворецкий Дмитрий Павлович 409
Дега Эдгар 250
Декарт Рене 244
Дементьев Александр Григорьевич, 8, 541, 543, 544, 548, 572, 621, 644, 646, 648
Дементьев Николай Иванович 395, 396
Демулен Камилл 192, 248
Дени (Денисов) Виктор Николаевич 41, 47
Деникин Антон Иванович 67, 117, 164, 249, 255, 565
Державин Гаврила Романович 440, 447
Дерман Абрам Борисович 579
Десницкий (Строев) Василий Алексеевич 431, 569
Дефо Даниэль 219
Джером Джером 676
Джонсон Бен Афра 649, 689
Дзержинский Феликс Эдмундович 175
Динерштейн Ефим Абрамович 531, 543, 544, 646
Динесман Татьяна Георгиевна 8, 190, 266, 543
Диппенбах Т., фотограф 235
Дмитриев, колхозник 308
Дмитриев Федор Филиппович 640, 646
Добролюбов Николай Александрович 623
Довженко Александр Петрович 15
Дойл Артур Конан 634
Долгалев Николай Павлович 298, 312, 321, 361
Дон Аминадо (Шполянский Аминад Петрович) 632
Донателло 255
Дорожный Сергей (Середа Сергей Михайлович) 413, 418, 430
Дорошевич Влас Михайлович 633
Дорошенко, колхозник 428
Дос-Пассос Джон 314, 360
Достоевский Федор Михайлович 225, 226, 243, 251, 448, 486, 487, 575, 577, 605, 607, 634, 664, 702
Дрожжин Спиридон Дмитриевич 302, 313
Дроздов Александр Михайлович 549
Дубовиков Алексей Николаевич 8
Дурново Петр Николаевич 574, 577
Дымшиц Александр Львович 492, 504, 511

Евдокимов Иван Васильевич 192, 198, 542, 544
Евстафьев, солдат 19
Ежов Иван Степанович 656
Екатерина II 591
Енач Георг 638
Епифанов А. Е. см. Животков А. Е.
Ермакова Анастасия, работница 432
Ермилов Владимир Владимирович 161, 168, 479, 481, 498, 500
Ермилов Владимир Евграфович 479, 481
Ермилова Дина Ивановна 432
Есенин Сергей Александрович 227, 312, 442, 514, 537, 542, 544, 549, 561, 630, 640, 641, 662, 672, 681, 682, 696, 724, 728
Ефремов Александр Иванович 200, 219—223, 252

Жанна д'Арк (Орлеанская дева) 494, 496
Жаров Александр Алексеевич 15, 301, 312, 401, 402
Желябов Андрей Иванович 328, 614, 615
Живова Юлия Марковна 506
Животков (Епифанов) Александр Епифанович 302, 313
Жижин Иван Ипатьевич 563, 618, 639—643, 646
Жилин, колхозник 428, 436
Житомирская Сарра Владимировна 8, 197
Жуковский Василий Андреевич 505

Заболоцкий Николай Алексеевич 404
Завьялов Михаил Семенович 411, 412, 414, 416
Загорский Владимир, литератор 647
Зазубрин Владимир Яковлевич 17
Зайцев Борис Константинович 10, 560, 630—632, 691—693, 706, 724
Зайцев Петр Никанорович 555, 556, 557, 611, 672, 673, 737
Замошкин Николай Иванович 604, 614, 616, 687, 694
Замятин Евгений Иванович 541, 542, 560, 561, 562, 564, 571, 572, 574, 577, 578, 581, 590, 607, 671, 678, 722, 724
Заславский Давид Иосифович 680
Заславский П., литератор 619, 646
Захаров Георгий Яковлевич 474, 478, 481
Захаров Григорий Фомич 302, 313, 320, 361
Захаров Фома (Хомка) Захарович 303, 313, 320, 361
Захаровы (Хомченята), сыновья Захарова Ф. З. 313, 320, 361

Зелинский Корнелий Люцианович 414, 416, 442, 451, 680
Зельдович Владимир Давыдович 260, 262
Зенкевич Михаил Александрович 520, 570
Зиборов Иван, смоленский поэт 405, 406, 426, 427, 434
Зингер Макс Эммануилович 362
Златова Елена Викторовна 420
Зозуля Ефим Давыдович 321, 361, 405, 500, 537
Золя Эмиль 244, 254
Зонин Александр Ильич 617
Зощенко Михаил Михайлович 536, 538, 541—543, 552, 553, 558, 562, 564—566, 577, 581, 675, 680, 722, 724
Зубарева Эмилия Прокофьева 8, 412, 417
Зуев Александр Никанорович 534

Ибаньес Винсент Бласко 633
Ибсен Генрик 633, 637, 652
Иван Калита 531
Иван IV Грозный 122, 736
Иванов Александр Андреевич 551
Иванов Владимир Александрович 8
Иванов Всеволод Вячеславович 20, 166, 534, 536, 537, 543, 544, 559—560, 562, 566, 577, 581, 680, 721, 722, 724
Иванов Вячеслав Всеволодович 491, 703
Иванов Вячеслав Иванович 10, 630, 654, 724
Иванов Георгий Владимирович 251
Ивич Александр (Ивич-Бернштейн Игнатий Игнатьевич) 451, 452, 480
Ивнев Рюрик (Ковалев Михаил Александрович) 641
Иден Энтони 729
Избаш Анна Петровна 677, 694
Ильенков Василий Павлович 406
Инбер Вера Михайловна 451, 500, 520
Иноземцева Эльза Петровна 610
Ионов Илья (Бернштейн Илья Ионович) 584
Исаковский Михаил Васильевич 294—298, 301, 311, 312, 315, 369, 383, 400, 402, 405, 406, 413, 417—420, 427, 432
Исбах Александр (Бахрах Исаак Абрамович) 405, 406
Истомин Яков Алексеевич 596
Итин Вивиан Азарьевич 647

Кабе Этьенн 241
Каверин Вениамин Александрович 536, 537, 568, 569, 576, 578, 581, 671, 672, 675—678, 722, 724
Каган Матвей Исаевич 707
Каган Юдифь Матвеевна 707
Казин Василий Васильевич 503, 536, 537, 565, 594, 608, 612, 613, 665, 667, 675, 676
Кайдаров Антон Казимирович 567, 568
Калашников Александр Георгиевич 581
Калинин Михаил Иванович 339, 368, 375, 377, 619, 621, 623, 629
Каллиников Иосиф Федорович 543, 602, 603
Каменский Абрам Захарович 596
Каменский Василий Васильевич 466, 491, 510
Каменщиков (псевд.: Македонский) Николай Петрович 668
Кампанелла Томмазо (Фома) 6, 260—287
Канаев Иван Иванович 707
Канатчиков Семен Иванович 680
Кант Иммануил 212, 231
Канторович Владимир Яковлевич 367, 395
Карл I Стюарт 265
Карсавина Тамара Платоновна 250
Карякин (Корякин) Василий Никитич 680
Касаткин Иван Михайлович 297, 312, 536, 598, 599
Кассиль Лев Абрамович 476, 480
Кассо Лев Аристидович 195, 252—254
Катаев Валентин Петрович 16, 166, 568, 569, 675, 680, 722
Катанян Василий Абгарович 693
Катилина Луций Сергий 628, 629
Каховский Петр Григорьевич 607
Кац Исаак Ильич 412, 413, 416—418, 429
Качалов (Шверубович) Василий Иванович 160
Кашен Марсель 645
Кезин, агроном 428
Керженцев (Лебедев) Платон Михайлович 611, 612, 630, 634, 704
Кибальчич Николай Иванович 328
Киплинг Джозеф Редьярд 594, 637, 677
Кириллов Владимир Тимофеевич 492, 655, 656
Киров Сергей Миронович 431, 435
Кирпотин Валерий Яковлевич 682, 683
Кирсанов Семен Исаакович 451, 453—456, 464, 476, 478, 486, 723
Киршон Владимир Михайлович 442
Кирьянов Сергей Леонидович 418
Кищинская Лидия Александровна 544
Классон Владимир Христофорович 402
Клейнборт Лев Максимович 543, 598, 599
Клейст Генрих фон 649, 689
Климский А. (Воронский А. К.) 621
Клычков (Лешенков) Сергей Антонович 528, 555, 556, 570, 577, 615, 616
Клюев Николай Алексеевич 227
Книппер-Чехова Ольга Леонардовна 160
Ковынев Борис Константинович 699
Коган Петр Семенович 549, 550, 696
Кожинов Вадим Валерьянович 8
Козаков Михаил Эммануилович 680
Козинцев Григорий Михайлович 650
Козловская Галина Лонгиновна 654
Козловский Алексей Федорович 653
Козырев Михаил Яковлевич 567, 568
Козьмин Мстислав Борисович 503
Колоколов Николай Иванович 640—642, 646
Колосов Марк Борисович 682, 683
Колотилов Николай Николаевич 618, 620, 629
Колчак Александр Васильевич 163, 255, 565, 622
Кольцов Михаил Ефимович 405
Комиссаржевская Вера Федоровна 250
Кондратович Алексей Иванович 296, 297, 312, 360, 361, 420
Кончаловский Дмитрий Петрович 708, 709
Кончаловский Петр Петрович, издатель 708, 709
Кончаловский Петр Петрович, художник 709
Копеин Николай Владимирович 645
Коренева Лидия Михайловна 160
Корк Август Иванович 165

Корнилов Лавр Георгиевич 40, 578
Коробов Яков Евдокимович 641, 646
Короленко Владимир Галактионович 549, 579, 615, 627, 636, 724
Короленко Софья Владимировна 615
Корш Федор Адамович 266
Костер Шарль де 610, 680
Костецкий Анатолий Георгиевич 491
Котомка Л. (Зеленский Владимир Иосифович) 641
Крамов Исаак Наумович 197, 199
Крандиевская-Толстая Наталья Васильевна 581, 632
Красильников Виктор Александрович 717
Красин Леонид Борисович 591
Краснов Петр Борисович 647
Краснощекова Елена Александровна 601
Краснощекова Луэлла Александровна 475
Крекшин Евгений Аркадьевич 452
Кремков Сергей М. 257—259
Кремнев Б. см. Чулков Г. И.
Крестовский В. (Зайончковская-Хвощинская Надежда Дмитриевна) 299, 312
Кржижановский Станислав Станиславович 532
Кривич Валентин см. Анненский-Кривич В. И.
Кривополенова Мария Дмитриевна 735, 736
Криницкий Марк (Самыгин Михаил Владимирович) 630, 632, 633
Кромвель Оливер 261, 265
Крупская Надежда Константиновна 532, 534, 545, 546, 647
Крученых Алексей Елисеевич 444, 448, 453, 455, 467, 473, 478—481, 483, 491, 492, 507, 516, 687, 694, 695
Кручинин Николай Николаевич 160
Крыленко Николай Васильевич 618
Крюкова Алиса Михайловна 21, 438
Крючков Петр Петрович 22, 295, 396
Крючкова Елизавета Захаровна 295, 383, 396, 419
Кудимов Виктор (Богомолов Михаил Дмитриевич) 405, 412
Кузина Лия Николаевна 161, 168
Кузмин Михаил Алексеевич 206, 250, 627, 630, 631, 652, 654, 666, 678, 724
Кузнецов Михаил Матвеевич 544, 648
Кузнецов Степан Леонидович 262
Кузовкова Клавдия Николаевна 167
Кузовкова Н. Н. см. Малышкина Н. Н.
Кун Бела 578
Кунина Евгения Филипповна 687, 706
Купер Фенимор 301
Куприянов Николай Николаевич 192, 198, 239
Куприн Александр Иванович 622, 625, 627, 628, 633, 646, 724
Куприяновский Павел Вячеславович 543, 544, 617, 645—647
Купченко Владимир Петрович 8
Курдов Степан, смоленский поэт 321, 361, 403, 406, 408, 409, 413, 427, 428
Кушнер Борис Анисимович 500
Кушнерев Иван Николаевич 709

Лабренц Федор Федорович 353, 415, 430, 431
Лавренев Борис Андреевич 166
Лаврова Клавдия Николаевна 410
Ладыжников Иван Павлович 555, 581, 693
Лазаревский Борис Александрович 632
Ламшус Вильгельм 261
Лассаль Фердинанд 214, 240, 260
Лафарг Поль 260, 266, 267
Лебедев-Полянский Павел Иванович 535
Лебеденко, сотр. Ленотгиза 715
Леваневский Сигизмунд Александрович 328, 362
Левин Алексей Сергеевич 496
Левин Борис Михайлович 395, 396
Левин Эллен 729
Левитан Исаак Ильич 448
Лейтес Александр Михайлович 420
Лейхтенбергский, герцог (в. кн. Александр Георгиевич) 253
Леконт де Лиль Шарль Мари Рене 605
Лелевич Г. (Кальмансон Лабори Гилелевич) 594, 595, 611—615, 617
Ленин Владимир Ильич 7, 17, 18, 22, 52, 127, 129, 130, 138, 145, 146, 191, 197, 230—262, 266, 316, 328, 347, 353, 360, 361, 363, 373, 395, 410, 411, 417, 418, 426, 430—437, 439, 440, 448, 450, 461, 493, 495, 504, 532, 534, 536, 543—545, 548, 552, 560, 563, 577, 606, 607, 618 — 621, 624, 625, 628, 633, 635, 637, 639, 640, 643, 644, 646—648, 672
Ленин Михаил Францевич 266
Леонардо да Винчи 252, 508, 577
Леонов Леонид Максимович 12, 16, 17, 21, 22, 166, 536, 537, 570, 571, 601, 675, 680, 721, 722, 724
Леопарди Джакомо 216, 252
Лермонтов Михаил Юрьевич 321, 481, 491, 501, 508, 606, 607, 614, 634, 709, 717, 728
Лесгафт Петр Францевич 251
Лесков Николай Семенович 301, 562, 568, 569
Лешуков Тимофей Николаевич 544
Лещенко Надежда Генриховна 229, 253
Либединский Юрий Николаевич 405, 534, 536, 617
Либкнехт Вильгельм 239
Либкнехт Карл 191, 197, 239, 260, 590
Лидин Владимир Германович 11, 12, 16, 17, 21, 510, 555, 556, 562, 686, 730
Липовка Иван, смоленск. поэт 416
Литовский Осаф Семенович 690, 691
Лихачев Дмитрий Сергеевич 514
Лобачевский Николай Иванович 491, 513
Лозинский Михаил Леонидович 662
Локс Константин Григорьевич 10, 528, 705, 706
Локтев Аркадий Николаевич 410
Ломов А. (Георгий Ипполитович) 545
Ломоносов Юрий Всеволодович 658
Ломоносова Раиса Николаевна 658
Лонгфелло Генри Уодсуорт 615, 616
Лондон Джек (Гриффит Джон) 647
Лорка Гарсиа 469
Луговской Владимир Александрович 302, 388, 395, 419
Лукницкая Вера Константиновна 659
Лукницкий Павел Николаевич 654, 656, 659
Луначарский Анатолий Васильевич 5—7, 192, 198, 260—287, 531, 533—537, 543, 545, 548—550, 558, 584, 635, 641, 642, 648, 694, 709

Луначарский Лев Михайлович 265
Лунц Лев Натанович 568, 569, 581, 723, 724
Лутохин Далмат Александрович 602, 603
Лысенко Софья Алексеевна 262, 266
Лысогорский Ондра (Гой Эрвин) 718
Любимов Исидор Евстигнеевич 619, 620, 646
Людовик XI 240
Людовик XIII 265
Ляпидевский Анатолий Васильевич 328, 362
Ляшко Николай Николаевич 536, 537, 568, 569

М. см. Радькова М. Н.
Магарам Николай Иосифович 671
Майоров Иван Алексеевич 646
Македонов Адриан Владимирович 8, 321, 330, 342, 358, 361—363, 395, 404—407, 409, 411, 414, 416, 420, 427
Макиавелли Никколо 236, 249
Макина Мира Андреевна 546
Мак-Леод Норман 731
Максимовский Владимир Николаевич 548
Малахов Николай Потапович 167, 168
Малахова Светлана Юрьевна 449
Малышев Сергей Васильевич 531, 543, 612
Малышкин Александр Георгиевич 6, 161—189, 536, 537
Малышкина Мария Павловна 168
Малышкина (рожд. Кузовкова) Надежда Николаевна 161—163, 167
Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович 735
Мамонова З. М. см. Синякова З. М.
Мамонтов Константин Константинович 164, 182
Мандельштам Осип Эмильевич 192, 231, 537, 543, 570, 600, 601, 652, 653, 672, 675, 678—680, 720, 721, 724, 728
Мандрик Иван, смоленский поэт 413, 415
Мане Эдуар 250
Марат Жан Поль 245
Мариенгоф Анатолий Борисович 543, 605, 606
Марин см. Рейснер М. А.
Марков Павел Александрович 166
Маркс Адольф Федорович 312
Маркс Карл 241, 260, 316, 330, 360, 624, 671, 677
Марксист (Воронский А. К.) 622
Марр Николай Яковлевич 482, 491
Марс Анна Франсуаза 238, 254
Мархоленко Даша, цыганская певица 160
Маршак Самуил Яковлевич 675, 676
Марьенков Ефрем Михайлович 316, 321, 360, 361, 405, 406, 417, 427, 434
Масанов Иван Филиппович 198, 621, 646
Матвеев (псевд.: Бодрый) Николай Николаевич 510
Матисс Анри 505
Матусевич Иосиф Александрович 630
Матяс Николай, ред. газ. «Большевистский молодняк» 416
Махно Нестор Иванович 636
Махно Ф. Л. см. Гаенко Ф. Л.
Машбиц-Веров Исидор Маркович 10
Маширов (псевд.: Самобытник) Алексей Иванович 514, 723
Маяковский Владимир Владимирович 5, 7, 192, 290, 302, 313, 326, 362, 403, 438—514, 517—521, 523—527, 529, 535—537, 565, 594, 595, 630, 641, 652, 654, 657, 661, 665, 672, 673, 675—677, 680, 681, 685, 687, 692, 693, 695—698, 724, 728
Мгеладзе И. В. см. Вардин И.
Медведев Павел Николаевич 650, 658, 675, 680, 682, 693, 702—718, 720, 725, 727, 731, 732
Медичи, семья 249
Медников Анатолий Харлампиевич 648
Мейер Конрад Фердинанд 638
Мейерхольд Всеволод Эмильевич 657, 658
Менделеев Дмитрий Иванович 491
Мережковский Дмитрий Сергеевич 218, 252, 626, 627, 632, 724
Мериме Проспер 15, 19
Метерлинк Морис 240, 573
Мечиславцев А. (Свентицкий Андрей Эдуардович) 585
Мещеряков Николай Леонидович 534, 535, 552, 557, 558,559, 597, 644, 687
Микешин Михаил Иванович 361
Милашенков Игнат Федорович 361
Мильман Валентина Ароновна 690, 691
Милюков Павел Николаевич 204, 250, 253
Милютин Владимир Павлович 545
Минц Исаак Израилевич 16
Мирский Б. (Миркин-Гецевич Борис Сергеевич) 632
Митрейкин Константин Никитич 405
Митрофанов Александр Георгиевич 395, 396
Митрохин Дмитрий Исидорович 676
Митурич Петр Васильевич 493
Михайлов Алексей Иванович 566
Мицишвили Николо 682, 683
Мозалевский Виктор Иванович 631
Молдавский Дмитрий Матвеевич 508, 511
Молотов Вячеслав Михайлович 612, 613
Мольер Жан Батист 226
Моор (Орлов) Дмитрий Стахеевич 29, 72, 137, 152
Мор Томас 260
Морозов Иван Абрамович 653
Морозов Павел Трофимович (Павлик) 370
Москвин Иван Михайлович 160
Моцарт Вольфганг Амадей 508
Муравьев Владимир Игнатьевич 406, 414, 427
Муратова Евгения Владимировна 598
Муратова Ксения Дмитриевна 8
Мусоргский Модест Петрович 615

Н. (Воронский А. К.) 621, 622, 625, 646
Нагорный С. (Вайсбейн Семен Григорьевич) 664
Надсон Семен Яковлевич 290, 300, 301, 312, 523
Назаров Степан Иванович 620
Накоряков Николай Никандрович 16, 19, 22, 504
Наполеон I Бонапарт 237, 238, 241, 243—246, 254, 354, 714
Наполеон II Бонапарт см. Рейхштадтский герцог
Наппельбаум Моисей Соломонович 87, 550, 553, 663
Нарбут Владимир Иванович 597
Наумова Анна Иосифовна 190
Неверов (Скобелев) Александр Сергеевич, 20, 297, 300, 312, 567, 568, 617

Невский Владимир Иванович (Кривобоков Феодосий Иванович) 621, 623
Незлобин Константин Николаевич 261
Нейгауз Адриан Генрихович 662, 664, 682, 683
Нейгауз З. Н. см. Пастернак З. Н.
Нейгауз Станислав Генрихович 682, 683
Некрасов Николай Алексеевич 294, 337, 363, 392—395, 420, 451, 484, 508, 624, 627
Некрасова Ксения Александровна 485, 492
Нелидов Анатолий Павлович 266
Немирович-Данченко Василий Иванович 556
Немирович-Данченко Владимир Иванович 166, 167
Низами Ганджеви 511
Низовой П. (Тупиков Павел Георгиевич) 537
Никитин Николай Николаевич 534, 536, 537, 541—544, 558, 560—562, 566, 573—578, 581, 584, 585, 589, 591—593, 595, 599, 600, 722
Никитина, жена Никитина Н. Н. 599
Николаева Прасковья, колхозница 430, 436, 439
Николай II 32, 577
Никулин Лев Вениаминович 192, 198, 251, 252, 630, 682, 683
Ницше Фридрих 213, 218, 230
Новиков Иван Алексеевич 16, 630
Новиков-Прибой (Новиков) Алексей Силыч 536, 537
Ноздрин Авенир Евстигнеевич 618, 640, 646
Нольде Валерия Михайловна 21, 569
Носов (Нос) Николай Петрович 300, 312
Нурмин А., Нур-н (Воронский А. К.) 621, 622, 646, 647

Обрадович Сергей Александрович 503, 650, 699, 717—720
Овалов Лев Сергеевич 314, 360
Овидий Назон 251
Овсянико-Куликовский Дмитрий Николаевич 670, 671
Овсянников Иван Игнатьевич 645
Оглоблина Надежда Матвеевна 430
Огнев Н. (Розанов Михаил Григорьевич) 536, 537
Огурцов Серафим Иванович 620, 640, 642, 646
Одессит (Воронский А. К.) 622
Ожеро Пьер 237, 254
Озаровская Ольга Эрастовна 735—737
Озеров Лев Адольфович 420, 449, 524, 527—530
Оксенов Иннокентий Александрович 198
Олеша Юрий Карлович 537, 680
Ольминский (Александров Михаил Степанович) 620, 621
Ольшевская Нина Антоновна 662
Орджоникидзе Григорий Константинович 618
Орешин Петр Васильевич 577
Орлов Владимир Николаевич 647
Осин Дмитрий Дмитриевич 300, 301, 312, 321, 380, 400—402, 408, 417, 427, 428, 434, 437
Осинский Н. (Оболенский Валериан Валерианович) 566
Оссуна, герцог 262
Оствальд Вильгельм Фридрих 623
Островский Александр Николаевич 20

Павел I 251
Павлов Иван Петрович 471, 508
Павлов Николай Капитонович 412, 416
Павлов-Сильванский Николай Павлович 251, 252
Пальмов Виктор Никандрович 444, 450
Пантелеев А., сценарист 261
Панферов Федор Иванович 292, 293, 330
Паперный Зиновий Самойлович 8
Пастернак Александр Леонидович 677
Пастернак Борис Леонидович 7, 8, 16, 442, 444, 448—450, 463, 491, 493, 504, 505, 507, 513, 516—530, 535—538, 579, 594, 595, 649—737
Пастернак Евгений Борисович 528, 649, 665, 677, 683, 701, 708, 732
Пастернак Евгения Владимировна 652, 654, 658, 665, 674, 677, 691, 693, 699—701, 708, 732
Пастернак Елена Владимировна 649
Пастернак Жозефина Леонидовна 663, 728
Пастернак (в первом браке Нейгауз) Зинаида Николаевна 660—662, 664, 682, 683, 728
Пастернак Леонид Осипович 651, 652, 656, 663, 665, 708, 709, 736
Пастернак Лидия Леонидовна 663, 728
Пастернак Розалия Исидоровна 652, 665, 708, 709
Пастухов Николай Иванович 568
Пастухов Павел Георгиевич 63
Пашутин Владимир Михайлович 402
Певцов Илларион Николаевич 262
Пегов Сергей, литератор 567, 568
Пейреск Клод де 262, 267—269, 271, 272, 274, 275, 277—279, 282, 286, 287
Переверзев Валерьян Федорович 598
Перегудов Александр Владимирович 537
Перовская Софья Львовна 328, 450, 614, 681, 682
Перцов Виктор Осипович 661, 662, 664
Песталоцци Иоганн Генрих 181
Пестель Павел Иванович 251
Петлюра Симон Васильевич 66
Петников Григорий Николаевич 676, 677
Петр I 65, 194, 207, 237, 256, 681, 682, 686
Петражицкий Лев Иосифович 212, 213
Петрарка Франческо 724
Петровская Ольга Георгиевна 440, 449, 450, 510
Петровский Дмитрий Васильевич 471, 472, 665, 667, 676, 677
Пий VII 237, 254
Пикассо Пабло 505
Пильняк (Вогау) Борис Андреевич, 166, 536, 537, 543, 549, 553—555, 562, 567—571, 576, 581, 589—594, 597, 630, 632, 659, 660, 678—681, 721, 722, 724, 725
Пименов Дмитрий, колхозник 430, 436
Пинкевич Альберт Петрович 569
Пиньятелли Томмазо 262
Пирогов Николай Иванович 181
Пирожков Михаил Васильевич 266
Писарев Дмитрий Иванович 251, 623
Писемский Алексей Феофилактович 664
Пичета Н. М. см. Синякова Н. М.
Платон 203, 249, 697
Платонов (Климентов) Андрей Платонович 543, 609, 610, 660, 662

Плетнев Валериан Федорович 565, 566
Плеханов Георгий Валентинович 192, 260, 623, 624, 646
Плешков Александр Антонович 401, 402, 425
Плотников М. А., переводчик 615, 616
По Эдгар Аллан 595, 596
Повицкий Лев Осипович 606
Подъячев Семен Павлович 297, 312, 534, 540—543, 545—550, 554, 556, 557, 641
Познер Владимир Соломонович 529, 650, 662, 680, 687, 720—728, 730—732
Покровский Михаил Николаевич 22
Полонская Елизавета Григорьевна 543, 577, 581, 586, 675
Полонская К. А. см. Эгон-Бессер К. А.
Полонский (Гусин) Вячеслав Павлович 7, 18, 529, 531, 533, 543, 551, 552, 587, 608, 609, 650, 654, 672, 684—702, 721, 732
Полонский Яков Натанович 568, 569
Полтавский И. см. Василевский И. М.
Понятовский Александр Иванович 543
Порембина Г. см. Porębina, G.
Поручиков Анатолий Иванович 321, 361
Поручиков Иван Ильич 321, 361
Поручиков Илья Лазаревич 321, 361
Поступальский Игорь Стефанович 316, 360
Постышев Павел Петрович 418
Потехин Юрий Николаевич 612, 613
Праведников (псевд.: Топиков А.) Евгений Иванович 192, 193, 198, 215, 219, 225—227, 229, 231, 246, 248, 252, 253, 259
Прапорщиков, литератор 568, 569
Прасолов Дмитрий Филиппович 314, 315, 336, 360, 432, 433, 436
Пржиборовская Галина Андреевна 190
Прибыльская Е. И., художница 17
Пришвин Михаил Михайлович 8, 10, 534, 542, 543, 586—588, 597, 598, 603, 604, 606, 607, 609—611
Пришвина Валерия Дмитриевна 543
Прокофьев Александр Александрович 294, 392, 394, 396
Пронин Борис Константинович 250
Проппер Станислав Максимилианович 222, 253
Протагор 203, 249
Прохоров Павел Нестерович 432, 436
Прудников Иван, знакомый А. Т. Твардовского 423, 434
Прудон Жозеф 240
Пруст Марсель 725
Прутков Козьма 607
Птолемей (Птоломей) Клавдий 508
Пугачев Емельян Иванович 65, 121, 187, 579
Пумпянский Лев Васильевич 707
Пунин Николай Николаевич 653, 655—657, 659, 660
Пуришев Борис Иванович 552
Пушкин Александр Сергеевич 15, 19, 192, 251, 296, 314, 321, 324, 330, 348, 439, 440, 447, 450, 451, 474, 485, 491, 501, 505—507, 512, 514, 522, 560, 570, 575, 578, 614, 625, 626, 628, 634, 661, 714, 715, 717
Пьянков Адриан Афанасьевич 15
Пяст (Пестовский) Владимир Алексеевич 250, 251

Рабинович Самуил Евгеньевич 332, 363
Рабле Франсуа 275, 277, 630
Радаков Анатолий Александрович 104
Радимов Павел Александрович 14
Радищев Александр Николаевич 251, 621
Радлова (рожд. Дармолатова) Анна Дмитриевна 654
Радькова (в замуж. Дубинская) Мария Николаевна 301, 302, 313, 423, 434
Разин Степан Тимофеевич 507, 510, 537
Райх Зинаида Николаевна 658
Ракицкий Николай Петрович 9, 21, 22, 160
Раков Алексей Семенович 680, 681
Раков Валерий Петрович 644
Раковский Григорий Н. 637
Расин Жан 219
Раскольников (Ильин) Федор Федорович 196, 538, 539, 613
Распутин Григорий Ефимович 12
Рашель Элиза 232, 253
Ревякина Алина Александровна 644
Рейснер (псевд.: Р. Власта, Юлия Хитрово) Екатерина Александровна 194—196, 198, 252, 254, 258, 259
Рейснер Игорь Михайлович 235, 251
Рейснер Лариса Михайловна 6, 18, 22, 190—259, 607
Рейснер Михаил Андреевич (псевд.: Марин, И. Смирнов) 190, 192—198, 215, 235, 239, 251—253, 258, 259
Рейснеры, семья 191—196, 198, 251—255
Рейхштадтский герцог Жозеф Франсуа (Наполеон II) 238, 254
Рекамье Юлия Аделаида 254
Ремизов Алексей Михайлович 10, 227, 554, 555, 556, 562, 630, 632, 724
Ренуар Огюст 250
Рест Б. (Шаро Юлий Исаакович) 197
Риви Джордж 650, 706, 728—735
Рикардо Давид 240, 254
Рильке Райнер Мария 649, 650, 656, 680, 697—699, 705, 717, 725
Ришелье герцог Арман дю Плесси 265
Робеспьер Максимилиан 245
Рогова Евдокия Васильевна 262, 266
Родов Семен Абрамович 498, 500, 536, 594, 595, 613, 723
Родченко Александр Михайлович 453, 455
Рождественский Всеволод Александрович 191, 192, 198, 675
Розанов Василий Васильевич 452, 484, 492, 724
Розанов (псевд.: Андрей Шипов) Иван Никанорович 20, 23
Розанова Людмила Анатольевна 645
Розенфельд Эрнст 677
Роллан Ромен 625, 637, 678
Романова Регина Максовна 288, 297, 305, 311—313, 362, 399, 400, 403, 405, 412, 413, 417, 421, 427
Ромм Александр Ильич 446
Ропшин-Савинков Б. В. см. Савинков Б. В.
Росляков Михаил Васильевич 630
Рубенс Питер Пауль 215
Румянцев Иван Петрович 413
Русов Николай Николаевич 567, 568
Руссо Жан Жак 240
Руставели Шота 511
Рутман Александр Исаакович 402
Рыбакова Лидия Яковлевна 653
Рыкова Надежда Януарьевна 395, 396
Рыленков Николай Иванович 321, 362, 402, 407, 410—413, 416—418, 431
Рязанов Александр Александрович 640
Рязанов (Гольдендах) Давид Борисович 621

С. см. Селянин С. А.
С. см. Семёновский Д. Н.
С. см. Синяковы, семья
С. А. (Селивановский Алексей Павлович (?)) 401
Сабашников Михаил Васильевич 11, 12
Сабашников Сергей Васильевич 11
Савин Аркадий Наумович 582, 584
Савинков (псевд.: Ропшин) Борис Викторович 175, 626—628, 631
Савченков Мефодий Иванович 289, 297, 311
Савченков Яков Иванович 301, 312
Садовской (Садовский) Борис Александрович 192, 198, 705, 706
Садофьев Илья Иванович 585, 667, 675, 676
Садуль Жак 645
Сакс Ганс 689
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович 226, 465, 621, 623, 626, 627
Самокиш Николай Семенович 225, 253
Сапунов Николай Николаевич 250
Сафаров Георгий Иванович 600
Сахаров Иван Петрович 509, 511
Саянов Виссарион Михайлович 536, 650, 717
Свентицкий (псевд.: Мечиславцев А.) Андрей Эдуардович 585
Свердлов Яков Михайлович 615
Светлов Михаил Аркадьевич 295, 390, 395, 396, 404, 419, 473, 503, 536, 672
Свифт Джонатан 574
Святловский Владимир Владимирович 195, 198, 200, 253—256, 259
Святополк-Мирский Дмитрий Петрович 656, 660
Северянин Игорь (Лотарев Игорь Васильевич) 192, 661, 662, 724
Севрук Юрий Поликарпович 452
Седакова Антонина Ниловна 361
Сезанн Поль 505
Сейфуллина Лидия Николаевна 20, 536, 537, 617, 722, 724
Селивановский Алексей Павлович 406, 407, 479, 481, 511
Сельвинский Илья Львович 440, 450, 536, 537, 680, 714, 716, 727
Селянин (псевд.: С.) Сергей Алексеевич 618, 620, 640, 644—648
Семенов Сергей Александрович 534, 543, 556, 667, 675
Семёновский (псевд.: С.) Дмитрий Николаевич 543, 562, 563, 618, 620, 636, 639—643, 645—647
Семеновский Оскар Владимирович 618, 644, 645, 647
Семин Сергей Афанасьевич 640, 641
Сен-Симон Анри Клод 241, 260
Серафимович (Попов) Александр Серафимович 536, 565, 641, 647
Сервантес Мигель де Сааведра 216, 236, 292, 330, 471
Сергеев Альберт 433
Сергеев-Ценский Сергей Николаевич 579, 724
Сергеева Матрена, колхозница 413, 431
Серебряков Леонид Петрович 545
Серебрянский Марк Исаакович 417, 418
Середина-Гернгрос Анна Герасимовна 160
Серрати Джагинто 645
Сиводедов Василий Тимофеевич 361
Сиводедов Георгий Тимофеевич 422
Сиводедовы, семья 321, 361
Сигорский Александр Васильевич 567, 568
С-ий, Еф., С-і 413
Силлов Владимир Александрович 450
Синельников Яков Хацкелевич 410, 412, 413
Синклер Эптон Билл 594
Синякова Вера Михайловна 506, 510, 528, 529
Синякова (в замуж. Мамонова) Зинаида Михайловна 506, 510, 528
Синякова Ксения Михайловна см. Асеева К. М.
Синякова (в замуж. Уречина) Мария Михайловна 449, 506, 510, 513, 528, 529
Синякова (в замуж. Пичета) Надежда Михайловна 506, 510, 528
Синяковы (С.), семья 517, 529
Ситковский Аркадий Ильич 473, 478—481
Скворцов-Степанов Иван Иванович 18
Скиталец (Петров) Степан Гаврилович 492
Скопцов, колхозник 430, 436
Скуратов Михаил Маркелович 22
Слезкин Юрий Львович 571
Слонимский Михаил Леонидович 537, 543, 560, 568, 569, 581, 582, 589—591, 667, 675, 722
Смирнов Василий Алексеевич 562, 640
Смирнов (псевд: Малков) Василий Степанович 618, 640, 646
Смирнов И. см. Рейснер М. А.
Смирнов Илья Сергеевич 451, 543, 618, 545, 643, 648
Смирнов Николай Павлович 577, 618, 640, 642, 646
Смирнов-Кутаческий Алексей Матвеевич 12
Смоленский А. (Твардовский А. Т.) 432
Сокол В., литератор 646
Соколинский Захар Леонтьевич 449
Соколов-Микитов Иван Сергеевич 291, 536
Соколова Любовь Александровна 430
Сократ 249, 269, 388
Соловцов Николай Никифорович 21
Соловьев Василий Иванович 540
Сологуб (Тетерников) Федор Кузьмич 192, 206, 250, 621, 626, 627, 630, 631, 654, 724
Сорин Владимир Гордеевич 538
Сорокин Григорий Эммануилович 650, 666, 667, 683
Сосновский Лев Семенович 370
Спасский Сергей Дмитриевич 650, 659, 660
Сперанский Михаил Михайлович 245
Спиноза Барух (Бенедикт) 202
Сталин Иосиф Виссарионович 293, 295, 303, 334, 337, 342, 343, 347, 348, 363, 365—367, 371—373, 375—377, 379, 386—391, 395, 442, 443, 446, 451, 461, 464, 474, 479, 481, 495, 497, 559, 577
Стародворцев Павел Сергеевич 361
Стасова Елена Дмитриевна 541, 618, 645
Стендаль (Бейль Анри) 314
Степанов Николай Леонидович 452, 491, 492

Степанова Варвара Федоровна 453, 455
Стерн Анатоль 505
Струве Петр Бернгардович 192, 637
Суворин Алексей Сергеевич 252
Судейкин Сергей Юрьевич 250
Суинберн Алджернон Чарлз 649, 689
Сукиасова Ирина Меликовна 197, 199
Сумароков Александр Дмитриевич 640, 641
Сурков Алексей Александрович 342, 363, 451, 511
Сусанин Иван 549, 550
Суханова (Флаксерман) Галина Константиновна 558
Сытин Иван Дмитриевич 226, 583

Табидзе Нина Александровна 661, 662
Табидзе Тициан Юстинович 661, 662
Тагор Рабиндранат 637, 638
Такташева Нурия Алимовна 190, 197—199
Тарас Ефим Николаевич 329, 434
Тарасенков Анатолий Кузьмич 295, 342, 363, 383, 396, 405, 407, 411, 412, 416, 420, 450
Тарловский Марк Ариевич 520
Таубе Михаил Александрович 243, 254
Твардовская Анна Трифоновна 299
Твардовская Зинаида Ильинична 301, 312, 357
Твардовская (рожд. Горелова) Мария Илларионовна 288, 296, 318, 321, 323, 360, 361, 369, 376, 383, 404, 419
Твардовская Мария Митрофановна 290, 299, 301—304, 320, 357, 359, 361
Твардовская Мария Трифоновна 357
Твардовские, семья 304, 305, 312, 313, 320, 321, 360, 361
Твардовский (псевд.: Смоленский А.) Александр Трифонович 5—8, 288—437, 444
Твардовский Василий Трифонович 290, 297, 312
Твардовский Гордей Васильевич 320, 360, 361,
Твардовский Иван Трифонович 8, 290, 297, 299, 305, 311—313, 357, 360, 361, 402, 403
Твардовский Константин Трифонович 297, 299, 304, 305, 312, 313, 320, 357, 359—361
Твардовский Трифон Гордеевич 290, 297, 299, 300—305, 312, 313, 320, 321, 329, 357, 359—361
Теребенев Иван Иванович 254
Тизенгаузен Орест 654
Тимирязев Аркадий Климентович 534
Тимонин Александр Михайлович 640, 646
Тимофеев Борис Александрович 630, 633
Тимофеев Вячеслав Павлович 22
Тимофеев Леонид Иванович 8, 448, 491
Титов Борис Борисович 576
Тихонов (псевд.: Серебров А.) Александр Николаевич 539, 671
Тихонов Николай Семенович 7, 166, 504, 529, 536, 537, 542, 543, 581, 588, 593—595, 649, 664—684, 694, 713, 722, 724, 727
Тихонова-Неслуховская Мария Константиновна 677, 678, 680, 681
Толстая Александра Львовна 160
Толстая-Есенина Софья Андреевна 160, 661, 662
Толстов Владимир Сергеевич 188
Толстой Алексей Константинович 374, 395
Толстой Алексей Николаевич 10, 13, 21, 446, 452, 534, 537, 542, 543, 549, 550, 564, 574, 577, 580, 581, 630—632, 647, 675, 681, 682, 722, 724
Толстой Лев Николаевич 160, 213, 230, 232, 252, 296, 447, 489, 570, 607, 614, 627, 628, 634, 662, 714
Томич А., рабкор 265
Топиков А. см. Праведников Е. И.
Тоцкий Николай Максимович 251
Трауберг Леонид Захарович 489, 490, 493
Тренев Константин Андреевич 16, 160, 166, 537, 543, 578, 579, 596, 597
Тренин Владимир Владимирович 451, 452, 480
Третьяков Сергей Михайлович 439, 449, 535, 697
Триоле (рожд. Каган) Эльза Юрьевна 723
Трифонов Николай Алексеевич 8, 9, 260, 266, 594, 595, 648
Троцкий Лев Давыдович 461, 473
Трубецкой Евгений Николаевич 637
Трубецкой Николай Сергеевич 637
Тугендхольд Яков Александрович 10, 160, 579
Тургенев Иван Сергеевич 8, 191, 192, 543, 586, 607, 610, 626—628, 634, 724
Турков Андрей Михайлович 288
Тынянов Юрий Николаевич 492, 672, 675—680, 724
Тырса Николай Андреевич 676
Тютчев Федор Иванович 330, 440, 614, 689, 718, 720

Уайльд Оскар 223, 253
Уитмен Уолт 469, 628, 637
Укше Сусанна Альфонсовна 259
Ульянов Александр Ильич 145, 146
Ульянов Илья Николаевич 145, 146
Ульянова Мария Ильинична 531, 532, 611, 612, 618, 643
Ульянова Н. К. см. Крупская Н. К.
Усиевич Елена Феликсовна 381, 420, 461, 463
Успенский Глеб Иванович 301, 614, 621, 624, 626, 627, 634
Уткин Иосиф Павлович 301, 312, 313, 401, 402, 473
Уэллс Герберт 571, 572, 636, 637, 646

Фадеев Александр Александрович 292, 362, 416, 446, 447, 451, 452, 497, 511, 528, 530, 536, 617, 664, 680
Фальконе Этьен Морис 208
Федин Константин Александрович 16, 22, 534, 536, 537, 543, 544, 561, 581, 586, 588, 589, 660, 661, 667, 671, 672, 676—678, 680, 721, 722, 724
Федорченко Софья Захаровна 5, 6, 9—160, 569, 570, 579
Фейербах Людвиг 314, 360
Фет Афанасий Афанасьевич 300
Фиксин Сергей Андреевич 402, 403, 405, 425, 427, 431

Филиппов Дмитрий Иванович 489
Философов Дмитрий Владимирович 12
Флейшман Лазарь Соломонович 689
Флоровский Ал., литератор 417
Фомичев Н., художник 400, 422
Фонвизин Денис Иванович 616
Фортунатова Евгения Ивановна 297, 311
Форш Ольга Дмитриевна 537, 543, 551, 582, 604, 650, 678
Франс Анатоль 217, 252, 622, 637—639, 647
Франциск Ассизский 631
Фрейденберг Ольга Михайловна 650, 666, 678, 718
Френкель Лев Давидович 586, 588, 597
Фриче Владимир Максимович 539, 557, 613, 704, 709
Фрунзе Михаил Васильевич 163, 164, 169, 538, 544, 545, 555, 618, 619, 635, 636, 639
Фурманов Дмитрий Андреевич 166, 532, 536, 544, 618, 639, 644, 645, 647, 648, 654
Фурье Шарль 260
Фуше Жозеф 238, 254

Халатов Артемий Багратович 12, 16
Харджиев Николай Иванович 514
Хитрово Юлия см. Рейснер Е. А.
Хлебников Велимир (Виктор) Владимирович 444, 445, 448—450, 452, 453, 458, 461, 463, 464, 470, 472, 481—485, 487, 491—493, 505—517, 528, 677, 724
Хмелинин Василий Алексеевич 14, 15
Хогарт Уильям 229, 253
Ходасевич Владислав Фелицианович 603, 724, 727, 728
Хопкинс Джерард 729
Хорошев Н., литератор 13
Хохлов, знакомый Твардовских 321
Христофорова А. Х. 160
Худолеева Ефросинья Михайловна 309

Цвелев Василий Алексеевич 405
Цветаева Марина Ивановна 517, 650, 651, 654—656, 658, 665, 685, 687, 694, 695, 706, 720, 721, 724, 725
Цеткин (рожд. Эйснер) Клара 645, 646
Ционглинский Ян Францевич 512

Чайковский Николай Васильевич 231, 253
Чапаев Василий Иванович 188, 369, 431, 435, 536
Чапыгин Алексей Павлович 536, 537, 574, 577
Чеботаревская Анастасия Николаевна 250
Черный Саша (Гликберг Александр Михайлович) 485
Чернышевский Николай Гаврилович 260, 261, 328, 420, 623, 624
Черняк Борис Яковлевич 686
Черняк Елизавета Борисовна 690, 691
Черняк Наталья Яковлевна 686
Черняк Яков Захарович 395, 396, 672, 684, 686, 687, 690, 691, 698, 699
Чехов Антон Павлович 11, 226, 301, 555, 591, 605, 614, 621, 623, 626, 627, 633, 634, 652, 724
Чикин Иван Алексеевич 412
Чиковани Симон Иванович 683, 684
Чириков Евгений Николаевич 534, 625
Чудакова Мариэтта Омаровна 677
Чудовский Валериан Адольфович 654
Чужак Н. (Насимович Николай Федорович) 449
Чуковская Елена Цезаревна 8
Чуковский Корней Иванович 13, 20, 21, 457, 509, 512, 654, 666, 671, 672, 675
Чуковский Николай Корнеевич 675, 676
Чулков (псевд.: Кремнев Б.) Георгий Иванович 10, 630, 659, 660

Шабельский (псевд.: В—ч А.) Александр Васильевич 312
Шагинян Мариэтта Сергеевна 166, 537, 543, 574, 577, 586
Шамурин Евгений Иванович 656
Шаншиашвили Александр (Сандро) Ильич 682, 683
Шанявский Альфонс Леонович 640
Шапирштейн (псевд.: Лерс; Эльсберг) Яков Ефимович 498, 500, 569
Шаров, домовладелец 675
Шварц Лев Борисович 590
Шведчиков Константин Матвеевич 620
Шебуев Николай Георгиевич 506, 510
Шебуева Любовь Александровна 510
Шекспир Уильям 190, 197, 207, 250, 324, 526, 574, 650, 678, 689, 718, 729
Шелкоплясов В. И. 321
Шелли Перси Биши 724
Шенгели Георгий Аркадьевич 402, 498, 500, 520
Шестакова Лидия Ниловна 361
Шешуков Степан Иванович 613, 644
Шибаев А., рабкор 266
Шилейко Владимир (Вольдемар) Казимирович 208, 251
Шипов Андрей см. Розанов И. Н.
Ширяевец (Абрамов) Александр Васильевич 300, 312
Шишков Вячеслав Яковлевич 536, 537, 574, 577
Шкапская Мария Михайловна 567, 568
Шкловский Виктор Борисович 451, 475, 524, 577, 670, 671, 677, 724
Шмелев Иван Сергеевич 724
Шмидт Отто Юльевич 552, 580
Шмидт Петр Петрович 519, 529, 649, 676, 677, 684, 685, 694, 695, 699, 717, 720
Шмидт-Паули Элизабет 725
Шолохов Михаил Александрович 20, 383, 396, 448
Шопенгауэр Артур 252, 264
Штейнгель Владимир Иванович 607
Штекли Альфред Энгельбертович 8
Штильгебауэр Эдуард 633
Шурупов Леонид Степанович 543
Шурыгин Василий Федорович 403, 406, 408, 409, 411, 428

Щеголев Павел Елисеевич 561
Щепкина-Куперник Татьяна Львовна 725
Щукин Сергей Иванович 505

Эгон-Бессер (Полонская) Кира Александровна 694, 699—702
Эльсберг Я. Е. см. Шапирштейн Я. Е.
Энгельс Фридрих 260, 316, 360, 677
Эренбург Изабелла Григорьевна 579

Эренбург Илья Григорьевич 543, 573, 577, 579, 580, 593, 630, 687, 720, 722, 724, 730, 731, 735
Эрлих Вольф Исидорович 681, 682
Эфрос Абрам Маркович 671

Юдин И. Д., художник 209
Юдина Мария Вениаминовна 650, 707, 728
Юон Константин Федорович 441
Юрин Михаил Петрович 682, 683
Юрковский Александр, литератор 576, 578
Юркун Юрий Иванович 652, 693

Якерин Виктор, литератор 606, 607
Яковлев Александр Степанович 555, 556
Яковлев Яков Аркадьевич 534, 597
Яковлева Варвара Николаевна 596
Ярославский Емельян (Губельман Миней Израилевич) 539
Ясный А. (Яновский Александр Маркович) 672
Яхонтов Владимир Николаевич 479, 481
Ященко Александр Семенович 692, 693

Back L. 22

Eliasberg Alexander 22

Maguire A. 644

Porgbina Gabriela 624, 644, 646
Pozner Wladimir см. Познер В. С.
Putnam Samuel 731

Reavey George см. Ривн Дж.
Reavey Jean 730
Reber Charles 22
Rilke R. M. см. Рильке Р. М.

Schmidt-Pauli Elisabeth см. Шмидт-Паули Е.
Stern Anatol см. Стерн А.

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ РЕДАКЦИИ 5

I. ИЗ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

СОФЬЯ ФЕДОРЧЕНКО

НАРОД НА ВОЙНЕ. КНИГА ТРЕТЬЯ. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

Вступительная статья Н. А. Трифонова. Публикация Н. П. Ракицкого и Н. А. Трифонова 9

Приложения:

I. Из «Автобиографии Софьи Захаровны Федорченко» 159

II. Воспоминания Н. П. Ракицкого о С. З. Федорченко 160

АЛЕКСАНДР МАЛЫШКИН

ИЗ НЕЗАКОНЧЕННОЙ ПОВЕСТИ О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ

Вступительная статья Л. М. Вольпе. Публикация Л. Н. Кузиной 161

ЛАРИСА РЕЙСНЕР

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ РОМАН

Вступительная статья и публикация А. И. Наумовой и Г. А. Пржиборовской. Характеристика источников публикации составлена Т. Г. Динесман. Примечания Н. А. Такташевой 190

А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ

НЕЗАКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА «СОЛНЦЕ» (3-Я ЧАСТЬ ДРАМАТИЧЕСКОЙ ТРИЛОГИИ «ФОМА КАМПАНЕЛЛА»)

Вступительная статья Н. А. Трифонова. Публикация Н. А. Трифонова и В. Д. Зельдовича 260

АЛЕКСАНДР ТВАРДОВСКИЙ

НА ПУТИ К «СТРАНЕ МУРАВИИ» (РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ ПОЭТА)

Вступительная статья А. М. Туркова. Публикация М. И. Твардовской. Примечания Р. М. Романовой 288

Приложение I. Материалы к творческой биографии А. Т. Твардовского. Смоленский период, 1925—1936

Составитель Р. М. Романова 399

Приложение II. Библиография произведений А. Т. Твардовского. Смоленский период. 1925—1936

Составитель Р. М. Романова 421

НИКОЛАЙ АСЕЕВ

К ТВОРЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ПОЭМЫ «МАЯКОВСКИЙ НАЧИНАЕТСЯ»

Вступительная статья и публикация А. М. Крюковой . 438

Приложения:

К главе XII «Хлебников» (Асеев и Хлебников) 506

К главе XIV «Разговор с неизвестным другом» (Асеев и Пастернак) 516

II. ИЗ ЭПИСТОЛЯРНОГО НАСЛЕДИЯ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

А. К. ВОРОНСКИЙ

ИЗ ПЕРЕПИСКИ С СОВЕТСКИМИ ПИСАТЕЛЯМИ

Вступительная статья и публикация Е. А. Динерштейна 531

Приложение:

Л. Н. Сейфуллина — в редакцию журнала «Молодая гвардия» . . 617

А. К. ВОРОНСКИЙ В ГАЗЕТЕ «РАБОЧИЙ КРАЙ»

Статья П. В. Куприяновского 617

БОРИС ПАСТЕРНАК

ИЗ ПЕРЕПИСКИ С ПИСАТЕЛЯМИ

Предисловие и публикация Е. Б. и Е. В. Пастернаков 649

Пастернак — А. Ахматова 650
Пастернак — Н. Тихонов 664
Пастернак — В. Полонский 684
Пастернак — П. Медведев 702
Пастернак — С. Обрадович 717
Пастернак — В. Познер 720
Пастернак — Д. Риви 728
Пастернак — О. Озаровская 735

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 738

УКАЗАТЕЛЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Составитель Т. Г. Динесман 740

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Составитель Т. Г. Динесман 745

Литературное наследство

т. 93

ИЗ ИСТОРИИ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1920—1930-х ГОДОВ
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

Утверждено к печати
Институтом мировой литературы
им. А. М. Горького
Академии наук СССР

Редакторы издательства
Е. В. Белова, В. Ч. Воровская
Художник *Е. К. Михельсон*
Художественный редактор *С. А. Литвак*
Технический редактор *Л. Н. Золотухина*
Корректоры
Г. М. Котлова, Е. В. Шевченко

ИБ № 25076

Сдано в набор 22.02.82
Подписано к печати 15.12.82
А-12592. Формат 70×108¹/₁₆
Бумага типографская № 1
Гарнитура обыкновенная
Печать высокая
Усл. печ. л. 66,5. Усл. кр. отт. 68,8
Уч.-изд. л. 77,9. Тираж 20 000 экз. Тип. зак. 1471
Цена 9 р. 90 к.

Издательство «Наука»
117864 ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90
2-я типография издательства «Наука»
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 10

9 R-90 г.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

9 р. 90 к.



ИЗДАТЕЛЬСТВО ·НАУКА·